НИЛ СТИВЕНСОН



РТУТЬ

FANTZON

Ртуть
Нил Таун Стивенсон

Аннотация
Нил Стивенсон. Ртуть
Благодарности
Книга первая. Ртуть
Бостонский луг
1655
Ньютаун, Колония Массачусетского залива
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы
Бостон, Колония Массачусетского залива
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж
На «Минерве», Массачусетский залив
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж
На «Минерве», Массачусетский залив
Берег реки Кем
На «Минерве» у побережья Новой Англии
Чумной год
Эпсом
На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс
Вулсторп, Линкольншир
На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс

Чаринг-Кросс
Собрание Королевского общества, колледж Грешема
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Колледж Грешема, Бишопсгейт, Лондон
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж
Лондонский мост
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Собрание Королевского общества, Ганфлит-хаус
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Сити
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Книга вторая. Король бродяг
Грязь под Лондоном
Континент
Бывший стан великого визиря Кара-Мустафы
Богемия
Богемия
Лейпциг
Саксония
Гарц
Место
Голландская республика
Париж

Гаага
Франция
Амстердам
Париж
Амстердам
Амстердам
Побережье Европы и Северной Африки
Книга третья. Одалиска
Уайтхолл
Версаль
Лондон
Побережье к северу от Схевенингена
Дорсет
Биржа (Между улицами Треднидл и Корнхилл)
Версаль
Берег Ла-Манша между Гаагой и Схевенинге-ном
Версаль
Звёздная палата, Вестминстерский дворец
Версаль
Лондонский Тауэр
Замок Жювизи
Сен-Клу
Россиньоль Людовику XIV, продолжение
Французское посольство в Гааге
Россиньоль Людовику XIV, продолжение

Россиньоль – Людовику XIV, продолжение
Ширнесс, Англия
Венеция
Гаага
Бишопсгейт
Действующие лица

Аннотация

Даниель Уотерхауз, одновременно и блестящий ученый, и строгий пуританин, стремится познать все тайны вселенной. Алхимия является одним из путей к знанию, но, видя работу своих гениальных коллег, Даниель отвергает эту научную дисциплину. Тем временем Король Бродяг, он же Джек Шафто, становится европейской легендой благодаря своим похождениям в поисках наживы. Он спасает из турецкого гарема талантливую Элизу, благодаря чему у той появляется шанс стать герцогиней и шпионкой королевских особ.

И это только начало.

Историко-фантастическая эпопея с интригами, приключениями и волнениями на фоне политических потрясений начала XVIII века и зарождения современной науки.

Нил Стивенсон
Ртуть

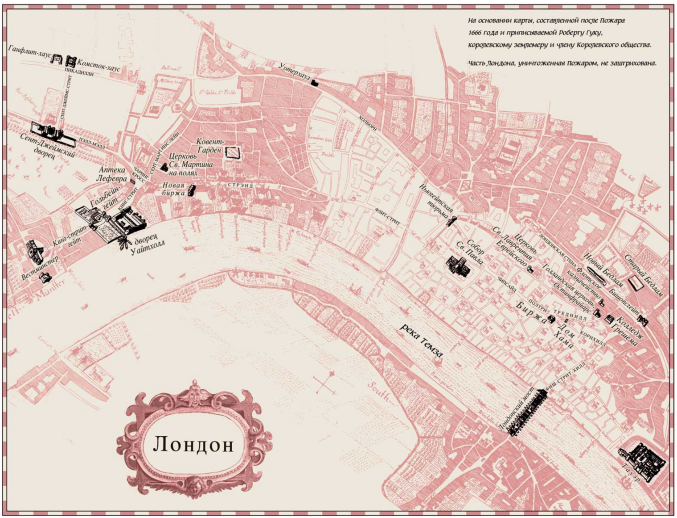
Neal Stephenson
Quicksilver

© 2003 by Neal Stephenson
© Е. Доброхотова-Майкова, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Женщине на втором этаже




На основании карты, составленной после Пожара
1666 года и принесенной Роберту Гуку,
королевскому геометру и члену Королевского общества.
Часть Лондона, уничтоженная Пожаром, не заштрихована.
Гайфилд-холл
Конюшни-холл
Конюшни-холл
Сент-Джеймсский дворец
Конюшни
Конюшни
Конюшни

Благодарности

Такого рода труд держится на множестве источников, которые не перечислить на краткой странице благодарностей. Подобный проект был бы немыслим, если бы не усилия учёных от эпохи Уилкинса и Яна Коменского и до нынешнего дня. Не сказать об этом было бы нечестно. Однако в случае художественной книги, которая неизбежно отклоняется от исторической и научной правды, благодарности могут дать нежелательный результат. Нижеупомянутых учёных следует восхвалять за их достижения, а не порицать за мои дешёвые потуги.

Проект не возник бы, если бы не удачный разговор с Джорджем Дайсоном и Стивеном Хорстом несколько лет назад.

Следующие учёные проделали работу, существенную для написания этой книги: Джулиан Барбур, Гейл Э. Кристиансон, А. Р. Холл, Дэвид Кан, Ганс-Георг Шульте-Альберт, Ли Смолин, Ричард Уэстфолл, Т. Д. Холл. Я хочу отдать им должное, хоть и сознаю, что мои отклонения от исторической правды могут их огорчить. Чита-

телю, который желает узнать, как все было на самом деле, стоит купить и прочесть их книги, а все ошибки отнести на мой счёт.

Отдельно следует упомянуть Фернана Броделя; эту книгу можно считать сумбурным примечанием к его труду. По ходу проекта я обращался ко многим другим учёным трудам, и здесь не хватит места перечислить их все. Особого упоминания заслуживает шеститомная биография Мальборо, написанная сэром Уинстоном Спенсером Черчиллем; тем, кого по-настоящему интересует тот исторический период, стоит её прочесть, а тем, кто считает меня чересчур многословным, — её взвесить.

Бела и Габриэлла Боллобаши, Дуг Карлстон и Томи Пирс очень мне помогли; благодаря им я попал в такие места, которые иначе не мог бы увидеть (Боллобаши) или не получил бы возможности в них работать (Карлстон/Пирс). Джордж Джусбери, Кэтрин Дюранден и Хьюго Дюранден ДеСуза оказывали мне своевременную помощь. Грег Бир дал мне на время две книги; обещаю их вернуть! Спасибо Марку Калтофену из *Natick Indian Plantation and Needham West Militia Companies* за то, что говорил со мной о порохе и слушал мои разглагольствования об алхимии.

С издательской стороны мне всячески помогали, проявляя нечеловеческое терпение, Дженнифер Херши, Лиз Дархансофф, Дженнифер Брель и Рави Мирчандани.

Джереми Борнстейн, Алви Рей Смит и Лиза Голд прочли почти окончательный вариант книги и сделали ценные замечания. Двое последних вместе с картографом Ником Спрингером участвовали в создании карт, схем и генеалогических деревьев.

К Музе
Яви себя, о Муза. Ты ведь здесь.
Коль правы барды, коих нет давно,
Ты пламени и дуновенья смесь.
Моё перо, как я, погружено
Во мрак полночный жидкий, без тебя
Тьму лишь расплещет — свет не даст оно.
Оперена огнём — стоишь в тени…
Очнись! Пусть вихри света разорвут
Глухой покров. Навстречу мне шагни!
Но нет, не ты во тьме — лишь я, как спрут
Плыву, незряч, в клубах своих чернил,
Что сам к твоей досаде породил.
Завесу тёмную одно перо
Пронзить способно. Вот оно. Начнём.

Книга первая. Ртуть

Заимствующие основания своих рассуждений из гипотез… создали бы весьма изящную и красивую басню, но всё же лишь басню.

Роджер Котс, предисловие ко второму изданию книги сэра Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», 1713 [1]

---

[1] Примечания: 1

Здесь и далее перев. академика А. Н. Крылова.

Бостонский луг

12 октября 1713, 10:33:52 до полудня

Енох появляется из-за угла в тот миг, когда палач возносит петлю над осуждённой. Молитвы и рыдания в толпе стихают. Джек Кетч[2] стоит, руки на весу — ни дать ни взять плотник, вздымающий коньковый брус. Петля сжимает круг синего новоанглийского неба. Пуритане смотрят и, судя по всему, думают. Енох Красный останавливает чужую лошадь у самого края толпы и видит, что цель палача — не продемонстрировать толпе узел, а дать ей краткую (и для пуритан дразнящую) возможность увидеть врата в мир иной, их же ни один из нас не минует.

Бостон — щепотка холмов в ложке болот. Дорогу вдоль ложки преграждает стена, перед которой, как водится, торчат виселицы, а казнённые, либо их части, болтаются в воздухе или прибиты к городским воротам. Енох только что оттуда и думал, что больше такого не увидит, — дальше должны

---

[2] Примечания: 2

См. список действующих лиц в конце книги. (*Здесь и далее примечания переводчика помечены арабскими цифрами, примечания автора — звёздочками.)*

были начаться корчмы и церкви. Впрочем, мертвецы за воротами — обычные воры, казнённые за мирские преступления. То, что происходит сейчас на выгоне, ближе к священнодействию.

Петля ложится на седые волосы, словно царский венец. Палач тянет её вниз. Голова женщины раздвигает петлю, как головка младенца — родовые пути. Миновав самое широкое место, верёвка падает на плечи. Колени топырят передник, юбки телескопически складываются под оседающим телом. Палач одной рукой обнимает женщину, словно учитель танцев, а другой поправляет узел, покуда председатель церковного суда зачитывает смертный приговор, сухой, как соглашение аренды. Зрители почёсываются и переминаются с ноги на ногу. Здесь вам не Лондон, так что развлечений никаких — ни улюлюканья, ни ярмарочных фигляров, ни карманников. На дальней стороне луга солдаты в красных мундирах отрабатывают строевой шаг у подножия холма, на вершине которого расположился каменный пороховой склад. Сержант-ирландец орёт устало, хотя и с искренним возмущением, — голос разносится по воздуху, как запах дыма.

Енох приехал не для того, чтобы смотреть расправу над ведьмой, но раз уж он здесь, не

остаться до конца было бы дурным тоном. Звучит барабанная дробь, наступает внезапная неловкая тишина. Енох решает, что это не худшее повешенье, какое ему доводилось видеть: женщина не брыкается, не корчится, верёвка не развязывается и не рвётся. Короче, на редкость справная работа.

Он не знал, чего ждать от Америки. Однако, судя по всему, здешний люд исполняет любое дело — включая повешенья — с грубоватой сноровкой, которая одновременно восхищает и действует на нервы. Местные жители берутся за тяжёлый труд с хладнокровным спокойствием лососей, преодолевающих пороги на пути к нерестилищу. Как будто они от рождения знают то, что другие должны перенимать у родных и односельчан вместе со сказками и суевериями. Может быть, это оттого, что они по большей части прибыли сюда на кораблях.

Когда обмякшую ведьму срезают с виселицы, над выгоном проносится порыв северного ветра. По температурной шкале сэра Исаака Ньютона, в которой ноль — точка замерзания, а двенадцать — теплота человеческого тела, сейчас должно быть градуса четыре. Будь здесь герр Фаренгейт с его новым термометром — запаянной ртутной

трубкой, он бы намерил за пятьдесят. Впрочем, такого рода ветер, налетающий с севера по осени, холодит сильнее, нежели может определить прибор. Он напоминает присутствующим, что, если они не хотят умереть в ближайшие несколько месяцев, надо запасать дрова и конопатить щели. Хриплый проповедник под виселицей, чувствуя ветер, решает, что сам сатана явился по ведьмину душу, и спешит поделиться своими мыслями с паствой. Вещая, он смотрит Еноху в глаза.

Енох чувствует растущее стеснение в груди — предвестие страха. Что мешает им схватить и повесить *его* как колдуна?

Каким его видят колонисты? Человек неопределённого возраста, явно много повидавший, с седой косицей на затылке, медно-рыжей бородой, светлыми глазами и лицом, продублённым, словно кожаный фартук кузнеца. В длинном дорожном плаще, с притороченными вдоль седла посохом и старомодной рапирой, на отменном вороном коне. Два пистолета за поясом, заметные издалека, скажем, из засады, в которой сидят индейцы, грабители или французские мародёры. (Ему хочется их спрятать, но неумно браться за пистолеты в таком месте.) В седельных сумках (если их обыскать) обнаружатся приборы, склян-

ки со ртутью и кое-что ещё более странное (в том числе, на взгляд бостонцев, опасное) — книги на древнееврейском, греческом и латыни, наполненные алхимической и каббалистической тайнописью. В Бостоне они могут сослужить ему дурную службу.

Однако толпа воспринимает хриплые разглагольствования проповедника не как призыв к оружию, а как сигнал расходиться по домам. Солдаты разряжают мушкеты с глухим звуком, словно на барабан бросили пригоршню песка. Енох спешивается в толпе колонистов, закутывается в плащ, пряча пистолеты, опускает капюшон и становится похож на любого другого усталого пилигрима. Он искоса оглядывает лица, избегая встречаться с кем-либо глазами, и видит на удивление мало воинствующего ханжества.

— Бог даст, — говорит кто-то, — это последняя.

— Последняя ведьма, сэр? — спрашивает Енох.

— Я хотел сказать, последняя казнь.

Обтекая, как вода, подножие крутого холма, люди движутся через погост на южном краю общественной земли (уже переполненный) и вслед за телом ведьмы по улицам. Дома по большей части деревянные, церкви — тоже. Испанцы воздвигли бы один огромный собор — каменный

снаружи, позолоченный внутри, — но колонисты ни в чём не могут прийти к согласию. В этом смысле Бостон больше похож на Амстердам — множество церковок (иные почти неотличимы от сараев), и в каждой, без сомнения, учат, что остальные заблуждаются. Впрочем, колонисты сумели столковаться, чтобы повесить ведьму. Её несут к новому кладбищу, устроенному почему-то сразу за амбарами. Енох не знает, расценивать это решение — хранить источник своей жизни и своих покойников практически в одном месте — как некое послание городских властей или как простую безвкусицу.

Енох видел не один горящий город и сразу примечает на главной улице следы большого пожара. Дома и церкви отстроены заново из кирпича и камня. Он минует, видимо, самый большой бостонский перекрёсток, где дорогу от городских ворот пересекает широкая улица, которая ведёт прямиком к заливу и продолжается длинной пристанью за полуразрушенным валом из брёвен и камней — бывшей дамбой. Вдоль пристани тянутся казармы. Она так далеко вдаётся в залив, что у её конца смог пришвартоваться большой военный корабль. В другой стороне Енох видит на холме батарею; канониры в синих мундирах

суетятся возле бочкообразной мортиры, готовые накрыть огнём любой испанский или французский галеон, нарушивший неприкосновенность залива.

Итак, протянув мысленную линию от мёртвых воров у городских ворот до порохового склада и дальше от виселицы на выгоне до портовых оборонительных сооружений, Енох получает одну декартову числовую ось (которую Лейбниц назвал бы ординатой); он понимает, чего боятся бостонцы и как церковники с военными поддерживают здесь порядок. Правда, надо ещё выяснить, что прочертится вверх и вниз. Бостонские холмы разбросаны среди бесконечной болотистой низины, которая медленно, как сумерки, растворяется в гавани и реке, образуя пустые плоскости, на которых люди с верёвками и вешками могут построить любые кривые, какие заблагорассудится.

Енох говорил со шкиперами, бывавшими в Бостоне, и знает, где начало этой системы координат. Он идёт к длинной пристани. Среди каменных купеческих домов есть кирпично-красная дверь, над которой болтается виноградная гроздь. Енох проходит в дверь и оказывается в приличной таверне. Люди при шпагах и в дорогой

одежде поворачиваются в его сторону. Торговцы рабами, ромом, патокой, чаем и табаком; капитаны кораблей, которые всё это перевозят. Таверна могла бы стоять в любой точке мира; в Лондоне, Кадисе, Смирне или Маниле её наполняли бы те же люди. Им глубоко безразлично (если вообще известно), что в пяти минутах ходьбы отсюда вешают ведьм. Здесь Еноху было бы куда уютнее, но он явился сюда не за уютом. Конкретного капитана, которого он ищет, — ван Крюйка, — в таверне нет. Енох торопится на улицу, пока трактирщик не принялся зазывать его внутрь.

Снова в Америку, к пуританам. Он входит в узкую улочку и ведёт лошадь по шаткому мостику через речушку, вращающую мельничное колесо. Флотилии стружек из-под плотницкого рубанка плывут по воде, словно корабли на войну. Под ними слабое течение несёт к заливу убойные отбросы и экскременты. Вонь соответствующая. Несомненно, где-то с наветренной стороны притулился свечной заводик, где сало, негодное в пищу, становится свечами и мылом.

— Вы из Европы?

Енох *чувствовал*, что кто-то за ним идёт, но, оборачиваясь, никого не *видел*. Теперь он понимает почему: его тень — мальчишка, подвижный, как

шарик ртути, который невозможно придавить пальцем. На вид ему лет десять. Тут мальчуган решает улыбнуться и раздвигает губы. Из ямок в розовых дёснах лезут коренные зубы, молочные качаются, как вывеска таверны на кожаных петлях. Нет, на самом деле ему ближе к восьми, просто на треске и кукурузе он вымахал не по годам — во всяком случае, по сравнению с лондонскими сверстниками. И не по летам развит во всём, кроме умения себя вести.

Енох мог бы ответить: «Да, я из Европы, где дети обращаются к старшим “сэр”, если вообще обращаются». Однако он не может пропустить терминологическую интересность.

— Значит, вы зовёте это Европой? — спрашивает он. — Там обычно говорят «христианский мир».

— Здесь живут христиане.

— Ты хочешь сказать, христианский мир здесь, — говорит Енох, — а вот я прибыл из какого-то другого места… Хм-м. Быть может, Европа и впрямь более удачный термин.

— А как другие её называют?

— По-твоему, я похож на школьного учителя?

— Нет, но говорите как учитель.

— Так ты кое-что знаешь про школьных учи-

телей?

— Да, сэр, — отвечает мальчишка и осекается, видя, что угодил в капкан.

— И тем не менее в понедельник днём…

— В школе никого нет, все побежали смотреть казнь. Не хочу сидеть и…

— И что?

— Обгонять других сильнее, чем уже обогнал.

— Коль скоро ты обогнал других, то надо привыкать к этому, а не превращать себя в дурачка. Иди, твоё место в школе.

— Школа — место, где учатся, — говорит мальчик. — Если вы соблаговолите ответить на мой вопрос, сэр, я чему-нибудь научусь, и это будет означать, что я в школе.

Мальчонка явно опасен. Поэтому Енох решает принять предложение.

— Можешь обращаться ко мне «мистер Роот». А ты кто?

— Бен. Сын Джосайи. Мой отец — свечник. Почему вы смеётесь, мистер Роот?

— Потому что в большей части христианского мира — или Европы — сыновья свечников не посещают школу. Это особенность… здешнего люда.

Енох едва не сказал «пуритан». В Англии, где

пуритане — воспоминание давно ушедшей эпохи или докучливые уличные проповедники, такой ярлык успешно означает неотёсанных обитателей Колонии Массачусетского залива. Однако здесь всё напоминает Еноху, что правда куда сложнее. В лондонской кофейне можно всуе поминать ислам и магометан, но в Каире таких терминов нет. Здесь — пуританский Каир.

— Я отвечу на твой вопрос, — говорит Енох, прежде чем Бен успевает задать следующий. — Как в других краях называют то место, откуда я прибыл? Что ж, ислам — более крупная, богатая и в некотором смысле более умудрённая цивилизация, объемлющая европейских христиан с востока и с юга, — делит мир всего лишь на три части: их часть, сиречь *дар аль-Ислам;* часть, с которой они состоят в дружбе, сиречь *дар аль-сульх*, или Дом Мира; и всё остальное, сиречь *дар аль-харб*, или Дом Войны. Последнее, вынужден признать, куда лучше слов «христианский мир» описывает края, населённые христианами.

— Я знаю про войну, — самоуверенно говорит Бен. — Она закончилась. В Утрехте подписали мир. Франция получает Испанию. Австрия — Испанские Нидерланды. Мы — Гибралтар, Ньюфаундленд, Сент-Киттс и… — понизив го-

лос, — …работорговлю.

— Да… «Асьенто».

— Тс-с! У нас тут есть противники рабства, сэр, и они опасны.

— У вас есть гавкеры?

— Да, сэр.

Енох пристально изучает мальчика, ибо человек, которого он ищет, тоже своего рода гавкер. Полезно узнать, как смотрят на них в округе менее одержимые собратья. В лице Бена читается скорее осторожность, нежели презрение.

— Но ты говоришь только об одной войне.

— Войне за испанское наследство, — кивает Бен, — причиной которой стала смерть в Мадриде короля Карла Страдальца.

— Я бы сказал, что смерть несчастного была не причиной, а поводом, — замечает Енох. — Война за испанское наследство была лишь второй и, надеюсь, последней стадией великой войны, которая началась четверть столетия назад, во времена…

— Славной революции!

— Как некоторые её называют. Ты и впрямь посещал уроки, Бен, хвалю. Может быть, ты знаешь, что во время Революции английского короля — католика — пнули коленом под зад и посадили

на его место протестантских короля и королеву.

— Вильгельма и Марию!

— Верно. А ты не задумывался, из-за чего протестанты и католики вообще начали воевать?

— У нас в школе чаще говорят про распри между протестантами.

— Ах, да — явление сугубо английское. Это естественно, ибо твои родители попали сюда в результате именно такого конфликта.

— Гражданской войны, — говорит Бен.

— Ваши выиграли Гражданскую войну, — напоминает Енох, — но после Реставрации им пришлось туго, и они вынуждены были бежать сюда.

— Вы угадали, мистер Роот, — говорит Бен, — ибо именно так мой родитель покинул Англию.

— А твоя матушка?

— Уроженка острова Нантакет, мистер Роот. Правда, её отец бежал сюда от жестокого епископа — ах, и епископ, говорят о нём…

— Ну вот, Бен, наконец-то я нашёл изъян в твоих познаниях. Ты имеешь в виду архиепископа Лода, ярого гонителя пуритан — как некоторые называют твоих сородичей, — при Карле Первом. Пуритане в отместку оттяпали голову тому самому Карлу на Чаринг-Кросс в лето Господне тысяча

шестьсот сорок девятое.

— Кромвель, — говорит Бен.

— Да, Кромвель имел к упомянутым событиям некоторое касательство. Итак, Бен. Мы стоим у этой речушки уже довольно долго. Я замёрз. Моя лошадь беспокоится. Мы, как я сказал, отыскали место, в котором твои познания сменяются невежеством. Я с удовольствием исполню свою часть соглашения — чему-нибудь тебя научить, дабы, вернувшись вечером домой, ты мог сказать Джосайе, что пробыл весь день в школе. Впрочем, слова учителя могут разойтись с твоими. Однако взамен я попрошу об одной мелкой услуге.

— Только назовите её, мистер Роот.

— Я приехал в Бостон, чтобы разыскать некоего человека, который, по последним сведениям, проживал здесь. Он старик.

— Старше вас?

— Нет, но выглядеть может старше.

— Тогда сколько ему лет?

— Он видел, как скатилась голова Карла Первого.

— Значит, по меньшей мере шестьдесят три.

— Вижу, ты научился складывать и вычитать.

— А также умножать и делить, мистер Роот.

— Тогда возьми в расчёт вот что: тот, кого я

ищу, отлично видел казнь, ибо сидел на плечах у своего отца.

— Значит, годков ему стукнуло совсем мало, разве что родитель его был не слабого десятка.

— В определённом смысле его родитель и впрямь был не слабого десятка, — говорит Роот, — ибо за двадцать лет до того ему по приказу архиепископа Лода в Звёздной палате отрубили уши и нос, однако он не устрашился, а продолжал обличать монарха. Всех монархов.

— Он был гавкер. — И вновь лицо Бена не выразило презрения. Как же это место непохоже на Лондон!

— Ладно, возвращаясь к твоему вопросу, Бен: Дрейк не обладал исключительной силой или мощью телосложения.

— Значит, сын на его плечах был совсем мал. Сейчас ему примерно шестьдесят восемь. Но я не знаю здесь ни одного мистера Дрейка.

— Дрейк — имя, данное его отцу при крещении.

— А какова же его фамилия?

— Её я пока тебе не скажу, — говорит Енох, ибо человек, которого он ищет, может оказаться здесь на очень плохом счету — если его вообще не повесили на Бостонском лугу.

— Как же я помогу вам отыскать того, сэр, кого вы не хотите назвать?

— Ты можешь отвести меня к чарльстаунскому парому. Насколько мне известно, он обретается по ту сторону реки Чарльз.

— Следуйте за мной, сэр, — говорит Бен, — но я надеюсь, у вас есть серебро.

— О да, серебро у меня есть, — отвечает Енох.

Они огибают возвышенность в северной части города. Здесь от берега отходят пристани, поменьше и постарше большой. Паруса, такелаж, реи и мачты справа по борту сплетаются в огромный гордиев узел, словно буквы на странице в глазах неграмотного крестьянина. Енох не видит ни «Минервы», ни ван Крюйка. Как бы не пришлось ходить по тавернам и наводить справки, то есть терять время и привлекать внимание.

Бен ведёт его прямиком к причалу, от которого готовится отвалить чарльстаунский паром. На палубе толпятся зрители недавней казни. Паромщик говорит, что за лошадь придётся платить отдельно. Енох открывает кошель и заглядывает внутрь. На него смотрит герб испанского короля, оттиснутый на серебре, в разной степени затёртом и порубленном. Имена меняются в зависимости от того, при каком короле эту монету

отчеканили в Новой Испании, но под каждым написано одно: «D. G. HISPAN ET IND REX». Милостью Божией король Испанский и обеих Индий. Похвальба, какую все венценосцы печатают на своих монетах.

Эти слова никого не заботят — большинство всё равно не в силах их прочесть. Существенно, что человек, стоящий на холодном ветру у переправы в Бостоне, не может расплатиться с паромщиком-англичанином английской монетой, которую сэр Исаак Ньютон чеканит на Монетном дворе в лондонском Тауэре. Здесь признают только испанские деньги — те самые, что сейчас переходят из рук в руки на улицах Лимы, Манилы, Макао, Гоа, Бендер-Аббаса, Мокки, Каира, Смирны, Мадрида, Марселя, Мальты и Канарских островов.

Знакомец, провожавший Еноха до лондонских доков месяц назад, сказал: «Золото знает то, что неведомо никому из людей».

Енох встряхивает кошель, пересыпая монеты в надежде, что на поверхность выскочит хотя бы один реал — восьмая часть пиастра; их обычно отбивают от монеты и потому называют битами. Однако он потратил почти все биты на мелкие дорожные нужды. Сейчас в кошельке нет ничего мельче полупиастра — то есть четырёх реалов.

Енох смотрит в проулок и видит кузницу меньше чем на бросок камня от пристани. Пара ударов зубилом, и кузнец изготовит ему разменную монету.

Паромщик читает его мысли. Он не видит, что в кошельке, но слышит тяжёлый звон, не позвякивание мелочи.

— Мы отправляемся, — с довольным видом сообщает он.

Енох, очнувшись, возвращается мыслями на паром и протягивает серебряный полукруг.

— Мальчик со мной, — твёрдо произносит он, — и потом ты доставишь его назад.

— По рукам, — отвечает паромщик.

Бен едва смел на такое надеяться. Хотя мальчику хватило выдержки не высказать этого вслух, для него прокатиться на пароме — всё равно что отправиться с флибустьерами в Карибское море. Он, не касаясь сходней, прыгает с пристани на палубу.

До Чарльстауна меньше мили через устье медлительной реки. Вытянутый зелёный холм усеян длинными узкими стогами за сложенными без раствора каменными оградами. На склоне, обращённом к Бостону, ниже вершины, но выше бесконечных отмелей и заросших рогозом болот,

прилепился город, частью заложенный геометрами, частью разросшийся, как плющ.

Дюжие негры взрывают чёрные воды реки Чарльз длинными, закреплёнными в уключинах вёслами, порождая системы завихрений — они закручиваются и образуют затухающие конические сечения, которые сэр Исаак, наверное, сумел бы проанализировать в голове. «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями». Небо — сплетение визирных нитей туго натянутого джута и оструганных стволов. От порывов ветра парусники на рейде вздрагивают и прядают, словно нервные кони при звуке далёких пушек. Неравномерные волны бьют в дощатые корпуса, по которым ползают, конопатя и смоля щели, босоногие матросы. Кажется, будто корабли смещаются, — параллакс, вызванный движением парома. Енох, которому посчастливилось быть выше остальных пассажиров, вручает поводья Бену и подходит к противоположному борту, чтобы прочесть названия судов.

Он узнает корабль, который ищет, по носовому украшению под бушпритом. Сероглазая женщина в золочёном шлеме дерзко рассекает Северо-Атлантический простор змееносной эгидой и острыми (надо полагать, от холода)

сосками. «Минерва» ещё не подняла якорь (что радует), но тяжело нагружена и, судя по всему, готова к выходу в открытое море. Матросы таскают корзины со свежевыпеченными хлебами, такими горячими, что от них ещё идёт пар. Енох оборачивается к берегу, чтобы прочесть уровень прилива по обросшей ракушками пристани, потом в другую сторону — определить высоту и фазу луны. Скоро начнётся отлив, и «Минерва», скорее всего, готова будет им воспользоваться. Енох наконец различает ван Крюйка (тот стоит на баке и заполняет какие-то бумаги, разложив их на бочке) и посредством некоего дальнодействия убеждает капитана поднять глаза.

Ван Крюйк смотрит в сторону Еноха и застывает на месте.

Енох, сохраняя внешнюю неподвижность, долго смотрит голландцу в глаза, предостерегая от поспешного отплытия.

Колонист в чёрной шляпе пытается завязать дружбу с одним из негров, который почти не говорит по-английски; впрочем, это не помеха, потому что белый выучил несколько слов на каком-то африканском наречии. Негр очень чёрный, на левом плече у него выжжен герб испанского короля. Скорее всего, он из Анголы. Чего

он только не повидал! Его похитили более воинственные африканцы, бросили в яму, заклеймили калёным железом в знак уплаченной пошлины, погрузили на корабль и отправили в холодную страну, населённую бледнокожими. Казалось бы, его уже ничем не проймёшь; однако слова гавкера приводят негра в изумление. Сектант размахивает руками и всё сильнее горячится, явно не только от нехватки слов. Вероятно, он состоит в сношениях с лондонскими собратьями, а коли так, сейчас убеждает ангольца, что тот и другие рабы имеют законное право поднять оружие на господ.

— Ваш конь весьма хорош. Вы привезли его из Европы?

— Нет, Бен. Одолжил в Новом Амстердаме. Я хочу сказать, в Нью-Йорке.

— Почему вы поплыли в Нью-Йорк, коли человек, которого вы ищете, в Бостоне?

— Ближайший корабль в Америку из лондонской гавани отходил именно туда.

— Так вы отправлялись с большой поспешностью!

— Я с большой поспешностью выброшу тебя за борт, если не перестанешь строить умозаключения!

Бен замолкает ровно настолько, чтобы придумать новый тактический манёвр и зайти с другой стороны:

— Хозяин лошади, наверное, ваш близкий друг, коли одолжил вам такого скакуна.

Сейчас Енох должен быть очень осторожен. Хозяин лошади — заметный человек в Нью-Йорке. Если Енох объявит этого джентльмена своим другом, а после наломает в Бостоне дров, то повредит его репутации.

— Не то чтобы друг. Мы впервые увиделись несколько дней назад, когда я постучал в его дверь.

Этого Бен не может взять в толк.

— Тогда с какой стати он вообще пустил вас в дом? Учитывая вашу, прошу прощения, наружность и вооружение? Почему одолжил вам столь ценного скакуна?

— Он впустил меня в дом, потому что на улице происходили беспорядки и я попросил убежища. — Енох косится на гавкера и подходит поближе к Бену. — Вот послушай кое-что интересное: когда наш корабль подошёл к Нью-Йорку, нам предстало необычное зрелище. Тысячи невольников — частью ирландцы, частью ангольцы — бегали по улицам с вилами и горящими голов-

нями. Солдаты преследовали их перебежками и стреляли залпами. Белый дым от мушкетов мешался с чёрным дымом пылающих складов, преображая небосвод в сверкающий искрами плавильный тигель, дивный на вид, но, как предположили мы, негодный для поддержания жизни. Наш лоцман выжидал, пока начавшийся прилив не понудил его подойти к берегу. Мы сошли на пристань, которую буквально заполонили солдаты в красных мундирах.

Рассказ уже начал привлекать непрошеных слушателей, и Енох спешит закончить:

— Так я оказался возле упомянутой двери. Хозяин одолжил мне лошадь, поскольку мы с ним принадлежим к одному обществу, а я тут в некотором смысле по поручению, с этим обществом связанному.

— Обществу гавкеров, сэр? — шепчет Бен, подойдя совсем близко и оглядываясь через плечо на колониста, который распинается перед невольником. Мальчик давно приметил пистолеты и клинки Еноха и, вероятно, сопоставил их с рассказами родственников о деяниях неукротимой секты в героические дни разграбления соборов и цареубийства.

— Нет, это общество философов, — говорит

Енох, пока воображение Бена не разыгралось ещё пуще.

— Философов, сэр!

Енох думал, что мальчик будет разочарован, но у того, напротив, загорелись глаза. Значит, Енох не ошибся: мальчишка опасен.

— Натурфилософов. Тех, кто стремится к естественному знанию. Не путай с другими, которые занимаются…

— Неестественным знанием?

— Меткое словцо. Некоторые считают, что именно неестественное знание повинно в том, что протестанты воюют с протестантами в Англии и с католиками по всему миру.

— Так кто такой натурфилософ?

— Тот, кто пытается избежать разброда в мыслях, следуя тому, что может быть проверено опытом, и строя доказательства в соответствии с законами логики.

Бен только хлопает глазами, и Енох объясняет:

— Подобно судье, который держится фактов, отбрасывая слухи, домыслы и призывы к чувствам. Как когда ваши судьи приехали наконец в Салем и сказали, что тамошние жители повредились в уме.

— И как же называется ваш клуб?

— Лондонское королевское общество.

— Когда-нибудь я буду его членом и судьёй в подобных вопросах.

— Я предложу твою кандидатуру, как только вернусь в Англию, Бен.

— Ваш устав требует, чтобы члены Общества в случае надобности ссужали друг другу коней?

— Нет, но есть правило, по которому они должны платить членские взносы — в которых надобность есть всегда, — а помянутый джентльмен не платил взносы многие годы. Сэр Исаак — президент Королевского общества — им недоволен. Я объяснил нью-йоркскому джентльмену, что сэр Исаак смешает его с дерьмом — приношу извинения, приношу извинения. Мои доводы оказались столь убедительны, что он без долгих слов одолжил мне своего лучшего скакуна.

— Красавчик, — говорит Бен и гладит коню морду.

Тот поначалу не одобрил Бена как нечто маленькое, юркое и пахнущее убоиной, но теперь принял мальчика в качестве одушевлённой коновязи, способной оказывать кой-какие мелкие услуги, как то: чесать нос и отгонять мух.

Паромщику скорее забавно, чем досадно обнаружить, что гавкер охмуряет его раба. Он

отгоняет сектанта прочь. Тот распознаёт в Енохе свежую жертву и пытается поймать его взгляд. Енох отходит и делает вид, будто внимательно изучает приближающийся берег. Паром огибает плывущий по реке плот из исполинских стволов, помеченных «королевской стрелой», — они пойдут на строительство военного флота.

За Чарльстауном начинается редкая россыпь хуторов, соединённых протоптанными дорожками. Самая большая ведёт в Ньютаун, где расположился Гарвардский колледж. Впрочем, внешне он представляется почти сплошным лесом, который дымится, но не горит. Оттуда долетает приглушённый стук топоров и молотков. Редкие мушкетные выстрелы эхом передаются от деревеньки к деревеньке — видимо, это местное средство связи. Енох гадает, как отыщет здесь Даниеля.

Он подходит к разговорчивой компании, которая собралась в центральной части парома, предоставив менее учёным пассажирам (ибо разговаривающие, очевидно, принадлежат к Гарвардскому колледжу) служить им заслоном от ветра. Это компания напыщенных пьяниц и шустроглазых живчиков, пересыпающая фразы плохой латынью. Одни одеты с пуританской

строгостью, другие — по прошлогодней лондонской моде. Грушевидный красноносый господин в высоком сером парике, судя по всему, дон этого импровизированного колледжа. Енох ловит на себе его взгляд и ненароком распахивает плащ, показывая рапиру. Это не угроза, а демонстрация общественного положения.

— К нам пожаловал гость из дальних краёв! Рады приветствовать вас, сэр, в нашей скромной колонии!

Енох совершает все требуемые вежливые телодвижения и произносит все положенные слова. К нему проявляют заметный интерес — явный знак, что в Гарвардском колледже не происходит ничего нового и занимательного. Впрочем, этому заведению всего три четверти века — что здесь может происходить занимательного? Спрашивают, из германских ли он земель, Енох отвечает, что не совсем. Высказывается предположение, что он прибыл с каким-то делом алхимического свойства; догадка блестящая, но ошибочная. Выждав приличествующее время, Енох называет фамилию человека, к которому приехал.

Он никогда не слышал такого зубоскальства. Все как один безумно огорчены, что джентльмен счёл нужным пересечь Северную Атлантику и

теперь реку Чарльз, чтобы испортить себе путешествие встречей с *этим* субъектом.

— Я с ним не знаком, — врёт Енох.

— Тогда позвольте подготовить вас, сэр! — говорит один из собеседников. — Даниель Уотерхауз — человек преклонных лет, но годы обошлись с ним суровее, нежели с вами.

— К нему пристало обращаться «доктор Уотерхауз», не так ли?

Тишину нарушают приглушённые смешки.

— Я не беру на себя смелость кого-либо поправлять, — говорит Енох, — лишь желаю не совершить промашки при личной встрече.

— И впрямь, он считается доктором, — говорит грушевидный дон, — хотя…

— …Доктором чего? — спрашивает кто-то.

— Шестерён, — предполагает другой к бурной радости остальных.

— Нет, нет, — с притворным великодушием утихомиривает их дон, — ибо все шестерни бесполезны, пока отсутствует *primum mobile*, источник движущей силы…

— Франклинов мальчишка! — И все разом смотрят на Бена.

— Сегодня это может быть юный Бен, завтра, допустим, его сменит маленький Годфри Уотер-

хауз. Впоследствии, возможно, это будет мышь в колесе. Но в любом случае *vis viva*[3] сообщается шестерням доктора Уотерхауза посредством чего? Кто подскажет? — Дон сократическим жестом подносит ладонь к уху.

— Кривошипов? — предполагает один.

— Шатунов! — кричит другой.

— Отлично! В таком случае наш коллега Уотерхауз — доктор чего?

— Шатунов! — кричит весь колледж хором.

— И наш доктор шатунов до того предан своей работе, что буквально не щадит живота, — восхищённо продолжает дон. — Ходит с непокрытой головой…

— Вытряхивает графитовую смазку из рукавов, садясь преломить хлеб…

— Лучше перца!

— И дешевле!

— Так, возможно, вы приехали, чтобы вступить в его институт?

— Или закрыть его за долги? — Говорящий заходится от смеха.

— Я слышал про его институт, но ничего о нём не знаю, — говорит Енох Роот.

---

[3] Примечания: 3

Живая сила (*лат.*), она же кинетическая энергия.

Он смотрит на Бена, который покраснел до ушей и, отвернувшись, гладит лошади морду.

— Многие учёные мужи пребывают в таком же неведении — посему не стыдитесь.

— С самого приезда в Америку доктор Уотерхауз подхватил местную инфлюэнцу. Её главный симптом — стремление затевать новые прожекты и начинания вместо того, чтобы исправлять старые.

— Так он не вполне удовлетворён Гарвардским колледжем? — вопрошает Енох.

— О да! Он основал…

— …на собственные средства…

— …и самолично заложил краеугольный камень…

— …краеугольное бревно, если быть точным…

— …в фундамент… как он это называет?

— Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива.

— Где я могу найти институт доктора Уотерхауза? — спрашивает Енох.

— На полпути от Чарльстауна к Гарварду. Идите на скрежет шестерён, покуда не увидите самую маленькую и продымлённую хибарку во всей Америке.

— Сэр, вы — образованный и трезвомыслящий

джентльмен, — говорит дон. — Коль скоро вас влечёт философия, не лучше ли вам направить стопы в Гарвардский колледж?

— Мистер Роот — видный натурфилософ, сэр! — выпаливает Бен, чтобы не разреветься. По тону ясно, что он считает Гарвард прибежищем неестественного знания. — Член Королевского общества!

Вот нелёгкая!

Дон делает шаг вперёд и, заговорщицки ссутулившись, произносит:

— Простите великодушно, сэр. Не знал.

— Пустяки.

— Доктор Уотерхауз, должен вас предостеречь, подпал под влияние герра Лейбница…

— Который украл дифференциальное исчисление у сэра Исаака, — добавляет кто-то в качестве примечания.

— Да, и подобно Лейбницу заражён метафизическими предрассудками…

— …которые суть пережитки схоластики, сэр, несостоятельность которой сэр Исаак продемонстрировал со всей убедительностью…

— …и сейчас трудится как одержимый над созданием машины… построенной по принципам Лейбница… которая, он мнит, будет открывать

новые истины путём *вычислений!*

— Может быть, наш гость прибыл сюда, чтобы изгнать из него Лейбницевых бесов! — предполагает кто-то очень пьяный.

Енох раздражённо прочищает горло, отхаркивая желчь — гумор гнева и сварливого нрава. Он говорит:

— Несправедливо по отношению к Лейбницу называть его просто метафизиком.

Наступает недолгая тишина, затем — общее веселье. Дон криво улыбается и пытается разрядить обстановку:

— Я знаю одну таверну в Гарварде, где смогу развеять ваши прискорбные заблуждения…

Мысль посидеть за кружечкой пива и просветить этих остряков до опасного соблазнительна. Чарльстаунская пристань всё ближе, невольники уже гребут не так широко, «Минерва» натягивает якорные канаты, спеша отплыть, а дело ещё не сделано. Лучше было бы обойтись без лишнего шума, но после слов Бена это невозможно. Ладно, сейчас главное — действовать без промедления.

Кроме того, Енох вне себя.

Он вытаскивает из нагрудного кармана сложенное запечатанное письмо и, за неимением лучших доводов, потрясает им в воздухе.

Письмо берут, изучают — на одной стороне написано «герру доктору Уотерхаузу, Ньютаун, Массачусетс» — и переворачивают. Из обшитых бархатом кармашков извлекаются монокли, и начинается изучение печати — красной, восковой, размером с Бенов кулак. Губы движутся, из пересохших глоток вырывается странное бормотание — попытки читать по-немецки.

До всех профессоров разом доходит. Они пятятся, словно это образчик белого фосфора, внезапно занявшийся огнём. Конверт остаётся в руках у дона. Тот с мольбой во взоре протягивает его Еноху Красному. Енох в отместку не спешит избавить дона от бремени.

— Битте, майн герр…

— Английский вполне уместен, — говорит Енох, — и даже предпочтителен.

По краям одетой в мантии толпы некоторые близорукие профессора исходят досадой от того, что не могут прочесть печать. Коллеги шепчут им что-то вроде «Ганновер» и «Ансбах».

Кто-то снимает шляпу и кланяется Еноху. Другие следуют их примеру.

Они ещё не успевают ступить на чарльстаунский берег, как учёные мужи разводят невероятную суматоху. Носильщики и будущие

пассажиры недоумённо таращатся на паром, с которого несутся крики: «Расступись! Дорогу!» Палуба превращается в плавучую сцену, наполненную плохими актёрами. Енох гадает, неужто эти люди и впрямь рассчитывают, что весть об их усердии достигнет ганноверского двора и слуха их будущей королевы? Возмутительно — они ведут себя так, будто королева Анна уже в могиле, а Ганноверы заняли престол.

— Сэр, если бы вы только сказали мне, что ищете Даниеля Уотерхауза, я бы отвел вас к нему без промедления и без всей этой суматохи.

— Я был неправ, что не открылся тебе, Бен, — говорит Енох.

Задним умом он понимает, что в маленьком городке Даниель должен был заметить такого паренька, как Бен, или Бена бы потянуло к Даниелю, или то и другое вместе.

— Так ты знаешь дорогу?

— Конечно.

— Прыгай в седло, — велит Енох.

Бена не приходится просить дважды. Он взбирается на лошадь, как паук, Енох за ним — с той скоростью, какую дозволяют инерция и достоинство. Они вместе устраиваются в седле, Бен — впереди; его ноги зажаты между коленями

Еноха и лошадиными рёбрами. Конь, не одобривший и паром, и профессуру, направляется к сходням, как только их опускают. Самые проворные доктора бегут за наездниками по улицам Чарльстауна. К счастью, в Чарльстауне не так много улиц, и преследователи скоро отстают. Зловонные прибрежные испарения вызывают в памяти Еноха другой болотистый, грязный, наполненный грамотеями и миазмами городок: Кембридж в Англии.

— В рощу, потом через ручей вброд, — предлагает Бен. — Так мы отвяжемся от профессоров и, может быть, найдём Годфри. С парома я видел, как он шёл сюда с ведром.

— Годфри — сын доктора Уотерхауза?

— Да, сэр. На два года младше меня.

— Его второе имя, часом, не Вильям?

— Откуда вы знаете, мистер Роот?

— Он, весьма вероятно, наречён в честь Готфрида Вильгельма Лейбница.

— Это друг ваш и сэра Исаака?

— Мой — да, сэра Исаака — нет. Но история сия слишком длинна, чтобы рассказывать её сейчас.

— Хватило бы на книгу?

— Даже на несколько — и она до сих пор не завершена.

— Когда же она завершится?

— Порой я страшусь, что никогда. Однако сегодня мы с тобой, Бен, должны приблизить её развязку. Сколько ещё ехать до Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива?

Бен пожимает плечами:

— Он на полпути между Чарльстауном и Гарвардом. Ближе к реке. Больше мили, но, наверное, менее двух.

Лошадь не хочет входить в подлесок, поэтому Бен спрыгивает и на своих двоих отправляется выслеживать юного Годфри. Енох находит место для переправы через ручей и, обогнув рощу с другой стороны, видит Бена, который затеял перестрелку яблоками с более бледным и маленьким пареньком.

Енох спешивается и, в роли миротворца, предлагает мальчикам поехать верхом. Сам он идёт впереди, ведя лошадь под уздцы, но вскоре ту осеняет, что их цель — бревенчатое строение вдалеке, поскольку это единственное строение и к нему ведёт более или менее протоптанная тропа. Теперь лошадь уже не надо вести, достаточно идти рядом и время от времени подкармливать её яблоками.

— Двое мальчишек, затеявших потасовку из-за яблок в унылом, населённом пуританами краю, напомнили мне примечательное событие, свидетелем коего довелось быть давным-давно.

— Где? — спрашивает Годфри.

— В Грантеме, Линкольншир. Это часть Англии.

— Когда, если быть точным? — в эмпирическом запале вопрошает Бен.

— Легче спросить, чем ответить, ибо эти события перемешались в моей памяти.

— А зачем вы отправились в тот унылый край?

— Чтобы мне перестали докучать. В Грантеме жил аптекарь, именем Кларк, человек исключительно назойливый.

— Тогда почему вы поехали *к нему?*

— Он назойливо докучал мне письмами, прося доставить нечто, потребное для его ремесла, и делал это в течение долгих лет — с тех пор как вновь стало возможным отправлять письма.

— Почему это стало возможным?

— В наших палестинах — ибо я обретался в Саксонии, в городе под названием Лейпциг — благодаря Вестфальскому миру.

— В тысяча шестьсот сорок восьмом году! — менторским тоном сообщает Бен к сведению

Годфри. — Конец Тридцатилетней войны.

— А в *его* краях, — продолжает Енох, — благодаря тому, что королевскую голову отделили от остального короля, каковое событие положило конец Гражданской войне и принесло в Англию некое подобие мира.

— В тысяча шестьсот сорок девятом, — торопится сказать Годфри, пока не встрял Бен.

Енох гадает, неужто Даниель так неосторожен, что пичкает сына россказнями о цареубийстве?

— Если мистер Кларк докучал вам письмами *долгие годы*, вы должны были отправиться в Грантем не раньше середины пятидесятых, — говорит Бен.

— Как ему может быть столько лет? — спрашивает Годфри.

— Спроси своего отца, — отвечает Енох. — Я лишь пытаюсь ответить на вопрос «когда». Бен прав. Я не рискнул бы отправиться в путь до, скажем, тысяча шестьсот пятидесятого, ибо даже после цареубийства Гражданская война продолжалась ещё пару лет. Кромвель разгромил роялистов надцатый и последний раз в Вустере. Карл Второй вместе с недобитыми сторонниками еле унёс ноги. К слову, я видел его, а также их в Париже.

— Как вы оказались в Париже? Это огромный крюк на пути из Лейпцига в Линкольншир! — восклицает Бен.

— В географии ты сильнее, чем в истории. Как, по-твоему, мне следовало добираться?

— Через Голландскую республику, разумеется.

— И впрямь, я завернул туда, чтобы навестить господина Гюйгенса в Гааге. Но я не стал *отплывать* из Голландии.

— Почему? Голландцы — куда лучшие мореходы, чем французы!

— Что сделал Кромвель, как только победил в Гражданской войне?

— Даровал всем, включая евреев, право исповедовать любую религию! — шпарит Годфри, будто по катехизису.

— Да, естественно, ради этого и затеяли весь сыр-бор. А что ещё?

— Перебил кучу ирландцев, — предполагает Бен.

— Правда твоя, но я спрашивал о другом. Ответ — Навигационный акт. И морская война с Голландией. Так что, как видишь, Бен, путь через Париж был пусть окольный, но куда более безопасный. К тому же люди, жившие в Париже, тоже мне докучали, а денег у них было больше, нежели у

Кларка. Так что мистеру Кларку пришлось *обождать*, как говорят в Нью-Йорке.

— Почему столько людей вам докучали? — спрашивает Годфри.

— Столько богатыхториев! — добавляет Бен.

—Ториями мы стали называть их значительно позже, — поправляет Енох. — Впрочем, вопрос дельный: что такое было у меня в Лейпциге, в чём нуждались и грантемский аптекарь, и кавалеры, дожидающиеся в Париже, когда Кромвель состарится и умрёт от естественных причин?

— Это что-то имеет отношение к Королевскому обществу? — предполагает Бен.

— Догадка делает честь твоей проницательности. Однако в те времена не существовало ни Королевского общества, ни даже натурфилософии в нашем нынешнем понимании. О да, были люди — такие как Фрэнсис Бэкон, Галилей, Декарт, — которые видели свет и всемерно стремились показать его другим. Но тогда большинство тех, кто интересовался устройством мира, находились в плену у другого подхода, именуемого алхимией.

— Мой отец ненавидит алхимиков! — объявляет Годфри с явной гордостью за отца.

— И я, кажется, знаю почему, — говорит Енох. —

Но сейчас тысяча семьсот тринадцатый год. Многое изменилось. В эпоху, о которой я повествую, была либо алхимия, либо ничего. Я знал многих алхимиков и снабжал их ингредиентами. Среди них попадались английские кавалеры. Тогда это было вполне аристократическим занятием, даже король-изгнанник держал собственную лабораторию. Получив от Кромвеля хорошую трёпку и дав дёру во Францию, они не знали, чем себя занять, кроме как… — Тут, если бы Енох беседовал со взрослыми, он бы перечислил некоторые их занятия.

— Кроме как чем, мистер Роот?

— Кроме как изучением скрытых законов Божьего мироздания. Некоторые — в частности Джон Комсток и Томас Мор Англси, — близко сошлись с мсье Лефевром, аптекарем французского двора. Они довольно много времени тратили на алхимию.

— Но разве это всё не вздорная чушь, ахинея, белиберда и злонамеренное шарлатанское надувательство?

— Годфри, ты живое свидетельство, что яблоко от яблони недалеко падает. Кто я, чтобы спорить в таких вопросах с твоим отцом? Да. Всё это чепуха.

— Тогда зачем вы поехали в Париж?

— Отчасти, если сказать по правде, из желания взглянуть на коронацию французского короля.

— Которого? — спрашивает Годфри.

— Того же, что сейчас! — Бен сердится, что они тратят время на такие вопросы.

— Великого, — говорит Енох. — Короля с большой буквы. Людовика Четырнадцатого. Формальная коронация состоялась в тысяча шестьсот пятьдесят четвёртом. Его помазали святым елеем тысячелетней давности.

— Небось и воняло же от него!

— Кто бы заметил, во Франции-то.

— Где они такое старье раздобыли?

— Неважно. Я подбираюсь к ответу на вопрос «когда». Впрочем, главным образом мною двигало другое: *что-то происходило*. Гюйгенс, гениальный юноша из знатной гаагской семьи, создал маятниковые часы, и это было воистину поразительно. Разумеется, маятник знали давным-давно, однако Гюйгенс сумел сделать нечто упоительно красивое и простое, а в итоге создал механизм, который и впрямь показывал время! Я видел образец в великолепном доме, с дворцовой площади в окна струился вечерний свет… Потом в Париж, где Комсток и Англси корпели

над — ты прав — вздорной чушью. Они искренне стремились к познанию, и всё же им недоставало гениальности Гюйгенса, дерзости придумать совершенно новую дисциплину. Алхимия была единственным подходом, который они знали.

— Так как вы попали в Англию, коли на море шла война?

— С французскими контрабандистами, — отвечает Енох, словно это само собой разумеется. — Итак, многие английские джентльмены поняли, что сидеть в Лондоне и забавляться алхимией безопаснее, нежели воевать с Кромвелем и его Новой Образцовой армией. Поэтому в Лондоне я без труда облегчил свой груз и набил кошель. Потом заглянул в Оксфорд с единственной целью: повидать Джона Уилкинса и забрать несколько экземпляров «Криптономикона».

— Что это? — любопытствует Бен.

— Чудна́я старая книга, жутко толстая, полная всякой дребедени, — вставляет Годфри. — Отец подпирает ею дверь, чтобы не захлопывалась от ветра.

— Это компендиум тайных шифров, который Уилкинс составил несколькими годами раньше, — говорит Енох. — В те дни он был ректором Уодем-колледжа, что в Оксфордском универ-

ситете. Когда я приехал, он собирался с духом, готовясь принести себя в жертву на алтарь натурфилософии.

— Его обезглавили? — спрашивает Бен.

Годфри:

— Подвергли пыткам?

Бен:

— Отрезали ему уши и нос?

— Нет. Он женился на сестре Кромвеля.

— Мне казалось, вы говорили, будто тогда не было натурфилософии, — укоряет Годфри.

— Была — раз в неделю, у Джона Уилкинса на дому, — говорит Енох, — ибо там собирался Экспериментальный философский клуб. Кристофер Рен, Роберт Бойль, Роберт Гук и другие, о которых вы наверняка слышали. К тому времени как я туда добрался, им сделалось тесно, и они перебрались в лавку аптекаря, как наиболее огнестойкую. Этот-то аптекарь, если вспомнить, и убедил меня отправиться на север и посетить мистера Кларка в Грантеме.

— Так мы определили год?

— Сейчас определю, Бен. К тому времени, как я достиг Оксфорда, маятниковые часы, которые я видел у Гюйгенса в Гааге, были наконец усовершенствованы и пошли. Первые часы, достойные

своего названия. Галилей в опытах отмечал время, считая себе пульс либо слушая музыкантов. Начиная с Гюйгенса, мы пользуемся часами, которые показывают — как считают некоторые — *абсолютное* время, единственное и безусловное. Божье время. Книгу о них Гюйгенс написал позже, однако первые часы затикали и эпоха натурфилософии началась в год от Рождества Христова…

1655

Ибо незнание составляет середину между истинным знанием и ложными доктринами.

***Гоббс, «Левиафан»*[4]**

Во всех королевствах, империях, княжествах, герцогствах, архиепископствах и курфюршествах, какие Еноху когда-либо довелось посетить, превращение низших металлов в золото либо попытки его осуществить (а в иных — и самые мысли о нём) карались смертью. Его это не слишком заботило. То был лишь один из тысячи предлогов, по которым правители казнят неугодных и милуют угодных. Например, во Франкфурте-на-Майне, где сам курфюрст-архиепископ фон Шёнберн и его главный приближённый Бойнебург баловались алхимией, можно было чувствовать себя в относительной безопасности.

Другое дело — кромвелевская Англия. С тех пор как пуритане казнили короля и захватили власть, Енох не разгуливал по Республике (как это теперь называлось) в остроконечной шапке со звёздами

---

[4] Примечания: 4
Здесь и далее перев. А. Гутермана.

и полумесяцами. Впрочем, Енох Красный никогда и не был такого рода алхимиком. Звёзды и полумесяцы хороши, чтобы внушить незаслуженное доверие. Да и необходимость добывать деньги поневоле заставит усомниться в собственной способности делать золото из свинца.

Енох выработал в себе навык исключительной живучести. Лишь два десятилетия минуло с тех пор, как лондонская чернь растерзала доктора Джона Лэма. Толпа вообразила, будто именно Лэм наслал смерч, сорвавший землю с могил, в которых лежали жертвы последнего чумного поветрия. Не желая повторить судьбу Лэма, Енох научился двигаться на краю человеческого восприятия, подобно сновидению, которое не застревает в памяти, но улетучивается с первыми мыслями и впечатлениями дня.

Он прожил неделю-две в доме Уилкинса и побывал на собраниях Экспериментального философского клуба. Они стали для него откровением, поскольку на время Гражданской войны всякая связь с Англией прекратилась. Учёным Лейпцига, Парижа и Амстердама она уже представлялась одинокой скалой в Атлантическом море, которую заполонили вооружённые до зубов проповедники.

Глядя в окно на идущие к северу подводы, Енох дивился числу торговцев. С окончанием Гражданской войны предприимчивые негоцианты потянулись в деревню за дешёвыми фермерскими продуктами, которые можно выгодно перепродать в городе. По виду это были в основном пуритане. Стремясь избежать нежелательных попутчиков, Енох тронулся безоблачной лунной ночью и въехал в Грантем до рассвета.

Перед домом Кларка было прибрано, из чего Енох заключил, что миссис Кларк ещё жива. Он отвёл лошадь в конюшню. Во дворе валялись треснутые ступки и тигли в жёлтых, киноварных и серебристых пятнах. Груды угля подле цилиндрической печи усеивала окалина с тиглей — испражнения алхимического процесса, смешанные с более мягким лошадиным и гусиным помётом.

Кларк спиной вперёд выступил из двери в обнимку с переполненной ночной посудиной.

— Сберегите её, — посоветовал Енох голосом, хриплым от длительного молчания. — Из урины можно извлечь много всего занятного.

Аптекарь вздрогнул, потом, узнав Еноха, едва не выронил ночную вазу, однако успел её подхватить и тут же пожалел, что не выронил, — сии

манёвры опасно всколыхнули содержимое сосуда; Кларк, дабы не усугублять колебания, был вынужден семенить на полусогнутых, протаивая на инее следы босых ног, и, наконец, в качестве последней спасительной меры, выплеснуть мочу при появлении на волнах белых барашков. Грантемские петухи, проспавшие приезд Еноха, проснулись и начали воспевать героическое свершение аптекаря.

Солнце несколько часов медлило у горизонта, словно жирная утка, что никак не соберётся взлететь. Задолго до того, как окончательно рассвело, Енох уже был в аптекарской лавке и заваривал настой какой-то экзотической восточной травы.

— Берёте пригоршню, бросаете…

— Вода уже стала бурой!

— …и снимаете с огня, не то получится нестерпимая горечь. Нужно ситечко.

— Вы и впрямь предлагаете мне это попробовать?

— Не только *попробовать*, но и *выпить*. Я делаю это несколько месяцев без какого-либо вреда для себя.

— Если не считать *привыкания*, как я погляжу.

— Вы чересчур подозрительны. Маратхи пьют его круглые сутки.

— Значит, я прав насчёт привыкания!

— Это всего лишь лёгкое взбадривающее средство.

— М-м-м, — заметил Кларк чуть позже, осторожно отхлёбывая из чашки. — Какие недуги оно лечит?

— Решительно никаких.

— А, тогда другое дело… как это зовётся?

— Ч'хай, шай, цха или тья. Я знаю одного голландского купца, у которого в Амстердаме лежат тонны этой травы.

Кларк хихикнул.

— О нет, Енох, не втравливайте меня в заморскую торговлю. Этот чхай довольно безобиден, но едва ли англичане когда-либо согласятся пить нечто настолько иноземное.

— Отлично, тогда поговорим о других товарах.

Отставив чашку с шаем, Енох полез в седельные сумы и достал мешочки жёлтого сульфура, собранного на склоне огнедышащей итальянской горы, продолговатые, с палец, слитки сурьмы, склянки с меркурием, крошечные глиняные тигельки, реторты, спиртовки и книги с гравюрами, изображающими устройство различных печей. Всё это Енох разложил на прилавке и конторках, сообщая о каждом предмете несколько

слов. Кларк стоял рядом, сцепив пальцы, отчасти от холода, отчасти — чтобы не потянуться к разложенному добру. Годы прошли, отшумела Гражданская война, голова короля скатилась на эшафоте с тех пор, как Кларк держал в руках что-либо подобное. Он воображал, будто адепты на Континенте всё это время постигали последние тайны Божьего мироздания. Зато Енох знал, что европейские алхимики — такие же люди, как Кларк; они ждут от него вестей, что некий английский учёный в тиши и одиночестве нашёл способ получить из низшего, плотного, существенно шлакового вещества, составляющего мир, философскую ртуть — квинтэссенцию Божьего присутствия во Вселенной, ключ к превращению металлов, средство обрести бессмертие и совершенную мудрость.

Енох был не столько торговцем, сколько вестником. Серу и ртуть он привёз в качестве даров, деньги взял, чтобы покрыть расходы. Самый главный груз хранился у него в голове. Они с Кларком проговорили не один час.

Наверху послышались сонная возня, звуки шагов и пронзительные голоса. Лестница загудела и застонала, как застигнутый шквалом корабль. Служанка разожгла огонь и сварила овсянку.

Миссис Кларк встала и раздала кашу детям — явно несообразному их количеству.

— Неужто столько времени прошло? — спросил Енох, пытаясь по голосам сосчитать юных едоков в соседней комнате.

Кларк сказал:

— Это не наши.

— Жильцы?

— Некоторые окрестные йомены отправляют сыновей в школу моего брата. У нас есть комната наверху, и моя жена любит детей.

— А вы?

— Смотря каких.

Юные квартиранты расправились с овсянкой и ринулись к дверям. Енох подошёл к окну. В решетчатый переплёт были вставлены маленькие, с ладонь, ромбы зеленоватого пузырчатого стекла. Каждый ромбик представлял собой призму и отбрасывал в комнату миниатюрные радуги. Дети розовыми пятнами прыгали из ромбика в ромбик, пестря, дробясь и собираясь вновь, словно шарики ртути на поверхности стола. Впрочем, это была лишь некоторая гипербола того, как Енох обычно воспринимал детей.

Один из них, хрупкий и белокурый, остановился перед окном и заглянул внутрь. Вероятно,

он был наблюдательнее других, раз понял, что у мистера Кларка сегодня гость, — может быть, различил приглушённые голоса или услышал незнакомое ржание из конюшни. А может, он мучился бессонницей и через щёлочку в стене видел, как Енох на рассвете прошёл через двор. Мальчик сложил ладони трубкой, отгораживаясь от периферического света — его руки словно забрызгало радужными переливами. С одной свешивалось какое-то приспособление — игрушка или оружие на бечёвке.

Товарищ позвал его; мальчик обернулся с чрезмерной готовностью и упорхнул, как воробышек.

— Мне пора, — сказал Енох, сам не зная почему. — Наши собратья в Кембридже наверняка прослышали, что я побывал в Оксфорде, и сгорают от нетерпения.

С непреклонной вежливостью он отверг все завуалированные попытки Кларка отсрочить прощанье: отказался от каши, на предложение вместе помолиться ответил: «В другой раз» — и решительно заверил, что отдыхать будет уже в Кембридже.

У лошади было всего несколько часов на сон и еду. Енох одолжил её у Джона Уилкинса; не желая

утомлять чужую лошадь, он взял её под уздцы и, развлекая беседой, повёл вдоль главной улицы Грантема по направлению к школе.

Довольно скоро он приметил питомцев мистера Кларка. Те нашли камешки, которые нужно попинать, собак, с которыми необходимо свести знакомство, и несколько яблок, ещё висящих на ветках. Енох остановился в тени длинной каменной стены и стал смотреть, как будут добывать яблоки. Очевидно, план составили загодя — скорее всего, шёпотом в спальне. Один из мальчишек взобрался на яблоню и одной ногой наступил на ветку, слишком тонкую, чтобы выдержать его вес. Замысел состоял в том, чтобы её пригнуть — тогда самый высокий сможет допрыгнуть до яблока.

Худенький мальчуган восторженно смотрел, как прыгает рослый товарищ. Он составил свой собственный план — приготовил тот самый камень на бечёвке, который Енох видел через окно. Он раскрутил бечёвку и забросил камень на ветку, потом потянул её вниз. Высокий мальчик с досадой отошёл в сторону, но худенький продолжал обеими руками держать верёвку, убеждая товарища принять яблоко в дар. Енох едва не застонал вслух, видя страстную влюблённость

в его глазах.

На долговязого мальчика смотреть было куда менее приятно. Он желал яблоко, но подозревал подвох. Наконец он быстрым движением сорвал плод и, стиснув добычу в кулаке, пристально взглянул на светловолосого, пытаясь разгадать его мотивы, ничего не понял и окрысился. Он надкусил яблоко — лицо светловолосого осветилось почти физическим удовольствием. Мальчик, который пытался пригнуть ветку, спустился на землю и сумел сдёрнуть бечёвку с ветки. Потом изучил, как она привязана к камню, и выбрал агрессивную тактику.

— Ну ты у нас и кружевница! — выкрикнул он.

Однако светловолосый мальчик смотрел только на предмет своего обожания.

Тот сплюнул на землю и перебросил надкушенное яблоко через ограду, где две свиньи немедленно затеяли из-за него драку. Дальше всё стало настолько невыносимо, что Еноху захотелось оказаться где-нибудь в другом месте.

Двое глупых мальчишек тащились по дороге за третьим, пялясь во все глаза, словно впервые его увидели — увидели часть того, что различил Енох. До Еноха долетали их издёвки: «Что у тебя на руках? Как ты говоришь? Краска?! Зачем? Хо-

рошенькие картиночки рисовать? Как ты сказал? Для мебели? Я не видел никакой мебели. Ах, для кукольной мебели?!»

Прожжённого эмпирика Еноха не интересовали мелкие томительные подробности того, как именно будет разбито сердце светловолосого мальчика. Он вернулся к яблоне, чтобы взглянуть на приспособление.

Мальчик заключил камень в верёвочную сетку: две спирали, навитые одна по часовой стрелке, другая против, так что на пересечении образовались ромбы, как в свинцовом переплёте окна. Енох не думал, что совпадение случайно. Сетка вначале была неровной, но, завершив первый ряд узлов, мальчик понял, сколько верёвки уходит на сам узел, так что к концу достиг постоянства зодиакальной прецессии.

Енох быстрым шагом направился к школе и поспел как раз к началу неизбежной драки. У белокурого мальчика были красные глаза и рвота на подбородке — очевидно, его ударили в живот. Другой ученик — в каждой школе находится такой заводила — взял на себя роль церемониймейстера и подзадоривал бойцов, главным образом меньшего, как оскорблённую и слабейшую сторону. К изумлению и восторгу

школяров, белокурый мальчик выступил вперёд и сжал кулаки.

Енох покамест смотрел на него с одобрением. Некоторая драчливость будет мальчику только на пользу. Талант — не редкость, редкость — умение выжить при своих талантах.

Драка началась. Ударов было нанесено совсем немного. Меньший из бойцов ловко подставил подножку, и его противник плюхнулся на зад. Светловолосый коленом ударил его в пах, потом под дых, потом придавил горло. Внезапно долговязый начал приподниматься, но лишь потому, что невысокий пытался оторвать ему оба уха. Словно крестьянин, влекущий вола за кольцо в носу, он за уши подтащил обидчика к ближайшей стене — это оказался фасад огромной, старинной грантемской церкви — и принялся возить лицом о камень, словно пытался протереть кожу до кости.

До сего момента мальчишки ликовали. Даже в Енохе победа слабого пробудила (на первой своей стадии) приятную гордость. Впрочем, дальше лица у школяров вытянулись, некоторые повернулись и убежали. Белокурый мальчик пришёл в некоего рода экстаз — он дрожал, как в любовном упоении. Тело — мёртвый балласт, препятству-

ющий расцветанию духа, — не могло вместить его страсть. Наконец какой-то взрослый — брат Кларка? — выскочил из школы и заспешил через двор к церкви неверной походкой человека, непривычного к столь быстрой ходьбе, сжимая в руках трость, но не касаясь ею земли. От ярости он не мог выговорить ни слова и даже не пытался разнять дерущихся, лишь, приблизившись, принялся лупить тростью по воздуху, словно слепец, отбивающийся от медведя. Довольно скоро он подобрался к светловолосому мальчику, упёрся ногами в землю и принялся за работу. Каждый свист трости завершался звонким ударом. Несколько школяров теперь осмелились подойти. Они оттащили белокурого мальчика от пострадавшего, который тут же скорчился под стеной в позе эмбриона, держа ладони перед окровавленным лицом, словно раскрытую книгу. Учитель поворачивался вслед за целью, как следящий за кометою телескоп, однако мальчик, похоже, ещё не почувствовал ударов; на его лице застыло то несломимое праведное торжество, с каким, по предположению Еноха, Кромвель мог наблюдать за избиением ирландцев в Дроэде.

Мальчика отволокли в школу, чтобы наказать основательнее. Енох поехал назад в аптеку,

преодолевая глупое желание проскакать через городок во весь опор, словно кавалер.

Кларк попивал тья и жевал галету. Он уже на несколько страниц углубился в новый алхимический трактат; губы с налипшими на них крошками шевелились, проговаривая латинские слова.

— Кто он? — вопросил Енох, входя в дверь.

Кларк сделал вид, будто не понимает. Енох пересёк комнату и отыскал лестницу. В конце концов, его не слишком интересовал ответ: та или иная английская фамилия, какая разница?

На втором этаже располагалась странной формы мансарда с грубо отёсанными балками и оштукатуренными стенами, на которых кое-где сохранились следы побелки. Енох нечасто бывал в детских, но они всегда представлялись ему подобием брошенного в спешке разбойничьего притона, где случайно забредший констебль видит бесчисленные улики странных, хитроумных, часто опрометчивых замыслов и плутней в разной стадии разработки. Он замер в дверях и собрался с мыслями, как хороший эмпирик, желая всё увидеть и ничего не нарушить.

На стенах виднелось то, что Енох поначалу принял за небрежные следы мастерка. Когда

глаза привыкли к полумраку, он понял, что питомцы мистера и миссис Кларк рисовали на стенах, — видимо, углём из камина. Было ясно видно, какие картинки кому принадлежат. Часть механически воспроизводила карикатуры, какие, очевидно, рисовали в школе дети постарше. Другие — обычно ближе к полу — являли собой карты прозрений, манифесты ума, всегда чёткие, временами прекрасные. Енох не ошибся в предположении, что мальчик на редкость наблюдателен. То, что другие не видели либо не замечали из умственного упрямства, он впитывал с жаром.

В мансарде стояли четыре узенькие кровати. Раскиданные по полу игрушки были в основном мальчишескими, но возле одной кровати преобладали оборки и ленты. Кларк упоминал воспитанницу. Енох приметил кукольный домик и целый клан тряпичных кукол на разных стадиях онтогенеза. Здесь, очевидно, произошла встреча интересов. Кукольную мебель создали те же ловкие руки и тот же упорядоченный ум, который придумал, как обвязать камень бечёвкой. Мальчик соорудил ротанговые столы из пучков соломы, плетёные креслица из ивовых прутиков. Алхимик в нем прилежно скопировал рецепты

из старого соблазнителя пытливых юных умов, «Трактата о тайнах Природы и Искусства» Бейтса, чтобы получить красители из растений и составить краски.

Он пытался рисовать других мальчиков, пока те спят — только в это время они не двигались и не делали гадости. Художнику ещё не хватало умения на грамотный портрет, но порою Муза водила его рукой, и тогда ему удавалось запечатлеть красоту в изгибе скулы или ресниц.

Были сломанные и разобранные детали механизмов, которые поначалу поставили Еноха в тупик. Позже, пролистав тетради, в которые мальчик списывал рецепты, он обнаружил наброски крысиных и птичьих сердец, которые, судя по всему, препарировал юный исследователь. После этого крохотные механизмы обрели смысл. Ибо что такое сердце, как не модель вечного двигателя? И что такое вечный двигатель, как не попытка человека воспроизвести работу сердца, овладеть его неведомой силой и поставить её себе на службу?

Аптекарь, заметно нервничая, поднялся к Еноху в мансарду.

— Вы что-то затеяли, да? — спросил Енох.

— Хотите ли вы этим сказать…

— Он попал к вам случайно?

— Не совсем. Моя жена знакома с его матерью. Я видел мальчика.

— И, приметив его задатки, не могли устоять.

— У него нет отца. Я подал матери совет. Она женщина весьма достойная и добродетельная. Наученная читать-писать…

— Но слишком глупая, чтобы понять, кого произвела на свет?

— О, да!

— Вы взяли мальчика под свою опеку и, когда он проявил интерес к алхимическому искусству, не стали ему препятствовать?

— Разумеется! Енох, может быть, он — избранный.

— Нет, — сказал Енох. — Во всяком случае, не тот избранный, о котором вы думаете. Да, он будет великим эмпириком. Может быть, ему суждены великие свершения, которых нам сейчас не дано даже вообразить.

— Енох, о чём таком вы говорите?

У Еноха заболела голова. Как объяснить, не выставив Кларка глупцом, а себя — шарлатаном?

— Что-то происходит.

Кларк подвигал губами и стал ждать объяснений.

— Галилей и Декарт были только предвестниками. Что-то происходит прямо сейчас. Ртуть поднимается в земле, как вода в колодце.

Енох не мог прогнать воспоминание об Оксфорде, где Гук, Рен и Бойль обмениваются мыслями настолько стремительно, что между ними практически летают молнии. Он решил зайти с другой стороны.

— В Лейпциге есть мальчик, подобный этому. Отец недавно умер, не оставив ему ничего, кроме обширной библиотеки. Мальчик начал читать книги. Ему всего шесть.

— Эка невидаль! Многие дети читают в шесть.

— На немецком, на латыни, на греческом.

— При должном наставлении…

— Вот и я о том же. Учителя убедили мать запереть от мальчика библиотеку. Я об этом проведал. Поговорил с матерью и заручился обещанием, что маленький Готфрид получит беспрепятственный доступ к книгам. За год он самостоятельно выучил греческий и латынь.

Кларк пожал плечами.

— Отлично. Может быть, маленький Готфрид и есть избранный.

Еноху давно следовало понять, что разговор бесполезен, тем не менее он предпринял новый

заход.

— Мы эмпирики, мы презираем схоластов, которые зубрили старые книги и отвергали новые. Это хорошо. Однако, возложив упования на философскую ртуть, мы заранее решили, что хотим отыскать, а это всегда ошибка.

Кларк только больше занервничал. Енох решил испытать другую тактику.

— В седельной сумке у меня лежат «Начала философии» Декарта, последнее сочинение, которое он написал перед смертью и посвятил юной Елизавете, дочери Зимней королевы.

Кларк изо всех сил делал вид, будто внимательно слушает, словно университетский студент, не отошедший от вчерашней попойки. Енох вспомнил камень на бечёвке и решил заговорить о чём-нибудь более конкретном.

— Гюйгенс сделал часы, в которых время отмеряет маятник.

— Гюйгенс?

— Голландский учёный. Не алхимик.

— Хм.

— Он придумал маятник, который всегда совершает мах за определённое время. Соединив его с часовым механизмом, он собрал идеально точный прибор для измерения времени. Тиканье

маятниковых часов делит время бесконечно, как кронциркуль отмеряет лиги на карте. С помощью двух приспособлений — часов и кронциркуля — мы можем измерить протяжённость и длительность. Вместе с новым анализом, который предложил Декарт, это позволит нам описывать мироздание и, возможно, предсказывать будущее.

— А, ясно! — сказал Кларк. — Этот ваш Гюйгенс — кто-то вроде астролога?

— Нет, нет, нет! Он не астролог и не алхимик. Он — нечто совершенно новое. Будут и ещё такие, как он. Уилкинс в Оксфорде пытается собрать их вместе. Возможно, они добьются большего, чем алхимики. — Если нет, подумал Енох, мне будет очень жаль. — Я хочу сказать, мальчик может стать одним из подобных Гюйгенсу.

— Так вы хотите, чтобы я отвратил его от Искусства? — ужаснулся Кларк.

— Коль скоро он будет проявлять интерес — нет. Однако сверх того не понуждайте его — пусть следует собственным влечениям. — Енох взглянул на портреты и чертежи по стенам, примечая вполне толково построенную перспективу. — Вижу, он заинтересовался математикой.

— Не думаю, что он создан быть простым счёт-

чиком, — предупредил Кларк. — Дни напролёт сидеть над тетрадями, корпеть над таблицами логарифмов, кубическими корнями, косинусами…

— Благодарение Декарту, теперь математикам есть чем заняться помимо этого, — промолвил Енох. — Скажите брату, чтобы показал мальчику Евклида, и пусть тот выбирает сам.

Разговор не обязательно происходил именно так. Енох имеет свойство обходиться с воспоминаниями, как шкипер — с корабельным имуществом: что-то подтянуть, что-то подлатать или просмолить, нужное закрепить понадёжнее, ненужное швырнуть за борт. Беседа с Кларком могла заходить в тупик гораздо чаще, нежели ему помнится. Вероятно, много времени ушло на расшаркивания. Так или иначе, разговор занял бóльшую часть того короткого осеннего дня, потому что Енох выехал из Грантема уже вечером. По пути к Кембриджу он ещё раз миновал школу. Все мальчики разошлись по домам, за исключением одного, которого в наказание оставили соскабливать собственное имя с подоконников и скамей. Видимо, брат Кларка давно приметил эти надписи, но берёг их до какой-нибудь серьёзной провинности.

Вечернее солнце светило в открытые окна.

Енох подъехал к школе с северо-западной стены, чтобы случайный наблюдатель увидел лишь длинную тень в плаще с капюшоном. Он довольно долго смотрел на мальчика. Закатное солнце багрило и без того красное от натуги лицо. Мальчик истреблял надписи усердно и даже с жаром, как будто это жалкое место недостойно нести его собственноручную подпись. С одного подоконника за другим исчезало имя: «И. НЬЮТОН».

Ньютаун, Колония Массачусетского залива

До такой степени английские Колонии приумножились в Размерах и Богатстве, что иные, хоть и по избытку Невежества, опасаются, как бы они не взбунтовались супротив английского Престола и не отложились в независимую Державу. Верно, опасения сии нелепы и беспочвенны, но успешно подтверждают то, что я сказал выше о росте этих Колоний и о процветании ведущейся в них Коммерции.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

12 октября 1713

Порою кажется, что все перебрались в Америку. Парусников в Северной Атлантике — что рыбачьих лодок на Темзе, и в океане пролегла уже более или менее наезженная колея. Еноху мнится, что его появление на пороге Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива нимало не удивит её основателя. Однако при виде Еноха Даниель Уотерхауз едва

не проглатывает зубы, и не только потому, что полá Енохова плаща сбивает на пол высокую стопку карточек. Мгновение Енох боится, что хозяина хватил апоплексический удар и последним вкладом доктора Уотерхауза в деятельность Королевского общества, после более чем полувекового служения, станет заспиртованное в стеклянной банке измученное сердце. Первую минуту разговора доктор проводит полупривстав, с открытым ртом и держась левой рукой за грудь. Это может быть началом учтивого поклона либо торопливой попыткой скрыть, что рубашка под камзолом покрыта грязными пятнами, бросающими тень на усердие молодой докторской супруги. А может быть, это *философическое* изыскание и доктор считает себе пульс, что было бы отрадной новостью, поскольку сэр Джон Флойер только-только описал упомянутый метод в своей книге, и, раз Даниель Уотерхауз о нём знает, значит, он следит за последними достижениями лондонской науки.

Енох пользуется затишьем, чтобы сделать другие наблюдения и определить эмпирически, так ли Даниель Уотерхауз выжил из ума, как уверяет гарвардская профессура. По шуточкам на пароме Енох ожидал увидеть исключительно

шестерни и кривошипы. И впрямь, он примечает небольшую механическую мастерскую в углу — как он опишет это строение в докладе Королевскому обществу? «Бревенчатый домик», будучи терминологически правильным определением, заставляет представить одетых в шкуры дикарей. «Прочная недорогая лаборатория, воздвигнутая с использованием местных строительных материалов»? Годится. Впрочем, так или иначе, бóльшая часть пространства отведена не железу, а чему-то куда более эфемерному — карточкам. Они составлены в колонны, которые обрушились бы от трепетания бабочкина крыла, если бы не были сложены в террасы, лестницы и бастионы. Всё сооружение покоится на плитках, уложенных без раствора поверх земляного пола. Енох предполагает, что это необходимая предосторожность, иначе карточки разбухнут от грунтовых вод. Протиснувшись дальше в комнату и заглянув за карточный брустверь, он видит письменный стол, заваленный всё теми же карточками. Из чернильниц торчат облезлые серые перья, сломанные и погнутые валяются на полу, вперемешку с птичьими хрящами и пухом.

Якобы стремясь исправить причинённый ущерб, Енох начинает поднимать с пола рас-

сыпанные карточки. У каждой наверху стоит довольно большое число, всегда нечётное, под ним — длинный ряд нулей и единиц. Поскольку последняя цифра всегда 1 — свидетельство нечётности, Енох предполагает, что это то же самое число в двоичной записи, которую последнее время предпочитает Лейбниц. Дальше написано слово или короткая фраза, на каждой карточке свои. Поднимая их и складывая в стопку, он читает: «Ноев Ковчег», «Мирные договоры», «Мембранофоны (напр., мирлитоны)», «Концепция бесклассового общества», «Зев и его наросты», «Чертёжные инструменты (напр., рейсшины)», «Скептицизм Пиррона из Элиды», «Требования контрактов по страхованию морской торговли», «Камакура бакуфу», «Ошибочность суждений, не основанных на знании», «Агаты», «Порядок рассмотрения фактических вопросов в римском гражданском суде», «Мумификация», «Пятна на Солнце», «Органы размножения бриофитов (напр., печёночника)», «Евклидова геометрия — равенство и подобие», «Пантомима», «Избрание и правление Рудольфа Габсбургского», «Опыты», «Несимметричные диадические отношения», «Борьба за инвеституру», «Фосфор», «Традиционные средства от мужского бессилия»,

«Арминианская ересь» и…

— Некоторые представляются мне чересчур сложными для монад, — говорит Енох, пытаясь разрядить обстановку. — Вот хотя бы «Развитие португальского господства в Центральной Африке».

— Взгляните на число вверху карточки, — отвечает Уотерхауз. — Это произведение пяти простых чисел: для «развития», для «португальского», для «господства», для «центральной» и для «Африки».

— Ах, так это не монада, а составное множество.

— Да.

— Трудно определить, когда карточки лежат в беспорядке. Вы не думаете, что их следует разложить?

— По какому принципу? — вопрошает Уотерхауз.

— О нет, я не стану ввязываться в *этот* спор.

— Ни одна линейная система каталогизации не в силах передать многомерность знания, — напоминает Уотерхауз. — Зато коли каждой присвоить уникальное число: простые — монадам, произведения простых — составным множествам, то их упорядочение станет лишь

вопросом вычислений… *мистер Роот*.

— Доктор Уотерхауз. Простите за вторжение.

— Пустяки. — Уотерхауз наконец окончательно садится и возвращается к прерванному занятию — начинает со скрежетом водить напильником по куску металла. — Напротив, весьма приятная неожиданность видеть вас здесь, негаданно, столь *невероятно хорошо сохранившимся*, — кричит он, перекрывая звон металла и визг нагревшегося инструмента.

— Телесная крепость предпочтительнее своей альтернативы, но не всегда удобна. Люди, не столь бодрые телом, вечно гоняют меня с поручениями.

— Долгими и скучными, как это.

— Тяготы, опасности и скука долгого пути вполне искупаются для меня радостью видеть вас в плодотворных трудах и столь добром здравии.

Или что-то в таком роде. Это предварительный обмен любезностями, который много времени не займёт. Если бы Енох вернул комплимент, хозяин дома только бы фыркнул: никто не скажет, будто он хорошо сохранился в том же смысле, что и его собеседник. Даниель выглядит на свои годы. Однако он жилистый, с чистыми небесно-голубыми глазами, челюсть и руки не трясутся, он не мям-

лит, во всяком случае теперь, преодолев первый шок от появления Еноха (и вообще кого-либо) на пороге института. Даниель Уотерхауз почти совершенно лыс, только на затылке белеют редкие седины, словно снег, прибитый ветром к стволу дерева. Он не просит извинений за непокрытую голову и не тянется за париком; очень может статься, что у него вовсе нет парика. Глаза большие и склонны уставляться на собеседника, что, вероятно, тоже не укрепляет реноме доктора Уотерхауза. Крючковатый нос нависает над узким ртом скряги, надкусившего сомнительную монету. Уши удлинённые и покрыты прозрачным белым пушком наподобие младенческого. Такое несоответствие между органами ввода и вывода словно говорит, что человек этот знает и видит больше, нежели высказывает.

— Вы теперь колонист, или…

— Я здесь, чтобы повидать вас.

Большие глаза смотрят спокойно и понимающе.

— Так вы с визитом! Какой героизм — учитывая, что простой обмен письмами куда менее чреват морской болезнью, пиратами, цингой и массовыми утоплениями.

— Кстати о письмах. Вот. — Енох извлекает на

свет эпистолу.

— Внушительная печать. Написал явно кто-то чрезвычайно важный. Не в силах выразить, как я потрясён.

— От близкой знакомой Лейбница.

— Курфюрстины Софии?

— Нет, от другой.

— А. И чего принцесса Каролина от меня хочет? Должно быть, чего-то ужасного, иначе не отправила бы вас мне докучать.

Доктор Уотерхауз стыдится своего первого испуга — отсюда эта несколько наигранная сварливость. Впрочем, так и лучше — Еноху кажется, что тридцатилетний Уотерхауз, таящийся в старике, проглядывает сквозь дряблую кожу, словно завёрнутая в мешковину статуя.

— Скажите лучше: выманить вас из добровольного заточения, доктор Уотерхауз! Давайте найдём таверну…

— Мы найдём таверну после того, как я услышу ответ. Чего она от меня хочет?

— Того же, что всегда.

Доктор Уотерхауз сникает. Тридцатилетний внутри него ретируется, остаётся смутно знакомый старый хрыч.

— Мне следовало сразу догадаться. На что ещё

годится никчёмный монадолог-вычислитель, одной ногой стоящий в могиле?

— Потрясающе!

— Что?

— Мы знакомы… дайте-ка вспомнить… лет тридцать-сорок, столько же, сколько вы знаете Лейбница. За эти годы я видел вас в весьма незавидных коллизиях, но, если не ошибаюсь, впервые слышу, чтобы вы ныли.

Даниель тщательно обдумывает эти слова и неожиданно смеётся.

— Приношу извинения.

— Полноте!

— Я думал, здесь мою работу оценят. Я надеялся создать заведение, которое стало бы для Гарварда тем же, что колледж Грешема — для Кембриджа. Воображал, будто найду здесь учеников и последователей, хотя бы одного. Кого-то, кто помог бы мне построить Логическую Машину. Тщетные обольщения! Вся механически одарённая молодёжь бредит паровыми машинами. Нелепость! Чем плохи мельничные колёса? Здесь полно рек! Вот одна течёт прямо у вас под ногами!

— Юные умы всегда влеклись к механизмам.

— Можете мне не рассказывать. В мои университетские годы чудом была *призма*. Мы с Исааком

покупали их на Стаурбриджской ярмарке — маленькие драгоценности, укутанные в бархат. Возились с ними месяцами.

— Ныне этот факт широко известен.

— Теперешних молодых тянет во все стороны разом, словно четвертуемого преступника. Или восьмеруемого. Или шестнадцатируемого. Я уже вижу, как это происходит с юным Беном, и вскоре то же самое будет с моим собственным сыном. «Изучать мне математику? Евклидову или Декартову? Анализ бесконечно малых по Ньютону или по Лейбницу? Или податься в эмпирики? И коли да, то чему себя посвятить: препарировать животных, классифицировать растения или выплавлять неведомые вещества в тиглях? Катать шары по наклонной плоскости? Возиться с электричеством и магнитами?» Что после этого может привлечь их в моей лачуге?

— Не объясняется ли недостаток интереса отчасти тем, что проект ваш, как всем ведомо, внушён Лейбницем?

— Я не пошёл по его пути. Он собирался использовать для двоичных знаков скатывающиеся шарики и совершать логические операции, пропуская их через механические воротца. Весьма изобретательно, но не очень практично. Я ис-

пользую стержни.

— Поверхностно. Спрашиваю ещё раз: не связана ли ваша непопулярность с тем, что англичане поголовно считают Лейбница низким плагиатором?

— Странный поворот разговора. Вы хитрите?

— Лишь самую малость.

— Ах эти ваши континентальные замашки!

— Просто спор о приоритете за последнее время перерос в нечто невыносимо гнусное.

— Ничего другого я не ожидал.

— Думаю, вы не представляете, насколько всё это прискорбно.

— Вы не представляет, насколько хорошо я знаю сэра Исаака.

— Вы видели последние памфлеты, которые летают по Европе, без подписи, без даты, даже без имени издателя? Анонимные обзоры, подкладываемые, как мины, в научные журналы? Внезапные разоблачения доселе безвестных «ведущих математиков», вынужденных подтверждать либо опровергать мнения, высказанные давным-давно в приватной корреспонденции? Великие умы, которые в другую эпоху свершали бы открытия коперниковского масштаба, растрачивают силы в роли наушников и наймитов той

или другой враждующей стороны! Новоявленные журналишки возносятся до небес учёного общения, потому что какой-то холуй тиснул на последних страницах очередной подлый выпад! «Состязательные» задачи летают через Ла-Манш с единственной целью доказать, что Лейбницево дифференциальное исчисление — оригинал, а Ньютоново — низкопробная подделка, либо наоборот! Репутации перебрасываются на острие шпаг! Вам это известно?

— Нет, — говорит Уотерхауз. — Я перебрался сюда от европейских интриг.

Его взгляд падает на письмо. Роот невольно смотрит туда же.

— Исключительно причуда судьбы, — говорит Енох, — что юный Готфрид, не имея средств, в поисках места — любого, лишь бы оно дало ему свободу работать, — оказался при дворе мелкого немецкого князька. Который в результате скучной путаницы браков, смертей, переходов в другую веру, войн, революций, выкидышей, обезглавливаний, врождённого слабоумия, отлучения от церкви и прочих событий в европейских правящих домах, а главным образом в результате смерти всех семнадцати детей королевы Анны, оказался ближайшим наследником трона Ан-

глии и Шотландии, или Великобритании, как её теперь положено называть.

— Одни говорят «судьба». Другие…

— Не будем об этом.

— Хорошо.

— Анна при смерти, Ганноверы пакуют островерхие шлемы и расписные пивные кружки, а в промежутках берут уроки английского. София ещё может взойти на английский престол, пусть и ненадолго. Однако раньше или позже Георг-Людвиг станет королём Ньютона и — поскольку сэр Исаак по-прежнему возглавляет Монетный двор — его начальником.

— Понимаю, к чему вы клоните. Это в высшей степени неловко.

— Георг-Людвиг — воплощение неловкости. Он едва ли знает и едва ли захочет знать, а если бы узнал, то, вероятно, нашёл бы забавным. Зато его невестка-принцесса — автор этого письма и, вероятно, тоже будущая королева Англии — состоит в близкой дружбе с Лейбницем и одновременно восхищается Ньютоном. Она ищет примирения.

— Она хочет, чтобы голубь пролетел между Геркулесовыми Столпами. На которых ещё не высохли кишки предыдущих миротворцев.

— Вас считают иным.

— Уж не Геркулесом ли?
— Ну…
— Вы знаете, в чём я иной, мистер Роот?
— Нет, доктор Уотерхауз.
— Тогда в таверну.

Бена и Годфри отправляют на пароме в Бостон. В ближайшую таверну Даниель идти не хочет из-за каких-то давних разногласий с хозяином, поэтому они проезжают мили две на северо-запад, время от времени пропуская погонщиков со скотом, и оказываются в городке, который был столицей Массачусетса, пока отцы Бостона не обскакали здешнее самоуправление. Несколько дорог выныривают из леса и соединяются вместе; йомены, погонщики и лесорубы превратили их в месиво навоза и грязи. Рядом колледж. Другими словами, Ньютаун — рай для кабатчиков, и вся «площадь», как это здесь называют, окружена трактирами.

Уотерхауз заходит в таверну и тут же пятится. Заглянув ему через плечо, Енох видит длинный стол, судью в белом парике, присяжных на дощатых скамьях и приведённого на допрос угрюмого головореза.

— Неподходящее место для праздной болтовни, — бормочет Уотерхауз.

— Вы вершите суд в *питейных заведениях?*

— Пфу! Этот судья не пьянее, чем любой магистрат в Олд-Бейли.

— Что ж, можно взглянуть и так.

Даниель подходит к другому трактиру и открывает кирпично-красную дверь. У входа висят два кожаных ведра с водой на случай пожара, в соответствии с предписанием городских властей, на стене — приспособление для снимания сапог, дабы хозяин мог оставлять обувь посетителей в качестве залога. Сам кабатчик укрылся за деревянным бастионом в углу, позади него — полки с бутылями, к стене прислонена пищаль длиною не меньше шести футов. Он разбирает почту своих посетителей. Енох дивится размеру половых досок. Они, словно лёд на озере, скрипят и потрескивают под ногами. Уотерхауз ведёт его к столу. Столешница выпилена из цельного ствола диаметром не меньше трёх футов.

— В Европе таких деревьев не видели сотни лет, — замечает Енох, измеряя стол локтем. — Этот ствол должен был пойти на постройку Королевского флота. Я потрясён.

— Из правила есть исключение, — говорит Уотерхауз, впервые обнаруживая весёлость. — Если дерево повалило бурей, любой может его забрать.

Вот почему Гомер Болструд и его единоверцы-гавкеры основали свои колонии в лесной глуши, где деревья очень велики…

— А ураганы налетают нежданно-негаданно?

— И неведомо для соседей. Да.

— Смутьяны во втором поколении становятся мебельщиками. Интересно, что подумал бы старый Нотт.

— Смутьяны и мебельщики в одном лице, — поправляет Уотерхауз.

— Ах да. Будь моя фамилия Болструд, я бы тоже предпочёл поселиться подальше от архиепископов и ториев.

Даниель Уотерхауз встаёт, подходит к камину, берёт с крюков пару полешков и сердито подбрасывает их в огонь. Потом направляется в угол и заговаривает с кабатчиком. Тот разбивает в две кружки по яйцу, наливает ром, горькую настойку и патоку. Напиток вязкий и мудрёный, как ситуация, в которую влип Енох.

За стеной похожая комната — для женщин. Слышно, как крутятся самопрялки и шуршит на кардах шерсть. Кто-то настраивает смычковый инструмент — не старинную виолу, а (судя по звуку) скрипку. Трудно поверить — в такой глуши! Однако, когда музыкантша начинает играть,

звучит не барочный менуэт, а дикий протяжный вой — ирландский, если Енох не ошибается. Это всё равно что пустить муаровый шёлк на мешки для зерна — лондонцы хохотали бы до слёз. Енох встаёт и заглядывает в дверь — убедиться, что ему не почудилось. И впрямь, девушка с морковно-рыжими волосами наяривает на скрипке, развлекая женщин, которые прядут или шьют. И музыкантша, и мелодия, и пряхи со швеями — ирландские до мозга костей.

Енох возвращается за стол, ошалело мотая головой. Даниель опускает в каждую кружку по горячему песту, чтобы напиток согрелся и загустел. Енох садится, делает глоток и решает, что ему нравится. Даже музыка начинает казаться приятной.

В какую бы сторону он ни глянул, люди торопливо отводят взгляд, делая вид, что вовсе на него не пялились. Кто-то даже сбегал в соседние таверны сообщить об их приходе, словно Роот и Уотерхауз — общественное увеселение. Профессора и студенты заходят небрежной походкой, как будто встать, не допив кружку, и перейти в другое заведение — дело самое обычное.

— С чего вы взяли, что убежите от интриг?

Даниель оставляет вопрос без ответа. Ему неко-

гда — он сердито зыркает на посетителей.

— Мой отец, Дрейк, отдал меня в учение с единственной целью, — говорит он наконец. — Чтобы я помог ему подготовиться к Апокалипсису, который, по его убеждению, должен был наступить в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году — число зверя и всё такое. Соответственно, меня родили в тысяча шестьсот сорок шестом — Дрейк, как всегда, всё просчитал. К совершеннолетию я должен был стать учёным клириком и овладеть многими мёртвыми языками, дабы, стоя на Дуврских скалах, приветствовать грядущего со славой Спасителя на бойком арамейском. Когда я смотрю вокруг — он обводит рукой таверну, — на то, во что оно вылилось, я гадаю, мог ли отец ошибиться больше.

— Думаю, для вас это подходящее место, — говорит Енох. — Здесь ничто не идёт по плану. Музыка. Мебель. Всё вопреки ожиданиям.

— Мы с отцом видели казнь Хью Питерса — то был капеллан Кромвеля. Оттуда отправились прямиком в Кембридж. Поскольку казнили на рассвете, усердный пуританин успевал посмотреть расправу и до вечерних молитв совершить все положенные труды и поездки. Питерса лишили жизни посредством ножа. Дрейк не дрогнул,

наблюдая, как из брата Хью выпустили потроха, лишь сильнее укрепился в решимости отправить меня в Кембридж. Мы приехали туда и зашли к Уилкинсу в Тринити-колледж…

— Погодите, что-то память меня подводит… Разве Уилкинс был не в Оксфорде? В Уодем-колледже?

— В тысяча шестьсот пятьдесят шестом он женился на Робине. Сестре Кромвеля.

— Это я помню.

— Кромвель сделал его мастером Тринити. Но, разумеется, Реставрация положила этому конец. Так что он пробыл в Кембридже всего несколько месяцев — немудрено, что вы запамятовали.

— В таком случае простите, что перебил. Дрейк отвёз вас в Кембридж…

— И мы зашли к Уилкинсу. Мне было четырнадцать. Отец ушёл и оставил нас вдвоём, свято веря, что уж этот-то человек — зять самого Кромвеля! — наставит меня на путь праведности: может, мы станем толковать библейские стихи о девятиглавых зверях, может, помолимся за упокой Хью Питерса.

— Полагаю, ничего такого не произошло.

— Попытайтесь вообразить коллегию Святой Троицы: готический муравейник, похожий на

крипту древнего собора; старинные столы, в пятнах и подпалинах от алхимических опытов, реторты и колбы с содержимым едким и ярким, но главное — *книги,* бурые кипы, составленные, как доски в штабелях, больше книг, чем я когда-либо видел в одном помещении. Минуло лет десять-двадцать с тех пор, как Уилкинс завершил великий «Криптономикон». По ходу работы он, разумеется, собирал трактаты о шифрах со всего мира и сопоставлял всё, что известно о тайнописи со времени древних. Издание книги принесло ему славу среди адептов этого искусства. Известно, что экземпляры «Криптономикона» достигли таких дальних городов, как Пекин, Лима, Исфахан, Шахджаханабад. В результате Уилкинс стал получать *ещё* книги — их слали ему португальские криптокаббалисты, арабские учёные, роющиеся в пепле Александрии, парсы — тайные последователи Зороастра, армянские купцы, которые поддерживают связь по всему миру посредством знаков, упрятанных на полях или в тексте письма столь искусно, что конкурент, перехвативший послание, увидит лишь ничего не значащую болтовню, в то время как другой армянин извлечёт важные сведения с той же лёгкостью, с какой вы или я прочтём уличный

памфлет. Здесь были тайные шифры мандаринов, которые по самой природе китайского письма не могут шифровать, как мы, и вынуждены упрятывать послания в расположении иероглифов на листе и другими способами столь хитроумными, что на их создание, должно быть, ушла целая жизнь. И всё это попало к Уилкинсу благодаря «Криптономикону». Вообразите, что я должен был испытать. С младых ногтей Дрейк, Нотт и другие внушали мне убеждение, что книги эти, до последних слова и буквы, сатанинские. Что, лишь приоткрыв переплёт и нечаянно бросив взгляд на оккультные письмена, я буду немедленно ввержен в Тофет.

— Вижу, на вас это произвело весьма сильное впечатление.

— Уилкинс дал мне полчаса посидеть в кресле, просто чтобы освоиться, потом мы принялись куролесить и подожгли стол. Уилкинс читал гранки бойлевского «Химика-скептика» — к слову, непременно когда-нибудь прочтите, Енох…

— Я знаком с этим сочинением.

— Мы с Уилкинсом пытались воспроизвести один из опытов, но что-то пошло не так. По счастью, пожар оказался пустяковый, ничего всерьёз не сгорело. Однако цель Уилкинса была достиг-

нута: я сбросил маску вежливости, навязанную мне Дрейком, и заговорил. Наверное, я был похож на человека, увидевшего лицо Божье. Уилкинс походя обронил, что коли я хочу получить *образование*, то на этот случай в Лондоне есть колледж Грешема, где он и несколько его оксфордских приятелей учат натурфилософии *непосредственно*, без необходимости долгие годы продираться сквозь густой лес классической белиберды.

Я был слишком юн, чтобы даже помыслить об ухищрениях, а если б и упражнялся в лукавстве, не осмелился бы прибегнуть к нему в *этой* комнате. Я просто сказал Уилкинсу правду: что не испытываю тяги к религии, во всяком случае как роду занятий, и желаю быть натурфилософом, подобно Бойлю и Гюйгенсу. Но, разумеется, Уилкинс это уже приметил. Он сказал: «Положись на меня» — и подмигнул.

Дрейк и слышать не захотел о том, чтобы отправить меня в колледж Грешема, так что через год я попал в старую кузницу викариев — Тринити-колледж Кембриджа. Отец верил, что таким образом я иду по пути, им предначертанному. Уилкинс же тем временем составил на мой счёт собственный план. Так что, видите, Енох, я привык, что другие безрассудно решают, как мне

жить. Вот почему я приехал в Массачусетс и вот почему не собираюсь его покидать.

— Ваши намерения целиком на вашем усмотрении. Я лишь прошу, чтобы вы прочитали письмо, — говорит Енох.

— Что за внезапные события стали причиной вашей поездки, Енох? Сэр Исаак рассорился с очередным юным протеже?

— Блистательная догадка!

— Это не более догадка, чем когда Галлей предсказал возвращение кометы. Ньютон подчиняется своим собственным законам. Он работал над вторым изданием «Математических начал» вместе с молодым как-его-бишь…

— Роджером Котсом.

— Многообещающий розовощёкий юнец, да?

— Розовощёкий, без сомнения, — говорит Енох. — И был многообещающим, пока…

— Пока не допустил какую-то оплошность. После чего Ньютон впал в ярость и низверг его в Озеро Огня.

— Очевидно, так. Теперь всё, над чем трудился Котс, — исправленное издание «Математических начал» и какого-то рода примирение с Лейбницем, — пошло прахом или по крайней мере остановлено.

— Исаак ни разу не швырнул меня в Озеро Огня, — задумчиво произносит Даниель. — Я был так юн и так очевидно бесхитростен — он никогда не подозревал во мне худшего, как во всех других.

— Спасибо, что напомнили! Сделайте милость. — Енох придвигает конверт.

Даниель ломает печать и достаёт письмо. Вытаскивает из кармана очки и придерживает их одной рукой, как будто заправить за уши дужки значит взять на себя какого-то рода обязательства. Сперва он держит письмо на вытянутой руке, словно произведение каллиграфического искусства, любуясь красивыми росчерками и завитушками.

— Благодарение Богу, оно написано не этими варварскими готическими письменами, — говорит Даниель, после чего наконец приближает письмо к глазам и начинает читать.

К концу первой страницы он внезапно меняется в лице.

— Вы, вероятно, заметили, — говорит Енох, — что принцесса, вполне осознавая опасности далёкого плавания, промыслила страховой полис…

— Посмертная взятка! — восклицает Дани-

ель. — В Королевском обществе теперь пруд пруди актуариев и статистиков, которые составляют таблицы для продувных бестий с Биржи. Наверняка вы прикинули, каковы шансы у человека моих лет пережить плавание через Атлантику, месяцы или даже годы в нездоровом лондонском климате и обратный путь в Бостон.

— Помилуйте, Даниель! Ничего мы не «прикидывали»! Вполне естественно со стороны принцессы застраховать вашу жизнь.

— На такую сумму! Это пенсион — *наследство* для моих жены и сына.

— Вы получаете пенсион, Даниель?

— Что?! В сравнении с этим — нет, — сердито отчёркивая ногтем вереницу нулей посреди письма.

— В таком случае мне кажется, что её королевское высочество привела весьма убедительный довод.

Уотерхауз сейчас, в эту самую минуту, осознал, что очень скоро поднимется на корабль и отплывёт в Лондон. Это можно прочесть на его лице. Однако пройдёт час или два, прежде чем он выскажет своё решение, — непростое время для Еноха.

— Даже если не думать о страховке, — говорит

тот, — поехать — в ваших собственных интересах. Натурфилософия, как война или любовь, лучше всего даётся молодым. Сэр Исаак не сделал ничего творческого с загадочного бедствия в девяносто третьем.

— Для меня оно не загадка.

— С тех пор он трудится на Монетном дворе, перерабатывает свои старые книги да изрыгает пламень в Лейбница.

— И вы советует мне подражать ему *в этом?*

— Я советую вам отложить напильник, упаковать карточки, отойти от верстака и задуматься о будущем революции.

— Какой? Была Славная революция в восемьдесят восьмом, поговаривают о том, чтобы затеять революцию здесь, но…

— Не лукавьте, Даниель. Вы говорите и думаете на языке, которого не существовало, когда вы с Исааком поступили в Тринити.

— Отлично, отлично. Коль вам угодно называть это революцией, я не буду придираться к словам.

— Эта революция теперь обратилась против себя. Спор из-за дифференциального исчисления расколол натурфилософов на Континенте и в Великобритании. Британцы теряют гораздо больше. Уже сейчас они неохотно пользуются ме-

тодикой Лейбница — куда более разработанной, ибо он приложил усилия к распространению своих идей. Трудности, с которыми столкнулся Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива, — лишь симптом того же недуга. Довольно прятаться на задворках цивилизации, возясь с карточками и шатунами! Возвращайтесь к истокам, найдите первопричину, исцелите главную рану. Если вы преуспеете, то к тому времени, когда ваш сын будет поступать в университет, институт из болотной лачуги превратится во множество корпусов и лабораторий, куда даровитейшие юноши Америки съедутся изучать и совершенствовать искусство автоматических вычислений!

Доктор Уотерхауз смотрит на него с тоскливой жалостью, адресуемой обычно дядюшкам, которые так набрались, что несут околесицу и сами того не понимают.

— Или, по крайней мере, я подцеплю лихорадку, умру через три дня и оставлю Благодати и Годфри приличный пенсион.

— Это дополнительный стимул.

Быть европейским христианином (во всяком случае, немудрено, что так думает весь остальной мир) означает строить корабли, плыть на

них к любому и каждому берегу, ещё не ощетинившемуся пушками, высаживаться в устье реки, целовать землю, устанавливать флаг или крест, стращать туземцев мушкетной пальбой и — проделав такой путь, преодолев столько тягот и опасностей — доставать плоскую посудину и нагребать в неё речную грязь. При размешивании в посудине возникает вихревая воронка, поначалу скрытая мутной взвесью. Однако постепенно течение уносит муть, словно ветер — пыльное облако, и взгляду предстаёт завихрение, к центру которого стягивается концентрат, в то время как более лёгкие песчинки отбрасываются к краям и смываются водой. Голубые глаза пришельцев пристально смотрят на более тяжёлые крупицы, поскольку иногда они бывают жёлтыми и блестящими.

Легко назвать этих людей глупцами (не упоминая уже их алчность, жестокость и прочая), ибо есть некая сознательная безмозглость в том, чтобы достичь неведомых берегов и, не обращая внимания на аборигенов, их языки, искусство, на местных животных и бабочек, цветы, травы, развалины и прочая, свести всё к нескольким крупицам блестящего вещества в центре посудины. И всё же Даниель в трактире, пытаясь собрать

воедино старые воспоминания о Кембридже, с горечью осознаёт, что последние полвека в его мозгу шёл сходный процесс.

Воспоминания, полученные в те годы, были столь же разнообразны, как у конквистадора, втащившего шлюпку на берег, куда ещё не ступала нога белого человека. Слово «странный» в своём первом и буквальном смысле означает чужой, иноземный, ч*ужестранный*; первые годы в Тринити Даниель и впрямь чувствовал себя чужестранцем в неведомой и непонятной стране. Аналогия не слишком натянутая, ибо Даниель поступил в университет сразу же после Реставрации и оказался среди молодых аристократов, которые почти всю жизнь провели в Париже. Он дивился на их наряды, как чернорясец-иезуит — на яркое оперение тропических птиц; их рапиры и кинжалы были не менее смертоносны, чем когти и клыки заокеанских хищников. Юноша вдумчивый, он с первого дня пытался осмыслить увиденное — докопаться до самой сути, словно путешественник, что, повернувшись спиной к орангутангам и орхидеям, зачерпывает лотком речные наносы. Результатом было лишь коловращение мутной взвеси.

В последующие годы он редко возвращался к

этим воспоминаниям. Сейчас, в таверне близ Гарвардского колледжа, он с удивлением обнаруживает, что мутный водоворот унесло течением. Мысленный лоток взбалтывало и трясло долгие годы, отбрасывая ил и песок на периферию, откуда их смывало потоком времени. Осталось лишь несколько крохотных золотин. Даниель не знает, почему одни впечатления сохранились, а другие, казавшиеся в своё время куда более важными, развеялись. Впрочем, если сравнение с промывкой золота верно, то эти воспоминания и есть самые ценные. Ибо золото оказывается в центре лотка благодаря удельному весу; оно содержит больше субстанции (уж как ни понимай это слово) в заданном объёме, нежели всё остальное.

Толпа на Чаринг-Кросс, меч бесшумно опускается на шею Карла I — это первая из его золотин. Дальше провал в несколько месяцев до того дня, когда Уотерхаузы вместе со старинными друзьями Болструдами отправились на буколическую гулянку — спалить церковь.

Золотина: силуэтом на фоне витража-розетки маячит ссутуленный чёрный призрак; руки его — маятник, в них раскачивается отбитая голова мраморного святого. Это — Дрейк Уотерхауз, отец Даниеля, в свои примерно шестьдесят лет.

Золотина: каменная голова летит, обернувшись в полёте, чтобы изумлённо взглянуть на Дрейка. Сложный переплёт розетки проминается, словно корочка жира на похлёбке, если ткнуть в неё ложкой; сыплются стёкла, трансцендентное видение витража сменяется диском зелёных английских холмов под серебристым небом. Это — Гражданская война в Англии.

Золотина: невысокий, но кряжистый человек, обрушив золочёную ограду, воздвигнутую вокруг алтаря по приказу архиепископа Лода, роняет молот и в приступе падучей валится на престол Божий. Это Грегори Болструд, о ту пору примерно пятидесяти лет. Он был проповедником и называл себя индепендентом. Его склонность к эпилептическим припадкам породила слух, будто он лает, как пёс, во время своих многочасовых проповедей; отсюда секта, которую Грегори основал, а Дрейк поддержал деньгами, получила название гавкеров.

Золотина: гавкер помоложе лупит по церковному орга́ну железным прутом; ровные ряды труб падают, как подрубленные, самшитовые клавиши разлетаются по мраморному полу. Это Нотт Болструд, сын Грегори, в расцвете сил.

Однако это всё из раннего детства, до того, как

он научился читать и думать. В следующие годы его юная жизнь текла упорядоченно и (как он, к своему изумлению, осознаёт задним числом) интересно. Даже с приключениями. Дрейк был торговец. В 1650-х, после окончания Гражданской войны, они с маленьким Даниелем разъезжали по всей Англии, задёшево скупая местную продукцию, которую затем переправляли в Голландию и продавали с большой выгодой. Хотя торговля эта была по большей части незаконная (Дрейк придерживался религиозных воззрений, по которым государство не вправе облагать его налогами и пошлинами, посему контрабанду почитал делом не только благим, но и священным), протекала она по заданному распорядку. Воспоминания Даниеля о той поре — те, что сохранились, — просты и суровы, словно нравоучительная пьеса. Всё вновь смешалось после Реставрации, когда он поступил в Кембридж и пережил как бы второе младенчество.

Золотина: в ночь перед тем, как отправиться в Кембридж и начать четырёхлетнее натаскивание к концу света, Даниель спал в отцовском доме на окраине Лондона. Кровать представляла собой прямоугольную раму из прочных брусьев, сверху была натянута холстина, лежал мешок с соломой

и спали вповалку полдюжины диссидентских проповедников. Монархия вернулась, Англия получила короля, который звался Карлом II, и у короля этого были придворные. Один из них, Джон Комсток, составил Акт о Единообразии, который король подписал, одним росчерком пера превратив пасторов-индепендентов в еретиков и безработных. Разумеется, все они собрались у Дрейка. Сэр Роджер Л'Эстранж, главный королевский цензор, совершал на дом ежедневные налёты, подозревая, что праздные фанатики печатают в подвале прокламации.

Уилкинс (который на короткое время возглавил коллегию Святой Троицы) сумел определить туда Даниеля. Тот воображал, что будет студентом Уилкинса, его протеже. Однако прежде, чем Даниель приступил к занятиям, Реставрация вышвырнула Уилкинса вон. Уилкинс вернулся в Лондон, чтобы служить в церкви Святого Лаврентия Еврейского и на досуге создавать Королевское общество. Останься Даниель в Лондоне, он мог бы общаться с Уилкинсом и вволю постигать натурфилософию, не покидая города. Вместо этого он отправился в Тринити через несколько месяцев после того, как Уилкинс навсегда уехал из Кембриджа.

Золотина: по пути в университет он видит у дороги святых, которым разъярённые пуритане несколько лет назад откололи носы и уши. Соответственно, все они разительно похожи на Дрейка. Даниелю кажется, будто статуи поворачивают голову, провожая его взглядом.

Золотина: размалёванная шлюха, визжа, падает на кровать Даниеля в Тринити-колледже. У Даниеля встаёт. Это Реставрация.

Женщина на его ногах внезапно становится значительно тяжелее: юноша вдвое моложе её, во французских кружевах, наваливается сверху. Это Апнор.

Золотина: изукрашенная каменьями шпага лязгает о половицы. Её хозяин, упав на четвереньки, исходит булькающим веером блевоты, затем со стоном приподнимается на колени и роняет голову на кружевной воротник. Свечи озаряют его лицо: дурной портрет английского короля. Это герцог Монмутский.

Золотина: субсайзер — неимущий студент, вынужденный в качестве платы за обучение прислуживать более обеспеченным собратьям, — суетится с ведром и шваброй, пытаясь прибрать комнату. Монмут, Апнор, Джеффрис и другие привилегированные студенты гонят его за пивом

в подвал. Это Роджер Комсток. Дальний родич Джона, написавшего Акт о Единообразии, правда, из другой ветви рода, враждебной Джону и его родичам. Отсюда его низкий статус в Тринити.

У Даниеля была в колледже собственная кровать, и всё же ему не спалось. В доме Дрейка, в одной постели с немытыми фанатиками, и на постоялых дворах во время поездок, где все храпели вповалку, он спал как убитый. Однако в университете ему пришлось делить комнату и даже постель с юнцами, пьяными до бесчувствия и настолько опасными, что лучше им было не перечить. Ночи разлетались в осколки; яркие, изматывающие сновидения пробивались в трещины, как пар из сосуда, покрытого глазурью кракле.

Его первые связные воспоминания начались в одну из таких ночей.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы

Диссентеры лишены всех внешних прикрас, что привлекают чувства; их Учителя могут рассчитывать на Вспомоществование лишь за счёт собственных усилий; им нечем подкрепить свою Доктрину (за исключением слов) иначе как безупречным Поведением и образцовой Жизнью.

«Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов», приписывается Бернарду Мандевилю, 1714 г.

1661

Какой-то шум во дворе. Не обычная пьяная гульба, иначе бы он не удосужился её заметить.

Даниель встал с постели и понял, что он в комнате один. Внизу явно ссорились. Он подошёл к окну. Хвост Большой Медведицы застыл, как стрелка небесных часов, которые Даниель учился читать. Было, вероятно, около трёх часов пополуночи.

Под ним в мутных лужах света от фонарей плавали несколько фигур. Одна была одета так, как люди на памяти Даниеля одевались всегда, за исключением последнего времени: в чёрный камзол и чёрные же панталоны без какой-либо отделки. Остальные были расфуфырены и украшены перьями, как редкие птицы.

Тот, что в чёрном, по всей видимости, не пропускал остальных в дверь. До недавних пор все в Кембридже выглядели как он, а сам университет существовал лишь затем, что народу Божьему требовались священнослужители, сведущие в латыни, греческом и древнееврейском. Человек в черном загородил дверь своим телом, потому что люди в бархате, шёлке и кружевах пытались провести с собой уличную девку. И если бы в первый раз! Однако именно сегодня, по всей видимости, терпение его лопнуло.

Ярко-алый юнец выкаблучивался в кругу света от фонаря — кудрявый букет оборок и лент. Он обхватил себя руками и тут же со звоном их развёл. В каждой из рук блеснуло по стержню серебристого света: длинный в правой, короткий в левой. Он принял стойку. Его товарищи кричали. Даниель не различал слов, но угадывал смешение страха и радости. Тот, что в чёрном, с глухим

лязгом вытащил собственное оружие — тяжёлый эспадрон, и мальчишка в алом ринулся на него, как грозовая туча, бьющая молниями. Он дрался как зверь, взгляд не успевал различить движения; тот, что в чёрном, — как человек, медленно и с оглядкой. Очень скоро он был весь продырявлен и превратился в груду чёрного окровавленного тряпья на зелёной траве у входа. Груда перекатывалась, пытаясь отыскать положение, в котором боль будет не такой нестерпимой.

Все кавалеры разбежались. Герцог Монмут закинул девку на плечо, как мешок с зерном, и дал стрекача. Алый мальчишка задержался, чтобы ногой перевернуть умирающего на спину и что-то выкрикнуть ему в лицо.

По всему двору начали захлопываться ставни.

Даниель набросил камзол, натянул башмаки, зажёг фонарь и стремглав сбежал по лестнице. Однако торопиться было поздно — тело исчезло. Кровь смолой чернела на траве. Даниель пошёл по тёмным пятнам через двор, на задворки колледжа, и оказался в болотистой пойме реки Кем, петляющей позади университета. Поднялся ветер, и шум ветвей почти заглушил всплеск. Кто-то другой на месте Даниеля мог бы, не кривя душой, присягнуть, что ничего не слышал.

Он остановился, потому что мозг наконец проснулся, и ему стало страшно. Идя за мертвецом к чёрной воде, он оказался один в зарослях папоротника, и ветер пытался задуть фонарь.

В кругу света возникли двое голых людей, и Даниель вскрикнул.

Один был высокий, с прекраснейшими глазами, какие Даниель когда-либо видел на человеческом лице; почти так же смотрела живописная Пиета, которую Дрейк однажды бросил в костёр. Глаза эти были устремлены на Даниеля и словно спрашивали: «Кто посмел вскрикнуть?»

Другой был пониже ростом и от резкого звука втянул голову в плечи. Даниель наконец узнал Роджера Комстока, субсайзера.

— Кто это? — спросил Роджер. — Вы, милорд?

— Ничей не лорд, — ответил Даниель. — Это я, Даниель Уотерхауз.

— Это Комсток и Джеффрис. Что вы тут делаете среди ночи?

Оба были голые и мокрые, длинные волосы прилипли к плечам, и с них струилась вода. Тем не менее даже Комсток выглядел уверенней, чем Даниель, который стоял сухой, в одежде и с фонарём.

— Могу задать вам тот же вопрос. И где ваша

одежда?

Ответил Джеффрис — Комстоку хватило ума придержать язык.

— Мы сняли одежду перед тем, как залезть в реку, — ответил он таким тоном, будто это само собой разумеется.

Комсток увидел нестыковку в рассказе одновременно с Даниелем и поспешно добавил:

— Когда мы вылезли, то поняли, что нас отнесло течением, и не смогли найти одежду в темноте.

— А зачем вы полезли в реку?

— Мы преследовали негодяя.

— Негодяя?!

Прекрасные глаза сощурились, на лице Джеффриса проступило лёгкое отвращение. Однако Комсток счёл, что не сильно уронит своё достоинство, если продолжит разговор.

— Да! Какой-то фанатик — пуританин, возможно, гавкер — напал на милорда Апнора! Во дворе, прямо сейчас! Вы, наверное, не видели.

— Видел.

— А… — Джеффрис повернулся вбок, поймал двумя пальцами мокрый член и пустил мощную струю. Смотрел он на колледж.

— Окно вашей и милорда Монмута спальни расположено весьма неудобно — вы, должно

быть, из него высунулись?

— Да, самую малость.

— Иначе как бы вы могли видеть дуэль?

— Дуэль или убийство?

И вновь Джеффрис скривился от того, что разговаривает с подобным ничтожеством. Комсток очень правдоподобно разыграл изумление.

— Вы утверждаете, что стали свидетелем убийства?

Даниель так опешил, что не смог ответить. Джеффрис продолжал мочиться. На траве уже образовалась блестящая лужа, от которой поднимался пар. Казалось, Джеффрис пытается спрятать за влажными испарениями свою наготу. Он наморщил лоб и спросил:

— Убийство, вы говорите? Значит, тот человек умер?

— Я… я так предполагаю, — запинаясь, выговорил Даниель.

— М-м-м… Опасно *предполагать*, когда вы обвиняете графа в тягчайшем преступлении. Быть может, вам лучше предъявить тело мировому судье, и пусть коронер установит причину смерти.

— Тело исчезло.

— Вы сказали *тело*. Не правильнее ли было бы сказать *раненый?*

— Ну… я не убедился лично, что его сердце остановилось, коли вы об этом.

— В таком случае раненый — правильный термин. На мой взгляд, он был *раненый*, а не *мёртвый*, когда мы с Комстоком гнались за ним к реке.

— Мёртвым он точно не был, — согласился Комсток.

— Но я видел, как он лежал…

— Из окна? — спросил Джеффрис, переставая наконец журчать.

— Да.

— Вы не смотрите из окна сейчас, Уотерхауз?

— Очевидно, не смотрю.

— Весьма любезно с вашей стороны сообщить мне, что *очевидно*. Выпрыгнули вы из окна или спустились по лестнице?

— Спустился по лестнице, разумеется!

— Видели ли вы с неё двор?

— Нет.

— Значит, Уотерхауз, на какое-то время вы потеряли раненого из вида.

— Естественно.

— Так вы не имеете ни малейшего понятия, верно, Уотерхауз, что происходило во дворе, покуда вы спускались по лестнице?

— Да, но…

— И вопреки своему неведению — полному, чёрному и абсолютному — вы обвиняете графа, состоящего в личной дружбе с королём… повторите-ка ещё раз, что вы сказали?

— Мне кажется, он произнёс «убийство», сэр, — подсказал Комсток.

— Отлично. Коли так, пойдёмте и разбудим мирового судью, — сказал Джеффрис.

Минуя Уотерхауза, он вырвал из его руки фонарь и направился к колледжу. Комсток, хихикая, двинулся следом.

Первым делом Джеффрис должен был вытереться и призвать собственного субсайзера, чтобы тот помог ему одеться и расчесаться — не может же джентльмен явиться к мировому судье с всклокоченными мокрыми волосами. Тем временем Даниель сидел у себя в комнате. Рядом суетился Комсток, наводя чистоту с невиданным прежде усердием. Поскольку Даниель был не в настроении разговаривать, Роджер по мере сил старался заполнить тишину.

— Луи Англси, граф Апнор, разит шпагой как дьявол, верно? И не поверишь, что ему всего четырнадцать! Это потому, что они с Монмутом и остальными провели Междуцарствие в Париже

и обучались фехтованию в академии господина дю Плесси, возле кардинальского дворца. Там они усвоили французские понятия о чести и ещё не вполне приспособились к английским обычаям — бросают вызов по малейшему поводу, реальному или надуманному. Ой, не делайте такое лицо, мистер Уотерхауз. Помните, если его противника найдут, и он окажется мёртвым, и следствие установит, что смерть наступила от ран, а раны эти нанёс и вправду милорд Апнор, и не на дуэли как таковой, а в результате неспровоцированного нападения, и присяжные решат не принимать во внимание некоторые нестыковки в вашем рассказе, — короче, если его осудят за это гипотетическое убийство, вам не о чем будет тревожиться! В конце концов, если суд признает графа виновным, он не сможет сказать, что вы оскорбили его своим обвинением, ведь так? Чисто и аккуратно, мистер Уотерхауз. Признаю, некоторые его друзья очень на вас обидятся… ой, нет, мистер Уотерхауз, не поймите меня превратно. *Я* вам не враг, потому что происхожу из Золотых, не из Серебряных Комстоков…

Роджер не в первый раз произносил нечто подобное. Даниель знал, что Комстоки — непомерно разветвлённый род, чьи первые представители

кратко упоминаются ещё в хрониках времён Ричарда Львиное Сердце. Он смог заключить, что разделение на Золотых и Серебряных восходит к застарелой вражде между ветвями клана. Роджер Комсток пытался внушить Даниелю, что не имеет ничего общего (за исключением фамилии) с Джоном Комстоком, стареющим пороховым магнатом, архироялистом и автором Акта о Единообразии, из-за которого дом Дрейка наполнился безработными дрыгунами, гавкерами, квакерами и прочая.

— Эти ваши, как вы говорите, Золотые Комстоки, — спросил Даниель, — кто они, скажите на милость? Принадлежите вы к высокой церкви?

(Сиречь к англиканам школы архиепископа Лода, которые, согласно Дрейку и иже с ним, были ничуть не лучше папистов — а Дрейк буквально считал римского папу Антихристом.)

— К низкой церкви?

(Как именовались англикане более кальвинистского толка, отвергающие разряженных попов.)

— К индепендентам?

(Подразумевая тех, что порвали всякую связь с государственной религией и создали собственные церкви по своему вкусу.)

Вниз по континууму Даниель двинуться не решился, ибо уже вышел за пределы теологических познаний Роджера.

Тот развёл руками:

— Из-за неладов с Серебряной ветвью последние поколения Золотых Комстоков много времени проводили в Голландской республике.

Для Даниеля Голландия означала такие приюты благочестия, как Лейден, где пилигримы останавливались перед отплытием в Массачусетс. Однако вскоре стало ясно, что Роджер имеет в виду Амстердам.

— В Амстердаме каких только церквей нет! И все прекрасно уживаются. Может показаться странным, но с годами мы к этому притерпелись.

— В каком смысле? Научились сохранять свою веру среди еретиков?

— Нет. Скорее у меня в голове своего рода Амстердам.

– *Что?!*

— Много разных верований и сект, ведущих нескончаемый спор. Столпотворение религий. Я к этому привык.

— Вы не верите *ни во что?!*

Дальнейшая беседа — если разглагольство-

вания Роджера достойны именоваться беседой — была прервана появлением Монмута, вызывающе спокойного и даже расслабленного. Роджер тут же принялся стягивать с него сапоги, распускать ему волосы и расстёгивать пряжки. Одновременно он развлекал герцога рассказом о том, как они с Джеффрисом преследовали кровожадного пуританина и загнали его в реку. Чем дольше Монмут слушал историю, тем больше она ему нравилась и тем больше нравился ему Комсток. При этом Роджер так часто отпускал лестные замечания в адрес Уотерхауза, что Даниель невольно почувствовал себя членом той же развесёлой компании; Монмут даже пару раз ласково ему подмигнул.

Наконец явился Джеффрис в великолепном парике, плаще с меховой опушкой, пурпурном шёлковом дублете и панталонах, отделанных бахромой. На боку у него болталась рапира с украшенной рубинами рукоятью, отвороты ботфортов только что не мели землю. Он выглядел в два раза старше и в два раза богаче Уотерхауза, хотя был на год моложе и, вероятно, без гроша в кармане. Он повёл оробелого Даниеля и неунывающего Комстока вниз — помедлив на лестнице, чтобы ещё раз указать на невозможность увидеть с неё

двор, — затем через луг на улицы Кембриджа, где наполненные водой колеи сонными змеями поблескивали в первых лучах рассвета. Через несколько минут они подошли к дому мирового судьи и выслушали от слуги, что хозяин в церкви. Джеффрис повёл спутников в питейный дом, где его сразу окружили девки. Даниель сидел и смотрел, как он рвёт зубами огромную запечённую с кровью телячью ляжку, запивая её двумя пинтами эля и четырьмя стопками ирландского напитка под названием «асквибо»[5]. На Джеффрисе это никак не сказывалось — он был из тех, кто, напиваясь, становится лишь вкрадчивей и обходительней.

Внимание Джеффриса полностью занимали девки. Даниель сидел и боялся. Это был не абстрактный страх, который он честно старался испытать, слушая проповеди об адском огне, но реальное телесное ощущение, привкус во рту, чувство, что в любой миг с любой стороны в его внутренности может войти французский клинок, а дальше — долгое кровотечение или мучительная смерть от гниющей раны. Иначе зачем бы

[5] Примечания: 5

Старинное название виски (от ирландского *uisce beathadh*, которое в свою очередь представляет собой производное от латинского *aqua vitae*, то есть «живая вода»).

Джеффрис привёл его в этот вертеп? Идеальное место для убийства.

Единственным способом отвлечься было слушать Роджера Комстока, который с прежним рвением пытался расположить Даниеля к себе. Он снова завёл речь о Джоне Комстоке, с которым (не уставал повторять Роджер) их не связывает ничего, кроме фамилии. Доподлинно известно (сообщил Роджер), что порох, изготовленный на заводах Комстока, содержит примесь песка, потому либо не взрывается вовсе, либо вызывает разрыв орудийных стволов. Да что там, все, кроме наивных пуритан, давно знают, что Карл I проиграл войну не из-за полководческих талантов Кромвеля, а из-за дурного пороха, который поставлял кавалерам Комсток. Даниель — перепуганный до полусмерти — не имел ни сил, ни желания разбираться в генеалогических отличиях между Золотыми и Серебряными Комстоками. Он усвоил лишь, что Роджер почему-то старательно набивается ему в друзья и что это и впрямь на удивление славный малый — насколько может быть славным малый, только что утопивший в реке тело безвинной жертвы.

Колокольный трезвон возвестил, что мировой судья уже, вероятно, вкусил хлеба и вина.

Однако Джеффрис явно не собирался покидать уютный трактир. Время от времени он ловил на себе взгляд Даниеля и смотрел на того, словно предлагая встать и пойти к дверям. Даниель тоже не торопился. Он судорожно отыскивал предлог, чтобы ничего не предпринимать.

Предлог сыскался такой: Апнор предстанет перед судом (последним и окончательным) через пять лет, когда наступит Второе Пришествие. Что толку требовать светского суда сейчас? Будь Англия по-прежнему Божьей страной, как в недавнем прошлом, власть могла бы покарать Луи Англси, графа Апнорского, к вящему торжеству справедливости. Однако король вернулся, Англия — Вавилон, Даниель Уотерхауз и убитый ночью безвинный пуританин — чужаки в чужой стране, как первые христиане в языческом Риме, — к чему марать руки судебной тяжбой? Лучше встать над схваткой и уповать на год тысяча шестьсот шестьдесят шестой.

Посему он вернулся в коллегию Святой и Нераздельной Троицы, так и не сказав ни слова мировому судье. Пошёл дождь. К тому времени, как Даниель добрался до колледжа, кровь с травы уже смыло.

Тело нашли через два дня среди камышей в

полумиле по течению реки Кем. Убитый был преподавателем Кембриджа, гебраистом и дальним знакомцем Дрейка. Друзья покойного пытались что-нибудь узнать, но никто ничего не видел.

Немудрёная поминальная служба прошла в церкви, переделанной из амбара, в пяти милях от Кембриджа. *Точно* в пяти милях. Акт о Единообразии, помимо прочего, запретил индепендентам устраивать молельные дома ближе чем в пяти милях от англиканских приходских церквей, поэтому пуритане взяли в руки карты и циркули, и многие участки бросовой земли внезапно поменяли владельцев. Пришёл Дрейк и привёл с собой двух единокровных братьев Даниеля — Релея и Стерлинга. Пели псалмы, говорили проповеди, уверяя, что убиенный пуританин теперь в Царствии Божием. Даниель громко молился об избавлении из этого гнезда аспидов и ехидн — Тринити-колледжа.

В итоге ему, разумеется, пришлось выслушать несколько внушений. Сперва Дрейк отвёл его в сторонку.

Дрейк давно сжился с утратой носа и ушей, но ему довольно было повернуться к Даниелю лицом, чтобы тот вспомнил: есть мучения похуже учёбы в Тринити. Поэтому Даниель почти ниче-

го не запомнил из отцовских слов. По большей части они сводились к тому, что каждый вечер обнаруживать у себя в постели новую, заранее оплаченную девку — суровый искус для юноши, и Дрейк всецело его одобряет: пусть указанный юноша ощутит на себе жар адского пламени и докажет свою добродетель.

Подтекст был такой, что Даниель выстоит. Он не решился сказать отцу, что уже не выдержал испытания.

Потом Релей и Стерлинг по пути домой завели Даниеля в сельский трактир и объяснили, что он недоумок (притом неблагодарный), коли не сознаёт своего счастья. Дрейк и его первый выводок сыновей сколотили очень приличный капиталец, несмотря на религиозные преследования (а если хорошенько подумать, то и *благодаря* им). У братьев выходило, что главная цель учёбы в университете — свести знакомство со знатными и могущественными. Семья отправила Даниеля в колледж ценою больших расходов (о чём не уставали напоминать братья); если иногда, проснувшись, он обнаруживает на себе мертвецки пьяного герцога Монмутского, не дошедшего до собственной кровати, значит, все *их* мечты исполнились.

Подтекст был такой, что Релей и Стерлинг не верят в конец света, назначенный на 1666 год. Коли так, молчанию Даниеля в истории с Апнором нет ни малейшего оправдания.

Историю эту все в Тринити скоро позабыли, за исключением Уотерхауза и Джеффриса. Джеффрис по большей части не замечал Уотерхауза, но время от времени, например, садился напротив и в продолжение всего обеда не спускал с него глаз, а затем догонял Даниеля на лугу и говорил:

— Вы меня завораживаете, мистер Уотерхауз, как живое и ходячее воплощение малодушия. На ваших глазах убили человека, а вы *ничего* по этому поводу не предприняли. Ваше лицо горит, как раскалённое тавро. Я хочу впечатать его в память, чтобы на склоне лет вспоминать как платоновский идеал трусости.

Я собираюсь посвятить себя юриспруденции. Вы знаете, что эмблема правосудия — весы? С коромысла свешиваются две чаши. На одной — виновная сторона. На другой — гирька, полированный золотой цилиндр с пробирным клеймом. Вы, мистер Уотерхауз, будете эталоном, которым я стану взвешивать трусов.

Какую пуританскую софистику вы сочинили, мистер Уотерхауз, чтобы оправдать своё

бездействие? Другие, подобные вам, всходили на корабли и отплывали в Массачусетс, дабы вести чистую жизнь подальше от нас, грешников. Думаю, вы разделяете их воззрения, мистер Уотерхауз, однако плавание через Северную Атлантику не для трусов, поэтому вы здесь. Полагаю, вы удалились в своего рода мысленный Массачусетс. Ваше тело в Тринити, но ваш дух унёсся к некой умозрительной Плимутской скале. Деля с нами трапезу, вы воображаете, будто сидите в вигваме, гложете индюшачью ножку с маисовыми лепёшками и строите глазки краснокожей индейской чаровнице.

В силу названных причин Даниель пристрастился к долгим прогулкам по садам и лугам Кембриджа. Если хорошо выбрать дорогу, можно было за четверть часа ни разу не перешагнуть через мертвецки пьяного студиозуса или (в тёплую погоду) не рассыпаться в извинениях, наступив на Монмута или кого-нибудь из его свиты, совокупляющегося с девкой под сенью струй. Не раз он примечал у реки другого юношу, склонного к одиноким прогулкам. Даниель ничего о нём не знал — юноша ничем не прославился среди своих собратьев. Однако, когда у Даниеля вошло в привычку отыскивать его взглядом, он стал сно-

ва и снова замечать незнакомца на периферии университетской жизни. Юноша был субсайзером — безродным провинциалом, для которого священный сан и какой-нибудь захудалый приход были единственным шансом вырваться из своей среды. Вместе с другими субсайзерами (такими, как Роджер Комсток) он иногда появлялся в трапезной, чтобы подкрепиться объедками и убрать после того, как отобедают высшие — пансионеры (например, Даниель) и те, кто вносил особую плату за право столоваться с начальством (например, Монмут и Апнор).

Подобно тому, как две кометы в пустынном космосе влекутся друг к другу посредством неведомого дальнодействия, два юноши почувствовали взаимное притяжение средь рощ и лугов Кембриджа. Оба страдали робостью и поначалу просто следовали параллельными траекториями во время одиноких прогулок. И всё же со временем их пути сошлись. Исаак был бледен, как лунный свет, и невероятно хилого сложения — не поймёшь, в чём душа держится. В необычайно светлых волосах уже пробивалась седина, бледные глаза выпирали из орбит, нос заострился. Чувствовалось, что в голове его происходит много такого, чем он не намерен делиться с кем

бы то ни было. Впрочем, как и Даниель, он был пуританин, а следовательно, изгой, и втайне увлекался натурфилософией. Им естественно было сблизиться.

Они договорились поселиться вместе. Другой купеческий сынок охотно переехал на место Даниеля. В Тринити различия между категориями студентов соблюдались не так строго, как в других колледжах, и Даниелю с Исааком никто не препятствовал. Их каморка выходила окнами на город; Даниель радовался, что не будет больше смотреть во двор, полный кровавых воспоминаний. Во время Гражданской войны по окну стреляли, и на потолке сохранились следы от пуль.

Даниель узнал, что Ньютон происходит из семьи, по линкольнширским меркам обеспеченной. Отец умер ещё до его рождения, оставив небольшое наследство, нажитое фермерским трудом. Мать вскоре вышла замуж за более или менее благополучного священника. По рассказам Исаака, она отнюдь не представлялась любящей и заботливой. Сначала дражайшая матушка отправила его учиться в соседний городок Грантем. Далеко не бедная вдова (второй её муж тоже скончался) могла бы послать Исаака в Кембридж

пансионером, однако по скаредности, душевной чёрствости или тайной неприязни к образованию определила субсайзером, чистить другому студенту сапоги и прислуживать за столом. Не способная унижать сына издалека, родительница позаботилась, чтобы это исполнял за неё кто-нибудь другой. Ньютон был очевидно способнее, и Даниель тяготился такими отношениями. Он предложил жить на равных, по-братски деля то, что у каждого есть.

К его удивлению, Исаак отказался и продолжал безропотно исполнять обязанности слуги. Жизнь его, вне всяких сомнений, стала гораздо лучше. Они с Даниелем порознь штудировали Аристотеля, изводя свечи фунтами и чернила квартами. То было житьё, к которому оба стремились. Тем не менее Даниеля смущало, что Исаак каждое утро помогает ему одеваться и тратит не меньше четверти часа на расчёсывание волос. Полстолетия спустя Даниель без тщеславия вспоминал, что был довольно привлекательным юношей. Он мог похвалиться густыми длинными волосами; Исаак обнаружил, что, если их определённым образом расчесать, они ложатся на лоб красивой природной волной, и не успокаивался, не достигнув этого результата. Даниелю всякий раз было

не по себе, однако он угадывал в Исааке мстительную ранимость и боялся обидеть того отказом.

Так продолжалось до Троицына дня, когда Даниель, проснувшись, не увидел в комнате Исаака. Даниель лёг сильно за полночь, Исаак, по обыкновению, засиделся ещё дольше. Все свечи прогорели до основания. Даниель решил, что Исаак пошёл вынести ночную посуду, но тот не возвращался. Даниель шагнул к их крошечному письменному столу и увидел листок бумаги, на котором Исаак запечатлел спящее юное существо ангельской красоты. Даниель даже не понял сперва, юноша это или девушка. Однако, поднеся рисунок к окну, он заметил на лбу спящего волнистую прядь. Она стала криптографическим ключом к зашифрованному посланию. Даниель внезапно узнал себя. Не реального, но очищенного и облагороженного словно бы неким алхимическим превращением — шлак и окалина ушли, освобождённый дух воссиял, будто философская ртуть. Таким был бы Даниель Уотерхауз, если бы пошёл к мировому судье, обличил Апнора и, пострадав за правое дело, принял достойную христианина смерть.

Даниель спустился и нашёл Исаака в церкви, где тот в муках коленопреклоненно молился о

спасении своей души. Даниель невольно почувствовал сострадание, хотя слишком мало знал о грехе и слишком мало об Исааке, чтобы понять, в чём кается его друг. Даниель встал рядом и тоже немного помолился. Со временем боль и страх вроде бы немного отпустили. Церковь мало-помалу наполнилась народом. Началась служба. Оба взяли по «Книге общих молитв» и открыли их на странице Троицына дня. Священник вопросил: «Что требуется от приступающих к Вечере Господней?» Оба ответили: «Испытать себя, раскаиваются ли они в прежних грехах и вознамерились ли со всею твердостию вести новую жизнь». Даниель смотрел на Исаака, когда тот произносил строки из катехизиса, и видел внутренний пыл. Такой же пламень озарял изувеченное лицо Дрейка, когда старик принимал какое-то бесповоротное решение. Оба причастились. *Се Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира.*

Даниель видел, как Исаак из страдальца, буквально бьющегося в духовных корчах, преобразился в непорочного святого. Раскаявшись в прежних грехах — и со всею твердостию вознамерившись вести новую жизнь, — они возвратились в свою келейку. Исаак бросил рисунок

в огонь, раскрыл тетрадь и принялся писать. В начале чистого листа он написал: «Грехи, совершённые до Троицына дня 1662 года» — и начал перечислять все свои дурные поступки, какие сумел вспомнить, с самого детства: желал отчиму смерти, побил однокашника и тому подобное. Он писал весь день и часть ночи, а исчерпавшись, начал новую страницу под заголовком «После Троицына дня 1662 года», которую оставил покамест незаполненной.

Даниель тем временем вернулся к Евклиду. Джеффрис постоянно напоминал, что он показал себя недостойным священного сана. Джеффрис делал это из желания помучить Даниеля-пуританина. На самом же деле Даниель если и собирался сделаться проповедником, то лишь в угоду отцу. С того самого дня, как Дрейк привёл его к Уилкинсу, ему хотелось одного — заниматься натурфилософией. Не выдержав испытания на моральную прочность, он обрёл свободу, пусть даже горькой ценой презрения к себе. Коль скоро натурфилософия приведёт его к вечному проклятию, изменить что-либо не в его власти, как первым подтвердил бы верящий в предопределение Дрейк. Впрочем, могут пройти годы и даже десятилетия до того, как Даниель попадёт в ад.

Он решил, что сто́ит по крайней мере заполнить это время чем-нибудь для себя интересным.

Через месяц, когда Исаака не было в комнате, Даниель открыл его тетрадь на странице, озаглавленной «С Троицына дня 1662 года». Она по-прежнему была пуста.

Через два месяца Даниель проверил снова. Новых записей не появилось.

Тогда он решил, что Исаак просто забыл про тетрадь. Или, может быть, перестал грешить! Много лет спустя Даниель понял, что ошибся в обеих своих догадках. Исаак Ньютон просто не считал себя больше способным на грех.

Суровый вердикт, ведь сказано: «Не судите, да не судимы будете». На это можно возразить, что, имея дело с Исааком Ньютоном, самым поспешным и безжалостным из судей, приходилось быть скорым и точным в собственных суждениях.

Бостон, Колония Массачусетского залива

Другие, в стороне,
Облюбовали для беседы холм
(Умам – витийство, музыка – сердцам
Отрадны), там раздумьям предались,
Высоким помыслам: о Провиде́нье,
Прови́денье, о воле и судьбе —
Судьбе предустановленной и воле
Свободной…

Мильтон, «Потерянный рай» [6]

12 октября 1713

Как добрый картезианец, который измеряет всё по отношению к неподвижной точке, Даниель Уотерхауз думает, плыть ему или не плыть в Англию, одновременно глядя в приоткрытую дверь на сына, Годфри Вильяма, неподвижный колышек, который он вогнал в землю после многолетних скитаний. Произвольная точка на плоской равнине, возразили бы некоторые, но ныне начало всей его координатной системы. По

---

[6] Примечания: 6
Здесь и далее перев. Арк. Штейнберга.

сэру Исааку всё сущее есть некое непрекращающееся чудо; планеты удерживаются на орбитах и атомы на своих местах имманентной волею Божьей. Глядя на сына, Даниель вряд ли мог бы думать иначе. Мальчик — свёрнутая пружина; возможно, в нём заключены целые поколения американских Уотерхаузов, хотя с тем же успехом он может подцепить лихорадку и умереть завтра.

В большинстве бостонских домов за мальчиком, пока родители принимают гостей, присматривала бы рабыня. У Даниеля Уотерхауза рабов нет по разным причинам, в том числе даже по соображениям человеколюбия. Поэтому маленький Годфри сидит на коленях не у негритянки, а у соседки, слегка тронутой миссис Гуси, которую мальчик ещё в детстве окрестил «матушкой Гусыней». Она иногда заходит к Уотерхаузам, чтобы делать то единственное, на что, по всей видимости, способна: развлекать детей нелепыми побасенками и дурными стишками, которые запомнила или сочинила сама. Енох ушёл договариваться с ван Крюйком, капитаном «Минервы»; тем временем Даниель, Благодать и преподобный

Терпи-Смиренно*[7]Уотерхауз обсуждают, как быть с неожиданным приглашением принцессы Каролины Ансбахской. Много слов произнесено, однако они действуют на Уотерхауза не больше, чем бессвязные бормотания миссис Гуси о столовых приборах, скачущих через небесные тела, или старушках, живущих в дырявой обуви.

Терпи-Смиренно Уотерхауз говорит что-то в таком роде:

— Верно, вам шестьдесят семь, но вы в отменном здравии — многие прожили гораздо дольше.

— Если будешь избегать многолюдных сборищ, высыпаться и есть вовремя… — говорит Благодать.

— Что, если рухнет Лондонский мост, Лондонский мост, Лондонский мост… — поёт матушка Гусыня.

— Никогда я до такой степени не осознавал, что мой мозг — собрание кривошипов и шестерён, — говорит Даниель. — Моё решение принято некоторое время назад.

— Люди нередко меняют свои решения, — говорит преподобный.

— Можно ли заключить из ваших последних

[7] Примечания: 7

Сын Восславь-Господа Уотерхауза, сына Релея У., сына Дрейка — и, таким образом, внучатый племянник Даниеля.

слов, что вы верите в свободную волю? — вопрошает Даниель. — Вот уж не ожидал услышать такое от Уотерхауза! Чему только учат нынче в Гарварде? Вы забыли, что основатели нашей колонии бежали как раз от тех, кто исповедовал свободную волю?

— Не думаю, что основание нашей колонии так уж связано с упомянутым спором. В куда большей степени это был мятеж против самой концепции государственной церкви, будь то католическая или англиканская. Да, многие из тогдашних индепендентов, в том числе наш предок Джон Уотерхауз, переняли свои взгляды у женевских кальвинистов и презирали столь любимый англиканами и папистами принцип свободной воли. Однако далеко не это одно отправило их в изгнание.

— Я почерпнул свои взгляды не у Кальвина, а из натурфилософии, — говорит Даниель. — Разум — механизм, логическая машина. Вот во что я верю.

— Как та, что вы строите у реки?

— Только, по счастью, куда более отлаженная.

— Вы думаете, если улучшить вашу машину, она станет такой же, как человеческий разум? Обретёт душу?

— Когда вы говорите о душе, вы воображаете нечто выше и больше кривошипов и шестерён, мёртвого вещества, из которого состоит механизм — будь то логическая машина или мозг. В такое я не верю.

— Почему?

На это, как на многие простые вопросы, ответить непросто.

— Почему? Наверное, потому, что это напоминает мне алхимию. Душа, то есть нечто, добавляемое к мозгу, — та же квинтэссенция алхимиков: неуловимая субстанция, якобы пронизывающая весь мир. Сэр Исаак посвятил её поискам всю жизнь, но так ничего и не нашёл.

— Коли такие взгляды вам не по вкусу, не стану вас переубеждать, по крайней мере в том, что касается свободной воли либо предопределения, — говорит Терпи-Смиренно. — Однако я знаю, что в детстве вы имели честь сидеть у ног таких мужей, как Джон Уилкинс, Грегори Болструд, Дрейк Уотерхауз и других убеждённых индепендентов, — людей, которые проповедовали свободу совести. Которые ратовали за церковь-общину в противоположность церкви установленной, государственной. За процветание маленьких конгрегаций. За отмену центральной догмы.

Даниель, всё ещё не вполне веря своим ушам:

— Да…

Терпи-Смиренно, бодрым голосом:

— Так что мешает мне проповедовать свободную волю *моей* пастве?

Даниель смеётся:

— А поскольку вы речисты, молоды и хороши собой, то и обращаете в свою веру многих, включая, насколько я понял, мою жену?

Благодать заливается краской, встаёт и отворачивается, чтобы скрыть румянец. Отблески свеч вспыхивают на серебре в её волосах — это шпилька в форме кадуцея. Благодать выходит якобы взглянуть на маленького Годфри, хотя им прекрасно занимается миссис Гуси.

В таком крохотном городке, как Бостон, казалось бы, ничто не скроется от посторонних ушей. Всё устроено словно нарочно для любопытных. Почту доставляют не домой, а в ближайшую таверну; если не забрать её через день-другой, трактирщик вскроет ваши письма и прочтёт вслух всем желающим. Даниель не сомневается, что миссис Гуси подслушивает, хотя она полностью погружена в своё занятие, как будто болтовня с ребёнком важнее, чем великое решение, которое Даниель пытается принять в конце

долгой жизни.

— Не волнуйся, дорогая, — обращается он к жениной спине. — Меня воспитал отец, верящий в предопределение, так что пусть уж лучше моего сына воспитает мать, верящая в свободную волю.

Однако Благодать уже вышла из комнаты.

Терпи-Смиренно спрашивает:

— Так вы верите, что Господь предопределил вам сегодня отплыть в Англию?

— Нет, я не кальвинист. Теперь вы озадачены, преподобный. Это оттого, что вы провели слишком много времени в Гарварде, читая о таких, как Кальвин или архиепископ Лод, и по-прежнему увлечены спором арминиан с пуританами.

— А что я должен был читать, доктор? — спрашивает Терпи-Смиренно, несколько преувеличенно изображая восприимчивость к чужому мнению.

— Галилея, Декарта, Гюйгенса, Ньютона, Лейбница.

— Программу вашего Института технологических искусств?

— Да.

— Не знал, что вы затрагиваете теологические вопросы.

— Это укол? Нет, нет, я отнюдь не в претензии! Напротив, меня радует такое проявление характера, поскольку я вижу, что вам в конечном счёте предстоит воспитывать моего сына.

Даниель произнёс это без всякого намёка — он полагал, что Терпи-Смиренно будет помогать мальчику из родственных чувств, но по заалевшим щекам молодого проповедника видит, что роль отчима куда вероятнее.

В таком случае лучше свести разговор к чему-нибудь более абстрактному.

— Всё идёт от первопринципа. Каждую вещь можно измерить. Каждая вещь, в том числе наш мозг, подчиняется физическим законам. Мой мозг, принимающий решение, движется по заданному пути, как катящийся по жёлобу шар.

— Дядя! Вы же не отрицаете существование душ — Высшего Духа!

Даниель молчит.

— Ни Ньютон, ни Лейбниц с вами не согласятся, — продолжает Терпи-Смиренно.

— Они боятся это сделать, потому что оба — люди заметные, и за такое высказывание их сотрут в порошок. Однако никто не станет стирать в порошок *меня*.

— Нельзя ли воздействовать на твой ум-

ственный механизм доводами? — спрашивает Благодать.

Она вернулась и стоит в дверях.

Даниелю хочется ответить, что Терпи-Смиренно может с тем же успехом повлиять на него доводами, как соплёй сбить с курса мчащийся на всех парусах линейный корабль. Хотя язвить незачем: вся цель разговора — оставить по себе в Новом Свете добрую память. Теория в данном случае такова: поскольку солнце встаёт на восточном краю Америки, маленькие предметы отбрасывают на запад длинные тени.

— Будущее столь же неизменно, сколь и прошлое, — говорит он, — и будущее состоит в том, что через час я взойду на борт «Минервы». Можете возразить, что мне следует остаться в Бостоне и воспитывать сына. Разумеется, ничего другого я бы не желал. Я бы, с Божьей помощью, до конца отпущенных мне дней радовался, глядя, как возрастает Годфри. У него был бы отец из плоти и крови, со множеством явных слабостей и недостатков. До поры до времени он бы почитал меня, как все мальчики почитают отцов, потом бы это прошло. Но если я отплыву на «Минерве», вместо отца из плоти и крови — заданной постоянной величины — у него будет воображаемый, исклю-

чительно податливый его мысли. Я уеду и буду мысленно представлять поколения ещё не рождённых Уотерхаузов, а Годфри сможет рисовать себе героического отца, каким я никогда не был.

Терпи-Смиренно Уотерхауз, человек умный и достойный, видит столько изъянов в этих рассуждениях, что парализован выбором. Благодать, лучшая родительница, чем супруга, которой с сыном повезло больше, чем с мужем, коротким кивком охватывает целый спектр компромиссов. Даниель берёт сына с колен миссис Гуси — подкатил Енох в наёмном экипаже, — и все отправляются на пристань.

> Итак, вижу во сне, что человек этот побежал; и не успел отбежать от своей двери, как жена и дети начали ему вслед кричать, чтобы он возвратился, но человек заткнул пальцами уши и всё бежал, громко вопия: «Жизнь, жизнь, вечная жизнь!» И так, не оглядываясь, бежал к самой середине равнины.
>
> ***Джон Беньян, «Путь паломника»***[8]

---

[8] Примечания: 8
Здесь и далее перев. Т. Поповой.

«Минерва» уже подняла якорь, пользуясь приливом, чтобы увеличить расстояние от киля до подводных скал на выходе из гавани. Даниелю предстоит добираться до неё на лоцманском боте. Годфри, с трудом разлепив глаза, целует отца и провожает его взглядом, словно во сне. Это хорошо: он сможет потом подгонять свои воспоминания под меняющиеся нужды, как мать каждые полгода надставляет ему одежду по росту. Терпи-Смиренно стоит рядом с Благодатью, и Даниель невольно думает, какая они красивая пара. Разлучник Енох виновато жмётся в сторонке, его седина пылает в лунном свете белым огнём.

Рабы изо всей силы налегают на вёсла. Даниель вынужден сесть, не то бот вырвется из-под ног, оставив его бултыхаться в заливе. Строго говоря, он не столько садится, сколько плюхается назад и удачно попадает на банку. С берега, вероятно, это выглядит довольно комично, но Даниель знает, что нелепый эпизод будет вымаран из Истории, которой предстоит жить в памяти американских Уотерхаузов. История в хороших руках. Миссис Гуси пришла на пристань, чтобы смотреть и запоминать, а у неё к этому дар. Енох тоже остаётся: приглядеть за сухим остатком Института технологических искусств Колонии Массачусетского

залива и отчасти тоже позаботиться об Истории, проследить, чтобы она приобрела лестную для Даниеля форму.

Даниель плачет.

Его всхлипы заглушают почти всё вокруг, но он различает какую-то странную мелодию. Невольники затянули песню. В такт гребле? Нет, тогда грянуло бы эдакое бодрое «йо-хо-хо», а они поют что-то более сложное, со смещением сильных долей. Должно быть, это некий африканский лад, гексатоника, непривычная для европейского уха. И всё же в пении слышится что-то определённо ирландское. Удивляться нечему: в Вест-Индии, перевалочном пункте всей торговли живым товаром, ирландцев-рабов хоть отбавляй. Песня (музыковедческие рассуждения в сторону) исключительно грустная, и Даниель знает почему: сев в лодку и разрыдавшись, он напомнил неграм, как их пригнали на гвинейский берег и в цепях погрузили на корабль.

Через несколько минут бостонские пристани исчезают из вида, но вокруг по-прежнему суша: множество островков, скал и костных щупальцев Бостонского залива. За ботом наблюдают с виселиц мертвецы. Пиратов казнят за нарушение адмиралтейского законодательства, юрисдикция

которого распространяется лишь до верхней приливной отметки. Неумолимая логика закона требует, чтобы виселицы для пиратов воздвигали в отливной зоне и чтобы мёртвых пиратов трижды накрыло приливом, прежде чем их снимут. Разумеется, смерть — недостаточное наказание для морских разбойников, и обычно приговор требует вешать их в запертых клетках, чтобы тела нельзя было снять и по-христиански предать земле.

В Новой Англии, судя по всему, пиратов не меньше, чем честных моряков. Здесь, как и во многих других вопросах, Провидение благоволит к Массачусетсу: бостонская гавань усеяна заливаемыми в прилив островками, так что земли, пригодной под вешанье пиратов, вокруг вдоволь. Почти вся она пущена в дело. Днём виселиц не видно за стаями голодных птиц. Однако сейчас ночь, птицы в Бостоне и Чарльстауне дремлют в гнёздах, свитых из пиратских волос. Идёт прилив, верхушки рифов скрыты водой, виселицы торчат прямо из волн. В последний (как предполагает Даниель) путь его, как почётный караул, провожают десятки иссохших, обклёванных пиратов, парящих над залитым луной морем.

Почти час уходит на то, чтобы нагнать «Ми-

нерву». Её корпус нависает над ботом. Спускают лоцманский трап. Подъём тяжёл. Мешает не только всемирное тяготение: волны, проникшие из Северной Атлантики, раскачивают корабль. Как назло, подъём заставляет Даниеля вспомнить пуританские догматы, которые он изо всех сил старался забыть. Трап становится лестницей Иакова, лодка с чёрными потными рабами — Землёй, корабль — Небом, матросы на посеребрённых луной вантах — ангелами, а капитан — самим Дрейком, понуждающим Даниеля взбираться быстрее.

Даниель покидает Америку, становясь частицей её запаса воспоминаний — перепревшего навоза, из которого она выпустит свежие зелёные ростки. Старый Свет тянется к нему: два ласкара, насквозь пропахшие шафраном, асафетидой и кардамоном, хватают его холодные бледные руки в свои чёрные и горячие. Они втаскивают Даниеля на палубу, как рыбину. В тот же самый миг под кораблём прокатывается волна, и все трое падают на палубу, словно тройка обнявшихся пьянчуг. Ласкары тут же вскакивают и принимаются убирать трап. Бот был наполнен скрипом, плеском вёсел и пением рабов; «Минерва» движется с бесшумностью хорошо удифференцированного

корабля, что (надеется Даниель) означает её гармонию с силами природы. Атлантические валы вздымают и опускают палубу под Даниелем, без усилия перемещая его тело; это как лежать у матери на груди, когда она дышит. Поэтому Даниель некоторое время лежит, раскинув руки, и глядит на звёзды: белые геометрические точки на грифельной доске, расчерченной тенями такелажа — вспомогательной сеткой цепных линий и евклидовых сечений, как на каком-нибудь геометрическом доказательстве в «Математических началах» Ньютона.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж

Дурачка можно научить обычаю читать и писать, однако никого нельзя научить гениальности.

«Мемуары Достонегоднейшего Джона Холла», 1708 г.

1663

Однажды вечером Даниель ненадолго вышел, встретился с Роджером Комстоком в таверне, и свидетельствовал перед ним, и пытался обратить его ко Христу — впрочем, безуспешно. Даниель вернулся к себе и обнаружил на столе кота мордой в Исааковой миске. Сам Исаак сидел в нескольких дюймах от кота. Он на несколько дюймов вогнал штопальную иглу себе в глаз.

Даниель истошно завопил. Кот, непомерно разжиревший на Исааковых харчах (которые каждый день съедал практически единолично), четвероногим студнем шмякнулся со стола и затрусил прочь. Исаак не сморгнул, что, вероятно, было и к лучшему. В остальном вопль Даниеля ничуть не нарушил обыденную жизнь Тринити-

колледжа: те, кто ещё мог что-нибудь слышать, решили, что какая-то шлюшка разыгрывает недотрогу.

— Препарируя глаза животных в Грантеме, я часто дивился их идеальной сферичности, которая в теле, составленном на остальную часть из неправильной формы костей, сосудов, мышц и кишок, словно бы выделяет их из ряда всех прочих органов. Как будто Творец создал глаза по образу и подобию небесных сфер, дабы одни получали свет от других, — проговорил Исаак. — Естественно, меня заинтересовало, будет ли несферический глаз работать так же хорошо. Для сферичности глаза существует, помимо теологического, и практический резон — чтобы яблоко могло поворачиваться в глазнице.

Исаак говорил с натугой — видимо, боль была нестерпимой. Слезы капали на стол, словно из водяных часов, — Даниель первый и последний раз видел, как Исаак плачет.

— Другой практический резон состоит в том, что глазное яблоко наполнено под давлением водянистым соком.

— Господи! Только не говори, что ты выдавливаешь из глаза жидкость!

— Смотри внимательнее, — рявкнул Исаак. —

Наблюдай — не домысливай.

— Я не выдержу.

— Игла ничего не *пронзает* — глазное яблоко абсолютно цело. Подойди и глянь!

Даниель подошёл, одной рукой зажимая себе рот, словно похититель и похищенный в одном лице, — он боялся, что его стошнит в раскрытую тетрадь, где Исаак свободной рукой делал какие-то пометки. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что Исаак вогнал иглу не в сам глаз, но между яблоком и глазницей. Вероятно, он просто оттянул нижнее веко и нащупал, куда можно её вставить.

— Игла тупая — глазу ничто не угрожает, — проворчал Исаак. — Не согласишься ли ты мне помочь?

Считалось, что Даниель — студент, ходит на лекции, штудирует Евклида и Аристотеля. Однако последний год он действовал в ином качестве: лишь его стараниями да милостью Божьей Исаак Ньютон ещё не отправился на тот свет. Даниель давно перестал задавать ему нудные бестактные вопросы вроде: «Ты хоть помнишь, когда последний раз ел?» или «Не думаешь ли ты, что сон, по часу-другому каждую ночь, был бы тебе на пользу?» Помогало одно: дождаться, когда

Исаак рухнет лицом на стол, и тогда уж волочь его в постель, после чего садиться рядышком за собственные занятия и, как только Исаак очнётся, но ещё не будет знать, какое сегодня число, и не успеет задуматься, заталкивать в него хлеб и молоко, чтобы не умер от истощения. Даниель делал это добровольно — жертвуя собственной учёбой и пуская псу под хвост деньги, которые платил за него Дрейк, — поскольку считал спасение Исаака своим христианским долгом. Исаак, в теории по-прежнему субсайзер, стал господином, Даниель — чутким слугой. Разумеется, Исаак не замечал его стараний, что делало их ещё более ярким образчиком христианской самоотверженности. Даниель уподобился тем фанатичным католикам, которые скрывают власяницу под шёлковыми одеждами.

— Вот чертёж, он поможет тебе лучше понять замысел сегодняшнего опыта, — сказал Исаак, показывая поперечный разрез глаза, иглы и руки в тетради — единственное художество, которое он изобразил на бумаге с памятного Троицына дня; после тех странных событий его перо выводило лишь уравнения.

— Можно спросить, зачем ты это делаешь?

— Теория цветов входит в программу, — сказал

Исаак.

Даниель знал, что речь идёт о списке философских вопросов, которые Исаак записал в тетради и которые пытался самостоятельно разрешить. За последний год Исаак с его программой и Даниель со своей богоданной обязанностью поддерживать в товарище жизнь не виделись ни с кем из преподавателей и не посетили ни одной лекции.

— Я читал последнее творение Бойля, «Опыты и рассуждения касательно цветов», и мне пришло в голову вот что: он делает свои наблюдения посредством глаз, следовательно, глаза — его инструмент, как телескоп, — но понимает ли он, как работает этот инструмент? Жалок был бы астро́ном, не разумеющий своих линз!

Даниель мог бы много чего на это ответить, однако сказал только: «Чем я могу быть тебе полезен?», и не просто из желания поддакнуть. Поначалу его возмутила самая мысль, что обычный студент, двадцати одного года от роду, без степени, ставит под сомнение способность великого Бойля делать наблюдения. Однако через мгновение ему впервые подумалось: что, если Ньютон прав, а все остальные заблуждаются? Поверить было трудно. С другой стороны, верить *хотелось* — ведь коли это и впрямь так, значит,

пропуская лекции, он ровным счётом ничего не теряет, а прислуживая Ньютону, получает лучшее натурфилософское образование на свете.

— Я попрошу тебя нарисовать на бумаге сетку и держать её на разных отмеренных расстояниях от моей роговицы, а я буду двигать иглу вверх-вниз, увеличивая и уменьшая искривление глазного яблока, — то есть одной рукой буду делать это, а другой — записывать.

Так прошла ночь — к рассвету Исаак Ньютон знал про человеческий глаз больше, чем кто-либо из смертных, а Даниель — больше, чем кто-либо кроме Ньютона. Опыт мог поставить любой, но только один человек до него додумался. Ньютон вытащил иглу — его глаз давно налился кровью, заплыл и почти не открывался. Он раскрыл тетрадь на следующей странице и принялся сражаться с какой-то задачкой из аналитической геометрии Декарта, а Даниель, пошатываясь, спустился по лестнице и пошёл в церковь. Солнце обратило её витражи в матрицу пылающих самоцветов.

Даниель понял то, чего не понимал прежде: его мозг, подобно гомункулу, съёжился в черепе и смотрит на мир через хорошие, но несовершенные телескопы, слушает через слуховые

рожки, собирает наблюдения, искажённые по дороге. Так линза вносит хроматические аберрации в проходящий через неё свет; человек, смотрящий на мир в телескоп, считал бы, что аберрации *реальны*, что звёзды действительно такие. Сколько же ещё ложных допущений сделали до нынешней ночи натурфилософы, опираясь на свидетельства собственных чувств? Сидя в разноцветных отблесках витража, слушая хор и орга́н, Даниель, чуть пьяный от усталости после бессонной ночи, ощутил слабый отзвук того, что *постоянно* чувствовал Исаак Ньютон, — перманентное прозрение, море пламенеющего света, звон космической гармонии в ушах.

На «Минерве», Массачусетский залив

октябрь 1713

Даниель, лёжа на палубе, замечает, что кто-то на него смотрит: приземистый рыжеволосый и рыжебородый крепыш в круглых очочках и с зажжённой сигарой во рту. Это ван Крюйк, капитан «Минервы», подошёл проверить, не придётся ли завтра хоронить пассажира в море. Даниель наконец садится и представляется. Ван Крюйк отвечает односложно — вероятно, делает вид, будто знает английский хуже, чем на самом деле, чтобы пассажиру не вздумалось одолевать его долгими разговорами. Он ведёт Даниеля по главной палубе «Минервы» (она зовётся верхней, хотя на носу и на корме есть другие палубы, выше), по трапу на шканцы и в отведённую ему каюту. Даже ван Крюйк, которого со спины легко принять за плотного десятилетнего мальчишку, вынужден пригнуться, чтобы не удариться головой о слегка изогнутые балки, поддерживающие палубу юта наверху. Он поднимает руку и цепляется за балку, но не пальцами, а медным крюком.

В каюте, хоть и крохотной, есть всё, что пола-

гается: сундучок, фонарь и койка — деревянный ящик с соломенным тюфяком. Солома свежая, и её аромат до самой Англии напоминает Даниелю о зелёных лугах Массачусетса.

Даниель снимает верхнее платье, сворачивается клубочком и засыпает.

Когда он просыпается, солнце бьёт ему прямо в глаза. У каюты есть маленькое окошко в носовой переборке (поскольку оно надёжно закрыто нависающей палубой полуюта, его застеклили). Они плывут на восток, и встающее солнце сияет прямо в окошко, пробиваясь по пути через огромный штурвал. Он расположен всё под той же нависающей палубой юта, чтобы рулевой мог спрятаться от непогоды, но при этом видел почти всю «Минерву». Сейчас штурвал закреплён тросами, пропущенными сквозь рукояти, чтобы руль оставался в одном положении. У штурвала никого нет, и он делит красный диск встающего солнца на ровные сектора.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж

1664

В большом дворе Тринити-колледжа стояли солнечные часы, которые Исаак Ньютон не любил: плоский диск, разделённый подписанными радиальными линиями, с наклонным гномоном посередине. Наивно скопированные с римских образов, они обладали некоторым классическим изяществом и безбожно врали. Ньютон начал делать на южной стене собственные часы, используя в качестве гномона стержень с шариком на конце. В солнечную погоду тень шарика описывала на стене кривую, смещавшуюся день от дня, поскольку наклон земной оси изменяется в течение года. Пучок кривых представлял значительный интерес с астрономической точки зрения, но времени не показывал. Чтобы определить время, Исаак (или его верный помощник, Даниель Уотерхауз) должен был отмечать, куда падает тень гномона, когда колокол Тринити (всякий раз не согласуясь со звонницей Королевского колледжа) отбивает часы. В теории,

если повторять всё это в продолжение трёхсот шестидесяти пяти дней, на каждой кривой должны были появиться отметки, соответствующие 8:00, 9:00 и так далее. Соединив их — проведя кривые через все восьмичасовые метки, через все девятичасовые и так далее, — Исаак получил бы второе семейство кривых, приблизительно параллельных одна другой и грубо перпендикулярных кривым дня.

Однажды — когда примерно двести дней уже миновало и более тысячи меток было нанесено — Даниель спросил Исаака, чем ему так любы солнечные часы. Исаак вскочил, выбежал из комнаты и устремился к реке. Даниель выждал часа два и отправился его искать. В два часа ночи Исаак сыскался на Иисусовом лугу, где созерцал собственную лунную тень.

— Я задал вопрос без всякой задней мысли; мне искренне хотелось понять, что такое в солнечных часах я по своему тупоумию не разглядел.

Исаак вроде успокоился, но не стал просить прощения за то, что дурно подумал о Даниеле. Он ответил примерно так:

— Небесное сияние наполняет эфир, его лучи прямы, параллельны и незримы, пока что-нибудь не встанет на их пути. Все тайны Божьего

мироздания записаны в этих лучах, но на языке, которого мы не понимаем и даже не слышим. Их направление, спектр цветов, заключённых в свете, — всё это значки криптограммы. Гномон… Погляди на наши тени! *Мы* — гномоны. Мы преграждаем свету путь, он нас освещает и согревает. Закрывая свет, мы разрушаем часть послания, так его и не поняв. Мы отбрасываем тень, дыру в свете, луч тьмы, повторяющий наши очертания. Иные скажут, что тень говорит лишь о форме нашего тела, и ошибутся. Отмечая, как укорачиваются и удлиняются наши тени, мы можем разгадать часть знания, скрытого в криптограмме. Надо лишь делать необходимые измерения на фиксированной поверхности — плоскости, на которую ложится тень. Декарт дал нам эту плоскость.

И дальше Даниель понял, что цель изнурительного проставления меток — не просто нарисовать кривые, но понять, *почему* каждая из них именно такова. Другими словами, Исаак хотел, чтобы можно было подойти к чистой стене в пасмурный день, вбить в неё гномон и нарисовать все кривые, просто зная, где *должна* пройти тень. Это то же, что знать, где будет Солнце, или, другими словами, в какой точке орбиты и в какой фазе

суточного вращения будет находиться Земля.

В следующие месяцы Даниель понял, что цель Исаака шире: он хочет проделывать то же самое с одинаковой лёгкостью, даже если чистая стена расположена, скажем, на луне, которую Христиан Гюйгенс недавно обнаружил у Сатурна.

Вопрос, достижима ли цель, и если да, то как, влёк за собой множество других из следующих областей: вышвырнут ли Исаака (и Даниеля, кстати) из коллегии Святой Троицы? Движется ли Земля и всё созданное человеком к финалу неумолимого разрушительного процесса, который начался изгнанием из Рая и вскоре завершится концом света? Или, может быть, всё меняется к *лучшему*? Есть ли у человека душа? Обладает ли он свободной волей?

На «Минерве», Массачусетский залив

Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путём сражения.

Гоббс, «Левиафан»

октябрь 1713

Даниель выходит на верхнюю палубу, видит, что «Минерва» уверенно скользит на восток по спокойному морю, и не понимает, как можно сомневаться в ответах на эти вопросы. Горизонт — идеальная линия, солнце — красный круг, описывающий в небе правильную траекторию и претерпевающий положенную смену цветов — красный-жёлтый-белый. Это Природа. «Минерва» — мир человеческий — собрание кривых. Здесь нет прямых линий. Палубы слегка выгнуты — для прочности и для стока воды, мачты гнутся

под напором ветра, раздувающего паруса, но их держит стоячий такелаж — сетка кривых, как на солнечном циферблате Ньютона. Разумеется, ветер в парусах и вода за бортом подчиняются законам, которые Бернулли установил при помощи дифференциального исчисления (в версии Лейбница). «Минерва» — собрание Лейбницевых кривых, движущееся в соответствии с законами Бернулли по огромной, на две трети водной сфере, чьи размеры, форма, небесная траектория и судьба определены Исааком Ньютоном.

Невозможно плыть на корабле и не думать о кораблекрушении. Даниелю оно представляется в виде оперы, длящейся несколько часов и состоящей из последовательности действий.

Действие I: Герой просыпается на корабле, скользящем под ясным небом. Солнце движется по плавной и хорошо понятной небесной кривой, море — плоскость, матросы бренчат на гитарах, вырезывают безделушки из моржовых клыков и тому подобное, в то время как учёные пассажиры гуляют по палубе и размышляют о высоких философских материях.

Действие II: Барометр в капитанской каюте предсказывает смену погоды. Через час на горизонте замечают скопление облаков, изучают его

и оценивают. Матросы бодро готовятся к буре.

Действие III: Налетает шторм. Изменения отмечают по барометру, термометру, клинометру, компасу и другим приборам; небесных тел, впрочем, уже не видно. Небо — бурлящий хаос, в котором беспорядочно вспыхивают молнии, море бушует, корабль кренится, груз надёжно закреплён в трюме, но пассажиров так укачало, что они уже не могут ни о чём думать. Матросы трудятся без остановки — некоторые из них приносят в жертву кур, надеясь задобрить своих богов. На мачтах горят огни святого Эльма, что приписывается сверхъестественным причинам.

Действие IV: Мачты сломаны, руль оторвало. На корабле паника. Есть погибшие, но неизвестно сколько. Пушки и бочки катаются по палубе непредсказуемым образом, поэтому нельзя угадать, кто в ближайшие десять секунд останется жив, а кто нет. Компас, барометр и прочая разбиты, записи их показаний смыло за борт… карты размокли… моряки беспомощны… те, кто ещё сохранил жизнь и рассудок, могут только молиться.

Действие V: Корабля нет. Уцелевшие цепляются за бочки и доски, сбрасывая с них менее удачливых товарищей и безучастно наблюдая,

как те тонут. Все в животном ужасе. Огромные валы бросают их без всякой системы, плотоядные рыбы насыщаются живыми людьми. Надежды нет — даже умозрительной.

Возможно ещё действие VI, в котором все утонули, но на оперной сцене оно бы смотрелось плохо, и Даниель его опускает.

Люди их поколения родились в пятом действии*[9], выросли в четвёртом. Студентами они оказались в маленьком хрупком пузыре третьего действия. Вообще же человечество на протяжении почти всей своей истории пребывало в действии V и недавно совершило несказанный подвиг: собрало разбросанные по морю доски в корабль, взобралось на него, создало инструменты, чтобы измерять мир, и затем отыскало некую закономерность в полученных результатах. В Кембридже Исаак Ньютон был окружён личным нимбом второго действия и продвигался к первому.

Однако люди, их окружавшие, то ли смотрели в подзорную трубу с другого конца, то ли ещё что — во всяком случае, убедили себя, будто всё наоборот: мир некогда был прекрасным и

[9] Примечания: 9

Для Англии это была Гражданская война, приведшая к власти Кромвеля, для Континента — Тридцатилетняя война.

соразмерным, человечество более или менее плавно перешло из Эдема в Афины Платона и Аристотеля, помедлив в Святой Земле, чтобы зашифровать тайны мироздания в Библии, а с тех пор медленно и неуклонно катится в тартарары. В Кембридже заправляли чудаки, дряхлые и потому вроде бы безвредные, и пуритане, которых напихал туда Кромвель взамен тех, кого счёл вредными. За исключением единичных личностей, таких как Исаак Барроу, никто из преподавателей не заинтересовался бы Ньютоновыми солнечными часами, поскольку они не походили на *старые* образцы; эти люди считали, что лучше неправильно определять время классическим способом, чем правильно — новомодным. Кривые, прочерченные Ньютоном на стене, обличали старое мышление. То был манифест, подобный тезисам, которые Лютер прибил к церковной двери.

Объясняя форму этих кривых, кембриджские профессора интуитивно воспользовались бы евклидовой геометрией. Земля — сфера. Её орбита — эллипс. Эллипс можно получить, если построить огромный воображаемый конус и рассечь его воображаемой плоскостью; пересечение конуса и плоскости даёт эллипс. Начав с простей-

шего (крохотной сферы, вращающейся там, где исполинский конус рассечён исполинской плоскостью), геометры добавляли бы всё новые сферы, конусы, плоскости, прямые и прочая — столько, что, если бы их можно было увидеть, возведя очи горé, небо казалось бы чёрным, — пока не объяснили бы кривые, нарисованные Ньютоном на стене. При этом каждый шаг следовало бы поверять правилами, которые Евклид доказал две тысячи лет назад, в Александрии, где всякий был гением.

Исаак недолго изучал Евклида и мало в него вникал. Когда он хотел изучить кривую, то мысленно записывал её не как пересечение конусов и плоскостей, а как последовательность чисел и букв: алгебраическое выражение. Это работает, только если есть язык или, по крайней мере, алфавит, способный *выразить* форму, не *описывая* её. Задачу эту мсье Декарт недавно разрешил, придумав (для начала) рассмотреть кривые как собрание отдельных точек, а (затем) изобретя способ выразить точку через её координаты — два числа или две буквы, подставленные *вместо* чисел, либо (ещё лучше) алгебраические выражения, по которым числа, в принципе, можно *рассчитать*. Иными словами, он перевёл всю

геометрию на новый язык с новым набором правил: алгебру. Составлять уравнения — значит упражняться в переводе. Следуя правилам, можно получать новые истинные высказывания, не заботясь о том, чему соответствуют символы в физической вселенной. Эта-то по внешности оккультная власть и напугала в своё время некоторых пуритан; её, до определённой степени, страшился сам Ньютон.

К 1664-му, то есть к тому времени, когда Исаак и Даниель должны были получить степень либо покинуть Кембридж, Исаак, взяв всё самое новое из заграничной аналитической геометрии Декарта и раздвинув её до невероятных пределов, достиг (неведомо ни для кого, кроме Даниеля) на ниве натурфилософии высот, которых его кембриджские учителя не могли бы не то что *достичь* — даже *понять*. Они же тем временем готовились подвергнуть Исаака и Даниеля древнему испытанию — экзамену, с целью выяснить, насколько хорошо те усвоили Евклида. Если бы молодые люди провалили экзамен, то отправились бы по домам с позорным клеймом неудачников и тупиц.

Чем ближе подходил день экзамена, тем чаще Даниель напоминал о нём товарищу. Наконец

они отправились к Исааку Барроу, первому лукасовскому профессору математики, поскольку тот считался умнее остальных. Ещё потому, что недавно Барроу пересекал Средиземное море на корабле и, когда на них напали пираты, с саблей в руках помог отбить нападение. Вряд ли такого человека должно было сильно волновать, в каком порядке студенты усваивают материал. И впрямь, когда Ньютон заявился-таки к своему тёзке с несколькими шиллингами, чтобы приобрести его латинский перевод Евклида, Барроу не стал говорить, что это надо было сделать по крайней мере на год раньше. Книжица была тоненькая, с крохотными полями, но Исаак всё равно на них писал, почти микроскопическим почерком. Как Барроу перевёл греческий язык Евклида на универсальную латынь, так Исаак перевёл идеи Евклида (выраженные в кривых и поверхностях) на язык алгебры.

Полстолетия спустя на палубе «Минервы» Даниель мало что может вспомнить про их классическое образование. Они посредственно сдали экзамен (Даниель лучше, чем Исаак) и получили степень. Это значило, что теперь они бакалавры, следовательно, Ньютону не придётся возвращаться в Вулсторп и возделывать землю. Они

могли дальше жить в своей комнатёнке, и Даниель мог по-прежнему узнавать из случайных реплик товарища больше, чем дал бы ему весь университетский механизм.

Обустроившись на «Минерве», Даниель осознаёт печальную вещь: в Лондоне, куда он, бог даст, доберётся, от него потребуют письменно удостоверить всё, что он знает об изобретении анализа бесконечно малых. Когда корабль качает не слишком сильно, он сидит за обеденным столом в кают-компании, на палубу ниже своей каюты, и пытается упорядочить мысли.

Через несколько недель после того, как нас произвели в бакалавры, вероятно весной 1665 года, мы с Исааком Ньютоном решили посетить Стаурбриджскую ярмарку.

Перечитав абзац про себя, он вычёркивает «вероятно весной» и вписывает «определённо не позже весны».

Здесь Даниель многое опускает. Это Исаак объявил, что пойдёт на ярмарку. Даниель решил на всякий случай составить ему компанию. Исаак вырос в крохотном городке, в Лондоне никогда не бывал. Ему даже Кембридж казался большим городом — куда такому соваться на Стаурбридж-

скую ярмарку, одну из самых крупных в Европе. Даниель не раз бывал там с Дрейком или с единокровным братом Релеем; он по крайней мере знал, чего там делать нельзя.

Мы двинулись вниз по течению реки Кем и, миновав мост, от которого университет и город получили своё название, оказались на северном краю Иисусова луга, где Кем описывает изящную кривую в форме вытянутой буквы S.

Даниель едва не написал «в форме интеграла», но вовремя одёргивает себя. Знак интеграла (как, впрочем, и самые слова «интегральное и дифференциальное исчисление») придуман Лейбницем.

Я отпустил какую-то студенческую шуточку про форму этой кривой, поскольку в прошедший год кривые много занимали наш ум, и Ньютон заговорил уверенно и с жаром. Идеи, им высказанные, были явно не мимолётным раздумьем, но разработанной теорией, которую он выстраивал уже некоторое время.

«Да, предположим, мы были бы на одной из этих лодок, — сказал Ньютон, указывая на узкие плоскодонки, в которых праздные студенты катались по реке Кем. — И предположим, что

мост — начало системы декартовых координат, покрывающей Иисусов луг и другие земли по берегам реки».

Нет, нет, нет. Даниель окунает перо в чернила и вымарывает абзац. Это анахронизм. Хуже, это лейбницизм. Натурфилософы могут говорить так в 1713 году, но пятьдесят лет назад они выражались иначе. Надо перевести мысль на тот язык, которым изъяснялся Декарт.

«И предположим, — продолжал Ньютон, — что у нас есть верёвка с узлами, завязанными через равные промежутки, как на морском лаге, и мы бросили якорь возле моста, ибо мост — неподвижная точка в абсолютном пространстве. Если туго натянуть верёвку, она уподобится числовым осям, которые мсье Декарт использует в своей геометрии. Протягивая её от моста до лодки, мы могли бы определить, насколько лодка сместилась по течению и в каком направлении».

Разумеется, Исаак просто не мог бы произнести всех этих слов. Однако Даниель пишет для правителей и парламентариев, не для натурфилософов, поэтому вынужден вкладывать в уста Исаака пространные объяснения.

«И предположим, наконец, что Кем течёт всегда

с постоянной скоростью, и с той же скоростью движется наша лодка. Это то, что я зову флюксией — плавное движение вдоль кривой на протяжении времени. Думаю, ты видишь: если бы мы огибали первую излучину перед Иисусовым колледжем, где река отклоняется к югу, наша флюксия в направлении север — юг медленно изменялась бы. Когда мы проплывали бы под мостом, нос лодки указывал бы на северо-восток, так что мы имели бы большую флюксию в северном направлении. Через минуту мы бы начали двигаться на восток, и наша флюксия в направлении север — юг стала бы равной нулю. Ещё через минуту нас повлекло бы к юго-востоку, так что мы приобрели бы значительную южную флюксию — но и она бы начала стремиться к нулю там, где течение поворачивает на север к Стаурбриджской ярмарке».

Здесь можно остановиться. Для тех, кто умеет читать между строк, это убедительно доказывает, что Ньютон разработал дифференциальное исчисление — или, по его терминологии, метод флюксий, в 1665 году, скорее даже в 1664-м. Незачем бить их по голове лишними доказательствами…

Да, всё это нужно для того, чтобы кое-кого уда-

рить по голове.

Берег реки Кем

Почти пять тысяч лет назад шли к Небесному Граду странники, а Вельзевул, Аполлион и Легион с товарищами, заметив, что дорожка, протоптанная странниками, пролегла через город Суеты, подсуетились устроить там ярмарку; ярмарка должна была вести торг всяческой суетой и не прекращаться круглый год. Посему на ярмарке этой продаётся всевозможный товар, как то: дома, земли, ремёсла, места, должности, почести, привилегии, титулы, страны, царства, страсти, всех сортов услады, как то: распутники, распутницы, мужья, жены, дети, хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, серебро, золото, жемчуга, яхонты и всё что угодно. Более того, на сей ярмарке в любое время можно увидеть обман, мошенничество, игры, представленья, шутов, мартышек, мерзавцев и бестий всевозможных сортов.

Джон Беньян, «Путь паломника»

1665

До ярмарки было меньше часа ходьбы по пологим зелёным берегам, заросшим плакучими ивами, под сенью которых без сил распростёрлись студиозусы. Коровы местами объели траву и оставили за собой коровьи лепёшки. Поначалу река была мелкая, от силы по колено; водоросли, устилающие её дно, плавно изгибались, следуя ленивому току струй.

— Вот кривая, чья флюксия в направлении течения равна нулю у корня — там, где она вертикально торчит из ила, — но увеличивается с подъёмом.

Тут Даниель немного растерялся.

— Флюксия у тебя вроде бы означает течение во времени. Вполне понятно, когда ты относишь это слово к положению лодки на реке, которая, как-никак, струится во времени. Но разве можно применить её к форме водоросли, которая никуда не течёт, а просто изогнулась на своём месте?

— Даниель, прелесть этого подхода состоит в том, что, *невзирая* на конкретную физическую ситуацию, кривая всегда *кривая,* и то, что применимо к изгибу реки, можно применить и к изгибу водоросли. Теперь можно забыть старую чушь. — Исаак имел в виду аристотелевский подход,

запрещающий смешивать вещи очевидно разной природы. Отныне, надо полагать, важна лишь форма, которую предстоит анализировать. — Перевод на язык математического анализа сродни тому, что делает алхимик, извлекая из сырой руды дух или пневму. Шлак — внешние громоздкие формы вещей, которые лишь отвлекают нас и вводят в заблуждение, — отбрасываются, и очам предстаёт душа. А совершив это, мы, возможно, узнаем, что некоторые вещи, внешне различные, одинаковы по своей природе.

Скоро колледж остался позади. Кем становился шире и глубже, на нём стали попадаться грузовые судёнышки. Все они были длинные, узкие, плоскодонные, предназначенные для рек и каналов, однако водоизмещением куда больше прогулочных лодок. Ярмарку уже можно было различить на слух: гул тысяч спорящих покупателей и продавцов, лай собак, звуки гобоев и волынок реяли над головой, словно бьющие на ветру разноцветные ленты. На судёнышках торговцы-индепенденты в чёрных шляпах и белых шейных платках, речные цыгане, краснолицые ирландцы и шотландцы, а также простые англичане со сложной личной судьбой заключали какие-то сделки, выплёскивали за борт вёдра

неведомой жидкости, переругивались с невидимыми женщинами в холщовых или дощатых укрытиях на палубе.

Приятели обогнули излучину, и перед ними открылась ярмарка — крупнее Кембриджа, куда более шумная и людная. В основном она состояла из палаток и палаточников — людей явно не их круга. На глазах у Даниеля Исаак вырос дюйма на два, вспомнив, что пуританин должен подавать пример в том числе и своей осанкой. Даниель знал, что в каких-то дальних закутках ярмарки серьёзные негоцианты торгуют скотом, лесом, железом, устрицами в бочках — всем тем, что можно доставить судами по реке или фургонами по суше. Оптовая коммерция хотела оставаться незримой — и добивалась своего. То, что Исаак видел, было розничным рынком, огромным и крикливым не по значимости, во всяком случае, если под значимостью понимать количество денег, переходящих из рук в руки. Главные аллеи (то есть полоски грязи, на которые уложили доски и брёвна для прохода) были уставлены палатками, где разместились канатоходцы, жонглёры, бродячие артисты, кукольники, борцы, танцовщицы и, разумеется, отборные шлюхи, которые делали ярмарку столь привлекательной для студентов.

Впрочем, в боковых проулках можно было отыскать прилавки, столы и фургоны с откидными бортами; здесь торговцы разложили товары со всей Европы, привезённые по Узу и Кему.

Исаак и Даниель бродили больше часа, не обращая внимания на зазывные крики торговцев, пока Исаак вдруг не шагнул к складному столику, за которым расположился высокий худощавый еврей в чёрном камзоле. Даниель смотрел на сына Моисеева с интересом: лишь десятилетие назад Кромвель разрешил этим людям вернуться в Англию после многовекового изгнания, и они по-прежнему были в диковинку, как жирафы. Однако Исаак видел лишь созвездие искрящихся камешков на квадрате чёрного бархата. Ветхозаконник, приметив его интерес, отогнул ткань и показал остальной товар: выпуклые и вогнутые линзы, плоские диски хорошего стекла для самостоятельной шлифовки, призмы и склянки шлифовальных порошков различной зернистости.

Исаак дал понять, что хотел бы приобрести две призмы. Шлифовальщик вздохнул, выпрямился и заморгал. Даниель занял позу телохранителя — сзади и чуть сбоку от Исаака.

— У вас есть пиастры, — сказал коген с интона-

цией, средней между вопросом и утверждением.

— Знаю, ваш народ некогда обитал в стране, где это государственная монета, сударь, — начал Ньютон, — но…

— Ничего вы не знаете. Мои предки не из Испании — они из Польши. У вас есть французские золотые — луидоры?

— Луидор — прекрасная монета, достойная славы Короля-Солнца, — вставил Даниель, — и, вероятно, имеет широкое хождение там, откуда вы прибыли. Вы ведь, полагаю, из Амстердама?

— Из Лондона. Так чем вы хотите расплатиться со мной? Иоахимсталерами?

— Раз вы, сударь, как и мы, англичанин, давайте воспользуемся английскими средствами.

— Вы хотите предложить мне сыр? Олово? Сукно?

— Сколько *шиллингов* стоят эти две призмы?

Обрезанец принял страдальческое выражение и устремил взгляд куда-то поверх их голов.

— Дайте взглянуть, что у вас за деньги, — произнёс он тоном мягкого сожаления, как будто Исаак *мог* сегодня купить призмы, но в итоге выслушает лишь нудную лекцию о никчёмности английских денег.

Исаак сунул руку в карман и пошевелил паль-

цами, чтобы по звону стало ясно: денег там много. Потом вытащил пригоршню и помахал ею перед шлифовальщиком. Даниель поневоле восхитился. Впрочем, Исаак получал неплохой доход, ссужая однокашников под проценты — может быть, у него дар.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказал иудей. — Что извинительно — все мы ошибаемся. Вы залезли не в тот карман и вытащили чёрные деньги*[10], которые бросаете нищим.

— И впрямь, — ответил Исаак. — Виноват. Где деньги, чтобы расплачиваться с торговцами? — Он похлопал по нескольким карманам. — Кстати — если я не буду предлагать вам чёрные деньги — сколько шиллингов?

— Под словом «шиллинг» вы, я полагаю, разумеете новые?

— Якова Первого?

— Нет-нет. Яков умер полстолетия назад, так что прилагательное «новый» едва ли применимо к фунтам, отчеканенным в его царствование.

— Вы сказали «фунты»? — переспросил Даниель. — Фунт — довольно крупная сумма; не понимаю, при чём они сейчас, когда речь может

---

[10] Примечания: 10

То есть фальшивые, изготовленные из неблагородных металлов, таких как медь и свинец.

идти *самое большее* о шиллингах.

— Давайте употреблять слово «монеты», пока я не пойму, говорите вы о новых или о старых.

— «Новые» означает монеты, отчеканенные, скажем, при нашей жизни?

— Я имею в виду деньги Реставрации, — ответил израелит. — Или, может быть, преподаватели забыли вас уведомить, что Кромвель умер, а монеты Междуцарствия уже три года, как изъяты из обращения?

— Кажется, я слышал, что король начал чеканить новые монеты, — промолвил Исаак, оборачиваясь к Даниелю за подтверждением.

— Мой единокровный брат в Лондоне знает человека, который один раз видел золотую монету с надписью «CAROLUS II DEI GRATIA» на бархатной подушечке под стеклом, — сообщил Даниель. — Их прозвали «гинеями», поскольку они чеканятся из золота, которое компания герцога Йоркского добывает в Африке.

— А правда ли, Даниель, что эти монеты абсолютно круглые?

— Да, Исаак. Не то что добрые старые монеты ручной чеканки, которых у нас столько в кошельках и карманах.

— Более того, — произнёс ашкеназ, — король

привёз с собой французского учёного, мсье Блондо, которого Людовик Четырнадцатый ненадолго отпустил в Англию. Мсье Блондо построил станок, который наносит на ребро монеты изящные надписи и насечки.

— Типично французское излишество, — заметил Исаак.

— И впрямь, пребывание в Париже не пошло королю на пользу, — добавил Даниель.

— Напротив, — возразил потомок Авраама. — Если кто-нибудь спилит или обрежет немного металла от края круглой монеты с узором на ребре, это тут же станет заметно.

— Вот почему все переплавляют новые монеты, как только они выходят из-под пресса, и отправляют металл на Восток?.. — начал Даниель.

— Лишая таких, как я и мой друг, возможности их приобрести, — завершил Исаак.

— Хорошая мысль! Если вы покажете мне монеты ярко-серебристого цвета — не те чёрные, — я взвешу их и приму, как металл.

– *Как металл!* Сударь!

— Да.

— Я слышал, что таков обычай в Китае, — важно проговорил Исаак. — Однако здесь, в Англии, шиллинг всегда шиллинг.

– Вне зависимости от того, сколько он весит?

— Да. В принципе да.

— Значит, когда шиллинг отчеканят на Монетном дворе, он обретает магические свойства шиллинга и, даже подпиленный, обрезанный и стёртый до полной утраты формы, остаётся полноценным шиллингом?

— Вы преувеличиваете, — сказал Даниель. — Вот, например, у меня есть прекрасный шиллинг королевы Елизаветы, который я ношу, учтите, исключительно как память о правлении Глорианы, поскольку он слишком хорош, чтобы его тратить. Видите, он сверкает, как в тот день, когда вышел с Монетного двора.

— Особенно по краям, где его недавно обрезали, — заметил пейсатый.

— Естественная, приятная неровность ручной чеканки, ничего более.

Исаак сказал:

— Шиллинг моего друга, хотя, безусловно, великолепен и стоит на рынке двух-трёх, не исключение. Вот шиллинг Эдуарда Шестого. Он попал ко мне следующим образом: герцогский сын, который до того одолжил у меня шиллинг, будучи в сильном подпитии, упал и заснул на полу. Кошель, где он держал свои самые ценные

монеты, раскрылся, и эта выкатилась к моим ногам, что я расценил как уплату долга. Обратите внимание на её исключительную сохранность.

— Как монета могла выкатиться, если она почти треугольная? — спросил шлифовальщик.

— Обман зрения.

— Беда с монетами Эдуарда Шестого в том, что они вполне могли быть отчеканены во время Великой Порчи, когда цены выросли вдвое, прежде чем сэр Томас Грешем сумел навести порядок.

— Инфляция была вызвана не порчей денег, как полагают некоторые, — возразил Даниель, — а тем, что страну наводнили богатства, изъятые из папистских монастырей, и дешёвое серебро из копей Новой Испании.

— Если бы вы позволили мне приблизиться к этим монетам хотя бы на десять шагов, я бы лучше сумел оценить их нумизматическую ценность, — произнёс шлифовальщик. — Я мог бы даже воспользоваться одной из своих луп…

— Боюсь, это покажется мне обидным, — ответил Исаак.

— Вот монета, которую вы можете разглядывать как угодно близко, — сказал Даниель, — и всё равно не найдёте следов преступной порчи. Мне дал её слепой трактирщик, страдающий

обморожением пальцев, — он сам не понимал, с чем расстаётся.

— Не пришло ли ему в голову её надкусить? Вот так? — произнёс жидовин, беря шиллинг и надкусывая его коренными зубами.

— Что вы таким образом узнаете, сударь?

— Что чеканивший это фальшивомонетчик использовал относительно хороший металл — не более пятидесяти процентов свинца.

— Мы расцениваем ваши слова как шутку, — сказал Даниель, — но вы не станете шутить по поводу *этого* шиллинга, который мой единокровный брат подобрал при Нейзби рядом с останками роялиста, разорванного на куски при взрыве пушки, — а упомянутый роялист в своё время возглавлял охрану лондонского Тауэра, где чеканят новые деньги.

Еврей повторил ритуал надкусывания, потом царапнул монету — не посеребрённая ли это медяшка.

— Ничего не стоит. Однако я должен шиллинг одному жидоненавистнику в Лондоне и получу на шиллинг удовольствия, всучив ему вашу фальшивку.

— Хорошо, тогда… — Исаак потянулся к призмам.

— У таких увлечённых нумизматов наверняка водятся пенсы?

— Мой отец раздаёт новенькие пенни в качестве подарков на Рождество, — начал Даниель. — Три года назад…

Он не дорассказал историю, заметив, что шлифовальщик смотрит не на них, а на какое-то движение дальше в толпе.

Даниель обернулся и увидел, что вполне прилично одетого джентльмена шатает из стороны в сторону, хотя слуга и друг поддерживают его под руки. Джентльмен проявлял желание улечься в самом неподходящем месте, а именно — стоя по щиколотку в грязи. Слуга подхватил его под мышки, поднял и попытался нести, но господин взвизгнул, как кошка, попавшая под колесо, забился в судорогах и рухнул навзничь, расплескав грязь на несколько ярдов вокруг.

— Забирайте призмы, — сказал торговец, практически запихивая их Исааку в карман, и принялся складывать столик. Если он чувствовал то же, что Даниель, то в бегство его обратил не вид заболевшего и даже не его падение, а нечеловеческий вопль.

Исаак шёл к больному осторожной, но твёрдой походкой канатоходца.

— Может быть, вернёмся в Кембридж? — предложил Даниель.

— Я немного знаком с аптекарским искусством, — ответил Исаак. — Может, мне удастся ему помочь.

Вокруг болящего собралась толпа, однако круг был очень широк — внутри него находились только Исаак и Даниель. Несчастный, судя по всему, пытался сбросить штаны, но руки у него не работали, и он извивался, силясь выползти из одежды. Друг и слуга тщетно тянули за манжеты — панталоны словно приросли к телу. Наконец друг вытащил кинжал, рассёк сперва манжеты, а затем и самые штанины сверху донизу — а может, они лопнули под внутренним напором. Так или иначе, штаны свалились. Друг и слуга попятились. Теперь Исаак и Даниель могли бы увидеть срамные части, если бы их не заслоняли чёрные шары тугой плоти, рассыпанные, как пушечные ядра, по внутренней стороне бедра.

Человек уже не бился и не кричал, потому что умер. Даниель взял Исаака за руку и настойчиво потянул назад, но Исаак упрямо приближался к объекту. Даниель оглянулся и увидел, что вокруг на выстрел никого нет — лошади и палатки оставлены, товары разбросаны по земле, груз-

чики, освободившись от ноши, уже пробежали полдороги до Или.

— Я *вижу,* как бубоны распространяются, хотя тело уже умерло, — проговорил Исаак. — Порождающий дух живёт — превращая мёртвую плоть в нечто иное, как личинки мух зарождаются в мясе и серебро образуется в недрах гор. Почему порой он приносит жизнь, а порой — смерть?

То, что они остались живы, означает, что Даниелю всё же удалось оттащить друга подальше и развернуть к Кембриджу. Однако мысли Исаака по-прежнему были заняты сатанинскими чудесами, творящимися в паху мертвеца.

— Я восхищаюсь анализом мсье Декарта, но чего-то недостаёт в его допущении, будто мир — частицы вещества, сталкивающиеся подобно монетам в мешке. Как объяснить этим способность материи организовываться в глаза, листья и саламандр? Не может быть, чтобы она лишь собиралась удачным образом в каком-то непрерывном чудесном созидании. Ведь тот же процесс, каким наше тело превращает пищу и питьё в плоть и кровь, может за несколько часов превратить тело в скопление бубонов. Я убеждён: процесс этот лишь *кажется* бессмысленным. То, что один заболевает и умирает, а другой живёт

и здравствует, суть знаки в шифрованном послании, которое философы силятся разгадать.

— Если только послание не изложено давным-давно в Библии, где каждый может его прочесть, — сказал Даниель.

Пятьдесят лет спустя он ругательски ругает себя за эти слова, но тогда они сами сорвались с языка.

— О чём ты?

— Тысяча шестьсот шестьдесят пятый год наполовину прошёл — ты знаешь, какой будет следующий. Я должен вернуться в Лондон, Исаак. В Англии чума. То, что мы видели сегодня, — предвестие конца света.

На «Минерве» у побережья Новой Англии

ноябрь 1713

Даниеля будит петух на баке, уверившийся наконец, что свет на восточном краю окоёма ему не померещился. Увы, восточный край окоёма сейчас по левому борту. Вчера был по правому. Последние две недели «Минерва» лавировала у побережья Новой Англии, пытаясь поймать ветер, который позволит выйти на «матёрую воду», как говорят моряки. Сейчас они, вероятно, не более чем в пятидесяти милях от Бостона.

Даниель спускается на батарейную палубу, в тонкий пласт едко пахнущего воздуха. Когда глаза привыкают к полумраку, он различает пушки, развёрнутые на низких станках параллельно корпусу, жерлами вперёд, и принайтовленные. Орудийные порты закрыты тяжёлыми щеколдами. Теперь, когда горизонта не видно, ему приходится воспринимать бортовую и килевую качку подошвами ног — если ждать, пока чувство равновесия не подскажет, что он падает, будет поздно. Даниель ступает короткими, просчитан-

ными шагами, ведя рукой по потолку и задевая укреплённые там орудийные принадлежности — длинные банники и прибойники. Так он оказывается перед дверью и затем в кормовой каюте, занимающей всю ширину корабля и снабжённой панорамными окнами, в которые сейчас сочится слабый свет западного неба и заходящей луны.

Шесть человек работают и разговаривают. Все они старше и опытнее обычных матросов. Здесь хранятся ящики с хорошими инструментами и важные чертежи. Румпель размером с боевой таран проходит через всю каюту и служит для перекладки руля; он поворачивается с помощью тросов, протянутых к штурвалу через отверстия в переборке. Пахнет кофе, стружками и трубочным табаком. Обитатели каюты хмыкают, приветствуя Даниеля. Он подходит к окну и садится. Окно выдаётся назад, так что можно смотреть прямо вниз, туда, где из пенного бурления вдоль руля рождается кильватерная струя. Даниель открывает лючок под окном и спускает на бечёвке Фаренгейтов термометр. Это новейшая европейская технология измерения температуры, прощальный подарок Еноха. Даниель даёт термометру поболтаться в воде несколько минут, затем вытаскивает его и снимает показания.

Он старается проделывать этот ритуал каждые четыре часа. Цель — проверить, правда ли в Северной Атлантике полно тёплых течений. Данные можно будет представить Королевскому обществу в Лондоне, если Даниель, бог даст, туда доберётся. Сперва он делал замеры с верхней палубы, однако тогда термометр бился о корпус, к тому же Даниель устал ловить на себе недоуменные взгляды матросов. Старички в каюте, вероятно, тоже считают его чокнутым, но их это не смущает.

Как путник, отыскавший в чужом городе уютную кофейню, Даниель обосновался в кормовой каюте, и его здесь приняли. Завсегдатаи — люди преимущественно на четвёртом или на пятом десятке: филиппинец, ласкар, метис из португальского города Гоа, гугенот, корнуоллец, на удивление плохо владеющий английским; ирландец. Все они чувствуют себя как дома, словно «Минерве» тысяча лет и предки их искони на ней жили. Если она когда-нибудь утонет (подозревает Даниель), они, за неимением другого пристанища, охотно пойдут с нею ко дну. Друг с другом и с «Минервой» они могут перемещаться в любую точку мира, отбиваться от пиратов, буде возникнет такая надобность, сытно есть

и спать в собственной койке. Если же «Минерва» погибнет, им будет примерно всё равно, где остаться — посреди бушующей Атлантики или в каком-нибудь портовом городке; так и так их дальнейшая жизнь будет коротка и печальна. Даниелю хотелось бы провести утешительную аналогию с Лондонским королевским обществом, но, поскольку сейчас оно пытается выбросить за борт одного из своих членов (барона Готфрида Вильгельма фон Лейбница), сравнение получается не слишком удачным.

Между верхней палубой и палубой бака втиснута обложенная кирпичом каюта, постоянно наполненная дымом, поскольку здесь разводят огонь — из неё время от времени выносят еду. Даниелю раз в день подают полный обед, который он съедает в кают-компании — чаще в одиночестве, реже в обществе капитана ван Крюйка. Он единственный пассажир. За столом видно, что «Минерва» — старый корабль; посуда и столовые приборы разномастные, выщербленные, истёртые. Все *важные* части корабля чинят или заменяют в рамках незаметной, но фанатичной программы, которую провозгласил капитан Крюйк и приводит в исполнение один из его помощников. Фаянс и другие приметы под-

сказывают, что кораблю лет тридцать, однако, не спустившись в трюм и не осмотрев киль и шпангоуты, не увидишь ничего старше пяти.

Тарелки все разные, и для Даниеля всякий раз маленькая игра — доесть кушанье (обычно похлёбку с дорогими приправами) и увидеть узор на дне. Довольно глупая забава для члена Королевского общества, но Даниель не вдумывается в неё до одного случая. В тот вечер он смотрит, как плещется в тарелке похлёбка (микрокосм Атлантики?), и внезапно переносится в…

Чумной год

Лицо Земли – Твой стол, и он накрыт
Для пира; Смерть за трапезой сидит.
Сады, стада, народы, всё пожрёт
Чумной, кровавый, вечно алчный рот.

Джон Донн, «Элегия магистру Булстреду»

лето 1665

Даниель ел картошку с селёдкой тридцать пятый день кряду. Поскольку дело происходило в отцовском доме, он обязан был до и после еды вслух благодарить Бога. День ото дня молитвы становились всё менее искренними.

С одной стороны дома мычал в вечном недоумении скот, с другой брели по улице люди, звеня в колокольчики (для имеющих уши) и неся длинные красные палки (для зрячих). Они заглядывали в двери и во дворы, совали нос за садовые ограды, ища трупы умерших от чумы. Все, у кого были деньги на переезд, сбежали из Лондона, в том числе старшие братья Даниеля Релей и Стерлинг с семьями, а также его единокровная сестра Мейфлауэр, вместе с детьми окопавшаяся

в Бакингемшире. Только муж Мейфлауэр, Томас Хам, и Дрейк Уотерхауз, патриарх, отказались покинуть Лондон. Хам охотно бы уехал, но не мог бросить свой погреб в Сити.

Дрейку и в голову не пришла мысль спасаться от чумы. Обе его жены давно умерли, старшие дети сбежали, и некому было урезонить старика, за исключением разве что Даниеля. Кембридж на время чумы закрыли. Даниель заглянул в Лондон, предполагая совершить короткий отчаянный набег на пустой дом, и застал отца за верджинелом: тот играл гимны времён Гражданской войны. Все хорошие монеты Даниель потратил — сперва на покупку призм для Исаака, потом на извозчика, не желавшего поначалу и на выстрел приближаться к чумному городу. Чтобы выбраться из Лондона, надо было просить деньги у отца, а Даниель боялся даже заикнуться на эту тему. Всё предопределено: коли им написано на роду умереть от чумы, они умрут, сколько ни бегай; коли нет, вполне можно оставаться на окраине города и подавать пример убегающему/вымирающему населению.

Из-за манипуляций, произведённых с его лицом по приказу архиепископа Лода, Дрейк Уотерхауз, жуя картошку с селёдкой, издавал

необычные сипение и присвист.

В 1629-м Дрейка и нескольких его друзей схватили за раздачу свежеотпечатанных памфлетов на улицах Лондона. Конкретный пасквиль был направлен против «Корабельной подати» — нового налога, введённого Карлом I. Тема, впрочем, не имела значения; в 1628-м памфлет был бы о чём-нибудь другом, не менее оскорбительном для короля и архиепископа.

Неосторожное замечание, оброненное одним из товарищей Дрейка, когда тому под ногти вгоняли горящие щепки, позволило властям отыскать печатный станок, который Дрейк прятал в фургоне под грудой сена. Определив, таким образом, зачинщика, Лод повелел, чтобы его, а также нескольких других особо докучливых кальвинистов поставили к позорному столбу, заклеймили и подвергли урезанию носа и ушей. То было не столько наказанием, сколько практической мерой. Цель исправить преступников — явно неисправимых — не ставилась. Позорный столб должен был зафиксировать их в одном положении, дабы весь Лондон пришёл, разглядел этих людей и запомнил на будущее. Клеймение, а также лишение носа и ушей необратимо меняло их облик к сведению всего остального мира.

Всё это случилось за годы до рождения Даниеля и нимало его не смущало — просто отец всегда так выглядел, — и уж тем более не смущало самого Дрейка. Через несколько недель он снова был на большой дороге, скупал сукно для контрабандной доставки в Нидерланды. В сельской корчме по пути в Сент-Айвс Дрейк встретил угрюмого сквайра по имени Оливер Кромвель, который в то время переживал тяжелейший религиозный кризис и крушение всех личных надежд — по крайней мере, так он думал, пока не взглянул на Дрейка и не обрёл веру. С того дня он почувствовал себя ратником Божьим, но это совсем другая история.

В ту пору владельцы домов старались иметь минимум мебели, зато как можно более тяжёлой и тёмной. Соответственно стол, за которым Дрейк и Даниель ели картошку с селёдкой, размерами и весом напоминал средневековый подъёмный мост. Другой обстановки в комнате не было, хотя присутствие восьмифутовых напольных часов в соседнем помещении ощущалось по всему дому. При каждом махе тяжеленного, с пушечное ядро, маятника здание вело, как пьяного при ходьбе; зубчатые колёса скрежетали, а от боя, раздававшегося через подозрительно неравные промежутки времени, стаи перелётных гусей в

тысяче футов над головой сталкивались и меняли курс. Меховая оторочка пыли на готических зубцах, мышиный помёт в механизме, римские цифры, вырезанные на задней стенке изготовителем, и полная неспособность показывать время выдавали в часах творение до-гюйгенсовой эпохи. Громоподобный бой выводил бы Даниеля из себя, даже если бы точно отмечал положенные часы, половины, четверти и прочая, поскольку всякий раз заставлял его подпрыгивать от испуга. То, что бой не несёт абсолютно никакой информации о времени, приводило Даниеля в исступление; ему хотелось встать на пересечении коридоров и, сколько раз Дрейк будет проходить мимо, столько раз совать ему в руку памфлет против старинных часов с требованием остановить заблудший маятник и заменить его новым гюйгенсовским. Однако Дрейк уже велел ему молчать про часы, так что ничего было не изменить.

Даниель по несколько суток не слышал никаких звуков, кроме перечисленных выше. Все возможные темы для разговоров делились на две категории: (1) те, что спровоцируют Дрейка на тираду, которую Даниель и без того уже мог бы повторить наизусть, и (2) могущие и впрямь

послужить началом беседы. Категорию (1) Даниель старательно обходил. Категория (2) была давно исчерпана. Например, Даниель не мог спросить: «Как поживает Восславь-Господа*[11] в Бостоне?», поскольку задал этот вопрос в первый же день и получил ответ, а с тех пор письма почти не приходили, так как письмоносцы либо умерли, либо дали стрекача из Лондона. Иногда нарочные доставляли письма — чаще Дрейку, по делам, реже Даниелю. Разговора о них хватало на полчаса (не считая тирад). По большей части Даниель дни напролёт слушал скрип чумных телег и звон колокольчиков; бой ненавистных часов; коровье мычание; голос Дрейка, читающего вслух пророка Даниила; верджинел и скрипение собственного пера по бумаге. Он прорабатывал Евклида, Коперника, Галилея, Декарта, Гюйгенса и сам дивился тому, сколько всего постиг. Он почти не сомневался, что знает столько же, сколько знал Исаак месяцы назад; однако Исаак был у себя в Вулсторпе, за сотни миль отсюда, и наверняка

[11] Примечания: 11

Восславь-Господа Уотерхауз, старший сын Релея и, таким образом, первый внук Дрейка, незадолго до описанных событий на семнадцатом году жизни отплыл в Бостон, чтобы поступить в Гарвард, стать частью Америки и, по возможности, когда-нибудь со славой возвратиться в Англию, истребить семя архиепископа Лода и реформировать англиканскую церковь раз и навсегда.

обогнал его на несколько лет.

Даниель ел картошку и селёдку с упорством заключённого, проскребающего дырку в стене. Семейный фаянс Уотерхаузов был изготовлен в Голландии людьми искренними, но неумелыми. После того как Яков I запретил вывозить в Нидерланды английские ткани, Дрейк начал доставлять их туда контрабандой, что было несложно, поскольку Лейден кишел его единоверцами англичанами. Так Дрейк нажил своё первое состояние, причём самым богоугодным способом — смело презирая попытки короля помешать коммерции. Более того, в 1617 году он женился в Лейдене на молоденькой пуританке и сделал крупное пожертвование тамошним верующим, которые собирались приобрести корабль. Благодарные пилигримы, прежде чем взойти на «Мейфлауэр» и отплыть в солнечную Виргинию, презентовали Дрейку и его молодой супруге Гортенс сервиз дельфтского фаянса. Очевидно, посуду они изготовили сами в убеждении, что умение делать что-либо из глины будет в Америке нелишним. То были тяжёлые грубые тарелки, покрытые белой глазурью и украшенные синей корявой надписью, гласящей:

МЫ ОБА ПРАХ.

Созерцая эти слова сквозь вонючие селёдочные миазмы тридцать пятый день кряду, Даниель внезапно объявил:

— Думаю, я мог бы, с Божьей помощью, навестить преподобного Уилкинса.

Уилкинс и Даниель обменивались письмами с той горестной поры, когда пять лет назад Даниель прибыл в Тринити-колледж и узнал, что Уилкинса только что вышибли оттуда навсегда.

Фамилия «Уилкинс» не спровоцировала тираду, и Даниель понял, что успешное начало положено. Впрочем, оставались некоторые формальности.

— Зачем? — спросил Дрейк.

Голос у него был будто у засорившегося орга́на, слова выходили частью через рот, частью через нос. Вопросы он произносил словно готовые утверждения; «зачем» звучало так же, как «МЫ ОБА ПРАХ».

— Моя цель — учиться, а из книг, которые у меня здесь есть, я, кажется, всё, что можно, уже узнал.

— Как насчёт Библии, — мастерский выпад со стороны Дрейка.

— Библии, слава Богу, есть везде, а преподобный Уилкинс всего один.

— Он проповедует в государственной церкви,

разве нет.

— Да. В церкви Святого Лаврентия Еврейского.

— Тогда тебе нет нужды ехать.

(Подразумевая, что туда четверть часа ходьбы.)

— Чума, отец. Сомневаюсь, что за последние месяцы он хоть раз побывал в городе.

— А как же его паства.

Даниель едва не выпалил: «Ты про Королевское общество?», что в другом месте (только не здесь) расценили бы как остроту.

— Все разбежались, отец, те, что не умерли.

— Высокоцерковники, — пояснил для себя Дрейк. — Где сейчас Уилкинс.

— В Эпсоме.

— С Комстоком. О чём он только думает.

— Не секрет, что вы с Уилкинсом оказались по разные стороны ограды.

— Золотой ограды, которой Лод окружил престол Божий! Да.

— Уилкинс не меньше тебя ратует за веротерпимость. Он надеется реформировать церковь изнутри.

— Да, и уж кто *внутри*, так это Джон Комсток, граф Эпсомский. Зачем тебе встревать в эти дела.

— Уилкинс в Эпсоме не дискутирует о религии. Он занимается натурфилософией.

— Странное же место он выбрал.

— Сын графа, Чарльз, из-за чумы не может учиться в Кембридже. Уилкинс и несколько других членов Королевского общества приглашены к нему в качестве наставников.

— А! Ясно! Это место, где ему предоставили стол и кров.

— Да.

— Что ты надеешься узнать от преподобного Уилкинса.

— Всё, чему он захочет меня научить. Через Королевское общество Уилкинс связан со всеми видными натурфилософами Британских островов и со многими на Континенте.

Дрейк задумался.

— Ты просишь у меня финансовой помощи, дабы ознакомиться с *гипотетическим* познанием, которое, *по твоему мнению,* возникло *из ничего* в самое последнее время.

— Да, отец.

— Смелое допущение.

— Не настолько, как ты думаешь. Мой друг Исаак — я о нём рассказывал — говорил о порождающем духе, который пронизывает всё. Благодаря этому духу из старого рождается новое. Коль не веришь мне, спроси себя, как цветы

растут из навоза? Почему в мясе образуются личинки мух, в корабельной обшивке — черви? Почему отпечатки раковин появляются на камнях вдалеке от моря и новые камни вырастают на пашне после того, как собран урожай? Тут явно действует какой-то организующий принцип, незримо наполняющий бытие. Через него мир может обновляться, а не только гнить.

— И всё же он гниёт. Выгляни в окно! Прислушайся к колокольчикам! Десять лет назад Кромвель переплавил сокровища короны и дал людям свободу вероисповедания. Сегодня тайный папист*[12] и холуй Антихриста**[13] правит Англией; из английского золота льют чаши для королевских оргий, а мы, истинно верующие, должны отправлять богослужения тайно, как первые христиане в языческом Риме.

— Порождающий дух требует пристального изучения отчасти и потому, что может вызвать в том числе дурные последствия. В каком-то смысле пневма, заставляющая бубоны расти из живого тела, может быть сродни той живой силе,

---

[12] Примечания: 12

То есть король Карл I.

[13] Примечания: 13

** Обычно это слово обозначает Римского Папу, но в данном случае речь о французском короле Людовике XIV.

которая заставляет грибы появляться из земли после дождя, но одни проявления мы находим пагубными, другие — благими.

— Ты думаешь, Уилкинс знает об этом больше.

— Я пытаюсь объяснить само существование таких, как Уилкинс, и его клуба, который теперь зовётся Королевским обществом, а также других объединений, например Академии господина де Монмора в Париже…

— Понимаю. Ты считаешь, что тот же дух действует в умах.

— Да, отец, и в самой почве страны, породившей так много натурфилософов за столь короткое время, к большой досаде папистов. — (Выпад в сторону папистов делу не повредит.) — И как крестьянин, глядя на всходы, уверен в будущем урожае, так и я не сомневаюсь, что за последние месяцы эти люди достигли многого.

— Но зачем это надо, перед самым светопреставлением.

— Всего несколько месяцев назад, на последнем собрании Королевского общества, мистер Даниель Кокс сообщил, что в лайнских меловых карьерах живое серебро струится по дну выработок, словно вода. И лорд Бреретон сказал, что ртуть обнаружили также в Сент-Олбансе, в яме

пильного станка.

— По-твоему, значит.

— Может быть, все эти непомерные разрастания — натурфилософия, чума, власть короля Людовика, оргии в Уайтхолле, меркурий, бьющий ключом из земных недр, — необходимые приуготовления к концу света. Порождающий дух прибывает, как вода в прилив.

— Это всё очевидно, Даниель. Я просто сомневаюсь, что следует продолжать твои штудии, когда последние дни уже наступили.

— Одобришь ли ты крестьянина, который даст своему полю зарасти сорняками, потому что близится конец света?

— Разумеется, нет. В твоих словах есть резон.

— Коли мы обязаны наблюдать все знаки грядущего светопреставления, то отпусти меня, отец. Ибо если эти знаки — кометы, то первыми о них узнают астро́номы. Если чума, то…

— …Врачи. Да, я понял. Ты хочешь сказать, будто люди, изучающие натурфилософию, способны получить некое особое знание — проникнуть в тайны Божьего мира, которые обычный человек не может вычитать из Библии?

— Э… мне кажется, это именно то, что я пытаюсь сказать.

Дрейк кивнул:

— Так я и думал. Что ж, Господь дал нам мозги ради какой-то цели, и грех ими не пользоваться.

Он встал, отнёс тарелку на кухню, потом подошёл к конторке в передней и достал причиндалы, необходимые, чтобы писать пером на бумаге.

— Монет у меня сейчас маловато, — проговорил он, чередуя яростную скоропись с длинными цветистыми росчерками, словно бретёр, выписывающий шпагой хитрые вензеля.

Мистер Хам, прошу выдать подателю сего один фунт (£1) из моих средств, вверенных вашему попечению.

Дрейк Уотерхауз

Лондон

— Что это, отец?

— Обязательство золотых дел мастера. Ими стали пользоваться примерно о ту пору, когда ты отправился в Кембридж.

— Почему «подателю сего»? Почему не «Даниелю Уотерхаузу»?

— В этом-то вся и прелесть! Ты мог бы, при желании, оплатить данной распиской долг в один фунт — просто вручил бы её кредитору, а тот пошёл бы к Хаму и получил фунт звонкой монетой.

Или оплатил бы ею *свои* долги.

— Ясно. В таком случае эта бумага означает просто, что я могу прийти в Сити и предъявить её дяде Томасу или любому другому Хаму…

— И они сделают, что ею предписано.

Это был вполне заурядный пример врождённого Дрейкова жестокосердия. Даниель мог отправляться в Эпсом — логово архиангликанина — и постигать натурфилософию буквально до конца света. Однако, чтобы раздобыть *средства* на поездку, он должен был доказать свою веру, пройдя через чумной Лондон. Испытание судом Божьим.

На следующее утро: плащ и стоптанные сапоги (хотя лето стояло жаркое). Платок, чтобы через него дышать*[14]. Минимальный запас исподнего и чистых рубах (за остальным Даниель собирался послать из Эпсома, буде доберётся туда здоровым). Несколько книг (тоненькие студенческие томики в одну восьмую листа, творения континентальных учёных, исписанные на полях и между строк

[14] Примечания: 14

Лучшие врачи Королевского общества пришли к единогласному мнению, что чуму вызывает не дурной воздух, а скученность большого количества людей, особенно иностранцев (первой жертвой лондонской чумы стал француз, который сошёл с корабля и умер на постоялом дворе примерно в пятистах ярдах от дома Дрейка); впрочем, все всё равно дышали через платок.

его почерком). Письмо от Уилкинса (с вложением от Роберта Гука), пришедшее на прошлой неделе. Всё это в мешок, мешок — на палку, палку — на плечо. Вид получился как у бродяги, но в городе многие промышляли грабежом за неимением других заработков, так что разумно было иметь крепкую палку и выглядеть победнее.

Дрейк, на прощание:

— Скажи старине Уилкинсу, что я не осуждаю его за переход в англиканство, ибо верю, что он сделал это ради реформирования церкви, к которому всегда стремились те из нас, кого уничижительно зовут пуританами.

Потом Даниелю:

— Остерегайся заразиться чумой — я не о бубонной чуме, а о чуме скептицизма, столь модной в кругу Уилкинса. Менее опасно для твоей души было бы оказаться в борделе, нежели среди некоторых членов Королевского общества.

— Это не скептицизм ради скептицизма, отец. Просто понимание, что нам свойственно заблуждаться и трудно смотреть на что-либо непредвзято.

— Таков подход хорош, когда дело касается комет.

— Тогда я не буду говорить о религии. До сви-

дания, отец.

— Господь да хранит тебя, Даниель.

Он открыл дверь, стараясь не морщиться от уличного воздуха, ударившего в лицо, и спустился по ступеням на дорогу, называемую Холборн, — реку утоптанной пыли (дождей не было уже довольно давно). Дом Дрейка, новый (послекромвелевский), фахверковый, стоял в одном ряду с деревянными. Вместе они образовывали как бы ограду, которая отделяла Холборн от открытых полей, простиравшихся до самой Шотландии. Дома на другой, южной стороне Холборна были такие же, но выстроены двумя десятилетиями раньше (то есть до Гражданской войны). Местность была ровная, за исключением некоего подобия стоячей волны, которая вилась через поля и пересекала Холборн чуть дальше вправо — как если бы на Лондонский мост упала комета и рябь, пробежав по земле, остановилась у дома Дрейка. То были остатки одного из земляных валов, возведённых лондонцами (до Кромвеля) в начале Гражданской войны для защиты от королевских войск. В ту пору существовали и ворота на Холборне, и звездообразный земляной форт по соседству, но ворота давно сломали, а форт осыпался и зарос травой; теперь на нем несли караул

самые молодые и предприимчивые бычки.

Даниель повернулся налево, к Лондону — чистое безумие. Однако Уилкинс в письме и Гук (протеже Уилкинса по оксфордским дням, а ныне куратор экспериментов Королевского общества) в записке кое о чём просили. Просьбы были сформулированы самым вежливым образом. Ну, пожалуй, в случае Гука, не самым вежливым. Оба учёных были бы чрезвычайно признательны, если бы Даниель забрал некие предметы из неких домов в Лондоне.

Даниель мог бы сжечь письмо и объявить, что не получал его. Он мог бы отправиться в Эпсом без названных предметов, сославшись в оправдание на чуму. Правда, Уилкинс с Гуком, подобно Дрейку, не признавали оправданий.

Став студентом Тринити в самое неподходящее время, Даниель пропустил первые пять лет Лондонского Королевского общества. Позже он присутствовал на нескольких собраниях, но всегда чувствовал себя так, будто смотрит через стекло, прижимаясь к нему носом.

Сегодня ему предстояло в качестве членского взноса пойти в Лондон. Что ж, на службе натурфилософии совершались подвиги и поопаснее.

Даниель сделал шаг и обнаружил, что ещё не

умер. Сделал второй, третий. Некоторое время город казался до жути обыденным, если не слушать похоронный звон из сотни разных приходских церквей. При ближайшем рассмотрении стало видно, что многие украсили стены своих домов истеричными призывами к Божьему милосердию, надеясь, что надписи эти, как кровь агнцев на перекладинах и косяках еврейских домов, остановят ангела смерти. Лишь изредка по Холборну проезжали телеги. Пустые двигались в город, распространяя омерзительное зловоние, окружённые тучами мух, которые, в свою очередь, привлекали целые стаи птиц. Они возвращались с похорон. Телеги с людьми ехали из города. Их сопровождали те же сторожа с колокольчиками и красными палками. Неподалёку от земляного вала, там, где Холборн утыкался в Оксфордскую дорогу, устроили чумной барак, а когда он наполнился мертвецами, то и другой, дальше, к северу от Тайбернских виселиц, в Мэрилебоне. Кто-то на телегах выглядел совсем здоровым, другие достигли той стадии болезни, при которой малейшее движение причиняет адскую боль, так что и без колокольчиков телеги можно было бы услышать по взрывам стонов и молитв на каждом дорожном ухабе. Даниель и

другие редкие пешеходы, пропуская телеги, прятались в подворотни и дышали сквозь платки.

Через Ньюгейт и развалины римской стены, мимо тюрьмы, притихшей, но не пустой. К четырёхугольной звоннице Святого Павла, где усталые звонари раскачивали огромный колокол, отсчитывая прожитые покойником годы. Старая башня покосилась так давно, что лондонцы давно перестали это замечать. Впрочем, сейчас казалось, будто она накренилась ещё сильнее, и Даниель внезапно испугался, что башня рухнет прямо на него. Всего несколько недель назад Роберт Гук и сэр Роберт Морэй поднимались на колокольню для опытов с двухсотфутовым маятником. Сейчас церковь окружали бастионы свежевскопанного грунта — могилы поднимались над землёй почти на целый ярд.

К старому, изъеденному угольным дымом фасаду несколько десятилетий назад прилепили классический портик. Однако новая колоннада тоже уже рушилась; её сильно попортили во времена Кромвеля, когда между колоннами понастроили мелочны́х лавок. В те годы кавалеристы круглоголовых порубили мебель из западной половины церкви на дрова и разместили там конюшню на тысячу лошадей, а навоз продавали

замерзающим лондонцам по четыре пенса за бушель. Тем временем в восточной половине Дрейк, Болструд и другие произносили трёх-четырёхчасовые проповеди при всё уменьшающемся стечении народа. Считалось, что король Карл приступил к восстановлению собора, но Даниель не видел ни малейших тому свидетельств.

Он обошёл церковь с южной стороны, хоть это было и дальше, — хотел взглянуть на южный трансепт, рухнувший несколько лет назад. Поговаривали, будто камни побольше и получше пошли на флигель, который Джон Комсток пристроил к своему дому на Пикадилли. И впрямь, части камней явно недоставало, но сейчас, разумеется, здесь никто не работал, кроме могильщиков.

В Чипсайде несколько человек, взобравшись по приставным лестницам, вынимали из верхних окон заколоченного дома обессиленных, измождённых детей, которые каким-то чудом пережили своих родителей. Ближе к реке Даниель первый и последний раз увидел скопление людей: очередь перед домом Натаниеля Ходжеса, единственного из врачей, которому хватило мужества остаться в городе. Отсюда до дома Уилкинса было рукой подать. Уилкинс прислал Даниелю ключ, ко-

торый не понадобился, поскольку дверь уже взломали грабители. Они вывороти́ли половицы и вспороли матрасы — дом, усыпанный соломой и досками, напоминал амбар. Книги сбросили с полок, проверяя, не спрятано ли что-нибудь за ними. Даниель составил их на место, а две или три новые, которые Уилкинс просил забрать, прихватил с собой.

Затем — в церковь Святого Лаврентия Еврейского*[15]. «Иди вдоль водосточной трубы, найдёшь земноводных», — написал Уилкинс. Даниель обошёл кладбище, покрытое свежими могилами, которые, впрочем, ещё не начали насыпать одну поверх другой: прихожане Уилкинса, по большей части зажиточные торговцы, сбежали в загородные дома. С одного края крыши спускалась водосточная труба и ныряла в окно. Даниель

---

[15] Примечания: 15

Которая не имела никакого отношения к евреям. Название произошло от слободы, в которой евреи жили, пока в 1290 году Эдуард I не выставил их из Англии. В католической или англиканской стране евреи не могли обитать в принципе, поскольку вся она делилась на приходы, и всякий живущий в приходе по определению был прихожанином местной церкви, которая собирала десятину, делала записи о рождении или смерти, а также следила, чтобы все регулярно ходили к обедне. Такая система звалась *установленной* или *государственной церковью* и не оставляла диссидентам, вроде Дрейка, иного выхода, кроме как бороться за *церковь-общину*, которая объединяла бы единомышленников вне зависимости от того, где они проживают. Разрешив церковь-общину, Кромвель таким образом вернул евреев в Англию.

вошёл в церковь и, следуя за трубой, очутился в подвале, где различные богослужебные принадлежности дожидались медленной смены литургического календаря (пасхальное, рождественское и прочее убранство) либо внезапной перемены в господствующей теологии. (Высокоцерковники, вроде покойного архиепископа Лода, хотели окружить престол оградой, дабы приходские собаки не задирали на него лапы; поборники простоты, вроде Дрейка, — нет; преподобный Уилкинс, склонявшийся на сторону Дрейка, спрятал ограду в подвал.) Помещение гудело, почти дрожало, как если бы спрятанные по углам монахи распевали молитвословия, но на самом деле это жужжала целая цивилизация мух, столь огромных, что некоторые звучали почти на басах. Они расплодились на дохлых крысах, осенней листвой устилавших пол. Пахло соответственно.

Водосточная труба входила в подвал через отверстие в потолке и заканчивалась над огромной каменной купелью для крещения младенцев — вероятно, её задвинули в угол о ту пору, когда король Генрих VIII запретил в Англии католичество. Даниель предположил это по каменной резьбе, которая была так насыщена папистскими

символами, что не удалось бы сбить их все, не уничтожив саму купель. Когда она наполнялась дождевой водой, излишки выплёскивались на пол, стекали к стене и просачивались в землю — вероятно, больных крыс пригнала сюда жажда.

Купель была прикрыта решёткой, придавленной двумя кирпичами. Из-под решётки раздавалось довольное кваканье. Что-то розовое взметнулось между прутьями, схватило муху, замерло на мгновение и тут же втянулось обратно. Даниель снял кирпичи, приподнял решётку и заглянул внутрь. На него смотрели — а он смотрел на — полдюжины самых здоровых лягушек, каких ему только случалось видеть, лягушек размером с терьеров, лягушек, способных языком ловить на лету воробьёв. Стоя посреди Града Погибели, Даниель расхохотался. Порождающий дух неистовствовал в дохлых крысах, обращая их в мух, из которых черпали жизненную силу счастливые лупоглазые лягвы.

Тысячи слабеньких щелчков сливались в стук, словно град колотит по стеклу. Даниель поглядел вниз и увидел, что это всего лишь орды блох. Покинув дохлых крыс, они устремились к нему со всех сторон и сейчас рикошетом отлетали от кожаных сапог. Он обошёл подвал, отыскал кор-

зину для хлеба, пересадил в неё лягух, неплотно накрыл их тканью и вышел на улицу.

Реки он отсюда не видел, но мог догадаться, что прилив кончается, потому что вода в канаве посреди Полтри-Лейн начала неуверенно пробираться вниз с Лиденхолл. В обычные дни она несла бы обрывки бумаг с Биржи, однако сейчас на поверхности плыли только дохлые кошки и крысы.

Стараясь держаться подальше от канавы, Даниель тем не менее двинулся против её течения к району, в котором жили золотых дел мастера и откуда в разные стороны расходились Треднидл, Полтри, Ломбард и Корнхилл. Он вышел в самую высокую точку Сити, где Корнхилл встречался с улицей Лиденхолл (которая продолжалась на восток, но уже вниз), Рыбной улицей (прямо вниз, к Лондонскому мосту) и Бишопсгейт (вниз к городской стене, Бедламу и вырытой рядом общей могиле для умерших от чумы). На пересечении их торчала колонка, из которой речная вода лилась по патрубкам в канавы на каждой из этих улиц. Колонка соединялась с трубой, идущей под Рыбной улицей к северному окончанию Лондонского моста. В елизаветинские времена какой-то сметливый голландец построил там водяные

колёса. Хотя люди, призванные за ними следить, умерли или разбежались, колёса принимались вращаться всякий раз, как после прилива вода скапливалась за мостом. Колёса приводили в действие помпы, которые качали воду по трубе под Рыбной улицей. Таким образом, если вы жили в этой части города, течение смывало ваши отбросы, а если в другой — два раза в день несло мимо вас поток мусора, дохлятины и дерьма.

Даниель двинулся вдоль вышеназванного потока по Бишопсгейт, но дошёл только до стены, окружающей дом, вернее, целый комплекс строений, которые сэр Томас Грешем, автор знаменитых слов «Дурная монета вытесняет полновесную», воздвиг сто лет назад на средства, полученные от ссуд правительству и реформирования денежной системы. Как все фахверковые дома, они изрядно покосились, но Даниель любил это место, поскольку здесь обосновалось Королевское общество.

И Роберт Гук, куратор экспериментов Королевского общества, переехавший сюда девять месяцев назад, чтобы полностью посвятить себя опытам. Гук прислал Даниелю список всякого хлама, нужного ему для работы. Даниель оставил корзину с лягушками и прочее добро в зале, где

собиралось Королевское общество, и совершил несколько вылазок в комнаты Гука, а также в различные помещения, на чердаки и в подвалы.

Даниелю предстали: груда древесных спилов, которые кто-то собрал в доказательство, что утоньшение годичных колец указывает истинный север. Бразильская рыба-компас, которую Бойль подвесил на нитку, проверяя легенду, согласно которой она обладает таким же свойством. (Когда Даниель вошёл, рыба указывала на юго-юго-восток.) В склянках: порошок гадючьих лёгких и печени (кто-то надеялся получить из него маленьких гадюк), иногда называемый также симпатическим порошком и применяемый в знахарстве для лечения ран. Образчики загадочной красной жидкости из Кровавого пруда в Ньюингтоне. Орехи бетеля, камфорное дерево, рвотный орех, называемый также чилибуха, носорожий рог. Волосяной ком, который сэр Уильям Кертис извлёк из коровьего желудка. Опыт: несколько галек в сосуде с водой — настолько узкогорлом, что они еле-еле туда прошли; если потом их не удастся вынуть, это докажет, что камни растут в воде. Очень много всевозможной поломанной древесины, английской и привозной — остатки бесконечных экспериментов по

определению прочности балок. Сердце графа Балкарреса, которое тот передал для научного изучения, правда лишь после своей кончины. Коробочка с камнями, которые разные люди отхаркнули из лёгких (Королевское общество собиралось подарить их королю). Сотни осиных и птичьих гнёзд с именами жертвователей. Детские позвонки, извлечённые из гнойника в боку женщины, у которой за двенадцать лет до того случилась замершая беременность. Заспиртованные: различные человеческие зародыши, голова жеребёнка с двойным глазом посреди лба, японский угорь. На стене: шкура ягнёнка с семью ногами, двумя туловищами и одной головой. За стеклом, в стадии разложения: коллекция ядовитых змей. Все они передохли с голоду, причём некоторые пытались проглотить свой хвост, словно подражая алхимическому Уроборосу. Ещё волосяные комки. Сердца казнённых, с виду неотличимые от графского. Флакончик с семенами, якобы обнаруженными в моче одной голландской девицы. Пузырёк синего красителя, полученного из дубильных орешков, зелёного — из железного купороса. Карандашный портрет карлика из числа якобы населяющих Канарские острова. Сотни конкреций магнитного железняка

самых разных форм и размеров. Модель исполинского арбалета, из которого Гук собирался гарпунить китов. U-образная трубка, которую Бойль наполнил ртутью, доказывая, что её колебания сродни колебаниям маятника.

Гук просил Даниеля забрать различные детали, инструменты и материалы, потребные для изготовления часов и других тонких механизмов; камни, которые он обнаружил в графском сердце, гигроскоп из ости овсюга, зажигательное стекло в деревянной раме, выпуклые очки, чтобы смотреть под водой, рососборник*[16], а также избранные мочевые пузыри из его обширной коллекции: свиной, коровий и так далее. Ещё Гуку требовались (в ни с чем не сообразном количестве) шары различного размера из всевозможных материалов: свинца, янтаря, дерева, серебра и прочего для бросания и катания. Кроме того, различные части воздухосжимательной машины. Искусственный глаз. Наконец, Гук просил прихватить «любых щенков, котят, цыплят, мышей и проч., какие только попадутся, ибо ко-

[16] Примечания: 16

Стеклянный сосуд в форме перевёрнутого конуса, который наполняли водой или (предпочтительнее) снегом и с вечера выставляли на улицу. За ночь роса конденсировалась на поверхности конуса и стекала в поддон.

личество их в ближайших окрестностях заметно уменьшилось».

Несмотря на трудности с доставкой, здесь скопилось немало почты. Значительная часть писем была адресована просто «ГРУБЕНДОЛЮ, Лондон». По наставлению Уилкинса, Даниель собрал письма в общую груду, а те, что предназначались ГРУБЕНДОЛЮ, перевязал бечёвкой и положил отдельно.

Теперь он готов был покинуть Лондон, недоставало лишь денег да чего-нибудь, на чём увезти это добро. Оставив в доме всё (за исключением лягушек, которых не стоило бросать без присмотра), Даниель снова прошёл по Бишопсгейт и свернул на Треднидл. На её пересечении с Корнхилл стояли дома, выходящие на обе улицы. На крышах курили трубки вооружённые мушкетами сторожа; даже неграмотный, взглянув на них, сообразил бы, что здесь обитают золотых дел мастера. Даниель подошёл к дому под вывеской «Братья Хамы». В окошке рядом с дверью были выставлены несколько украшений и парочка золотых блюд: свидетельство, что Хамы по-прежнему заняты златокузнечным делом.

Лицо за решёткой. «Даниель!» Решётка заскрежетала, дверь застонала и залязгала, словно

внутри сдвигаются тяжёлые чугунные брусья. Наконец она отворилась.

— Рад тебя видеть.

— Здравствуйте, дядя Томас.

— Вообще-то, сводный зять.

Томас Хам упорно надеялся, что педантизм и повторение каким-то алхимическим образом переплавятся в остроумие. Педантизм, потому что он и впрямь был женат на единокровной сестре Даниеля, повторение, потому что Даниель слышал эту шутку сколько себя помнил. Хаму шёл седьмой десяток, он был одновременно грузен и худосочен. С костлявой арматуры свисало непомерное брюхо, орлиное лицо обрамляли дряблые складки. Ему повезло жениться на красавице Мейфлауэр Уотерхауз, во всяком случае, так его уверяли.

— Я испугался, когда подошёл. Думал, вы кого-то хороните. — Даниель указал на кучи свежей земли рядом с домом.

Хам внимательно оглядел улицу — как будто то, что он делал, можно было скрыть от посторонних глаз и ушей.

— Мы роем крипту иного рода, — сказал он. — Давай, заходи. Почему твоя корзина квакает?

— Я подался в грузчики, — отвечал Даниель. —

У вас нет тачки или тележки, которую я мог бы одолжить на несколько дней?

— Есть, очень прочная и тяжёлая — мы возили денежные сундуки на Монетный двор и обратно. С начала чумы она стоит без дела. Бери на здоровье!

В комнате за дверью тоже виднелись жалкие следы розничной ювелирной торговли — конторка и несколько амбарных книг. Лестница вела в жилые помещения на втором этаже — тёмные и притихшие.

— Мейфлауэр и дети здоровы?

— Да, благодарение Богу. Её последнее письмо из Бакингемшира чуть меня не усыпило. Идём вниз!

Дядя Томас провёл его ещё через одну крепостную дверь, подпёртую поленом, чтобы не закрывалась, и по узкой лестнице вглубь. Впервые с сегодняшнего утра Даниель не ощущал вони, только мирный запах растревоженной земли.

Даниель никогда не бывал в этом подвале, но знал про него всегда. Из фигур речи, вернее, из фигур умолчания можно было заключить, что там либо водятся привидения, либо хранится золото. Подвал оказался вовсе не величаво-пугающим,

а очень по-английски маленьким и уютным, однако он впрямь был наполнен золотом и в эту самую минуту расширялся. У лестницы, прямо на земляном полу, лежали золотые блюда, чаши, кувшины, кубки, ложки, вилки, ножи, подсвечники черпаки и супницы, а также мешки с монетами, коробочки с медальонами, отлитыми в память тех или иных сражений, золотые бруски и неправильной формы слитки, называемые чушками. На каждом предмете имелась аккуратная бирка: «367–11/32 трой. Унц., помещ. Лордом Рочестером 29 сентября 1662 г.» и так далее. Всё было сложено как булыжная кладка без раствора, то есть максимально плотно, чтобы груда не рассыпалась. Сверху её изрядно припорошило землёй, кирпичной крошкой и раствором от работ, которые велись в дальнем конце погреба: землекоп орудовал киркой и лопатой, его товарищ выносил землю в корзине, плотник сколачивал деревянные крепи, чтобы дом Хама не обрушился в пустоту, каменщик и его подручные клали фундамент и стены. Теперь это был чистый подвал: никаких крыс.

— Боюсь, подсвечники твоей покойной матушки сейчас увидеть нельзя — они довольно глубоко в… э… укладке, — сказал Томас Хам.

— Я здесь не для того, чтобы тревожить укладку, — отвечал Даниель, вынимая отцовскую расписку.

— О! Легко исполнимо! Легко и с большой охотой! — объявил мистер Хам, надевая очки и тряся брылами над распиской — гончая, берущая след. — Карманные деньги для юного учёного … юного богослова, не так ли?

— Говорят, Кембридж откроется не скоро — надо податься куда-нибудь ещё, — ответил Даниель, просто чтобы поддержать разговор. Его заинтересовала небольшая груда чего-то грязного, но не золота. — Что это?

— Остатки римского дома, который здесь когда-то стоял, — ответил мистер Хам. — Те, кто в таких вещах разбирается, — чего я, увы, не могу сказать о себе, — уверяют, что на этом самом месте протекала река Уолбрук. Она впадала в Темзу перед дворцом наместника, примерно в двенадцати сотнях ярдов отсюда. Римские купцы возводили дома на берегу, чтобы доставлять товары по реке.

Даниель носком сапога сковырнул землю с твёрдой поверхности, которую нащупал внизу. Показались крохотные многоугольнички: терракотовые, синие, бежевые, желтовато-белые.

Перед ним был кусочек мозаичного пола. Даниель сгрёб ещё немного земли и увидел изображение ноги, согнутой в колене, с носком, оттянутым как при беге. Щиколотку украшали два крылышка.

— Да, римский пол мы сохраним, — сказал мистер Хам, — в качестве преграды от умельцев с лопатами. Джонас, где у нас всякие мелочи?

Землекоп ногой толкнул к ним ящик, полный грязного хлама. Здесь были два костяных гребня, глиняный светильник, металлическая пряжка, из которой давно вывалились драгоценные камни, обливные черепки, а также что-то длинное и тонкое — шпилька для волос, заключил Даниель, счистив с неё грязь. Металл почернел, но это было серебро.

— Забирай, — сказал Хам, имея в виду не только шпильку, но и вполне приличную серебряную монету в один фунт, которую только что выудил из кармана. — Может, будущей миссис Уотерхауз приятно будет закалывать волосы вещицей, которой украшала причёску жена римского купца.

— Нам в Тринити-колледже не разрешено жениться, — напомнил Даниель, — но ваш подарок я всё-таки приму. Вдруг у меня будет пышноволосая племянница, которую не испугает чуточка язычества.

Ибо он уже успел заметить, что шпилька имеет форму кадуцея.

— Язычества? Коли так, все мы язычники. Это символ Меркурия — покровителя торговли, которому уже тысячу лет поклоняются в этом подвале и в этом городе не только дельцы, но и епископы. Культ его приноравливается к любой религии с той же лёгкостью, с какой ртуть принимает форму любого сосуда. Когда-нибудь, Даниель, ты встретишь молодую особу, которая будет столь же податлива и уживчива. Бери.

Он вложил монету в ладонь Даниеля рядом с кадуцеем и сжал ему пальцы. Чувствуя холодок металла в кулаке и тепло родственных рук снаружи, Даниель выслушал прощальные напутствия дяди.

Даниель, толкая тачку, двинулся по Чипсайду на запад. Он задержал дыхание, проходя мимо смрадных могильных холмов у церкви Святого Павла, и вздохнул свободно, только миновав Ладгейт. Идти над Флитской канавкой было ещё хуже; всюду валялись дохлые крысы, собаки, кошки; нередко попадались и человеческие трупы, которые выронили с телег и не удосужились даже присыпать землёй. Он не отнимал платок от лица, пока не прошёл Темпл-бар и караульню

на середине Стрэнда, у Сомерсет-хауса. Здесь уже между домами проглядывали поля; после городской вони запах навоза радовал ноздри.

Даниель боялся, что тачка увязнет в грязи на Чаринг-Кросс, но дождей давно не было, кареты почти не ездили, и обычное месиво высохло. Пять бродячих псов смотрели, как он пробирается с тачкой по колдобинам. Даниель поглядывал с опаской, ожидая нападения, пока не заметил, что для бездомных псов они чересчур упитанны.

Ольденбург жил в особняке на Пэлл-Мэлл. Из всех членов Королевского общества только он да ещё один-два самоотверженных врача не покинули чумной Лондон. Даниель вытащил письма, адресованные ГРУБЕНДОЛЮ, и оставил их на пороге — послания из Вены, Флоренции, Парижа, Амстердама, Берлина, Москвы.

Он трижды постучал в дверь и отступил назад. За зелёными стёклышками окна, как за пеленой слёз, показалось круглое лицо. У Ольденбурга недавно умерла жена (не от чумы); поговаривали, будто он остался в Лондоне в надежде, что Чёрная смерть воссоединит его с умершей супругой.

Путь до Эпсома предстоял неблизкий, и у Даниеля было вдоволь времени сообразить, что ГРУБЕНДОЛЬ — анаграмма фамилии Ольденбург.

Эпсом

Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять определения прежних авторов и либо исправлять их, если они небрежно сформулированы, либо формулировать самому заново. Ибо ошибки, сделанные в определениях, увеличиваются сами собой по мере изучения и доводят людей до нелепостей, которые в конце концов они замечают, но не могут избежать без возвращения к исходному пункту, где лежит источник их ошибок.

Гоббс, «Левиафан»

1665–1666

Поместье Джона Комстока располагалось в Эпсоме, неподалёку от Лондона, и поражало своей обширностью, которая во время чумы пришлась как нельзя кстати. Его милость смог разместить у себя несколько членов Королевского общества (чем ещё увеличил свой и без того немалый престиж), не приближая их чрезмерно к собственной особе (что причиняло бы неудобства домашним

и подвергало риску животных). Всё это Даниель понял, как только слуга Комстока встретил его у ворот и направил в сторону от усадьбы, через буферную зону садов и пастбищ, к уединённому коттеджу, который выглядел одновременно запущенным и перенаселённым.

По одну сторону простирался огромный скотомогильник, белевший костями собак, кошек, свиней, лошадей и крыс. По другую — пруд, усеянный сломанными моделями кораблей с необычайной оснасткой. Над колодцем висела сложная система блоков; верёвка тянулась от неё через луг к недостроенной повозке. На крыше расположились ветряные мельницы самых невероятных конструкций; одна помещалась над трубой и вращалась от дыма. С каждого сука в окрестности свешивались маятники; верёвки запутались на ветру, образовав рваную философскую паутину. На траве перед домом валялись всевозможные шестерни и колёса, недоделанные или сломанные. Имелось и огромное колесо, в котором человек мог катиться, переступая ногами.

Ко всем стенам и мало-мальски толстым деревьям были приставлены лестницы. На одной из них стоял грузный светловолосый господин, явно на склоне лет и явно не торопящийся угасать.

Господин карабкался по лестнице, держась за неё одной рукой, в скользких кожаных башмаках, для таких занятий отнюдь не приспособленных; всякий раз, когда он ставил ногу на следующую перекладину, лестница отъезжала назад. Даниель кинулся вперёд, схватил лестницу и с опаскою поднял взгляд на колышущиеся телеса преподобного Уилкинса. В свободной руке преподобный держал некий крылатый предмет.

Кстати, о крылатых предметах и существах. Даниель почувствовал, что руки ему что-то щекочет, и, опустив глаза, увидел на каждой по пятку пчёл. В эмпирическом ужасе он наблюдал, как одна из них вонзила жало в кожу между большим и указательным пальцами. Даниель закусил губу и посмотрел вверх, пытаясь определить, причинит ли Уилкинсу немедленную смерть, если отпустит лестницу. Ответ был: да. Пчелы уже вились роем, тыкались Даниелю в волосы, проносились между перекладинами лестницы, облаком гудели вокруг Уилкинса.

Достигнув наивысшей точки — и явно испытывая Божье милосердие, — тот выпустил из руки игрушку. Она защёлкала, зажужжала — видимо, внутри раскручивалась часовая пружина, — и если не полетела, то, во всяком случае, и не упа-

ла сразу, а вступила в некое взаимодействие с воздухом. Впрочем, длилось это недолго — раза два дёрнувшись, механическая птица пошла вниз, врезалась в стену дома и рассыпалась на составные части.

— До Луны на такой не долетишь, — посетовал Уилкинс.

— Мне казалось, на Луну вы собирались лететь из пушки.

Уилкинс похлопал себя по брюху.

— Как видите, во мне слишком много инерции, чтобы мной можно было *куда-либо* из *чего-либо* дострелить. Покуда я не спустился… как вы себя чувствуете, юноша? В жар-холод не бросает? Нигде не вспухло?

— Предвосхищая ваш интерес, доктор Уилкинс, мы с лягушками две ночи провели в эпсомской гостинице. Я чувствую себя как нельзя лучше.

— Превосходно! Мистер Гук истребил всю живность в округе — если бы вы не принесли лягушек, то сами бы стали жертвой вивисекции.

Уилкинс принялся спускаться, то и дело промахиваясь ногой мимо перекладин, тучный зад угрожающе навис над Даниелем. Достигнув наконец твёрдой земли, доктор бестрепетной рукой отмахнулся от пчёл. Стряхнув несколько летуний

с ладоней, натурфилософы обменялись долгим и тёплым рукопожатием. Пчёлы, утратив к ним интерес, унеслись в сторону стеклянного домика.

— Это сделал Рен, идёмте покажу! — воскликнул Уилкинс, вперевалку направляясь за пчёлами.

Стеклянная конструкция представляла собой модель дома, с выдутым куполом и хрустальными колоннами. Готическая по архитектуре, она походила на какое-нибудь правительственное здание в Лондоне или на университетский колледж. Двери и окна служили лётками. Внутри пчёлы соорудили улей — целый собор сотов.

— При всем уважении к мистеру Рену, я вижу тут смешение архитектурных стилей…

— Что? Где? — вскричал Уилкинс, выискивая в очертаниях свода следы эклектики. — Я его выпорю!

— Виновен не зодчий, а квартиранты. Разве эти крохотные восковые шестиугольники сообразны замыслу архитектора?

— А вам какой из стилей более по душе? — осведомился Уилкинс.

— Э… — протянул Даниель, чувствуя подвох.

— Прежде, нежели вы ответите, позвольте предупредить, что к нам приближается мистер

Гук, — шепнул преподобный, кося глазом в сторону.

Даниель обернулся и увидел, как со стороны дома к ним идёт Гук, скрюченный, седой и прозрачный, как загадочные химеры, что иногда мелькают на краю зрения.

— Ему плохо? — спросил Даниель.

— Обычный приступ меланхолии. Некоторая сварливость, вызванная нехваткой доступных представительниц прекрасного пола.

— Вообще-то, я хотел спросить, здоров ли он.

Гук, привлечённый кваканьем, метнулся вперёд, схватил корзину и был таков.

— О, Гук вечно выглядит так, будто он последние несколько часов умирал от потери крови, — сказал Уилкинс.

У него самого всегда был такой понимающий, чуть насмешливый вид, за который ему сходило с рук почти любое высказывание. Вкупе с гениальными тактическими ходами (такими как женитьба на сестре Кромвеля во времена Междуцарствия) это позволяло ему играючи преодолевать житейские бури гражданских войн и революций. Он согнулся перед стеклянным пчельником, преувеличенно кривясь от радикулита, и вытащил склянку, в которой набралось

почти на два пальца мутновато-бурого мёда.

— Как видите, мистер Рен предусмотрел канализацию, — объявил преподобный, вручая тёплую склянку Даниелю, после чего направился к дому, Даниель — за ним.

— Вы сказали, что два дня провели в добровольном карантине, — значит, вы платили за гостиницу, и, следовательно, у вас есть карманные деньги, то есть Дрейк их вам дал. Что вы сообщили ему о цели своего путешествия? Мне надо знать, — извиняющимся тоном добавил Уилкинс, — дабы при случае отписать ему в письме, что вы этим самым тут и занимаетесь.

— Я должен быть в курсе всего самого нового, с Континента или ещё откуда, дабы своевременно извещать его обо всех событиях, имеющих отношение к концу света.

Уилкинс погладил невидимую бороду и важно кивнул, потом отступил в сторонку, чтобы Даниель распахнул перед ним дверь. Они оказались в гостиной, где догорал огромный камин. Двумятремя комнатами дальше Гук распинал лягушку на дощечке и время от времени чертыхался, заехав себе по пальцам молотком.

— Может быть, вы сумеете помочь мне с моей книгой.

— Новым изданием «Криптономикона»?

— Типун вам на язык! Я давно забыл это старьё! Написал его четверть века назад. Вспомните, что было за время!.. Король сбрендил, собственные стражники запирали от него арсенал, в парламенте чинили расправу над министрами. Враги короля перехватывали письма, которые его жена-папистка писала за границу, призывая иноземные державы вторгнуться в наши пределы. Хью Питерс вернулся из Салема распалять пуритан, что было несложно, поскольку король, исчерпав казну, захватил всё купеческое золото в Тауэре. Шотландские ковенантеры в Ньюкасле, католический мятеж в Ольстере, внезапные стычки на улицах Лондона — джентльмены хватались за шпаги по поводу и без повода. В Европе не лучше: шёл двадцать пятый год Тридцатилетней войны, волки пожирали детей — только подумать! — на Безансонской дороге, Испания и Португалия раскололись на два королевства, голландцы под шумок прибрали к рукам Малакку… Разумеется, я написал «Криптономикон»! И, разумеется, люди его покупали! Но если то была омега — способ сокрыть знание, обратить свет во тьму, то всеобщий алфавит — альфа. Начало. Рассвет. Свеча во тьме. Я вас заболтал?

— Это что-то похожее на замысел Коменского?

Уилкинс подался вперёд, словно хотел отхлестать Даниеля по щекам.

— Это *и есть* замысел Коменского! То, что мы с ним и немцами — Хартлибом, Гаком, Киннером, Ольденбургом — хотели сделать, когда создавали Невидимую коллегию*[17], давно, в доисторические времена. Однако труды господина Коменского, как вы знаете, сгорели при пожаре в Моравии.

— Случайно или…

— Отличный вопрос, юноша, — когда речь о Моравии, ничего нельзя знать наверняка. Если бы в сорок первом Коменский послушал меня и согласился возглавить Гарвард…

— Колонисты опередили бы нас на двадцать пять лет!

— Совершенно справедливо. Вместо этого натурфилософия процветает в Оксфорде, отчасти в Кембридже, а Гарвард — убогая дыра.

— А почему он не послушал вашего совета?

— Трагедия центральноевропейских учёных в том, что они вечно пытаются применить философскую хватку к политике.

---

[17] Примечания: 17
Предшественница Королевского общества.

— В то время как Королевское общество?..

— Строго аполитично. — Уилкинс театрально подмигнул. — Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса.

— Какие же именно?

— Латынь.

— Латынь?! Но она…

— Да, она универсальный язык учёных, богословов и прочая, и прочая. А как звучна! Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придёт в восторг или, по крайней мере, сконфузится. Вот так римским папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию — они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявятся противоречия и размытость.

— М-м-м… я бы сказал даже, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, нельзя было бы, не преступая законов грамматики, выразить ложное утверждение.

— Вы только что сформулировали самое краткое из его определений, — весело произнёс

Уилкинс. — Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?

— Нет, — торопливо отвечал Даниель, со страху не различивший юмора. — Я лишь рассуждал по аналогии с Декартовым анализом, в котором, при чёткой терминологии, любое ложное высказывание будет неправомерным.

— При чёткой терминологии! Вот она, загвоздка! — сказал Уилкинс. — Чтобы записать термины, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит — на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли.

— Я к вашим услугам, сэр, — промолвил Даниель. — Когда можно приступать?

— Прямо сейчас! Пока Гук не покончил с лягушками — если он придёт и застанет вас без дела, то закабалит, как чёрного невольника. Будете разгребать требуху или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая… колебания… с утра… до самого… вечера.

Подошёл Гук. Он был не только горбат, но и кособок. Длинные каштановые волосы висели нечёсаными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову, так что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчёркивала худобу запавших щёк, отчего серые глаза

казались ещё больше. Гук сказал:

— Лягушки тоже.

— Меня уже *ничто* не удивляет, мистер Гук.

— Я заключаю, что из них состоят все живые существа.

— А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать? Мистер Гук? Мистер Гук?

Однако Гук уже ушёл на конюшню, ставить какой-то новый эксперимент.

— Из чего состоят??? — спросил Даниель.

— В последнее время, всякий раз, глядя на что-либо через свой микроскоп, мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена — из кирпичей, — сообщил Уилкинс.

— И на что же походят эти кирпичи?

— Он не зовёт их кирпичами. Не забывайте, они полые. Он решил назвать их клетками… Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идёмте со мной, любезный Даниель. Выбросьте клетки из головы. Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что всё на Земле и на Небе можно разделить на сорок различных родов… в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории.

Уилкинс провёл его в помещение для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились

бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкинс двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниель поймал один и прочёл:

— «Петушье просо, листовник сколопендровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слёзки, заразиха, петров крест, ложечница лекарственная, цикламен, камнеломка, заячья капуста, подмаренник, плаун вонючий, цикорий, осот, одуванчик, пастушья сумка, икотник, вербейник, вика».

Уилкинс нетерпеливо кивал:

— Коробочкообразующие травы, не колокольчатые, и ягодоносные вечнозелёные кустарники. Каким-то образом они затесались среди желудеоносных и орехоносных деревьев.

— Так философский язык — своего рода ботанический…

— Гляньте на меня — я содрогаюсь! Содрогаюсь от одной *мысли*. Даниель, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. Здесь — классификация хворей: от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до ипохондрической болезни, заворота кишок и удушья.

— Удушье — хворь?

— Превосходный вопрос. За дело — и разрешите его! — прогремел Уилкинс.

Даниель тем временем поднял с пола ещё листок.

— «Палка, женило, ствол…»

— Синонимы слов «срамной уд», — нетерпеливо произнёс Уилкинс.

— «Побирушка, голоштанник, христарадник…»

— Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро, Даниель, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?

— Я бы сказал, да, но…

— С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс?

— Я… я не знаю, доктор!

— Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.

— Который Завета? Или…

— Другой.

— А он здесь при чём?

— Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать клас-

сификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При том птичьи термины не должны походить на рыбьи.

— Замысел представляется мне… э… дерзким.

— Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Моё — *наше* — дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери — так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый — двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые *континентальные* учёные, склонные к *афеизму*, могут *злоупотребить* моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в

Книге Бытия, якобы не могли произойти.

— Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас — как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс.

— Истинные слова, Даниель! Посему совершенно необходимо приложить, отдельной главою, полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники.

— Ещё нужна была пресная вода, — задумчиво произнёс Даниель.

Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, схватил кипу бумаг и огрел Даниеля по голове.

— Читайте Библию, неуч! Дождь шёл без остановки!

— Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду, — проговорил совершенно раздавленный Даниель.

— Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой «локоть», — заговорщицки поведал Уилкинс, — но, я думаю, Ною должно было хватить

восьмисот двадцати пяти овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников.

— Овцы занимали целую палубу?!

— Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт — представьте, какая это работа! Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка. А вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям.

— Сэр!

— Не задевает ли вас, Даниель, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха», «праздный бездельник» или «льстивый угодник»?

— Смотря кто кого так обозвал…

— Попробую проще: «развратная шлюха».

— Это тавтология, и потому оскорбляет просвещённый слух.

— «Безмозглый фат».

— Тоже тавтология, как «льстивый угодник» и всё прочее.

— Итак, очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена прилагательные и существительные для подобных понятий.

— Как вам «грязный неряха»?

— Превосходно! Запишите это, Даниель!

— «Беспутный повеса», «язвительный зубоскал», «вероломный предатель»…

Покуда Даниель продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниеля, подвёл того к чистому листу.

Итак, за работу. В несколько коротких часов Даниель исчерпал оскорбительные выражения и перешёл к добродетелям (умственным, естественным и христианским), цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям (например, плотничеству, шитью, алхимии) и так далее. Дни проходили за днями. Уилкинсу надоедало, когда Даниель (или кто-нибудь ещё) слишком много работает, поэтому они часто устраивали «семинары» и «симпозиумы» на кухне — варили флип из мёда, которым учёных исправно снабжал готический апиарий Рена. Чарльз Комсток, пятнадцатилетний сын их высокородного хозяина, заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма Королевскому обществу от Гюйгенса, Левенгука, Сваммердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия,

и Даниелю приходилось втискивать их в таблицы философского языка.

Даниель прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть (акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее), когда Уилкинс срочно позвал его вниз. Даниель спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол: скатывает в рулоны чертежи Ковчега и расписания кормлений для восьмисот двадцати пяти овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божьей король Англии, прислал им письмо. Его величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьёв, и любопытствовал, как такое возможно.

Даниель сбегал и разорил муравейник. Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю — не содержательную часть (ответа они пока не знали), а долгие вступительные абзацы обильной лести. «Сияние Вашего ума озаряет чертоги, дотоле… э… прозябавшие в… э…»

— Звучит скорее как намёк на Короля-Солнце, — предупредил Чарльз.

— Так вымарывай! Умён, хвалю. Теперь читай ещё раз, что получилось.

Даниель замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниеля внутрь и указал на заляпанный стол, расчищенный для работы. Даниель вошёл, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался.

Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечёвкой. Даниель не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, в июне, примерно тогда же, когда Исаак с Даниелем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам.

Сейчас Гук смотрел на кучу копошащейся грязи. Взгляд его всегда был устремлён в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это казалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища, устанавливали оборонительный периметр. Даниель стоял напротив и смотрел туда же,

куда и Гук, однако явно видел не то же самое.

Через две минуты Даниель разглядел всё, что мог, через пять ему стало скучно, через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьёв, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом: осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой «моча Уилкинса», осколки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жало». В углу валялись ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты: если дать Гуку бритву, он скорее положит её под микроскоп, чем побреется.

Ожидание затягивалось, и Даниель решил, что может с тем же успехом пополнить своё образование. Он осторожно потянулся к груде колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошёл к столу, на который падал яркий свет из окна (Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении). Здесь, на подставке, размещалась трубка размером со свёрнутый лист писчей бумаги, с линзой наверху, чтобы смотреть, и другой, совсем маленькой, не

больше куриного глаза, внизу, над ярко освещённым предметным столиком. Даниель положил на него иглу и заглянул в окуляр.

Он ожидал увидеть блестящий зеркальный стержень, но увидел изъеденную дубинку. Острие походило на кучу шлака.

— Мистер Уотерхауз, — сказал Гук, — когда вы закончите, чем там занимаетесь, я хотел бы справиться с моим верным Меркурием.

Даниель обернулся. В первый миг он подумал, что Гук просит принести ртуть (которую время от времени пил как средство от мигрени, головокружений и прочих недомоганий). Однако огромные глаза Гука были устремлены на микроскоп.

— Разумеется! — воскликнул Даниель. Меркурий, вестник богов, податель знания.

— И что вы теперь думаете об иголках? — спросил Гук.

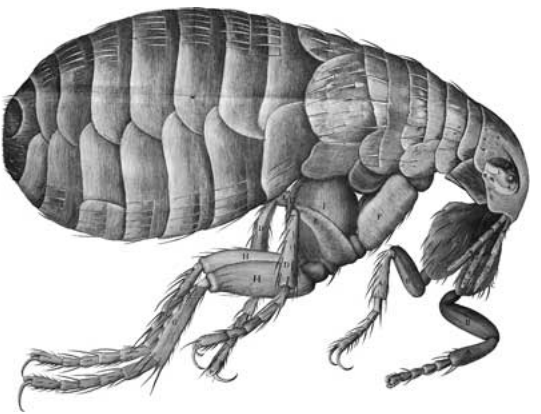
Даниель взял иглу и подошёл к окну, глядя на неё в совершенно новом свете.

— Она показалась мне почти отталкивающей, — ответил он.

— Бритва ещё хуже. Формы любые, кроме желаемой, — сказал Гук. — Вот почему я больше не смотрю в микроскоп на изделия человеческих рук — грубость и неумелость искусства терзает

взор. То же, что должно, казалось бы, отвращать, при увеличении оказывается прекрасным. Можете взглянуть на мои рисунки, пока я буду удовлетворять любознательность короля.

Гук указал на кипу бумаг, а сам понёс муравьиное яйцо под микроскоп. Даниель принялся перебирать рисунки.



— Сэр, я и не знал, что вы художник, — сказал он.

— Когда умер мой отец, меня отдали в ученье к живописцу.

— Ваш наставник хорошо вас научил.

— Этот осёл не научил меня *ничему*. Всякий,

если он не полный болван, может научиться рисовать, просто глядя на картины. Так зачем идти в подмастерья?

— Ваша блоха — великолепнейшее творение…

— Это не искусство, а лишь более высокая форма пачкотни, — возразил Гук. — Когда я смотрел на блоху под микроскопом, я видел в её глазу полное и совершенное отражение садов и усадьбы — розы на кустах, колыхание занавесей на окнах.

— По мне, рисунок прекрасен, — произнёс Даниель. Он говорил от души — не пытаясь быть льстивым угодником или хитрым пройдохой.

Однако Гук только рассердился:

— Скажу вам ещё раз. Истинную красоту нужно искать в природе. Чем сильнее мы увеличиваем, чем пристальнее вглядываемся в творения искусства, тем грубее и глупее они кажутся. Когда же мы увеличиваем естественный мир, он становится лишь сложнее и превосходнее.

Уилкинс спрашивал Даниеля, что тот предпочитает: стеклянный улей Рена или пчелиные соты внутри. Потом предупредил, что подходит Гук. Теперь Даниель понял почему: для Гука существовал только один ответ.

— Склоняюсь перед вашим мнением, сэр.

— Спасибо, сэр.

— Не желая показаться каверзным иезуитом, всё же спрошу: моча Уилкинса — творение Природы или искусства?

— Вы видели склянку.

— Да.

— Если взять мочу преподобного, слить жидкость и посмотреть осадок под микроскопом, вам предстанет груда самоцветов, от которых лишился бы чувств Великий Могол. При малом увеличении она кажется кучкой щебня, но, если взять линзы помощнее и получше осветить, вы узрите гору кристаллов — пластинок, ромбоидов, прямоугольников, квадратов, — белых, жёлтых и красных, сверкающих подобно алмазам на перстне царедворца.

— И такова же моча всех остальных людей?

— Его — в большей мере, чем у большинства, — сказал Гук. — У доктора камень.

— О Господи!

— Пока всё не так плохо, но камень увеличивается и через несколько лет сведёт его в могилу, — сказал Гук.

— И камень в мочевом пузыре состоит из тех же кристаллов, что вы видели в моче?

— Полагаю, да.

— Есть ли способ…

— Растворить их? Купоросное масло[18] растворяет — но не думаю, что преподобный согласится влить его в свой мочевой пузырь. Никто не препятствует вам провести собственные изыскания. Всё *очевидное* я уже перепробовал.

Пришла весть, что умер Ферма, оставив после себя недоказанную теорему-другую. Король испанский Филипп тоже умер, и на трон вступил его сын; однако молодой Карл II был таким болезненным, что ему давали срок от силы до конца года. Португалия обрела независимость. В Польше некий князь Любомирский поднял мятеж.

Джон Уилкинс пытался улучшить конные экипажи; чтобы их испытать, он подвешивал над колодцем груз, который, опускаясь, тянул за собой повозку. Скорость измеряли при помощи Гуковых часов. Обязанность эта лежала на Чарльзе Комстоке; он проводил на лугу целые дни, засекая время или чиня сломанные колёса. Слугам его отца надо было набирать воду, поэтому Чарльза частенько просили убрать помехи

[18] Примечания: 18

Концентрированная серная кислота. Название происходит от старого способа получения — прокаливанием железного купороса или так называемого купоросного камня, а также от консистенции, напоминающей растительное масло.

от колодца. Даниель забавлялся этим зрелищем через окно, составляя список казней.

КАЗНИ СМЕРТНЫЯ

СИРЕЧЬ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЛИШЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЖИЗНИ ЗАКОННЫМ ПУТЁМ, КАКОВЫЕ У НЕКОТОРЫХ НАРОДОВ СУТЬ ИЛИ БЫЛИ ЛИБО ПРОСТЫМИ, ЧЕРЕЗ

Отделение членов, как то:

головы от тела: ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ, отсечение головы

членов от членов: ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, разрубание на части

Нанесение ран с расстояния, либо

рукой: ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ

посредством орудия, такого как ружьё, лук и проч.: РАССТРЕЛИВАНИЕ

с близи, посредством веса, как то:

чего-либо другого: РАЗДАВЛИВАНИЕ

собственного: СБРАСЫВАНИЕ С ВЫСОКОГО МЕСТА, ИЗ ОКНА

орудия, как то:

в любом направлении: ЗАКОЛАНИЕ

снизу вверх: НАСАЖИВАНИЕ НА КОЛ

Оставлением без пищи либо даванием чего-либо вредного

УМАРИВАНИЕ ГОЛОДОМ

ОТРАВЛЕНИЕ, отрава, яд

Преграждением доступа воздуха

через рот

в воздухе: УДУШЕНИЕ

в земле: ПОГРЕБЕНИЕ ЗАЖИВО

в воде: УТОПЛЕНИЕ

в огне: СОЖЖЕНИЕ

через горло

весом собственного тела казнимого: ПОВЕШЕНИЕ

усилиями других: УДАВЛИВАНИЕ, удушение

СОВМЕСТНЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ РАН И ЛИШЕНИЕМ ПИЩИ, ПРИ КОТОРОМ ТЕЛО

расположено вертикально: *РАСПЯТИЕ*

лежит на колесе: *КОЛЕСОВАНИЕ*

КАЗНИ (НАКАЗАНИЯ) НЕСМЕРТНЫЯ

РАЗЛИЧАЕМЫЕ ПО ТОМУ,

ЧЕМУ В НИХ НАНОСИТСЯ УРОН, как то: ТЕЛУ

по общему *названию, означающему сильную боль: ИСТЯЗАНИЕ, мученье*

по родам:

посредством ударов:

гибким орудием: ПОРКА, бичевание, стегание, хлестание, кнут, лоза, плеть, прут, розга, хлыст

твёрдым орудием: БИТЬЁ ДУБИНОЙ, бастона-

до, заушение, палка, трость

посредством сильного растяжения членов: *ДЫБА*

СВОБОДЕ, КОТОРОЙ НАКАЗУЕМЫЙ ЛИШАЕТСЯ ПУТЁМ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

внутри

места: ЗАТОЧЕНИЕ, заключение под стражу, застенок, каземат, острог, темница, тюрьма, узилище

орудий: УЗЫ, вервия, кандалы ножные и ручные, колодки, цепи, оковы, путы

из *места либо страны, как то:*

в любую другую: *ИЗГНАНИЕ, высылка, остракизм*

в определённое место: *ССЫЛКА*

РЕПУТАЦИИ, КАК ТО:

более мягко: *УНИЖЕНИЕ, позорный столб*

более сурово, путём прижигания калёным железом: *КЛЕЙМЕНИЕ*

СОСТОЯНИЮ, КАК ТО:

частично: *ШТРАФ, взыскание, пеня*

целиком: *КОНФИСКАЦИЯ, изъятие*

ДОСТОИНСТВУ И ВЛАСТИ

отрешением

от должности или сана: *РАЗЖАЛОВАНИЕ, от-*

ставка, увольнение, запрещение в служении, смещение, свержение, низложение

поражением

в правах: *ЛИШЕНИЕ ДЕЕ(ПРАВО)СПОСОБНОСТИ, гражданских прав и привилегий.*

Покуда Даниель бичевал, истязал и вздёргивал на дыбу свой мозг, силясь придумать казнь, которую они с Уилкинсом ещё не вспомнили, он услышал, как Гук на первом этаже высекает огонь кремнём об огниво, и пошёл узнать, что там происходит.

Гук высекал искры над листом бумаги.

— Отмечайте, куда они падают, — распорядился он.

Даниель взял перо, склонился над бумагой и принялся обводить те места, куда падали особенно большие искры. Потом они осмотрели бумагу под микроскопом и обнаружили в центре каждого кружка более или менее правильную сферу, по всей видимости стальную.

— Вы видите, что алхимическая концепция жара нелепа, — сказал Гук. — Нет никакой стихии огня. Жар — всего лишь краткое возбуждение частиц тела. Ударьте камнем о сталь посильнее — отлетит кусочек стали…

— И будет искрой?

— Да.

— Но почему искра светится?

— Сила удара возбуждает её частицы столь сильно, что сталь плавится.

— Да, но коли ваша гипотеза верна — коли нет стихии огня, лишь движение частиц, — то почему раскалённая материя излучает свет?

— Думаю, что свет — это колебания. Если частицы движутся достаточно сильно, они испускают свет, как вибрирующий от удара колокол издаёт звук.

Даниель думал, что разговор окончен, пока однажды не пошёл с Гуком к реке ловить водных насекомых. Они присели на корточки у того места, где ручей, переливаясь через камень, стекал в озерцо. Пузырьки воздуха, затянутые струями под воду, всплывали на поверхность: мириады крошечных сфер. Гук заметил это, задумался и через несколько минут сказал:

— Планеты и звёзды сферичны потому же, почему искры и пузыри.

— Что?!

— Жидкое тело, окружённое другой жидкостью, принимает сферическую форму. Так, воздух, окружённый водой, принимает форму сферы, которую мы зовём пузырьком. Капелька расплавленной

стали, окружённая воздухом, принимает форму сферы, которую мы зовём искрой. Земной расплав, окружённый небесным эфиром, принимает форму сферы, которую мы называем планетой.

По пути назад, когда они смотрели на ущербную луну, Гук сказал:

— Если бы мы получили искру или вспышку столь яркую, что она отразилась бы от затенённой стороны Луны, то измерили бы скорость света.

— Если делать это при помощи пороха, — задумчиво произнёс Даниель, — Джон Комсток охотно поддержит эксперимент.

Гук, обернувшись, несколько мгновений холодно созерцал его, словно пытаясь определить, состоит ли и Даниель из клеток, потом изрёк:

— Вы мыслите как придворный.

В этих словах не было ни досады, ни осуждения, только констатация факта.

> Главным назначением вышепомянутого клуба было распространять новые причуды, способствовать механическим экзерсисам и проводить опыты как полезные, так и совершенно никчёмные. Дабы исполнить сие достойное начинание, всякого спятившего художника

либо аптекаря, всякого сумасбродного прожектёра, которому пришла в голову какая-либо блажь или вздумалось, будто он совершил некое чудно́е открытие, встречали с распростёртыми объятиями и радостно принимали в общество, где члены почитались не за родовитость, а за проникновение в тайны природы либо за новшества, ими изобретённые, пусть даже самые распустячные. Итак, безумец, дни и ночи корпящий над горном в поисках Философского камня, или полоумный врач, растративший отцовское наследство в тщетных попытках получить панацею, *Sal Graminis*[19], из жжёной соломы, были здесь в изрядной чести, как и те механикусы из числа знатных особ, что дни напролёт просиживают на чердаках, обтачивая слоновью кость, покуда их благоверные при помощи кузенов добывают мужьям рога.

Нед Уорд, «Клуб любознатца»

Листья желтели, в Лондоне чума свирепствова-

---

[19] Примечания: 19
Травяная соль (*лат.*).

ла пуще прежнего. В одну неделю умерло восемь тысяч человек. Неподалёку, в Эпсоме, Уилкинс покончил с Ковчегом и начал составлять для философского языка грамматику и систему письма. Даниель закончил кое-какую мелочовку, а именно — предметы, до морского дела относящиеся: ванты и выбленки, бейфуты и бык-гордени, кнехты и кабаляринги. Мысли его рассеивались.

Снизу доносилось странное треньканье, словно кто-то бесконечно настраивает лютню. Даниель спустился и увидел, что Гук дёргает струну, натянутую на деревянный ящик, а из уха у него торчит перо. Гуку случалось заниматься и более странными вещами, поэтому Даниель, ничуть не удивясь, вернулся к работе: поискам состава, который растворил бы мочевой гравий Уилкинса. Гук по-прежнему тренькал и гудел. Наконец Даниель не выдержал и пошёл выяснять, чем тот занят.

На пере, торчащем из Гукова уха, сидел овод. Даниель попытался его согнать. Насекомое дёрнулось, но не взлетело. Всмотревшись, Даниель понял, что оно приклеено.

— Давайте ещё раз, это меняет тон, — потребовал Гук.

— Вы слышите трепетание крылышек?

— Оно звучит на одной определённой ноте. Если я настраиваю струну — *трень, трень* — на ту же ноту, то, значит, крылышки и струна колеблются с одной частотой. Мне известно, как определить частоту колебаний струны, следовательно, я знаю, сколько раз за секунду трепещут крылышки овода. Полезно знать для строительства летающей машины.

От осенних дождей поле развезло, и опыты с колясками пришлось оставить. Чарльзу Комстоку следовало искать другое занятие. Он недавно поступил в Кембридж, но университет закрылся на время чумы. Уилкинс должен был учить его натурфилософии за то, что живёт в Эпсоме, однако учёба состояла по большей части в чёрной работе, которая требовалась для различных опытов Уилкинса. Теперь, когда погода испортилась, опыты по большей части переместились в подвал коттеджа. Уилкинс посадил жабу в стеклянную банку и морил голодом, проверяя, выведутся ли из неё новые жабы. Ещё был карп, который жил без воды; его кормили размоченным хлебом, а Чарльз должен был несколько раз в день смачивать рыбине плавники. Королевский вопрос про муравьёв подвиг Уилкинса на опыт, который тот давно собирался поставить; теперь в подва-

ле между голодной жабой и карпом появилась личинка размером с человеческую ляжку; её надлежало кормить тухлым мясом и раз в день взвешивать. Личинка начала приванивать, и её переместили в сарай, где Уилкинс ставил опыты по зарождению мух, червей и прочая в испорченном мясе, сыре и других субстанциях. Все знали или думали, будто знают, что это происходит самопроизвольно. Гук, разглядывая под микроскопом нижнюю сторону некоторых листьев, обнаружил на них точечки, которые затем развились в насекомых, а в воде — крохотные комариные яйца. Это навело его на мысль, что в воздухе и в воде полно невидимых глазу зародышей и семян, которые начинают развиваться, попав на что-нибудь мягкое и гниющее.

Время от времени повозке или карете разрешали проехать в ворота и к господскому дому. С одной стороны, приятно было сознавать, что в Англии остался кто-то живой, с другой стороны…

— Что за безумец разъезжает в разгар чумы, — спросил Даниель, — и зачем Джон Комсток пускает его в дом? Этот шаромыжник всех нас перезаразит.

— Джону Комстоку так же невозможно обойтись без встреч с этим человеком, как и воз-

держаться от воздуха, — отвечал Уилкинс, с безопасного расстояния наблюдая за каретой в подзорную трубу. — Это денежный поверенный.

Даниель никогда прежде не слышал такого слова.

— Я покамест не дошёл до того места таблиц, где определяется «денежный поверенный». Он делает то же, что златокузнец?

— Куёт золото? Нет.

— Разумеется, нет. Я о том, чем златокузнецы занялись в последнее время — оборотом бумаг, которые служат взамен денег.

— Такой человек, как граф Эпсомский, не допустил бы златокузнеца и на милю к своему дому! — возмущённо проговорил Уилкинс. — Денежный поверенный — совершенно другое дело! Хоть и делает примерно то же самое.

— Не растолкуете ли попонятней? — спросил Даниель, но тут Гук из другой комнаты крикнул:

— Даниель! Раздобудьте пушку!

В другом месте исполнить эту просьбу было бы весьма затруднительно. Однако они жили в поместье человека, который производил порох и снабжал короля Карла II значительной частью вооружений. Поэтому Даниель пошёл и завербовал его сына, юного Чарльза Комстока,

а тот, в свою очередь, рекрутировал отряд слуг и несколько лошадей. Они вытащили полевое орудие из личного хозяйского арсенала на поле перед коттеджем. Тем временем Гук распорядился привести из города некоего слугу, глухого, как пень, и велел ему стать в ярде от пушки (правда, сбоку!). Чарльз умело зарядил пушку лучшим отцовским порохом, вставил в запальное отверстие фитиль, поджёг его и отбежал. Результатом стало внезапное сильное сжатие воздуха, которое, по расчётам Гука, должно было проникнуть в череп слуги и выбить скрытую преграду, ставшую причиной глухоты. В усадьбе Джона Комстока вылетели несколько стёкол, что подтвердило правильность исходной посылки. Глухого, правда, исцелить не удалось.

— Как вам известно, сейчас в моем доме проживает немало людей из города, — сказал Джон Комсток, граф Эпсомский и лорд-канцлер Англии.

Он вошёл внезапно и без предупреждения. Уилкинс и Гук наперебой пытались докричаться до глухого и понять, слышит ли тот хоть что-нибудь. Даниель первым заметил посетителя и присоединился к общему ору:

— Простите! Господа! ПРЕПОДОБНЫЙ

УИЛКИНС!

После недолго замешательства, смущения и торопливых вежливых фраз, Уилкинс и Комсток уселись за стол с бокалами кларета. Гук, Уотерхауз и глухой слуга тем временем подпирали спинами ближайшую стену.

Комстоку было под шестьдесят. У себя в усадьбе он обходился без париков и прочего придворного фатовства; его седые волосы были заплетены в косицу, а плечи облекал простой охотничий наряд.

— В год моего рождения основали Джемстаун, пилигримы бежали в Лейден и началась работа над Библией короля Якова. Я пережил различные лондонские бунты и беспорядки, моровые поветрия и Пороховые заговоры. Я спасался из горящих зданий. Был ранен при Ньюарке и с определёнными тяготами достиг Парижа. И то было не последнее моё сражение, на суше или на море. Я присутствовал при коронации его величества в Сконе, в изгнании, и при его торжественном вступлении в Лондон. Я убивал людей. Всё это вам известно, доктор Уилкинс. Я говорю не из хвастовства, но чтобы подчеркнуть: *живи я уединённо* в большом доме, вы могли бы устраивать канонады и взрывы в любой час дня или ночи, без предупреждения, или сложить груду

тухлого мяса в пять саженей высотой под окнами моей спальни — *нимало меня тем не обеспокоив*. Однако сейчас в моем доме проживает множество знатных персон. Часть из них — *королевской* крови. Многие принадлежат к *слабому полу*, а некоторые ещё и *малы летами*. Две из них — всё разом.

— Милорд! — вскричал Уилкинс.

Даниель внимательно наблюдал за преподобным — да и кто бы не наблюдал на его месте? Когда такой человек, как Комсток, распекает такого человека, как Уилкинс, это почище медвежьей травли в Саутуарке. До сей минуты Уилкинс изображал стыд, причём очень правдоподобно. Сейчас он по-настоящему устыдился.

Две из них — всё разом. Что бы это могло означать? Кто разом королевского рода, принадлежит к слабому полу и мал летами? У Карла II дочерей нет, по крайней мере законных. Елизавета, Зимняя королева, наплодила великое множество принцев и принцесс, но вряд ли бы кто-нибудь из них собрался в чумную Англию.

Комсток продолжал:

— Эти особы прибыли сюда в поисках убежища, они напуганы чумой и прочими ужасами, в том числе угрозой голландского вторжения.

Сильное сжатие воздуха, которое мы с вами можем считать возможным средством от глухоты, воспринимается ими совершенно иначе.

Уилкинс ответил что-то страшно умное и уместное, а в последующие несколько дней усиленно извинялся и раболепствовал перед каждой благородной особой, чьи слух и обоняние оскорбили недавние опыты. Гуку он велел мастерить заводные игрушки для августейших девочек. Тем временем Даниель и Чарльз Комсток должны были свернуть все дурнопахнущие эксперименты, достойно похоронить останки и вообще навести вокруг чистоту.

Даниелю пришлось несколько дней смотреть из-за забора на щёголей и щеголих, разбирать гербы на каретах и копаться в генеалогиях различных семейств, чтобы дойти до того, что Уилкинс понял с полуслова и полудвижения брови их высокородного хозяина.

Рядом с домом Комстока был разбит регулярный сад, куда по понятным причинам натурфилософов не пускали. Там прогуливались особы, расфранчённые на французский лад. Само по себе это было непримечательно: для некоторых людей прохаживаться по саду — такая же каждодневная работа, как для конюхов — выгребать

навоз. Издали они все были на одно лицо, по крайней мере для Даниеля. Уилкинс, более искушённый в придворной жизни, время от времени смотрел на них в подзорную трубу. Подобно тому как мореходец, чтобы сориентироваться в ночи, первым делом отыскивает Большую Медведицу, самое большое и яркое из созвездий, так и доктор Уилкинс для начала направлял стекло на одну определённую даму, что было несложно, поскольку она в обхвате вдвое превосходила остальных. Много фарлонгов разноцветных тканей пошло на её юбки, заметные издали, как французский полковой штандарт. Время от времени из дома выходил светловолосый господин и прогуливался с нею, словно луна, сопутствующая планете на небесных путях. Издали он казался Даниелю похожим на Исаака.

Даниель не знал, кто это, и боялся спросить, стыдясь своего невежества. Но однажды из Лондона прибыли кареты, из которых вышли несколько господ в адмиральских шляпах. Все сразу подошли к тому самому человеку, хотя прежде сняли шляпы и склонились в низком поклоне.

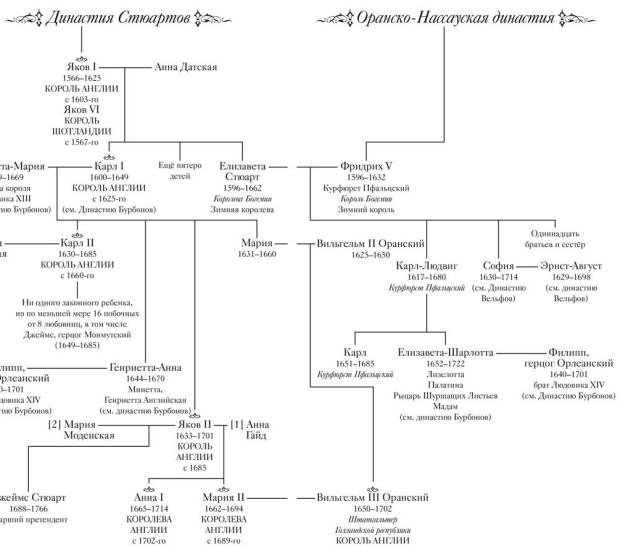
— Этот светловолосый, что гуляет по саду под руку с Большой Медведицей, уж не герцог ли Йоркский?

— Он самый, — отвечал Уилкинс.

Он смотрел, затаив дыхание; на широко открытом глазу, устремлённом в окуляр, лежали зеленоватые отсветы.

— И Верховный адмирал, — продолжал Даниель.

— У него много титулов, — ровным и спокойным тоном произнёс Уилкинс.



— Так эти в шляпах…

— Адмиралтейство, — коротко ответил Уилкинс, — или некая его часть.

Он отпрянул от трубы. Даниелю подумалось, что доктор приглашает его взглянуть, но нет: Уилкинс снял трубу с развилки дерева и сложил. Вероятно, Даниель увидел то, чего, по мнению Уилкинса, ему видеть не подобало.

Англия воевала с Голландией. Из-за чумы война поутихла, и Даниель начисто про неё забыл. Сейчас стояла зима. С наступлением холодов эпидемия пошла на убыль. Военные действия на море могли возобновиться не раньше весны, однако планировать кампанию следовало сейчас. Не удивительно, что Адмиралтейство прибыло на встречу с Верховным адмиралом, — удивительнее ему было бы не прибыть. Изумляло другое — какая Уилкинсу печаль, если он, Даниель, что-то увидел. Реставрация и вавилонское пленение в Кембридже убедили его в полном собственном ничтожестве, за исключением разве что области натурфилософской; впрочем, с каждым днём становилось всё яснее, что и здесь он полнейший ноль в сравнении с Гуком и Реном. Велика ли важность, если Даниель приметил флотилию адмиралов и заключил, что у Джона Комстока

нашёл приют Джеймс, герцог Йоркский, брат Карла II и ближайший наследник трона?

Должно быть (заключил Даниель, шагая по облетевшему саду рядом с хмурым Уилкинсом), дело в том, что он сын Дрейка. И хотя Дрейк — бывший застрельщик разгромленной и униженной секты — безвылазно сидит у себя дома, *кто-то* по-прежнему его опасается.

А коли не самого Дрейка, то его секты.

Однако секта распалась на тысячи клик и группировок. Кромвель в могиле, Дрейк стар, Грегори Болструд казнён, его сын Нотт бежал на чужбину…

Остаётся одно. Они страшатся *Даниеля*.

— Что вас так насмешило? — спросил Уилкинс.

— Люди, — отвечал Даниель, — и то, что порою происходит у них в голове.

— Полагаю, вы это не обо мне?!

— Полноте, я не стал бы насмехаться над вышестоящими.

— И кто же, позвольте спросить, в этом поместье не выше вас?

Вопрос был трудный, и Даниель не ответил. Уилкинса его молчание, кажется, встревожило ещё больше.

— Я забыл, что вы фанатик по рождению и

воспитанию.

Что значило: «Вы не признаёте никого над собой, ведь так?»

— Напротив, я вижу, что вы *никогда* этого не забудете.

Однако мысли Уилкинса уже приняли новый оборот. Словно адмирал, лавирующий против ветра, он произвёл некий ловкий манёвр и после мгновенного замешательства лёг на совершенно другой галс.

— Дама, которую вы видели, прежде звалась Анна Гайд. Она близкая родственница Комстока, то есть далёко не из простых. Однако недостаточно родовита для супруги герцога Йоркского. И всё же чересчур знатна, чтобы сбыть её с рук в какой-нибудь европейский монастырь, да и слишком тучна для столь дальнего путешествия. Она родила ему двух дочерей: Марию, затем Анну. Герцог в конце концов с нею обвенчался, хоть и не без труда. Поскольку Мария или Анна могут со временем унаследовать трон, этот брак стал вопросом государственной важности. Многих придворных уговорами, деньгами или угрозами заставили поклясться на стопке Библий, что они имели Анну Гайд сверху и снизу, на Британских островах и во Франции, в Нидерландах и на Шот-

ландских нагорьях, в городах и весях, на кораблях и во дворцах, в постелях и в подвесных койках, в кустах, на клумбах, в отхожих местах и на чердаках, имели её пьяной и трезвой, поодиночке или всем скопом, сзади, спереди и с обоих боков, днём, ночью, во все фазы Луны и под всеми знаками Зодиака, а кроме того, доподлинно знают, что всё остальное время несчётное количество кузнецов, бродяг, французских жиголо, иезуитов, комедиантов, цирюльников и шорников предавались с ней подобным утехам. Тем не менее герцог Йоркский взял её за себя и запер в Сент-Джеймском дворце, где она разжирела, как некое энтомологическое диво в нашем подвале.

Разумеется, Даниель слышал много подобного дома — от людей, ищущих милости у Дрейка, отчего возникло странное впечатление, будто Уилкинс заискивает перед *ним*. Безусловно, совершенно ложное, поскольку Даниель не обладал ни властью, ни влиянием, ни перспективой когда-нибудь их заполучить.

Более правдоподобным представлялось другое объяснение: Уилкинс не боится Даниеля, а жалеет и пытается оградить от лишних опасностей, обучая, как жить в свете.

Если так, Даниелю следовало по меньшей мере

усвоить урок, который Уилкинс пытался ему преподать. Принцессам Марии и Анне шёл соответственно четвёртый и второй год. Поскольку их мать — родственница Джона Комстока, им было естественно укрыться в его доме. Что объясняло слова графа: «Две из них — всё разом». Королевского рода, женского пола и малолетки.

Из-за тягостных ограничений, которые наложил на учёные изыскания хозяин поместья, пришлось провести длительный симпозиум на кухне. Уилкинс и Гук диктовали, а Даниель постепенно слабеющей рукой вёл перечень опытов не шумных и не вонючих, но (с каждым часом) всё более причудливых. Гук поручил Даниелю чинить «сжимательную машину» — цилиндр с поршнем для сжатия и разрежения воздуха. Он считал, что воздух содержит некую субстанцию, поддерживающую жизнь и огонь; когда субстанция исчерпывается, они угасают. По этому поводу провели целый ряд опытов. В закупоренную стеклянную банку поместили мышь и горящую свечу и стали смотреть, что будет (свеча прожила дольше). Потом взяли большой бычий пузырь и, поднося его ко рту, поочерёдно дышали одним и тем же воздухом. Гук при помощи своей машины откачал воздух из стеклянного сосуда и заставил

маятник качаться в вакууме, а Чарльза — считать колебания. В первую же ясную зимнюю ночь Гук вынес на улицу телескоп и стал наблюдать Марс; он обнаружил на поверхности планеты тёмные и светлые пятна, и с тех пор принялся следить за их смещением, чтобы определить длину марсианских суток. Он засадил Даниеля и Чарльза за шлифовку более мощных линз, а заодно выписал новые у Спинозы из Амстердама; потом все по очереди высматривали всё более мелкие детали лунной поверхности. И снова Гук видел то, чего не видел Даниель.

— Луна, как и Земля, обладает притяжением, — сказал он.

— Почему вы так решили?

— Горы и долины имеют устоявшуюся форму — какими бы зубчатыми они ни были, на всей планете нет ничего, что бы могло упасть под действием гравитации. Будь у меня линзы помощнее, я бы определил угол естественного откоса и рассчитал силу тяжести на Луне.

— Если Луна притягивает предметы, то должна притягивать и прочие небесные тела, — заметил Даниель*[20].

---

[20] Примечания: 20
Не он первый.

Из Амстердама прибыл длинный свёрток. Даниель вскрыл его, ожидая увидеть очередную подзорную трубу, но обнаружил тонкий прямой рог, покрытый спиральным рисунком.

— Что это? — спросил он Уилкинса.

Доктор оглядел предмет через очки и ответил с лёгкой досадой:

— Рог единорога.

— Но я думал, единорог — сказочное животное.

– *Я* ни одного не видел.

— Тогда откуда, как вы думаете, он взялся?

— Почём я знаю? — отвечал Уилкинс. — Мне известно лишь, что их можно приобрести в Амстердаме.

> Монархи, хоть и сильны ратями, слабы доводами, ибо с колыбели приучены пользоваться своей волей, яко десницей, и разумом, яко шуйцей. Посему, вынужденные принять сражение подобного рода, они оказываются жалкими и ничтожными противниками.
>
> ***Мильтон, предисловие к памфлету «Иконоборец»***

Даниель привык видеть, как герцог Йоркский выезжает на охоту со своими вельможными друзьями, — насколько сын Дрейка мог привыкнуть к такому зрелищу. Раз охотники проехали на расстоянии пущенной стрелы, и он услышал, как герцог обращается к спутнику — *по-французски.* Даниелю захотелось броситься и убить этого француза во французском наряде, которого прочат в английские короли. Он подавил порыв, вспомнив, как голова герцогского отца скатилась с плахи перед Дворцом для приёмов, и подумал про себя: «Ну и чудна́я же семейка!»

Кроме того, он уже не мог воскресить в душе прежней ненависти. Дрейк учил сыновей ненавидеть аристократов, при любом случае указывая на их привилегии. Доводы эти действовали безотказно не только в доме Дрейка, но и в любом другом, где собирались диссиденты, — отсюда Кромвель и всё последующее. Однако Кромвель сделал пуритан сильными, и сейчас Даниель чувствовал, как эта сила, словно самостоятельное живое существо, пытается перейти к *нему*, а следовательно, он тоже пользуется наследственными привилегиями.

Таблицы философского языка были закончены; по мирозданию прошлись частым бреднем, и

теперь всё на небе и на земле оказалось в какой-нибудь из мириадов его ячей. Чтобы определить конкретную вещь, надо было лишь указать её положение в таблицах, выражаемое числами. Уилкинс придумал систему, по которой предметам давалось название; разложив название на слоги, можно было найти ячейку в таблице и узнать, чему оно соответствует.

Уилкинс выпустил всю кровь из большого пса и влил в маленького. Через несколько минут пёсик уже бегал за палкой. Гук собрал часы новой конструкции. Некоторые мелкие детали он рассматривал под микроскопом и попутно обнаружил неведомые мельчайшие существа на тряпье, в которое эти детали были завёрнуты. Он зарисовал их, а потом три дня напролёт пытался подобрать средство против этих существ. Действеннее всего оказался флорентийский яд, который он готовил из табачных листьев.

Приехал сэр Роберт Морэй, растёр кусок единорожьего рога в порошок, насыпал его кольцом и посадил в середину паука. Однако паук постоянно убегал. Морэй объявил, что рог поддельный.

Однажды Уилкинс разбудил Даниеля в самый неурочный час, и они вдвоём, на возу с сеном, отправились по ночной дороге в эпсомскую

тюрьму.

— Судьба благоволит нашему начинанию, — сказал Уилкинс. — Человека, которого мы собрались вопрошать, приговорили к повешенью. Однако петля сдавила бы интересующие нас органы — некоторые деликатные части горла. На нашу удачу, накануне казни приговорённый умер от кровавого поноса.

— Это будет какое-то дополнение к таблицам? — устало спросил Даниель.

— Не глупите — устройство горла известно давным-давно. Покойник поможет нам с истинным алфавитом.

— На котором будет писаться философский язык?

— Вам отлично это известно. Проснитесь, Даниель!

— Я спросил лишь потому, что вы составили уже несколько истинных алфавитов.

— Более или менее произвольных. Натурфилософ на какой-нибудь другой планете, видя документ, написанный этими значками, решил бы, что читает не философский язык, а «Криптономикон»! Нам нужен *систематический* алфавит, в котором само начертание букв говорило бы об их произношении.

Слова эти вселили в Даниеля нехорошие предчувствия, которые полностью оправдались. К восходу солнца они уже забрали мертвеца из тюрьмы, доставили в коттедж и отрезали ему голову. Чарльза Комстока подняли с постели и велели ему разрезать покойника, дабы попрактиковаться в анатомии (а заодно избавиться от трупа). Тем временем Уилкинс и Гук присоединили большие мехи к дыхательному горлу мертвеца, чтобы пропускать воздух через связки. Даниелю поручили спилить верхнюю часть черепа и удалить мозг, чтобы он мог взяться рукой за нёбо, язык и прочие мягкие части гортани, ответственные за извлечение звуков. Таким образом, действуя все вместе — Даниель выступал в роли своеобразного марионеточника, Гук манипулировал губами и носом, Уилкинс качал мехи, — они заставили мертвеца заговорить. При определённом расположении губ, языка и прочего он произнёс очень отчётливое «О», от которого Даниелю, уже изрядно уставшему, стало чуточку не по себе. Уилкинс нарисовал О-образную букву по форме губ покойника. Эксперимент продолжался *весь день*. Когда кто-нибудь проявлял признаки усталости, Уилкинс напоминал, что голова, с таким трудом раздобытая, не вечна

— как будто они сами этого не понимали. Им удалось извлечь тридцать четыре звука; для каждого Уилкинс придумал букву, схематически изображавшую положение губ, языка и прочего. Наконец голову отдали Чарльзу Комстоку для дальнейших анатомических штудий, а Даниель лёг спать и увидел серию красочных кошмаров.

Наблюдения за Марсом навели Гука на мысли о небесных делах; по этому поводу они с Даниелем как-то утром выехали в фургоне, прихватив с собой ящик инструментов. Опыт, видимо, был важный, потому что Гук самолично уложил приборы и никого не подпустил к ящику. Уилкинс убеждал их воспользоваться исполинским колесом и не докучать Комстоку просьбой о повозке. Уилкинс уверял, что колесо, приводимое в движение молодым и крепким Даниелем Уотерхаузом, может (в теории) легко пересекать поля, болота и даже неглубокие ручьи, так что они прибудут на место по прямой, а не окольными дорогами. Гук предложение отверг и выбрал фургон.

Они несколько часов добирались до некоего колодца, пробитого в сплошном меловом известняке. Уверяли, что глубина его больше трёхсот футов. При виде Гука местные крестьяне предпочли убраться подобру-поздорову; впрочем,

они всё равно ничего полезного не делали, а предавались праздности и пьянству. Гук поручил Даниелю соорудить над колодцем прочную ровную платформу, а сам достал лучшие свои весы и принялся их калибровать. Он объяснил:

— Допустим, гипотезы ради, что планеты удерживаются на орбитах не вихрями эфира, а силою тяготения.

— Да?

— Тогда, прибегнув к математике, мы убедимся, что это возможно лишь в одном случае: если притягательная сила уменьшается с удалением от центра притяжения.

— То есть вес тела уменьшается с подъёмом?

— И увеличивается с опусканием. — Гук выразительно глянул в сторону колодца.

— Ага! Значит, мы должны взвесить что-то на поверхности, а затем… — Даниель в ужасе осёкся.

Гук повернул скрюченную шею и пристально вгляделся в Даниеля. Потом, впервые с начала их знакомства, рассмеялся.

— Вы боитесь, что я предлагаю спустить вас, Даниеля Уотерхауза, на триста футов в колодец, с весами, дабы вы что-то там взвесили? И что верёвка порвётся? — Снова смех. — Подумайте

внимательнее о том, что я сказал.

— Да, конечно… так бы всё равно ничего не вышло, — проговорил глубоко сконфуженный Даниель.

— Почему? — сократически вопросил Гук.

— Мы взвешиваем при помощи гирь, и если на дне колодца предметы и впрямь становятся тяжелее, то ровно на столько же потяжелеют гири, и результат будет прежний, а мы ничего не установим.

— Помогите отмерить мне триста футов верёвки, — уже без улыбки распорядился Гук.

Они отмотали пятьдесят локтей, используя в качестве мерила палку длиной в локоть, и Гук привязал на верёвку тяжёлую медную гирю. Потом он водрузил весы на помост, сооружённый Даниелем, положил на одну чашку гирю вместе с верёвкой и тщательно её взвесил. Казалось, он никогда не закончит, тем более что налетающий время от времени ветерок сильно мешал работе. Часа два они убили на то, чтобы соорудить защитную холщовую ширму. Ещё полчаса Гук, глядя на стрелку весов в увеличительное стекло, подкладывал и убирал с чашки кусочки золотой фольги не тяжелее снежинок. Каждый раз стрелка начинала дрожать и успокаивалась

только через несколько минут. Наконец Гук получил вес гири в фунтах, унциях, гранах и долях грана, а Даниель всё это записал. Затем Гук закрепил свободный конец верёвки в отверстии, которое заранее просверлил в чашке весов, и они с Даниелем, сменяясь, начали опускать гирю в колодец, на несколько дюймов за раз; если бы гиря качнулась, задела стенку и запачкалась мелом, она бы набрала лишний вес и опыт оказался испорчен. Когда они размотали все триста футов, Гук пошёл прогуляться, потому что гиря слегка покачивалась, а вместе с ней и чашка. Наконец она остановилась, и он снова смог взяться за увеличительное стекло и пинцет.

Короче, в тот день у Даниеля было много времени на раздумья. Клетки, паучьи глаза, единорожьи рога, сжатый и разреженный воздух, необычные средства от глухоты, философские языки и летающие повозки были достаточно любопытны, но в последнее время интересы Гука переключились на дела небесные, и мысли Даниеля всё чаще устремлялись к однокашнику. Как доморощенный натурфилософ при дворе какого-нибудь европейского князька изнывает от желания проведать, что делают Уилкинс и Гук, так и Даниелю хотелось знать, чем занят Исаак

в Вулсторпе.

— Вес одинаковый, — провозгласил наконец Гук. — Триста футов глубины не дают *измеримой* разницы.

Это был сигнал разобрать установку и убраться восвояси, чтобы крестьяне снова могли брать из колодца воду.

— Опыт ничего не доказывает, — сказал Гук, когда они в сумерках ехали домой. — Весы недостаточно точны. Однако если поместить маятниковые часы под стеклянный колпак, чтобы не влияли влажность и атмосферное давление… и на долгое время оставить в колодце… то разница в весе маятника проявит себя ускорением или замедлением хода.

— Но как узнать, что часы спешат или отстают? — спросил Даниель. — Их надо проверять по другим часам.

— Или по вращению Земли, — отвечал Гук.

Вопрос Даниеля почему-то привёл его в мрачное настроение, и больше он ничего не сказал, пока, уже за полночь, они не вернулись в Эпсом.

Ночью температура стала опускаться ниже точки замерзания — пришло время градуировать термометры. Даниель, Чарльз и Гук уже несколько недель изготавливали их из длинных,

в ярд, стеклянных трубок, которые заполняли подкрашенным кошенилью спиртом. Однако меток на них не было. В морозные ночи все трое закутывались потеплее, погружали термометры в бак с дистиллированной водой, а потом часами сидели, изредка помешивая воду, и ждали. Если внимательно слушать, можно было различить, как потрескивают, образуясь на поверхности, кристаллики льда; тогда исследователи вставали и алмазом наносили метку на то место трубки, у которого остановилась красная жидкость.

Гук держал на улице квадратик чёрного бархата. Если днём шёл снег, он выносил микроскоп, клал бархат на предметный столик и разглядывал снежинки. Даниель, как и Гук, видел, что ни одна не повторяет другую. И вновь Гук заметил то, что упустил Даниель.

— У каждой конкретной снежинки все лучики одинаковы — почему так происходит? Почему каждый луч не принимает свою, отличную от других форму?

— Должно быть, тут действует некий центральный организующий принцип, но… — произнёс Даниель.

— Это столь очевидно, что незачем было и говорить, — ответил Гук. — Будь у меня линзы

получше, мы могли бы заглянуть в сердцевину снежинки и увидеть организующий принцип в действии.

Через неделю Гук вскрыл собаке грудную клетку и удалил рёбра, обнажив бьющееся сердце, однако лёгкие обмякли и, казалось, уже не работали.

Собака визжала почти как человек. Из дома Джона Комстока пришёл кто-то и низким красивым голосом осведомился, что происходит. Даниель, отупелый и полуслепой от усталости, принял его за мажордома.

— Я всё объясню в записке и присовокуплю извинения, — пробормотал Даниель, оглядываясь в поисках пера и вытирая окровавленные руки о штанины.

— И кому же вы адресуете записку, скажите на милость? — насмешливо проговорил мажордом.

Впрочем, для мажордома он выглядел чересчур молодым; с виду ему было чуть за тридцать. Голова поблёскивала короткой светлой щетиной — явный признак человека, который постоянно носит парик.

— Графу Эпсомскому.

— Почему бы не адресовать её герцогу Йоркскому?

— Хорошо, напишу герцогу.

— Тогда, может быть, обойдётесь без писанины и просто скажете мне, что вы тут, чёрт возьми, вытворяете?

Даниель возмутился было от такой дерзости, но тут, вглядевшись в посетителя, узнал герцога Йоркского.

Он должен был поклониться, однако от неожиданности лишь вздрогнул. Герцог движением руки показал, что принимает такой знак учтивости, а теперь давайте побыстрей к сути.

— Королевское общество, — начал Даниель, выставляя перед собой слово «королевское» как щит, — оживило мёртвую собаку при помощи крови другой собаки, а сейчас исследует искусственное дыхание.

— Мой брат любит ваше Общество, — сказал Джеймс, — вернее, *своё* Общество, коль скоро он объявил его королевским. — (Даниель решил, что герцог объясняет, почему ещё не приказал отстегать их кнутом.) — Меня интересуют звуки. Будут ли они продолжаться всю ночь?

— Напротив, они уже стихли, — заметил Даниель.

Лорд Верховный адмирал вслед за Даниелем прошёл на кухню, где Уилкинс и Гук вставили

собаке в дыхательное горло бронзовую трубку, соединённую с теми же верными мехами, при помощи которых заставили говорить покойника.

— Раздувая мехи, они наполняют и опорожняют лёгкие, чтобы собака не умерла без воздуха, — объяснил Чарльз Комсток после того, как экспериментаторы поклонились герцогу. — Осталось лишь выяснить, как долго можно этим способом поддерживать в собаке жизнь. Мы с мистером Уотерхаузом должны по очереди раздувать мехи, пока мистер Гук не объявит, что эксперимент закончен.

При звуке Даниелевой фамилии герцог бросил на него взгляд.

— Если собака должна страдать во имя ваших исследований, благодарение Небесам, что она делает это тихо, — заметил герцог и повернулся к выходу.

Остальные двинулись было его проводить, но он остановил их словами: «Продолжайте своё занятие». А вот Даниелю Джеймс сказал: «Позвольте вас на одно слово, мистер Уотерхауз», и тот вместе с герцогом вышел на луг, гадая, не вспорют ли ему сейчас живот, как несчастному псу.

Несколько минут назад он преодолел дурацкий порыв: преградить его королевскому высочеству

путь в кухню, дабы уберечь его королевское высочество от жуткого зрелища. Однако он не учёл, что герцог, при своей молодости, побывал во множестве сражений, морских и сухопутных. Какие бы муки ни терпела собака, герцог видел, как много худшее проделывают с *людьми*; в его глазах Королевское общество было не сборищем безжалостных мясников, а горсткой дилетантов. Лишнее доказательство, что Даниель сейчас очень плохо соображал.

Он знал лишь один способ управлять своим поведением — посредством рассудка. Принцев тоже учат мыслить рационально, как учат немного бренчать на лютне и танцевать сносный ричеркар. Однако к действиям их побуждает сила собственной воли, и в конечном счёте они делают что хотят, не оглядываясь на рациональность своих поступков. Даниелю нравилось убеждать себя, что рассудочный подход ведёт к более верному поведению, чем грубая воля; но вот герцог Йоркский увидел их эксперимент и лишь закатил глаза, не узрев ничего для себя нового.

— Мой друг привёз из Франции одну пакость, — объявил его королевское высочество.

Даниель далеко не сразу понял, о чём речь. Он пытался истолковать фразу то так, то эдак, но вне-

запно понимание раскатилось в мозгу, как гром в зарослях. Герцог сказал: «У меня сифилис».

— Какая жалость, — проговорил Даниель, по-прежнему не уверенный, что правильно понял собеседника. Надо было вести себя осторожно и отвечать расплывчато, чтобы разговор не выродился в комедию ошибок с ударом шпагой в финале.

— Некоторые считают, что здесь помогает ртуть.

— Но притом она ядовита, — заметил Даниель.

Это знали все, но Джеймс Стюарт, герцог Йоркский и лорд Верховный адмирал, кажется, счёл, что обратился по адресу.

— Наверняка учёные доктора, занятые искусственным дыханием и тому подобным, ищут и лекарство для таких, как мой друг.

«А также для его жены и детей», — подумал Даниель. Очевидно, Джеймс либо подцепил сифилис от Анны Гайд, либо заразил её, а она, вероятно, передала болезнь дочерям, Марии и Анне. На сегодняшний день старший брат Джеймса, король, так и не сумел произвести на свет ни одного законного ребёнка. Побочных вроде Монмута у него было хоть отбавляй, но никто из них не мог унаследовать трон. Так что пакость, которую

Джеймс привёз из Франции, могла положить конец династии Стюартов.

Из этого вытекал другой занятный вопрос: почему Джеймс, имея под боком целое Королевское общество, обратился к сыну фанатика?

— Дело весьма деликатное, — продолжал герцог, — из тех, что марают честь, если пойдут разговоры.

Даниель перевёл это так: «Только проболтайтесь, и я велю кому-нибудь вызвать вас на дуэль». Впрочем, кто обратит внимание, если сын Дрейка начнёт пачкать имя герцога Йорского? Дрейк пятьдесят лет без остановки обличал распущенность правящего дома в очень похожих словах. Теперь стало ясно, чем руководствовался герцог: если Даниель по недомыслию сболтнёт, что у герцога дурная болезнь, никто не услышит — правда утонет в потоке поношений, которые постоянно изрыгал Дрейк. Впрочем, Даниель и не будет долго болтать: вскоре его найдут на окраине Лондона с множеством глубоких колотых ран.

— Итак, вы дадите мне знать, если Королевское общество набредёт на какое-нибудь лекарство? — спросил Джеймс, поворачиваясь к дому.

— Чтобы вы сообщили о нём своему другу? Всенепременно, — отвечал Даниель.

На этом разговор закончился. Даниель вернулся на кухню узнать, сколько ещё продлится эксперимент.

Ответ: дольше, чем им хотелось бы. К тому времени, как они закончили, первый свет уже сочился в окно, и взгляд понемногу угадывал, что предстанет ему с рассветом. Гук сгорбился в кресле, мрачный, потрясённый, в ужасе от самого себя. Уилкинс подпёр голову окровавленным кулаком.

Они собрались здесь, якобы спасаясь от Чёрной смерти, но на самом деле бежали от своего невежества. Они алкали знаний и набросились на еду, словно голодные бродяги в господском доме, которые тянутся к новым яствам, не переварив и даже не прожевав прежние. Оргия длилась почти год, но теперь, при свете дня, они внезапно очнулись, увидели разбросанные по полу собачьи рёбра, заспиртованные в банках селезёнки и желчные пузыри, редких паразитов, прибитых к дощечкам или приклеенных к стёклышкам, булькающие на огне яды — и внезапно стали себе противны.

Даниель собрал в охапку искромсанного пса, уже не боясь испортить одёжу — её так и так предстояло сжечь, — и вышел на поле к востоку

от коттеджа, где останки подопытных животных сжигали, закапывали или использовали в экспериментах по самозарождению мух. Тем не менее воздух здесь был относительно свеж.

Опустив на землю собачий труп, Даниель обнаружил, что идёт навстречу пылающей звезде, всего в нескольких градусах над горизонтом, которая могла быть только Венерой. Он шёл и шёл, а роса смывала кровь с его башмаков. Рассветные луга мерцали зелёным и розовым.

Исаак прислал ему письмо: «Треб. помощь кас. набл. Венеры. Приезжай, коли сможешь». Тогда Даниель ещё задумался, нет ли тут чего-то завуалированного. Сейчас, стоя на серебряном от росы лугу спиной к дому кровопролития и видя перед собой лишь Утреннюю звезду, он внезапно вспомнил давние слова Исаака о гармонии небесных тел и глаз, которыми мы их наблюдаем. Четыре часа спустя, одолжив лошадь, он уже скакал в Вулсторп.

На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс

ноябрь 1713

Даниель просыпается в беспокойстве. Жевательные мышцы занемели, лоб и виски ломит — видимо, во сне он о чём-то тревожился. Впрочем, лучше тревожиться, чем бояться, как до вчерашнего дня, когда капитан ван Крюйк бросил идею лавировать против штормового ветра и вернулся в более спокойные воды у массачусетского побережья.

Капитан ван Крюйк, возможно, назвал бы это болтанкой или каким другим моряцким эвфемизмом, однако Даниель ушёл к себе в каюту с ведром, чтобы блевать, и пустой бутылкой, чтобы спрятать в неё записки последних дней. Быть может, столетия два спустя какой-нибудь мавр или готтентот вытащит бутылку и прочитает воспоминания доктора Уотерхауза о его знакомстве с Ньютоном и Лейбницем.

Даниель лежит на соломенном тюфяке; палуба юта всего в нескольких дюймах от его глаз. Он научился узнавать шаги капитана ван Крюйка

по доскам у себя над головой. На корабле дурной тон подходить к капитану ближе чем на сажень, поэтому, даже если на юте полно народу, капитанские шаги окружены большим свободным пространством. За те две недели, что «Минерва» лавировала в поисках попутного ветра, Даниель научился угадывать настроения капитана по рисунку и ритму его движений — каждому настроению отвечали определённые фигуры, словно в придворном танце. Ровная широкая поступь означала, что всё хорошо и ван Крюйк просто обозревает свои владения. Когда он наблюдал за погодой, то кружил на месте, а когда брал замеры солнца, то стоял неподвижно, вдавив в палубу каблуки. Однако сегодня утром (Даниель предполагает, что сейчас раннее утро, хотя солнце ещё не встало) ван Крюйк ведёт себя необычно: расхаживает по юту быстрыми сердитыми шагами, на несколько секунд замирая у каждого борта. Чувствуется, что матросы уже проснулись, но они по большей части ещё в кубрике — перешёптываются или занимаются какой-то неслышной работой.

Вчера они вошли в залив Кейп-Код — мелкую бухту, образованную изгибом одноимённого мыса, — переждать северо-восточный ветер,

произвести кое-какие починки и ещё лучше подготовить корабль к зиме. Однако ветер поменялся на северный и теперь грозил выбросить их на песчаные отмели в южной части залива, потому ван Крюйк взял курс на закат и, старательно лавируя между рифами по правому борту и подводными островами по левому, вошёл в Плимутский залив. С наступлением ночи бросили якорь в проливе, хорошо защищённом от ветра, и (как предполагал Даниель) решили дождаться более благоприятной погоды. Ван Крюйк явно нервничал: он удвоил ночную вахту и отправил матросов чистить внушительный корабельный арсенал ручного огнестрельного оружия.

Стёкла в каюте дрожат от далёкого грохота. Даниель скатывается с койки, как четырнадцатилетний мальчишка, и бросается к выходу, держа одну руку впереди, чтобы не размозжить себе голову в темноте. Выбежав на шканцы, он слышит ответную пальбу со всех окрестных склонов и островков, и лишь потом понимает, что это эхо первого взрыва. Будь у него хорошие карманные часы, он мог бы определить расстояние до склонов…

Даппа, первый помощник, сидит возле штурвала по-турецки и разглядывает карты в свете

свечи. Странное место для такого занятия. Над головой у него болтаются на верёвке перья и разноцветные ленты. Даниель думает, что это — племенной фетиш (Даппа — африканец), пока одна из пушинок не отклоняется от дыхания холодного ветерка и не становится ясно, что делает Даппа: пытается определить, каким будет ветер после восхода. Он поднимает ладонь, призывая к молчанию, раньше, чем Даниель успевает открыть рот. Над водой слышатся крики, но далеко — сама «Минерва» тиха, словно корабль-призрак. Подойдя ближе к борту, Даниель видит рассыпанные по воде жёлтые звёзды, которые мигают, скрываясь за волнами.

— Вы ведь не знали, во что влипаете, — замечает Даппа.

— Вам удалось меня заинтриговать — так во что я влип?

— Вы на корабле, капитан которого не вступает ни в какие переговоры с пиратами, — говорит Даппа. — Ненавидит их лютой ненавистью. Прибил флаг к мачте двадцать лет назад, наш ван Крюйк — он скорее сожжёт корабль по ватерлинию, чем отдаст хоть пенни.

— А огни на воде…

— По большей части вельботы, — отвечает

Даппа. — Может быть, барка-другая. С рассветом мы ожидаем увидеть парусники, но до тех пор придётся поспорить с вельботами. Слышали крики, около часа назад?

— Видно, проспал.

— К нам подошёл вельбот на обмотанных тряпьём вёслах. Мы подпустили пиратов поближе — пусть думают, будто мы спим, — и, когда они подошли к борту, уронили на них комету.

— Комету?

— Небольшое ядро, обмотанное промасленным тряпьём и подожжённое. Когда оно падает в лодку, его трудно выбросить за борт. Пока горело, мы успели хорошенько всё рассмотреть: десяток англичан в лодке, и один уже замахнулся абордажным крюком.

— Вы хотите сказать, то были английские колонисты, или…

— Вот это мы, в частности, и хотим выяснить. Отпугнув тех пиратов, мы спустили собственный баркас.

— А взрыв?..

— Граната. Среди нас есть несколько отставных гренадёров…

— Вы бросили в чью-то лодку *гранату?*

— Да, а затем — если всё идёт по намеченному

— наши филиппинцы, бывшие ловцы жемчуга, превосходные пловцы, перелезли через борт с ножами в зубах и перерезали несколько глоток…

— Но это *безумие!* Здесь *Массачусетс!*

Даппа смеётся:

— Истинная правда!

Через час солнце во всей красе встаёт над заливом Кейп-Код. Даниель расхаживает по палубе, пытаясь найти место, где не придётся слушать вопли пиратов. Сейчас рядом с «Минервой» качаются две шлюпки; корабельный баркас, недавно просмолённый и покрашенный, и пиратский вельбот, который явно и до сегодняшнего сражения находился не в лучшей форме. Щепки светлого дерева показывают, где банку взорвало гранатой, на дне плещется кровь. Участники вылазки захватили в плен пятерых уцелевших морских разбойников. Сейчас (судя по звукам) все они в трюме, и двое самых дюжих матросов окунают их головой в грязную воду. Когда пленникам дают наконец глотнуть воздуха, они отчаянно вопят, и Даниелю вспоминаются Уилкинс и Гук с их несчастными псами.

Вулсторп, Линкольншир

Он открывает глубокое и сокровенное; знает, что во мраке, и свет обитает с ним.

Даниил, 2:22

весна 1666

По описаниям Исаака («Свернёшь налево у Граймсторпских развалин») он ожидал увидеть несколько лачуг на краю обветренной кручи, однако Вулсторп оказался самой прелестной английской деревушкой, какую ему только случалось видеть. К северу от Кембриджа тянулась унылая плоская равнина, прорезанная дренажными канавами. За Питерсборо болотистая низменность сменилась зелёными-презелёными лугами, похожими на усеянное овцами оконное стёклышко. Стали появляться редкие сосны, придававшие местности сходство с более северными краями. Ещё через день пути начались холмы; земля здесь была бурая, как кофе, каменистые выступы — белые, как сливки; каменотёсы превратили неправильной формы останцы в груды прямоугольных блоков. Вулсторп производил

впечатление места возвышенного и близкого к небу; деревья вдоль деревенской дороги кривились в одну сторону, наводя на мысль, что в здешних краях не всегда так тихо и безветренно, как в этот весенний день.

Вулсторпская усадьба выглядела непритязательно и формой напоминала жирное Т, обращённое перекладиной к дороге. Как и всё здесь, она была сложена из мягкого светлого камня; крыша сплошь заросла лишайником. Дом стоял на южной, солнечной стороне холма, но строители почему-то разместили в этой стене только два окна, чуть больше бойниц, да чердачное окошко, назначения которого Даниель вначале не понял. Покуда лошадь с трудом ступала по раскисшей весенней дороге, он приметил, что Исаак сполна использовал преимущества южной стены, нацарапав на ней несколько солнечных циферблатов. Вниз с холма тянулись многочисленные амбары и конюшни — признак процветающего хозяйства.

Даниель свернул с дороги. Дом отстоял от неё не больше чем на двадцать футов. Над дверью красовался резной каменный герб: простой щит с двумя скрещёнными человеческими мослами. Весёлый Роджер без черепа. Несколько

мгновений Даниель, сидя на лошади, дивился неприкрытой чудовищности герба и чувствовал тупой, ноющий стыд за свою английскость. Он ждал, когда кто-нибудь из слуг его заметит.

Исаак в письме сообщил, что родительница уехала месяца на полтора. Даниеля это вполне устраивало. Он знал про неё совсем немного: что она бросила трёхмесячного Исаака на бабку и переехала в соседнюю деревню к богатому мужу. Даниель заметил, что некоторые семьи (например, Уотерхаузы) умеют сохранять пристойную видимость, что бы ни происходило внутри; обман, разумеется, полнейший, однако он избавляет знакомых от неловкости. Бывают и другие семьи: в них душевные раны никогда не затягиваются, но вновь и вновь растравляются и выставляются напоказ, словно кровоточащие сердца и стигматы католических изваяний. Сидеть в таком доме за обедом или просто за беседой — всё равно что вместе с Гуком резать собаку: любое твоё слово или поступок раздувают мехи, ты смотришь на раскрытую грудную клетку и видишь, как беспомощно отзываются органы, как бьётся сам по себе вечный двигатель сердца. Даниель подозревал, что Ньютоны — одно из таких семейств. Герб на двери с евклидовой

непреложностью доказывал его подозрения.

— Это ты, Даниель? — негромко произнёс голос Исаака Ньютона.

По жилам Даниеля пробежал маленький пузырёк эйфории: увидеть кого-либо после такого перерыва, во время чумы, и убедиться, что он по-прежнему жив, было чудом. Даниель поднял голову. Северная сторона дома была обращена к склону, на котором рос небольшой яблоневый сад. На скамейке, спиной к Даниелю и к солнцу, сидел кто-то — не то мужчина, не то женщина, — завёрнутый в одеяло, как в шаль. Длинные бесцветные волосы рассыпались по плечам поверх одеяла.

— Исаак?

Сидящий немного повернул голову:

— Да, я.

Даниель въехал по грязи в яблоневый сад, спешился и привязал лошадь к невысокой ветке — гирлянде белых цветов. Лепестки сыпались, как снег. Даниель описал вокруг Исаака большую коперниковскую дугу, вглядываясь в него сквозь благоуханную метель. Волосы у Исаака всегда были очень светлые, с ранней проседью, однако за год, что они не виделись, он стал седым как лунь. Белые локоны капюшоном обрамляли

лицо. Даниель ожидал увидеть знакомые глаза навыкате, но увидел лишь два золотых диска, словно у Исаака вместо глаз — монеты по пять гиней. Наверное, Даниель вскрикнул, потому что Исаак сказал:

— Не пугайся. Я сам придумал эти очки. Ты, наверное, знаешь, что золото практически неограниченно ковкое, однако известно ли тебе, что в очень тонкой фольге оно становится прозрачным? Попробуй.

Он одной рукой протянул очки, а другой заслонил глаза. У Даниеля дёрнулась рука — очки оказались легче, чем он ожидал, не линзы, а лишь тончайшая золотая плёнка на проволочном каркасе. Он поднёс их к глазам, и всё поменяло цвет.

— Они синие!

— Ещё один ключ к разгадке природы света, — промолвил Исаак. — Золото жёлтое — оно отражает жёлтую часть света и пропускает остальное. Лишённый жёлтой составляющей, свет становится синим.

Даниель смотрел на бледные призраки яблонь в синем цвету перед синим каменным домом и на синего Исаака Ньютона, который сидел спиной к синему солнцу, прикрывши глаза синей рукой.

— Прости, что такая грубая работа. Я делал их

в темноте.

— У тебя что-то с глазами?

— Всё, с Божьей помощью, пройдёт. Я слишком много смотрел на солнце.

— Ой. — Даниель едва не онемел от угрызений пуританской совести. Как он мог так надолго оставить Исаака? Счастье ещё, что тот не загнал себя в гроб.

— Я по-прежнему могу работать в тёмной комнате со спектрами, которые отбрасывает через призму Солнце. Однако спектры Венеры слишком слабы.

— Венеры?!

— Я сделал много наблюдений касательно природы света, которые противоречат теориям Декарта, Гюйгенса и Бойля, — пояснил Исаак. — Я разложил белый солнечный свет на цвета, а затем соединил их и вновь получил белый. Я проделал этот опыт множество раз, меняя аппаратуру, чтобы исключить возможные источники ошибок. Осталось устранить ещё один: Солнце — не точечный источник света. Его лик на небе представляет собою заметных размеров диск. Те, кто будет искать погрешности в моей работе, смогут указать, что свет от разных участков Солнца входит в призму под чуть различными углами,

а следовательно, выводы мои сомнительны и потому ничего не стоят. Чтобы устранить эти преграды, я должен повторить опыт не с Солнцем, а с Венерой — почти бесконечно малой точкой. Однако свет Венеры настолько слаб, что мои обожжённые глаза его не различают. Мне нужны твои здоровые глаза, Даниель. Ночью начнём. Хочешь пока вздремнуть?

Дом делился на две половины, северную и южную. В северной, где были окна, но не было света, располагалась вотчина Ньютоновой родительницы: гостиная на нижнем этаже и спальня на верхнем, обставленные по тогдашнему вкусу небольшим количеством крайне громоздкой мебели. В южной половине, с обращёнными к свету окнами-бойницами, обитал Исаак; внизу находилась кухня, пригодная для занятий алхимией, над ней — спальня.

Исаак убедил Даниеля лечь в, или хотя бы на, материну постель, потом неосторожно проговорился, что на этой самой постели он родился, за несколько недель до срока, двадцать четыре года назад. Пролежав полчаса на кровати, твёрдой, как жертва столбняка, и глядя на то, что впервые предстало очам Исаака (окно и сад), Даниель встал и снова вышел из дома. Исаак по-прежнему

сидел на скамье, на коленях у него лежала книга, но золотые очки были обращены к горизонту.

— Полагаю, разбили их наголову.

— Извини?

— Началось близко к берегу, но потом стало отдаляться.

— О чём ты, Исаак?

— Морское сражение — мы бьёмся с голландцами в проливах. Ты разве не слышал канонаду?

— Я лежал в постели очень тихо и ничего не слышал.

— Отсюда слышно отчётливо. — Исаак поднял руку и поймал трепетный лепесток. — Ветер благоприятствует нашему флоту. Голландцы неправильно выбрали время.

У Даниеля слегка закружилась голова при мысли, что Джеймс, герцог Йоркский, с которым они недавно стояли на расстоянии вытянутой руки и говорили о сифилисе, сейчас на палубе флагмана обменивается залпами с голландской армадой, и грохот, прокатившись над морем, попадает в исполинскую ушную раковину залива Уош, изгибом которой служат Бостонская и Линнская впадины, а также Длинная Песчаная банка, оттуда в наружный слуховой проход Уэлленда и дальше по его притокам, через топи и холмы

Линкольншира, в ухо Исаака. А может, голова закружилась от того, что мириады белых лепестков падали на землю по одной и той же, скошенной ветром, траектории.

— Помнишь, как умер Кромвель и сатанинский ветер налетел унести его душу в ад? — спросил Исаак.

— Да. Я шёл в погребальной процессии и видел, как старых пуритан ветром сбивало с ног.

— Я был на школьном дворе. Мы прыгали в длину. Я выиграл, хотя был маленьким и хрупким. Нет, *благодаря* этому — я знал, что обязан думать. Я встал спиной к сатанинскому ветру и прыгнул во время особенно сильного порыва. Ветер понёс меня, как эти лепестки. На мгновение меня охватило сильнейшее чувство — наполовину восторг, наполовину страх. Мне чудилось, что ветер будет нести меня вечно — я никогда не коснусь ногами земли, а буду лететь и лететь, пока не обогну земной шар. Разумеется, я был ребёнком и не знал, что снаряд летит по параболе. Какой бы пологой ни была эта кривая, она рано или поздно склонится к земле. Однако предположим, что ядро или мальчик, подхваченный сверхъестественным ветром, будет лететь так быстро, что центробежная сила (как называет её Гюйгенс) его

движения вокруг Земли уравновесит тенденцию к падению?

— Э… смотря как понимать природу падения, — проговорил Даниель. — Почему мы падаем? В каком направлении?

— Мы падаем к центру земли. К тому самому, от которого направлена центробежная сила — как если крутишь камешек на бечёвке.

— Думаю, если бы удалось уравновесить эти силы, ты бы летел и летел, не падая и не взлетая вверх. Впрочем, такое представляется невероятным. Господь должен был бы удерживать тебя, как удерживает планеты.

— Если принять некоторые допущения касательно природы тяготения и того, как вес уменьшается с расстоянием, это происходит само собой, — сказал Исаак. — Ты просто будешь лететь и лететь вечно.

— По кругу?

— По эллипсу.

— По эллипсу… — И тут граната наконец взорвалась у него в голове. Даниелю пришлось сесть на землю, прямо на прошлогоднюю падалицу. — Как планета.

— Вот именно — если бы мы могли прыгнуть достаточно сильно или бы нам в спину дул

достаточно сильный ветер, мы все стали бы планетами.

Всё было так чисто и очевидно правильно, что Даниелю пришло в голову спросить о подробностях лишь несколько часов спустя. Солнце уже село, и они ждали, когда Венера переместится в южную часть неба.

— Я разработал метод флюксий, который делает это все вполне очевидным, — сказал Исаак.

Первой мыслью Даниеля было: «Надо сказать Уилкинсу». Уилкинс, написавший книгу, в которой люди путешествуют на Луну, восхитился бы фразой Исаака: «Мы все стали бы планетами». Однако он вспомнил Гука и опыт с глубоким колодцем. Некое предчувствие подсказывало, что Ньютона и Гука следует покамест держать в разных ячейках.

Спальня Ньютона была устроена словно нарочно для опытов с призмами. Для них нужно, чтобы свет входил через узкое отверстие, а само помещение было тёмным, иначе спектр на стене будет совсем бледным. Одна беда — Даниель всё время обо что-нибудь спотыкался. Исаак жил здесь несколько лет до поступления в Кембридж, и, судя по всему, ему было одиноко. Пол усеивали останки вещиц, которые Исаак смастерил,

а потом не удосужился выкинуть. Белёные стены покрывали рисунки, сделанные углём или нацарапанные ногтем: чертежи мельниц, изображения птиц, геометрические доказательства. Даниель шаркал в темноте, не отрывая ног от пола, чтобы не наступить на кукольную мебель, камни для шлифовки линз, водяные часы, тонкий, словно пергаментный, череп мыши или тигелёк с прикипевшими капельками металла.

Исаак рассчитал, в какие именно ночные часы Венера будет бросать свой строго однонаправленный свет на южную стену Вулсторпской усадьбы — не только на эту ночь, но и на каждую ночь в течение нескольких следующих недель. Все эти часы были расписаны: Исаак составил целую программу экспериментов. Даниель видел, что его друг защищает свою правоту перед целой коллегией воображаемых иезуитов, со всех сторон мечущих в него стрелы латинских возражений, частью просто смехотворных; что Исаак воображает себя разом Галилеем и святой Анной, но, в отличие от Галилея, не склонен сдаваться и не намерен, как святая Анна, полечь под стрелами мучителей — он схватит их на лету и метнёт обратно.

Вот чем Гук никогда бы не озаботился. Гуку

было довольно сознания собственной правоты, и его не интересовало чужое мнение.

Когда Исаак расположил призмы на окне и задул свечи, Даниель на некоторое время ослеп и по-настоящему испугался, что, не обладая Исааковой зоркостью, не различит на стене слабый спектр Венеры. «Наберись терпения», — произнёс Исаак с нежностью, какой Даниель не слышал от него долгие годы. У Даниеля закралась мысль, что Исаак носит золотые очки не по одной лишь причине. Да, он защищает обожжённые глаза от света. Однако, может быть, он защищает и своё обожжённое сердце от зрелища Даниеля?

Тут он заметил на стене разноцветное пятнышко: полоску, красную с одного бока и фиолетовую с другого, и сказал: «Вижу».

На чердаке тяжело зашуршало, послышался звук, словно кто-то скребёт когтями. Даниель вздрогнул.

— Что там?

— Наверху окошко, чтобы совы залетали на чердак и вили там гнёзда, — сказал Исаак. — Тогда мыши не будут есть зерно, которое мы храним на чердаке.

Даниель рассмеялся. На мгновение они с Исааком стали мальчишками, заигравшимися в ночи;

былые сложности позабылись, будущие опасности отступили.

Низкое уханье, словно резонирующая нота в органной трубе. Затем шорох — птица просунулась в окошко — и ритм мощных крыльев, словно затухающее в небе биение сердца. Спектр Венеры на мгновение померк — сова затмила планету. Когда Даниель вновь повернулся, он увидел не только спектр Венеры, но и крохотные чёрточки по всей стене — спектры звёзд, окружающих Венеру. Однако он не видел ничего, кроме спектров. Земля вращалась. Крохотные цветные полоски ползли по невидимой стене, перетекали по грубой штукатурке, словно гонимые ветром лужицы ртути, высвечивали фрагменты Исааковых рисунков. Каждая миниатюрная радуга выхватывала из тьмы лишь малую частичку рисунка, а каждый рисунок, в свою очередь, был лишь частью общего Исаакова замысла. Даниель подумал, что, если стоять так из ночи в ночь, ёжась от холода и напряжённо вглядываясь, можно составить в уме грубое представление об общей картине. Во всяком случае, так ему предстояло постигать Исаака Ньютона.

Я верил и сейчас верую, что город наш погибнет в огне и сере с небес, потому и поспешил уйти.

Джон Беньян, «Путь паломника»

Занятия в Кембридже должны были возобновиться весной, но не успели Даниель с Исааком переехать в старую комнатёнку, как кто-то снова умер от чумы и пришлось возвращаться — Исааку в Вулсторп, Даниелю — к прежней кочевой жизни. Несколько недель он провёл у Исаака, ставя опыты по разложению света, ещё несколько — с Уилкинсом (тот перебрался в Лондон и вновь регулярно собирал Королевское общество) за составлением рукописи на всеобщем языке, остальное время — с Дрейком и старшими братьями, которых отец вытребовал в Лондон ждать конца света. Год Зверя, 1666-й, прошёл наполовину, потом на две трети. Чума кончилась. Война продолжалась и стала уже не просто англо-голландской; французы вступили в неё на стороне голландцев против англичан. Впрочем, планы, которые герцог Йоркский набросал со своими адмиралами холодным днём в Эпсоме, оказались не совсем уж никчёмными: англи-

чане одерживали победы. Дрейк, надо думать, разрывался между патриотическим пылом и разочарованием, что война никак не перерастёт в Армагеддон. Она состояла из череды морских сражений, сводившихся к тому, что англичане медленно вытесняли французов и голландцев из Ла-Манша, и явно не укладывалась в схему, заданную Книгой Даниила и Откровением. Дрейк перечитывал их почти ежедневно, сочиняя все более притянутые за уши толкования. Что до самого Даниеля, иногда он по целым дням вообще не вспоминал про конец света.

Однажды сентябрьским днём он возвращался в Лондон из Вулсторпа, где помогал Исааку рассчитывать теорию планетарных орбит. Результат получился неудовлетворительный, поскольку они не знали, на каком расстоянии от центра Земли взвешивают предметы. Даниель завернул в чумной Кембридж за новой книгой, в которой якобы содержалось искомое число — радиус Земли, и теперь ехал к отцу. Тот сообщил в письме, что рассчитал другое искомое число — точную дату светопреставления (она выпала у него как раз на начало сентября).

Даниель был в двадцати милях от Лондона и сумерки уже сгущались, когда навстречу ему во

весь опор промчался гонец, крикнув на скаку: «Лондон горел весь день и горит до сих пор!»

Даниель уже знал это, но не хотел признавать. С утра в воздухе пахло гарью, дым висел над деревьями и скрадывал лощины. Солнце пылало на полнеба; клонясь к горизонту, оно стало оранжевым, потом алым и расцветило закатными красками столбы дыма — предзнаменования, казавшиеся неизмеримо бóльшими, чем (всё ещё неизвестный) радиус Земли. Даниель ехал в ночь, но не в темноту. Свод оранжевого света раскинулся на милю над Лондоном. Земля вздрагивала — поначалу Даниель думал, что с такой силой рушатся здания, однако толчки шли в явно продуманной последовательности, и он сообразил, что дома нарочно взрывают порохом, чтобы воздвигнуть завал на пути огня.

Сперва он полагал, что дому Дрейка за Холборном пожар не грозит, но число взрывов и размер зарева убеждали, что обольщаться не стоит. Теперь он ехал во встречном потоке измазанных сажей бедолаг. Они замедляли движение, однако поделать ничего было нельзя. В складки одежды и даже в уши набился пепел, хлопья обугленного вещества, дождём сыпавшие вокруг.

— Прям как снег! — воскликнул какой-то маль-

чик, глядя вверх.

Даниель через силу поднял глаза и увидел, что небо полно какими-то ошмётками, которые медленно кружат, но в целом опускаются к земле. Он поймал один: страницу 798 из Библии, обугленную по краям; протянул руку и поймал другой: листок из амбарной книги золотых дел мастера, всё ещё тлеющий с угла. Листовку против свободной чеканки монет. Письмо одной дамы к другой. Они ложились на плечи, как палая листва, и вскоре Даниель перестал их читать.

Дорога заняла так много времени, что зрелище первого горящего дома оказалось столь же неожиданно, сколь и ужасно. Столбы пламени вставали из окон, чёрные фигурки бегали с вёдрами, плеща через край самоцветы воды. Погорельцы запрудили поля за Грейз-Инн-роуд и, устав смотреть на пожар, сооружали убежища из подручного материала.

Неподалёку от Холборна дорогу почти перегородили обломки взорванных домов — даже сквозь запах горящего Лондона Даниель различал сернистый пороховой дух. В следующий миг взлетело на воздух здание справа; Даниель увидел жёлтую вспышку, и тут же в лицо бросило щебнем (ощущение было такое, будто половину лица

попросту снесло). Он оглох. Лошадь взвилась на дыбы, сломала ногу о груду камней и сбросила Даниеля. Он упал на камни и доски, потом встал, не помня, сколько времени пролежал. Взрывы звучали чаще; главный фронт пламени приближался. От стен, крыш, от одежды на живых и на мертвецах поднимались завесы пара. Даниель в свете зарева перебрался через завал на улицу, ещё не засыпанную, но обречённую сгореть.

Добравшись до Холборна, он повернулся спиной к огню и побежал на грохот взрывов. Часть мозга выполняла геометрические построения, нанося взрывы на мысленную карту и экстраполируя их дальше. По всему выходило, что дуга пройдёт через дом Дрейка.

На Холборне тоже лежала груда, такая свежая, что камни ещё осыпались, стремясь к углу естественного откоса. Даниель взбежал по ней, почти боясь увидеть под ногами отцовскую мебель. Однако с вершины ему открылся вид на дом Дрейка, который по-прежнему высился, но высился в одиночестве — оба соседних дома лежали в развалинах. Стены дымились, головёшки сыпались вокруг, как метеоры, а Дрейк Уотерхауз стоял на крыше, держа над головой Библию. Он что-то кричал, но никто при всём желании не разобрал

бы слов.

На улице внизу образовалось необычное скопление дворян в некогда ярких, а теперь чёрных от сажи нарядах и мушкетёров, которым явно не по душе было стоять так близко к огню с пороховницами на поясе. Очень богатые и знатные люди смотрели на Дрейка, кричали и указывали вниз, призывая его спуститься. Однако Дрейк смотрел только на огонь.

Даниель повернулся туда, куда смотрел отец, и его едва не бросило на землю жаром и зрелищем Большого Пожара. Всё от востока до юга пылало, всякая вещь под звёздами. Пламя взметалось и трепетало, взмывало к небу и колыхалось, дома ложились, как смятая трава под исполинским колесом Джона Уилкинса.

Оно надвигалось так быстро, что настигало бегущих людей — те окутывались дымом и взрывались пламенем, обращаясь в свет: вознесение. Дрейк это видел и указывал на них перстом, но придворные щёголи не желали ничего видеть. В глазах Дрейка они были демонами ещё до того, как Лондон объяло пламя, поскольку пресмыкались перед королём Карлом II, архидемоном самого Людовика XIV. И теперь эти люди сошлись перед его домом.

Даниель махал руками над головой, силясь привлечь отцовское внимание, но теперь понял, как выглядит сверху: черным пятном на фоне исполинского зарева, наименее интересным объектом в поле зрения Дрейка.

Взгляды придворных были обращены внутрь, на одного человека — даже Дрейк на него смотрел. Даниель приметил лорд-мэра и поначалу счёл центром внимания его, но лорд-мэр неотрывно глядел куда-то ещё. Отыскав новую позицию на куче, Даниель увидел наконец высокого смуглого человека в невероятно роскошном наряде. Огромный парик возбуждённо трясся. Его обладатель внезапно шагнул вперёд, выхватил у приспешника факел, последний раз глянул на Дрейка и коснулся факелом мостовой. Яркая звёздочка дымного пламени побежала к распахнутой двери.

Человек с факелом обернулся, и Даниель узнал короля.

В толпе произошло предварительное подобие взрыва: придворные и мушкетёры сомкнулись вокруг монарха, защищая его от летящего верджинела. На крыше Дрейк, указуя перстом на его величество, воздел Библию над головой, дабы призвать с неба новый поток проклятий. По пы-

лающим головням, которые сыпались вокруг, словно копья ангелов-мстителей, он, вероятно, вообразил, будто играет важную роль в Страшном Суде. Однако ни одна головёшка не упала на короля.

Искра взбиралась по ступеням. Даниель сбежал по развороченным останкам дома, уверенный, что сумеет обогнать её и вырвать запал раньше, чем огонь доберётся до пороховых бочонков в гостиной. Навстречу ему неслись королевские стражники. Уголком глаза он видел, что один из них разгадал его намерение — лицо внезапно разгладилось и осветилось, как у студента, до которого наконец дошло. Мушкетёр шагнул в сторону и поднял к плечу трубку с воронкообразным раструбом. Даниель взглянул на отцовский дом и заметил, что искра бежит по тёмной прихожей. Он напрягся в ожидании взрыва, но грохот раздался сзади — и тут же его ударило в сотне мест, бросило лицом на мостовую.

Даниель перекатился на спину, пытаясь загасить языки боли по всему телу, и увидел, что отец возносится к небесам. Чёрная одежда обратилась в одеяние пламени; конторка, книги и напольные часы летели следом.

— Отец! — позвал Даниель.

Призыв был бессмысленным, если признавать смысл исключительно в натурфилософских рамках. Даже предполагая, что Дрейк был жив, когда Даниель к нему обратился (довольно смелое допущение, не делающее чести молодому члену Королевского общества), он находился далеко и продолжал удаляться в грохоте и смятении, к тому же, вероятно, оглох от взрыва. Однако Даниель разом увидел, как взлетает на воздух родной дом, и получил в спину заряд картечи; всякий натурфилософский смысл из него вышибло. Осталась логика пятилетнего ребёнка, видящего, что отец его покидает, хотя это неправильно и супротив естества. Более того, между ними осталось всё несказанное за последние двадцать лет: он согрешил перед Дрейком и мог бы, покаявшись, получить отпущение, а Дрейк согрешил перед ним и должен был дать ответ. Намеренный во что бы то ни стало предотвратить этот гнусный и противоестественный уход, Даниель прибег к единственному средству самосохранения, какое Бог даровал пятилетним: к голосу. Который сам по себе ничего не делает, лишь сотрясает воздух. В любящем доме на крик сбегутся и помогут. «Отец!» — повторил Даниель. Однако его дом превратился в ураган кирпичей и брызги досок,

прочерчивающих собственные дуги к дымной земле, а отец обратился в грозное облако. Как богоявление в Ветхом Завете. Только если Иегова в облаках являл Себя Своему народу, то это облако поглотило Дрейка и не извергло, а соединило с Великой Тайной. Он сокрылся от Даниеля навсегда.

На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс

ноябрь 1713

Мозг опередил перо; чернила высохли, лицо увлажнилось. Один в каюте, Даниель предаётся ещё одному излюбленному занятию пятилетних. Некоторые считают, что плакать — ребячество. Даниель (который с рождения Годфри досыта наслушался плача) придерживается противоположного мнения. Плакать *в голос* — ребячество, поскольку плачущий верит, что его услышат и опрометью бросятся спасать. Плакать беззвучно, как Даниель в это утро, — знак возмужалого страдальца, не питающего подобных иллюзий.

На орудийной палубе раздаются ритмичные выклики. Крики медленно нарастают и взрываются топотом ног по трапам красного дерева; и вот уже палуба «Минервы» заполнена матросами, они бегают и сталкиваются, словно живая иллюстрация Гуковой теории тепла. Первая мысль Даниеля: в пороховом погребе пожар и команду высвистали наверх, чтобы покинуть судно. Однако паника в высшей степени упорядоченная.

Даниель вытирает лицо, закрывает чернильницу, выходит на шканцы и бросает за борт испорченное перо. Матросы по большей части уже на вантах и спускают огромные белые полотнища, словно стремясь защитить непривычный взгляд Даниеля от целой флотилии вельботов и шлюпов. Камни и деревья на берегу смещаются по отношению к неподвижному наблюдателю на «Минерве» явно недолжным образом. «Мы дрейфуем… нас несёт!» — возмущён Даниель. Поднять якорь на корабле такого размера — дело до нелепого долгое и муторное. Матросы с пением бегают взапуски вокруг огромного кабестана, юнги отскребают от ила и посыпают песком якорный канат, добиваясь лучшей сцепки с кабалярингом — трижды обнесённой вокруг шпиля бесконечной петлёй, к которой они занемевшими руками крепят якорный канат. В час с восхода солнца ничего похожего даже не начиналось.

— Нас несёт! — вновь взывает Даниель к Даппе, ловко спрыгнувшему с юта только что не ему на плечи.

— Само собой, капитан. Мы все в панике, разве вы не видите?

— Вы несправедливы к себе и своей команде, мистер Даппа… и почему вы обращаетесь ко

мне «капитан»? И почему нас несёт, если мы не подняли якорь?

— Ваше место на юте, капитан… вот так, ещё шажок…

— Позвольте мне сходить за шляпой…

— Ни в коем разе, капитан, надо, чтобы каждый пират в Новой Англии — а в данную минуту они все здесь — видел ваши блистающие на солнце седины и лысину, розовую и бледную, как у капитана, который много лет не поднимался на палубу. Сюда, смотрите на штурвал, сэр… вот так… не могли бы вы качнуться ещё раз? Сощурьтесь на непривычный свет… отлично сыграно, капитан!

— Боже милостивый, Даппа, мы дрейфуем! Какой-то безумец перерезал якорные канаты!

— Я же сказал: мы были в панике… осторожнее на трапе, капитан!

— Отпустите мой локоть! Я вполне в состоянии…

— Рады вам служить, капитан. И я, и этот увечный голландец наверху трапа.

— Капитан ван Крюйк! Почему вы одеты как простой матрос?! И что сталось с нашими якорями?!

— Мёртвый груз, — бросает ван Крюйк и что-то

добавляет по-голландски.

— Он говорит, вы проявляете именно ту бессильную сварливость, какая нам нужна. Вот, возьмите подзорную трубу! У меня мысль: почему бы вам для начала не поднести её к глазу другим концом и не разыграть растерянность и гнев — как будто какой-то подчинённый по глупости поменял линзы?

— Да будет вам известно, мистер Даппа, что в своё время я знал об оптике больше любого из смертных, за исключением одного. Двух, если считать Спинозу, однако он был всего лишь *практическим* шлифовальщиком и больше предавался *афеистическим* размышлениям…

— Делайте что сказано, — рычит однорукий голландец.

Он по-прежнему капитан, поэтому Даниель подходит к ограждению юта, поднимает трубу и смотрит в объектив. *Слышно,* как пираты в вельботах над ним смеются. Ван Крюйк отбирает у Даниеля трубу, поворачивает другим концом и суёт обратно. Даниель пытается навести стекло на приближающийся вельбот, однако нос судёнышка окутан завесой дыма, которая быстро рассеивается на утреннем ветру. Уже несколько минут паруса «Минервы» раздуваются, часто с

резким хлопком, напоминающим пушечный выстрел, но…

— Дьявол! — говорит Даниель. — Они по нам *палят!*

Теперь он видит, что на носу вельбота установлен фальконет и какой-то верзила закладывает в жерло аккуратную связку свинцовых шариков.

— Предупредительный выстрел, — успокаивает Даппа. — Выражение ужаса на вашем лице, жесты… превосходно.

— Число судов изумляет… неужто они все пиратствуют *вместе?*

— Времени на объяснения будет ещё вдоволь, а пока вам стоит зашататься и схватиться за сердце — мы под руки отведём вас в вашу каюту на верхней палубе.

— Позвольте! Моя каюта, как вам известно, на шканцах…

— Только на сегодня вам уступили лучшую каюту на корабле, капитан. Идёмте, вы слишком долго были на солнцепёке — вам пора отдохнуть и откупорить бутылочку рома.

— Пусть обмен выстрелами не вводит вас в заблуждение, — произносит Даппа, просовывая курчавую, тронутую сединой голову в капитанскую каюту. — Будь это настоящее сражение,

шлюпы и вельботы вокруг разлетались бы в щепки.

— Если это не сражение, то как прикажете называть, когда люди на кораблях обмениваются свинцом?

— Игрой… танцем. Театральным представлением. Кстати… вы в последнее время репетировали свою роль?

— Полагал небезопасным, пока летает картечь… но коль скоро это всего лишь *развлечение*, что ж…

Даниель выбирается из-под стола, под которым сидел на корточках, и направляется к окну, двигаясь как в парадоксе Зенона: каждый шаг вдвое короче предыдущего. Каюта ван Крюйка занимает всю ширину кормы: два человека могли бы играть здесь в волан. Кормовая переборка представляет собой одно слабо изогнутое окно, в которое, как понимает теперь Даниель, виден весь Плимутский залив: крохотные домики и вигвамы на берегу, а на воде многочисленные судёнышки, окутанные пороховым дымом. Иногда они мечут короткие жёлтые молнии в общем направлении «Минервы».

— Публика настроена враждебно, — замечает Даниель.

Одно из оконных стёклышек слева разбивается — надо полагать, от пули.

— Превосходный жест! То, как ваши руки взметнулись к голове, словно вы пытаетесь зажать уши, и замерли в воздухе, будто уже охваченные трупным окоченением… благодарение Богу, что вы у нас есть!

— Должен ли я понимать, что всё происходящее — лишь какой-то сложный способ манипулировать сознанием пиратов?

— Не стоит заноситься — они точно так же поступают с нами. Половина пушек у них на борту вырезаны из брёвен и покрашены под настоящие.

Нечто метеороподобное сносит носовую дверь с петель и зарывается в дубовую кницу, сбивая и слегка перекашивая каюту — придавая Даниелевой системе отсчёта некую параллелограммность, отчего кажется, будто Даппа стоит теперь чуть-чуть под углом… или, может быть, весь корабль накренился набок.

— Некоторые пушки, разумеется, настоящие, — быстро говорит Даппа, пока Даниель не успел сам на это указать.

— Если мы воздействуем на сознание пиратов, зачем выставлять капитана выжившим из ума

трусом, в чём, если я верно читаю между строк, и состоит моя роль? Что мешает открыть все орудийные порты, выдвинуть все пушки, огласить холмы эхом бортовых залпов и чтобы ван Крюйк на юте потрясал в воздухе крюком?

— Всё ещё будет, дайте срок. Однако сейчас мы должны применять стратегию многоуровневого блефа.

– *Зачем?*

— Поскольку нам предстоит иметь дело не с одной группой пиратов.

– *Что?!*

— Вот почему сегодня утром до зари мы захватили в плен и допросили…

— Кое-кто сказал бы: «подвергли пыткам»…

— …нескольких пиратов. В Плимутском заливе чересчур много пиратов — это противно всякой логике. Некоторые из них, судя по всему, враждуют между собой. И впрямь, мы выяснили, что традиционные, честные работяги-пираты Плимутского залива, те, что в маленьких судёнышках… Эй, капитан! Два шага к штирборту, сделайте одолжение!

Даппа приметил что-то за окном. Даниель оборачивается и видит сразу за стёклами вертикально натянутый трос — зрелище само по себе

необычное, но, главное, секунду назад его здесь не было. Трос дрожит, выбивая дробь по окну. Появляются две мозолистые руки, широкополая шляпа, голова с зажатым в зубах ножом. За спиной у Даниеля раздаётся оглушительный грохот, и что-то происходит с лицом пирата, отчётливо видным через дыру на месте внезапно исчезнувшего стекла. Дым стелется по уцелевшим стёклышкам; когда он рассеивается, пирата уже нет. Даппа стоит посреди каюты, держа в руках дымящийся ствол.

Он роется у ван Крюйка в сундуке, вытаскивает крюк с болтающимися на ремешках когтями.

— Вот о таких я и говорил. Они бы никогда не отважились на подобное безрассудство, если бы их не теснила новая генерация.

— Что за новая генерация?

Даппа брезгливо бросает крюк в отверстие от выбитого стекла, ловит пиратский трос, втаскивает в каюту и перерубает ловким ударом сабли.

— Поднимите глаза к горизонту, капитан, вам предстанет флотилия каботажных судов: шлюпы, марсельные шхуны и кеч — общим числом с полдюжины или чуть больше. Они обмениваются странной информацией при помощи флажков, выстрелов и солнечных зайчиков.

— Так это они оставили без хлеба других буканьеров?

— Именно так. Если бы мы сразу дали им отпор, они бы поняли, что дело швах, и могли бы объединиться с Тичем.

— С Тичем?

— Эдвардом Тичем, капитаном вон той флибустьерской флотилии. А так они растратили силы в тщетных попытках захватить «Минерву», прежде чем Тич успел поднять паруса. Теперь мы сможем заняться Тичем отдельно.

— Был какой-то Тич в Королевском флоте…

— Это он и есть. Тич сражался на стороне королевы, грабил испанские корабли. Теперь, когда мы замирились с Испанией, он остался не у дел и пересёк океан, чтобы разбойничать в Америке.

— Следовательно, я могу заключить, что Тичу нужен не столько наш груз, сколько…

— Даже если мы выбросим за борт все тюки до последнего, он от нас не отстанет. Ему нужна «Минерва». И мощный флагман флибустьерского флота из неё бы получился!

Пальба стихла, и Даниель решается снова подойти к окну. Он смотрит, как, поднимая парус за парусом, флотилия Тича собирается в плотное облако.

— С виду корабли быстроходные, — замечает он. — Скоро мы Тича увидим.

— Его несложно будет узнать. Он вплетает в волосы тлеющую паклю, словно огненные косы, а по ночам зажигает в густой чёрной бороде фитили. Пол-Плимута убеждено, что он — дьявол во плоти.

— А вы как думаете, Даппа?

— Думаю, что не было ещё дьявола свирепей, чем капитан ван Крюйк, когда пираты покушаются на его красотку.

Чаринг-Кросс

Сэр РОБЕРТ МОРЭЙ представил рассуждение о кофее, написанное доктором ГОДДАРОМ по указанию короля; сочинение было зачитано, и автор пожелал оставить Обществу один экземпляр.

Мистер БОЙЛЬ упомянул, что, по некоторым сведениям, чрезмерное употребление кофея вызывает дрожательный паралич.

Епископ Эксетерский поддержал его, сказав, что тоже наблюдал за кофеем подобное действие, но полагает, что напиток вызывает названную болезнь, а также мышечную немочь исключительно в горячем виде.

Мистер ГРАУНТ подтвердил, что знает двух джентльменов, больших любителей кофея, весьма немощных.

Доктор УИСТЛЕР предложил выяснить, употребляют ли эти джентльмены также табак.

История Лондонского королевского об-

щества по развитию знаний о природе 18 января 1664/5*[21] года

1670

Страшась мышечной немочи и дрожательного паралича, Даниель избегал упомянутого напитка до 1670 года, когда впервые попробовал его в кофейне миссис Грин на перекрёстке Стрэнда и Чаринг-Кросс. Западнее располагалась церковь Святого Мартина на полях*[22], с востока — Новая Биржа, уже обросшая целым торговым кварталом. Севернее лежал Ковент-Гарден, в нескольких сотнях ярдов к югу — по преданиям и молве — протекала Темза, однако увидеть её было нельзя: дворцы и особняки знати образовали сплошную набережную от королевской резиденции (Уайтхолла) по всему изгибу реки до Флитской канавки, откуда начинались пристани.

Даниель Уотерхауз поравнялся с кофейней миссис Грин однажды летним утром 1670 года через минуту после Исаака Ньютона. Перед

---

[21] Примечания: 21

То есть везде был уже 1665-й, за исключением Англии, где новый год по-прежнему наступал 25 марта.

[22] Примечания: 22

Хотя поля застроили, так что к настоящему времени она была скорее церковью Святого Мартина на краю поля и неуклонно превращалась в церковь Святого Мартина, от которой видно очень дорогое поле или два.

кофейней был садик с несколькими столами; Даниель вошёл туда и осмотрелся, проверяя линии видимости.

Исаак проснулся ни свет ни заря, выскользнул из спальни и вышел на улицу, не позавтракав, что, впрочем, было вполне в его духе. Даниель последовал за ним через парадную дверь заново отстроенной и значительно расширенной резиденции Уотерхаузов, мимо Линкольн-Иннз-филд, где несколько модников с утра пораньше выгуливали собак или о чём-то шушукались, и (по совпадению) мимо того места на Друри-Лейн, где шесть лет назад двое французов умерли от чумы, положив начало памятному Чумному году. Оттуда в гибельную теснину летящей земли и шатких камней, в которую превратилась Сент-Мартинс-Лейн — ибо Джон Комсток, граф Эпсомский, в своей новой роли главного смотрителя городской канализации повелел замостить бывшую коровью тропу и превратить её в улицу — ось будущего Лондона.

Даниель следовал на некотором отдалении, чтобы Исаак не заметил его, обернувшись, — впрочем, с Исааком было не угадать, он обладал чутьём дикого зверя. Сент-Мартинс-Лейн заполнили тяжело нагруженные телеги с камнями;

погонщики еле-еле справлялись с могучими ломовыми лошадьми. Даниелю приходилось уворачиваться от телег и перебираться через кучи земли, стараясь в то же время не упустить Исаака.

Наконец они добрались до Чаринг-Кросс и прилегающего подворья, где в былые времена останавливались шотландские короли, приезжая на поклон к английским сюзеренам. Здесь Даниель мог отстать сильнее: серебряные волосы Исаака отчётливо выделялись в толпе. Если Исаак направлялся в какую-нибудь лавочку, кофейню, на платную конюшню, на рынок или в один из дворянских домов вдоль перекрёстка, то за ним можно было, не суетясь, проследить из садика.

Даниель сам не знал, что на него нашло. Своим загадочным уходом Исаак словно напросился на слежку. Впрочем, он не очень и таился. Исаак привык быть настолько умнее остальных, что и в малой мере не представлял их реальных способностей. Если он пускался на хитрость, то придумывал уловки, которые не обманули бы и пса. Это несколько задевало, но общение с Исааком всегда было не для тонкокожих.

Они по-прежнему жили в Тринити-колледже, уже не в прежней комнатёнке, а в домике за

Большими воротами. Ставили опыты с линзами и призмами. Исаак дважды в неделю читал перед пустой аудиторией лекцию на математические темы, столь заумные, что никто их не понимал. Так что в *этом* смысле ничего не изменилось. Однако в последнее время Исаак явно охладел к оптике (возможно, потому, что знал теперь о ней всё) и сделался таинственным. Три дня назад он объявил, что планирует несколько дней провести в Лондоне. Когда Даниель сказал, что собирается туда же — навестить беднягу Ольденбурга и побывать на собрании Королевского общества, — Исаак без особого успеха попытался скрыть раздражение. Впрочем, спасибо, что вообще попытался.

На полдороге к Лондону Даниель (в порядке эксперимента) ужаснулся намерению Исаака остановиться в гостинице. Об этом не может быть и речи, заявил он, тем более теперь, когда Релей потратил столько семейных средств на строительство большого нового дома. Глаза Исаака вылезли из орбит, а лицо приняло страдальческое выражение. Лишь уверения Даниеля, что дом огромен, в нем полно пустых комнат, и они, скорее всего, даже видеться не будут, сломили его упрямство.

По этим наблюдениям Даниель выстроил гипотезу, что Исаак совершает с кем-то грех супротив естества. Впрочем, ей противоречили некоторые факты — например, Исааку никто и никогда не писал.

Пока Даниель стоял перед кофейней, некий джентльмен*[23] выехал на Сент-Мартинс-Лейн, привстал на стременах и оглядел вялотекущее столпотворение, какое всегда представлял собой Чаринг-Кросс. Некоторое время он озабоченно озирался, пока не нашёл того, кого искал. Тут он успокоился, опустился в седло и поехал навстречу… Исааку Ньютону. Даниель сел за стол перед заведением миссис Грин и заказал газету и кофей.

Здоровье Карла II Испанского не оставляло надежд, что он доживёт до конца года. Коменский тоже лежал при смерти. Анна Гайд, супруга герцога Йоркского, страдала тяжёлым недугом — по общему мнению, сифилисом. Джон Локк написал конституцию для Каролины, на Украине подавили казацкий бунт Стеньки Разина, турецкий султан левой рукой отобрал у Венеции Крит, а правой объявил войну Польше. В Лондоне сниже-

---

[23] Примечания: 23
То есть человек при шпаге.

ние цен на перец разорило многих торговцев, а по другую сторону пролива голландская Ост-Индская компания выплачивала сорокапроцентные дивиденды.

Однако новостями были действия «Кабалы»**[24] и *придворных*. Поскольку из придворных один Джон Черчилль был способен совершить нечто значительное — например, отправиться к Берберийскому побережью и сразиться врукопашную с языческими корсарами, — много писали о нём. Он вместе с остальным Королевским флотом взял в блокаду Алжир, пытаясь хоть как-то обуздать берберийских пиратов.

Всадник напоминал придворного, хотя сильно потрёпанного и обносившегося. Несколько минут назад он едва не задавил Даниеля, когда тот вышел из дома и опрометчиво остановился посреди дороги, ища глазами Исаака. Выглядел он бедным бароном из каких-нибудь северных сланцевых краёв, явившимся в Лондон без денег, но с большими надеждами. На нём были

---

[24] Примечания: 24

** Пяти человек, которых Карл II избрал, чтобы управлять Англией. Это были: Джон Комсток, граф Эпсомский, лорд-канцлер, Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, канцлер Казначейства, Нотт Болструд, которого вытащили из Голландии, чтобы назначить государственным секретарём, сэр Ричард Апторп, банкир, основатель Английской Ост-Индской компании, и генерал Хью Льюис, герцог Твидский.

настоящие ботфорты, а не остроумный намёк на ботфорты, как у светских щёголей, и похожий на сутану плащ со множеством серебряных пуговиц. Посредственная лошадь под дорогим седлом выглядела как торговка рыбой в полковничьем мундире. Если Исаак искал метрессу (или метра, или что там у содомитов соответствует метрессе), он мог найти и похуже, а мог — и получше.

Даниель принёс с собой Ценный Предмет — не потому, что собирался им воспользоваться, а из страха, как бы кто-нибудь из Релеевых слуг не украл его или не повредил. Предмет этот находился в деревянном ящичке, который Даниель положил на стол. Сейчас он отпер замочки, поднял крышку и отогнул красный бархат, под которым оказалась трубка длиною примерно в фут, толщины такой, что в неё можно было бы просунуть кулак, и закрытая с одного конца. Она была установлена на деревянном шаре размером с большое яблоко, сам же шар помещался в выемке и свободно поворачивался по любой оси. Например, можно было поставить прибор на стол и навести трубу куда хочешь, что Даниель и сделал. Возле открытого конца в боковой стенке имелось отверстие размером в палец, а за ним, внутри, — зеркальце, развёрнутое к выгнутому

посеребрённому стёклышку, закрывающему основание трубки. Замысел принадлежал Исааку, некоторые усовершенствования и почти всё практическое исполнение — Даниелю. Поднеся глаз к отверстию, он увидел расплывчатое цветное пятно; вращая винт со стороны зеркальца и, соответственно, укорачивая тубус, превратил пятно в кусок орнаментального оконного переплёта с выбившейся наружу кружевной занавеской на противоположной стороне Чаринг-Кросс. Даниель вздрогнул, осознав, что смотрит на Грейт-корт перед Уайтхоллом, в чьё-то окно. Если он не очень сильно ошибся, это была резиденция леди Каслмейн, любимой фаворитки английского короля.

Чуть повернув трубу, он увидел край Дворца для приёмов, перед которым обезглавили Карла I, — божественное право королей упразднили, провозгласили Республику, объявили свободу предпринимательства, Дрейк был счастлив, а Даниель с его плеч смотрел, как скатилась королевская голова. В те дни наружные окна Уайтхолла были заложены кирпичом для защиты от пуль, а языческие роскошества, например картины и статуи, запаковали в ящики и продали голландцам. Однако теперь окна вновь стали

окнами, украшения выкупили обратно, и в пределах видимости не рубили голову ни одному королю.

Короче, не время вспоминать Дрейка. Даниель повернул отражательный телескоп и отыскал обтрёпанное перо на шляпе наездника — размытое белое колыхание наподобие заячьего хвостика. Наведя на резкость и ещё чуть-чуть повернув трубу, он поймал серебристый водопад волос — и вовремя, потому что Исаак уже поднимался по ступеням дома за Хеймаркетом, в начале Пэлл-Мэлл. Даниель направил трубу на фасад здания, ожидая увидеть кофейню, таверну или паб, где Исаак намерен дождаться приятеля-джентльмена. Он ошибся: это был самый обычный дом, однако в него входили хорошо одетые люди; когда же они выходили, у них (или у слуг) были в руках свёртки. Даниель решил, что это лавочка, хозяин которой не хочет привлекать излишнее внимание вывеской, — заведение для этой части Лондона вполне обычное, но не из тех, какие стал бы посещать Исаак.

Наездник в дом не вошёл. Он проехал мимо лавочки раз, другой, третий, искоса поглядывая на дверь, — явно озадаченный не менее Даниеля, — потом вроде бы обратился к прохожему. Тут

Даниель припомнил, что за всадником бежали двое пеших слуг. Сейчас один из этих пажей, или кто там они были, бегом припустил между разносчиками и возами с сеном, пересёк Чаринг-Кросс и пропал из вида на Стрэнде.

Всадник спешился, отдал поводья другому пажу и принялся расстёгивать рукава, превращая сутану в плащ. Он стащил длинные гетры, явив взглядам чулки и панталоны, вышедшие из моды всего полгода назад, после чего свернул в кофейню напротив загадочной лавки, то есть на южном краю Сент-Джеймс-филдс — одного из тех самых полей, что совсем недавно окружали церковь Святого Мартина. Теперь вокруг понастроили домов, и место пахоты заняли сады.

Даниелю ничего не оставалось, кроме как сидеть в кофейне. В качестве арендной платы за стул он заказал ещё кофе. Первый глоток был такой гадкий, что Даниеля чуть не перекосило, — вроде тех экзотических отрав, которые любили варить некоторые члены Королевского общества. Однако через некоторое время он с изумлением обнаружил, что чашка пуста.

Вся история начала разворачиваться рано утром, когда знать ещё спит, к тому же было холодно, и стулья в садике покрывала роса. Покуда

Даниель сидел и делал вид, будто читает газету, солнце показалось сперва над Йорк-хаусом, потом над Скотленд-Ярдом, воздух согрелся, и за соседними столиками начали появляться действующие лица. Они садились и тоже делали вид, будто читают газеты. У Даниеля даже возникло впечатление, что этих самых персонажей упоминали братья за семейным столом. Сидя среди них, он чувствовал себя зрителем, который после спектакля развлекается с актёрами — или, по тем фривольным временам, с актёрками.

Он довольно долго пытался разглядеть в телескоп верхние окна загадочной лавочки, за одним из которых вроде бы мелькнул отблеск серебристых волос, поэтому вначале различал других посетителей лишь по волнам духов, шуршанию кринолинов, зловещему скрипу корсетов из китового уса, звукам, с которым джентльмены, не рассчитав расстояния, задевали шпагой ножки стола, и щёлканью подбитых каблуков.

Духи казались знакомыми, и все шутки Даниель слышал раньше, за обедами в доме Релея. Релей, достигший к этому времени пятидесяти двух лет, состоял в дружбе с невероятным количеством зануд, у которых, похоже, не было других дел, кроме как кочевать из дома в дом наподобие

бродяг-мародёров и обмениваться друг с другом своим занудством. Даниель всякий раз изумлялся, узнав, что это рыцари, бароны или богатые купцы.

— Ба, кого я вижу! Даниель Уотерхауз! Боже, храни короля!

— Боже, храни короля, — пробормотал Даниель, поднимая глаза на буйную мешанину одежд и покупных волос, в которой после недолгих поисков опознал сэра Уинстона Черчилля, члена Королевского общества и отца того самого Джона Черчилля, который только что отличился под Алжиром.

Наступила минутная неловкость. Черчилль с секундным опозданием вспомнил, что вышеупомянутый король самолично взорвал Даниелева отца. У Черчилля в семье было много антироялистов, и он гордился своим дипломатическим тактом.

Останки Дрейка так и не нашли. Даниель смутно помнил (смутно, поскольку в него тогда же выстрелили из мушкетона), что взрыв бросил отца в общем направлении Большого Пожара. Вряд ли от него осталось что-нибудь, кроме стойкой плёнки жирного пепла на белье и на подоконниках подветренного квартала. Черепки

сервиза «МЫ ОБА ПРАХ», найденные в развалинах соседних домов, подтверждали догадку. Джон Уилкинс, всё ещё оплакивающий утрату книг на всеобщем языке (они сгорели во время пожара), согласился провести заупокойную службу. Лишь благодаря его обаянию и миротворческому таланту похороны не переросли в бунт и толпа разъярённых пуритан не двинулась в цареубийственном раже на Уайтхолл.

С тех пор (и ещё потому, что почти все отцовские деньги достались Релею) Даниель редко видел родных. Вместе с Исааком он занимался оптикой и всякий раз дивился, что другие Уотерхаузы в его отсутствие не сидят сложа руки. Восславь-Господа, старший сын Релея, уехавший в Бостон накануне чумы, окончил Гарвард и женился, поэтому все (и хозяева, и гости) о нём говорили — но всегда с неким оттенком лукавства, словно напроказившие дети, и украдкой косясь на Даниеля. Он заключил, что они с Восславь-Господа — последние пережитки пуританизма в семье и завсегдатаи кофеен тайно восхищаются тем, как ловко Релей сплавил одного в Гарвард, другого — в Кембридж, чтобы не путались под ногами.

По выразительным взглядам, которыми об-

менивались за столом старшие братья, их многочисленные домочадцы и пышно разодетые гости, Даниель заключил, что Уотерхаузы, Хамы и, возможно, кто-то ещё составляют огромный комплот, цель которого не ясна, но для самих заговорщиков не менее сложна и значительна, чем, скажем, разгром Священной Римской империи.

Томас Хам теперь звался виконтом Уолбруком. Всё его золото расплавилось в огне, но ни капли не вытекло за пределы укреплённого подвала. Вернувшись через несколько дней, Хамы обнаружили многотонную золотую плиту — Самый Большой в Мире Золотой Слиток. Вкладчики не потеряли ни пенни. Другие спешно понесли своё золото надёжнейшему мистеру Хаму. Тот начал ссужать короля средствами на восстановление Лондона. Отчасти за это, отчасти в компенсацию за то, что взорвал его тестя, король наградил Хама титулом.

В таком вот контексте Даниель смотрел сейчас на смущённое лицо сэра Уинстона Черчилля. Если бы Черчилль *спросил*, Даниель, возможно, ответил бы, что у короля, когда тот взрывал его отца, не было иного выхода. Однако Черчилль не спрашивал, он *строил догадки*. Вот почему он бы никогда не стал настоящим натурфилософом. В

Королевском обществе его терпели, поскольку он исправно платил взносы.

Даниель осознавал, что окружён знатью и все глаза устремлены на него. Отражательный телескоп стоял на столе, уличающий, как отрубленная голова. Сэр Уинстон из-за конфуза ещё его не заметил, но заметит, а как давний член Королевского общества, наверняка разгадает назначение прибора. Даже если Даниель что-нибудь соврёт, ложь вскроется сегодня же вечером, когда он от имени Исаака будет представлять телескоп на собрании Королевского общества. Хотелось поскорее спрятать прибор, однако это значило бы только больше заострить на нём внимание.

И сэр Уинстон был далеко не единственным из его знакомых. По-видимому, Даниель неосторожно уселся у большой охотничьей тропы: все, кто направлялся из Уайтхолла или Вестминстера на Новую Биржу за чулками, перчатками, шляпами, средствами от сифилиса и прочим, заглядывали в кофейню миссис Грин — последний разок проверить, что нынче в моде.

Даниель не двигался и не говорил, как ему показалось, минут десять… собственно (он взглянул на пустую чашку), с ним приключился паралич! Он выручил сэра Уинстона из неловкого положе-

ния возгласом «Надо же!» и попыткой вскочить, которая выразилась в дрожательно-паралитической судороге всего тела. Даниель вступил в короткую схватку со столом, в результате которой чашки спрыгнули с блюдец. Все повернулись в его сторону.

— Мистер Уотерхауз, ревностный натурфилософ, ставит на себе опыт по одурманиванию кофеем! — проворно объявил сэр Уинстон.

Послышался громогласный смех и даже редкие хлопки.

Сэр Уинстон принадлежал к поколению Релея и во время войны сражался на стороне кавалеров. Он был человек солидный и носил наряд, который в его кругу считался умеренным: чёрный бархатный камзол чуть выше колен, из всех отверстий которого струйками пара выбивались носовые платки, жёлтый нижний камзол и ещё бог ведает что под ним; рукава всех этих одеяний заканчивались у локтя пышным венком кружев, гофреев и прочего, ниспадающих на лайковые перчатки. Голову венчала широкополая шляпа, утыканная чем-то пушистым и белым, очевидно надёрганным из седалища птицы, которая большую часть жизни проводит на арктическом льду. У сэра Уинстона были очень тонкие усики

и очень большой белокурый парик, тщательно завитый и всклокоченный. Чёрные чулки по моде морщились на икрах, башмаки на каблуках украшали банты восьми дюймов в размахе. Стыковка чулок и панталон происходила где-то в районе колен и утопала в лентах, подвязках и оборках, которые должны были выглядывать из-под края верхнего камзола, нижнего камзола и примкнувших к ним одежд.

Миссис Черчилль, со своей стороны, проделала какой-то убийственный фокус со шляпой. Шляпа была по общим очертаниям пуританская — усечённый конус на широких плоских полях, оживлённый, однако, цветными лентами, брошками, эгретками и другой галантереей, — короче, пародия на пуританский головной убор и на пуританизм вообще. Всё от полей шляпы до подола платья начисто превосходило понимание Даниеля; он мог лишь ошалело таращить глаза, как неграмотный дикарь на первую страницу иллюстрированной Библии, — однако приметил, что мальчик, держащий шлейф, наряжен лепреконом (сэр Уинстон по королевским делам частенько бывал в Ирландии).

Туалет, быть может, избыточный для утреннего посещения кофейни, но Черчилли, вероятно, жда-

ли, что все будут поздравлять их с геройскими подвигами сына, и нарядились соответственно.

Миссис Черчилль смотрела Даниелю через плечо, на улицу, и тот мог без стеснения разглядывать её лицо, на которое она наклеила несколько чёрных бархатных кружочков. Поскольку кожа под ними была выбелена каким-то косметическим составом, мушки придавали ей сходство с далматином.

— Он здесь, — обратилась миссис Черчилль к тому, на кого смотрела, и тут же смутилась. — Вы ведь собирались встретиться с братом?

Даниель обернулся и увидел Стерлинга Уотерхауза, сорока лет, с молодой женой Беатрис и целой свитой особ, которые, судя по всему, только что совершили набег на Новую Биржу. Стерлинг и Беатрис неприятно удивились, заметив Даниеля в кофейне, тем не менее после слов миссис Черчилль им оставалось только подойти. Они и подошли — с достаточно бодрой миной. Знакомства и прочие формальности (в частности, все поздравляли Черчиллей с замечательным сыном и обещали молиться за его благополучное возвращение от берегов Триполи) затянулись примерно на полчаса. Даниелю хотелось перерезать себе глотку. Стерлинг и его знакомцы таким способом

зарабатывают свой хлеб насущный; он — нет.

Однако он понял нечто такое, что впоследствии может пригодиться в общении с родными. Поскольку в загадочном комплоте, о котором Даниель в последнее время начал смутно догадываться, участвовал Релей, затея, вероятно, была как-то связана с землёй. Причастность дяди Томаса (виконта Уолбрука) Хама наводила на мысль, что планируется каким-то образом пустить в дело деньги богатых людей. А поскольку сюда же был замешан и Стерлинг, речь, очевидно, шла о лавках. После того как Дрейк в пламени вознёсся над Лондоном, Стерлинг отошёл от отцовского способа ведения дел (контрабанда, разъезды, прямые сделки в провинции) и стал торговать по-новому: свозить товары в определённое здание и ждать, когда покупатели сами за ними явятся. Вся схема сложилась у Даниеля в голове, покуда он сидел в кофейне на Чаринг-Кросс и глядел, как придворные, франты, хлыщи и щёголи выходят из особняков, выросших за последние четыре года на пепелище или на месте полей. Братья затеяли какой-то проект, связанный с застройкой на краю города — может быть, на нескольких акрах луговой земли за резиденцией Уотерхаузов. Они воздвигнут там особняки, в центре разобьют пло-

щадь, по её периметру Стерлинг откроет лавки. Богатые люди переедут в новые дома, а Уотерхаузы вместе с сообщниками получат контроль над участком земли, который будет приносить больше дохода, чем тысяча квадратных миль Ирландии, — по сути, займутся возделыванием богатых людей.

Прекраснее же всего (и тут явно чувствовалась рука Стерлинга): затея не представляла большой сложности! Не надо было побеждать врагов и преодолевать сопротивление — только следовать неким неумолимым тенденциям. Всё, что от них (от Стерлинга) требовалось, — примечать эти тенденции. У него был глаз намётан на подобные вещи — вот почему его магазины пользовались такой хорошей репутацией, — и ему оставалось лишь находиться там, где лучше всего примечать веяния времени. Очевидно, таким местом и была кофейня миссис Грин.

А вот Даниелю, напротив, тут было совсем не место, он только хотел узнать, что замышляет Исаак. Вокруг звучала оживлённая беседа, однако Даниелю казалось, что говорят на иностранном языке, — впрочем, так оно частенько и было. Даниель поочерёдно смотрел на телескоп, гадая, можно ли незаметно его спрятать, на загадочную

лавку и джентльмена-наездника, на Стерлинга (тот надел сегодня алый шёлковый костюм с серебряными пуговицами, а лицо облепил мушками, хоть и не так густо, как Беатрис) и на сэра Уинстона Черчилля, который выглядел в равной мере скучающим, рассеянным и несчастным.

В какой-то момент он перехватил взгляд сэра Уинстона, устремлённый на телескоп; сэр Уинстон быстро двигал зрачками, соображая, как работает прибор. Выждав, когда тот повернётся к нему с вопросом на устах, Даниель подмигнул и чуть заметно мотнул головой. Сэр Уинстон поднял брови, в восторге, что теперь у них с Даниелем есть своя маленькая интрига, — приятный сюрприз, всё равно что обнаружить у себя на коленях хорошенькую семнадцатилетнюю девушку. Одна из молодых приятельниц Беатрис заметила обмен взглядами и пожелала узнать, зачем нужен цилиндрический предмет.

— Спасибо, что напомнили, — сказал Даниель. — Мне лучше его убрать.

— Но что это? — спросила дама.

— Военно-морской прибор, — произнёс сэр Уинстон, — или его модель. Горе голландцам, когда изобретение мистера Уотерхауза получит должное признание!

— Как он работает?

— Здесь не место объяснять, — отвечал сэр Уинстон, выразительно озираясь в поисках голландских шпионов.

Остальные тоже завертели головой и тут же заметили нечто выдающееся — со Стрэнда на Чаринг-Кросс выступила свита, явно сопровождающая какое-то значительное лицо. Покуда все пытались понять, кто это такой, Даниель убрал телескоп и закрыл крышку.

— Граф Апнорский, — шепнули за спиной, и Даниель поднял глаза узнать, что сталось с его бывшим однокашником.

Ответ: Луи Англси, граф Апнорский, свободный наконец от монашеских строгостей Кембриджа и достигший полных двадцати двух лет, мог наконец жить и одеваться по своему вкусу. Впечатление складывалось такое, что во время утреннего туалета графа (1) одели в сорочку самого лучшего полотна с двадцатифутовыми рукавами; (2) перехватили эти рукава многочисленными пересекающимися подвязками; (3) намазали его клеем; (4) вываляли в чане с тысячами чёрных шёлковых мушек и (5) (поскольку Карл II, несколько лет назад постановивший, чтобы придворные одевались исключительно

в белое и чёрное, так официально и не отменил прискучивший ему указ) добавили там и тут яркие цветовые пятна, по большей части в виде лент, завязанных причудливыми бантами, — если все ленты распустить и связать в одну, она бы дотянулась до лавки графского поставщика в Париже. Ещё на нём был белый шейный платок с выпущенными наружу кружевными краями. Хорватские наёмники из личной гвардии Людовика XIV, *Les Cravates*, завели обыкновение завязывать узлом огромные кружевные воротники, чтобы ветер не бросал их в лицо во время боя или дуэли, и граф Апнорский, как всегда впереди всего света, повязал галстух-кр­ават вместо вышедшего из моды (десять минут назад) воротника. Он носил парик шире плеч; на ботфорты пошло столько превосходнейшей белой кожи, что их при желании удалось бы дотянуть до паха, и каждый в обхвате был шире его талии; однако граф, разумеется, загнул отвороты, а чтобы они не мели по земле, загнул ещё раз, так что на коленях образовались белые кожаные складки с хорошую корзину размером, наполненные кружевной пеной. Золотые, украшенные каменьями шпоры торчали дюймов на восемь, каблуки были вишнёво-красные, четырёхдюймовые; для защиты от

грязи на них были надеты свободные кожаные туфли без задника на плоской деревянной подошве, громко стучащие при ходьбе. Из-за ширины отворотов граф при каждом шаге вынужден был заносить ногу вбок, да так сильно, что, вероятно, не устоял бы на ногах, если бы не опирался на инкрустированную, украшенную лентами трость.

Тем не менее двигался он достаточно быстро, восторженные зрители в кофейне еле-еле успевали рассмотреть подробности. Даниель застегнул пряжки на ящике с отражательным телескопом и снова взглянул через площадь на странного человека, который следил за Исааком.

Однако за столом в кофейне джентльмена не было. Даниель испугался, что потерял его, — пока снова не взглянул на графа Апнорского и не увидел, что свита расступилась, пропуская всё того же джентльмена-наездника.

Даниель, не обременённый шпагой, огромными ботфортами и стучащими туфлями на деревянной подошве, выбежал из кофейни, не попрощавшись. Он двинулся не прямиком к Апнору, а по широкой дуге, словно направлялся по делу на другую сторону Чаринг-Кросс.

Приблизившись, он заметил следующее: джентльмен спешился и шагнул к графу, раздви-

нув замшелые зубы в самодовольной улыбке.

Как раз когда он склонился в поклоне, Апнор взглянул на одного из приспешников и кивнул. Тот, нагнувшись, бросил что-то маленькое и бурое на носок графского ботфорта и тут же указал туда пальцем. Все за исключением графа и джентльмена-наездника ахнули.

— Что такое? — спросил граф.

— Ваш сапог! — вскричал кто-то.

— Не вижу, — сказал граф, — отвороты закрывают.

Опершись на трость, он выставил ногу и вытянул носок. Теперь весь Чаринг-Кросс, включая самого графа, отчетливо видел бурый комочек размером с гинею на узком носке ботфорта.

— Вы нагадили мне на сапог! — объявил граф. — Должен ли я вас убить?

Джентльмен совершенно опешил. Он ни на кого не гадил, однако подтвердить это могли только друзья графа Апнорского. Озираясь, он видел лишь нарумяненные, обклеенные мушками лица графских прихлебателей.

— Почему вы так говорите, милорд?

— Я должен был сказать: «вызвать вас на дуэль»; впрочем, это то же самое, что убить. До сих пор я убивал всех, с кем дрался, — отчего же вам

быть исключением?

— Почему… почему дуэль, милорд?

— Поскольку я вижу, что извинений от вас не дождёшься. Даже у моей собаки есть стыд. Но вы!.. Почему вы не можете показать, что раскаиваетесь в своём поступке?

— В моём поступке…

— Вы нагадили на мой ботфорт!

— Боюсь, милорд, вас ввели в заблуждение.

Возмущённый ропот приближённых.

— Встретимся завтра утром у Тайберна. Возьмите с собой секунданта — достаточно сильного, чтобы смог потом унести ваше тело.

Наездник наконец понял, что оправдываться бесполезно.

— Однако я могу выразить раскаяние, милорд.

— Неужто? Как собака?

— Да, милорд.

— Когда собака гадит в неположенном месте, я тычу её носом в дерьмо. — И граф поднял заострённый носок почти в самое лицо наезднику.

Даниель был уже футах в двенадцати от джентльмена и отчётливо видел, как струйка мочи сбегает по его панталонам на мостовую.

— Умоляю, милорд, я сделал, как вы просили. Я проследил за седовласым и отправил гонца. За

что вы так со мной поступаете?

Однако граф Апнорский, не сводя глаз с наездника, поднял ногу ещё на дюйм. Джентльмен нагнулся, но граф принялся опускать ногу, вынуждая того согнуться сильнее, потом встать на колени и, наконец, упереться локтями в грязь, чтобы коснуться лицом графского сапога.

Всё кончилось; джентльмен-наездник, закрыв лицо руками, бросился прочь, вероятно, чтобы никогда больше не возвращаться в Лондон, чего, надо думать, и добивался граф.

Сам же Апнор, отправив свиту в паб, зашёл в ту самую лавочку, что Исаак Ньютон, — Даниель даже не знал, по-прежнему ли его друг там. Пройдя мимо, он увидел наконец в окне вывеску: «МСЬЕ ЛЕФЕВР, АПТЕКАРЬ».

Следующие полчаса Даниель бродил по Чаринг-Кросс, время от времени поглядывая на окна мсье Лефевра, пока наконец не различил Исаака, беседующего с Луи Англси, графом Апнорским, который только кивал, кивал и (снова, снова и снова) кивал.

Как солнце выжгло свой лик на сетчатке Исаака в Вулсторпе, так этот образ стоял перед глазами Даниеля всё то время, что он, перекладывая телескоп с одного плеча на другое, шагал прочь

от Чаринг-Кросс в общем направлении Бишопсгейта, где ему предстояло присутствовать на собрании. Всю дорогу его преследовало чувство, которое он поначалу затруднялся определить, пока не понял, что это своего рода ревность. Он не знал, что́ Исааку понадобилось в доме/лавке/лаборатории/салоне мсье Лефевра, но подозревал алхимию, мужеложство либо некую их гремучую смесь; а если нет, то заигрывание с тем или другим. Всё это было решительно не его дело. Даниель не испытывал ни малейшего влечения ни к одному из этих занятий, а следовательно, не имел никаких оснований ревновать. И всё же он ревновал. Исаак нашёл друзей, с которыми обсуждает то, что не может сказать Даниелю. Это было больно и оскорбительно, как пощёчина. Однако у Даниеля тоже были друзья, и он направлялся на встречу с ними. Среди них встречались ничуть ни меньшие бестии, дураки или алхимики. Может быть, Исаак просто отплатил ему по заслугам.

Собрание Королевского общества, колледж Грешема

Полуночные собрания сего клуба, куда какого-нибудь выдающегося антика, к удовольствию общества, приглашают продемонстрировать силу воздуха посредством герметического горшка, определить разницу в плотности табачного дыма и дыма мать-и-мачехи либо провести другие подобные эксперименты, являют собой не менее занятное смешение человеческих типов, нежели собрание гильдии звонарей; здесь близорукий толстяк-философ восседает подле громогласного шлифовальщика линз, там – безмозглый щёголь подле облачённого в лохмотья математика, напротив – многодумный астроном подле физика, любителя переливать из пустого в порожнее, ближе – превращатель металлов подле искателя философского камня, дальше – болтливый механикус подле косорукого зодчего, а превыше всех

– безбожник-аптекарь подле сумасброда-клирика; учёные-грамотеи вперемежку с чудаковатыми ремесленниками и хвастливыми врачевателями; иные – согбенные под бременем лет и неусыпных трудов, иные – не менее измождённые воздержанием и еженощными размышлениями, назначено ли им, подобно тощим фараоновым скотам, предупредить мир о грядущем гладе, иные же вида не менее исступлённого, как если бы неудача собственных прожектов довела их до умопомрачения. Когда они так заседают, блажен муж, иже отыщет новую звезду на небосводе, заметит неверный шаг в поступи дневного светила, измыслит новейшее объяснение пятнам на лике Луны либо явит собратьям иную хитроумную тайну, лишит их покоя на следующий месяц и заставит ворочаться во сне, придумывая, как выправить свой прожект, дабы он выглядел прямым в очах разума, и устранить заковыристые преграды к собственной славе и благу общества.

Нед Уорд, «Клуб любознатца»

12 августа 1670

12 августа, на собрании Общества.

Мистер НИКОЛАУС МЕРКАТОР и мистер ДЖОН ЛОКК избраны и приняты в члены Общества.

Зачитаны остальные эксперименты мистера БОЙЛЯ касательно света, к большому удовлетворению Общества; постановили доклад зарегистрировать, а мистеру ГУКУ провести подобные опыты на собрании Общества, как только он сможет раздобыть светящуюся гнилушку либо рыбину.

Мистер КРАУН принёс мёртвого попугая.

Сэр ДЖОН ФИНЧ продемонстрировал асбестовую шляпную ленту.

Доктор ЭНТ привёл рассуждения о том, почему зимою холоднее, чем летом.

Мистер ПАУЭЛЛ предложил Обществу использовать его в любом качестве.

За отсутствием мистера ОЛЬДЕНБУРГА мистер УОТЕРХАУЗ зачитал письмо от португальского дворянина, который в самых учтивых выражениях поздравлял Общество с удачными экспериментами по удалению у собак селезёнки без всякого для тех вреда и любопытствовал, не согласится ли Общество сделать такую же операцию его супруге, дабы исправить чрезмерную желчность её характера.

Мистеру ЭНТУ пришла мысль составить мемуар касательно устриц.

Мистер ГУК продемонстрировал собственного изобретения прибор, позволяющий проверить горизонтальность поверхности и состоящий из воздушного пузырька, заключённого в наполненную водой трубку.

Был задан вопрос о собаке, которой на прошлом собрании удалили кусок кожи; член Общества, проводивший операцию, сообщил, что она удрала, и получил предписание к следующему разу представить новую.

Председатель продемонстрировал волосяной комок, извлечённый из коровьего желудка сэром УИЛЬЯМОМ КЕРТИСОМ.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ показал письмо от г-на ГЮЙГЕНСА из Парижа, в коем упоминались наблюдения касательно Сатурна, сделанные прошлой весной в Риме неким КАМПАНИ, а именно: что кольцо отбрасывает на планету тень. ГЮЙГЕНС считает это подтверждением его гипотезы о наличии у Сатурна кольца.

Перед Обществом предстал некий бродяга, которому не так давно выстрелом в живот перебило внутренности, посему теперь он испражняется через отрезок прямой кишки, торчащий из бока,

что и было продемонстрировано Обществу.

Мистер ПОВИ подарил Обществу скелет.

Мистер БОЙЛЬ сообщил, что в Балтии ласточки живут подо льдом.

Доктор ГОДДАР упомянул, что помещения, обшитые дубовыми панелями, потрескивают по утрам и вечерам.

Мистер УОЛЛЕР заметил, что жабы чаще всего появляются в холодную сырую погоду.

Мистер ГУК доложил, что, по его наблюдениям, пояс Ориона состоит не из трёх звёзд, как прежде полагал г-н ГЮЙГЕНС, а из пяти.

Доктор МЕРРЕТ представил записку, в которой сообщил, что в стене монастыря Блекфрайарз обнаружены замурованные оловянные сосуды, покрытые непонятными письменами и содержащие человеческие черепа с мозгами и волосами. Записку постановили зарегистрировать.

Мистер ГУК поставил эксперимент с целью выяснить, станет ли тяжелее кусок стали, уравновешенный на точных весах, если коснуться его сильным магнитом; опыт увеличения веса не выявил.

Доктор АЛЛЕН доложил о человеке, который недавно утратил некоторую часть мозга, но по-прежнему жив.

Доктор УИЛКИНС представил Обществу свою книгу, озаглавленную «Сочинение об истинном алфавите и философском языке».

Мистер ГУК предложил исследовать, есть ли в растениях подобия клапанов, без которых, он полагает, соки не могли бы подниматься по древесным стволам на высоту двести, триста и более футов.

Сэр РОБЕРТ САУТУЭЛЛ передал в кунсткамеру череп казнённого в Ирландии преступника, обросший мхом.

ЕПИСКОП ЧЕСТЕРСКИЙ предложил мистеру ГУКУ проверить, можно ли из обнаруженных им под микроскопом семян мха вырастить мох на черепе покойника.

Мистер ГУК возразил, что опыт, предлагаемый ЕПИСКОПОМ ЧЕСТЕРСКИМ, будет менее полезен для достижения нового знания, нежели другие, которые можно было бы перечислить, когда бы для этого имелось достаточно времени.

За отсутствием мистера ОЛЬДЕНБУРГА мистер УОТЕРХАУЗ зачитал выписку, присланную мистеру ОЛЬДЕНБУРГУ из Парижа, в которой со всей определённостью утверждается, что доктор ДЕ ГРААФ отпрепарировал мужские семенники и сохраняет один в заспиртованном виде. Некото-

рые из присутствующих врачей поведали, что подобные попытки делались в Англии много лет назад, но безуспешно, и выразили сомнения в утверждениях ДЕ ГРААФА.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ аттестовал доктора ДЕ ГРААФА наилучшим образом, сообщив, что в Париже упомянутый доктор пользовал его сына (ныне ГРАФА АПНОРСКОГО) от укуса ядовитого паука с самым положительным результатом.

К разговору о тарантулах один из членов Общества сообщил, что люди, пострадавшие от их укусов, даже полностью излечившись, раз год пускаются в пляс; другие возразили, что различные пациенты пускаются в пляс под воздействием различной погоды в зависимости от того, какого рода тарантул их укусил.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ ответил, что паук, укусивший его сына в Париже, вовсе не был тарантулом, и потому граф не испытывает ни малейшей потребности пускаться в пляс.

Общество поручило мистеру БОЙЛЮ изготовить переносные барометры и разослать их в различные части света: не только в удалённые уголки Англии, но и морем в Ост– и Вест-Индии и другие края, особливо на английские плантации в Виргинии, Новой Англии, на Бермудах, Ямайке

и Барбадосе, а также в Танжер, Москву, на остров Святой Елены, мыс Доброй Надежды и в Александретту.

Доктору КИНГУ пришла мысль отпрепарировать омара и устрицу.

Мистер ГУК показал плоско-выпуклые линзы размером с булавочную головку, предназначенные служить объективами в микроскопе. Он выразил желание поместить их в принадлежащий Обществу большой микроскоп.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ продемонстрировал дублёную кожу мавра.

Мистер БОЙЛЬ сообщил, что два весьма толковых врача из числа его знакомых дали женщине, страдающей от заворота кишок, свыше фунта ртути, каковые и пребывали в её организме несколько дней без какого-либо вреда; по вскрытии тела в той части кишечника, где образовалась непроходимость кала, обнаружено гангренозное воспаление, однако ртуть, оставаясь выше, не вызвала даже обесцвечивания тканей.

Мистеру ГУКУ пришла мысль поставить эксперимент по получению металла тяжелее золота путём добавления к нему ртути, дабы проверить, будет ли он проникать в поры золота.

Доктор КЛАРК предложил, чтобы человек,

приговорённый к повешению, мог обращаться к королю с просьбой вернуть его к жизни и, буде воскрешение произойдёт, получал бы помилование.

Мистер УОТЕРХАУЗ показал новый телескоп, изобретённый мистером Исааком Ньютоном, профессором математики Кембриджского университета, и отличающийся от старых использованием зеркал. ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ, доктор КРИСТОФЕР РЕН и мистер ГУК, осмотрев прибор, высказали одобрение и предложили показать телескоп королю, описание же и чертёж отправить г-ну ГЮЙГЕНСУ в Париж, дабы закрепить приоритет за мистером Ньютоном.

Поступило предложение вскрыть грудную клетку собаке. Мистер ГУК и мистер УОТЕРХАУЗ, выполнявшие названный эксперимент ранее, попросили уволить их от этого зрелища. Доктора БОЛЛ и КИНГ провели опыт, но безуспешно.

> Пятой кликой назовём математиков, готовых до хрипоты пререкаться о квадратуре круга, доколе, упившись допьяна и сорвав глотки, не начнут пускать тошнотные перпендикуляры в ночную посудину. Другой кружок будет увлечённо рядить о трансмутации и с горячностью спорить о превращении свинца в золото, покуда серебро из их карманов не утечёт к хозяину питейного заведения.
>
> ***Нед Уорд, «Клуб любознатца»***

Несколько участников заседания нашли приют в таверне (которая, как на грех, носила название «Собака») на Брод-стрит возле Лондонской стены. Уилкинс (ныне епископ Честерский), сэр Уинстон Черчилль и Томас Мор Англси, он же герцог Ганфлитский, забавлялись Ньютоновым телескопом, подглядывая в окна Военно-морского казначейства, где горели свечи и клерки работали допоздна. Каждые несколько минут туда подъезжали тачки, нагруженные сундуками из златокузнечных лавок на Треднидл.

Гук затребовал себе небольшой стол, положил на него пузырьковый уровень и принялся вы-

равнивать поверхность, подкладывая под ножки клочки бумаги. Даниель глушил горькое пиво и думал, насколько ему сейчас лучше, нежели утром.

— За Ольденбурга! — сказал кто-то, и даже Гук приподнял скособоченную голову, чтобы выпить за здоровье секретаря.

— Дозволено ли нам узнать, за что король заключил его в Тауэр? — спросил Даниель.

Гук внезапно увлёкся выравниванием стола, остальные — созерцанием планеты, встающей над Бишопсгейтом. Даниель понял, что причина, по которой Ольденбург находится в Тауэре, из тех вещей, которые лондонцам положено просто знать — впитывать лёгкими вместе с сырым угольным дымом.

Джон Уилкинс взял из ящика на стене курительную трубку и, выразительно задев Даниеля плечом, шагнул на улицу. Даниель вместе с ним вышел покурить на воздухе. Стоял тёплый летний вечер. По другую сторону Лондонской стены сумасшедшие в Бедламе ожесточённо спорили с ангелами, демонами и усопшими родственниками; по эту из открытых окон Грешем-колледжа доносились ритмичные звуки пилы: епископы, рыцари, доктора и полковники сообща удаляли

рёбра живой дворняге. Вывеска «Собаки» поскрипывала на ветерке. Глухо звякали монеты в сундуках, которые грузчики вносили по ступеням казначейства. Сквозь открытое окно можно было иногда заметить Самюэля Пеписа, члена Королевского общества, который что-то говорил подчинённым, с тоской поглядывая на «Собаку». Даниель и епископ минуту стояли в ритуальном молчании — так паписты осеняют себе крестом перед входом в храм.

— Мистер Ольденбург — сердце Королевского общества, — начал епископ Уилкинс.

— Я бы отдал эту честь вам или, возможно, мистеру Гуку…

— Погодите, я не закончил… я строил метафору. Не забывайте, пожалуйста, что мне обычно внимают прихожане, исполненные восторга или хотя бы напускающие на себя восторженный вид… во всяком случае, они *сидят тихо,* покуда я разворачиваю метафору.

— Молю меня извинить и преисполняюсь напускного восторга.

— Отлично. Итак! Проделывая ужасные вещи над бродячими псами, мы выяснили, что сердце вбирает кровь, идущую от органов, таких как мозг, по венам, таким как яремная, и выталки-

вает к ним по артериям, как, например, сонная. Помните, что случилось, когда мистер Гук сшил мастифу яремную вену с сонной артерией? Только не говорите, что шов разошёлся и всё залило кровью, это я помню.

— Кровь остановилась и стала сворачиваться в трубке.

— И мы заключили, что?..

— Я позабыл. Что обходить сердце — дурная идея?

— Можно заключить, — подсказал епископ, — что в бездействующем сосуде, который принимает циркулирующую жидкость, но не выталкивает её, образуется застой; другими словами, что сердце, выталкивая кровь, гонит её по кругу, к органам и конечностям, чтобы во благовремении принять обратно. Здравствуйте, мистер Пепис! — перенося взгляд на другую сторону улицы. — Затеваем войну, а?

— Слишком легко… завершаем эту, милорд. — Из окна.

— И близко ли конец? Ваше усердие — всем нам пример, однако пора бы уж и закругляться!

— Я предвижу некоторое затишье…

— Итак, Даниель, всякий, изучающий историю Королевского общества, заметит, что на каж-

дом заседании мистер Ольденбург зачитывает несколько писем от континентальных учёных, таких как господин Гюйгенс и в последнее время — доктор Лейбниц…

— Я этой фамилии не слышал.

— Услышите — он неутомимый корреспондент, протеже Гюйгенса и последователь пансофизма. В последнее время засыпал нас престранными эпистолами. Вы о нём не слышали, поскольку Ольденбург передаёт его послания мистеру Гуку, мистеру Бойлю, мистеру Барроу и другим в надежде, что кто-нибудь сумеет их хотя бы прочесть, а там, глядишь, и разберётся, чепуха это или нет. Однако я отклонился в сторону. Мистер Ольденбург получает в десять раз больше писем, чем зачитывает, — почему так много?

— Потому что, подобно сердцу, он выталкивает обильную корреспонденцию наружу?

— Совершенно верно. Целые мешки его писем пересекают Ла-Манш — поддерживая циркуляцию, благодаря которой новые европейские идеи достигают наших собраний.

— А теперь, чёрт возьми, король запер его в Тауэре! — воскликнул Даниель, чувствуя, что скатывается на мелодраму — такого рода диалоги были не в его характере.

— Пуская кровь в обход сердца, — сказал Уилкинс без тени смущения. — Я уже чувствую, как Королевское общество застаивается. Спасибо, что принесли телескоп мистера Ньютона. Свежая кровь! Когда мы увидим его на своём заседании?

— Боюсь, что никогда — покуда члены Общества режут собак.

— Так он слабонервен — ненавидит жёсткость?

— По отношению к *животным*.

— Некоторые члены предлагают брать пациентов из… — Епископ кивнул в сторону Бедлама.

— К этому Исаак отнёсся бы спокойнее, — признал Даниель.

Вышедшая из таверны служанка воспользовалась наступившим молчанием.

— Мистер Гук просит вашего присутствия.

— Слава Богу, — произнёс Уилкинс. — Я боялся, что вы пришли пожаловаться на его приставания.

Посетители «Собаки» отступили к стенам в диспозиции, принимаемой обычно зрителями кабацких драк, — то есть широким кольцом окружили стол, который (как показывала трубка с пузырьком) был теперь совершенно горизонтален и к тому же чист, только посередине лежала

капля ртути, другие же, размером с булавочную головку, созвездием рассыпались вокруг. Мистер Гук смотрел на большую каплю — идеально правильный купол — в оптический прибор собственного изготовления. Зажав большим и указательным пальцами ежовую иголку, он подтолкнул невидимо малую капельку к большой, чтобы они слились, снова всмотрелся, затем бесшумно, как воришка, попятился от стола и, отойдя на целую сажень, сказал Уилкинсу:

— Универсальное мерило!

— Что?! Сэр! Вы уверены в своих словах?

— Вы согласитесь, что *горизонтальность* понятие абсолютное — любой вменяемый человек может получить горизонтальную поверхность.

— Оно есть в философском языке, — ответил епископ Уилкинс, что означало «да».

Вошёл Пепис, как всегда великолепный, и хотел уже потребовать пива, когда заметил торжественную церемонию.

— Подобно тому и ртуть одинакова везде — на любой планете.

— Согласен.

— Как и число два.

— Разумеется.

— Здесь я создал плоскую, гладкую, ровную

горизонтальную поверхность. На неё я поместил капельку ртути так, чтобы диаметр капли вдвое превосходил высоту. Кто угодно где угодно может повторить данную последовательность действий; результатом всегда будет капелька ртути *точно такого же* размера. Соответственно, диаметр капли может служить в философском языке универсальной единицей длины!

Было слышно, как все думают.

Пепис:

— Тогда вы можете сделать сосуд, содержащий определённое число этих единиц в длину, высоту и ширину, наполнить его водой и получить эталон веса.

— Совершенно справедливо, мистер Пепис.

— Из длины и веса можно получить стандартный маятник — период его колебаний даст универсальную меру времени!

— Однако вода образует капли разного размера на разных поверхностях, — заметил епископ Честерский. — Полагаю, ртуть подвержена такого же рода изменчивости.

Гук, недовольно:

— Поверхность можно оговорить: медь, стекло.

— Если сила тяжести меняется с высотой, как это повлияет на размер капли? — спросил Дани-

ель Уотерхауз.

— Проводить измерения на уровне моря, — с лёгкой досадой отвечал Гук.

— Уровень моря зависит от приливов и отливов, — заметил Пепис.

— А как насчёт других планет? — громогласно вопросил Уилкинс.

— Других *планет?* Мы с этой ещё не разобрались.

— Как сказал наш соотечественник мистер Ольденбург, «Будьте любезны запомнить, что мы вопрошаем всю Вселенную, ибо для того созданы!»

Гук, мрачнее тучи, собрал ртуть в склянку и вышел; через минуту мистер Пепис (глядя через окно в ньютоновский отражательный телескоп) увидел, как тот направляется к Собачьей канавке в обществе потаскухи.

— Впал в очередной приступ меланхолии… мы не увидим его в следующие две недели и будем вынуждены вынести ему порицание, — проворчал Уилкинс.

Словно это было записано где-то истинным алфавитом, Пепис, Уилкинс и Уотерхауз знали, что у них есть незавершённое дело — поговорить об Ольденбурге вдали от посторонних ушей.

Весь следующий час в «Собаке» происходил тройственный обмен выразительными взглядами и движениями бровей. Однако просто так встать и уйти было невозможно: Черчилль и другие требовали от Даниеля новых подробностей о мистере Ньютоне и его телескопе. Герцог Ганфлитский загнал Пеписа в угол и пытал по поводу финансирования Военно-морского казначейства. Забрызганные кровью, удручённые члены Королевского общества выползли из колледжа Грешема и сообщили, что доктора Кинг и Болл заблудились в дебрях собачьей анатомии, дворняга сдохла и им нужен Гук — где он? Потом все обступили епископа Уилкинса и принялись обсуждать: будет ли Комсток снова баллотироваться на пост председателя? Организует ли Англси выдвижение своей кандидатуры?

Позже (слишком поздно для Даниеля, который встал сегодня рано, вместе с Исааком) все трое оказались в карете Пеписа.

— Я вижу, лорд Ганфлит внезапно увлёкся гаданием на военно-морской гуще.

— Поскольку флот составляет нашу защиту от голландцев, — осторожно произнёс Пепис, — и бóльшая его часть сейчас находится под Алжиром, многие вельможи разделяют любопытство

герцога Англси.

Уилкинс изобразил весёлое недоумение:

— Я не слышал, чтобы он спрашивал вас о пушках и фрегатах, лишь о купонах и переводных векселях.

Пепис некоторое время прочищал горло, с сомнением поглядывая на Даниеля.

— Те, чьё дело — опустошать флотскую казну, должны ответствовать перед теми, кто её наполняет, — сказал он наконец.

Даже Даниель, скучный университетский учёный, понял, что под опустошителем казны разумеется оружейник — Джон Комсток, граф Эпсомский, а под наполнителем — Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, отец Луи Англси, графа Апнорского.

— Это К и А, — сказал Уилкинс. — А что мыслит о флотских вопросах второй слог «Кабалы»?

— От Болструда*[25] неожиданностей ждать не приходится.

— Поговаривают, что Болструду на руку держать наш флот в Африке — он-де хочет, чтобы

---

[25] Примечания: 25

Нотт Болструд, гавкер и старый приятель Дрейка, ярый протестант и франкофоб; король назначил его государственным секретарём, поскольку никто в здравом рассудке не заподозрил бы Болструда в тайной приверженности католичеству.

голландцы нас завоевали и всех сделали кальвинистами.

— Учитывая, что V.O.C.**[26] платит дивиденды по сорок процентов, полагаю, на Треднидл появилось немало новых кальвинистов.

— И один из них — Апторп?

— Не верьте нелепым слухам. Апторп скорее будет развивать собственную Ост-Индскую компанию, нежели вкладываться в голландскую.

— Из чего следует, что Апторпу нужен сильный флот для защиты наших купеческих судов от голландских, столь тяжело нагруженных артиллерией.

— Да.

— А что генерал Льюис?

— Давайте спросим юного учёного, — весело предложил Пепис.

Даниель на несколько мгновений онемел; спутники, видя его смущение, по-мальчишески прыснули со смеху.

Телескоп словно бы тоже смотрел на него через крышку ящика; бестелесный орган чувств, принадлежащий Исааку Ньютону, взирал с нечеловеческой пристальностью. Казалось, Исаак

---

[26] Примечания: 26

** *Vereenigde Oostindische Compagnie*, то есть Голландская Ост-Индская компания.

вопрошает: какого чёрта он, Даниель Уотерхауз, раскатывает по Лондону в карете Самюэля Пеписа и корчит из себя интригана?

— Э… слабый флот заставляет нас содержать сильную армию, чтобы отразить голландское вторжение, — вслух предположил Даниель.

— Однако, имея сильный флот, мы могли бы вторгнуться в Голландию! — возразил Уилкинс. — Новые победы и новая слава для генерала Льюиса, герцога Твидского!

— Победы невозможны без союза с Францией, — произнёс Даниель после минутного раздумья, — а лорд Твид — слишком хороший пресвитерианин.

— Не этот ли добрый пресвитерианин тайно принял графский титул из рук короля-изгнанника в Сен-Жермене, когда Кромвель правил страной?

— Он роялист, не более того, — возразил Даниель.

Так что он делает в этой карете, помимо того, что набивает шишки и выставляет себя на посмешище? Настоящий ответ ведал лишь Джон Уилкинс, епископ Честерский, автор «Криптономикона» и «Философского языка», который левой рукой зашифровывал, а правой являл

истины всем возможным мирам. Тот Уилкинс, который устроил Даниеля в Тринити-колледж, приютил под крылом у Комстока во время чумы, рекомендовал в Королевское общество, а теперь, по всей видимости, задумал для него что-то ещё. Кто для Уилкинса Даниель — ученик, подмастерье, перенимающий мудрость мастера? Мысль была возмутительно гордая, совершенно непуританская, — однако другой гипотезы Даниель предложить не мог.

— Хорошо, значит, это должно иметь некое касательство к письмам мистера Ольденбурга за границу, — сказал Пепис, когда какая-то перемена в атмосферном давлении (или в чём ещё) подсказала, что пришло время отбросить притворство и заговорить серьёзно.

Уилкинс:

— Полагаю, да. К какому именно письму?

— Какая разница? Все письма ГРУБЕНДОЛЮ перехватывают и прочитывают до того, как он их увидит.

— Мне всегда любопытно, кто их читает, — задумчиво произнёс Уилкинс. — Либо этот человек невероятно умён, либо пребывает в постоянной растерянности.

— Подобным же образом изучается вся исходя-

щая почта Ольденбурга — вам это известно.

— И в каком-то письме он высказал что-то неосторожное?

— Самый объём его заграничной корреспонденции, вкупе с тем, что он немец, служил в Европе дипломатом и дружен с кромвелевским стихотворцем…

— Джоном Мильтоном.

— Да… и, наконец, учитывая, что некоторые при дворе не понимают и десятой части из написанного им в письмах… люди определённого склада поневоле испытывают беспокойство.

— Вы хотите сказать, что его бросили в Тауэр *из общих соображений?*

— В качестве превентивной меры.

— Что?! Значит ли это, что он пробудет там *до конца жизни?*

— Нет, разумеется, — лишь пока не завершатся некие переговоры весьма чувствительного свойства.

— Чувствительного свойства, — несколько раз повторил Уилкинс, словно рассчитывал выжать из этих скупых слов некую дополнительную информацию.

И здесь разговор, бывший для Даниеля просто малопонятным, окончательно превратился в

китайскую грамоту.

— Я и не подозревал, что у *него* есть столь чувствительное место… Нечего ухмыляться, мистер Пепис, я совершенно о другом!

— О, всем известно, что его чувства к *sa soeur*[27] весьма нежны. Последнее время он пишет ей *постоянно*.

— Она отвечает?

— Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата.

— И, если я правильно догадываюсь, уведомляет высокого адресата обо всех событиях в жизни сердечного друга?

— Объём её корреспонденции таков, — воскликнул Пепис, — что его величество сейчас как никогда близок к упомянутому вами лицу. Златые обручи прочнее стальных.

Уилкинс, с выражением лёгкой брезгливости на лице:

— Хм… В таком случае удачно, что *официальные* переговоры ведутся через двух архипротестантов…

— Отсылаю вас к главе десятой вашего опуса от тысяча шестьсот сорок первого года.

---

[27] Примечания: 27
Его сестре (*фр.*).

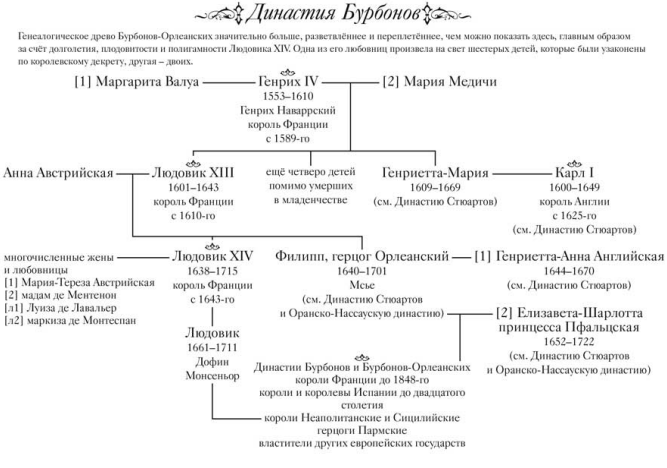
— Хм… что-то я туго стал соображать… мы говорим сейчас об Ольденбурге?

— Я не имел намерения менять разговор… мы по-прежнему беседуем о договорах.

Карета остановилась, Пепис вылез. Даниель слышал, как затихает на мостовой тук-тук-тук модных каблуков. Уилкинс смотрел в никуда, пытаясь расшифровать слова Пеписа.

Ехать в карете по Лондону не многим лучше, чем получать ежесекундные удары дубиной. Даниелю захотелось размяться. Он тоже вылез, обернулся и понял, что стоит прямо перед аллеей, ведущей к Сент-Джеймскому дворцу. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он увидел резиденцию Комстока — тяжёлую готическую громаду, встающую из садов и мостовых. Карета Пеписа свернула с Пикадилли и остановилась прямо перед двором особняка. Даниель восхитился его расположением. Джон Комсток мог бы, при желании, встать в дверях своего дома, выпалить из мушкета через двор, ворота, вдоль обсаженной деревьями псевдосельской аллеи, через Пэлл-Мэлл, прямо в парадный вход Сент-Джеймского дворца и, вероятно, подстрелить кого-нибудь очень пышно одетого. Каменные стены, живые изгороди и решётки кованого железа были распо-

ложены так, чтобы отгородиться от Пикадилли и соседних домов, создавая впечатление, будто Комсток-хаус и Сент-Джеймский дворец — одно большое семейное поместье.



Даниель обогнул ворота и стал на Пикадилли, лицом к Сент-Джеймскому дворцу. Он видел, как туда входит кто-то с тяжёлой сумкой: вероятно,

врач пришёл выпустить Анне Гайд несколько пинт крови из яремной вены. Слева, в направлении реки, лежало открытое пространство, сейчас — огромный строительный участок, раскинувшийся примерно на четверть мили, до Чаринг-Кросс. Стояла тёмная ночь, никто здесь не работал, и чудилось, будто каменные стены растут из земли сами собой, словно поганки.

Отсюда особняк Комстока виделся в перспективе; на самом деле это был лишь один из богатых домов на Пикадилли, обращённых к Сент-Джеймскому дворцу, словно солдаты на смотре. Беркли-хаус, Берлингтон-хаус и Ганфлит-хаус стояли в одном ряду, но лишь из Комсток-хауса открывался прямой вид на аллею.

Послышался скрежет открываемой исполинской двери, негромкие голоса, и Джон Комсток вышел из дома под руку с Писпом. Ему исполнилось шестьдесят три, и Даниель подумал, что он немного опирается на Пеписа при ходьбе — впрочем, возможно, не от дряхлости, а от старых боевых ран. Даниель подскочил к карете и велел кучеру надёжно закрепить телескоп на крыше, потом залез внутрь вместе с остальными тремя. Экипаж развернулся и загрохотал по Пикадилли в направлении Сент-Джеймского дворца.

Джон Комсток, граф Эпсомский, председатель Королевского общества и советник короля во всём, что касается натурфилософии, был облачён в богатый персидского покроя кафтан, недавно введённый в моду королём и составлявший вместе с галстухом-кравать последний придворный фасон. Пепис был одет так же, Уилкинс — старомодно, Даниель, по обыкновению, в строгое чёрное платье, какое носили двадцать лет назад странствующие пуританские проповедники. Никто, впрочем, на него не смотрел.

— Работаете допоздна? — спросил Комсток Писа, явно делая какие-то выводы из его туалета.

— Сегодня было много дел по казначейской части.

— Король был весьма озабочен финансовыми вопросами — *до недавнего времени*, — сказал Комсток. — *Теперь* он готов вернуться к своей первой любви — натурфилософии.

— В таком случае нам есть чем его порадовать — новым телескопом, — вставил Уилкинс.

Однако телескопы явно не входили в повестку дня графа Эпсомского, и он, пропустив отступление мимо ушей, продолжал:

— Его величество просил меня завтра вечером собрать в Уайтхолле заседание. Герцог Ганфлит-

ский, епископ Честерский, сэр Уинстон Черчилль, вы, мистер Пепис, и я приглашены присутствовать вместе с королём на демонстрации: Енох Красный покажет нам *Phosphorus*.

Перед самым Сент-Джеймским дворцом экипаж свернул на Пэлл-Мэлл и двинулся в сторону Чаринг-Кросс.

— Светоносный? Что это? — спросил Пепис.

— Новое элементарное вещество, — сказал Уилкинс. — Все алхимики Европы только о нём и говорят.

— Из чего он состоит?

— Не из чего! Это и значит элементарный!

— С какой планетой он соотносится? Мне казалось, все планеты расписаны! — возмутился Пепис.

— Енох объяснит.

— Были ли какие-нибудь движения касательно других вопросов, волнующих Королевское общество?

— Да! — произнёс Комсток.

Глядя Уилкинсу в глаза, он едва заметно покосился на Даниеля. Уилкинс отвечал таким же еле заметным кивком.

— Мистер Уотерхауз, имею удовольствие вру-

чить вам приказ лорда Пенистона*[28], — сказал Комсток, вытаскивая устрашающего вида документ с толстой восковой печатью на шнурке. — Предъявите его страже в Тауэре завтра вечером — и хотя мы будем в одном конце Лондона наблюдать демонстрацию фосфора, вам придётся оставаться с мистером Ольденбургом в другом, дабы позаботиться о его нуждах. Мне известно, что ему нужны новые струны для лютни… перья… чернила… некоторые книги… и, разумеется, есть огромное количество непрочитанной почты.

— Непрочитанной ГРУБЕНДОЛЕМ, — сострил Пепис.

Комсток повернулся и наградил его таким взглядом, что Пепису показалось, будто он смотрит в жерло заряженной пушки.

Даниель Уотерхауз и епископ Честерский обменялись быстрыми взглядами. Теперь они знали, кто читает заграничную корреспонденцию Ольденбурга: Комсток.

Граф повернулся и вежливо — но неприятно — улыбнулся Даниелю.

---

[28] Примечания: 28

То есть Нотта Болструда. По причинам протокольного характера король, при назначении государственным секретарём, возвел его в сан пэра. Король выбрал дня него титул графа Пенистонского, чтобы Болструд, ультрапуританин, не мог поставить свою подпись, не написав слово «пенис».

— Вы остановились в доме старшего брата?

— Да, сэр.

— Я распоряжусь, чтобы утром вам принесли пакет.

Карета развернулась на южной границе Чаринг-Кросс и остановилась перед красивым новым особняком. Даниеля, который явно исчерпал свою нужность, самым учтивым и ласковым образом попросили перебраться на крышу. Тот выполнил просьбу и без особого удивления увидел, что они остановились перед лавкой мсье Лефевра, королевского аптекаря, — той самой, где Исаак Ньютон провёл почти всё сегодняшнее утро и по тщательно организованной случайности встретился с графом Апнорским.

Дверь открылась. Человек в длинном плаще, чёрный на фоне светлого дверного проёма, вышел наружу и направился к экипажу. Как только он оказался дальше от освещённых окон, в темноте, стало видно, что от края его плаща и от кончиков пальцев исходит странное зеленоватое сияние.

— Моё почтение, мистер Уотерхауз, — сказал он, и, прежде чем Даниель успел ответить, Енох Красный залез в карету и захлопнул за собой дверцу.

Карета свернула с Чаринг-Кросс на мощёную

площадь перед Уайтхоллом. Они ехали прямиком к воротам Гольбейн-гейт — узкому готическому замку с четырьмя зубчатыми башенками. Скопление невыразительных фронтонов и печных труб скрывало открытое пространство слева, сначала Скотленд-Ярд — неправильную мозаику дровяных складов, шпарней и винокурен с грудами угля и поленницами дров, а дальше — Большой двор Уайтхолла. Справа — где в детстве Даниеля был парк с видом на Сент-Джеймский дворец — высилась теперь каменная стена в два человеческих роста, совершенно глухая, если не считать бойниц. С кареты Даниель видел за ней ветки деревьев и крыши деревянных строений, которые Кромвель возвёл для своей конной гвардии. Новый король, вероятно памятуя, что площадь эту некогда заполнил народ, сошедшийся на казнь его отца, сохранил и стены, и бойницы, и конную гвардию.

Через Большие ворота слева открывался вид на двор и пару высоких зданий в дальнем его конце, ближе к реке. В ворота по двое, по трое входили и выходили хорошо и не очень хорошо одетые люди; они шли по общественной дороге, что вилась между дворцовыми строениями и в конце концов выводила к Уайтхоллской пристани, где

лодочники сажали и высаживали пассажиров.

Вид через Большие ворота отчасти закрывал угол Дворца для приёмов — исполинской белокаменной бонбоньерки. Здание освещали лишь в особо торжественных случаях, дабы в обычные дни дым факелов и свечей не коптил пышногрудых богинь, которых намалевал на потолке Рубенс. Сейчас внутри горели один-два факела, и Даниель на мгновение различил Минерву, подавляющую мятеж. Однако экипаж был уже в конце площади и замедлился, поскольку въехал в эстетический тупик настолько кошмарный, что даже лошадям поплохело: псевдоголландские фронтоны апартаментов леди Каслмейн прямо впереди, приземистые готические арки Гольбейн-гейт справа, средневековые готические башенки над головой и ренессансный Дворец для приёмов, выстроенный Иниго Джонсом в подражание итальянцам, по-прежнему слева; а напротив — глухая каменная стена с бойницами, воплощение пуританского духа в архитектуре.

Ворота Гольбейна вывели бы их на Кинг-стрит, а она — к пристанищу Пеписа в этой части города. Однако кучер круто поворотил упряжку влево, в узкий неосвещённый проезд, идущий позади Дома для приёмов вниз до самой реки.

Любой пристойно одетый англичанин мог пройти в Уайтхолле практически где угодно, даже через внешнюю часть собственно королевских покоев — обычай, который европейская знать находила вульгарным до сумасбродства. Тем не менее Даниель никогда не бывал во дворце, считая его Местом, Куда Молодому Пуританину Заглядывать Не След; он даже не ведал, есть ли здесь выход, и всегда воображал, что люди вроде Апнора ходят сюда приставать к служанкам и затевать дуэли.

По правой стороне дворца тянулась Внутренняя галерея. Строго говоря, это был просто коридор, ведущий в те части Уайтхолла, где король жил, забавлялся с любовницами и выслушивал советников. Однако, как Лондонский мост со временем оброс жилыми домами, галантерейными лавками и питейными заведениями, так и Внутренняя галерея, по-прежнему пустая воздушная труба, оделась древесными грибами пристроек, по большей части апартаментов, которые король жаловал очередным фаворитам и фавориткам. Они сливались в тёмный бастион справа от Даниеля и казались куда больше, чем были на самом деле, — так лягушка, которую можно засунуть в карман, растягивается чуть не на милю в очах

юного натурфилософа, когда её надо отпрепарировать и разобраться в устройстве внутренних органов.

Даниеля несколько раз заставали врасплох взрывы смеха из освещённых свечами окон наверху; смех казался умным и злым. Проулок наконец повернул, так что стал виден его конец. Очевидно, он вёл в маленький мощёный двор, о котором Даниель знал понаслышке: теоретически король внимал проповедям из окон различных зал и гостиных, выходящих сюда окнами. Однако, не доехав до святого места, кучер натянул поводья и остановил лошадей. Даниель огляделся, пытаясь угадать причину остановки, и увидел лишь каменную лестницу, ведущую в туннель или склеп под Внутренней галереей.

Пепис, Комсток, епископ Честерский и Енох Красный вылезли из кареты. Внизу, в туннеле, горел свет и стоял накрытый стол, а на нем бараний окорок, круг чеширского сыра, блюдо с жаворонками, эль, апельсины. Однако зала была не пиршественная. Даниель различал отблески печей, поблескивание реторт, склянок со ртутью и аптекарских весов. Он слышал, что король повелел устроить в недрах Уайтхолла алхимическую лабораторию, но до сей поры это были

лишь слухи.

— Мой кучер отвезёт вас в дом мистера Релея Уотерхауза, — сказал Пепис, останавливаясь на ступенях. — Прошу, располагайтесь внизу.

— Вы очень любезны, сэр, но здесь недалеко, и прогулка пойдёт мне на пользу.

— Как вам будет угодно. Кланяйтесь от меня мистеру Ольденбургу.

— С превеликим удовольствием, — отвечал Даниель и еле сдержался, чтобы не добавить: «А вы от меня — королю!»

Он собрался с духом и пошёл по Двору проповедей, заглядывая в окна королевских комнат, но стараясь надолго не задерживать взгляд, как будто гуляет здесь каждый день. Маленький проход под Внутренней галереей вывел его в уголок сада, вдоль которого параллельно реке тянулась другая галерея. По ней Даниель мог бы дойти до королевской лужайки для игры в шары и дальше до Вестминстера. Однако он уже довольно наэкспериментировался на сегодня и потому пошёл напрямик через сад, к Гольбейн-гейт. Повсюду гуляли и судачили придворные. Даниель то и дело оборачивался, чтобы полюбоваться на покои короля, королевы и придворных, встающие над садом в золотистом сиянии множества восковых

свечей.

Будь Даниель и впрямь светским человеком, каким на короткое время попытался себя вообразить, он разглядывал бы исключительно людей в окнах и на садовых дорожках, высматривая новую деталь в покрое кафтанов или примечая парочку значительных лиц, занятых тихой беседой в тёмном уголке. Однако лишь одно влекло его взор, как Полярная звезда влечёт магнитную стрелку. Он повернулся спиною к дворцу и посмотрел через сад и лужайку для игры в шары на Вестминстер.

Здесь, высоко на почерневшем от дождей древке, темнело едва различимое в лунном свете пятно — голова Оливера Кромвеля. Когда король десять лет назад возвратился в Англию, он повелел выкопать труп из могилы, куда положили его Дрейк и другие, отрубить голову, водрузить её на пику и никогда не снимать. С тех самых пор бывший лорд-протектор беспомощно таращился на притон безудержного разврата, в который превратился Уайтхолл. И сейчас Кромвель, некогда качавший младшего Дрейкова сына на коленях, глядел на него с пики.

Даниель запрокинул голову, посмотрел на звёзды и подумал, что с точки зрения Дрейка,

взирающего с небес, всё это — преисподняя, и он, Даниель, — в самом её центре.

Пребывание в лондонском Тауэре коренным образом изменило систему приоритетов Генриха Ольденбурга. Даниель думал, что секретарь Королевского общества первым делом кинется к мешку с заграничной корреспонденцией, но того интересовали только новые струны для лютни. Старик так растолстел, что передвигался с трудом, и Даниель носил ему нужные вещи из разных концов полукруглой комнаты: лютню, ещё свечи, камертон, ноты, дрова для камина. Ольденбург уложил лютню на колени, словно напроказившего мальчишку, которого собирался выпороть, и обвязал несколько жил вокруг грифа в качестве ладов — старые совсем истёрлись. Последовала получасовая настройка (новые струны постоянно растягивались), и наконец Ольденбург получил то, по чему стосковался: они с Даниелем, сидя лицом друг к другу, исполнили двухголосную партию, написанную так, что порою их голоса сливались в сладостно резонирующий аккорд; изогнутые стены отражали звук, словно зеркало в ньютоновском телескопе. Через несколько куплетов Даниель запомнил свою партию; теперь, исполняя припев, он обращался

к стенам и разглядывал надписи, оставленные узниками прошлых столетий: не грубые каракули, как на стенах Ньюгейтской тюрьмы, а чинные изречения, как на надгробьях, по большей части латинские. Встречались астрологические чертежи и рунические заклинания, начертанные арестантами-колдунами.

Потом немного эля, чтобы остудить голосовые связки, пирог с дичью, бочонок устриц и апельсины — дар Королевского общества, и наконец Ольденбург быстро рассортировал почту. Он сложил в одну стопку последние вести из парижской Академии Монмора, два письма от Гюйгенса и короткий мемуар от Спинозы, в другую — груду посланий от разного рода сумасшедших, а в третью, самую большую, — писания Лейбница.

— Этот чёртов немец никогда не уймётся! — проворчал Ольденбург (поскольку он сам был немец и неутомимый корреспондент, слова его следовало расценивать как шутку на свой счёт). — Дайте-ка глянуть… Лейбниц предлагает создать *Societas Eruditorum*, дабы собрать малолетних бродяг, воспитать из них армию натурфилософов и прищучить иезуитов… рассуждает о свободе воли и предопределении… занятно было бы стравить его со Спинозой… спрашивает, знаю ли я о

смерти Коменского… готов подхватить гаснущий факел пансофизма*[29]… вот написанный лёгким, доступным языком мемуар о том, как дурная латынь, на которой общаются континентальные учёные, ведёт к искажению мысли, а в итоге — к религиозным расколам, войнам и неправильной философии…

— Напоминает мне Уилкинса.

— Уилкинс! Да! Я подумывал украсить стены собственными надписями на всеобщем алфавите… но уж очень тоскливо. «Гляньте, мы изобрели новый философский язык, дабы, когда король бросит нас в тюрьму, покрывать стены более изощрёнными письменами».

— Может быть, новый язык приведёт к созданию мира, в котором короли не смогут или не захотят бросать нас в тюрьму…

— Сейчас вы вторите Лейбницу… А, вот новые математические доказательства… ничего такого, чего бы не доказали англичане… однако у Лейбница доказательства изящнее… нечто скромно

---

[29] Примечания: 29

Пансофизм — движение континентальных учёных, заметной фигурой которого был упомянутый Коменский; оно оказало влияние на Уилкинса, Ольденбурга и других создателей Экспериментального философского клуба, а затем и Королевского общества.

озаглавленное «*Hypothesis Physica Nova*»[30]. Хорошо, что я в Тауэре, иначе бы мне в жизни этого не прочесть.

Даниель сварил кофе на огне — они выпили по чашечке и покурили виргинского табаку из глиняных трубок. Пришло время вечерней прогулки. Ольденбург впереди Даниеля двинулся по огромным каменным ступеням винтовой лестницы.

— Я бы придержал дверь и сказал: «После вас», но, положим, я упаду — тогда вы окажетесь у основания Башни широкой стрелы, раздавленный моей тушей, а я — целый и невредимый.

— Готов на всё ради блага Королевского общества, — пошутил Даниель.

— Вы для них ценнее, чем я, — сказал Ольденбург.

— Пфу!

— Я скоро исчерпаю свою полезность, у вас же всё ещё впереди. На ваш счёт имеются обширные планы.

— Я бы не поверил вам до вчерашнего вечера, когда мне позволили услышать разговор… совершенно для меня непонятный… однако, судя по всему, чрезвычайно важный.

---

[30] Примечания: 30
Новая физическая гипотеза (*лат.*).

— Перескажите мне его.

Они вышли на старую куртину, соединяющую Башню широкой стрелы с Соляной, и под руку двинулись по крепостной стене. Слева лежал ров — искусственная старица Темзы, за ним — оборонительный гласис, казармы и военно-морские склады, затем — луга Уоппинга в излучине реки, тусклые огни Рэтклиффа и Лайм-хауса, а дальше — тьма, скрывающая, помимо прочего, Европу.

— Действующие лица: Джон Уилкинс, епископ Честерский, и мистер Самюэль Пепис, эсквайр, секретарь адмирала, казначей флота, письмоводитель Военно-морской коллегии, второй секретарь лорда-хранителя печати, член гильдии рыбаков, казначей Танжерской комиссии, правая рука лорда Сандвичского, придворный… я что-нибудь упустил?

— Член Королевского общества.

— Ах да… спасибо.

— И что они говорили?

— Сперва недолго гадали, кто читает вашу переписку…

— Полагаю, Джон Комсток. Он шпионил для короля во времена Междуцарствия, почему бы ему не шпионить сейчас?

— Звучит правдоподобно. Далее перешли к дву-

смысленным намёкам на некие чувствительные сношения. Мистер Пепис сообщил — касательно английского короля, — что его чувства к *sa soeur* весьма нежны и он пишет ей много писем.

— Ну, вам известно, что Минетта во Франции…

— Минетта?

— По-французски «киска». Так король Карл называет свою сестру, Генриетту-Анну, — пояснил Ольденбург. — Не советую употреблять это прозвище в приличном обществе, если не хотите переехать сюда ко мне.

— Она ведь замужем за герцогом Орлеанским?*[31]

— Да, и мистер Пепис перешёл на французский, дабы подчеркнуть это обстоятельство. Пожалуйста, продолжайте.

— Милорд Уилкинс полюбопытствовал, пишет ли она в ответ, и мистер Пепис сообщил, что Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата.

Ольденбург поморщился и расстроенно покачал головой:

— Топорная работа! Мистер Пепис дал понять, что обмен письмами носит дипломатический

---

[31] Примечания: 31

Филипп, герцог Орлеанский, был младшим братом французского короля Людовика XIV.

характер. Однако с Уилкинсом нет нужды говорить настолько в лоб… вероятно, он был утомлён, рассеян…

— Он сидел в присутствии допоздна — много золота доставили в Военно-морское казначейство под покровом тьмы.

— Знаю. Смотрите!

Ольденбург потянул Даниеля за руку и развернул на запад, к Внутреннему двору. Они стояли возле Соляной башни — юго-восточного угла крепости. От них параллельно реке тянулась южная стена, соединяющая череду круглых башен. Справа, посередине, одиноко высился старинный донжон — Белая башня. Несколько низких стен делили внутреннее пространство на прямоугольники, однако сверху заметнее всего была западная стена, укреплённая от атак со стороны беспокойного лондонского Сити. Между этой стеной и более низкой внешней тянулась узкая, невидимая сверху улочка, застроенная мастерскими для плавки и обработки драгоценных металлов. Сейчас над ней стояли клубы дыма и пара. Она звалась Минт-стрит, или улица Монетного двора.

— Непрестанный стук молотов мешает мне спать по ночам; дым от печей просачивается в

амбразуры.

В здешних стенах были преимущественно узкие крестообразные бойницы для стрельбы из луков. Отчасти благодаря им Тауэр был такой надёжной тюрьмой — особенно для толстяков.

— Так вот почему короли живут теперь в Уайтхолле — чтобы им не досаждал дым с Монетного двора? — пошутил Даниель.

На лице Ольденбурга проступило педантичное раздражение.

— Вы не поняли. Монетный двор работает крайне редко — несколько месяцев оттуда не доносилось ни звука, работники пьянствовали и бездельничали.

— А теперь?

— Теперь они пьянствуют и *трудятся*. Несколько дней назад, стоя на этом самом месте, я видел, как военный трёхмачтовик, осевший под тяжестью груза, бросил якорь сразу за изгибом реки. Между ним и речными воротами в южной стене принялись сновать лодки. В то же самое время Монетный двор вдруг ожил и с тех пор не затихал.

— И золото начало прибывать в Военно-морское казначейство, создавая хлопоты для мистера Пеписа.

— Давайте вернёмся к разговору, который вам позволили услышать. Как епископ Честерский отнёсся к довольно неуклюжим откровениям мистера Пеписа?

— Сказал что-то в таком духе: «Так Минетта уведомляет его величество о всех событиях в жизни сердечного дружка?»

— И кого он при этом разумел?

— Её мужа?.. Понимаю, моя наивность достойна жалости…

— Филипп, герцог Орлеанский, владеет лучшей и самой обширной во Франции коллекцией дамского белья. Он знает лишь один род любовных утех — когда дюжие офицеры имеют его в задницу.

— Бедная Минетта!

— Она отлично знала, за кого выходит замуж, — сказал Ольденбург. — И медовый месяц провела в постели своего деверя, короля Людовика Четырнадцатого. Его-то епископ Честерский и назвал сердечным дружком Минетты.

— Благодарю за разъяснения.

— Пожалуйста, продолжайте.

— Пепис заверил Уилкинса, что, учитывая объём корреспонденции, король Карл сейчас как никогда близок к упомянутому человеку… и

привёл аналогию с золотыми обручами.

— И вы решили, что он имеет в виду брачные узы?

— Даже я понял, что он имел в виду, — запальчиво отвечал Даниель.

— Епископ, разумеется, тоже. Каким он вам показался в ту минуту?

— Расстроенным. Просил подтвердить, что официальные переговоры ведут «два архидиссидента».

— Это секрет — впрочем, хорошо известный тем, кто ночами разъезжает по Лондону в частных экипажах. Переговоры с Францией ведут граф Шафтсбери и старый приятель короля, участник его беспутств — герцог Бекингем. Избранные не за дипломатический опыт, а за то, что даже ваш покойный батюшка не обвинил бы их в симпатиях к папистам.

Подошёл, совершая обход, стражник.

— Добрый вечер, мистер Ольденбург. Здравствуйте, мистер Уотерхауз.

— Добрый вечер, Джордж. Как подагра?

— Спасибо, сэр, сегодня получше — припарка вроде помогает. Где вы взяли рецепт?

Джордж назвал пароль другому стражнику на Соляной башне, получил ответ, развернулся

и, ещё раз пожелав им доброго вечера, зашагал прочь.

Даниель любовался видами, покуда не убедился, что подслушать их может лишь гуляющий рядом ворон размером со спаниеля.

В полумиле выше по течению реку делили на рукава и практически перегораживали рукотворные острова, поддерживающие череду коротких каменных арок. Арки соединяло перекрытие, местами деревянное, местами каменное, почти полностью застроенное домами, которые расползались во все стороны, далеко выступая над водой, так что от падения их удерживали лишь диагональные балки. Выше и ниже река текла медленно, но, загнанная между островами, принималась бурлить. Сами острова и берега Темзы на милю вниз были усеяны обломками лодок, не совладавших со стремниной под Лондонским мостом. Такое случалось примерно раз в неделю, и тогда на берег выбрасывало трупы и пожитки незадачливых пассажиров.

Некоторые части моста оставались незастроенными, чтобы пожар не перекинулся через реку. В одном из таких просветов остановилась женщина, чтобы закинуть кувшин в бурлящий поток. Даниель не видел её лица, но знал, что на

нём намалёвана грубая маска — защита от сглаза. Мельничные колёса, сооружённые под одной из арок, громыхали так, что Ольденбургу с Уотерхаузом за милю от моста приходилось немного повышать голос и ближе наклоняться друг к другу. Даниель подозревал, что это не случайно, — они приближаются к той части разговора, которую Ольденбург предпочёл бы сохранить в тайне от стражников.

За Лондонским мостом, но гораздо дальше по реке светился огнями Уайтхолл. Даниель почти убедил себя, что сегодня он озарён зеленоватым сиянием, поскольку Енох Красный демонстрирует королю, придворным и самым уважаемым членам Королевского общества новый элемент под названием «фосфор».

— Дальше Пепис заговорил загадками, которых не смог понять даже Уилкинс, — продолжил Даниель. — Он сказал: «Отсылаю вас к главе десятой вашего опуса тысяча шестьсот сорок первого года».

— К «Криптономикону»?

— Полагаю, да. В главе десятой Уилкинс описывает стеганографию — способ скрыть сообщение в безобидном с виду письме… — Здесь Даниель остановился, поскольку Ольденбург изобразил на

лице притворно-наивное любопытство. — Думаю, вам прекрасно это известно. Уилкинс извинился за тупость и спросил, говорит ли Пепис о *вас*.

— Хо-хо-хо! — загрохотал Ольденбург, и его хохот канонадой раскатился в каменных стенах Внутреннего двора.

Ворон подлетел ближе и закричал: «Кар! Кар! Кар!» Оба человека засмеялись. Ольденбург вытащил из кармана кусок хлеба и протянул ворону. Тот вприпрыжку подошёл и раскрыл клюв, чтобы взять хлеб из пухлой бледной руки, — однако Ольденбург отвёл её и сказал отчётливо: «Криптономикон».

Ворон склонил голову набок, открыл клюв и затрещал. Ольденбург вздохнул и раскрыл ладонь.

— Я учу его говорить, — сказал он, — но это слово для ворона сложновато.

Ворон схватил хлеб из его ладони и запрыгал прочь, на случай если Ольденбург передумает.

— Растерянность Уилкинса понятна, однако смысл пеписовых слов вполне ясен. Кое-кто выше по течению… — взмах рукой в сторону Уайтхолла, — считает, что я шпион и пересылаю континентальным монархам сведения, запрятанные в якобы философскую переписку. Им невдомёк, что человека могут и впрямь занимать

новые виды угрей или методы квадратуры гиперболы. Однако Пепис говорил о другом — он неизмеримо умнее. Он объяснял Уилкинсу, что не слишком секретные переговоры, которые ведут Бекингем и Шафтсбери, подобно внешне безобидному письму, скрывают *по-настоящему* секретный договор, который два короля заключают при посредничестве Минетты.

— Боже правый, — проговорил Даниель и опёрся о стену, чтобы от головокружения не свалиться в ров.

— Договор, о подробностях которого мы можем лишь догадываться, за исключением одной: благодаря ему среди ночи появляется золото.

Ольденбург указал на речные ворота Тауэра. Осторожность не позволила ему произнести старинное название: Ворота изменников.

— Пепис мимоходом упомянул, что Томас Мор Англси наполняет флотскую казну… тогда я его не понял.

— Наш герцог Ганфлитский связан с Францией теснее, чем кто-либо думает, — сказал Ольденбург, но объяснять ничего не стал.

А так как серебро и золото имеют свою ценность от их материала, то они имеют, во-первых, ту привилегию, что их ценность не может быть изменена властью одного или нескольких государств, ибо они являются общим мерилом товаров всех стран. Деньги же, сделанные из неблагородных металлов, легко могут быть повышены или понижены в своей стоимости.

Гоббс, «Левиафан»

Чуть позже Ольденбург деликатно выставил его вон, чтобы заняться почтой. Под вежливо-любопытными взглядами стражников и полуручных воронов Даниель прошёл по Уотер-Лейн на южном краю Тауэра. Он миновал большую прямоугольную башню во внешней стене и с опозданием сообразил, что, повернув голову влево, мог бы взглянуть прямо через Ворота изменников. Теперь было поздно, а возвращаться не хотелось. Может, и к лучшему, что он не стал пялиться на ворота, — вдруг кто-нибудь за ним следит и догадается, что Ольденбург о них упомянул.

Неужто он мыслит как придворный?

Справа вставала тяжёлая восьмиугольная громада Колокольной башни. Проходя мимо, Даниель отважился заглянуть в промежуток между двумя стенами, не более пятидесяти футов шириной. Половину этого пространства занимали низкие строения Монетного двора. Пылающие горны за окнами бросали тёплые отблески на высокие стены, выхватывая из тьмы чёрные силуэты угольных телег. Люди с мушкетами угрюмо смотрели на Даниеля. Рабочие ходили из здания в здание, устало волоча ноги.

Он прошёл в арку башни Байворд, стоящей над Уотер-Лейн для защиты от нападения с суши. Ворон сидел на водосточной трубе и крикнул ему в спину: «Кромвель!», когда Даниель вступал на подъёмный мост, ведущий через ров, от башни Байворд к Средней. За Средней башней располагалась Львиная, но королевский зверинец спал, и львиного рыка Даниель не услышал. Здесь он по очередному подъёмному мосту миновал последнее ответвление рва, оказался в маленьком дворе, называемом Бастионным, и, наконец, через последние маленькие ворота вышел в большой мир, хотя ему предстояло ещё пройти по залитому луной безлюдному гласису, мимо

шныряющих крыс и собачьих свадеб, прежде чем оказаться среди людей и домов.

Теперь Даниель был в лондонском Сити и чувствовал лёгкую потерю ориентации: некоторые улицы спрямили после Пожара. Он вытащил из кармана массивное золотое яйцо — одни из экспериментальных часов Гука, очередная неудачная попытка решить Задачу Определения Долготы. Стрелки показывали, что демонстрация фосфора в Уайтхолле пока не закончилась, а вот заглянуть к родственникам ещё прилично. Даниелю не очень хотелось идти к ним и не слишком верилось, что ему будут особенно рады, однако он знал, что именно так такие, как Пепис, становятся такими, как Пепис. Итак, к Хаму.

Окна горели ярко — на свечи тут явно не скупились; перед крыльцом стоял экипаж, запряжённый парою лошадей. Даниель с изумлением обнаружил на дверях кареты собственный семейный герб — за́мок, перекинутый через реку, как мост. Дом исходил дымом, словно кузнечный горн; серые клубы над огромными трубами подсвечивались желтоватыми отблесками огня. Поднимаясь по ступеням, Даниель различил пение, которое сбилось, но не смолкло, когда он постучал. Это была очень модная песенка, в

которой высмеивались ум, трудолюбие и успехи голландцев. Дворецкий виконта Уолбрукского*[32] открыл дверь и распознал в Даниеле гостя, а не клиента, который врывается среди ночи, размахивая распиской.

Мейфлауэр Хам, урожденная Уотерхауз — светленькая толстушка, которой никто не дал бы её пятидесяти лет, скорее тридцать, — стиснула Даниеля так, что ему пришлось встать на цыпочки. Климакс наконец-то положил конец её чрезвычайно сложным и запутанным отношениям с собственной утробой — легендарной саге нерегулярных кровотечений, одиннадцатимесячных беременностей, занесённых в анналы Королевского общества, пугающих предзнаменований, выкидышей, душераздирающих периодов бесплодия, перемежаемых полосами такой плодовитости, что дядя Томас боялся к ней приближаться, опущений, загибов, изгибов и прочих перегибов, жутких маточных колик, загадочных взаимодействий с Луной и прочими небесными телами, чудовищного дисбаланса всех четырёх гуморов, известных врачебной науке, и ещё нескольких, известных только

---

[32] Примечания: 32

* Король пожаловал Томасу Хаму титул виконта Уолбрукского.

Мейфлауэр, сейсмических урчаний, слышных в соседних комнатах, рассосавшихся опухолей и — как ни трудно поверить! — трёх успешных беременностей, завершавшихся четырёхдневными родами, во время которых прочные кровати ломались, как тростинки, картины тряслись и падали со стен, а череда викариев, повитух, врачей и родственников без сил расползалась по домам. Мейфлауэр родилась со счастливой способностью всегда и везде без смущения рассказывать про своё нутро; нельзя было угадать, в каком месте разговора или письма она пустится в подробный отчёт, от которого собеседники покрывались испариной и задумывались о вещах изначальней и проще эсхатологии: сам Дрейк затыкался про Апокалипсис, когда Мейфлауэр заводила о своём женском. Дворецкие сбегали, служанки падали без чувств. Лоно Мейфлауэр правило настроениями Англии, как Луна правит приливами.

— Как… э… *здоровье*? — спросил Даниель, внутренне напрягаясь, но она лишь улыбнулась, извинилась, что дом не до конца отделан (впрочем, модные дома никогда не бывали отделаны до конца), и повела его в гостиную, где дядя Томас развлекал Стерлинга и Беатрис Уотерхаузов, а также сэра Ричарда Апторпа с супругой. Наряды

не настолько давили роскошью, и Даниель не чувствовал себя таким уж чудовищно неуместным, как вчера в кофейне. Стерлинг приветствовал его ласково, словно говоря: «Извини, братец, но тогда это были дела».

По-видимому, они что-то отмечали. Упоминалась большая предстоящая работа, и Даниель предположил, что речь идёт о каком-то этапе проекта, связанного с застройкой. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил, откуда он, чтобы можно было беспечно ответить: мол, ходил в Тауэр, помахивая приказом государственного секретаря. Однако никто не спрашивал. Через некоторое время Даниель понял, что, если бы они и узнали, им было бы, в сущности, всё равно. Дверь, выходящая на Корнхилл, постоянно скрипела, открываясь, и с грохотом захлопывалась. Наконец Даниель поймал взгляд дяди Томаса и глазами спросил, что там происходит. Через несколько минут виконт Уолбрукский встал, будто бы по нужде, однако, выходя из комнаты, похлопал Даниеля по плечу.

Даниель вышел вслед за ним в тёмный коридор, освещённый лишь алыми отблесками в дальнем конце. Он ничего не видел за карикатурным силуэтом хозяина, но слышал, как что-то с шумом

пересыпают лопатой, — видимо, забрасывают уголь в печь. Впрочем, иногда слышался ледяной звон падающей на каменный пол монетки.

В коридоре становилось всё более жарко и душно; наконец они попали в обложенное кирпичом помещение, где рабочий в исподнем засыпал уголь в раскрытую дверцу плавильной печи, которую заметно расширили, когда отстраивали дом после Пожара. Другой рабочий ногами качал мехи, взбираясь по бесконечной лестнице. В старые времена печь была как для выпечки пирожков — в самый раз для ювелира, который изготавливает ложки и серьги. Сейчас она выглядела так, словно в ней можно переливать пушки, и половина веса здания приходилась на трубу.

На полу стояли чугунные сундуки, частью пустые, частью наполненные серебряным монетами. Один из старших приказчиков Хама сидел на полу в луже собственного пота и вслух отсчитывал монеты на блюде: «Девяносто восемь… девяносто девять… сто!» — после чего вручил блюдо Чарльзу Хаму (младшему из братьев; Томас был старшим), который высыпал монеты на чашку весов, взвесил при помощи медной гири и ссыпал в плавильный тигель размером с хорошую корзину. Операция повторялась, покуда

тигель не заполнился почти доверху. Затем раскалённую дверцу печи распахнули — в комнату вонзились кинжалы голубоватого огня, Чарльз Хам надел чёрные рукавицы, поднял с пола огромные клещи, сунул их в печь, попятился, потянул и вытащил другой тигель: чашу бело-жёлтого, словно нарцисс, огня. Поворачиваясь с большой осторожностью, он переместил тигель (Даниель мог бы проследить его движения с закрытыми глазами, по жару) и наклонил. Ток светящейся жидкости дугой устремился в глиняную форму. Другие формы стояли по всей комнате — жёлтые, оранжевые, красные, тускло-бурые до чёрного; однако, когда на них падал свет, они поблескивали серебром. Наполнив форму до краёв, Чарльз Хам поставил её на весы, потом взял клещами тигель с монетами и сунул его в печь. Всё это время человек на полу не переставал отсчитывать монеты, осипший голос напевно выкликал числа, монеты звякали — дзинь-дзинь-дзинь.

Даниель шагнул вперёд, нагнулся, взял монету из сундука и повернул, как зеркальце в Исааковом телескопе. Он ожидал увидеть тусклый шиллинг с полустёртым портретом королевы Елизаветы, может быть, старый пиастр или талер из тех, что иногда попадали к Хамам при обмене.

Однако увидел он новёхонький профиль Карла II, оттиснутый в яркой лужице блестящего серебра, — саму безупречность. Сияющий профиль напомнил о ночных событиях 1666 года. Даниель бросил монету в сундук. Потом, не веря своим глазам, запустил туда руку и вытащил пригоршню. Они были все одинаковые. Гуртики, только что из хитроумной машины мсье Блондо, едва не резали пальцы; монеты были тёплые, как парное молоко.

Жар выматывал. Даниель вместе с дядей Томасом вышел в уличную прохладу.

— Они *ещё тёплые*! — воскликнул он.

Дядя Томас кивнул.

— С Монетного двора?

— Да.

— Вы хотите сказать, что деньги, отчеканенные сегодня на Монетном дворе, *той же ночью* переливают в *слитки* на Треднидл-стрит?

Теперь Даниель приметил, что трубы апторповой лавки, через два дома от них, тоже дымятся, как и в других златокузницах по всей Треднидл.

Дядя Томас ханжески поднял брови.

— И куда они отправляются потом? — спросил Даниель.

— Такое мог спросить только член Королев-

ского общества, — сказал Стерлинг Уотерхауз, вышедший вслед за ними.

— О чем ты, брат? — спросил Даниель.

Стерлинг медленно шёл к ним. Вместо того чтобы остановиться, он раскинул руки, обнял Даниеля и поцеловал его в щеку. В дыхании — ни намёка на спиртное.

— Никто не знает, куда они отправляются. Это *не важно*. Важно, что они *отправляются* — движутся, и движение не останавливается. Это кровь в жилах коммерции.

— Но вы должны что-то делать с серебром…

— Мы передаём его джентльменам, которые дают нам что-то в обмен, — пояснил дядя Томас. — Спрашивает ли торговка на Биллинсгейтском рынке, куда отправляется её рыба?

— Общеизвестно, что серебро просачивается на Восток и оседает в сокровищнице Великого Могола либо китайского императора, — сказал Стерлинг. — По дороге оно может сотни раз перейти из рук в руки. Я ответил на твой вопрос?

— Я уже не верю в то, что увидел, — промолвил Даниель и пошёл назад в дом.

Сквозь тонкие кожаные подошвы чувствовалась каждая неровность булыжной мостовой, пуританское платье висело жёсткими складка-

ми, железные перила холодили ладонь. Он был пылинкою в грязной луже и хотел одного: вернуться к огню, жару и цветному свечению.

Некоторое время он стоял в литейной и глядел, как плавят серебро. Больше всего ему нравилось, как жидкий металл собирается в носике наклонённого тигля, потом переливается через край и прочерчивает в воздухе светящуюся дугу.

— Ртуть есть первичный материал всех металлов, ибо все металлы при плавке превращаются в неё, и она их поглощает, ибо имеет одну с ними природу…

— Кто это сказал? — спросил Стерлинг, приглядывая за переменчивым младшим братцем.

— Какой-то чёртов алхимик, — отвечал Даниель. — Сегодня я оставил всякую надежду когда-нибудь уразуметь деньги.

— На самом деле это просто…

— И всё же не так просто, — сказал Даниель. — Они следуют простым правилам, подчиняются логике, следовательно, натурфилософия должна их охватывать и объяснять; я, знающий и разумеющий больше почти всех остальных членов Королевского общества, должен был бы их понимать. Но нет… мне этого не постичь… Если деньги — наука, то ещё более тёмная, чем алхимия. Она

отделилась от натурфилософии тысячелетия назад и с тех пор развивается по собственным законам.

— Алхимики учат, что рудные жилы в земле суть ветви огромного древа, ствол которого расположен в центре земли, и металлы поднимаются по ним, словно сок, — сказал Стерлинг. Отблески огня лежали на его задумчивом лице.

Даниель так устал, что сперва не понял аналогии; а может быть, он недооценил брата. Ему подумалось, что тот просит подсказки, где искать золотые жилы. Только в карете Стерлинга по пути к Чаринг-Кросс до него дошло, что хотел сказать брат: рост денег и коммерции с позиций натурфилософии подобен разрастанию огромного подземного древа. Его можно подозревать, ощущать, иногда использовать практически, но никогда — постичь до конца.

Таверна «Голова короля» была темна, но не закрыта. Войдя, Даниель увидел там и сям — на стенах и на столах — островки зеленоватого света и услышал, как знатные люди говорят приглушёнными голосами и время от времени взрываются озорным смехом. Но вот свечение померкло, и служанки горящими лучинами зажгли лампы. Теперь Даниель увидел Пеписа, Уилкинса

и Комстока, а также герцога Ганфлитского, сэра Кристофера Рена, сэра Уинстона Черчилля и — за лучшим столом — графа Апнорского, одетого во что-то вроде трёхмерного персидского ковра, отороченного мехом и осыпанного бусинками цветного стекла; а может, это были драгоценные камни.

Апнор рассказывал про фосфор трём сухопарым дамам, обклеенным чёрными мушками:

— Адептам алхимии известно, что каждый металл создают лучи определённой планеты, проникающие в глубь Земли. Так, Солнце рождает золото, Луна — серебро, Меркурий — ртуть, Венера — медь, Марс — железо, Юпитер — олово, и Сатурн — свинец. Открытая господином Роотом новая элементарная субстанция заставляет предположить, что есть неизвестная науке планета — возможно, зелёного цвета — за орбитой Сатурна.

Даниель двинулся в сторону стола, за которым говорили, отрешённо глядя в пустоту, Черчилль и Рен.

— Он смотрит на восток и расположен довольно далеко на севере, ведь так? Быть может, король захочет назвать его Новым Эдинбургом?

— Да, чтобы пресвитериане возгордились! —

колко произнёс Черчилль.

— Он *не так* далеко на севере, — подал голос Пепис из-за соседнего стола. — Бостон лежит севернее на полтора градуса широты.

— Мы не ошибёмся, посоветовав ему назвать его в свою честь…

— Чарльстаун? Это название уже использовано — опять-таки в Бостоне.

— Тогда в честь его брата? Однако Джемстаун уже есть в Виргинии.

— О чём речь? — спросил Даниель.

— О Новом Амстердаме. Наш монарх получил его в обмен на Суринам, — сказал Черчилль.

— Говорите, сэр Уинстон! Ещё могут быть бродяги в Дорсете, которые вас не слышали! — захохотал Пепис.

— Король просил Королевское общество подыскать название для города, — очень тихо продолжал Черчилль.

— М-м-м… его брат ведь вроде как завоевал это место? — спросил Даниель. Он знал ответ, но не мог указывать таким людям.

— Да, — со знанием дела произнёс Пепис. — Это была часть атлантической кампании Йорка: перво-наперво он отбил у голландцев несколько гвинейских портов, богатых золотом и рабами, а

затем с попутным пассатом отплыл к следующей добыче — Новому Амстердаму.

Даниель отвесил ему лёгкий поклон и продолжил:

— Если вы не можете использовать имя «Джеймс», быть может, воспользоваться *титулом*… в конце концов, Йорк — город на севере *нашего* восточного побережья, но не *так* далеко к северу…

— Уже думали, — мрачно отвечал Пепис. — Есть Йорктаун в Виргинии.

— А может, «Нью-Йорк»? — предложил Даниель.

— Умно… однако слишком очевидное производное от «Новый Амстердам», — заметил Черчилль.

— Если мы назовём его Нью-Йорк, то получится, что в честь города Йорка, а нам надо в честь *герцога* Йоркского, — ехидно возразил Пепис.

Даниель сказал:

— Вы, разумеется, правы…

— Да полно вам! — Уилкинс хлопнул ладонью по столу, разбрызгивая пиво и фосфор во все стороны. — Не педантствуйте, мистер Пепис. Все поймут, что это означает.

— По крайней мере, все, кто достаточно умён,

чтобы иметь хоть какой-нибудь вес, — вставил Рен.

— Э… ясно… вы предлагаете более *тонкий* подход, — пробормотал сэр Уинстон Черчилль.

— Давайте занесём его в список, — предложил Уилкинс. — Чем больше мы придумаем названий с «Джеймс» и «Йорк», тем лучше.

Сэр Уинстон Черчилль одобрительно хмыкнул — а может, он просто прочищал горло или подзывал служанку.

— Как вам будет угодно… моё дело маленькое, — сказал Даниель. — Я так понимаю, что демонстрация господина Роота была принята благосклонно?

По какой-то причине все разом покосились на графа Апнорского.

— Она шла успешно, — отвечал Пепис, придвигаясь к Даниелю, — пока мистер Роот не пригрозил отшлёпать графа. Не смотрите на него, не смотрите на него.

Продолжая спокойно говорить, Пепис взял Даниеля под руку и развернул от Апнора. Очень некстати, потому что Даниель только что различил слова «Исаак Ньютон» и намеревался подслушать.

Пепис провёл Даниеля мимо Уилкинса, кото-

рый в этот момент добродушно шлёпал по задику служанку. Трактирщик позвонил в колокольчик, и все задули свет; теперь в таверне светился лишь обретший новую силу фосфор. Все сказали: «Ух ты!», и Пепис вытащил Даниеля на улицу.

— Вы знаете, что господин Роот получает фосфор из мочи?

— Ходят такие слухи, — отвечал Даниель. — Мистер Ньютон разбирается в алхимии лучше меня; он сказал, что Енох Красный пытался по старинному рецепту получить из урины философскую ртуть и случайно наткнулся на фосфор.

— Да, и рассказывает целую историю о том, как нашёл рецепт в Вавилонии. — Пепис закатил глаза. — Придворные слушали как зачарованные. Так или иначе, для сегодняшней демонстрации он собрал мочу из Уайтхолла и выпаривал её *бесконечно* на барже посреди Темзы. Не стану мучить вас подробностями, довольно сказать, что, когда он закончил и зрители перестали хлопать, все придворные как один начали сравнивать лучезарность короля с лучезарностью фосфора…

— Полагаю, это было обязательно…

Уилкинс, грохнув дверью, вышел из таверны, по-видимому, с единственной целью: посмотреть, как Даниелю будут пересказывать эту историю.

— Граф Апнорский высказался в том духе, что причиной всему некая особая субстанция — королевский гумор, пронизывающая тело монарха и выделяемая с мочой. Когда все придворные согласились и отвосхищались философскими познаниями графа, Енох Красный сказал: «По правде говоря, бóльшая часть мочи принадлежала королевским гвардейцам и лошадям».

— Тут граф вскочил! Рука его потянулась к шпаге, — разумеется, чтобы защитить честь короля, — вставил Уилкинс.

— А что его величество? — спросил Даниель.

Уилкинс изобразил руками весы и покачал ими вверх-вниз.

— И тут мистер Пепис перевесил чашу весов. Он рассказал историю времён Реставрации. В тысяча шестьсот шестидесятом году он был на корабле с королём и некоторыми приближёнными, включая графа Апнорского, тогда двенадцати лет. Ещё на борту был любимый старый пёс короля. Пёс нагадил на палубу. Молодой граф пнул пса и хотел выбросить за борт, но король остановил его, сказав со смехом: «По крайней мере в некоторых смыслах короли ничем не отличаются от простых смертных!»

— Он правда это сказал?! — вскричал Даниель

и тут же почувствовал себя полным болваном.

– *Разумеется*, нет, — отвечал Пепис. — Я просто пересказал историю таким образом, поскольку это казалось мне полезным.

— И помогло?

— Король рассмеялся, — сказал наконец Пепис.

— И Енох Красный спросил, не пришлось ли отшлёпать графа, чтобы научить его почтению к старшим.

— К старшим?

— Пёс был старше графа… слушайте внимательнее! — сурово нахмурился Пепис.

— Мне кажется, это были опрометчивые слова, — пробормотал Даниель.

— Король ответил: «Нет, нет, Апнор всегда был учтивым малым» — или что-то в таком роде, и дуэли не произошло.

— Однако Апнор злопамятен…

— Енох отправлял в ад людей получше Апнора, за него не тревожьтесь. Займитесь собственными недостатками, молодой человек, — излишней серьёзностью, например…

— Склонностью к беспокойству, — вставил Пепис.

— Недолжной трезвенностью… Идёмте назад в таверну!

Он проснулся когда-то на следующий день в наёмном экипаже по пути в Кембридж — в замкнутом пространстве вместе с Исааком Ньютоном и его разнообразными приобретениями: шестью томами «*Theatrum Chemicum*»*[33], многочисленными ящичками, набитыми соломой, из которой торчали горлышки реторт и пахло чем-то незнакомым. Исаак говорил:

— Если будешь ещё блевать, то, пожалуйста, в эту миску: я собираю желчь.

Эту просьбу Даниель удовлетворил сразу.

— Думаешь преуспеть в том, что не удалось Еноху Красному?

— О чём ты?

— Хочешь получить философскую ртуть?

— А чем ещё можно заниматься?

— Королевское общество в восторге от твоего телескопа, — сказал Даниель. — Ольденбург просит тебя о нём написать.

— М-м-м… — рассеянно проговорил Исаак, сравнивая отрывки из трёх книг сразу. — Не подержишь минуточку?

Так Даниель стал живой подставкой для книг; впрочем, сейчас он ни на что лучшее и не го-

---

[33] Примечания: 33

* Огромный, мутный, невразумительный компендиум алхимических знаний.

дился. Следующий час у него на коленях лежал фолиант в четыре дюйма толщиной, оправленный в золото и серебро и явно изготовленный за столетия до Гуттенберга. Даниель едва не ляпнул: «Он небось обошёлся тебе в чёртову уйму денег», но при ближайшем рассмотрении обнаружил вклеенный экслибрис с гербом Апнора и дарственной надписью:

Мистер Ньютон!

Пусть этот том будет так же драгоценен для Вас, как для меня — воспоминания о нашей нечаянной встрече.

АПНОР

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс

ноябрь 1713

Как только они выходят из Плимутской бухты в залив Кейп-Код, ван Крюйк вновь становится капитаном и возвращается в свою каюту. Он несколько расстроен, застав её в беспорядке. Наверное, Даниель и впрямь горький старый атеист с мозгами набекрень, поскольку при взгляде на перекошенное лицо капитана с трудом сдерживает смех. «Минерва» — собрание досточек, удерживаемое вместе гвоздями, нагелями, найтовами и паклей и не тянущее даже на соринку в глазу мира, скорее на крохотный зародыш из тех, что Гук обнаружил под микроскопом. Она удерживается на плаву лишь потому, что матросы день-деньской качают помпы, не переворачивается лишь потому, что очень умные люди постоянно наблюдают за небом и за морем вокруг. Каждый парус и трос тает с заметной скоростью, словно снег под солнцем, и матросы должны постоянно тренцевать, клетневать, смолить и сплеснивать бесконечную паутину

пеньковых снастей, чтобы «Минерва» не рассыпалась посреди океана, как воображает Даниель, с внезапностью взрыва. Подобно змее, меняющей кожу, она сбрасывает истёртое и сломанное, заменяя новым из внутренних резервов, — эволюционирует. Единственный способ поддержать эту постоянную и насущную эволюцию — пополнять припасы в трюме, убывающие столь же неумолимо, как сочится в щели вода. Для этого необходимо доставлять товары из порта в порт, зарабатывая немного денег в каждом рейсе бесконечного плавания. Каждый день сталкивает их с ураганами и пиратами. Выйти в море и увидеть «Минерву» — все равно что в пустыне обнаружить пирамиду Хеопса, стоящую вверх тормашками. Она — дитя в корзине, книга в огне. И притом ван Крюйку хватило духу оснастить свою каюту, словно барскую гостиную, хрупкими барометрами, часами и оптическими приборами, приличной библиотекой, инкрустированным кабинетом с фарфоровой посудой, запасом портвейна и бренди. У него тут *зеркала*, скажите на милость! Мало того, войдя в каюту и обнаружив немного битого стекла на полу и ударные кратеры в переборках, он приходит в такую ярость, что Даниель и без слов Даппы понимает: капитана

лучше на время оставить одного.

— Итак, занавес над представлением опустился. Понимаю, человек в вашем положении может чувствовать себя ненужной ракушкой, приросшей к корабельному днищу, помехой морякам, однако на «Минерве» всем найдётся работа, — говорит Даппа, ведя его на батарейную палубу.

Даниель не слушает, захваченный зрелищем. Все преграды, загромождавшие палубу, убраны или выброшены за борт в угоду пушкам. Они были принайтовлены параллельно корпусу, сейчас развёрнуты на девяносто градусов и нацелены в орудийные порты. Поскольку корабль идёт заливом Кейп-Код, в милях от ближайшего неприятеля, порты закрыты. Однако матросы, словно рабочие за кулисами, суетятся с разными замысловатыми орудиями: фитильными пальниками, подъёмными клиньями, правилами и такелажными лопатками. Один держит что-то похожее на большую лупу, только без стекла: пустое железное кольцо на рукоятке; он сидит верхом на ящике с ядрами и пропускает их в кольцо, сортируя по размеру. Другие выстругивают деревянные кругляшки, называемые поддонами, и привязывают их к ядрам. Однако люди со стальными инструментом возле пороховых бочонков

не приветствуются — от стали бывают искры.

Матрос-ирландец разговаривает с плимутским пиратом, захваченным сегодня утром. Их разделяет пушка, а когда людей разделяет пушка, то и говорят обычно о ней.

— Это Вострушка Венди, или цаца, как мы иногда для краткости кличем её в разгар боя, хотя можно называть её «милка» или «зазноба», но ни в коем случае не Вертихвостка и не Ветреница Венди, как вот *они*, — суровый взгляд в сторону расчёта другой пушки, Мистера Фута, — пытаются её обозвать.

— А что, и впрямь ветрена?

— Как всякую барышню, её надо узнать поближе, и тогда в её непостоянстве становится видна последовательность — своего рода верность. Первое, что ты должен запомнить про нашу девоньку, что она обычно бьёт выше и левее центра. И ещё она очень неподатлива, наша целочка Венди, поэтому ядра надо брать поменьше и вставлять их понежнее…

Кто-то из расчёта Манильского Сюрприза на мгновение приоткрывает орудийный порт, и в него бьёт солнце. Однако Манильский Сюрприз на левом борту корабля.

— Мы плывём на юг?! — восклицает Даниель.

— Лучший курс при северном ветре, — отвечает Даппа.

— Но там всего в нескольких милях — мыс Кейп-Код! Как же мы выберемся?

— Как вы правильно поняли, чтобы обогнуть полуостров, нам некоторое время придётся идти в бейдевинд, — соглашается Даппа. — Тут-то флотилия Тича на нас и нападёт. Однако у его кораблей косое парусное вооружение, и они смогут держать круче к ветру, чем наша дорогая «Минерва» с её прямыми парусами. Преимущество на стороне Тича.

— Так не следует ли нам направиться к северу, покуда не поздно?

— Он настигнет нас через несколько минут — весь его флот разом. Мы предпочли бы сражаться с каждым из его кораблей по отдельности. Посему пока на юг. На фордачок под всеми парусами мы идём быстрее. Тич знает, что может упустить нас, преследуя к югу. Однако знает он и другое: рано или поздно мы должны повернуть к северу, потому расставит корабли в цепь и будет нас дожидаться.

— Однако разве Тич не будет думать о том же самом и держать свою флотилию вместе?

— В дисциплинированном флоте, рвущемся

к победе, так бы оно и было. Мы же имеем дело с пиратским флотом, рвущимся к добыче, а по пиратским законам львиная доля достанется кораблю, взявшему приз.

— А… то есть каждый капитан постарается вырваться вперёд и напасть независимо.

— Именно так, доктор Уотерхауз.

— Но не безрассудно ли маленькому шлюпу атаковать *такой* корабль?

Даниель обводит рукой батарейную палубу: шумную ярмарку, по которой стремительно циркулируют ядра, поддоны, пороховые бочонки, враки, остроты и обещания.

— Отнюдь нет, если на корабле недостаёт команды, а капитан — выживший из ума трус. Теперь если вы соблаговолите спуститься со мной в трюм… не беспокойтесь, я зажгу фонарь, как только мы будем достаточно далеко от пороха… вот. Чистый корабль, вы согласны?

— Простите? Чистый? Да, думаю, для корабля… — говорит доктор Уотерхауз. Он не поспевает за быстрыми, как ртуть, мыслями Даппы.

— Благодарю вас, сэр. Однако это изъян, когда в бою дело доходит до мушкетонов. Мушкетоны, как вам, возможно, известно, хороши тем, что из них можно палить любыми гвоздями, камеш-

ками, щепками и другим подручным мусором. Однако мы на «Минерве» взяли в привычку выметать весь сор за борт несколько раз на дню. В такие дни, как сегодняшний, мы сожалеем о своей чистоплотности.

— Я знаю о мушкетонах больше, нежели вы можете вообразить. Чего вы от меня хотите?

— Чуть позже один из наших людей научит вас делать зажигательные снаряды, но пока мы к этому не готовы, потому я попрошу вас спуститься в трюм, и…

Тому, что Даппа говорит дальше, доктор Уотерхауз не верит, пока не оказывается в трюме. Он прежде там не бывал и думал увидеть полную неразбериху, как в хранилище Королевского общества. Но нет: бочки и тюки расставлены аккуратно и тщательно принайтовлены; на переборке у трапа висит схема с точными указаниями, что когда и куда помещено. В самом низу, под словом «льяло», рукой ван Крюйка приписка: «Устаревший фаянс — держать под рукой».

Даппа оторвал двух матросов от дела, которому те предавались последние полчаса: учёной беседе о приближающемся пиратском шлюпе. Матросы считали это достойным времяпрепровождением, Даппа — нет. Минуту они сверяются со схемой, и

Даниель с умеренным изумлением осознает, что оба умеют читать и понимают цифры. Матросы сходятся на том, что старый фаянс должен быть в носовой части трюма. Это самая красивая часть корабля: многочисленные шпангоуты отходят от изогнутого вверх киля, образуя перевёрнутый свод. Чувствуешь себя мухой, исследующей купол собора. Матросы отодвигают несколько ящиков, не умолкая ни на минуту — пытаются перещеголять друг друга леденящими кровь байками о жестокости знаменитых морских разбойников. Потом поднимают люк, ведущий в нижний отсек трюма, и в мгновение ока вытаскивают два ящика безобразнейшей фаянсовой посуды. Сами ящики — из отличного виргинского можжевельника, который не гниёт в сырости. Посуда ничем не переложена, так что часть работы за Даниеля уже сделана. Он благодарит матросов, те смотрят на него удивлённо и уходят наверх. Даниель расстилает на палубе старый гамак — два ярда парусины, — высыпает на него содержимое ящика и принимается орудовать молотком.

Каков оптимальный размер черепков (думает Даниель) для стрельбы из мушкетона? Когда во время Пожара королевский стражник выстрелил ему в спину, он получил синяки и порезы,

но ни единой *раны*. Вероятно, чем больше, тем лучше, что облегчает дело. Легко представить, как острый треугольник ярко глазурованного фаянса впивается в пирата, рассекая вену или артерию. Однако слишком большие осколки не влезут в дуло. Даниель решает остановиться на скромном диаметре в полдюйма и соответственно бьёт тарелки, ссыпая куски нужного размера в парусиновые мешочки, а более крупные оставляя для дальнейшей экзекуции. Занятие приятное: через некоторое время он ловит себя на том, что поёт песенку — те самые куплеты, что исполнял с Ольденбургом в Башне широкой стрелы. Он отбивает ритм молотком, подбирая ноты, с которыми резонирует трюм. Вокруг сочится в щели между досок вода (он сидит много ниже ватерлинии) и, весело журча, бежит в льяло; помпы откачивают её с мерным чмоканьем и присвистом, словно бьющееся сердце в систолу и диастолу.

Колледж Грешема, Бишопсгейт, Лондон

Инквизитор-иезуит Риччоли тщился семьюдесятью семью доводами опровергнуть учение Коперника… Думаю, это единственное открытие ответит на них на все и ещё на семьдесят семь, ежели кто-нибудь сумеет столько измыслить.

Роберт Гук

1672

Добрую половину двух прошлых месяцев Даниель провёл на крыше Грешем-колледжа, трудясь над дырой — пробивая её, не чиня. Гук не мог этого делать из-за усилившихся головокружений; случись очередной приступ на крыше колледжа, он бы рухнул вниз, словно червивое яблоко с ветки — последний эксперимент в исследовании загадочной силы тяжести.

Для человека, который, по собственным словам, ненавидит разглядывать острые предметы под микроскопом, Гук проводил удивительно много времени, оттачивая колкие доводы против иезуитов. Покуда Даниель проделывал дыру в крыше,

Гук на безопасном уровне расхаживал взад-вперёд по галерее. В паху у него было закреплено жёсткое седло, от которого отходил прут к снабжённому циферблатом колёсику: собственного изобретения шагомер, позволяющий определить, сколько он проходит, не уходя *никуда*. Цель (как объяснял он Даниелю и другим обескураженным членам Королевского общества) — не попасть из точки А в точку Б, а вспотеть. Каким-то образом с пóтом из организма выходит нечто, вызывающее мигрень, тошноту и головокружения. Время от времени Гук останавливался и, дабы освежиться, выпивал стакан чистой ртути. В одном из концов галереи он установил стол, на котором держал перья и модные снадобья из лавки мсье Лефевра. Перья были разные; одними он щекотал себе в горле, чтобы вызвать рвоту, другие затачивал, обмакивал в чернила и записывал ими показания шагомера, или изливал желчь на иезуитов, не признающих, что Земля вращается вокруг Солнца, или строчил филиппики против Ольденбурга, или просто выполнял рутинные обязанности городского землемера.

Инквизитор-иезуит Риччоли указал, что, будь небо усеяно звёздами, находящимися на разном расстоянии, и вращайся Земля вокруг Солнца по

огромному эллипсу, звёзды смещались бы одна относительно другой в течение года, как движутся деревья в глазах идущего по лесу наблюдателя. Однако такой параллакс не наблюдался, и это доказывало (по крайней мере для Риччоли), что Земля неподвижно закреплена в центре Вселенной. Для Гука это доказывало лишь, что не построены достаточно мощные телескопы и не сделаны достаточно точные замеры. Чтобы добиться нужного увеличения, он собирался построить телескоп тридцати двух футов длиной. Дабы свести к нулю преломляющее действие земной атмосферы (очевидное по тому, что Солнце на восходе и на закате кажется сплюснутым), телескоп требовалось нацелить точно вверх, а для того — пробурить вертикальную скважину в крыше Грешем-колледжа. Старинный особняк походил на мазанку, которую столько чинили, что теперь она вся состоит из перекрывающихся заплат — сплошная рубцовая ткань. Это придавало работе занимательность — по ходу дела Даниель узнал уйму всего нужного и ненужного о том, как дома воздвигаются и почему не разваливаются.

Цель была глядеть *вверх* на небо и вычислять расстояния до ближайших звёзд. Однако, по-

скольку Даниель работал днём, он в минуты отдыха смотрел *вниз*, на Лондон. С Великого Пожара прошло шесть лет, но восстановление только сейчас развернулось в полную меру.

Раньше колледж Грешема был зажат домами примерно такой же высоты, теперь же высился одинокой усадьбой среди разорённого поместья — Пожар остановился у самых его дверей. Когда Даниель стоял на краю крыши и глядел на юг, в сторону Лондонского моста, всё в поле его зрения несло следы огня или копоти. Предположим, что город — огромные Гуковы часы, Грешем-колледж — центральная ось, а Лондонский мост отмечает двенадцать часов. Тогда Бедлам точно позади Даниеля на шести часах, Тауэр — на десяти. Восточный ветер и гласис спасли его от пожара. Сектор от Тауэра до Лондонского моста представлял собой лабиринт старых кривых улочек, над которыми там и сям высились чёрные остовы колоколен — буквально как вешки землемера. Для Гука, предложившего план рационального градоустройства, они были досадной помехой — противники требовали восстанавливать улицы на прежних местах (пусть не такие кривые и узкие), используя обугленные колокольни в качестве ориентиров. Незаполненный фон меж-

ду строительными участками («отрицательное пространство», как сказали бы живописцы) теперь обозначал новые улицы, лишь немногим шире и прямее старых. Точно в середине сектора зиял огороженный лунный кратер — место, где начался Пожар и где Рену с Гуком предстояло воздвигнуть монумент.

Прямо перед Даниелем, в секторе между полуднем и часом дня, лежала старая златокузнечная слобода, улицы Треднидл и Корнхилл — так близко, что Даниель слышал нескончаемую горячку покупок и продаж во дворе Биржи, подогреваемую последними вестями из-за границы; мог заглянуть в окно Томаса Хама, где Мейфлауэр (как матрона) взбивала подушки и (как школьница) играла в чехарду с Уильямом Хамом, своим младшеньким и любименьким.

Треднидл и Корнхилл, сливаясь, образовывали Чипсайд, который Гук значительно расширил, чем вызвал зубовный скрежет и почти апокалиптические вопли противников. По счастью, Гук, безразличный к тому, что о нём думают, как никто, умел пропускать нападки мимо ушей. Чипсайд шёл так прямо, как Гук сумел его проложить, к собору Святого Павла, былому и грядущему. Сейчас он представлял собой рос-

сыпь бурых камней, оплавленного кровельного свинца и человеческих костей из чумных захоронений. Рен по-прежнему работал над чертежами и моделями нового собора. На улочках, прилегающих к кладбищу, располагались типографии, в частности та, где печатали почти все труды Королевского общества, поэтому прогулки вверх и вниз по Чипсайду вошли у Даниеля в привычку: он ходил туда забирать экземпляры «Микрографии» Гука и вычитывать гранки Уилкинсова «Всеобщего алфавита».

Чуть дальше за развалинами собора (примерно на двух часах) стоял Брайдуэлл, бывший королевский дворец, в котором шлюхи, актрисы и побродяжки щипали паклю, мяли пеньку и занимались другими душеполезными исправительными работами. Здесь впадала в Темзу река Флит — на самом деле вонючая сточная канава. Из-за неё-то монархи и покинули Брайдуэлл, уступив его беднякам. Огонь легко перекинулся через канаву и принялся дальше пожирать город, пока нехватка топлива и героическая подрывная кампания короля и лорд-мэра не стянули его петлёй. Куда Даниель ни смотрел, ему неизбежно приходилось отслеживать границу между сгоревшей и несгоревшей частями города от реки,

через Флит-стрит и до самого Холборна (на трёх часах). За тем местом, где шесть лет назад взлетел на воздух его отец, лежал теперь обрамлённый домами и лавками квадрат садов, фонтанов и статуй. Такие же или похожие возникали вокруг, особенно близ новых домов на Пикадилли, таких как Комсток-хаус. Однако это строительство и тот успех, который оно принесло Стерлингу и Релею, не были для Даниеля новостью, и он больше глазел на странные новые работы по окраинам города.

Если повернуться и посмотреть на север за остов старой римской стены, можно было заглянуть прямо в Бедлам, меньше чем в четверти мили от Грешем-колледжа. Он не сгорел, однако город поручил Гуку заодно с остальным переустройством снести его и выстроить заново. Шутили, что Лондон и Бедлам поменялись ролями: на месте снесённого Бедлама раскинулся безмятежно-покойный сад камней, а Лондон (за исключением нескольких участков, таких как площадка под монумент и собор Святого Павла) лихорадочно строился — телеги с камнем, брёвнами и кирпичом тянулись по улицам сплошным потоком, и казалось, будто смотришь, как колбасу набивают мясом. Обгоревшие дома сносили,

рыли ямы, мешали раствор, с телег сбрасывали плиты, камни и кирпичи обтёсывали по размеру, окованные колёса гремели по брусчатке, и всё сливалось в безумный немолчный грохот, словно титан жуёт холм.

Итак, всё и без того выглядело достаточно странно. Однако за Бедламом, на севере, северо-востоке и дальше к востоку за Тауэром располагались несколько артиллерийских стрельбищ и военных лагерей. Последнее время из-за англо-голландской войны там царило оживление. Не той англо-голландской войны, к которой Исаак прислушивался из вулсторпского сада шесть лет назад, — та закончилась в 1667-м. Теперь шла новая и совершенно иная англо-голландская война, третья за такое же число десятилетий. Англичане наконец-то смекнули объединиться с французами. Если не принимать во внимание реальные интересы страны и отбросить всякие соображения морального плана (а нынешнего короля Англии ни те ни другие особо не занимали), это и впрямь было куда разумнее, чем воевать против Франции. Хлынувшее в страну французское золото склонило парламент на сторону Людовика XIV и дало средства построить много новых кораблей. Франция обладала огромной армией

и не особо нуждалась в английской помощи на суше; что Людовик покупал с потрохами, так это английский флот, его пушки и порох.

Даниель не мог взять в толк, какую цель преследуют земляные работы на северо-востоке Лондона. За несколько дней у него на глазах ровные плацдармы пошли морщинами, которые со временем стали насыпями и рвами, постепенно оформляясь (как если бы он фокусировал подзорную трубу) в чёткие укрепления. Даниель никогда не видел такого воочию, поскольку в Англии их прежде не возводили, но по книгам и картинам узнавал валы, бастион, люнеты и равелины. Если это была подготовка к голландскому вторжению, то крайне плохо продуманная, поскольку укрепления стояли на отшибе и обороняли только пастбище с обескураженными, но очень хорошо защищёнными коровами. Тем не менее из Арсенала в Тауэре вытащили пушки, и воловьи упряжки, надсаживая пупок, втянули их на валы. Щёлканье бичей, фырканье и рёв животных доносились через Собачью канавку, Лондонскую стену и скат крыши до слуха Даниеля. Тому оставалось лишь смотреть и дивиться.

Ближе к реке, в пойме за Тауэром, армейская суета уступала место военно-морской: на вер-

фях пилили светлое дерево из Массачусетса и Шотландии, доски складывались в изогнутые корпуса, мёртвые ели восставали мачтами. Исполинские столбы чёрного дыма клубились над кузницами Комстока, где тонны чугуна расплавляли и отливали в подземные пушечные формы. На горизонте крутились крылья мельниц, вращая зубчатые передачи машин Комстока, сверлящих запальные отверстия в этих пушках.

Последняя мысль заставила Даниеля вновь поглядеть на Тауэр, с которого он и начал: центральную загадку, где золото с французских (как знала теперь вся Англия) судов перечеканивали на гинеи в уплату за пушки, корабли и за услуги Англии в её новой роли флотского сателлита Франции.

Однажды днём, как только церковные колокола прозвонили два, Даниель спустился по лестнице в шахту телескопа. Гук отправился инспектировать какие-то новые мостовые, оставив по себе лишь металлический запах рвоты. Даниель перешёл улицу, ныряя между неучтивыми возами, забрался в карету Самюэля Пеписа и устроился поудобнее. Прошло несколько минут. Даниель смотрел в окно на идущий люд. В сотне ярдов отсюда улица бурлила маклерами, обязатель-

ства золотых дел мастеров и акции Ост-Индской компании переходили из рук в руки, но здесь, за Лондонской стеной, образовалась своего рода тихая заводь. Даниель наблюдал беспорядочное мельтешение флотских офицеров, диссидентских проповедников, членов Королевского общества, иностранцев и бродяг. Этот гордиев узел внезапно разрубила сцена погони: нечёсаный босоногий мальчишка выбежал с Брод-стрит, преследуемый бейлифом с дубинкой. Заметив проулок между Голландской церковью и Военно-морским казначейством, мальчишка юркнул за угол, помедлил секунду, оценивая обстановку, и освободился от бремени, подбросив в воздух светлый кирпич. Тот рассыпался, ветер подхватил его и раздул в облако трепещущих прямоугольников. К тому времени, как Даниель или кто-нибудь ещё снова взглянул на мальчишку, того уже и след простыл. Бейлиф раскорячился, словно сидя на невидимом пони, и принялся затаптывать памфлеты ногами, ловить в охапку, рассовывать по карманам. Несколько стражников подбежали, обменялись с ним короткими восклицаниями, взглянули на фасад Голландской церкви и тоже принялись собирать листовки.

Самюэлю Пепису предшествовали парик и

запах кёльнской воды; сзади семенил клерк с огромным рулоном бумаг.

— Ловко он придумал, этот мальчишка, — сказал Пепис, влезая в карету и протягивая Даниелю памфлет.

— Старый трюк, — отвечал Даниель.

На лице Пеписа отразилось приятное изумление:

— Неужто Дрейк отправлял на улицу *вас?*

— Разумеется… обычный обряд инициации для всех мальчиков Уотерхаузов.

На листке был изображён король Людовик XIV: спустив штаны и отклячив волосатую задницу, он срал в рот английскому моряку.

— Давайте отвезём Уилкинсу! Ему понравится, — предложил Пепис и заколотил по крыше кареты.

Кучер тронул вожжи. Даниель постарался обмякнуть всем телом, чтобы не изувечиться, когда карету начнёт бросать на камнях.

— То, о чём мы говорили, при вас?

— Я всегда ношу его с собой, — сказал Пепис, извлекая из кармана неправильной формы ком размером с теннисный мяч, — как вы — свои потроха.

— Напоминание о собственной смертности?

— Человек, которому удалили камень, знает о ней без напоминаний.

— Тогда зачем?

— В качестве последнего средства оживить беседу. Он помогает разговорить кого угодно: немца, пуританина, краснокожего… — Пепис протянул Даниелю комок, тяжёлый, как камень.

— Не могу поверить, что его извлекли из вашего мочевого пузыря!

— Вот видите! Действует безотказно, — отвечал Пепис и больше разговаривать не стал, а развернул одну из больших бумаг, разделив карету пополам, словно ширмой.

Даниель думал, что это — чертёж корабля, пока солнце не заглянуло в окно кареты и он не увидел на просвет столбцы цифр. Пепис что-то говорил клерку, тот записывал. Даниелю оставалось вертеть в руках камень и смотреть на город, который для седока выглядел совсем иначе, чем для пешехода. Проезжая мимо кладбища рядом с собором Святого Павла, он увидел содержимое целой типографии, вытащенное на улицу: несколько приставов и чиновник из ведомства сэра Роджера Л'Эстранжа рылись в кипах несброшюрованных листов и подносили к зеркалу доски.

Через несколько минут карета остановилась

перед домом Уилкинса. Пепис оставил писаря в экипаже, а сам взлетел по лестнице, потрясая мочевым камнем, словно странствующий рыцарь — частицей Животворящего Креста.

Он показал камень Уилкинсу; тот лишь рассмеялся. Впрочем, даже этот смех был хоть какой-то отрадой, поскольку всё остальное внушало ужас. Тёмный цвет панталон не мог скрыть того, что Уилкинс мочится кровью, порой — не добравшись до стульчака. Он разом усох и раздался, если такое возможно; запах, идущий от него, наводил на мысль, что почки не справляются со своим делом.

Покуда Пепис убеждал епископа Честерского удалить камень, Даниель оглядел комнату и расстроился, но не удивился, увидев несколько пузырьков из аптеки мсье Лефевра. Он понюхал один — «*Elixir Proprietalis LeFebure*»[34], то же снадобье, какое Гук принимал, когда от мигрени ему хотелось наложить на себя руки. Эликсир этот Лефевр изобрёл, исследуя свойство мака; новое лекарство пользовалось огромной популярностью при дворе, даже среди тех, кто не страдал от камней или головной боли. Однако, когда у Джо-

---

[34] Примечания: 34
Патентованный эликсир Лефевра (*лат.*).

на Уилкинса начался приступ почечной колики, на несколько минут превративший епископа Честерского и создателя Королевского общества в обезумевшее животное, воющее и бьющееся в судорогах, Даниель подумал, что, может быть, мсье Лефевр не такой уж и мерзавец.

Когда всё закончилось и Уилкинс снова сделался Уилкинсом, Даниель показал ему памфлет и упомянул налёт Л'Эстранжа на типографию.

— Те же люди занимаются одним и тем же вот уже десять лет, — объявил Уилкинс.

Из слов «те же люди» Даниель понял, что автор памфлетов — Нотт Болструд и что именно на него охотится Л'Эстранж.

— Вот почему я не могу бросить свои дела и вырезать камень, — сказал Уилкинс.

Даниель соорудил на крыше Грешем-колледжа систему блоков, Гук отвлёкся на день от забот по восстановлению Лондона, и они установили телескоп. Гук морщился и вскрикивал всякий раз, как инструмент за что-нибудь задевал, словно это — отросток его собственного глаза.

Даниель же никак не мог полностью сосредоточиться на небесах. Лондон отвлекал его и теребил — записки, подсунутые под дверь, заговорщицкие взгляды в кофейнях, странные события на

улицах занимали его больше, нежели следовало. За городом на месте загадочных укреплений тем временем воздвигли помост и начали сколачивать скамьи.

В один прекрасный день Даниель, а также вся лондонская знать и немалая часть городских карманников заняли места на этих скамьях или на поле. Выехал герцог Монмутский в наряде, чьё великолепие опровергало все проповеди, когда-либо произнесённые кальвинистами; ибо, будь эти проповеди верны, ревнивый Господь поразил бы Монмута на месте. За ним Джон Черчилль, единственный, быть может, мужчина в Англии, превосходящий Монмута красотой и потому в чуть менее блистательном туалете. Король Франции не смог присутствовать лично, поскольку был занят покорением Голландской республики; рослый актёр в горностаевой мантии выехал вместо него на холм, уселся на трон и приступил к государственным занятиям: смотреть в подзорную трубу и указывать пышно разодетым любовницам на происходящее, поднимать скипетр, отправляя войска на приступ, спускаться с трона и говорить несколько ласковых слов раненым офицерам, которых подносили к нему на носилках, а в минуты опасности принимать

величаво-гордые позы и мановением руки успокаивать трепетных *femmes*[35]. Ещё один актёр исполнял роль д'Артаньяна. Поскольку все знали, что с ним будет, ему при появлении хлопали громче всех, к досаде (настоящего) герцога Монмутского.

Так или иначе, пушки с валов «Маастрихта» дали впечатляющий залп, «голландцы» на укреплениях приняли картинные позы, чем вызвали негодующий гул зрителей (как эти наглецы смеют обороняться?!), быстро перешедший в патриотический рёв, когда по сигналу «Людовика XIV» Монмут и Черчилль бросились в атаку на люнет. После завораживающего звона клинков и обильного пролития бутафорской крови они установили английский и французский флаги по обе стороны парапета, пожали руку д'Артаньяну и обменялись разного рода учтивыми жестами с «королём» на холме.

Грянули рукоплескания. Ничего другого Даниель не слышал, но видел некую буффонаду прямо перед собой: молодой человек в строгой одежде, заслонявший ему вид своей пуританской шляпой, внезапно обернулся, раскинул руки,

---

[35] Примечания: 35
Женщин (*фр.*).

словно раздавленный жук, уронил голову на белый воротник, вывесил язык и закатил глаза. Он передразнивал «голландских» защитников крепости, которые теперь лежали на люнете *hors de combat*[36]. Выглядело это неприглядно: у молодого человека было что-то с лицом, какая-то ужасная кожная болезнь.

За его спиной разворачивались события: мёртвые защитники воскресли и убежали за укрепления, готовясь к следующему действию. Равным образом и молодой человек перед Даниелем поднял голову и оказался не мёртвым голландцем, а вполне живым англичанином с постной физиономией. Одет он был не просто в унылое чёрное платье, а в такое унылое чёрное платье, какое в то время носили гавкеры. Впрочем (как с опозданием сообразил Даниель), оно очень походило на платье лжеголландских защитников «Маастрихта». Если задуматься, «голландцы» эти куда больше напоминали английских диссентеров, чем настоящих голландцев, — те, если верить молве, давно закопали пилигримское платье (так и так навеянное испанским фасоном) и одевались теперь на общеевропейский манер.

---

[36] Примечания: 36
Вышедшие из строя (*фр.*).

Соответственно на поле не только представляли осаду Маастрихта, но и разыгрывали притчу, в которой пышно разодетые красавцы-щёголи побеждали скучных кальвинистов на улицах Лондона!

Медлительность, с какой это всё доходило до Даниеля, взбесила юного гавкера, у которого была большая круглая голова и могучая челюсть аутентичного Болструда.

— Гомер?! — вскричал Даниель, когда овации смолкли и сменились требованиями принести пива.

Сын Нотта Болструда бывал в доме Дрейка маленьким мальчиком, но за последние лет десять Даниель его ни разу не видел.

Гомер Болструд вместо ответа посмотрел ему прямо в лицо. На обеих щеках, по бокам носа располагалась старая рана: комплекс красных траншей и кожных валов, складывающихся в грубые буквы S и L. Их выжгли калёным железом на дворе перед Олд-Бейли, через несколько минут после того, как суд признал Гомера подстрекателем и пасквилянтом.

Гомеру Болструду было никак не больше двадцати пяти, однако круглая голова вкупе с клеймом придавали ему властный не по годам

вид. Он выразительно кивнул на пространство позади скамей.

Гомер Болструд, сын государственного секретаря Нотта, внук прагавкера Грегори, вывел Даниеля в становище из палаток и фургонов, доставивших реквизит и всё остальное. Некоторые палатки предназначались для актёров и актрис. Гомер провёл Даниеля между двумя такими палатками во встречном потоке «французских любовниц», возвращающихся от трона «Короля-Солнца». Как в чутких глазах Исаака надолго запечатлелся солнечный диск, так в сетчатку Даниеля врезались несколько декольте. Где-то над ними должны были располагаться лица, но те единственные губы, которые Даниель заметил, что-то говорили товарке с французским акцентом, из чего он заключил (как стало известно задним числом, несколько простодушно), что актриса — француженка. Однако прежде чем Даниель окончательно погрузился в мечтательную задумчивость, Гомер Болструд схватил его за локоть и втащил в соседнюю палатку, где подавали пиво.

Пиво было из Голландии. Человек за столом — тоже. А вот вафли, которые он ел, были определённо бельгийские.

Даниель сел на указанный стул и некоторое время смотрел, как голландский господин жуёт вафлю. По крайней мере, взгляд его был устремлён вперёд, однако перед глазами по-прежнему стояли декольте и лицо «француженки». Постепенно этот образ, увы, померк и сменился вафлей на тарелке дельфтского фаянса, которую перед ним поставили. И не грубой пилигримской работы, а превосходнейшего экспортного качества.

Он чувствовал, что его приглашают разделить трапезу, поэтому отломил кусочек вафли, положил в рот и стал жевать. Вафля была вкусная. Глаза привыкли к полумраку, и Даниель различил стопки памфлетов в углу, аккуратно завёрнутые в старые гранки. Слова на гранках были какие угодно, только не английские, — памфлеты отпечатали в Амстердаме и доставили сюда на корабле с пивом или, быть может, с вафлями. Время от времени полог палатки приподнимался и кто-нибудь из молчаливых голландцев, не вынимая изо рта трубку, просовывал туда пачку памфлетов. Иногда это делал Гомер Болструд.

— Чтоо ообщего между бельгийскими ваафлями и вырезом женского плаатья? — спросил голландский посол, ибо это был не кто иной, как он. Посол салфеткой промокнул масло с губ.

Он был белокурый и пирамидальный, как если бы потреблял большое количество пива и вафель. — Я видел, каак вы пялились, — добавил он в качестве оправдания.

— Понятия не имею… сударь!

— Отрицаательное проостранство. — Посол растягивал гласные, как может делать только голландский тяжеловес. — Слыхали о тааком? Это из живоописи. Мы знааем про отрицаательное проостранство, поскольку оочень любим каартины.

— Оно как-то соотносится с отрицательными числами?

— Это проомежуток между чем-либо, — сказал голландец и руками сдвинул жирные перси, создавая грубое подобие женских грудей.

Даниель смотрел в учтивом недоумении, внутренне содрогаясь. Голландец взял с блюда новую вафлю и поднял двумя пальцами за уголок, словно тряпку, намоченную чем-то гадким.

— Подообным ообразом и бельгийская ваафля определяется не сообственной изначальной природой, но раскаалёнными плаастинами, сжимающими её сверху и снизу.

— А, понял: вы говорите про Испанские Нидерланды.

Голландский посол закатил глаза и перебросил вафлю через плечо. Прежде чем она долетела до земли, толстая собака, удивительно похожая на обезьяну, подпрыгнула в воздух, схватила её и начала хрустеть — *буквально,* ибо звук был такой, словно сидящий на полу гомункул бормочет: «Хрусть, хрусть, хрусть».

— Зажаатые между Фраанцией и Голлаандской Республикой Испанские Нидерлаанды быстро поглощаются Людовиком Четырнадцатым Бурбоном. Отлично. Однако, когда *Le Roi du Soleil*[37] достиг Маастрихта, он коснулся… чего?

— Политического и военного эквивалента раскалённых пластин?

Голландский посол, облизнув палец, тронул отрицательное пространство, но тут же отдёрнул руку и зашипел. Может, по голландскому счастью, а может, посол так здорово рассчитал, однако в этот самый миг воздушная волна ударила Даниеля в живот, палатка сжалась и раздулась вновь. Вафельницы дребезжали и щёлкали в полутьме, как зубы скелета. Собакообезьяна забилась под стол.

Гомер Болструд поднял полог, и стал виден

---

[37] Примечания: 37
Король-Солнце (*фр.*).

люнет, разорванный надвое подземным взрывом большого количества пороха и похожий на разломанный дымящийся каравай. Воскресшие голландцы скакали наверху, топтали и жгли французские и английские флаги. Публика вопила.

Гомер опустил полог, и Даниель перевёл взгляд на голландского посла, который всё это время не сводил с него глаз.

— Мооожет быть, Фрааанция заахватила Маастрихт, хоть и не без поотерь — она лишилась своего героя д'Артаньяна. Однако воойну выиграем мы.

— Рад слышать о ваших успехах в Голландии. Не думаете ли вы изменить свою тактику в Лондоне? — громко, чтобы слышал и Гомер, спросил Даниель.

— В кааком смысле?

— Вы знаете, что делает Л'Эстранж.

— Я знааю, что Л'Эстранжу не удаётся сделать! — хохотнул голландец.

— Уилкинс хочет превратить Лондон в Амстердам — я не про деревянные башмаки.

— Много церквей — ни одной государственной религии.

— Это труд его жизни. В последние годы он

забросил натурфилософию, чтобы направить все усилия к этой цели. Он стремится ко благу Англии, однако высокие англикане и криптокатолики при дворе возражают против всего, что отдаёт диссидентством. Задача Уилкинса и без того трудна, как же ему преуспеть, если в глазах общества диссиденты неразрывно связаны с нашими врагами-голландцами?

— Через год — когда сочтут мёртвых и осознают истинную цену войны — задача Уилкинса станет простой донельзя.

— Через год Уилкинса не будет. Он умрёт от мочекаменной болезни, если не согласится удалить камень.

— Могу порекомендовать цирюльника, весьма ловко орудующего ножом…

— Он считает, что не вправе потратить несколько месяцев на выздоровление, когда всё висит на волоске и ставки столь высоки. Он как никогда близок к успеху, господин посол, и если бы вы отступились…

— Мы отступимся, когда отступятся французы, — сказал посол и махнул рукою Гомеру.

Тот снова поднял полог. Англо-французские войска, возглавляемые Монмутом, снова брали люнет. «Д'Артаньян» лежал раненый в бреши.

Джон Черчилль, уложив его голову себе на колени, поил старого мушкетёра из фляжки.

Полог оставался поднятым, и Даниель наконец понял, что ему указывают на дверь. Выходя, он поймал Гомера за локоть и потянул на грязную улицу.

— Брат Гомер, — сказал он, — голландцы обезумели. Их можно понять. Тем не менее наша ситуация не настолько отчаянна.

— Напротив, — отвечал Гомер. — Я бы сказал, что *ты* в смертельной опасности, брат Даниель.

В устах другого человека это означало бы *физическую* опасность, однако Даниель довольно варился среди единоверцев Гомера (другими словами, собственных единоверцев), чтобы понять: Гомер говорит о духовной опасности.

— Надеюсь, не потому, что я недавно заглядывал хорошенькой девушке за декольте?

Гомеру шутка не понравилась. Более того, ещё не договорив, Даниель понял, что окончательно стал для Гомера если не погибшим, то быстро погибающим в грехах. Он решил испробовать другой подход.

— Твой отец — государственный секретарь!

— Так иди и поговори с моим отцом.

— Я о том, что не будет беды — или *опасности*,

если тебе угодно, — в том, чтобы применить *тактику*. Кромвель применял тактику, чтобы выигрывать сражения, это ведь не значит, что ему недоставало веры? Напротив, не использовать богоданные мозги и бросать все силы в лобовую атаку — грех, ибо сказано, не искушай Господа Бога твоего!

— У Джона Уилкинса камень, — отчеканил Гомер. — От дьявола это или от Бога, пусть спорят иезуиты. Так или иначе, он умрёт, если ты и твои коллеги не придумаете, как обратить камень в жидкость, которая выйдет с мочой. В страхе за его жизнь ты вообразил, что коли я, Гомер Болструд, перестану распространять на лондонских улицах возмутительные памфлеты, потянется некая цепочка последствий, и в итоге Уилкинс ляжет под нож, переживёт операцию, будет жить долго и счастливо, оставаясь тебе добрым отцом, какого у тебя никогда не было. И *ты* говоришь, что голландцы сошли с ума?

Даниель не мог ответить. Слова Гомера припечатали его с теми же силой, жаром и нестерпимой болью, что клеймо палача — самого Болструда.

— А коли ты воображаешь себя *тактиком*, подумай о паскудном балагане, который мы смотрим, — Гомер махнул рукой в сторону люнета.

На парапете Монмут вновь водружал английское и французское знамёна под оглушительный рёв зрителей, затянувших «Пики на плотинах». «Д'Артаньян» испустил последний вздох. Джон Черчилль на руках снёс его с крепостной стены и уложил на носилки, где героя тут же осыпали цветами.

— Узри мученика! — глумливо засмеялся Гомер. — Он отдал жизнь за идею и навсегда останется в сердцах знати! Вот тебе и тактика. Мне жаль Уилкинса. Я не стал бы причинять ему вред, ибо он нам друг. Однако я не в силах отвратить смерть от его дверей. А когда смерть придёт, он станет мучеником — не столь романтическим, как д'Артаньян, но за более правое дело. Не обессудь, брат Даниель. — И Гомер пошёл прочь, сдирая обёртку с пачки памфлетов.

«Д'Артаньяна» несла перед трибунами процессия живописно растрёпанных кавалеров, зрители покупали букетики у цветочниц и забрасывали цветами героев живых и «мёртвых». Лепестки ещё ложились на лжемушкетёра, а в воздухе над трибунами уже закружили подхваченные ветром листовки. Даниель поймал одну и увидел карикатуру, на которой несколько французских кавалеров зверски насиловали

голландскую молочницу. На другом мушкетёр в кружевном галстухе, силуэтом на фоне горящей протестантской церкви, ловил на острие шпаги подброшенного младенца. На трибунах вокруг Даниеля зрители передавали листки из рук в руки; иные даже засовывали их в карманы или за обшлага.

Итак, всё было непросто. И сильно усложнилось десять минут спустя, когда при обстреле «Маастрихта» на виду у всех взорвалась пушка. Зрители подумали, что это сценический трюк, пока на них не посыпались окровавленные руки и ноги бомбардиров, мешаясь с непрекращающимся кружением памфлетов.

Даниель вернулся в Грешем-колледж и всю ночь работал с Гуком. Гук снизу смотрел на различные звёзды, а Даниель с крыши наблюдал новую, вспыхнувшую на восточном краю Лондона: чернь с факелами в руках бурлила на Сент-Джеймс-филдс, время от времени слышались мушкетные выстрелы. Позже он узнал, что толпа, разъярённая взрывом пушки, напала на дом Комстока.

Сам Джон Комсток заявился в Грешем-колледж на следующее утро. Даниель не с первой минуты его узнал: так изменили Комстока потрясение,

возмущение и даже стыд. Он потребовал, чтобы Гук и остальные, бросив все дела, изучили обломки пушки, с которой, по его уверениям, что-то сделали «мои недруги».

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж

Имеются некоторые вещи, которые не могут быть представляемы на основе фикции.

Гоббс, «Левиафан»

1672

СНОВА В ПОРТАХ
Комедия

Действующие лица

Мужчины: г-н ВАН УНДЕРДЕВАТЕР, *голландец*, основатель коммерческой империи по торговле *свиными ушами* и *картофельными глазками*.

НЗИНГА, негр-каннибал, бывший король Конго, ныне раб г-на УНДЕРДЕВАТЕРА.

ИОСАФАТ КУНШТЮК, граф ЖУПЕЛ, *энтузиаст*.

ТОМ БЕГГЛ, бывший солдат, бродяга.

Преподобный ИЕГОВА ТРЯСОГУЗ, пуританский *святоша*.

ЮДЖИН КУНШТЮК, сын лорда ЖУПЕЛА, капитан пехотного полка.

ФРАНСИС АНДРОФИЛ, граф де ГЛУХОМАНЬ, *придворный вертопрах*.

ХВАТ и СТЫРЬ, подручные ТОМА БЕГГЛА.

Женщины: мисс ЛИДИЯ ВАН УНДЕРДЕВАТЕР, дочь и единственная наследница г-на ВАН УНДЕРДЕВАТЕРА, недавно из венецианского пансиона.

Леди ЖУПЕЛ, супруга ИОСАФАТА КУНШТЮКА.

Мисс НОЖКИВРОЗЬ, сообщница ТОМА БЕГГЛА.

Место действия: ГЛУХОМАНЬ, сельское поместье в Кенте.

Действие I. Сцена I

Каюта на корабле в море. Гремит гром, сверкают молнии.

Входит г-н ван Ундердеватер в халате и с фонарём.

ВАН УНД: Боцман!

Входит Нзинга, мокрый, с мешком.

НЗИНГА: Я здесь, господин!

ВАН УНД: Лопни мои глаза! Вы что, искупались в чане со смолой, боцман?

НЗИНГА: Это я, господин, ваш раб, моё королевское величество, милостью древесного бога, горного бога, речного бога и других богов, кото-

рых я не упомню, король Конго.

ВАН УНД: А что у тебя в мешке?

НЗИНГА: Яйца.

ВАН УНД: Яйца! Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Ты забыл уроки цивилизации!

НЗИНГА: Ледяные.

ВАН УНД: Благодарение небесам.

НЗИНГА: Я собрал их с палубы, когда шёл град с куриное яйцо. Вы за это благодарите небеса?

ВАН УНД: Да, ибо это означает, что у боцмана всё на месте. Боцман!

Входит Лидия, в халате, растрёпанная.

ЛИДИЯ: Папенька, почему вы так громко требуете боцмана?

ВАН УНД: Моя дорогая Лидия, я хочу попросить, чтобы он прекратил этот ужасный шторм.

ЛИДИЯ: Но, папенька, боцман не может укротить бурю.

ВАН УНД: Вдруг он знает кого-нибудь, кто может.

НЗИНГА: Я знаю одного гвинейского божка, который заведует погодой и берёт по-божески, — думаю, за несколько бочонков рома он согласится её укротить.

ВАН УНД: Рома!.. Я тебе что, дурной? Если твой

божок в трезвом виде устраивает такую погоду, то что он учинит в пьяном?

НЗИНГА: Можно расплатиться с ним раковинами каури. Если хозяин отрядит моё величество в ближайшей шлюпке на юг, моё величество с удовольствием выступит посредником…

ВАН УНД: Вижу, ты ловкий коммерсант. Мне вспомнилось, как я обменял миллион каннибальских ушей на миллион картофельных глазков и остался в приличном барыше.

Новый раскат грома.

ВАН УНД: Эй! Боцман!

Входит лорд Жупел.

ЛОРД ЖУПЕЛ: Что тут за крики?

ЛИДИЯ: Лорд Жупел, рада вас видеть.

ВАН УНД: Плата за окончание грозы слишком велика, рынок языческих божеств слишком далёк…

ЛОРД Ж.: Тогда зачем, сударь, вы зовёте боцмана?

ВАН УНД: Скажу ему, чтобы сохранял стойкость перед лицом опасности.

ЛИДИЯ: Поздно, отец!

ВАН УНД: О чём ты, дитя?

ЛИДИЯ: Услышав тебя, боцман утратил всякую стойкость и бежал в страхе.

ВАН УНД: Откуда ты знаешь?

ЛИДИЯ: Он опрокинул гамак и уронил меня на пол!

ВАН УНД: Лидия, Лидия, я издержал состояние, чтобы отправить тебя в венецианский пансион, где бы ты научилась быть добродетельной девицей…

ЛИДИЯ: Я старалась, отец, но это так трудно!

ВАН УНД: Так что, мои деньги пошли псу под хвост?

ЛИДИЯ: Ах, нет, отец. От нашего учителя танцев, сеньора Дефлорацио, я научилась чудесным песенкам.

Поёт*.[38]

ВАН УНД: Довольно! Боцман!

Входит леди Жупел.

ЛЕДИ ЖУПЕЛ: Милорд, вы узнали, кто так ужасно шумит?

---

[38] Примечания: 38

* Тут многие зрители (в основном кембриджские студенты) встали (если не стояли раньше) и захлопали. Надо признать, они бы бурно приветствовали практически любую особу женского пола на территории колледжа, но эту — особенно, поскольку Лидию играла Элеонора (Нелл) Гвин — любовница короля.

ЛОРД Ж.: Миледи, вот этот *голландец*.

ЛЕДИ Ж.: Ну хорошо, а какие меры вы приняли, милорд?

ЛОРД Ж.: Никаких, миледи. Говорят, единственный способ заткнуть глотку голландцу — это его утопить.

ЛЕДИ Ж.: Утопить… но, милорд, вы же не думаете бросить его за борт?

ЛОРД Ж.: Все на корабле только об этом и думают, миледи. Однако в случае с голландцами задача куда проще, ибо они изначально живут ниже уровня моря. Надо лишь вернуть море туда, где ему определил быть Господь Бог.

ЛЕДИ Ж.: И как же вы предлагаете это сделать, милорд?

ЛОРД Ж.: Я ставлю эксперименты с новыми машинами, которые заставят мельницы вращаться в обратную сторону и качать воду *вниз*…

ЛЕДИ Ж.: Эксперименты! Машины! А я скажу: топить голландцев надо при помощи французского пороха и английской отваги!

Всё, что говорил актёр, играющий лорда Жупела, тонуло, словно плевки в реке Амазонке. Ибо истинной сценой этих событий был Невиллс-

корт*[39]* весенним вечером, а на полный список действующих лиц ушло бы много ярдов бумаги и не одна драхма чернил. Сценарий представлял собой мастерское хитросплетение университетских и придворных интриг, в которой более или менее остроумные реплики произносятся по преимуществу шёпотом. Общий эффект был чрезвычайно сложен и недоступен для молодого Даниеля Уотерхауза. Он прежде гадал, зачем вообще эти люди ходят в театр, если каждый день в Уайтхолле — сам по себе спектакль, однако теперь понял истинную причину: истории, разыгрываемые на сцене, просты и приходят к определённой развязке в течение часа-двух.

Главным актёром сегодняшнего спектакля был король Карл II Английский, сидящий на верхнем этаже жалкой библиотеки колледжа. Несколько окон распахнули, так что получились временные ложи. Королева, Екатерина Браганцская, португальская принцесса, знаменитая своим бесплодием, сидела рядом с королём и, как всегда, притворялась, будто понимает английский. Почётный гость, герцог Монмутский (сын Карла от Люси Уолтер), сидел по другую руку. Окна,

---

[39] Примечания: 39

** Прямоугольная лужайка между зданиями Тринити-колледжа.

соседние с королевским, занимали придворные дамы и кавалеры. В одном центральной фигурой была Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмутская, любовница короля. В другом — Барбара Вилльерс, она же леди Каслмейн, она же герцогиня Кливлендская, бывшая любовница Джона Черчилля, а ныне любовница короля.

Через окно от короля восседали Англси: Томас Мор Англси, его ничем не примечательный сын Филип, двадцати семи лет от роду, и Луи, двадцати четырёх, но выглядящий куда моложе. Протокол требовал, чтобы граф Апнорский при посещении альма-матер облачался в академическую мантию. Хотя он нанял эскадрон французских портных, чтобы несколько её оживить, она осталась академической мантией, а в уродливой нахлобучке на его парике узнавалась квадратная университетская шапочка.

Окно, занимаемое Англси, уравновешивалось окном, в котором сидели Комстоки, а именно — представители Серебряной ветви рода: Джон и его сыновья Ричард и Чарльз, все трое в мантиях и академических шапочках. В отличие от Апнора, они нимало не тяготились своим нарядом, во всяком случае, пока не началась пьеса и не вышел Иосафат Кунштюк, граф Жупел, одетый в

точности как они.

Королевские комедианты на временной сцене, возведённой посреди Невиллс-корта, вынуждены были продолжать спектакль, хотя никто не мог разобрать ни слова. Граф Жупел за что-то выговаривал жене: вероятно, за то, что она поставила французский порох выше английского. На другой планете это сошло бы за фигуру речи, но здесь сильно смахивало на камешек в огород Джона Комстока. Тем временем остальные зрители (которые, если им посчастливилось сесть, сидели на скамейках и стульях под королевскими окнами) попытались затянуть первые строки «Пик на плотинах», развесёлых куплетов, объяснявших, какая это отличная мысль — вторгнуться в Голландию. Однако король остановил их движением руки. Не то чтобы он не разделял их воинственности, просто на сцене Лидия ван Ундердеватер произносила реплику, которая обещала оказаться смешной, а король не любил, когда гул интриг заглушает его любовницу.

Все комедианты внезапно попадали на сцену, впрочем, очень живописно и театрально, в особенности Нелл Гвин, которая распростёрлась на скамье, изящно откинув руку и явив взорам квадратный ярд безупречных белых подмышек и

бюста. Зрители были сражены наповал. Боцман, до которого столько времени пытались докричаться, выбежал наконец на сцену и объявил, что корабль сел на мель возле замка Глухомань. Лорд Жупел велел Нзинге принести его сундук, что тот и выполнил с быстротой, возможной только в театре. Владелец принялся рыться в сундуке, вытаскивая поочерёдно старую одежду и странные предметы, как то: реторты, тигли, черепа и микроскопы. Тем временем Лидия брезгливо приподнимала некоторые носильные вещи — крестьянские штаны или пастушьи башмаки — и кривила личико. Наконец лорд Жупел выпрямился, схватил под мышку бочонок с порохом и нахлобучил на голову выцветшую и пожёванную академическую шапочку.

ЛОРД Ж.: Порох — вот что сдвинет корабль с места!

Тем временем в партере — на скамейках и на траве — слышались недовольные шепотки; кисточки болтались из стороны в сторону: учёные в академических шапочках оборачивались друг к другу и спрашивали, кого здесь высмеивают, либо, склонив головы, молились о заблудших комедиантах, безвестном авторе пьесы и короле,

который не мог сутки пробыть в Кембридже без развлечений.

Совсем иная сцена происходила в окнах-ложах. Герцогиня Портсмутская умирала со смеху. Её грудь раздувалась как парус, голова запрокинулась, на белом оголённом горле тряслись драгоценности. От этого зрелища некоторые учёные в партере попадали со скамей. Герцогиню поддерживали двое молодых вертопрахов в завитых, украшенных лентами париках; они хохотали до слёз и утирали глаза лайковыми перчатками, поскольку платки галантно одолжили герцогине.

Тем временем пороховой магнат Джон Комсток, который всегда противостоял усилиям герцогини Портсмутской ввести при английском дворе французскую моду, выдавил кривую улыбку. Король, до сего дня поддерживавший Комстока, улыбался, Англси веселились от всей души.

Кто-то толкнул Даниеля в бок. Он отвёл взгляд от герцогини, хохотавшей с риском порвать на себе корсет, и увидел зрелище куда более скромное: сидевшего рядом Ольденбурга. Тучного немца выпустили из Тауэра так же внезапно, как туда упекли. Ольденбург посмотрел на дальний конец Невиллс-корта и спросил: «Он здесь? Или хотя

бы она?», имея в виду Исаака Ньютона и статью о касательных соответственно, потом повернулся и глянул из-под квадратной академической шапочки на ложу Англси, где Луи Англси, граф Апнорский, несколько умерил своё веселье и многозначительно подмигнул Ольденбургу.

Даниель был рад предлогу встать и уйти. С самого начала пьесы он пытался проникнуться действием, но почему-то не проникался. Даниель встал, подобрал мантию и бочком двинулся вдоль рядов, наступая на ноги различным членам Королевского общества. Сэру Уинстону Черчиллю: «Эк ваш сынок-то под Маастрихтом… мои поздравления, старина!» Кристоферу Рену: «Кончайте с собором, не тяните кота за хвост!» Сэру Роберту Морэю: «Давайте как-нибудь пообедаем и покалякаем об угрях». По счастью, Роберт Гук отважился не приехать, сославшись на занятость (он по-прежнему восстанавливал Лондон), и Даниелю не пришлось наступать на ноги *ему*. Наконец он вышел на открытое место. Строго говоря, это была работа для Уилкинса, но епископ Честерский лежал в Лондоне с мочекаменной болезнью.

Пробираясь за сценой, Даниель оказался среди фургонов, на которых театр приехал из Лондона. Между ними поставили палатки, верёвки были

протянуты в темноте густо, словно корабельный такелаж, и привязаны к острым колышкам, вбитым в (доселе безупречный) университетский газон. Различные предметы одежды, которые могли быть только дамским неглиже (это определённо была одежда, но Даниель никогда такого не видел, Q.E.D.[40]) болтались на верёвках и время от времени пугали его до полусмерти, мокро хлопая по лицу. Поэтому Даниелю пришлось проложить сложный курс и медленно ему следовать, чтобы выбраться из лабиринта. Так что по *чистой* случайности он набрёл на двух актрис, которые занимались тем, чем там женщины занимаются, когда, выразительно переглянувшись, парочками выходят из комнаты. Даниель застал самый конец процесса.

— Куда мне девать старую? — произнёс мелодичный голос с простонародным выговором.

— Брось в толпу — то-то крику будет, — предложила её подружка-ирландка.

Обе загоготали — их явно не учили хихикать, как светские барышни.

— Они даже не поймут, что это такое, — отвечала девушка с мелодичным голосом. — Мы первые

---

[40] Примечания: 40

Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать (*лат.*).

женщины в этих стенах.

— Тогда они ничего не поймут, даже если ты бросишь её прямо здесь, — заметила ирландка.

Её спутница отбросила деревенский акцент и заговорила в точности как кембриджский школяр из хорошего семейства:

— Ба! Что это лежит посреди моей лужайки для игры в шары? Похоже на… приманку для лис!

Снова гогот, который прервал мужской голос со стороны фургонов:

— Тесс! Побереги свои шуточки для короля, тебя ждут на сцене!

Девушки подобрали юбки и упорхнули. Даниель увидел их в просвете между палатками и узнал в той, которую звали Тесс, актрису из «Осады Маастрихта». Тогда он принял её за француженку, потому что она грассировала и говорила в нос. Теперь он понял, что на самом деле она англичанка, способная изображать разные голоса. Вполне обычное умение для актрисы, но для Даниеля оно было в новинку. Девушка его заинтриговала.

Даниель вышел из-за палатки, по другую сторону которой (скажем без обиняков) прятался, и — движимый исключительно любознательностью — шагнул к тому месту, где сладкоголосая

имитаторша Тесс (скажем без обиняков) справляла нужду.

На крыше, водружённой над сценой, снова зажгли порох, изображая молнию, и на мгновение перед Даниелем возникло озерцо жёлтого света. На траве, зелёной, почти как фосфор (стояла весна), валялась свёрнутая тряпица, исходящая паром от тепла Тесс, алая от её крови.

Лаборатория алхимика

> …Ведь при помощи огня
> Коптящих углей может превратить
> Алхимик, или думает, что может,
> Металл, рождённый шлаковой рудой,
> В отменнейшее золото.
>
> ***Мильтон, «Потерянный рай»***

У короля выдался напряжённый день. А может быть, так наивно предполагал Даниель, и для короля день был совершенно обычный, а выдохлись лишь кембриджцы, старавшиеся изо всех сил от него не отставать. Кавалькада возникла на южном краю горизонта в середине утра. В целом (на взгляд Даниеля) это чем-то напоминало недавнее вторжение Людовика XIV в Голландскую республику: королевская свита взметала

пыль, истребляла овёс и оставляла груды навоза, как любой полк, однако повозки были сплошь золочёные, всадники — вооружены придворными рапирами, фельдмаршалы носили юбки, повелевали мужчинами и казнили их взглядами. Так или иначе, Карлу II в Кембридже сопутствовал больший успех, нежели Людовику XIV в Нидерландах. Город был сметён, растоптан. Женские груди повсюду, голозадые придворные падают из окон, запах травы и папоротника заглушён духами — и не просто парижскими, а индийскими и арабскими. Король вылез из кареты и прошёл по улицам под приветственные крики учёных, выстроившихся у своих колледжей по рангам и степеням, как солдаты на смотре. Уходящий почётный ректор презентовал королю огромную Библию — уверяли, будто можно было видеть за милю, как его величество сморщил нос и закатил глаза. Позже король (вместе со сворою умопомешанных спаниелей) отобедал в коллегии Святой и Нераздельной Троицы под портретом её основателя, Генриха VIII, кисти великого Гольбейна. Исаак и Даниель, как члены совета, привыкли обедать за главным столом, однако сейчас город наводнили персоны куда более важные, так что им пришлось сдвинуться на середину трапезной;

Исаак в алой мантии беседовал о чём-то с Бойлем и Локком, а Даниеля затёрли в угол вместе с несколькими викариями, которые, вопреки евангельским заповедям, явно друг друга не любили. Даниель пытался сквозь их бубнёж разобрать, что говорят за главным столом. Король отпустил несколько реплик по поводу Генриха VIII — очевидно, шутливых.

Сперва насчёт старого греховодника и многожёнства, настолько топорно, что даже смешно. Разумеется, всё было очень завуалированно, то есть он не сказал этого прямо, но смысл был таков: за что меня называют развратником? Я хотя бы не рублю им головы. Если бы Даниель (или другой учёный на его месте) желал себе немедленной смерти, он мог бы встать и выкрикнуть: «По крайней мере он в конечном счёте сумел зачать законного наследника!», однако ничего такого не произошло.

Осушив несколько бокалов, король пустился в рассуждения о том, насколько великолепен и богат Кембридж и как примечательно, что Генрих VIII добился столь блистательных результатов, всего лишь порвав с римским папой и разграбив несколько монастырей. Так, может быть, сокровища пуритан, квакеров, гавкеров и

пресвитериан пойдут однажды на создание ещё более великолепного колледжа!.. Угроза была, само собой, шуточная; король тут же добавил, что речь идёт о добровольных пожертвованиях. Тем не менее присутствующие диссентеры озлобились, впрочем (как позже рассудил Даниель), не более, чем были уже озлоблены. К тому же это был мастерский выпад в сторону католиков. Короче, король пролил бальзам на души и успокоил страхи высоких англикан (таких как Джон Комсток). Королю часто приходилось их успокаивать, поскольку многие подозревали его в симпатиях (а иные и в принадлежности) к папистам.

Другими словами, Даниель только что увидел маленькую толику обычной придворной политики, и ничего существенного не произошло. Однако с тех пор как Джон Уилкинс утратил способность мочиться, обязанностью Даниеля стало всё примечать и впоследствии ему докладывать.

Затем все отправились в церковь, где герцога Монмутского (героя, прославленного учёного и внебрачного королевского сына) назначили почётным ректором Кембриджа. После чего состоялось представление комедии в Невиллс-корте.

Даниель помедлил под готической аркой и оглядел каменные ступени, ведущие в Большой

двор Тринити-колледжа: пространство, раза в четыре превосходящее Невиллс-корт. Странным образом двор напомнил ему Лондонскую биржу, только если Биржа была светлая, вся в порхающих Меркуриях и золотых кузнечиках Томаса Грешема, и наполнена зычно орущими торговцами, то Большой двор Тринити-колледжа был воплощением готики, припорошенной голубоватым светом луны, а редкие обитатели, облачённые в мантии и/или длинные парики, тихо прогуливались по двое — по трое или секретничали в дверных проёмах. Если биржевики покупали акции кораблей или компаний и меняли ямайский сахар на испанское серебро, то эти люди обменивались мелкими заговорами или дворцовыми слухами. Приезд двора в Кембридж походил на Стаурбриджскую ярмарку — это был случай провернуть разного рода дела, по большей части тайного свойства. Простая прогулка через Большой двор к воротам не грозила Даниелю ничем плохим. Как член совета, он имел право идти по траве, бóльшая часть этих людей — нет. Не то чтобы они строго соблюдали педантичный устав колледжа, но придворный инстинкт заставлял их держаться тёмных углов. Даниель двинулся по широкому открытому пространству, чтобы никто

не решил, будто он подслушивает. Линия, прочерченная от арки к воротам, прошла бы через нечто вроде бельведера в центре двора: восьмиугольное сооружение, окружённое несколькими ступенями, с фонтаном в форме кубка посередине. Луна косо освещала колонны, придавая им пугающий вид: трупно-белый камень в потёках крови, бьющей из рассечённых артерий. Даниель решил было, что это видение папистского толка, и уже хотел оглядеть руки — не проступили ли стигматы, — но тут уловил запах и вспомнил, что фонтан наполнили кларетом в честь короля и нового ректора. Затея сомнительной остроты, однако о вкусах не спорят…

— Негры не могут размножаться, — произнёс знакомый голос неожиданно близко.

— О чём вы? Они могут размножаться не хуже других, — возразил другой знакомый голос. — И даже лучше!

— В отсутствие негритянок — не могут.

— Да что вы говорите!

— Помните, плантаторы близоруки и мечтают об одном — скорее выбраться с Ямайки; каждый день они просыпаются в страхе, что их — или детей — свалила какая-нибудь туземная лихорадка. Ввозить негритянок стоит почти столько же,

сколько ввозить негров, но женщины неспособны добывать столько же сахара, особенно если рожают.

Даниель узнал наконец голос — говорил сэр Ричард Апторп, второе А в КАБАЛе.

— Так они вовсе не ввозят женщин?

— Именно, сэр. А мужчины, как правило, живут не больше нескольких лет.

— Что ж, это отчасти объясняет тот вой, который в последнее время несётся с Биржи.

Два человека сидели на ступенях фонтана, лицом к воротам, и Даниель не видел их, пока не подошёл ближе и не услышал. Он уже собирался изменить курс и обойти фонтан стороной, когда второй из говоривших (тот, что не Апторп) встал, обернулся, зачерпнул бокалом из фонтана — и увидел Даниеля, который стоял перед ним как пень. Теперь и Даниель узнал этого человека — как было не узнать его среди тёмного двора Тринити-колледжа, с руками, обагрёнными кровью!

— Ба! — воскликнул Джеффрис. — Здесь новая статуя? Пуританский святой? О, я ошибся, она движется — то, что выглядело столпом добродетели, оказалось Даниелем Уотерхаузом, как всегда, всё примечающим. Сейчас он подглядывал за

нами, однако не тревожьтесь, сэр Ричард, мистер Уотерхауз видит *всё* и *ничего* не делает — образцовый член Королевского общества.

— Добрый вечер, мистер Уотерхауз, — произнёс Апторп, давая понять, что находит Джеффриса утомительным и несносным.

— Мистер Джеффрис. Сэр Ричард. Боже, храни короля.

— Боже, храни короля! — повторил Джеффрис, отпивая из мокрого бокала. — Ну-ка отвечайте без запинки, мистер Уотерхауз, как примерный учёный. Почему друзья сэра Ричарда на Бирже подняли такой шум?

— Адмирал де Рёйтер отплыл в Гвинею и захватил почти все невольничьи порты герцога Йоркского, — сказал Даниель.

Джеффрис (прикрывая рукой рот, театральным шёпотом):

— Которые герцог Йоркский похитил у голландцев несколько лет назад — но кто вдаётся в такие мелочи!

— В те годы, когда компания герцога контролировала Гвинею, на Ямайку доставляли множество рабов, они производили сахар, состояния наживались и доходы были устойчивы, покуда новые завозы покрывали убыль рабов. Однако теперь

голландцы перекрыли их поступление. Полагаю, многие клиенты сэра Ричарда на Бирже явно видят последствия, и на рынке заметно некоторое волнение.

Как жертва неспровоцированного оскорбления действием, озирающаяся в поисках свидетелей, Джеффрис повернулся к Апторпу — тот поднял бровь и кивнул. Джеффрис уже несколько лет был лондонским барристером. Даниель полагал, что для него упомянутые события — всего лишь загадочная причина, по которой разоряются клиенты.

— Некоторое волнение, — театральным шёпотом повторил Джеффрис. — Пресный язык, не правда ли? Вообразите плантатора на Ямайке, который смотрит, как убывает рабочая сила и гибнет урожай… бьётся изо всех сил, силясь предотвратить разорение, жёлтую лихорадку, невольничий бунт… вглядывается в горизонт, молится о кораблях, которые станут его спасением… а вы говорите «некоторое волнение»?

Хотелось ответить: «Вообразите барристера, который видит, как худеет его кошель с каждой пропитой монетой, всматривается в Стрэнд, молится о состоятельном клиенте», однако Джеффрис был при шпаге и пьян, поэтому Даниель

сказал:

— Если эти плантаторы в церкви и молятся, то они уже спасены. Добрый вечер, господа.

Он направился к воротам, держась подальше от фонтана, чтобы Джеффрису не вздумалось пырнуть его шпагой. Сэр Ричард Апторп вежливо аплодировал. Джеффрис рычал, однако через несколько секунд ему удалось выдавить:

— Вы тот же человек, каким были — или *не были* — десять лет назад, Даниель Уотерхауз! Тогда вами правил страх — теперь вы хотите, чтобы он правил Англией! Благодарение Богу, что вы заперты в этих стенах и не в силах заразить Лондон своим отвратительным фарисейством!

И далее в том же духе, покуда Даниель не юркнул под своды Главных ворот Тринити-колледжа. Они представляли собой декоративную крепость с башенками по четырём углам — самое место, чтобы укрыться от атаки Джеффриса. Ворота отстояли от церкви примерно на бросок камня; брешь в оборонительном периметре колледжа залепили жилым строением, перед которым со стороны города был разбит крошечный садик. В разное время тут ютились разные члены совета, а сейчас проживали Даниель Уотерхауз и Исаак Ньютон. Когда два бакалавра перевезли

сюда свою жалкую мебель, места осталось хоть отбавляй, и на нём разместили ведущую алхимическую лабораторию мира. Даниель знал, потому что сам помог её оборудовать, — вернее сказать, помогал, поскольку она постоянно достраивалась.

Войдя в дом, Даниель подобрал мантию, чтобы та не вспыхнула, задев раскалённый купол отражательной печи, в которой жар пламени отражался от свода, нагревая вещество сверху, затем приподнял подол, чтобы не волочить его по груде угля, которая, он знал (в помещении было темно), лежала на полу справа. И заодно по куче конского навоза слева (при горении навоз даёт мягкое влажное тепло). Он протиснулся между деревянными ящиками, овальными склянками со ртутью, составленными одна в одну, и оказался в соседней комнате.

Она походила на миниатюрный город, выстроенный иноземными зодчими и охваченный пожаром: каждое «здание» имело особую форму, чтобы определённым образом втягивать воздух, направлять пламя и отводить дым. Некоторые дымились, от некоторых поднимался пар или странно пахнущие испарения. Невозможно описать все запахи; легче сказать, чем здесь не пахло.

Слитки золота лежали на столах, словно масло в бакалейной лавке — среди алхимиков высшего разряда модно было демонстрировать презрение к золоту, дабы отвести упрёк в корыстных мотивах. Не для всех операций требовались печи; были ещё столы, обитые кованой медью. Горящие на них масляные лампы бросали жёлтые отблески на круглые донышки колб и реторт.

К Даниелю обратились закопчённые лица; на сведённых бровях блестели капельки пота. Он сразу узнал Роберта Бойля и Джона Локка, членов Королевского общества. Однако были тут и некоторые господа, имевшие обыкновение заявляться в неурочное время, скрыв лицо капюшоном, — нелепая предосторожность в стране, где сам король практиковал алхимическое искусство. Глядя на их нетерпеливые лица в отблесках пламени, Даниель подумал, что лучше б им оставаться под капюшонами. Увы, то были не халдейские маги, не воинствующие монахи-иезуиты и не кудесники-друиды — всего лишь мелкие аптекари, скучающие дворяне и сумасшедшие с физиономиями либо тупыми, либо чересчур дёрганными. Один из них выделялся своей молодостью — Даниель узнал Роджера Комстока из Золотых Комстоков; он учился вместе с Исааком,

Даниелем, Апнором, Монмутом и Джеффрисом. Исаак поставил его качать мехи; Роджер покраснел от натуги, но не жаловался. Ещё был очень маленький и ладный седой старик с хищным орлиным профилем. Даниель узнал мсье Лефевра, который приобщил к алхимии Джона Комстока, Томаса Мора Англси и других, включая короля, в сен-жерменском изгнании во времена Кромвеля.

Однако все они были сателлиты или (как луны Юпитера) спутники сателлитов. Солнце стояло за конторкой в центре лаборатории, с пером в руке, и спокойно делало пометки в огромной пожелтелой книге. На нём был прожжённый до дыр грязный халат, из-под которого, правда, выглядывала алая мантия, а на голове — что-то вроде кожаного мешка с окошком. На стекле лежал отблеск пламени из открытой дверцы печи, и вместо глаз навыкате Даниель видел дрожащую завесу огня. В мешок была вшита дыхательная трубка — сегменты полого тростника, соединённые кишками какого-то животного. Исаак перекинул её через плечо; дальше она тянулась к Роджеру Комстоку, который мехами закачивал в неё свежий воздух. Исаак обнаружил, что ртуть, попадая в организм, действует на него как кофе или табак, если не хуже, поэтому пользовался

дыхательным аппаратом, когда руки у него начинали дрожать особенно сильно.

На столе остывал продукт какого-то опыта: тигель тускло светился во тьме, словно планета Марс. Даниель решил, что сейчас вполне можно вмешаться. Он вышел на середину комнаты и поднял окровавленную тряпицу.

— Менструальные выделения женщины, — объявил он, — всего лишь пятиминутной давности!

Несколько мелодраматично. Однако эти люди жили мелодрамой — иначе зачем бы они прятали лица под колдовскими капюшонами, а знания — за оккультными знаками? На *некоторых*, во всяком случае, слова произвели сильное впечатление. Ньютон повернулся и выразительно глянул на Роджера Комстока; тот, съёжившись, принялся вновь качать мехи. Мешок на голове Исаака раздулся и зашипел. Исаак глянул снова. Кто-то из мелкой сошки подбежал с лабораторным стаканом, Даниель опустил в него тряпицу. Мсье Лефевр подошёл и принялся отпускать какие-то спокойные замечания на смеси французского с латынью. Бойль и Локк вежливо слушали, алхимики рангом пониже образовали внешний круг и мучительно силились расшиф-

ровать слова королевского аптекаря.

Даниель повернулся к Исааку. Тот стянул с головы мокрый мешок и приподнял седые волосы, чтобы остудить шею. Он смотрел на Даниеля без каких-либо особых чувств. Разумеется, он знал, что тряпица — всего лишь отвлекающий манёвр, но его это никак не затрагивало.

— Есть ещё время посмотреть второе действие пьесы, — сказал Даниель. — Мы оставили вам свободные места, хотя оборонять их от лондонцев пришлось практически пиками и мушкетами.

— Так ты полагаешь, что Господь отправил меня на землю и в Своей неизреченной мудрости наделил различными дарованиями, дабы я прерывал работу и тратил часы на мерзкое богопротивное зрелище?

— Разумеется, нет, Исаак, не приписывай мне таких взглядов даже наедине.

Они беседовали в соседней комнате, которая в доме поприличней звалась бы гостиной, но здесь была мастерской: на полу валялись опилки и стружки с верстака, хрустели стёкла от неудачно выдутой посуды — стеклодувная лаборатория располагалась на соседнем столе — и лежали разбросанные инструменты. Исаак молчал, только выжидательно смотрел на Даниеля.

— Время от времени — примерно раз в день — я уговариваю тебя что-нибудь съесть, — сказал тот. — Следует ли из этого, будто я думаю, что Господь отправил тебя на землю с целью набивать брюхо? Однако, чтобы исполнить труд, ради которого, полагаю, Господь тебя создал, ты должен питаться.

— Ты правда считаешь, что смотреть «Снова в портах» равнозначно употреблению пищи?

— Для работы тебе потребны ресурсы, и еда — только один из них. Стипендия, мастерская, инструменты, утварь — откуда они у тебя?

— Смотри! — Исаак обвёл рукой царство орудий и печей.

При движении край мантии выглянул из-под халата; заметив это, Исаак другой рукой отвернул засаленный рукав и продемонстрировал алое одеяние лукасовского профессора математики. Со стороны кого-то другого такой жест был бы невыносимым и ненужным бахвальством, однако Исаак лишь самым простым способом ответил на вопрос Даниеля.

— Членство в совете… жильё… лаборатория… Лукасовская кафедра — предел твоих мечтаний. У тебя есть всё потребное для работы — на сегодняшний день. Однако кто тебе всё это дал,

Исаак?

— Промысел.

— Ты хочешь сказать, *Божественный* Промысел. Но как?

— Тебя интересует, как действует воля Божия в мире? Рад слышать, ибо такова и моя единственная цель. Ты мешаешь мне ей следовать — идём в соседнюю комнату и вместе поищем ответ.

— Отвлекшись от тиглей — на несколько часов, и ты лучше поймёшь и полнее оценишь дарованное тебе Провидением.

Даниелю пришлось напрячь все силы, чтобы сочинить эту фразу, однако результат был налицо: ему по крайней мере удалось поставить Исаака в тупик.

— Если я просмотрел что-то важное, просвети меня, — сказал тот.

— Вспомни конкурс в совет несколько лет назад. Ты усердно исполнял то, ради чего создал тебя Господь, пренебрегая тем, чего ждал от тебя колледж, соответственно перспективы твои были отнюдь не радужными — ведь так?

— Я всегда уповал на…

— На Господа, разумеется. Только не говори, будто ты не тревожился, что придётся уезжать восвояси и до конца дней возделывать землю в

Вулсторпе. Были *другие* кандидаты. Люди, искавшие милости в высоких сферах и затвердившие всю ту средневековую дребедень, которую нам положено знать. Помнишь, Исаак, что сталось с твоими соперниками?

— Один повредился в уме, — отвечал Исаак тоном скучающего ученика. — Другой в сильном подпитии заснул на улице, простудился и умер. Третий, будучи сильно нетрезв, упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел по причине полученных увечий. Четвёртый…

Тут Исаак осёкся, что с ним случалось нечасто. Даниель воспользовался паузой, чтобы подойти ближе и сделать наивно-заинтересованное лицо.

Исаак отвёл глаза и сказал:

— Четвёртый *тоже* в пьяном виде упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел! Однако если ты хочешь сказать, что это *крайне невероятное* стечение обстоятельств, то я уже дал тебе мой ответ: Промысел.

— Однако *как именно* явил себя Промысел? Посредством неведомого дальнодействия? Или земной механикой соударяющихся тел?

— Я тебя не понимаю.

— Считаешь ли ты, что Господь простёр с небес длань и сбросил этих двоих с лестницы? Или Он

отправил на землю кого-то, кто всё это устроил?

— Даниель… не мог же ты…

Даниель рассмеялся:

— Нет, я не сталкивал их с лестницы, хотя, кажется, знаю, кто это сделал. У тебя есть средства для работы, Исаак, благодаря кое-каким влиятельным силам. Не исключено, что Промысел действует через них. Однако из этого *следует*, что ты должен время от времени оставлять труды и тратить несколько часов на поддержание дружбы с названными силами.

Покуда Даниель говорил, Исаак расхаживал по комнате со скептическим выражением на лице. Несколько раз он открывал рот, чтобы возразить. Однако к концу речи Исаак вроде бы что-то заметил. Даниель подумал, что это какая-то статья или черновая запись из множества разбросанных на столе. Так или иначе, Исаак резко изменил решение. Лицо его обмякло, как будто внутри притушили пламень. Он принялся снимать халат.

— Отлично. Скажи остальным, что мы идём.

Остальные уже выжали тряпицу в реторту и пытались возгонкой получить тот порождающий дух, который якобы присутствует в женском лоне. Роджер Комсток и другие прихлебатели

пришли в отчаяние, узнав, что профессор Ньютон их покидает, однако Локк, Бойль и Лефевр и бровью не повели. Ньютон подготовился к выходу за несколько минут (вот потому-то учёные любили мантии, а щёголи — ненавидели). Пять членов Королевского общества — Бойль, Локк, Лефевр, Уотерхауз и Ньютон — двинулись через Большой двор Тринити-колледжа. Все были в длинных чёрных мантиях и академических шапочках, за исключением Ньютона, который возглавлял процессию, словно кардинал, сопровождаемый свитой черноризцев, — яркое алое пятно на зелёном газоне Тринити.

— Я этой пьесы не видел, — сказал Локк, — однако присутствовал на одной или двух, из которых её герои и сюжет…

Ньютон:

— Украдены.

Бойль:

— Переняты.

Лефевр:

— Позаимствованы.

Локк:

— Приспособлены, и могу вам сообщить, что корабль в бурю сел на мель возле замка, принадлежащего придворному щёголю по имени

Персиваль Форс или Реджинальд Буф.

— Франсис Андрофил, согласно программе, — вставил Даниель.

Исаак обернулся и строго посмотрел на него.

— Ещё лучше, — сказал Локк. — Однако, разумеется, щёголь в Лондоне и никогда не наезжает в поместье. Поэтому бродяга по имени Роджер Наскок или Джудд Наггл…

— Том Беггл.

— И его подружка Мадлен Шерамур или…

— Мисс Ножкиврозь, в данном случае.

— …незаконно поселились в замке. Увидев потерпевших крушение, бродяги переодеваются в хозяйское платье и представляются сэром Франсисом Андрофилом и его нынешней пассией — к большому изумлению вышедшего на сцену пуританского святоши…

— Преподобного Иеговы Трясогуза, — сказал Даниель.

— Остальное вы можете видеть сами.

— Почему этот старик весь чёрный? — спросил Бойль, глядя на одного из актёров.

— Это негр, — объяснил Даниель.

— Кстати, — вставил Локк. — Надо написать брокеру, — кажется, пора продавать акции Гвинейской компании.

— Нет, нет! — воскликнул Бойль. — Я имел в виду чёрный, в смысле прокопчённый, и из волос у него валит дым.

— В версии, которую я видел, такого не было, — заметил Локк.

— В предыдущей сцене имело место забавное происшествие с участием пороха, — сообщил Даниель.

— Э… комедия написана недавно?

— После… хм… событий?

— Можно только предполагать, — сказал Даниель.

Поглаживание подбородков и хмыканье со стороны нескольких членов Королевского общества (за исключением Ньютона), которые, усаживаясь на свои места, украдкой поглядывали на графа Эпсомского.

ЛИДИЯ: Нам предстоит идти или плыть?

ВАН УНД: Отличная грязь, отличный ураган. Добавить сюда дамбу, туда — ветряную мельницу, и я смогу присоединить это место к своим владениям во Фландрии.

ЛИДИЯ: Но, папенька, оно не *ваше*.

ВАН УНД: Легко поправимо. Как оно зовётся?

ЛИДИЯ: Душка-боцман сказал, что мы сели на мель неподалёку от замка Глухомань.

ВАН УНД: Выбрось боцмана из головы — в таком месте наверняка обитают знатные люди… да вон они! Эгей!

ТОМ БЕГГЛ: Видишь, мисс Ножкиврозь, нас уже приняли за придворных. Несколько краденых тряпок ничем не хуже титула и родословной.

МИСС НОЖКИВРОЗЬ: Да, Том, верно, покамест мы на расстоянии выстрела. Однако мало хорошо начать, надо ещё хорошо кончить.

ТОМ (*глядя в подзорную трубу*): Это я завсегда. Вижу одну подходящую особу.

НОЖКИВРОЗЬ: Эта девица из воспитанных. Она запрезирает тебя, мой ветреный Том, как только услышит твой голос…

ТОМ: Я могу говорить что твой лорд.

НОЖКИВРОЗЬ: …и увидит твои мужицкие манеры.

ТОМ: Разве ты не знаешь, что грубость сейчас в моде?

НОЖКИВРОЗЬ: Ну уж!

ТОМ: Истинная правда: знатные люди оскорбляют друг друга с утра до вечера и зовут это остроумием! Потом тычут друг в друга шпагой и зовут это честью!

НОЖКИВРОЗЬ: Ну, коли у них такое остроумие и такая честь, сокровища с корабля, почитай, у

нас в кармане.

ВАН УНД: Эй, сударь! Бросьте нам трос! Мы утопаем в вашем саду!

ТОМ: Вот деревянная башка! Принял болото за сад!

НОЖКИВРОЗЬ: Деревянная башка или деревянный башмак?

ТОМ: Ты хочешь сказать, он голландец? Коли так, я ввожу сбор за карабканье по верёвке.

НОЖКИВРОЗЬ: И что в таком случае о тебе подумает его дочь?

ТОМ: Тоже верно…

Бросает верёвку.

ЛОРД ЖУПЕЛ: Кто этот француз на пристани? Неужто Англия завоёвана? Храни нас Небеса!

ЛЕДИ Ж.: Никакой он не француз, милорд, а добрый английский джентльмен в *современном* наряде — скорее всего, граф Глухомань, а его спутница — знатная куртизанка.

ЛОРД Ж.: Картезианка?

(к *мисс Ножкиврозь*): Мадам, мне сказали, вы картезианка?

НОЖКИВРОЗЬ: Кто-кто?

ЛОРД Ж.: Поклонница Декарта? Когито эрго сум?

НОЖКИВРОЗЬ: Что верно, то верно, до карт я большая охотница. И до сумм тоже, особенно до круглых. (*Тому*): Я правильно говорю?

ТОМ: Отлично сыграно, моя птичка.

ЛЕДИ Ж.: Эта шлюха весьма неучтива.

ЛОРД Ж.: Не будь вульгарной, дорогая. Это просто значит, что она признала в нас ровню.

С противоположной стороны сцены появляется преподобный Иегова Трясогуз. В руках у него Библия и лопата.

ТРЯСОГУЗ: Вот доказательство того, что пути Господни неисповедимы. Я ожидаю увидеть разбитый корабль и тела утопших, нуждающихся в захоронении, — услуга, которую я за небольшую мзду всегда готов оказать (оптом дешевле), и что вижу? Придворную сцену! Куда там Сент-Джеймскому парку в солнечное майское утро!

ТОМ: У голландского купца и английского лорда наверняка есть чем поживиться. Если ты отвлечёшь их в замке, я переговорю с нашими весёлыми дружками — они украдут шлюпку и похитят сокровища.

НОЖКИВРОЗЬ: А ты тем временем похитишь девственность голландской красотки?

ТОМ: Боюсь, её похитили до меня.

На сцене меняли декорации: теперь они должны были представлять замок Глухомань. Ольденбург тем временем наклонился к Даниелю и спросил:

— Это он?

— Да, это Исаак Ньютон.

— Отлично. Доволен будет не только Англси. Как вам удалось вытащить его на свет Божий?

— Сам с трудом понимаю.

— А что статья о касательных?

— Не всё сразу, сэр.

— Зачем такая скрытность!

— За всю жизнь он опубликовал только одну работу.

— О цветах?! Это было два года назад!

— Для вас — два года невыносимого ожидания. Для Исаака два года войны — с Гуком на одном фланге, с иезуитами на другом.

— Может быть, если бы вы только рассказали ему, как провели последние два месяца…

Даниель с трудом удержался, чтобы не рассмеяться Ольденбургу в лицо.

На сцене интрига закручивалась в тугую спираль. Мисс Ножкиврозь, которую играла Тесс, обольщала Юджина Кунштюка, примчавшегося из Лондона на выручку родителям. Том Беггл по

меньшей мере один раз переспал с Лидией ван Ундердеватер. Сэр Франсис Андрофил прибыл инкогнито и теперь домогался Нзинги в надежде проверить слухи о необычайных достоинствах африканцев.

Исаак Ньютон пощипывал себя за переносицу и выказывал лёгкое отвращение. Ольденбург поглядывал на Даниеля, а некоторые высокопоставленные особы — на Ольденбурга.

Начался пятый акт. Скоро пьеса должна была завершиться, и вступал в действие план, задуманный Ольденбургом: представить Исаака Ньютона королю и Королевскому обществу в целом. Если статья о касательных не будет прочитана сегодня, его запомнят лишь как алхимика, который когда-то изобрёл телескоп. Поэтому Даниель встал и снова пошёл через двор.

Гуляющих там стало меньше, или он больше не обращал на них внимания — решимость дала ему свободу, впервые за несколько месяцев, поднять голову и посмотреть на звёзды.

Как выяснилось, Гук, затевая проект с телескопом, рассчитывал не только посрамить нескольких педантичных иезуитов. Сидя в темной дыре посреди Грешем-колледжа, он излагал Даниелю зачатки большой теории: во-первых, все небес-

ные тела притягиваются к другим, находящимся в сфере их влияния, посредством гравитации; во-вторых, всякое тело, получив толчок, движется по прямой, если только на него не действует какая-либо сила, и в-третьих, сила притяжения возрастает при приближении к центру тела, её порождающего.

Ольденбург не осознавал всех масштабов Ньютонова дарования. Не по глупости — уж глупцом-то Ольденбург не был. Просто Исаак, в отличие, скажем, от Лейбница, наводнившего всю Европу своими письмами, или Гука, дневавшего и ночевавшего в Королевском обществе, не показывал своих результатов и не общался ни с кем, кроме полоумных алхимиков. Так что для Ольденбурга Ньютон был сообразительным, хоть и чудаковатым малым, который однажды написал мемуар о цветах и на этой почве схлестнулся с Гуком. Если бы Ньютон познакомился с Королевским обществом, считал Ольденбург, он бы понял, что Гук совершенно забыл про цвета и переключился на Всемирное Тяготение, которое уж точно не занимает молодого мистера Ньютона.

Короче, план изначально таил в себе семя грядущих бедствий. Однако могло пройти ещё много лет, прежде чем бóльшая часть Королевского об-

щества и король с его страстью к натурфилософии вновь остановятся на ночь в Кембридже, на расстоянии окрика от кровати, в которой Исаак спит, и стола, за которым он трудится. Исаака удастся вытащить на свет сегодня или никогда. Если это приведёт к открытой войне с Гуком, значит, так тому и быть. Может статься, итог был предрешён вне зависимости от того, что Даниель собирался сделать в ближайшие несколько минут.

Даниель вернулся в своё жильё. Роджер Комсток, которого оставили, как Золушку, убираться и поддерживать огонь в печах, вероятно, улизнул в питейное заведение. Все свечи были погашены, комнату озаряли лишь алые отблески печей. Однако Даниель у себя дома легко ориентировался в темноте. Он взял с комода свечу, зажёг её от печи и пошёл в комнату, где раньше беседовал с Исааком. Ища среди бумаг статью о касательных — первый практический плод долгой работы над флюксиями, он вспомнил, как что-то на столе смутило Исаака и заставило его пойти на мучительную пытку комедией. Впрочем, сколько Даниель ни высматривал, ему попадались только скучные алхимические заметки и рецепты. Многие были подписаны не «Исаак Ньютон», но «*Jeova*

Sanctus Unus»[41] — псевдоним, который Исаак ставил под своими алхимическими трудами.

Так и не разрешив загадку, Даниель приметил статью о касательных на дальнем конце стола и потянулся её взять.

Помещение наполняли странные звуки — шипели и пыхали различные горючие вещества в печах, потрескивали деревянные стенные панели. Порой до слуха Даниеля доносился ещё один звук, но суровый страж, что стоит в воротах сознания и гонит прочь всё неважное и незначительное, счёл его мышиной вознёй и не впустил за порог. Теперь, впрочем, Даниель различил этот звук, поскольку он стал громче: скорее крыса, чем мышь. Статья о касательных была у Даниеля в руках, однако он замер, определяя, где возится крыса, чтобы при свете дня вернуться и провести расследование. Хрумканье доносилось из-за перегородки, отделяющей комнату от большой лаборатории, в которой имелось несколько ниш и альковов, устроенных во время оно бог весть для какой цели: может, чтобы разместить печную трубу или небольшую буфетную. Даниель хорошо представлял, что находится за стеной,

[41] Примечания: 41

Единственный святой Божий (*лат.*) — анаграмма латинизированного варианта имени и фамилии *Isaacus Neutonus.*

из-за которой слышался хруст: небольшая ниша в углу лаборатории, где в бытность её гостиной, вероятно, располагались слуги. Теперь там стояли шкафы с алхимическими припасами Исаака и стол с пестиками и ступками. Некоторые вещества, с которыми работал Исаак, имели склонность быстро воспламеняться, потому он хранил их в этой конкретной нише, подальше от печей.

Даниель как можно тише вернулся в лабораторию. Статью о касательных он положил на стол и взял кочергу, лежащую рядом с печью. С крысами можно бороться по-разному, но иногда самое действенное — подкрасться и оглоушить. Даниель, сжимая кочергу, бесшумно прошёл между печами. Нишу отделяла от остальной лаборатории ширма, вроде тех, за которыми переодеваются дамы, — деревянная рама с натянутой на неё тканью (довольно ветхою). Она должна была защищать от искр и сквозняков весы и порошки Исаака.

Даниель остановился, потому что хрупанье смолкло, словно крыса почуяла охотника. Впрочем, оно тут же раздалось вновь, ещё громче, и Даниель, шагнув вперёд, ногой отшвырнул ширму. Кочергу он занёс над головой, а свечу

выставил перед собой, чтобы ослепить крысу, сидевшую, судя по всему, на столе.

Вместо этого он оказался в замкнутом пространстве с другим человеком. От изумления Даниель подпрыгнул на несколько дюймов и выронил кочергу; рука со свечой дёрнулась. Он едва не ткнул ею в лицо человеку, сидевшему за ширмой: Роджеру Комстоку. Тот в темноте что-то растирал в ступке и при виде свечи не только перепугался до полусмерти, но и ослеп. В панике он выронил ступку с серым порошком, который как раз пересыпал в полотняный мешочек. Впрочем, «выронил» — не то слово, гравитация не дала бы такой скорости; он отшвырнул ступку вместе с мешочком и в то же мгновение откинулся назад.

На глазах у Даниеля пламя свечи выросло до размеров бычьей головы и окутало его руку до локтя. Он выронил подсвечник. Пламя разлилось по полу, пыхнуло и опало. Наступила полнейшая тьма — не потому, что пламя совсем погасло (Даниель слышал его потрескивание), но из-за наполнившего комнату чёрного дыма. Даниель вдохнул и тут же в этом раскаялся: Роджер возился с порохом.

Роджер вылетел из дома в пять секунд, даром что на четвереньках. Даниель выбрался за ним и

постоял на улице, прочищая лёгкие несколькими глотками свежего воздуха.

Роджер уже пробежал через сад и выскочил за калитку. Даниель пошёл её закрывать, но прежде огляделся. Двое привратников под сводами Больших ворот смотрели на него с умеренным любопытством. Их не удивляло, что из дома лукасовского профессора математики исходят странные звуки и свет. То, что оттуда выскочил человек в дымящейся одежде, было если и происшествием, то незначительным. Разумеется, не закрыть калитку — прискорбное упущение, однако его Даниель исправил.

Потом, задержав дыхание, он вернулся в лабораторию, ощупью нашёл и распахнул окна. Огонь охватил упавшую ширму, но дальше не распространился, поскольку Исаак старался ничего горючего в комнате не держать. Даниель довольно быстро затоптал пламя.

Более изысканной обстановке дым бы, разумеется, повредил, однако здесь и так всё давно прокоптилось и провоняло гарью.

Порох, собственно, не взорвался (поскольку, по счастью, находился не в замкнутом объёме), а лишь вспыхнул. Шкафы в нише почернели. Весы упали со стола и, вероятно, испортились.

Ступка, которую Роджер выронил, лежала грудой толстых осколков; Даниелю вспомнился взрыв пушки при «Осаде Маастрихта» и другие подобные инциденты, которые, он слышал, произошли за последнее время на кораблях Королевского флота. Вокруг валялись обугленные клочья — то, что осталось от мешка, в который Роджер пересыпал порох. Короче, мешок с порохом, вспыхнув в жилом доме, едва ли мог бы причинить меньший ущерб. Угол лаборатории предстояло убрать и вымыть, но Даниель знал, что эта обязанность так и так ляжет на Комстока. Если, разумеется, Исаак не прогонит его взашей.

Казалось бы, такой эпизод способен надолго выбить человека из колеи и смешать его планы. Однако всё произошло так быстро, что Даниель не видел причин отказываться от намеченной цели. Более того, тягостные проблемы, одолевавшие его по пути через двор, померкли рядом с приключениями последних нескольких минут. Руки и в меньшей степени лицо покраснели и горели от ожогов; Даниель подозревал, что ближайшие несколько недель ему предстоит ходить без бровей. Не мешало умыться и переодеться, что не составило труда, поскольку он жил на втором этаже.

Спустившись, Даниель взял статью о касательных, стряхнул с неё чёрный пепел и направился к дверям. Статья содержала не более десятой доли того, чего Исаак добился, работая над флюксиями, но это было хоть какое-то свидетельство — лучше, чем ничего. Членам Королевского общества будет чем помучить мозги в ближайшие несколько недель. Ночь была ясная, вид — превосходный, загадки Вселенной распростёрлись над Тринити-колледжем. Однако Даниель опустил глаза и быстро зашагал к конусу влажного света, где дожидались остальные.

Лондонский мост

Как только будут получены численные определения для большей части понятий, род человеческий обретёт орудие нового типа, орудие, которое увеличит силу ума много больше, нежели оптические линзы помогают глазу, орудие, которое будет настолько же превосходить микроскопы и телескопы, насколько разум превосходит зрение.

Лейбниц, «Философские опыты»

1673

Почти посредине Лондонского моста, чуть ближе к Сити, чем к Саутуарку, дыркой от выбитого зуба зиял промежуток между зданиями, оставленный для того, чтобы пожар не мог перекинуться через реку. Если вы плыли по Темзе в лодке и видели все девятнадцать быков, удерживающих мост, и все двадцать каменных арок вместе с разводным мостом, вы различали это открытое пространство — «пятачок» — над самой широкой (тридцать четыре фута) аркой.

Приближаясь к мосту, вы всё яснее осознавали

грозящую опасность, и ваш мозг сосредоточивался на вещах практических, посему вы замечали нечто куда более важное, а именно: расстояние между островками здесь тоже шире. Соответственно, течение под этой аркой меньше напоминало грохочущий водопад и больше — горную реку в паводок. Если лодка ещё слушалась руля, вы направляли её в этот пролёт. Если же вы были пассажиром этой гипотетической лодки и ценили свою жизнь, то просили лодочника вас высадить, перебирались через нагромождение более или менее древних свай и склизких камней, поднимались по лестнице, перебегали через проезжую часть (не забывая уворачиваться от несущихся экипажей), спускались по другой лестнице и спешили, прыгая и скользя, на дальний край островка, где вас дожидались лодочник и лодка, коли им посчастливилось уцелеть.

Это объясняло некоторую особенность части Лондонского моста, называемой «пятачком». Пассажиры, следующие в наёмных лодках на восток или на запад по Темзе, были в среднем значительнее и богаче пешеходов, идущих по мосту на север или на юг, а те, что, ценя свою жизнь, здоровье и состояние, преодолевали его через верх, — ещё богаче и значительнее. Соот-

ветственно, здания по обе стороны пятачка были самым лакомым куском для трактирщиков и торговцев модным товаром.

В то утро Даниель Уотерхауз часа два болтался в окрестностях пятачка, ожидая определённого человека в определённой лодке. Впрочем, лодка, которую он ждал, должна была подойти не по течению, а против, со стороны моря.

Он сидел в кофейне и забавлялся, глядя, как потные запыхавшиеся пассажиры возникают на лестнице, словно спонтанно самозародились в зловонной Темзе. Они забегали в ближайшую таверну пропустить пинту пива для храбрости, прежде чем пересечь двенадцатифутовую проезжую часть, на которой кого-нибудь давили несколько раз в неделю. Если им удавалось благополучно её миновать, они заскакивали в галантерейную лавочку — прикупить какую-нибудь мелочь для успокоения нервов — или в кофейню — проглотить на бегу чашечку кофею. Остальные торговцы на Лондонском мосту хирели из-за конкуренции с более модными магазинами, которые Стерлинг и ему подобные понастроили в других частях города, однако из-за постоянной угрозы перевернуться вместе с лодкой и утонуть жизнь на пятачке по-прежнему

била ключом.

В те дни он был особенно оживлён, особенно когда корабли из-за Ла-Манша бросали якорь в лондонской гавани и пассажиры из Европы прибывали сюда на лодках.

Одна из таких лодок приближалась сейчас к мосту. Даниель допил кофе, расплатился и вышел. Толпа пешеходов запрудила улицы, создавая помехи гужевому транспорту. Все разом хотели спуститься на островок, так что образовали пробку не только на лестнице, но и на проезжей части. Видя, что это по большей части дельцы, а не бродяги, положившие глаз на его кошелёк, Даниель ввинтился в толпу и вместе с ней оказался на островке. Сперва он думал, что все эти хорошо одетые люди встречают каких-то конкретных пассажиров. Однако, когда лодка приблизилась на расстояние окрика, послышались не дружеские приветствия, а вопросы (на разных языках) о войне.

— Будучи, как и вы, протестантом, хоть и лютеранином, я надеюсь, что Англия и Голландия скоро замирятся и войне, о которой вы говорите, придёт конец.

Молодой немец, одетый на французский лад, стоял в лодке, однако при приближении к буру-

нам у моста одумался и сел.

— Надежды надеждами, а что вы *видели*, сударь? — выкрикнул кто-то из дельцов.

Несколько десятков человек толпились на островке, силясь подобраться как можно ближе к лодкам и при этом не рухнуть в губительную стремнину. Другие свесились с моста наподобие горгулий, третьи, в лодках, двигались наперерез, словно буканьеры в Карибском море. Никого не занимала всякая там лютеранская дипломатия. Ни один из встречающих даже не знал, кто таков этот молодой немец, — для них он был просто разговорчивый иностранец. В лодке сидели ещё несколько пассажиров, но все они не обращали внимания на крики лондонцев. Если вновь прибывшие и владели информацией, то намеревались донести её до Биржи, пересказать серебром и распространить по хтоническим каналам рынка.

— На каком корабле вы прибыли, сударь? — крикнул кто-то.

— На «Святой Екатерине», сударь.

— Откуда вышел ваш корабль, сударь?

— Из Кале.

— Вы беседовали с кем-нибудь из флотских офицеров?

— Немного.

— Слышно ли о взрывах пушек на английских кораблях?

— О, порой такое случается. Это бывает видно со всех кораблей, участвующих в сражении, поскольку взрывом разносит полкорпуса и люди взлетают на воздух, по крайней мере так мне говорили. Для всех моряков, своих и вражеских, это служит напоминанием о собственной смертности. Отсюда и разговоры. Однако полагаю, в нынешнюю войну такое происходит не чаще обычного.

— Были ли то пушки Комстока?

До молодого немца наконец дошло, что он, не успев вступить на английскую почву, уже наговорил лишнего.

— Сударь! Пушки графа Эпсомского считаются лучшими в мире.

Однако это никому было не интересно. Тема разговора сменилась.

— Откуда вы прибыли в Кале?

— Из Парижа.

— Видели ли вы войска на марше по пути через Францию?

— Несколько полков, усталые, направляющиеся на юг.

Джентльмены некоторое время гудели и вибрировали, усваивая услышанное. Один протолкался к лестнице, и его тут же окружила орава подпрыгивающих босоногих мальчишек. Джентльмен что-то быстро написал на бумажке и отдал её мальчишке, который прыгал выше других. Тот пробился через толпу товарищей, через три ступеньки взлетел по лестнице, перепрыгнул через телегу, отпихнул торговку рыбой и припустил по мосту. Отсюда до берега было сто с чем-то ярдов и ещё примерно шестьсот до Биржи — таким темпом примерно минуты три. Расспросы тем временем продолжались:

— Видели ли вы военные корабли в Ла-Манше, майн герр? Английские, французские, голландские?

— Там был… — Здесь ему не хватило английского. Он беспомощно развёл руками.

— Туман!

— Туман, — повторил немец.

— Вы слышали выстрелы?

— Редкие. Скорее всего, это были сигналы. Шифрованные сведения распространялись через туман, столь непроницаемый для света и столь прозрачный для звука…

И тут иностранца понесло. Он принялся вслух

размышлять на смеси французского и латыни, как можно передавать шифрованные данные при помощи взрывов. Система основывалась на идеях из Уилкинсова «Криптономикона» и предполагала столь значительный расход пороха, что наверняка пришлась бы по душе Джону Комстоку. Другими словами, молодой немец отождествил себя (по крайней мере, для Даниеля Уотерхауза) с доктором Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Наблюдатели утратили интерес и обратили расспросы к другой лодке.

Лейбниц сошёл на английский берег. За ним следовали два других немца, постарше, не такие словоохотливые и (предположил Даниель) более значительные. За ними в свою очередь следовал старший слуга, возглавляющий целую колонну носильщиков с сундуками. Однако свой деревянный ящичек Лейбниц никому не доверил. Даниель шагнул вперёд, но какой-то шустрый малый оттёр его плечом, вручил одному из старших господ запечатанный конверт и быстро зашептал на нижненемецком.

Даниель раздражённо выпрямился. Так случилось, что при этом взгляд его упал на Сити и остановился на набережной ниже моста — груде чёрных камней, оставшихся после Пожара. Этот

участок могли бы восстановить годы назад, но не восстановили, сочтя другие более важными. Несколько человек занимались там высокоинтеллектуальной работой — провешивали линии и делали зарисовки. Один из них — удивительно! — оказался Робертом Гуком, которого Даниель тихонько оставил в Грешем-колледже час назад. Менее удивительно, что Гук (при своей зоркости) узнал Даниеля на островке посреди реки, где тот встречал явно заграничную делегацию, а потому помрачнел и нахмурился.

Лейбниц и его спутники что-то обсуждали на верхненемецком. Шустрый малый взглянул на Даниеля. Это был один из посыльных (и по совместительству — лазутчиков) голландского посла. Немцы составили некий план, по которому им, видимо, предстояло разойтись. Даниель шагнул вперёд и представился.

Другие немцы, представляясь в ответ, называли свои *фамилии*, однако значение имели их *родословные:* один доводился племянником архиепископу Майнцскому, другой был сыном премьер-министра барона фон Бойнебурга. Другими словами, *очень* важные люди в Майнце, соответственно, *довольно* значительные в Священной Римской империи, которая сохраняла

относительный нейтралитет во франко-англо-голландской сваре. Судя по всему, они прибыли в качестве посредников в мирных переговорах.

Лейбниц знал, кто такой Даниель, и спросил:

— Уилкинс ещё жив?

— Да…

— Благодарение Богу!

— Но очень болен. Если вы намерены его посетить, я бы посоветовал сделать это прямо сейчас. Охотно вас провожу, доктор Лейбниц… окажите честь, позвольте мне понести ящичек.

— Вы очень любезны, — отвечал Лейбниц, — однако я понесу его сам.

— Коли внутри золото или драгоценности, советую держать его крепко.

— Улицы Лондона небезопасны?

— Скажем так: мировые судьи заняты по большей части диссентерами и голландцами, и наши воришки не преминули этим воспользоваться.

— Содержимое ящичка много ценнее золота, — сказал Лейбниц, вступая на лестницу, — однако его невозможно украсть.

Он ничуть не походил на монстра.

По словам Ольденбурга, французы из Академии Монмора, которая была для Франции примерно тем же, что Лондонское Королевское общество

— для Англии, в последнее время называли Лейбница латинским словом *monstro*. И это люди, лично знавшие Ферма и Декарта!.. Поскольку в таких кругах преувеличения считались недопустимой вульгарностью, члены Королевского общества ударились в этимологические изыскания: следует ли понимать, что Лейбниц — урод? Неестественный гибрид человека с кем-то ещё? Божественное предзнаменование?

— Он живёт в той стороне, не так ли?

— Епископ вынужден был переехать из-за болезни — он в доме своей падчерицы на Чансери-Лейн.

— Тогда нам всё равно в ту сторону, затем налево.

— Вы бывали в Лондоне, доктор Лейбниц?

— Я изучал его по картинам.

— Боюсь, после Пожара они превратились в антикварный курьёз — вроде карт Атлантиды.

— Всё же рассматривать виды пусть даже и воображаемого города в определённом смысле полезно, — сказал Лейбниц. — В конкретный момент времени художник видит город только с одной точки и потому перемещается: пишет сперва с холма на одной его стороне, затем с башни на другой и с перекрёстка в центре, всё

на одном холсте. Значит, глядя на полотно, мы в некой малой степени постигаем, как Господь видит Вселенную, ибо Он зрит её со всех точек зрения *одновременно*. Населив мир столькими мыслящими созданиями, каждое из которых смотрит с собственной точки зрения, Он даёт нам понять, что значит быть вездесущим.

Даниель решил промолчать, чтобы слова Лейбница повисли в воздухе, как звуки органа в лютеранской церкви. Тем временем они добрались до северной оконечности моста, где грохот водяных колёс под каменным сводом шлюза так и так заглушил бы разговор. Только начав подъём по Фиш-стрит, Даниель спросил:

— Я видел, что вы уже вступили в сношения с голландским послом. Можно ли заключить, что вы здесь с миссией не чисто натурфилософского свойства?

— Вопрос разумный — в определённой степени, — проворчал Лейбниц. — Мы ведь ровесники, вы и я?

Он быстро оглядел Даниеля. Глаза у него были как стеклянные бусинки или как буравчики, в зависимости от того, какого рода монстром его считать.

— Мне двадцать шесть.

— Мне тоже. Значит, мы оба родились в тысяча шестьсот сорок шестом. В тот год шведы захватили Прагу и вторглись в Баварию. Инквизиция жгла евреев в Мексике. Полагаю, подобные ужасы творились и в Англии?

— Кромвель разбил королевскую армию под Ньюарком… король бежал… Джон Комсток был ранен…

— Мы говорим лишь о королях и дворянах. Вообразите страдания простых крестьян и бродяг, которые не менее драгоценны в очах Господа. А вы спрашиваете, прибыл я с дипломатическими или с философскими целями, как будто эти два понятия можно разделить.

— Знаю, вопрос был бестактен и груб, однако моя обязанность — поддерживать разговор. Вы сказали, что цель всех натурфилософов — восстанавливать мир и гармонию среди людей. С этим я спорить не могу.

Лейбниц смягчился:

— Наша цель — не дать голландской войне перекинуться на всю Европу. Пусть вас не оскорбляет моя прямота: архиепископ и барон — члены Королевского общества, и я тоже. Они алхимики; я — нет, если не считать политики. Они надеются, что через натурфилософию я смогу войти в

сношение с важными людьми, к которым нелегко было бы подобраться по *дипломатическим* каналам.

— Десять лет назад я, может быть, оскорбился бы, — сказал Даниель. — Однако теперь меня уже ничем не удивишь.

— Однако в стремлении увидеть епископа Честерского я руководствуюсь самыми чистыми из всех возможных мотивов.

— Он это почувствует и обрадуется, — заверил Даниель. — Последние несколько лет жизни Уилкинс целиком принёс в жертву политике — он пытается разрушить здание теократии, предупредить её возрождение в случае, если на английский престол взойдёт папист…

— Или уже взошёл, — вставил Лейбниц.

Лёгкость, с какой Лейбниц предположил, будто Карл II — тайный католик, подсказала Даниелю, что на Континенте это ни для кого не секрет. Он почувствовал себя жалким и наивным провинциалом. В каких бы преступлениях и обманах ни подозревал он короля, ему и в голову не приходило, что тот дерзко лжёт всей стране о своей вере.

У Даниеля было много времени, чтобы скрыть досаду, пока они шагали через центр города, превращённый в одну нескончаемую стройку,

что, впрочем, не мешало деловой жизни златокузнечных лавок и Биржи. Булыжники свистели между Даниелем и Лейбницем, как пушечные ядра, лопаты абордажными саблями рассекали воздух над их головой, тачки с золотом, серебром, кирпичами и глиной, словно повозки с боеприпасами, сновали по временным настилам из досок и утоптанной грязи.

Быть может, приметив озабоченность на лице Даниеля, Лейбниц, небрежно взмахнув рукой, заметил:

— Совсем как на рю Вивьен в Париже. Я часто хожу туда читать рукописи в *Bibliotèque du Roi*[42].

— Я слышал, туда отправляют экземпляр каждой отпечатанной во Франции книги.

— Да.

— Однако она основана в год нашего Пожара, так что, полагаю, ещё очень мала — ведь ей всего несколько лет от роду.

— Эти годы были весьма плодотворны для математики; кроме того, в ней хранятся некоторые неопубликованные рукописи Декарта и Паскаля.

— Но не классические труды?

---

[42] Примечания: 42
Королевская библиотека (*фр.*).

— Мне посчастливилось возрастать — или взращивать себя — в отцовской библиотеке, где все эти труды были.

— Ваш отец имел склонность к *математике?*

— Трудно сказать. Как путешественник, узнающий город по картинам, написанным с разных точек, я знаю отца лишь по книгам, которые он читал.

— Теперь я понял ваше сравнение, доктор. *Bibliotèque du Roi* для вас — ближайшее на сегодняшний день приближение к тому, как Господь видит мир.

— И всё же более обширная библиотека дала бы лучшее приближение.

— При всём уважении, доктор, чем эта улица похожа на рю Вивьен? У нас в Англии нет подобной библиотеки.

– *Bibliotèque du Roi* — всего лишь здание, дом, который Кольбер приобрёл на рю Вивьен, вероятно, в качестве вложения в недвижимость, ибо на этой улице расположены златокузнечные лавки. Каждые десять дней, с десяти утра до полудня, все парижские торговцы отправляют свои деньги на рю Вивьен для пересчёта. Я сижу в доме Кольбера, силясь постичь Декарта или работая над математическими доказательствами, которые поручил

мне мой наставник Гюйгенс, и гляжу на улицу, по которой бредут носильщики, сгибаясь под тяжестью золота и серебра. Теперь вы начинаете понимать мою загадку?

— Какую?

— Этот ящичек! Я сказал, что лежащее в нём ценнее золота, и всё же его невозможно украсть. Куда нам сейчас поворачивать?

Они достигли урагана, в котором сталкивались улицы Треднидл, Корнхилл, Полтри и Ломбард. Мальчишки-посыльные стремглав неслись через перекрёсток, словно стрелы из арбалета или (подозревал Даниель) словно прозрачные намёки, которые ему никак не удавалось взять в толк.

Добрая сотня лондонских епископов, лордов, проповедников и джентльменов-философов охотно приютили бы у себя болящего Уилкинса, однако он осел в доме своей падчерицы на Чансери-Лейн, неподалёку от того места, где жили Уотерхаузы. Вход в дом и улица были запружены толпою придворных — не лощёных царедворцев высшего уровня, но побитых и потрёпанных, чересчур старых или чересчур неказистых, короче, тех, на ком по-настоящему держалась

государственная машина*[43]. Они теснились вокруг кареты, украшенной гербом графа Пенистонского. Дом был старый (пожар остановился в нескольких ярдах от него), разлапый, крытый соломой, фахверковый, прямиком из «Кентерберийских рассказов» — самый неподходящий фон для роскошного экипажа и тонюсеньких рапир.

— Видите, несмотря на чистоту своих мотивов, вы уже увязли в политике, — сказал Даниель. — Хозяйка этого дома — племянница Кромвеля.

— Кромвеля?!

— Того самого, чья голова смотрит на Вестминстер с пики. Далее, эта великолепная карета принадлежит Нотту Болструду, графу Пенистонскому; его отец основал секту гавкеров, как правило, объединяемую с другими под уничижительной кличкою «пуритане». Впрочем, гавкеры всегда выделялись своей радикальностью: например, они считают, что правительство и церковь не должны иметь между собой ничего общего и что всех рабов в мире надо освободить.

— Однако люди перед входом одеты как придворные! Они хотят взять пуританский дом штурмом?

---

[43] Примечания: 43

Хороший пример такого придворного — Пепис; однако его здесь не было.

— Это клевреты Болструда. Понимаете, граф Пенистонский — государственный секретарь его величества.

— Я слышал, что король Карл Второй назначил фанатика государственным секретарём, но затруднялся поверить.

— Подумайте, возможны ли гавкеры в какой-то другой стране? За исключением Амстердама, конечно.

— Разумеется, нет! — с лёгким негодованием отвечал Лейбниц. — Их бы давно истребили.

— Посему, несмотря на своё отношение к королю, Нотт Болструд вынужден поддерживать свободную и независимую Англию, и когда диссентеры обвиняют короля в чрезмерной близости к Франции, его величество может просто указать на Болструда как на живое свидетельство независимой международной политики.

— Но это же фарс! — пробормотал Лейбниц. — Весь Париж знает, что Англия у Франции в кармане.

— Весь Лондон тоже это знает. Разница в том, что у нас тут три дюжины театров, а в Париже — только один.

Наконец и ему удалось поставить Лейбница в тупик.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что мы *любим* фарсы.

— А почему Болструд навещает племянницу Кромвеля?

— Вероятно, он навещает Уилкинса.

Лейбниц в задумчивости остановился.

— Соблазнительно. Однако невозможно по протоколу. Я не могу войти в этот дом.

— Конечно, можете — со мной, — объявил Даниель.

— Я должен вернуться и пригласить своих спутников. Мой ранг не позволяет мне беспокоить государственного секретаря.

— А мне мой — позволяет, — сказал Даниель. — Одно из первых моих воспоминаний — как он кувалдой крушит церковный орга́н. Мой приход напомнит ему о приятном.

Лейбниц в ужасе замер. Даниель почти видел отражённые в его зрачках витражи и органные трубы уютной лютеранской кирхи.

— Почему он совершил такой вандализм?

— Потому что это была англиканская церковь. Ему едва исполнилось двадцать — возраст юношеской горячности.

— Ваши родные были последователями Кромвеля?

— Вернее сказать, что Кромвель был последователем моего отца — да упокоит Господь их души.

Вокруг уже сомкнулась толпа придворных, так что Лейбниц не мог подчиниться инстинкту и убежать.

Несколько минут они проталкивались через толпу всё более высокопоставленных и хорошо одетых людей, затем поднялись по лестнице и оказались в крохотной комнатёнке с низким сводчатым потолком. Пахло так, словно Уилкинс уже умер, однако бóльшая его часть была ещё жива; он сидел, опершись на подушки и примостив на коленях доску с каким-то документом. Нотт Болструд — сорока двух лет — стоял на коленях рядом с кроватью. Когда Даниель вошёл, он обернулся. За десять лет в Ньюгейтской тюрьме, среди убийц и безумцев, у него выработалась привычка смотреть, кто подходит сзади, полезная для государственного секретаря, как была в своё время полезна для фанатика-разрушителя.

— Брат Даниель!

— Милорд.

— Вы сгодитесь не хуже любого другого, и даже лучше многих.

— Для чего, сэр?

— Чтобы засвидетельствовать подпись епи-

скопа.

Болструд обмакнул перо в чернила, Даниель вложил его в пухлые пальцы Уилкинса. Несколько раз вздохнув, епископ Честерский принялся водить рукой, и на бумаге начали возникать закорючки, похожие на подпись Уилкинса, как призрак — на человека. Короче, хорошо, что в комнате было кому её засвидетельствовать. Даниель не знал, о чём документ, но по виду предположил, что он предназначен для короля.

Сразу после этого граф Пенистонский заторопился. Однако прежде чем выйти, он сказал Даниелю:

— Если у вас есть доля в Гвинейской компании герцога Йоркского, продайте её, ибо скоро этот папист-работорговец пожнёт бурю. — И тут, может быть, второй или третий раз в жизни Нотт Болструд улыбнулся.

— Покажите мне её, доктор Лейбниц, — сказал Уилкинс, пропуская все предварительные формальности. Он не мочился уже три дня и знал, что время поджимает.

Лейбниц осторожно присел на краешек кровати и открыл ящичек.

Даниель увидел шестерни, валы, ручки. В первый миг он подумал, что это новая конструкция

часов, но циферблата и стрелок не было — только несколько колёсиков с цифрами.

— Разумеется, она во многом восходит к машине мсье Паскаля, — сказал Лейбниц, — однако может не только складывать и вычитать числа, но и умножать.

— Покажите, как она работает, доктор.

— Должен признаться, она ещё не закончена. — Лейбниц нахмурился, повернул машинку к свету и резко дунул. Изнутри вылетел таракан, описал дугу и, коснувшись пола, убежал под кровать. — Это только демонстрационный образец. Законченная, она будет *великолепна*.

— Неважно, — сказал Уилкинс. — В ней используются десятичные числа?

— Да, как у Паскаля, хотя двоичные были бы лучше.

– *Мне* можете не рассказывать, — проговорил Уилкинс и пустился в получасовое рассуждение, целыми страницами цитируя соответствующие главы «Криптономикона».

Наконец Лейбниц деликатно кашлянул:

— Есть и механические причины. Для десятичных чисел нужно слишком много сцеплений между шестернями. Трение и проскальзывание всё портят.

— Гук! Гук бы её построил, — сказал Уилкинс. — Однако довольно о машинах. Давайте поговорим о пансофизме. Добились ли вы успеха в Вене?

— Я несколько раз писал императору, рассказывал ему о *Bibliotèque du Roi*…

— Надеясь возбудить его зависть?

— Да… увы, в иерархии его пороков безраздельно царит леность. А как ваши успехи, милорд?

— Сэр Элиас Ашмол создаёт порядочную библиотеку, однако он разбрасывается и одержим алхимией. Мне пришлось заняться более фундаментальными вопросами. — Уилкинс слабым движением руки указал на дверь, через которую только что вышел Болструд. — Я верю, что двоичные арифметические машины будут очень важны. Ольденбург тоже преисполнен самого горячего интереса.

— Сочту за честь продолжить ваш труд, сударь.

— У меня нет времени на вежливые слова. Уотерхауз!

Лейбниц закрыл ящичек. Епископ Честерский проследил взглядом, как опустилась крышка счётной машины, и его веки почти смежились в тот же самый миг. Однако он с усилием их разлепил. Лейбниц посторонился, и Даниель занял его место.

— Милорд?

Это всё, что он смог выдавить. Дрейк был его родителем, Уилкинс — владыкой почти во всех смыслах этого слова: его лордом, епископом, наставником и духовным отцом.

— Отныне на вас ложится обязанность всё это осуществить.

— Милорд? Что осуществить?

Однако Уилкинс то ли умер, то ли заснул.

Они прошли через тёмную кухоньку и далее через лабиринт подворотен и проулков за Чансери-Лейн, где на них обращали внимание главным образом петухи и собаки. Преследуемые лаем и кукареканьем мистер Уотерхауз и доктор Лейбниц оказались в квартале театров и кофеен. Сгодилась бы любая из этих кофеен, однако они были почти на Квин-стрит, ещё одной улице, которую перестраивал Гук. Даниель ощущал себя блохой под Великим Микроскопом. Гук, словно хорда, стянул собой чуть ли не половину космоса: Даниелю казалось, будто он прыгает из укрытия в укрытие, хоть ему и нечего скрывать. Лейбниц держался бодро и был явно не прочь прогуляться по городу, поэтому Даниель снова повёл его к реке. Он пытался понять, что за обязанность возложил на него Уилкинс, и потому

плохо развлекал гостя. Примерно через четверть часа до него дошло, что у Лейбница могут быть соображения на сей счёт.

— Вы сказали, что хотели бы продолжить труды Уилкинса. Какие именно? Полёт на Луну или?..

— Философский язык, — произнёс Лейбниц, словно другого ответа и быть не может.

Он знал, что Даниель участвовал в проекте, и воспринял вопрос как знак, что тот не очень этим гордится (что было верно). Теперь у Даниеля закралось подозрение: может быть, философский язык обладает какими-то достоинствами, которые он по тупости не разглядел?

— Что ещё с ним делать? — спросил Даниель. — Вы хотите предложить какие-то усовершенствования? Дополнения? Перевести работу на немецкий?.. Вы качаете головой, доктор. Так что же?

— Я учился на законника. Не пугайтесь так, мистер Уотерхауз, в Германии это вполне уважаемая профессия для образованного человека. Помните, что у нас нет Королевского общества. Получив степень доктора юриспруденции, я поступил на службу к архиепископу Майнцскому, и тот поручил мне привести в порядок законодательство. Это настоящая Вавилонская башня

— смешение римского, германского и местного права. Я решил, что нет смысла подлатывать его на скорую руку; надо свести всё к неким основным концепциям и начать с первопринципов.

— Я понимаю, как философский язык поможет разобрать всё до основания, — проговорил Даниель, — но, чтобы отстроить здание заново, вам потребуется нечто иное…

— Логика, — сказал Лейбниц.

— У высших приматов, составляющих Королевское общество, логика не в чести.

— Потому что они ассоциируют её со схоластами, мучившими их в университете, — терпеливо произнёс Лейбниц. — Я о другом! Под логикой я разумею Евклидову логику.

— Начать с неких аксиом и объединить их по определённым правилам…

— Да… и выстроить систему законов, столь же доказуемую и непротиворечивую, как теория конических сечений.

— Однако вы недавно перебрались в Париж, если я не ошибаюсь?

Лейбниц кивнул:

— Часть того же проекта. По очевидным причинам мне следовало усовершенствоваться в математике, а где это делать, как не в Париже? —

Он нахмурился. — Вообще-то, была и другая причина: архиепископ отправил меня с некоторыми предложениями к Людовику XIV.

— Так вы не в первый раз соединяете натурфилософию с дипломатией?

— И, боюсь, не в последний.

— Что же за предложения вы изложили королю?

— Вообще-то, я добрался только до Кольбера. А предложение было такое: чем воевать с *соседями,* Франция могла бы предпринять поход на Египет и основать там империю, грозя туркам с левого фланга — из Африки, что заставило бы тех оттянуть войска с правого фланга…

— Христианского мира.

— Да. — Лейбниц вздохнул.

— Мысль… э… дерзкая, — проговорил Даниель, тоже становясь дипломатом.

— К тому времени, как я прибыл в Париж и добился аудиенции у Кольбера, Людовик уже вторгся в пределы Голландии и Германии.

— А замысел был хорош.

— Быть может, его воскресит какой-нибудь грядущий французский монарх, — сказал Лейбниц. — Для голландцев последствия были ужасны, для меня — благотворны. Я мог, не отцеживая

более *дипломатических* комаров, отправиться в дом Кольбера на рю Вивьен, чтобы потягаться с *философскими* исполинами.

— Я уже отчаялся с ними тягаться, — вздохнул Даниель, — и теперь лишь плетусь у них в хвосте.

Они прошли весь Стрэнд и сели в кофейне, выходящей окнами на юг. Даниель развернул арифметическую машину к свету и осмотрел колёсики.

— Простите, доктор, это *исключительно* для разговора или?..

— Пожалуй, вам стоит вернуться и спросить Уилкинса.

— Упрёк принят.

Они пригубили кофе.

— Епископ Честерский был в определённой степени прав, говоря, что её мог бы построить Гук, — сказал Даниель. — Несколько лет назад он беззаветно служил Королевскому обществу и тогда *построил бы*. Теперь он беззаветно служит Лондону, и почти все его часы собирают ремесленники, за исключением тех, что предназначаются королю, герцогу Йоркскому и другим высокопоставленным лицам.

— Если бы я объяснил мистеру Гуку важность

этой машины, уверен, он бы за неё взялся.

— Вы не знаете Гука, — возразил Даниель. — Из-за того, что вы немец и у вас обширные связи за границей, Гук решит, что вы принадлежите к клике Грубендоля, которая в его воображении столь непомерно велика, что французское вторжение в Египет было бы малейшей из её задач.

— Грубендоль? — переспросил Лейбниц и, раньше чем Даниель успел объяснить, продолжал: — А, ясно, анаграмма фамилии Ольденбург.

Даниель стиснул зубы, вспомнив, сколько времени потребовалось ему, чтобы разрешить эту головоломку.

— Гук убеждён, что Ольденбург крадёт его изобретения — пересылает за границу в шифрованных письмах. Что хуже, он видел, как вы сошли с лодки и получили письмо от небезызвестного голландца. Он захочет знать, в какие континентальные интриги вы замешаны.

— Я не скрываю, что мой покровитель — архиепископ Майнцский, — запротестовал Лейбниц.

— Мне казалось, вы назвали себя лютеранином.

— Я и есть лютеранин. Одна из целей архиепископа — примирить две церкви.

— Здесь бы мы сказали: более чем две, — на-

помнил Даниель.

— Гук религиозен?

— Если вы спрашиваете: «ходит ли он в церковь», то ответ — нет, — после неуверенной паузы признал Даниель. — Однако если вы хотите узнать, верит ли он в Бога, то я бы ответил — «да»: микроскоп и телескоп — его церковные витражи, анималькули в капле собственной спермы и тени Сатурнова кольца — небесные виде́ния.

— Так он вроде Спинозы?

— Вы хотите сказать, из тех, для кого Бог — не более чем Природа? Сомневаюсь.

— Чего хочет Гук?

— Он день и ночь занят проектированием зданий и прокладкой улиц…

— Да, а я занимаюсь реформированием немецкого законодательства, однако это не то, чего я *хочу*.

— Мистер Гук строит различные козни против Ольденбурга.

— Но не потому, что *хочет?*

— Он пишет статьи и читает лекции…

Лейбниц фыркнул:

— Менее десятой части того, что он знает, изложено на бумаге, не так ли?

— Гука плохо понимают, отчасти из-за странностей, отчасти из-за скверного характера. В мире, где многие отказываются верить в гипотезу Коперника, некоторые самые передовые идеи Гука, будучи обнародованы, могли бы привести его в Бедлам.

Лейбниц сощурился:

— Алхимия?

— Мистер Гук презирает алхимию.

— Отлично! — выпалил Лейбниц, позабыв про дипломатию.

Даниель спрятал улыбку за чашкой кофе. Лейбниц ужасно смутился, испугавшись, что Даниель сам окажется алхимиком. Даниель успокоил его, процитировав из Гука:

— «Зачем искать загадки там, где их нет? Уподобляться раввинам-каббалистам, ищущим энигмы в числах и расположении букв, ничего такого не содержащих, тем временем как в природных формах… чем более мы увеличиваем предмет, тем восхитительнейшие тайны раскрываем и тем более постигаем несовершенство собственных чувств и всемогущество нашего Создателя».

— Итак, Гук верит, что тайны мироздания можно открыть под микроскопом.

— Да. Снежинки, например. Коли каждая непохожа на другую, почему все шесть лучиков конкретной снежинки одинаковы?

— Если мы полагаем, что лучи растут из центра, значит, в центре есть нечто, придающее каждому из шести лучей общий организующий принцип — как все дубы и все липы имеют общую природу и вырастают примерно одинаковой формы.

— Человек, говорящий о некой загадочной *природе,* подобен схоласту — этакий Аристотель в камзоле.

— Или в мантии алхимика, — добавил Лейбниц.

— Согласен. Ньютон бы сказал…

— Это который изобрёл телескоп?

— Да. Он бы сказал, что, если поймать снежинку, расплавить и перегнать воду, можно получить дистиллят — сущность, которая воплощает её природу в физическом мире и определяет форму.

— Да, это точный *дистиллят* алхимического мышления — веры в то, что всё непонятное нам имеет некую физическую сущность, которую в принципе можно выделить из грубого вещества.

— Мистер Гук, напротив, убеждён, что пути Природы созвучны человеческому разумению. Как биение мушиных крыл созвучно колебаниям

струны и может войти с ним в резонанс — так и каждый феномен в мире может, в принципе, быть познан человеческим разумом.

Лейбниц сказал:

— И обладая достаточно мощным микроскопом, Гук мог бы, заглянув внутрь снежинки при её рождении, увидеть, как сцепляются внутренние части, словно шестерни в творимых Богом часах.

— Именно так, сударь.

— И этого-то он *хочет?*

— Такова неназванная цель его исследований — в *это* он должен верить и к *этому* стремиться, ибо такова его внутренняя природа.

— Теперь *вы* говорите как аристотельянец, — пошутил Лейбниц.

Он потянулся через стол, положил руку на ящичек и произнёс уже не шутя:

— Что часы для *времени*, то эта машина для *мысли*.

— Сударь! Вы показали мне, как несколько шестерён складывают и умножают числа. Превосходно. Но это не значит *мыслить!*

— Что есть число, мистер Уотерхауз?

Даниель застонал.

— Как вы можете задавать такие вопросы?

— Как можете вы их *не* задавать? Вы ведь фи-

лософ?

— Натурфилософ.

— Тогда вы должны согласиться, что в *современном* мире математика — сердце натурфилософии. Она подобна загадочной сущности в центре снежинки. Когда мне было пятнадцать, мистер Уотерхауз, я бродил по Розенталю — это сад на краю Лейпцига — и определил свой путь к натурфилософии: отбросить старую доктрину субстанциальных форм и положиться в объяснении мира на механику. Это неизбежно привело меня к математике.

— В свои пятнадцать я раздавал пуританские памфлеты на соседней улице и бегал от городской стражи — но со временем, доктор, когда мы с Ньютоном изучали Декарта в Кембридже, я пришёл к тому же, что и вы, заключению о ведущей роли математики.

— Тогда повторю свой вопрос: что есть число? И что значит перемножить два числа?

— Не знаю, но в любом случае не то же, что *мыслить*.

— Бэкон сказал: «Всё, обладающее заметным различием, по природе своей способно обозначать мысль». Нельзя отрицать, что числа в этом смысле способны…

– *Обозначать* мысль, да! Но обозначить мысль не значит *мыслить* — иначе перья и печатные прессы сами бы писали стихи.

— Может ли ваш разум манипулировать этой ложкой непосредственно? — Лейбниц взял серебряную ложечку и положил её на стол между ними.

— Без помощи рук — нет.

— И когда вы думаете о ложке, манипулирует ли ею ваш разум?

— Нет. Когда я о ней думаю, с ложкой ничего не происходит.

— Поскольку наш разум не может манипулировать физическими предметами — чашкой, блюдцем, ложкой, он манипулирует их *символами,* хранящимися в нашем мозгу.

— Тут я соглашусь.

— Вы сами помогали епископу Честерскому придумать философский язык, который — и в этом главное его достоинство — приписывает каждой вещи положение в определённой таблице. Это положение может быть обозначено числом.

— Опять-таки, соглашусь. Числа могут обозначать мысль, пусть и своего рода шифром. Но *мыслить* — совершенно другое дело!

— Почему? Мы складываем, вычитаем и умножаем числа.

— Положим, число «три» обозначает курицу, а число «двенадцать» — кольца Сатурна. Сколько будет трижды двенадцать?

— Ну, нельзя делать это *произвольно*, — сказал Лейбниц, — как Евклид не мог бы, проведя произвольные окружности и прямые, получить теорему. Должна быть строгая система правил, по которым производятся действия над числами.

— И вы предлагаете построить для этого машину?

– *Pourquoi non*?[44] При помощи машины истину удастся запечатлеть, как на бумаге.

— И всё равно это не мысль. Мыслят ангелы; эту способность дал человеку Господь.

— И как, по-вашему, Господь её нам даёт?

— Не знаю, сударь!

— Если подвергнуть перегонке человеческий мозг, удастся ли извлечь таинственную сущность — присутствие Божие на земле?

— Алхимики зовут её философской ртутью.

— Или, если Гук посмотрит на человеческий мозг в микроскоп, увидит ли он крошечные зуб-

---

[44] Примечания: 44
Почему бы нет? (*фр.*)

чатые колёса?

Даниель молчал. Лейбниц взорвал его мозг. Зубчатые колёса застопорились, философская ртуть капала из ушей.

— Вы уже объединились с Гуком против Ньютона касательно снежинок — могу ли я предположить, что вы придерживаетесь таких же взглядов касательно мозга? — с преувеличенной вежливостью продолжал Лейбниц.

Даниель некоторое время смотрел через окно в какую-то далёкую точку. Постепенно его мысль вернулась в кофейню. Он покосился на арифметическую машину.

— В одной из глав «Микрографии» Гук описывает, как мухи вьются над мясом, бабочки — над цветком, комары — над водой, создавая *видимость* разумного поведения. Однако он считает, что пары́, исходящие от мяса, цветов и прочего, включают некий внутренний механизм. Другими словами, он считает, что эти твари не разумней ловушки, в которой животное, хватая приманку, тянет за нить, привязанную к мушкету. Дикарь, видя, как ловушка убивает зверя, сочтёт её разумной. Однако *ловушка* не разумна, разумен человек, который её *придумал.* Так вот, если вы, изобретательный доктор Лейбниц, создадите ма-

шину, которая будет *якобы* мыслить, — будет ли она мыслить *на самом деле* или только отражать ваш гений?

— С тем же успехом вы могли бы спросить: мыслим ли мы? Или только отражаем Божий гений?

— Предположим, я бы задал этот вопрос — что бы вы ответили, доктор?

— Я бы ответил: и то и другое.

— И то и другое? Невозможно. Должно быть либо то, либо это.

— Не согласен с вами, мистер Уотерхауз.

— Если мы всего лишь механизмы, работающие по правилам, которые положил Господь, то все наши действия предопределены и мы на самом деле не мыслим.

— Однако, мистер Уотерхауз, вас воспитали пуритане, верящие в предопределение…

— Воспитали, да… — он не договорил фразу.

— Вы больше не верите в предопределение?

— Оно не созвучно моим наблюдениям, как пристало хорошей гипотезе. — Даниель вздохнул. — Теперь я вижу, почему Ньютон избрал путь алхимии.

— Когда вы говорите «избрал», вы подразумеваете, что он *отринул* другой путь. Значит ли это, что ваш друг Ньютон исследовал идею механиче-

ски детерминированного разума и отверг её?

— Если он исследовал её, то лишь в страшных снах.

Лейбниц поднял брови и некоторое время смотрел на чашки.

— Таков один из двух великих лабиринтов, в которые увлекается человеческая мысль: свободная воля или предопределённость. Вас учили верить в последнюю. Вы отвергли её — вероятно, в ходе мучительной душевной борьбы — и стали мыслителем. Вы приняли современную, механистическую философию. И теперь эта самая философия вроде бы ведёт вас назад к предопределённости. Тяжело.

— Однако вы утверждаете, что знаете третий путь, доктор. Расскажите о нём.

— Охотно бы, — промолвил Лейбниц, — но должен сейчас с вами расстаться и встретиться с моими спутниками. Можем ли мы продолжить беседу в другой раз?

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс

ноябрь 1713

В бытность свою молодым членом Королевского общества Даниель не раз препарировал человеческие головы и знает: череп, точно корпус корабля, сплошь опутан мокрым такелажем — внизу галсы сухожилий и брасы связок крепятся на кофель-планках нижней челюсти и височной кости, вверху, словно парус, растянуто широкое полотнище соединительной ткани. Покуда Даниель рысцой поднимается из трюма «Минервы», таща за собою мешок с боеприпасом, он чувствует, как все эти снасти неумолимо выбираются втугую. Каждая ступенька — щёлканье палов, как будто невидимые матросы вращают кабестан в его голове. Последний час он провёл ниже ватерлинии, не в самой уютной части корабля, зато вне опасности от летящих ядер, — разбивал тарелки молотком и горланил старые песни. Никогда в жизни он так не отдыхал душой. Однако сейчас он взбирается по трапу в самой середине корпуса: как раз в такое массивное «яблочко» будут це-

лить пираты, не уверенные в своей способности навести фальконеты на более мелкую мишень.

Посредине «Минервы», сразу за огромным стволом грот-мачты, начинается шахта, идущая до самого трюма; два винтовых трапа закручены в противоположные стороны, чтобы те, кто спускается, не мешали тем, кто поднимается; или чтобы дряхлые доктора с мешками битой посуды не путались под ногами у юнг, бегущих из трюма… с чем? Свет тусклый. Вроде бы это полотняные мешочки: тяжёлые раздутые многогранники с торчащими из углов ржавыми гвоздями. Даниель рад, что поднимается по другому трапу. Не хотелось бы напороться на такой мешок — верная смерть от столбняка.

На батарейной палубе происходит какая-то важная операция. Все орудийные порты закрыты, за исключением одного, приоткрытого на ширину ладони, в правом борту, то есть недалеко от того места, где появляется с трапа Даниель. Несколько относительно важных офицеров стоят у этого порта полукругом, как на крестинах. Сквозь доски сверху доносятся глухие удары. Это может быть обстрел; а если может быть, значит, он самый и есть. Кто-то выхватывает у Даниеля мешок и тащит к центру батарейной палубы. Матросы с

пустыми мушкетонами набрасываются на него, как шакалы на кость.

Даниеля резко отодвигает локтем человек, тянущий трос, пропущенный через маленькое отверстие над орудийным портом. В итоге: (1) Даниель падает на костлявый зад; (2) указанный порт раскрывается, являя квадрат внезапного света. В нём прорисован такелаж судёнышка: так близко, что кто-нибудь помоложе мог бы на него перепрыгнуть. Человек — пират — с этого корабля направляет мушкет в сторону Даниеля, но его настигает яркий сноп старого фаянса с верхней палубы «Минервы». «Ежи бросай!» — кричит кто-то. Юнги с мешочками подбегают к орудийному порту и обрушивают лязгающий космос на палубу пиратского судна. Через минуту та же процедура повторяется у левого борта, — значит, там тоже есть пиратский корабль. Орудийные порты снова закрываются, так что никто не успевает полюбоваться красочным зрелищем: выпущенными по ним созвездиями крупных свинцовых шариков.

Соотношение вопли/крики заметно возрастает. Даниель (помогая себе встать и бочком перебираясь в безопасный уголок поближе к грот-мачте, чтобы на досуге составить список жа-

лоб) предполагает, что вопят босоногие пираты, напарываясь на ржавые гвозди. Тут он слышит «Пожар! Горим!» и видит, как через приоткрытый порт, клубясь в солнечном луче, вползает облако дыма. Какой-то инстинкт заставляет Даниеля позабыть ушибы вместе с растяжениями — он с проворством восьмилетнего юнги преодолевает последний отрезок трапа и оказывается в кружевной тени парусов. Уж лучше мушкетные пули, чем пожар внутри корабля.

Однако горит не «Минерва», а пиратский шлюп. Вдоль половины правого борта провисают концы. Каждый из них привязан к ржавому абордажному крюку, зацепленному за фальшборт или за выбленку. Пираты рубят абордажные тросы!

Теперь моряки бросаются к левому борту, где по-прежнему остаётся пиратский вельбот. «Минерва» кренится влево. Показывается вельбот, и в тот же миг по нему выпаливают два десятка мушкетов и мушкетонов. Даниель едва успевает увидеть результат — ужасающий, — как «Минерва» снова кренится вправо и закрывает вельбот.

Матросы бросают оружие в ящики и лезут по вантам. Ван Крюйк на юте отдаёт команды в блестящий медный рупор. Внизу много матросов, которые могли бы подсобить в работе, но они не

показываются. Даниель уже немного разобрался в тактике пиратской войны и понимает, что ван Крюйк хочет скрыть от Тича истинный размер команды.

Они больше часа шли с попутным северным ветром (хотя сейчас он, кажется, стал чуть западнее). Южная оконечность мыса Кейп-Код прямо впереди. Однако задолго до берега «Минерва» села бы днищем на грубый бурый песок. Поэтому она поворачивает и берёт курс круто к ветру. Простые слова — например, «поворачивает» — означают процедуру столь же сложную и разработанную в деталях, как избрание нового папы. Рослые крепыши-матросы — брасовые и шкотовые фока-рея и кливера — бегут к носу и занимают позиции на баке и на бушприте, но вежливо сторонятся, пропуская марсовых, которые взбираются по вантам, чтобы развернуть марсель и что там ещё на фок-мачте выше. Это дремучий лес флотских частностей, наблюдать за ним — всё равно что смотреть, как пятьдесят врачей режут разом пятьдесят разных животных. Полвека назад Даниель восхитился бы, увлёкся такой жизнью, стал капитаном. Однако сейчас, как шкипер, спешащий зарифить или убрать паруса, пока чересчур свежий ветер не бросил

корабль на мель, он старается пропустить всё, без чего может обойтись, и понять главное: «Минерва» берёт круче к ветру. В её кильватерной струе беспомощно дрейфует шлюп, паруса полощутся, матросы пытаются мокрой парусиной сбить пламя, не наступая при этом на «ежи». В нескольких милях севернее, на выходе из залива, поджидают ещё четыре корабля.

Дрожь пробегает по снастям «Минервы»: паруса вступают в новые отношения с ветром, всё натягивается втугую, как и положено. Она идёт в самый крутой бейдевинд, курсом норд-ост. Через несколько минут судно снова рядом с пиратским шлюпом, от которого поднимается уже не столько дым, сколько пар. Пираты пытаются поднять паруса. Очевидно, фаянсовый бой и ржавые гвозди полностью их деморализовали; никто уже толком не понимает, что и когда делать. Движения шлюпа неубедительны.

Тем удивительней, что ван Крюйк без всякой надобности снова даёт команду к повороту. «Минерва» разворачивается и встаёт на дыбы, тараня шлюп в середину корпуса, потом вздрагивает, вдавливая килем в воду его обломки. Дюжие баковые матросы абордажными саблями и топорами срубают с бушприта паутину чужого

такелажа. Ван Крюйк с юта наводит пистоль за борт и, распустившись внезапной лилией дыма, ускоряет тонущим пиратам дорогу в ад.

Собрание Королевского общества, Ганфлит-хаус

1673

— Вновь заявляю протест, — сказал Роберт Бойль. — Неуважительно инвентаризовать внутренности нашего основателя, словно носильные вещи, оставленные им в сундуке.

— Отклоняется, — произнёс Джон Комсток, всё ещё председатель Королевского общества, пусть и уходящий. — Впрочем, из уважения к нашему исключительно щедрому хозяину я предоставлю решение ему.

Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, сидел во главе вызывающе нового стола в пышном барочном стиле. Другие большие шишки, вроде Джона Комстока, расположились вокруг стола в соответствии со столь же барочными правилами этикета. Англси вытащил из кармана большие часы и поднёс их к свету, льющемуся из огромного, в пол-акра, оконного стекла, исключительно чистого, бесцветного и недавно установленного.

— Сумеем ли мы уложиться в *пятьдесят секунд*? — спросил он.

Общий вздох. Краем глаза Даниель видел, как несколько членов Общества торопливо прячут часы в выцветшие, затёртые до лоска кармашки. Однако граф Апнорский и — кто бы мог подумать? — Роджер Комсток (сидящий рядом с Даниелем) полезли в новёхонькие карманы и вытащили новёхонькие часы, причем исхитрились повернуть их так, чтобы все увидели не *две*, а *три* стрелки. Третья двигалась с заметной скоростью — она отсчитывала секунды!

Многие украдкой покосились на Роберта Гука, Гефеста точных механизмов. Гук сидел с безучастным видом — вероятно, ему и впрямь было всё равно. Даниель взглянул на Лейбница; тот держал на коленях ящичек и отрешённо глядел вдаль.

Роджер Комсток тоже это приметил:

— Так немцы выглядят перед тем, как разрыдаться?

Апнор, перехватив взгляд Роджера:

— Или перед тем, как выхватить палаши и врубиться в ряды турок.

— Мы должны быть благодарны за то, что он вообще с нами, — пробормотал Даниель, заворожённый секундной стрелкой на часах Роджера. — Вчера пришло известие: в Майнце

скончался его покровитель.

— От смущения, надо полагать, — прошипел граф Апнорский.

Врач, явно чувствуя себя не в своей тарелке, выступил на середину комнаты. Она была большая, и герцог Ганфлитский, надо думать под влиянием архитектора, называл её Гранд-Салон. По-французски это значит всего лишь большая-пребольшая комната, однако, названная по-заграничному, она казалась чуть больше и даже чуть грандиознее.

Для врача она была чересчур велика и чересчур грандиозна даже в качестве просто большой-пребольшой комнаты.

— Пятьдесят секунд? — переспросил он.

Последовавшая неловкая сцена заняла куда больше пятидесяти секунд. Члены Общества пытались втолковать врачу, что такое секунда, а у того прочно засело в голове, что речь о вторых ступенях диатонической гаммы. Может быть, это какой-то жаргон картёжников?

— Вспомните минуту долготы, — крикнул кто-то из дальнего конца большой-пребольшой комнаты. — Как зовётся её шестидесятая часть?

— Секунда долготы, — отвечал врач.

— Тогда по аналогии одна шестидесятая часть

от минуты времени…

— Секунда… времени, — проговорил врач и что-то быстро просчитал в уме. Лицо у него вытянулось.

— Одна триста шестидесятая часа, — подсказал скучающий голос с французским акцентом.

— Время вышло! — выкрикнул Бойль. — Давайте перейдём к…

— Мы даём доктору ещё пятьдесят секунд, — объявил Англси.

— Благодарю, милорд. — Врач прочистил горло. — Может быть, джентльмены, покровительствовавшие изысканиям мистера Гука и теперь располагающие его остроумным прибором, соблаговолят информировать меня о ходе времени, покуда я зачитываю результаты посмертного вскрытия епископа Честерского…

— Идёт. Вы уже потратили двадцать секунд, — сказал граф Апнорский.

— Прошу тебя, Луи, давай проявим уважение к нашему покойному основателю и присутствующему здесь доктору, — обратился к нему отец.

— Первому, полагаю, наше уважение уже ни к чему, но ради второго соглашусь.

— Тишина! — потребовал Бойль.

Врач дрогнул, но Джон Комсток пригвоздил его

взглядом.

— Бóльшая часть органов епископа Честерского нормальна для человека его возраста, — сказал врач. — В одной почке я нашёл два маленьких камня. В мочеточнике — песок.

Он сел с поспешностью пехотинца, только что заметившего белые дымки над полками неприятельских мушкетов. Комната загудела, словно была стеклянным пчельником Уилкинса, и врач разворошил её палкой. Однако пчелиная царица умерла, и пчёлы не могли сойтись во мнении, кого жалить.

— Как я и подозревал: прекращения оттока мочи не было, — объявил наконец Гук. — Только боль от почечного камня. Боль, понудившая епископа Честерского искать облегчения в опиатах.

Это было всё равно что выплеснуть стакан воды в лицо мсье Лефевру. Королевский аптекарь встал.

— Я горжусь тем, что помог епископу Честерскому умерить страдания последних месяцев, — сказал он.

Снова гул, хотя в другой тональности. Роджер Комсток встал и прочистил горло:

— Если бы мистер Пепис любезно показал нам *свой* камень…

Пепис с готовностью вскочил и сунул руку в карман.

Джон Комсток чугунным взглядом усадил обоих на место.

— Любезность излишняя, мистер… э… *Комсток*, поскольку мы все его видели.

Черёд Даниеля:

— Камень мистера Пеписа *огромен*, и всё же ему удавалось немного мочиться. Учитывая узость просвета мочевыводящих путей, не может ли *маленький* камень закупорить его так же, и даже основательней, чем *большой?*

Уже не гул, но общий одобрительный рокот. Даниель сел. Роджер Комсток осыпал его комплиментами.

— У меня были камни в почке, — сообщил Англси. — Готов засвидетельствовать, что это невыносимая пытка.

Джон Комсток:

— Как те, что применяет *папская инквизиция?*

— Не разберусь, что происходит, — шепнул Даниель соседу.

— Вам стоит разобраться, прежде чем вы что-нибудь ещё скажете, — отвечал Роджер.

— Сперва Англси и Комсток сообща марают память Уилкинса — и через мгновение вцепляются

друг другу в глотку из-за религии.

— И что это означает, Даниель? — спросил Роджер.

Англси, не поведя бровью:

— Уверен, что выражу мнение всего Королевского общества, если в самых искренних выражениях поблагодарю мсье Лефевра, облегчившего епископу Честерскому муки последних месяцев.

— «*Elixir Proprietalis LeFebure*» пользуется большим успехом при дворе, в том числе среди юных дам, *не* страдающих изощрённо-мучительными заболеваниями, — сказал Джон Комсток. — Некоторые так к нему пристрастились, что завели новую моду: засыпать и не просыпаться.

Разговор принял характер теннисной партии, в которой игроки перебрасываются шипящей гранатой. Заскрипели стулья: члены Королевского общества ёрзали и тянули шеи, чтобы не пропустить зрелище.

Мсье Лефевр, не дрогнув, отбил мяч:

— С древних времён известно, что настой мака, даже в малых дозах, ослабляет здравость суждений *днём* и вызывает кошмары *ночью*. Вы не согласны?

Джон Комсток, чувствуя ловушку, промолчал.

Однако Гук ответил:

— Это я могу подтвердить.

— Ваша приверженность истине, мистер Гук, пример для всех нас. Разумеется, в *больших* дозах лекарство убивает. *Первое следствие* — ослабление умственных способностей — способно привести *ко второму:* смерти от избыточной дозы. Вот почему «*Elixir Proprietalis LeFebure*» следует принимать лишь под *моим* наблюдением; и вот почему я самолично навещал епископа Честерского каждые несколько дней в течение тех месяцев, что разум его был ослаблен лекарством.

Комстока раздражало упрямство Лефевра. Однако (как с опозданием осознал Даниель) Комсток преследовал и другую цель — не только замарать Лефевра — и в этой цели был един с Томасом Мором Англси, своим всегдашним соперником и врагом. Они переглянулись.

Даниель встал. Роджер схватил его за рукав, но не мог схватить за язык.

— В последние недели я неоднократно навещал епископа Честерского и не видел, чтобы его умственные способности ослабели! Напротив…

— Дабы кому-нибудь не пришла в голову вздорная мысль, будто мы несправедливы к покойному, — проговорил Англси, бросая на

Даниеля яростный взгляд, — ответьте, мсье Лефевр: считал ли епископ ослабление умственных способностей приемлемой платой за то, чтобы провести последние несколько месяцев с близкими?

— О, он платил её *с охотой*, — сказал аптекарь.

— Вероятно, потому-то в последнее время он так мало сделал на ниве натурфилософии, — произнёс Комсток.

— Да, и вот почему стоит оставить без внимания его последние…

— Просчёты?

— Поползновения?

— Опрометчивые вылазки в *низменную* область политики…

— Его ум ослабел… сердце оставалось, как всегда, чистым… он искал утешения в прекраснодушных жестах.

Этих отравленных панегириков Даниель не снёс — через мгновение он был уже в саду Ганфлит-хауса перед белой мраморной нимфой, которую бесконечно тошнило в прудик струёй чистой воды. Роджер Комсток вышел следом.

Всюду стояли мраморные скамьи, но Даниель не мог сидеть. Его душила ярость. Даниель не был особенно подвержен этой страсти, но сейчас

понимал, почему греки считали фурий своего рода быстрокрылыми ангелами, с бичами и факелами, которые вырываются из Эреба и доводят смертных до умоисступления. Роджер, глядя, как мечется Даниель, легко бы поверил, что того хлещут невидимыми бичами, а лицо его опалено факелами.

— О, мне бы меч! — вскричал Даниель.

— А вы не думаете, что тут бы вам сразу и конец?

— Знаю, Роджер. Иные сказали бы, что есть вещи похуже смерти. Слава богу, тут не было Джеффриса, и он не видел, как я сбежал, словно вор!

Голос его сорвался, глаза наполнились слезами. Ибо это было самое страшное: в конечном итоге он *ничего* не сделал, только выбежал из Гранд-Салона.

— Вы умны, но не знаете, что делать, — сказал Роджер. — Со мной всё наоборот. Мы друг друга дополняем.

Даниель готов был вспылить, но потом рассудил, что дополнять Роджера Комстока — при его-то изъянах! — большая честь. Он оглядел бывшего однокашника с ног до головы, возможно обдумывая, не дать ли тому в рожу. Роджер не

столько *носил* парик, сколько *пребывал* в его просторах, и сам парик был великолепен. Даже будь Даниель человеком иного склада, у него бы не поднялась рука испортить такое великолепие.

— Вы умаляете себя, Роджер. Очевидно, вы провернули что-то исключительно умное.

— О, вы приметили мой наряд! Надеюсь, вы не находите его излишне щегольским.

— Я нахожу его очень *дорогим*.

— Вы хотите сказать, для Золотого Комстока.

Роджер подошёл ближе. Даниель нарочно говорил неприятные слова, чтобы Роджер его оставил, но тот воспринимал их как прямоту — знак близкой дружбы.

— Во всяком случае, вы выглядите куда лучше, чем при нашей последней встрече.

Даниель говорил про случай в лаборатории, теперь уже давний — и у него, и у Роджера брови успели отрасти. С тех пор он Роджера не видел: Исаак, вернувшись и увидев следы взрыва, выставил того не только из лаборатории, но и вообще из Кембриджа. Таков был конец научной карьеры, которую и без того, вероятно, следовало пресечь из жалости. Даниель не знал, куда сбежала их Золушка, но, судя по всему, Роджер сумел неплохо устроиться.

Сейчас он явно не понимал, о чём речь.

— Не припомню… вы видели меня на улице перед отъездом в Амстердам? Тогда я впрямь выглядел довольно жалко.

Даниель проделал лейбницевский опыт: попытался взглянуть на события той ночи глазами Роджера.

Роджер работал в темноте: обычная предосторожность, чтобы порох не вспыхнул от огня. И не большая помеха, поскольку дело было самое простое: растирать порох в ступке и ссыпать в мешок. По звуку и по ощущению пестика под рукой он мог определить, что порох истёрт до какой уж там ему нужно кондиции. Соответственно, он работал вслепую, менее всего желая увидеть свет, то есть искру и неминуемый взрыв. Поглощённый опасной работой, Роджер не знал, что Даниель вернулся — да и с какой стати тому было возвращаться? Роджер не слышал рукоплесканий и далёкого гула голосов, означавших бы конец пьесы. Шагов он тоже не слышал: Даниель, полагая, что подкрадывается к крысе, старался ступать бесшумно. Плотная ширма заслоняла свечу, куда менее яркую, чем отблески печей. Внезапно пламя оказалось перед самым лицом Роджера. В других обстоятельствах он бы смек-

нул, что к чему, однако, стоя с мешком пороха в руках, предположил худшее — искру, поэтому отбросил мешок и ступку, а сам упал навзничь. В следующее мгновение грянул взрыв. Роджер не видел и не слышал ничего, пока не выбежал из дома. У него не было ни малейших оснований подозревать, что Даниель заходил в лабораторию. С тех пор они не виделись.

Даниель мог сказать Роджеру правду, а мог соврать, что действительно видел его перед отъездом в Амстердам. Правда представлялась безопасной, ложь могла завести в ловушку — вдруг Роджер на самом деле его испытывает?

— Я думал, вы знаете, — произнёс Даниель. — Я был в лаборатории, когда это случилось. Зашёл взять Исаакову статью о касательных. Чуть сам на воздух не взлетел.

Наконец до Роджера дошло; лицо его осветилось, как будто молнией. Однако, будь у Даниеля Гуковы часы, он бы засёк лишь несколько секунд до того, как оно приняло прежнее глуповатое выражение. Так колпачок для тушения свеч опускается на горящий фитиль; трепетный свет, наполнявший взор, гаснет, остаётся лишь знакомый скучный блеск старого серебра.

— Мне *казалось*, что я слышал чьи-то шаги! —

воскликнул Роджер. Это была очевидная ложь; однако она облегчила дальнейший разговор.

Даниелю хотелось спросить, чего ради Роджер возился с порохом, однако он решил подождать, когда тот сам скажет.

— Итак, вы поехали в Амстердам, чтобы оправиться от пережитого волнения.

— Сначала туда.

— Затем в Лондон?

— Затем к Англси. Милейшее семейство. Общение с ними принесло свои выгоды. — Роджер потянулся было к парику, но не отважился его тронуть.

— Что?! Вы же не поступили к ним *на службу?*

— Нет, нет! Всё куда лучше. Я располагаю *сведениями*. В прошлом столетии некоторые Золотые Комстоки эмигрировали — ладно, ладно, кое-кто сказал бы *сбежали* в Голландию. Осели в Амстердаме. Я нанёс им визит. От них я узнал, что де Рёйтер направил свой флот в Гвинею, чтобы захватить невольничьи порты герцога Йоркского. Поэтому я продал акции Гвинейской компании, покуда они были ещё в цене. От Англси я узнал, что король Луи намерен вторгнуться в Голландию, но не может начать кампанию, пока не купит зерно, — ни за что не угадаете, *у кого*.

— Не может быть!

— Именно так — голландцы продали Франции зерно, необходимое Людовику для вторжения в Голландию! Так или иначе, на деньги от продажи акций Гвинейской компании я закупил в Амстердаме изрядное количество зерна до того, как король Луи взвинтил цены! Вуаля! И теперь у меня Гуковы часы, роскошный парик и участок земли на Уотерхауз-сквер!

— Вы купили… — Даниель уже собирался сказать: «Участок нашей семейной земли», когда увидел, что через клумбу идёт Лейбниц, прижимая к груди мозг-в-ящике.

— Господин Лейбниц… Королевское общество потрясено вашей арифметической машиной! — воскликнул Роджер.

— Но не моими математическими доказательствами, — произнёс удручённый немецкий натурфилософ.

— Напротив, их признали необычайно изящными! — возразил Даниель.

— Мало чести в тысяча шестьсот семьдесят втором году *изящно* доказать теорему, которую какой-то шотландец *варварски* доказал в тысяча шестьсот семьдесят первом!

— Вы никак не могли этого знать, — заметил

Даниель.

— Такое случается сплошь и рядом, — объявил Роджер с видом знатока.

— Господин Гюйгенс должен был знать, когда давал мне эти задачи для упражнения, — пробурчал Лейбниц.

— И, вероятно, знал, — сказал Даниель. — Ольденбург пишет ему раз в неделю.

— Всем известно, что ГРУБЕНДОЛЬ продаёт нас иностранцам! — объявил Роберт Гук.

Он проломился через лавровый куст и направился к мраморной скамье, шатаясь от очередного приступа головокружения. Даниель стиснул зубы, ожидая драки, если не хуже, но Лейбниц оставил выпад в сторону Ольденбурга без внимания, как будто Гук просто испортил воздух.

— Можно выразиться иначе: господин Ольденбург держит господина Гюйгенса в курсе последних достижений английской науки, — сказал Роджер.

Даниель подхватил:

— Гюйгенс, вероятно, знал от него, что эти теоремы доказаны, и дал их вам, доктор Лейбниц, чтобы испытать ваши силы!

— Не предвидя, — заключил Роджер, — что превратности войны и дипломатии приведут вас

на британские берега, где вы, ничтоже сумняшеся, представите эти результаты Королевскому обществу!

— А всё Ольденбург — это он крадёт идеи моих часов и переправляет Гюйгенсу! — добавил Гук.

— И всё же каково моё положение: представить теоремы Королевскому обществу, только чтобы какой-то джентльмен в килте поднялся с последних рядов и объявил, что доказал её год назад…

— Все серьёзные люди понимают, что вашей вины тут нет.

— Это удар по моей репутации.

— Не страшитесь за свою репутацию. Когда арифметическая машина будет завершена, вы затмите всех! — объявил Ольденбург, катясь по дорожке, как капелька ртути по жёлобу.

— Всех *на Континенте*, возможно, — фыркнул Гук.

— Однако все французы, способные оценить мою мысль, увязли в тщетных попытках угнаться за мистером Гуком! — сказал Лейбниц. Это была вполне профессиональная лесть — такие вещи облегчают жизнь и создают репутации при маленьких европейских дворах.

Ольденбург закатил глаза и тут же резко выпрямился, перебарывая отрыжку.

Гук сказал:

— У меня есть замысел собственной арифметической машины, но нет *времени* его завершить.

— Да, но придумали ли вы, на что её употребить, когда она будет завершена? — с жаром спросил Лейбниц.

— Рассчитывать логарифмы, полагаю, и заменить палочки Непера.

— Зачем утруждать себя такой скучной материей, как логарифмы?!

— Они — *орудие*, ничего больше.

— И для чего вы хотите употребить это орудие? — так же пылко спросил Лейбниц.

— Если бы я верил, что мои слова останутся в этих четырёх стенах, доктор, я бы ответил, но опасаюсь, что они будут переправлены в Париж с *быстротой*, пусть и не с *грацией* легконогого вестника богов. — Глядя прямо в глаза Ольденбургу.

Лейбниц сник. Ольденбург подошёл и начал его подбадривать — к ещё большему огорчению Лейбница, понимавшего, что дружба Ольденбурга навсегда опорочит его в глазах Гука.

Гук вытащил из нагрудного кармана длинный замшевый футляр и раскрыл его на коленях. Внутри были ровно уложены всевозможные перья и палочки. Гук вытащил тонкий китовый ус,

отложил футляр, раздвинул, наклонился вперёд, вставил китовый ус глубоко в горло, пошерудил им и тут же принялся блевать желчью. Даниель наблюдал взглядом эмпирика, покуда не убедился, что в рвоте нет крови, глистов или других оснований для серьёзной тревоги.

Ольденбург что-то говорил Лейбницу на верхненемецком, на котором Даниель не понимал ни слова, — вероятно, потому-то Ольденбург на него и перешёл. Однако Даниель разобрал несколько фамилий — сперва покойного курфюрста Майнцского, затем нескольких парижан, таких как Кольбер.

Он обернулся, намереваясь продолжить разговор с Роджером, но тот посторонился, давая дорогу своему дальнему родичу. Граф Эпсомский надвигался на Даниеля с таким видом, будто не прочь столкнуться с ним лбами.

— Мистер Уотерхауз.

— Милорд.

— Вы любили Джона Уилкинса.

— Почти как отца, милорд.

— И вы хотите, чтобы будущие поколения англичан чтили его имя.

— Молю Бога, чтобы англичанам хватило ума отдать Уилкинсу должное.

— Отвечу вам: эти англичане будут жить в стране с одной государственной церковью. Если, с Божьей помощью, верх одержу я, это будет англиканская церковь. Если герцог Ганфлитский — римская. Возможно, чтобы разрешить наш спор, потребуется гражданская война, или две, или три. Возможно, я убью Ганфлита, или Ганфлит — меня, возможно, моим сыновьям и внукам предстоит сражаться с его потомками. Но, несмотря на эти роковые отличия, мы с ним едины в убеждении, что не может быть страны без государственной церкви. Неужто вы вообразили, будто горстка фанатиков в силах победить объединённых ганфлитов и эпсомов всего мира?

— Я не склонен тешить себя фантазиями, милорд.

— Так вы признаёте, что в Англии будет одна государственная церковь?

— Я признаю, что это весьма вероятно.

— И кем будут те, кто противодействовал государственной церкви?

— Не знаю, милорд… чудаковатыми епископами?

— Отнюдь. Они будут еретиками и предателями, мистер Уотерхауз. Превратить еретика и предателя в чудаковатого епископа — задача не

из простых. Такого рода трансмутация требует тайной работы множества алхимиков; недоставало лишь, чтобы ученик чародея, забредя ненароком, принялся всё ронять.

— Прошу извинить мою недогадливость, милорд. Я действовал под влиянием порыва, ибо мне показалось, что на него нападают.

— Нападали не на *него*, мистер Уотерхауз. Нападали на *вас*.

Даниель шёл куда глаза глядят и, очнувшись перед Комсток-хаусом, торопливо свернул на Сент-Джеймские поля, разделённые теперь на аккуратные участки, где трава пробивалась через строительную грязь. Он сел на дощатую скамью и внезапно осознал, что Роджер Комсток всю дорогу шёл с ним и (вероятно) говорил без умолку. Однако тот решительно отказался вводить свои панталоны в соприкосновение с занозистой скамьёй, усыпанной хлебными крошками, табачным пеплом из трубок и крысиным дерьмом.

— О чём говорили Лейбниц и Ольденбург? Входит ли немецкий в число ваших многочисленных познаний, Даниель?

— Думаю, они говорили о том, что Лейбниц лишился патрона и ему хорошо бы найти нового — желательно в Париже.

— О, трудно такому человеку пробиться без покровителя!

— Да.

— Мне показалось, Джон Комсток на вас зол.

— Очень.

— Его сын командует одним из наших боевых кораблей. Он нервничает, раздражён — не в себе.

— Напротив, я убеждён, что видел настоящего Джона Комстока. Можно смело сказать, что моей карьере в Королевском обществе конец — покуда он остаётся председателем.

— Знающие люди говорят, что на следующих выборах председателем станет герцог Ганфлитский.

— Ничуть не лучше. В ненависти ко мне Ганфлит и Эпсом единодушны.

— Сдаётся, и вам не помешал бы покровитель. Кто-то, кто бы вам сочувствовал.

— И кто же мне сочувствует?

— Я.

Мгновение спустя Даниель осознал, что это не просто смешно. Оба некоторое время сидели молча.

Что-то вроде праздничного шествия двигалось в сторону Чаринг-Кросс под барабанный бой и

то ли дурное пение, то ли мелодичные выкрики. Даниель с Роджером встали и пошли к Пэлл-Мэлл взглянуть, что творится.

— Вы делаете мне какое-то предложение? — спросил наконец Даниель.

— За этот год я кое-что заработал, и всё же я далеко не Эпсом и не Ганфлит! Я вложил почти все *свободные* средства в участок, купленный у ваших братьев.

— Который?

— Большой, сразу за углом от дома, что выстроил себе мистер Релей Уотерхауз… Кстати, что вы о нём думаете?

— О доме? Ну… он очень большой.

— Хотите его затмить?

— О чём вы?

— Я хочу возвести дом ещё больше. Однако я плохо учил математику в Тринити-колледже, не то что вы, Даниель. Я прошу вас спроектировать дом и руководить строительством.

— Но я не архитектор!

— Гук тоже не был архитектором, пока не взялся строить Бедлам и другие важные здания. Ручаюсь, вы поставите дом не хуже него и уж точно лучше того остолопа, которого подрядил ваш брат.

Они вышли на Пэлл-Мэлл, уставленную красавцами-особняками. Даниель уже рассматривал окна и очертания крыш, приглядывая идеи. Однако Роджер смотрел на шествие: несколько сотен более или менее типичных лондонцев, но с необычно высокой долей диссидентских и даже англиканских проповедников. Они несли чучело на длинном шесте: соломенного человека в длинном церковном облачении, непотребно ярком и украшенном, с тиарой на голове и епископским жезлом в руке. Папа. Даниель с Роджером отступили к краю дороги и сто тридцать четыре секунды (по часам Роджера) смотрели, как толпа течёт мимо и выплескивается в Сент-Джеймский парк. Выбрав место, одинаково хорошо видное из Уайтхолла и Сент-Джеймского дворца, участники процессии воткнули шест в землю.

Со стороны конногвардейских казарм к ним уже двигались солдаты: несколько верховых, но по большей части пехотинцы, выведенные так быстро, что они не успели даже построиться в правильные шеренги. Они были в чудных, иноземного вида мундирах и островерхих шапках,

смутно напоминающих польские*[45]. Даниель сперва принял их за драгун, потом различил ядра с ручками — гранаты! — свисающие с ремней и вздрагивающие при каждом шаге.

Участники шествия также это приметили. Быстро посовещавшись, они факелами подожгли край папского одеяния и брызнули в стороны, словно осколки гранаты. К тому времени, как подоспели гренадёры, участники шествия уже растворились в городской толпе. Солдатам осталось только свалить горящее чучело и затоптать его ногами — следя, разумеется, чтобы пламя не коснулось гранат.

— Умно просчитано, — был вердикт Роджера. — Это королевские гвардейцы — новый полк герцога Йоркского. Да, ими командует Джон Черчилль, но не обольщайтесь, на самом деле они — люди Йорка.

— Что значит «умно просчитано»? Вы говорите так, словно смакуете хороший портвейн.

— Ну, можно было сжечь чучело где угодно, так ведь? Однако решили жечь именно здесь. Почему? Опаснее места не сыскать — рядом

[45] Примечания: 45

Как Людовик XIV нарядил своих гвардейцев в хорватов, так и Карл II нарядил своих поляками; все народы, вынужденные постоянно отбиваться от турок, имели в ту пору репутацию отчаянных храбрецов.

гренадёры. Ответ очевиден. Герцогу Йоркскому намекают: если он не откажется от папистских замашек, следующим сожгут *его* чучело… если не его *лично*.

— Даже я понял тогда в Кембридже, что теперь в фаворе Ганфлит и младшие Англси, — сказал Даниель. — Эпсома же высмеивают в пьесах, и толпа осаждает его дом.

— Ничего удивительного, если вспомнить слухи.

— Какие слухи? — Даниель едва не добавил: «Мне нет дела до глупых слухов», однако любопытство взяло верх над желанием покрасоваться.

— Что причины наших военных неуспехов — в дурных пушках и порохе.

— Какое удобное оправдание для военных неудач!

До сих пор Даниель не слышал, чтобы кто-нибудь вслух жаловался на ход войны. Самая мысль, что Англия и Франция вместе не могут разбить горстку голландцев, представлялась полнейшей нелепицей. Однако сейчас он задним числом вспомнил, что давненько не было победных реляций. Немудрено, что чернь ищет козла отпущения.

— Пушка, которая взорвалась при «Осаде Маастрихта», — спросил Даниель, — была ли она дурного качества? Или всё подстроили враги Эпсома?

— Враги у него есть, — только и отвечал Роджер.

– *Это* я вижу, — сказал Даниель, — как и то, что герцог Ганфлитский — один из них. Вижу, что он вместе с герцогом Йоркским и другими папистами забирает всё больше власти. Не могу взять в толк другого: почему два недруга, Эпсом и Ганфлит, несколько минут назад в один голос чернили память Джона Уилкинса?

— Эпсом и Ганфлит — как два капитана, спорящие за власть на корабле. Каждый зовёт другого бунтовщиком, — объяснил Роджер. — В этом сравнении корабль — страна, в которой господствует одна церковь — англиканская или католическая, в зависимости от того, кто из них возьмёт верх. Есть и третья партия — в кубрике, опасные головорезы, плохо вооружённые и неорганизованные. Что хуже всего, у них сейчас нет определённого вожака. Когда диссиденты, как их называют, кричат: «Долой папу!», это музыка для англикан, чья церковь построена на ненависти ко всему римскому. Когда они кричат: «Долой

принудительное единоверие! Да здравствует свобода совести!», это бальзам на душу католиков, которые не могут открыто исповедовать свою веру. Вот почему в разное время то одна, то другая партия считает диссидентов своими союзниками. Однако, когда диссиденты хотят упразднить государственную церковь и превратить всю Англию в один большой Амстердам, вождям обеих партий кажется, что обезумевшие диссентеры подносят зажжённый фитиль к пороховой бочке, чтобы *взорвать весь корабль*. Тогда они объединяются, дабы их раздавить.

— Вы хотите сказать, что наследие Уилкинса, декларация религиозной терпимости, для них — пороховая бочка.

— Запал, ведущий к пороховой бочке. Они должны его затоптать.

— И заодно растоптать меня.

— Потому что вы, не сочтите за обиду, подставили себя самым неумным образом.

— А что мне было делать, когда они на него нападали?

— Прикусить язык и выжидать, — сказал Роджер. — Всё может перемениться в *секунду*. Вспомните, что мы сейчас видели! Диссентеры жгут чучело папы, угрожая папистам! Если бы

вы, Даниель, шли во главе шествия, Эпсом числил бы вас своим союзником в борьбе с Англси.

— Этого мне как раз и недоставало — герцога Ганфлитского в качестве личного врага!

— Тогда болтайте о свободе совести! В этом превосходство вашей позиции, Даниель, если только вы захотите раскрыть глаза. Лавируя так тонко, чтобы в любой момент можно было с лёгкостью откреститься от прошлого манёвра, вы будете иметь на своей стороне то Эпсома, то Ганфлита.

— Попахивает малодушным вилянием, — заметил Даниель, вызывая в памяти таблицы философского языка.

Не опровергая его слов, Роджер сказал:

— Это способ добиться того, о чём мечтал Дрейк.

— Как?! Если вся власть у Англси и Серебряных Комстоков!

— Очень скоро вы убедитесь, что глубоко заблуждаетесь.

— Н-да? Есть ещё сила, о которой мне ничего не известно?

— Да, — отвечал Роджер. — Ею полны подвалы вашего дяди Томаса Хама.

— Золото ему не принадлежит. Это сумма его обязательств.

— Вот именно! Вы попали в самую точку! Здесь ваша надежда. — Роджер сделал шаг, чтобы идти. — Надеюсь, вы обдумаете моё предложение… Сэр.

— Считайте, что уже обдумываю. Сэр.

— Даже если в вашей жизни нет времени на дома, может быть, я выпрошу у вас несколько часов для моего театра…

— Театра?!

— Я прикупил долю в «Королевских комедиантах»; мы поставили «Любовь в ванной» и «Похотливого врача». Время от времени нам нужна помощь в устройстве громов и молний, явлении демонов, посещении ангелов, отсечении голов, смены пола, повешеньях, родах и прочая.

— Ну, не знаю, что скажут мои родные, если я займусь такими вещами, Роджер.

— Пфу! Гляньте, чем они сами заняты! Теперь, когда Апокалипсис не случился, вам придётся искать новое приложение своим многочисленным дарованиям.

— По крайней мере, я могу следить, чтобы вы не взорвали себя на куски.

— От вас ничего не скроется, Даниель. Да, вы правильно угадали. Той ночью в лаборатории я готовил порох для театральных эффектов. Если

истереть его потоньше, он горит быстрее — ярче вспышка, больше впечатление.

— Я заметил, — сказал Даниель.

От этих слов Роджер рассмеялся, и от его смеха у Даниеля потеплело на сердце — таким образом, они вошли в своего рода спираль.

— У меня встреча с доктором Лейбницем в кофейне неподалёку от театрального квартала — почему бы нам не пройтись вместе? — сказал Даниель.

— Возможно, вам попадался мой недавний труд — «О Боговоплощении».

— Ольденбург упоминал его, но, признаюсь, мне не хватило духу прочесть.

— В последней беседе мы коснулись того, как трудно примирить *механистическую* философию со свободной волей. Эта проблема во многом созвучна *теологическому* вопросу о воплощении.

— В обоих случаях духовная субстанция пронизывает тело, по сути механическое, — согласился Даниель.

Щёголи и театралы, косясь на них, садились за столики подальше, так что в людной кофейне вокруг Лейбница с Даниелем образовалось вдоволь свободного места.

— Загадка Троицы — в таинственном единстве

божественной и человеческой природ Христа. Равным образом, споря о том, *думает* ли механизм — скажем, муха, летящая на запах мяса, ловушка либо арифметическая машина — или только *демонстрирует гений* своего творца, мы спрашиваем: наделены ли эти машины *бестелесным принципом*, или, вульгарно говоря, *духом*, который, подобно Богу и ангелам, обладает свободной волей.

— И вновь мне слышатся отзвуки схоластики.

— Мистер Уотерхауз, вы делаете общую ошибку! Вы считаете, что может быть *либо* Аристотель, *либо* Декарт, что две эти философии несовместимы. Напротив! Мы можем принять современное механистическое объяснение в физике и сохранить Аристотелеву концепцию самодостаточности.

— Извините мой скепсис…

— Проявлять скепсис — ваша обязанность, мистер Уотерхауз, тут нечего извинять. Объяснять, как согласуются эти учения, было бы долго, скажу одно: я сумел их примирить, допустив, что всякое тело содержит бестелесный принцип, который я отождествляю с *cogitatio*.

— Мыслью.

— Да!

— И где же она помещается? Картезианцы счи-

тают, что в шишковидной железе.

— Бестелесный принцип не имеет местоположения в столь вульгарном смысле, однако его *организующее действие* проявляется в теле, и мы можем узнать о его существовании по этому проявлению. В чём разница между человеком, который только что умер, и тем, что умрёт через несколько секунд, отмеренных часами мистера Гука?

— Христианин должен ответить: один обладает душой, другой — нет.

— Превосходный ответ! Нужно лишь перевести его на новый философский язык.

— Вы бы перевели его, доктор, сказав, что *живое* тело пронизано организующим принципом, который есть зримый признак того, что механические тела, по крайней мере до поры до времени, едины с нематериальным принципом, именуемым Мыслью.

— Верно. Помните наш разговор о символах? Вы признали, что ваш разум не может манипулировать ложкою непосредственно и манипулирует её символом внутри себя. Бог может манипулировать ложкою непосредственно — мы зовём это чудом. Однако *тварные* разумы не могут — им нужен пассивный элемент, посредством которого

действовать.

— Тело.

— Да.

— Однако вы сказали, что *cogitatio* и вычисление — одно и то же. В философском языке им бы соответствовало одно слово.

— Я пришёл к выводу, что они суть одно.

— Тем не менее ваша машина производит вычисления. Потому вынужден спросить: в какой момент она наполняется бестелесным принципом Мысли? Вы сказали, что *cogitatio* пронизывает тело и каким-то образом преобразует его в механическую систему, способную к действию. Пока соглашусь. В случае арифметической системы вы заходите с другого конца: создаёте механическую систему в надежде, что она воспримет в себя дух свыше, как Пресвятая Дева. Когда происходит Благовещение? Когда вы вставляете последнее колёсико? Когда поворачиваете ручку?

— Вы мыслите чересчур буквально, — отвечал Лейбниц.

— Однако вы сами сказали, что не видите противоречия между учениями о разуме как о механическом устройстве и о свободной воле. В таком случае должен наступить миг, когда ваша

арифметическая машина будет уже не набором шестерён, но телом, в котором воплощён некий ангельский дух.

— Это ложное противопоставление! — возразил Лейбниц. — Бестелесный принцип сам по себе не даёт нам свободы воли. Если мы признаём — а мы должны признавать, — что Бог вездесущ и знает будущее, то Ему ведомы наши поступки до того, как мы их совершим — даже если мы ангелы, — и нельзя сказать, что мы обладаем свободной волей.

— Этому меня с детства учили в церкви. Так что перспективы вашей философии безрадостны, доктор, — свободная воля не согласуется ни с богословием, ни с натурфилософией.

— Так вы говорите, мистер Уотерхауз, и тем не менее вы согласны с мистером Гуком, что есть загадочное созвучие между Природой и работой человеческого мозга. Откуда оно берётся?

— Не имею ни малейшего представления, доктор. Разве что правы алхимики: вся материя — и Природа, и наш мозг — пропитана одной философской ртутью.

— И гипотеза эта нам обоим не по душе.

— В чём состоит *ваша* гипотеза, доктор?

— Подобно двум лучикам снежинки, Материя и

Разум растут из общего центра, и хотя они растут *независимо* и несвязанно, развиваясь сообразно собственным правилам, тем не менее вырастают в полной гармонии и обладают одинаковой формой.

— Это всё метафизика, — только и смог ответить Даниель. — Что есть общий центр? Бог?

— Бог изначально устроил так, чтобы Разум мог постигать Материю. Однако Он делает это не постоянным вмешательством в работу Разума и развитие Вселенной… скорее Он с самого начала создал гармоничной природу Разума и Натуры.

— Итак, я обладаю полной свободой действий… но Бог заранее знает, что я сделаю, поскольку в моей природе действовать в гармонии с миром, и Бог — соучастник этой гармонии?

— Да.

— Странно, что у нас произошёл этот разговор, доктор, поскольку в последние несколько дней, впервые в жизни, я увидел, что передо мной открываются различные возможности, которыми я могу воспользоваться, коли захочу.

— Вы говорите так, словно нашли себе покровителя.

При упоминании Роджера в качестве покровителя у Даниеля дёрнулся кадык. Однако он не мог

отрицать догадливости Лейбница.

— Может статься.

— Рад за вас. Смерть моего покровителя оставила мне очень мало возможностей.

— Наверняка в Париже есть знатные люди, которые вас ценят.

— Вообще-то, я подумываю отправиться в Лейден к Спинозе.

— Голландия скоро падёт… худшего места вам не сыскать.

— В Голландской республике хватит кораблей, чтобы перевезти двести тысяч человек из Европы, вокруг мыса Доброй Надежды, к самым дальним островам Азии, до которых Франция не дотянется.

— Мне это представляется чистейшей фантазией.

— Поверьте. Голландцы уже составляют планы. Вспомните, они создали половину своей страны трудом собственных рук! То, что сделано в Европе, можно повторить в Азии. Если Соединённые провинции окажутся под пятой Людовика, я хочу быть там, взойти на корабль, отправиться в Азию и вместе со всеми строить новую республику, подобную Новой Атлантиде, которую описал Фрэнсис Бэкон.

— Возможно, для вас, сударь, такие приключения — вещь статочная. Для меня — не более чем романтическая выдумка, — сказал Даниель. — До сего дня я всегда делал, что должен, и это вполне согласовывалось с предопределением, в которое меня научили верить. Теперь, возможно, у меня есть выбор, и выбор практический.

— Что бы ни вызывало поступки, результат их бесповоротен, — сказал доктор.

Даниель вышел из кофейни и до конца дня бродил по Лондону. Он двигался, как комета, описывая длинные петли, тяготеющие тем не менее к нескольким неподвижным полюсам: Грешем-колледжу, Уотерхауз-скверу, голове Кромвеля и развалинам собора Святого Павла.

Гук — больше его как натурфилософ, но Гук занят восстановлением города и полуневменяем из-за воображаемых козней своих врагов. Ньютон — ещё более велик, но увяз в алхимии и толкованиях к Апокалипсису. Даниель надеялся, что сумеет проскользнуть меж двух исполинов и сделать себе имя. И тут явился *третий* исполин. Подобно двум другим, сейчас он отвлечён смертью патрона и мечтами о свободной азиатской республике. Однако он не будет отвлекаться вечно.

Смешно до слёз. Господь вложил в него желание стать великим натурфилософом — и отправил в мир вместе с Ньютоном, Гуком и Лейбницем.

У Даниеля было образование, чтобы стать пастором, и связи, чтобы получить место проповедника в Англии или в Массачусетсе. Он мог бы вступить на этот путь легко, как войти в кофейню. Однако ноги вновь и вновь выносили его к развалинам собора Святого Павла — трупу посреди весёлой пирушки, — и не только потому, что они находились в центре.

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс

Вот эти-то частицы, что огнём
Насыщены подспудным, нам достать
Потребно из глубоких, мрачных недр,
Забить потуже в длинные стволы,
Округлые и полые, поджечь
С отверстия другого, и тогда,
От малой искры, вещество частиц,
Мгновенно вспыхнув и загрохотав,
Расширится и, развивая мощь
Огромную, метнёт издалека
Снаряды, полные такого зла,
Что, всё сметая на своём пути,
Повергнут недругов и разорвут
На клочья.

Мильтон, «Потерянный рай»

ноябрь 1713

Во время короткой передышки между стычками Даниель у себя в каюте и напряжён до предела. Это не холодная собранность человека, вовлечённого в убийство других людей (бой идёт с утра, так что чего уж теперь), а сосредоточенность

игрока, поставившего на кон свою жизнь. Вернее, чью жизнь поставил на кон капитан, у которого — мягко выражаясь — богатый и сложный внутренний мир. Разумеется, всходя на корабль, вы вверяете свою жизнь капитану, *но…*

Кто-то смеётся на юте. Неуместное веселье расходится с мрачным настроением Даниеля и потому злит. Смех презрительный и несколько злорадный, но вполне искренний. Даниель уже ищет, чем бы стукнуть в палубу над головой, но тут осознаёт, что смеётся ван Крюйк и что развеселила капитана некая техническая подробность, которая по-голландски зовётся «зог».

Грохот на верхней палубе*[46], и «Минерва» вновь превращается в совершенно иное судно; она сильнее кренится, боковая качка заметно усиливается. Даниель догадывается, что переместили какой-то груз. Он встаёт, выходит на шканцы и убеждается, что так и есть: здесь стоят короткие пузатые каронады, по сути — многотонные мушкетоны с малой дальностью и низкой точностью стрельбы. Однако с широкими жерлами, в которые канониры забивают всевозможные железяки: ядра, соединённые попарно цепя-

[46] Примечания: 46

Которая, не забывайте, следующий «этаж» под ютом — так что Даниель оставляет всякую надежду отдохнуть.

ми, гвозди, ненужные ломы, гроздья крупной картечи, уложенные в деревянные поддоны и закреплённые знаменитыми морскими узлами. Заряженные каронады подкатывают к фальшборту, что меняет момент инерции корабля и объясняет изменение периода качки…

— Подсчитываете наши шансы, доктор Уотерхауз? — спрашивает Даппа, сбегая с юта.

— Что значит «зог», Даппа, и почему это так смешно?

Даппа делает серьёзное лицо, как будто ничего смешного тут нет, и указывает через полмили открытого моря на шхуну под чёрным флагом с белыми песочными часами. Шхуна с наветренной скулы*[47]* и движется параллельным курсом, но с явным намерением скоро сблизиться и взять «Минерву» на абордаж.

— Видите, как медленно она движется? Мы их обгоняем, хотя ещё не поставили грот.

— Да, я собирался спросить — почему мы его не поставили? Это самый большой парус на корабле, а мы пытаемся идти быстро, разве не так?

— Грот традиционно ставят и поворачивают артиллеристы. Не поставив грот, мы заставим

---

[47] Примечания: 47

** То есть впереди них и сбоку, там, откуда дует ветер, — примерно на десяти часах.

Тича поверить, что нам не хватает людей и на паруса, и на пушки.

— Не стоит ли раскрыть карты ради того, чтобы обогнать шхуну?

— Мы обгоним её в *любом случае*.

— Но пираты *хотят*, чтобы мы с ними поравнялись, и потому, наверное, спустили плавучий якорь или что там ещё — отсюда уменьшение скорости.

— Им незачем спускать плавучий якорь — шхуну тормозит «зог».

— Вот опять — что означает сие слово?

— Её кильватер, взгляните на её кильватер! — Даппа с досадой машет рукой.

— Да, сейчас, когда мы… э… пугающе близко, я вижу, что её кильватерная струя могла бы опрокинуть вельбот.

— Чёртовы пираты взяли на борт такое число пушек, что шхуна осела, и у неё огромный отвратительный «зог».

— Вы хотите меня этим успокоить?

— Это ответ на ваш вопрос.

— Так «зог» по-голландски «кильватер»?

Полиглот Даппа утвердительно улыбается. Половина зубов у него свои, белые, половина — золотые.

— Да, и это куда более удачное слово, поскольку происходит от глагола «зёйген», то есть «сосать».

— Не понимаю.

— Любой моряк вам скажет, что кильватер засасывает корабельную корму: чем больше кильватер, тем сильнее он засасывает и тем меньше скорость. Эта шхуна сосёт, доктор Уотерхауз.

Капитан ван Крюйк что-то сердито кричит. Даппа взбегает на ют, дабы завершить дело, которому помешал Уотерхауз. Даниель поднимается за ним, проходит на корму, огибает шпиль и спускается по узкому трапу в кормовую часть орудийной палубы. Отсюда он входит в каюту, из которой обычно брал замеры температуры, и начинает опасный путь к нависающим над водой окнам. Сухопутному наблюдателю каюта показалась бы приятно просторной; на взгляд Даниеля, в ней решительно не хватает, за что держаться. То есть, когда корабль кренится, Даниель пролетает большее расстояние и развивает бóльшую скорость, прежде чем на что-нибудь наткнётся и сумеет её погасить. Однако в конечном счёте он добирается до окон и смотрит на «Минервин» зог. Тот, несомненно, присутствует, но в сравнении со шхуной «Минерва» практически не тормозится

кильватерной струёй. Бернулли следовало бы провести здесь день-два…

С подветренной стороны их нагоняет пиратский кеч, и Даниель почти уверен, что у того с кильватерной струёй всё в порядке. Явственно виден плавучий якорь. «Минерва» идёт в самый крутой бейдевинд: она может идти полнее, но не может идти круче. Поскольку кеч с подветренной стороны, «Минерва», увалившись, немедленно подставит себя под мушкетный огонь и абордажные крючья, наверняка приготовленные на палубах. Однако кеч, с его косым парусным вооружением, легко может привестись к ветру. Так что даже если «Минерва» будет сохранять прежний курс, кеч запросто зайдёт ей наперерез и тем облегчит задачу медлительной (из-за тяжёлого вооружения) шхуне.

Это вполне объясняет вторую причину, по которой Даниель убрался в каюту: дальше от сражения он мог бы укрыться, только выпрыгнув за борт. Однако и здесь он не находит желанного успокоения, поскольку видит ещё *два* пиратских корабля, нагоняющих их сзади; оба больше, чем предыдущие.

Взрыв, затем второй, затем сразу несколько; очевидно, что-то преднамеренное, потому что

Даниель ещё жив и «Минерва» на плаву. Он распахивает дверь на орудийную палубу, но там темно и тихо; все канониры у пушек левого борта, ни одна из них не стреляла. Очевидно, палили каронады верхней палубы.

Даниель оборачивается и видит, что кеч остался позади, с подветренной раковины*[48]. Впрочем, в нём уже трудно узнать кеч: это корпус, покрытый грудой провисшего такелажа и ломаной древесины. Одна из пушек окутывается дымом, и что-то ужасное несётся прямо на Даниеля, увеличиваясь в размерах. Он начинает падать, скорее от головокружения, чем с какой-то сознательной мыслью. Стена картечи достигает окон, стёкла вылетают разом. Лишь несколько осколков попадают в лицо, и ни одного — в глаза; везенье, трудно объяснимое с точки зрения натурфилософии.

Дверь снова распахивается, то ли от силы выстрела, то ли от того, что Даниель на неё упал, так что теперь он лежит головою на батарейной палубе. Внезапно плотно сжатые веки обдаёт светом и теплом. Может, это ангельский хор, а может, легионы огненных демонов, но он в такое не верит. Или на «Минерве» взорвался пороховой

---

[48] Примечания: 48

* Примерно на пяти часах, если стоять лицом к носу.

погреб, однако это сопровождалось бы громким звуком, а он слышит лишь скрип выкатываемых орудийных станков. Ноздрей касается освежающий морской бриз. Даниель отваживается рискнуть и открыть глаза.

Все орудийные порты левого борта распахнуты, все пушки выдвинуты. Артиллеристы тянут тали, наводя орудия на цель, другие правилами поднимают казённые части пушек и подставляют под них клинья: короче, идут лихорадочные приготовления, как к бракосочетанию короля. Держа в руках зажжённые пальники, канониры выбирают нужный момент, а Даниель… бедный Даниель не догадывается зажать уши руками. Он слышит один или два выстрела, после чего глохнет. Одна за другой четырёхтонные махины пушек отскакивают назад легко, как воланы.

Он почти убеждён, что умер.

Вокруг другие мертвецы.

Они лежат на верхней палубе.

Двое матросов сидят на трупе Даниеля, третий мучает его мёртвую плоть иглой. Пришивает оторванные части тела, штопает живот, чтобы не вывалились кишки. Так вот что чувствовали бродячие псы в лапах Королевского общества!

Даниель лежит на спине, поэтому видит в

основном небо, хотя, если повернуть голову — немалый подвиг для покойника! — он может разглядеть ван Крюйка на юте. Тот кричит в рупор, направленный почти прямо за борт.

— Что он кричит? — спрашивает Даниель.

— Мои извинения, доктор; я не видел, что вы очнулись, — произносит высокая смутная тень голосом Даппы, подходя и заслоняя Даниелю солнце. — Он ведёт переговоры с пиратами, которые подошли в шлюпке с флагмана Тича под белым флагом.

— Что им нужно? — спрашивает Даниель.

— Им нужны вы, доктор.

— Не понимаю.

— Вы слишком напряжённо думаете. Тут *нечего* понимать, всё исключительно просто, — говорит Даппа. — Они подошли на вёслах и сказали: «Отдайте нам доктора Уотерхауза, и разойдёмся с миром».

Теоретически доктор Уотерхауз должен надолго утратить дар речи, однако он обретает голос довольно скоро. Ощущение прочной шёлковой нити, протягиваемой через свежие дыры в мясе, исключает серьёзные размышления. «Разумеется, так вы и сделаете», — всё, что он может выдавить.

— Любой другой капитан так и поступил бы — но тот, кто отправлял вас на этом корабле, вероятно, знал, как капитан ван Крюйк относится к пиратам. Смотрите!

И Даппа отступает в сторону, открывая Даниелю зрелище, за которое удавились бы зеваки на Варфоломеевской ярмарке: по вантам карабкается человек с рукой-молотом. То есть на конце его руки не кулак и даже не крюк, а самый настоящий молоток. Ван Крюйк взбирается на самый верх бизань-мачты, туда, где плещутся флаги: голландский, а под ним второй, с изображением эгиды. Утвердившись на вантах — вплетя в них своё тело, — он по одному вынимает изо рта гвозди и приколачивает флаги к мачте.

Все матросы, которые не сидят на Даниеле, в мгновение ока взлетают по вантам и разворачивают неимоверное количество парусов. Даниель с одобрением отмечает, что грот наконец-то поставлен — с шарадой покончено. Тем временем «Минерва» чудесным образом растёт ввысь: асимптотическая прогрессия убывающих трапеций распускается на стеньгах всё более высокого порядка.

— Великолепный жест со стороны капитана — особенно после того, как он потопил половину

Тичева флота, — говорит Даниель.

— Верно, доктор, — но не лучшую половину, — отвечает Даппа.

Сити

Пятое учение, ведущее к распаду государства, заключается в положении, что каждый человек обладает абсолютным правом собственности на своё имущество, исключающим право суверена.

Гоббс, «Левиафан»

1673

Даниель, разумеется, сам никогда не играл на сцене, но когда смотрел пьесы в театре Роджера Комстока (особенно по пятому или шестому разу), то неизменно удивлялся: как эти мужчины (и женщины!) на подмостках в сотый раз повторяют ту же самую реплику и при этом пытаются вести себя так, будто на них не таращится из зала добрая сотня зрителей. Всё выглядело каким-то деланым, пустым и фальшивым; всем хотелось лишь поскорей завершить спектакль и заняться чем-нибудь другим. Таков был Лондон во время Третьей Голландской войны, в ожидании известия, что Голландия завоёвана.

Пока суд да дело, горожане довольствовались менее значительными известиями, которые вре-

мя от времени просачивались из-за моря. Весь Лондон передавал и с большой помпой обсуждал слухи, как актёры на сцене рассказывают о сражении или урагане, за которыми якобы наблюдают.

Странно — а может, и не очень, — но единственным утешением для лондонцев стало посещение театров, где можно было сидеть в темноте и смотреть, как актёры на сцене представляют их собственное поведение. Пьеса «Снова в портах» после кембриджского дебюта шла с огромным успехом. Когда предыдущие два театра сгорели от пиротехнических просчётов, её стали давать у Роджера Комстока. Даниель должен был обеспечивать молнии, громы и взрывы лорда Кунштюка таким образом, чтобы не пострадала собственность Роджера. Он изобрёл новую громовую машину, в которой пушечное ядро скатывалось по архимедову винту в деревянной бочке, и злоупотребил своей вхожестью в ведущую алхимическую лабораторию мира, дабы составить новую формулу пороха, которая давала бóльшую вспышку и меньшую детонацию. Пиротехнические эффекты занимали всего несколько минут в начале спектакля. Остальное время Даниель сидел за сценой и смотрел на Тэсс, которая всякий

раз ослепляла его, как вспыхнувшая перед лицом пригоршня пороха; сердце принималось стучать словно пушечное ядро, катящееся по бесконечному полому винту. Король Карл часто приходил послушать, как его Нелли исполняет свои куплеты, и Даниель утешался — или по крайней мере забавлялся, — что они с королём скрашивают томительное ожидание одним способом: пялясь на задики хорошеньких девушек.

Мелкие новости, приходившие в ожидании большой, поначалу принимали разные формы, однако в последнее время это всё чаще были извещения о смерти. Не как во времена Чумы, однако несколько раз Даниелю приходилось выбирать между двумя похоронами, идущими в один час. Первым скончался Уилкинс. Другие последовали за ним, как будто епископ Честерский ввёл новую моду.

Ричард Комсток, старший сын Джона и прототип отважного, хоть и глуповатого Юджина Кунштюка в «Портах», был на корабле, который в числе других попал под пушки де Рёйтера в Саутуолдском сражении. Вместе с тысячами других англичан он упокоился на морском дне. Выжившие участники боя ковыляли по Лондону на окровавленных культях или просили подаяния

на улицах. Даниель очень удивился, получив приглашение на заупокойную службу. Не от Джона, а от Чарльза, четвёртого, а ныне единственного его сына (ещё двое умерли в детстве от оспы). После окончания Чумы тот поступил в Кембридж, где Даниель был у него наставником. Чарльз обещал стать толковым натурфилософом, однако теперь он остался единственным отпрыском великого рода и уже не мог быть никем иным, разве что род перестанет быть великим или сам он перестанет быть его частью. Джон Комсток встал посреди церкви и сказал:

— Голландцы превосходят нас во всём, кроме зависти.

В один прекрасный день король Карл закрыл казначейство, то есть признал государство несостоятельным: это значило, что корона отказывается выплачивать не только долги, но и проценты по ним. Через неделю скончался Даниелев дядя Томас Хам, виконт Уолбрук. Сердце его разорвалось от горя или он сам наложил на себя руки, знала только тётя Мейфлауэр, да это и ничего, в сущности, не меняло. Итогом стала самая театральная сцена из всех, что Даниель видел за последний год в Лондоне (исключая, возможно, «Осаду Маастрихта»): открытие Крипты.

Государственные чиновники опечатали подвал Томаса Хама сразу после смерти владельца; вокруг поставили мушкетёров, дабы вкладчики, которые в последние несколько недель образовали плотную, никогда не расходящуюся толпу перед входом в дом — как другие держали памфлеты с обличением французских зверств в Голландии, так эти сжимали обязательства золотых дел мастера на имя Томаса Хама, — не ворвались и не потребовали свои блюда, подсвечники и гинеи. Начались юридические манёвры; они продолжались дни напролёт, бросая странную тень на погребение дяди Томаса. Разбирательство заняло день, другой, третий. Владелец подвала лежал в могиле, его ближайших помощников нигде не могли сыскать; по слухам, их видели в Дюнкерке, где они пытались сплющенными золотыми кубками и супницами оплатить дорогу в Бразилию. Однако то были *слухи. Факты* были заперты в знаменитом своей надёжностью подвале братьев Хамов на Треднидл-стрит.

Его наконец распечатал эскадрон лордов и судей в сопровождении мушкетёров. Понятыми выступали Релей, Стерлинг и Даниель Уотерхаузы, а также сэр Ричард Апторп и другие государственные мужи. Прошло три дня с тех

пор, как король умыл руки от государственных долгов, и сэр Томас Хам принял крестную муку от казначейства. Это обстоятельство не преминул отметить Стерлинг Уотерхауз, как всегда внимательный к мелочам. Стоя среди знатных и важных особ перед домом своего зятя, он шепнул Даниелю: «Как знать, не найдём ли мы камень отвален и гроб пуст?»

Даниель возмутился было двойному кощунству, потом вспомнил, что сам практически переселился в театр и каждый вечер пялится на некую актёрку, — ему ли упрекать Стерлинга за шутку?

Это оказалась не шутка. Подвал был пуст.

Вернее — не пуст. Сейчас он был полон онемевшими людьми, которые стояли на римском мозаичном полу, не в силах двинуться с места.

РЕЛЕЙ: Я знал, что дела плохи. Но, Господи, здесь нет даже *картофелины!*

СТЕРЛИНГ: Своего рода античудо.

ЛОРД-КАНЦЛЕР: Скажите мушкетёрам, пусть позовут ещё мушкетёров.

Некоторое время они стояли, почти не шевелясь. Разговоры вспыхивали и тут же гасли, как порох на мокрых полках. Единственным исключением, как ни странно, были Уотерхаузы.

Катастрофа прибавила им разговорчивости.

РЕЛЕЙ: Наш последний покупатель сказал, что ты решил заделаться архитектором, Даниель.

СТЕРЛИНГ: Мы думали, ты будешь учёным.

ДАНИЕЛЬ: Все другие учёные этим занимаются. Недавно Гук разобрался наконец, как работает арка.

РЕЛЕЙ: Ты хочешь сказать, что все существующие арки построены *по наитию?*

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Арки — и финансовые учреждения.

ДАНИЕЛЬ: Кристофер Рен перепроектирует все арки в соборе Святого Павла, теперь, когда Гук ему объяснил.

СТЕРЛИНГ: Славно! Может, новый не будет таким кособоким и убогим, как прежний.

РЕЛЕЙ: К слову, Даниель, ты не хочешь показать нам свои планы?

ДАНИЕЛЬ: Планы?

РЕЛЕЙ: Если мне простят беглое отступление, я бы хотел взглянуть на твои планы.

Это был плохой каламбур и скрытый намёк со стороны Релея, старшего в семье (он достиг пятидесяти пяти лет и казался Даниелю молодым Релеем в наряде богача и старческом гриме), что пора уносить ноги. Так братья и поступили;

сэр Ричард Апторп последовал их примеру. Они поднялись на второй этаж, в ту самую спальню, куда Даниель в своё время смотрел с крыши Грешем-колледжа. Камень уже влетел в окно и несуразным украшением лежал на ковре среди стеклянных многоугольников. Другие стучали о стены; Даниель распахнул окна, чтобы уберечь стёкла. Все влезли на кровать посреди комнаты и стали смотреть на летящие камни.

СТЕРЛИНГ: Кстати, о гинеях либо отсутствии оных: скверно получилось с Гвинейской компанией, а?

АПТОРП: Пф! Она вроде театральных пшиков вашего брата. Я свои акции продал давным-давно.

СТЕРЛИНГ: А ты, Релей?

РЕЛЕЙ: Я её кредитор.

АПТОРП: Получите восемь шиллингов за фунт.

РЕЛЕЙ: Досадно, слов нет, но всё больше, чем получат вкладчики Томаса Хама.

ДАНИЕЛЬ: Бедняжка Мейфлауэр!

РЕЛЕЙ: Она с маленьким Уильямом переезжает ко мне, так что тебе придётся искать другое пристанище, Даниель.

СТЕРЛИНГ: Какой дурак скупает долговые обязательства Гвинейской компании?

АПТОРП: Джеймс, герцог Йоркский.

СТЕРЛИНГ: Вот я и спрашиваю, какой бесстрашный герой и так далее…

ДАНИЕЛЬ: Бред какой-то! Это же его собственные долги!

АПТОРП: Это долги Гвинейской компании. Герцог закрывает Гвинейскую компанию и создаёт новую Королевскую Африканскую компанию. Он будет её управляющим и единственным пайщиком.

РЕЛЕЙ: Мало ему потопить наш флот и поработить нас папе — он ещё хочет продать в рабство всех негров.

СТЕРЛИНГ: Брат, ты говоришь подозрительно похоже на Дрейка.

РЕЛЕЙ: Возможно, на меня действует близость вооружённой толпы.

АПТОРП: Герцог Йоркский уходит из Адмиралтейства.

РЕЛЕЙ: Потому что от Адмиралтейства ничего не осталось.

АПТОРП: Женится на хорошенькой католичке*[49] и улаживает свои африканские дела.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, наверное, вы опять

---

[49] Примечания: 49

Мария-Беатриса д'Эсте, дочь герцога Альфонса IV Моденского, ибо Анну Гайд лебёдкой опустили в двуспальную могилу два года назад.

знаете обо всём раньше всех, не то возмущённая толпа уже бы вышла на улицы.

РЕЛЕЙ: Она и вышла, малоумок, и, если у меня не видение в духе Дрейка, поджигает сейчас этот самый дом.

СТЕРЛИНГ: Я хочу сказать, возмущение было бы направлено против герцога, а не против нашего покойного зятя.

ДАНИЕЛЬ: Третьего дня я своими глазами видел возмущение против герцога — однако оно касалось его религиозных, а не военных, политических либо коммерческих изъянов.

СТЕРЛИНГ: Ты пропустил «интеллектуальных» и «моральных».

ДАНИЕЛЬ: Я стараюсь быть кратким — у нас маловато той субстанции, присутствующей в *свежем* воздухе, которую огонь отнимает у живых существ.

РЕЛЕЙ: Герцог Йоркский! Какой придворный лизоблюд удумал назвать Нью-Йорк в его честь?! Вполне приличный *город*.

ДАНИЕЛЬ: Если мне позволительно сменить тему, то причина, по которой я привёл вас в эту комнату, заключается в оной *лестнице,* каковая не только исправно служила для игр Уильяму Хаму, но и ведёт на крышу, где не столь жарко

и дымно.

СТЕРЛИНГ: Даниель, что бы ни говорили, *ума* тебе не занимать.

[Следует ироикомическая интерлюдия: братья Уотерхаузы нестройными и хриплыми (от дыма) голосами исполняют пуританский гимн о лестнице Иакова.]

СЦЕНА: Крыши Треднидл-стрит. Снизу доносятся крики, звон стекла, мушкетные выстрелы. Братья и сэр Ричард собираются возле исполинской печной трубы, из которой сейчас валит дым горящих мебели и стен.

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Сколь отрадно, Даниель, взирать на спрямлённый и расширенный Чипсайд, сознавая, что на месте сем будет заново воздвигнут собор — по *математическим* принципам, так что, может быть, *простоит* хоть малость.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, ваши слова пугающе напоминают речь *проповедника*, который, начав с простого житейского наблюдения, перекидывает от него длинное и притянутое за уши *сравнение*.

АПТОРП: Или, если угодно, *арку* — оттуда сюда.

РЕЛЕЙ: Так вы хотите воздвигнуть своего рода исполинскую триумфальную арку? Вы не думаете, что прежде нужен хоть какой-то *триумф?*

АПТОРП: Это лишь сравнение. То, что Кристофер Рен намерен заложить в строительство *собора,* я собираюсь заложить в основание *банка.* И как Рен использует принципы Гука, дабы собор вышел устойчивым, так и я воспользуюсь современным методом в создании банка, который — при всём уважении к светлой памяти и заслугам вашего покойного зятя — не станет поджигать озверелая толпа.

РЕЛЕЙ: Наш зять разорился, потому что король одолжил все его деньги — вероятно, под дулом мушкета, — а потом отказался их возвращать. Какие *математические* принципы позволят вам это предотвратить?

АПТОРП: Те же, с помощью которых вы и ваши единомышленники сохраняете свою веру: я не позволю королю вмешиваться в мои дела.

РЕЛЕЙ: Королям не нравится, когда им такое говорят.

АПТОРП: Я видел короля только вчера, и, поверьте, банкротство нравится ему ещё меньше. Я родился в тот самый год, когда король прибрал к рукам золото и серебро, которые Дрейк и другие торговцы поместили на хранение в Тауэр. Помните?

РЕЛЕЙ: Да, то был чёрный год, он сделал бун-

товщиками многих разорившихся торговцев.

АПТОРП: В итоге возникли дело вашего зятя и практика златокузнечных обязательств — никто больше не доверял Тауэру.

СТЕРЛИНГ: А после нынешнего дня никто больше не будет доверять золотых дел мастерам и их никчёмным распискам.

АПТОРП: Верно. И как пустой гроб на Пасху во исполнение времён привёл к Воскресению…

ДАНИЕЛЬ: Я зажимаю уши. Когда заговорите как христиане, махните рукой.

Весть, что Голландия выиграла войну, распространилась по Лондону невидимо, как чума. В мгновение ока она настигла каждого. Как-то утром Даниель проснулся в Бедламе, зная, что Вильгельм Оранский открыл шлюзы и затопил полреспублики, чтобы спасти Амстердам. Однако он не мог вспомнить, когда и от кого это услышал.

Они с братьями покинули Треднидл, перебираясь с крыши на крышу. Апторпа оставили на крыше его собственной златокузнечной лавки, которая покуда избежала банкротства, хотя и перед ней бушевала вооружённая толпа — и перед следующей, и дальше по улице. Как с опозданием поняли братья, они не только не выбрались из

смуты, но, напротив, угодили в самую её гущу. Разумнее всего было повернуть назад, но теперь навстречу им по крышам двигался взвод квакеров с фитильными ружьями, и у каждого в руках дымился зажжённый трут. Со стороны Грешем-колледжа по крышам Брод-стрит пробирался такой же армейский взвод; было ясно, что скоро квакеры и солдаты начнут перестрелку над головами других квакеров, гавкеров, трясунов, пресвитериан, евреев, гугенотов, диггеров и прочих индепендентов на улице.

Пришлось спускаться на улицу в мечущую камни толпу. Впрочем, оказавшись внизу, Даниель понял, что это не юные смутьяны славных Дрейковых дней, а пузатые торговцы, пришедшие узнать, где их деньги. Ответ был: там, куда деваются деньги во время финансового обвала. Даниель постоянно наступал на парики. Иногда сразу сотня людей поворачивалась и бросалась бежать от внезапной пальбы, и тогда все парики падали разом, как на военных учениях. На некоторых париках были шматки мозга, и от них на башмаках оставались перламутровые разводы.

Братья пробились на Брод-стрит, подальше от Биржи, где, судя по всему, и начались беспорядки. Псевдопольские гренадёры выстроились

перед зданием бывшей Гвинейской, будущей Королевской Африканской компании. Уотерхаузы перебежали по дальней стороне улицы, оглядываясь, не летят ли им в спины роковые металлические шары. Попытались укрыться в Грешем-колледже, однако туда после Пожара переехали многие государственные учреждения, поэтому колледж был закрыт и охранялся почти так же, как Королевская Африканская компания.

Продолжая двигаться на север, они добрались до Бедлама, где и спрятались между штабелями обтёсанных плит. На следующее утро Стерлинг и Релей ушли, а Даниель остался — опустошённый, не чувствующий никакого желания возвращаться в город. Время от времени он слышал, как колокол на соседней церкви звонит по кому-то погибшему в беспорядках.

О его местопребывании прознали; начали приходить посыльные, по несколько раз в день, с приглашениями на новые похороны. Там его обычно просили встать и сказать несколько слов (не о покойном — по большей части это были люди малознакомые), но о религиозной терпимости вообще. Другими словами, его просили механически воспроизвести то, что сказал бы Уилкинс. Даниелю это было легко — легче, чем придумы-

вать собственные слова. Из уважения к памяти отца он упоминал и Дрейка, что представлялось медленной и непрямой формой самоубийства, — однако после разговора с Джоном Комстоком Даниель не видел особого смысла цепляться за жизнь. Его странно умиротворял вид прихожан в белом и чёрном. (Иногда ярким пятном присутствовал Роджер Комсток в сопровождении придворного-двух, сочувствующих или хотя бы любопытствующих.) Часто церковь не вмещала всех, кто хотел проводить усопшего; люди стояли во дворе или на улице, заглядывали в открытые двери и окна.

Даниелю вспоминалось, как во время его учёбы в Кембридже Апнор убил пуританина. Тогда он проделал пять миль, чтобы попасть на службу, и чудесным образом встретил отца и братьев. Их разговор стал для него трудною, но поддержкой. Сейчас его слова звучали неожиданно страстно — как две инертные субстанции, смешанные в алхимической ступке, дают взрывчатый состав, так и воспоминания о Дрейке и Уилкинсе, соединяясь, наполняли его огнём.

Однако Даниель к этому не стремился, поэтому начал избегать похорон и всё время проводил в тихом каменном саду Бедлама.

Гук тоже переселился сюда, потому что в Грешем-колледже не стало прохода от придворных интриганов. Бедлам был далёк от завершения — каменщики даже не приступали к флигелям. Однако центральную часть уже закончили, и наверху располагалась круглая башня с окнами по всем сторонам, где Гук любил уединяться: здесь было хорошее освещение и никто не мешал работе. Что до Даниеля, он оставался внизу и выходил в город только для встреч с Лейбницем.

Доктор Вильгельм Готфрид Лейбниц взял кофейник и в третий раз наклонил над чашкой. Из кофейника в третий раз ничего не вылилось — он был пуст последние полчаса. Лейбниц тихонько вздохнул и нехотя встал.

— Прошу меня извинить, но завтра я отправляюсь в долгий путь. Сперва через Ла-Манш, затем из Кале в Париж по дорогам, на которых хозяйничают сейчас французские полки — разбитые, голодные и озверелые.

Даниель настоял на том, чтобы расплатиться за обоих, и вместе с доктором вышел на улицу. Они двинулись к гостинице, в которой остановился Лейбниц, неподалёку от Биржи. На немощёных улицах по-прежнему валялись булыжники и обгоревшие головни.

— Лондон не блещет божественной гармонией, — сказал Даниель. — Мне стыдно, что я англичанин.

— Если бы вы вместе с Францией завоевали Голландскую республику, у вас было бы больше оснований для стыда, — отвечал Лейбниц.

— Тогда, добравшись с Божьей помощью до Парижа, вы сможете сказать, что ваша миссия увенчалась успехом: войны нет.

— Моя миссия провалилась. Я не смог предотвратить войну.

— В день приезда вы сказали, доктор, что ваши философские занятия не более чем ширма для дипломатии. Однако я подозреваю, что всё наоборот.

— Мои философские занятия тоже закончились провалом, — сказал Лейбниц.

— Вы снискали себе приверженца…

— Да. Ольденбург одолевает меня просьбами закончить арифметическую машину…

— В таком случае двух приверженцев, доктор.

Лейбниц даже остановился и взглянул на Даниеля — не шутит ли тот.

— Весьма польщён, сударь, но я предпочёл бы считать вас *другом*, а не *приверженцем*.

— В таком случае это я весьма польщён.

Они взялись за руки и некоторое время шли в молчании.

— Париж! — воскликнул Лейбниц, как если бы лишь одна эта мысль могла поддержать его в следующие несколько дней. — Вернувшись в *Bibliotèque du Roi*, я обращу все свои усилия к математике.

— Вы не хотите заканчивать арифметическую машину?

Впервые Даниель увидел на лице доктора раздражение.

— Я — философ, а не часовых дел мастер. *Философские* проблемы, связанные с арифметической машиной, решены. Из этого лабиринта я выбрался.

— Кстати, доктор, в день приезда вы упомянули, что вопрос свободной воли либо предопределения — один из двух лабиринтов, в который увлекается мысль. Каков второй?

— Состав континуума, или: что есть пространство? Евклид утверждает, что всякое расстояние можно разделить пополам, затем ещё пополам, и так до бесконечности. Легко сказать, трудно представить.

— Думаю, труднее для *метафизика,* чем для *математика,* — сказал Даниель. — Как во мно-

гих других областях, современная математика даёт нам средства оперировать как бесконечно большим, так и бесконечно малым.

— Что ж, быть может, я и впрямь в слишком большой степени метафизик, — заметил Лейбниц. — Понимаю, вы говорите о методе бесконечных последовательностей и рядов.

— Именно так, доктор. Но, как всегда, вы себя умаляете. Вы продемонстрировали Королевскому обществу, что знаете об этих последовательностях больше кого-либо из живущих.

— Однако они не разрешают моих затруднений, лишь заставляют задуматься о глубине нашего непонимания. Например…

Лейбниц шагнул к свисающему с карниза на углу здания фонарю. Проект освещения Сити застопорился из-за того, что в стране закончились деньги. Однако в этой неспокойной части города, где (по мнению сэра Роджера Л'Эстранжа) в любом тёмном углу могли прятаться непокорные диссиденты, расходы на ворвань для фонарей сочли оправданными.

Лейбниц взял палку из груды мусора, которая ещё недавно была златокузнечной лавкой, и, встав в круг желтовато-бурого света, нацарапал в грязи несколько первых членов последова-

тельности:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} \text{ \&c}$$

— Сумма этих членов стремится к «пи». Так что у нас есть способ приблизиться к значению «пи» — тянуться к нему, но никогда его не достичь… подобно тому и человеческий разум, устремляясь к Божественной Сущности, получает несовершенное знание, но неспособен взглянуть Богу в лицо.

— Бесконечные ряды не только служат метафорой непознаваемости — они могут и прояснять! Мой друг Исаак Ньютон творит с ними чудеса. Он научился описывать бесконечными рядами любую кривую.

Даниель забрал у Лейбница палку и нарисовал на земле кривую:

— Это отнюдь не *отвращает* его от познания, напротив, *укрепляет* в понимании, давая способ определить касательную в каждой точке.

Он прочертил прямую, касающуюся кривой.

По улице прогрохотала чёрная карета. Четвёрка лошадей, подстёгиваемая кучером, опасливо шарахнулась от груды развалин. Даниель и Лейбниц отступили в арку, чтобы её пропустить, колёса расплескали лужу и превратили Лейбницевы

гиероглифы вкупе с Даниелевыми загогулинами в систему каналов, быстро смывающих нарисованное.

— Проживёт ли дольше хоть что-либо из наших начинаний? — горько произнёс Даниель.

Лейбниц коротко рассмеялся и на протяжении следующих нескольких ярдов не проронил ни слова.

— Я думал, Ньютон занимается одной алхимией, — сказал он наконец.

— Время от времени Ольденбургу, Комстоку или мне удаётся растормошить его на математическую статью.

— Может быть, меня тоже следует тормошить, — произнес Лейбниц.

— Это сможет делать Гюйгенс, когда вы вернётесь.

Лейбниц резко тряхнул плечами, как будто хотел сбросить с них Гюйгенса.

— До сих пор он был мне хорошим наставником, но сумел дать лишь задачи, уже разрешённые англичанами, а следовательно, знает математику не лучше меня.

— Ольденбург тоже вас подталкивает — хотя и к иному.

— Ради Ольденбурга я постараюсь найти в Па-

риже кого-нибудь, кто построит арифметическую машину, — вздохнул Лейбниц. — Это достойный проект, но там осталась работа для механика.

Они вошли в свет от следующего фонаря. Даниель воспользовался случаем заглянуть спутнику в лицо и оценить его настроение. Лейбниц выглядел куда решительнее, чем под прошлым фонарём.

— Ребячество — ждать, что старшие направят мою мысль, — сказал доктор. — Никто не говорил мне думать о свободной воле и предопределённости. Я сам вступил в этот лабиринт, и заплутал, и вынужден был отыскать выход.

— Вас ждёт второй лабиринт, — напомнил Даниель.

— Да… время углубиться в него. Отныне это моя единственная цель. Следующий раз, когда вы увидите меня, Даниель, я буду первым математиком мира.

В устах любого другого европейского законоведа эти слова прозвучали бы нелепым бахвальством; однако их произнёс монстр.

Я бросил поводья на шею своих похотей.

Джон Беньян, «Путь паломника»

Как-то утром Даниель проснулся от приглушённого взрыва и решил, что за городом испытывают новую пушку. Он уже собирался заснуть, когда вновь раздалось: «бух!», словно точка в конце книги.

Утренний свет наполнял башню Бедлама и медленно пробирался по балкам, крепям и лесам вниз, туда, где спал на соломенном тюфяке Даниель. Наверху кто-то двигался, не наобум, как вор или мыши, но проворно и точно, как птицы и Роберт Гук.

Даниель встал и, не надевая парик, чтобы прохладный ветер обдувал коротко остриженную голову, полез к свету по лесам и верёвочным лестницам. Просветы между досками над головой розовели прямыми линиями, тугими и параллельными, словно клавесинные струны. Он протиснулся в люк, вспугнув пару ласточек, и оказался под куполом башни, в полукруглом помещении вместе с Робертом Гуком. Воздух искрился пылинками. Гук разложил на полу

большие чёрные крылья и воздушный винт. Перед окном он установил стекло, аккуратно расчерченное чёрной декартовой сеткой, на которое наносил параболы — траектории пушечных ядер. Гук любил наблюдать, как летит ядро, и восковым карандашом рисовать его траекторию.

— Отвесь мне пять гран пороха, — сказал Гук, не отрывая глаз от разрежающей машины: снабжённого поршнем цилиндра, одного из тех, при помощи которых они с Бойлем исследовали расширение газов.

Даниель подошёл к установленным на столе точным весам. Рядом на полу стоял бочонок с гербом Серебряных Комстоков. Затычка прилегала неплотно и была усеяна зёрнами чёрного пороха. Рядом лежал цилиндрический холщовый мешочек, диаметром с кулак, набитый, как мучной куль. Когда-то он был зашит, но Гук разрезал неровные стежки. Заглянув под выцветшую ткань, Даниель тоже увидел порох.

— Взять из бочонка или из мешка? — спросил Даниель.

— Мне дороги мои глаза и машина, так что из бочонка.

— Почему вы так сказали?

Даниель снял затычку и увидел, что бочонок

почти полон. Взяв медную ложку, которую Гук оставил рядом с весами (медь не даёт искр), он зачерпнул порох и начал сыпать на золотую чашку. Однако взгляд его постоянно устремлялся на мешочек, отчасти потому, что Гук, мало чего страшившийся, счёл его опасным. И ещё потому, что он казался смутно знакомым, хотя Даниель и не мог вспомнить, где его видел.

— Разотрите между пальцами, — посоветовал Гук. — Не бойтесь, не взорвётся.

Даниель взял из мешка щепоть пороха. Ответ не заставил себя ждать: порох в мешочке был тоньше, чем в бочонке. И тут же Даниель вспомнил, где такой видел: в ту ночь, в лаборатории. Роджер Комсток растирал порох и ссыпал в очень похожий мешочек.

— Откуда это? Из театра?

Гук опешил, что с ним случалось нечасто:

— Почему вы задали такой странный вопрос? Как вам пришло в голову столь дикое предположение, скажите на милость?

— Тонкий порох используют в театре. — Даниель кивнул на мешочек, потому что руки у него были заняты. Отвесив пять гран пороха, он ссыпал их в бумажный кулёк и отнёс Гуку. — Такой горит много быстрее грубого.

В подтверждение своих слов он потряс кульком; звук был такой, как если бы встряхивали песок.

Гук забрал порох и высыпал в цилиндр разрежающей машины. Некоторые такие машины были стеклянные, но эта представляла собой тяжёлую медную трубку размером с чайницу, то есть, по сути, миниатюрную мортиру. Поршень входил в неё, как ядро.

— Знаю, — отвечал Гук, — потому и не хочу всыпать пять гран такого пороха в свою разрежающую машину. Пять гран комстоковского пороха горят медленно и ровно, выталкивая поршень, как мне нужно. То же количество пороха из мешка сгорит в один миг, взорвав мой аппарат и меня.

— Вот почему я предположил, что он из театра, — сказал Даниель. — Такой порох не годится для разрежающей машины, но на сцене даёт эффектную вспышку.

— Этот мешок, — сказал Гук, — доставлен с военного корабля. На некоторых кораблях порох по старинке сыплют в пушку из бочонка, как мушкетёр заправляет своё оружие из рожка. Однако в пылу боя наши артиллеристы нередко просыпают порох на палубу или неверно отмеряют его количество. А держать открытый порох рядом со

стреляющей пушкой — значит, накликать беду. Сейчас появился новый метод. До боя, когда есть возможность работать сосредоточенно, порох тщательно отмеряют и ссыпают в мешки, называемые картузами, которые затем старательно зашивают. Картузы хранятся в пороховом погребе, и во время боя их подносят к пушкам по одному.

— Ясно, — сказал Даниель. — И канониру надо лишь разрезать мешок и всыпать порох в дуло.

Далеко не в первый раз Гука раздосадовала непонятливость Даниеля.

— Зачем возиться с ножом, если огонь сам вскроет мешок?

— Простите?

— Диаметр мешка равен диаметру дула. Зачем его вскрывать? Нет, весь мешок, как есть зашитый, забивают в дуло.

— И артиллеристы даже не видят, что в нём!

Гук кивнул:

— Артиллеристы имеют дело лишь с порохом для затравки, который насыпается в запальное отверстие и передаёт огонь мешку.

— Значит, артиллеристы полагаются на тех, кто зашивает мешки, — вверяют им свою жизнь, — сказал Даниель. — Если положить в картуз не

того пороха…

Он, не договорив, вернулся к мешку и запустил пальцы внутрь. Разница между этим порохом и комстоковским была как между мукой и песком.

— Вы говорите в точности как Джон Комсток, когда тот вручал мне бочонок и картуз.

— Он принёс их *лично?*

Гук кивнул:

— Сказал, что больше никому не доверяет.

Видимо, на лице Даниеля отразился ужас, потому что Гук поднял руку:

— Я прекрасно понимаю его состояние. Некоторые из нас, Даниель, подвержены меланхолии и во время её приступов терзаются страхами, будто окружающие строят против них козни. Это опасное чувство. У меня время от времени возникают такие подозрения касательно Ольденбурга и других. Ваш друг Исаак Ньютон тоже к ним предрасположен. Из всех живущих, полагаю, Джон Комсток менее всего одержим подозрительностью. Однако когда он пришёл сюда с бочонком, то был целиком в её власти, и это огорчило меня более всех последних событий.

— Милорд считает, что его недруги подложили в пороховые погреба военных кораблей картузы с мелким порохом. Такой картуз, плотно зашитый,

будет неотличим от остальных, но заправленный в пушку и подожжённый…

— Разорвёт ствол и убьёт всех вокруг, — закончил Гук. — Что спишут на дурную пушку или на дурной порох. Поскольку милорд поставляет и то и другое, вина в любом случае ляжет на него.

— Откуда взялся картуз? — спросил Даниель.

— Милорд сказал, что получил его от своего сына Ричарда, который обнаружил картуз в пороховом погребе собственного корабля накануне отплытия к Саутуолду.

— Где Ричарда убило голландским бортовым залпом, — сказал Даниель. — И милорд попросил, чтобы вы осмотрели картуз и составили мнение, испорчен ли он некими заговорщиками.

— Именно так.

— И что вы сказали?

— Никто ещё меня не спросил.

— Даже Комсток?

— Даже он.

— Зачем было лично нести сюда картуз, чтобы потом ни о чём не спросить?

— Могу лишь предположить, — отвечал Гук, — что милорд пришёл к выводу о бессмысленности расследования.

— Какая странная мысль!

— Ничего подобного, — возразил Гук. — Предположим, я засвидетельствую, что порох в картузе мелкий. Что это даст? Англси — ибо, не сомневайтесь, за этим стоит он — объявит, что Комсток подменил порох, дабы оправдаться за неисправные пушки. Сын Комстока — единственный, кто мог подтвердить подлинность мешка, — мёртв. Не исключено, что были и другие, но — спасибо адмиралу де Рёйтеру — они теперь на морском дне. Мы проиграли войну, и надо найти виновного — не короля и не герцога Йоркского. Комсток уже понял, что виновным назначат его.

В башне становилось светлее с каждой минутой. Гук вставил в цилиндр шатун и соединил его с кривошипом, потом через крошечное запальное отверстие поджёг порох. Бабах! Поршень подскочил так быстро, что Даниель не успел даже отшатнуться. Шестерни завертелись, закручивая пружину, свёрнутую в спираль диаметром с тарелку. Собачка остановила храповик, чтобы она не раскручивалась. Гук совместил шестерни так, чтобы огромная часовая пружина посредством ремня передавала движение ведущему валу странного спиралевидного предмета, очень лёгкого, изготовленного из пергаментной бумаги, натянутой на каркас из лозы. Наподобие

архимедова винта. Пружина начала медленно раскручиваться, быстро и ровно вращая винт. Стоя рядом с ним, Даниель ощущал вполне заметный ветер. Это продолжалось больше минуты — Гук засёк время по своим новейшим часам.

— Если подобрать форму и закладывать порох через равные промежутки времени, эта машина сможет оторвать себя от земли, — сказал Гук.

— Добавлять порох будет непросто, — заметил Даниель.

— Я пользуюсь порохом потому лишь, что он у меня есть, — отвечал Гук. — Теперь, когда председателем Королевского общества избран Англси, я думаю испробовать горючие газы.

— Даже если к тому времени я переберусь в Массачусетс, — сказал Даниель, — я непременно вернусь взглянуть, как вы полетите по воздуху, мистер Гук.

Неподалёку начал бить колокол. Даниелю подумалось, что для похорон вроде рановато. Однако через несколько минут к первому колоколу присоединился второй. Затем третий. Они трезвонили, не умолкая, словно праздновали некое радостное событие. Однако англиканские церкви не разделяли общего ликования; звонили только у голландцев, евреев и диссидентов.

Чуть позже к воротам Бедлама подъехал Роджер Комсток в карете, запряжённой четвернёй. Герб прежнего владельца был сбит и заменён гербом Золотых Комстоков.

— Даниель, окажите милость сопровождать меня в Уайтхолл, — сказал Роджер. — Король ждёт вас на подписание.

— Подписание чего?

Даниель мог предположить несколько вариантов; самыми вероятными представлялись смертный приговор ему за подстрекательство либо Роджеру за саботаж в пользу Голландской республики.

— Как чего?! Декларации! Разве вы не слышали? Свобода вероисповедания для диссентеров всех мастей — почти. Как и мечтал Уилкинс.

— Весть добрая, соглашусь. Но зачем его величеству я?

— После Болструда вы у нас самый видный диссидент.

— Неправда!

— Неважно, — бодро отвечал Роджер. — Так считает король, и так будет с сегодняшнего дня.

— Почему он так считает? — спросил Даниель, уже почти зная ответ.

— Потому что я так говорю всем и каждому.

— Мне не в чем было бы пойти в бордель, не то что в Уайтхолл.

— Разница невелика, — рассеянно заметил Роджер.

— Вы не понимаете! В моём парике вывели птенцов ласточки, — отнекивался Даниель.

Однако Роджер щёлкнул пальцами, и тут же из кареты выскочил слуга с кучей свёртков. Через приоткрытую дверцу Даниель различил и женские наряды — на женщинах. Их было две. Сверху донеслись взрыв и приглушённая брань Гука.

— Не беспокойтесь, ничего щегольского, — сказал Роджер. — Всё прилично для ведущего диссидента.

— Относится ли сказанное к дамам? — спросил Даниель, входя вместе с Роджером и слугой в Бедлам.

— Они не дамы, — ответил Роджер и, помимо этой убогой шутки, ничего не сказал. — Окажите Лондону милость, снимите это тряпьё. Мой лакей сожжёт его в печке.

— Рубашка ещё вполне крепкая, — возмутился Даниель. — Впрочем, согласен, носить её больше нельзя. Однако она сгодилась бы на пороховой картуз для королевского флота.

— В них больше нет нужды, — заметил Род-

жер, — война ведь кончилась.

— Напротив, я бы сказал, что придётся шить много новых картузов, поскольку столько старых оказались дефектными.

— Что ж, для политического простачка вы неплохо осведомлены. Кто внушил вам подобные мысли? Очевидно, сторонники Комстока.

— Вероятно, сторонники Англси уверяют, будто порох был превосходен, а пушки Комстока — с изъяном.

— Это знает весь высший свет.

— Свет-то, может, и знает, но нам с вами и кое-кому ещё известно, что были изготовлены картузы с тонко истёртым порохом.

По совпадению или нет, но к этому моменту разговора Даниель разделся догола; на нём было исподнее, однако Роджер бросил ему новое и отвёл взгляд.

— Даниель! Я не могу смотреть на вас в таком виде и не желаю слышать ваших ядовитых намёков. Я поворачиваюсь спиной и буду некоторое время говорить. Обернувшись, я хотел бы увидеть нового человека, одетого и осведомлённого.

— Что ж, полагаю, у меня нет особого выбора.

— Ни малейшего. Итак, Даниель. Вы видели, как я толку порох и ссыпаю его в мешок, — тут

отпираться бессмысленно. Без сомнения, вы подумали обо мне худшее, как думаете со времён нашей общей учёбы в Кембридже. Задумались вы над тем, как человек в моём положении может подкинуть картуз в пороховой погреб военного корабля? Ясно, что никак. Это сделал кто-то другой. Обладающий влиянием и связями, о каких мне нечего и мечтать.

— Герцог Ган…

— Молчите! Молчите! И в молчании поразмышляйте о сходстве между пушкой и ртом. Профан видит пушку и полагает, что это безотказное орудие против недругов. Однако старый канонир знает, что пушка, когда говорит, порою взрывается. Особенно если её заряжают в спешке. Когда это происходит, Даниель, враг остаётся невредим. Быть может, он ощущает лёгкое колебание воздуха, неспособное даже взъерошить его парик. А вот ретивый канонир *и все его товарищи* — разорваны на куски. Задумайтесь об этом, Даниель, и хоть раз в жизни проявите чуточку осмотрительности. Неважно, как на самом деле зовут джентльмена, по чьей вине взорвалась пушка. Важно другое: *я понятия не имел, что делаю.* Откуда *мне* разбираться в военной артиллерии? В Королевском обществе я свёл знакомство с

некими джентльменами. Им стало известно, что я помогаю Исааку Ньютону в алхимической лаборатории. Один из них попросил меня оказать им услугу. Ничего сложного. Очень тонко истереть порох и сложить в полотняный мешочек. Это, как вы помните, я исполнил. За год я изготовил полдюжины картузов. Один взорвался на месте благодаря вам. Из остальных, как я теперь понимаю, один подложили артиллеристам при «Осаде Маастрихта», и в результате пушка взорвалась на глазах у всего Лондона. Четыре попали на военные корабли. Один из них Ричард Комсток обнаружил и переслал отцу. Один взорвался во время боя с голландцами. Оставшиеся два лежат на морском дне. Касательно моей вины: я до последнего времени не подозревал, зачем упомянутый джентльмен обратился ко мне со столь странной просьбой. Заполняя эти мешочки, я не знал, что они послужат убийству.

Даниель, продевая руки и ноги в новую одежду, верил каждому слову. Он давно потерял счёт моральным изъянам Роджера. Роджер, подозревал Даниель, нарушил все заповеди и совершил все смертные грехи, какие только сумел, и активно искал способы добрать упущенное. Вся история не имела ни малейшего отношения к порочности

Роджера. *Кто-то* подстроил смерть несчастных канониров, чтобы бросить тень на репутацию графа Эпсомского, — ничего гнуснее Даниель вообразить не мог. За этим мог стоять Томас Мор Англси или кто-то из его сыновей, ибо, как верно указал Роджер, самому ему такое было бы не под силу. Оставался один вопрос: понимал ли Роджер, для чего нужен порох. Англси ему, разумеется, не сказал, значит, он должен был сообразить сам, а карьера Роджера в Тринити не давала основания ждать от него гениальных прозрений.

Убеждённость, что Роджер невиновен, сняла с плеч Даниеля бремя, о котором он до сей минуты даже не подозревал. Облегчение было такое, что включился пуританский самоанализ. Столь приятное чувство могло быть дьявольской уловкой. Быть может, он *притворяется*, будто верит Роджеру, ради собственного спокойствия.

— Как вы можете встречаться с этими людьми, если знаете, какие мерзости они творят?

— Собирался задать вам тот же вопрос.

— Простите?

— Вы встречаетесь с ними, Даниель, на каждом собрании Королевского общества начиная с Чумного года.

— Я же не знал, что они — убийцы!

— Напротив, Даниель, вы знали это с той самой ночи в Кембридже, когда Луи Англси убил вашего единоверца.

Человек другого склада произнёс бы эти слова с мстительным торжеством. Дрейк изрёк бы их с горечью или гневом. У Роджера они прозвучали остротой. Даниель даже хохотнул, прежде чем одумался и помрачнел.

Условия сделки прояснялись. Почему Даниель отказывается ненавидеть Роджера? Не потому, что слеп к его недостаткам, — он видел моральную трусость Роджера, словно Гук, смотрящий в микроскоп. И не из христианского всепрощения. Он отказывался ненавидеть Роджера, потому что Роджер видел моральную трусость Даниеля, видел все эти годы — и не проникся к нему ненавистью. Всё честно. Они братья.

Однако моральные терзания по поводу Роджера померкли через полчаса, когда Даниель, в парике, галстуке, камзоле и при часах, которые Роджер каким-то образом выцыганил у Гука, вышел из Бедлама и сел в карету. Ибо одна из женщин была Тесс Чартер. Сердце глухо стукнуло в груди. *Бух.*

Отсмеявшись вместе с подружкой выражению Даниелева лица, Тесс подалась вперёд и взяла его за руку. Она была умопомрачительно и пугающе

живая — более живая, чем он. Тесс взглянула ему в лицо и сказала с французским акцентом:

— Право, Даниель, это такая замечательная роль — играть любовницу джентльмена столь чистого, столь духовного, что он неспособен мыслить о тебе плотски! — Потом на простонародном лондонском наречии: — Однако я больше люблю играть перевоплощения — это и отделяет меня от Нелл Гвин.

— Интересно, что отделяет от Нелл Гвин короля? — спросила её товарка.

— Десять дюймов бараньей кишки с узлом на конце, если король себе не враг! — засмеялась Тесс. *Бух*.

И далее в том же духе. Даниель повернулся к Роджеру, сидевшему рядом с ним:

— Сэр! С чего вы взяли, будто я хочу притвориться, что у меня есть любовница?

— Кто говорит о *притворстве?* — отвечал Роджер и, когда Даниель не рассмеялся, сказал, подобравшись: — Пфу! Явиться в Уайтхолл без любовницы — всё равно что прийти на дуэль без шпаги. Право, Даниель! Никто не воспримет вас всерьёз! Решат, будто вы что-то скрываете.

— А он и скрывает — хотя и не очень успешно, — сказала Тесс, указывая глазами на новую

выпуклость в Даниелевых штанах.

— Мне понравилось, как вы сыграли в «Голландской потаскухе», — робко произнёс Даниель.

Всю дорогу вдоль Лондонской стены и дальше на запад, за любой попыткой Даниеля завести серьёзный разговор следовала придворная острота — часто настолько фривольная, что Даниель не понимал её, как Тесс не поняла бы его выступление перед Королевским обществом, — затем взрыв женского смеха и необъяснимый переход на другую тему.

Как раз когда Даниелю казалось, что он завязал осмысленную беседу, карета въехала на Варфоломеевскую ярмарку. За окном отплясывали джигу медведи и ковыляли на ходулях гермафродиты. Набожные мужчины и благовоспитанные дамы отвели бы взгляд, однако Тесс и её приятельница (тоже актриса и, судя по всему, настоящая, не показная любовница Роджера) были не из таких. Десять минут спустя, когда карета въехала на Холборн, они всё ещё обсуждали увиденное. Даниель решил взять пример с Роджера, который не пытался беседовать с дамами, а смотрел на них и лыбился, словно деревенский дурачок.

Они остановились на углу Уотерхауз-сквер, чтобы ритуально восхититься земельным при-

обретением Роджера и съязвить по поводу дома, который построил себе Релей. Вердикт был таков: эту исполинскую кучу архитектор Релея наложил в приступе несварения желудка. Сходным образом дамы отозвались о наряде вдовой Мейфлауэр Хам, которая как раз выходила из дома, чтобы тоже отправиться в Уайтхолл.

Затем мимо многочисленных полей, церквей и скверов, носящих имя святого Эгидия[50], и по Пикадилли до Комсток-хауса, где Роджер велел кучеру остановиться и несколько минут любовался тем, как Серебряные Комстоки выезжают из особняка, в котором их предки жили с войны Алой и Белой розы. Исполинские живописные холсты с охотничьими сценами и морскими баталиями стояли прислонённые к чугунной ограде. Рядом примостились картины поменьше, в основном портреты, лишённые золочёных рам, которые ушли с торгов. Казалось, будто целая толпа Серебряных Комстоков, по большей части в старинных дублетах и брыжах, уныло смотрит через ограду. «Да, за решётку их следовало отправить лет сто назад!» — сказал Роджер и рассмеялся собственной шутке так громко, что Джон

[50] Примечания: 50
Сент-Джайлс.

Комсток, наблюдавший, как из дома выносят батальное полотно размером с грот линейного корабля, обернулся в его сторону. Даниель смотрел на картину не отрываясь. Отчасти потому, что вид графа Эпсомского внушал ему грусть, отчасти потому, что слишком много времени провёл с Лейбницем, а тот часто говорил о таких картинах в связи с Божественным разумением. На одном холсте, словно бы с одной точки зрения, живописец изобразил различные стычки, прорывы, кавалерийские атаки и гибель нескольких главных участников, которые на самом деле происходили в разное время и в разных местах. И то была не единственная вольность в обращении с пространством и временем: подведение подкопа под бастион, взрыв и последующий штурм художник тоже нарисовал так, словно они происходили одновременно. Эти сцены располагались рядом, подобно заспиртованным личинкам в собрании Королевского общества, пребывая в одном времени, но так, что, скользя по ним взглядом, можно было представить себе весь ход событий. Батальное полотно, разумеется, было не одно, а в окружении других картин, вынесенных из дома ранее; его восприятие дополнялось другими сценами, которые Комстоки видели на своём веку

и сочли достойным запечатления. Сейчас все они перемешались по скорбному поводу. Однако видеть падение Серебряных Комстоков в обрамлении стольких моментов их истории было не так страшно, как если бы оно происходило само по себе, одинокое во времени и пространстве.

Граф Эпсомский повернул голову и взглянул через Пикадилли на своего Золотого родича, однако чувств никаких не выказал. Даниель вжался в спинку сиденья, надеясь, что его скроет мрак. Джон Комсток показался ему почти умиротворённым. Поди плохо жить в Эпсоме, каждый день охотиться на лис и ловить рыбу? Так сказал себе Даниель — однако позже скорбное, осунувшееся лицо графа вставало перед его глазами в самые неподходящие минуты.

— Не глупите, Даниель, из-за того, что увидели его лицо, — сказал Роджер. — Этот человек был кавалером. Он вёл кавалерийские атаки против парламентских пехотинцев. Знаете, что это такое? Видите эту кошмарную мазню: двоюродный дед Комстока вместе с друзьями преследует лису? Замените лису голодным йоменом, безоружным и одиноким, и вы поймёте, что делал Джон Комсток во время Гражданской войны.

— Знаю, — отвечал Даниель. — И всё же,

признаюсь, он и его семья мне милее герцога Ганфлитского с его семейством.

— Джона Комстока надо было убрать и войну проиграть, прежде чем случилось бы всё остальное, — сказал Роджер. — Что до Англси и его отродья, я люблю их не больше вашего. Не беспокойтесь из-за них. Радуйтесь своему торжеству и своей любовнице. Англси предоставьте мне.

Затем в Уайтхолл, где различные Болструды, Уотерхаузы и другие смотрели, как король подписывает декларацию религиозной терпимости. Составленный Уилкинсом, этот документ давал свободу вероисповедания *всем*. Версия, которую сейчас подписывал король, была сильно урезана: она исключала крайних еретиков, таких как ариане, не признающих Троицу. Тем не менее это был достойный повод поднять в память Джона Уилкинса несколько кружек в нескольких тавернах на Друри-Лейн. Якобы любовница Даниеля сопровождала его на всех этапах эпохального загула, который завершился в театре у Роджера, в одном из помещений за сценой, где по чистой случайности оказалась кровать.

— Кто здесь изготавливает колбасы? — удивился Даниель.

Тесс зашлась от хохота. Она как раз стягивала

с него штаны.

— А у тебя очень даже хорошенькая колбаска, — выговорила она наконец.

— Я бы сказал, что это *твоя* работа, — возразил Даниель и (поскольку искомая часть тела была теперь на виду) добавил: — Хотя я не вижу в нём ничего хорошенького.

— Оба раза мимо! — резко отвечала Тесс.

Она протянула руку и схватила предмет их разговора. Даниель ойкнул. Тесс потянула. Даниель вскрикнул и шагнул к ней.

— Ах, так он всё-таки растёт *из тебя*. Значит, ты сам за него в ответе, и нечего валить всё на бедных девушек. Что до хорошенького… — Она ослабила хватку и, держа Даниелево хозяйство на ладони, всмотрелась внимательнее. — Ты просто не видел гадких, так ведь?

— Меня учили считать, что все они *гадкие*.

— Может, и так — это всё метафизика, верно? Но поверь, одни гаже других. Вот почему мы держим в спальне кишки для колбас.

Затем она проделала нечто поразительное с десятью дюймами завязанной на конце бараньей кишки. Не то чтобы Даниелю нужны были десять дюймов, однако Тесс не поскупилась на кишку, может быть, желая сделать ему комплимент.

— Значит ли это, что соития на самом деле не происходит? — с надеждой спросил Даниель. — Раз я с тобой не соприкасаюсь?

На самом деле он с ней соприкасался, и не в одном месте, а она — с ним. Однако в самом главном месте он соприкасался только с бараньей кишкой.

— Твои братья по вере часто задают такой вопрос, — сказала Тесс. — Так же часто, как разговаривают во время этого дела.

— А ты что отвечаешь?

— Отвечаю: не соприкасаемся и не любимся, если тебе так спокойнее, — сказала Тесс. — Хотя, когда всё будет позади, тебе придётся объяснить своему Творцу, зачем ты сношался с дохлым бараном.

— Ты меня смешишь! — воскликнул Даниель. — Больно ведь!

— Чего тут смешного? Я говорю правду. Тоже мне скажешь, больно!

Даниель понял, что она права. Слово «больно» совсем не передавало его ощущений.

Когда ближе к следующему полудню он проснулся на той же самой кровати, Тесс рядом не было. Она оставила записку. (Кто бы подумал, что она грамотная? Впрочем, ей же приходится

читать роли.)

Даниель!

Попозже снова займёмся изготовлением колбас. Мне надо играть. Да, ты, верно, запамятовал, что я — актриса.

Вчера я работала: изображала твою любовницу. Роль была трудная, потому что скучная. Однако теперь это факт, не фарс, и мне больше не придётся актёрствовать, что куда легче. И поскольку я больше не играю твою любовницу в профессиональном качестве, твой друг Роджер Комсток больше не будет выплачивать мне вознаграждение. А раз я теперь на самом деле твоя любовница, уместны были бы маленькие подарочки. Прости мою прямоту. Джентльмены знают, как *принято,* пуритане *нуждаются в руководстве.*

P. S. Тебе потребуются наставления в актёрском ремесле. Охотно помогу.

Даниель некоторое время бродил по комнате, сперва собирая одежду, затем пытаясь надеть её в правильной последовательности. Он не преминул отметить, что одевается за сценой, как актёр. Справившись, он пробрался между декорациями и реквизитом на подмостки. Театр был пуст, только несколько актёров дремали на скамьях.

Даниель обрёл своё место: он — лицедей, хотя никогда не будет играть на сцене и должен придумывать реплики экспромтом.

Он ясно видел будущую роль: видный диссидент, по совпадению известный учёный, член Королевского общества. До последнего времени Даниель не счёл бы её трудной, поскольку она была очень близка к жизни. Однако все его иллюзии касательно собственной праведности умерли с Дрейком и сгорели с Тесс. Он воображал себя натурфилософом, но понял, что бессилен тягаться с Исааком, Гуком и Лейбницем. Что до роли, которую сочинил для него Роджер Комсток, она представлялась непростой. Что ж, может, ему, как и Тесс, так будет даже лучше.

Так думал Даниель в то утро 1673 года. Однако последствия были настолько же недоступны его уму, как дифференциальное исчисление — уму Мейфлауэр Хам. Он не мог предвидеть, что карьера актёра на лондонской сцене продлится двадцать пять лет, а если бы и предвидел, никогда не предположил бы, что сорок лет спустя его вызовут на бис.

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс

ноябрь 1713

Чёрная Борода охотится за ним! Даниель провёл день в страхе *до* того, как это узнал; теперь самое время оцепенеть от ужаса. Однако он спокоен. Отчасти потому, что врач больше его не штопает — всё перемена к лучшему. Отчасти потому, что во время операции он потерял немного крови и выпил немного рома. Впрочем, это механическое объяснение. Что бы ни говорил Даниель Терпи-Смиренно перед отъездом из Бостона о свободной воле и всём прочем, не хочется верить, что его поступками управляет баланс телесных гуморов. Нет, Даниель в хорошем расположении духа (во всяком случае, после часа или двух отдыха), поскольку картина начала обретать смысл. Пусть даже смутный. Боль пугает его, смерть — не особенно (он никогда не рассчитывал дожить до таких лет!), но вот хаос и чувство, что мир не подчиняется разумным законам, приводит его в состояние животного ужаса собаки, которую режут живьём, а она не

понимает зачем. Закатившиеся глаза связанных, заключённых в намордники псов всегда были для него мерилом страха.

— Уже вышли прогуляться, доктор?

Даппа последние полчаса, не отрываясь, смотрит в подзорную трубу, так что, видимо, узнал Даниеля по звуку шагов и стуку палки.

— Что столь примечательного в той шхуне, мистер Даппа? Помимо того, что на ней полно убийц.

— Мы с капитаном поспорили. Я говорю, что это фламандка, лёгкая и увальчивая. Ван Крюйк видит в её оснастке свидетельства обратного.

— «Лёгкая» означает малую осадку, то есть она прыгает на волнах, как пробка, — что, полагаю, полезно для фламандцев и пиратов равно, ибо тем и другим приходится входить в мелкие бухточки.

— Пока все ваши замечания справедливы.

— В таком случае «увальчивая», вероятно, означает, что из-за малости киля ветер смещает её вбок, когда она идёт в бейдевинд — как сейчас.

— И как мы, доктор.

— «Минерва», полагаю, имеет тот же недостаток…

Такой поклёп заставляет Даппу оторвать от

глаза подзорную трубу.

— С чего вы взяли?

— Все амстердамские корабли по необходимости имеют плоское днище, разве нет? Чтобы войти в Эйсселмер…

— «Минерва» построена на малабарском побережье.

— Мистер Даппа!

— Я не насмехаюсь над вами, доктор. Истинная правда. Я при этом присутствовал.

— Но как…

— Сейчас не время излагать всю повесть, — замечает Даппа. — Довольно сказать, что она *не* увальчива. Её *кажущийся* курс очень близок к *истинному*.

— И вы хотите знать, относится ли то же самое к шхуне, — говорит Даниель. — С весьма похожей задачей сталкивается астроном, желающий установить истинную траекторию кометы, в то время как Земля под ним мчит по орбите и вертится вкруг своей оси.

— Теперь мой черед спросить, не насмехаетесь ли вы надо мной, доктор.

— Вода подобна небесному эфиру; то и другое — жидкая среда, в которой движутся тела. Кейп-Код подобен далёкой неподвижной звезде. Взяв

азимут на церковный шпиль в Провинстауне, на гору южнее и на торчащую из воды мачту вон того затонувшего судёнышка, а затем, проведя некоторые тригонометрические вычисления, мы можем определить нашу позицию и, соединяя одну точку с другой, прочертить траекторию. Шхуна в таком случае подобна комете, что движется в эфире. Измеряя угол, который она составляет с нами, с церковным шпилем и так далее, мы можем определить её истинный курс, сопоставить с кажущимся и легко определить, увальчива она или нет.

— Сколько это займёт?

— Если вы сделаете замеры и дадите мне спокойно провести вычисление, я дам ответ примерно через полчаса.

— Тогда приступим немедленно, — сказал Даппа.

Прокладывая курс на старой карте в кают-компании, Даниель понимает, почему вопрос так важен. Чтобы выйти из залива Кейп-Код, они должны обогнуть самую северную точку полуострова — мыс Рейс. Он от них к северо-востоку. Ветер последние несколько часов — норд-вест-тень-норд, «Минерва» может идти шесть румбов

к ветру*[51], то есть еле-еле держит северо-восточный курс. Короче, не будь пиратов, она в течение часа обогнула бы мыс Рейс.

Однако два пиратских корабля идут параллельным курсом, примерно как раньше шхуна и кеч. С наветренной стороны (то есть примерно к северо-западу от «Минервы») — большой шлюп, флагман Тича, имеющий в этих обстоятельствах полную свободу движений. Это ходкий, манёвренный, хорошо вооружённый корабль, способный держать четыре румба к ветру; он далеко к северу и не рискует сесть на мель возле мыса Рейс. Шхуна — с подветренной стороны между ними и мысом. Она тоже может держать четыре румба к ветру — то есть способна перехватить «Минерву» и взять её на абордаж раньше, чем та выйдет в открытый океан. Если всё так, «Минерве» стоит повернуть к ветру кормой, разделаться со шхуной, затем привестись к ветру (желательно не налетев до того на мель) и атаковать шлюп.

Однако если Даппа прав и шхуна увальчива, всё иначе, чем представляется. Ветер будет сносить её вбок, прочь от «Минервы» и ближе к мысу; чтобы не сесть на мель, ей придётся сменить курс

---

[51] Примечания: 51
В картушке компаса тридцать два румба.

и прекратить погоню. Коли так, «Минерве» лучше и дальше идти в бейдевинд, выжидая, когда шлюп Тича сделает первый шаг.

Это всё вопрос арифметики — той самой арифметики, над которой, вероятно, корпит сейчас в Гринвичской обсерватории королевский астроном Флемстид, силясь доказать, что сэр Исаак неверно рассчитал орбиту Луны. Только здесь «Минерва» — Земля, шхуна — Луна, а неподвижный Бостон, без сомнения, центр Вселенной. Даниель проводит исключительно приятные полчаса, переводя аккуратные замеры Даппы в синусы, косинусы, конические сечения и производные. Приятные, потому что упорядоченность изгоняет страх. И ещё потому, что он в увлечении забывает про тянущие, пульсирующие швы.

— Даппа прав. Шхуну сносит под ветер; скоро она либо повернёт, либо сядет на мель, — объявляет он ван Крюйку на юте.

Ван Крюйк раз, другой, третий пыхтит трубочкой, кивает и что-то бормочет по-голландски. Боцманы и вестовые разносят его волю по палубам корабля. «Минерва» забывает про шхуну и направляет все силы на предстоящий бой со шлюпом.

Ещё через полчаса увальчивая шхуна доставля-

ет им повод повеселиться: она и впрямь садится на мель у самого окончания Трескового мыса. Позор, разумеется, но не то чтоб совсем неслыханный. Английские пираты в Массачусетсе всего несколько дней и не обязаны знать назубок все местные мели. Шкипер решил, что безопаснее сесть на мель и после с неё сняться, чем выйти из боя и отвечать перед Тичем.

Ван Крюйк немедленно приказывает взять курс вест-тень-зюйд, как если бы решил возвращаться в Бостон. Он намерен зайти Тичу в корму и дать по шлюпу продольный бортовой залп. Однако Тич успевает сменить галс, уйти из-под пушек «Минервы», повернуть к югу, пройти мимо севшей на мель шхуны и забрать с неё несколько десятков матросов, которые пригодятся в абордажном бою. Через несколько минут он уже нагоняет «Минерву» с кормы.

Состязания в лавировке продолжаются около часа. Тич хочет подойти к «Минерве» на расстояние мушкетного выстрела, не угодив под её пушки; ван Крюйк — дать один, хорошо просчитанный бортовой залп. Происходит вялая перестрелка. Тич проделывает в борту «Минервы» дыру, которую быстро латают; шквал железного лома с юта «Минервы» сносит один из

парусов шлюпа, который тут же заменяют новым. Тоскливое однообразие и необходимость отойти подальше от берега, покуда ещё светло, берут верх над ненавистью ван Крюйка к пиратам. Даппа напоминает, что до Атлантического океана всего миля-две, и ничто их оттуда не отделяет. Он убеждает ван Крюйка, что лучший способ унизить пирата — оставить его с носом. Обогнать пирата, уверяет он, более сладкая месть, нежели одолеть его в бою.

Ван Крюйк приказывает лечь на другой галс и взять курс на Англию. Канониры вынуждены, как древле Цинциннат, в самый момент торжества перейти к мирным трудам: в данном случае, поднять все паруса, какие «Минерва» может нести. Усталые, закопчённые матросы вылезают на свет и, едва хлебнув по глотку воды, принимаются выстреливать лисель-спирты. Это почти удваивает размер самых мощных реев. Лиселя разворачиваются и наполняются ветром. Словно альбатрос, что долго летел сквозь нагромождение скал и наконец, взмыв, увидел пред собой безбрежный простор, «Минерва» расправляет крылья и устремляется в полёт. Корпус обращается в точку, влекомую исполинской туманностью парусов.

Видно, как Тич мечется по шлюпу, из головы

у него буквально валит дым. Он размахивает абордажной саблей и орёт на команду, однако все знают, что «Месть королевы Анны» не готова сейчас пересечь Атлантический океан — людей на ней многовато, а припасов маловато.

«Минерва» несётся по синей воде с силой, которую Даниель ощущает ступнями. Она рассекает зыбь, как утром сокрушила пиратский кеч; покуда солнце садится над Америкой, «Минерва» в полный бакштаг устремляется к Старому Свету.

Книга вторая. Король бродяг

Без сомнения, живописать навозную кучу – искусство не меньшее, нежели изобразить прекраснейший дворец, ибо совершенство заключается в исполнении; Искусство, как и Природа, должно иметь некую необычную форму либо качество, дабы угнаться за людскими прихотями и особенно чтобы угодить нашему переменчивому времени.

«Мемуары Достонегоднейшего Джона Холла», 1708

Грязь под Лондоном

1665

Мамка Шафто считала возраст сыновей по пальцам, которых у неё было шесть. Когда пальцы кончились, то есть когда Дику, самому старшему и умному, близился седьмой год, она собрала всех трёх мальцов от разных отцов в хибарке на Собачьем острове и сказала, чтобы они уходили и без хлеба или денег не возвращались.

В восточной части Лондона детей по большей части так и воспитывали. Дик, Боб и Джек оказались на берегах Темзы в компании других ребят, искавших хлеба и денег, чтобы купить материнскую любовь.

Лондон был в нескольких милях, однако далёк и легендарен, как двор Великого Могола в Шахджаханабаде. Братья Шафто промышляли в бесконечном лабиринте кирпичных стен, свиных загонов и лачуг, где ирландцы или англичане ютились по десять-двенадцать душ вместе со свиньями, гусями и курами.

Ирландцы зимой работали грузчиками, носильщиками и угольщиками, а летом нанимались на

сенокос. Они только и знали, что ходить в свои папистские церкви, и транжирили заработанное серебро на чистую блажь: платили писарям, чтобы облечь свои мысли в магические значки, которые прочтёт старушке-матери в Лимерике поп или какой другой грамотей.

В той части Лондона, где жила мамка Шафто, готовность ирландцев гнуть спину за хлеб и деньги объясняли отсутствием у них ума и самоуважения. И это ещё не говоря про ирландскую набожность и прочие вытекающие последствия, в частности упорную неприступность женщин и согласие мужчин с нею мириться.

Жохи, как называли себя молодчики, сменявшие друг друга в постели у мамки Шафто, поступали иначе: с наступлением темноты отправлялись к Темзе, где стояли на якоре корабли, пробирались на них и тырили всё, что можно обменять на хлеб, деньги и женские ласки.

Методы были разные. Самый простой заключался в том, что кто-нибудь один карабкался по якорному канату и бросал товарищам верёвку — самая работа для бесхозного мальца. Дик, старший из Шафто, освоил азы мастерства, забираясь по водосточной трубе в весёлый дом и таская из брошенной одежды деньги или мелкие вещи.

Вместе с братьями он вступил в артель вольных лодочников, у которых было средство доставлять хабар к берегу: они исхитрились угнать баркас.

Очень скоро выяснилось: матросы, поставленные охранять товары от жохов, ждут платы за то, чтобы не увидеть, как Дик с привязанной к щиколотке верёвкой карабкается по якорному канату. Они знали, что капитан, обнаружив пропажу, прикажет их выпороть, и желали получить за спущенную шкуру вперёд. Дику надо было иметь на запястье привязанный кошель и, когда матрос направит ему в лицо фонарь и мушкет, позвенеть монетами. Под эту музыку плясали матросы любого рода-племени.

Разумеется, денег у жохов не было. Им требовался начальный капитал. Джон Коул, самый дюжий и лихой из молодцев, угнавших баркас, придумал план похитрее: красть те части кораблей, за которыми не надо взбираться на борт, а именно якоря, и после продавать их капитанам. Могло получиться ещё лучше, если бы корабль, лишённый якоря, выбросило течением на мель, скажем, возле Собачьего острова, и весь товар в трюмах стал законной добычей жохов.

Однажды туманной ночью (впрочем, все ночи были туманные) артель отправилась на баркасе

вверх по течению. Жохи называли вёсла «крыльями». Взмахивая крыльями, они пролетели мимо стоящих на якоре кораблей — все указывали носом против течения, поскольку якоря располагались на носу, и река разворачивала их, как флюгер. У кормы голландского галеота (одномачтового купеческого судна, примерно вдвое длиннее и в десять раз вместительнее баркаса) Дика с обычной верёвкой на ноге и ножом в зубах бросили в воду. Предварительно его снабдили следующими инструкциями: проплыть по течению к носу галеота, отыскать уходящий в воду якорный канат, привязать к нему верёвку и перепилить канат выше узла. Таким образом, якорь внезапно и бесшумно переходил от галеота к баркасу. После этого Дик должен был трижды дёрнуть за верёвку; жохи, выбрав её, подтянули бы баркас к якорю и, ещё хорошенько поднатужившись, оторвали бы добычу от речного дна.

Дик заплескал в темноте. Минуты две верёвка разматывалась рывками — Дик плыл; потом перестала разматываться — Дик отыскал канат и приступил к работе! Жохи тихонько подгребали обмотанными вёслами, чтобы баркас не снесло течением. Джек держал верёвку, ожидая условленного сигнала. Однако рывков не было.

Вместо этого верёвка провисла. Джек с Бобом выбрали слабину. Десять ярдов прошло через их руки, прежде чем верёвка натянулась и они почувствовали если не три резких рывка, то во всяком случае какое-то трепыхание.

Очевидно, что-то разладилось, но Джон Коул не собирался бросать хорошую верёвку. Они принялись тянуть, таща баркас вверх по течению. В конце концов из воды показалась петля вместе с бледной холодной ногой, а за ней и бедняга Дик. К той же верёвке был привязан якорный канат. Покуда Джек и Боб пытались оплеухами вернуть Дика к жизни, жохи силились поднять якорь. Бесполезно: якорь был столь же тяжёл, сколь Дик мёртв. Тем временем раздражительные голландцы с галеота принялись палить в туман из мушкетов. Пришло время сматываться.

Боб и Джек, исполнявшие при Дике роль подмастерья и ученика соответственно, остались без наставника и с тенденцией просыпаться по ночам от кошмарных снов. Они поняли — не сразу, но постепенно, — что утопили брата, когда потянули за верёвку и утащили его под воду. Они распрощались с речным промыслом. Джон Коул нашёл на место Дика нового мальчишку и (по слухам) дал ему немного другие инструкции:

сначала отвязать верёвку от ноги, а *потом* закрепить её на канате.

Меньше чем через две недели Джона Коула и его товарищей поймали в баркасе средь бела дня. Один их план увенчался успехом, они надрались краденым ромом и проспали рассвет. Жохов отправили в Ньюгейт.

Некоторые из них — новички в системе судопроизводства, если не в преступлениях, — поделились неправедными деньгами с голодным проповедником, который пришёл в Ньюгейт и встретился с ними в «базарне» — помещении на нижнем этаже, где арестант, прижавшись лицом к решётке, мог докричаться до посетителя. Здесь проповедник открыл импровизированную школу Закона Божьего, в которой жохи должны были выучить наизусть пятидесятый псалом — если не весь, то хотя бы начало:

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.

Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну.

Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих

и победиши, внегда судити Ти.

Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя…

Непростое дело для жохов, но они учились поусерднее иного оксфордского грамотея. И было ради чего: некоторое время спустя они прошли узким коридором Олд-Бейли, встали под балконом, на котором расположился магистрат, и, глядя в раскрытую Библию, прочли наизусть затверженные стихи. По тогдашней системе взглядов это доказывало, что они клирики и не подлежат уголовному суду. Поскольку церковные суды давно упразднили, судить жохов было некому, и их отпустили по домам.

Иначе сложилась судьба Джона Коула, старшего в артели. Он уже бывал в Ньюгейте и стоял перед магистратом в Олд-Бейли. В этом же дворе его руку зажали в тиски, и палач приложил ему к основанию большого пальца калёное тавро в форме буквы «Т», навеки заклеймив Джона Коула вором. По существующим нормам судопроизводства он никак не мог объявить себя клириком. Его приговорили к казни через повешение.

Боб и Джек ничего из перечисленного не видели, а узнали обо всём от тех, кто пробубнил первые стихи пятидесятого псалма и, получив

свободу, вернулся на Собачий остров. Такие истории братья сто раз слышали от друзей и соседей, однако эта содержала необычное продолжение: Джон Коул просил двух выживших Шафто встретиться с ним под виселицей в день казни.

Они пошли скорее из любопытства. Добравшись до Тайберна и пробившись через огромную толпу зрителей с помощью нескольких несложных приёмов (пнуть в лодыжку, наступить на ногу, двинуть локтем в пах), братья увидели Джона Коула и других осуждённых на телеге под Неувядающим Древом — локти у них были связаны за спиной, а на шее у каждого лежала удавка с длинным болтающимся концом. Тюремный священник усиленно пытался втолковать им что-то очень важное касательно регламента вечной жизни. Осуждённые были пьяны в дым и отвечали непристойными шутками быстрее, чем тот успевал вставить слово.

Коул, более серьёзный, чем остальные, объяснил Джеку и Бобу свою просьбу: когда палач его «вздёрнет» — то есть столкнёт с телеги и оставит болтаться на верёвке, — очень любезно было бы со стороны Дика повиснуть у него на правой ноге, а со стороны Боба — на левой (или наоборот, коли им так будет удобнее), чтобы он умер быстрее.

За это он рассказал им про клад, спрятанный под оторванной половицей в одной хибарке на Собачьем острове. Условия сделки Джон Коул изложил с похвальным спокойствием, как будто его казнили через повешенье каждую пятницу.

Братья согласились. Теперь надо было следить за Джеком Кетчем. Орудие его труда, виселица, отличалось замечательной простотой: три высоких столба держали треугольник тяжёлых брусьев, на каждом из которых можно было повесить шестерых, а если не бояться некоторой скученности, то и больше.

Работа Джека Кетча состояла в следующем: подогнать телегу на свободное место под одной из перекладин, подхватить свисающую верёвку, перебросить её через брус, закрепить узлом и столкнуть малого на другом конце верёвки с телеги. Телега, полегчавшая на одного человека, перемещалась дальше и процедура повторялась.

Джон Коул был восьмым из девяти приговорённых к казни в тот день, поэтому Джек и Боб имели возможность увидеть семь повешений до того, как приступить к своим обязанностям.

Поначалу они видели лишь очевидное, потом, немного освоившись с общим ритуалом, стали примечать различия. Другими словами, они

начали вникать в тонкости и превращаться в знатоков, как и те примерно десять тысяч зрителей, что собрались вокруг.

Джек довольно быстро заметил, что люди в хорошей одежде умирают быстрее. Скоро стало понятно почему: когда Джек Кетч собирался вздёрнуть хорошо одетого человека, он размещал петлю за левым ухом клиента, оставляя запас верёвки, чтобы тот немного пролетел и успел набрать скорость, прежде чем застопориться с различимым на слух хрустом. У людей в лохмотьях петля лежала на шее свободно (по крайней мере в начале) и без всякого запаса верёвки.

Так вот, Джон Коул, который и раньше-то ходил оборванцем, а за несколько месяцев в каменном мешке отнюдь не сделался пригляднее, был самым плохо одетым малым в телеге, и ему, очевидно, предстояло брыкаться в петле дольше других. Это объясняло, почему он предусмотрительно обратился к мальчикам Шафто, однако не объясняло другого.

— Эй! — сказал Джек, отодвигая священника локтем. Он стоял под телегой, задрав голову, и смотрел, как палач ловко закрепляет верёвку, другой конец которой лежал на плечах у Коула. — Если у тебя есть клад, чего ты не заплатил ему?

Он кивнул на Джека Кетча, который теперь через прорезь в балахоне с любопытством смотрел на Джека Шафто.

— Э… он ведь не при мне, верно? — Джон Коул и в лучшие времена отличался некоторой угрюмостью. Однако сейчас Джеку показалось, что он юлит.

— Послал бы кого-нибудь!

— А вдруг бы он его спёр?

— Заткнись, Джек, — сказал Боб. После смерти Дика он остался фактическим главой семьи и сперва не очень этим злоупотреблял, но с каждым днём всё больше набирался гонору. — Ему молиться положено.

— Пусть молится, когда будет плясать в петле!

— Не будет он плясать, потому что мы повиснем у него на ногах.

— Но он ведь наплёл про клад!

— Вижу, не держи меня за дурня. Но раз уж мы здесь, сделаем всё честь по чести.

Покуда они препирались, Коула вздёрнули. Он повис прямо над их головами. Оба отпрянули, но, разумеется, далеко он не пролетел. Мальчики подпрыгнули, ухватились за его ноги и принялись карабкаться, как по канату.

Провисев несколько мгновений в петле, Коул

начал сильно брыкаться. Джеку хотелось разжать руки, но дрожь в ноге, за которую он держался, чем-то напомнила трепыхание верёвки, когда они тащили бедного Дика под водой. Джек убеждал себя, что это своего рода месть. Боб, возможно, думал о том же, во всяком случае, оба держались насмерть, покуда Коул не обмяк. Тут они поняли, что он обмочился, и разом спрыгнули в вонючую пыль. В толпе зааплодировали. Не успели братья отряхнуться, как к ним подошла сестра последнего из приговорённых (которого, судя по одёжке, тоже ждала долгая мучительная смерть) и предложила деньги за ту же услугу. Монеты были чёрные и стёртые, но всё равно какой-никакой барыш.

Оторванная половица оказалась вовсе не оторванной, а когда её всё-таки оторвали, под ней обнаружился не клад, а говно. Братья ничуть не удивились и не опечалились, поскольку теперь у них было прибыльное ремесло. Накануне каждой казни Боб и Джек отправлялись на новую службу: в Ньюгейтскую тюрьму.

Освоились они в ней далеко не с первого раза. Для начала их поставило в тупик название. Воротами в их окружении называли калитку из жердей, через которую люди попадают в свиной

загон, не прыгая через изгородь. Не то чтобы её трудно было перемахнуть, но спьяну это чревато падением, а упавшего не ровён час заедят свиньи. Так что ворота они знали.

Им было известно также, что в некоторых частях Лондона есть большие здания, в названии которых присутствует слово «гейт», то есть «ворота»: Ладгейт, Мургейт, Бишопсгейт. Они даже несколько раз проходили через Олдгейт в город. Связь между этими воротами и калитками свиных загонов оставалась загадочной. Ворота в свинском смысле — не ворота, если не встроены в стену, плетень или какую-нибудь другую преграду, для прохода через которую служат. Однако лондонские здания, называемые «воротами», под такое описание не подходили. Они стояли на главных улицах, ведущих в город, но тот, кто не хотел через них идти, как правило, легко находил обход.

Относилось это и к Ньюгейту. Он представлял собой две могучие крепостные башни по двум сторонам дороги, которая, войдя в город и миновав Флитскую канавку, получала название Холборн. Между башнями дорога сужалась, так что в арку еле-еле проезжала карета четвернёй. Сверху их венчали сооружение наподобие зáмка и решётка

из прутьев толщиною с Джекову ногу. Решётка опускалась, перегораживая проход. Однако это была одна показуха. Порыскав в соседних закоулках, Джек или кто другой мог в полминуты оказаться по ту сторону. Ньюгейт окружали не стены и не крепостные валы, а самые обыкновенные, то есть фахверковые двух– или трёхэтажные дома, которые в Англии о ту пору росли часто и густо, как грибы. Готическая крепость Ньюгейта торчала над ними, словно кость из корзины с хлебом.

Если вы входили в город по Холборну и ныряли под решётку в арку Ньюгейта, то видели справа дверь в привратницкую, где арестантов заковывали в цепи. Ещё через несколько ярдов вы оказывались на открытом пространстве, называемом Ньюгейт-стрит. Справа вы видели мрачные старые здания в три-четыре этажа высотой с редкими зарешёченными окошками. По слухам, когда-то здесь располагались гостиницы для въезжающих в город по Холборну. Однако за несколько столетий тюрьма расползлась по Ньюгейт-стрит, как гангрена, и поглотила несколько таких зданий. Двери, некогда гостеприимно встречавшие усталого путника, были теперь заложены кирпичом. Осталась одна, в перемычке

между крепостью и прилегающими гостиничными зданиями. Пройдя в неё, посетитель мог свернуть направо в «базарню» или, если у него была свеча (ибо он сразу оказывался в темноте), спуститься по лестнице в тот или иной подвал либо каземат. Всё зависело от того, к кому он пришёл.

В свой первый визит Джек и Боб пришли без свечи и без денег, чтобы её купить. Они вслепую спустились в помещение с каменным полом, где что-то хрустело под ногами. Здесь было не продохнуть, и через несколько мгновений слепой паники братья выбрались наверх и выбежали на Ньюгейт-стрит. Тут Джек заметил у себя на ногах кровь и решил, что они прошли по битому стеклу. Боб тоже обнаружил кровь на ступнях, но, поскольку в отличие от Джека был обут, сразу догадался, что она — чужая. Внимательно осмотрев подмётки его башмаков, братья разрешили загадку: кровь застыла не потёками, а маленькими пятнышками наподобие клякс. В центре каждой кляксы пристала раздавленная блоха. Это объясняло хруст, который они слышали, когда шли. Как вскоре узнали братья, это помещение называлось «каменный мешок» или «блошница» и считалось худшей камерой в тюрьме. В неё бро-

сали преступников самого низкого разряда вроде покойного Джона Коула — тех, у кого совершенно не было денег. Джек и Боб никогда больше туда не ходили.

За несколько следующих визитов братья узнали про другие помещения: «стряпную Джека Кетча», «журильню» (которую они обходили стороной), тюремную церковь (аналогично), привилегированные камеры, в которых самые богатые арестанты распивали кларет и портвейн с облачёнными в парики посетителями, таверну «Чёрный пёс», где избранные заключённые бойко торговали свечами и выпивкой — здесь были рады любому, у кого в кармане есть хоть несколько монет. Внутри всё выглядело как в обычной таверне, если не считать цепей на посетителях.

Короче, в Ньюгейте было на что посмотреть и о чём поговорить позже. Однако братья проделывали долгий путь с Собачьего острова не из праздного любопытства. Их вело сюда дело. Они искали клиентов и, как правило, находили. Ибо в самой крепости, в подвале башни на северной стороне улицы, располагался просторный каземат под названием «яма смертников».

Здесь главное было подгадать день. Повешенья проходили восемь раз в год. Всё остальное время

никаких смертников в яме не было. Сюда помещали всех арестантов без разбора после того, как на другой стороне улицы освобождали от верёвок и заковывали в цепи, которые им предстояло носить до выхода из тюрьмы. Закованных в железо, так что они едва могли ступить шаг, новичков волокли в яму и оставляли в темноте на несколько дней или недель. Целью было выяснить, сколько у них денег на самом деле. Если деньги были, арестанты вскоре предлагали их тюремщикам за цепи полегче или даже за уютную камеру в привилегированной части Ньюгейта. Если денег не было, их переводили куда-нибудь ещё, например в блошницу.

Если посетить яму смертников в любой случайно выбранный день, там, скорее всего, оказались бы закованные в тяжёлые цепи новички, которые Джека и Боба не интересовали, по крайней мере пока. Братья приходили туда за несколько дней до казни, когда в яме смертников сидели люди, действительно приговорённые к виселице. Перед ними Шафто разыгрывали спектакль.

Незадолго до их рождения король вернулся в Англию и разрешил запрещённые при Кромвеле театры. Шафто залезали в театры через окна и набирались у актёров умения говорить и дви-

гаться.

Выступление в Ньюгейте начиналось с небольшой пантомимы: Джек пытался обчистить Бобу карманы. Боб оборачивался и ловил его за руку. Джек закалывал его деревянным кинжалом, и Боб умирал. Потом (действие II) Боб вскакивал и превращался в блюстителя порядка: заламывал Джеку руку за спину (действие III), надевал парик (который они с немалым риском стащили из борделя неподалёку от Темпла) и приговаривал его к смерти. Затем (действие IV) Боб снимал парик, надевал чёрный балахон и набрасывал Джеку петлю на шею. Джек взмахом руки требовал тишины (ибо к этому времени в яме смертников уже царило столпотворение), складывал руки, как маленький ирландец перед первым причастием, и (действие V) произносил следующий монолог:

На выю мне Джек Кетч вервие возложил
Грубое и жёсткое, оно меня не тяготит.
Ибо, подобно ожерелью Гармонии,
Вводит носящего в жизнь вечную.
Палач грядёт — меня он сейчас вздёрнет
И душу мою от бренного тела отделит,
А как я с Создателем моим примирился,
Дух мой к вратам райским воспарит,
И здесь, после недолгих расспросов, Христос…

Боб делает шаг вперёд, толкает Джека и резким движением поднимает верёвку над его головой.

КХХ! Раны Господни! Удавка меня душит!
Какой мерзавец выдумал эту казнь!
Надо было подмазать Джека Кетча
Чтоб он мою смерть ускорил,
Да столько знатных цареубийц
Вешают нынче на Тайберне,
Что стоимость быстрой смерти выросла непомерно
И бедняку стала совершенно не по карману.
Теперь он умрёт так же горько,
Как жил. Будь оно всё проклято!
Будь проклят Джек Кетч, и покойный Джон Тёрнер,
И судьи, отправляющие на виселицу столько богачей,
Что цены взлетели до небес. И будь проклята моя скупость!
Ведь за цену чуть больше одного вечера в пивной
Я мог бы нанять двух превосходнейших братьев Шафто,
Юного Джека и Боба, старшего,
Чтобы они повисли на моих ногах, которые, без груза,

Дёргаются в воздухе самым бесполезным образом
На потеху зрителям.

Боб снимает верёвку с шеи Джека.

Но тише! Близится финал!
Земля тает — новый мир очам моим предстаёт.
Неужто это небо? Меня обдаёт теплом,
Как будто на земле развели жаровню.
Быть может, это жар Божественной любви…

Появляется Боб, наряженный чёртом, с длинным острым прутом.

Что зрю? Почему у ангела на голове рога?
Где твоя арфа, тёмный серафим?
Зачем в твоих когтистых лапах пика, не то вертел?

ЧЁРТ:
Я чёрт-поварёнок.
Иди-ка сюда, грешник!

ДЖЕК:
Я думал, будто примирился с Богом.
Так и было, покуда я не закачался в петле.
Если бы я умер сразу, то стоял бы сейчас у райских врат.

Однако в минуты последних мучений
Я имя Господне всуе помянул
И без счёта других смертных грехов натворил —
И тем себя на адскую муку обрёк.

ЧЁРТ:
Стой, не рыпайся!

Чёрт втыкает вертел Джеку в зад.

ДЖЕК:
О, боль!.. И всё ж это лишь предвестие грядущих терзаний!
Если б только я нанял Джека и Боба!

Джек, при помощи циркового фокуса, выталкивает изо рта окровавленный конец вертела; чёрт уводит его под оглушительные рукоплескания и топот толпы.

Когда аплодисменты стихали, Джек обходил приговорённых, сговариваясь о цене, а Боб, как старший, прикрывал его со спины и собирал денежки.

Континент

Когда женщина остаётся, таким образом, в одиночестве, лишённая советов, она как две капли воды похожа на кошелёк с деньгами или драгоценный камень, обронённый на большой дороге и попадающий в руки любого прохожего.

Даниель Дефо, «Молль Флендерс» [52]

конец лета 1683 года

Всю весну и всё лето Джек внимательно наблюдал за погодой: она стояла отменная. Он жил в Страсбурге в непривычной роскоши и довольстве. Этот город на Рейне, прежде немецкий, недавно отошёл Франции. Он лежал к югу от страны, которая звалась Пфальц и, насколько Джек понял, являла собой вшивый клочок земли на берегу Рейна. Всякий раз, как войска императора или солдаты французского короля не могли найти себе другого занятия, они жгли и разоряли этот край, одни с востока, другие с запада. Правитель Пфальца звался курфюрстом, что

---

[52] Примечания: 52

Здесь и далее пер. А. Франковского.

в тех краях означало очень знатного человека, повыше герцога, поменьше короля. До недавних пор курфюрсты пфальцские считались весьма знатным и процветающим семейством с кучею взрослых отпрысков; однако, поскольку лишь один из них (старший) мог унаследовать трон, остальным пришлось найти себе дело за границей или погибнуть более или менее героически. Потом курфюрст приказал долго жить, и на престол вступил его слабоумный сын Карл, который любил устраивать потешные бои вокруг Рейнского замка, ни на что другое не годного. Бои были игрушечные, но апроши, параллели, дизентерия и гангрена — самые настоящие.

Джек несколько лет подвизался в качестве подставного солдата во Франции, затем некий Мартине, проведя во французской армии множество нудных реформ, прикрыл эту лавочку. Как только Джек услышал про тронутого курфюрста, он, не теряя времени, перебрался в Пфальц и устроился на хлебное место потешного мушкетёра.

Вскоре после этого Людовик XIV Французский прибрал к рукам Страсбург, и там, как частенько случается в разграбленных городах, вспыхнула чума. Едва у бедных в паху и под мышками на-

чали появляться бубоны, богатые страсбуржцы заколотили дома и дали дёру в деревню. Многие просто грузились на лодки и отправлялись вниз по Рейну; течение естественным образом выносило их к старому развалюхе-замку, возле которого Джек (и его товарищи) изображали оловянных солдатиков на потеху придурковатому курфюрсту. Некий богатый страсбуржец, сойдя с лодки, завязал разговор не с кем иным, как с Джеком Шафто. Вообще-то, богачи редко разговаривали с такими, как Джек, и тот недоумевал, пока не заметил, что собеседник во всё время разговора старательно держится с наветренной стороны.

Богач заключил с Джеком Шафто сделку и выправил ему «чумной пропуск»: огромный документ, написанный немецким готическим шрифтом со вставками на чем-то, напоминающем латынь (когда следовало упомянуть милость Божью) или французский (чтобы лизнуть задницу королю Лую, стоявшему лишь на одну ступеньку ниже Всевышнего)*[53]. Помахивая пропуском в нужных местах, Джек сумел исполнить свою миссию, то есть добраться до Страсбурга, найти дом богача, смыть красные кресты, отмечающие его

---

[53] Примечания: 53

Читать Джек не умел, но мог заключить это всё по начертанию букв.

как зачумлённого, оторвать доски от окон и дверей и поселиться внутри с тем, чтобы не пускать мародёров. Через несколько недель по условиям сделки Джек должен был (если не умрёт от чумы) известить владельца, что тот может спокойно возвращаться домой.

Первую часть поручения Джек завершил к маю, но к началу июня как-то запамятовал про остальное. Примерно в середине июня появился другой оборванец. Богач нанял его вынести тело Джека, чтобы не плодить крыс, поселиться в доме и через несколько недель (если не умрёт от чумы) прислать весточку. Джек, который устроился в хозяйской спальне, поселил гостя в детской, показал ему винные погреба и предложил чувствовать себя как дома. В конце июля явился ещё один бродяга и сказал, что ему поручено вынести трупы первых двух, и так далее, и так далее.

Всю весну и всё лето погода стояла идеальная: дождь и солнце в соотношении, благоприятном для урожая. Бродяги свободно мотались по Страсбургу, обходя стороной груды разлагающихся чумных трупов. Джек выискивал тех, кто пришёл с востока, и поил их хозяйским коньяком. Из сбивчивых разговоров на воровском жаргоне он извлёк два существенных факта: во-первых,

в Польше и Австрии погода такая же, если не лучше. Во-вторых, великий визирь Кара-Мустафа во главе двухсоттысячного турецкого войска по-прежнему держит в осаде Вену.

В сентябре Джек и его товарищи вынуждены были покинуть богатый дом. Джек нимало не опечалился: долго изображать покойника бродяге-вагабонду не с руки. К той поре население дома разрослось до полутора дюжин человек, по большей части нудных, да и подвалы начали пустеть. В одну прекрасную ночь Джек велел распахнуть ставни, зажечь свечи и устроил великий бал бродяг. Бродяги-музыканты играли на дудочках и свистульках похабные песенки, бродяги-актёры разыгрывали комедии на арго, бродячие псы спаривались в домовой церкви, а Джек, в хозяйских шелках, едва не заснул во главе стола. Однако даже сквозь звуки веселья он различил цокот приближающихся копыт, звук вынимаемых из ножен шпаг и взводимых кремнёвых замков. Покуда слуги богача вышибали дверь, Джек взлетел на второй этаж и по верёвке, которую заблаговременно привязал к балкону, соскользнул точнёхонько в седло, ещё тёплое от жирного хозяйского зада. Он проскакал до кладбища на окраине города, где нарочно на такой

случай припрятал запас провизии, и отправился дальше с приличным запасом вяленой рыбы и сухарей. Он ехал на юг всю ночь, пока лошадь не выбилась из сил, потом бросил дорогое седло в канаву, а саму лошадь отдал паромщику за переправу через Рейн. На другом берегу Джек отыскал Мюнхенскую дорогу и зашагал на восток.

Убирали ячмень, и бóльшая часть урожая отправлялась туда же, куда и Джек. На подводах с ячменём он добрался до Неккара и Дуная, уверяя купцов, будто хочет вступить в христианское воинство и сразиться с ненавистными турками.

Это была не совсем ложь. Джек с братом Бобом воевали в Нидерландах под командованием Джона Черчилля, состоявшего при герцоге Йоркском. Йорк много времени проводил за границей, поскольку был католиком и вся Англия его ненавидела. Однако со временем он всё же вернулся домой. Джон Черчилль последовал за ним, и Боб, более верный солдат, чем Джек, отправился с Черчиллем. Джек остался на Континенте, где больше стран, больше королей и больше войн.

Справа, вдалеке, виднелись большие тёмные холмы. Когда за несколько дней они не сдвинулись с места, Джек понял, что это — горы. Он пристал к каравану подвод, принадлежащих

богатому аугсбургскому купцу, который, возмутившись низкими ценами на мюнхенском рынке, решил отвезти ячмень ближе к тому месту, где он понадобится. День за днём они ехали по зелёной холмистой местности, на которой жнецы убирали ячмень. Церкви здесь, разумеется, были всё сплошь католические, с необычными куполами-луковками на тонких башнях.

Горы росли и росли. Наконец путники добрались до реки Зальцах, рассекающей горный массив. С высоких круч в долину смотрели церкви и за́мки. Вереницы телег с ячменём соединялись в единый поток и вливались в войско римского папы, а также Баварии и Саксонии. Парад растянулся на много миль: дворяне-добровольцы с крестами на одежде, как у крестоносцев древности, епископы и архиепископы, рейтерские полки, бьющие в землю, как в бубен. У каждого всадника была *cheval de bataille*, свежая *cheval de marche* или две, *cheval de poursuite*, чтобы преследовать оленей или турок, *cheval de parade* для торжественных случаев и грумы, чтобы за всеми ими ухаживать. За конницей следовали мушкетёры, а за ними — мутная пена босоногих пикинёров. Двадцатифутовые пики они несли на плечах, так что полки их походили на благодуш-

ных, прижавших иголки дикобразов.

Здесь аугсбургский купец нашёл наконец рынок сбыта и мог бы продать ячмень с солидным барышом. Однако зрелище христианского воинства на марше распалило в нём разом и корысть, и благочестие. Ему захотелось ехать дальше, увидеть, какие ещё чудеса лежат на востоке. Подобным образом и Джек, сравнив лохмотья и босые ноги пикинёров со своим краденым дорожным платьем и отличнейшими ботфортами, рассудил, что ближе к Вене сумеет заключить сделку повыгоднее. Поэтому они влились в основной поток и короткими переходами двинулись к Линцу, где (по словам купца) ожидалась очень большая *Messe*. Джек знал, что *Messe* по-немецки «месса», и подумал, будто герр Аугсбург собирается посетить обедню в линцском кафедральном соборе.

В Линце они увидели южный берег Дуная. Взглядам предстало огромное торжище, на котором расположился воинский стан — и никакого собора. «*Die Messe!*» — воскликнул герр Аугсбург, и тут Джек понял одну особенность немецкого языка: в нем довольно мало слов, поэтому одно частенько используется для нескольких разных понятий. «*Messe*» означало не только мессу, но и ярмарку.

Ещё одно войско пришло с севера и теперь струйками перетекало по линцским мостам с той стороны Дуная. Паромщики день и ночь сновали от берега к берегу, перевозя пушки, порох, фураж, провиант, лошадей и солдат. Джек мог связать пару слов на немецком, сносно калякал по-французски и, разумеется, знал английский и воровской жаргон. Люди, прибывшие с севера, говорили на каком-то совершенно ином языке; он не мог угадать, шведы это, русские или кто-то ещё. Однако внезапно над мостами и лодками раскатились приветственные крики, и под грохот копыт из лесов на севере показалась конница, равных которой Джек не видел ни в Англии, ни в Голландии, ни во Франции. Во главе её ехал человек, который мог быть только королём. Не то чтобы Джек впервые видел монарха: во время парадов он вдоволь насмотрелся на короля Луя. Однако Луй просто кривлялся, как любой поганый фигляр в Саутуарке, разыгрывая короля-воителя. Северянин же не ломал комедию; он въехал на мост с видом суровым и грозным, сулящим лихие дни великому визирю Кара-Мустафе. Джеку захотелось выяснить, кто это. Наконец он отыскал кого-то немного говорящего по-французски и узнал, что смотрит на войско

Речи Посполитой, грозный король — Ян Собеский, заключивший с императором Священной Римской империи союз против турок, а могучая конница зовётся крылатыми гусарами.

Когда Ян Собеский и крылатые гусары переправились через Дунай, прослушали мессу в религиозном смысле и суматоха несколько улеглась, герр Аугсбург, торговец ячменём, и Джек Шафто, солдат-бродяга, прикинули последствия лично для себя. Две или (по слухам) три могучие конницы стояли сейчас под Линцем. То был авангард куда более многочисленных мушкетёрских и пикинёрских частей, равно нуждавшихся в пище. Провиант везли на телегах, запряжённых лошадьми. Армия была бы бесполезна без пушек, а их тоже тащили лошади. Короче, для герра Аугсбурга это означало самую большую и выгодную в мире *Messe* ячменя. Цены были втрое выше, чем до переправы через Зальцах, и вдесятеро выше, чем в Мюнхене. Герр Аугсбург, дождавшись своего часа, теперь ждал, чьи фуражиры дадут больше — Собеского, баварцев, саксонцев или австрияков.

Джек, со своей стороны, понял, что такая великолепная конница, как крылатые гусары, не просуществовала бы и дня без огромного числа

исключительно бедных крестьян и что удерживать в столь крайней бедности такое множество крестьян может лишь беспримерная жестокость польской знати. И впрямь, после красочной переправы Собеского через Дунай из лесов серым туманом выползли и осели на дальнем берегу какие-то несчастные. Джек не хотел быть одним из них. Поэтому он разыскал герра Аугсбурга, который сидел на телеге из-под ячменя в окружении переводных векселей на торговые дома Генуи, Венеции, Лиона, Амстердама, Лондона и Севильи, наваленных под самые борта телеги и придавленных камнями. Взобравшись на телегу, Джек-солдат на четверть часа превратился в Джека-актёра. На ломаном французском, который герр Аугсбург более или менее понимал, он поведал о грядущем светопреставлении под стенами Вены и своей готовности… нет, страстном желании полечь в самой его гуще. Если будет на то воля Божья, он сумеет прихватить с собою хоть одного турка или, на худой конец, нанести тому рану заострённой палкой либо иным подручным орудием, дабы упомянутый турок замешкался и другой христианский воин, вооружённый настоящим мушкетом, сумел прицелиться в сказанного турка и уложить его насмерть. Всё это

было обильно приправлено поповскими словечками и псевдобиблейскими цитатами, которые Джек якобы помнил из Книги Откровения.

Желаемый эффект был достигнут: герр Аугсбург, дабы внести свой вклад в грядущий Армагеддон, отправился с Джеком к оружейнику в центре Линца, где и приобрёл ему мушкет с различными необходимыми принадлежностями.

Экипированный таким образом Джек отправился в австрийский полк и предложил свои услуги. Капитан с равным пристрастием оглядел его мушкет и ботфорты. И то и другое произвело впечатление. Как только Джек показал, что действительно умеет заряжать мушкет и стрелять, его зачислили в полк. Так Джек стал мушкетёром.

Следующие две недели он провёл, глядя в спины другим людям и ступая по земле, прибитой тысячами людей и коней. В ушах стояли топот ног и цокот копыт, скрип перегруженных телег с ячменём, бессмысленные возгласы погонщиков, строевые песни на незнакомых языках, звуки труб и барабанов, которыми полковые музыканты пытались не дать своему полчищу смешаться с иноплеменными.

На Джеке была серовато-бурая фетровая шляпа

с огромными полями, которые надо было подкалывать, чтобы не хлопали и не падали на глаза. У более состоятельных мушкетёров имелись для этого роскошные пряжки с перьями; Джек обходился булавкой. Как все английские мушкетёры, Джек называл своё ружьё «Бурая Бесс». Оно было наиновейшей конструкции: в замке́ помещался небольшой зажим с кремнём; когда Джек нажимал на спуск, кремень ударял об огниво — стальную пластину над полкой, высекал из неё искру и в большинстве случаев воспламенял порох. У половины мушкетёрских полков ружья были старые, с фитильным замком. Каждый такой стрелок должен был таскать намотанный на пальцы фитиль, который постоянно тлел — если, разумеется, не намокал и хозяин не забывал время от времени его раздувать. Зажатый в механизм вроде того, что у Джека держал кремень, фитиль этот при нажатии на спуск касался полки и более чем в половине случаев воспламенял порох.

У Джека, как и у всех мушкетёров, был через плечо кожаный ремень-бандельера, на котором болталась дюжина деревянных трубочек размером и формой с большой палец. Каждая закрывалась отдельной пробкой, в каждой было

пороха на один заряд. При ходьбе они мелодично постукивали. Имелась ещё пороховница, чтобы заполнять их во время затишья. В самой нижней часть бандельеры висел подсумок с дюжиной свинцовых пуль.

В роте было две сотни таких, как Джек, и двигались они плотным каре — не потому, что любили тесноту, а чтобы неприятелю было труднее на полном скаку врезаться в их ряды. Труднее, потому что в центре каре размещалось другое каре, поменьше, из солдат с длинными палками, которые звались «пики». Размеры каре и длина пик были подобраны так, чтобы выставленные между мушкетёрами пики выдавались вперёд и не позволяли вражеским кавалеристам порубить мушкетёров, покуда те заряжают — это священнодействие занимало времени примерно столько же, сколько месса*.[54]

Такова была общая схема. Что именно произойдёт, когда турки натянут луки и начнут осыпать каре острыми стрелами, не уточнялось. От самого Линца Джек шагал в середине такой

---

[54] Примечания: 54

Пикинёры располагались *за* мушкетёрами, а не *перед;* в противном случае мушкетёры целили бы между ними или над головами и пикинёров косило случайными пулями, так как пуля частенько оказывалась маловата для дула и, несколько раз срикошетив внутри ствола, вылетала под произвольным углом.

роты. Она издавала различные звуки, по большей части производимые определённой частью экипировки, например деревянными трубочками-зарядцами. В отличие от рот, вооружённых фитильными мушкетами, рота Джека не дымилась и не пыхтела на ходу, раздувая фитили.

Они свернули прочь от Дуная, и стройные ряды смешались — войско штурмовало теперь отроги горного хребта. Барабаны и трубы, глухо звучавшие в лесах, эхом раскатывались в долинах; полки то и дело рассыпались, ища проходы в холмах. Джек часто терял ощущение сторон света, а когда не терял, то чувствовал, что поляки справа, баварцы и саксонцы — слева.

По сравнению с английскими холмами эти были выше, круче и густо поросли лесом. Зато между ними лежали широкие долины, удобные для марша, да и подъём, когда случалось переваливать через холмы, оказывался легче, нежели представлялось снизу: деревья на склонах были высокие, с голыми белыми стволами, а всю остальную растительность успевали вытоптать идущие впереди.

О том, что войско подошло к Вене, Джек догадался по тому, что они встали лагерем. Бивуак разбили в узкой долине, где солнце всходило

поздно и пряталось рано. В некоторых его соратниках ощущалось явное нетерпение. Джек видел, что христианское воинство превратилось в огромную машину по переработке ячменя в конский навоз и что ячмень на исходе. Что-то должно было вскоре произойти.

После того как они простояли бивуаком два дня, Джек до зари незаметно выскользнул из лагеря и взобрался на холм — отчасти из желания продохнуть от нестерпимой лагерной вони, отчасти чтобы взглянуть на город с птичьего полёта. Алый рассвет нащупывал путь между белыми стволами. Джек взобрался на высокий уступ. Вся местность лежала перед ним как на ладони.

Вена была маленьким городком и казалась ещё меньше из-за оборонительных сооружений, которые, в свою очередь, охватывали турецкое поселение всего нескольких месяцев от роду. Таким образом, город как таковой составлял лишь малую часть представшей Джеку картины, но при этом самую главную, словно потир в пустой огромности собора. Даже за мили Джек видел, какой это жалкий городишко. Улиц было не разглядеть, они лишь угадывались по чёрным провалам между красными черепичными крышами шести-семиэтажных зданий. Джек легко

мог вообразить эти гулкие вонючие колодцы, в которые никогда не заглядывает солнце. Он видел, как нечистоты мутной пеной плывут по каналу в Дунай, и по их цвету мог почти наверняка определить эпидемию дизентерии, которая и впрямь косила в то время турецкий лагерь.

Чуть в стороне от центра Вены стояло самое высокое здание из всех, какие Джек повидал на своём веку, — собор с коническим шпилем, похожим на островерхий колпак. Его венчал странный символ: звезда, зажатая в полумесяце, словно палка в акульей пасти[55]. Он казался пророческим изображением происходящего. С севера Вену подобием рва защищал канал, отходящий от Дуная. Мосты разрушили, чтобы никто не мог войти по ним в город или выйти из города. С остальных сторон Вену охватывал турецкий стан, сужающийся к реке, а в середине достигающий размеров самого города. То был колеблемый ветром мир шатров, стягов и вымпелов; сожжённые пригороды Вены торчали из него, словно остовы разбитых кораблей из пенного моря.

Между турецким лагерем и христианским

---

[55] Примечания: 55

До 1685 года шпиль собора Святого Стефана в Вене венчал полумесяц с вписанной в него восьмиконечной звездой — один из древних христианских символов; в 1685–1686 его сняли и заменили орлом.

городом лежала полоса того, что профан счёл бы пустой (хоть и странным образом взрытой) землёй. Джек, не новичок в ратном деле, мог, сощурясь, вообразить, что она прочерчена линиями зрения, траекториями ядер и другими фантазиями сапёров так же густо, как пространство над корабельной палубой — натянутыми снастями. Ибо в коридоре между лагерем и крепостью царили сапёры; любой, вступивший туда, убедился бы в этом за время, потребное пуле, чтобы пролететь от шатров до стен. Подобно тому как франки и турки выработали свои стили в зодчестве, так и сапёры вновь и вновь повторяли один и тот же архитектурный канон: зигзагообразные наклонные валы, укреплённые землёй (чтобы гасить ядра), с бастионами по углам. Да, у Вены укрепления были старые — каменные зубчатые стены. Однако они представляли собой исторический курьёз, окружённый и посрамлённый новейшими сапёрными сооружениями.

За собором стояло единственное здание в Вене, на которое стоило посмотреть — большое, бежевое, с множеством окон, пятиэтажное, выстроенное у самой стены, но куда более высокое, с флигелями, охватывающими невидимый двор. Очевидно, императорский дворец. Высокую

крышу со множеством мезонинчиков венчали смешные, крытые медью купола, похожие на островерхие шлемы. В каждом мезонине было крохотное окошко, и Джеку показалось, что из одного выглядывает фигурка в белом. Ему захотелось совершить что-нибудь необыкновенное: спасти принцессу, получить награду. Однако между ним и фигуркой в белом лежала преграда, а именно: перед дворцом на гласис исполинским лемехом выдавался бастион, и против него-то великий визирь и бросил свои силы.

Очевидно, турки слишком торопились, чтобы тащить осадную артиллерию через всю Венгрию, поэтому разрушали труды сапёров постепенно, лопата за лопатой. На фоне геометрически правильных оборонительных сооружений работа турок выделялась как кротовина на герцогском поле для игры в шары. Прежде безупречный гласис покрылся лабиринтом траншей. Каждая была окружена выброшенной землёй, отчего походила на вздувшуюся воспалённую рану. Некоторые тянулись к императорскому дворцу от самого турецкого лагеря. То были траншеи-проспекты; траншеи-улицы отходили от них слева и справа, по большей части параллельно городским стенам, подобно перекладинам горизонтальной

лестницы, по которой турки взбирались, покуда не достигли первого равелина — заострённого вала между бастионами. Здесь осаждающие подвели под равелин подкоп, заложили туда порох и взорвали, образовав осыпи, словно восковые потёки на свече. Через эти осыпи проложили свежие траншеи, чтобы обстреливать городские стены, защищая сапёров и минёров, покуда те, параллель за параллелью, подбирались к сухому рву. Теперь турки таким же образом подбирались к бастиону перед дворцом. Однако то была постепенная война, она развивалась, словно дерево, врастающее в каменную ограду, и в данную минуту ничего не происходило.

Джека, впрочем, занимал другой вопрос: где будет пожива побогаче? Он выбрал несколько перспективных целей в турецком лагере и в самой Вене и запомнил кое-какие ориентиры, по которым сможет отыскать их в дыму и сумятице сражения.

Когда он повернулся, чтобы идти, то заметил, что рядом есть и другой человек, на бросок камня от него; не то монах, не то отшельник в грубой дерюге. Однако тут неизвестный вытащил меч — именно меч, а не шпажонку, какими щёголи тычут друг друга на улицах Парижа или Лондо-

на, — двуручный, с прямой перекладиной вместо эфеса, пережиток крестовых походов; таким Ричард Львиное Сердце мог рубить верблюдов на улицах Иерусалима. Он опустился на одно колено, причём истово и сноровисто. Когда богач преклоняет колени в церкви, у того уходит на это минуты две или три; слышно, как хрустят суставы, и слуги поддерживают его под локти — не ровён час упадёт. Однако этот человек непомерных обхватов опустился на колено легко, даже страстно, если такое возможно, и, обратясь лицом к Вене, вонзил меч в землю подобием стального креста. Утреннее солнце било в заросшее щетиной лицо и дробилось на каменьях, украшающих рукоять. Человек склонил голову и забормотал на латыни. Рука, не державшая меч, перебирала чётки. Джек понял, что пора уходить, но, прежде чем повернуть прочь, он узнал в коленопреклонённом человеке с мечом короля Яна Собеского.

Позже раздали выпивку, ибо воинская аксиома гласила: пьяный солдат лучше трезвого. Теперь наёмникам было, по крайней мере, на что играть, и они живо вытащили из карманов карты и кости. В итоге Джек опрокинул полдюжины порций бренди, а товарищам по оружию осталось лишь коситься на него с подозрением и злобно ругаться

на тарабарских языках. Тут снова запели трубы, забили барабаны, и все вскочили на ноги (Джек — с трудом). Ещё несколько часов они шагали, глядя в спины впереди идущих, а горизонт со всех сторон щетинился штыками и пиками.

Словно буря, налетевшая с гор, роты и полки сыпались из леса в расселины, по расселинам в долины, сливались в чёрный гремящий поток и пеною выплёскивались на равнину, чтобы волной устремиться к Вене.

Артиллерия открыла огонь, сперва с одной стороны, затем и с другой. Однако если кого-то и косила турецкая картечь, рядом с Джеком ничего такого не происходило. Мушкетёры ускоренным маршем вошли из жаркого воздуха в клубы пыли, затем в сплошную дымовую завесу.

Тут земля задрожала под ногами, ряды сбились, налетая друг на друга, дым заклубился и разошёлся. Блеснули, проносясь мимо, золото и медь. Справа от них Ян Собеский во главе крылатых гусар устремился в атаку на турок.

Долго после того как польская конница скрылась из глаз, на мушкетёров сыпались комья земли. За поляками на поле сражения образовался пустой коридор, и внезапно Джек увидел, что перед ним никого нет. Ярд свободного простран-

ства манил, словно кружка пива. Джек невольно рванулся вперёд, остальные — за ним. Строй рассыпался, солдаты из самых разных полков неслись по земле, прибитой польской кавалерией. Джек бежал не только чтобы поспеть к грабежу, но и чтобы его не затоптали задние. Он прислушивался, не раздастся ли впереди турецкая канонада или топот отступающей конницы, но ничего такого не слышал. Мушкеты палили вразнобой, а не залпами, как в организованной атаке.

Джек едва не споткнулся об отрубленную руку и заметил, что она одета в чудну́ю восточную ткань. За руками начались тела — в кольчугах с драгоценными бляшками и золотыми звёздами. Его соратники при виде убитых турок закричали: «Ура!» Теперь все бежали, сквозь дым и пыль, по городу, который, как знал Джек, был поменьше Лондона, но куда больше, скажем, Страсбурга или Мюнхена. Город этот состоял из шатров — огромных конусов, растянутых на центральных столбах цветными верёвками, с пологами вместо стен. Шатры были не из грубой холстины, а из узорчатых тканей, расшитых звёздами, полумесяцами и затейливой вязью.

Джек вбежал в такой шатёр и оказался на гу-

стом ковре с узором из перевитых цветов. Прямо перед ним сидела кошка размером с волка, золотисто-пятнистая, в драгоценном ошейнике, прикованном цепью к центральному столбу. Кошку, которая могла бы его съесть, Джек видел впервые, поэтому выскочил из шатра и побрёл дальше. На пересечении улиц он обнаружил выложенный плиткой фонтан, где плавали золотые рыбки. Избыток воды, стекая в канавку, орошал сад, засаженный душистыми белыми цветами.

Дерево росло в горшке на колёсах, на ветках его сидели изумрудно-зелёные и рубиново-красные птицы с загнутыми клювами; они осыпали Джека затейливой бранью на неведомом ему языке. Мёртвый турок с огромными нафабренными усами и в тюрбане абрикосового шёлка лежал в мраморной ванне, наполненной кровью. Мушкетёры и пикинёры бродили вокруг, настолько ошеломлённые, что даже не приступили к грабежу.

Джек споткнулся, упал физиономией на красную ткань и, встав, понял, что это алое знамя двадцати футов длиной, расшитое золотыми саблями и неведомыми письменами. Знамя было большое — не унести, и Джек, оставив его лежать, побрёл дальше. Между шатрами валялись склад-

ные фонари, серебряные курильницы, мушкеты с прикладами, инкрустированными перламутром, лазуритом и золотом, ручные гранаты, тюрбаны с драгоценными пряжками, осадные мортиры и снаряды для них, опутанные паутиной фитилей. Бунчуки с длинными кистями из конского волоса скалились, словно мертвецы, бронзовыми полумесяцами наверший. Попадались расшитые колчаны и брошенные шомпола, стальные и деревянные. Баварцы с фитильными ружьями ошалело бегали взад-вперёд, фитили, раздутые ветром, алыми искорками подпрыгивали в дыму, оставляя за собой волнистый след более плотного дыма.

Тут послышался конский топот. Он приближался. Джек, развернувшись, уставился в лошадиную морду, убранную дорогой уздечкой. Всадник в крылатом шлеме что-то говорил Джеку на языке, в котором тот уже научился узнавать польский. Крылатый гусар держал поводья второй лошади, *cheval de bataille*, в убранстве столь же роскошном, но совершенного иного стиля, не с крестами, а с полумесяцами. Вероятно, то был боевой конь какого-то знатного турка. Поляк совал Джеку поводья и что-то выкрикивал на своём шипящем, заносчивом языке. Джек протянул руку и взял

лошадь под уздцы.

Что дальше? Хочет ли гусар, чтобы Джек сел на лошадь и поскакал с ним? Вряд ли! Он указывал на землю и повторял одни и те же слова, пока Джек не кивнул, притворяясь, будто понял. Наконец гусар вытащил саблю, указал Джеку в грудь, сказал что-то очень невежливое и ускакал прочь.

Теперь до Джека дошло: крылатый гусар собирается награбить сегодня очень много добычи. Конь ему достался в самом начале дня. Это был достойный трофей, но изрядная помеха, если вести его в поводу. Привязать к дереву нельзя — сведут. Поэтому он высмотрел вооружённого холопа (для поляка все, кто не в седле, холопы) и завербовал в качестве живой коновязи. Делом Джека было стоять и держать поводья, если потребуется — весь день.

Джек еле-еле успел осознать всю фундаментальную несправедливость этого плана, когда прямо на него выбежало какое-то животное и, круто повернув, унеслось прочь. Животное было невероятно чудно́е, прямо как из Книги Откровения — двуногое и в перьях, следовательно птица, однако выше человека и, судя по всему, нелетающая. Бежала она, как курица, дёргая для

равновесия головой. Шея была длинная и голая, как Джекова рука, и вся в морщинах.

Птицу преследовала небольшая толпа пехотинцев.

Джек понятия не имел, что это за исполинская нелетающая птица. Ему бы в голову не пришло за ней гнаться, разве что из любопытства. Однако увидев, что другие изо всех сил преследуют птицу, он почувствовал сильнейшее желание присоединиться к погоне. Раз преследуют, значит, не просто так. Может, она чего-то стоит или у неё вкусное мясо.

Птица удирала очень быстро, плохо обутым пехотинцам было явно её не догнать. Джек, со своей стороны, держал под уздцы коня, причём (как он постепенно разглядел) превосходнейшего, под шитым золотом седлом, подобного которому никогда прежде не видывал.

Крылатому гусару, вероятно, и в голову не пришло, что Джек умеет ездить верхом. В его краях смерд так же не мог гарцевать в седле, как говорить на латыни и танцевать менуэт. А ослушаться вооружённого шляхтича для него было ещё немыслимей, чем взобраться на лошадь.

Однако Джек был не польское отребье, босоногое и прикованное к земле, и даже не французское

отребье в деревянных сабо, задавленное попом и откупщиком, но английское отребье в отличных ботфортах, наделённое богоданными правами, которые (по слухам) записаны в какой-то там Хартии, и с заряженным мушкетом в руке. Он вскочил в седло что твой лорд, ловко поворотил коня, хлопнул его по крупу и взял с места в карьер. Через мгновение он уже промчался через толпу пехотинцев, которые гнались за гигантской птицей. Те могли рассчитывать лишь на то, что она забудет про преследователей и остановится. Джек не собирался этого допускать, поэтому каблуками ударил коня по бокам и направил его за птицей, чтобы та с перепугу припустила во все лопатки. Та и припустила, а Джек поскакал следом, оставив конкурентов далеко позади. Она улепётывала, балансируя короткими крыльями, словно канатоходец — шестом. Глядя сзади на эти крылья, Джек припомнил шляпы французской знати на военных парадах: они были украшены перьями… как же его?.. страуса.

Причина весёлой погони прояснилась: страуса, коли его поймать, можно ощипать, а перья доставить на рынок, где торгуют экзотической роскошью, и обратить в серебро.

Джек прикинул: если прочесать весь турецкий

лагерь, можно найти трофеи побогаче, но сейчас там мечется всё христианское воинство, и другие могут добраться до них раньше. Лучшая добыча достанется знатным людям на конях, мушкетёрам и пикинёрам предстоит драться из-за барахла. Перья — не самый богатый трофей в лагере, но лучше синица (точнее, страус) в руках, чем журавль в небе, и он был уже, почитай, у Джека в руках. Страусовые перья маленькие и лёгкие, их нетрудно спрятать от таможенников и пронести, если потребуется, хоть через всю Европу. А по ходу погони шансы только возрастали, поскольку страус бежал прочь от криков и суматохи, в ту часть турецкого стана, где ничего не происходило. Если бы только птица замедлила бег, чтобы прицелиться в неё из мушкета!..

Страус забил крыльями, вскрикнул и пропал. Джек, придержав поводья, осторожно направил коня вперёд и оказался на краю траншеи. Он понятия не имел, где находится, но траншея выглядела большой. Джек тряхнул уздечкой, ожидая, что конь заартачится, но тот бодро принялся спускаться в траншею, осторожно ставя копыта на разрытую землю. На дне траншеи виднелись свежие страусиные следы — Джек поехал по ним.

Через каждые несколько ярдов траншею под прямым углом пересекали другие, поменьше. Ни у одной не было наклонного частокола из острых кольев, и Джек заключил, что это не внешняя оборона турок против христиан. Следовательно, траншеи вырыты для осады. Дым и пыль висели так густо, что Джек не видел, впереди Вена или позади. Впрочем, по тому, с какой стороны от траншей были насыпаны земляные валы для защиты от пуль, любой дурак бы сообразил, где город. Страус бежал к Вене, Джек — за ним.

Борта траншеи становились всё выше и круче. Начиная с какого-то места их удерживали столбы и бревенчатые стены. Внезапно стены эти сошлись, образовав свод. Джек глядел в тёмный туннель, такой широкий, что трое конных могли бы въехать в него шеренгой. Он уходил в основание крутого холма, встающего над равниной, и Джек, подняв голову, различил изуродованную стену бастиона, а над ней — высокую крышу императорского дворца.

Выходило, что это подкоп, который турки подвели под бастион в надежде взорвать его к чёртовой матери. Пол туннеля был замощён брёвнами, вдавленными в землю весом воловьих упряжек, на которых вывозили землю и завози-

ли порох. Страусиные следы вели в темноту. И впрямь, чего птице прятать голову в песок, если она может уйти под землю целиком, даже не пригибаясь? Джеку не хотелось ехать в туннель, но жребий был брошен: либо он догонит страуса, либо останется без трофеев.

Как и следовало ожидать, у входа, в горшке со смолой, торчали факелы. Джек взял один, сунул в догорающие угли и, как только факел занялся, направил коня в туннель.

Своды удерживались надёжными крепями. Туннель полого уходил вниз. Достигнув уровня грунтовых вод, он превратился в грязное болото. Дальше снова начался подъём. Впереди показались огни. Джек заметил на дне туннеля яркую струйку крови. Это включило тот зачаточный инстинкт самосохранения, которым он всё-таки обладал. Джек бросил факел в лужу и пустил коня медленным шагом.

Свет впереди освещал пространство шире самого туннеля, какое-то помещение, вырытое под землёй — где? Припомнив последние несколько минут, Джек сообразил, что покрыл порядочное расстояние — должно быть, проехал под бастионом или по меньшей мере добрался до городской стены. Приближаясь к свету (нескольким за-

креплённым на стене факелам), он заметил, что свежие турецкие крепи чередуются здесь с опорами, заложенными в землю столетия назад: просмолёнными сваями, кирпичной и каменной кладкой. Турки прорыли подкоп в фундамент чего-то грандиозного.

Джек по ручейкам крови въехал в освещённое пространство и увидел несколько маленьких ярких палаток, которые по каким-то неведомым турецким мотивам разбили глубоко под землёй. Некоторые стояли, другие лежали в грязи. Двое турок короткими сильными ударами рубили эти палатки. Страус стоял рядом, с любопытством склонив голову. Палатки падали, из них лилась кровь.

В палатках люди! Их предают смерти, одного за другим.

Здесь страуса ничего не стоило уложить из мушкета, но выстрел наверняка привлёк бы внимание турок. То были могучие детины с красавцами-ятаганами, первые живые турки, которых Джек сегодня увидел, и единственные, представлявшие реальную угрозу для христиан. Джек предпочёл бы с ними не связываться.

Сабля врезалась в одну из цветных палаток, та вскрикнула женским голосом и умолкла после

второго удара.

Значит, все они женщины. Видать, один из тех самых гаремов, про которые столько болтают. Интересно, поверят ли лондонские жохи, если Джек вернётся и расскажет, что видел живого страуса и турецкий гарем?

Однако эта случайная мысль мелькнула на мгновение и сменилась другой. Джеку представился случай совершить глупость куда более увлекательную, чем любой разумный поступок. С ним такое случалось каждые несколько дней, с Бобом — практически никогда. Боб только дивился: два брата живут сходной жизнью, но одному она то и дело подсовывает повод для сумасбродств, а другому — нет. Джек ждал от сегодняшнего дня чего-то подобного, хотя до последней минуты был уверен, что уже отчебучил свою глупость, когда вскочил на лошадь и погнался за страусом. Однако сейчас подвернулась возможность свалять дурака ещё более вопиющим и славным образом.

Боб, внимательно наблюдавший за братом в течение многих лет, считал, что временами в Джека вселяется бес противоречия, о котором рассказывают в церкви. Боб полагал, что бес этот невидимо разъезжает у Джека на плече, нашёп-

тывая в ухо дурные советы, и единственный, кто может этому противостоять, — сам Боб, который стоит рядом, внушая предусмотрительность, осторожность и прочие пуританские добродетели*[56].

Однако Боб сейчас был в Англии.

«А гори оно всё синим огнём!» — подумал Джек и, ударив аргамака пятками по бокам, галопом устремился вперёд. Ближний турок как раз собирался зарубить последнюю из женщин в палатках. Он уже занёс саблю, но женщина метнулась в сторону (насколько можно метнуться в такой одежде). Турок шагнул за ней — и оказался прямо на дороге у Джека и его коня. Они просто проехали по нему. Конь, видать, был хорошо выучен этому манёвру — Джек про себя отметил, что со скотинкой надо будет обращаться поласковее.

Он одной рукой натянул уздечку, а другой сдёрнул с плеча мушкет. Конь развернулся, и Джек увидел ту часть помещения, по которой только что проехал. Первый турок лежал, раздавленный копытами в двух или трёх местах, второй надвигался, поигрывая ятаганом, словно учитель фехтования, разминающий запястье перед

[56] Примечания: 56

Не то чтобы Боб был пуританином — скорее наоборот, — но говорил так, чтобы показать своё превосходство над Джеком.

уроком. Джек тщательно прицелился в него и спустил курок. Турок спокойно смотрел поверх мушкетного дула. У него были русые волосы, зелёные глаза и пегие, с рыжиной усы — всё это исчезло в дыму, когда воспламенился порох на полке. Однако приклад не ударил в плечо. Пыхнула затравка, но выстрел не грянул.

Это называлось осечка. Огонь с полки не добрался до ствола, — возможно, в запальное отверстие попала грязь. Тем не менее Джек по-прежнему направлял мушкет на турка (несколько наугад, поскольку тот скрылся в клубах порохового дыма). Если огонь в запальном отверстии ещё тлеет, мушкет может выстрелить без предупреждения в ближайшие минуту-две.

К тому времени как дым более или менее рассеялся, турок уже схватил лошадь за узду и занёс ятаган. Джек, щурясь (глаза всё ещё щипало от дыма), загородился мушкетом. Лязгнула сталь; жаркая вспышка ударила Джека по рукам и бросила металлом в лицо. Конь взвился на дыбы. В других обстоятельствах Джек был бы к этому готов. Сейчас, ослепший и ошалелый, он перелетел через конский круп, плюхнулся на землю и откатился вбок в ужасе перед задними копытами.

Во время всех этих кульбитов Джек крепко

сжимал мушкетный приклад. Он встал, пошатываясь, понял, что глаза его плотно зажмурены, и спрятал лицо в сгиб левого локтя, силясь стереть жар и боль. От жёсткого рукава веки засаднило, и Джек понял, что обожжён, но не сильно. Он открыл глаза, развернулся, как пьяный, ища противника, и снова заслонился прикладом от удара саблей, который мог обрушиться в любое мгновение, но ружьё в руках оказалось неожиданно лёгким — оно было перерублено в нескольких дюймах от замка. Дуло попросту исчезло.

Женщина в палатке уже шагнула вперёд, взяла коня под уздцы и теперь разговаривала с ним ласковым успокаивающим тоном. Джек не видел второго турка и сперва запаниковал, потом заметил, что тот катается по полу, обхватив лицо руками, и глухо стонет. Это было отрадно, но в целом ситуация складывалась неудовлетворительно: мушкет загадочным образом погиб, конём завладела неведомая сарацинка, а никаких трофеев Джек пока не добыл.

Он бросился вперёд, чтобы схватить поводья, но тут что-то блеснуло на полу — турецкий ятаган. Джек схватил его, отпихнул женщину, вскочил на коня и развернул его так, чтобы ясно видеть картину. Где чёртов страус? А, вот, в углу. Джек

направил коня к птице, взмахивая саблей, чтобы приноровиться к клинку. Рубить головы на скаку — занятие, требующее изрядной сноровки, но лишь потому, что у людей шея короткая. Обезглавить страуса, который почти целиком состоит из шеи, оказалось настолько легко, что почти не доставило удовольствия — Джек сделал это одним быстрым ударом. Голова упала на землю и осталась лежать с открытыми глазами, поминутно сглатывая. Безголовый страус упал, затем поднялся и побрёл кругами, брызжа кровью из перерезанной шеи. Он часто падал. Джек не хотел оказаться в крови, поэтому отъехал от страуса, однако птица, сменив направление, двинулась за ним. Джек метнулся в другую сторону — птица, снова повернув, заковыляла наперерез.

Женщина смеялась. Джек взглянул строго, и она переборола смех. Из палатки раздался голос, он что-то говорил на варварском наречии. Джек очередной раз увернулся от страуса.

— Сэр рыцарь, я не знаю ни одного христианского языка, за исключением французского, английского, йглмского и чуточки мадьярского.

Впервые в жизни к Джеку Шафто обратились «сэр» или приняли его за рыцаря. Он взглянул на страуса, который бродил по кругу, шатаясь и

теряя силы. Женщина тем временем перешла на какой-то ещё неведомый язык.

Джек перебил её:

— Йглмский я подзабыл. Помню, мальчишкой добрался как-то до Гттр Мнгргх. Мы прослышали, будто разбился испанский галеон и пиастры валяются на берегу, как ракушки, однако нашли только нескольких пьяных французов, которые воровали кур и поджигали дома.

Он собирался поведать множество захватывающих подробностей, но сбился, потому что палатка задвигалась, явив сложную систему шёлковых платков: один был завязан на переносице, скрывая всё, что внизу; другой, на лбу, закрывал всё, что сверху. В щёлочку между ними смотрели на Джека два синих глаза.

— Ты англичанин! — воскликнула девушка.

Джек заметил, что на этот раз она не обратилась к нему «сэр рыцарь». Во-первых, англичан уважали меньше, чем представителей великих государств — Франции или Речи Посполитой. Во-вторых, среди англичан выговор сразу выдавал в нём не-джентльмена. И даже говори Джек как архиепископ, из рассказа явственно следовало, что когда-то он был бродягой. Чёрт! Не в первый раз Джек представил, как отрезает себе

язык. Языком этим восторгалась та малая доля человечества, которую, по грубости воспитания или по скудоумию, восхищало в Джеке Шафто всё. Тем не менее, если бы Джек его придержал, синеглазая девушка, возможно, по-прежнему бы обращалась к нему «сэр рыцарь».

Та часть Джека Шафто, которая до сей поры удерживала его от гибели, советовала резко потянуть уздечку вправо или влево, развернуть коня и во весь опор умчаться прочь от напасти. Он взглянул на свои руки, держащие поводья, и заметил, что они замерли в неподвижности, — очевидно, та часть Джека Шафто, которая хотела прожить жизнь короткую и весёлую, снова взяла верх.

Пуритане часто заходили в бродяжий табор, дабы сообщить, что при сотворении мира — тыщи лет назад! — Господь предопределил часть присутствующих ко спасению. Остальные обречены целую вечность гореть в аду. Эти сведения пуритане называли Благой Вестью. В следующие несколько дней любой мальчишка-вагабонд, пёрнув, объявлял, что так было предопределено Всевышним и записано в небесной книге при начале времён. Умора, короче. Однако сейчас Джек Шафто сидел на турецком скакуне и понуждал свои руки дёрнуть уздечку, а ноги — ударить

в конские бока, чтобы умчаться от синеглазой девушки… А ничего не происходило. Не иначе как действовала Благая Весть.

Синие глаза были опущены.

— Я поначалу приняла тебя за рыцаря.

— В лохмотьях-то?

— Твой конь великолепен и отчасти мне тебя загораживал, — отвечала напасть. — А как ты сражался с янычарами — словно Галахад!

— Галахад — это который ни разу не любился?

Снова язык. И снова ощущение, что каждое слово предопределено, что тело — запертая карета, мчащая под уклон, прямо к вратам преисподней.

— Это единственное, что роднит *меня* со сказанным рыцарем.

— Быть такого не может!

— Я была гёзде, то есть султан меня присмотрел, но раньше, чем я стала икбал, то есть наложницей, он отдал меня великому визирю.

— Я не шибко учён, — сказал Джек Шафто, — но про визирей слыхал, и не верится мне, чтоб они держали у себя в лагере хорошеньких белокурых рабынь — девственницами.

— Не навечно. Однако плохо ли сберечь несколько девственниц для торжественного случая, — скажем, чтобы отпраздновать разграб-

ление Вены?

— А разве мало было бы девственниц в самой Вене?

— Судя по тому, что доносили вазиру лазутчики, могло не остаться ни одной.

Джек не склонен был ей верить. Однако если визирь, или вазир, как говорила синеглазка, возил с собой страусов, исполинских кошек в драгоценных ошейниках и деревья в горшках, с него бы стало и девственниц прихватить.

— Эти не успели тобой попользоваться? — Джек махнул саблей в сторону турок, нечаянно стряхивая с клинка капельки крови.

— Они янычары.

— Слыхал про таких, — сказал Джек. — Даже подумывал отправиться в Константинополь, или как он теперь зовётся, чтобы вступить в их полки.

— А как насчёт обета целомудрия?

— Мне, синеглазка, без разницы. Смотри! — Он завозился с гульфиком.

— Турок бы уже справился, — спокойно заметила девушка. — У них спереди на штанах такое вроде окошко, чтобы без помех мочиться или насиловать.

— Я не турок, — объявил наконец Джек, при-

вставая на стременах, чтобы она полюбовалась.

— Он так должен выглядеть?

— Ну ты и хитра!

— Что случилось?

— Некий дюнкеркский цирюльник объявил, что выведал у странствующего алхимика рецепт против французского насморка. Мы только что вернулись с Ямайки и заглянули к нему как-то под вечер.

— У тебя французская болезнь?

— Я хотел только бороду подровнять, — сказал Джек. — А моему приятелю Тому Флинчу надо было отнять палец. Он загнулся в другую сторону во время схватки с французскими приватирами и уже так вонял, что никто не хотел сидеть рядом с Томом, — пришлось ему коштоваться на верхней палубе. Вот почему мы пошли и вот почему были пьяны в дым.

— Прости, не поняла.

— Надо было накачать Тома, чтобы меньше орал, когда палец отскочит на другой конец цирюльни. Правила этикета требовали, чтобы мы пили наравне с ним.

— И что дальше?

— Когда брадобрей сказал, что лечит французскую хворь, гульфики полетели как пушечные

ядра.

— Так она у тебя есть.

— И брадобрей, у которого глаза сделались по дублону, раскочегарил жаровню и положил греть железки для прижигания. Покуда он ампутировал Тому палец, они раскалились докрасна, потом добела. Тем временем ученик готовил травяную припарку по рецепту алхимика. Короче, я оказался последним на прижигание. Товарищи уже валялись на полу, прижав к елдакам припарки, и орали как резаные. Цирюльник с учеником привязали меня к стулу прочными верёвками и ремнями, заткнули мне рот кляпом…

— Они тебя ограбили?!

— Нет, сестрёнка, всё это входило в лечение. Так вот, поражённая часть моего чёрта — болячка, которую надо было прижечь, — находилась сверху, на середине ствола. Однако одноглазый детина вжался в меня от страха, поэтому ученик схватил его щипцами и одной рукой растянул старину баловника — в другой он держал свечку, чтобы осветить язву. Брадобрей тем временем перебирал железяки, выискивая подходящую; на самом деле они были все одинаковые, но он хотел показать, что не зря деньги дерёт. Как раз когда он опускал раскалённое железо на боляч-

ку, сборщик налогов с помощниками вышибли разом заднюю и переднюю дверь. Это был рейд. Цирюльник уронил железку.

— Какая жалость! Такой дюжий молодец, сильный и ладный, ягодицы что половинки каштана, ляжки — залюбуешься, красивый на свой манер — и никогда не будет иметь детей.

— Цирюльник опоздал — у меня уже были к тому времени два мальца. Вот почему я гоняюсь за страусами и сражаюсь с янычарами — надо семью кормить. А поскольку французская хворь никуда не делась, у меня всего несколько лет до того, как я спячу и протяну ноги. Надо скопить наследство.

— Твоя жена — счастливица.

— Моя жена умерла.

— Бедненький!

— Не, я её не любил, — бодро отвечал Джек. — А с тех пор как цирюльник уронил железку, она мне стала и вовсе ни к чему. Так же, как я ни к чему тебе, напасть.

— С чего ты взял?

— Да глянь хорошенько. Не могу я.

— Как англичане это делают — наверное, да. Однако я много чего вычитала из индийских книг.

Молчание.

— Не больно-то я уважаю книжную премудрость, — проговорил Джек Шафто сдавленным голосом, как будто шею ему стянула петля. — Мне подавай опыт.

— Опыт у меня тоже есть.

— Ага, а плела, будто ты — девственница.

— Я практиковалась на женщинах.

— Что?!

— Ты же не думаешь, что весь гарем сидит и ждёт, пока у господина восстановится способность?

— А какой смысл, если нет елды?

— Этот вопрос ты, возможно, задавал себе сам.

У Джека — не первый раз — возникло ощущение, что пора срочно сменить тему.

— Знаю, что ты соврала, сказав, будто я красивый, хотя на самом деле я битый-перебитый, рябой, щербатый, загрубелый и всё такое.

— Некоторым женщинам нравится. — Синеглазка взмахнула ресницами. Поскольку видны были только одни глаза, это усиливало впечатление.

Нужно было как-то обороняться.

— Ты выглядишь очень юной, — сказал он, — и говоришь как сопливая девчонка, которую не мешало бы отшлёпать.

— В индийских книгах, — холодно сообщила она, — этому посвящены целые главы.

Джек поехал вдоль стен, внимательно их оглядывая. В одном месте, сковырнув землю, он обнаружил бочонок, а рядом ещё и ещё.

Посреди помещения валялась груда досок для сооружения крепей, а рядом — брошенные в спешке инструменты.

— Чем болтать, сестрёнка, подай-ка мне лучше вон тот топор.

Синеглазка принесла топор и подала Джеку, спокойно глядя ему в глаза. Джек привстал на стременах и рубанул по бочонку. Доска треснула. Ещё удар, и дерево раскололось. На землю с шипением посыпался чёрный порох.

— Мы в дворцовом подвале, — объявил Джек, — прямо под императорским дворцом, вокруг нас кладовые, наполненные сокровищами. Знаешь, что нас ждёт, если мы это дело подожжём?

— Преждевременная глухота?

— Я собирался заткнуть уши.

— Тонны камня и земли, которые обрушатся на нас сверху?

— Можно насыпать в туннеле пороховую дорожку, поджечь её и подождать на безопасном расстоянии.

— Ты не думаешь, что взрыв и разрушение императорского дворца привлекут некоторое внимание?

— Просто первое, что в голову пришло.

— В таком случае, братец, наши дорожки разойдутся… да и не так достигают знатности. Пробить дыру в дворцовом полу и улепетнуть, словно крыса, в дыму и в копоти!

— Невольница будет меня учить, как достигают знатности?

— Невольница, жившая во дворцах.

— И что ты предлагаешь? Коли ты такая умная, давай послушаем твой план.

Девица закатила глаза:

— Кто знатен?

— Дворяне.

— Как они такими стали?

— Появились на свет от знатных родителей.

— Ой. Неужели?

— Да, разумеется. А что, у турок иначе?

— Нет, хотя по тому, как ты говоришь, я решила, что в христианских странах это как-то связано с умом.

— Не думаю. — Джек приготовился рассказать о пфальцском курфюрсте Карле, когда синеглазка спросила:

— Так нам не нужен умный план?

— Это праздная болтовня, сестрёнка, но я никуда не тороплюсь, так что валяй. Говоришь, нам нужен умный план, чтобы стать знатными. Мы-то с тобой из простых — где ж нам взять знатность?

— Купить.

— На это деньги нужны.

— Так выберемся из этой дыры и раздобудем деньги.

— И как ты их думаешь раздобыть?

— Мне нужен сопровождающий, — объявила невольница. — У тебя есть конь и клинок.

— Ласточка, это поле боя. У многих они есть. Найди себе рыцаря.

— Я рабыня, — отвечала она. — Рыцарь получит своё и меня бросит.

— Так ты мужа хочешь?

— Компаньона. Не обязательно мужа.

— Я буду ехать впереди, убивать янычар, драконов, рыцарей и всё такое, а ты — плестись сзади и… что? Только не надо заливать мне про индийские книги.

— Я буду заниматься деньгами.

– У нас нет денег.

— Потому-то тебе и надо, чтобы кто-то ими

занимался.

Джек не понял, но звучало это умно, поэтому он важно кивнул, как будто глубоко проник в смысл.

— Как тебя звать?

— Элиза.

Привстав на стременах, приподняв шляпу, с лёгким поклоном:

— Джек Куцый Хер к вашим услугам, сударыня.

— Раздобудь мне платье мужчины-христианина. Чем больше на нём будет крови, тем лучше. Я пока ощиплю страуса.

Бывший стан великого визиря Кара-Мустафы

сентябрь 1683

— И ещё… — начал Джек.

— Как, опять?!

Элиза, в окровавленном офицерском камзоле, полулежала в седле, припав к лошадиной шее, так что голова её, обмотанная разорванной рубахой, была совсем близко к голове Джека, который вёл коня под уздцы.

— Если мы доберёмся до Парижа — что отнюдь не легко — и если от тебя будут хоть малейшие неприятности… один косой взгляд… складывание рук на груди… театральные реплики в сторону, адресованные невидимой публике…

— Много у тебя было женщин, Джек?

— …притворное возмущение тем, что совершенно естественно… рассчитанные приступы сварливости… копание при сборах… туманные намёки на женское недомогание…

— Кстати, Джек, у меня как раз эти дела, так что изволь остановиться прямо на поле боя, скажем, на… да, думаю, в полчаса я управлюсь.

— Ничуть не смешно. Ты видишь, чтобы я смеялся?

— Я вижу бинты.

— В таком случае сообщаю, что мне отнюдь не весело. Мы огибаем то, что осталось от лагеря Кара-Мустафы. Справа в траншее стоят пленные турки и крестятся — что странно…

— Я слышу, как они молятся на славянском наречии. Это янычары, скорее всего — сербы. Как те, от которых ты меня спас.

— Слышишь, как кавалерийские сабли рубят им головы?

— Так вот что это за звуки!

— А чего бы, по-твоему, они молились? Янычар предают смерти польские гусары!

— За что?

— Слыхала про старые родственные размолвки? Вот так они выглядят. Какая-то давняя обида. Лет сто назад янычары чем-то огорчили поляков.

Кавалерийские полки пронеслись по останкам турецкого стана, словно волны по простыне. Хоть сейчас не время было думать о простынях.

— О чём я говорил?

— Добавлял очередной пункт к нашему партнёрскому соглашению, словно какой-нибудь бродяга-крючкотвор.

— И ещё одно…

– Ещё?!

— Не называй меня бродягой. Сам я могу так себя называть — для смеху, чтобы оживить разговор, обаять даму и всё такое. Но ты не должна применять ко мне этот уничижительный эпитет. — Джек заметил, что потирает большой палец правой руки, куда палач когда-то приложил раскалённое клеймо в форме буквы V, оставив отметину, которая временами начинала чесаться. — Возвращаясь к тому, что я говорил, прежде чем ты так невежливо меня перебила: малейшая неприятность с твоей стороны, сестрёнка, и я брошу тебя в Париже.

— Ой, какой ужас! Только не это, жестокий ты человек!

— Ты наивна, как богатая барышня. Известно ли тебе, что всякую беспризорную женщину в Париже тут же арестует, острижёт, выпорет и прочее начальник полиции — всесильный ставленник короля Луя, обладающий неограниченной властью, жестокосердый гонитель нищих и бродяг.

— Ты же ничего не знаешь о бродягах, о высокородный господин.

— Лучше, но пока недостаточно хорошо.

— Где ты нахватался таких слов, как «уничижительный эпитет», «всесильный ставленник» и «жестокосердый гонитель»?

— В театре, глупая.

— Ты актёр?

— Актёр? *Актёр?* — Обещание попозже её отшлёпать вертелось у Джека на языке, но он сдержался из опасения, что она снова выбьет его ответом из колеи. — Учись манерам, детка. Иногда вагабонды из христианского благодушия позволяют актёрам следовать за ними на почтительном расстоянии.

— Рассыпаюсь в извинениях.

— Ты закатываешь под бинтами глаза? Я насквозь вижу… Тише! К нам приближается офицер. Судя по гербу — неаполитанский граф и бастард по меньшей мере в трёх поколениях.

Поняв намёк, Элиза, у которой по счастью был густой, чуть хрипловатый альт, принялась стонать.

— Мсье, мсье, — обратился к ней Джек, изображая французскую речь. — Знаю, седло давит на огромные чёрные вздутия, что появились у вас в паху после того, как вы вопреки моему совету переспали с теми двумя злополучными цыганками. Однако нам надо попасть к брадобрею-цирюльни-

ку или, на худой конец, к цирюльнику-брадобрею, чтобы тот извлёк из вашей головы турецкое ядро, покуда вас опять не начал трясти озноб… — И так далее, пока неаполитанский граф не отъехал.

Последовала долгая пауза, во время которой мысли Джека витали вдалеке, а мысли Элизы, как выяснилось, нет.

— Джек, можно говорить без опаски?

— Для мужчины говорить с женщиной всегда небезопасно. Однако мы уже выехали из лагеря. Я более не наступаю на отрубленные руки. Дунай справа, Вена — за ним. Наёмники выстроились перед охраняемыми фургонами, дабы получить плату за сегодняшний день… да, можно говорить более или менее без опаски.

— Погоди! А ты когда получишь свою плату, Джек?

— Перед боем нам выдали бренди и клочки бумаги с какими-то буквами, по которым (как уверял капитан) в конце дня выплатят серебро. Однако Джека Шафто не проведёшь. Я сразу продал свою бумажку жиду.

— Сколько ты за неё получил?

— Я отлично сторговался. Синица в руках стоит двух…

— Ты получил *пятьдесят процентов?!*

— Неплохо, правда? Учти, мне достанется лишь половина выручки от страусовых перьев — *из-за тебя*.

— Ой, Джек, как я должна себя чувствовать, когда ты говоришь такие слова?

— Я что, слишком громко ору? Уши болят?

— Нет…

— Хочешь сесть поудобнее?

— Нет, нет, Джек. Речь не о *телесных* страданиях.

— Тогда как прикажешь тебя понимать?

— Когда ты говоришь: «Один косой взгляд, и я оставлю тебя среди поляков, которые выжигают беглым холопам клеймо на лбу» или «Погоди, когда начальник полиции короля Луи до тебя доберётся…»

— Ты нарочно выбираешь худшее, — возмутился Джек. — Я больше грозил оставить тебя в монастыре.

— Так ты признаёшь, что грозить клеймом более жестоко, нежели монастырём?

— Это очевидно. Но…

— А зачем вообще проявлять жёсткость, Джек?

— Ловкий трюк. Надо будет запомнить. Так кто из нас крючкотвор?

— Если ты так беспокоишься, может, не стоило

спасать меня от янычар?

— Что это вообще за разговор? В каком-таком месте ты жила, где людей и впрямь волнуют чужие чувства? Не один ли хрен, что там другой человек чувствует?

— У невольниц в гареме не так уж много занятий: коротать время за женскими рукоделиями — шитьём, вышиванием и вязанием тончайшего шёлкового белья, ажурного, как лёгкая паутина…

— Отставить!

— …и за беседами на разных языках (которые невозможны, если не следить самым внимательным образом за чувствами собеседниц), плести интриги и козни, торговаться на базаре…

— Этим ты уже хвасталась.

— …

— Ты что-то ещё собиралась упомянуть, девонька? Давай, выкладывай.

— Только то, что я уже говорила: при помощи изощрённейших знаний Древнего Востока медленно доводить друг дружку до самозабвенных, потных, неистовых восторгов…

— Довольно!

— Ты сам попросил.

— Ты меня заставила — интригами и кознями!

— Боюсь, теперь это моя вторая натура.

— А какая у тебя первая? С виду ты типичная англичанка.

— Счастье, что тебя не слышит моя матушка. Она гордилась своим чисто йглмским происхождением.

— Короче, густопсовая дворняга.

— Ни капли английской крови, или кельтской, норвежской, или чего ещё там в вас намешано.

— Сто процентов чего ещё, надо думать. И во сколько лет тебя похитили?

— В пять.

— Ты точно знаешь свой возраст, — уважительно произнёс Джек. — Из благородных, что ли?

— Матушка считает, что все йглмцы…

— Хватит. Я уже знаю про твою мать больше, чем про свою. Что ты помнишь о Йглме?

— Дверь нашего жилища, озарённую весёлым светом горящего гуано, обвешанную причудливой формы ломами и топориками, чтобы отец мог вырубить нас из-подо льда после июньских буранов, таких здоровых и бодрящих. Деревушка на круче, где простые селяне жгли безлунными ночами костры, направляя мореплавателей к безопасности… Джек, что это за звуки? В горле запершило?

— Костры жгут, чтобы *заманить* мореплавателей.

— Дабы обменяться с ними товарами?

— Дабы они вместе со всем добром разбились о Риф Цезаря, Горе Варяга, Рок Сарацина, Могилу Галеонов, Кладбище Французов, Молот Голландца или иные навигационные опасности, из-за которых о твоей родине идёт столь недобрая слава.

— А-а, — протянула Элиза мелодичным голосом, от которого у Джека едва не подогнулись колени. — Это проливает новый свет на некоторые другие наши обычаи.

— А именно?

— Выходить по ночам с большими длинными ножами, дабы избавить выброшенных на берег моряков от лишних мучений.

— По их просьбе, полагаю?

— Да, и возвращаться с тюками или сундуками добра, полученными в благодарность за услугу. Да, Джек, твоё объяснение куда правдоподобнее — как мило было со стороны добрейшей матушки оберегать мой детский слух от жестокой правды.

— Теперь ты понимаешь, почему английские короли долго терпели — вернее, поощряли, не исключено, что взятками, — корсарские набеги на берега Йглма?

— Это было во вторую неделю августа. Мы с матушкой шли по пляжу…

— Там есть *пляжи?*

— Мне он казался золотым, — возможно, то была прибрежная топь. Перед нами ослепительно белел Снежный утёс.

— Как, летом?

— Не от снега. То был дар чаек, на котором держится процветание Йглма. У нас с матушкой были слкс и сктл.

— Чего-чего?

— Первое — орудие для отбивания, рубки, соскребания и ворошения, состоящее из устричной раковины, привязанной к берцовой кости.

— Почему не к палке?

— Англичане вырубили все наши леса. Сктл — бадья или ведро. Мы были на полпути к утёсу, когда услышали некий ритмичный звук. Не привычное биение волн об острые скалы; он был быстрее, резче, гулче — бой дикарских африканских барабанов! Северных, не конголезских, но всё равно африканских, не свойственных нашей местности. В йглмской музыке ударные почти не используются…

— Трудно сделать барабан из крысиной шкуры…

— Мы повернулись к солнцу. В бухте — на смятом листе сусального золота — скользила тень, похожая на сколопендру; её бесчисленные ноги двигались взад-вперёд под барабанный бой…

— Исполинская сороконожка шла по воде?

— То была многовёсельная галера берберийских корсаров. Мы бросились бежать, но грязь засасывала так, что у нас ещё несколько недель были сквщ.

— Сквщ?

— Синяки на пятках, подобные следу от поцелуя. Пираты спустили шлюпку и направили её по мелководью наперерез нам. Несколько человек — силуэты в тюрбанах, столь варварские и непривычные для моего юного взора — выпрыгнули и побежали за нами. Один угодил прямиком в зыбун.

— Так! Начинается то, что мы в Уоппинге зовём потехой!

— Только прирождённая йглмка могла бы отыскать проход в зыбучих песках. В мгновение он ушёл по шейку и забился, выкрикивая стихи из священного Корана.

— А твоя мать сказала: «Мы можем убежать, но христианский долг повелевает выручить бедного моряка; мы обязаны пожертвовать свободой,

дабы спасти его жизнь», и вы остались.

— Нет, матушка сказала что-то вроде «Есть шанс убежать, однако у чуреков мушкеты; я притворюсь, будто хочу помочь тому чернозадому, может, нам это зачтётся».

— Вот женщина!

— Она потребовала весло и протянула его увязшему моряку. Видя, что она не проваливается, другие отважились вылезти из лодки и вытащили товарища. Нас как-то странно обнюхал не говорящий по-английски офицер, всем своим видом показывая, что ему ужасно неловко. Затем нас посадили в лодку и доставили на галеру, а с неё — на сорокапушечный корсарский галеон. Не какую-нибудь развалюху-барку, а настоящий линейный корабль, отбитый, купленный или взятый в аренду у какого-то европейского военного флота.

— И над твоей матерью грубо надругались похотливые магометане.

— Нет. Этих людей, судя по всему, в женщинах влекло лишь то, что объединяет нас с мужчинами.

— Неужто брови?

— Нет, нет!

— Так ногти? Потому что…

— Прекрати!

— Но человеколюбие, которое проявила твоя мать к бедному моряку, не осталось без награды? В минуту нечаянной опасности он как-то её спас — верно?

— Он через два дня умер от тухлой рыбы, и его выбросили за борт.

— Тухлой рыбы? *На корабле?* В *океане?* Мне казалось, мусульмане очень серьёзно относятся к провианту.

— Он её не ел, просто коснулся, когда готовил.

— Какого чёрта…

— Не спрашивай меня, — сказала Элиза, — спрашивай странного господина, принудившего мою матушку утолять его извращённое сластолюбие.

— Ты вроде бы сказала…

— Ты спросил, надругались ли над ней *магометане*. Этот господин не был мусульманином. Или евреем. Или ещё кем из тех, кто практикует обрезание.

— Э…

— Мне остановиться и нарисовать картинку?

— Нет. Так кто он был?

— Не знаю. Он никогда не покидал свою каюту на корме корабля, как если бы страшился солнечного света или хотя бы загара. Когда матушку

туда привели, высокие окна были завешены тяжёлым бархатом, темно-зелёным, словно кожица авокадо — плода, произрастающего в Новой Испании. Не успела она опомниться, как её припёрли спиной к ковру…

— Ты хотела сказать «бросили на ковёр».

— Нет. Ибо стены и даже потолок каюты были убраны ковром. Шерстяным, тончайшей ручной работы, с самым густым и роскошным ворсом (по крайней мере, так показалось моей матушке, которая до того ковров никогда не видела) и золотистым, словно спелая нива…

— По твоим словам, там было темно.

— С этих свиданий она возвращалась вся в ворсе. И даже в темноте чувствовала спиной затейливый узор, вытканный искусными ремесленниками.

— Пока вроде всё не так плохо — если сравнивать с тем, что обычно ждёт женщину на корабле корсаров.

— Я ещё не упомянула смрад.

— Мир вообще смердит, девонька. Лучше зажать нос и привыкать помаленьку.

— Ты не узнаешь, что такое смрад, пока…

— Извини меня. Ты бывала в Ньюгейтской тюрьме? В Париже на исходе лета? В Страсбурге

после чумы?

— Подумай о рыбе.

— Теперь ты снова о ней.

— Господин ел исключительно тухлую рыбу — протухшую некоторое время назад.

— Всё. Довольно. Хватит меня дурачить. — Джек заткнул пальцами уши и спел несколько весёлых мадригалов, состоящих по большей части из «фа-ля-ля».

Минуло, быть может, несколько дней — дороги на западе длинные. Однако со временем Элиза возобновила рассказ:

— Берберийские пираты дивились ничуть не меньше твоего, Джек. Впрочем, судя по всему, господин обладал неограниченной властью и мог добиться, чтобы все его желания исполнялись. Каждый день кого-нибудь из моряков за провинность отправляли готовить тухлую рыбу. Несчастный падал на колени и молил лучше выпороть его или протащить под килем. Однако всякий раз кого-то одного избирали и отправляли за борт по верёвочной лестнице…

— Это ещё зачем?

— Рыба тухла в открытой лодке, которую тянули за кораблём на длинном-предлинном буксирном тросе. Раз в день лодку подтягивали к борту, и

несчастный под дулами пистолетов спускался в неё, зажав в зубах листок с рецептом блюда, которое заказал господин. Матросы, задыхаясь, травили буксир, и повар приступал к готовке на маленькой жаровне. Закончив, он махал флагом с костями и черепом. Его подтягивали к корме, из убранной коврами каюты спускали верёвку, и он привязывал к ней корзину с приготовленной трапезой. Позже господин звонил в колокольчик, и юнгу били палками по пяткам, пока тот не соглашался забрать посуду и выбросить её за борт.

— Ясно. В каюте, значит, стояла вонь.

— Господин пытался заглушить её пряностями и восточными благовониями. Всюду стояли искусно изготовленные деревья с листочками, пропитанными редкими духами. Фимиам курился над золотыми решётками восточных жаровен, в хрустальных фиалах плескались благоуханные настои, окрашенные лепестками тропических цветов, а смоченные в них тампоны распространяли ароматы по воздуху. И всё, разумеется, тщетно, потому что…

— В каюте стояла вонь.

— Да. Разумеется, мы с матушкой почувствовали её примерно за милю, когда нас везли на галере, но объяснили тогда варварским обычаем

корсаров и мужским бытом. Мы дважды видели, как готовят еду, однако ничего не поняли. На второй раз повар — тот самый моряк, которого спасла моя матушка, — не помахал Весёлым Роджером, а как будто заснул в лодке. Чтобы его разбудить, принялись дудеть в трубы и палить из пушек… всё тщетно. Наконец его втащили на палубу, и корабельный врач, дыша через повязку, смоченную цитрусовым маслом, миррой, мятой, бергамотом, опием, розовой водой, шафраном и анисом, объявил, что несчастный мёртв. Он порезал руку, разделывая недельной давности каракатицу, и трупный яд, попав в кровь, убил его, как стрела из арбалета промеж глаз.

— Ты описываешь каюту господина с подозрительной полнотой и дотошностью.

— О, меня тоже туда водили. После того как матушка не выдержала проверки на вонь, господин пришёл в ярость, и в качестве жертвы ему предложили меня. Однако и я его не удовлетворила, поскольку, по малолетству, не выделяла тех женских гуморов, которые…

— Замолчи. Всё, замолчи. Моя жизнь, с тех пор как я подошёл к Вене, превратилась в балаган уродов на Варфоломеевской ярмарке.

Прошёл час или, может быть, два.

— Так я должен поверить, что тебя и твою дражайшую матушку похитили средь йглмских топей исключительно в надежде, что матушка пройдёт проверку на вонь.

— Корсары думали, что пройдёт, но офицер, который её обнюхивал, ошибся — его обоняние…

— …Отшибли миазмы прибрежных топей и залежей гуано. Господи, ничего хуже мне слышать не доводилось… а я-то боялся напугать тебя *своей* историей. — Джек замахал руками встречному монаху и крикнул: — Эй, в какой стороне Массачусетс? Я становлюсь пуританином.

— Позже во время плавания господин раз или два всё-таки попользовался моей бедной матушкой, но лишь за отсутствием иного выбора, ибо мы не проходили мимо отдалённых поселений, где можно похитить женщин.

— Ладно, давай начистоту — что он делал в своей убранной коврами каюте?

Тут на Элизу напала несвойственная ей робость. Они были уже в нескольких днях пути от Вены. Девушка сняла окровавленный офицерский камзол и сидела теперь в одеяле поверх палатки, в которой Джек впервые её увидел. Время от времени Элиза предлагала уступить ему место в седле и пойти пешком, но она была босая,

а Джек не хотел мешкать. Голова Элизы, впрочем, выступала из куля, и Джек мог бы, обернувшись, сколько угодно её разглядывать. Обычно он этого не делал, понимая, что не следует всматриваться в плавную симметрию её лица, идеально ровные зубы и ловить оттенки пресловутых чувств, быстрых и завораживающих, как огонь. Однако сейчас Джек обернулся: Элиза замолчала так резко, что он подумал, уж не выбило ли её из седла шальное ядро. Она никуда не делась, просто смотрела на идущих впереди путниц: четырёх монахинь.

Вскоре они обогнали монашенок и оставили их позади.

— Можешь говорить, — сказал Джек, однако Элиза, стиснув зубы, смотрела вдаль.

Четверть часа спустя они миновали сам монастырь, а *ещё* через четверть часа Элиза как ни в чём не бывало принялась подробно расписывать, что происходило за занавесями цвета авокадо на ковре золотом, как спелая нива. Описывались довольно чудны́е вещи — из индийских книг, как подозревал Джек.

В целом рассказы Элизы странным образом достигали кульминационной точки на подъезде к монастырю или городу. Джек услышал всё, что хотел, и даже больше — сальная история, излага-

емая в таких подробностях, стала однообразной, и с какого-то момента ему начало казаться, что цель повествования — внушить чувство глубочайшей вины и отвращения к себе любому слушателю-мужчине.

Припоминая последние несколько дней их общего странствия, Джек заметил, что в чистом поле или в лесу Элиза по большей части молчала. Однако стоило им заметить селение или монастырь (которыми эти католические края кишели, как блохами), её язык принимался работать и рассказ принимал чрезвычайно интересный оборот как раз у городских ворот или дверей обители. Здесь Элиза замолкала и не раскрывала рта, пока город или монастырь не оставались далеко позади.

— Следующая остановка: Берберийский берег. Поскольку мы не угодили господину, то попали в общий фонд европейских невольников, который насчитывает десятки тысяч человек.

— Чёрт, я понятия не имел!

— Вся Европа глуха к их участи! — воскликнула Элиза, и Джек с опозданием осознал, что наступил на больную мозоль.

Слова хлынули стремительным потоком. Если бы только её голова была по-прежнему замотана:

дёрнуть посильнее, затянуть узлом, и его мучения позади. Вместо этого, отпустив поводья на всю длину, Джек смог буксировать благородного жеребца, которого нарёк (или перенарёк) Турком, на значительном отдалении, как корабль в Элизиной сказочке лодку с протухшей рыбой. Тем не менее до его слуха то и дело долетали отрывки страстного монолога. Джек узнал, что матушку продали в гарем оттоманского военачальника в алжирской касбе, и та все своё неограниченное свободное время посвятила созданию Общества британских невольников, которое имеет теперь отделения в Марокко, Триполи, Бизерте и Феце, встречается раз в две недели (исключая Рамадан), а его устав занимает сотни страниц, причём Элизе надлежало переписывать их от руки на краденой оттоманской бумаге после учреждения каждого нового филиала…

Путники приближались к Линцу. Монастыри, богатые усадьбы и посёлки встречались теперь всё чаще. В середине гневной проповеди об участи белых невольников в Северной Африке Джек (просто из желания проверить, что будет) замедлил шаг перед воротами особо мрачной готической обители. Оттуда доносилось заунывное пение монахинь. Внезапно Элиза резко сменила

тему.

— Начиная фразу, — заметил Джек, — ты рассказывала о процедуре внесения поправок в устав Общества британских невольников, затем плавно переключилась на то, как целый корабль индийских танцовщиц сел на мель рядом с замком мальтийских рыцарей. Уж не боишься ли ты, что я брошу тебя здесь или продам какому-нибудь крестьянину?

— Что тебе до моих *чувств?*

— А ты не думаешь, что в монастыре тебе было бы *лучше?*

Судя по всему, Элиза прежде об этом не *думала,* но сейчас *задумалась*. Личико её наполнилось самым очаровательным испугом и обратилось к воротам обители.

— О, я свои обещания выполню. Проболтавшись столько лет на ногах у висельников, я научился ценить честное слово. — Джек на мгновение замолчал, перебарывая смешок. — Да, преимуществ в путешествии с Джеком Куцым Хером много: никто надо мной не властен. У меня есть ботфорты. Сабля, топор и конь. Я не могу покуситься на твою честь. Мне ведомы тайные тропы контрабандистов. Я знаю арго и язык жестов, на котором общаются вагабонды, составляющие

(если позволено выразиться поэтически) тайную сеть, что передаёт информацию по всему миру и действует безотказно, даже если какие-то части её повреждены. Благодаря ей я знаю, через какие страны можно идти без опаски, а в каких жестоко преследуют бродяг. Тебе достался не худший спутник.

— Так почему же ты говоришь, что мне было бы лучше здесь? — Элиза кивнула на монастырь, тянущийся к дороге готическими флигелями, словно жук — жвалами.

— Некоторые сказали бы, что я должен был предупредить раньше: ты пустилась в путь с человеком, которого в большинстве стран могут схватить и повесить без разбирательства.

— О-о-о! Ты ужасный преступник?

— Лишь отчасти — но не поэтому.

— Так почему же?

— Я принадлежу к определённому типу — дьяволов бедняк.

— Ой.

— Стыдно признаваться — однако в опьянении от боя и бренди я показал тебе другой мой секрет и не думаю, что могу упасть в твоих глазах ещё ниже.

— Что такое дьяволов бедняк? Ты сатанист?

— Если бы! Ха! Нет, это английское выражение. Есть два вида бедняков — Божьи и дьяволовы. Божьим беднякам — вдовам, сиротам и бежавшим из плена смазливым белым невольницам — можно и нужно помогать. Чертовым беднякам помогать бесполезно — только деньгам перевод. Разницу между этими двумя категориями признают все цивилизованные страны.

— Думаешь, тебя повесят прямо здесь?

Они остановились на холме над поймой Дуная. Внизу лежал Линц. После ухода войск он сжался раз в десять, до своих обычных размеров: на земле остался шрам, вроде розовой кожицы на месте отпавшего струпа.

— Сейчас тут должно быть более-менее ничего — много солдат возвращается через этот край. Всех не перевешаешь — верёвки в Австрии не хватит. Я насчитал полдюжины висельников на деревьях у городских ворот и ещё столько же голов на стенах — умеренно низкое количество для города такого размера.

— Тогда на рынок, — объявила Элиза, сверкая глазами.

— Ага. Въезжаем в город, находим улицу торговцев страусовыми перьями и идём от лавки к лавке, выбирая, кто больше даст?

Элиза сникла.

— В том-то и беда с редким товаром, — сказал Джек.

— И что ты думаешь делать?

— О, любой товар можно продать. В каждом городе есть улица, где купят что угодно. Моё дело — знать эти улицы.

— Джек, какую цену даст скупщик краденого? Мы очень сильно прогадаем.

— Зато у нас будет в карманах серебро, девонька.

— Может, потому ты и дьяволов бедняк, что заполучив ценную вещь, пробираешься в город, как человек, которого ждёт наказание, может быть — смертная казнь, и идёшь к последнему барыге, который работает даже не на самого перекупщика, а на его посредника.

— Заметь, я жив, свободен, при ботфортах, сберёг почти все части тела…

— И приобрёл французскую хворь, которая сведёт тебя с ума, а затем и в могилу за несколько лет.

— Это больше, чем я прожил бы в таком городе, выдавая себя за купца.

— Я клоню к другому — ты сам сказал, что наследство для сыновей надо скопить *сейчас*.

— Что я и предлагаю. Или у тебя есть предложение получше?

— Надо отыскать ярмарку, на которой мы сумеем сбыть перья непосредственно торговцу роскошью — такому, который отвезёт их в Париж и продаст знатным дамам и господам.

— О, да. Такие торговцы всегда рады вести дела с бродягами и беглыми невольницами.

— Ой, Джек, надо просто *о*деваться, а не *из*деваться.

— Есть некоторые чуткие ранимые люди, которые сочли бы это замечание обидным. По счастью, я…

— Ты не задумывался, почему каждое мое движение сопровождается шелестом и шуршанием? — Элиза продемонстрировала.

— Воспитание не позволяло мне осведомиться о фасоне твоего белья, но коли ты сама завела этот разговор…

— Шёлк. Под бурнусом на мне намотано с милю шёлка. Я украла его в лагере визиря.

— Шёлк. Слыхал о таком.

— Иголка, немного ниток, и я стану знатной дамой с головы до пят.

— А я кем? Придворным недоумком?

— Моим слугой и телохранителем.

— О, нет…

— Только для видимости! Небольшой спектакль на время ярмарки! Всё остальное время я буду твоей преданной слугой, Джек!

— Что ж, знаю, ты любишь сказки, и не прочь разыграть с тобой короткий спектакль. Только прости, пожалуйста, но разве на то, чтобы сшить наряд из турецкого шёлка, не требуется долгое время?

— Джек, много на что требуется время. Это займёт всего несколько недель.

— Несколько недель… А ты знаешь, что в здешних краях бывает зима? И что сейчас октябрь?

— Джек?

— Элиза?

— Что твоя аргоговорящая сеть сообщает о ярмарках?

— Они по большей части проводятся осенью и весной. Нам нужна лейпцигская.

— Правда? — На Элизу эти слова, видимо, произвели впечатление.

Джеку стало приятно — дурной знак. Если для тебя единственная радость — произвести впечатление на конкретную девушку, значит, пиши пропало.

— Да, потому что там восточные товары,

привезённые из Турции и России, меняют на западные.

— Скорее на серебро — кому нужны западные изделия!

— Правда твоя. Старые бродяги тебе скажут, что парижских купцов лучше грабить по пути в Лейпциг, когда они везут серебро, нежели на обратном пути, когда они нагружены товаром, который ещё поди сбудь. Хотя молодёжь возражает, что серебро теперь вообще никуда не возят: расчёты совершаются в обменных векселях.

— В любом случае Лейпциг — то, что нам надо.

— За исключением одной мелочи: осенняя ярмарка закончилась, а до весенней надо пережить зиму.

— Помоги мне пережить зиму, Джек, и весной в Лейпциге я выручу тебе вдесятеро против того, что ты получил бы здесь.

Настоящий бродяга так не поступил бы. Ошибка многократно усугублялась перспективой провести столько времени с одной определённой девушкой. Однако Джек сам загнал себя в ловушку, когда упомянул сыновей.

— Всё обдумываешь? — спросила Элиза некоторое время спустя.

— Давным-давно бросил, — отвечал Джек. —

Сейчас я пытаюсь вспомнить, что знаю о местности отсюда до Лейпцига.

— И что же ты пока вспомнил?

— Только что мы не увидим никого и ничего старше пятидесяти лет.

Джек двинулся к парому через Дунай. Турок следовал за ним. Элиза ехала молча.

Богемия

осень 1683

В трёх днях езды от Дуная дорога сузилась до колеи в тощей древесной поросли, заглушаемой высоким бурьяном. Бурьян кишел насекомыми и шевелился от невидимых зверьков. Джек вытащил янычарскую саблю из одеяла, в которое та была завёрнута с самой Вены, и смыл в ручье засохшую кровь. Стоя в ярком солнечном свете, по колено в бурой воде, он нервно тёр саблю и встряхивал ею в воздухе.

— Что тебя тревожит, Джек?

— С тех пор как паписты перебили всех приличных людей, в этих краях живут лишь разбойники, гайдуки и вагабонды…

— Я уже догадалась. Я хотела сказать, что-то насчёт сабли?

— Её невозможно вытереть: трогаешь — сухая, а на солнце струится, как вода.

Элиза отвечала стихами:

– Булат струйчатый — мир его называет.
Напоённый ядом, врагов в смятенье повергает,
Стремительно разит, кровь всюду проливает.

И в мраморных чертогах лалы и яхонты сбирает[57].

…во всяком случае, так сказал поэт.

— Кто сочинил такую дичь?

— Поэт, разбиравшийся в саблях лучше тебя. Ибо это почти наверняка дамасская сталь. Вероятно, сабля стоит больше, чем Турок и страусовые перья вместе взятые.

— Стоила бы, если б не это. — Джек уместил подушечку большого пальца в выщербину на клинке, ближе к острию. Сталь вокруг была чёрной. — Не поверил бы, что такое возможно.

— Это здесь он врубился в мягкое подбрюшье твоего мушкета?

— Мягкое?! Ты видела только деревянную часть. Однако в неё был упрятан железный шомпол. Сабля разрубила дерево — ничего примечательного, — разрезала шомпол и надсекла ствол. Когда порох наконец вспыхнул, пуля дошла только до этого места, и тут дуло разорвало. Что и погубило янычара, поскольку лицо его находилось…

— Я видела. Или ты отрабатываешь рассказ, чтобы потом развлекать друзей?

---

[57] Примечания: 57

«Тысяча и одна ночь», пер. Е. Завьяловой.

— У меня нет друзей. Я собираюсь устрашать врагов.

Джек рассчитывал, что слова прозвучат грозно, но Элиза только взглянула на горизонт и подавила вздох.

— Или, — продолжала она, — таким рассказом можно привлечь человека, который скупает на рынке легендарные клинки.

— Сделай милость, выкинь из головы мысли о рынках. Как убеждает пример великого визиря, все богатства мира не впрок, коли не можешь их защитить. Это сокровище и средство защиты, слитые воедино, — совершенство.

— По-твоему, человек с конём и саблей достаточно защищён в таком месте?

— Ни один уважающий себя разбойник не станет селиться в *безлюдье*.

— А что, все леса в христианском мире такие? По матушкиным сказкам я ожидала увидеть деревья-исполины.

— Два-три поколения назад здесь зрела пшеница. — Джек ятаганом срезал несколько спелых колосьев, выросших на солнечном пятачке у ручья, спрятал саблю в ножны и понюхал зерно. — Добрые селяне приходили сюда в страдную пору, неся на плечах серпы. — Он стянул бот-

форты и вошёл в ручей, ощупывая дно босыми ступнями. Через мгновение нагнулся, вытащил длинный, зазубренный от камней серп — изъеденный полумесяц ржавчины на сломанной чёрной рукояти. — Точили серпы на окатанных водой камнях. — Он поднял голыш, несколько раз провёл им по серпу и снова бросил на берег. — За этим занятием они не прочь были промочить горло. — Джек снова пошарил ногой в воде, нагнулся, достал глиняный кувшин и вылил оттуда желтовато-бурую струю болотной воды. Кувшин он бросил на берег. Затем, по-прежнему держа в руке ржавую дугу серпа, двинулся к замеченному ранее экспонату. Он нашёл, что хотел, и чуть не упал, стоя на одной ноге, как фламинго, и шаря другой по дну. — Так шла их простая, счастливая жизнь, пока не случилось нечто…

Джек медленно и (он надеялся) драматично провёл серпом над водой, изображая смерть.

— Чума? Голод?

— Религиозная рознь! — объявил Джек и вытащил из воды побуревший человеческий череп, явно со следом от сабли на виске. Элизу (ему показалось) потряс фокус: не череп (она видела вещи похуже), но ловкость исполнения. Джек замер с серпом и черепом, растягивая мгновенье. — Ко-

гда-нибудь видела моралите?

— Матушка про них рассказывала.

— Предполагаемая публика: вагабонды. Цель: вложить в их убогие умишки некую идиотскую мораль.

— И в чём же мораль твоей пьесы, Джек?

— О, моралей в ней много: держитесь подальше от Европы. Или: когда приходят люди с оружием, бегите. Особенно если в другой руке у них Библия.

— Разумный совет.

— Даже если это означает определённые жертвы.

Элиза рассмеялась как девчонка.

— А, вот теперь-то, чую, мы переходим к настоящей морали.

— Смейся сколько хочешь над бедолагой, — сказал Джек, потрясая черепом. — Если бы он бросил урожай и дал дёру вместо того, чтобы цепляться за домишко и землю, мог бы дожить до сего дня.

— А бывают восьмидесятилетние бродяги?

— Вряд ли, — согласился Джек. — Они просто выглядят вдвое старше своих лет.

Путники углубились в мёртвую Богемию по заросшим дорогам и звериным тропам. Зверья здесь расплодилось видимо-невидимо. Джек

оплакивал утрату Бурой Бесс, из которой можно было настрелять сколько хочешь оленей — или по крайней мере напугать их до родимчика.

Порой они спускались с лесистых холмов и пересекали равнины — бывшие пастбища, заросшие колючим кустарником. Джек сажал Элизу в седло, чтобы колючки, крапива и насекомые не портили её внешность. Не из жалости; просто Элиза существовала для того, чтобы Джеку было чем любоваться. Иногда он без всякого уважения к дамасской стали рубил саблей кусты.

— Что вы с Турком видите? — спрашивал он, поскольку сам видел лишь пожухшие осенние листья.

— Справа вздымается уступ, за ним — высокие чёрные горы, на уступе крепость, совсем не такая изящная, как мавританские, однако недостаточно прочная, чтобы устоять перед разрушившей её неведомой силой.

— Это артиллерия, девонька, — рок старых крепостей.

— Значит, папистская артиллерия пробила в стенах несколько брешей, образовав каменные осыпи в сухом рву. Остатки раствора белеют на камнях, как осколки костей. Потом внутри вспыхнул пожар и сгорело всё, за исключением

нескольких балок. Стены над окнами и бойницами покрыты копотью, — очевидно, замок пылал много часов, словно алхимическая печь, в которой целый город очищался от ереси.

— У вас в Берберии есть алхимики?

— Они есть у вас в христианском мире?

— Очень поэтично, как и прежние твои описания разрушенных замков, но меня больше волнует практическая сторона. Ты видишь дымки костров?

— Я их упомянула. А также тропы в кустах, проложенные людьми или лошадьми. О них я тоже сказала.

— Ещё что-нибудь?

— Слева озеро — с виду довольно мелкое.

— Едем к нему.

— Турок сам к нему свернул — хочет пить.

Они нашли несколько озёр, и после третьего и четвёртого (все — под развалинами замка) Джек понял, что это пруды, вырытые или по крайней мере расширенные тысячами бедолаг с лопатами и кирками. Один цыган в Париже как-то рассказывал ему о прудах далеко на востоке, ближе к Румынии, где рыб разводят, как скот. По рыбьим скелетам на берегу Джек видел, что другие уже бывали здесь и вкушали от чешуйчатых стад,

взращённых мёртвыми реформатами. У него потекли слюнки.

— За что паписты так возненавидели этот край? — спросила Элиза. — Матушка рассказывала, что протестантских стран много.

— Я вообще-то стараюсь в такое не вникать, — отвечал Джек, — но случилось, что под Вену я пришёл почти из такого же опустошённого края, где каждый крестьянин готов вновь и вновь пересказывать историю последних войн. Край тот зовётся Пфальц, и правители его несколько поколений назад были протестантскими героями. Один из них женился на англичанке по имени Елизавета, сеструхе Чака Первого.

— Карл Первый — это тот, который рассорился с Парламентом, и ему отрубили голову на Чаринг-Кросс?

— Он самый. Его сестрице, как ты скоро узнаешь, повезло не многим больше. Потому что здесь, в Богемии, протестанты устали от папистов, выбросили их из окон замка в навозную кучу и провозгласили страну свободной от папизма. В отличие от голландцев, которые прекрасно обходятся без монархов, богемцы не могли представить себе страну без короля, поэтому пригласили Елизавету и её муженька. Те и

заняли престол — на одну зиму. Потом пришли папские легионы и устроили тут то, что ты сейчас видишь.

— А Елизавета и её муж?

— Зимние король и королева, как их стали называть, бежали. В Пфальц они вернуться не могли, поскольку в нём творилось то же самое (вот почему тамошние жители по сей день об этом говорят), поэтому некоторое время скитались, как вагабонды, пока не осели в Гааге, где и переждали войну.

— Дети у них были?

— Она щенилась без остановки. Господи! Послушать, так она плодила их одного за другим, через девять с половиной месяцев, всю войну… не помню сколько.

— Не помнишь? Сколько же длилась война?

— Тридцать лет.

— Ой.

— Она нарожала не меньше дюжины. Старший стал курфюрстом Пфальцским, другие, насколько я знаю, рассеялись по свету.

— Ты так чёрство о них говоришь, — фыркнула Элиза. — Я уверена, каждый хранит в сердце память о том, как поступили с его родителями.

— Прости, девонька, я запутался — ты о пфальц-

ских щенках или о себе?

— И о себе тоже, — признала Элиза.

Они с Джеком питались по большей части зерном. Как Джек любил напоминать Элизе по несколько раз на дню, он был не из тех, кто обрастает имуществом. Однако он обладал нюхом на то, что может пригодиться, и, когда все повара побежали грабить турецкий лагерь, стащил из военного обоза ручную мельницу. Довольно было повертеть ручку, и зерно превращалось в муку. Не хватало только печи — по крайней мере так думал Джек, покуда как-то вечером между Веной и Линцем Элиза палочками не вытащила из костра плоский чёрный диск. Когда она отряхнула золу, диск оказался бурым, а на изломе исходил паром, почти как хлеб. Это, объяснила Элиза, магометанская лепёшка, не требующая печи и вполне съедобная — ну разве что уголёк на зубах хрустнет. Сейчас они ели их уже больше месяца. По сравнению с настоящей едой это было не очень, по сравнению с голодухой — вполне сносно.

— Хлеб и вода, хлеб и вода — будто снова в корабельном карцере. Хочу рыбы! — объявил Джек.

— Когда ты побывал в корабельном карцере?

— Всё-то тебе надо знать. Ну, наверное, после

отплытия с Ямайки, но до нападения пиратов.

— Что ты делал на Ямайке? — с подозрением спросила Элиза.

— Воспользовался связями в армии, чтобы попасть на корабль, доставляющий порох и пули тамошним укреплениям его величества.

— Зачем?

— Порт-Рояль. Хотел увидеть Порт-Рояль, который для пиратов то же, что Амстердам для евреев.

— Ты хотел стать пиратом?

— Я хотел свободы. Как бродяга я её имел. Пираты (так я думал) те же бродяги, только морские. Говорят, все моря, если собрать их вместе, больше суши, и я полагал, что пираты куда свободнее бродяг. И намного богаче — все знают, что улицы Порт-Рояля вымощены испанским серебром.

— И что, правда?

— Почти. Всё серебро мира берётся из Перу и Мексики…

— Знаю. В Константинополе расплачиваются пиастрами.

— …путь его в Испанию проходит мимо Ямайки. Пираты из Порт-Рояля перехватывают немалую часть. Я добрался туда в семьдесят шестом — всего через несколько лет после того, как Морган само-

лично разграбил Панаму и Портобело, а добычу привёз на Ямайку. Это было богатое место.

— Рада, что ты хотел стать буканьером… а то я уже испугалась, что ты решил заделаться плантатором.

— В таком случае, девонька, ты единственная, кто ставит пиратов выше плантаторов.

— Я знаю, что на островах Зелёного мыса и на Мадере весь сахар выращивают рабы — так ли на Ямайке?

— Разумеется! Все индейцы перемёрли или разбежались.

— Тогда лучше быть пиратом.

— Ладно, неважно. За месяц на корабле я понял, что в море нет вообще никакой свободы. Корабль, может, и движется, да только вода повсюду одинакова, и пока ждёшь, что на горизонте покажется земля, ты заперт в ящике с кучей несносного дурачья. На пиратском корабле то же самое. Есть чёртова уйма правил, как оценивать и делить добычу между пиратами разного ранга. Так что я провёл мерзкий месяц в Порт-Рояле, стараясь уберечь задницу от этих козлов-буканьеров, и отплыл назад на корабле с сахаром.

Элиза улыбнулась, что делала нечасто. Джеку не нравилось, как действуют на него её редкие

улыбки.

— Ты много повидал, — сказала она.

— Мне больше двадцати лет, девонька. Такой старикашка, как я, одной ногой в могиле, должен был прожить целую жизнь, повидать Порт-Рояль и прочие диковинные места. Ты — совсем дитя, у тебя впереди лет десять, а то и все двадцать.

— Это на корабле с сахаром ты угодил в карцер?

— Да, за какую-то воображаемую провинность. Напали пираты. Ядро пробило борт. Шкипер увидел, как его прибыль растворяется. Всю команду высвистали наверх, все грехи простили.

Элиза продолжала расспросы, Джек не отвечал: он изучал пруд и полузаброшенную деревушку на берегу. Особенное внимание он уделял струйкам прозрачного дыма, которые тянулись вверх и завивались клубами у какого-то невидимого атмосферного барьера. Они поднимались из-под навеса, пристроенного к стене обвалившегося дома. Где-то скулила собака. Через кустарник от леса к пруду были протоптаны тропы, сам лес был окутан дымом и паром.

Джек пошёл вдоль пруда, хрустя рыбьими костями, и добрался до деревни. Крестьянин тащил к хибарке вязанку хвороста с себя ростом.

— У них нет топоров, поэтому они вынуждены топить не дровами, а хворостом, — заметил Джек, выразительно похлопывая по топору, который прихватил в подземном туннеле под Веной.

Крестьянин был в деревянных башмаках и лохмотьях цвета золы. Вокруг вилось облако мух. Он жадно смотрел на ботфорты Джека, изредка скорбно поглядывая на саблю и коня, означавших, что ботфортов он не получит.

– *J'ai besoin d'une cruche*, — сказал Джек.

Элиза изумилась:

— Джек, мы в Богемии! Почему ты говоришь по-французски?

– *Il y a quelques dans la cave de ça — là-bas, monsieur*, — ответил крестьянин.

– *Merci*.

– *De rien, monsieur*[58].

— Надо глядеть на башмаки, — беззаботно объяснил Джек, выждав несколько минут, чтобы Элиза смутилась по-настоящему. — Никто, кроме французов, не носит сабо.

— Но каким образом?..

---

[58] Примечания: 58

Мне нужен кувшин.

Есть несколько в погребе внизу, мсье.

Спасибо.

Не за что, мсье (*фр.*).

— Во Франции крестьянам несладко. Они отлично знают, что на востоке есть пустующие земли. Как и те, кого мы ждём сегодня к обеду.

– К обеду?

Джек нашёл в погребе глиняный кувшин и велел Элизе набросать внутрь камешков. Сам он занялся пороховницей, оставшейся от Бурой Бесс; оторвал от рубашки полосу ткани, вывалял её в порохе до черноты, поджёг край с помощью кремня и огнива и стал смотреть, как пламя и чёрный дым побежали по тряпице. Детишки француза собрались посмотреть. Они сплошь кишели блохами. Джек велел им не подходить близко. Горящий запал их заворожил — ничего интереснее они в жизни не видели.

Элиза набрала полкувшина камешков. Остальное было довольно просто. Остатки пороха вместе с новым запалом отправились в кувшин. Джек поджёг конец запала, заткнул горлышко тёплым свечным огарком, чтобы не попала вода, и забросил кувшин далеко в воду. Пруд проглотил его и через мгновение рыгнул: вода заходила, запенилась, из неё, как по волшебству, поднялось облако сухого дыма. Через минуту вся поверхность пруда была покрыта оглушённой рыбой.

— Обед готов! — закричал Джек.

Однако лес и без того ожил — цепочки людей двигались по тропам, как огонь по запалу.

— В седло, девонька, — посоветовал Джек.

— Они опасны?

— Смотря о чём речь. Мне повезло: меня не берут чума, проказа, гнойная язва…

Он мог не продолжать: Элиза уже запрыгнула на лошадь стремительным движением, которое восхитило бы любого мужчину (за исключением содомита). Джек, за отсутствием других развлечений, научил её верховой езде; сейчас она умело поворотила Турка и въехала на мшистый пригорок — самое высокое место поблизости.

— То было в лето Господне тысяча шестьсот шестьдесят пятое, — сказал Джек. — Мои дела шли в гору: мы с братом Бобом основали процветающее заведение, которое оказывало услуги осуждённым. Первым намёком стал запах серы, затем — серный дым на улицах, гуще и зловоннее обычного лондонского тумана. Серу жгли, чтобы очистить воздух.

— От чего?

— Затем по улицам потянулись повозки с дохлыми крысами, затем с кошками, затем с собаками и, наконец, с мёртвыми людьми. На некоторых домах стали появляться нарисован-

ные красным мелом кресты: вооружённая стража стояла рядом с этими домами, чтобы несчастные обитатели не выломали забитые двери. Мне было никак не больше семи. Видеть, как они стоят в серном дыму, словно статуи героев, с алебардами и мушкетами наготове, под несущийся отовсюду похоронный звон… мы с Бобом как будто попали в другой мир, не покидая Лондона. Все публичные увеселения запретили. Даже ирландцы не устраивали своих папистских праздников, и многие подались в бега. На Тайберне не вешали. Театры закрылись в первый раз со времён Кромвеля. Мы с Бобом разом лишились и заработка, и развлечений, на которые его тратить. Ушли из Лондона. Подались в леса. Как все. Там было не протолкнуться. Разбойникам пришлось собрать манатки и перебраться подальше. Ещё до того, как мы — лондонцы, бегущие от Чумы, — пришли в леса, там были целые города из шалашей, в которых жили вдовы, сироты, увечные, дурачки, безумцы, беглые подмастерья, бездомные проповедники, погорельцы, жертвы наводнений, дезертиры, бывшие солдаты, актёры, девицы, нагулявшие детей, лудильщики, коробейники, цыгане, беглые рабы, музыканты, списанные на берег матросы, контрабандисты, ошалелые ир-

ландцы, рантеры, диггеры, левеллеры, квакеры и повитухи. Короче, обычный состав вагабондов. Теперь к ним добавились все лондонцы, которым хватило прыти удрать от Чёрной смерти. Через год Лондон сгорел дотла — ещё один исход. Через год обанкротилась флотская финансовая часть — к нам присоединились тысячи моряков, которые не получили жалованья. Мы кочевали по югу Англии, словно рождественские христославы из ада. Больше половины ждало, что через несколько недель наступит конец света, поэтому мы не загадывали надолго. Ломали изгороди и стены, борясь с Огораживанием, браконьерствовали в имениях особо набожных лордов и епископов. Они нам спасибо не говорили.

Покуда он вещал, бродяги по большей части вышли на открытое место. Джек смотрел не на них — он и так знал, как они выглядят, — а на Элизу, которая явно нервничала. Турок почувствовал это и теперь косил на Джека, показывая белый магометанский полумесяц в глазу. Джек знал, что так будет со всяким человеком и животным, которого они встретят в дороге, — каждый охотно позволит Элизе сесть на себя верхом, будет сопереживать ей, словно актрисе на Саутуаркской сцене, и злобно коситься на Джека. Осталось

лишь придумать, как это использовать.

Элиза задышала спокойнее, увидев, что бродяги — просто люди. Они были даже чище и менее зверского вида, чем крестьяне, особенно когда полезли в пруд за рыбой. Двое цыганят, тащивших на берег огромного — с кузнеца — карпа, собрали толпу зрителей.

— Некоторые из этих рыбин, небось, помнили войну, — задумчиво произнёс Джек.

Несколько человек подошли — не слишком близко — засвидетельствовать почтение Джеку и (в большей мере) Элизе. Один из них был жилистый малый, чьи бледно-зелёные глаза смотрели с анатомического комплекса, менее всего напоминающего лицо. Нос отсутствовал, вместо него имелись два вертикальных дыхательных отверстия, верхней губы тоже не было, уши напоминали фестоны, на лбу алели какие-то слова. Он шагнул вперёд, остановился и отвесил низкий поклон. Странного человека окружали обладатели обычных ушей и носов, которые явно его любили. Они улыбались Элизе, убеждая её, что не надо с криком скакать прочь.

— Прокажённый? — с вежливым изумлением спросила она. — Но тогда он не пользовался бы такой популярностью.

— Беглый, — сказал Джек. — Когда польский крестьянин убегает, его ловят, клеймят и отрезают ему какую-нибудь часть тела — разумеется, ненужную для работы, — чтобы в следующий раз легче было узнать. Вот, девонька, кого я называю чёртовыми бедняками — тех, кого не исправят ни люди, ни церковь. Смотри, упорство принесло ему целую свиту обожателей.

Джек перевёл взгляд на берег, где вагабонды под зачарованными взглядами бродячих собак руками вырывали из рыб кишки. Потом посмотрел на Элизу, которая внимательно его разглядывала.

— Пытаешься вообразить меня без носа?

Элиза опустила глаза. Джек ещё никогда не видел её потупившейся. Это взволновало его, и он рассердился на своё волнение.

— Не смотри так — я этого не люблю. Последним, кто смотрел на меня вот так, с отличного скакуна, был сэр Уинстон Черчилль.

— Кто это? Англичанин?

— Джентльмен из Дорсетшира. Роялист. Люди Кромвеля сожгли его поместье. Он лет десять — пятнадцать жил на пепелище, растя детей, отбиваясь от бродяг и дожидаясь, когда вернётся король, а когда дождался, стал лондонским хлыщом.

— И почему он смотрел на тебя с лошади?

— На время Чумы и Пожара сэр Уинстон Черчилль сумел устроить себе местечко в Дублине — отправился туда по королевским делам. Время от времени он возвращался лизнуть задницу его величеству и осмотреть то, что осталось от поместий. В один из таких наездов он с сыном посетил Дорсет и поднял на ноги местное ополчение.

— А ты был там?

— Да.

— Не случайно, полагаю?

— Мы с Бобом и несколькими приятелями решили поддержать трогательный местный обычай.

— Деревенские пляски?

— Некогда по тамошним дорогам бродили толпы вооружённых дубинами крестьян. Кромвель их перебил, но не всех — мы надеялись на возрождение традиции. Прокормиться более мягкой формой бродяжничества стало трудно из-за всевозрастающей конкуренции.

— И как сэр Уинстон отнёсся к вашей затее?

— Не захотел, чтобы его дом снова сожгли: он как раз через двадцать лет сумел подвести крышу. Он был тамошний наместник — пост, на который король назначает главных своих

подхалимов, — соответственно, ему подчинялось местное ополчение. Большая часть наместников сидит в Лондоне, но после Чумы и Пожара люди вроде меня устроили в провинции весёлую жизнь, так что наместникам дали право обыскивать подозрительных лиц на предмет оружия, заключать под стражу и всё такое.

— Тебя взяли под стражу?

— Что? Нет, мы были обычные мальчишки, а с недокорму выглядели даже моложе своих лет. Сэр Уинстон решил для острастки повесить несколько человек — обычный способ убедить бродяг перебраться в соседнее графство. Выбрал троих и вздёрнул на ближайшем суку, а мы с Бобом в качестве последней услуги повисли у них на ногах, чтобы сократить мучения. Тут нас и заметил сэр Уинстон Черчилль. Мы с Бобом на одно лицо, хотя отцы у нас наверняка разные. Вид двух одинаковых мальчишек, исполняющих своё дело с хладнокровием, порождённым большим опытом, позабавил сэра Уинстона. Он подозвал нас и тут-то (вместе со своим сыном Джоном, всего на десять лет старше меня) оглядел так, как ты смотришь сейчас.

— И к каким выводам пришёл *он?*

— Я не стал дожидаться, когда он придёт к

выводам, а сказал что-то вроде: «Вы здесь ответственное должностное лицо?» Боб к этому времени уже смылся. Сэр Уинстон рассмеялся как-то чересчур весело и сказал, что да, он. «Ну, я бы хотел заявить жалобу, — сказал я. — Вы объявили, что проведёте парочку показательных повешений. И так вы представляете себе образцовую казнь? Верёвка слишком тонкая, петля завязана плохо, сук того гляди сломается, а само повешение, позволю себе заметить, было проведено без должного эффекта. Вздумай Джек Кетч так халтурить на Тайберне, его бы порвали на куски».

— Но, Джек, разве ты не понял, что сэр Уинстон употребил слово «показательный» совершенно в другом смысле?

— Понял, разумеется. И, разумеется, сэр Уинстон пустился в такие же нудные объяснения, что и ты сейчас, хоть я и перебивал его множеством куда более глупых шуток, — как вдруг Джон Черчилль взглянул в сторону и сказал: «Послушай, отец, второй малый роется в наших вещах».

— Что? Боб?

— Я отвлекал их, девонька, чтобы они смотрели на меня, покуда Боб что-нибудь у них стибрит. Только Джон Черчилль нас раскусил.

— И что сэр Уинстон подумал о тебе после этого?

— Он вытащил хлыст. Тут Джон заговорил с ним шёпотом и, как я понимаю, переубедил отца. Сэр Уинстон объявил, что увидел в мальчиках Шафто качества, полезные в полковой жизни. С этого дня мы стали чистильщиками сапог и мушкетов, мальчишками, которых гоняют за пивом, и вообще вестовыми в местном полку сэра Уинстона Черчилля. Получили возможность доказать, что мы Божьи, а не чёртовы бедняки.

— Так вот где ты получил воинские познания.

— Вот где я *начал* их получать. Это было добрых шестнадцать лет назад.

— И потому, наверное, ты сочувствуешь вот им. — Элиза повела взглядом в сторону бродяг.

— Ты что, думаешь, я устроил затею с рыбой из благотворительности?

— Ну…

— Нам надо получить сведения.

— От *них?*

— Я слышал, что в некоторых городах есть здания, которые зовутся библиотеками, и в них полно книг, а в каждой книге — по истории. Так вот, ни в одной библиотеке нет столько историй, сколько в лагере вагабондов. Как доктора

словесности отправляются в библиотеку, чтобы читать истории, так и мне надо кое-что выведать у кого-то из этих людей. Я не знаю, у кого именно, потому собрал всех.

— Что выведать?

— О лесистой, холмистой местности к северу от этих краёв, где из-под земли круглый год бьёт горячая вода и бездомные странники не замерзают от холода. Видишь ли, детка, если мы собирались перезимовать здесь, то к сбору дров следовало приступить месяц назад.

Джек подошёл к бродягам и, поговорив с ними на не слишком благозвучной смеси воровского жаргона, французского и языка жестов, вскоре выяснил всё что хотел. Среди них было много гайдуков, которые промышляли набегами на турок. По коню и сабле они угадали часть истории, поэтому стали звать Джека с собой. Джек счёл за лучшее ускользнуть, пока дружеские просьбы не перешли в требование. Кроме того, зрелище разношёрстных бродяг, кромсающих пятидесятилетнего карпа, стало почти таким же апокалиптическим, как картины турецкого лагеря, и захотелось поскорее оставить его позади. Элиза и Джек отправились на север. Ночь впервые выдалась такая холодная, что им пришлось

лечь у костра под одним одеялом. Элиза спала крепким сном, Джек почти не сомкнул глаз.

Богемия

зима 1683–1684

В две недели, прошедшие с тех пор, как Джек, уподобившись Христу, накормил тысячу бродяг при помощи одной маленькой пороховницы, они с Элизой почти не разговаривали, разве что о насущных заботах по поддержанию жизни. Холмистая местность с сожжёнными замками, прудами и широкими долинами сменилась гористой, которая то ли меньше пострадала от войны, то ли быстрее оправилась. С холмов и перевалов они видели бурые поля, на которых, как пузыри на стоячей воде, темнели копны сена, и аккуратные городки, ощетинившиеся трубами, словно пиками и мушкетами, выставленными против стужи. Джек пытался сравнивать увиденное с тем, что рассказали бродяги. Бывали ночи, когда путники думали, что точно погибнут, а потом находили брошенную лачугу, пещерку или просто расселину между камнями, где можно было сложить лежанку из палой листвы и развести костёр.

Наконец они внезапно, как на засаду, вышли

в долину, где ветви деревьев кутал седой туман и пар поднимался от зловонной речки, бегущей по причудливому разноцветному ложу. «Мы на месте», — сказал Джек и, спрятав Элизу в лесу, выехал на открытое место. Он поговорил с двумя рудокопами, которые выковыривали из речных наносов странного цвета камешки, пахнущие как Лондон в чумные годы. Сера! Джек почти не говорил по-немецки, они не знали английского, но прониклись уважением к коню, ботфортам и сабле. Сопением и жестами рудокопы показали, что не будут возражать, если он перезимует у горячих ключей, в полулиге выше по ручью.

Туда Элиза с Джеком и отправились. Ручей вытекал из пещеры, в которой было всегда тепло. Долго оставаться они там не могли из-за ужасающего зловония, но ходили туда отогреваться, пока чинили развалившуюся лачугу на берегу ручья. Джек рубил деревца и носил Элизе, а она затыкала дыры. Крыша не защитила бы от дождя, но спасала от снега. У Джека осталось немного серебра, он покупал кроликов у рудокопов, которые ставили в лесу хитрые силки.

Таким образом, первый месяц на горячих ключах состоял из маленьких побед в борьбе за выживание, которые забывались на следующий

день, и разговаривали они о самых простых крестьянских делах. Но вот пришёл день, когда уже не требовалось проводить каждую минуту в заботах. Джеку было все равно. Однако Элиза дала понять, что некоторые мысли не оставляли её всё это время.

— Чем ты недовольна? — выпалил Джек одним — вероятно, декабрьским — днём.

— Не обращай внимания, — фыркнула Элиза. — Погода немного хмурится.

— Погода или ты?

— Просто думаю… о всяком.

— Так брось думать. В этой лачуге и так-то лечь почти негде, а тут ещё по полу течёт ручеёк слёз. Разве мы не говорили несколько месяцев назад о женских настроениях?

— Трогательная забота. Как тебя отблагодарить?

— Перестань реветь!

Элиза несколько раз всхлипнула так, что лачуга содрогнулась, затем распяла Джека фальшивой улыбкой.

— Так тот полк…

— Что-что? Я должен не только спасать тебя от голода и холода, но и развлекать?

— Ты не хочешь о нём разговаривать. Может,

на тебя тоже напала тоска?

— Твой хитрый умишко ни на минуту не перестаёт работать. Ты употребишь мои рассказы против меня. В них есть некоторые подробности, не очень важные, к которым ты питаешь нездоровый интерес.

— Джек, мы живём как скоты, в дикой глуши — что я сделаю с историей, которой лет почти как мне? И, бога ради, что мне ещё делать, если у меня нет иголок и ниток?

— Ну вот, опять заладила. Где, по-твоему, скот в дикой глуши может раздобыть иголки и нитки?

— Попроси рудокопов купить в городе. Они возят Турку овёс — почему не нитку с иголкой?

— Тогда они догадаются, что у меня здесь женщина.

— У тебя не будет здесь женщины, если не расскажешь мне историю или не добудешь нитку с иголкой.

— Ладно. Та часть истории, которая наверняка тебя чересчур взволнует, состоит в том, что, хотя сэр Уинстон Черчилль не бог весть что за птица, его сын Джон на какое-то время достиг высокого положения. Теперь это в прошлом. Вряд ли он когда-нибудь снова отличится, разве что при дворе.

— Ты же говорил, что его отец был немногим лучше бродяги.

— Да. И Джон никогда не достиг бы таких высот, не будь он умён, красив, отважен и хорош в койке.

— Когда же ты меня с ним познакомишь?

— Знаю, именно к этому ты меня всё время подталкиваешь.

— И какого же «высокого положения» он достиг?

— Постели любимой фаворитки короля Карла Второго Английского.

Короткая пауза, затем вулканический хохот Элизы. Внезапно наступил апрель.

— Хочешь сказать, что ты, Джек Куцый Хер, которого нельзя называть бродягой, лично знаком с хахалем королевской фаворитки?

— Успокойся, не то порвёшь себе что-нибудь, а тут врачей нет. Если бы ты видела что-нибудь, кроме азиатских гаремов, ты бы не удивилась. Другая любимая фаворитка короля Нелл Гвин — *актриса*.

— Я с самого начала почувствовала, что ты не из простых. Но расскажи — раз уж начал, — как Джон Черчилль попал из отцовского полка в королевскую койку?

— О, учти, Джон никогда не был приписан к отцовскому полку — просто посещал его вместе с папашей. Семья жила в Лондоне. Джон учился в какой-то расфуфыренной школе. Сэр Уинстон прибег к старым связям — вероятно, стал ныть о своей верности королю в Междуцарствие, — и Джона назначили пажом Джеймса, герцога Йоркского, королевского братца-паписта, который, когда я о нём последний раз слышал, был в Эдинбурге и пытал там шотландцев. Однако в то время, около тысяча шестьсот семидесятого, герцог Йоркский жил в Лондоне, и Джон Черчилль, в качестве его пажа, тоже. Шли годы. Мы с Бобом отъелись на солдатских объедках и стали что два бычка для ярмарки.

— Это точно!

— Не притворяйся, будто восхищаешься мной, — ты знаешь мои тайны. Мы продолжали служить в полку. Джон Черчилль на несколько лет отправился в Танжер сражаться с берберийскими пиратами.

— Чего ж он *меня* не освободил?

— Может, ещё освободит. Сейчас я подхожу к осаде Маастрихта — это город в Голландии.

— Далековато от Танжера.

— Слушай внимательно. Он вернулся из Тан-

жера, покрытый славой. Тем временем Карл II заключил пакт — вообрази! — с королём Луём Французским, архипапистом, таким богатым, что он подкупил не только английскую оппозицию, но и *другую* партию — просто для смеха. Итак, Англия и Франция вместе напали на Голландию. Король Луй в сопровождении передвижного города придворных, любовниц, генералов, епископов, официальных историографов, поэтов, портретистов, поваров, музыкантов и свиты всех этих ребят, а также свиты свитских, прибыл под Маастрихт и задал осаду, как обычные короли задают пир. Лагерь у него был не такой роскошный, как у великого визиря под Веной, но народец собрался познатнее. Все европейские модники поспешили туда. А Джон Черчилль был модник хоть куда. Он отправился под Маастрихт. Я и Боб — с ним.

— Что-то я перестала понимать. Кто пригласил двух шалопаев?

— Во-первых: мы *в последнее время* не шалили. Во-вторых: самым разблагородным господам надо, чтобы кто-то выносил ночные горшки и (в бою) закрывал их от пуль.

— В-третьих?

— Нет никакого в-третьих.

— Врёшь. Ты приоткрыл рот и поднял палец, а потом передумал.

— Ладно. В-третьих, Джон Черчилль — придворный, временами альфонс, модный хлыщ — лучший командир, какого я видел.

— Ясно.

— Хотя Ян Собеский тоже неплох. Впрочем… мне больно это признавать.

— Очевидно.

— Но это правда. И как отличному командиру ему хватило ума собрать вокруг несколько человек, которые и впрямь будут что-то делать. Тебе, наверное, трудно поверить, но попомни мои слова — когда серьёзным толковым людям надо что-то сделать в реальном мире, всякие соображения этикета и традиций летят в помойку.

— Так он считал, что вы с Бобом на что-то годитесь в реальном мире?

— Доставлять приказы на поле боя.

— Он был прав?

— Наполовину.

– *Один* из вас оказался хорошим вестовым, а другой…

— Я не оказался плохим вестовым, я просто нашёл более разумный способ проводить время.

— Джон Черчилль дал тебе приказ, а ты отка-

зался?

— Нет, нет, нет! Всё было не так. Ты следила за осадой Вены?

— Ещё бы! Ведь от исхода зависела моя девственность.

— Расскажи мне, что делал великий визирь.

— Рыл перед стенами одну траншею за другой, каждая следующая на несколько ярдов дальше предыдущей. Из самой дальней провёл подкоп под такую крепость, вроде наконечника стрелы…

— Называется равелин. Во всех современных крепостях такие есть, в том числе в Маастрихте.

— Неважно. Продвигался. И так далее.

— Все осады проводятся так. Включая маастрихтскую.

— Итак?

— К тому времени, как прибыла модная публика, всё рытьё закончили. Траншеи и сапы выкопали. Пришло время штурмовать некое укрепление, которое сапёр правильно назвал бы люнетом, но очень похожее на равелин, который ты видела в Вене.

— Отдельная крепость перед остальной.

— Да. Король Луй хотел, чтобы английские воины-джентльмены к концу были либо его

должниками, либо покойниками, поэтому уступил им честь штурмовать люнет. Джон Черчилль и герцог Монмутский — ублюдок короля Карла — повели атаку и одержали победу. Черчилль самолично водрузил французский (как ни противно говорить) флаг на парапете захваченного укрепления.

— Потрясающе!

— Я сказал тебе, что *когда-то* он был очень значительным персонажем. Они спустились с изрытого траншеями гласиса, чтобы провести ночь в праздновании.

— Так тебе ни разу и не поручили доставить приказ?

— На следующий день я почувствовал, как земля переворачивается, и, взглянув на люнет, увидел, что пятьдесят французских солдат взлетели на воздух. Защитники Маастрихта подвели под люнет контрмину. Голландцы хлынули в пролом и ударили в штыки по тем, кто уцелел после взрыва. Казалось, они отобьют люнет и загубят славные достижения Черчилля и Монмута. Я был менее чем в десяти футах от Джона Черчилля, когда это случилось. Ни секунды не колеблясь, он бросился вперёд со шпагой в руке — ясно было, что мушкеты тут не помогут. Чтобы

сберечь время, он бежал поверху, а не по апрошам — под огнём защитников города, на виду у всех историографов и поэтов, наблюдавших в усыпанные драгоценными камнями театральные бинокли из окон своих карет, с расстояния, на которое не долетали пули и ядра. Я стоял, дивясь его глупости, пока не понял, что мой брат Боб бежит за ним следом.

— И?..

— И подивился Бобовой глупости. Сама посуди, в какое дурацкое положение он меня поставил!

— Ты всегда думаешь о себе.

— По счастью, передо мной появился герцог Монмутский и велел доставить сообщение ближайшей роте французских мушкетёров. Я побежал по траншее и нашёл мсье д'Артаньяна, офицера, который…

— Перестань!

— Что?

— Даже я слышала о д'Артаньяне! Думаешь, я тебе поверю?

— Мне можно продолжать?

Вздох.

— Да.

— Мсье д'Артаньян, который, как ты, похоже, не понимаешь, был вполне реальным человеком,

а не только романтической легендой, послал своих мушкетёров в атаку. *Все мы* с подозрительной отвагой двинулись на люнет.

— Потрясающе! — проговорила Элиза почти без иронии.

Сперва она не поверила, что Джек действительно видел великого д'Артаньяна, но теперь увлеклась повествованием.

— Поскольку мы бежали не по апрошам, как сделали бы *трусы*, мы добрались до места сражения с той стороны, с которой голландцы не поставили достаточной обороны. Все мы — французские мушкетёры, английские ублюдки, альфонсы и бродяги-вестовые — добежали туда одновременно. Однако дальше надо было пробираться через брешь, в которую предстояло лезть по одному. Д'Артаньян добрался туда первым, преградил дорогу герцогу Монмутскому и в самой учтивой французской манере умолял его не лезть в опасный пролом. Монмут настаивал. Д'Артаньян согласился, но лишь с условием, что он, д'Артаньян, полезет первым. Так он и сделал, и ему прострелили башку. Остальные пробежали по его телу и одержали свою смешную победу, а я остался приглядеть за д'Артаньяном.

— Он был жив?!

— Нет, конечно. Его мозги разбрызгало по моей одежде.

— Ты остался стеречь его тело?..

— Вообще-то, я положил глаз на его перстни.

У Элизы стало такое выражение, будто ей самой прострелили голову, причинив неведомой тяжести рану. Джек собирался перейти к более славной части повествования, однако Элиза упёрлась.

— Покуда твой брат рисковал жизнью, ты *грабил убитого д'Артаньяна?* В жизни не слышала ничего хуже.

— Почему?

— Это так… малодушно.

— Зря ты. Я был в большей опасности, чем Боб. Пуля пробила мне *шляпу*.

— И всё равно…

— Бой *кончился*. Перстни были размером с *дверные ручки*. Прославленного мушкетёра так и похоронили бы в перстнях — если бы кто другой не украл их раньше.

— Ты забрал их, Джек?

— Он надел их, когда был моложе и стройнее. Снять их было нельзя. Поэтому я упёрся ногой в его поганую подмышку — не худшее место, в каком бывала моя нога, но близко к тому — и

потянул что есть силы, силясь перетащить перстни через наплывы жира, накопленного за годы распутства и пьянства, в то же время спрашивая себя, почему бы просто не отрезать пальцы к чертям собачьим…

Тут у Элизы стало такое лицо, будто она съела испорченную устрицу, и Джек торопливо продолжил:

— И тут появляется — кто бы ты думала? — мой братец Боб, с выражением праведного ужаса на физиономии, как у викария, который увидел, что служка дрочит в алтаре… или как у тебя сейчас… в форме маленького барабанщика… с посланием… невероятно срочным… от Черчилля к одному из генералов короля Луя. Он останавливается, чтобы прочесть мне лекцию о воинской чести. «Ах, ты ведь сам не веришь в эту ахинею», — говорю я. «До сегодняшнего дня не верил, но если бы ты видел то, что видел сегодня я, — те подвиги, которые совершили славные братья по оружию, Джон Черчилль, герцог Монмутский и Луи Эктор де Виллар, — ты бы поверил».

— И он поспешил с посланием, — сказала Элиза, глядя отсутствующим взглядом, который совершенно не понравился Джеку, — тот предпочёл бы, чтоб она оставалась в лачуге с ним. — И Джон

Черчилль не позабыл отвагу и верность Боба.

— Ага. Через два месяца Боб отправился с ним в Вестфалию и сражался под французскими знамёнами в качестве наёмника против безвинных реформатов, в сотый раз ровняя с землёй Пфальц. Не припомню, какое отношение это имеет к воинской чести.

— Ты же, со своей стороны…

— Глотнул коньяка из фляжки д'Артаньяна и скатился обратно в канаву.

Последние слова вернули Элизу в настоящее место (лачуга в Богемии) и время (лето Господне 1683). Она обратила на Джека всю силу своих синих глаз.

— Ты постоянно выставляешь себя таким негодником, Джек, — говоришь, будто хотел отрезать д'Артаньяну пальцы, предлагаешь взорвать дворец императора Священной Римской империи… И всё-таки я не думаю, что ты на самом деле такой дурной.

— Мой изъян не позволяет мне поступать так дурно, как мне бы хотелось.

— Кстати, Джек. Если ты найдёшь кусок прочной, целой оленьей или бараньей кишки…

— Зачем?

— Турецкий обычай — проще показать, чем

объяснить. И если ты полежишь несколько минут в горячем ключе, чтобы немного отмыться, шанс поступить дурно представится.

— Ладно, отрепетируем ещё раз. «Джек, покажи господину вон тот отрез жёлтого муарового шёлка». Давай — твоя реплика.

— Да, миледи.

— Джек, перенеси меня вон через ту лужу.

— Охотно, миледи.

— Не говори «охотно» — звучит дерзостью.

— Как вам угодно, миледи.

— Замечательно, Джек, куда лучше, чем прежде.

— Вряд ли это оттого, что ты засунула кулак мне в задницу.

Элиза весело рассмеялась:

— Кулак? Джек, это всего два пальца. Кулак был бы больше похож на… вот!

Джек почувствовал, что тело его выворачивается наизнанку. Он забился и закричал и тут же захлебнулся сернистой водой. Элиза свободной рукой схватила его за волосы и вытащила на холодный воздух.

— Ты уверена, что именно так делают в Индии?

— Ты хочешь заявить… *жалобу?*

— А-а-а! Нет.

— Попомни мои слова, Джек, — когда серьёзным толковым людям надо что-то сделать в реальном мире, всякие соображения этикета и традиций летят в помойку.

Последовала долгая, загадочная процедура — скучная и в то же время нет.

— Чего ты там шаришь? — слабым голосом пробормотал Джек. — Желчный пузырь левее.

— Пытаюсь найти некую чакру… она должна быть где-то примерно здесь…

— Что такое чакра?

— Найду — узнаешь.

Чуть позже она нашла, и процедура стала напряжённой, если не сказать больше. Вися между руками Элизы, как рыночные весы, Джек чувствовал, что стрелка весов отклоняется по мере того, как большое количество жидкости перекачивается между внутренними резервуарами в подготовке к некоему Событию. И вот наконец оно: Джек забил ногами в горячей воде, словно пытаясь взлететь, однако тело его было насажено на кол. Пузырь непостижимого света, как будто солнце решило по ошибке взойти у него в голове. Некий индуистский апокалипсис. Он умер, попал в ад, взошёл на небо, воплотился в различных

ржущих, визжащих и рычащих животных и повторил этот цикл несколько раз. Под конец он кое-как перевоплотился в человека. Несколько ошалевшего.

— Получил, что хотел? — спросила Элиза очень близко.

Джек некоторое время беззвучно смеялся или рыдал.

— В некоторых готических немецких городках, — сказал он наконец, — есть часы, большие, как дома. Бóльшую часть времени они закрыты, а раз в час из маленькой дверцы выглядывает кукушка и кукует. Но раз в день они делают что-то особливое, раз в неделю — что-то ещё особливее, и как я слышал, при смене года, десятилетия и века со скрипом открываются целые ряды дверец, покрытых застарелой пылью, и весь доселе невидимый внутренний механизм приходит в движение под действием древних гирь на ржавых цепях. Флаги колышутся, механические птицы поют, голубиное дерьмо и паутина сыплются на головы зрителей, Смерть выходит и танцует фанданго, ангелы дуют в трубы, Христос корчится на кресте, потом испускает дух, морские сражения разыгрываются под канонаду, и не будешь ли ты так любезна вынуть руку из

моей задницы?

— Я давно вынула — ты чуть её не сломал! — Стаскивая завязанную баранью кишку, как элегантная дама — шёлковую перчатку.

— Так это навсегда?

— Кончай ныть. Несколько мгновений назад, Джек, если зрение меня не обманывает, я видела, как на удивление большое количество жёлтой желчи вышло из твоего тела и уплыло по течению.

— О чём ты? Я не блевал.

— Подумай ещё раз.

— А, ты об *этом*. Я не назвал бы её жёлтой, скорее беловато-жемчужной. Впрочем, я не видел её много лет. Может быть, от времени она пожелтела, как сыр. Отлично. Можешь называть жёлтой.

— А ты знаешь, Джек, какой страсти соответствует жёлтая желчь?

— Я что, врач?

— Это гумор гнева и дурного характера. Ты много носил её в себе.

— Правда? Хорошо, что она не повлияла на мой нрав.

— Вообще-то, я надеялась, что ты переменил своё мнение касательно иголки и нитки.

— А, это? Я никогда не возражал. Считай, что

они куплены.

Лейпциг

Судя по всему, что я слышала, Лейбниц должен быть очень умён и, следовательно, приятен в общении. Так трудно найти мужчин, которые чисты, не воняют и наделены чувством юмора.

Лизелотта в письме Софии 30 июля 1705

апрель 1684

— Жак, покажи господину вон тот отрез жёлтого муарового шёлка… Жак? *Жак!*

Элиза плавно перешла к жестокой шутке о том, как трудно сейчас найти надёжного и работящего слугу. Она говорила на бойком французском, которого Джек не понимал. Упомянутый господин — очевидно, парижский торговец тканями — оторвал взгляд от Элизиного декольте, чтобы взглянуть ей в лицо и нервно подхихикнуть: он понял, что прозвучало *bon mot**[59], но не услышал слов.

— Ба, он ошалел, что к твоим грудям ещё и

---

[59] Примечания: 59
Острота (*фр.*).

голова прилагается, — заметил Джек.

— Заткнись… когда-нибудь мы напоремся на человека, который понимает английский, — отвечала Элиза и кивнула на шёлк. — Может, проснёшься?

— Я уже проснулся — в том-то и беда.

Джек наклонился отмотать шёлка, чтобы тот реял, как флаг. Не помешал бы луч света. Однако единственным лучезарным небесным телом тут была Элиза в одном из платьев, над которыми трудилась несколько месяцев. Джек видел, как наряды возникают из груды тряпья, поэтому на него они действовали не так сильно. Зато когда Элиза шла по рынку, платья привлекали такие взгляды, что Джеку практически пришлось привязать правую руку к боку, чтобы не выхватить дамасскую саблю и не научить лейпцигских купцов учтивым манерам.

Она вступила в долгий спор с парижанином. В конце концов тот вручил ей засаленный клочок бумаги, на котором что-то было много раз написано разными почерками, забрал у Джека шёлк и ушёл. Джек снова еле сдержал желание схватиться за саблю.

— Это меня убивает.

— Да. Ты всякий раз так говоришь.

— Ты уверена, будто эти клочки чего-то стоят.

— Да! Вот здесь написано, — сказала Элиза. — Прочесть тебе?

Мимо прошёл карлик, торгующий шоколадом.

— Ничего не поможет, кроме серебра у меня в кармане.

— Боишься, как бы я тебя не обманула, пользуясь тем, что ты не можешь прочесть цифры на векселях?

— Боюсь, как бы с ними что-нибудь не случилось, прежде чем мы обратим их в настоящие деньги.

— Что такое «настоящие» деньги, Джек? Ответь мне.

— Ну, пиастры, или, как там их ещё называют, доллары…

— «Т». Начинается с буквы вроде «т» — вот такой. Талеры.

— Д-д-доллары.

— Какое глупое название для денег, Джек. Никто не станет принимать тебя всерьёз, если будешь говорить так.

— Ну, «иоахимсталер» уже сократили до «талер», почему бы не изменить слово ещё малость?

Примерно через месяц зимовки на горячих ключах ими начало овладевать растущее безу-

мие. Джек думал, что медленный запал сифилиса добрался-таки до важных частей мозга, пока Элиза не указала, что они несколько месяцев живут на хлебе, воде и редких ломтиках вяленого карпа. Солдатское жалование довольно скудно, но вместе с тем, что Джек награбил в доме страсбургского богача, обеспечило бы их не только овсом для Турка, но и капустой, картошкой, репой, солониной и даже иногда яйцами — *если Джек не потратит всё.* В качестве закупщиков он нанял двух рудокопов, Ганса и Ганса. Они были не вольные старатели, а работники некоего герра Гейделя из Иоахимсталя, близлежащего городка, где добывали серебро. Герр Гейдель нанимал таких, как Ганс и Ганс, чтобы выкапывать руду и превращать её в слитки, из которых в городе чеканили иоахимсталеры.

Герр Гейдель, прослышав, что странный вооружённый человек поселился в лесах неподалёку от его серных промыслов, поехал с несколькими мушкетёрами выяснить, в чём дело, и застал Элизу одну за шитьём. К тому времени, как несколько часов спустя возвратился Джек, Элиза и герр Гейдель если не сдружились, то, во всяком случае, узнали друг в друге людей одного склада, а следовательно, потенциальных деловых партнёров,

хоть и непонятно, в *каком* деле. Герр Гейдель восхищался Элизой и выражал уверенность, что на лейпцигской ярмарке её ждёт успех. Джек понравился ему куда меньше; единственное, что говорило в пользу Джека, это желание Элизы с ним сотрудничать. Джек со своей стороны готов был мириться с герром Гейделем из-за его умопомрачительной профессии — тот *буквально делал деньги.* Первые несколько раз, когда Джеку пытались объяснить, он считал, что Элиза напутала при переводе. Так не бывает.

— И что, это всё? Выкапывают грязь из земли, пропускают через печь, печатают морду и несколько слов?

— Так он вроде говорит, — отвечала Элиза в несвойственном ей недоумении, — в Берберии расплачиваются испанскими пиастрами — я никогда не видела монетного двора. Хотела сказать, что не отличу монетного двора от скотного, но, судя по всему, разница и правда невелика.

Когда немного потеплело и они смогли добраться до Иоахимсталя, выяснилось, что так примерно и есть. Главным элементом монетного двора был бугай с клещами и молотом. Ему давали серебряные кругляшки — не деньги, — он зажимал их клещами и ударом молота выбивал портрет

какой-то важной карги и латинское изречение, после чего кругляшки *становились* деньгами. Чиновники, инспектора, пробирщики, писари, охрана и прочие паразиты толпились вокруг бугая, но, как вши на быке, не могли скрыть общей природы происходящего. Простота изготовления денег повергала Джека в прострацию.

— Зачем нам отсюда уезжать? После стольких скитаний я обрёл рай.

— Всё не так просто. Герр Гейдель расстроен — он вынужден добывать серу и другие руды. Говорит, что не может заработать деньги, делая деньги.

— Явная глупость. Отпугивает конкурентов.

— Видел заброшенные рудники?

— Руду выбрали, — предположил Джек.

— Тогда почему над устьями шахт по-прежнему стоят механизмы? Почему их не перевезли на те шахты, где ещё есть руда?

Джек не ответил. При следующей встрече Элиза устроила герру Гейделю форменный допрос. Джека за такое любопытство серебропромышленник вызвал бы на дуэль, Элиза же только выросла в его глазах. Герр Гейдель говорил по-французски немногим лучше Джека, и разговор шёл так медленно, что тот почти всё понял. По

неведомым причинам испанцам дешевле было добывать серебро в Мексике и везти кораблями вокруг половины земного шара (несмотря на все усилия английских, голландских, французских, мальтийских и берберийских пиратов), чем герру Гейделю и его собутыльникам — в Иоахимстале, в нескольких днях езды от Лейпцига. Соответственно, работали лишь самые богатые рудники Европы. Стратегия герра Гейделя состояла в следующем: отправить безработных рудокопов добывать серу (до того, как рухнула европейская добыча серебра, это бы не сработало, поскольку те составляли сильную гильдию; однако теперь горняцкий труд подешевел), серу везти в Лейпциг и дёшево продавать изготовителям пороха в надежде сбить цену на него и, соответственно, на войну*[60]. Если воевать станет достаточно дёшево, начнётся чёрт-те что, и, возможно, несколько испанских галеонов потопят, а цена серебра вернётся на приемлемый уровень.

— А не станет ли разбойникам дешевле напа-

[60] Примечания: 60

Выяснилось, что, если просчитать типичную войну, стоимость пороха окажется едва ли не главной. Герр Гейдель уверял, что порох в арсенале Венеции, например, стоит больше, нежели городская казна получает за год. Это объяснило многие странности, которые Джек наблюдал во время различных кампаний и (временно) разубедило его в том, что все офицеры — умалишённые.

дать на вас по пути в Лейпциг? — спросил Джек, смотревший на всё с точки зрения грабежа.

Элиза бросила на Джека взгляд, обещавший страшные кары следующий раз, как она доберётся до его чакр.

— Джек хотел спросить: «Что, если война разразится в местности по пути в Лейпциг?»

Герр Гейдель бровью не повёл. Войны случаются всё время, повсюду и никак не затрагивают лейпцигскую ярмарку. Если нынешние неприятности минуют, он вновь станет богатым купцом. Вот уже пятьсот лет ярмарка пользуется привилегиями, дарованными Священным Римским императором: коль скоро торговец держится определённых дорог и платит номинальную пошлину тем князьям, чьи земли пересекает, он неприкосновенен, даже если едет прямиком через поле сражения. Купцы выше войн.

— А если вы везёте порох для продажи врагу? — спросила Элиза.

И снова герр Гейдель лишь нетерпеливо отмахнулся, словно говоря: войны — забава скучающих князей, а вот ярмарки — дело серьёзное.

Оказалось даже хорошо, что Джек упомянул про разбойников, поскольку герр Гейдель много размышлял на эту самую тему. Его обоз собирался

на открытых местах в Иоахимстале. Возчики, натягивая постромки, уговаривали запряжённых попарно лошадей встать перед фургонами. Погонщики разыгрывали изумление, когда их мулы принимались артачиться, испробовав вес поклажи: первый акт в извечной игре, которая всегда заканчивается хлыстом и бранью. Герр Гейдель не был сейчас *богатым* купцом и в начале пути собирался избегать тех дорог, на которых хочешь не хочешь надо нанимать вооружённый эскорт, так что первая часть поездки обещала быть интересной. Герр Гейдель располагал несколькими людьми, умеющими заряжать и разряжать мушкет, однако был не прочь добавить к своему сопровождению Джека; разумеется, Элиза могла воспользоваться любым из его фургонов.

Джек, сознавая, что на кону стоят Элиза и наследство его сыновей, воспринял свои обязанности серьёзнее, чем обычно. Время от времени он выезжал вперёд — проверить, нет ли засады. Дважды ему попадались кучки безработных рудокопов с кольями и дубинками. Джек рассказывал, как герр Гейдель намерен возродить добычу серебра, и они расходились. На самом деле на них действовало не красноречие, а он сам и его товарищи с ружьями и пистолями. Джек, знавший эту

категорию людей, видел, что они недостаточно голодны (или им недостаёт решительного вожака), чтобы платить за добычу жизнью, особенно если добыча — сера, которую (как напомнил им Джек) нелегко будет обратить в серебро. Её придётся везти на ярмарку и продавать, если, конечно, среди них нет алхимика. Он умолчал, что в одном из фургонов под серой спрятан сундук со свежеотчеканенными иоахимсталерами. Ему *подумалось* упомянуть об этом и потом *самому* возглавить нападение, но он понимал, что в таком случае уедет без Элизы, единственной женщины в мире (во всяком случае, единственной, кого он знал лично), способной доставить ему плотскую радость. Тут он понял, почему герр Гейдель так пристально наблюдал за их с Элизой разговорами: решал, можно ли Джеку доверять. Очевидно, герр Гейдель рассудил, что Джек у неё в кармане. Джеку это было не по душе; впрочем, с герром Гейделем (хоть и не с Элизой) ему предстояло скоро расстаться.

Так или иначе, они проехали к северу от гор, которые герр Гейдель на своём языке называл просто Рудными, в Саксонию, о которой нечего сказать, кроме того, что она плоская. Здесь они выбрались на очень большую и древнюю дорогу,

идущую, по словам герра Гейделя, от самой Вероны до Гамбурга и дальше. На Джека большое впечатление произвели дорожные столбы: десятифутовые каменные обелиски, украшенные гербами давно умерших королей. На каждом указывалось число миль до Лейпцига. По дороге двигалась череда купеческих обозов.

Во влажной низине, расчерченной множеством текущих в разные стороны речушек, она пересекалась с другой дорогой, ведущей якобы из Франкфурта на восток. На пересечении стоял Лейпциг. Джек бóльшую часть дня бродил вокруг, оглядывая его со стороны пригородов, из общего принципа: прежде чем вступить в замкнутое пространство, проверь выходы. У южных ворот выстроилась очередь из фургонов в полмили длиной. Лейпциг оказался меньше и ниже Вены: несколько скромных шпилей и никаких тебе устремлённых в небеса соборов — короче, лютеранский бург. Вокруг крепостные стены и бастионы, всё честь по чести. Дальше простирались поместья и сады, некоторые — больше самого города. Все они принадлежали не знати, а купечеству*[61]. Между поместьями ютились

[61] Примечания: 61

Как заключил Джек по гербам, вырезанным на воротах и вышитым на флагах.

обычные пригороды; за изгородями, похожими на плетёные корзины, прогуливались свиньи. Едва заметное течение лениво вращало несколько мельничных колёс, однако в городе, где столько купцов, мельники стояли в иерархии немногим выше простых крестьян.

У городских ворот Элиза и Джек заплатили по десять пфеннигов за себя и пошлину за шёлк, который при них взвесили на весах. (Страусовые перья Элиза зашила между нижними юбками, так что их не нашли.) Широкая улица вела к центру города, всего на выстрел отстоящему от ворот. Спешившись, Джек впервые за полгода ощутил под ногами булыжную мостовую. Ступни чувствовали каждый камень — пришло время менять подмётки. По обеим сторонам улицы сводчатые подворотни извергали шум. Джек поминутно хватался за саблю, словно чуял засаду, и тут же злился, что ведёт себя как деревенский простофиля, впервые увидевший Париж. Элиза, впрочем, была ошарашена не меньше и постоянно сдерживала шаг, чтобы почувствовать за спиной Джека. На фасадах висели странные вывески или эмблемы, часто золочёные: золотая змея, голова турка, красный лев, золотой лев. Они немного походили на вывески английских

таверн, у которых эмблема заменяет надпись, чтобы неграмотные, вроде Джека, могли их узнать. Однако то были не таверны, а большие особняки со множеством окон, и в каждом имелась огромная сводчатая арка, ведущая во двор, где царил бедлам.

Элиза и Джек продолжали двигаться из страха, что, остановившись, покажут себя тем, кто они есть, — испуганными провинциалами. Через несколько минут они вошли на городскую площадь и оказались перед виселицей, на которой, как водится, болталось несколько трупов. На Джека знакомое зрелище подействовало скорее умиротворяюще, хотя Элиза и пробурчала что-то насчёт гудящего облака мух. Несмотря на пару-тройку повешенных, Лейпциг даже не очень вонял; поразительно, как несколько тонн шафрана, кардамона, аниса и чёрного перца, разложенных вокруг в мешках и тюках, заглушают запахи дыма и сточных вод.

Город тянулся по одной стороне площади и состоял из голландского вида фронтонов наверху и каменной аркады внизу. Здесь тихо и усердно работали хорошо одетые люди. Площадь разрезали узкие сточные канавы, через которые были переброшены мостки для телег и для того, чтобы

дамы, хромые и толстяки могли перебраться на другую сторону, не выставляя себя на посмешище. Джек несколько раз огляделся. Закон явно ограничивал высоту зданий четырьмя этажами — выше поднимались только церковные шпили. Впрочем, закон, видимо, ничего не говорил о *крышах*, поэтому они были островерхие и очень высокие, иногда с само четырёхэтажное здание. Смотреть на них с улицы было все равно что разглядывать горный хребет из долины: целая область мансард, башенок, щипцов, куполов, балконов и даже миниатюрных замков; растительности (в ящиках на окнах) и статуй — не Христа и святых, а Меркурия в крылатых сандалиях и шапке. Иногда его дополняла Минерва с эгидой, но чаще Меркурий был один; не требовалось большой учёности, чтобы понять, что именно он, а не какой-то скорбный мученик, избран покровителем Лейпцига.

Смотреть на чердаки было легче, чем совладать с обилием впечатлений внизу. Восточные люди в огромных, отороченных мехом шапках беседовали с длиннобородыми евреями о пушнине; острозубые мордочки убитых зверьков зло таращились в небеса. Китайцы таскали ящики, надо полагать, с фарфором, бондари чинили бочки,

булочники торговали хлебом, белокурые девицы предлагали апельсины, музыканты играли на органистрах или на диковинных лютнях, у которых от грифа отходили огромные асимметричные укосины для крепления басовых струн. Армяне разливали кофе из огромных, исходящих паром бронзовых сосудов, усталые стражники стояли с пиками и алебардами, турки в тюрбанах пытались выкупить назад диковинные вещицы, тоже (как неожиданно осознал Джек) награбленные при освобождении Вены. Его отчасти позабавила, но гораздо сильнее смутила и раздосадовала мысль, что не они одни догадались отправиться в Лейпциг. В одном месте торговали кальянами; турченята в остроносых туфлях бегали от столика к столику с узорными серебряными жаровнями, брали серебряными щипцами угольки и аккуратно подкладывали в кальяны. Повсюду товары — но здесь, на площади, они были в бочках или тюках, помеченных монограммами купцов.

Джек и Элиза нашли конюшню, куда поместить Турка, потом вышли на улицу и, собравшись с духом, прошли в одну из арок — высокую и такую широкую, что в неё разом могли бы въехать четверо конных. Сам двор был не больше десяти — двадцати шагов и со всех сторон зажат четы-

рёхэтажными зданиями, покрашенными весёлой жёлтой краской, так что попадавший внутрь солнечный свет отбрасывал на всё символический золотой отблеск. Здесь торговали пряностями, скобяным товаром, украшениями, книгами, тканями, вином, воском, вяленой рыбой, шапками, башмаками, перчатками, ружьями и фаянсом; многие торговцы стояли вплотную и кричали друг другу в ухо. Целую сторону двора составляли открытые сводчатые подклети — аркада, всего на пару ступеней выше уровня двора и отделённая от него лишь рядом толстых колонн, всё это — в основании собственно дома. В каждой за массивной конторкой, или *banca*[62], сидел солидный человек в хорошей одежде. К конторкам цепями были прикованы огромные книги, запиравшиеся на замки, здесь же располагались чернильницы и перья. Рядом на полу стояли сундуки, окованные железом или бронзой, опутанные цепями и запертые на замки, какими обычно запирают арсенал. Иногда тут же располагались тюки и бочки с добром, хотя большая часть товаров была свалена во дворе. Футах в шестидесяти — восьмидесяти наверху из фронтонов торчали толстые

---

[62] Примечания: 62

Здесь: конторка, прилавок (*ит., уст.*).

брусья, с которых свешивались верёвки; работники посредством блоков поднимали товары на вместительные чердаки.

— Ждут, когда цены вырастут, — сказала Элиза.

То был первый знак, что она не просто деревенская торговка и её ум работает на три уровня выше простого знания того, сколько стоит бочонок масла.

Джек увидел в Лейпциге столько всего странного и так быстро, что вынужден был немедленно выбрасывать из головы бóльшую часть увиденного, освобождая место для нового. Выброшенное вспоминалось позже, когда он мочился или силился уснуть, и казалось тогда неимоверно странным. Джек не мог понять, что это: сон, явь или свидетельство того, что сифилис, много лет терпеливо подкапывавшийся под его мозг, взорвал первый заряд.

Например, они вошли в одну из факторий*[63] обменять кое-какие монеты, которые Джек скопил в странствиях, но не смог потратить, поскольку никто их не узнавал. В комнате на столе лежали раскрытые книги с круглыми прорезями,

[63] Примечания: 63

Так назывались коммерческие заведения; хозяин фактории звался фактором или комиссионером.

в которые были вставлены монеты — по два экземпляра каждой, чтобы сразу видеть аверс и реверс. Под каждой разноцветными чернилами были написаны загадочные цифры и значки. Меняла листал книгу, пока не нашёл такие монеты, как у Джека, только новее и ярче. Он взял миниатюрные весы: золотые чашечки не больше талера на тонких шёлковых нитях. Положив на одну Джековы монеты, меняла пинцетом принялся укладывать на другую невесомую золотую фольгу, покуда чашки не уравновесились. Потом убрал весы в деревянную шкатулку меньше Элизиной ладони, что-то подсчитал и предложил Джеку пару лейпцигских рацмарок (Лейпциг чеканил свою монету). По настоянию Элизы они обошли несколько меняльных лавок и повторили церемонию, но результат был везде одинаков. Наконец они согласились на обмен, и меняла смахнул Джековы деньги в ящик со старыми монетами и серебряным ломом, по большей части чёрным от времени. «Мы их переплавим», — сказал он, видя Джеково удивлённое выражение. Элиза тем временем разглядывала таблицы обменных курсов и читала написанные мелом на доске названия монет: «Луидор, двойной баварский золотой гульден, соверен, дукат, экю,

бреславльский дукат, швертгрошен, швайдницкий геллер, майссенский грош, шильдгрошен, пфенниг, саксонский грош, энгельгрошен, реал, рацвертмарка, 2/3 талера, английский шиллинг, рубль, абаз, рупия…»

— Вывод: надо заняться меняльным делом, — сказал Джек, когда они вышли.

— Я сделала другой вывод: в этом деле очень большая конкуренция, — отвечала Элиза. — Лучше добывать серебро. Монетчики покупают металл у тех, кто его добывает.

— Однако герр Гейдель скорее даст загнать себе под ногти горящие щепки, чем купит ещё рудник, — напомнил Джек.

— По мне, *лучше* покупать что-то, пока оно дёшево, и ждать, когда подорожает, — сказала Элиза. — Вспомни фактории с их чердаками.

— У нас нет чердака.

— Я выражалась метафорически.

— Я тоже. Нам придётся купить серебряный рудник, зашить его тебе в юбки и носить, пока он не подорожает. — Джек был уверен, что привёл очень убедительный довод, но Элиза лишь глубоко задумалась.

В итоге они оказались на Бирже: в аккуратном домике белого камня, где хорошо одетые люди,

сбившись в толпу, кричали на всех наречиях христианского мира в уверенности, что Святой Дух ярмарки, как в Пятидесятницу, соединит все языки в один. Здесь не было товаров, только бумаги. Джек мог бы до ночи ломать голову над этой странностью, если бы не позабыл обо всём в свете нового поворота событий. Элиза поговорила с торговцем, который, устроив себе передышку, попыхивал трубочкой и прихлёбывал золотое пльзеньское пиво, после чего вернулась к Джеку с торжествующим видом, который явно не сулил ничего доброго.

— Ответ: *Кихеп*, — сказала она. — Мы хотим купить *Кихеп* серебряного рудника.

– *Мы?*

— Разве мы не решили? — Она, вероятно, шутила.

— Прежде объясни мне, что такое *Кихеп*.

— Паи. Рудник делится пополам. Каждая половина — на четверти. Каждая четверть — на осьмушки. И так пока число долей не достигнет шестидесяти четырёх или ста двадцати восьми. Это число долей продаётся. Каждая доля зовётся *ких*.

— А под долей ты, как я понимаю, разумеешь…

— То же, что воры, когда делят добычу.

— Я собирался сравнить с тем, как моряки делят прибыль от рейса, но ты меня опередила и взяла ниже.

— Тот человек чуть не поперхнулся пивом, когда я сказала, что хочу вложить деньги в серебряный рудник, — гордо сообщила Элиза.

— Н-да, хороший знак.

— Он сказал, что на всей ярмарке только один человек пытается их продать — некий доктор. Надо поговорить с доктором.

После долгих и утомительных расспросов, явно не улучшивших баланс Джековых гуморов, выяснилось, что доктор должен быть в стороне *Jahrmarkt*, что означало увеселительную часть *Messe*.

— Фу, как я это не люблю: отвратительное кривлянье мерзких уродов, словно моралите, изображающее мою собственную жизнь.

— Доктор там, — мрачно объявила Элиза.

— Может, дождёмся, когда у нас будут деньги на покупку *Kuxen*? — взмолился Джек.

— Джек, это всё одно — если нам нужны *kuxen*, зачем промежуточные шаги — менять шёлк или перья на монеты, потом монеты на *kuxen*, если можно просто поменять шёлк или перья на *kuxen*?

— Ой, надо же, у этого бочарная клёпка вместо носа! Ты говорила…

— Я говорила, что в Лейпциге любой товар — шёлк, монеты, паи серебряных рудников — теряет свою грубую материальную форму и обретает истинную, как руды в алхимическом тигле становятся ртутью. Всякая ртуть — ртуть, и её можно обменять на ртуть такого же веса.

— Очень мило, но НАМ ПРАВДА НУЖНЫ ПАИ В СЕРЕБРЯНОМ РУДНИКЕ?

— Ой, кто знает? — Элиза беспечно взмахнула рукой. — Мне просто хочется прицениться.

— Я должен таскать за тобой твой кошель, — пробормотал Джек, перекладывая рулоны шёлка с одного плеча на другое.

Итак, на увеселительную ярмарку, неотличимую (с точки зрения Джека) от приюта для одержимых, калек и совсем пропащих: акробатов, канатоходцев, пожирателей огня, иностранцев и загадочных персонажей, которых он иногда видел вместе с бродягами. Доктора они узнали по одежде и парику, которые им описали. Он пытался завести с китайским гадателем философский диспут на тему рисунка в книге. Рисунок состоял из шести горизонтальных черт, частью сплошных (—), частью разорванных (—). Доктор

обращался к китайцу на самых разных языках, но тот с каждым разом принимал всё более достойный и удручённый вид. Достоинство было мудрым орудием против доктора, который сам выглядел сейчас не слишком достойно. На голове у него был самый большой парик, какой Джек видел в жизни; грозовая туча чёрных локонов, зрительно уменьшающих лицо. Со спины доктор выглядел так, словно ему на плечи спрыгнул с дерева медвежонок и теперь пытается открутить голову. Наряд не уступал парику. За долгую зиму Джек выяснил, что у платья больше деталей, названий отдельных частей и связанных с ними технологических операций, чем у кремнёвого замка. Платье доктора могло посрамить любое другое: его кожу отделяли от Лейпцига две дюжины слоёв ткани, принадлежащих бог весть каким предметам одежды: рубашкам, камзолам, полукамзолам и чему-то ещё, для чего в лексиконе Джека не было слов. Если бы переплавить все тяжёлые, нашитые рядами пуговицы, можно было бы отлить фальконет. Ремешки, шнурки и кружево вылезали из отверстий вокруг запястий и горла. Однако кружево не мешало бы постирать, парик — причесать, и сам доктор был в целом не слишком хорош собой. Тем не менее

Джек заподозрил, что он вырядился так не из тщеславия, а с определённой целью. В частности, чтобы выглядеть старше: когда доктор обернулся на Элизин голос, стало видно, что ему не больше сорока.

Балансируя на трёхдюймовых каблуках, он отвесил церемонный поклон и приложился к Элизиной руке. С минуту разговор шёл на французском, которого Джек не понимал. Элиза против обыкновения нервничала, хоть и храбрилась; доктор, очень живой и подвижный, разглядывал её с любопытством. Впрочем, незаметно было, чтобы он таял. Джек заключил, что доктор — евнух или содомит.

Внезапно тот перешёл на английский. Впервые за два года Джек услышал, чтобы кто-то, кроме Элизы, говорил на языке этого далёкого островка.

— По наряду я принял вас за знатную парижанку, однако теперь понимаю, что поспешил с выводом, ибо, присмотревшись, вижу в вас то, чего им обычно недостаёт: истинный вкус.

Элиза онемела, польщённая словами, но ошеломлённая выбором языка. Доктор с виноватым видом прижал руку к груди.

— Неужто я ошибся? Мне почудилось, что пре-

восходный французский, на котором говорит сударыня, украшен чеканной звучностью англо-саксонской каденции.

— Чёрт побери! — сказал Джек.

Элиза метнула в него яростный взгляд, доктор удивлённо вскинул бровь. Теперь, когда Джек понял, что доктор знает английский, он с трудом ограничился одним этим восклицанием; ему хотелось говорить, говорить, говорить, отпускать шуточки*[64], выражать своё мнение по самым разным вопросам, пересказывать забавные случаи и прочая. Он сказал «Чёрт побери!», поскольку боялся, как бы Элиза не начала врать, будто происходит из дальнего уголка Франции. Джек знал толк во вранье и чувствовал, что с некстати проницательным доктором такой номер не пройдёт.

— Когда вы закончите беседу с восточным джентльменом, я бы хотела побеседовать с вами на предмет *Кихен*, — сказала Элиза.

Бровь доктора взметнулась дважды, так что тяжёлый парик угрожающе закачался.

— О, я уже закончил. К несчастью для себя и своего народа, этот мандарин не стремится

---

[64] Примечания: 64

Например: «Доктор, доктор козла постриг: сколько шерстинок пошло на парик?»

улучшить свою философскую позицию: отделить достойную *науку* — теорию чисел — от низкого *суеверия* — нумерологии.

— Я мало осведомлена в этих вопросах, — начала Элиза, очевидно (для Джека) пытаясь сменить тему и очевидно (для доктора) прося разъяснить ей азы упомянутой науки.

— Предсказатели часто пользуются случайными элементами, такими как карты или чаинки, — начал доктор. — Этот китаец бросает на землю палочки и читает их — сейчас неважно, как именно, меня интересует конечный результат: набор из шести линий, частью целых, частью половинчатых. Мы можем добиться того же, бросив шесть монет…

И он принялся охлопывать себя, словно под одежду забралась мышь; всякий раз, отыскав монету в одном из многочисленных карманов, доктор вытаскивал её и подбрасывал в воздух. Монеты (тяжёлые и по большей части золотые) звенели о мостовую, как китайский гонг.

— Он богат, — прошептал Джек, — или связан с богатыми людьми.

— Да — наряд, монеты…

— Подделать легче лёгкого.

— Так как ты угадал, что он богат?

— В лесу только самые страшные хищники позволяют себе резвиться беззаботно. Олени и кролики — нет.

— Ну так вот, — сказал доктор, наклоняясь взглянуть на упавшие монеты. — Орёл, решка, решка, решка, орёл и решка. — Он выпрямился. — Для китайского гадателя эта последовательность имеет глубокий смысл; за небольшое вознаграждение он растолкует вам её по книге, набитой языческой белибердой.

Доктор забыл про монеты; вокруг него удавкой сжималось кольцо ярмарочных завсегдатаев. Без весов и книг каждый пытался оценить, какая монета ценнее. Джек шагнул вперёд, большим пальцем на дюйм выдвинув из ножен саблю. Судя по всему, за ним оборванцы тоже приглядывали — кольцо мигом рассеялось. Джек собрал деньги, чтобы в качестве жеста невиданной порядочности вручить их доктору, как только тот перестанет говорить.

— Для меня же эта последовательность означает число семнадцать.

— Семнадцать? — хором переспросили Элиза и Джек.

Оба вынуждены были поспевать за доктором, который с неожиданной резвостью припустил

на своих высоких каблуках. Он был небольшого роста, но с крепкими икрами, которые замечательно подчёркивались чулками.

— Двоичные, или бинарные числа, не новость, — сказал доктор, взмахивая кружевом на рукаве. — Мой покойный друг и коллега мистер Джон Уилкинс более сорока лет назад опубликовал построенную на них криптографическую систему в своём великом «Криптономиконе»; голландское издание, выпущенное без ведома автора, можно, если заинтересуетесь, купить в книготорговом квартале. Из китайского гадания я беру способ получать двоичным методом *случайные* числа, что значительно укрепляет систему Уилкинса.

На взгляд Джека это было не вразумительнее собачьего лая.

— Крипто… графия — тайнопись? — предположила Элиза.

— Да. Несчастливая необходимость нашего времени, — сказал доктор.

Они выбрались из ярмарочной тесноты и остановились на площади перед церковью.

— Церковь Святого Николая — здесь меня крестили, — сказал доктор. — *Кихеп*! Тема, странным образом связанная с двоичными числами, ибо

количество *Кихеп* конкретного рудника представляет собой степень двойки: один, два, четыре, восемь, шестнадцать… Впрочем, это просто математический курьёз, вам он неинтересен. Я их продаю. Хотите купить? Некогда процветающая отрасль горной промышленности, создавшая состояния таких семейств, как Фуггеры и Хакльгеберы, добыча серебра подорвана Тридцатилетней войной и открытием испанцами чрезвычайно богатых месторождений: Потоси в Перу и Гуанахуато в Мексике. Покупая паи европейских рудников, разрабатываемых *традиционными* способами, сударыня лишь напрасно потратит деньги. Однако мои рудники, вернее, рудники государей Брауншвейг-Люнебургских, порученные моему попечению, будут, полагаю, лучшим вложением средств.

— Почему? — спросила Элиза.

— Это *очень* трудно объяснить.

— О, но вы так хорошо объясняете…

— Предоставьте льстить мне, сударыня, ибо вы куда больше заслуживаете лести. Нет, это связано с нового рода машинами, которые я сам изобрёл, и новым способом извлечения металла из руды, который придумал очень мудрый и — для алхимика — порядочный человек, мой добрый

знакомый. Хотя столь проницательная дама не променяет свои монеты…

— Шелка, — вставил Джек, разворачиваясь, чтобы продемонстрировать товар.

— Э… свои прекрасные шелка на мои *Кихеп* лишь потому, что я говорю на рынке такие слова.

— Вероятно, — согласилась Элиза.

— Вы должны будете прежде осмотреть рудники. Что я и приглашаю вас сделать… выезжаем завтра… однако если бы вы прежде обменяли свои шелка на деньги…

— Погодите! — вступил Джек в роли неотёсанного вооружённого мужлана.

Это дало Элизе возможность сказать:

— Любезный доктор, мой интерес к этой теме был продиктован исключительно женским любопытством. Простите, что потратила ваше время…

— Но зачем-то вы со мной заговорили? Значит, у вас был резон. Поедем, не пожалеете.

— Где это? — спросил Джек.

— В *прелестных* Гарцских горах — несколько дней езды отсюда.

— В общем направлении Амстердама?

— Сударь, по турецкой сабле я принял вас за

своего рода янычара, но ваше знание земель к западу доказывает совсем иное — если бы даже вас не выдал восточно-лондонский акцент.

— Ну ладно, — пробормотал Джек, отводя Элизу на несколько шагов в сторону. — Прокатиться за счёт доктора — чего тут плохого?

— Он что-то задумал, — возразила Элиза.

— И мы что-то задумали, девонька. Это не преступление.

Наконец Элиза вернулась к доктору и сказала, что готова на время «оставить своё сопровождение» за исключением «одного верного слуги и телохранителя» и отправиться в Гарц осматривать рудники. Некоторое время они беседовали на французском.

— Иногда он начинает говорить очень торопливо, — сказала Элиза Джеку. Они в некотором отдалении шли за доктором по улице, состоящей из купеческих особняков. — Я хотела выяснить, сколько примерно стоит пай, а он посоветовал не беспокоиться.

— Странно для человека, который пытается добыть деньги.

— Он сказал, что сперва принял меня за парижанку из-за страусовых перьев на шляпе — они там сейчас в большой моде.

— Снова лесть.

— Нет. Он намекал, что мы должны запрашивать высокую цену.

— Куда он нас ведёт?

— В Дом Золотого Меркурия — факторию семьи фон Хакльгебер.

— Нас оттуда уже выставили.

— Он нас проведёт.

Так и получилось. Доктор поговорил с кем-то в глубине фактории, после чего их впустили в самый большой двор, какой они видели в Лейпциге: узкий, длинный, со сводчатыми аркадами по двум сторонам. Десятки кранов разом поднимали вверх товары, которые, по мнению Хакльгеберов, должны были подрасти в цене, и спускали те, которые пришло время продавать. Всю стену, обращённую к улице, занимало трёхэтажное строение, нависающее над двором, как если бы три яруса балконов слепили в сплошную башню. Все они были закрыты, за исключением верхнего, под золочёной крышей, откуда две непристойно длинноше ие горгульи изготовились блевать дождевой водой (буде пойдёт дождь) на торговцев внизу. «Напоминает кормовую надстройку галеона», — заметила Элиза. Только через несколько минут до Джека дошло, что она вспоминает

свою давнюю историю и таким образом окольным женским путём даёт понять, что ей здесь не нравится. И это несмотря на то, что у них над головами навис, словно пускаясь в полёт, золочёный Меркурий, в рост человека, с золотой палочкой, оплетённой змеями и снабжённой двумя крылышками. «Нет, это храм Меркурия, — сказал Джек, стараясь отвлечь её от галеона. — Храмы Христа в плане имеют крест. Этот — как палочка в его руке, длинный и узкий, арки по сторонам — извивы змей. Крылья фактории расходятся там, где расположена епископская кафедра, а мы — верующие, собравшиеся внизу на *Messe*».

Элиза продала шёлк; как предполагал Джек — удачно. Он знал, что скоро они покинут Лейпциг, и потому старался разглядеть побольше. Наблюдая, как тюки и бочки спускаются и поднимаются на тросах, он приметил одну странность: из многих окон, выходящих во двор, торчали короткие стержни. К ним на шарнирах крепились зеркала, примерно по квадратному футу, наклонённые под разными углами. Сперва Джек подумал, что это способ направить дополнительный свет в плохо освещённые конторы, потом заметил, что зеркала часто поворачиваются, оставаясь в целом обращёнными *вниз*, во двор. Их было несколько

десятков. Наблюдателей, затаившихся в тёмных комнатах, он так и не разглядел.

Позже Джек поднял взгляд к одному из верхних балконов и увидел, что там появилась новая горгулья, на сей раз из плоти и крови: плотный мужчина, не потрудившийся прикрыть отчасти седую, отчасти лысую голову. На каком-то этапе жизни он выдержал борьбу с оспой, утратив в процессе всякое подобие внешности. За долгие десятилетия сытой жизни лицо раздалось вширь, рябая кожа повисла брылами и подбородками, грузными, как сетки, в которых товары поднимают на корабль. Смотрел он на Элизу, и взгляд его Джеку не понравился. Лишь через несколько минут Джек заметил на балконе другого человека, куда более приглядного: доктор изливал слова с неустанным красноречием просителя и жестикулировал так, что кружевные манжеты порхали, точно пара голубков.

Словно двое крестьян под сводами собора Парижской Богоматери, Элиза и Джек исполнили свою роль в мессе и отбыли, не оставив следа, за исключением еле заметной ряби на мощном потоке ртути.

Саксония

конец апреля 1684

Отъезд из города с доктором не был событием одномоментным: это чинное мероприятие заняло целый день. Даже после того, как Джек, Элиза и конь Турок отыскали караван доктора, им пришлось ещё несколько часов таскаться по городу. Сперва загадочный визит в факторию фон Хакльгебера, потом — в церковь Святого Николая, чтобы доктор мог помолиться и причаститься, затем в университет (как всё в Лейпциге, маленький и серьёзный, словно карманный пистоль), где доктор просто просидел в карете полчаса, болтая с Элизой на французском, который предпочитал для возвышенных бесед. Джек, нетерпеливо ходивший вокруг кареты, шоколадно-бурой и сплошь расписанной цветами, как-то приложил ухо к окну и услышал, что они говорят о знатной даме по имени София, потом о нарядах, а ещё через минуту о разнице католических и лютеранских взглядов на пресуществление. Наконец он распахнул дверцу.

— Простите, что прерываю, но я подумываю

отправиться с паломниками в Иерусалим — туда и обратно на карачках — и хотел убедиться, что не задержу отъезд…

— Тс-с! Доктор пытается принять очень трудное решение, — сказала Элиза.

— Я всегда говорю: надо решаться, и всё, от думанья легче не станет, — посоветовал Джек.

У доктора на коленях лежала рукопись; он занёс над ней перо, на кончике которого уже собрались чернила, готовые сорваться кляксой. Доктор поводил головой из стороны в сторону (или это парик так подчёркивал движения), вновь и вновь вполголоса перечитывая один и тот же отрывок. Всякий раз выражения его лица сменялись в новой последовательности, словно у актёра, который разбирает двусмысленный стишок. Должен ли он читать как пресыщенный педант? Как унылый школьный учитель? Как скептик-иезуит? Судя по тому, что доктор сам написал эти слова, причина была в другом: он пытался понять, как воспримут их разного сорта читатели.

— Может, прочтёте вслух?

— Это на латыни, — сказала Элиза.

Снова ожидание. Потом:

— Так что надо решить?

— Опускать или не опускать рукопись в окошко на вон той двери. — Элиза указывала на одно из зданий.

— А что написано на двери?

— «*Acta Eruditorum*» — «Учёные записки». Журнал, который доктор основал два года назад.

— Я не знаю, что такое журнал.

— Газета для учёных.

— А, так он хочет это дело опубликовать?

— Да.

— Если журнал *его*, то чего он мается?

— О! Все учёные Европы прочтут слова на этих страницах — они должны быть безукоризненны.

— Так пусть бы взял их с собой и довёл до совершенства. Здесь явно не место.

— Они закончены годы назад, — проговорил доктор необычно скорбным голосом. — Надо решить: печатать ли их вообще?

— А что, занятный рассказец?

— Это не история, а математическая метода, столь новая, что лишь два человека в мире её понимают, — сказал доктор. — Будучи опубликована, она в корне изменит не только математику, но и все виды инженерного дела и натуральной философии. С её помощью будут строить машины, которые полетят по воздуху, как птицы, и

достигнут других планет. Самая её мощь сметёт старые, обветшалые системы мышления в мусорное ведро.

— И вы её придумали, доктор? — спросила Элиза, поскольку Джек был занят: крутил пальцем у виска.

— Да — семь или восемь лет назад.

— И до сих пор о ней никто не знает, кроме…

— Меня и того, другого.

— Почему же вы не рассказали о ней миру?

— Потому что, сдаётся, тот другой придумал её десятью годами раньше меня — и молчит.

— Ой.

— Я ждал, пока он что-нибудь скажет. Однако он придумал эту методу почти двадцать лет назад и не выказывает ни малейшего намерения поведать о ней человечеству.

— Вы ждали восемь лет… почему сегодня? Уже сильно за полдень, — заметил Джек. — Забирайте бумаги с собой — подумайте-ка над ними ещё года два-три.

— Почему *сегодня?* Я не верю, что Господь отправил меня на землю и дал мне лучший, или почти лучший, разум в сегодняшнем мире, чтобы я тратил жизнь, клянча деньги у таких, как Лотар фон Хакльгебер на очень большую дыру в

земле, — сказал доктор. — Не хочу, чтобы моей эпитафией стало: «Он снизил стоимость добычи серебра на одну десятую процента».

— Верно. По мне, это и есть решение. — Джек сунул руку в карету, взял рукопись, донёс её до искомой двери и опустил в окошко. — А теперь в горы!

— Ещё одно небольшое дельце в книготорговом квартале, — сказал доктор, — раз уж я начал нарываться на неприятности.

Книготорговый квартал выглядел и жил так же, как весь остальной Лейпциг, только здешним товаром были книги: они вываливались из ящиков, громоздились шаткими кипами, укладывались в стопки, которые рабочие заворачивали, обвязывали и складывали одну на другую. Согбенные грузчики таскали их в заплечных корзинах. Доктор, всё делавший неторопливо, несколько минут выстраивал свой караван перед самым большим и чистым входом на книжную ярмарку. В частности, он учтиво попросил Джека сесть на Турка и занять позицию между каретой и книгопродавцами. Джек добродушно согласился, поскольку всё равно потерял надежду выехать из города засветло.

Доктор расправил плечи, разгладил различные

подсистемы одежды (сегодня на нём был камзол, расшитый такими же, как на карете, цветами) и вошёл на книжную ярмарку. Дальше Джек его не видел, но *слышал:* не голос доктора, а то, как его появление подействовало на ярмарочные шумы. Эффект был такой, как будто в готовую закипеть воду бросили щепоть соли: сперва шипение, затем низкий, нарастающий гул.

Выбежал доктор — вполне резво для человека на высоких каблуках. За ним гнались книгопродавцы из*[65] Кенигсберга, Базеля, Копенгагена, Антверпена, Севильи, Парижа и Данцига; почти сразу за первым эшелоном следовал второй. Доктор юркнул мимо Джека, заметно опередив преследователей. При виде верхового с языческой саблей торговцы затормозили и удовольствовались тем, что принялись швырять в него книгами: любыми книгами, которые попались под руку. Они перехватывали грузчиков, разрушали выставочные экспозиции, переворачивали ящики, чтобы добыть свежие метательные снаряды. Воздух вокруг Джека потемнел от книг, как если бы над головой пролетала птичья стая. Книги падали на мостовую, из них высыпались

[65] Примечания: 65
Это, разумеется, лишь догадка.

гравюры: портреты великих мужей, изображения осады Вены, чертежи горных машин, карта какого-то итальянского города, внутренности в разрезе, таблицы чисел, воинские учения, геометрические построения, человеческие скелеты в вызывающих позах, зодиакальные созвездия, рангоут и такелаж иноземной баркентины, схемы алхимических печей, яростные готтентоты с костями в носу, тридцать разновидностей барочных оконных рам. Вся сцена происходила почти без крика, как будто изгнание доктора для книгопродавцев — дело самое заурядное. Когда кучер щёлкнул бичом, они напоследок бросили по книжке-другой и вернулись к тем разговорам, которые прервал доктор. Джек со своей стороны занял позицию почётного арьергарда за телегой с багажом доктора (к которому теперь прибавилось несколько случайно залетевших книг). Звонкое цоканье копыт и скрип колёс по булыжной мостовой райской музыкой ласкали его бродяжий слух.

Разъяснения Джек получил лишь несколько часов спустя, когда они, отъехав на несколько миль от северных ворот Лейпцига, остановились в гостинице по дороге в Галле. К этому времени Элиза совершенно прониклась докторовым

взглядом на события, равно как и его мрачной обидой. Она остановилась в комнате для дам, Джек — в комнате для мужчин; встретились в общей гостиной.

— Он родился в Лейпциге, здесь учился самоучкой, здесь ходил в школу.

— Так он самоучкой учился или в школе?

— И так и так. Его отец, университетский профессор, умер, когда он был совсем маленький. Он выучился латыни в том возрасте, в каком ты болтался на ногах у висельников.

— Забавно. Знаешь, я ведь пытался выучиться латыни, но сперва Чума, потом Пожар, всё такое…

— За неимением отца он читал отцовские книги, а потом пошёл в школу. И ты сам видел, как с ним обошлись.

— Может, у них были серьёзные основания. — Джек скучал, а дразнить Элизу было развлечение не хуже любого другого.

— У тебя нет никаких причин кусать доктора за пятки, — сказала Элиза. — Он из тех мужчин, которые способны завязать глубокую *дружбу* с особами прекрасного пола.

— Видел я эту дружбу, когда он указывал на твои прелестные груди Лотару фон Хакльгеберу.

— На то, вероятно, была причина — доктор плетёт ковёр из множества нитей.

— И что за нить привела его на книжную ярмарку?

— Несколько лет они с Софией убеждают императора в Вене учредить большую библиотеку и академию для всей империи.

— Кто такая София?

— Ещё одна подруга доктора.

— И на какой же ярмарке он её подцепил?

Элиза отвечала шёпотом, едким, как царская водка:

— Не говори о ней так. София ни много ни мало дочь Зимней королевы. Герцогиня Ганноверская!

— Мама родная! И как доктор очутился в такой компании?

— София унаследовала его от деверя.

— Как это? Он раб?

— Он библиотекарь. После смерти деверя София получила библиотеку и доктора в придачу.

— Но ему этого мало — он метит выше, хочет быть библиотекарем императора?

— Сейчас лейпцигский учёный может и не узнать о книге, вышедшей в Майнце, и потому научный мир разобщён — не то что в Англии, где

все учёные друг друга знают и принадлежат к одному Обществу.

— Что?! Доктор хочет завести *здесь* английский обычай?

— Доктор предложил императору издать новый закон, по которому все книгопродавцы на лейпцигской и франкфуртской ярмарках должны будут составлять описание каждой изданной ими книги и отправлять его, вместе с одним экземпляром…

— Дай-ка попробую угадать. Доктору?

— Да. И тогда он создаст из них нечто огромное, труднообъяснимое — тут он перешёл на латынь, которую я вообще-то не знаю, — частью библиотеку, частью академию, частью машину.

— Машину? — Джеку представилось мельничное колесо, составленное из книг.

Их прервал безудержный гогот из угла гостиной, где доктор сидел на табуретке и читал (как они увидели, встав и подойдя ближе) одну из книг, ненароком залетевших в телегу с багажом. Как всегда, их — точнее, *Элизино* — движение по комнате приковало взгляды торговцев, чьи глаза практически высунулись из орбит на длинных отростках. Прежде Джека удивляло, теперь просто злило, что другие мужчины тоже видят

Элизину красоту: ему чудились в этом некие низкие побуждения, совершенно отличные от его собственных.

— Обожаю романы! — воскликнул доктор. — Их можно понимать, почти не думая.

— А я-то думала, вы — философ, — сказала Элиза.

Очевидно, отношения между ними были уже настолько близкими, что допускали поддразнивание.

— Философствуя, мозг следует природным наклонностям, извлекая разом и удовольствие, и пользу. Следить за чужими философскими построениями — всё равно что идти по горной выработке, пробитой другими людьми: тяжкий труд в холодном и тёмном месте, мучительный, когда хочешь свернуть в одну сторону, а тебя вынуждают идти в другую. А вот это… — поднимая книгу, — можно читать без остановки.

— О чём она?

— О, романы все одинаковы. В них рассказывается о похождениях авантюристов — плутов и мошенников. Герой или героиня кочуют из города в город, подобно бродягам (только они куда умней и находчивее), попадают в смешные переделки и морочат — или пытаются морочить

— герцогов, епископов, генералов и… *докторов.*

Долгое молчание. Наконец Джек спросил:

— Э… в этой ли главе я должен вытащить саблю?

— Полноте! — сказал доктор. — Я не для того вас сюда привёз, чтобы создавать недоразумения.

— Зачем же тогда? — спросил Джек, потому что Элиза была ещё вся красная, и он подумал, что не умно и не находчиво будет дать ей возможность вставить слово.

— Затем же, зачем Элиза пожертвовала часть ваших шелков на наряды, чтобы дороже продать остальное. Мне надо привлечь внимание к горному проекту, чтобы люди хотя бы подумали о вложении средств.

— Полагаю, моя роль — спрятаться за самым большим шкафом и не казать носа, пока важная публика не отбудет? — спросил Джек.

— С благодарностью принимаю ваше предложение, — сказал доктор. — Тем временем Элиза… ну, вы когда-нибудь видели, как орудуют парижские шарлатаны? Что бы они ни впаривали, у них всегда есть в толпе сообщник, одетый как потенциальная жертва.

— То есть как тёмная деревенщина, — пояснил Элизе Джек. — Сперва сообщник якобы настроен

скептичнее всех в толпе: задаёт трудные вопросы, зубоскалит над всей затеей, а под конец, будто бы уверовав, первым покупает то, что продаёт мошенник.

— В данном случае *Кихеп*? — спросила Элиза.

Доктор:

— Да. А публика в данном случае будет состоять из Хакльгеберов, майнцских купцов, лионских банкиров, амстердамских игроков на денежном рынке — короче, богатых и модных особ со всего христианского мира.

Джек мысленно взял на заметку выяснить, кто такие игроки на денежном рынке, и, поймав Элизин взгляд, понял, что она думает о том же. Однако тут доктор отвлёк её следующей фразой:

— Чтобы вы слились с толпой, Элиза, надо лишь вполовину скрыть ваш ум и приглушить природный блеск, чтобы их не ослепили священный ужас и зависть.

— Ой, доктор! — воскликнула Элиза. — Почему мужчины, которые влекутся к *женщинам,* не умеют говорить таких слов?

— Ты видишь таких мужчин только в своём присутствии, — сказал Джек. — Как они могут говорить красивые слова, когда у них рты елдаками заткнуты?

Доктор загоготал примерно как в первый раз.

— Что в таком случае извиняет тебя, Джек? — спросила Элиза.

У доктора приключилось что-то вроде горлового спазма.

Слёзы радости выступили у Джека на глазах.

— Слава Богу, что женщины не умеют самостоятельно избавляться от жёлтой желчи! — объявил он.

В этой же гостинице к ним присоединился караван из маленьких, но прочных телег с товаром, который доктор закупил в Лейпциге и выслал вперёд с поручением его дожидаться. Некоторые были нагружены индийской селитрой, другие — серой из Рудных гор*[66], третьи, хоть и везли всего несколько ящиков, проседали и стонали, как неверные на дыбе. Заглянув сквозь щели в один из ящиков, Джек увидел переложенные соломой маленькие глиняные сосуды. Он спросил возчика, что это. «*Quecksilber*»[67], — был ответ.

Отряд

---

[66] Примечания: 66

Которую они узнали по торговой марке — не чьей иной, как самого герра Гейделя.

[67] Примечания: 67

Ртуть (*нем.*).

Маммон ведёт; из падших Духов он
Всех менее возвышен. Алчный взор
Его – и в Царстве Божьем прежде был
На низменное обращён и там
Не созерцаньем благостным святынь
Пленялся, но богатствами Небес,
Где золото пятами попиралось.
Пример он людям подал, научил
Искать сокровища в утробе гор
И клады святокрадно расхищать,
Которым лучше было бы навек
Остаться в лоне матери-земли.

Мильтон, «Потерянный рай»

Караван, состоящий теперь из двадцати с лишним повозок, проехал Галле и другие города дальше к западу. Над каждыми городскими воротами высились островерхие каменные башни, чтобы бюргеры заранее увидели приближение бродяжьих полчищ и успели принять меры. В нескольких днях пути от Галле дорога пошла вверх и принялась петлять, заставляя (подобно философским книгам, о которых говорил доктор) сворачивать туда, куда им не особо хотелось. Перемены происходили исподволь, но вот однажды утром они проснулись в определённо межгорной

долине, самой красивой, какую Джек видел в жизни, светло-зелёной от первой апрельской поросли и густо усыпанной стогами даже после зимы. Склоны полого уходили вверх, постепенно превращаясь в нечто более хладное и скалистое — укрепления, воздвигнутые исполинами на подступах к ещё более загадочным высям. Кряжи были усеяны чёрными точками, по большей части деревьями; впрочем, попадались и сторожевые башни. Джек поневоле задумался, кого они стерегут. А может, в них по ночам зажигают огни, чтобы передавать странную информацию над головами спящих селян?.. В этой же долине путники проехали мимо озера, в которое сползали развалины бурого замка; вода от ветра шла мурашками, дробя отражение.

Элиза и доктор по большей части ехали в карете. Она перешивала платья в соответствии с тем, что, по его словам, было модно; он писал письма или читал плутовские романы. Доктор сказал, что София-Шарлотта, дочь Софии, выходит в этом году за курфюрста Бранденбургского и приданое выписали прямиком из Парижа, что дало повод для *бесконечной* беседы о туалетах. В хорошую погоду Элиза иногда ехала наверху кареты, придавая жизни возчиков новый смысл. Временами

Джек, чтобы дать отдых Турку, шёл пешком или ехал в карете — внутри либо наверху.

Доктор постоянно что-нибудь *делал* — рисовал схемы фантастических машин, писал письма, составлял пирамиды из нулей и единиц по ему одному ведомым правилам.

— Что вы делаете, док? — спросил как-то Джек, просто чтоб потрепаться.

— Усовершенствую свою теорию вещества, — отрешённо ответил доктор и замолчал часа на три, по прошествии которых крикнул кучеру, что ему надо справить нужду.

Джек пытался болтать с Элизой. После разговора в гостинице она была явно не в духе.

— Почему ты готова выполнять сложные действия с одного моего конца и не хочешь целовать другой? — спросил он как-то вечером, когда в ответ на его нежности она только закатила глаза.

— Чего ты хочешь? Я теряю кровь — гумор страсти.

— В обычном женском смысле или…

— В этом месяце больше обычного. И потом, я целую только тех, кто меня любит.

— С чего ты взяла, будто я тебя не люблю?

— Ты почти ничего обо мне не знаешь, так что твои чувства продиктованы исключительно

похотью.

— А кто в этом виноват? Я несколько месяцев назад просил тебя рассказать, как ты попала из Берберии в Вену.

— Неужто? Не помню.

— Ну, может, у меня размягчение мозгов от французской хвори, девонька, но я отчётливо помню: несколько дней ты сосредоточенно думала, а потом сказала: «Не хочу об этом говорить».

— Ты не спрашивал *в последнее время*.

— Элиза, как ты попала из Берберии в Вену?

— Часть истории так печальна, что мне не хочется об этом говорить, часть — настолько скучна, что ты сам не захочешь слушать. Довольно сказать, что когда я настолько повзрослела, чтобы считаться взрослой на вкус любвеобильного мавра, то стала в их глазах дивидендом — процентами, набежавшими на прежнюю стоимость моей матери. Меня пустили в расчёт.

— Что?!

— Передали константинопольскому визирю в ходе сделки, мало отличной от тех, что заключаются в Лейпциге. Как видишь, человека тоже можно свести к нескольким каплям ртути и влить в международный поток.

— И сколько визирь за тебя заплатил? Просто

любопытно.

— Два года назад цена за одну меня на средиземноморском рынке равнялась одному жеребцу, чуть постройнее и порезвее того, на котором ты только что ехал.

— По мне… ну, разумеется, *любая* цена была бы слишком низкой, и всё же…

— Однако ты забываешь, что Турок — не обычный конь. Он, может, чуть староват, но, что главное, способен произвести потомство.

— А, так в уплату за тебя пошёл кровный жеребец.

— Необычного вида арабский скакун. Я видела его в порту. Он был совершенно белый, за исключением, разумеется, копыт, и с красными глазами.

— Берберы разводят скаковых лошадей?

— Через Общество британских невольников я узнала, что скакун направляется *во Францию*. Кто-то там связан с берберийскими пиратами — полагаю, тот, кто обратил нас с матушкой в рабство. Из-за этого человека я никогда не увижу матушку: когда я покидала Берберию, у неё был рак. Когда-нибудь я разыщу и убью мерзавца.

Джек мысленно сосчитал до десяти и сказал:

— Его убью я. Мне всё одно подыхать от фран-

цузской хвори.

— Прежде ты должен объяснить ему, за что убиваешь.

— Отлично. Постараюсь оставить в запасе несколько часов.

— Столько не потребуется.

— Ой ли?

— За что ты убьёшь его, Джек?

— Ну, за ваше похищение с Йглма… гнусные измывательства на корабле… годы рабства… насильственную разлуку с любящей…

— Нет, нет! За это *я* хочу его убить. За что ты?

— За то же самое.

— Однако торговцев невольниками не счесть. Будешь убивать всех?

— Нет, просто… а, понял. Я хочу убить этого мерзавца из чистой и пламенной любви к тебе, моя единственная Элиза.

Она не бухнулась в обморок, но на лице её появилось выражение, означавшее «разговор окончен», по которому Джек заключил, что выбрал верное направление.

Ещё через два дня доктор дал сигнал поворачивать на север. Начался подъём в горы. Сперва это были заросшие травой склоны. Потом на них стали попадаться тёмные курганы. Там и сям

люди вращали вороты вроде колодезных, только больше, и поднимали они не вёдра с водой, а металлические клети с чёрной породой. Элиза и Джек видели такое в Богемии: кучи состояли из шлака, оставшегося после выплавки металла (в данном случае меди). После дождей (которые здесь шли часто) кучи становились сине-лиловыми и блестящими. Из клетей руду пересыпали в тачки и везли мимо шлаковых куч к дымящимся печам, возле которых суетились перепачканные углём кочегары.

Несколько раз они въезжали в наполненные дымом лесистые равнины и по колеям от протащенных волоком стволов добирались до пороховых заводов. Здесь высокие худосочные деревца с жалкими тощими ветками*[68] рубили и пережигали на уголь. Уголь мололи на водяных мельницах и смешивали с другими ингредиентами. Из заводов выходили рабочие, издёрганные и осунувшиеся от мысли, что в любой миг могут взлететь на воздух; доктор снабжал их серой и селитрой. Джек усвоил, что войны, как реки, берут начало в многочисленных межгорных долинах.

---

[68] Примечания: 68

Faulbaum, называли их немцы, что значит «ленивое и гнилое дерево». То была ольха.

Элиза наконец-то увидела деревья-исполины из матушкиных сказок; правда, многие были выворочены ветром, их корни походили на скрюченные пальцы, сжимающие последние пригоршни земли. В дымных долинах дождь, облака и солнце сменялись каждые четверть часа, выше погода стояла ясная и холодная. Караван двигался медленно, но раз, когда они проезжали по открытому месту (Гарц — скалы, и лес на них не серьёзнее вьющейся поросли на шлаковых кучах), небо прояснилось; тут-то и стало видно, что долины — далеко внизу. Шлаковые кучи — словно монашеская процессия в клобуках. Чёрные птицы вьются, словно зола в дымоходе. Здесь и там — сторожевая башня на вершине и купа деревьев, сбившихся в кучку, как заговорщики. Вороны промышляли внизу на только что засеянных полях, серебристые птицы отрабатывали неведомые манёвры в невидимых воздушных потоках.

Доктор решил для поднятия духа сводить их в заброшенную медную штольню.

— София была первой женщиной, которая вошла в шахту, — обрадовал он. — Вы, Элиза, можете стать второй.

Рудная жила (вернее, полость, оставшаяся на

месте выбранной жилы) проходила близко к поверхности, так что им не пришлось спускаться по множеству лестниц в глубокую шахту. Они остановились перед полуобвалившимся строением, отыскали в перекособоченном шкафу факелы, спустились по уклону, где раньше была короткая лестница, и оказались в туннеле высотой с Джека и шириной в длину руки. Факелы назывались *kienspan* — лучины из смолистого дерева, с рапиру размером, обмакнутые во что-то вроде смолы. Они весело горели и больше всего напоминали огненные мечи в руках ангелов. В их свете можно было различить крепи, стоящие через каждые несколько ярдов, и уложенные между ними толстые горизонтальные брёвна. Все вместе образовывало длинную деревянную клетку — не для того, чтобы стеснить свободу посетителей, а для защиты от осыпающейся породы.

Доктор повёл их внутрь, и вскоре вход скрылся из виду. Часто попадались боковые туннели, но они были Джеку ниже чем по пояс, и никто не собирался в них лезть.

По крайней мере так Джек думал, покуда доктор не остановился перед одним таким отверстием. Пол вокруг был усеян странной формы дощечками, полукруглыми кусками кожи и пластинами

чёрного сланца.

— В конце этого штрека — не больше чем в полудюжине саженей — диковина, которую вам стоит посмотреть.

Джек принял слова доктора за шутку, однако Элиза без колебаний согласилась лезть в дыру. По правилам, которые распространяются даже на бродяг, это означало, что Джек должен отправиться туда первым и проверить, нет ли опасности. Доктор сказал ему, что кусок кожи называется *arsch-leder* (что Джек перевёл для себя: «нажопник») и показал, как горняки защищают дощечкой руку и локоть, когда ползут на боку. Джек надел нажопник, лёг на пол и, держа в одной руке лучину, а другой передвигая дощечку, пополз в штрек. Ползти было несложно, если только не думать… ну, *ни о чём*.

Выставленная вперёд лучина упёрлась в забой. Брызнул сноп искр, и Джек на мгновение ослеп. Когда к нему вернулась способность видеть, он обнаружил себя один на один с исполинской птицей… или не птицей — вроде страуса, но без крыльев. Огромные, больше пальцев, когти тянутся к руде — а может быть, к Джеку. Длинную костистую шею, только что не завязанную узлом, венчал узкий череп с открытой пастью и… таки-

ми… огромными… зубами.

Джек заорал. Вернее, заорал дважды: второй раз оттого, что, попытавшись вскочить, треснулся башкою о кровлю. Вне себя от боли и ужаса, он отполз на две сажени назад, потом замер, прислушался и не услышал ничего, кроме ударов собственного сердца.

Разумеется, зверюга была мёртвая — одни кости. Доктор, хоть и антик во многих отношениях, не отправил бы Джека в логово к чудищу. Джек медленно, стараясь не очень шевелить больной головой, пополз к выходу. Он слышал, как доктор говорит Элизе: «Все горы усыпаны ракушками. Видите, какая слоистая порода — она колется на пластинки… и посмотрите, что между слоями! Надо полагать, это создание занесло илом — вероятно, речными наносами, — расплющило, тело разложилось, а оставшуюся пустоту заполнил каменный материал, подобно тому, как скульптор заливает бронзу в форму из гипса».

— Кто вам всё это рассказал? — спросил Джек, просовывая окровавленную голову между ног.

— Я сам дошёл, — отвечал доктор. — *Кто-то* же должен придумывать *новые* идеи.

Джек перекатился на живот и обнаружил, что пол штольни вроде как вымощен сланцевыми

плитами с отпечатками сушёной апокалиптической фауны.

— Какая река? Мы в *горах*. Здесь нет *реки*, — сообщил Джек доктору после того, как они запустили Элизу в штрек. Джек держал её дорожное платье, покуда Элиза ползла по туннелю в нажопнике и панталонах.

— Но она *существовала раньше,* — сказал доктор. — Как существовали эти создания, — поводя лучиной над отпечатками рыбин с явно избыточным количеством плавников, тварей наподобие абордажных крючьев, стрекоз размером с арбалеты.

— Река на горе? Быть не может!

— Тогда откуда ракушки?

Наконец они выехали на плоскую гору, где стояла каменная башня, окружённая вместо бастионов кучами шлака. Дурак увидел бы, что здесь потрудился хитроумный доктор. Над башней торчала странная ветряная мельница: её лопасти вращались не как катящееся колесо, а как волчок, поэтому их не надо было разворачивать к ветру. Основание башни защищала каменная куртина, старая, но недавно отремонтированная (очевидно, здесь опасались нападения людей, не располагающих современной артиллерией).

Ворота тоже были новые и на засове. Как только доктор назвал себя, управляющий с мушкетом открыл их и тотчас запер за вошедшими.

Сама башня была не приспособлена для жизни. Доктор нашёл Элизе комнату в домике по соседству. Джек шуганул из комнаты крыс, потом поднялся по винтовой лестнице в башню. Та стонала от ветра, как пустой кувшин, если дуешь в него от нечего делать. Колодец из скреплённых коваными обручами брусьев шёл от ветряка к отверстию в полу — очевидно, устью шахты. Множество вёдер ползло по замкнутой цепи так, чтобы мельница вытаскивала их из шахты вместе с водой. Огибая огромный шкив, они опрокидывались в длинный деревянный лоток, проходящий через сводчатое отверстие в стене башни. Затем пустые вёдра снова ныряли в шахту. Таким образом вода откачивалась из неких глубоких горизонтов, которые иначе давно бы затопило. Здесь, наверху, вода была далеко не лишней. Сбегая по лотку, она вращала небольшие колёса, приводившие в движение мехи и падающие молоты, после чего собиралась в бочки.

Сверху Джек (благоразумно потративший часть выручки на тёплое платье) смог оглядеть местность на несколько дней пути в каждую

сторону. Горы (за исключением одной большой к северу) были не скалистые, а округлые, разделённые бездонными ущельями, леса — пёстрые, частью лиственные, в светлом весеннем убранстве, частью хвойные, почти чёрные. Тут и там на южных склонах виднелись пятнышки лугов, на северных — снега. Деревушки с красными черепичными крышами были разбросаны неравномерно, словно чахоточные плевки. Небольшой городок лежал прямо внизу, в ложбине, отделяющей эту гору от более высокой к северу — лысой скалистой вершины, увенчанной странными длинными камнями. Облака неслись как крылатые гусары, быстро и яростно, и Джеку казалось, что башня падает. Странные изогнутые лопасти ветряка рассекали воздух над головой, словно плохо нацеленные ятаганы.

— Минуточку, доктор, со всем уважением… вы заменили работников ветряком, который откачивает воду… но что будет, если ветер утихнет? Вода поднимется снова? Рудокопы утонут?

— Нет, просто выберутся в лодочках по старым дренажным штольням.

— И что думают рабочие, которых заменили машинами, доктор?

— Рост производительности более чем…

— А легко «случайно» уронить *сабо* в механизм?

— Э… возможно, я поставлю охрану, чтобы предотвратить такой *саботаж*.

– *Возможно?* Дорого ли обойдётся охрана? Где она будет жить?

— Элиза, прошу вас… если мне позволено прервать репетицию, — сказал доктор. — Умоляю, не делайте свою работу *чересчур* хорошо. Не говорите ничего, что может запасть в голову э… слушателям.

— Но я думала, затея в том и состоит.

— Да, да, но не забудьте, будут подавать напитки… вдруг кто-нибудь из потенциальных вкладчиков почувствует потребность выйти до ветра в то самое время, когда вы наконец прозреете и поймёте, какая это великолепная возможность…

Элиза репетировала, полулёжа на кушетке, — быть может, в её деликатном состоянии не следовало ползать по холодному штреку. Она была очень бледна. Джек подумал, что, коли уж они сейчас при деньгах, вполне можно спуститься в городок, найти аптекаря и купить снадобье или зелье, которое снимет последствия кровотечения, вернёт Элизиным щекам румянец и вообще

гумор страсти в её жилы.

О городке, который звался Бокбоден, доктор почти ничего не говорил, если не считать мелких замечаний вроде «Я бы туда не ходил», «Не ходите туда», «Не стоит туда соваться» и «Держитесь от него подальше». Однако он не подкрепил свои высказывания живописной сказочкой, которую непременно присовокупил бы бродяга, и потому звучали они не слишком убедительно. Сверху городок выглядел чинным, но не настолько, чтобы внушать опасения.

Турок в последние день-два прихрамывал на одну ногу, и Джек отправился пешком. Идя мимо старых шлаковых куч и брошенных печей, он думал, что надо хорошенько присматриваться и, возможно, узнать что-нибудь новое про выделку денег, в частности: как разбогатеть, не вкладывая средства (и чтобы прибыль была сразу, а не через десятилетия). Из новенького он увидел только стоящий на отшибе заводик. Здесь над чанами, под которыми горела ольха, поднимался зловонный пар. Разило мочой, и Джек предположил, что это сукновальная мануфактура. И впрямь, двое рабочих, кривясь от вони, лили из ведра в чан что-то жёлтое. Однако никакого сукна видно не было: судя по всему, ребята только понапрасну

переводили добрую мочу.

Едва вступив в город, Джек почувствовал запоздалые опасения — ничего особенного не произошло, просто, как всегда в городе, в нём проснулся страх ареста, пыток и казни. Он напомнил себе, что одет во всё новое. Если не снимать перчатку с руки, на которой годы назад в Олд-Бейли выжгли букву V, ничто не выдаст в нём вагабонда. Более того, он — друг доктора, которого здесь наверняка уважают. Поэтому Джек продолжал идти. Город постепенно засасывал его. Как многие английские и почти все немецкие города, Бокбоден состоял из домов, выстроенных фахверковым способом: возводили деревянный остов из столбов, поперечин и раскосов, а промежутки заполняли чем ни попадя. Здесь, судя по всему, их заплетали чем-то вроде плетня и замазывали глиной, которая затем высыхала на солнце. Каждое новое здание поначалу опиралось на предыдущее; во всем городе практически не было отдельно стоящих домов. Бокбоден представлял собой единую постройку со множеством тел и щупальцев. Каркасы домов, вернее, общий каркас всего городка был, вероятно, когда-то ровным и правильным, но за столетия просел и перекосился. Год за годом мазаные стены латали

и подновляли. Впечатление было такое, словно корни дерева вывороти́ло вместе с комом земли, в котором затем выкопали жилище.

Даже здесь попадались небольшие шлаковые кучи и ошмётки руды на улочках. За одной из дверей Джек услышал неравномерное щёлканье ручного ворота. Внезапно дверь растворилась, и человек выкатил тачку с рудой. Поймав на себе пристальный взгляд незнакомца, он переменился в лице. Джек не успел изобразить притворное безразличие, как рудокоп отвесил несуразный кривобокий поклон, стараясь одновременно не упустить тачку вниз по наклонной улочке (то-то была бы потеха!).

— Аптекарь? — спросил Джек.

Рудокоп отвечал на каком-то немецком диалекте, показавшемся Джеку смутно знакомым, и указал головой дальше по улице. За дверью во́рот на несколько мгновений смолк, потом защёлкал снова.

Джек пошёл за рудокопом; тот всё время пытался убежать вперёд, но мешала тяжеленная тачка. Джек подумал, что, может быть, все шахты соединяются под землёй и местное население бесплатно пользуется тем, что доктор откачивает воду. Тогда понятно, почему их пугают незна-

комцы, приходящие со стороны башни. Если тут вообще нужны какие-то причины.

Аптека, по крайней мере, оказалась отдельно стоящим домом на краю усеянного шлаковыми кучами луга, наискосок от почерневшей церкви. Крыша была высокая и острая, как топорик, стены — выложены плитами чёрного сланца. Каждый следующий этаж нависал над предыдущим, а под выступами тянулись ряды резных деревянных лиц: очень жизненные изображения монахинь, королей, рыцарей в шлемах, волосатых дикарей и пучеглазых турок, а также ангелов, демонов, ликантропов и козловидного дьявола.

Джек вошёл в аптеку и никого в окошке не обнаружил. Он свистнул разок, но получилось так жалко, что второй раз свистеть не захотелось. Потолок украшала громоздкая лепнина, по большей части изображавшая людей, которые превращаются во что-то другое. Некоторые из этих историй Джек знал по пьесам: например, про охотника, который нечаянно подсмотрел, как купается богиня, — та обратила его в оленя, и бедолагу разорвали собственные собаки. Получеловек-полуолень был изображён на потолке в натуральную величину.

Может, аптекарь туг на ухо… Джек пошёл

по дому, нарочно стараясь побольше шуметь. Он оказался в большой комнате, наполненной предметами, которые явно не стоило трогать: настольные печи дышали жаром, на спиртовках, над пламенем, синим, как Элизины глаза, булькали в ретортах мутные жидкости. Джек открыл следующую дверь — в кабинет аптекаря — и сильно вздрогнул, напоровшись на висящий скелет. Он поднял глаза к потолку и снова увидел массивную лепнину. Она изображала всё сплошь богинь: богиню зари, богиню весны на убранной цветами колеснице, ту, в честь которой назвали Европу, богиню любви (эта смотрелась в ручное зеркальце), а в центре — Минерву (*некоторые* имена Джек всё-таки знал), в шлеме, с суровым взглядом. Одной рукой она держала щит с изображением страшилища, чьи волосы-змеи свешивались почти до середины комнаты.

На верёвке болталась мёртвая усохшая рыба. Вдоль стен тянулись полки и шкапчики с различными профессиональными орудиями. Здесь были щипцы, пугающие функциональным разнообразием, целое собрание ступок и пестиков с какими-то надписями, черепа разных животных, закрытые цилиндрические сосуды, стеклянные и каменные, тоже с надписями, огромные готи-

ческие часы (гротескные существа неожиданно выскакивали из дверок и прятались раньше, чем Джек успевал обернуться, чтобы их разглядеть), зелёные стеклянные реторты, приятной округлостью напомнившие ему женские формы, весы с невероятным количеством гирь и разновесов, начиная от пушечных ядер и заканчивая листочками фольги, которые можно ненароком сдуть в соседнюю страну, блестящие серебряные стержни, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся стеклянными трубочками, невесть зачем наполненными ртутью, нечто высокое и тяжёлое, закутанное в плотную ткань: оно источало внутреннее тепло и в то же время вздымалось и опадало, словно мехи…

– *Guten Tag*, или, наверное, лучше сказать добрый день, — произнесло оно.

Джек от неожиданности сел на копчик и, подняв глаза, увидел рядом со скелетом человека, закутанного в дорожный плащ или монашеский балахон. Джек даже не вскрикнул, так он был изумлён — не в последнюю очередь тем, что незнакомец заговорил по-английски.

— Откуда вы знаете… — только и сумел выговорить он.

У человека в балахоне были седые волосы и

рыжая борода. Взгляд выражал сдержанную весёлость, и Джек решил выждать минуту, прежде чем выхватить саблю и проткнуть незнакомца насквозь.

— Что ты — англичанин?

— Да.

— Возможно, тебе невдомёк, но ты имеешь привычку разговаривать сам с собой — рассказывать себе, что видишь и что может произойти. Поэтому я уже знаю, что тебя зовут Джек. Я — Енох. И ещё есть нечто очень английское в азарте, с каким ты отправился исследовать то, что немец или француз благоразумно счёл бы не своим делом.

— Эти слова наводят на размышления, — сказал Джек, — но, полагаю, не слишком оскорбительны.

— Я не вкладывал в них ровным счётом ничего оскорбительного, — отвечал Енох. — Чем могу помочь?

— Я здесь в интересах дамы, которая стала бледной и ослабела по причине излишне обильных женских… э…

— Месячных?

— Да. Есть что-нибудь от этого?

Енох взглянул в окно на пасмурное серое небо.

— Ну… что бы ни говорили аптекари…

— Так вы не аптекарь?

— Нет.

— А где он?

— Где сейчас все приличные люди. На городской площади.

— Так о чём разговор?

Енох пожал плечами:

— О том, что ты хочешь помочь подруге, а я знаю как.

— Так как?

— Ей не хватает железа.

– *Железа?!*

— Она выздоровеет, если будет есть много говядины.

— Вы сказали «железа». Почему бы ей не съесть подкову?

— Они невкусные. Говядина содержит железо.

— Спасибо. Так вы сказали, аптекарь на городской площади?

— Вон там, неподалёку, — сказал Енох. — Там же мясная лавка, на случай, если захочешь купить говядины.

– *Auf wiedersehen*, Енох.

— До встречи, Джек.

Отвязавшись, таким образом, от сумасшедшего (у которого, как подумалось Джеку уже на улице,

было что-то общее с доктором), он отправился поискать кого-нибудь в здравом уме. На площади было много народу — как узнать, кто тут аптекарь? Надо было спросить у Еноха, как он выглядит.

Бокбоденцы сошлись кольцом у вертикального столба, врытого в землю и наполовину засыпанного хворостом. Джек поначалу не понял, что это такое, поскольку прибыл из Англии, где чаще практикуется виселица. К тому времени, как до него дошло, он уже протолкался в середину толпы и не мог повернуть назад, не навлекши на себя подозрение в сочувствии ведьмам. Джек знал, что бóльшая часть зрителей пришла сюда ради сохранения репутации; однако именно такие люди скорее всего обвинят чужака в колдовстве. Настоящие ведьмоненавистники были в первых рядах и что-то кричали на местном диалекте немецкого, который порой до обидного походил на английский. Слов Джек не понимал, но, по-видимому, это были угрозы. Бессмыслица какая-то: что проку грозить ведьме, которая и без того скоро умрёт? Потом Джек различил слова «*Walpurgis*» и «*heute Nacht*», что, как он знал, означает «сегодня ночью», и понял, что грозят не обречённой женщине, а соседкам, которых

подозревают в ведьмовстве.

Женщина была обрита, хотя не только что. По длине щетины Джек мог догадаться, что следствие длилось около недели. Руки и ноги её побывали в тисках, поэтому женщину предстояло жечь сидя. Когда её усаживали на кучу хвороста, она скривилась от боли, потом прислонилась к столбу, радуясь, что скоро навсегда покинет Бокбоден. Над ней была прибита дощечка с клочком бумаги, содержащим какие-то полезные сведения. Тем временем палач связал ей руки за столбом, потом раза два обмотал верёвку вокруг шеи, а свободный конец отбросил прочь от столба, вызвав возмущение первых рядов. Подошёл ещё кто-то с большим глиняным кувшином и облил хворост маслом.

Джек как бывший специалист по облегчению мук при казни наблюдал с профессиональным интересом. Когда пламя занялось, палач сильно потянул за верёвку, задушив женщину и, в глазах некоторых, совершенно испортив зрелище. Впрочем, по большей части жители смотрели, но не видели. Джек знал, что те, кто пришёл на казнь, даже если смотрят во все глаза, не видят смерти и не могут вспомнить её позже, поскольку на самом деле думают о собственной кончине.

Однако у Джека на душе было так худо, как если бы жгли Элизу (ведьма была молоденькая). Прочь он шёл, плотно сведя лопатки, под носом было мокро. Затуманенный взор не способствовал ориентации. Джек шагал быстро, и к тому времени, как понял, что идёт не по той улочке, площадь — его единственная путеводная звезда — совершенно скрылась из виду. Ему не улыбалось бесцельно бродить по улицам или ещё как-то навлекать на себя подозрения. Лучше всего было поскорее отсюда выбираться.

Так он и сделал и заблудился в лесу.

Гарц

Куда, несчастный, скроюсь я, бежав
От ярости безмерной и от мук
Безмерного отчаянья? Везде
В Аду я буду. Ад – я сам. На дне
Сей пропасти – иная ждёт меня,
Зияя глубочайшей глубиной,
Грозя пожрать. Ад, по сравненью с ней,
И все застенки Ада Небесами
Мне кажутся.

Мильтон, «Потерянный рай»

Вальпургиева ночь 1684

Джек сидел на поваленном дереве. Он был голоден и, что хуже, чувствовал себя дураком. До темноты оставалось совсем немного времени, и Джек намеревался разумно им распорядиться. Он был не прочь поступать разумно, если только этого не требует какой-нибудь джентльмен или проповедник, поэтому спустился с бугра в ложбину, где рассчитывал развести огонь, не привлекая внимания бокбоденцев. Пока не стемнело, он собирал хворост, а когда солнце зашло, запалил костерок. Возню с кремнём, ог-

нивом и трутом можно заметно сократить, если вместо трута взять щепотку пороха. С помощью этой несложной пиротехники он развёл костёр. Теперь оставалось лишь время от времени подбрасывать ветки, да пялиться в огонь, как болван, пока не заснёшь. Чтобы не думать о сожжённой ведьме (что было трудно), он пытался обратиться мыслями к Бобу и близнецам Джимми и Дэнни, которым всё собирался, но пока так и не собрался скопить наследство.

Он вздрогнул, увидев в отблесках пламени мужчину и трёх женщин. Судя по лицам, они углубились ночью в лес, рассчитывая найти у костра какого-то другого спящего*[69] бродягу. Первой мыслью Джека было бы: «Охотники на ведьм!», если бы пришельцы не растерялись больше него (они заметили саблю). Кроме того, три из них были женщины, и все четверо — не вооружены, если не считать оружием свежесрезанные ветки, на которые они опирались при ходьбе, как на посохи. Так или иначе, пришельцы повернулись и заспешили прочь, похожие со своими ветками на толстых горничных, вздумавших вымести лес импровизированными помелами.

---

[69] Примечания: 69
По многим признакам Джек понял, что проспал какое-то время.

После их ухода Джек не мог уснуть. Через несколько минут появилась вторая такая же группа. Что-то в этом лесу, будь он неладен, оказалось слишком много народа!.. Джек собрал свои скудные пожитки и отошёл в темноту посмотреть, какие ещё мотыльки прилетят на огонь. Через несколько минут костёр окружила целая толпа женщин, от почти девочек для дряхлых старух. Они разворошили пламя, вытащили чёрный котёл, наполнили его водой из ближайшего ручья и поставили на огонь. Как только над водой начал подниматься пар, подсвеченный отблесками костра и пропадающий в холодном небе, женщины принялись бросать в котёл ингредиенты для какого-то варева: большие тёмно-синие ягоды, красные грибы в белых пятнышках, пучки трав. Джек к своему разочарованию не видел ни знакомых овощей, ни мяса, однако он так проголодался, что согласился бы и на немецкую еду. Вопрос был: насколько безопасно напроситься на ужин?

Наконец он решил присоединиться к трапезе. Народ всё прибывал, его бы в любом случае рано или поздно заметили. Для начала Джек саблей срезал себе ветку, как у других. Поскольку все были безоружны, он спрятал саблю вместе с

ножнами в штанину, а сверху соорудил подобие лубков, как будто у него что-то с ногой. В таком виде он проковылял к костру, где его вежливо, если не сказать тепло, приветствовали стряпухи. Одна из них протянула Джеку половник варева, который тот проглотил, обжегши себе пищевод до самого желудка. Оно, может, и к лучшему, потому что вкус у похлёбки был преотвратный. Исходя из принципа, что никогда не знаешь, где снова придётся пожрать, он жестом попросил ещё. Женщина нехотя зачерпнула второй половник и опасливо посмотрела, как Джек пьёт. Вторая порция оказалась не лучше первой, но по крайней мере на дне плавали грибы — хоть что-то сытное для поддержания сил.

Видимо, Джек и впрямь выглядел потерянным, потому что через некоторое время стряпухи принялись указывать ему в ту сторону, куда уходили остальные. Все двигались вверх, куда Джек и сам собирался отправиться в расчёте выбраться к башне или увидеть её с горы, когда рассветёт. Он заковылял вслед за другими.

В следующий раз, когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее (похоже, он шёл и спал одновременно, хотя всё теперь было как во сне и вполне *могло быть* сном), Джек по-

нял, что поднялся мили на две в гору. Здесь было куда холоднее, а ветер бушевал так, что деревья ломались с грохотом пушечной канонады. Полная луна неслась среди рваных туч. Иногда что-то проносилось сквозь кроны деревьев, осыпая Джека градом сухих сучьев. Подняв глаза, он увидел, что это ветки или даже целые, вырванные с корнем деревца, заброшенные вверх ураганом. Он по-прежнему ковылял в гору, но уже не помнил зачем. Высокие тонкие деревья росли плотно, как выставленные пики. Луна, на мгновение выныривая из туч, озаряла лес короткими вспышками, как от рвущихся гранат. Джеку чудились звуки труб и поступь множества ног. Он забыл, для чего замотал ногу, и вообразил, будто ранен в бою (вероятно, не только в ногу, но и в голову) и его перевязал цирюльник. Некоторое время он был убеждён, что по-прежнему сражается с турками под Веной, а Элиза была всего лишь длинным, сложным, жестоким сном.

Наконец он выбрался из леса над Бокбоденом. Ветки и что-то потяжелее по-прежнему пушечными ядрами свистели над головой. Джек поглядел на луну, пытаясь понять, что там такое. На фоне мятущихся рваных туч трудно было разглядеть чётко, но Джек почти не сомневался, что на вет-

ках сидят *люди* — они мчались, как крылатые гусары на своих скакунах… шли в атаку на гору! Джек наконец вышел на дорогу, ведущую к вершине, и его едва не сбила с ног атакующая *пехота:* поток людей с ветками и другими украшениями, например вилами. Забыв про ногу, Джек попытался бежать со всеми, упал и довольно долго не мог подняться.

Он выбрался к каменным выступам на макушке горы чуть позже остальных и увидел, как толпа преследует пяток мушкетёров, которых, видимо, поставили стеречь вершину. Те не стреляли, явно не желая уложить несколько человек и остаться лицом к лицу с сотнями других. Люди с ветками отпускали замечания в том же духе, что и утром во время казни, только теперь звучало слово «*Wächer*». Джек, мучительно перенапрягая мозги, предположил, что оно означает «стража».

Выиграв битву, ведьмы (бессмысленно было теперь отрицать, что это они, хотя примерно половину составляли мужчины — надо полагать, ведьмаки) быстро разложили по всей вершине костры (многие принесли с собой вязанки хвороста), и они тут же разгорелись на ветру ослепительным белым пламенем. Джек ковылял вокруг и смотрел. Вероятно, много столетий назад на горе

воздвигли высокий каменный столб, который расходился на конце, образуя подобие козлиных рогов. Когда-то он должен был выглядеть как арбалет, поставленный на попа, но давным-давно рухнул, так что успел зарасти грязью и мхом. Его окружали десятка два стоячих камней, теперь по большей части тоже поваленных. Ведьмы привели с собой чёрного козла и привязали его к лежащему столбу, чтобы смотрел на шабаш.

Люди, многие голые, плясали вокруг костров. И они, и камни были украшены цветами. Многие, разумеется, занимались непотребством, но по крайней мере часть — церемониально: женщины в гирляндах из весенних цветов, мужчины — с повязками на глазах, словно актёры в своеобразном аморалите. Некие мелкие животные, возможно, умирали насильственной смертью. Слышалось пение на каком-то не вполне немецком языке.

Разумеется, председательствовал на шабаше сатана, князь тьмы, во всяком случае, так предположил Джек. А как иначе прикажете называть чёрную-пречёрную рогатую фигуру высотой футов сто, пляшущую в дымном мятущемся небе над вершиной, то видимую, то невидимую, выставляющую вверх козлиную бороду, чтобы то ли захохотать, то ли завыть на луну? Джек

искренне верил, что это сатана, и точно знал, что всё, когда-либо сказанное о Люцифере проповедниками, — истинная правда. Он понял, что надо драпать, и побежал куда глаза глядят. Тут из-за туч выглянула луна. Джек увидел, что ещё пара шагов, и он побежал бы по воздуху: гора обрывалась вниз, в бездонную пропасть, куда не достигал лунный свет. Джек остановился и, за неимением другого выхода, повернул назад. С натужным и не вполне искренним спокойствием он обозрел панораму костров и теней в надежде отыскать путь не совсем близко к дьяволу — вернее, к нескольким дьяволам разного размера, которые сошлись на вершине горы.

Взгляд его остановился на крохотном чёрном силуэте в ореоле светящейся шерсти: чёрный козёл задрал морду, чтобы замекать. Один из дьяволов в точности повторил его движение. Джек понял, что бежал от тени, которую козёл отбрасывает на дым и облака в пляшущем свете костров.

Он сел, где стоял, почти на краю пропасти, хохоча и силясь прочистить голову, чтобы сориентироваться. Уступ был каменистый, с торчащими вверх причудливыми глыбами, и (кстати) начисто опровергал теорию доктора о том, как образовались эти каменюги, поскольку

слои в них шли строго вертикально. Очевидно, то были останки исполина, убитого в какой-то битве ещё до Потопа: он умер, лёжа на спине и выставив вверх костлявые пальцы.

Джек подошёл ближе к костру, отчасти потому, что замёрз, отчасти из желания получше разглядеть пляшущую у огня голую девицу — чуть полноватую и обречённую со временем обратиться в очередную старую каргу из тех, что ездят на помеле, но всё же не такую грузную, как остальные немки. К тому времени, как он подошёл настолько, чтобы её рассмотреть, жар сделался почти невыносимым. Тут бы Джеку сообразить, что и свет очень яркий, но он понял это, только услышав роковое слово «*Wache*»! Обернувшись, он увидел, почти на расстоянии вытянутой руки, одну из тех женщин, что разбудили его вечером, когда он спал у костра с саблей на виду. Именно на саблю она и уставилась после того, как привлекла общее внимание ненавистным словом. Саблю можно спрятать под лубками в темноте, когда никто особенно не всматривается, но тут это не сработало: женщина пригляделась и тут же завопила голосом, который, вероятно, было слышно в Лейпциге: «*Er ist eine Wache! Er hat ein*

Schwert![70]»

Веселье закончилось для всех, в первую очередь для Джека. Любой мог сейчас толкнуть его в костёр, что было бы если не концом, то, во всяком случае, занятным *началом,* но вместо этого все бросились врассыпную. Осталась только женщина, которая первая на него указала. Она отскочила на расстояние, недоступное для сабли, и продолжала истерически голосить. Джеку не хотелось вытаскивать саблю и злить ведьм ещё больше, но (а) вряд ли их можно было разозлить сильнее и (б) если он хотел бежать (а именно этого он хотел), надо было сбросить лубки к чертям собачьим. Итак. Кинжал. Тётка взвизгнула и отпрыгнула ещё дальше. Джек, переборов желание крикнуть ей, чтобы заткнула хлебало, разрезал тряпьё, которым замотал ногу, и лубки упали на землю. Он вытащил ножны вместе с саблей, чтобы освободить ногу. Тётка пронзительно верещала. Люди теперь бежали *к* Джеку, за криками «*Wächer*!» ничего другого было не слышно. Джек уже достаточно нахватался немецкого, чтобы понять: «*Wächer*!» означает «стражники», а не «стражник». Они вообразили, будто Джек — один

[70] Примечания: 70
Это стражник! У него сабля! (*нем.*).

из множества переодетых вооружённых врагов, что, разумеется, было единственным объяснением. Только самоубийца сунулся бы сюда в одиночку.

Джек побежал.

Он пробежал совсем немного, прежде чем понял, что участники шабаша, не будь дураки, гонят его к обрыву. Впрочем, им недоставало слаженности. Джек заметил брешь в их рядах и, устремившись в неё, припустил под гору. Крики стали на пару октав ниже. Сперва визжали испуганные женщины, поднимая тревогу (надо сказать, успешно), теперь перекликались разъярённые мужчины, организуя облаву. Джеку подумалось, что им не впервой охотиться на крупную дичь в здешних лесах.

Тем не менее охота продолжалась примерно час, постепенно перемещаясь вниз. У Джека была одна надежда — вырваться вперёд и скрыться во тьме. Однако преследователи знали местность, и у них были факелы; как Джек ни бежал, он всё время оказывался в окружении. Много раз ему казалось, что он вот-вот вырвется, и всякий раз надежда обманывала. Миллионы веток ольхи царапали лицо, грозя выколоть глаза и заставляя его производить больше шума, чем следовало.

Под конец он оказался в ситуации, когда мог бы спастись или по крайней мере на несколько минут продлить себе жизнь, убив преследователя-другого. И тем не менее Джек этого не сделал. Вот было бы здóрово, если бы некий вышний наблюдатель с зеркалом на шарнире отметил такое благородство и сообщил о нём Элизе и прочим, кто всегда думал о Джеке плохо. Какое там: Джек не только не снискал всеобщего восхищения, но и оказался в кругу полудюжины мужчин, которые стояли на расстоянии, недосягаемом для сабли, и норовили заехать ему факелом в морду. Джек рискнул обернуться и увидел, что сзади никого нет. Странный способ окружать человека. Он развернулся, пробежал пару шагов и налетел на стену. *На стену.* Снова обернувшись, он заметил нацеленный в лицо факел и рефлекторно парировал удар. Ещё один факел стремительно надвигался с другой стороны — Джек парировал и его. Третий он отбил *остриём* сабли, а не плашмя, разрубил факел пополам, поймал в воздухе горящую половину, рубанул вслепую и кого-то задел. Теперь, когда пролилась первая кровь, загонщи-

ки отступили, ожидая подкрепления*[71]. Джек двинулся боком, спиной к стене, сжимая в одной руке саблю, в другой факел и время от времени оглядываясь в его свете через плечо на стену.

То было старое деревянное здание. На двери висел замок размером с окорок, ставни на окнах были закрыты изнутри на засовы. Джентльмен бы растерялся, но Джек знал, что у любого дома самое слабое место — крыша, поэтому, отыскав поленницу, взобрался по ней и вскоре уже стоял на черепице. Она была толстая и тяжёлая для защиты от града и веток, но паника придала Джеку сил: он принялся бить каблуком, пока не проломил несколько черепиц. Снизу в него летели камни размером с кулак. Джек остановил один, пока тот не скатился с крыши. Действуя им как

---

[71] Примечания: 71

Среди прочих странностей Джекова воспитания оказались, помимо прочего, следующие: (1) у него был постоянный спарринг-партнёр (Боб) — постоянный в том смысле, что по ночам они спали в одной кровати, а дни напролёт дрались, как все братья; (2) в том возрасте, когда все мальчишки рубятся на палках, они с Бобом оказались в армейских казармах, где их поединки служили бесплатным развлечением для старых вояк и оценивались как по степени мастерства (удары должны были наноситься и парироваться реалистично на взгляд искушённых зрителей), так и по занимательности (братьям бросали больше еды, если они, например, висели, зацепившись коленями за балки, и сражались вниз головой, раскачивались на верёвках, как обезьяны, и тому подобное). В итоге с юных лет братья Шафто приобрели фехтовальные навыки, несвойственные их сословию (представители которого, как правило, ни разу в жизни не соприкасались с холодным оружием, разве что с лезвием или остриём в последние мгновения жизни). Впрочем,

овладели они лишь тем типом холодного оружия, которое называется эспадрон, то есть колюще-рубящим. Их предупреждали, что эспадрон не очень эффективен против джентльмена, фехтующего длинной тонкой рапирой и приученного легко находить брешь в защите противника. Янычарская сабля была грубым магометанским подобием эспадрона, поэтому идеально подходила к фехтовальной манере Джека (и, к слову, Боба). Джек размахивал ей самым впечатляющим образом.

молотом, он пробил отверстие в крыше, бросил внутрь факел, протиснулся между брусьями, на которых держалась кровля, спрыгнул и приземлился на стол. Схватил факел, пока тот ничего не поджёг, и оказался лицом к лицу с портретом Мартина Лютера.

Загонщики — судя по голосам, несколько десятков, — окружили дом и пробовали на прочность окна и двери. По этим звукам Джек мог примерно определить размеры и форму здания. Оно состояло из нескольких комнат, так что, по всему, было не церковью, но и не обычным крестьянским домом. Никто не пытался пролезть вслед за ним через дыру в крыше. Джек знал, что никто и не полезет — дом просто подожгут. Он уже слышал, как рядом рубят деревья — добывают ещё топливо.

Эта конкретная комната была чем-то вроде молельни, а то, на что Джек приземлился, — алтарём. Рядом с портретом Лютера висело старое и не слишком искусное изображение девушки с протянутой чашей, над которой парила церковная облатка. Джека (который сегодня уже пил непонятное зелье из рук таинственных женщин) передёрнуло. Однако он последнее время много тёрся среди горняков, поэтому узнал святую Варвару — покровительницу тех, кто бьёт туннели

в земле, — хоть и без католических атрибутов. Остальную часть комнаты занимали дощатые скамьи. Прыгая с одной на другую, Джек отыскал что-то вроде гостиной с парой стульев и высокой чёрной печью, какие так любят немцы. Повернувшись на каблуках, он отправился в другую сторону, увидел свисающие с потолка огромные весы, гири, размером с круги сыра, шкаф и, наконец, — вот оно, везенье! — лестницу вниз.

Внутри становилось дымно, и не только из-за его факела. Джек распахнул шкаф и схватил сноп лучин. Шляпу он потерял во время бегства, поэтому прихватил суконный шахтёрский колпак, защищающий голову от ударов о каменную кровлю. Затем принялся спускаться по лестнице, и вовремя: деревянный дом занялся как порох. Богбоденские бюргеры увидят огромный костёр; охотники на ведьм сочтут его намёком и не смогут расшифровать.

Ступенек через двадцать начался туннель. Почти прогоревший факел осветил лишь малую его часть. Джек зажёг лучину. Она горела ярче, но всё равно не осветила дальний конец туннеля. Отлично. Джек побежал пригнувшись, чтобы не вмазаться башкой в деревянные крепи. Через минуту он миновал нишу с ручным воротом.

Верёвки уходили вниз. Ещё через минуту ему попалась вторая такая ниша, затем третья. Наконец Джек остановился, решив, что надо спускаться. Гордость за собственную смекалку успела схлынуть, уступив место тревоге. Участники шабаша знают местность лучше его. Им точно известно, что под домом — вход в шахту; несложно предположить, что он отыскал туннель. Вскоре они могут появиться с факелами, собаками и что там ещё берут немцы, когда охотятся на норных зверей со своими похожими на сосиски псами.

Одна из бадей, привязанных к вороту, была внизу, другая — наверху. Джек забрался в верхнюю, потянул за вторую верёвку и, перехватывая её руками, начал спуск. В какой-то момент он утратил бдительность, и бадья заскользила чересчур быстро. В панике Джек крепко сжал верёвку, обжёг ладони, выпустил её, снова схватил и снова выпустил от ещё более нестерпимой боли. Так бы оно и продолжалось, если бы на середине спуска поднимающаяся бадья не ударила его в подбородок. Дальше он продолжал падать, уже не хватаясь за верёвку. Спасло то, что бадья-противовес от удара закачалась и стала биться краями о стены шахты, всё быстрей и быстрей по мере подъёма, высекая искры и осыпая Джека

градом мелких камней, но в то же время тормозя падение. Джек втянул голову в плечи, а лучину выставил вверх на случай, если внизу окажется вода — возможность, которую следовало предусмотреть несколько раньше.

Внизу оказался камень — бадья приземлилась на бок и выбросила Джека. Сверху продолжали сыпаться камни, больно ударяя по ногам — добрый знак, что его не парализовало. Лучина по-прежнему горела. Джек вцепился в неё мёртвой хваткой и увидел, как голубоватое пламя пожелтело и вытянулось вбок, вопреки обыкновению пламени, которое, как правило, тянется *вверх*. Джек отбросил ногой бадью и, пройдя пару шагов, почувствовал воздушный ток из туннеля. Он отступил в другую сторону от шахты: здесь ветер дул в противоположном направлении. Обе воздушные струи сливались и устремлялись вверх по шахте с воем, который, ясное дело, напомнил Джеку о неприкаянных душах и всём таком прочем. Теперь он понял, зачем участники шабаша валили деревья: они знали, что сильный огонь вытянет воздух из шахты.

Надо было выбираться наружу, но как? Задним умом Джек понимал, что в шахту спускаться не стоило. Всё же он выбрал туннель, из которого тя-

нуло сильнее, и двинулся так быстро, как только мог. Чем быстрее он бежал, тем ярче разгоралась лучина, хотя в целом её пламя становилось всё более тусклым. Джек зажёг другую: та тоже горела слабо, если только не размахивать ею в воздухе, а если размахивать, отблески прыгали по толстым брусьям деревянной клетки, отбрасывая тени, похожие на злобные рожи расплющенных великанов и птицеящеров, — под вой ветра в каменных переходах это действовало особенно сильно.

Примерно тогда же Джек понял, что ползёт на четвереньках, скребя по полу тускло горящей лучиной. Время от времени он видел то слева, то справа узкие входы боковых туннелей. Из одного сильно тянуло сквозняком, и лучина разгорелась ярче; дальше воздух был неподвижен, и лучина погасла совсем. Джек дышал очень часто, но это не помогало. Из последних сил он в кромешной тьме пополз назад, пока не почувствовал на лице воздушный ток из бокового туннеля. Здесь он лёг и некоторое время просто дышал.

Наконец в голове прояснилось, и Джек понял, что сквозняк означает выход. Он пошарил по полу, отыскал досточки для локтей и пополз на боку, навстречу ветру. Трудно сказать, сколько

это продолжалось. Наконец туннель открылся во что-то вроде пещеры с плоским и ровным дном. Здесь воздушная река делилась на множество едва ощутимых рукавов, вьющихся меж камней и сталактитов. Высунув язык и держа нос у пола, Джек пополз вперёд. Иногда он вставал и шёл через залы, гулкие, как церкви, иногда полз на животе, с трудом протискиваясь между полом и кровлей. Раз ему попалось мелкое стоячее озерцо с обжигающе холодной водой. Джек выбрался на другой берег и снова угодил в туннель, потом миновал ещё череду туннелей, высоких и низких, наклонных и ровных — так много, что потерял счёт тому, сколько раз терял им счёт. Очень хотелось спать, но Джек знал, что, если пламя наверху погаснет, воздушный поток остановится — оборвётся нить, указывающая ему путь, как тому малому в мифе. Глаза, не довольствуясь полной тьмой, рождали адские образы из всего плохого, что видели за последние дни.

Джек услышал булькающий присвист, какой мог бы издавать дракон или змей, пошёл по нему навстречу воздушному току, вниз по наклонному туннелю, и оказался на краю воды. Высекши кремнём и огнивом несколько искр, Джек увидел, что воздух, навстречу которому он всё это

время шёл, поднимается пузырями со дна озера в каменном тупике. Больше делать было нечего. Джек сел умирать и вместо этого заснул. Кошмары, которые ему снились, были куда лучше яви.

Разбудили его звуки и свет, и то и другое — слабые. Свет — зеленоватое свечение, идущее от воды (которая перестала булькать), — Джек отказался принимать всерьёз. Это явно было очередное наваждение от ведьминского пойла. Однако звуки, пусть и слабые, казались интереснее. Раньше их заглушало бульканье воды, теперь Джек отчетливо слышал мерные удары и что-то вроде шипения.

Зелёный свет стал ярче. Джек различал на его фоне очертание своих рук.

Перед самым пробуждением ему снился исполинский кальян, какие турки курили в Лейпциге. Они тянули дым через мундштук, и тот, проходя через воду, остужался и очищался. Очевидно, сон навеяли звуки, которые он слышал, засыпая, поскольку вода точно так же шипела и булькала. Других занятий всё равно не было, поэтому Джек стал размышлять. Что, если туннель действовал, как огромный кальян: пламя, словно исполинский турок, втягивало наружный воздух, и тот, проходя через воду, заставлял её булькать?

Может ли быть, что проплыв небольшое расстояние под водой, он окажется на воздухе? И зелёное свечение — рассвет, сочащийся через невидимое отверстие под водой? Джек начал собираться с духом, опасаясь, как бы на это не потребовалось несколько часов. Думать он мог только о бедном брате Дике: как тот уплыл живой и розовый, а вытащили его бледным и неподвижным.

Джек решил плыть сейчас, пока ведьминское пойло не даёт соображать ясно. Он снял почти всю одежду (если всё пройдёт хорошо, за ней можно будет вернуться), оставил только саблю (чёрт его знает, что там впереди), кремень, огниво и шахтёрский колпак на случай, если ударится обо что-нибудь под водой. Потом отступил на пару шагов в туннель, разбежался под уклон и нырнул. Ледяная вода обожгла так, что Джек едва не вскрикнул и не выпустил последний воздух. Взглянул вверх — свет вроде стал ярче. Это был не потолок! Джек оттолкнулся от дна и вырвался к воздуху! Ему пришлось проплыть от силы три или четыре ярда.

Однако свет, теперь гораздо более яркий, не был солнечным. По эху неразборчивых голосов и капающей воды Джек понял, что по-прежнему находится под землёй. Зелёный свет сочился

из-за изгиба пещеры и странными отблесками вспыхивал на отдельных участках стен.

Прежде всего Джек сплавал за ботфортами и платьем, оделся и пополз на четвереньках, перебарывая озноб. Отблески, которые он заметил раньше, отбрасывали растущие из стены кристаллы в палец толщиной — алмазы! Он был в пещере со сказочными сокровищами. Стены щетинились самоцветами. Может, свет потому такой зелёный, что сочится через огромный изумруд?

Джек обогнул выступ, и его едва не ослепил диск ярко-зелёного света на полу огромного помещения. Постепенно он различил кольцо каких-то людей, — а может, и не людей — в причудливых одеяниях.

Посредине стоял некто в длинном балахоне с надвинутым капюшоном. Лицо было в тени, но зелёные отблески на скулах и подбородке придавали ему сходство с черепом. Зелёный огонь отражался в зрачках.

Голос заговорил по-французски — Элизин голос! Она была расстроена, недовольна — все повернулись к ней. Джек понял: это ад или преддверие ада, черти похитили Элизу, а может быть, она *умерла* — умерла потому, что он вовремя не

принёс лекарство, — и сейчас её утащат в пекло.

Джек выхватил саблю, ринулся вперёд… и провалился в зелёный диск. Внезапно оказалось, что он *плывёт* в зелёном свете. Внизу был твёрдый камень. Джек вскочил и, стоя по колено в зелёной светящейся воде, заорал:

— Отпустите её, черти! Возьмите лучше меня!

Все с визгом убежали, включая Элизу.

Джек поглядел вниз и увидел, что его одежда пропиталась зелёным свечением.

Остался только человек в капюшоне. Он спокойно вышел из лужи, открыл потайной фонарь, достал горящий фитиль и пошёл вокруг, зажигая воткнутые в пол факелы. Их яркий свет прогнал зеленоватое сияние. Джек стоял в бурой луже, одежда на нём была мокрая.

Енох сбросил с лица капюшон и сказал:

— Самое великолепное в твоём появлении, Джек, что пока ты не вылез из лужи, весь в фосфоре, ты был совершенно невидим. Ты словно материализовался из воздуха, с саблей, облачённый в колпак, как у гнома, и заорал на языке, которого никто не понимает. Ты никогда не думал поступить в театр?

Джек от растерянности даже не оскорбился.

— Кто это были?

— Богатые господа, которые ещё несколько минут назад подумывали купить *Кихел* у доктора Лейбница.

— Но… их несуразные наряды… уродский вид?

— Последняя парижская мода.

— У Элизы был расстроенный голос.

— Она спрашивала у доктора, какое отношение этот, как она выразилась, фокус, имеет к стоимости рудника?

— Но зачем возиться с добычей серебра, если стены усеяны алмазами?

— Кварц.

— Что это светится, а заодно и впрямь — какое отношение оно имеет к руднику?

— Фосфор, и ничего больше. Кстати, Джек, разденься, пока ты не вспыхнул.

Енох повёл его в боковой туннель. По пути они миновали огромный механизм, который шипел и бумкал, откачивая воду из шахты. Здесь Енох заставил Джека раздеться и вымыться, потом сказал:

— Не думаю, что об этом случае будут рассказывать с тем же восторгом, что о захвате чумного дома в Страсбурге и насыщении бродяг в Богемии.

— Что?! Откуда вы знаете?

— Я путешествую. Говорю с бродягами. Слухами земля полнится. Тебе занятно будет узнать, что твои подвиги собрали в плутовской роман под названием «*L'Emmerdeur*»[72], который уже сожгли в Париже и контрабандой доставили в Амстердам.

— Провалиться мне! — Джеку впервые подумалось, что дружеская манера Еноха может быть знаком истинного расположения, а не исключительно тонким ехидством.

Енох плечом открыл шестидюймовой толщины дверь и провёл Джека в сводчатое подземное помещение со столом, свечами и печкой — точно в таком могли бы обитать гномы. Оба сели и стали коротать время за куревом и выпивкой. Через некоторое время к ним присоединился доктор. Он не выказывал никаких признаков гнева, напротив, выглядел повеселевшим, как будто никогда и не хотел добывать серебро. Енох выразительно взглянул на доктора (Джек был почти уверен, что взгляд этот означает: «Я вам говорил не связываться с бродягами»). Доктор кивнул.

— Что делают… э… потенциальные вкладчики?

— Стоят снаружи на солнце. Дамы соревнуются,

---

[72] Примечания: 72
Здесь: засранец (*фр.*).

кто эффектней упадёт в обморок, мужчины ведут учёный спор на тему, кто ты такой: разгневанный гном, вставший на защиту своих сокровищ, или адский демон, пришедший по наши души.

— А что Элиза? Не в обмороке, полагаю?

— Ей некогда падать в обморок: она выслушивает похвалы своей проницательности.

— Тогда, возможно, она меня не убьёт.

— Напротив, Джек. Девушка раскраснелась, она светится, и отнюдь не от фосфора.

— Почему?

— Потому что, Джек, ты предложил пойти вместо неё на вечные муки. Это, если я не ошибаюсь, абсолютный *минимум* того, что каждая женщина требует от возлюбленного.

— Так вот чего им надо, — протянул Джек.

Элиза спиной отворила дверь. Руки у неё были заняты ворохом рекомендательных писем, визитных карточек, векселей, бумажек с нацарапанным адресом и кошельков, в которых позвякивали разнообразные монеты.

— Нам тебя недоставало, Джек, — сказала она. — Где ты пропадал?

— Бегал по поручениям… знакомился с местными… приобщался к их богатым традициям, — отвечал Джек. — И, пожалуйста, давай поскорее

выбираться из Германии.

Место

Торговлю, как и религию, все обсуждают, но мало кто понимает.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

лето 1684

— Если бы в Амстердаме ничего не происходило, кроме того, что всё везут *туда,* а потом *оттуда…*

— То там бы ничего не было, — закончила Элиза.

Обоим ещё только предстояло побывать в Амстердаме. Однако по сравнению с потоком товаров на дорогах и каналах Нидерландов, Лейпциг казался суетнёй второстепенных актёров, которые бегают по сцене с тюками, создавая *видимость* коммерции. Такого обилия людей и добра Джек не видел с битвы под Веной, только там это произошло один раз, а здесь творилось постоянно. И он знал, что все эти товары — слёзы по сравнению с тем, что доставляют в Амстердам морем.

Элиза была в строгом чёрном наряде с жёстким

белым воротником: ни дать ни взять супруга зажиточного голландского крестьянина, только по-голландски ни бельмеса. Почти весь долгий, временами смертельно скучный путь через герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттельское, герцогство Брауншвейг-Люнебургское, епископство Гильдесгеймское, герцогство Каленбергское, ландграфство ещё какое-то, княжество Липпе, епископство Оснабрюкское, графство Лингенское, епископство Мюнстерское и графство Бентгеймское она проделала в мужском платье, в сапогах и при шпорах. Не то чтобы кто-нибудь и впрямь принимал её за мужчину — она выдавала себя за итальянскую куртизанку, едущую в Амстердам на свидание с генуэзским банкиром. Смысла в этом никакого не было, но Джек знал, что пограничной страже больше всего хочется хоть как-то развеять скуку. Легче было выставлять Элизу напоказ, чем пытаться её спрятать. Замучаешься перед каждой следующей границей угадывать, живут по ту сторону реформаты или католики и насколько ярые реф. или кат. Соответственно, куда проще выглядеть бесстыдно нерелигиозными везде, а если местные обидятся — делать ноги. По большей части это работало. У местных хватало своих забот: если хотя бы половина слухов была

правдива, королю Лую показалось мало обстрелять Геную, взять в осаду Люксембург, цыкнуть на папу Иннокентия XI, изгнать евреев из Бордо и стянуть войска к испанской границе — он ещё и объявил, что владеет северо-восточной Германией. Поскольку они ехали как раз через северо-восточную Германию, обстановка здесь выглядела напряжённой, но переменчивой, что было им скорее на руку.

Огромные стада тощих телят гнали для откорма из восточных долин на рукотворные пастбища Нидерландов. Вместе с ними направлялись в поисках заработка полчища безработных, так называемых *Hollandgänger* — ходоков в Голландию. Поэтому границы были легко проходимы, за исключением рубежей Голландской республики, где на пути встали всевозможные препоны: не только природные реки, но и стены, рвы, валы, пикеты и частоколы, частью новые, охраняемые солдатами, частью старые, полузаросшие — следы битв, происходивших ещё до рождения Джека. Раз или два им велели убираться подобру-поздорову при обстоятельствах, над которыми задним числом можно было даже посмеяться, но наконец они проникли в Гелдерланд, восточную окраину республики. Джек терпеливо учил

Элизу внимательно разглядывать тела, руки и головы казнённых преступников, украшающие городские ворота и пограничные столбы: по ним можно угадать, какое именно поведение наиболее ненавистно местным. Вот почему сейчас Элиза была в чёрном и закрытом, а Джек на костыле. Оружие и голое тело (как, например, шею, не говоря уже обо всём остальном) здесь следовало прятать.

Пошлину брали повсюду, но единого центра власти не наблюдалось. Стада уходили с дороги на плоские, словно пруды, луга. Через день или два жидкая процессия голландгенгеров вышла на более широкие дороги, идущие с востока и с юга. Сплошные вереницы телег, нагруженных добром, боролись со столь же мощным встречным течением.

— Почему бы просто не остановиться и не устроить торг посреди дороги? — спросил Джек отчасти для того, чтобы подначить Элизу.

Однако она сочла вопрос вполне дельным — из тех, что мог бы задать философствующий доктор.

— И впрямь почему? Должна быть причина. В коммерции причина есть *для всего* — тем она мне и нравится.

Пейзаж составляли узкие полоски ровной зем-

ли, разделённые прямыми канавами со стоячей водой. Всё, что происходило на этой земле, было невероятно чудны́м: например выращивание тюльпанов. Каждый цветок пестовали по отдельности, словно гуся, которого откармливают к Рождеству; свиней и телят холили, как детей в богатой семье. На непривычного вида полях росли лён, конопля, рапс, табак, хмель, марена и вайда. Курьёзнее же всего были те предприимчивые селяне, которые занимались делами, никак не связанными с сельским хозяйством. Во многих местах крестьянки вымачивали рулоны английских тканей в пахте и выкладывали на полях сушиться под солнцем. Где-то выращивали репейник и собирали репьи, чтобы делать орудия для кардования шерсти. Целые деревни сидели и плели кружево, так что только пальцы мелькали; дети ходили от мастерицы к мастерице с питьём и хлебом, чтобы те подкреплялись, не прерывая работы. Некоторые крестьяне держали в конюшнях не лошадей, а художников: молодые французы, итальянцы и савояры сидели перед мольбертами и со страшной скоростью копировали пейзажи, марины и огромные изображения осады Вены. Картины складывали в стопки, увязывали в тюки и тоже отправляли в Амстердам.

Иногда поток приводил путников в городки, где тоже шли нескончаемые ярмарки. В этой стране всё делалось шиворот-навыворот: крестьяне не выращивали себе пропитание и вынуждены были ходить за ним на рынок, как горожане. Чтобы купить хлеб, яйца и сыр в дорогу, Элиза и Джек вынуждены были протискиваться между грубыми мужланами и ругаться с деревенскими бабами, чьи руки украшали серебряные кольца. Элиза впервые увидела аистов: как они строят гнёзда на крышах и слетают на улицы, чтобы раньше собак подхватить оброненную корку. Пеликаны ей тоже понравились. А вот диковинки, на которые больше всего глазел Джек, — четырёхногие цыплята и двухголовые бараны, которых крестьяне показывали на улице, — её не впечатлили. В Константинополе она видала тварей почудней.

По одному из городков водили женщину в деревянной бочке с отверстиями для рук и головы — уличённую прелюбодейку. После этого Элиза не могла успокоиться сама и не давала покоя и отдыха Джеку. Они гнали себя по землям, опустошённым два десятилетия назад, когда Вильгельм Оранский открыл шлюзы, спасая Амстердам от войск короля Луя. Ночевали в домах, разрушен-

ных искусственным потопом, двигались вдоль каналов, обходя торфяные костерки тамошних пиратов и поселения прокажённых, которые собирали подаяние следующим образом: забрасывали на проходящие баржи пустые ящички и тянули их назад на верёвках уже с монетами.

Однажды, двигаясь по берегу канала, они увидели впереди реку; та шла прямо, как натянутая тетива, затем поворачивала за холм.

Кораблей было столько, что, казалось, некуда запустить ореховую скорлупку. Очевидно, близился Амстердам.

Бегство из Германии (как звалась вся эта мешанина герцогств, курфюршеств, ландграфств, маркграфств, епископств, архиепископств и княжеств) заняло куда больше времени, чем хотелось бы Джеку. Доктор предложил довезти их до Ганновера, где присматривал за библиотекой герцогини Софии*[73], когда не строил ветряные мельницы над их серебряными рудниками в Гарце. Элиза тут же с благодарностью согласилась, не полюбопытствовав, что скажет Джек. Джек сказал бы «нет», поскольку имел привычку идти когда и куда ему заблагорассудится. А ехать с док-

[73] Примечания: 73
И её мужа, герцога Эрнста-Августа.

тором в Ганновер означало торчать в Бокбодене, пока доктор не уладит все свои тамошние дела.

— На что он убивает *сегодняшний* день? — спросил как-то утром Джек у Еноха Роота.

Они ехали по горной дороге перед двумя воловьими упряжками. Енох отправлялся по таким делам каждое утро. Джек решил для разнообразия составить ему компанию.

— На то же, на что вчерашний.

— А чем таким он занят? Простите невежественного бродягу, но я привык к людям действия, и когда доктор день за днём каждый день с кем-то говорит, мне кажется, что он ничего не делает.

— Он ничего не *добивается,* но это совсем иное, чем ничего не *делать*, — важно сказал Енох.

— А чего он хочет *добиться?*

— Он убеждает управляющих на герцогских рудниках не отказываться от его усовершенствований из-за того, что очередная попытка продать *Кихеп* разделила судьбу прежних.

— Ну и с какой стати они его послушают?

— Мы отправимся туда, где доктор побывал вчера, — сказал Енох, — и узнаем, что он хотел от управляющего.

— Прости, начальник, по-моему, это не ответ на мой вопрос.

— Весь день будет тебе ответом, — сказал Енох и выразительно оглянулся на тяжёлую телегу, нагруженную глиняными сосудами с ртутью в деревянных ящиках.

Они подъехали к руднику, который ничем не отличался от остальных: шлаковые кучи, ручные во́роты, печи, тачки. Джек видел это в Рудных горах, видел в Гарце, но сегодня (быть может, поскольку Енох намекнул на возможность узнать новое) увидел кое-что ещё.

Обломки руды — урожай, снятый с жилы, что выросла в земле, — сваливали в кучу, потом разгребали граблями и били молотом. Горняки, слишком юные, слишком старые или слишком увечные, чтобы лезть в забой, оглядывали полученные куски и раскладывали в три кучки. Первую — породу без руды — ссыпали в отвал. Вторую — богатую руду — отправляли прямиком к печам, где дробили жерновами, смешивали со жжёным свинцом, заталкивали в высокие печи, мехи которых качали мулы, и отливали в серебряные чушки. Всё это Джек видел на рудниках герра Гейделя. А вот третьей кучи — с бедной рудой — в Рудных горах не было. Герр Гейдель считал, что она не стоит затрат на обогащение.

Джек прошёл за телегой с рудой из третьей

кучи до луга, на котором громоздились странные, покрытые промасленной рогожей кучи. Здесь мужчины и женщины толкли бедную руду в больших чугунных ступах. То, что получалось, мальчишки просеивали сквозь сита, потом смешивали с водой, солью и отходами медного производства. Месиво они высыпали в большие деревянные кадки. Тут подходил старшой; за ним двое дюжих парeньков, обливаясь пóтом, тащили на спине что-то знакомое: те самые глиняные бутыли со ртутью, которые доктор купил в Лейпциге, а Енох сегодня привёз на рудник. Старшой трогал месиво, проверяя его консистенцию, и, если всё было правильно, обхватывал бутыль, вытаскивал деревянную пробку, и ртуть серебристой молнией лилась в кадку. Босоногие мальчишки принимались ногами перемешивать её с толчёной рудой.

Несколько таких кадок обрабатывались разом. Енох объяснил, что амальгаму надо месить двадцать четыре часа. Затем кадку опрокидывали на землю, накрывали от дождя промасленной рогожей, а сверху втыкали табличку с указанием дня и часа. Сейчас на лугу были десятки таких куч.

— Эту последний раз мешали десять дней назад — она подоспела, — сказал Енох, прочитав одну

из табличек.

И впрямь, некоторое время спустя один из рабочих перегрузил её в кадку и вновь принялся перемешивать ногами.

Енох пошёл дальше, заглядывая под рогожу и давая советы старшим. Из леса выползли местные: любопытство гнало их вперёд, страх — назад. «В этой слишком много ртути, — сказал Енох про одну кучу, — потому она такая чёрная». Другая была цвета отрубей — в неё следовало добавить ртути. Цвет остальных куч — серый, — по всей видимости, устраивал Еноха, но он совал в них руку, проверяя температуру. В холодные следовало добавить медной окалины, в чересчур горячие — воды. Енох нёс с собой тазик с водой, в которой промывал образцы месива из куч, покуда на дне не оставались серебристые лужицы. Одну из куч, равномерно-пепельного цвета, он объявил созревшей. Работники перегрузили её в тачки и отвезли к ручью, где был устроен каскад для промывки. Вода уносила пепельного цвета муть, оставляя серебристое вещество. Его укладывали в конические мешки, как для сахарных голов, и вешали над горшками. Они болтались рядами, словно коровьи соски, только вместо молока из них капала ртуть. В мешках оставалась

блестящая полутвёрдая масса. Из неё лепили комья, наподобие снежков, и по несколько штук складывали в тигли. Каждый тигель накрывали железной заслонкой, переворачивали и ставили на другой тигель, наполовину зарытый в землю, так чтобы они соприкасались краями, а заслонка наполовину перегораживала отверстие. На дно нижнего тигля была налита вода. Затем все засыпали углём и жгли, пока верхний тигель не раскалится добела. Когда всё остывало, золу разгребали и видели, что ртуть ушла из комков амальгамы и собралась внизу; сверху оставались слипшиеся пористые комки серебра — бери и чекань талеры.

Почти всю дорогу домой Джек думал об увиденном. Он заметил, что Енох Роот довольно мурлычет себе под нос — видимо, радуется, что так успешно заткнул ему рот.

— Как видишь, и от алхимии есть польза, — сказал Енох, заметив, что Джек вышел из задумчивости.

— Это вы придумали?

— Я лишь усовершенствовал. Прежде использовали только ртуть и поваренную соль. Кучи были холодными, им приходилось созревать по году. Если добавить медную окалину, они разогрева-

ются, и всё происходит за три-четыре недели.

— Сколько стоит ртуть?

Енох хохотнул.

— Ты говоришь как твоя приятельница.

— Это первый вопрос, который она задаст.

— По-разному. Хорошая цена за центнер ртути — восемьдесят.

— Восемьдесят чего?

— Пиастров, — отвечал Енох.

— Существенное уточнение.

— Христианский мир очень невелик, Джек, — сказал Енох. — За его пределами универсальная валюта — пиастры.

— Ладно. И сколько серебра можно получить при помощи центнера ртути?

— В зависимости от качества руды, примерно сто испанских марок[74] — и, упреждая твой следующий вопрос, испанская марка серебра стандартной пробы стоит восемь пиастров и шесть реалов…

— В пиастре восемь реалов… — сказала Элиза.

Предыдущие два часа она просидела совершенно неподвижно, покуда Джек расхаживал, скакал

---

[74] Примечания: 74

Одна марка золота или серебра содержит восемь тройских унций или две трети тройского фунта.

и прыгал по её спальне, излагая события дня в почти неприукрашенном виде.

— Это даже я знаю, — объявил Джек.

Он стоял босиком на Элизином соломенном тюфяке, где только сейчас показывал, как работники ногами месят амальгаму.

— Восемь пиастров и шесть реалов составят семьдесят реалов. В таком случае сто марок серебра стоят семь *тысяч* реалов… или… восемьсот семьдесят пять пиастров. А цена требуемой ртути…

— Восемьдесят реалов будет *хорошей* ценой.

— Итак: тем, кто делает деньги, нужно серебро, а тем, кто делает серебро, нужна ртуть… ртуть, приобретённая на пиастр, при должном применении позволит произвести серебра на десять пиастров.

— И её можно использовать по второму разу, что они и делают, — сказал Джек. — Только ты забыла, что нужны ещё кое-какие мелочи. Серебряный рудник. Горы угля и соли. Армия рабочих.

— Всё можно раздобыть, — отвечала Элиза. — Разве ты не понял, что́ говорил тебе Енох?

— Не говори… я сам попробую… подожди! — сказал Джек и подошёл к бойнице взглянуть вверх на ветряк и вниз, на воловьи упряжки во

дворе. Через бойницу можно было глядеть только вверх или вниз. — Доктор доставляет ртуть тем управляющим, которые его слушаются.

— Итак, — проговорила Элиза, — у доктора есть… что?

— Власть, — ответил наконец Джек после нескольких неверных догадок.

— Потому что у него есть… что?

— Ртуть.

— Вот и ответ. Мы едем в Амстердам покупать ртуть.

— Отличный план. Будь у нас деньги…

— Пфу! Воспользуемся чужими, — сказала Элиза, стряхивая что-то с ногтей.

Сейчас, глядя вдоль запруженного кораблями канала на город, Джек мысленно представил себе карту, которую видел в Ганновере. Эрнст-Август и София унаследовали библиотеку (не говоря уже о библиотекаре, то есть докторе), когда брат Эрнста-Августа, папист (в семье не без урода!), любезно скончался во цвете лет, не оставив наследника. Братец этот, видать, книжками интересовался больше, чем женщинами, потому что библиотека (по словам доктора) ко времени его смерти была одной из крупнейших в Германии и с тех пор только росла. Разместить её было негде,

оставалось только перетаскивать из хлева в хлев. Эрнст-Август вечно отбивался от короля Луя на берегах Рейна или мотался в Венецию за новыми любовницами; построить здание для библиотеки у него руки не доходили.



Так или иначе, Элиза и Джек по пути на запад несколько дней провели в Ганновере, и доктор пустил их ночевать в одну из многочисленных пристроек, где размещалась библиотека. От книг Джеку не было никакого проку, а вот карты его

заинтересовали. Он их постарался запомнить, по крайней мере те их части, что были закончены. Далёкие острова и континенты были разбросаны по пергаменту, как растоптанные мозги: в середине белые пятна, береговая линия обрывается в океане, поскольку дальше никто не плавал, а россказни путешественников противоречивы.

Одна карта изображала торговые пути: прямые линии от города к городу. Джек не мог прочесть подписей, однако узнал Лондон и ещё несколько городов; остальные названия прочла ему Элиза. Один город на побережье Голландии был не подписан; к нему сходилось столько торговых путей, что он превратился в кляксу, в чёрное солнце. При следующей встрече с доктором Джек торжествующе указал на изъян в карте. Архибиблиотекарь только пожал плечами.

— Евреи даже не потрудились дать ему имя, — сказал он. — На их языке он зовётся просто *мокум*, что означает «место».

> От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых, как нам уже довелось видеть, достигалось нечто подобное тому, к чему мы стремимся, а от этой мысли – мысль о средствах достижения этих средств и т. д., пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти.
>
> ***Гоббс, «Левиафан»***

Ближе к Месту их взглядам представало всё больше диковинного: баржи с водой (пресной питьевой водой для горожан), баржи с торфом, градирни, где добывали соль… Однако Джек мог смотреть на всё это лишь несколько часов в день. Остальное время он смотрел на Элизу.

Она ехала на Турке и сейчас разглядывала свою левую руку так пристально, словно обнаружила там проказу или что-нибудь подобное. При этом она шевелила губами. Джек уже открыл было рот, но Элиза подняла правую руку, прося его замолчать. Потом подняла левую. Рука была розовая и совершенно здоровая, но странным образом скрюченная: средний палец согнут, большой и мизинец придерживают друг друга, безымянный

и указательный торчат вверх.

— Ты похожа на жрицу новой секты. Ты меня благословляешь или проклинаешь?

— Ди, — только и отвечала она.

— Ах, доктор Джон Ди, прославленный алхимик и шарлатан? Думаю, при помощи Еноховых салонных фокусов мы могли бы пощипать богатых купеческих жёнушек…

— Буква D, — твёрдо сказала Элиза. — Четвёртая в алфавите. Четыре — вот, — поднимая левую руку с загнутым средним пальцем.

— Да, вижу, что ты держишь четыре пальца…

— Нет… это *двоичные* числа. Мизинец означает единицу, безымянный — двойку, средний — четвёрку, указательный — восьмёрку, большой — шестнадцать. То есть, когда загнут только средний, это четыре, то есть D.

— Но у тебя только что были загнуты ещё большой и мизинец.

— Доктор научил меня шифровать их, добавляя *другое* число, в данном случае — семнадцать. — Элиза подняла правую руку со сведёнными мизинцем и большим пальцем, потом, опустив её, объявила: — Двадцать один, то есть в английском алфавите U.

— А в чём смысл?

— Доктор научил меня прятать сообщения в письмах.

— Ты собираешься ему *писать?*

— А как мне в противном случае рассчитывать на *его* письма? — невинно отвечала Элиза.

— Зачем они тебе? — спросил Джек.

— Чтобы продолжить образование.

— Уф! — Джек согнулся пополам, как будто Турок лягнул его в живот.

— Игра в угадайку? — холодно произнесла Элиза. — Или ты считаешь, что я и так слишком образованна, или надеялся услышать что-то другое.

— Оба раза в точку, — сказал Джек. — Ты часами учишься — и никакого проку. Я надеялся, что доктор или его София поддержат тебя *финансово*.

Элиза рассмеялась.

— Сколько раз говорить — я не подходила к Софии ближе чем на полмили. Доктор разрешил мне забраться на колокольню, из которой открывается вид на Герренхаузен, её парк, чтобы посмотреть, как она выходит на прогулку. Таких, как я, к таким, как она, не подпускают.

— Так чего ради было стараться?

— Чтобы увидеть её: дочь Зимней королевы, правнучку Марии Стюарт. Тебе не понять.

— Просто тебя всё время занимают деньги. Глядя за милю на бабёшку во французском наряде, не больно разбогатеешь.

— В любом случае Ганновер бедная страна — у них нет средств, чтобы участвовать в нашем предприятии.

— Хотел бы я пожить в такой бедности!

— Почему, по-твоему, доктор ищет инвесторов для серебряных рудников?

— Спасибо, ты вернула меня к первому вопросу: чего хочет доктор?

— Перевести всё человеческое знание на новый язык, состоящий из чисел. Записать его в огромную Энциклопедию, которая будет вроде машины, — чтобы не только находить старое знание, но получать новое посредством некоторых логических операций с числами. При помощи нового знания положить конец религиозной розни, вытащить бродяг из нищеты и освободить их потенциальную энергию — уж не знаю, что это значит.

— Что до меня, я бы предпочёл кружечку пива и зарыться лицом в твои ляжки.

— Мир велик — возможно, и тебе, и доктору удастся осуществить мечты, — отвечала Элиза, подумавши. — Езда на лошади *приятна,* но очень

возбуждает.

— Не жди сочувствия от *меня*.

Канал соединился с другим. Некоторое время Элиза с Джеком продвигались вдоль реки Амстел до того места, где перед самым её слиянием с рекой Эй голландцы в древности, подобно бобрам, воздвигли плотину. Затем (как видел Джек, большой дока в фортификации), когда всё, на что может покуситься враг, — добро, церкви и женщины, — оказалось за Амстелской дамбой, рачительные владельцы-прихожане-мужья принялись возводить линии обороны. С севера естественным рвом служила широкая Эй — скорее узкий морской залив, чем река. Со стороны суши воздвигли валы, широкой буквой U окружающие Амстел-Дам и подходящие к Эй по обе стороны от впадения Амстела; изгиб U пересёк Амстел выше дамбы. Землю для валов надо было откуда-то брать. За неимением холмов пришлось рыть узкие карьеры, которые, заполнившись водой, превратились во рвы. Однако для ретивых голландцев любой ров тут же становился каналом — что месту зря пропадать. Со временем всё пространство внутри U заполнилось зданиями, и новым поселенцам пришлось строиться за пределами вала, а следовательно, возводить

следующие U. Город наращивал кольца подобно дереву. Внешние слои были широкие, с каналами на значительном расстоянии; во внутренних каналы отстояли один от другого на бросок камня, так что Джек с Элизой то и дело оказывались на хитро устроенных подъёмных мостах. Оттуда они смотрели на каналы, покрытые небольшими судёнышками, способными пройти под мостом, и (на Амстеле и каналах побольше) скрипучими шлюпами со складными мачтами. Даже такие судёнышки могли везти под ватерлинией огромное количество грузов. Каналы и суда объясняли, как в Амстердаме вообще можно двигаться: всё то добро, которым были запружены сельские дороги, здесь перегружали в трюмы, а улицы по большей части оставляли людям.

Вдоль каналов стояли длинные ряды пятиэтажных строений. В центре города ещё сохранились несколько древних деревянных домов, однако в основном здания были кирпичные, крашенные дёгтем, с белыми кромками вдоль фасадов. Джек, как деревенский разиня, изумлялся амбарным воротам на пятом этаже дома. Товары туда поднимали при помощи торчащего сверху бруса. Если в Лейпциге складами служили чердаки, то здесь этому были отданы *все* дома.

За самой богатой из складских улиц — Вармусстрат — лежала длинная площадь Дам. Насколько Джек понял, это и была первоначальная дамба, только замощённая. Здесь ходили люди в тюрбанах и чужеземных меховых шапках; кавалеры в шелках раскланивались, снимая украшенные перьями шляпы; на множество высоких зданий и других диковин Джек мог бы пялиться до вечера. Однако не успел он как следует вытаращить глаза, как его внимания потребовал некий феномен масштабов войны, пожара и библейского Потопа. Джек повернулся лицом к мокрому ветру. Взгляду его предстали короткий широкий канал и бурое облако, затянувшее горизонт. Может, это был дым от пожара вроде лондонского. Нет, скорее лес, голая безлистая чаща шириною в несколько миль. Или даже вовсе армия, в сотни раз превосходящая турецкую, чьи пики размером с сосны украшали флажки и вымпелы.

Только через несколько минут Джек разрешил себе поверить, что смотрит на все корабли мира разом — мачты, канаты и реи сливались в сплошной горизонт, сквозь который еле-еле просвечивали церкви и ветряные мельницы на другой стороне. Корабли, входящие в Эйсселмер и выходящие из него, обменивались пушечным

салютом с береговыми батареями; облака дыма над снастями сливались в непрерывную ткань, словно глина, наляпанная на плетень из сухих прутьев. Морские волны распространялись, как медленные вести.

Как только Джек получил несколько часов, чтобы освоиться со странностями Амстердама — его зданиями, улицами-каналами, агрессивной опрятностью горожан, их неспособностью сообща принять ту или иную церковь, — он понял это место. Все кварталы и слободы были те же, что в любом другом городе. Точильщики ножей могли одеваться со строгостью пасторов, но ножи точили точно так же, как их парижские собратья. Даже порт отличался от устья Темзы лишь размерами.

И тут они забрели в слободу, подобной которой Джек не видел *нигде*. Вернее, слобода набрела *на них,* ибо то была кочующая толпа. Хотя Амстердам, как водится, делился на бедные и богатые кварталы, в этой подвижной слободе все сословья перемешались — такой же нонсенс для бродяги-Джека, что и для французского дворянина. Даже издали, пока слобода на них надвигалась, было видно, что она взбудоражена, словно толпа у дворцовых ворот в ожидании вести о кончине

монарха. Однако, как ясно увидел Джек, когда слобода окружила их и увлекла за собой, ни дворцовых ворот, ни чего подобного здесь не было.

Это могла быть одна из причуд мироздания, вроде кометы, только Элиза крепко схватила Джека за руку и потащила со всеми, так что они на полчаса стали частью слободы, которая перекатывалась среди амстердамских домов, словно капелька ртути в деревянном лабиринте. Джек видел, что люди эти ждут новостей, но не извне, а *изнутри:* информация или слухи о ней пробегали по толпе, словно волны по встряхиваемому половику, с тем же шумом и шквалом мелкого мусора. Подобно оспе, она стремительно передавалась от человека к человеку в ходе быстрого обмена словами и числами. Каждый такой обмен сопровождался жестом, который поколения назад мог быть рукопожатием, а теперь выродился в быстрый удар ладонью о ладонь. При должном исполнении слышался звонкий хлопок, и рука становилась красной. Итак, распространение новостей, слухов и тенденций в толпе можно было проследить по волнам хлопков. Если волна накатила и пронеслась дальше, а ладонь у тебя не красная и в ушах не звенит, значит, ты пропустил что-то важное. Джека такое положение

дел более чем устраивало, Элиза же его снести не могла. Вскоре она принялась мигрировать вместе с волнами шума туда, где он был громче. Что хуже, Элиза вроде бы понимала происходящее. Она худо-бедно знала испанский, на котором говорила немалая часть толпы, особенно многочисленные евреи.

Элиза отыскала жильё на юго-западе от площади Дам, в улочке настолько узкой, что Джек мог одновременно коснуться руками стен по обе её стороны. Кто-то перекинул брусья между вторым, третьим и четвёртым этажами противоположных домов и на этом каркасе соорудил новое строение. Дома по обе стороны в разной мере осели в торфяное болото, на котором стояли, так что постройка над улицей перекосилась, пошла трещинами и в дождь текла. Элиза сняла четвёртый этаж после апокалиптического торга с хозяйкой (Джек, отводивший Турка в конюшню, застал лишь последние полчаса). Хозяйка, остролицая кальвинистка, с ходу поняла, что Элиза предопределена к погибели. Приход Джека мало что добавил к этому впечатлению. Тем не менее она твёрдо сказала: «Никаких гостей!» — указывая на Джека, так что серебряные кольца забрякали, как звенья цепи. Джек подумал было сбросить штаны

в доказательство своей нравственной чистоты. Впрочем, поездка в Амстердам была Элизиной затеей, не его, и он решил, что не стоит. Жильё они получили (во всяком случае, получила Элиза), а Джек всегда мог проникнуть туда по крыше или по водосточной трубе.

Некоторое время они прожили в Амстердаме.

Джек думал, что Элиза начнёт что-нибудь *делать*, но она проводила время в кофейне на площади Дам, иногда писала письма доктору, иногда получала его ответы. Кочующая слобода взбудораженных людей прокатывала мимо кофейни «Дева» дважды в день, ибо двигалась по определённому распорядку. До полудня эти люди толпились на площади Дам, затем перебирались на площадь под названием Биржа и оставались там до двух часов, после чего возвращались на площадь Дам и делились на клики и фракции, заседавшие по разным кофейням. Элизина квартира располагалась над одним из важных торговых путей, так что — дома ли, в кофейне ли — Элиза была в курсе всех новостей.

Джек решил, что она намерена, как какая-нибудь дворянка, промотать их общие деньги, и ничуть не огорчился, поскольку сам больше любил тратить, чем зарабатывать. Он вернулся

к прежней привычке: целыми днями бродить по новому городу и выяснять, как тут всё устроено. Не умея читать, не зная языка, он учился, наблюдая, — а посмотреть здесь было на что. Первый раз он допустил промашку — оставил костыль у Элизы дома — и вышел погулять как здоровый. Тут же выяснилось, что, несмотря на приток голландгенгеров, с востока Амстердаму отчаянно не хватает рабочих рук. Меньше чем через час его задержали как праздношатающегося и отправили чистить каналы. Видя, сколько ила поднимает со дна драга, Джек подумал, что в теории доктора о том, как мелких тварей заносит илом, есть здравое зерно.

Когда к вечеру его и других бедолаг отпустили, Джек с трудом выбрался на пристань — столько там столпилось людей с тяжёлыми звенящими кошельками. Все они пытались набрать матросов на корабли. Джек поспешил унести ноги, ибо там, где такой спрос на моряков, непременно есть и принудительная вербовка: неосторожно заглянешь в тёмный проулок или выпьешь на дармовщинку в таверне и очнёшься с головной болью на корабле, идущем к мысу Доброй Надежды.

В следующий раз он вышел на костыле, привя-

зав левую ступню к ягодице. В таком виде можно было бродить по берегам реки Эй и смотреть сколько влезет, только не останавливаться надолго, чтобы не приняли за попрошайку и не отправили в работный дом.

Кое-что Джек знал от бродяг и из карт доктора, например, что Эй расширяется, образуя залив Эйсселмер, вход в который загораживает остров Тексел. Возле Тексела есть глубокие якорные стоянки, а вот между ним и Эйсселмером лежат песчаные отмели, как в устье Темзы, сгубившие множество мореходцев. Тем больше его изумляло количество торговых судов на Эй, ведь он знал, что по-настоящему большие корабли сюда добраться не могут.

В дно Эй вбили ряды свай, запечатав окончания U, чтобы английские и французские военные корабли не могли подойти прямо к площади Дам. На сваи был уложен настил с разводными мостами, дабы мелкие судёнышки: плоскодонные кааги, фламандские флейты, бочонкообразные смэки — проходили во внутреннюю гавань, каналы и Дамрак — короткую бухту, оставшуюся от первоначальной реки Амстел. Корабли побольше швартовались по другую сторону заграждения. В восточной части внутренней гавани насыпали

новый остров — Остенбург — и устроили на нём верфь. Над ней развевался флаг с буквами O и C, насаженными на рога V, что означало Голландскую Ост-Индскую компанию. Здесь изумляло всё: канатные мастерские — узкие здания в треть мили длиной, ветряки, сверлящие отверстия в пушечных стволах, парильня, чтобы гнуть дерево, постоянно окутанная мглой, десятки кузниц, в том числе две огромные, где изготавливали якоря, и маленькая чистенькая (в ней делали гвозди), дегтярный заводик (на отдельном островке, чтобы если он вспыхнет, не загорелось всё остальное). Огромные парусные мастерские. И, разумеется, остовы больших судов на стапелях, по которым рабочие ползали, как муравьи по китовому скелету.

Вероятно, где-то были ещё искусные резчики по дереву и позолотчики, поскольку корма и нос каждого корабля Ост-Индской компании были украшены, как парижский бордель золочёными статуями: скажем, дева полусидела на кушетке, возложив руку на золотой шар, а Меркурий слетал с небес увенчать её лаврами. Сразу за мельницами и сторожевыми башнями по краю города начинались поля, разделённые канавами. Коровы паслись в нескольких ярдах от

ост-индских кораблей, разгружавших пряности и ситец в шлюпки, уходившие затем под разводные мосты в Дамрак.

Дамрак упирался в новую весовую: приятное на вид здание, постоянно облепленное судёнышками. Нижний этаж был полностью открытым: здание стояло на сваях, как бродяжья лачуга в лесу. Всё пространство первого этажа заполняли весы различных размеров и полки с медными и бронзовыми цилиндрами, украшенными завитушками букв, — гирями и гирьками для всех мер веса, сколько их есть в голландских провинциях и остальном мире. Джек знал, что это третья весовая в городе, и всё равно здесь не успевают взвесить и проштамповать весь товар. Баркасы, подходившие к весовой, и те, что везли взвешенное и проштампованное добро к складам, еле-еле ухитрялись разминуться в узких каналах. Каждые несколько минут через площадь Дам проезжали повозки с монетами, полученными от капитанов в уплату пошлины; они неслись к Обменному банку, распугивая коммерсантов в тюрбанах, лентах и париках. Обменный банк располагался в Ратуше; неподалёку находилась Биржа — прямоугольный двор, окружённый колоннадой как в Лейпциге, только светлее и

больше.

Раз вечером Джек зашёл за Элизой в «Деву», где та в поте лица пила кофе и транжирила наследие Шафто. Внутри было людно, и Джек решил, что сможет проскользнуть, не привлекая внимания вышибал. Кофейня — просторная, с высокими потолками — ничуть не походила на таверну. Здесь было жарко; умные люди оживлённо беседовали на полудюжине языков. За угловым столиком у окна, где северный свет с Эй удачно ложился на лицо, сидела Элиза в обрамлении двух женщин и судила (или так показалось Джеку) парад итальянцев, испанцев и прочих смуглых господ с рапирами, в париках и ярких нарядах. Иногда она брала круглый кофейник и тогда становилась точь-в-точь Амстердамская Дева на корме корабля — или, к слову, на фреске, украшавшей потолок в этой самой кофейне: задрапированная в ярды золотистого шёлка, одна рука на шаре, одна грудь полуобнажена, справа, чуть позади, — Меркурий, снизу восточные люди в тюрбанах и негры в перьях, несущие дань в виде жемчугов и серебряных блюд.

Она флиртует с сынками генуэзских и флорентийских купцов! Это Джек ещё мог бы снести, не будь они все богаты. У него потемнело в глазах.

Потом ярость рассеялась, словно пепел, смываемый с амальгамы, и остался блеск серебра под чистой проточной водой. Элиза смотрела на него — видела всё. Она взглядом показывала Джеку, чтобы тот посмотрел направо, потом устремила синие глаза на собеседника и засмеялась его остроте.

Джек посмотрел и увидел возле стены что-то вроде алтаря: застеклённый шкапчик, украшенный резными позолоченными серафимами, как если бы внутри хранились частицы Честного Креста или обрезки архангельских ногтей. Однако на самом деле в шкапчике лежали скучные повседневные вещи: слитки свинца, комки шерсти, кучки селитры, сахара, кофейных зёрен и чёрного перца, железные, медные, оловянные бруски, лоскутья хлопка и шёлка. И, в хрустальном флакончике, как духи, — образчик ртути.

— Я должен поверить, что ты там ворочаешь делами? — спросил он, когда Элиза освободилась и они вместе вышли на площадь Дам.

— А чем, по-твоему, я занимаюсь?

— Что-то я не видел, чтобы деньги или товар переходили из рук в руки.

— Здесь это зовётся *Windhandel*.

— Торговля воздухом? Меткое словцо.

— Знаешь ли ты, Джек, сколько ртути хранится на складах вокруг нас?

— Нет.

— А я знаю.

Она остановилась в таком месте, где можно было через арку заглянуть на Биржу.

— Как мельничное колесо, приводимое в движение струйкой воды или дуновением ветра, вращает целый сложный механизм, так струйка бумаг, переходящих из рук в руки *тут*, — указывая на Биржу, — и тёплый ветерок, который ты ощущаешь на лице, входя в «Деву», направляют поток добра через вон ту весовую.

Взгляд Джека привлекло какое-то движение. В первый миг он подумал, что французская артиллерия обрушила сторожевую башню. Но нет, он в сотый раз обознался — это крутились лопасти мельницы. На Эй тоже все было в движении — там шёл прилив. По каналу ползло судно; бедняги-голландгенгеры драгой вычерпывали со дна ил — тот самый, что, по словам доктора, заносит живые подвижные существа и обращает их в камень. Немудрено, что здесь постоянно чистят каналы. Самая мысль должна быть нестерпимой для голландцев, которые превыше всего ставят движение и для которых стихия земли слишком

косна — помеха торговле, преграда на пути товаропотока. Там, где всё пронизано ртутью, важно размыть грань между твердью и зыбкою влагой, превратить целую республику в постепенный переход от суши к воде, начинающийся на берегах Эй и заканчивающийся только в море за Текселом.

— Я должен ехать в Париж.

— Зачем?

— Отчасти — чтобы продать Турка и страусовые перья.

— Умно, — отвечала она. — Амстердам — оптовый рынок, Париж — розничный. Там ты выручишь вдвое больше.

— На самом деле я привык быть единственной подвижной вещью в косной и недвижной вселенной. Хочу стоять на каменной набережной Сены, где *здесь* — твердь, *там* — текучая вода, и граница между ними чёткая, как отрезанная.

— Дело твоё, — сказала Элиза, — но я принадлежу Амстердаму.

— Знаю, — отвечал Джек. — Я везде вижу твои портреты.

Голландская республика

1684

Джек выехал из Амстердама через Харлем и внезапно очутился в одиночестве и только что не под водой: осенние дожди залили пастбища, и над ними редкими островками высились укреплённые города. Вскоре он достиг полосы дюн, ограждающих страну от Северного моря. Даже голландцы не смогли найти применения такому количеству песка. Турок поначалу с опаской вступил на зыбкую почву, потом, видимо, вспомнил, как по ней ходить, — может, турецкий хозяин скакал на нём по магометанской пустыне. С усилием он вынес Джека на гребень дюны. В миле к северу зелёные Альпы с шипеньем и рёвом бились грудью о песок. Джек сидел и смотрел, покуда Турок не начал сердиться. Для коня всё здесь было холодное и чужое, для Джека — своё и уютное. Он пытался вспомнить, сколько лет не видел открытого моря.

Путешествие на Ямайку — да, но после начиналась путаница. Или, может, французская хворь уже начала шутить шутки с его памятью.

Пришлось считать на пальцах. Не помогло. Джек спешился и принялся костылём чертить на песке карты и фамильные деревья.

Возвращение с Ямайки удобно принять за начало: 1678-й. Он соблазнил прекрасную Марию-Долорес, шесть футов ирландской добродетели, и сбежал в Дюнкерк, чтоб избежать ареста; здесь и приключилась история с его струментом. Покуда он отлёживался, явился Боб и сообщил новость: Мария-Долорес беременна. А Джон Черчилль (вот те на!) *женился,* стал полковником — нет, бригадиром! — и командует теперь кучей полков. Он набирает солдат и по-прежнему помнит Шафто — не хочет ли Джек пойти на жалование, чтобы жениться на Марии-Долорес и растить потомство?

— Чинно-благородно, в духе Боба! — сердито выкрикнул Джек волнам.

За шесть или семь лет обида так и не выветрилась. Турок нервничал, и Джек решил обращаться к нему, раз уж всё равно говорит вслух. Интересно, понимают лошади, что происходит, когда беседуешь с отсутствующими людьми?

— Пока всё просто, дальше начинается чехарда. Джон Черчилль был в Гааге, потом в Брюсселе — почему? Даже конь увидит противоречие…

извини, я забыл, что ты османский конь. Ладно, объясняю. Вся эта земля, — топая для выразительности ногой, — была когда-то испанской. Слышишь меня — испанской! Затем чёртовы голландцы заделались кальвинистами, взбунтовались и прогнали испанцев за Маас и кучу других речушек — хрен все упомнишь — в общем, за Зеландию, скоро мы ещё на эти речки насмотримся. Остался клин папистской Испании между Голландской республикой на севере и Францией на юге. Клин этот включает в себя Брюссель, Антверпен и несчитанные поля сражений. Этакая турнирная площадка, куда европейцы отправляются воевать. Иногда голландцы и англичане объединяются против французов и сражаются с ними в Испанских Нидерландах. Иногда англичане и французы объединяются против голландцев и сражаются с ними в Испанских Нидерландах. Короче, в то время, если не путаю, англичане были с голландцами против французов, поскольку вся Англия ненавидела папистов. Запретили ввоз французских товаров, потому я и оказался в Дюнкерке — самое время для контрабанды. И вот почему Джон Черчилль набирал солдат. В Голландию он отправился на переговоры с Вильгельмом Оранским, который считался

главным докой по изгнанию католических орд — как-никак затопил полстраны, чтобы не пустить короля Луя.

Пока вроде всё понятно, да? Но почему — спросит умный конь, — почему Джон Черчилль оказался в Брюсселе, то есть в *испанских,* а следовательно, *папских* владениях? Ну, потому что ловкий папаша Уинстон ещё мальцом пристроил его к Джеймсу, герцогу Йоркскому, брату короля Чака. А Йорк, наследник престола, был и остаётся — как тебе это понравится? — ярым папистом! Понимаешь теперь, с чего лондонцы нервничали, а может, и теперь нервничают? Король решил, что лучше братцу погостить за границей, и, ясное дело, Джеймс выбрал ближайший католический город — Брюссель! А Джон Черчилль в качестве придворного должен был навещать его хотя бы время от времени.

Короче, Боб пошёл в солдаты, я — нет. Из Дюнкерка мы поехали вместе по ничейной земле — которой, повторю, ты скоро насмотришься — через Ипр, Ауденарде, Брюссель до Ватерлоо; дальше наши пути разошлись. Я отправился в Париж, он — назад в Брюссель, и потом, надо думать, всё больше доставлял приказы, как в детстве.

Говоря, Джек разматывал костыль: изогнутую

палку с перекладиной, на которую надо опираться подмышкой. Перекладина была для мягкости обвязана тряпьём, а сама палка — сплошь обмотана грубой бечёвкой. Когда Джек её размотал, в руках у него остались две деревяшки, бечёвка и тряпьё. Однако из длинной палки торчала рукоять янычарской сабли.

Он обыскал пол-Гарца, прежде чем нашёл палку с изгибом, в точности повторяющим саблю. Рукоять торчала наружу, но, когда Джек добавил перекладину и замотал всё тряпьём, получился идеальный костыль, а если пограничный стражник хотел тряпьё размотать, Джек всегда мог сунуть руку под мышку и пожаловаться на чёрные вздутия.

Костыль был удобен в законопослушных местах, где только дворянин вправе носить оружие — однако отсюда до северной Франции Джек рассчитывал объезжать их стороной. Он повесил саблю на пояс, а бывший костыль приторочил рядом с седлом. Джек — странствующий калека превратился в Джека — вооружённого всадника и на боевом турецком коне и поскакал вдоль побережья.

Южнее Гааги Джек заглянул к знакомым владельцам маленьких судёнышек и от них выяснил,

что Франция запретила ввоз дешёвых набивных ситцев из индийской Калькутты. Естественно, теперь голландцы контрабандой доставляли их вдоль побережья на небольших судах, называемых флейтами. Друзья Джека перевезли его, Турка и тонну ситца через Зеландию — огромное песчаное болото, где Маас, Шельда и ещё множество рек впадают в Северное море. Однако в Ла-Манше бушевал осенний шторм, так что им пришлось укрыться в одной из фландрских пиратских бухточек. Отсюда Джек, воспользовавшись исключительно сильным отливом, за ночь доскакал берегом до Дюнкерка и старой гостеприимной таверны «Ядро и картечь».

Однако от мистера Фута, владельца таверны, он узнал, что с тех пор как король Луй купил Дюнкерк у короля Чака, всё здесь переменилось. Французы расширили гавань под большие военные корабли архиприватира Жана Бара и выжили оттуда мелких пиратов и контрабандистов — гордость и опору Дюнкерка.

Возмущённый и расстроенный Джек, не задерживаясь, повернул к Артуа, где по-прежнему мог ехать вооружённым. Город лежал на самой границе с Испанскими Нидерландами; солдаты, которых король Луй отправил туда воевать,

предпочитали грабить путешественников, следующих из Лондона в Париж (те, на радостях, что живыми пересекли Ла-Манш, отдавали деньги чуть ли не с охотой).

Джек, изображая одного из этих разбойников (без особого труда, ибо год или два подвизался в таком качестве), довольно быстро добрался до Пикардии. Судя по всему, знаменитый полк сейчас разорял Испанские Нидерланды. Слегка переменив наряд (нахлобучив старую мушкетёрскую шляпу и т. п.), Джек превратился в солдата из пикардийского полка — дезертира или разведчика.

В одной из пикардийских деревушек колокол трезвонил без остановки. Чуя какой-то непорядок, Джек поехал на звон, через поля, где крестьяне убирали урожай. Треть земли была засеяна пшеницей, треть — овсом, треть оставлена под пар — по ней-то Джек и ехал. Несчастные смотрели на него со страхом, чрезмерным даже для запуганных французских крестьян. Многие вглядывались в северный горизонт — может быть, высматривая облака или клубы дыма, а один даже лёг на землю и прижался к ней ухом. Джек заключил, что боятся не его самого, а тех, кто может ехать следом.

Он решил, что в этой деревушке можно без

особой опаски показаться с оружием, и поехал туда, потому что хотел купить Турку овса. Увидел он только босоногого мальчонку в грязной рубахе на нижнем этаже колокольни. В низкий дверной проём можно было разглядеть лишь ноги и тощий зад, который дёргался при каждом рывке за верёвку.

Затем Джек встретил всадника в добротном, но простом платье — тот ехал со стороны Парижа. Они остановились на некотором отдалении посреди брошенной рыночной площади, объехали друг друга раз или два и принялись на смеси английского и французского перекрикивать оглушительный трезвон.

Джек:

— Почему звонят в колокол?

— Эти католики верят, что набат прогоняет грозу, — объявил француз. — Почему они такие?.. — начал он и, не доверяя своему английскому и французскому Джека, втянул голову в плечи, изображая забитого крестьянина.

— Они боятся, что я — передовой вестник пикардийского полка, возвращающегося с войны, — догадался Джек.

Он шутил на тему привычки полка реквизировать у местного населения всё, что потребуется.

Однако гугенот был настроен вполне серьёзно.

— Правда? Полк подходит?

— Сколько это тебе принесёт?

Всё в гугеноте напоминало Джеку английских торговцев-индепендентов, которые в страдную пору разъезжают по дальним деревням, дёшево скупая зерно. И Джек, и торговец (представившийся мсье Арланком) понимали: цены упадут ещё ниже, если крестьяне решат, будто пикардийский полк на подходе и вскоре всё заберёт даром.

Итак, речь шла о сделке. Бродяга и гугенот объехали друг друга ещё несколько раз. Крестьяне продолжали трудиться на поле, не забывая поглядывать в сторону незнакомцев. Через некоторое время подъехал староста на осле.

Мсье Арланку так и не хватило духу обмануть бедолаг.

— Нас и без того ненавидят, — сказал он, очевидно имея в виду гугенотов, — не хватало нам ещё сеять ложную панику. Здешние крестьяне и так основательно запуганы — вот почему мы с сыновьями отправляемся в столь опасные поездки.

— Отлично. К слову, я не собирался тебя грабить, — с досадой произнёс Джек, — можно было не выдумывать сказочку про вооружённых сыно-

вей сразу за тем пригорком.

— Баснями в наше время не защитишься. — Мсье Арланк развёл плащ, показывая по меньшей мере четыре пистоля: два за поясом, один в ручке топорика, и один — в рукоятке трости.

— Отлично сыграно, мсье — протестантская практичность и французский здравый смысл.

— Я хочу сказать: ты уверен, что стоит ехать в амьенскую гостиницу с одной лишь саблей на поясе? Большие дороги…

— Я не останавливаюсь во французских гостиницах и, как правило, не езжу по большим дорогам, — отвечал Джек. — Однако если нам по пути…

И они вместе поехали в Амьен, только прежде приобрели у старосты овса. Джек — столько, чтобы накормить Турка, мсье Арланк скупил весь остальной урожай (за которым позже намеревался прислать подводы). Джек не стал лгать про идущий за ним полк, просто стоял рядом с деревенским колодцем, ни дать ни взять «волонтёр», как называли здесь разбойников и дезертиров. Дальше они поехали в Амьен, въезд в который практически перегораживало некое заведение: платные конюшни, почти доверху засыпанные сеном, загоны с волами, вереницы пустых фур-

гонов вдоль дороги (некоторые из них собирался вскорости нанять мсье Арланк), несколько кузниц (в одних подковывали лошадей, в других чинили колёса). Были здесь шорная мастерская, плотницкая и бочарная. Возы с зерном, чьи хозяева ждали очереди, чтобы заплатить пошлину, запрудили дорогу. Где-то оправдывая название «гостиница», располагался и дом для проезжих. Издали он выглядел тёмным, дымным и неуютным. Джек, поняв, что его туда не тянет, снял с пояса саблю, спрятал в костыль и принялся снова заматывать бечёвкой.

— Идём в гостиницу — увидишь, что у меня и впрямь есть сыновья, — сказал мсье Арланк. — Они ещё мальчишки, но…

— Я своих-то сыновей никогда не видел, что мне на твоих глядеть, — отвечал Джек. — И вообще ваши французские гостиницы мне не по нутру…

Мсье Арланк понимающе кивнул:

— По твоей стране товар можно возить беспрепятственно?..

— А гостиницы там — приют для усталых путников, а не рогатки на дороге.

И Джек распрощался с мсье Арланком, от которого узнал кое-что о том, где в Париже продать коня и страусовые перья. В свою очередь, гугенот

узнал от Джека кое-что о фосфоре, серебряных рудниках и контрабанде ситца. Обоим вместе было безопасней, чем порознь.

Джек — одноногий лудильщик, ведя в поводу клячу, унюхал Париж за день до того, как увидел. Поля уступили место огородам и пастбищам. Из города сплошной вереницей ползли телеги с бочками говна из сточных канав и отхожих мест; крестьяне граблями и вилами разбрасывали его по огородам. То ли парижане испражнялись обильней других людей, то ли так казалось из-за обилия чеснока в их пище, но Джек был рад миновать огороды и вступить в предместья: скопление лачуг, где вчерашние крестьяне жгли всякий мусор, чтобы приготовить еду и согреться, а также демонстративно страдали от всяких колоритных хворей. Джек не останавливался, пока не достиг постоянного лагеря паломников у Сен-Дени, где почти каждый мог безнаказанно околачиваться несколько часов. По пути он купил у крестьян сена Турку и сыра себе, после чего расположился среди прокажённых, припадочных и безумцев у базилики и проспал почти до рассвета.

Когда стало светать, Джек присоединился к толпе крестьян, которые каждый день везли на рынок овощи, молоко, яйца, мясо, рыбу и сено.

Толпа была больше, чем он помнил по прошлому разу, и медленнее входила в город. В воротах Сен-Дени стояла невыносимая давка, и Джек решил попытать счастья в воротах Сен-Мартен. К этому времени солнечный свет уже вовсю сиял на новом каменном барельефе: король Луй в образе Геракла беззаботно опирался на дубинку обхватом с хороший дуб. Он был в чем мать родила, если не считать парика размером с облако и львиной шкуры, переброшенной через плечо так, чтобы краешком прикрыть королевский срам. Победа слетала к нему с небес, держа в одной руке пук пальмовых веток, а другой собираясь нахлобучить поверх парика лавровый венок. Одной ногой король попирал раздавленного врага, на заднем плане горела высокая башня.

— Чтоб ты сдох, король Луй, — пробормотал Джек, против воли вбирая голову в плечи.

Он пытался проехать Францию как можно быстрее, чтобы избежать именно этого чувства, но всё равно дорога заняла несколько дней. Сама огромность страны по сравнению с немецкими княжествами или штатами Голландской республики так подавляла, что, проехав столько по владениям короля, невозможно было, минуя ворота, не съёжиться под его властью.

Неважно: он в Париже. Слева солнце вставало над башнями и бастионами Тампля, где у рыцарей-храмовников когда-то был город в городе — только окружающие его стены недавно срыли. Однако по большей части вид закрывали вертикальные стены белого камня: шести-семиэтажные здания по обеим сторонам улицы направляли поток крестьян, рыботорговок, продавцов с тележками апельсинов, цветов и устриц в узкие каналы, где те отчаянно работали локтями, стараясь в то же время не свалиться в сточную канаву посередине. Чуть дальше значительная часть толпы сворачивала вправо, к центральному рынку, оставляя более или менее открытым вид на Сену и остров Сите.

У Джека возникло подозрение, что за ним идёт шпик, с которым он неосторожно встретился глазами в воротах. Джек, разумеется, не оглядывался, но видел, что встречные, особенно бедняки, сперва удивляются, потом пугаются. С лошадью в поводу невозможно затеряться в толпе, однако он знал, как испортить преследователю жизнь. Лучше всего для этого годился центральный рынок, поэтому Джек повернул вправо. Другой вариант — вскочить на Турка, выхватить саблю — привёл бы его на галеры. Впрочем, для Джека

почти любая дорога из Парижа вела в Марсель, к цепям на галерной скамье.

Кого-то за его спиной отчаянно костерили рыботорговки. Джек слышал, как усы агента сравнивают с подмышечными волосами представителей разных африканских народов. Была высказана и поддержана гипотеза, согласно которой полицейский слишком часто занимается оральным сексом с некоторыми крупными сельскохозяйственными животными, знаменитыми своей нечистоплотностью. На остальное у Джека просто не хватило знаний французского нецензурного. Он несколько раз прошёл через рынок в надежде, что толпа, вонь вчерашних рыбьих потрохов и торговки надоедят шпику и тот отстанет, но всё тщетно. Джек купил хлеба, чтобы, если кто-нибудь спросит, объяснить свой приход. Кроме того, он хотел показать себя человеком при деньгах, а не каким-нибудь попрошайкой, и к тому же проголодался.

Он принялся петлять по улочкам, направляясь в целом в сторону рю Вивьен. Полиция хочет арестовать его за то, что он шляется по Парижу без дела. Джек настолько с этим свыкся, что совершенно забыл: на сей раз у него и впрямь есть в Париже дело.

Улицы начали заполняться разносчиками. Один вёз на тачке большой круг белого, в синих прожилках, сыра, другой предлагал горчицу из ведёрка с крышечкой, третий — кубики масла из заплечной корзины; дюжие водоносы тяжело шагали под тяжестью деревянных рам, обвешанных деревянными же вёдрами. Джек знал, что скоро в городе станет не протолкнуться; до тех пор следовало где-то оставить Турка. Легче лёгкого — он уже миновал несколько платных конюшен, а возы с сеном наполняли узкие улочки дурманящим ароматом. Джек дошёл за одним до конюшни и договорился оставить Турка на несколько дней.

После этого он вышел на площадь, посреди которой высилась — надо же! — статуя короля Луя. На барельефе с одной стороны постамента Луй лично возглавлял кавалерийскую атаку через канал, а может, через Рейн, навстречу горизонтальному лесу мушкетов. С другой он же восседал на троне; европейские императоры и короли с коронами в руках дожидались своей очереди коленопреклонённо облобызать носок его башмака.

Видимо, Джек выбрал правильный курс, потому что ему стали попадаться разносчики рангом повыше: книгоноши — они держали над голо-

вами таблички с названиями книг, кондитер с миниатюрными весами, продавец *eau-de-vie*[75] с корзиной бутылочек и стаканом, продавец паштетов с чем-то вроде палитры, на которой были намазаны образцы товара, торговки апельсинами. У каждого был свой клич, свойственный именно этому роду торговцев, как у каждой породы птиц есть свой посвист. Джек шёл по рю Вивьен. Она поразительно напоминала Амстердам: хорошо одетые люди из разных стран прогуливались и беседовали на серьёзные темы; зарабатывали деньги, обмениваясь словами. И ещё она походила на квартал книгопродавцев в Лейпциге: целые возы книг, отпечатанных, но не переплетённых, исчезали в одном особо роскошном доме: королевской библиотеке.

Джек проковылял сперва по одной стороне улицы, потом по другой и наконец отыскал Дом золотого фрегата, украшенный изображением боевого корабля. Художник, судя по несоразмерности деталей, никогда близко не подходил к морю; число пушечных палуб превосходило всякое вероятие. Однако всё равно получилось красиво. На парадном крыльце итальянский

---

[75] Примечания: 75
Коньяк (*фр.*).

господин вставлял в замок кованый ключ причудливой формы.

— Синьор Коцци? — спросил Джек.

– *Si*, — отвечал тот, несколько удивлённый, что к нему обращается одноногий бродяга.

— Письмо из Амстердама, — сказал Джек по-французски, — от вашего кузена.

Однако в этом не было надобности: синьор Коцци узнал печать. Оставив ключ в замке, он сломал её и быстро прочёл несколько красивых, витиевато написанных строк. Женщина с бочонком чернил за спиной, заметив его интерес к письменным документам, тут же обратилась к синьору Коцци с деловым предложением; не успел тот отказаться, как появилась другая, с чернилами куда лучше и притом много дешевле. Торговки заспорили; синьор Коцци проскользнул в дом, движением больших карих глаз велев Джеку следовать за собой. Только сейчас Джек позволил себе обернуться. Он увидел, как человек при шпаге и в тёмной накидке поворачивает прочь: этот полицейский пол-утра следовал за совершенно порядочным банковским гонцом.

— За вами следят? — произнёс синьор Коцци таким тоном, будто спрашивал Джека, дышит ли тот воздухом.

— Сейчас нет, — отвечал Джек.

Здесь тоже были конторки с большими, запертыми на замки книгами и тяжёлые сундуки.

— Откуда вы знаете моего кузена? — спросил Коцци, явно показывая, что не предложит Джеку сесть.

Сам Коцци сел за стол и принялся, поочерёдно беря перья из кувшина, оглядывать их кончики.

— С ним водит дела моя знакомая. Когда он узнал от неё, что я собираюсь в Париж, то поручил мне это письмо.

Коцци что-то записал, потом отпер ящик стола и начал рыться внутри, выбирая монеты.

— Здесь сказано, что, если печать будет сломана, тебя надо отправить на галеры.

— Так я и полагал.

— Если печать цела и если письмо будет доставлено в течение двух недель со дня написания, тебе следует луидор. Если ты уложишься в десять дней, то два. Если меньше чем за десять, то ещё по луидору за каждый сэкономленный день. — Коцци высыпал Джеку в ладонь пять золотых монет. — Как тебе это удалось? *Никто* не добирается из Амстердама в Париж за неделю.

— Секрет мастерства.

— Ты с ног валишься от усталости — тебе надо

поспать, — сказал Коцци. — А когда соберёшься в Амстердам, загляни ко мне — может быть, я дам тебе письмо для кузена.

— С чего вы взяли, будто я соберусь обратно?

Коцци впервые улыбнулся:

— У тебя были такие глаза, когда ты упомянул свою знакомую. Ты ведь сходишь с ума от любви, не так ли?

— От сифилиса, если быть точным, — отвечал Джек. — И всё же да, я настолько сошёл с ума, что намерен вернуться.

На те деньги, что Джек привёз с собой и получил от синьора Коцци, можно было остановиться в приличном месте, но он не знал, где такое место искать и как там себя вести. За последний год он усвоил, как мало на самом деле значат деньги. Богатый бродяга — всё равно бродяга, а всем известно, что король Карл в Междуцарствие жил в Голландии без денег. Поэтому Джек побрёл через весь город в квартал Марэ. Давка была уже такая, что приходилось протискиваться в эфемерные просветы между другими пешеходами. По большей части то были торговцы, предлагавшие *peaux de lapins* (связки кроличьих шкурок), корзины (у этих были огромные короба, наполненные плетушками поменьше), шляпы (срубленные

деревца с надетыми на ветки шляпами). Белошвейки, обвешанные шарфами и кружевом. Медники с котлами и сковородками на палках. Продавцы уксуса с бочками на колёсах, музыканты с волынками и лютнями, пирожники с плоскими корзинами, от которых шёл такой дух, что у Джека кружилась голова.

Он наконец углубился в Марэ, свернул за угол, где можно было постоять тихо, и с полчаса смотрел поверх голов и прислушивался, пока не услышал некий определённый клич. Все в толпе что-нибудь выкрикивали, по большей части — название своего товара, и первые часа два Джеку казалось, что он в Бедламе. Однако постепенно слух научился вычленять отдельные голоса — так солдат различает в шуме сражения звуки барабана и труб. Он знал, что у парижан это умение развито очень сильно — оно сродни способности начальника полиции взглядом выхватить бродягу из толпы у городских ворот. Джек уловил пронзительные выкрики: «*Mort-aux-rats! Mort-aux-rats!*»[76] и, повернув голову, увидел длинную палку, вроде пики, которую кто-то нёс на плече. На палке болтались, привязанные за

[76] Примечания: 76
Крысомор! Крысомор! (*фр.*).

хвосты, штук десять дохлых крыс. Свежесть их служила надёжной гарантией, что обладатель палки работал в самое недавнее время.

Джек протиснулся через толпу, костылём, как ломиком, расширяя зазоры между людьми. Через несколько минут он догнал Сен-Жоржа и взял его за плечо, как полицейский. Другой бы бросил всё и дал стрекача, но пугливые люди не становятся легендарными крысоловами. Сен-Жорж повернулся (крысы на палке качнулись разом, словно слаженная труппа канатных плясунов) и узнал Джека. Спокойно, но не холодно.

— Жак! Так, значит, ты всё-таки спасся от немецких ведьм?

— Пустяки, — отвечал Джек, силясь скрыть изумление, а затем и гордость от того, что весть о его приключениях достигла Парижа. — Невелика хитрость — уйти от такого дурачья. Вот если бы за мной гнался ты…

— Так ты вернулся к цивилизации… Зачем? — Холодное любопытство — ещё одна черта хорошего крысолова. У Сен-Жоржа были светлые курчавые волосы и карие глаза — в детстве он, вероятно, выглядел ангелочком. С возрастом скулы (а по легенде, и некоторые другие части тела) увеличились, став не такими ангельскими;

воронкообразное лицо сходилось к плотно сжатым губам, глаза казались нарисованными. — С практикой *passe-volant*[77] покончено — зачем ты сюда явился?

— Чтобы возобновить дружбу с тобой, Сен-Жорж.

— Ты ехал верхом — я чую запах.

Джек решил увильнуть от ответа:

— Как ты тут чуешь что-то кроме говна?

Сен-Жорж принюхался:

— Говна? Кто тут срёт? И не мне ли на мозги?

Это была в некотором роде шутка и намёк, что Джеку пора в знак дружбы чем-нибудь его угостить. После некоторого торга Сен-Жорж согласился — не потому, что нуждался в угощении, а потому, что человеку иногда надо расщедриться, и в таком случае дружба требует пойти на уступку. Начали рядиться, чем именно Джек его угостит. Сен-Жорж пытался косвенно выведать, сколько у Джека денег, Джек — заинтриговать его ещё больше. Сошлись на кофе — при условии, что они отправятся к знакомому Сен-Жоржа по имени Христофор.

С полчаса они искали Христофора.

---

[77] Примечания: 77

Подставной солдат на смотру (которого командир ставил в строй, чтобы увеличить численный состав и тем самым своё жалованье) (*фр.*).

— Он маленького роста…

— Значит, его трудно найти.

— Зато в красной феске с золотой кисточкой…

— Турок?

— Конечно. Я же сказал, что он торгует кофе.

— Турок по имени Христофор?

— Брось паясничать, Джек. Не забывай, я тебя знаю.

— И всё-таки?

Сен-Жорж закатил глаза:

— Все турки, продающие кофе на улице, на самом деле армяне, наряженные турками.

— Извини, не знал.

— Прости за резкость, — смилостивился Сен-Жорж. — Когда ты покидал Париж, кофе ещё не вошёл в моду. Это случилось после того, как турки бежали из-под Вены и оставили там горы кофе.

— В Англии он в моде ещё с моего детства.

— В Англии он не мода, а прихоть, — процедил Сен-Жорж.

Они продолжали искать. Сен-Жорж ввинчивался в толпу, как хорёк, огибая, например, торговцев мебелью, нагруженных фантастическими конструкциями из связанных стульев и табуреток, молочников с крынками на голове, золотарей с незажжёнными фонарями в руках и бочками

дерьма за спиной, точильщиков с точильными кругами. Джек орудовал костылём и подумывал, не вытащить ли саблю. Элиза была права: Париж — розничный рынок. Занятно, что она поняла это, ни разу не побывав в Париже, а он, хоть и жил здесь долгие годы…

Лучше думать о Сен-Жорже. Если бы не палка с крысами, Джек давно бы потерял его в толпе. Впрочем, помогало и то, что его всё время окликали из окон, предлагая работу; некоторые владельцы лавочек даже выбегали ему навстречу. Лавками владели лишь самые богатые ремесленники: портные, шляпники, изготовители париков. Однако Сен-Жорж со всеми вёл себя одинаково: задавал несколько вопросов и завершал разговор твёрдым отказом.

— Даже дворяне и философы — мужланы в понимании крыс, — проговорил он. — Как я могу им помочь, если они мыслят столь примитивно?

— Ну, для начала, ты мог бы избавить их от крыс…

— От крыс нельзя *избавиться!* Ты ничем не лучше этих людей!

— Прости, Сен-Жорж. Я…

— Смог ли кто-нибудь извести бродяг?

— Конкретных индивидуумов, да. Но…

— Это для тебя они индивидуумы, а для дворянина, как крысы, на одно лицо, *n'est-ce pas*?[78] С крысами надо жить.

— Исключая тех, что болтаются на твоей палке?

— Это как показательное повешение. Головы на пиках у городских ворот.

— Чтобы напугать *остальных?*

— Верно, Жак. Для крыс они были то же, что ты, друг мой, для вагабондов.

— Спасибо на добром слове. Ты мне льстишь.

— Самые умные — те, что способны отыскать крохотную щёлочку, пролезть в сточную трубу, сказать обыкновенным крысам: «Грызите эту решётку, *mes amis*[79]. Да, вы сточите зубы, но за ней вас ждёт небывалое пиршество!» Они были учёные, магелланы.

— И они мертвы.

— Они истощили моё терпение. Многим другим я позволяю жить и даже плодиться.

— Нет!

— В некоторых погребах — неведомо для живущих над ними аптекарей и парфюмеров — я дер-

---

[78] Примечания: 78
Не так ли? (*фр.*).

[79] Примечания: 79
Друзья мои (*фр.*).

жу крысиные серали, в которых моим любимцам дозволено производить потомство. Некоторые линии я развожу на протяжении сотни поколений. Как собачник выводит псов, особенно злых к чужим, но послушных хозяину…

— Ты выводишь крыс, послушных Сен-Жоржу.

– *Pourqoui non*?[80]

— А ты твёрдо уверен, что не крысы выводят *тебя?*

— Не понял.

— Твой отец ведь тоже был крысолов?

— И его отец, мой дед, тоже. Оба умерли в чумные года, да будет земля им пухом.

— Так ты думаешь. А может, их убили крысы.

— Ты меня злишь. Впрочем, в твоей теории что-то есть.

— Может, ты появился в результате отбора. Тебе позволено жить и плодить детей, поскольку твоя теория устраивает крыс.

— И всё же я очень многих убиваю.

— Ты убиваешь глупых — не способных к самопознанию.

— Я понял, Жак. У тебя бы я крысоловом работал — и задаром. А вот у этих…

---

[80] Примечания: 80
Почему бы нет? (*фр.*).

Он отмахнулся от человека в роскошном парике, пытавшегося зазвать его в лавку. У того вытянулось лицо — но только на мгновение, поскольку Сен-Жорж, смягчившись, шагнул к узкой двери в мастерскую по изготовлению париков, рядом с открытым окном. Дверь внезапно распахнулась, и кругленький коротышка, топорща огромные усы, выкатился с лестницы чуть шире его самого. На пузе он нёс пристёгнутый ремнями дымящий медный аппарат.

Когда Христофор (а это был не кто иной, как он) вышел на солнце, яркий свет вспыхнул на меди, позолотил облачко пара, заблестел на золотой кисточке, заиграл на загнутых носах туфель и медных пуговицах. Зрелище великолепное — ни дать ни взять ходячая мечеть. Перескакивая посреди фразы с французского на испанский и с испанского на английский, он объявил, что знает о Джеке Шафто (которого называл «Эммердёр») всё, и попытался угостить его кофе, мотивируя тем, что сию минуту наполнил сосуд, и ему тяжело. Сен-Жорж предупредил Джека, что так оно и будет, поэтому они заранее разыграли несколько сценариев разговора. План был следующий: Джек торгуется, Сен-Жорж молчит, а в нужный момент нечаянно пробалтывается, что Джек ищет жильё.

Джек и словом не обмолвился, что нуждается в пристанище, но именно за этим обращались к Сен-Жоржу те, кто приходил в Марэ. По роду занятий он бывал во всех здешних домах, и особенно — на чердаках и в подвалах, где обычно селились такие, как Джек.

Принять даровой кофе значило уронить себя, переплатить — публично оскорбить Христофора допущением, будто его заботит столь низменная материя, как деньги; просто принять справедливую цену — провозгласить себя, да и Христофора, простаками. А страстный торг помогает людям сродниться. Так или иначе, дело сладилось к большой радости хозяина, ломавшего руки из-за того, что одноногий бродяга, толстый лжетурок и крысолов орут друг на друга перед его лавкой, отпугивая посетителей. Тем временем Сен-Жорж сторговался с парикмахером; Джеку некогда было подслушивать, но он заключил, что крысолов воспользовался своим влиянием, чтобы выговорить ему комнатку или по крайней мере угол наверху.

Итак: после церемониальной чашки кофе на улице Джек простился с Сен-Жоржем (который тут же проследовал в подвал) и Христофором (которому надо было продавать кофе), прошёл в

узкую дверь и начал подниматься по лестнице — мимо лавки на первом этаже, парадных хозяйских гостиной и столовой на втором и его же спален на третьем. На четвёртом этаже жили слуги, пятый снимал ремесленник попроще. Каждый следующий этаж выглядел хуже предыдущего. Внизу и стены, и лестница были основательные, каменные, дальше пошли деревянные ступени и оштукатуренные стены. Ещё выше на штукатурке появились трещины; через этаж она уже пузырилась и отслаивалась кусками. На последнем этаже стены были и вовсе небелёные: птичьи гнёзда из соломы и глины, заткнутых между брусьями. Здесь, в одной большой комнате, разделённой несколькими распорками, на которых держалась крыша, обитала семья Христофора: бесчисленные армяне сидели и спали на тюках с кофейными зёрнами. Приставная лестница вела на крышу, где прилепилась лачуга, носящая гордое название «мезонин». Из угла в угол был натянут матросский гамак, несколько кирпичей образовывали подобие очага. Желтовато-бурые потёки на черепичной крыше отмечали место, где прежние квартиранты справляли нужду.

Джек запрыгнул в гамак и обнаружил, что бывшие жильцы предусмотрительно провертели

в стенах глазки́. Зимой здесь бы зуб на зуб не попадал, но Джеку жилище понравилось: тут тебе и обзор, и пути к отступлению по крышам на все четыре стороны. В соседнем здании имелась мансарда, не дальше от Джекова мезонина, чем одна комната в доме от другой, но отделённая от него расселиной в шестьдесят-семьдесят футов глубиной. Именно на таком чердаке естественней всего было бы поселиться Джеку (хотя он почти слышал, как Сен-Жорж говорит, что с его нынешним богатством стоит отыскать место попристойнее). Там он слышал бы разговоры, обонял запахи соседских еды и тел, здесь же, лёжа в гамаке, наблюдал за их жизнью, как зритель за представлением. Судя по всему, то был обычный приют для проституток, улизнувших от сутенёров, беглых слуг, беременных девиц и молодых крестьян, явившихся в Париж на поиски счастья.

Джек попытался уснуть, но день лишь начал клониться к вечеру, и Париж его будоражил. Он двинулся по крышам, запоминая повороты, места, где придётся прыгать, где можно укрыться, а где — встать и отбиваться, если начальник полиции вздумает его арестовать. В итоге он довольно долго слонялся, пугая чердачных обитателей,

живших в постоянном страхе перед полицейскими рейдами. На крышах почти никого не было, попадались лишь стайки оборванных детей да многочисленные крысы. Почти всегда в конце квартала обнаруживалась драная верёвка или тонкая палка, переброшенная на другую сторону, слишком ненадёжная для человека, но вполне пригодная для крыс. В других местах верёвки лежали свёрнутые, палки — в водосточных желобах. Джек заключил, что это работа Сен-Жоржа и тот управляет миграцией крыс, словно генерал, который рушит мосты на одних участках спорной территории, а на других возводит временные переправы.

Наконец Джек спустился на улицу и понял, что оказался в более благополучной части города, у реки. Ноги сами понесли его к местам юности — мосту Пон-Нёф. Понизу идти было разумнее — полиция не жалует тех, кто пробирается по крышам, однако между каменными стенами царил серый полумрак, а балконы, выдающиеся до середины улицы, полностью закрывали обзор. Окованные железом двери в глубоких арках стояли запертые на замки. Иногда Джек проходил мимо, как раз когда слуга отпирал дверь; тогда он замедлял шаг и видел тёмный проход в залитый

солнцем двор, где журчащие фонтаны орошают целую лавину цветов. Потом дверь захлопывалась. Таким, как Джек, Париж представал сетью глубоких траншей с редкими бастионами, а в остальном — величайшим в мире собранием запертых дверей.

Он миновал статую короля Луя в образе римского военачальника, то есть в условно-классических доспехах с голым пупком. По одну сторону пьедестала крылатая Победа раздавала хлеб беднякам, по другую Пресвятая Дева возносила крест и церковную чашу. Перед ней ангел с пылающим мечом и тремя королевскими лилиями на щите сокрушал отвратительных демонов. Демоны падали на груду книг; Джек не мог прочесть, что написано на книгах, но знал, что там стоят имена М. Лютера, Дж. Уиклифа, Яна Гуса и Жана Кальвина.

Между домами показалось небо. Чувствуя близость Сены, Джек прибавил шаг и вскоре вышел к Пон-Нёф. Мосты в Париже — перекинутые через реку каменные острова: внизу рассекают воду могучие пилоны, сверху — мостовая и обычные дома; и не замечаешь, что идёшь над водой. В этом смысле Пон-Нёф разительно отличался от других мостов: здесь не было зданий, только

резные головы языческих божеств, нисколько не закрывающие обзор. Джек поднялся на мост и принялся глазеть вместе со многими другими людьми, которым пришла в голову та же блажь. Выше по течению предзакатное солнце озаряло дома на мосту Менял; из окон в Сену лился частый дождь дерьма и помоев. Рядом с высокими берегами теснились баржи и лодочки. Стоило судёнышку подойти к пристани, к нему бросалась толпа потенциальных грузчиков. Некоторые баржи доставляли камни, обтёсанные выше по течению; эти подходили к специальным причалам, оборудованным кранами. Рабочие, бесконечно взбираясь по ступеням в огромном колесе, вращали ворот, на который наматывался трос, пропущенный через блок на стреле. Затем весь кран, вместе с колёсами — по два на каждый — и рабочими в них, поворачивали, и камень опускали в телегу.

В любом другом месте такое же количество труда произвело бы бочонок масла или недельный запас дров; здесь эти усилия шли на то, чтобы на несколько дюймов приподнять камень. Дальше камень везли в город, где другие рабочие поднимали его вверх, дабы у парижан были комнаты больше в высоту, чем в ширину, и окна

выше деревьев, на которые они смотрят. Париж — каменный город, прекрасный и твёрдый; ударишься о него — и не оставишь следа. Насколько Джек понимал, он был выстроен по принципу, что нет ничего невозможного, надо лишь согнать десятки миллионов крестьян на лучшую в мире землю и тыщу лет кряду выколачивать из них мозги. Справа, выше по течению, над островом Сите вставали двойные прямоугольные башни Нотр-Дам и двойные круглые башни тюрьмы Консьержери: спасение и проклятье, словно две карты, из которых тебе предлагает выбрать уличный шарлатан. Там же высился и Дворец Правосудия: белое каменное чудище, украшенное хищными орлами.

Пёс выбежал на мост, удирая от привязанной к хвосту длинной цепи. Джек, отбиваясь от бесчисленных шарлатанов, попрошаек и уличных девок, перешёл на другой берег. Обернувшись, он увидел Лувр, где жил король, пока не достроили Версаль. Тень западной городской стены наползала на сад Тюильри; там сейчас садовники кромсали деревья, наказывая всякое отклонение от предписанной формы.

Джек прислонился спиной к нагретому солнцем парапету и услышал рядом с ухом слабое

шебуршание. Он обернулся: в камне застыло маленькое расплющенное существо. Не диво: в мраморе их находили довольно часто и считали капризом природы, вроде сросшихся телят. Доктор полагал иначе: прежде эти твари были живые, теперь замурованы навек. Сейчас, когда каждый камень в Париже давил Джеку на грудь, в теорию доктора верилось как-то больше. Рядом снова зашуршало. Он внимательно оглядел парапет и наконец уловил движение: между двумя ракушками силилась вылезти из камня крохотная — не больше мизинца — человеческая фигурка. Джек, вглядевшись пристальнее, узнал Элизу.

Весь обратный путь через Пон-Нёф к мезонину в Марэ он старался глядеть только на булыжники мостовой. Однако из них тоже тщились выползти вмурованные твари. Джек поднимал глаза: там разносчики торговали человечьими головами; глядел в небо — на город пикировал ангел с пылающим мечом, похожим на шахтёрскую лучину. Он силился сосредоточиться на резных головах, украшающих Пон-Нёф, но те оживали и молили освободить их из каменных тисков.

Джек наконец тронулся рассудком, и его мало утешало, что он выбрал для этого самый подхо-

дящий город.

Париж

зима 1684–1685

Армяне, живущие над парикмахером и под Джеком, знали лишь два способа обходиться с чужаком: убить его или принять в семью, без всяких промежуточных вариантов. Поскольку Джек пришёл по рекомендации Сен-Жоржа и доказал свою порядочность, поторговавшись с Христофором из-за кофе, убивать его было как-то нехорошо. Так Джек стал тринадцатым из братьев. Вернее, кем-то вроде полоумного сводного братца, который всех сторонится, живёт в мезонине, уходит в неурочное время и не понимает языка. Однако ничто из этого не беспокоило мать семейства, мадам Исфахнян. Её вообще ничто не беспокоило, кроме предположения, будто что-то её беспокоит или может обеспокоить *теоретически*. Если вы допускали в разговоре подобную мысль, почтенная женщина, вскинув брови, напоминала, что родила и поставила на ноги двенадцать сыновей, — так о чём речь? Христофор и остальные научились просто не приставать к ней. Джек тоже вскоре завёл привычку уходить и

возвращаться по крыше, чтобы не прощаться и не здороваться с мадам Исфахнян. Она, разумеется, не говорила по-английски, а французский понимала ровно настолько, чтобы любые слова Джека приводили к анекдотичному недоразумению.

Как всегда в его путешествиях, первый день в Париже был ярким событием, а дальше замелькали пустые месяцы: один, второй… К тому времени как Джек всерьёз задумался об отъезде, пора для путешествия на север уже прошла. Давка на улицах стала ещё ожесточённей, но теперь её создавали косматые дровосеки из тех частей Франции, где волки по-прежнему оставались главной причиной смертности. Дровосеки сбивали прохожих, как кегли, и представляли опасность для всех, особенно когда дрались между собой. Обитатели мансарды через улицу от Джека начали продаваться на галеры, лишь бы спастись от холода.

Памятное видение прошло после ночного сна и не возвращалось, если сильно не устать или не напиться. Лёжа в гамаке и глядя в мансарду, Джек каждодневно благодарил Сен-Жоржа, устроившего ему жильё, где не так часто случаются полицейские налёты, тиф, выкидыши и другие досадные происшествия: он видел, как молодых

женщин — беглых служанок, — только вчера поселившихся в мансарде, выволакивают наружу и тащат (так он предполагал) к городским воротам, чтобы остричь, высечь и вышвырнуть из города. Иногда девицы и стражи порядка приходили к полюбовному соглашению, и тогда Джек слышал (а при благоприятном направлении ветра и обонял), как полицейский инспектор получает плотское удовлетворение способом, для самого Джека более недоступным.

Он выставил страусовые перья на торги своим коронным методом: найдя, кто это за него сделает. После того как Джек две недели прожил в мезонине, не проявляя никакого намерения съезжать, Артан (старший из братьев, живущих сейчас в Париже) полюбопытствовал, что он намерен делать. Подразумевалось, что, если Джек ответит: «Грабить дома» или «Насиловать девиц по тёмным проулкам», Исфахняны не станут думать о нём хуже — им просто надо знать. Дабы продемонстрировать Джеку широту своих взглядов, Артан посвятил его в семейную сагу.

Судя по всему, Джек застал четвёртый или пятый акт пьесы — не комедии, не драмы, а просто истории, которая началась, когда Исфахнян-старший в 1644 году отплыл в Марсель на самом

первом корабле с кофе. Груз стоил чёртову уйму денег. Вся огромная семья Исфахнян, базирующаяся в Персии, на доходы от торговли с Индией закупила в Мокке кофейные зёрна и отправила их через Красное море и Нил в Александрию и оттуда во Францию. Так или иначе, папа Исфахнян успешно реализовал кофе, но *реализовал его в реалах* — в испанских пиастрах. Почему? Потому, что во Франции не хватало денег, и он не мог бы брать за кофе французской монетой, даже если бы захотел, — её попросту не было в обращении. А почему так? Потому что (и здесь надо вообразить армянина, двумя кулаками бьющего себя по голове: «Идиот!!!») испанские рудники в Мексике давали неимоверное количество серебра…

— Да, да, знаю, — сказал Джек.

Однако Артана было не остановить. *Груды* серебра лежали на земле в Портобело, соответственно, его цена в золотом выражении падала каждый день. В Испании (где ходили серебряные деньги) началась инфляция, а во Франции золотые монеты придерживали в ожидании, что они подорожают ещё больше. Итак, мсье Исфахнян остался с кучей быстро обесценивающегося серебра. Ему бы отплыть к Леванту, где всегда есть спрос на серебро, а он выбрал Амстердам в

надежде на гениальную сделку, которая покроет убытки от смены курсов. Однако (уж не везёт, так не везёт) его корабль сел на мель, а ему самому прищемило яйца железными клещами Тридцатилетней войны. Когда корабль мсье Исфахняна вошёл килем в песок и перестал двигаться, Швеция как раз завоёвывала Голландию; короче, семейное достояние Исфахнянов отправилось на север, притороченное к спине шведской вьючной кобылы.

Всё описанное, собственно, предшествовало первому акту; будь это пьеса, в прологе мсье Исфахнян пересказывал бы свои злоключения в стихах, стоя на обломках корабля и глядя в зрительный зал, где якобы исчезает за горизонтом шведская колонна.

Одним словом, мсье Исфахнян впал в немилость у родственников. Кое-как он добрался до Марселя, забрал мадам Исфахнян и её (к тому времени уже трёх!) сыновей, а также, возможно, дочку-другую (девочек по достижении зрелости отправляли на Восток) и со временем осел в Париже (конец первого акта). С тех самых пор они пытались погасить должок перед остальной семьёй в Исфахане. Главным образом они торговали кофе вразнос, но готовы были продавать

что угодно…

— Страусовые перья? — выпалил Джек, не решаясь финтить с армянами.

Так продажа страусовых перьев, которые Джек мог три с половиной года назад сбыть барыге в Линце, превратилась в мировой заговор, включающий Исфахнянов в Лондоне, Александрии, Мокке и Исфахане. К ним полетели письма с вопросами, сколько в их краях стоят страусовые перья, дешевеют они или дорожают, чем отличаются первосортные перья от второсортных, как выдать плохие за хорошие и так далее. В ожидании ответных вестей делать на этом фронте было нечего.

С дурной башки Джек начисто позабыл о Турке. Когда он наконец пришёл в конюшню, то выяснил, что хозяин чуть не продал Турка в уплату за съеденный овёс. Джек покрыл долг и стал думать, как обратить боевого коня в деньги.

В прежние времена он поступил бы так: отправился на площадь Дофина — острие Иль-де-ля-Сите, направленное в самую середину Пон-Нёф. Здесь, на месте казней, всегда было на что поглядеть. Даже если сегодня никого не казнили, на площади толпились шарлатаны, фигляры, кукольники; в крайнем случае можно

было поглазеть на останки казнённых неделю назад. Главное же происходило в дни больших воинских смотров: аристократы, командующие полками (во всяком случае, получающие за это деньги от короля), выходили из своих домов на правом берегу и шли через Пон-Нёф, набирая по дороге бродяг. На несколько часов площадь Дофина становилась огромным человечьим рынком. Новобранцы получали ржавые мушкеты и несколько монет, и свежеиспечённые полки шли по левому берегу под крики патриотически настроенных горожан. Колонны, возглавляемые аристократами на красавцах-конях, проходили в городские ворота, мимо столбов с обмякшими телами недавно выпоротых мелких правонарушителей, и оказывались в Сен-Жермен-де-Пре. Здесь, на открытом месте вокруг монастыря иногда проводились ярмарки. Шагая вдоль Сены, они видели несколько господских особняков, называемых в Париже «отелями», но в основном здания здесь были пониже и победней, а дальше начинались огороды и цветочные грядки зажиточных крестьян. Реку по большей части загораживали штабеля леса и тюки с товарами на левом берегу. Дальше Сена поворачивала к югу; здесь войско пересекало лужайку перед

Домом Инвалидов, окружённым собственными стеной и рвом, и оказывалось на Марсовом поле. Король Луй торжественно выезжал из Версаля, чтобы дать войскам смотр — до того, как Мартине реорганизовал армию, это означало в основном их пересчитать. *Passe-volantes* — как назывались такие, как Джек, — стояли (или, если не могли стоять сами, опирались на тех, кто может), а их пересчитывали по головам. Затем аристократы получали жалованье, а *passe-volantes* отправлялись тратить деньги в бесчисленные кабаки и бордели левого берега. Джеку о таком виде заработка рассказал по пути из Дюнкерка в Брюссель Боб, который воевал под знамёнами Джона Черчилля в Германии бок о бок с французами — разорял страны, имевшие наглость граничить с Францией. Боб сетовал, что из-за этой практики реальная сила французских полков близка к нулю. Джек, со своей стороны, мигом смекнул, что только придурок не воспользуется такой лафой.

Так или иначе, именно на этой практике держались все знания Джека о Париже. В случае с Турком они говорили ему, что в южной части Марэ живут богатеи, которым хошь не хошь надо покупать боевых коней или (если у них есть голова на плечах) жеребцов-производителей. Джек

поговорил с хозяином конюшни, проследил, куда едут возы с сеном и аристократы по пути с Марсова поля. Так он узнал, что лучший в Париже конский рынок — на Королевской площади.

Королевская площадь была из тех мест, которые людям вроде Джека представлялись дырами посреди города. Внимательный бездельник мог иногда различить в приоткрытые ворота кусочек залитой солнцем зелени. Попытавшись проникнуть туда с одной и с другой улицы, Джек выяснил, что площадь представляет собой квадрат с четырьмя огромными воротами по четырём странам света. Над каждыми воротами высилось могучее здание, вокруг стояли богатые особняки. Дважды в неделю в воротах возникала пробка из телег — одни доставляли овёс и сено, другие вывозили навоз, — а также из неимоверного количества красавцев-коней, которых вели под уздцы заботливые грумы. Лошадьми торговали и в прилегающих улочках, однако то был блошиный рынок по сравнению с тем, что творилось на Королевской площади.

Джек договорился с крестьянином, что тот за умеренную сумму провезёт его внутрь на телеге с сеном. Как только выдалась безопасная минутка, крестьянин ткнул его рукояткой вил в бок;

Джек выполз из-под сена, спрыгнул с телеги — и впервые с прихода в Париж оказался на зелёной траве.

Королевская площадь оказалась парком, засаженным каштанами (сейчас они, правда, стояли голые). В центре высилась статуя любезного королевского папеньки, Луя Тринадцатого, — ясное дело, конная. Всё окружали сводчатые колоннады, как в лейпцигских торговых дворах или на амстердамской Бирже, только гораздо шире и выше. И ворота, и арки были такие широкие, что в них мог проехать не просто всадник, а целая карета, запряжённая четвёркой или даже шестёркой коней. То был словно город в городе, выстроенный для людей настолько богатых, что вся их жизнь проходила в седле или в собственном экипаже.

Только это одно объясняло размах конской ярмарки, которая шумела сейчас вокруг Джека. Лошади толпились здесь так же тесно, как прохожие на улицах, исключая огороженные верёвками места, где товар мог погарцевать, а покупатели — оценить его стати и выучку. Увидь Джек любого из этих коней на английской или немецкой дороге, запомнил бы на всю жизнь. Они были не только дивно хороши, но и вычи-

щены до блеска, с косичками в гриве и хвосте и выучены всяким штукам. Здесь продавались ездовые лошади, пары, четвёрки и даже шестёрки упряжных, подобранных в масть, а в одном углу — боевые кони, чтобы красоваться перед королём на Марсовом поле. Джек отправился туда и поглядел. Собираясь в бой, он не променял бы Турка ни на одного из этих коней. Однако они были хорошо подкованы, ухожены и в отличной форме — прямая противоположность Турку, который несколько недель простоял в конюшне, откуда его лишь изредка выводили на прогулку.

Джек знал, как поправить дело. Прежде чем покинуть Королевскую площадь, он ненадолго поднял взгляд и оглядел особняки по сторонам парка, пытаясь что-нибудь выяснить про будущих покупателей.

Дома здесь были не каменные, а кирпичные. У Джека даже сердце защемило — вспомнилась добрая старая Англия. У четырёх больших зданий по четырём странам света были очень высокие — в два-три этажа — крыши с балконами и кружевными занавесками на окнах мансард. Джек представил, как богатые любители лошадей снимают там квартиры, чтобы смотреть из окон на конскую ярмарку.

На одной из соседних площадей — всех не упомнишь — Джек видел конную статую короля Луя, отправляющегося в поход; на пьедестале оставалось свободное место для ещё не одержанных побед и ещё не завоёванных стран. Так и в некоторых домах имелись свободные ниши. Всякий в Париже понимал, что туда поставят статуи военачальников, которые эти победы одержат. Оставалось найти человека, который мечтает до скончания веков стоять в такой нише, и убедить его, что побеждать легче всего будет на Турке или его потомках. Впрочем, прежде следовало привести Турка в надлежащую форму, а для этого поездить на нём какое-то время.

Джек выходил с Королевской площади через южные ворота, когда сзади послышались скрежет стальных ободьев о мостовую, неестественно слаженный цокот копыт и крики: «Разойдись!» Джек по-прежнему опирался на костыль (не хотел расставаться с саблей и не мог ходить с ней открыто). Он замешкался. Дюжий лакей в серо-голубой ливрее толкнул его в сторону, так что Джек «здоровой» ногой по колено угодил в канаву со стоячим дерьмом.

Он поднял глаза и увидел, что на него несутся четыре коня из Апокалипсиса. По крайней мере,

так ему на мгновение почудилось, ибо у всех четырёх глаза горели красным огнём. Тут они пронеслись мимо, и Джек сообразил, что глаза были на самом деле розовые. Четыре облачно-белых коня с розовыми глазами и пёстрыми копытами, в белой кожаной сбруе, везли карету в виде белой раковины на пенной морской волне, украшенную золочёными гирляндами, лавровыми венками, русалками и купидонами.

Кони эти напомнили Джеку про Элизу: на такого её обменяли в Алжире.

Он отправился на центральный рынок, где рыботорговки под предлогом, что у него штанина в дерьме, принялись забрасывать Джека рыбьими головами и ехидными каламбурами.

Джек спросил, не ходит ли слуга какого-нибудь богатого господина специально за *тухлой* рыбой для своего хозяина.

По лицам торговок было видно, что вопрос не напрасен, но тут одна из них фыркнула и все остальные хором закричали, чтобы Джек катился в Дом Инвалидов — мол, там и приставай к людям со своими глупостями.

— Я не ветеран, — отвечал Джек. — Какой дурак будет воевать ради богачей?

Ответ торговкам понравился, однако не разве-

ял их настороженность.

— Так кто ты такой? — полюбопытствовала одна.

— Бездельник! Вагабонд! — закричали её товарки.

Джек решил поставить то, что доктор назвал бы экспериментом.

— Не просто вагабонд, — объявил он. — Перед вами Джек Куцый Хер.

— Эммердёр! — ахнула торговка помоложе, не такая страхолюдная, как остальные.

Наступила тишина. И тут снова послышалось фырканье.

— Ты четвёртый бродяга за месяц, который это говорит…

— И меньше всего на него похож…

— Эммердёр — король средь бродяг. Семь футов роста…

— Всегда при оружии, чисто дворянин…

— У него украшенный каменьями ятаган, который он вырвал из рук турецкого паши…

— Он умеет заклятьями жечь ведьм и морочить епископов.

— Он не калека, у которого одна нога в сухотке, а другая в дерьме!

Джек спустил испачканные штаны, потом ис-

поднее и явил свой Аттестат. Затем, доказывая, что он не калека, отбросил костыль и принялся отплясывать разудалую джигу. Торговки не знали, падать им в обморок или визжать. Когда они пришли в себя, то принялись горстями бросать Джеку медные денье. Сбежались попрошайки и уличные музыканты; один, не переставая играть на волынке, тут же принялся ногами сгребать в кучу медяки и отпихивать нищих.

Убедившись собственными глазами, что Джек и впрямь тот, за кого себя выдаёт, каждая сочла своим долгом выбежать на середину, стряхивая с замызганной юбки каскад рыбьей чешуи, и сплясать с ним вместе. Джек хоть и не был в восторге от таких партнёрш, воспользовался случаем шепнуть на ухо каждой, что, будь у него деньги, щедро заплатил бы за имя господина — любителя тухлой рыбы. Однако не успел он задать вопрос два или три раза, как пришлось хватать подштанники и смываться — судя по звукам на другом конце рынка, начальник полиции с немалым отрядом подчинённых заявился собрать с торговок взятки деньгами, сексуальными услугами и/или устрицами за то, чтобы не давать хода делу о возмутительном нарушении общественного порядка.

Джек проследовал на платную конюшню, взял Турка и нанял ещё двух лошадей. Потом подъехал к Дому золотого фрегата на рю Вивьен и сказал, что собирается в Лион — не надо ли отвезти письмо?

Синьор Коцци очень обрадовался. Сегодня его дом был полон итальянцев, которые напряжённо строчили письма и векселя, а рабочие носили из подвала и с чердака что-то очень похожее на сундуки с деньгами. Банкиры-конкуренты и уличные посыльные толпились перед домом и гадали, из-за чего сыр-бор: знает Коцци что-то, чего не знают они, или просто блефует?

Итальянец черкнул что-то на листке и даже не стал его запечатывать. Джек недостаточно быстро протянул руку за письмом, и Коцци сам вложил бумагу в его ладонь со словами:

— В Лион! Меня не заботит, сколько лошадей ты загонишь по дороге. Чего ждёшь?

Джек собирался ответить, что не хочет загонять своего коня, однако синьор Коцци был не в настроении беседовать. Джек повернулся, выбежал из дома и вскочил на Турка.

— Поосторожнее! — крикнул кто-то вслед. — Говорят, в городе Эммердёр!

— Я слышал, он только приближается, — отве-

чал Джек, — во главе целой армии бродяг.

Он бы с удовольствием задержался и поболтал ещё, но Коцци сурово смотрел из дверей, и Джек, верхом на Турке, с двумя наёмными лошадьми в поводу, во весь опор проскакал по рю Вивьен до первого поворота налево. Он нарочно галопом пронёсся через центральный рынок, где полиция переворачивала всё вверх дном в поисках пешего калеки с укороченным членом. Джек подмигнул давешней молоденькой рыботорговке, и трепет разбежался по рынку, словно огонь по пороху. Джек тем временем уже скакал в Марэ — мимо Королевской площади. Маневрируя между навозными телегами, он добрался до Бастилии — сплошной каменной глыбы в редких оспинах окошечек. По стене — самой высокой и толстой в Париже — прохаживались гренадёры. Крепость окружал канал, отходящий от Сены. На мосту через канал было не протолкнуться, и Джек выехал из города по правому берегу. Он боялся, что Турок уже устал, однако аргамак, завидев простор, рванулся вперёд под сердитое ржание двух других лошадей, вынужденных подстраиваться под его бег.

Путь до Лиона не близкий — почти до самой Италии (потому-то, сообразил Джек, там и рас-

положены итальянские банки) или, если вам так больше нравится, почти до самого Марселя. Местность делилась на разные земли, каждая из которых брала свою собственную пошлину за проезд — как правило, в гостиницах на основных перекрёстках. Джек, всю дорогу меняя лошадей, словно соревновался с узким и чёрным, будто скорпион, экипажем, запряжённым четвёркой лошадей. Славная была гонка: то Джек оказывался впереди, то экипаж. Однако в конце концов из-за гостиниц и необходимости часто перепрягать коней экипаж всё-таки отстал, и Джек первым въехал в Лион с неведомыми ему новостями.

Ярко разодетого генуэзского банкира он отыскал на рынке, ничуть не похожем на парижский; здесь продавали уголь, тюки со старым платьем, рулоны некрашеной ткани. Банкир вынул из кармана монету, протянул Джеку и прочёл письмо от синьора Коцци.

— Ты англичанин?

— Да, а что?

— Твой король скончался.

С этими словами банкир вернулся в контору, а другие гонцы во весь опор поскакали в Геную и Марсель. Джек поставил лошадей на конюшню

и некоторое время ошалело бродил по Лиону, жуя купленный на рынке инжир. Единственный король, какого он знал, умер, и Англия теперь другая страна — подвластная паписту!

Гаага

февраль 1685

Позёмка уже взяла в кавычки сугробов вишнёвые каблуки французской делегации, а под носами у англичан, на усах, повисли дюймовые сосульки. Элиза, скользя на коньках, развернулась и замерла, чтобы полюбоваться на то, что приняла за колоссальную скульптурную группу. Разумеется, статуй в одежде не бывает, но послы со свитами (восемь англичан против семерых французов) простояли столько, что снег забился во все поры париков, камзолов и шляп — издали они смотрелись топорно высеченными из большой глыбы низкопробного сероватого камня. Куда живее (и куда теплее одеты) были голландские зеваки, спорящие, какая из делегаций сдастся первой. Грузчики и дровосеки взяли сторону англичан, горожане побогаче поддерживали французов; эти прохаживались туда-сюда, притоптывали ногами, дули на руки и отряжали быстроногих мальчишек-конькобежцев к Генеральным Штатам и Бинненхофу.

Элиза была единственной конькобежкой,

и когда она остановилась на краю канала, в нескольких футах от двух групп людей на прилегающей улице, скульптурная композиция ожила. Захрустел намёрзший на воротники снег: пятнадцать английских и французских голов повернулись к Элизе. Великое стояние обрело новый характер.

Самый богато одетый француз содрогнулся. Дрожали все, но этого *передёрнуло*.

— Мадемуазель, — сказал он, — вы говорите по-французски?

Элиза оглядела его. На французе была шляпа размером с таз, наполненный экзотическими перьями, сейчас облепленными снегом. Новомодные длинные языки башмаков закручивались вперёд; скопившийся за ними снег, подтаивая, затекал внутрь, так что кожа уже потемнела.

— Только когда у меня есть на то причина, мсье, — отвечала она.

— Что за причина?

— Какой французский вопрос!.. Наверное, когда господин, должным образом мне представленный, забавляет меня остроумной шуткой или комплиментом…

— Смиренно молю мадемуазель меня извинить, — проговорил француз, с трудом ворочая

серыми от холода губами. — Поскольку вы без спутника, мне некого просить, чтобы нас представили сообразно обычаю.

— Он там, — сказала Элиза, указывая на кого-то в полулиге по каналу.

– *Mon Dieu*! Ваш спутник дёргает руками и ногами, как грешник, низвергаемый в ад! — воскликнул француз. — Скажите, мадемуазель, почему юная пава катается на канале с орангутангом?

— Он уверял, будто умеет кататься на коньках.

— Девушка вашей красоты наверняка слышала из мужских уст немало изысканных уверений и при таком уме должна была понять, что все они лживы.

— В то время как вы, мсье, честны и чисты сердцем?

— Увы, мадемуазель, я всего лишь стар.

— Не настолько.

— И всё же я могу скончаться от старости или от воспаления лёгких раньше, чем ваш кавалер доковыляет сюда, чтобы нас познакомить, посему… Жан-Антуан де Месм, граф д'Аво, ваш покорный слуга.

— Очень приятно. Меня зовут Элиза…

— Герцогиня Йглмская?

Элиза рассмеялась такой нелепости.

— Откуда вы знаете, что я с Йглма?

— Ваш родной язык английский, однако вы катаетесь так, будто родились на льду, а не семените пьяной походкой англосаксов, жестоких утеснителей вашего острова. — Д'Аво нарочно повысил голос, чтобы слышали англичане.

— Умно́ — однако вы прекрасно знаете, что я не герцогиня.

— И всё же я убеждён, что в ваших жилах течёт голубая кровь.

— Судя по цвету губ, в ваших она ещё голубее. Почему бы нам не пойти и не посидеть у жаркого огня?

— Теперь вы жестоко искушаете меня *иным* способом, — произнёс д'Аво. — Я должен стоять здесь за честь и славу Франции. Однако вы не связаны подобными обязательствами — что вы делаете здесь, где место лишь моржам и белым медведям, да ещё в такой юбке?

— Юбка должна быть короткой, чтобы не зацепиться за лезвия коньков, видите?

Элиза сделала небольшой пируэт. В следующий миг из середины французской делегации донеслись стон и хруст — долговязый пожилой дипломат рухнул на снег. Двое других присели

было ему помочь, но лаконичные слова д'Аво заставили их выпрямиться.

— Как только мы начнём делать исключения для тех, кого не держат ноги, — или для *притворщиков,* — вся делегация посыплется, как кегли.

Посол обращался к Элизе, но слова его предназначались свите. Упавший свернулся в позе зародыша; двое голландцев при шпагах подбежали к нему с одеялом. Тем временем из ближайшей таверны появилась девушка с подносом. Она прошла мимо французов, обдав их ароматом глинтвейна от восьми кружек, и направилась прямиком к англичанам.

— Исключения из чего? — спросила Элиза.

— Из правил дипломатического этикета, которые гласят, в частности, что, если два посла столкнулись на узкой улице, дорогу уступает младший — тот, чей король позже вступил на трон.

— А, вот в чём дело. И вы спорите, кому принадлежит старшинство.

— Я представляю Его Христианнейшее Величество*[81], вот *эти* — короля Якова Второго Английского… по крайней мере, так можно допу-

---

[81] Примечания: 81
Людовика XIV Французского.

стить, ибо мы слышали о смерти Карла II, но не знаем, коронован ли его брат.

— В таком случае, очевидно, старшинство принадлежит вам.

— Очевидно вам и мне, мадемуазель. Однако *эти* уверяют, что не могут представлять некоронованного короля, следовательно, по-прежнему представляют Карла Второго, коронованного в тысяча шестьсот пятьдесят первом году после того, как пуритане отрубили голову его отцу и предшественнику. Мой король был коронован в тысяча шестьсот пятьдесят четвёртом.

— При всём уважении к Его Христианнейшему Величеству, не означает ли это, что, будь Карл II жив, старшинство принадлежало бы ему?

— Горстка шотландцев нахлобучила на Карла корону, — отвечал д'Аво, — после чего он жил нахлебником у голландцев до тысяча шестьсот шестидесятого, когда здешние сыровары *заплатили,* чтобы сбыть его с рук. *Де-факто* его правление началось с отплытия к Дувру.

— Что до фактов, сударь, — крикнул англичанин, — вспомните, что ваш король начал править по-настоящему лишь после смерти Мазарини девятого марта тысяча шестьсот шестьдесят первого года. — Он поднёс кружку к губам и при-

нялся пить большими глотками, постанывая от удовольствия.

— По крайней мере, *мой* король жив, — пробормотал д'Аво. — Слышали, мадемуазель? А ещё обвиняют *иезуитов* в казуистике. Ба, что я вижу! Вашего ухажёра разыскивает рота святого Георгия?

Общественный порядок в Гааге поддерживали две гильдии стрелков. Часть города вокруг рынка и ратуши, где жили обычные голландцы, находилась в ведении гильдии святого Себастьяна. Гильдия святого Георгия несла караул в Хофгебейде — районе, где располагались дворец, иностранные посольства, особняки богатых семейств и тому подобное. Обе гильдии были представлены в толпе зевак, собравшихся поглазеть, как д'Аво и его английский коллега умирают от переохлаждения. Слова д'Аво отчасти имели целью повеселить стрелков из гильдии святого Георгия — быть может, за счёт более плебейских коллег из гильдии святого Себастьяна, болеющих за англичан.

— Что вы, мсье! В таком случае эти храбрые и бдительные люди давно бы его заметили. Почему вы спросили?

— Он закрывает лицо, как какой-нибудь во-

лонтёр.

(Что означало солдата, подавшегося в разбойники.)

Элиза повернулась и увидела, что Гомер Болструд жмётся (трудно было бы подобрать другое слово) за поворотом канала, закрывая лицо длинной полосой клетчатой ткани.

— Те, кто живёт в северном климате, нередко так поступают.

— Фи, как вульгарно! Если ваш ухажёр боится лёгкого ветерка…

— Он мне не ухажёр, просто компаньон.

— В таком случае, мадемуазель, ничто не препятствует вам завтра встретиться со мною здесь и преподать мне урок катания на коньках.

— Помилуйте, мсье! По тому, как вы содрогнулись при виде меня, я заключила, что вы почитаете это занятие ниже вашего достоинства.

— Разумеется, но я посол и должен сносить любые унижения.

— Ради чести и славы Франции?

– *Pourquoi non*?

— Надеюсь, улицу скоро расширят, граф д'Аво.

— Весна близка, а когда я гляжу на вас, мадемуазель, то чувствую, что она уже наступила.

— Это было совершенно невинно, мистер Бол-

струд! Я принимала их за статуи, покуда они не повернулись в мою сторону!

Они сидели перед огнём в основательном охотничьем домике. Внутри было довольно тепло, но дымно и тесно от звериных голов по стенам, которые, казалось, тоже повернулись к Элизе.

— Вы думаете, будто я сержусь, но это не так.

— Тогда что вас гнетёт? Вы мрачнее тучи.

— Кресла.

— Я не ослышалась, сэр?

— Гляньте на них, — глухим от отчаяния голосом проговорил Гомер. — Тот, кто строил это поместье, не испытывал недостатка в деньгах, уж будьте покойны, но мебель! Либо топорная, как трон людоеда, на котором сижу я, либо собрана из прутиков. Гляньте, на чем вы сидите, — это кресло или вязанка хвороста? Я бы сделал получше за один вечер, пьяный, перочинным ножом!

— Тогда прошу прощения, что подумала, будто вы сердитесь из-за той нечаянной встречи.

— Моя вера учит, что ваши заигрывания с французским послом были предопределены. Если я размышляю о них, то не потому, что сержусь. Я просто должен понять, что это значит.

— Что он похотливый старый козёл.

Гомер Болструд обречённо тряхнул большой

головой и повернулся к окну. Стёкла звенели от вьюги.

— Надеюсь, всё не закончится побоищем.

— Какое побоище могут учинить восемь окоченевших англичан и семь полумёртвых французов?

— Я о голландцах. Народ, как всегда, на стороне штатгальтера*[82], но поскольку сейчас заседают Генеральные Штаты, в городе полно офранцузившихся купцов — все они при шпагах и пистолетах.

— Кстати, об офранцузившихся купцах, — сказала Элиза. — У меня хорошие новости для Клиента, кто бы он ни был, по поводу рынка. Судя по всему, накануне войны тысяча шестьсот семьдесят второго года один амстердамский банкир предал республику.

— Вообще-то, не один… но продолжайте.

— По наущению маркиза де Лувуа предатель, некий Слёйс, скупил в республике почти весь свинец, чтобы оставить Вильгельма без пуль. Слёйс считал, что война закончится в несколько дней, и Людовик, утвердив французский флаг на площади Дам, лично его вознаградит. Однако

---

[82] Примечания: 82
Вильгельм Оранский.

всё обернулось иначе. С тех самых пор у Слёйса полный склад свинца, который он не может продать открыто из страха, что толпа, узнав о предательстве, сожжёт склады, а его самого разорвёт в клочки, как в своё время братьев де Виттов. Однако сейчас он вынужден избавиться от своих запасов.

— Почему?

— Прошло тринадцать лет. Под тяжестью свинца склад оседает в два раза быстрее, чем прилегающие дома. Соседи возмущаются: он тянет за собой в трясину целый квартал!

— Отлично, господин Слёйс будет сговорчив, — сказал Гомер Болструд. — Благодарение Богу. Клиент обрадуется. Скупал ли тот же предатель порох? Запалы?

— Всё испорчено сыростью. Впрочем, к Текселу должна вот-вот подойти Ост-Индская эскадра. Ожидается, что она доставит селитру — цены на порох уже пошли вниз.

— Вряд ли они опустятся до приемлемого уровня, — пробормотал Болструд. — Можем ли мы купить селитру и сами его изготовить?

— Стоимость серы упала из-за вулканических извержений на Яве, — сказала Элиза, — но качественный уголь очень дорог. Герцог Браун-

швейг-Люнебургский трясётся над своей ольхой, как скряга над сундуком с монетами.

— Бог даст, мы захватим арсенал в самом начале кампании, — проговорил Болструд.

От слов «кампания» и «захватим арсенал» Элизе стало не по себе. Она попыталась сменить тему.

— Когда я буду иметь удовольствие видеть Клиента?

— Как только мы сможем застать его одетым и трезвым, — тут же отвечал Болструд.

— Для гавкера это должно быть несложно.

— Клиент совершенно не таков! — фыркнул Гомер.

— Странно.

— Что тут странного?

— Как можно быть противником рабства, если не по религиозным соображениям?

— Вы противница рабства, хоть и не кальвинистка.

— У меня есть личные причины. Однако я полагала, что Клиент — ваш единоверец. Он ведь и впрямь против рабства?

— Давайте оставим в стороне домыслы и будем держаться фактов.

— Не могу не заметить, сэр, что мой вопрос остался без ответа.

— Вы появились на пороге нашей амстердамской церкви — некоторым показалось, как ангельское видение, — сделали более чем щедрое пожертвование и предложили любым способом содействовать нашей борьбе против рабства. Этим вы сейчас и занимаетесь.

— Однако если Клиент не противник рабства, как я содействую этой борьбе, покупая ему пули и порох?

— Вы, возможно, не знаете, что мой отец, упокой, Господи, его душу, был государственным секретарём при покойном короле, пока английские паписты, действуя по указке Франции, не загнали его в ссылку, а там и в гроб. Он пошёл на это, зная, что ради высшего блага иногда приходится иметь дело с такими, как Карл Второй. Вот и мы, противники рабства, государственной церкви и в особенности — гнусностей римской веры, должны поддержать человека, который помешает Джеймсу, герцогу Йоркскому, долго оставаться на троне.

— Джеймс — законный наследник, не так ли?

— Как доказали дипломаты в споре о старшинстве королей, — произнёс Болструд, — нет такого вопроса, который нельзя было бы затемнить, и в особенности — пороховым дымом. Людовик

ставит на всех своих пушках слова: «*Ultima Ratio Regum*».

— Последний довод королей.

— Вы и латынь знаете?

— Я получила классическое образование.

— На Йглме?!

— В Константинополе.

Граф д'Аво двигался по гаагским каналам походкой человека, ступающего по раскалённым углям, однако некий внутренний стержень неизменно удерживал его от падения.

— Не хотите ли вернуться домой, мсье?

— Отнюдь нет, мадемуазель, мне нравится, — отвечал он, выкусывая по слогу за раз, словно крокодил, захватывающий пастью весло.

— Сегодня вы одеты теплее. Это русский соболь?

— Да, хотя плохонький. Вас ждёт гораздо лучше — если доставите меня домой живым.

— Это совершенно лишнее, мсье.

— Подарки и должны быть излишеством. — Д'Аво вытащил из кармана и протянул Элизе квадратик чёрного бархата. — Вуаля!

— Что это? — Она, забирая вещицу, воспользовалась случаем поддержать спутника под локоть.

— Так, безделица. Я бы хотел, чтобы вы её надели.

Безделица оказалась длинной и широкой, с Элизину ладонь, лентой, скреплённой на концах золотой брошью в виде бабочки. Элиза, догадавшись, что её носят через плечо, продела внутрь руку и голову.

— Ну как?

Д'Аво, вопреки обыкновению, не нашёлся с комплиментом. Он только пожал плечами, словно говоря: «Неважно, как». Это укрепило Элизино подозрение, что чёрная бархатная лента поверх наряда для катания на коньках выглядит довольно нелепо.

— Как вы вчера выпутались из своего затруднения?

— Попросил штатгальтера вызвать английского посла назад в Бинненхоф. Тому пришлось совершить поворот кругом — манёвр, к которому дипломатам коварного Альбиона не привыкать. Мы двинулись за ними и свернули на первом же перекрёстке. А вы из своего?

— О чём… а, вы о прогулке с увальнем.

— Разумеется.

— Помучила его ещё полчаса и доставила домой, чтобы заняться делом. Вы считаете меня

шлюхой, мсье? Это было видно по вашему лицу, когда я произнесла «дело». Хотя вы, вероятно, сказали бы «куртизанка».

— Для моего круга, мадемуазель, все, кто марает руки каким-либо делом, — шлюхи. Французская аристократия не видит разницы между первым негоциантом Амстердама и уличной потаскухой.

— За это Людовик так ненавидит голландцев?

— О нет, мадемуазель, в отличие от скучных кальвинистов, мы шлюх любим — в Версале их полно. Нет, у нас есть множество *разумных* причин для ненависти к голландцам.

— И какого рода шлюхой вы меня считаете?

— Это я и пытаюсь выяснить.

Элиза рассмеялась:

— В таком случае вам стоит повернуть назад.

— Нет!

Д'Аво с риском упасть свернул в другой канал. Нечто громадное и угрюмое выступало в просвет между домами. Элиза сперва подумала, что это особо сумрачная кирпичная церковь, потом увидела оскаленные зубцы парапета, амбразуры, и поняла, что здание это воздвигнуто не для спасения душ. Высокие острые башенки торчали по углам; готические украшения на фронтоне сжатыми кулаками грозили морозному небу.

— Рыцарский зал, — проговорила Элиза, сориентировавшись. Она совершенно запуталась в лабиринте каналов, пронизывающих Хофгебейд, словно сетка кровеносных сосудов. — Значит, мы на Спей.

Чуть впереди канал расходился надвое, охватывая Рыцарский зал и другие хоромы голландских графов.

Д'Аво свернул в правый канал.

— Давайте пройдём через эти ворота, на Хофвейвер! — Он имел в виду прямоугольный пруд перед Бинненхофом — дворцом голландских правителей. — Вид Бинненхофа, встающего надо льдом, будет… э…

— Волшебным?

— Нет.

— Великолепным?

— Не глупите.

— Менее тоскливым, чем всё остальное?

— Теперь вы воистину говорите по-французски, — одобрил посол. — Вояка*[83] на очередной своей невыносимой охоте, но *кое-кто* из важных особ сейчас здесь.

Француз с неожиданной — почти пугающей —

---

[83] Примечания: 83
Вильгельм Оранский.

скоростью вырвался вперёд, на несколько шагов опередив Элизу.

— Мне ворота откроют, — уверенно продолжал он, бросая слова через плечо, словно шарф. — И тут вы со свойственным вам изяществом разгонитесь и мимо меня выскользнете на Хофвейвер.

— Очень изобретательно… но почему бы вам не попросить, чтобы пропустили и меня тоже?

— Так будет эффектнее.

Ворота охраняли мушкетёры и лучники в синем, с кружевными галстуками и оранжевыми шарфами через плечо. Они узнали Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво, спустились на скользкий лёд и открыли одну створку ворот, после чего, сняв шляпы и метя по льду кончиками оранжевых перьев, склонились в поклоне. Ворота были достаточно широки, чтобы в более тёплые месяцы пропускать прогулочные барки, так что Элиза свободно пронеслась мимо французского посла на прямоугольник льда перед дворцом Вильгельма Оранского. Будь она мужчиной, не избежать бы ей стрелы в спину, однако появление девушки в короткой юбке было воспринято надлежащим образом — как забавная графская шутка.

Элиза катилась очень быстро — быстрее, чем нужно, ибо радовалась случаю размять зане-

мевшие от холода мышцы. Она вылетела на юго-восточный угол Хофвейвера, который тянулся ярдов на сто в направлении север — юг и ярдов на триста в направлении восток — запад. Скользя по восточному берегу, она услышала справа выстрелы и на какой-то жуткий миг перепугалась, что получит сейчас пулю в лоб. Напрасные опасения: это стрелки упражнялись в тире, устроенном на берегу пруда перед богато изукрашенным зданием. Элиза узнала помещение гильдии Святого Георгия. Дальше на восток, сколько хватал глаз, простирался Гаагский лес — охотничьи угодья голландских графов, где в более тёплую погоду прогуливались верхом или на своих двоих представители всех сословий.

Прямо впереди был мощёный спуск, где улица уходила в пруд; когда воду не покрывал лёд, здесь поили лошадей и коров. Чтобы не налететь на него, Элизе пришлось, сильно наклонившись, описать крутой поворот. Виляя бёдрами, она немного разогналась, катя по длинному северному берегу Хофвейвера. Южный берег, справа от неё, представлял собой винегрет из бурых кирпичных зданий с чёрными шиферными крышами; у многих окна были почти вровень с прудом, так что Элиза могла бы вкатиться внутрь

и пообщаться с обитателями. Впрочем, она бы никогда на такое не отважилась, ведь это был Бинненхоф, дворец штатгальтера Вильгельма Оранского. Сейчас его отчасти закрывал круглый островок, сидящий посреди Хофвейвера, как половинка вишенки на куске торта. На нём росли деревья и кусты, по-зимнему голые, но покрытые длинным мхом. За Бинненхофом Элиза видела узкие башенки Рыцарского зала, вздетые в небо, словно копья целого эскадрона рыцарей.

На этом знакомство с достопримечательностями окончилось: миновав островок, Элиза увидела большую группу нарядно одетых мужчин и женщин на коньках. Врезаться в них было бы невежливо, остановиться и представиться — ещё невежливей. Она оборотилась лицом к д'Аво и заскользила назад, по инерции пронеслась мимо нарядной группы, описала длинную дугу по западному берегу Хофвейвера, снова развернулась и набрала скорость, даже не отрывая коньков ото льда, а только плавно виляя бёдрами. Так, змейкой, она прокатилась вдоль длинной стороны Бинненхофа и остановилась прямо перед д'Аво, разведя коньки и взметнув искристую стену ледяной пыли. Ничего особенного, но стражники, стрелки Святого Георгия и знатная публика на

коньках захлопали в ладоши.

— Я учился в парижской академии господина дю Плесси, где лучшие фехтовальщики мира собираются похвастать своим искусством, однако вы затмили их всех изяществом обращения с парой стальных лезвий, — произнёс, поднося Элизину руку к губам, самый красивый мужчина, какого она видела в жизни.

Д'Аво представил их. Писаный красавец оказался герцогом Монмутским. Он сопровождал долговязую, но полнолицую особу лет двадцати с небольшим — Марию, дочь нынешнего короля Англии, супругу Вильгельма Оранского.

Покуда д'Аво называл имена и титулы, Элиза впервые на своей памяти чуть не растерялась. Она вспомнила Ганновер и как доктор водил её на колокольню рядом с дворцом Герренхаузен — взглянуть на Софию в подзорную трубу. А ведь д'Аво знает её куда хуже доктора. Как может он, понятия не имея, кто она такая, ввести её в святая святых голландского двора?

Оказалось — запросто. Посол, наклонившись к Монмуту и Марии, проговорил заговорщицки: «Это Элиза». Те понимающе закивали, а по рядам английских слуг и прихлебателей Марии пробежал взволнованный шепоток. Очевидно, их

представлять было не обязательно — невелики персоны; тем более не заслуживали такой чести арапчонок и дрожащий от холода карлик-яванец.

— А я комплимента не заслужил? — спросил д'Аво у Монмута, покрывавшего поцелуями Элизину перчатку.

— Напротив, мсье, я собирался сказать, что вы — лучший конькобежец среди французов, — с улыбкой отвечал Монмут. Руку Элизы он выпустить позабыл.

Мария чуть не грохнулась на лёд — отчасти потому, что смеялась герцогской шутке чуть громче, чем следовало, отчасти потому, что плохо стояла на коньках. (Элизе подумалось, что она похожа на ветряную мельницу, которая машет крыльями, но не движется с места.) С первого взгляда было видно, что она влюблена в Монмута как кошка. Это несколько смущало. С другой стороны, следовало признать, что в герцога трудно не влюбиться.

Мария Оранская собиралась что-то сказать, но граф д'Аво не дал ей времени открыть рот:

— Мадемуазель Элиза героически пыталась обучить меня катанию на коньках, — веско произнёс он, обращая на неё масленый взгляд, — однако

я подобен крестьянину на лекции господина Гюйгенса.

Он посмотрел на ворота, в которые они с Элизой только что въехали, где, сразу за углом, стоял особняк Гюйгенсов.

— Я бы всё время падала, если бы герцог меня не поддерживал, — вставила Мария.

— Сгодится ли на то же посол?

Д'Аво, не дожидаясь ответа, подкатил к Марии, едва не сбив её с ног. Та еле-еле успела уцепиться за его руку. Свита тут же бросилась возвращать свою государыню в стоячее положение; карлик-яванец, упершись двумя руками в её ягодицы, давил, что есть мочи.

Герцог Монмутский не видел развернувшейся драмы, поскольку внимательно изучал Элизу. Он начал с волос, добрался до щиколоток, вновь двинулся вверх и тут вздрогнул, заметив глядящие прямо на него синие глаза. От этого на него напал столбняк; д'Аво, крепко зажав руку Марии локтем, проговорил:

— Пожалуйста, ваша светлость, покатайтесь, разомните ноги, а мы, новички, подождём вас на Хофвейвер.

— Мадемуазель? — спросил герцог, подставляя Элизе руку.

— Ваша светлость, — отвечала Элиза, беря его под локоть.

Через несколько мгновений они уже были на канале Спей. Элиза выпустила руку Монмута и крутанулась на месте. Она увидела закрывающиеся ворота и, сквозь решётку, Марию Оранскую и Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво. У Марии было такое лицо, словно её ударили под дых, у посла — словно он делает такое по несколько раз на дню. Как-то в Константинополе Элиза помогала держать одну из невольниц, покуда врач-араб удалял той аппендикс, и её поразило, что может сделать в мгновение ока человек, вооружённый неколебимостью и острым ножом. Это проделал сейчас д'Аво с сердцем Марии.

Дальше канал расширялся. Монмут сделал полный оборот на месте. Выглядело не так чтобы изящно — гора мяса и костей, движущаяся очень быстро, но Элиза невольно загляделась. Катался он точно лучше неё. Герцог заметил, что Элиза на него смотрит, и решил, что она им любуется.

— В Междуцарствие я делил своё время между Гаагой и Парижем, — пояснил он, — и много времени проводил на каналах. А вы где учились, мадемуазель?

Ответ «Пробираясь по льдинам, чтобы от-

скребать птичье дерьмо со скал» прозвучал бы грубовато. Элиза выдумала бы какую-нибудь красивую историю, будь у неё время, но сейчас она была поглощена другим — пыталась оценить, что происходит.

— Ах, простите мою назойливость — я забыл, что вы здесь инкогнито. — Герцог Монмутский задержал взгляд на чёрной бархатной ленте. — Это и ваше осторожное молчание красноречивее целых томов.

— Неужто? И что же в этих томах?

— История невинности, жестоко обманутой каким-то немецким или скандинавским аристократом. Или то был поляк? Или прославленный совратитель Густав-Адольф Шведский? Не отвечайте, мадемуазель, скажите лишь, что простили моё любопытство.

— Простила. Так вы — тот самый герцог Монмутский, что отличился при осаде Маастрихта? Знаю одного человека, который участвовал в том сражении — по крайней мере был там — и много рассказывал о ваших подвигах.

— Кто же? Маркиз де… Или граф д'…

— Вы забываетесь, мсье, — отвечала Элиза, поглаживая бархатную ленту.

— О… ещё раз примите извинения, — с озорной

улыбкой проговорил Монмут.

— Вы можете искупить свою вину, объяснив мне вот что: осада Маастрихта была частью кампании, имевшей целью уничтожить Голландскую республику. Чтобы выиграть войну, Вильгельм затопил полстраны. Вы сражались против него, а теперь всего несколько лет спустя гостите под его кровом.

— Пустое! Через несколько лет после Маастрихта я уже сражался вместе с Вильгельмом против французов под Монсом, а Вильгельм женился на Марии, которая, как вы, вероятно, знаете, приходится дочерью королю Якову II, бывшему герцогу Йоркскому. Он был адмиралом английского флота, пока адмиралы Вильгельма этот флот не уничтожили. Могу продолжать в том же духе до вечера.

— Будь у меня такой враг, я бы не знала покоя, покуда он жив, — сказала Элиза. — К слову, у меня есть враг, и я уже давно не знаю покоя…

— Кто он? — с жаром спросил Монмут. — Тот, кто выучил вас кататься на коньках, а потом…

— Другой, — отвечала Элиза, — но я не знаю его имени, ибо наша встреча произошла в тёмной каюте корабля…

— Какого?

— Не знаю.

— Под каким флагом он шёл?

— Под чёрным.

— Чтоб мне провалиться!

— О, это был обычный пиратский галеон — ничего особенного.

— Вас похищали пираты?

— Только один раз. Такое случается чаще, чем вам кажется. Однако мы отступили от темы. Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто мой враг, и не сведу его в могилу.

— Предположим, вы узнали, кто он, и выяснилось, что это ваш двоюродный дед, деверь вашей кузины и крёстный лучшей подруги.

— Я говорю лишь об одном враге…

— Знаю. Однако королевские семьи Европы так тесно переплетены, что враг может состоять с вами во всех этих родственных связях одновременно.

— Какой ужас!

— Напротив, это вершина цивилизации, — отвечал Монмут. — Мы не забываем обид, что было бы неразумно. Однако будь убийство единственным способом сатисфакции, вся Европа превратилась бы в поле боя!

— Она и без того поле боя! Вы не следили за

политикой?

— Некогда было следить, сражаясь под Маастрихтом, Монсом и в других местах, — сухо отвечал Монмут. — Я хочу сказать, что могло быть много хуже — как в Тридцатилетнюю войну, или в Гражданскую войну в Англии.

— Наверное, вы правы, — проговорила Элиза, вспоминая разрушенные замки в Богемии.

— Теперь мы мстим при дворе. Иногда дело доходит до дуэли, но, как правило, мы состязаемся в метких словах, а не в метких выстрелах. Жертв меньше, и у дам есть возможность принять участие в войне — как сейчас.

— Простите?

— Вы когда-нибудь стреляли из мушкета, мадемуазель?

— Нет.

— Однако за время нашего разговора вы уже выпустили несколько *словесных* залпов. Так что, как видите, в *придворных* битвах женщины ничем не уступают мужчинам.

Элиза остановилась, услышав, что часы на ратуше пробили четыре. Монмут по инерции пролетел вперёд, изящно развернулся и с глупой ухмылкой покатил назад.

— Мне надо на встречу, — сказала Элиза.

— Вы позволите проводить вас до Бинненхофа?

— Нет. Там д'Аво.

— Общество посла вам более не приятно?

— Я боюсь, что он захочет подарить мне шубу.

— Это было бы невыносимо!

— Не хочу доставлять ему такое удовольствие… он в некотором роде меня использовал.

— Французский король поручил ему вести себя с Марией как можно более дерзко. А поскольку Мария сегодня влюблена в меня…

— Почему?

— Почему в меня? Мадемуазель, я оскорблён.

— Я прекрасно знаю, почему она влюблена в вас. Я хотела спросить, почему французский король отправил посла в Гаагу с единственной целью досаждать Марии?

— О, граф д'Аво занят не только этим. Отвечая на ваш вопрос: Людовик хочет развести Вильгельма с Марией — ослабить влияние Вильгельма на Англию и выдать Марию за какого-нибудь из своих бастардов.

— Я чувствовала, что это какая-то семейная интрига — уж так всё гадко и мелочно.

— Вот теперь вы начали понимать!

— Разве Мария не любит мужа?

— Вильгельм и Мария — идеальная пара.

— Вы говорите мало, но подразумеваете многое — что?

— Теперь мой черёд напустить на себя таинственность, — сказал Монмут. — Это единственный способ наверняка увидеться с вами снова.

Он продолжал в том же духе. Элиза ловко ушла от ответа, и они расстались.

Однако через два часа они встретились снова. На сей раз в обществе Гомера Болструда.

Милях в двух к северу от Гааги плоская земля Голландской республики обрезана морским побережьем. Цепочка дюн худо-бедно защищает от морских ветров. За ней, параллельно берегу, тянется полоска земли, по большей части заросшая лесом, но не дикая, а окультуренная каналами и дорогами. Здесь расположились разнообразные поместья — загородные приюты купечества и дворянства. Каждую такую усадьбу окружает сад, а те, что побогаче, — целые охотничьи угодья с домиками, куда мужчины могут скрыться от женщин.

Элиза по-прежнему очень мало знала про Болструда и его планы; очевидно, его поддерживал какой-то купец, владелец подобного поместья, разрешивший использовать для деловых встреч

свой охотничий домик. Канал соединял поместье с Гаагским лесом, который тянулся от самого Бинненхофа. Расстояние составляло несколько миль, так что весной или летом прогулка могла занять всё утро или весь вечер. Однако, когда каналы были подо льдом, а гость — на коньках, он добирался сюда совсем быстро.

Так и прибыл Монмут — без спутников, инкогнито. Он сидел в кресле, которое Болструд сравнил с троном людоеда, Элиза и Болструд — на скрипучих стульях из хворостин. Болструд пытался официально представить Клиента, но…

— Итак, — сказала Элиза, — совсем недавно вы утверждали, что обычай сражаться при помощи оружия устарел и…

— Мне выгодно, чтобы люди думали, будто я впрямь верю в эту чепуху, — отвечал Монмут, — а женщины обманываются охотнее всех.

— Почему? Потому что на войне женщины становятся добычей, а нам это не нравится?

— Полагаю, да.

— Я была добычей, и мне это не понравилось. И потому ваша небольшая лекция о современности в некотором роде меня вдохновила.

— Как я сказал: женщины обманываются охотнее других.

— Вы знакомы?! — выговорил наконец Болструд.

— Как показал мой покойный папенька, те из нас, кому предопределено гореть в аду, должны хоть немного поразвлечься при жизни, — сказал Монмут. — Мужчины и женщины — не пуритане — сходятся самыми разнообразными способами! — нежно смотря на Элизу.

Взгляд Элизы должен был ледяной сосулькой пронзить его насквозь, однако Монмут отвечал лишь лёгким чувственным трепетом.

Элиза сказала:

— Если вы так легко пошли у д'Аво на поводу и отвернулись от Марии, что проку будет от вас на английском троне?

Монмут уронил челюсть и взглянул на Болструда.

— Я этого не говорил! — запротестовал тот. — Только сказал, что́ мы собираемся закупить.

— Из чего со всей очевидностью следовали ваши намерения, — заметила Элиза.

— Неважно, наверное, — проговорил Монмут. — Поскольку мы не можем сделать закупки без какого-то обеспечения, а обеспечение в данном случае — трон.

— Мне сказали иначе, — промолвила Эли-

за. — Меня уверили, что за всё будет уплачено золотом.

— Да — после.

— После чего?

— После того, как мы завоюем Англию.

— Ой.

— Бóльшая часть Англии на нашей стороне — это дело от силы нескольких месяцев.

— А бóльшая часть Англии вооружена?

— Он говорит правду, — вставил Гомер Болструд. — Всюду, где он появляется в Англии, народ выходит на улицы, разводит костры и жжёт чучела папы римского.

— Так что помимо закупки требуемых *товаров* вы просите временный заём, обеспечением в котором станет…

— Лондонский Тауэр, — успокаивающе пообещал Монмут.

— Я торгую акциями, но я не акционер, — сказала Элиза. — Я не могу быть вашим финансистом.

— Как вы можете торговать акциями, не будучи акционером?

— Я торгую дукатовыми акциями, составляющими одну десятую от настоящих акций Ост-Индской компании, поэтому куда более ликвидными. Я держу их — или опционы — ровно

столько, чтобы получить небольшую прибыль. Вашей светлости надо будет проделать на коньках сорок миль вон в ту сторону, — она указала на северо-восток, — и договориться с амстердамскими ростовщиками. Среди них есть настоящие князья рынка, владеющие целыми мешками акций Ост-Индской компании. Однако поскольку вы не можете положить лондонский Тауэр в карман и поставить его на стол в качестве обеспечения, вам потребуется что-то ещё.

— Мы это знаем, — заверил Болструд. — Мы просто даём вам понять, что когда дело дойдёт до оплаты, её внесём не мы, а…

— Некий легковерный заимодавец.

— Не такой уж легковерный. С нами значительные люди.

— Могу я поинтересоваться кто?

Болструд и Монмут переглянулись.

— Не сейчас. Позже, в Амстердаме, — сказал Болструд.

— Ничего не выйдет. У амстердамцев более чем достаточно *надёжных* начинаний, в которые можно вложить лишние средства, — возразила Элиза. — Впрочем, возможно, удастся добыть деньги иным способом.

— Где вы предлагаете их добыть, если не у

амстердамских ростовщиков? — спросил Монмут. — Моя любовница уже заложила свои драгоценности — этот ресурс исчерпан.

Несколько долгих минут Элиза смотрела в огонь, затем повернулась к собеседникам.

— Мы можем получить их от господина Слёйса.

— Это тот, что предал свою страну тринадцать лет назад? — с опаской спросил Болструд.

— Он самый. У него много связей среди французских инвесторов, и он очень богат.

— Так вы хотите его шантажировать?.. — спросил Монмут.

— Не совсем. Сперва мы найдём *другого* инвестора и расскажем тому о вашем плане вторгнуться в Англию.

— Это тайна!

— Он будет всячески хранить тайну — ибо, как только узнает о ваших намерениях, начнёт играть на понижение акций Ост-Индской компании за счёт коротких продаж.

— Я слышал, как голландцы и евреи говорят об «игре на понижение», но не знаю, что это значит, — сказал Монмут.

— На рынке есть две воюющие фракции:

liefhebberen[84], или «быки», которые хотят, чтобы акции росли, и *contremines*[85], или «медведи», которые хотят, чтобы они падали. Часто несколько «медведей» входят в тайный сговор и распространяют ложные слухи о пиратах либо начинают демонстративно сбывать акции по очень низкой цене, чтобы посеять панику и сбить цену.

— Как же они зарабатывают на этом деньги?

— Подробности не важны. Можно продавать акции на срок без покрытия, то есть акции, которых у продавца на самом деле нет, — это называется «короткие продажи». Наш инвестор — как только мы расскажем ему о ваших планах — начнёт строить игру в расчёте на то, что акции Ост-Индской компании упадут. И будьте покойны — они упадут. Несколько лет назад всего лишь *слухи* об ухудшении англо-голландских отношений уронили акции на десять-двадцать процентов. Как только станет известно о вторжении, они упадут *ниже некуда*.

— Почему? — спросил Монмут.

— У Англии мощный флот. При плохих отношениях с Голландией она может блокировать

---

[84] Примечания: 84
Любители (*фламанд.*).

[85] Примечания: 85
Контрмины (*фр.*).

морскую торговлю, и Ост-Индская компания камнем пойдёт на дно.

— Однако я буду куда более дружествен голландцам, чем король Яков!

У Болструда тем временем лицо стало такое, будто его душат невидимым шнурком.

Элиза набрала в грудь воздуха, улыбнулась Монмуту, затем подалась вперёд и положила ладонь ему на руку.

— Естественно, когда станет ясно, что ваш мятеж увенчается успехом, акции Ост-Индской компании взмоют, как жаворонок поутру. Но *поначалу* на рынке будут преобладать невежды, которые по глупости вообразят, будто Яков возьмёт верх и станет мстить голландцам за то, что их страна послужила плацдармом для вторжения.

Болструд немного успокоился.

— Значит, поначалу акции будут дешеветь, — рассеянно произнёс Монмут.

— Покуда не прояснится *истинная* ситуация. — Элиза ещё раз твёрдо похлопала его по руке и выпрямилась.

Гомер Болструд, кажется, успокоился окончательно.

— В этот промежуток, — продолжала Элиза, — наш инвестор сможет получить колоссальную

прибыль на коротких продажах. В благодарность он охотно купит вам порох и свинец для вторжения.

— Однако этот инвестор *не* господин Слёйс?

— При игре на понижение кто-то остаётся в барыше, а кто-то — внакладе, — сказал Элиза. — Внакладе останется господин Слёйс.

— Почему именно он? — спросил Болструд. — Это может быть любой спекулянт, играющий на повышение.

— Короткие продажи запрещены три четверти века назад! Против них изданы многочисленные эдикты, в том числе во времена штатгальтера Фридриха-Генриха. Если покупатель понёс убытки, он вправе «апеллировать к Фридриху».

— Фридриха-Генриха давно нет в живых! — возмутился Монмут.

— Это просто термин, означающий, что обязательства по контракту можно не выполнять. Контракт аннулируется в суде.

— Однако если верно, что при коротких продажах кто-то всегда останется внакладе, то эдикт Фридриха-Генриха должен был покончить с такой практикой!

— О нет, ваша светлость, в Амстердаме процветают короткие продажи! Многие спекулянты

ими живут!

— Почему же все проигравшие не апеллируют к Фридриху?

— Дело в том, как составлен контракт. При достаточной ловкости можно поставить проигравшего в такое положение, что он не сможет апеллировать к Фридриху.

— Значит, всё-таки шантаж, — проговорил Болструд, глядя в окно на снежное поле, что не мешало ему на лету ловить мысли Элизы. — Мы выбираем Слейса в проигравшие, и если он решит апеллировать к Фридриху, всё — включая полный склад свинца — выплывет в суде, и его предательство обнаружится. Так что ему придётся молча проглотить убытки.

— Если я правильно понял, надо, чтобы Слейс *не* знал о планах вторжения в Англию, — сказал Монмут, — иначе он не станет играть на повышение.

— Разумеется, — отвечала Элиза. — Он должен верить, что акции Ост-Индской компании будут расти.

— Продавая свинец, он поймёт, что у нас есть какие-то планы.

— Да, но ему незачем знать, что именно планируется и когда. Нужно лишь манипулировать

его сознанием, чтобы он думал, будто акции Ост-Индской компании скоро подорожают.

— И, как я начинаю понимать, вы виртуозно умеете манипулировать сознанием людей, — заметил Монмут.

— Всё куда проще, — отвечала Элиза. — Как правило, я сижу и смотрю, как они сами собой манипулируют.

— Ну что ж, — сказал Монмут, — я испытываю сильнейшее желание заняться самоманипуляцией наедине… если только…

— Не сегодня, ваша светлость, — отвечала Элиза. — Мне надо уложить вещи. Быть может, увидимся в Амстердаме?

— Ничто не доставит мне большего удовольствия.

Франция

Но знай, у нас
Гнездится в душах много низших сил,
Подвластных Разуму; за ним, в ряду,
Воображенье следует; оно,
Приемля впечатления о внешних
Предметах, от пяти бессонных чувств,
Из восприятий образы творит
Воздушные; связует Разум их
И разделяет. Все, что мы вольны
Отвергнуть в мыслях или утвердить,
Что знаньем и сужденьем мы зовём, —
Отсюда возникает. Но когда
Природа спит и Разум на покой
В укромный удаляется тайник,
Воображенье бодрствует, стремясь,
Пока он отлучился, подражать
Ему; однако, образы связав
Без толку, представленья создаёт
Нелепые, тем паче, – в сновиденьях,
И путает событья и слова
Давно минувших и недавних дней.
Мильтон, «Потерянный рай»

начало 1685

В начале 1685 года Джек несколько раз ездил из Парижа в Лион и обратно с вестями. Париж: английский король умер! Лион: продаются несколько губернаторских постов в Испанской Америке! Париж: Людовик тайно женился на мадам де Ментенон и подпал под влияние иезуитов. Лион: жёлтая лихорадка тысячами косит невольников на бразильских рудниках — золото должно подскочить в цене.

Это неприятно напоминало работу на других — тот самый наёмный труд, который Джек всегда почитал ниже своего достоинства. Сказать проще — очень смахивало на то, чем занимался Боб. Джеку приходилось напоминать себе, что на самом деле он не служит на посылках, а только притворяется, будто служит, чтобы подготовить коня к продаже, — а там банкиры пусть катятся к чёртовой бабушке.

Как-то не по-весеннему холодным мартовским днём на пути из Лиона в Париж ему встретилась бредущая навстречу колонна человек в пятьдесят. Все были обриты наголо и одеты в лохмотья, хотя многие изорвали последнюю одежду на бинты, чтобы обмотать кровоточащие ноги. Руки у них были связаны за спиной, являя взглядам

торчащие ребра в язвах и следах от бичей. Колонну сопровождали пять или шесть верховых лучников, которые легко могли настичь стрелой отставшего или беглеца.

Короче, очередную партию осуждённых гнали в Марсель. Однако эти люди выглядели куда хуже обычного. Как правило, галерник — это дезертир, контрабандист или вор, следовательно, крепкий молодчик. Колонна осуждённых, вышедшая из Парижа зимой, теряет в пути от холода, голода, болезней и побоев не более половины. Однако эта партия — как и некоторые другие, встреченные Джеком по дороге, — состояла чуть ли не из одних стариков. Видно было: им не то что до Марселя — до ночлега не дотянуть. Осужденные оставляли за собой кровавые следы и еле передвигали ноги. Джек подумал, что таким манером они проведут не одну неделю в пути, который любой предпочёл бы свести к минимуму.

Он съехал на обочину, чтобы пропустить колонну. Один из стражников приблизился к отставшим, спокойно развернул *nerf de boeuf*[86], со свистом раскрутил его над головой и резким ударом отсёк каторжнику кусок уха. Крайне до-

---

[86] Примечания: 86
Бычий хер (*фр.*) — бич, изготовленный из полового члена быка.

вольный своим мастерством, он добавил что-то про R.P.R. Джеку всё стало ясно. R.P.R означало «*Religion pretendue reformée*», то есть «религия, именующая себя реформированной». Так презрительно говорили о гугенотах. Гугеноты были в основном состоятельные купцы или ремесленники и от каторжного обращения страдали куда больше обычных бродяг.

Несколько часов спустя, пропуская другую такую же колонну, Джек увидел мсье Арланка. Тот смотрел на Джека — обритый, с ввалившимися от голода щеками, но тем не менее вполне узнаваемый.

Сейчас Джек ничего поделать не мог. Даже будь он при мушкете, лучник не дал бы ему сделать второго выстрела. Однако позже вечером Джек вернулся к постоялому двору в нескольких милях южнее того места, где встретил мсье Арланка, выждал в синей ночи, глядя, как кони, сердясь, выпускают ноздрями морозный пар, а когда охрана улеглась спать, подкупил сторожа и вместе с лошадьми въехал во двор конюшни.

Несколько гугенотов, совершенно голые, стояли, прикованные цепью, во дворе. Некоторые переступали с ноги на ногу, силясь согреться, остальные, судя по виду, были мертвы. Мсье Ар-

ланка среди них не оказалось. Сторож отворил засов на дверях конюшни, впустил Джека внутрь и (за ещё одну монетку) одолжил ему фонарь. Здесь Джек нашёл остальных каторжников. Самые слабые зарылись в солому, те, что посильнее, — в груды тёплого навоза по стенам. Среди последних был и мсье Арланк. Он мирно храпел, когда свет Джекова фонаря упал ему на лицо.

На следующее утро мсье Арланк вышел вместе с другими каторжниками невыспавшийся, зато сытый и в добрых ботфортах. Джек тем временем ехал на север в деревянных башмаках, купленных у крестьянина по дороге.

Он готов был ускакать ночью, увозя мсье Арланка на одной из запасных лошадей, но гугенот спокойно и с превосходной французской логикой объяснил, почему побег невозможен.

— Если утром меня здесь не будет, накажут остальных каторжников. Большинство из них — мои единоверцы и, возможно, пошли бы на это, но остальные — обычные преступники. Чтобы избежать наказания, они поднимут тревогу.

— Я могу их убить, — заметил Джек.

Мсье Арланк — бестелесная, освещённая фонарём голова над грудой тёплого, окутанного паром навоза — скривился.

— Тебе придётся убивать их по одному. Остальные поднимут тревогу. Очень благородно с твоей стороны было предложить, учитывая, что мы едва знакомы. Это что, английская хворь так сказывается?

— Наверное, — признал Джек.

— Сочувствую, — сказал мсье Арланк.

Джеку стало досадно, что его жалеет каторжник.

— Твои сыновья…

— Спасибо, что вспомнил. Когда король воздвиг на нас гонения, мне удалось переправить их в Англию. А твои?..

— По-прежнему ждут наследства, — ответил Джек.

— Сумел продать страусовые перья?

— Поручил это армянам.

— С конём, как вижу, ещё не расстался.

— Привожу его в форму.

— Чтобы он понравился барышникам?

— Барышникам? Зачем мне барышники? Чтобы он понравился покупателям!

Голова Арланка задвигалась в свете фонаря, словно тот пытается глубже зарыться в навоз. На самом деле гугенот тряс головой, досадуя, что Джек очередной раз сморозил глупость.

— Невозможно, — сказал Арланк. — Торговлю лошадьми в Париже полностью контролируют барышники. Бродяга не может въехать на Королевскую площадь и продать коня, как не может войти в Версаль и получить полк, — так просто не делается.

Если бы Джек недавно приехал во Францию, он бы воскликнул: «Что за бред!» Однако он знал, что Арланк говорит правду. Тот присоветовал ему лошадиного барышника, которого можно найти в Доме Рыжего Кота на рю дю Тампль, потом вспомнил, что барышник этот тоже гугенот: если он и жив, то в любом случае больше не торгует.

Они проговорили всю ночь. Джек время от времени скармливал мсье Арланку по маленькому кусочку хлеба и сыра, оделяя и других каторжников, чтобы те не подняли шум. К рассвету Джек отдал ботфорты и всю провизию, что было по-своему глупо. С другой стороны, он сидел в седле, а мсье Арланк шёл пешком.

Джек ехал на север промёрзший, голодный, усталый и практически босой. Не отдохнувшие за ночь лошади в отместку упрямились. С недосыпу Джек ничего не соображал. Он нечаянно свернул не на том перекрёстке и в итоге поехал к Парижу незнакомой дорогой, что привело к ряду

досадных происшествий. В результате одного из таких злоключений он провёл без сна ещё ночь, прячась в лесу от егерей какого-то аристократа. Наёмные лошади всё время ржали, и Джеку пришлось оставить их в качестве приманки, а самому ускользнуть вместе с верным Турком.

К утру он был на шаг от того, чтобы вновь стать жалким бродягой. Он потерял двух лошадей, которых надо было вернуть. Теперь все хозяева платных конюшен и лошадиные барышники Парижа — его враги, значит, продать Турка будет ещё невозможнее. Джек не получит денег, а Турок — жизни, которую заслужил: в просторной барской конюшне, где его кормили бы и холили, только крой бесконечную череду великолепных кобыл. Джек не получит денег и, скорее всего, никогда не увидит сыновей: он не посмеет с пустыми руками заявиться к их тётушке Мейв, чтобы вся мужская родня Марии-Долорес бегала за ним по восточному Лондону с ирландскими дубинками…

От такого можно было рехнуться и без сифилиса и двух бессонных ночей кряду. Джек решил, что рехнуться — проще всего.

Подъезжая к Парижу мимо огородов, исходящих паром от ещё тёплого городского дерьма,

он увидел бурое поле в белых полосках извести, из которых выступали человеческие кости и черепа. Тут и там торчали грубые покосившиеся кресты в пятнах вороньего помёта. Сами вороны неподвижно застыли на перекладинах.

Покуда Джек ехал через поле, птицы снялись с места и полетели навстречу процессии, только что вышедшей из городских ворот. Впереди вышагивал поп; его сутана, заляпанная грязью, висела стальной кольчугой. Он опирался на длинное распятие и временами скорбно позванивал в колокольчик, который нёс в свободной руке. За ним шагали оборванцы, опираясь на лопаты, как поп — на распятие, а следом два умученных мула тащили телегу с длинными зашитыми свёртками наподобие мучных кулей.

Джек смотрел, как они опрокинули телегу, так что кули — судя по размерам, трое взрослых, полдюжины детей и пара младенцев, — скатились в ров. Покуда поп что-то бубнил на плохой латыни, его помощники закидали тела негашёной известью и землёй.

Джек начал слышать приглушённые голоса, доносящиеся, естественно, из земли. Черепа вокруг полезли из грязи и принялись неуверенно выпрямляться на скелетах, у которых не хватало

части костей. При этом они монотонно гудели что-то божественное. Тем временем могильщики, подняв лопаты штыками вверх, затянули своё: разудало-матросское, с отчётливыми ирландскими завываниями.

Джек резвым галопом вырвался вперёд и оказался в авангарде весёлого шествия. Он возглавлял журавлиный клин из бродяг-могильщиков, исполнявших зажигательный групповой танец, одновременно выделывая лопатами всякие штуки, словно солдаты на плацу.

Вслед за ними вышагивал поп, звякая колокольчиком. Мертвецы, по-прежнему в саванах, вылезли из могилы и забрались обратно в телегу. Они хрипло постанывали, как органные трубы, под заунывное пение скелетов. Выстроившись вдоль дороги, те загремели на четыре голоса:

Что, чёрт возьми, задумал Бог
На шестьдесят шестой денёк —
Из Темзы глины взял комок
И вагабонда сляпал?

Бог и врагу не мог желать,
Как Джеку, в жизни бедовать.
Что требовалось доказать:

Иегова малость спятил.

Переключаясь на грегорианский хоровой распев:

Quod
erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum…

А тем временем, приближаясь к воротам, они встретили колонну галерников, надо полагать гугенотов, бредущих на юг синкопированным шагом, от которого цепи бряцали как колокольчики. Верховые надсмотрщики, щёлкая бичами, отмеряли ритм для бравурной песенки гугенотов:

В цепях, в ошейниках, как есть
Мы будем на галерах грести,
Луи-Каторзовы рабы,
Но механизм Вселенной
Запущен неизменно:
На грош себе не выберешь судьбы.

Тут из городских ворот навстречу могильщикам вышли торговки рыбой и, встав с ними в пары, завели пронзительными сопрано и визгливыми альтами озорную кельтскую рилу, заглушившую и скелетов, и гугенотов:

Жил-был бродяга-весельчак,

Пространствовал неслабо,
Из-за морей приплыл домой,
Найти задумал бабу.

Таким добром на Друри-Лейн
Недолго разживиться,
А он искал – кошель-то пуст —
Не шлюху, а девицу.

Наш Джек любил ходить в театр,
Но больше – за кулисы.
Там он и встретил как-то раз
Ирландочку-актрису.

Поп, нимало не сердясь, что его перебили, подхватил куплеты и превратил их в торжественный церковный напев, пусть на совершенно другой мотив:

Ему бы в церковь путь найти,
Припасть к Отцу и Сыну,
А он хористку соблазнил
И в тягости покинул.

Бог с Неба девке не желал
Такой несчастной доли.

Джек, безусловно, доказал,
Сам факт Свободной Воли.

Quod erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum…

Неугомонные галерники опять влезли со своим:

Хотел ли он,
Не хотел ли он,
Всё предопределено.

Катится по заведённому
Чреда отпущенных дён ему —
Решать ничто не дано.

Снова поп:

Кто Создателя клянёт,
Молвил папа в своё время —
Безнадёжный идиот
Или дьяволово семя.

Первым следует послушно
И прилежно слушать всех,
Тем же в Церковь возвратиться
И очистить всякий грех.

Quod
erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum…

Галерники, очевидно, хотели бы остаться и продолжить диспут, однако надсмотрщики гнали их всё на юг и на юг:

Бредём обречённо
От солнечной Роны,
Как Бог повелел изначала;

Джек, нечего охать:
Твоя же ведь похоть
В колодки тебя заковала.

Их утащили «за кулисы» следующим комическим образом: надсмотрщик выехал в начало колонны, накинул цепь на луку седла и пришпорил лошадь. Цепь заскользила через ошейники каторжников, дёрнула последнего, так что тот налетел на идущего перед ним, а тот — на следующего, так что в результате *цепной реакции* вся колонна сложилась гармошкой и её утащили в сторону Средиземного моря.

Тем временем процессия ворвалась через ворота в милый Париж. Скелеты, которые до сей поры вели себя крайне мрачно, вдруг принялись разбираться на части и лупить себя и соседей

бедренными костями, создавая мелодичную ксилофонию. Поп вскочил на телегу с мертвецами и сильным контртенором затянул новый мотивчик.

Джек, ты дура-а-ак —
Чему удивляться, что стало паскудно.
Вот та-а-ак —
Какой ещё вляпался бы безрассудно
Проста-а-ак. —
Что толку пытать, как пытают
Бродя-а-аг, —
Тебе это шутки, тебе это просто
Пустя-а-ак. —
Хоть бы драли тебя, как дерут
Соба-а-ак, —
Не просто вор,
Совсем обормот,
Не обаяшка,
А мордоворот.
Бог дал тебе ум,
Его ты с тех пор от-
Правил в нужник,

А сам хоть бы хны, и вот
Смердишь!
Поспорил бы тут, но
Учуять не трудно,
Смердишь!

И так далее. Тут вперёд выступила прехорошенькая девочка в белом платье, какие надевают паписточкам на первое причастие. Светящаяся — но грустная. Поп остановил мулов, спрыгнул с похоронных дрог и присел на корточки рядом с девочкой.

— Простите меня, отче, ибо я согрешила! — сказала та.

— Ух! — взвыли разом скелеты, мертвецы, могильщики, рыботорговки и прочие, собираясь в круг, словно поглазеть на ирландскую драку.

— Поверь мне, детка, не ты одна! — завопила одна из торговок, сложив руки рупором; остальные заулыбались и закивали.

Поп подобрал грязную сутану, придвинулся к девочке и приложил ухо к её губам; та что-то зашептала, поп затряс головой в искреннем, хоть и недолгом ужасе, затем выпрямился во весь рост и что-то сказал. Девочка молитвенно сложила руки и закрыла глаза. Весь Париж, заме-

рев, слушал, как тоненький голосок произносит краткую папистскую молитву. Девочка открыла голубенькие глазёнки и с трепетом взглянула на священника. Его каменное лицо внезапно расплылось в улыбке. Он осенил девочку крестом. С радостным визгом та подпрыгнула и пошла по улице колесом в вихре кружевных юбок. И немедленно вся процессия ожила. Поп шёл за кувыркающейся девочкой и танцорами; мертвецы в телеге виляли бёдрами и гортанно ухали в такт музыке. Могильщики и рыботорговки, к которым по пути присоединились цветочницы и крысоловы, отплясывали под пение священника попурри из всевозможных танцев: канкана, ирландского степа и средиземноморской тарантеллы.

Если был ты воришка
Иль была ты малышка,
Что смущалась не слишком
По поводу брачных обетов,
Если лихо кутил,
И без просыху пил,
И сироток давил
На дороге богатой каретой…

И так достаточно долго, ибо им надо было про-

танцевать через всю Вселенную и мимо римских бань в Клюни. Когда они вступили на Малый мост, целая толпа несчастных высыпала из *Hôtel-Dieu* — исполинской богадельни у самого собора Парижской Богоматери, откуда изначально взялись поп, могильщики и мертвецы. В сопровождении орга́на Нотр-Дам они исполнили величественный хорал под занавес представления:

Смотри, все такие – все грешат.
Смотри, на скольких шапки горят,
В уголке потискаться каждый рад
И пару стаканов хлопнуть подряд.
Так покайся в грехах и не скрой своих зол,
Это вам не причуда и не прикол,
Каждый, папа сказал, до того дошёл,
Что вполне заслужил, чтоб ему испол-
Осовали весь зад (коль не в кайф кой-кому).
Дайте ж бой беспощадный греху своему,
Что бедняк, что Людовик, от массовых у-
Бийств до мелких проступков; и вот,

потому,

Чуть вы сбились с прямого пути, всякий раз

Исповедайтесь Богу, хоть с глазу на глаз,

Хоть в соборе, хоть в церкви, услышит Он вас,

И получите ВЕЛИЮ МИЛОСТЬ тотчас!

Песня пошла по кругу, символизируя (как предполагал Джек) циклический характер процесса: одни оборванцы, торговки и проч. совокуплялись прямо на улице, другие строем бежали к попу исповедоваться, после чего преклоняли колени перед собором и тут же снова толпой бежали совокупляться. Так или иначе, теперь у каждого скелета, оборванца, могильщика, торговки, разносчика и попа была своя роль и своя партия в спектакле, только Джек оставался ни при чём. Спутники один за другим откалывались от него или растворялись в воздухе, так что он в одиночестве (правда, под приветственные возгласы тысячных толп) въехал на площадь за собором Парижской Богоматери, ещё более величественную, чем Джек её помнил. Ибо некий жутко важный папист — на ступеньку или две ниже

самого папы — благословлял здесь знамёна всех полков короля Луя. Он был в митре и стоял под балдахином из ткани, расшитой королевскими лилиями. Самих полков не было — места бы не хватило, — зато присутствовали благородные военачальники в сопровождении герольдов и знаменосцев. Над ними реяли атласные, шёлковые и парчовые штандарты, рассчитанные на то, чтобы за милю различаться в клубах порохового дыма, а когда их после победы водрузят на стены захваченного города — убеждать покорённых голландцев, немцев или англичан в могуществе и, главное, утончённости короля Луя. Каждый обладал определённой магической властью над своим полком; увидеть их разом было всё равно что узреть всех двенадцать апостолов за одним столом или что-то в таком роде.

При всей ненависти к Лую Джек вынужден был признать, что зрелище знатное — он даже пожалел, что опоздал к началу и застал лишь последние четверть часа представления. Вскоре всё закончилось. Знаменосцы отправились к своим полкам, расквартированным за городом, аристократы — через Аркольский мост на правый берег, и оттуда — частью к Лувру, частью — в обход Ратуши к Королевской площади и Марэ. Один из

тех, кто свернул к Марэ, был в адмиральской шляпе и восседал на белом коне с розовыми глазами. Конь был крупный — надо полагать, боевой.

Джек ещё не решил, что делать дальше. Не имея иной цели в жизни, он последовал за адмиралом в узкую улочку и вскоре услышал со всех сторон шебуршание, вроде мышиной возни и увидел в воздухе облачка светящейся пыли. Он присмотрелся, и ему почудилось, что все крохотные твари, заключённые в камни, ожили и вылезают из своих узилищ, словно некий невидимый ток ртути, пронизав стены, вернул им жизнь. Сочтя это знаком, Джек ударил Турка по бокам деревянными сабо, проулками обогнал адмирала, пригибаясь под нависающими балконами, и выехал на улицу перед ним, прямо у въезда на Королевскую площадь — на ту самую улицу, где его столкнули в канаву слуги (надо думать) этого самого господина.

Сейчас слуги как раз очищали дорогу перед адмиралом и его многолюдной свитой, поэтому улица, на которую выехал Джек, была совершенно пуста. Лакей в голубой ливрее шагнул навстречу, глядя на деревянные башмаки и костыль: видимо, принял Джека за крестьянина, угнавшего рабочую лошадку. Джек слегка тронул

поводья, словно говоря Турку: «Давай!» Турок, взяв с места в карьер, сбросил лакея в канаву с дерьмом. Джек натянул поводья. Между ним и адмиралом было ещё несколько слуг, но они, видя, что произошло с их товарищем, жались к стене.

Адмирал был невозмутим. Он смотрел на Джековы сабо. Джек сбросил башмаки, и они с деревянным стуком упали на мостовую. Ему хотелось сказать что-нибудь умное в том смысле, что лягушатники вечно смотрят на форму, а не на суть. Замечание было бы вполне уместно здесь и сейчас, ибо относилось заодно к их предполагаемой неспособности распознать превосходные качества Турка. Однако в нынешнем помрачении рассудка он не мог сформулировать этого даже на *английском.*

Кто-то решил, что он опасен: молодой человек в наряде гвардейского капитана выехал вперёд и достал шпагу, ожидая, что Джек сделает дальше.

— Сколько бы вы дали за эту клячу? — выкрикнул Джек и, поскольку разбирать костыль было некогда, поднял его, как рыцарское копьё, упёр перекладиной в рёбра и пятками сжал Турку бока.

Свежий ветерок приятно обдувал босые ступни. Выражение сдержанного недоумения на лице

капитана Джек запомнил до конца дней. Те, кто был за ним, сдали назад; только тут капитан осознал, что попал в невозможную ситуацию, и сделал попытку отклониться. Костыль ударил его в предплечье и, вероятно, оставил серьёзный синяк. Джек проехал через адмиральскую свиту и поворотил Турка — не так быстро, как хотел, но всем этим адмиралам, полковникам и капитанам тоже предстояло развернуться, а кони у них были не так хороши, как у Джека.

Один, вороной красавец под седоком в парике и лентах, заартачился. Сейчас он стоял поперёк улицы, боком к Джеку.

— Так сколько за этого великолепного аргамака? — вопросил Джек и снова послал Турка вперёд.

Тот, разогнавшись, грудью сшиб вороного — конь рухнул, взметнув копыта, а ничего не ожидавший всадник отлетел в соседний квартал.

— Я куплю его прямо сейчас, Джек, — произнёс по-английски смутно знакомый голос, — если перестанешь выдрючиваться.

Джек взглянул на говорящего. Первой мыслью мелькнуло: бывают же такие красавцы! Второй: это Джон Черчилль!.. На вполне приличном коне,

рядом с Джеком.

Кто-то пробивался к ним, крича по-французски. Джек в первое мгновение не понял, зачем, но тут Черчилль, не сводя с него глаз, выхватил рапиру, крутанул её — показалось, через кулак — и отвёл вниз удар, направленный Джеку в сердце. Клинок на несколько дюймов вошёл в бедро. От боли Джек очнулся и понял, что всё происходит *на самом деле*.

— Боб шлёт приветы из солнечного Дюнкерка, — сказал Черчилль. — Если заткнёшь хлёбало, есть бесконечно малый шанс, что тебя не замучают до смерти прямо сегодня.

Джек промолчал.

Амстердам

Искусство Войны столь хорошо изучено и столь хорошо повсюду известно, что ныне набитый кошель побеждает острую шпагу. Если есть страна, жители которой менее других воинственны и способны к ратному делу, но при том богаче соседей, они вскоре превзойдут тех мощью, ибо деньги – сила.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

апрель 1685

— Это было фантастически, мадемуазель, лучше францу…

Словно тихий пруд, в который мальчишка швырнул пригоршню камней, красота Монмута, озарённая золотым светом амстердамского вечера, затуманилась рябью мысли. Брови пошли вверх, губы оттопырились, глаза, возможно, немного скосились к носу; трудно сказать, учитывая их с Элизой нынешнюю позу — прямиком с индуистского фриза.

— В чём дело?

— Осуществили ли мы… э… соитие в ходе этого… э… акта?

— Пфу! Вы что, папист, которому надо вести перечень своих грехов?

— Мадемуазель, вы прекрасно знаете, что нет, но…

— Так вы ведёте подсчёт? Как завсегдатай таверны, который гордится записанным на стене рядом с его именем числом пинт и кварт — только в вашем случае это женщины?

Монмут попытался изобразить возмущение. Однако поскольку сейчас его тело содержало меньше жёлтой желчи, чем когда-либо с детства, даже возмущение получилось расслабленным.

— Не вижу ничего дурного в желании узнать, кого я поимел либо не поимел! Мой отец — упокой, Господи, его душу — имел попросту всех! Я всего лишь первый и главный из легиона королевских ублюдков! Негоже было бы терять счёт…

— …*Вашим* королевским ублюдкам?

— Да.

— Тогда успокойтесь: от того, что мы делали, никаких королевских ублюдков произойти не может.

Монмут принял менее экзотическую позу, а именно — сел и нежно уставился на Элизины

соски.

— Послушайте, вы не хотели бы стать герцогиней или вроде того?

Элиза выгнула спину и рассмеялась. Монмут перевёл взгляд на её пульсирующий пупок и скорчил обиженную мину.

— Что я должна сделать? Выскочить за какого-нибудь сифилитичного герцога?

— Разумеется, нет. Будьте моей любовницей, когда я стану английским королём. Отец всех своих любовниц сделал герцогинями.

— Зачем?

Монмут шокированно:

— Так положено!

— У вас уже есть любовница.

— Каждый может иметь одну любовницу…

— А избранные — много?

— Что проку быть королём, если не можешь трахать кучу герцогинь?

— Ваша правда, сэр!

— Хотя не знаю, можно ли назвать траханьем то, что мы делали.

— То, что *я* делала. Вы только извивались и дёргались.

— Не правда ли, похоже на танец, в котором только один партнёр знает все па? Вы просто

должны научить меня моей роли.

— Я польщена, ваша светлость, — означает ли это, что мы ещё увидимся?

Монмут, обиженно и чуть оробело:

— Я искренне предложил сделать вас герцогиней.

— Прежде вы должны сделаться королём.

Герцог Монмутский вздохнул и снова откинулся на матрац, подняв вихрь пыли, соломинок, клопов и мушиного дерьма — всё заискрилось в вечернем воздухе, словно нарисованное на полотне каким-нибудь из Брейгелей.

— Знаю, это так утомительно. — Элиза отвела ему волосы со лба и аккуратно убрала за ухо. — *Позже* будете биться на полях ужасающих сражений. *Сейчас* мы едем в Оперу!

Монмут скривился:

— По мне, лучше сражаться.

— Там будет Вильгельм.

— Надеюсь, он не собирается ломать утомительную комедию *на сцене?*

— Кто, принц Оранский?..

— После Бредского мира он увлёкся балетом и появлялся в виде Меркурия, несущего вести об англо-голландском примирении. Ужасно видеть, как неплохой воин выкозюливается, прицепив к

щиколоткам пару гусиных крыльев.

— Это было давно — сейчас он солидный человек. Будет просто смотреть из ложи, притворяясь, будто шепчет остроты на ухо Марии, которая будет притворяться, будто их понимает.

— Если он собирается в Оперу, мы можем приехать попозже, — сказал Монмут. — Театр будут обыскивать — не заложена ли там адская машина.

— В таком случае надо приехать пораньше, — возразила Элиза. — Больше времени на интриги и заговоры.

Человек штудирует книги и слышит рассказы о чужой стране, потом приезжает и видит её своими глазами — это Элиза в Опере. Не столько само место (всего лишь здание), сколько люди, и не столько титулованные или облечённые государственной властью (например, великий пенсионарий Голландии, различные члены городского совета и магистраты с толстыми разряженными жёнами), сколько властители рынка.

Элизе, как и большинству тех, кто драл глотку и бил по рукам в толпе, кочующей между Биржей и площадью Дам, собственно акции Голландской Ост-Индской компании были не по

карману. Когда она была при деньгах, то покупала и продавала «дукатовые акции», когда на мели — опционы и контракты на их продажу и покупку. Строго говоря, никаких дукатовых акций на самом деле не существовало. То были доли настоящих акций — фикция, созданная для того, чтобы в торгах участвовали не только богатеи.

Однако над теми, кто торговал полными акциями Ост-Индской компании, существовали князья рынка, которые ворочали целыми пакетами акций, а занятые под них деньги ссужали на различные начинания: рудники, дальние плавания, невольничьи порты на гвинейском побережье, колонии, войны и порой, при благоприятном раскладе, и на свержение того или иного монарха. Такому человеку, чтобы изменить ход торгов, вызвать обвал или взлёт, довольно было просто появиться на Бирже — пройтись с определённым выражением лица и оставить за собой хвост продаж и покупок, словно шлейф фимиама за епископским кадилом.

Казалось, все эти люди приехали сегодня в Оперу с жёнами и любовницами. Толпа напоминала внутренность клавесина: каждый, словно натянутая струна, готов был загудеть или зазвенеть от прикосновения. По большей части это порож-

дало какофонию, как если бы кошки спаривались на клавишах, но появление определённых лиц отзывалось вполне ощутимым аккордом.

— У французов есть специальное слово *frisson*[87], — прикрываясь лайковой перчаткой, шепнул герцог Монмутский, покуда они пробирались к ложе.

— Я, подобно Орфею, борюсь с желанием обернуться…

— Не стоит: тюрбан упадёт.

Элиза подняла руку и потрогала циклон небесно-голубого шёлка, закреплённый на её волосах разнообразными восточными шпильками и заколками.

— Не упадёт.

— А зачем вы хотите обернуться?

— Увидеть, кто вызвал *frisson*.

— Вы, глупенькая.

В кои-то веки герцог Монмутский изрёк нечто, безусловно, верное. На них смотрело столько золочёных, усыпанных драгоценными камнями театральных биноклей, что публика казалась сборищем пучеглазых амфибий на берегу пруда.

— Никогда ещё спутница герцога не была наря-

---

[87] Примечания: 87
Трепет (*фр.*).

жена пышнее, чем он, — предположила Элиза.

— И никогда больше не будет, — буркнул Монмут. — Надеюсь, ваше великолепие не заслонит от них то, что мы хотим показать.

Они стояли у перил ложи, давая возможность собою полюбоваться, ибо пространство, на котором скакали актёры, было лишь одной из сценических площадок Оперы, а действо, которое те разыгрывали, — лишь одной из идущих одновременно пьес. Например, в ложе штатгальтера, всего в нескольких ярдах от Элизы с Монмутом, стражники переворачивали всё вверх дном, ища адскую машину. Это зрелище уже всем прискучило, поэтому внимание большей части зала переключилось на герцога Монмутского и его новую пассию. Взгляды стольких акционеров Голландской Ост-Индской компании через столько вручную отшлифованных стёкол заставили Элизу почувствовать себя букашкой под лупой естествоиспытателя. Она радовалось, что наряд одалиски включает в себя покрывало, закрывающее всё, кроме глаз.

Даже сквозь узкую щёлочку над покрывалом некоторые наблюдатели, возможно, различили мгновенную панику или по крайней мере беспокойство в глазах Элизы, когда *frisson* сменился

общим недоуменным гулом: зрители тыкали друг друга в бок, указывали вверх еле заметным движением век или пальцев в перстнях и перчатках, спутывались париками, делясь на ухо наблюдениями.

Публика не в первое мгновение поняла, кто именно сопровождает Элизу. Наряд Монмута был сугубо функционален, как будто герцог собирается сразу после оперы вскочить на коня и скакать по полям и буеракам навстречу врагу. Даже на боку у него вместо шпаги висела кавалерийская сабля. В этом смысле его вид был достаточно красноречив. Оставался вопрос: в какую сторону поскачет Монмут и чьи конкретно головы он собирается рубить?

— Так я и знал, оголять вам пупок было ошибкой! — прошипел герцог.

— Напротив, он — замочная скважина, открывающая загадку, — ответила Элиза.

На «т» и «к» её покрывало сильно колыхалось, однако внутренне она была совсем не так спокойна, как старалась показать. С риском выдать свои намерения, она якобы бесцельно обвела взглядом полукруг лож, пока не отыскала ту, в которой граф д'Аво сидел в обществе нескольких амстердамцев, крутящих торговые шуры-муры с

Парижем. Среди них был и предатель Слёйс.

Д'Аво отнял от глаз золотой театральный бинокль и десять секунд кряду смотрел Элизе в лицо.

Потом перевёл взгляд на ложу Вильгельма, где бесконечно громыхали стражники.

Снова взглянул на Элизу. Вуаль прятала улыбку, но в глазах ясно читалось приглашение.

— Не работает, — проворчал Монмут.

— Работает безупречно, — отвечала Элиза.

Д'Аво встал, извинился перед соседями по ложе: Слёйсом, одним из членов городского совета и молодым французским дворянином, вероятно, очень высокопоставленным, ибо д'Аво отвесил ему низкий поклон.

Через несколько минут он так же низко поклонился Монмуту и поцеловал руку Элизе.

— В следующий раз, мадемуазель, когда вы осчастливите Оперу своим посещением, стражникам придётся обыскивать и вашу ложу — ибо, не сомневайтесь, сегодня вы затмили всех дам. Ни одна из них вам этого не простит. — Обращаясь к Элизе, он тем временем с любопытством оглядывал Монмута, ища подсказок.

На герцоге были различные эмблемы и значки, рассмотреть которые можно было только с близ-

кого расстояния: в частности, простой красный крест крестоносца и герб Священной Лиги — союза Польши, Австрии и Венеции, который сейчас теснил остатки турецкой армии из Венгрии.

— Ваша светлость, — сказал д'Аво, — путь на Восток опасен.

— Путь на Запад закрыт навеки, во всяком случае для меня, — отвечал Монмут, — а моё присутствие в Голландии даёт пищу отвратительным слухам.

— Вам всегда будут рады во Франции…

— Единственное, что я умею хорошо, это сражаться… — начал Монмут.

— Ну, не только… милорд, — сладострастно проговорила Элиза.

Д'Аво вздрогнул и облизнул губы. Монмут слегка покраснел и продолжил:

— Поскольку мой дядя*[88] принёс мир Европе, мне придётся искать славы на Востоке.

Что-то происходило на периферии Элизиного зрения: Мария и Вильгельм вошли в ложу. Все встали и захлопали; впрочем, аплодисменты длились недолго. Граф д'Аво шагнул вперёд и рас-

---

[88] Примечания: 88

Король Людовик XIV Французский — строго говоря, не дядя Монмута, а брат вдовца сестры его незаконного родителя и племянник его бабки, не считая других степеней родства.

целовал Монмута в обе щеки. Видели это не все, но кое-кто видел — достаточно, чтобы зазвучала новая струна, низкий гул, вскоре заглушивший первые такты увертюры.

Амстердамские дамы и господа усаживались в кресла, но их слуги и лакеи оставались в тени за ложами. Сейчас хозяева подзывали некоторых из них жестами, что-то шептали им на ухо или совали в руку торопливую записку.

Рынок стронулся. Элиза двинула его тюрбаном и оголённым пупком, д'Аво — более чем обычной теплотой к Монмуту. Взятое вместе, это означало одно: Монмут отказался от притязаний на английский престол и берёт курс на Константинополь.

Рынок стронулся. Больше всего Элизе хотелось быть на площади Дам и двигаться вместе с ним, однако сейчас её место было здесь. Д'Аво вернулся в ложу и сел. Актёры на сцене уже запели, но соседи д'Аво, склонившись к нему, что-то шептали и выслушивали ответы. Молодой французский дворянин кивнул, повернулся к Монмуту, осенил себя крестным знамением и раскрыл ладонь, словно посылая герцогу молитву. Элиза почти ожидала, что из рукава у него вылетит голубок. Монмут сделал вид, будто ловит и целует по-

слание.

Господин Слёйс был не в настроении молиться. Он думал. Даже в полутьме, за миазмами табачного и свечного дыма, Элиза могла прочесть мысли на его лице: «Раз Монмут собрался рубить турок в Венгрии, значит, он не воспользуется Голландией как плацдармом для высадки в Англии… англо-голландские отношения не испортятся… английский флот не станет топить голландские купеческие суда… акции Ост-Индской компании пойдут вверх». Слуга навис над его плечом, что-то записывая и загибая пальцы. Потом резко кивнул, словно чайка, пикирующая на добычу, и пропал.

Элиза завела руки за голову и развязала вуаль. Потом стала слушать оперу.

В ста футах от неё Авраам де ла Вега прятался за кулисами с подзорной трубой, стёкла для которой отшлифовал его троюродный брат Барух де Спиноза. Через эти стёкла он видел, как соскользнуло покрывало. Авраам де ла Вега, девяти лет от роду, тенью птицы в ночи шмыгнул через заднюю дверь на улицу, где дожидался верхом на резвом коне его дядя Аарон де ла Вега.

— Он уже предложил сделать вас герцогиней? — спросил в антракте д'Аво.

— Сказал, что сделал бы — если бы не отказался

от претензий на трон, — отвечала Элиза.

Д'Аво позабавила её осторожность.

— Поскольку ваш кавалер возобновил платоническую дружбу с принцессой, не позволите ли сопроводить вас в ложу господина Слёйса? Мне больно видеть вас в небрежении.

Элиза взглянула на штатгальтерскую ложу. Мария была там, но Вильгельм уже ускользнул, уступив поле боя Монмуту. Мария чуть не плакала: весть, что доблестный Монмут уезжает сражаться с турками, разбила ей сердце.

— Я так и не увидела принца, — посетовала Элиза, — только его затылок, когда он уходил.

— Поверьте, мадемуазель, смотреть особенно не на что. — Д'Аво подал Элизе руку. — Коли *правда,* что ваш кавалер вскоре отбывает на Восток, вам потребуются новые воздыхатели. Сказать по чести, давно пора. Франция изо всех сил старалась цивилизовать Монмута, но англосаксонский дух выветрить нелегко. Он так и не научился французской сдержанности в словах.

— Монмут сболтнул лишнее? Какой ужас! — весело произнесла Элиза.

— Весь Амстердам и примерно половина Лондона и Парижа наслышаны о ваших чарах. Но, хотя описания герцога невыразимо скабрезны — когда

не совершенно бессвязны, — культурные господа способны заглянуть дальше непотребства и понять, что вы обладаете и другими достоинствами помимо чисто гинекологических.

— Говоря «культурные», вы разумеете «французские»?

— Знаю, мадмуазель, вы меня дразните. Вы ждёте, что я отвечу: «Все французские господа культурны». Однако это не так.

— Мсье д'Аво, мне удивительно слышать от вас такие слова.

Они были уже почти у входа в ложу.

— Как правило, в ложе, куда мы с вами войдём, в обществе таких, как Слейс, встречаются французские господа самого низкого разбора. Однако сегодняшний вечер — исключение.

— Людовик Великий — как он сам себя теперь именует — выстроил новый дворец под Парижем, в месте под названием Версаль, — сказал ей Аарон де ла Вега несколько дней назад, во время одной из встреч в тесном еврейском квартале Амстердама, который, по совпадению, примыкал к Опере. — И перенёс туда свой двор.

— Я слышал об этом, но не поверил, — сказал тогда Гомер Болструд. С евреями он явно чувствовал себя свободнее, чем с англичанами. — Перевезти

столько людей из Парижа — безумие какое-то!

— Напротив — гениальный ход, — возразил ему тогда де ла Вега. — Помните греческий миф об Антее? Для французской знати Париж — земля-матерь: там у них есть власть, информация, деньги. Людовик, переселив их в Версаль, уподобился Геркулесу, который оторвал Антея от земли и тем принудил покориться.

— Очаровательное сравнение, — сказала тогда Элиза, — но какое отношение оно имеет к нашим делам с господином Слёйсом?

Де ла Вега позволил себе улыбнуться и взглянул на Болструда, решительно не настроенного на веселье.

— Слёйс — из тех богатых голландцев, которые заигрывают с французами. Он прикармливал их с войны тысяча шестьсот семьдесят второго года — по большей части безуспешно, ибо они находили его грубым и неотёсанным. Теперь всё переменилось. Французские аристократы кормились от своих поместий; Людовик заставил их держать дом не только в Париже, но и в Версале, разъезжать в каретах, носить роскошные наряды и парики…

— Они отчаянно нуждаются в деньгах, — сказал тогда Болструд.

В Опере, перед дверью в ложу Слёйса, Элиза спросила:

— Вы о тех французских дворянах, что, не довольствуясь обычаем, хотят играть на амстердамской бирже, дабы содержать выезд и любовницу?

— Вы меня развращаете, мадемуазель, — отвечал д'Аво. — Как я смогу вернуться к обычным женщинам — тупым и невежественным — после бесед с вами? Да, как правило, ложа Слёйса переполнена *такого рода* французскими дворянами. Однако сегодня он принимает молодого человека, который получил своё состояние, *как положено*.

— То есть?..

— Унаследовал… вернее, унаследует от отца, герцога д'Аркашона.

— Не будет ли вульгарностью поинтересоваться, как герцог д'Аркашон приобрёл это состояние?

— Кольбер увеличил французский флот с двадцати кораблей до трех сотен. Герцог д'Аркашон — адмирал этого флота. Он руководил почти всем строительством.

Пол у кресла господина Слёйса был усеян мятыми бумажками. Элизе очень хотелось разгладить их и прочесть, однако его брутальное веселье и

то, как он разливал шампанское, говорили ей, что вечерние торги идут успешно — во всяком случае, так полагает Слейс.

— Евреи не ходят в Оперу — вера не позволяет! Аарон де ла Вега пропустил замечательное зрелище!

— «Не посещай Оперу»... Это Исход или Второзаконие? — спросила Элиза.

Д'Аво — непривычно нервозный — воспринял её слова как остроту и скривился в улыбке, жидкой, словно третьёвошний чай. Господин Слейс принял их за глупость и пришёл в сексуальное возбуждение.

— Де ла Вега по-прежнему играет на понижение! И будет делать это до завтра — пока утром не услышит новости и не велит своим брокерам остановиться!

Слейс был почти возмущён, что так легко огребёт кучу денег.

Казалось, он готов сколько угодно пить шампанское и зариться на Элизин пупок под пение толстых дам, но вынужден был отвлечься на очень грубую возню в своей собственной ложе. Элиза обернулась и увидела, что молодой французский дворянин — сын герцога д'Аркашона — стоит у перил ложи, а его обнимает — страстно

и, быть может, чересчур сильно — лысый человек с расквашенным носом.

Мамочка всегда учила Элизу не пялиться на посторонних, но сейчас она просто не могла удержаться. Молодой Аркашон перекинул ногу через перила, словно хочет сигануть в пустоту. На тех же перилах опасно балансировал большой и довольно хороший парик. Элиза шагнула вперёд и подхватила его. Это определённо был парик Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво, а значит, лысый человек, удерживающий молодого Аркашона от самоубийства, мог быть только послом.

Д'Аво, с неожиданной в столь рафинированном господине силой, отшвырнул наконец молодого человека назад в кресло, ловко срежиссировав это па так, чтобы самому оказаться рядом на коленях. Он вытащил из кармана носовой платок и, держа его под носом, чтобы унять кровь, принялся жарко, но почтительно увещевать молодого человека, который сидел, закрыв руками лицо. Говоря, посол то и дело искоса поглядывал на Элизу.

— Молодой Аркашон играл на понижение акций Ост-Индской компании? — спросила та Слёйса.

— Отнюдь нет, мадемуазель…

— Ах, забыла. Он не из тех, кто балуется спекуляциями. Но зачем ещё сыну французского герцога приезжать в Амстердам?

У Слёйса стало такое лицо, будто он поперхнулся костью.

— Неважно, — беспечно проговорила Элиза. — Уверена, это *ужасно* сложно — я ничего не смыслю в таких делах.

Слёйс успокоился.

— Я только пытаюсь понять, из-за чего он хотел покончить с собой, — если таково было его намерение.

— Этьенн д'Аркашон — самый учтивый человек во Франции, — выразительно проговорил Слёйс.

— Надо же!

— Тс-с! — Слёйс украдкой затряс мясистыми лапищами.

— Господин Слёйс! Не хотите же вы сказать, что этот спектакль как-то связан с *моим* появлением в вашей ложе?

Слёйс наконец поднялся на ноги. Он был слегка пьян и весьма тучен, поэтому, наклоняясь, крепко держался за перила ложи.

— Вы всех выручите, если скажете мне, что расцените самоубийство Этьенна Аркашона как личный афронт.

— Господин Слёйс! Если он покончит с собой на моих глазах, то испортит мне весь вечер.

— Спасибо, мадемуазель. Я ваш неоплатный должник.

— Ах, вы сами не понимаете, что говорите, господин Слёйс.

До конца вечера в тёмных уголках шептались, передавали записки, перемигивались или обменивались еле заметными жестами, что было и к лучшему, поскольку опера оказалась невыносимо скучной.

Д'Аво каким-то образом сумел подсесть в карету к Монмуту и Элизе. Покуда они тряслись, подпрыгивали и грохотали по тёмным набережным и разводным мостам, он объяснил:

— Ложа принадлежит Слёйсу. Следовательно, он и должен был представить вас Этьенну д'Аркашону. Однако где уж голландцу, тем более пьяному и занятому другими заботами, выполнить хозяйский долг. Ни разу в жизни я не прочищал горло столько раз подряд — всё тщетно. Мсье д'Аркашон попал в *невозможную* ситуацию!

— И попытался покончить с собой?

— Это был единственный достойный выход, — просто отвечал д'Аво.

— Он самый учтивый человек во Франции, — добавил Монмут.

— Вы всех спасли, — сказал д'Аво.

— Полноте… мне подсказал господин Слёйс.

При упоминании Слёйса посол брезгливо скривил лицо.

— Он кругом виноват. Как можно было испортить такой вечер!

Аарон де ла Вега, который сегодня определённо не ехал в гости, относился к гроссбухам и акциям Ост-Индской компании, как учёный — к инкунабулам и пергаментам. Соответственно Элиза застала его трезвым и серьёзным донельзя. Однако и он был не прочь кое над чем посмеяться, в частности над домами господина Слёйса, а точнее, над их всевозрастающим числом. По мере того как первый дом тянул соседние вниз, превращал в параллелограммы, выдавливал оконные рамы и заклинивал двери, Слёйс вынужден был их приобретать. Сейчас он владел пятью домами в ряд и мог себе это позволить, поскольку управлял капиталами половины обитателей Версаля. Средний дом, тот, в котором господин Слёйс прятал бремя свинца и вины, был сейчас по меньшей мере на фут ниже, чем в 1672-м, и Аарон де ла Вега на своем родном языке шутливо

назвал его «*embarazada*», то есть беременным.

Когда герцог Монмутский помогал Элизе выйти из кареты перед этим самым домом, та подумала, что эпитет подобран исключительно метко. Сейчас, когда господин Слёйс жёг тысячи свечей и свет их лился через подозрительно перекошенные оконные рамы, невольно напрашивалось сравнение с женщиной на восьмом месяце, которая пытается скрыть свой секрет при помощи портновских ухищрений.

Дамы и господа в одежде парижского покроя входили в беременный дом почти непрерывной чередой. Господин Слёйс, запоздало вошедший в роль радушного хозяина, каждые несколько секунд утирал взопревший лоб, словно боялся, что дополнительный вес стольких гостей, словно удар кувалдой, окончательно загонит здание в мокрый суглинок.

Элиза вошла внутрь, вытерпела, что господин Слёйс приложился к её руке и огляделась, весело игнорируя ядовитые взгляды благочестивых голландских матрон и разряженных француженок. Теперь она ясно видела, что господин Слёйс прибег к помощи горных инженеров или кого-то в таком роде. Потолочные балки, хоть и спрятанные под гирляндами и фестонами ба-

рочной лепнины, были невероятно толсты, а поддерживающие их столбы, пусть рифлёные и с капителями на римский манер, — обхватом с грот-мачту. И всё же в очертаниях потолка мерещилась беременная округлость…

— Не говорите, что хотите купить свинец, — скажите, что желали бы облегчить его бремя… а ещё лучше, что хотели бы насильственно переложить его на плечи турок… или что-нибудь в таком роде, — рассеянно шепнула Элиза на ухо Монмуту, когда они заканчивали танцевать первую гальярду.

Герцог повернулся с некоторой досадой, но всё-таки зашагал к Слёйсу. Элиза на миг пожалела, что принизила его умственные способности или, во всяком случае, воспитание. Однако ей было не до чувств Монмута из-за внезапно накатившей тревоги. Дом, со всей своей лепниной и свечами, напомнил ей гарцские рудники доктора: дыру в земле, которой не дают рухнуть лишь постоянные ухищрения и подпорки.

Вес свинца передавался доскам пола, от них — балкам, от балок — поперечинам, от поперечин — столбам, а от столбов — бревенчатым сваям, держащимся за счёт сцепления с суглинком, в который они вбиты. Итог бухгалтерии таков: если

сцепление достаточно прочно, то, что над ним, — здание; если нет — медленный оползень…

— Удивительно, мадемуазель: студёные ветра Гааги лишь добавляли вам румянца, а здесь, в тёплом помещении, вы вся в мурашках и обнимаете себя за плечи…

— Зябкие мысли, мсье д'Аво.

— Немудрено — ваш кавалер отбывает в Венгрию. Вам нужны новые друзья — быть может, из тех, кто живёт в более теплом климате?

Нет. Безумие. Я принадлежу Амстердаму. Это признал даже Джек, который меня любит.

Из угла, полускрытого коловращением людей и табачного дыма, донёсся громогласный хохот господина Слёйса. Элиза взглянула туда и увидела, как Монмут обхаживает хозяина, — возможно, произносит те самые слова, которые подсказала она. Слёйс слушал, шалый от радости, что сбудет с рук ненавистное бремя, и страха, что сделка почему-либо сорвётся. Тем временем рынок бурлил: Аарон де ла Вега играл на понижение. В итоге Монмут вторгнется в Англию. Сегодня всё стронулось. Не время застывать на месте.

У одного из танцующих на шляпе было страусовое перо, и Элизе вспомнился Джек. Когда они ехали через Германию, при ней были только её

перья, его сабля и их общая смекалка, и всё-таки она чувствовала себя куда безопаснее, чем теперь. Что надо, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности?

— Хорошо иметь друзей в тёплых краях, — рассеянно отвечала она, — однако я там никому не нужна. Вам прекрасно известно, что я не знатного и даже не благородного происхождения. Для голландцев я чересчур диковинна, для французов — слишком заурядна.

— Королевская фаворитка родилась в тюрьме, теперь она маркиза, — напомнил д'Аво. — Как видите, важны только ум и красота.

— Ум подводит, а красота вянет. Я не хочу жить в доме на сваях, который с каждым днём немного погружается в болото, — сказала Элиза. — Мне надо за что-нибудь зацепиться. Найти незыблемое основание.

— И где же на земле сыщется подобное чудо?

— Деньги, — отвечала Элиза. — Здесь я могу сделать деньги.

— Деньги, о которых вы говорите, не более чем химера, порождённая воображением нескольких тысяч евреев и голодранцев, орущих друг на друга посреди площади Дам.

— И всё же мало-помалу я смогу обратить их

в золото.

— Неужели это всё, к чему вы стремитесь? Не забывайте, мадемуазель, золото имеет цену лишь постольку, поскольку некоторые люди говорят, что оно ею обладает. Позвольте рассказать вам кое-что из современной истории: мой король отправился в место под названием Оранж — слыхали про такое?

— Княжество на юге Франции, неподалёку от Авиньона — земли Вильгельма, насколько я понимаю.

— Мой король отправился в Оранж — вотчину принца Вильгельма — три года назад. Каким бы воителем ни воображал себя Вильгельм, король вошёл в его земли без боя. Он поднялся на городскую стену, отколупнул крошечный кусок отвалившейся кладки — не больше вашего мизинца, мадемуазель, — и бросил на землю. Потом ушёл. Через несколько дней полки короля сровняли стены и укрепления Оранжа с землёй, и Франция проглотила княжество так же легко, как господин Слейс — дольку спелого апельсина.

— Зачем вы рассказали это историю, если не из желания объяснить, откуда в Амстердаме столько беженцев из Оранжа и за что Вильгельм так ненавидит вашего короля?

— Завтра король может взять кусок гауды и бросить его псам.

— Вы хотите сказать, Амстердам падёт, мое золото станет добычей пьяной солдатни.

— Ваше золото — и вы, мадемуазель.

— Я понимаю это куда лучше, нежели вы думаете, мсье, но не понимаю другого: зачем вы притворяетесь, будто вам интересна моя судьба. В Гааге вы увидели во мне смазливую девчонку, которая умеет кататься на коньках и потому может привлечь внимание Монмута, причинить Марии боль и внести раздор в семейство Вильгельма. Тогда всё вышло по-вашему. Однако, чем я могу быть полезна вам теперь?

— Живите интересной и прекрасной жизнью… и время от времени беседуйте со мной.

Элиза рассмеялась — громко, от души, вызвав неодобрительные взгляды женщин, которые никогда не смеялись так или не смеялись вообще.

— Вы хотите, чтобы я стала вашей шпионкой.

— Нет, мадемуазель. Я хочу, чтобы вы были моим другом, — просто и почти грустно проговорил д'Аво.

Элиза растерялась. В этот миг д'Аво ловко развернулся на каблуках и схватил её под локоть. Элизе ничего не оставалось, кроме как пойти с

ним, и постепенно стало ясно, что они направляются к Этьенну д'Аркашону. А тем временем в самом дымном и тёмном углу комнаты всё смеялся и смеялся господин Слёйс.

Париж

Кое с чем ты, по-видимому, уже столкнулся – ты весь в грязи из Трясины Уныния; а Трясина эта – только начало бед для идущих этим путём неизбежных; слушай внимательно, я ведь много старше тебя!

Джон Беньян, «Путь паломника»

весна 1685

Джек сидел по шею в навозе от белых, красноглазых коней герцога д'Аркашона, стараясь не корчиться от того, что целые легионы жирных личинок объедают мёртвую кожу и мясо по краям раны. Рана чесалась, однако не болела, только пульсировала. Джек не знал, сколько дней здесь пробыл, но, слушая колокола и глядя, как пятна солнечного света пробираются по конюшне, догадывался, что сейчас около пяти часов дня. Послышались приближающиеся шаги, затем скрежет ключа в замке. Если бы его удерживал в конюшне один этот замок, Джек давно сбежал бы, однако он был прикован за ошейник к колонне белого камня, и цепь длиной в несколько ярдов позволяла ему самое большее зарыться в

тёплый навоз.

Засов отворился, и в клин света вступил Джон Черчилль. В отличие от Джека он был не то что не в дерьме — как раз наоборот! На нём был украшенный самоцветами тюрбан из блестящей парчи, что-то вроде халата, тоже очень богатое, и старые стоптанные сапоги; кроме того, он был вооружён до зубов — ятаганом, пистолетами и гранатами. Черчилль с порога произнёс:

— Заткнись, Джек, я иду на бал-маскарад.

— Где Турок?

— Я поставил его в стойло. — Черчилль указал глазами на соседнюю конюшню.

У герцога было много конюшен — эта, самая маленькая и неказистая, служила только для перековки лошадей.

— Значит, бал, на который вы собрались, будет здесь.

— Да, в особняке д'Аркашона.

— И кем вы будете? Турком? Или берберийским корсаром?

— Я похож на турка? — с надеждой спросил Черчилль. — Насколько я понимаю, ты лично их видел.

— Нет. Лучше назовитесь корсаром.

— О, этих я видел лично.

— Ну, если бы вы не путались с любовницей короля, он бы не отправил вас в Африку.

— Да, было такое дело. В смысле, он отправил меня в Африку, но я вернулся.

— И теперь он в могиле, а у вас с Аркашоном будет тема для разговора.

— О чём ты? — мрачно спросил Черчилль.

— Вы оба хорошо знаете берберийских корсаров.

Черчилль опешил — мелкое удовольствие и незначительная победа для Джека.

— Ты хорошо осведомлен. Хотел бы я знать, всему свету известно, что герцог Аркашон имеет дело с Берберией, или это ты такой особенный?

— А что, похоже?

— Говорят, что Эммердёр — король бродяг.

— Тогда почему герцог не поселил меня в лучших своих покоях?

— Потому что я немало постарался, чтобы твоя личность осталась неизвестной.

— А я-то гадал, почему до сих пор жив.

— Если бы они узнали, кто ты, тебя бы несколько дней кряду рвали железными клещами на площади Дофина.

— Отличное место — вид оттуда красивый.

— Это всё, что ты хочешь сказать в благодар-

ность?

Молчание. По всему особняку Аркашона со скрипом открывались двери, словно мобилизуясь для бала. Джек слышал, как бочонки катят через двор и (поскольку к дерьму уже принюхался) ловил аромат жаркого на вертелах и пирожных, вынимаемых из печей. Были и менее приятные запахи, но Джек выбирал лучшие.

— Мог бы по крайней мере ответить на мой вопрос, — сказал Черчилль. — Все ли знают, что герцог тесно связан с Берберией?

— Здесь не помешала бы встречная любезность.

— Я не могу тебя выпустить.

— Я вообще-то думал о трубочке.

— Забавно; я тоже. — Черчилль подошёл к двери конюшни и, знаком подозвав мальчика, потребовал *des pipes en terre, du tabac blonde* и *du feu*[89].

— Так король Луй тоже будет на маскараде у герцога?

— По слухам, он готовит костюм в Версале, в большой тайне. Говорят, что-то невероятно дерзкое. Все французские дамы трепещут.

---

[89] Примечания: 89
Глиняные трубки, светлый табак и огонь (*фр.*).

— Разве это не постоянное их состояние?

— Мне знать не положено. Я женился на строгой, некоторые бы даже сказали — суровой английской девушке по имени Сара.

— И кем же нарядится она? Монахиней?

— О, она в Лондоне. Я тут с дипломатической миссией. Тайной.

— Вы стоите передо мной в таком наряде и уверяете, будто миссия тайная?

Черчилль расхохотался.

— Вы меня за недоумка держите? — продолжал Джек.

Боль в ноге раздражала непомерно, а от того, что он часто дёргал головой, отгоняя мух, ошейник до крови натёр кожу.

— Ты до сих пор жив только из-за своего теперешнего недоумия, Джек. Известно, что Эммердёр умён, как лис. Из-за невероятной глупости твоих поступков никто пока не додумался, что ты — это он.

— И как во Франции наказывают недоумков, отчебучивших ужасную глупость?

— Ну, вообще-то тебя собирались прикончить. Однако мне, кажется, удалось их убедить, что, поскольку ты не просто сельский дурачок, но *английский* сельский дурачок, вся история на

самом деле комична.

— Комична? Не нахожу.

— Герцог Бурбонский задал званый обед. Пригласил известного литератора. Обиделся на него. Когда тот отвернулся, герцог в шутку высыпал ему в вино содержимое своей табакерки. Литератор выпил и умер — обхохочешься.

— Какой дурак станет пить вино с табаком?

— Речь не об этом, речь о том, что французская знать находит смешным — и как я спас твою жизнь. Не отвлекайся!

— Давайте отбросим вопрос «как» и спросим «зачем»; зачем вы спасли мне жизнь, ваш-благородь?

— Когда человека рвут на части клещами, неизвестно, что он сболтнёт.

— А.

— Когда мы последний раз виделись, ты был обычный побродяга. Если бы выяснилось, что мы старые знакомые, ничего особенного не случилось бы. Теперь ты — легендарный побродяга, герой авантюрных романов, о котором говорят в салонах. Если станет известно о наших давних связях, мне это будет весьма некстати.

— Что же вы не дали тому малому меня заколоть?

— Наверное, надо было, — скорбно произнёс Черчилль. — Я не сообразил. Очень странно. Увидел, как он делает выпад. Если бы я придержал руку и дал событиям развиваться своим чередом, тебя бы уже не было. Однако что-то меня дёрнуло…

— Бес противоречия?

— Твой старый приятель? Да, видать, он спрыгнул с твоего плеча на моё. Как последний недоумок, я спас тебе жизнь.

— Ну, вы показали себя в высшей степени благородным и доблестным недоумком. Убьёте меня сейчас?

— Непосредственно — нет. Ты теперь каторжник. Твоя партия выходит из Марселя завтра утром. Дорожка неблизкая.

— Знаю.

Черчилль сел на скамейку, стащил один сапог, затем второй, вынул из-за голенищ мягкие турецкие туфли и натянул на ноги. Потом бросил сапоги Джеку — они плюхнулись в навоз, на время разогнав мух. Тут как раз подошёл мальчик с двумя набитыми трубками и свечой. Через некоторое время двое мужчин уже довольно пускали дым.

— Я знаю о берберийских связях герцога от

беглой рабыни, которая считает эту информацию частью глубоко охраняемой личной тайны, — сказал наконец Джек.

— Спасибо, — сказал Черчилль. — Кстати, как нога?

— Кто-то пырнул её шпагой — а в остальном замечательно.

— Тебе надо будет на что-то опираться… — Черчилль вышел наружу и через мгновение вернулся с Джековым костылём. Некоторое время он держал костыль на руках, взвешивая. — Что-то немного тяжеловат с этого края — иноземный, что ли?

— Да.

— Турецкий?

— Хватит со мной шутки шутить, Черчилль.

Черчилль развернул костыль и, как копьё, метнул в навозную кучу.

— Куда бы ты ни собрался, вали туда поскорей и не задерживайся во Франции. В двух днях пути отсюда по Марсельской дороге начинаются владения графа де Жуани.

— Это ещё кто?

— Тип, которого ты сбил с лошади. Несмотря на мои прежние утешительные заверения, он не находит тебя комичным, и если ты войдёшь

в его земли…

— Клещи.

— Именно. Так вот, для страховки. Я отправил хорошего знакомого на постоялый двор к северу от Жуани. Он должен смотреть на Марсельскую дорогу и, если увидит, что тебя по ней гонят, проследить, чтобы дальше этой гостиницы ты живым не ушёл.

— Как он меня узнает?

— К этому времени ты будешь раздет догола, и твой самый главный признак — отлично виден.

— Вижу, вы всерьёз опасаетесь, что я доставлю вам неприятности.

— Я, как уже сказал, здесь с дипломатической миссией. Очень важной.

— Решаете, как разделить Англию между Луем и папой римским?

Черчилль некоторое время попыхивал трубкой, красиво, но не очень убедительно разыгрывая спокойствие, потом произнёс:

— Я знал, что рано или поздно мы до этого дойдём: ты скажешь, что я предал родину и веру. Поэтому я был готов и не отсеку тебе башку прямо на месте.

Джек рассмеялся. Нога сильно болела, да и свербела тоже.

— Хоть и не по собственному выбору, я много лет состоял при его величестве, — начал Черчилль. Джек сперва оторопел, потом вспомнил, что «его величество» сейчас означает не Карла Второго, а Якова Второго, прежде герцога Йоркского. — Наверное, я мог бы тебе поведать, каково быть протестантом и патриотом в кабале у франколюбивого короля-католика, но жизнь коротка, и я намерен как можно меньшую часть её провести в тёмных конюшнях, оправдываясь перед выпачканными в дерьме вагабондами. Довольно сказать, что для Англии будет лучше, если эту миссию выполню я.

— Предположим я сбегу до Жуани… что помешает мне рассказывать всем и каждому о давних связях между Шафто и Черчиллями?

— Никто из важных людей тебе не поверит, Джек, если ты не скажешь это под пыткой… только если тебя растянут на дыбе у какого-нибудь важного господина, ты станешь опасен. И потом, не забывай про наследство Шафто. — Черчилль вытащил кошель и позвенел монетами.

— Я обратил внимание, что вы забрали моего коня, а денег не заплатили. Фи, какой моветон.

— Деньги за него здесь — и, кстати, очень приличная сумма, — сказал Черчилль и спрятал

кошель в карман.

— Эй, куда!

— Нагому каторжнику кошель не к лицу, а французские монеты такие большие, что даже в *твою* задницу не влезут. Когда я вернусь в Англию, то прослежу, чтобы эти деньги пошли на благо твоим сыновьям.

— Пошли им на благо или пошли им? Меня смущает некоторая двусмысленность обещания.

Черчилль снова расхохотался, на сей раз так задорно, что Джеку и вправду захотелось его убить. Он встал, взял у Джека докуренную трубку и, поскольку не хотел стать виновником пожара в герцогской конюшне, подошёл к небольшому кузнечному горну для подков и выбил обе трубки туда.

— Попытайся сосредоточиться. Ты — каторжник, прикованный к столбу в парижской конюшне. Думай об этом. Бон вояж, Джек.

Черчилль вышел. Джек посоветовал бы ему не спать с француженками — кстати, и про турецкую выдумку с бараньей кишкой не мешало бы рассказать, — но не успел. Да и кто он такой, чтобы учить Джона Черчилля, как спать с женщинами?

Заполучив сапоги, саблю и — если сумеет до

него добраться и зарубить пару конюхов — жеребца, Джек задумался, как снять треклятую цепь. На нём был традиционный арестантский ошейник — два железных полукольца, соединённых чем-то вроде дверной петли. С другой стороны у них были две проушины; когда ошейник застёгивался, они входили одна в другую. Если продеть в торчащую проушину цепь, его было уже не открыть. Это позволяло одной цепью закрепить сразу много ошейников, а следовательно, и арестантов, не прибегая к дорогим и ненадёжным замкам. Такая практика снижала расходы на скобяные товары и была настолько удобна, что в каждом французском *шато* и немецком *шлоссе* всегда висели под рукой несколько таких ошейников на случай, если кого-нибудь понадобится посадить на цепь.

Цепь, на которую посадили Джека, заканчивалась большим кольцом. Её обмотали вокруг колонны, продели в кольцо, затем — в Джеков ошейник, после чего один из герцогских кузнецов раскалил цепь в горне и приклепал к ней старую подкову, чтобы нельзя было вытащить обратно. Типично французская расточительность!.. Впрочем, у герцога было без счёта челядинцев, и труд кузнеца нисколько ему не стоил.

Табачный пепел из трубок в почерневшей сердцевине горна ещё немного тлел. Джек вылез из навозной кучки, проковылял к печи и раздул огонёк. Как правило, здесь кишмя кишели грумы и конюхи, однако сейчас все они были заняты: разводили по лучшим герцогским конюшням коней, на которых приехали гости. Единственное, что могло выдать огонь, это лёгкий дым из трубы — зрелище для холодного мартовского вечера в Париже вполне обычное.

Впрочем, Джек забежал вперёд. До огня ещё очень далеко.

Он огляделся в поисках чего-нибудь вроде трута. Идеально подошла бы солома, но конюхи постарались убрать столь горючий материал подальше от горна — вся она лежала у дальней стены, куда Джека не пускала цепь. Он лёг на брюхо и попытался подгрести её костылём, но ему всё равно не хватило почти ярда. Он вернулся к печи и вновь раздул золу. Видно было, что надолго её не хватит.

Взгляд Джека упал на костыль, обмотанный самым дешёвым, разлохматившимся шпагатом. Идеальный трут. Однако предстояло сжечь его почти весь, а больше связать костыль было нечем, значит, не оставалось и способов спрятать саблю.

Получалось, что, если он не убежит сегодня, ему конец. В таком случае разумнее было дождаться утра, когда его раскуют. Однако его расковали бы лишь для того, чтобы продеть в ошейник новую цепь — общую, а Джек решительно не намеревался оказываться в колонне каторжников — вероятнее всего, дряхлых гугенотов. Бежать надо сейчас.

Он размотал костыль, распушил конец бечёвки, поднёс к последнему тлеющему огоньку и подул. Искорка было погасла, но тут одна ниточка отогнулась, съёжилась, окуталась тоненькой струйкой дыма и превратилась в пульсирующий огонёк: крохотный, он был для Джека больше целых горящих деревьев в Гарце.

Через некоторое время в горне уже плясали жёлтые языки. Одной рукой подкладывая в них шпагат, Джек другой попытался вслепую нашарить растопку, которая должна была лежать где-то рядом. Отыскалась лишь пара сучков; пришлось вытащить саблю и настругать щепок от костыля. Их надолго не хватило, тогда в ход пошли щепки от столбов, затем — скамейки и табуреты. Вскоре пламя разгорелось настолько, чтобы поджечь уголь. Джек одной рукой подбрасывал его в горн, другой — качал мехи. Сперва

уголь чёрным камнем лежал в огне, потом по конюшне распространился резкий сернистый запах, пламя сделалось белым, уничтожило последние остатки дерева и стало метеором в кольце цепи, которую Джек уложил в горн. Холодное железо отравляло огонь, вытягивало из него жизнь, но Джек навалил ещё угля и продолжал качать мехи, так что металл вскоре приобрёл каштановый цвет, вскоре сменившихся различными оттенками красного. Жар сперва высушил навоз на Джеке, потом вогнал его в пот, так что корочки засохшего дерьма начали отшелушиваться от кожи.

Дверь приоткрылась.

– *Où est maréchal-ferrant*?[90] — спросил кто-то.

Дверь открылась шире — так, что могла бы войти лошадь, которая и вошла. Лошадь вёл шотландец в высоком парике — а может, и не шотландец. На нём было что-то вроде килта, но из красного *шёлка,* на плече болталось нечто несуразное: целая свиная шкура, набитая соломой, чтобы казаться надутой, и утыканная рожками, флейтами, дудками — пародия на волынку. Лицо было размалёвано синей краской, поверх парика

[90] Примечания: 90
Где кузнец? (*фр.*).

сидел шотландский берет диаметром фута в два, а за пояс, вместо положенной дворянину шпаги, была заткнута кувалда. Рядом позвякивали фляжки с виски.

Лошадь выступала красиво, но прихрамывала на одну ногу — она потеряла подкову.

– *Maréchal-ferrant*? — щурясь, повторил пришелец.

Джек сообразил, что он, Джек, виден лишь силуэтом на фоне яркого пламени, и ошейник незаметен. Он поднёс ладонь к уху — кузнецы славятся своей глухотой. «Шотландец» счёл это положительным ответом, подвёл лошадь к горну, бормоча что-то про «*fer à cheval*», а потом даже вытащил карманные часы, чтобы посмотреть время. Джек рассвирепел. Он знал, что «фер» означает железо, «фер-а-шваль» — «подкова», но только сейчас до него дошло, что английское слово «*farrier*» — коваль — происходит от этого самого «фер», хотя подкова и зовётся совсем иначе. Он смотрел исторические пьесы, а странствуя по Франции, прислушивался к речи, поэтому смутно представлял, что когда-то французы завоевали Англию и засорили английский всякими там словечками, которые простые люди теперь употребляют постоянно, не зная, что говорят на

языке захватчиков, меж тем как у чёртовых французов язык чистый и аккуратный, и название человека, который куёт лошадей, в нём точно соответствует слову «подкова». Просто зла не хватает!.. А теперь, когда королём стал Яков, — открывай ворота́!

– *Quelle heure est-il*?[91] — спросил наконец Джек.

«Шотландец», не задумываясь, зачем кузнецу время, снова полез в карман, вытащил часы, откинул крышку и посмотрел на стрелки, для чего ему пришлось повернуться лицом к огню. Джек только того и ждал. Как раз когда шотландец произносил что-то, включающее «*sept*»[92], Джек выхватил цепь из огня и набросил ему на шею.

Короче, в Париже-городке пробил час душенья. Неудачным образом на горло «шотландца» пришёлся раскалённый отрезок цепи, который Джек не мог ухватить, пока не разыщет клещи. Правда, какого-то результата он всё-таки достиг: «шотландец» не мог больше издать ни звука.

Чего нельзя было сказать о лошади: она ржала, пятилась и явно намеревалась встать на дыбы.

---

[91] Примечания: 91
Который час? (*фр.*).

[92] Примечания: 92
Семь (*фр.*).

Впрочем, Джеку пока было не до неё. Он нашёл наконец клещи и прикончил «шотландца», наполнив конюшню шкворчаньем и запахом жаркого, потом оторвал горячую цепь с кусками пришпаренного мяса, которое в некоторых частях Франции наверняка считалось бы деликатесом, — и бросил её назад в огонь. Разделавшись с этим, он нехотя взглянул на лошадь. Джек боялся, что она выбежит в открытую дверь и поднимет на ноги конюхов. Однако, как ни странно, дверь в это самое мгновение закрывал и запирал на щеколду тощий парнишка в не слишком хорошей одежде. Он, очевидно, поймал лошадь под уздцы, привязал к столбу и даже сообразил набросить ей на голову мешок, чтобы уберечь от лишних неприятных впечатлений, которых здесь было в избытке.

Затем цыганёнок — ибо это явно был цыганёнок — повернулся к Джеку и отвесил церемонный поклон. Он был бос — вероятно, добрался сюда по крышам.

— Ты, должно быть, Джек Куцый Хер, — сказал он без тени улыбки. Сказал это на жаргоне.

— А ты кто?

— Неважно. Меня Сен-Жорж послал.

Парнишка подошёл, старательно переступая

через раскалённые уголья (Джек просыпал их, сдёргивая цепь с горна), и начал раздувать мехи.

— И что Сен-Жорж тебе велел? — спросил Джек, подбрасывая ещё угля.

— Узнать, какая помощь тебе будет нужна во время потехи.

— Что за потеха?

— Он не сказал мне *всё.*

— А какое Сен-Жоржу до меня дело?

— Сен-Жорж на тебя зол. Говорит, ты поступил некрасиво.

— Что ты ему скажешь?

— Скажу, — тут цыганёнок впервые улыбнулся, — что Эммердёр не нуждается в его помощи.

— Верно.

Джек взялся за мехи, парнишка развернулся, пробежал через конюшню и выскользнул через отверстие в крыше, о существовании которого Джек прежде не подозревал.

Покуда цепь грелась, Джек коротал время, обыскивая одежду жертвы и гадая, сколько там будет золотых монет. Минуты через две (по часам, которые валялись открытыми на полу) он вытащил из огня раскалённую дожелта цепь, положил её, пока не остыла, на наковальню и ударил тяжёлым молотом с острым, как зубило,

бойком. Теперь он был свободен, но не мог, не обжегшись, вытащить из ошейника горячую цепь. Джек сунул её в поилку с водой. Тут выяснилось, что последнее звено расплющилось и не лезет в ошейник. Не хотелось затевать всю волынку по новой. Ну и хрен с ним. Снаружи темно, будет виден лишь тёмный силуэт; надо лишь, чтобы силуэт этот выглядел респектабельно и не вызывал у людей желания с ходу разрядить в него пистолет. Поэтому Джек снял с «шотландца» парик (изрядно попорченный и обгорелый, но всё равно парик), дурацкий берет, правда, брать не стал. Он натянул сапоги — дар Джона Черчилля — и забрал у «шотландца» длинный плащ. А заодно перчатки — по старой привычке прятать клеймо на руке. Наконец Джек снял с лошади роскошное седло и вышел во двор.

Зрелище якобы знатного господина с седлом на плече могло показаться необычным, кроме того, Джек приволакивал ногу, сжимал в руке ятаган и громко бормотал на простонародном английском, что тоже не вполне вязалось с образом французского аристократа. Однако, как он и надеялся, почти все конюхи были заняты в главном дворе — как раз начался главный наплыв гостей. Джек ввалился в соседнюю конюшню, тускло

освещённую парой фонарей, и оказался лицом к лицу с грумом. Джек, в общем-то, видел, как люди столбенеют, но чтобы так — впервые.

— Турок! — крикнул Джек.

Чуть дальше в ряду стойл послышалось ржание. Джек шагнул ближе к груму и сбросил с плеча седло. Малый рефлекторно его поймал и вроде бы успокоился, получив конкретную работу. Джек, указывая саблей, направил его в сторону Турка.

Малый наконец понял, что его просят посодействовать в краже лошади, и окончательно впал в ступор. Пришлось несколько раз ткнуть его саблей, чтобы всё-таки надел на Турка седло. После этого Джек ударил недоумка эфесом в подбородок, но так и не смог вырубить. Пришлось тащить его поближе к выходу, укладывать на пол и чуть ли не в картинках объяснять, как тому изобразить, что его оглушил ударом негодяй-англичанин.

Потом снова к Турку, который вроде даже обрадовался. Покуда Джек затягивал подпругу, мускулы у коня напряглись, словно струна, готовая запеть. Джек проверил подковы и отметил, что Джон Черчилль сводил Турка к опытному марешаль-феррану. «Мы оба с обновкой», — сказал он, хлопая по сапогам, чтобы конь ими полю-

бовался.

Потом вставил один сапог в стремя, перебросил ногу через седло и, ещё не усевшись как следует, помчался через герцогский двор. Турок стремился на свободу не меньше него. Джек рассчитывал отыскать заднюю калитку, но Турок рванул прямиком к воротам, через которые въехал на нём Черчилль — в главный двор Отеля д'Аркашон.

Джек почувствовал вокруг множество людей, но увидеть их толком не мог, потому что ослеп от ярких огней: исполинских канделябров, подобных кострам на пиках, фонарей, развешанных на цветных верёвках, тысяч ламп и свечей в двадцатифутовых окнах, составляющих фасад огромного особняка прямо перед ним. Сотни спермацетовых китов отдали жизнь ради этой иллюминации. Что до свечей, даже сквозь запахи готовки, изысканных духов, дровяного дыма и лошадиного навоза Джек различал медвяную сладость мавританского воска. Всё это благоуханное сияние влажно блестело на огромном фонтане посреди двора: всевозможные нептуны, наяды, дельфины и морские чудища, сплетаясь, поддерживали испещрённый королевскими лилиями фрегат. Обломки выброшенных на берег английских и голландских судов служили скамьями для

французских задниц.

Сила, с которой Джек натягивал поводья, и бьющий в глаза свет умерили порыв Турка к свободе, но, увы, несколько запоздало: жеребец, а следовательно и Джек, почти галопом вылетел во двор и застыл на несколько секунд, словно напрашиваясь на внимание. И внимание не замедлило последовать: пуритане, феи, персы и краснокожие, толпящиеся на газоне, повернулись в их сторону. Джек тронул коня каблуками, крепко сжимая поводья, чтобы тот не встал на дыбы.

Турок двинулся по ухоженной гравийной дорожке; Джек надеялся, что она выведет их на такое место, с которого они по крайней мере увидят выход. Однако они ехали прямо на свет из окон. За окнами виднелись исполинская бальная зала, белые стены с позолоченной лепниной и беломраморные полы, на которых аристократы в маскарадных костюмах танцевали под музыку жавшегося в углу оркестра.

Тут — как всякий человек, прибывший на светский раут, — Джек оглядел себя. Он рассчитывал выскользнуть под покровом тьмы, а выехал на яркий свет и был потрясён тем, как отчетливо видны измазанные навозом лохмотья и железный ошейник.

В доме он приметил одного из давешних спутников герцога. Не желая, чтобы его узнали, Джек поднял воротник краденого плаща и спрятал нижнюю половину лица.

Гости сбились в кучки на газоне и перед домом. Все разговоры смолкли, все лица были обращены на Джека, однако никто не кричал «Караул!». Довольно долго все смотрели на него, словно на новую и очень дорогую статую, с которой только что сдёрнули покрывало. Некий заразительный трепет пробежал по толпе, как по рядам торговок, когда Джек скакал через центральный рынок. Послышался ритмический звук. Джек понял, что ему *рукоплещут*. Служанка, подобрав юбки, опрометью кинулась в дом, чтобы сообщить какую-то новость. Музыканты перестали играть, все повернулись к окнам. Люди на лужайке бросились к Джеку и, остановившись на почтительном отдалении, склонились в низких поклонах и реверансах. Двое лакеев едва не растянулись на газоне, спеша распахнуть дверь. В проёме стоял толстый господин с трезубцем, таким большим и острым, что Джек невольно втянул голову в плечи, — надо думать, сам герцог д'Аркашон в наряде Нептуна. Герцог с низким поклоном протянул трезубец на вытянутых руках — *предлагая*

его Джеку — и, не разгибаясь, попятился, жестом приглашая в дом. Внутри гости выстроились в две шеренги — Джек инстинктивно подумал, что его намерены пропустить сквозь строй, и только потом сообразил, что тут не экзекуция предстоит, а парадная встреча!

По всему выходило, что его приглашают въехать в дом на коне — вещь совершенно неслыханная. Однако Джек уже научился (или думал, будто научился) отличать реальность от снов наяву, которые в последнее время посещали его всё чаще и чаще, и, беспечно решив, что ему мерещится, решил оттянуться вволю. Соответственно, он проехал на Турке (ступавшем с большой неохотой) мимо герцога, прямиком в большую залу. Теперь *все* склонились низко-низко, давая Джеку возможность заглянуть во множество пудреных декольте. Зазвучали фанфары. Одно декольте было особенно глубоким — Джек испугался, что упадёт туда и его придётся вытаскивать на верёвке. Обладательница декольте, заметив пристальный взгляд Джека, видимо, решила, что он смотрит на жемчужное колье. Некоторое время что-то сложное происходило в голове у дамы, затем она покраснела, прижала ладони к оклеенному мушками лицу, вскрикнула и затараторила

что-то вроде «Ах, пожалуйста, только не мои драгоценности, Эммердёр…», потом расстегнула колье, сняла, снова застегнула и набросила Джеку на кончик сабли, словно деревенская девушка, играющая на ярмарке в «колечки». Сделав это, она мастерски упала в обморок точно на подставленные руки своего спутника — сатира с двухфутовым красным кожаным фаллосом.

Ещё одна дама вскрикнула; Джек поднял саблю на случай, если придётся её уложить, но она лишь повторила то, что сделала предыдущая, — подбежала, приколола драгоценную брошь на полу его плаща со словами «*Pour les Invalides*»[93] и отступила раньше, чем Джек успел брякнуть: «Если вы хотите пожертвовать на благотворительность, сударыня, то обратились не по адресу».

Дамы как с цепи сорвались: отталкивая друг друга локтями, они бросились украшать его одежду, саблю и сбрую Турка драгоценностями. Общей экзальтации не разделял лишь некий очень красивый берберийский корсар — весь красный, он смотрел на Джека глазами, которые, будь они клещами…

Внезапно тишина распространилась по залу,

---

[93] Примечания: 93
На Дом Инвалидов (*фр.*).

словно струя холодного воздуха из распахнутой бурей двери. Все смотрели на вход. Дамы пятились от Джека, привставали на цыпочки и тянули шеи. Джек выпрямился в седле и развернул Турка — отчасти из желания посмотреть, на что все вытаращились, отчасти потому, что чувствовал — скоро надо будет уносить ноги.

Второй человек въехал в бальную залу на коне. Джек поначалу принял его за бродягу, недавно бежавшего из тюрьмы, где тому, несомненно, самое место. Однако, разумеется, это был какой-то аристократ, наряженный бродягой, в костюме куда лучше, чем у Джека, — цепь на шее, сломанные оковы на руках и ногах выглядели цельнозолотыми, в руках блестел украшенный самоцветами ятаган, а из штанов демонстративно выступал хоть и усыпанный бриллиантами, но комично маленький гульфик. Позади во дворе толпилась свита: цыгане, наряженные согласно некоему в высшей степени романтическому представлению о цыганах, мавры в страусовых перьях, красавицы, разодетые весёлыми нищенками.

Джек убрал с лица воротник.

Такого долгого молчания ему ещё слышать не доводилось. Оно длилось столько, что Джек мог бы привязать Турка к канделябру и соснуть

под клавесином. Мог бы доскакать с вестями до Лиона (вероятно, это было бы самым разумным). Однако он просто сидел на коне и ждал, что будет дальше.

Молчание заставило его вспомнить, что дом — огромный улей, который живёт, даже если аристократы застыли. Например, на кухне по-прежнему гремели посудой. Однако Джек обратил внимание на потолок, который (а) того стоил, (б) издавал различные звуки. Джек подумал было, что начался ливень — отчасти из-за шума воды, отчасти оттого, что потолок явно протекал сразу в нескольких местах. Он был украшен и лепниной, и росписью, так что, лёжа на полу, можно было увидеть целую картину: боги четырёх ветров по углам, раздув щёки, гнали лепные облака и врагов Франции; английские и голландские корабли неслись с Бореем, испанские и португальские галеоны, берберийские, мальтийские и турецкие пираты, а также всевозможные морские чудища — с Нотом. Нет надобности говорить, что центр композиции составлял объёмный лепной флот Франции: пушки торчали во все стороны, а на корме самого мощного фрегата, увенчанный лаврами, высился в окружении адмиралов король Луй, держа в одной руке астролябию, а другой

наводя пушку. Сейчас, для пущего правдоподобия, по лепнине текла вода, словно океан рвался засвидетельствовать почтение въехавшему в зал живому королю. Из-за того-то Джек и подумал, будто внезапный дождевой шквал пробился сквозь дырявую крышу. Он взглянул на окно — никакого дождя не было. Кроме того, Джек вспомнил, что особняк д'Аркашона не деревенский дом, в котором потолок — просто изнанка крыши; он не раз лазил в такие особняки и знал, что потолок здесь — оштукатуренное деревянное перекрытие, над которым есть узкое пространство, где пылится всякое старьё вроде лебёдок для подъёма люстр и, быть может, бочек.

Вот оно — наверное, прохудилась бочка с дождевой водой, а, возможно, ей помог Сен-Жорж или кто-нибудь из его друзей, чтобы создать неразбериху и сыграть на руку Джеку. Вода сперва текла по перекрытию, теперь просочилась через штукатурку, которая уже потемнела в нескольких местах: грозовые тучи обложили французский флот, а лазурное море приобрело более реалистичный свинцово-серый оттенок. Серое и свинцовое, оно больше не было гладким: потолок вспучивался и провисал. Кое-где грязная вода уже лилась на пол. Слуги сбегали за тряп-

ками и швабрами, но не решались официально нарушить Молчание.

Турок недовольно мотнул головой, и Джек увидел, что сатир с невероятно длинным красным кожаным членом схватил его за уздечку.

— А вот это *очень* зря, — сказал Джек по-английски (на его французском с такой публикой не стоило даже заговаривать).

Он говорил шёпотом, не желая официально нарушать Молчание, и большинство присутствующих не услышали его за странным шебуршанием и визгом, исходящими от потолка. Возможно, визжали штукатурные гвозди, вырываемые из старых сухих балок весом набрякшего потолка. В любом случае хорошо, что Джек поглядел вниз, поскольку он попутно заметил, что Джон Черчилль выбирается из толпы, проверяя кремнёвый замок пистолета с явным намерением его разрядить. У Джека пистолета не было, только сабля, да и то обременённая украшениями. Он надрезал ею атласную подкладку плаща и ссыпал приобретения внутрь.

Сатир отвечал на английском, какой Джеку и не снился:

— Это *чудовищный* проступок с моей стороны — всей жизни не хватит, чтобы его загладить. Мо-

лю, поверьте, что я пытаюсь лишь сколь можно исправить нелепейшее…

Однако сатира перебил король Людовик XIV Французский, который что-то сострил, не повышая голоса, но так, что слова его наполнили всю залу. То была всего лишь одна фраза, или сентенция, но она говорила больше, чем трёхчасовая архиерейская проповедь на Пасху. Джек почти ничего не услышал, а и услышал бы — не понял, однако он разобрал слова «вагабонд» и «*noblesse*»[94] и понял, что прозвучало нечто в высшей степени философское. Философское не в смысле педантизма — здесь были житейский ум, ирония и подлинная искорка остроумия — весёлого, но никогда — пошлого. Луй забавлялся, однако в жизни бы не опустился до того, чтобы рассмеяться в голос. *Это* он предоставил придворным, которые, привстав на цыпочки, жадно ловили шутку. На мгновение Джеку почудилось, что, если бы Джон Черчилль, начисто лишённый чувства юмора, не надвигался на него с заряженным пистолетом, все бы со всеми помирились, ему можно было бы остаться, выпить вина и потанцевать с дамами.

---

[94] Примечания: 94
Благородство (*фр.*).

Джек не мог скрыться от Черчилля, пока сатир держит Турка за узду.

— Уберёшь руку или мне её отрубить? — спросил он.

— Искренне сознаю, что недостоин лучшего, — отвечал сатир. — Я столь уничижён, что сделаю это сам, лишь бы восстановить честь, мою и моего отца.

Он вытащил из-за пояса кинжал и принялся пилить красную кожаную перчатку на руке, которая сжимала уздечку, — пытаясь правой рукой отрезать себе левую! Вероятно, Джеку это спасло жизнь. Зрелище, как человек пилит себе руку и алая кровь капает на мраморный пол, остановило Черчилля в двух шагах от него. Первый и последний раз в жизни Джек видел, как Черчилль замялся.

Из дальнего угла донеслись скрежет и хруст. Чуть раньше восточный ветер раскололо зияющая трещина, и из неё стеной хлынула грязная вода. Теперь целый кусок потолка, ярда в два шириной, отошёл, словно доска от корабельной обшивки. Трещина добралась до французского флота — полутонны сухой лепнины. Корабли слаженным манёвром отчалили от потолка и на мгновение словно зависли в воздухе, прежде чем

устремиться к полу. Все бросились врассыпную. Алебастр взорвался и разлетелся по полу мокрыми творожными катышками. Однако сверху что-то продолжало сыпаться — тёмные комочки, которые, коснувшись пола, встряхивались и бросались бежать.

Джек взглянул на Черчилля и увидел движение кремня, сноп искр, дымок над пистолетной полкой. Тут одна из дам налетела на Черчилля — она бежала, не разбирая дороги, ибо поняла, что у неё на парике крысы, хоть и не знала, в каком количестве (Джек насчитал три, но, поскольку они продолжали сыпаться с потолка, он бы за это число не поручился). Дама ударила Черчилля под руку. Струя пламени длиной с человеческую руку вырвалась из дула и задела Турку морду, хотя пуля явно пролетела мимо. Учтивому сатиру повезло — она просвистела в нескольких дюймах от его головы.

Турок на мгновение застыл. В этот миг берберийская пиратская галера, увлекаемая весом воды и крыс, шмякнулась рядом на пол. Сколько-то воды и сколько-то крыс попали Турку на шею. И тут конь взорвался. Он встал было на дыбы, но сатир по-прежнему сжимал узду окровавленной рукой, поэтому Турок (по счастью, Джек заранее

понял, что к этому идёт) взбрыкнул задними ногами. Будь сзади человек, остаться бы ему без головы, но центральная часть зала была занята по преимуществу крысами. Джек удержался в седле, понимая, что, если Турок взбрыкнёт ещё раз-другой, ему не усидеть. Надо было отсюда выбираться. Черчилль как раз обходил сатира, чтобы тоже взяться за уздечку.

— В жизни не видал такой говённой гулянки! — сказал Джек, раскручивая саблю как лопасти ветряной мельницы.

— Извините, сударь, но…

Учтивый сатир не закончил извинений, поскольку Джек рассёк ему руку посередине между локтем и запястьем. Сабля прошла как по маслу. Отрубленная кисть сжалась в кулак и осталась висеть на уздечке, а однорукий сатир рухнул на Черчилля. Турок почувствовал свободу и взвился на дыбы. Джек глянул на Черчилля сверху вниз и крикнул:

— В следующий раз, как захочешь какого-нибудь из моих коней, плати вперёд, мошенник!

Турок рванул к парадному входу, но жёсткие подковы скользили и царапали по мрамору, и он не мог набрать скорость. Морское чудище рухнуло прямо перед ним и извергло из внутрен-

ностей сотни крыс. Конь метнулся к толпе дам, которые отплясывали что-то вроде тарантеллы, вдохновляемые мыслью, что крысы штурмуют их нижние юбки. Когда Джек уже думал, что боевой конь растопчет женщин копытами, Турок вроде бы приметил дверь в дальнем конце зала. Проём был низкий — Джек увидел, что на него несётся притолока, украшенная посредине лепным гербом д'Аркашонов*[95], и, не дожидаясь, когда геральдический щит навеки впечатается ему в морду, откинулся назад и упал с лошади.

Он успел высвободить правую ногу, но не левую, и Турок протащил его по коридору (пол там был гладкий, но, на вкус Джека, недостаточно). Почти вверх тормашками, Джек отчаянно цеплялся за пол рукой, свободной от сабли, стараясь отклониться вбок и не угодить под задние копыта. Снова и снова рука его натыкалась на крыс, которые все бежали по коридору, — возможно, их влёк какой-то запах. Турок мчался, разумеется, быстрее крыс, руководствуясь какими-то своими соображениями.

Джек знал, что они миновали несколько поме-

---

[95] Примечания: 95

Разделённый на четверти со старыми геральдическими элементами (лилиями, означающими древнее родство с правящим домом) и новыми (головами негров в железных ошейниках).

щений, так как пересчитал рёбрами и боками определённое количество порогов. Перед глазами мелькали юбки и штаны слуг.

Внезапно они оказались в тускло освещённой комнате одни. Турок больше не бежал, хотя по-прежнему нервничал. Джек осторожно шевельнул левой ногой. Турок вздрогнул и посмотрел на него.

— Не ожидал увидеть? Я был с тобою всё это время, как верный друг, — объявил Джек.

Он освободил ногу и встал. Времени продолжать беседу не оставалось. Они были в буфетной. Слышался писк приближающихся крыс и топот башмаков, а где башмаки, там и шпаги. В стене напротив располагалась запертая дверь, и Турок с интересом её обнюхивал.

Если это не выход, то Джеку крышка. Он подошёл и, выразительно глядя на Турка, ударил в дверь рукояткой сабли. Дверь была прочная. Что самое удивительное, щели между досками были забиты паклей, как на корабле, а вдоль косяков подсунуты тряпки.

Турок развернулся задом к двери. Джек отскочил в сторону. Боевой конь наклонил голову, перенося вес на передние копыта, а задние с силой пушечных ядер обрушил на дверь. Дверь

прогнулась и сорвалась с верхней петли. Турок ударил снова, и её не стало.

К этому времени Джек стоял на коленях, зажимая рот и нос испачканным в навозе рукавом, чтобы не сблевать. Вонь, хлынувшая из двери после первого удара, едва не сбила его с ног. Даже Турок попятился. Джеку едва хватило присутствия духа захлопнуть другую дверь и запереть щеколду, чтобы конь не выбежал в коридор.

Джек схватил единственную свечу, освещавшую буфетную, и шагнул в дверь, ожидая увидеть склеп, наполненный гниющими трупами, но оказался в чистенькой кухоньке.

Посередине на мясницкой плахе лежала рыбина, такая тухлая, что кожа на ней пузырилась.

В дальнем конце была маленькая дверь. Джек открыл её и увидел типичный парижский закоулок. Однако перед его мысленным взором стояла совсем другая картина: несколько минут назад он с обнажённой саблей в руке проехал мимо герцога д'Аркашона. Одно движение, и человек, который (как Джек теперь знал наверняка) обратил в рабство Элизу и её мать, был бы мёртв. Джек мог вернуться в дом и довершить несделанное, однако он понимал: время упущено.

Турок лбом подтолкнул Джека в дверь, торо-

пясь выбраться на относительно свежий воздух, пахнущий помоями и человеческими испражнениями. Было слышно, как сзади ломают дверь буфетной.

Турок взглянул вопросительно. Джек вскочил в седло, и конь, не дожидаясь приказа, взял с места в карьер. В городе уже подняли тревогу. Скача через Королевскую площадь — искры летят из-под новеньких подков, плащ развевается на ветру, короче, тот самый силуэт, на который Джек рассчитывал, — он обернулся, указал саблей в проулок и заорал: «*Vagabonds! Vagabonds anglais*![96]» Над крышами темнели в лунном свете зубчатые стены Бастилии; рассудив, что именно туда дворянин поскакал бы за подкреплением (не говоря уже о том, что это самая короткая дорога из города), Джек развернул Турка к ним и отпустил поводья.

---

[96] Примечания: 96
Бродяги! Английские бродяги! (*фр.*).

Амстердам

К делам тебя влечёт рассвет?
В любви порока злее нет!
Скупца, глупца и подлеца
Любовь простит – но не дельца!
Любовник, что к делам с восходом солнца
Бежит от милой – хуже двоежёнца!
Джон Донн, «Утро» [97]

1685

— Кто это такой громадный, высоченный, бородатый, неопрятный, неотёсанный, с острогой?..

У Элизы закончился набор эпитетов. Она смотрела в окно кофейни «Дева» на неприкаянного Нимрода, который маячил у дверей, заслоняя солнце косматой меховой шубой. Служители кофейни, и Джека-то впустившие неохотно, решительно преградили путь свирепому дикарю с острогой.

— А, он? — невинно переспросил Джек, как будто под описание подпадал кто-то ещё. — Евге-

---

[97] Примечания: 97
Пер. С. Степанова.

ний-раскольник.

— Что значит «раскольник»?

— Убей меня… знаю только, что они бегут из России со всех ног.

— Ну… а как ты с ним познакомился?

— Понятия не имею. Просыпаюсь в «Ядре и картечи», а он сопит рядом, и борода у меня на шее, словно шарф.

Элиза грациозно передёрнула плечами.

— Однако «Ядро и картечь» в Дюнкерке…

— И что?

— Как ты попал туда из Парижа? У тебя не было приключений, бешеных скачек, поединков…

— Может, и были. Не помню.

— А что с раной?

— Мне удалось заручиться помощью целой команды голодных червей — они не дали ей загноиться. Заросло как на собаке.

— Разве можно забыть целую неделю пути?

— У меня теперь так голова работает. Как в пьесе, где зрителям показывают самые яркие моменты, а всё скучное якобы происходит за сценой. Итак: я вылетаю с Королевской площади, занавес, антракт. Занавес поднимается: я в Дюнкерке, в лучшей комнате «Ядра и картечи», у мистера Фута, рядом Евгений, а на полу вокруг

разбросаны его меха и янтарь.

— Так он своего рода коммерсант? — спросила Элиза.

— Не надо снобизма, девонька.

— Я просто пытаюсь понять, откуда он взялся в этой пьесе.

— Понятия не имею: он ни на каком языке не говорит. Я спустился и задал тот же вопрос мистеру Футу, владельцу гостиницы, человеку весьма выдающемуся, бывшему приватиру.

— Ты говорил мне, говорил мне, говорил мне о мистере Футе.

— Он сказал, что неделю-две назад Евгений вошёл на баркасе в бухточку, где стоит «Ядро и картечь».

— То есть подошёл на баркасе с какого-то корабля, стоящего на якоре в Дюнкерке.

— Нет, всё как я говорю: просто появился из-за горизонта. Догрёб до берега, втащил баркас на песок, насколько сумел, и рухнул на пороге ближайшего дома, которым оказалась старушка-гостиница. В лучшие времена мистер Фут, вероятно, выбросил бы бедолагу, как дохлую рыбину, но нынче с постояльцами негусто, выбирать не приходится. Кроме того выяснилось, что баркас доверху наполнен арктическими

сокровищами. Мистер Фут перенёс их наверх, потом закатил самого Евгения в грузовую сеть и лебёдкой втащил в окно, рассчитывая, что тот, проснувшись, расскажет, где водится такое добро.

— Что ж, деловая стратегия мистера Фута вполне ясна.

— Вот снова ты. Если дашь мне закончить, то не станешь судить мистера Фута так строго. Ценою многочасового каторжного труда он предал земле останки…

— Что?! Ты не говорил ни о каких *останках*.

— Забыл упомянуть, что в баркасе с Евгением были товарищи, павшие жертвой стихий…

— …Или Евгения.

— Мне тоже так подумалось. Но затем, поскольку Господь дал мне больше мозгов и меньше желчи, чем *некоторым,* я сообразил, что в таком случае раскольник просто выбросил бы их за борт, особенно когда они начали вонять. Мистер Фут — рассказываю для того лишь, чтобы очистить Евгения от подозрений, — сообщил, что некоторые трупы до костей обклевали чайки.

— Или обгрыз голодный Евгений.

Элиза поднесла чашку к губам, чтобы скрыть торжествующую улыбку и взглянуть на космато-

го русского, который прохаживался, попыхивая грубой трубкой и остря зубья гарпуна карманным оселком.

— Решительно невозможно представить моего друга-раскольника в хорошем свете — хотя на самом деле у него золотое сердце, — пока ты, вся такая из себя чистенькая недотрога, смотришь на его грубую внешнюю оболочку. Так что пошли дальше, — сказал Джек. — Следом появляюсь я, весь обвешанный французскими побрякушкам и немногим живее русского. Мистер Фут забирает к себе и меня. И, наконец, некий французский дворянин предлагает купить у него «Ядро и картечь», чем доказывает, что Бог троицу любит.

— Вот теперь ты меня изумляешь, — сказала Элиза. — Как эти события связаны между собой?

— Ну, как раз когда мы с Евгением без сил, но с несметными сокровищами доползли до гостиницы, мистер Фут оказался на мели — здесь я выражаюсь фигурально…

— Да, у тебя всегда при этом бывает такой самодовольный вид.

— Дюнкерк стал совсем не тот после того, как король Луй купил его у короля Чака. Теперь это большая военно-морская база. Все английские и неанглийские приватиры, которые жили, пили,

играли и распутничали в «Ядре и картечи», пошли на службу к мсье Жану Бару или отплыли на Ямайку, в Порт-Рояль. И всё-таки у мистера Фута оставалось кое-что ценное: сама гостиница. План начал обретать форму в его голове, подобно театральному призраку, возникающему из клубов дыма.

— Мрачное предчувствие начинает обретать форму в моей груди.

— В Париже у меня было видение — довольно сложное, — в котором много пели и танцевали, а жуткое и непотребное мешалось в равных долях.

— Зная тебя, Джек, я от твоих видений ничего иного не ждала.

— Не буду утомлять тебя подробностями, негодными для ушей столь благовоспитанной дамы. Довольно сказать, что под впечатлением от небесных знаков, а также прочих предзнаменований, как то: Три Сходных События в «Ядре и картечи», я решил оставить бродяжничество и вместе с Евгением и мистером Футом заняться коммерцией.

Элиза сжалась и поникла, как будто что-то в ней сломалось.

— Почему, — сказал Джек, — когда я предлагаю взять меня за чакру, ты и бровью не ведёшь, а когда я произношу слово «коммерция», ты вся

подбираешься, словно добродетельная девица, которой похотливый хозяин сделал неприличное предложение?

— Пустяки. Продолжай, — отвечала Элиза бесцветным голосом.

Однако у Джека сдали нервы. Он отклонился от основной темы.

— Я надеялся, что Боб окажется в городе — он обычно путешествует вместе с Черчиллем. Мистер Фут сказал, что он действительно недавно заходил и спрашивал про меня. Однако, когда герцог Монмутский неожиданно для всех инкогнито прибыл в Дюнкерк, чтобы встретиться с некоторыми недовольными англичанами, а после спешно отправился в Брюссель, один из офицеров Черчилля отрядил Боба, хорошо знающего эти края, проследить за Монмутом и узнать, что он затевает.

При упоминании герцога Монмутского Элиза снова поглядела Джеку в лицо, из чего тот заключил: либо она заделалась романтической сторонницей претендента (весьма сомнительного) на английский престол, либо политические интриги теперь тоже в сфере её интересов. И впрямь, когда он вошёл в «Деву», Элиза правой рукой писала, а левой производила двоичные

расчёты по системе доктора.

Так или иначе, поскольку она смотрела на него, Джек решил нанести удар.

— И тут-то я и узнал от мистера Фута об открывающейся возможности.

Лицо Элизы помертвело, как когда врач говорит: «Сядьте, пожалуйста».

— У мистера Фута знакомые в каботажном деле…

— Контрабандисты.

— Почти все грузовые перевозки так или иначе связаны с контрабандой, — важно объявил Джек. — Недавно его посетил некий господин Влийт, голландец, владеющий средних размеров судном, способным пересечь Атлантику с грузом в столько-то тонн. Мистер Фут без промедления зафрахтовал «Раны Господни», испытанный в походах двухмарсельный бриг.

— Ты хоть понимаешь, что это значит?

— Что он несёт и прямые, и косые паруса, а посему может как идти с попутным пассатом, так и лавировать против изменчивых прибрежных ветров. У него не слишком многочисленная, но опытная команда…

— И его надо лишь отремонтировать и снабдить провиантом?

— Само собой, потребуются определённые капиталовложения…

— Поэтому господин Влийт отправился в Амстердам…

— Господин Влийт отправился в *Дюнкерк* и объяснил мистеру Футу, который в свою очередь объяснил мне и, насколько возможно, Евгению, основную идею предстоящего рейса, исключительно простую и совершенно беспроигрышную. Мы решили вложиться на паях. По счастью, в Дюнкерке всегда можно быстро реализовать товар. Я продал драгоценности, Евгений — меха, ворвань и янтарь, а мистер Фут — «Ядро и картечь».

— Далековато господин Влийт отправился за деньгами, — заметила Элиза, — хотя под боком, в Амстердаме, процветает рынок капитала.

Много позже (когда появилось время подумать) Джек понял, что Элиза говорила: господин Влийт — мошенник, и только сумасшедший захочет вложиться в его предприятие. Однако она слишком долго жила в Амстердаме и сказала это на жаргоне банкиров.

— Почему бы просто не продать драгоценности и не отдать деньги сыновьям? — продолжила она.

— Почему бы не вложить их в дело и не учетверить за несколько лет?

— Учетверить?!

— Меньшего мы не ждём.

У Элизы стало такое лицо, будто ей пришлось проглотить целый грецкий орех.

— Кстати о деньгах, — проговорила она, — что с конём и перьями?

— Благородный скакун в Дюнкерке, дожидается Джона Черчилля, который выразил намерение его приобрести. Перья в надёжных руках моих парижских агентов, — сказал Джек и двумя руками ухватился за стол, ожидая пристрастного допроса.

Однако Элиза не стала развивать тему, словно боялась узнать истину. Джек понял, что она не надеялась увидеть ни его, ни деньги. Что она давным-давно вышла из партнёрства, заключённого под императорским дворцом в Вене.

Элиза не смотрела ему в глаза, не смеялась его шуткам, не краснела, когда он её поддевал… Словно холодный Амстердам заморозил её душу, высосал гумор страсти из жил. Однако Джек всё же уговорил её выйти с ним на улицу. Пока Элиза вставала и хозяин кофейни подавал ей пелерину, Джек изумился, как хорошо она одета. Он чуть

было не поздравил её с успехами в портняжном искусстве, потом заметил кольца на руках, дорогое ожерелье на шее и сообразил, что она с приезда в Амстердам, вероятно, не прикасалась к иголке и нитке.

— Торговля воздухом или подарки от воздыхателей?

— Я не для того бежала из рабства, чтобы стать шлюхой, — отвечала Элиза. — Ты можешь проснуться рядом с Евгением и шутить об этом…

Евгений, не подозревая, что его имя так нелестно склоняют, следовал за ними по чисто вымытым городским улочкам, стуча острогой по мостовой. Они вошли в юго-западную часть города, где улочки были не такие чистые и где часто слышались французский и ладино, — здесь жили гугеноты, сефарды и даже несколько раскольников, которые останавливали Евгения, чтобы обменяться новостями и слухами. Дома тут были покосившиеся и оседали практически на глазах, каналы — узкие и забитые мусором из-за отсутствия торгового сообщения.

Они подошли по такой улочке к складу, из которого в трюм шлюпа загружали тяжёлые мешки.

— Вот он, наш товар, — сказал Джек. — Не хуже — а в иных частях мира даже лучше — золота.

— Что это? Фундук? — спросила Элиза. — Кофе?

У Джека не было особых причин от неё таиться, но Элиза впервые проявила хоть какой-то интерес к его предприятию — хотелось этот интерес растянуть.

Шлюп был уже загружен. Как раз когда Элиза, Евгений и Джек подошли к складу, матросы отдали швартовы, подняли паруса, и шлюп с ветерком направился к внутренней гавани, в нескольких минутах ходьбы отсюда.

Они двинулись пешком.

— Есть ли у вас страховка? — спросила она.

— Интересный вопрос, — сказал Джек. На это Элиза закатила глаза, а потом сразу как-то сникла, словно оседающий дом по соседству. — Мистер Фут сказал, что это большое приключение…

— Он имел в виду, что вы одолжили господину Влийту деньги *à la grosse aventure*[98], как торговые плавания обычно и финансируются, — пояснила Элиза. — Те, кто даёт такие займы, обычно покупают страховку — *если кто-нибудь согласится их застраховать.* Я могу показать тебе кофейни, где

[98] Примечания: 98

По контракту бодмереи (*фр.*). По такому контракту залогом служат корабль и груз, а в случае их гибели заимодатель не получает ничего; поскольку риск выше, чем при обычном займе, то и процент устанавливается более высокий.

занимаются именно этим. Но…

— Сколько это стоит?

— Фиксированной цены нет, она зависит от множества факторов. Ты хочешь мне сказать, что у вас не осталось денег на страховку?

Джек промолчал.

— В таком случае ты должен немедленно забрать свою долю.

— Поздно. Припасы закуплены и погружены в трюм. Хотя мы можем взять в долю кого-нибудь ещё…

Элиза фыркнула.

— Что за муха тебя укусила? Бродяжничество очень тебе шло. А вот коммерция — явно не твоя стихия.

— Жаль, ты раньше не сказала, — проговорил Джек. — Как только я услышал от мистера Фута об этой возможности, то подумал, что, может быть, таким способом сумею вырасти в твоих глазах.

Тут Джек едва не свалился в канал — неосторожно сболтнув правду, он почувствовал приступ головокружения. Меж тем у Элизы лицо стало такое, будто Евгений пырнул её острогой пониже спины, — она остановилась, расставила ноги, обняла себя руками, словно от колики в животе, взглянула мутным взглядом на канал и пару раз

шмыгнула носом.

Тут бы Джеку возликовать, но его внезапно настигла тупая обречённость. Он не рассказал Элизе ни про тухлую рыбу, ни про красноглазых коней. Не сказал, что мог убить, но по дури пощадил негодяя, который обратил её в рабство. Однако он точно знал, что когда-нибудь она это выяснит, а когда выяснит — лучше ему не быть на Европейском континенте.

— Покажи мне корабль, — сказала она наконец.

Они обогнули угол, и, как это часто бывает в Амстердаме, перед ними неожиданно открылся вид на усеянный кораблями Эйсселмер. На берегу Эй стояла Селёдочная башня — круглая и кирпичная, она высилась над склизкой вонючей пристанью, у которой пришвартовались три судна: два транспортных, доставляющих провиант кораблям на внешнем рейде, и «Раны Господни». Бриг выглядел так, будто его разбирают на части: все люки открыты, да и остальные части палубы структурно не менее сомнительны, особенно сейчас, когда на них опускали огромные бочки с селёдкой и загадочные мешки со шлюпа.

Не успел Джек заговорить о подлинных мореходных качествах шлюпа, как Элиза с непонятной

ему решимостью выбежала на пристань, метя юбками то, что не каждая хотела бы принести домой. Один из мешков лопнул, содержимое высыпалось на пристань и захрустело под башмаками Элизы. Она нагнулась, вложила руку в дыру, чем-то напоминая в это мгновение Фому Неверующего, вытащила пригоршню товара и, подержав его мгновение, просыпала звенящим дождём.

— Каури, — произнесла она отрешённо.

В первый миг Джек подумал, что Элиза остолбенела — возможно, от гениальности их плана, — однако, присмотревшись внимательнее, понял, что она сосредоточенно думает.

— Они самые, — сказал Джек. — В Африке это деньги!

— Ненадолго.

— О чём ты? Деньги есть деньги. Господин Влийт двадцать лет на них сидел, ожидая, когда упадут цены.

— Несколько недель назад, — сказала Элиза, — пришла весть, что голландцы приобрели некие острова неподалёку от Индии, Мальдивы и Лаккадивы, и что там нашли огромное количество каури. С тех пор как новость стала известна, они не стоят практически ничего.

Джеку потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от услышанного.

При нём была сабля, господин Влийт, пухлый и белобрысый, стоял на бросок камня, разбираясь в каких-то бумагах с поставщиком провианта. Джеку, естественно, представилось, как он подбегает, вставляет лезвие между двумя подбородками господина Влийта и нажимает посильней. Однако это лишь доказало бы правоту Элизы (а именно, что он не рождён ворочать делами), а Джек не хотел доставлять ей такой радости. Уж коли сам Джек не получит удовольствия, о котором мечтал последние полгода, с какой стати баловать *её?* Чтобы чем-то занять тело, покуда работает голова, он помог закатить по сходням несколько бочек.

— Теперь слова «торговля воздухом» обрели для меня новый смысл. — Всё, что Джек смог придумать. — Это реально, — сказал, хлопая по бочке, — и это реально, — топая по палубе «Ран Господних», — и это, — поднимая пригоршню раковин, — тоже; всё ничуть не менее реально, чем десять минут назад или до того, как прибыли новости с Мальдив и Лаккадив…

— Они прибыли по суше — куда быстрее, чем идёт корабль, огибающий мыс Доброй Надежды.

Так что, возможно, вы попадёте в Африку раньше нагруженных раковинами судов, которые, надо думать, идут туда с Мальдив.

— Именно на это, я уверен, и рассчитывает господин Влийт.

— Но, добравшись до Африки, что вы купите на каури, Джек?

— Ткань.

– *Ткань?!*

— Потом поплывём на запад — говорят, что африканские ткани хорошо идут в Вест-Индии.

— Африканцы не экспортируют ткани, Джек. Они их ввозят.

— Ты ошибаешься. Господин Влийт говорил совершенно определённо: мы поплывём в Африку, обменяем наши каури на *куски ситца* — полагаю, ты знаешь, что это такая индийская ткань, — и доставим их через Атлантику…

— «Кусок ситца» означает негра в возрасте от пятнадцати до сорока лет, — сказала Элиза. — Ситец, как и каури, заменяет в Африке деньги, и африканцы продают за него своих собратьев.

Тишина длилась столько же, сколько на балу герцога д'Аркашона. Джек стоял на медленно движущейся палубе «Ран Господних», Элиза — на пристани.

— Ты собираешься заняться работорговлей, — безжизненным голосом произнесла она.

— Ну… я до сей минуты понятия не имел…

— Верю. Но сейчас ты должен покинуть этот корабль и уйти прочь.

Идея была великолепная, и что-то в Джеке готово было за неё ухватиться. Однако бес противоречия взял верх, и он решил ответить возмущённым отказом:

— И пустить по ветру свою долю?

— Лучше, чем пустить по ветру свою бессмертную душу. Ты пустил по ветру страусовые перья и коня, Джек. Знаю, что так. Почему не повторить это сейчас?

— Моя доля куда ценнее.

— А как насчёт другой добычи из лагеря великого визиря, Джек?

— Ты о сабле?

Элиза мотнула головой, не глядя ему в глаза.

— Я помню эту добычу, — признал Джек.

— Пустишь по ветру и её?

— Верно, она куда ценнее…

— И стоит больше денег, — ввернула Элиза.

— Уж не предлагаешь ли ты себя продать…

С Элизой случился странный приступ смеха и рыданий одновременно.

— Я хочу сказать, что уже заработала больше, чем стоили перья, сабля и конь, вместе взятые, а скоро заработаю ещё больше. Так что, если тебя волнуют деньги, сойди с «Ран Господних», останься со мною в Амстердаме, и скоро вообще забудешь про этот корабль.

— Не очень-то уважаемое дело — жить за счёт женщины.

— С каких пор тебя заботит чьё-то уважение?

— С тех пор, как люди стали меня уважать.

— Я предлагаю тебе безопасность, счастье, богатство — и моё уважение, — сказала Элиза.

— Ты не будешь уважать меня *долго*. Дай мне сходить в одно плавание, вернуть деньги и…

— Одно плавание для тебя. Вечные страданья для негров, которых вы купите, и для их потомков.

— Так или иначе, я теряю мою Элизу. — Джек пожал плечами. — Я становлюсь вроде как дока по вечным страданьям.

— Тебе дорога жизнь?

— Эта? Не очень.

— Сойди с корабля, если хочешь сохранить хоть какую-нибудь.

Элиза видела то, чего не заметил Джек: погрузка «Ран Господних» закончилась. Люки опустили

на место, за селёдку расплатились (серебряными монетами, не каури), матросы отдавали швартовы. На пристани остались только господин Влийт и Евгений: голландец торговался с аптекарем из-за сундучка с лекарствами, русский получал благословение от старообрядческого попа. Сцена была настолько курьёзна, что полностью захватила внимание Джека; он очнулся, только когда матросы закричали. Он повернулся к ним — из-за чего шум. Однако они все с ужасом смотрели на пристань. Джек перепугался, что на Элизу напали негодяи или что-то вроде того.

Он обернулся и как раз успел увидеть, что Элиза схватила гарпун, оставленный Евгением у ящиков, и в этот самый миг бросает его в Джека. Она, разумеется, никогда не метала гарпун, но по-женски умела целить в самое сердце, и острога летела на него прямо, как Истина. Джек, припомнив давние уроки фехтовального мастерства, хотел повернуться боком, чтобы стать более узкой мишенью, но потерял равновесие и упал на грот-мачту, выбросив левую руку, чтобы смягчить удар. Широкие зубья гарпуна пропахали его грудь и отскочили от ребра или от чего ещё, так что остриё, пройдя в узкий промежуток между лучевой и локтевой костью, вонзилось в мачту —

пригвоздило его к дереву. Джек почувствовал это раньше, чем увидел, потому что глядел на Элизу. Однако она уже шла прочь, даже не обернувшись посмотреть, попала в него или нет.

Амстердам

июнь 1685

Д'Аво и два высоких, необычно свирепых на вид лакея проводили Элизу до пристани за площадью Дам, на канале, ведущем к Харлему. Здесь стояло пришвартованное судно; на его борт поднимались по сходням пассажиры. Издали оно показалось Элизе маленьким из-за странно игрушечного вида: нос и корма круто загибались вверх, придавая судёнышку сходство с толстым мальчиком, который, лёжа на животе, хочет дотянуться пятками до затылка. Приглядевшись, она увидела, что судно хоть и лёгкое, но длинное, не менее двадцати футов длиной и при этом узкое.

— Я не собираюсь утомлять вас скучными подробностями — их возьмут на себя Жак и Жан-Батист.

— Они отправляются со мной?!

— Дорога в Париж не лишена опасностей, — сухо отвечал д'Аво, — даже для *слабых и невинных*.

Тут он поглядел на ещё дымящиеся дома господина Слёйса, не более чем на выстрел по этому же самому каналу.

— Очевидно, меня вы к этой категории не относите, — фыркнула Элиза.

— Ваша привычка метать гарпуны в моряков должна была излечить от иллюзий даже самых отъявленных сластолюбцев.

— Вы об этом слышали?

— Чудо, как вас не арестовали, — здесь, в городе, где даже *целоваться* запрещено.

— Вы установили за мной слежку, мсье?

Элиза возмущённо взглянула на Жака и Жан-Батиста, которые, временно притворившись глухонемыми, возились с многочисленным багажом. Бóльшую часть тюков она видела впервые, но д'Аво явственно дал понять, что они вместе с содержимым принадлежат ей.

— Вы всегда будете возбуждать интерес, мадемуазель, так что привыкайте. Тем не менее — даже если вынести за скобки склонность к метанию гарпунов — некоторые досужие сплетники в этом городе уверяют, будто вы причастны к финансовой атаке на господина Слёйса и нападению разъярённой толпы оранжистов на его жилище, а также к отплытию к Англии эскадры под знамёнами герцога Монмутского. Разумеется, я не верю в эти нелепицы, но тревожусь за вас…

— Как заботливый дядюшка. Я тронута!

— Посему этот кааг доставит вас и ваших сопровождающих…

— Через Харлемермер в Лейден и оттуда в Брилле через Гаагу.

— Как вы угадали?

— Герб Брилле вырезан на гакаборте напротив амстердамского. — Элиза указала на кораблик.

Д'Аво обернулся посмотреть, Жак и Жан-Батист — тоже. В этот самый миг послышалось сипение, словно от прохудившейся волынки, и Элизу отодвинул плечом направляющийся к сходням крестьянин. Покуда неучтивый мужлан поднимался на кааг, Элиза приметила его странно знакомый сутулый профиль, и у неё на миг перехватило дыхание. Д'Аво обернулся и пристально взглянул ей в лицо. Некое шестое чувство подсказывало Элизе, что сейчас не время поднимать шум. Она быстро продолжила:

— Здесь больше парусов, чем нужно для плаванья по каналам, — вероятно, чтобы пересечь Харлемермер. Кааг узкий, чтобы пройти в шлюз между Лейденом и Гаагой. Однако он не столь прочен, чтобы совладать с течениями Зеландии — никто такой не застрахует.

— Верно, — кивнул д'Аво. — В Брилле вы пересядете на *лучше застрахованное* судно, которое

доставит вас в Брюссель.

Он как-то странно взглянул на Элизу. Мужлан тем временем затерялся среди пассажиров и груза на палубе.

— Из Брюсселя вы сушей отправитесь в Париж, — продолжал посол. — Летом сухопутная дорога не столь комфортабельна, но во времена вооружённых мятежей против английского короля куда более *безопасна*.

Элиза глубоко вздохнула, пытаясь удержать перед глазами виде́ние тысяч освобождённых рабов, однако призрачная конструкция таяла под летним амстердамским солнцем, и сквозь неё проступали жёсткие очертания чёрных домов и белых оконных рам.

— Мой душка-герцог! — сказала она. — Какое безрассудство!

— Этьенн д'Аркашон — который, к слову, спрашивает о вас в каждом письме, — страдает тем же недостатком. В его случае безрассудство сглажено умом и воспитанием, но именно по безрассудству он потерял руку в схватке с бродягой!

— Ах, мерзкие бродяги!

— Уверяют, что он быстро идёт на поправку.

— Как доберусь до Парижа, сразу сообщу вам новости о нём.

— Сообщайте мне всё, особенно то, что *не представляется* новостями, — потребовал д'Аво. — Если научитесь читать версальскую жизнь, как гакаборты и страховые полисы голландских судов, обернуться не успеете, как станете вертеть Францией.

Элиза расцеловала д'Аво в обе щеки, тот расцеловал её. Жак и Жан-Батист провели Элизу по сходням и, едва кааг двинулся по каналу, принялись раскладывать вещи в маленькой каюте, которую ей нанял посол. Элиза меж тем стояла у поручня в обществе других пассажиров и любовалась амстердамскими набережными. В этом городе вечно некогда замедлить шаг, остановиться, потому так странно и приятно рассматривать его вблизи и в то же время не на бегу — словно низколетящий ангел, наблюдающий за людской суетой.

Кроме того, ускользнуть из Амстердама после недавних событий казалось почти чудом. Д'Аво не зря дивился, как её не арестовали после истории с гарпуном. От Селёдочной башни Элиза шла не разбирая дороги, слёзы ярости застилали глаза. Однако вскоре ярость сменилась страхом, когда она поняла, что за ней следят, не особо скрываясь, две группы людей. Оглядываться было бы ещё

хуже, поэтому она скорым шагом прошла через площадь Дам на Биржу — самое подходящее место если не отделаться от преследователей, то по крайней мере напомнить им, что есть занятия повыгоднее слежки. Наконец Элиза вошла в «Деву», где и просидела у окна несколько часов, наблюдая. Увидела она немногое: двух рослых обормотов (которых, как она теперь знала, звали Жак и Жан-Батист) и одного шаромыгу с характерной сутулостью и постоянным надсадным кашлем.

Кааг тянула в направлении Харлема упряжка идущих по берегу лошадей, хотя матросы уже выдвигали боковые кили и ставили складную мачту, чтобы поднять парус-другой. Лошади замедлили шаг, вступив на развороченную, чёрную от расплавленного свинца мостовую. Три дня назад свинец серебряной рекой тёк из дома господина Слёйса, делился на рукава меж булыжников мостовой и низвергался с пристани в канал, так что столб пара поднимался над клубами дыма из горящих домов. К тому времени поджигателей, разумеется, след простыл; магистратам оставалось допрашивать малочисленных свидетелей и выяснять, кто всё-таки поджёг дома: разгневанные оранжисты, мстящие за помощь французам,

или люди, нанятые самим Слёйсом. Он так много и так стремительно потерял на обвале акций Ост-Индской компании*[99], что мог выпутаться только одним способом: спалить всё, что у него есть, и стребовать деньги с тех, кто имел глупость его застраховать. Сегодня утром рабочие, которых страховщики наняли в надежде покрыть хоть часть убытков, ломами и лебёдками поднимали из канала ручьи и лужицы свинца.

Элиза снова услышала рядом давешнее сипение, но более громкое, словно тележное колесо проехалось по дырявой волынке, выдавливая из неё воздух. Сипение перешло в хриплый, лающий смех. Горбатый мужлан стоял у поручня неподалёку от Элизы и смотрел на рабочих.

— Мятеж герцога Монмутского вновь поднял цену на свинец, — сказал он. (В такой мере Элиза голландский разбирала.) — Он теперь на вес золота.

— Прошу прощения, минхеер, хотя стоимость свинца и впрямь выросла, он всё же куда дешевле золота и даже серебра, — возразила она на ломаном голландском.

Сипатый мужлан отвечал на вполне сносном

---

[99] Примечания: 99
При вести о восстании Монмута они упали с 572 до 250.

английском:

— Смотря где. Армия, окружённая врагами и страдающая от нехватки боеприпасов, охотно променяет золотые монеты на равный вес пуль.

Элиза ничуть не сомневалась в справедливости этих слов, но самый взгляд неприятно поразил её своей мрачностью, поэтому она не ответила и больше с мужланом не разговаривала. Кааг меж тем миновал шлюз в западной стене Амстердама. Вокруг тянулась сельская местность, разрезанная канавами на зелёные торфяные бруски, которые лежали вдоль канала, как на прилавке. Другие пассажиры тоже сторонились мужлана: отчасти потому, что боялись подцепить лёгочную болезнь, отчасти потому, что купцов и зажиточных земледельцев, едущих из Амстердама с мешками золотых и серебряных монет, раздражало общество человека, готового пустить флорины на пули. Мужлан, судя по всему, отлично это понимал и первые несколько часов путешествия забавлялся, разглядывая попутчиков с видом высокомерного превосходства, за который во Франции его вызвали бы на дуэль.

Больше он ничего примечательного не делал, пока, чуть ближе к вечеру, внезапно не убил Жака и Жан-Батиста.

А было так: судёнышко дошло каналами до Харлема, где взяло на борт ещё нескольких пассажиров, затем, прибавив парусов, двинулось через Харлемермер, приличных размеров озеро, продуваемое резким морским бризом. Свежий воздух произвёл в мужлане разительную перемену. Сипение исчезло как по волшебству, каждый вдох уже не требовал неимоверных усилий. Он выпрямился, став среднего роста, и помолодел лет на двадцать. Кислое выражение исчезло с физиономии, и он, покинув корму, зашагал по палубе почти весело. После того как мужлан несколько раз прошёлся из конца в конец корабля, остальные пассажиры привыкли и перестали обращать внимание — так он и смог обойти Жака со спины, схватить за щиколотки и перебросить через борт.

Всё случилось настолько быстро, что легко было поверить, будто ничего не произошло. Однако Жан-Батист в это не поверил и бросился на мужлана с обнажённой шпагой. У того шпаги не было, зато была у стоящего рядом антверпенского купца — мужлан просто выхватил её из ножен и принял боевую стойку.

Жан-Батист задумался, и совершенно напрасно. Когда он наконец бросился вперёд, кааг, как на

грех, качнулся на волне, едва не сбив его с ног. Клинки скрестились, и стало видно, что Жан-Батист — никудышный фехтовальщик. Впрочем, мужлан и без этих преимуществ взял бы верх; для него убивать людей в ближнем бою было всё равно что для пекаря — месить тесто. Жан-Батист считал фехтование делом серьёзным, требующим определённых церемоний. Чёрные ветряки по берегам Харлемермера, рубя лопастями воздух, мрачно наблюдали за поединком. Вскоре у Жана-Батиста из спины уже торчали два фута окровавленного клинка, а дорогой эфес нелепым украшением застыл на груди.

Только это Элизе и дали увидеть, прежде чем джутовый мешок накрыл ей голову и — плотно, но не чересчур туго — стянулся на шее. Кто-то обхватил её за колени и оторвал от палубы, другой сгрёб под мышки. На мгновение она испугалась, что её бросят за борт, как Жака и (судя по слышному сквозь мешок всплеску) Жан-Батиста. Покуда Элизу несли вниз, она услышала резкие выкрики на голландском, затем вся палуба наполнилась стуком и шелестом: пассажиры, срывая шляпы, падали на колени.

С Элизы сняли мешок, и она увидела, что находится в каюте вместе с двумя людьми: бугаём

и ангелом. Бугай — тот, что надел ей на голову мешок, — почти сразу вышел, повинуясь приказу ангела — белокурого голландского дворянина такой изумительной красоты, что Элиза почувствовала скорее ревность, нежели влечение.

— Арнольд Йост ван Кеппел, — коротко представился он, — паж принца Оранского.

Он смотрел на Элизу с той же холодностью, что и она на него, — очевидно, его мало интересовали женщины. И всё же слухи гласили, что у Вильгельма Оранского — любовница-англичанка. Может быть, он из тех, кто в любви не делает различия между полами.

Вильгельм Оранский, генерал-капитан и великий адмирал Соединённых провинций, бургграф Безансона, герцог, либо граф, либо барон различных мелких клочков Европы*[100], вошёл в каюту несколькими минутами позже, небритый, раскрасневшийся, слегка забрызганный кровью и в целом ничуть не похожий на голландца. Как не уставал напоминать д'Аво, он был помесью самых разных кровей: его предки происходили чуть ли не со всех концов Европы. В грубом крестьянском платье Вильгельм смотрелся так же

---

[100] Примечания: 100

В частности Нассау, Катценельнбогена, Дица, Виандена, Мёрса.

естественно, как герцог Монмутский — в турецких шелках. Возбуждение и самодовольство не давали ему сесть, что было к лучшему, поскольку Элиза занимала единственное кресло в каюте и не выказывала намерения его освобождать. Вильгельм отослал Арнольда Йоста ван Кеппела, а сам упёрся плечами в кницу и остался стоять.

— Господи, да вы совершенное дитя — вам ведь и двадцати нет? Что ж, отрадно: это извиняет вашу глупость и даёт надежду на исправление.

Элиза всё ещё злилась из-за джутового мешка и не только не ответила, но и не подала виду, что слышит.

— Без промедления напишите благодарственное письмо доктору. Если бы не он, вы бы отправились тихоходным кораблём в Нагасаки.

— Вы знакомы с доктором Лейбницем?

— Встречались в Ганновере пять лет назад. Я ездил туда и в Берлин…

— В Берлин?

— Городишко в Бранденбурге, ничем не примечательный, кроме того, что там у курфюрста дворец. У меня много родственников среди герцогов и курфюрстов в тех краях — я объезжал их, пытаясь собрать коалицию против Франции.

— Надо полагать, безуспешно?

— Они были всей душой. Большинство голландцев — тоже, но только не Амстердам. Члены городского совета по наущению вашего приятеля д'Аво замышляли переметнуться к Франции, чтобы Людовик поддержал их флот против английского.

— И тоже безуспешно, иначе бы все об этом знали.

— Льщу себе мыслью, что мои усилия в северной Германии — которым немало способствовал ваш приятель-доктор — и усилия д'Аво взаимно нейтрализовали друг друга, — объявил Вильгельм. — Я радовался своим успехам, Людовик был в ярости, что ничего не добился.

— И на этом основании захватил Оранж?

Вильгельм разозлился не на шутку, и Элиза сочла, что отплатила за джутовый мешок. Однако принц взял себя в руки и отвечал резко:

— Поймите, Людовик не такой, как мы. Он не нуждается в основаниях. Он сам себе основание. Поэтому его и надо уничтожить.

— И ваша честолюбивая мечта — это осуществить?

— Сделайте милость, детка, замените «честолюбивая мечта» на «судьба».

— Однако вы и над своею землёй не властны!

Оранж — в руках Людовика, и даже в Голландии вы ходите переодетым из страха перед французскими головорезами!

— Я здесь не для того, чтобы выслушивать от вас общие места, — отвечал Вильгельм уже гораздо спокойнее. — Вы правы. Более того, я не умею танцевать, писать стихи и развлекать гостей за обедом. Я даже не выдающийся военачальник, что бы ни говорили мои сторонники. Знаю одно: ничто не может долго мне противостоять.

— Франция как будто противостоит.

— Я добьюсь, чтобы её замыслы пошли прахом. И в некой малой степени вы мне поможете.

— Зачем?

— Вам следовало спросить: «Как?»

— В отличие от французского короля, я нуждаюсь в основаниях.

Мысль, что Элизе нужны какие-то основания, явно позабавила принца, однако убийство двух французских головорезов настроило его на игривый лад.

— Доктор говорит, вы ненавидите рабство. Людовик хочет поработить весь христианский мир.

— Однако все невольничьи форты в Африке принадлежат голландцам либо англичанам.

— Лишь потому, что флот герцога д'Аркашона

пока ещё слишком слаб, чтобы их у нас отбить, — отвечал Вильгельм. — Иногда в жизни нужно действовать мало-помалу, и в особенности — подзаборным девчонкам, вздумавшим покончить с таким всеобщим установлением, как рабство.

Элиза сказала:

— Удивительно, что принц наряжается крестьянином и пускается в плавание, чтобы просветить подзаборную девчонку.

— Вы себе льстите. Во-первых, как вы сами упомянули, в Амстердаме я всегда хожу переодетым, ибо граф д'Аво наводнил город наёмными убийцами. Во-вторых, я так и так собирался в Гаагу, поскольку вторжение вашего любовника в Англию требует от меня выполнить кое-какие обязательства. В-третьих: я убил ваших телохранителей и велел доставить вас сюда не для того, чтобы просветить вас или что-либо ещё, но чтобы перехватить письма, которые д'Аво спрятал в вашем багаже.

У Элизы вспыхнули щёки. Вильгельм некоторое время забавлялся её смущением, потом, видимо, решил не добивать жертву.

— Арнольд! — крикнул он.

Дверь каюты отворилась, и Элиза увидела, что её вещи, мокрые и перемазанные в смоле, раз-

бросаны по палубе, а наиболее сложные туалеты ещё и разорваны в клочья. Багаж, переданный ей д'Аво, разъяли на части и теперь препарировали по слоям.

— Пока два письма. — Арнольд шагнул в каюту и с лёгким поклоном вручил принцу исписанные листки.

— Оба зашифрованы, — заметил Вильгельм. — Без сомнения, после того, что случилось в прошлом году, ему хватило ума поменять шифр.

Подобно камню, в который ударило пушечное ядро, сознание Элизы разлетелось на большие независимые осколки. Первый: существование этих писем делает её в глазах голландского закона французской шпионкой и оправдывает любые мыслимые кары. Второй: что именно замыслил д'Аво? (Несколько замысловатый способ отправлять письма… а может быть, и нет?) Третья часть сознания бездумно (конечно, опрометчивость, но…) поддерживала светский разговор:

— Что случилось в прошлом году?

— Я перехватил *предыдущего* дурачка, завербованного д'Аво. Мои криптографы расшифровали письма, которые тот вёз в Версаль. В них рассказывалось, как Слёйс и некоторые члены амстердамского совета выслуживаются перед

Людовиком.

Эта ремарка по крайней мере вывела Элизу из раздумий о роке и карах.

— Этьенн д'Аркашон посещал Слёйса несколько дней назад… но, очевидно, не для того, чтобы поговорить о размещении денег…

— Она зашевелилась… веки подрагивают… она скоро проснётся, сир, — сказал Арнольд Йост ван Кеппел.

— Не попросите ли вы этого человека освободить каюту? — обратилась Элиза к Вильгельму с изумившей всех твёрдостью.

Вильгельм еле заметно шевельнул рукой, и ван Кеппел вышел, затворив дверь. Хруст ткани послышался с новой силой.

— Он собирается оставить меня вовсе без одежды?

Вильгельм задумался.

— Да. За исключением одного платья, которое сейчас на вас. Вы зашьёте это письмо в корсет после того, как Арнольд снимет с него копию. Затем вы прибудете в Париж — измученная, растерзанная, без спутников или багажа — и расскажете в красках, как грубые сыровары убили ваших слуг, изобидели вас, разворошили ваши тюки, но всё же вы сумели доставить одно письмо, предусмот-

рительно зашитое в нижнее бельё.

— Романтическая история.

— В Версале она произведёт фурор. Вам это куда более на руку, чем заявиться свежей и расфранчённой. Графини будут вас жалеть, а не страшиться и возьмут под своё крыло. План настолько превосходен, что я удивляюсь, как д'Аво сам до него не додумался.

— Может быть, д'Аво и не хотел, чтобы меня приняли при французском дворе. Может быть, он хотел использовать меня для доставки писем, а затем выбросить, как ненужную вещь.

Это должно было прозвучать жалостливо и вызвать жаркие опровержения со стороны принца, но тот всерьёз задумался, чем нимало не успокоил Элизины страхи.

— Д'Аво вас с кем-нибудь знакомил?

— С упомянутым Этьенном д'Аркашоном.

— Значит, у д'Аво на ваш счёт планы — я знаю какие.

— У вас такое торжествующее лицо, о принц, и я ничуть не сомневаюсь, что вы прочли мысли д'Аво, как прочтёте его письма. Я, увы, лишена такого преимущества и весьма желала бы знать *ваши* планы на мой счёт.

— Доктор Лейбниц научил вас шифру, в срав-

нении с которым этот, — Вильгельм встряхнул письмами д'Аво, — детские игрушки. Воспользуйтесь им.

— Вы хотите, чтобы я шпионила для вас в Версале.

— Не только для меня, а ещё для Софии и для всех, кто противостоит Людовику. Пока это. Возможно, впоследствии мне потребуется что-то ещё.

— Сейчас я в вашей власти, однако когда я достигну Франции, когда окажусь под опекой герцогинь и под защитой французского флота…

— Что помешает вам рассказать французам всё и стать двойным агентом?

— Вот именно.

— Разве недостаточно того, что Людовик отвратителен, а я стою за свободу?

— Быть может, и достаточно… но с вашей стороны было бы глупо верить мне на этом основании, а я не стану шпионить для глупца.

— Неужто? Вы шпионили для Монмута.

Элиза задохнулась:

— Сударь!

— Детка, не следует выезжать на турнир, если боитесь быть выбитой из седла.

— Согласна, Монмут не семи пядей во лбу… зато

он замечательный воин.

— Он неплох, но с Джоном Черчиллем не сравнится. Вы же не верите, что он и впрямь свергнет короля Якова?

— Я бы не поддержала его, если бы так не думала.

Вильгельм мрачно рассмеялся.

— Он предлагал сделать вас герцогиней?

— Почему меня все об этом спрашивают?

— Этим предложением он вскружил вам голову… Монмут обречён. По условиям мирного договора с Англией у меня в Гааге стоят шесть английских и шотландских полков. Как только я доберусь туда, я отправлю их через Ла-Манш — помочь в подавлении мятежа.

— Зачем?! Яков — практически вассал Людовика! Вам следует поддержать Монмута!

— Элиза, таился ли Монмут в Амстердаме? Ходил ли в крестьянском платье?

— Нет, он гордо расхаживал во всей красе.

— Стерёгся ли он французских наёмных убийц?

— Нет, он был беспечен, как павлин.

— Находили ли в его карете гранаты с дымящимся запалом?

— Нет, только другие гранаты — плоды.

— Д’Аво — человек умный?

— Разумеется!

— В таком случае, коли он знал, что́ замышляет Монмут, — а ваши замыслы прочитывались так легко, — то почему не попытался его убить?

Никакого ответа из уст бедной Элизы.

— Монмут высадился в Дорсете. В Дорсете! Родных краях Джона Черчилля. Черчилль скачет из Лондона, чтобы вступить с ним в бой, а когда доскачет, мятеж будет подавлен. Мои полки прибудут к шапочному разбору — я отправлю их только для приличия.

— Разве вы не хотите, чтобы Англией правил протестант?

— Хочу, разумеется! Чтобы победить Людовика, мне нужна Британия.

— Вы говорите это так небрежно.

— Простая истина. — Вильгельм пожал плечами. Внезапно ему пришла в голову мысль. — Я люблю простые истины. Арнольд!

Арнольд снова вошёл в кабину — он обнаружил ещё два письма.

— Сир?

— Мне нужен свидетель.

— Свидетель чего, сир?

— Девочка боится, что я поступлю глупо, если

буду ей доверять. Она родом с Йглма… посему я сделаю её герцогиней Йглмской.

— Однако… Йглм принадлежит английскому королю, сир.

— В том-то и суть, — сказал Вильгельм. — Девочка будет герцогиней тайно, только по имени, покуда я не воссяду на английский престол — тут-то она и станет герцогиней *явно*. В таком случае я смогу рассчитывать на её верность, а у неё не будет причины подозревать меня в глупости.

— Или так, или тихоходное судно в Нагасаки? — спросила Элиза.

— Не такое уж оно тихоходное, — сказал Арнольд. — К концу пути у вас ещё сохранятся один или два зуба.

Элиза, словно не слыша его, смотрела Вильгельму в глаза.

— На колени! — приказал он.

Элиза подобрала подол платья — единственного, которое у неё осталось, — и упала на колени перед принцем Оранским. Тот сказал:

— Вы не можете принять титул без церемонии, демонстрирующей вашу покорность сюзерену. Такова традиция, идущая из древних времён.

Арнольд вытащил из ножен короткую шпагу и попытался на вытянутых руках подать её прин-

цу, но при этом несколько раз задел локтями, эфесом и прочим различные крепления, кницы и предметы мебели: в крохотной каюте было очень тесно. Принц наблюдал за ним с холодной весёлостью.

— Господин ударяет вассала по плечу мечом, — сказал он, — но здесь им орудовать небезопасно. Кроме того, я произвожу вас не в рыцари, а в герцогини.

— Предпочитаете кинжал, сир? — спросил Арнольд.

— Да, — отвечал принц, — но не трудитесь его доставать, у меня есть свой.

Он быстрым движением руки распустил пояс и сбросил штаны. Доселе невидимое орудие явилось на свет, так близко от лица Элизы, что та ощутила его жар. Не самый короткий и не самый длинный такого рода клинок, какой ей случалось видеть. Она порадовалось, что он совершенно по-голландски чистый и ухоженный. «Клинок» пульсировал в такт биению сердца своего обладателя.

— Если вы хотите ударить меня им по плечу, вам надо подойти на шаг, — сказала Элиза, — ибо, при всем своем великолепии, он не дотягивает до шпаги длиной.

— Напротив, это вы должны приблизиться, — отвечал принц. — Как вам отлично известно, моя цель не ваше плечо, правое или левое, но более нежное и заманчивое гнёздышко посередине. Не стоит разыгрывать изумление, я знаю вашу историю. Мне известно, что вы научились этому и многому другому в гареме турецкого султана.

— Там я была невольницей. Здесь я таким образом стану герцогиней?

— Как было с Монмутом, как будет во Франции, так здесь и сейчас, — обходительно произнёс Вильгельм, хватая её за волосы. — Может, научите Арнольда штучке-другой. Арнольд, смотрит внимательно.

Он потянул Элизу к себе. Она плотно зажмурилась. То, что предстояло, было само по себе не так и ужасно, но не в присутствии же свидетеля!

— Забудьте про него, — сказал принц. — Откройте глаза и смотрите на меня смело, как надлежит герцогине.

Побережье Европы и Северной Африки

Что ждёт нас в море? Радости Мида-
са:
Златые сны и впроголодь припаса,
Под жгучим солнцем в гибельных кра-
ях
До срока можно обратиться в прах.
Корабль – тюрьма, причём сия тем-
ница
В любой момент готова развалиться,
Иль монастырь, но торжествует в
нём
Не кроткий мир, а дьявольский содом;
Короче, то возок для осуждённых
Или больница для умалишённых:
Кто в Новом Свете приключений
ждёт,
Стремится в Новый, попадёт на Тот.

Джон Донн, элегия XX, «Любовная вой-
на» **[101]**

1685

---

[101] Примечания: 101
Пер. Г. Кружкова.

Джек рыдал впервые с детства, когда брата Дика вытащили из Темзы, белого и застывшего.

Команда не особенно удивлялась. Отплытие корабля всегда сопровождается бурными всплесками чувств, особенно со стороны оставляемых на пристани женщин. Господин Влийт, испугавшись, что инцидент приведёт к каким-нибудь юридическим затруднениям, взбежал по сходням, за ним поднялся должным образом благословлённый Евгений. Бриг без всяких церемоний отвалил от пристани, выскользнул в Эйсселмер и, подняв паруса, устремился вперёд по неспокойному морю. Евгений подошёл, упёрся огромным унтом в мачту и, что-то виновато бормоча, вытащил гарпун из неё, а заодно из Джековой руки. Один из матросов, сказавшийся цирюльником, развёл на камбузе огонь, чтобы раскалить железо для прижигания. У Джека была глубоко рассечена грудь и пропорота рука, так что прижигать предстояло много. Наверное, с полкоманды сидело на нём, чтоб не дёргался, пока железо прикладывали, снова накаляли, снова прикладывали, и так снова и снова чуть ли не всю дорогу через Эйсселмер. В начале этого нескончаемого таврения Джек вопил как резаный. Кто-то из матросов, сидящих на нём, явно

забавлялся, другие смотрели с осуждением, но никто — с жалостью. Да и как могло быть иначе на невольничьем корабле? Вскоре Джек доорался до того, что сорвал голос и уже не слышал ничего, кроме шипения собственного мяса.

По окончании он, завёрнутый в простыню, уселся на бушприте, словно носовая фигура, изображающая бродягу. Евгений принёс трубку, и Джек закурил. Странным образом он вообще ничего не чувствовал. Большие купеческие суда в огромных, наполненных воздухом деревянных коробах для уменьшения осадки, буксировали через мели, усеянные старыми ажурными остовами. Дальше ритм океана слегка изменился, как перед представлением, когда цветистая увертюра переходит в грозную музыку Драмы или Истории. Стало темнее и ощутимо холоднее; большие корабли, освобождённые из коробов, расправляли паруса по ветру, словно торговец тканями, демонстрирующий свой товар богатому покупателю. Товар пришёлся по вкусу; паруса наполнились ветром, напряглись, и корабли устремились к морю. Ближе к Текселу все моряки бросили работу, чтобы поглазеть на голландские линейные корабли. Флаги и вымпелы вились, как клубы дыма, три яруса орудий грозно смотрели

на Англию.

Наконец вышли в открытое море, и некоторое умиротворение снизошло на Джека, ощущавшего себя приговорённым на каждом клочке суши. Ненадолго заглянули в Дюнкерк — набрать ещё матросов. Поскольку раны не позволяли Джеку ходить, брат Боб навестил его на корабле. Они обменялись несколькими историями, которые Джек тут же начисто позабыл. Встреча с братом происходила как во сне — мельканье несвязанных обрывков. Кажется, кто-то сказал Бобу, что Джек повредился умом.

Дальше на юг. У Сен-Мало их взяли на абордаж французы, которые лишь посмеялись над бесполезным грузом и, немного пограбив для порядка, отпустили их с миром. Один из приватиров, покидая «Раны Господни», подошёл к господину Влийту. Тот втянул голову в плечи, и в ответ на трусливый жест, больше чем на что-либо ещё, француз отвесил голландцу такую пощёчину, что тот рухнул на палубу.

Даже в нынешнем полубреду Джек понимал, что эта оплеуха повредила его вложениям больше, чем если бы французы дали по бригу бортовой залп. Матросы обнаглели, а господин Влийт теперь бóльшую часть времени прово-

дил, запершись в каюте. От мятежа корабль спас мистер Фут. Используя Евгения в качестве мышечной силы, он стал истинным капитаном корабля. Старые привычки вернулись легко, как будто он и не простоял двадцать лет за стойкою «Ядра и картечи».

Следуя вдоль побережья, они обошли различные мысы Бретани, затем двинулись юго-западным курсом через Бискайский залив и несколько тревожных недель спустя увидели галисийское побережье. Джек не разделял общей тревоги, поскольку раны воспалились. Приступы горячечного бреда перемежались бесконечными кровопусканиями, которыми цирюльник пытался сбить жар; Джек представления не имел, где они находятся, а порою и вовсе не помнил, что он на корабле. Господин Влийт отказывался покидать каюту и, вероятно, правильно делал, поскольку у команды крепло желание выбросить его за борт. Однако лишь он на корабле знал навигацию. Джек валялся в гамаке под палубой, день за днём глядя на синие иголки света между досками над головой и слыша, как весело пересыпаются раковины каури всякий раз, как волна поднимает и опускает бриг.

Когда он наконец сумел выбраться на палу-

бу, там было очень жарко, а солнце стояло так высоко, как Джек ещё никогда не видел. Ему сообщили, что бриг некоторое время назад заходил в Лиссабон. Джек пожалел, что пропустил это событие: по слухам, под Лиссабоном располагалось огромное становище бродяг. Если б он сбежал с корабля, то, возможно, остался бы с ними в качестве короля. Впрочем, то была бредовая фантазия смертника, прикованного за шею к стене, и Джек вскорости её позабыл.

Согласно господину Влийту, который бесконечно брал замеры квадрантом и выполнял бесчисленные расчёты, они миновали широту Гибралтара, соответственно, земля, которую они иногда видели по левому борту, была Африкой, однако до Невольничьего берега далеко-далеко на юге им предстояло плыть ещё много дней.

Впрочем, тут он ошибся. В тот же день вперёдсмотрящие подняли крик. Выбежав на палубу, Джек и его товарищи увидели, что с кормы к ним приближаются два странных судна — казалось, они скользят, по-паучьи перебирая бесчисленными лапками. То были галеры — типичные боевые корабли берберийских корсаров. Господин Влийт некоторое время изучал их в подзорную трубу, делая на грифельной доске какие-то геометриче-

ские расчёты, потом его затошнило и он удалился в каюту. Мистер Фут открыл несколько сундуков и принялся раздавать ржавые абордажные сабли и мушкетоны.

— Зачем биться за раковины? — спросил один матрос-англичанин. — Будет как с французами у Сен-Мало.

— Их интересует не наш груз, — ответил мистер Фут. — Думаете, *свободные* люди станут так грести?

Джек не первым и не последним на бриге поставил бы под сомнение разумность лозунга «Стоять до конца», однако когда понял, что корсары хотят обратить их в галерных рабов, то резко переменил взгляды. А когда клубы порохового дыма унесло ветром, Джеку стало ясно, что сегодня он умрёт. И ещё он понял, что корсары появились на его счастье. Ему так и так скоро помирать, и уж лучше погибнуть, сражаясь за свою свободу, чем умышляя похитить чужую.

Так что он спустился в кубрик, открыл сундучок, достал янычарскую саблю в пёстрых ножнах и вновь поднялся на палубу. Команда распалась на кучки — явный зародыш мятежа. Джек взобрался на шлюпку, принайтовленную к палубе, а с неё — на крышу навигационной каюты сразу за

фок мачтой. С этой высоты он обозрел «Раны Господни» и (в который раз) подивился узости судна. И всё же бриг, как все европейские корабли, казался неповоротливым боровом в сравнении с галерами, которые скользили по волнам, как лезвия голландских коньков по замёрзшему каналу. Их влекли не только вёсла, но и огромные, шафранового цвета треугольные паруса; приближались они в кильватерном строю строго с кормы, дабы жалкие пушечки «Ран Господних» не могли дать по ним бортовой залп. Единственный фальконет на корме мог бы запулить в передовую галеру парочкой ядер размером с мандарин, но ближайшие матросы спорили, а не заряжали пушку.

— Что за мир! — крикнул Джек.

Почти все поглядели на него.

— Год за годом мы в родных краях рубим дрова, таскаем воду из колодца, ходим в церковь и не видим никаких развлечений, кроме градобития или голода, а стоит выйти в море и пройти под парусами несколько дней — на тебе! Получай берберийских корсаров у берегов Марокко! У господина Влийта, как я погляжу, отсутствует вкус к приключениям. Что до меня, я лучше сражусь с корсарами, чем буду грести на галере! Итак, я за драку!

Джек выхватил янычарскую саблю, и она ярко блеснула на солнце — не то что ржавые железяки мистера Фута. Джек отбросил ножны; те, вращаясь, отлетели к борту, на мгновение зависли в воздухе и отвесно вошли в воду.

— Вот всё, что получат корсары от Джека Кучего Хера!

Речь вызвала одобрительные крики со стороны той части команды, которая так и так собиралась драться. Вторая половина только краснела за Джека — ну можно ли так скоморошничать?

— Тебе легко — все знают, что ты умираешь, — сказал некий Генри Флетт, до сей поры состоявший с Джеком в приятельских отношениях.

— И всё же я проживу дольше тебя!

Джек спрыгнул с надстройки и двинулся на Флетта. Тот застыл ошарашенно, не подозревая, что его друзья уже бросились врассыпную. Когда Джек приблизился, и повернулся боком, и полусогнул колени, и показал Флетту кривой клинок, тот машинально принял боевую стойку, затем, опомнившись, попятился, развернулся и побежал. Грянул смех, что было и приятно, и, если хорошенько подумать, плохо. Предстоит ответственная работа, не балаган. Эти дурни не поймут, что дело нешуточное, пока кого-нибудь

не убьёшь. Поэтому Джек загнал Флетта на бак и оттуда на бушприт, уворачиваясь от кливера, мидель-кливера и бом-кливера, дрожавших и хлопавших на ветру, поскольку никто не следил за их правильным положением. Наконец бедняга Флетт застыл на самом конце бушприта, цепляясь за единственный доступный трос*[102], чтобы не слететь в воду от качки. Другой рукой он поднял саблю в слабой попытке защищаться.

— Погибнуть от руки христианина сейчас или от руки магометанина десятью минутами позже — мне всё одно. Однако если ты решил сделаться галерным рабом, твоя жизнь никчёмна, и я сброшу тебя в океан, как кусок говна.

— Я буду сражаться, — пообещал Флетт.

Джек явственно видел, что он лжёт. Однако сейчас все смотрели на него — не только команда «Ран Господних», но и неожиданно большое число вооружённых людей, высыпавших на палубу галер. Надо было соблюдать декорум. Поэтому Джек демонстративно двинулся назад по бушприту с намерением развернуться и зарубить Генри Флетта, когда тот неизбежно нападёт сзади.

Тут мистер Фут взмахнул саблей и рассёк трос,

---

[102] Примечания: 102

* Бом-кливер-нирал.

закреплённый на баковой кофель-планке, — трос, держащий тупой угол бом-кливера. Джек пригнулся и ухватился за какую-то снасть. С громким металлическим хлопком парус саваном обвил Флетта, подержал мгновенье и сбросил в море, где того сразу затянуло под несущийся вперёд корпус.

Джек сам едва не слетел в воду, поскольку повис, одной рукой цепляясь за снасть, а другой сжимая ятаган, однако Евгений могучей лапищей схватил его за локоть и втащил в безопасность.

Если это можно было назвать безопасностью. Две галеры, шедшие до сих пор в линию, за время происшествия с Флеттом разделились, чтобы одновременно подойти к бригу с боков. До слуха уже давно доносилось слабое многоголосое пение; странная мелодия, наподобие ирландских мотивов, резала английское ухо Джека своей нездешностью — впрочем, если подумать, правильно было бы сказать «здешностью». Так или иначе, это было непривычное пение на каком-то варварском языке, и сперва оно звучало медленно, ибо удары весел о воду задавали ритм, как барабан.

Теперь, когда галеры разошлись, с них донеслась резкая очередь щелчков — Джек подумал,

что стреляют какие-то мавританские ружья. Пение сразу сделалось громче. Джек различал тарабарские слова:

Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха!

Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха,

— Что-то вроде шотландских волынок, — объявил он. — Шум, который производят перед боем, чтобы не слышно было, как коленки стучат.

Кто-то — один или двое — рассмеялись, но на них зашикали другие, напряжённо вслушивающиеся в песню корсаров. Вместо того чтобы продолжиться в прежнем ритме, как положено доброй христианской мелодии, она вроде бы зазвучала быстрее:

Уру, уру ахим

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Хава нагила…

Песня точно звучала быстрее; и поскольку вёс-

ла входили в воду на каждый такт, то и гребля ускорилась вместе с ней. Расстояние между носом первой галеры и кормой «Ран Господних» сокращалось на глазах.

Уру, уру ахим!

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Уру ахим бэлэв самэах!

Хава нагила.

Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха!

Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха.[103]

Корсары пели и гребли самозабвенно. Галеры легко настигли бриг и шли теперь по бокам так близко, чтобы только не задевать его вёслами. Даже не считая невидимых гребцов, число людей на них превосходило всякое вероятие: как будто на каждой галере столпилось по целому пиратскому городу.

Левая галера первой поравнялась с бригом:

---

[103] Примечания: 103

Пробудитесь, пробудитесь, братья! Пробудитесь, братья с радостным сердцем! Давайте радоваться, давайте радоваться и ликовать (*иврит*).

снасти и паруса убраны для атаки, на борту и на юте видимо-невидимо корсаров. Многие размахивали абордажными крючьями на верёвках или держали абордажные лестницы, тоже с крючьями на концах. Джек и остальные на бриге разом увидели и поняли одну вещь. *Увидели* — что среди воинов почти нет арабов, за исключением аги, выкрикивающего приказы; то были европейцы, негры, даже несколько индусов. *Поняли* — что это янычары: не-турки, воюющие за турок.

Вслед за этим пришло осознание, что в их случае не так уж и плохо стать берберийскими корсарами.

Джек, чуть посообразительнее среднего морского бродяги, понял это на мгновение раньше других и решил первым облечь в слова, чтобы прослыть автором идеи. Он схватил со дна сундука абордажный крюк вместе с бухтой троса и, снова вскарабкавшись на крышу навигационной каюты, заорал:

— Отлично! Кто хочет сделаться турком!

Команда дружно завопила: «Ура!» Кажется, все достигли полного единомыслия — кроме Евгения, который, как всегда, не понял, что говорят. Покуда остальные пожимали друг другу руки, радуясь привалившей удаче, Джек зажал

саблю в зубах, забросил трос за плечо и полез по фок-вантам к фор-марсу — платформе на середине мачты. Пение бешено ускорилось. Вёсла двигались вразнобой — не все гребцы успевали попадать в такт!

Уру, уру ахим
Уру ахим бэлэв самэах!
Уру ахим бэлэв самэах!
Уру ахим бэлэв самэах!
Уру ахим бэлэв самэах!
Хава нагила…

Уру ахим бэлэв самэах
Уру ахим бэлэв самэах
Уру ахим бэлэв самэах
Уру ахим бэлэв самэах…

Обе галеры теперь на полкорпуса опередили бриг. По сигналу аги обе разом подняли вёсла и развернулись, чтобы сойтись с ним бортами. Гребцы замертво рухнули на вёсла и не попадали со скамей потому лишь, что в такой тесноте падать им было некуда.

— Вы видите тюрбаны, богатое платье и сабли янычар! — орал Джек. — Я вижу невольников.

Эти галеры — гробы, забитые полуживыми горемыками! Слышали щелчки? Это не стрельба, это бичи надсмотрщиков! Я вижу сотню обессиленных людей с кровавыми полосами на спине! Мы все через полчаса будем рабами, если не покажем аге, что умеем драться и достойны стать янычарами!

Произнося этот спич, Джек раскладывал трос на платформе, чтобы тот не запутался, когда будет разматываться. Абордажный крюк с левой галеры едва не угодил ему в лицо. Джек пригнулся. Крюк зацепился за доску и застонал, когда янычар внизу всем телом повис на тросе. Джек выхватил саблю и разрубил верёвку; корсар упал, и его тут же раздавило сходящимися бортами.

Стоявшая до сей минуты невероятная, почти безмятежная тишина сменилась нестройным грохотом: пираты дали залп. И снова стало тихо — ни у кого не было времени перезаряжать. На какое-то время всё окуталось дымом. Почти напротив Джека была высокая грот-мачта левой галеры с «вороньим гнездом» на самой макушке. Идеальная мишень для абордажного крюка — Джек попал с первого раза, потом, выбирая слабину, едва не сорвался с марса: корабли качнуло в разные стороны, и мачты резко разошлись.

Джек решил воспользоваться этим и несколько раз обмотал трос вокруг левой руки. Следующим движением кораблей его сорвало с марса, вогнав в живот несколько тысяч заноз, и выбросило в пространство. Верёвка, задержав полёт, чуть не оторвала ему руку. Джек со свистом пронёсся над галерой, увидев лишь ало-шафрановое пятно, и повис над океаном. Глядя туда, откуда прилетел и куда теперь летел снова, он увидел, что несколько человек — включая одного надсмотрщика — смотрят на него с любопытством. Пролетая над палубой, Джек взмахнул саблей и рассёк надсмотрщику голову пополам. Однако от удара саблей о череп верёвка раскрутилась. Вращаясь в воздухе, Джек долетел до палубы «Ран Господних» и с такой силой врезался в фок-мачту, что из него вышибло дух. Рука, держащая верёвку, разжалась. Джек лежал на палубе среди множества человеческих ног — всё сплошь незнакомых. Корабль был полон янычарами, и никто, кроме Джека, не поднял на них оружие.

За одним исключением: Евгений уловил суть первой зажигательной речи Джека, хоть и не понял более прагматичную вторую. Соответственно, он загарпунил раиса, капитана правой галеры, точно в солнечное сплетение.

Всё это и прочие подробности боя (если тут применимо такое слово) сообщил Джеку мистер Фут, когда их, раздев догола, согнали на галеру, где кузнец раскочегаривал горн, чтобы надеть оковы на узкие части их тел.

Корсары за пятнадцать минут перерыли трюмы «Ран Господних» и явно не соблазнились каури. Из пленных на галеру не перевели только господина Влийта. Его вытащили из льяла, куда он схоронился в самом начале боя, раздели и привязали к бочке. Теперь негр энергично насиловал его в задницу.

— Что за бред ты орал с фок-мачты? — спросил мистер Фут. — Никто ничего не понял. Мы только переглядывались… — Он показал, как они недоуменно пожимали плечами.

— Чтобы вы показали себя настоящими бойцами, — вкратце передал Джек основную суть, — иначе вас сразу прикуют к вёслам.

— Хм…

Вежливость не позволила мистеру Футу сказать, что в случае Джека тактика не сработала. Впрочем, судя по тому, что некоторые окровавленные, чёрные от солнца бедолаги украдкой подмигивали Джеку, убийство надсмотрщика сделало его не менее популярным среди галер-

ных рабов, чем прежде среди бродяг.

— Тебе-то что? — спросил мистер Фут несколькими минутами позже, когда стало ясно, что телесное надругательство над его бывшим компаньоном завершится не скоро. Бочка с господином Влийтом медленно продвигалась по палубе «Ран Господних», пока не упёрлась в борт, где и осталась стоять, гудя, как барабан. — Ты так и так долго не проживёшь.

— Если окажешься в Париже, задай этот вопрос крысолову Сен-Жоржу, — сказал Джек. — Он показал мне, как поступать красиво. У меня, понимаешь ли, реноме…

— Слыхал.

— Я надеялся, что ты или кто из ребят помоложе проявите боевой дух, станете янычарами, а потом когда-нибудь вернётесь в христианский мир и расскажете, как я героически бился с корсарами. Чтобы все узнали: моя история закончилась знатно. Вот и всё.

— Ну, следующий раз говори чётче, — сказал мистер Фут, — потому что мы не разобрали буквально ни слова.

— Да, да, — буркнул Джек, надеясь, что его не прикуют к одному веслу с мистером Футом — с таким занудой сбесишься. Он вздохнул. — Одно

сплошное жоподралово — прям как в Библии!

— В Писании нет про жоподралово! — возмутился мистер Фут.

— Ну, откуда мне знать, — отвечал Джек. — Дорогу! Скоро я буду в таком месте, где всё время читают Библию.

— В раю?

— По-твоему, это рай?

— Что ж, кажется, меня посадят на другую скамью, Джек, — сказал мистер Фут. И впрямь, мёртвого гребца вытащили из-за весла на корме, и мистеру Футу указывали, чтобы тот сел на его место. — Вряд ли ещё случится поговорить. С Богом!

— С Богом? *С Богом!..* Хрена ли говорить такое *галерному рабу?* — были последние (как Джек думал) его слова мистеру Футу.

Двое янычар бросили господина Влийта за борт. Джек слышал всплеск, садясь на засранную скамью, на которой ему предстояло грести до последнего вздоха.

Книга третья. Одалиска

Короли и лица, облечённые верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны.

Гоббс, «Левиафан»

Уайтхолл

февраль 1685

Как всадник, пришпоривший дикого скакуна, что пронёс его, не разбирая дороги, через несколько стран, или шкипер, когда тот после ночной схватки с волнами вновь поднимает паруса и правит в неведомое море, так доктор Даниель Уотерхауз в лето Господне 1685-е наблюдал последние часы короля Карла II.

Многое *произошло* за двенадцать лет, однако мало что *изменилось*. Мир Даниеля, словно каучук, растягивался, но не рвался и всегда сохранял исходную форму. Он получил докторскую степень; дальше оставаться в Кембридже значило читать лекции перед пустыми аудиториями, вдалбливать науки тупым герцогским сынкам и смотреть, как Исаак всё глубже погружается в беспросветную темень поисков философской ртути, Соломонова храма и толкований на Апокалипсис. Даниель перебрался в Лондон, где события свистели мимо, как пули.

Падение Джона Комстока, его отъезд и уход с поста председателя Королевского общества в своё

время представлялись событиями эпохальными. Через несколько недель Томас Мор Англси не только стал председателем Общества, но и купил особняк Комстока — лучший в Лондоне, считая королевские дворцы. Несгибаемого консерватора и архиангликанина сменил кичливый папист, и ничто, по сути, не изменилось. Даниель усвоил, что в мире полно влиятельных людей, однако, пока они исполняют одну и ту же роль, они взаимозаменяемы, как актёры второго плана, произносящие те же реплики с той же сцены.

Семена, посеянные в 1672–1673 годах, за двенадцать лет взошли и стали деревьями: одни — могучими и красивыми, другие — кривыми и уродливыми, а третьи сожгло молнией. Нотт Болструд умер в изгнании. Его сын Гомер жил теперь в Голландии. Другие Болструды перебрались в Новую Англию. Всё из-за того, что Нотт в 1679-м вздумал через суд объявить Нелл Гвин непотребной женщиной. Шума эта история тогда наделала много. Чем старше становился Карл, тем больше лондонцы боялись возврата к папизму с приходом его брата Джеймса и тем больше король нуждался в склочном пуританине Болструде, чтобы эти страхи успокаивать. Однако чем больше власти забирал Болструд,

тем сильнее он распалял народ против Джеймса и католичества. В 1678 году ненависть достигла таких масштабов, что католиков начали хватать и вешать за участие в мифическом «папистском заговоре». Когда закончились католики, начали вешать протестантов за сомнения в том, что заговор вообще был.

К тому времени сыновья Англси — Луи, граф Апнорский, и Филип, граф Ширнесский, промотали почти все семейные капиталы. Терять им было нечего, кроме своих кредиторов, и они бежали во Францию. Роджер Комсток, ставший к тому времени пэром Англии, маркизом Равенскарским, купил Англси-хаус (прежде Комсток-хаус). Вместо того чтобы въехать в особняк, Роджер велел его снести, а на освободившейся земле разбить «самую красивую площадь Европы». На самом деле выходило подобие Уотерхауз-сквер, только больше и лучше. Релей умер в 1678-м, однако Стерлинг заступил на его место так же легко, как Англси — на место Джона Комстока; теперь они с Равенскаром занимались тем же, что двенадцать лет назад, только с бóльшим финансовым размахом и меньшим числом ошибок.

Король распустил парламент, чтобы прекратить казни своих друзей-католиков, спровадил

Джеймса в Испанские Нидерланды, чтобы не мозолил недругам глаза, и вдобавок выдал его дочь Марию за главного защитника протестантской веры Вильгельма Оранского. На случай, если и этого будет мало, герцогу Монмутскому (протестанту) позволили разъезжать по стране, дразня англичан надеждой, что посредством какого-нибудь генеалогического мухлежа его объявят законнорожденным и наследником трона.

Другими словами, Карл II по-прежнему мог изумлять, ошеломлять и водить за нос. Однако его алхимические изыскания в подвале под Внутренней галереей не принесли плодов: он не мог делать золото из свинца. И не мог без парламента увеличить налоги. Уцелевшие златокузнецы на Треднидл-стрит и сэр Ричард Апторп со своим новым банком не желали давать ему в долг. Людовик XIV щедро снабжал Карла золотом, но под конец оказался не лучше любого другого богатого родственничка: научился взамен процентов по долгам всячески изводить Карла. Итак, король вынужден был созвать парламент. В итоге победили сторонники Болструда («Враги произвола», называли они себя) и первым пунктом в повестке поставили не увеличение налогов, а запрет Джеймсу (и любому другому католику) занимать

английский престол. Парламент немедленно сделался столь непопулярным у сторонников короля, что пришлось переместить его (вместе с париками, мешками шерсти и проч.) в Оксфорд, подальше от лондонских толп, подстрекаемых сэром Роджером Л'Эстранжем — тот, отчаявшись изничтожить чужие памфлеты, печатал теперь собственные. Полагая, что в Оксфорде им ничто не грозит, виги (как окрестил их Л'Эстранж) проголосовали за новый закон о престолонаследии и рукоплескали Болструду, когда тот объявил Нелли шлюхой.

Даниель услышал о решениях парламента от уличного глашатая. Они с Робертом Гуком стояли там, где у Комстока, а после у Англси, была бальная зала, а сейчас под синим октябрьским небом белела россыпь итальянского мрамора. Рабочим столом им служила коринфская капитель. Нанятые Роджером ирландцы выдернули из-под неё колонну, и капитель, рухнув, до половины ушла в землю. Она стояла как раз под нужным углом; Даниель и Гук разложили сверху чертежи и придавили осколками мрамора — кончиками ангельских крыльев и оббитыми листьями аканта. Чертежам предстояло воплотить замысел Роджера: внести немного картезианской ясности

в тот клубок спутанных корней, что представляли собой лондонские улицы. Землемеры вместе с помощниками протянули верёвки и вбили колышки, наметив оси трёх коротких параллельных улиц, на которых, согласно Роджеру, должны были расположиться лучшие лавки в Лондоне. На одной из табличек значилось «Англси», на второй — «Комсток», на третьей — «Равенскар». Однако вечером явился Роджер, вооружённый обмакнутым в чернила пером, вычеркнул эти названия и написал «Нортумберленд»*[104], «Ричмонд»**[105] и «Сент-Олбанс»***[106].

Через месяц в Британии не было ни парламента, ни Болструдов. Джеймс вернулся с чужбины, Монмута прогнали с королевской службы, и Англия, по сути, превратилась в подразделение Франции. Карл теперь открыто получал сто тысяч фунтов в год, а большинство лондонских политиков — как виги, так и тори — взятки от

---

[104] Примечания: 104

Герцог Нортумберлендский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Барбары Палмер, урождённой Вильерс, герцогини Кастлмейнской.

[105] Примечания: 105

** Герцог Ричмондский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Луизы де Керуаль, герцогини Портсмутской.

[106] Примечания: 106

*** Герцог Сент-Олбанский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Нелл Гвин, хорошенькой актрисы и торговки фруктами.

Короля-Солнце. Католиков, брошенных в Тауэр за участие в мифическом папистском заговоре, выпустили, чтобы освободить место для такого же количества протестантов, якобы участвовавших в «заговоре Ржаного дома» с целью посадить на престол Монмута. Как многие «папистские заговорщики», они быстро начали «кончать с собой». Один, например, исхитрился перерезать себе горло до самого позвоночника!

Итак, труд Уилкинса пошёл прахом, по крайней мере на время. Тысячу триста квакеров, гавкеров и других диссентеров бросили в тюрьму. Тогда-то Даниель и провёл несколько месяцев в тесноте и вони, слушая, как озлобленные люди поют те самые гимны, которым его в детстве учил Дрейк.

То было, другими словами, царствование. Царствование Карла II. Он был король, он любил Францию, ненавидел пуритан, не знал недостатка в любовницах, зато вечно нуждался в деньгах. И ничто по-настоящему не менялось.

Теперь доктор Уотерхауз стоял на королевской пристани: грубой деревянной платформе, которая лепилась к отвесной стене, сложенной из каменных блоков — такой же, как у всех дворцовых зданий со стороны реки. Глядя вниз по течению, откуда должна была прибыть лодка с врачами,

Даниель видел сплошную известняковую стену с редкими окнами или декоративными бастионами. Тремя сотнями футов ниже по течению в реку выдавался пирс; по нему на негнущихся от холода ногах расхаживали несколько героических лодочников. Рядом покачивались на воде лодки, однако час был поздний, погода — холодная, король умирал, и никто из горожан не спешил воспользоваться древним правом свободного прохода через дворец.

За пирсом река плавно сворачивала вправо, к Лондонскому мосту. Когда тусклый день сменялся серым вечером, от «Старого лебедя» — таверны у северного края моста, где собирались осторожные люди, не желающие доверять свою жизнь стремнине под арками, — отвалила лодка и с тех самых пор упорно двигалась против течения. Сейчас Даниель, вытащив из кармана подзорную трубу, уже мог различить, что в ней всего два пассажира.

Ему вспомнился вечер в 1670 году, когда он приехал сюда в карете Пеписа и бродил по саду, пытаясь держаться естественно. В ту пору это казалось ему романтическим и опасным; теперь при мысли о тогдашней своей глупости он только стиснул зубы и возблагодарил Бога, что на него

смотрела лишь отрубленная голова Кромвеля.

В последнее время он часто и подолгу бывал в Уайтхолле. Король решил немного ослабить хватку, выпустил из тюрем часть гавкеров и квакеров, а Даниеля назначил своего рода секретарём по делам безумных пуритан: преемником Нотта Болструда, с теми же обязанностями, но куда меньшей властью. Из примерно двух тысяч помещений Уайтхолла Даниель видел, быть может, сотни две — довольно, чтобы понять: это путаница грязных, покрытых плесенью закутков, словно исполинский макет мозгов царедворца, трущобы во всем, кроме названия. Целые комнаты были отданы своре полудиких спаниелей; из-за исключительной даже по королевским меркам череды близкородственных скрещиваний все они были безмозглыми даже для спаниелей. Короче, Уайтхолл был домом — домом семейства, надо сказать, престранного. За последнюю неделю Даниель познакомился с этим семейством куда ближе, чем хотел. Нынешнее ожидание на пристани стало лишь предлогом выбраться из монаршей опочивальни и вдохнуть воздуха, не пахнущего августейшими телесными соками.

Через некоторое время к нему присоединился маркиз Равенскарский. Когда в понедельник

король заболел, Роджер Комсток — самый малообещавший и покуда самый успешливый из кембриджских соучеников Даниеля — был на севере, наблюдал за строительством своей сельской усадьбы по чертежам, которые сделал для него Даниель. Новости туда идут день или два; вероятно, Роджер выехал сразу, как их получил, — сейчас был вечер четверга. Он даже не переменил дорожного платья, придававшего ему непривычно строгий, почти пуританский вид.

— Милорд.

— Доктор Уотерхауз.

По лицу Роджера Даниель видел, что тот уже побывал в королевской опочивальне. Чтобы не оставлять сомнений, Роджер подобрал длинные полы камзола, опустился на колени, нагнулся и сблевал в Темзу.

— Прошу меня извинить.

— Прямо как в студенческие дни.

— Я и не подозревал, что у человека в теле может быть столько соков, гуморов, или как там они зовутся!

Даниель кивнул на приближающуюся лодку:

— Скоро узрите новые чудеса.

— Судя по виду его величества, врачи трудятся не покладая рук?

— Они сделали всё, чтобы ускорить переход короля в мир иной.

— Даниель! Умоляю, понизьте голос, — прошипел Роджер. — Не все оценят ваш сочный юмор.

— Забавно, что вы вновь упомянули о соках. Всё началось с апоплексического удара в понедельник. Король при своём крепком организме мог бы выкарабкаться, если бы в той же комнате не случился врач с полным набором ланцетов!

— Как некстати!

— Сверкнуло лезвие, врач нашёл вену, и король простился с пинтой-двумя гумора страсти. Впрочем, его величество всегда отличался полнокровием, так что продержался до вторника и сумел оттянуть консилиум до вчерашнего дня. Тут, увы, с ним приключилась падучая. Съехались врачи и заспорили, какой гумор и в каком количестве следует выпустить. После бессонных дня и ночи спор перешёл в состязание: кто предложит более кардинальные меры. Когда король, изнемогши в борьбе, впал в забытьё, они набросились на него как псы. Врач, утверждавший, что король страдает от избытка крови, вонзил ланцет в его левую яремную вену раньше, чем остальные успели открыть свои сумки. Изрядное количество крови брызнуло наружу…

— Я как будто вижу собственными глазами.

— Погодите, я только начал. Врач, диагностировавший избыток желчи, указал, что кровопускание лишь увеличило дисбаланс. Двое его дюжих подручных усадили короля на постели, раскрыли ему рот и принялись щекотать горло различными перьями, китовым усом и прочим. Последовала рвота. Третий лекарь, утверждавший, что беды короля вызваны чрезмерным скоплением *кишечных* соков, перекатил его величество на живот и вставил в августейший анус исполинских размеров клистир. Внутрь излилась неведомая, очень дорогая жидкость, наружу…

— Да.

— Четвёртый эскулап поставил банки, дабы оттянуть через кожу другие яды, — отсюда огромные синяки, окружённые кольцевыми ожогами. Тут первый доктор пришёл в ужас, видя, что действия трёх других вновь привели к избытку крови: всё, как вы знаете, относительно. Он вскрыл правую яремную вену, пообещав, что выпустит лишь малую толику крови, однако выпустил очень даже большую толику. Теперь остальные возмутились и потребовали повторить каждый своё лечение. Однако тут появился я и, воспользовавшись (некоторые бы сказали,

злоупотребив) положением секретаря Королевского общества, посоветовал избавить короля не от гуморов, а от *врачей*. Несмотря на угрозы в адрес моей жизни и репутации, я выставил их из королевской опочивальни.

— Однако, въезжая в Лондон, я слышал, будто его величество идёт на поправку.

— После того как сыны Асклепия сделали своё дело, король не двигался двадцать четыре часа кряду. Кто-то мог подумать, что он спит. У него не было сил забиться в судорогах — кто-то мог истолковать это как знак выздоровления. Иногда я подносил холодное зеркальце к его губам, и отражение королевского лица замутнялось. Сегодня в середине дня он заворочался и застонал.

— Трудно его винить! — вскричал Роджер.

— Тем не менее некоторые врачи сумели к нему проникнуть и диагностировали лихорадку. Его величеству дали королевскую порцию патентованного эликсира Лефевра.

— И, надо думать, на душе у короля сразу полегчало неимоверно!

— Мы можем лишь строить догадки. Ему стало хуже. Соответственно врачи, которые прописывают порошки и микстуры, снова в немилости, и скоро сюда прибудут сторонники кровопусканий

и клистиров!

— В таком случае я добавлю мой вес как председателя к вашему весу секретаря, и посмотрим, на какой срок нам удастся удержать ланцеты в футлярах…

— Занятно, Роджер, что вы заострили…

— Ой, Даниель, у вас на лице проступило такое уотерхаузовское раздумье, что мне сделалось страшно: вдруг вы хотели сказать «заострил» не в буквальном смысле, как «заострить ланцет», но в философском, как «заострить внимание».

— Я думал…

— Помогите! — завопил Роджер, размахивая руками.

Однако лодочники на пирсе повернулись спиной к королевской пристани и смотрели на приближающуюся лодку с врачами.

— Помните, как Енох Роот получил фосфор из лошадиной мочи? А граф Апнорский выставил себя на посмешище, предположив, что из королевской?

— Я шокирован, Даниель, банальностью вашей мысли: что королевские кровь, желчь и прочее неотличимы от ваших. Можно ли мне в ответ просто *допустить*, что республиканский строй не лишён некоторых оснований, даже вроде бы

неплохо зарекомендовал себя в Голландии, и перейти к чему-нибудь менее избитому?

— Я клоню к несколько иному, — возразил Даниель. — Я думал, как легко Англси сменил вашего родственника и как до обидного мало это изменило.

— Покуда вы снова не загнали себя в угол, Даниель, и мне не пришлось, *как всегда,* вас вытаскивать, попрошу больше не прибегать к этому сравнению.

— Какому сравнению?

— Вы собирались сказать, что Карл — как Джон Комсток, а Джеймс — как Англси, и в конечном счёте неважно, кто правит. Опасное утверждение с вашей стороны, ибо дом, где жили Комсток и Англси, *срыт и замощён.* — Роджер кивнул на Уайтхолл. — Не такой участи мы желаем этому зданию.

— Однако я собирался сказать совсем другое!

— Что же? Нечто *не* очевидное?

— Англси сменил Комстока, Стерлинг — Релея, я, в каком-то смысле, Болструда…

— Да, доктор Уотерхауз, мы живём в упорядоченном обществе, и люди сменяют друг друга.

– *Иногда.* Но есть незаменимые.

— Вряд ли соглашусь.

— Представьте, что, не дай Бог, умрёт Ньютон. Кто его заменит?

— Гук или, быть может, Лейбниц.

— Однако Гук и Лейбниц — *иные*. Я хотел сказать, что некоторые люди обладают уникальными качествами и потому незаменимы.

— Ньютоны встречаются редко. Он — исключение из любого правила, какое вы решите назвать. Очень дешёвый риторический приём с вашей стороны, Даниель. Не думали баллотироваться в парламент?

— Тогда мне следовало привести другой пример, ибо я хотел сказать, что вокруг, на рынках и в кузнях, в парламенте, в Сити, в церквях и угольных шахтах есть люди, чья смерть и впрямь что-то изменит.

— Почему? Чем эти люди отличаются от других?

— Вопрос очень глубокий. В последнее время доктор Лейбниц усовершенствует свою систему метафизики…

— Разбудите меня, когда закончите.

— Когда много лет назад я впервые увидел его на Львиной набережной, он обнаружил прекрасное знакомство с Лондоном, хотя никогда прежде здесь не бывал. Он изучал изображения города,

сделанные разными художниками с разных точек. Тогда он пространно говорил о том, что сам город имеет некую определённую форму, но воспринимается по-разному каждым из своих обитателей в зависимости от их обстоятельств.

— Каждый первокурсник так думает.

— То было более двенадцати лет назад. В последнем письме ко мне Лейбниц пишет, что склоняется к взгляду, согласно которому город вовсе не имеет одной абсолютной формы…

— Очевидная чушь.

— …но в каком-то смысле являет собой сумму перцепций — восприятий себя всеми своими слагаемыми.

— Я знал, что не следует принимать его в Королевское общество!

— Я плохо объясняю, — признался Даниель, — поскольку пока не вполне понял его мысль.

— Так зачем вы морочите мне ей голову именно *сейчас?*

— Суть имеет отношение к перцепциям и тому, как разные части мира — разные души — воспринимают все другие части — другие души. Некоторые души обладают перцепциями слабыми и неотчётливыми, как если бы смотрели в плохо отшлифованные линзы. Другие подобны

Гуку, глядящему в свой микроскоп, или Ньютону, глядящему в свой отражательный телескоп. Их перцепции — высшие.

— Потому что у них лучше оптика!

— Нет, даже без линз и параболических зеркал Ньютон и Гук видят то, чего не видим мы с вами. Лейбниц предлагает перевернуть с ног на голову то, что мы обычно подразумеваем, называя человека незаурядным или уникальным. Обычно, говоря так, мы подразумеваем, что человек этот как-то выделяется из толпы. Лейбниц же утверждает, что исключительность коренится в способности человека с необычной ясностью воспринимать *остальную вселенную* — отличать одно от другого лучше, чем прочие души.

Роджер вздохнул.

— Я знаю лишь, что доктор Лейбниц недавно наговорил гадостей о Декарте…

— Да, в своём труде «*Brevis Demonstratio Erroris Memorabilis Cartesii et Aliorum Circa Legem Naturalem…*»[107]

— И французы на него ополчились.

— Вы сказали, Роджер, что добавите свой вес как председателя Королевского общества к моему

---

[107] Примечания: 107

«Краткое доказательство примечательной ошибки Декарта и других, относящейся к естественному закону…» (*лат.*)

весу как секретаря.

— Да.

— Однако вы мне польстили. Да, некоторые люди взаимозаменяемы. Этих двух врачей можно заменить другими, и всё равно король умрёт нынче вечером. Но могу ли я — или кто иной — так же легко заменить вас, Роджер?

— Ну знаете, Даниель, вы впервые в жизни выказали мне что-то вроде уважения!

— Вы человек незаурядный, Роджер.

— Я тронут и, разумеется, согласен с тем, к чему вы клоните, хотя, убейте меня, по-прежнему не понимаю, что это.

— Отлично. Рад слышать, что вы, как и я, считаете: Джеймс — не замена Карлу.

До того как Роджер очухался — но *после* того, как он поборол гнев, — лодка подошла так близко, что продолжать разговор стало невозможно.

— Да здравствует король! Милорд, *доктор* Уотерхауз, — произнёс некий доктор Хэммонд, выбираясь из лодки на пристань.

Роджер и Даниель вынуждены были ответить тем же.

Вслед за Хэммондом из лодки вылез доктор Гриффин и тоже приветствовал их словами «Да здравствует король!». Это означало, что они ещё

раз должны пожелать здравия короля.

Даниель, видимо, произнёс здравицу недостаточно искренне; во всяком случае, доктор Хэммонд наградил его пристальным взглядом и повернулся к доктору Гриффину, словно приглашая того в свидетели.

— Хорошо, что вы прибыли вовремя, милорд, — сказал Хэммонд Роджеру Комстоку, — ибо сдаётся, что, окружённый иезуитами с одной стороны и пуританами с другой, — взглядом пуская в Даниеля струи кипящей серной кислоты, — король чрезмерно обременён дурными советчиками.

Роджер имел обыкновение говорить с длинными паузами. Когда он был презренным шутом-субсайзером в Тринити, это воспринималось как придурковатость, теперь, когда он стал маркизом и председателем Королевского общества, придавало его словам особую вескость. Итак, когда они поднялись по ступеням до самого балкона, ведущего к королевским апартаментам, Роджер изрёк:

— Разум короля так же не должен страдать от недостатка советов со стороны людей учёных и набожных, как его тело — от недостатка различных соков, потребных для жизни и здоровья.

Махнув рукой на высящееся над ними здание,

доктор Хэммонд сказал Роджеру:

— Это место — рассадник интриг и пересудов! Буде, не дай бог, произойдёт худшее, ваше присутствие, милорд, сможет остановить *перешёптывания*.

Он наградил Даниеля ещё одним угрожающим взглядом через плечо и вслед за маркизом Равенскаром двинулся в королевские апартаменты.

— Сдаётся, кое-кто зашёл куда дальше *перешёптываний,* — заметил Даниель.

— Доктор Хэммонд озабочен исключительно сохранением *вашей* репутации, доктор Уотерхауз, — сказал Роджер.

— Прошло почти двадцать лет с тех пор, как его величество взорвал моего отца, — неужто кто-то думает, что я так надолго затаил злобу?

— Не в том дело, Даниель…

— Напротив! Отец покинул мир сей столь скоропалительно, не оставив по себе бренной оболочки, что для меня своего рода утешение — сидеть с королём ночь за ночью, вдыхать воздух, пахнущий его кровью, утирать её собственной рукой, не говоря уже о прочих удовольствиях, которых я был лишён, когда отец вознёсся…

Маркиз Равенскарский и два лекаря замедлили шаг и обменялись выразительными взглядами.

— Да, — сказал Роджер после очередной продолжительной паузы, — слишком долгое сидение в спёртой атмосфере неблаготворно воздействует на тело, разум и дух… Быть может, Даниель, вам следует отдохнуть, дабы, когда эти два заботливых врача восстановят королевское здравие, вы могли с новыми силами принести его величеству свои поздравления, а также вновь засвидетельствовать те верноподданнические чувства, которые питаете и всегда питали к нему, невзирая на события двадцатилетней давности, о коих, сдаётся, и без того уже сказано слишком много…

Ему потребовалась ещё четверть часа, чтобы завершить фразу. Прежде чем прикончить её из милости, Роджер исхитрился пропеть дифирамбы доктору Хэммонду и доктору Гриффину, сравнив одного с Асклепием, другого с Гиппократом, не преминув, впрочем, отпустить несколько осторожно-хвалебных замечаний в адрес всех врачей, на сто ярдов приближавшихся к королю за последний месяц. Кроме того, он сумел (как почти восхищённо отметил Даниель) доходчиво объяснить всем присутствующим, какая катастрофа разразится, если король умрёт и предаст Англию в руки безумного паписта, герцога Йоркского, и в том же пассаже и практически *в тех же словах*

заверить, что Йорк — отличный малый и ради блага страны им следовало бы немедленно придушить Карла II подушкой. Подобным же образом в своего рода рекурсивной фуге придаточных предложений он смог провозгласить Дрейка Уотерхауза лучшим из англичан, умом и совестью нации и признать, что, взорвав его с помощью тонны пороха, Карл II явил миру величайший пример (с какой стороны посмотреть) монаршего гения, делающего его столь колоссальной фигурой, (или) деспотичного произвола, внушающего такие светлые надежды на воцарение его брата.

Всё это покуда Даниель и врачи тащились за ним через передние, коридоры, галереи, покои и часовни Уайтхолла, раздвигая тонны пыльных портьер и выбивая плечом заклинившие двери. Возможно, когда-то весь дворец состоял из одного здания, но теперь уже никто не помнил, какое из них было первым. Новые лепились с той скоростью, с какой успевали подвозить камень и раствор; между чрезмерно отстоящими флигелями, словно бельевые верёвки, протянули галереи, между ними возникли дворы, которые со временем делились на дворики и зарастали новыми постройками. Потом строители принялись закладывать старые окна и двери и прорубать новые,

затем закладывать новые и разбирать старые или прорубать ещё более новые. Так или иначе, в каждой клетушке, комнате или зале гнездилась своя клика придворных, как у каждого клочка Германии был свой барон. Соответственно, путь от пристани до королевской опочивальни пролегал через множество границ и, следуй они в молчании, был бы связан со множеством протокольных трений. Однако маркиз уверенно вёл спутников через лабиринт, ни на мгновение не прекращая речь: подвиг, сравнимый с тем, чтобы проскакать верхом через винный погреб, на лету вдевая нитку в иголку. Даниель потерял счёт кликам и камарильям, которые они, поприветствовав, оставили позади; однако он приметил изрядное число католиков и немало иезуитов. Роджер вёл Даниеля и врачей по ломаной дуге, огибающей покои королевы; давным-давно превращённые в подобие португальского женского монастыря с молитвенниками и жуткой богослужебной утварью, покои тем не менее бурлили своими собственными интригами. Миновали королевскую часовню, превращённую в плацдарм для этого католического вторжения, что не особо удивило Даниеля, но подняло бы на ноги девять десятых Англии, если бы стало известно

за пределами дворца.

Наконец подошли к двери в королевскую опочивальню, и Роджер изумил всех, закончив-таки фразу. Он как-то изловчился отделить врачей от Даниеля и в чём-то кратко их наставить, прежде чем впустить в комнату.

— Что вы им сказали? — спросил Даниель, когда маркиз вернулся.

— Что, если они достанут ланцеты, я из их мудей теннисных мячиков понаделаю, — сказал Роджер. — У меня к вам поручение, Даниель: ступайте к герцогу Йоркскому и сообщите ему о здоровье брата.

Даниель вдохнул и задержал воздух в лёгких. Он сам не мог поверить, как непомерно устал.

— Я могу выдать какую-нибудь банальность, например, что с таким делом справится любой, а многие и лучше меня, а вы ответите чем-то, от чего я почувствую себя тупицей, например…

— В заботах о *прежнем* короле мы не должны забывать о необходимости поддерживать добрые отношения с *будущим*.

— «Мы» в данном случае означает…

— Королевское общество, разумеется! — вскричал Роджер, дивясь вопросу.

— Отлично. Что я должен ему сказать?

— Что прибыли лучшие лондонские врачи — теперь уже недолго.

Даниель мог бы укрыться от холода и ветра, пройдя по Внутренней галерее, но Уайтхолл уже сидел у него в печёнках, поэтому он вышел наружу, пересёк пару дворов и оказался перед Дворцом для приёмов, перед которым когда-то сняли голову Карлу I. Люди Кромвеля держали пленного монарха в Сент-Джеймском дворце, и на казнь его вели через парк. Четырёхлетний Даниель, сидя у отца на плечах, видел каждый королевский шаг.

Сегодня тридцатидевятилетнему Даниелю предстояло воспроизвести последний путь короля — только в обратную сторону.

Двадцать лет назад Дрейк первым бы признал, что почти все достижения Кромвеля сведены на нет Реставрацией. Но по крайней мере Карл II был протестантом (или хотя бы для приличия притворялся). Разумеется, Даниелю не следовало придавать своей прогулке слишком большое символическое значение — не хватало только, как Исааку, видеть в каждой мелочи таинственный знак свыше. И всё же он невольно воображал, будто время покатилось вспять ещё дальше, за царствование Елизаветы, в дни Марии Крова-

вой. Тогда Джон Уотерхауз, дед Дрейка, бежал в Женеву — осиное гнездо кальвинистов. Он вернулся лишь после воцарения Елизаветы, вместе с сыном Кальвином (отцом Дрейка) и многими другими англичанами и шотландцами, разделявшими его религиозные взгляды.

Так или иначе, Даниель шёл через старый турнирный двор и спускался по лестнице в Сент-Джеймский парк на пути к человеку, который, по всему, обещал стать новой Кровавой Мэри. Джеймс, герцог Йоркский, жил в Уайтхолле с королём и королевой, покуда склонность англичан собираться толпой и жечь крупные предметы при одном упоминании его имени не понудила короля сплавить братца куда подальше — скажем, в Брюссель или Эдинбург. С тех пор Джеймс оставался своего рода политической кометой: бóльшую часть времени пребывал за пределами видимости, но нет-нет да врывался в Лондон и пугал всех до полусмерти, пока пламя костров и горящих католических церквей не прогоняло его обратно во тьму. Затем король потерял терпение, распустил парламент, вышвырнул вон Болструдов и бросил остальных диссентеров за решётку. Джеймс вернулся вместе со всей свитой, хотя поселился не в Уайтхолле, а в Сент-Джеймском

дворце.

От Уайтхолла туда было пять минут хода через несколько садов, парков и торговых рядов. Почти все старые деревья повалил «дьявольский ветер», который пронёсся над Англией в день похорон Кромвеля. Мальчишкой, раздавая памфлеты на Пэлл-Мэлл, Даниель видел, как сажают молодые деревца. Сейчас у него сжалось сердце при виде того, как они вымахали.

За весну и лето придворные протоптали колеи на дорожках между деревьями. Теперь здесь было пусто — ни гуляющих, ни парадных процессий. Бурые колдобины превратились в тонкую корочку замёрзшей грязи на месиве из земли и конского навоза. Башмаки Даниеля всё время продавливали её и уходили в вязкую жижу. Он старался подальше обходить вмятины от конских копыт, оставленные несколько часов назад гвардейским полком Джона Черчилля во время показательных учений. Гвардейцы скакали взад-вперёд и рубили головы соломенным чучелам. Чучела не были наряжены вигами и диссентерами, тем не менее и Даниель, и лондонцы, палящие костры на Чаринг-Кросс, прекрасно понимали намёк.

Некий Наум Тейт недавно перевёл на английский полуторавековой давности поэму

итальянского астронома Джироламо Фракасторо, озаглавленную в оригинале «*Syphilis, Sive Morbvs Gallicvs*», а у Тейта: «Сифилис, или Поэтическая история французской болезни». И в оригинале, и в английском переложении речь шла о пастухе по имени Сифиль, которого (как всех мифических пастушков) постигла страшная и совершенно незаслуженная участь: первым подцепить одноименный недуг. Пытливые умы гадали, с какой стати мистер Тейт взял на себя труд переводить латинские вирши, без которых англичане спокойно прожили сто пятьдесят лет, — стихи о болезни, сочинённые астрономом. Некоторые ехидные лондонцы полагали, что разгадка кроется в определённых параллелях между пастушком и герцогом Йоркским. Например, все любовницы и жёны упомянутого герцога заболевали сказанной хворью; первая жена, Анна Гайд, от неё, скорее всего, и умерла; дочери, Мария и Анна, страдали глазами и по женской части, а сам герцог был то ли непроходимо туп, то ли совершенно невменяем.

Даниель как натурфилософ отлично понимал склонность людей всему подыскивать объяснение — склонность порочную и граничащую с суеверием. Однако сходство между пастушком

Сифилем и Джеймсом, наследником трона, и впрямь выглядело неслучайным. Словно желая развеять последние сомнения, сэр Роджер Л'Эстранж сейчас запугивал Тейта, понуждая того разыскать и перевести *другие* замшелые латинские поэмы. Все точно знали, что Л'Эстранж это делает, и догадывались зачем.

Джеймс был католиком и хотел стать святым. Всё к тому сходилось, потому что родился он пятьдесят два года назад в Сент-Джеймском дворце — дворце Святого Иакова. Здесь был его настоящий дом. Здесь в юные лета он обучался тому, что положено знать принцу — французскому и фехтованию. Во время Гражданской войны его вывезли в Оксфорд и более или менее бросили на произвол судьбы. Иногда папаша прихватывал сына в очередное сражение, за очередной трёпкой от Оливера Кромвеля.

Какое-то время Джеймс болтался вместе с кузенами, сыновьями своей плодовитой, но невезучей тётки Елизаветы (Зимней королевы). После поражения в Гражданской войне он вернулся в Сент-Джеймский дворец, где и жил в качестве избалованного дитяти-заложника, гуляя по парку и время от времени предпринимая мальчишеские попытки убежать со всеми их непременными

атрибутами, включая шифрованные письма тайным сторонникам. Одно такое письмо перехватили, призвали Джона Уилкинса его расшифровать, после чего парламент пригрозил отправить Джеймса в куда менее гостеприимный Тауэр. В конечном счёте он всё-таки выскользнул из парка, переодевшись в девичье платье, и бежал через море в Голландию. Покуда Гражданская война в Англии затихала, возмужавший Джеймс мотался между Голландией, островом Джерси и парижским пригородом Сен-Жермен, коротая время в приличествующих принцу забавах: верховой езде, охоте и распутстве. Кромвель тем временем продолжал сокрушать роялистов на каждом шагу — не только в Англии и Шотландии, но даже во Франции. Вскоре Джеймс остался без гроша и вынужден был стать воякой — очень, к слову, неплохим — под знамёнами маршала Тюренна, блистательного французского полководца.

По дороге Даниель несколько раз поворачивал голову и смотрел на север через Пэлл-Мэлл. Перспектива всякий раз открывалась новая, в полном соответствии с утверждениями доктора Лейбница. Однако при удачном параллаксе зданий можно было различить за кострами, которые жгли недовольные протестанты, в просвет

улиц, названных в честь незаконных королевских отпрысков, площадь, где Роджер Комсток и Стерлинг Уотерхауз возводили дома и лавки. На постройку некоторых пошли камни от особняка Джона Комстока — те самые, что Джон Комсток в своё время позаимствовал из развалин южного трансепта прежнего собора Святого Павла. В окнах горели огни, из труб поднимался дым, пахло по большей части углём, но порой ветер доносил аромат жареного мяса. Пробираясь по колдобинам пустого парка, перешагивая через головы, срубленные у чучел несколько часов назад, Даниель нагулял себе аппетит. Хорошо было бы сейчас посидеть у камелька с кружкой в одной руке и куриной ножкой в другой — однако он продолжал упрямо идти к своей цели. К какой именно?

До Сент-Джеймского дворца оставалось всё меньше, и ответ надо было найти до того, как он туда доберётся.

В какой-то момент Кромвель, как ни трудно поверить, заключил союз с Францией, и юному Джеймсу пришлось влачить унылое нищенское существование в Испанских Нидерландах. Во Фландрии он сколотил армию из беглых ирландцев, шотландцев и англичан и некоторое время

досаждал кромвелевским войскам в окрестностях Дюнкерка. После Реставрации он вступил в наследственный титул Верховного адмирала и принял участие в нескольких увлекательно-кровопролитных схватках с голландским флотом.

Так вышло, что сёстры его поумирали молодыми, брат Карл не сумел произвести на свет законного наследника, и в вопросе продолжения рода мать могла рассчитывать только на Джеймса. Покуда матушка жила себе припеваючи во Франции, её золовку Елизавету пинали по Европе, как набитый соломой свиной пузырь по ярмарочной площади. Тем не менее Елизавета рожала с нечеловеческой быстротой и заполонила всю Европу своим потомством. Многие её дети кончили ничем, однако дочь София поддержала фамильную традицию семью дожившими до совершеннолетия отпрысками. В итоге по количеству приплода Генриетта-Мария Французская, мать Карла и Джеймса, проигрывала жалкой Зимней королеве. Джеймс был единственной её надеждой. Соответственно, она всеми правдами и неправдами оберегала его от опасности — оставляя у Джеймса чувство, что он уничтожил меньше неприятельских армий и потопил меньше вражеских флотов, чем мог бы, не мешай

ему матушка.

Чем он занимался после 1670-го? Добывал в Африке золото, а когда из этого ничего не вышло — негров. Без особого успеха убеждал английских дворян переходить в католичество. Жил в Брюсселе, потом в Эдинбурге, рыскал по Шотландии, истребляя диких пресвитериан в их сельских молельнях. На самом деле он просто ждал своего часа. В точности как Даниель.

Двенадцать лет пронеслись, волоча Даниеля за собой, словно всадника, зацепившегося ногой за стремя.

Что это означает? Что пора взять дело в свои руки и навести в жизни порядок. Найти, чему посвятить отпущенные ему годы. Он слишком уподобился Дрейку, дожидаясь некоего Апокалипсиса, который никогда не наступит.

При мысли, что Джеймс будет править Англией душа в душу с Людовиком XIV, Даниелю делалось худо. Вот оно бедствие, такое же, как Великий лондонский пожар.

Осознание явилось разом, как Афина из головы Зевса, оставалось лишь сортировать его следствия.

В чрезвычайных ситуациях нужны решительные меры — например, взрывать дома (как

Карл II) или открывать шлюзы, оставляя пол-Голландии под водой (как Вильгельм Оранский). Или даже свергать королей и рубить им головы, как Дрейк и его сподвижники. Такие, как Карл, Вильгельм, Дрейк действуют без колебаний, в то время как Даниель то ли (а) жалкое трусливое ничтожество, то ли (б) мудро выжидает время.

Может быть, для того Господь с Дрейком и отправили его в этот мир, чтобы он сыграл некую ключевую роль в последней схватке между Вавилонской блудницей (она же Римско-католическая церковь) с одной стороны и Свободной торговлей, Свободой совести, Конституционной монархией и прочими англосаксонскими добродетелями с другой. В схватке, которой предстояло начаться примерно через десять минут.

> Латиняне теперь чувствуют себя при дворе куда увереннее, чем когда-либо со времён Реформации.
>
> ***Дневники Джона Ивлина***

Мысли эти настолько напугали Даниеля, что при входе в Сент-Джеймский дворец у него едва не подломились колени. Неловкость, впрочем, получилась бы куда меньшая, чем можно во-

образить: снующие туда-сюда придворные и гренадёры, согревающие руки над синим огнём колеблемых ветром факелов, сочли бы просто, что с очередным безумным пуританином приключился религиозный экстаз. Однако Даниель устоял на ногах и даже втащил себя по лестнице, оставляя на полированном камне грязные отпечатки башмаков. Наследить при входе — сомнительное начало для заговорщика.

Сент-Джеймский дворец был просторнее бывших апартаментов Джеймса в Уайтхолле и (как отметил сейчас Даниель) дал тому возможность завести собственный двор, который пересечёт парк и заменит двор Карла в миг перехода власти. То было странное смешение оголтелых папистов и серой посредственности. Даниель ругал себя за то, что не присматривался к этим людям внимательнее. Кто-то из них будет исполнять ту же роль и разыгрывать те же диалоги, что и предшественники, но кто-то (если размышления Даниеля на королевской пристани — не полная чушь) обладает уникальными перцепциями. Их следует распознать.

Пробираясь через дворец, Даниель видел всё меньше гренадёров и всё больше красивых зелёных щиколоток, мелькающих под пышными

юбками. У Джеймса имелось пять главных любовниц (включая графиню и герцогиню) и семь второстепенных — по большей части весёлых вдовушек, тоже, разумеется, не абы чьих. Почти все они были фрейлины, что позволяло им безвылазно торчать в Сент-Джеймском дворце. Даниель героически старался уследить за подобными вещами и мог по памяти перечислить королевских любовниц, но герцогских не превозмог. Впрочем, было эмпирически установлено, что герцог неспособен пропустить ни одной молодой особы в зелёных чулках, так что Даниель мог более или менее отсортировать их, просто глядя на щиколотки.

С любовницами следовало повременить до тех пор, пока он не узнает хотя бы, как их зовут. Оставались приближённые. Некоторые сполна определялись словами «придворные» или «безмозглые щёголи», других следовало изучить и понять во всём многообразии их перцепций. Даниель содрогнулся при виде субъекта, которого, не будь тот во французском дворянском платье, принял бы за шаромыжника. Казалось, это плод какого-то чудовищного эксперимента, поставленного Королевским обществом: две человеческие головы, одну побольше, другую поменьше, раз-

резали пополам и срастили по шву. Субъект постоянно дёргался, словно половинки головы спорят, куда смотреть. Время от времени спор заходил в тупик; тогда он замирал на несколько мгновений, открыв рот. Потом моргал и вновь с сильным французским акцентом обращался к своему собеседнику — молодому офицеру Джону Черчиллю.

Лучшая половина странного француза выглядела лет на сорок-пятьдесят. То был Луи де Дюра, племянник маршала Тюренна, давно и прочно осевший в Англии. Женившись на правильной англичанке и собрав для Карла II изрядно налогов, он стал бароном Троулейским, виконтом Сондским и графом Февершемским. Февершем, как его обычно называли, был постельничим Карла II, и сейчас ему следовало находиться в Уайтхолле. Его отсутствие на месте можно было бы расценить как постыдное небрежение обязанностями. Однако Февершем к тому же командовал конной гвардией, что давало ему предлог околачиваться в Сент-Джеймском дворце: Джеймс, ненавистный всем, но здоровый будущий король, нуждался в охране больше всенародно любимого, но умирающего Карла.

За угол и в другой зал, такой холодный, что

у говорящих изо рта поднимался пар. Даниель приметил Пеписа и направился было к нему. Тут порыв сквозняка из неплотно пригнанной рамы отогнал облачко пара от человека, с которым тот разговаривал. Даниель узнал Джеффриса. Лицо его с годами обрюзгло, но глаза были всё так же прекрасны и смотрели прямо на Даниеля. На миг его парализовало, как мелкого зверька под гипнотическим взглядом змеи, однако он сообразил отвернуться и юркнул через ближайший дверной проём в галерею, соединяющую различные герцогские покои.

Где-то здесь томилась Мария-Беатриса д'Эсте, она же Мария Моденская, вторая жена герцога. Даниель старался не думать, что она чувствует — итальянская принцесса, выросшая между Генуей, Флоренцией и Венецией, окружённая любовницами мужа-сифилитика, окружённого, в свою очередь, протестантами, окружёнными в свой черёд холодным северным морем, — в бессрочном заточении с единственной целью в жизни: произвести на свет сына, чтобы трон закрепился за католиками, но до сих пор бесплодная.

Куда веселее выглядела Катерина Седли, герцогиня Дорсетская, которая и прежде была небедна, а теперь ещё заполучила пенсион, родив двух из

бесчисленных незаконных отпрысков Джеймса. Она была не хороша собой, не католичка и даже не потрудилась натянуть зелёные чулки, но обладала загадочной властью над герцогом, к зависти прочих его любовниц. Катерина Седли прогуливалась по галерее с иезуитом, отцом Петром, который, помимо прочего, наставлял в католической вере незаконных детей Джеймса. Лицо мисс Седли светилось улыбкой, и Даниель подумал, что иезуит рассказывает что-то забавное о проделках её детей.

Галерею, лишённую окон, освещали лишь несколько свечей. Он должен был казаться им призраком — бледное лицо, тёмное платье. Пуританский фантом, ночной кошмар, от которого никогда не избавиться аристократам, пережившим гражданскую войну. Умилённые улыбки сменились тревожным взглядом: кто это, приглашённый гость или фанатик-убийца? Даниель сознавал всю свою гротескную неуместность, однако годы в Тринити-колледже научили его многому. Он поклонился герцогине Дорсетской и обменялся натянутыми приветствиями с иезуитом. Эти люди никогда его не полюбят, между ними никогда не будет добрых доверительных отношений. И всё же была в происходящем некая

неприятная симметрия. Он видел недоумение на их лицах, затем — узнавание и, наконец, вежливую маску, под которой они силились определить, зачем он здесь и как Даниель Уотерхауз вписывается в общую картину событий.

Если бы Даниель поднёс зеркало к собственному лицу, он увидел бы ту же смену выражений.

Он один из них; не столь влиятельный, не столь сановитый, вернее, вовсе без всякого сана, однако он *здесь, сейчас* — единственный сан, имеющий вес в глазах этих людей. Быть тут, дышать воздухом дворца, раскланиваться с герцогскими любовницами — своего рода посвящение. Дрейк сказал бы, что просто войти к таким людям и проявить к ним элементарную вежливость — значит стать соучастником власти. Когда-то Даниель вместе с другими смеялся над отцовскими разглагольствованиями. Теперь он понял, что всё так и есть, ибо, когда герцогиня его узнала и назвала по имени, он почувствовал гордость. Дрейк, будь у него могила, перевернулся бы в гробу. Однако могила Дрейка — в воздухе над Лондоном.

Очередной порыв ветра налетел на дворец и старые потолочные балки затрещали.

Герцогиня наградила Даниеля сведущей улыбкой. У него была любовница, и мисс Седли это

знала: несравненная Тесс, умершая от оспы пять лет назад. Теперь у него не было любовницы, и мисс Седли, вероятно, знала об этом тоже.

Он настолько замедлил шаг, что почти остановился. Сзади послышались стремительные шаги, и Даниель втянул голову, ожидая, что тяжёлая рука ляжет ему на плечо, но двое придворных, затем ещё двое (включая Пеписа) разошлись за его спиной, как ручей перед камнем, и вновь сошлись у большой готической двери, такой старой, что дерево от времени стало серым, словно небо. Последовал некий длительный ритуал: постучать, прокашляться, повертеть ручку. Дверь отворилась изнутри; петли застонали, как тяжелобольной.

Сент-Джеймский дворец содержался в лучшем порядке, чем Уайтхолл, и всё равно это был огромный старый дом. Куда более ветхий, чем тот, что выстроил Комсток и купил Англси. Однако тот дом рухнул. И обрушил его не государственный переворот, а рынок. Комстока и Англси сгубили не свинцовые пули, а золотые монеты. У людей, что селились теперь на развалинах, такого боеприпаса было в достатке.

Чтобы привести в движение эти силы, довольно властной способности решать и действовать.

Ему сделали знак войти. Пепис шагнул навстречу, протягивая руку, словно хотел взять Даниеля под локоток. Будь Даниель герцогом, Пепис сейчас шепнул бы ему на ушко мудрый совет.

— Что мне сказать? — спросил Даниель.

Пепис ответил сразу, как будто три недели репетировал этот разговор перед зеркалом.

— Не думайте слишком много о том, что герцог боится и ненавидит пуритан, Даниель. Думайте лучше о тех, кого герцог любит, о папах и полководцах.

— Хорошо, мистер Пепис, я о них думаю… и мне ни капли не легче.

— Верно, Роджер мог отправить вас на заклание, а герцог может увидеть в вас убийцу. Коли так, любые попытки подольститься будут восприняты превратно. Да вы в этом и не сильны.

— Что ж… если мне суждена казнь, я должен мужественно положить голову на плаху…

— Спойте парочку гимнов! Поцелуйте Джека Кетча и простите его заранее! Покажите этим вертопрахам, чего вы стоите!

— Вы правда думаете, что Роджер послал меня сюда ради…

— Разумеется, нет! Я пошутил.

— Есть традиция убивать вестника.

— Как ни трудно вам будет поверить, Даниель, герцог восхищается некоторыми качествами пуритан: их строгостью, их сдержанностью, их неколебимостью. Он видел Кромвеля в бою, Даниель! Он видел, как Кромвель вырубил под корень поколение придворных щёголей, и не забыл этого.

— Вы хотите, чтобы я изобразил Кромвеля?!

— Изображайте, кого хотите, Даниель, только не придворного. — Самюэль Пепис крепко взял Даниеля за локоть и практически втолкнул в дверь.

Даниель Уотерхауз стоял перед Джеймсом, герцогом Йоркским.

Герцог был в белокуром парике. Светлая кожа и выпуклые глаза всегда придавали ему сходство с юнцом, только каким-то уродливо-старообразным. Вокруг придворные перешептывались и переминались с ноги на ногу. Иногда звякала шпора.

Даниель поклонился. Джеймс словно и не заметил. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Карл давно бы отпустил остроту, разрядил обстановку, дал Даниелю понять, как к нему относится. Джеймс лишь выжидательно молчал.

— Как мой брат, доктор Уотерхауз? — спросил

он наконец.

По тону вопроса Даниель понял, что Джеймс понятия не имеет, насколько плох его брат. Все знали крутой нрав герцога — никто не осмелился сказать ему правду.

— Ваш брат умрёт в течение часа, — сказал Даниель.

Словно набиваемые на бочку обручи, кольцо придворных сжалось и напружинилось.

— Так ему хуже?! — вскричал Джеймс.

— Он был при смерти всё это время.

— Почему же никто мне прямо не сказал?

Правильный ответ был бы, вероятно: «Говорили, да вы не поняли», однако никто не смог бы такое произнести.

— Не знаю, — отвечал Даниель.

Роджер Комсток, Самюэль Пепис и Даниель Уотерхауз стояли в передней Уайтхолла.

— Он сказал: «Меня окружают люди, которые боятся говорить мне правду в глаза». Он сказал: «Я не такой многогранный, как мой брат. Не настолько многогранный, чтобы быть королём». Он сказал: «Мне нужна ваша помощь».

— Он так и сказал?! — изумился Роджер.

— Разумеется, нет, — фыркнул Пепис. — Но подразумевал.

В передней были две двери. Одна вела в Лондон, и пол-Лондона, казалось, собралось по другую её сторону. Вторая вела в королевскую опочивальню, где у ложа умирающего собрались Джеймс, герцог Йоркский, герцогиня Портсмутская, главная любовница короля, отец Хаддингтон, католический священник, и Луи де Дюра, граф Февершемский.

— Что ещё он сказал? — спросил Роджер. — А главное, что ещё *подразумевалось?*

— Он туп и неподатлив, потому нуждается в ком-нибудь сообразительном и гибком. Очевидно, считается, что я обладаю обоими этими качествами.

— Отлично! — воскликнул Роджер с не вполне уместной сейчас весёлостью. — Благодарите мистера Пеписа: герцог ему доверяет, а мистер Пепис хорошо о вас отзывался.

— Спасибо, мистер Пепис…

— Всегда пожалуйста, доктор Уотерхауз!

— …что заверили герцога в моей трусливой готовности поступаться убеждениями.

— Как ни горько мне было бы возводить на вас столь гнусный поклёп, Даниель, я охотно бы это сделал, чтобы услужить доброму другу, — мигом откликнулся Пепис.

Роджер нетерпеливо спросил:

— Его высочество обращался к вам за советом?

— По пути через парк я сообщил ему, что мы живём в протестантской стране и он принадлежит к религиозному меньшинству. Герцог был ошарашен.

— Должно быть, для него это тяжёлый удар.

— Я посоветовал ему обратить сифилитическое слабоумие себе на пользу: оно продемонстрирует народу, что король — тоже человек, и в то же время послужит оправданием части его поступков.

— Вы такого не говорили!

— Доктор Уотерхауз просто проверяет, внимательно ли вы слушаете, — вставил Пепис.

— Он сказал мне про свой сифилис двадцать лет назад в Эпсоме, — объявил Даниель, — и тайна — тогда это была тайна — не выплыла на свет *немедленно*. Быть может, потому он меня и уважает.

Роджера не интересовали столь старые новости. Взгляд его был устремлён в противоположный угол, где плечом к плечу стояли отец Пётр и французский посол Барильон.

Одна из дверей отворилась. За ней на испачканной постели лежал покойник. Отец Хаддингтон осенял его крестным знамением, бормоча по-

следние строки елеопомазания. Герцогиня Портсмутская рыдала в платок, а герцог Йоркский — нет, король Англии молился, сжав руки.

Герцог Февершемский, пошатываясь, вышел из комнаты и прислонился к косяку, не радостный и не опечаленный, просто растерянный. Он только что стал главнокомандующим английской армией. У Поля Барильона было такое лицо, будто он тайком сосёт шоколадный трюфель. Самюэль Пепис, Роджер Комсток и Даниель Уотерхауз озабоченно переглянулись.

— Ну как, милорд? — спросил Пепис.

— Что? А… Король умер. — Февершем закрыл глаза и уронил голову на локоть, словно собрался вздремнуть.

— Да здравствует… — напомнил Пепис.

Февершем очнулся:

— Да здравствует король!

— Да здравствует король! — подхватили все.

Отец Хаддингтон завершил обряд и повернулся к двери. Роджер Комсток воспользовался моментом, чтобы перекреститься.

— Не думал, что вы католик, милорд, — заметил Даниель.

— Заткнитесь, Даниель! Вы же знаете, что я горой за свободу совести — разве я когда-нибудь

допытывался о *вашей* религии? — отвечал маркиз Равенскарский.

Версаль

Нынче наш пол ценят дёшево; молодая женщина может быть писаной красавицей, знатной, воспитанной, остроумной, рассудительной, изящной и скромной, обладать всевозможными прекрасными качествами, но если у неё нет денег – у неё нет ничего; в наши дни одни только деньги заставляют уважать женщину; нет денег – и мужчины не церемонятся с нашей сестрой.

Даниель Дефо, «Молль Флендерс»

лето 1685

Графу д'Аво
12 июля 1685
Монсеньор!

Как видите, я зашифровала письмо согласно Вашим инструкциям, хотя лишь Вам ведомо, от кого Вы хотите его уберечь: от голландских шпионов или от Ваших недругов при дворе. Да, я обнаружила, что у Вас есть недруги.

По пути меня ограбили грубые неотёсанные голландцы. Хотя по их виду и манерам этого не

скажешь, у них есть нечто общее с братом французского короля, а именно страсть к женскому белью. Ибо они тщательно прочесали мой багаж и облегчили его на несколько фунтов.

Стыдитесь, монсеньор! Как Вы могли спрятать письма в моих вещах! Некоторое время я боялась, что меня бросят в какой-нибудь ужасный голландский работный дом и заставят до скончания дней скоблить мостовую и вязать чулки. Однако по вопросам, которые мне задавали, я вскоре поняла, что Ваш французский шифр совершенно поставил их в тупик. Для проверки я ответила, что могу прочесть эти письма ровно так же, как они; по кислым минам вопрошавших стало ясно, что я разом обличила их невежество и доказала собственную невиновность.

Я прощу Вас, монсеньор, за пережитые по Вашей милости треволнения, если Вы простите, что я до последнего времени полагала чистым безумием Вашу затею отправить меня в Версаль. Ибо такой, как я, не место в прекраснейшем дворце мира.

Теперь я многое узнала и поняла.

Здесь циркулирует история, которую Вы наверняка слышали. Героиня — девушка, немногим лучше невольницы, дочь мелкопоместного дво-

рянина, низведённого до состояния почти что бродяги. От безысходности она вышла за калеку-литератора. Литератор держал в Париже салон, который посещали многие важные особы, уставшие от глупой светской болтовни. Молодая женщина познакомилась со знатными гостями супруга. Когда тот умер, оставив её без гроша, некая герцогиня из жалости взяла овдовевшую женщину в Версаль и приставила гувернанткой к своим незаконнорожденным детям. Эта герцогиня была не кто иная, как официальная любовница короля, а её дети — внебрачные королевские отпрыски. Далее история повествует, что Людовик XIV вопреки давней традиции христианских владык ставит своих побочных детей немногим ниже дофина и прочих законных чад. Этикет требует, чтобы законных королевских детей воспитывала герцогиня; соответственно, гувернантку своих бастардов король сделал маркизой. В последующие годы он охладел к официальной любовнице, которая превратилась в жирную кривляку, и каждый день, приезжая к ней после мессы, направлялся прямиком к вдове — маркизе де Ментенон, как теперь её называли. И наконец я узнала то, о чём известно всему Версалю: не так давно король тайно женился

на маркизе де Ментенон, и теперь она королева Франции во всём, кроме официального титула.

Ясно видно, что Людовик держит своих вельмож в узде; им остаётся лишь забавляться азартными играми в отсутствие короля и копировать королевские поступки в его присутствии. Соответственно, каждый герцог, граф и маркиз в Версале рыщет по детским и классам, мешая учёбе, в поисках хорошеньких гувернанточек. Без сомнения, Вы знали об этом, когда устраивали меня гувернанткой к детям графа де Безье. С ужасом думаю, в каком долгу у Вас бедный вдовец, если согласился на такое! С тем же успехом Вы могли бы определить меня в бордель, монсеньор, столько юных вертопрахов ошиваются у входа в графские покои и преследуют меня в саду, куда я выхожу со своими питомцами, — не из-за моей природной неотразимости, а потому, что так поступил король.

По счастью, его величество не счёл нужным удостоить меня высокого титула, иначе я не знала бы и минуты покоя, чтобы писать Вам письма. Я сказала этим бездельникам, что мадам де Ментенон славится своей набожностью и что король (которому не откажет ни одна женщина в мире и который меняет любовниц как перчатки)

полюбил её за ум. Они немного присмирели.

Надеюсь, читая мой рассказ, Вы несколько развеялись и отвлеклись от утомительных обязанностей в Гааге, посему простите, что я не пишу ничего существенного.

Ваша покорная слуга
Элиза

P. S. Финансовые дела графа де Безье в страшном расстройстве: за прошлый год он потратил четырнадцать процентов дохода на парики и тридцать семь — на проценты по долгам, в основном карточным. Типично ли это? Попытаюсь ему помочь. Того ли Вы хотели? Или Вы желаете, чтобы он оставался в стеснённых обстоятельствах? Это проще.

> Мои слова, столь тёмные на вид,
> Как ларчик, а в ларце брильянт сокрыт.
>
> ***Джон Беньян, «Путь паломника»***

Готфриду Вильгельму Лейбницу
4 августа 1685
Дорогой доктор Лейбниц!

Начальная трудность[108] сопутствует всякому новому предприятию, и мой приезд в Версаль не стал исключением. Я благодарю Бога, что провела несколько лет в серале константинопольского дворца Топкапы, где обучалась роли султанской наложницы, ибо ничто иное не подготовило бы меня к Версалю. В отличие от Версаля, султанский дворец рос без единого плана и снаружи представляется случайным нагромождением минаретов и куполов. Однако изнутри оба дворца одинаковы: множество тесных комнатёнок без окон, выгороженных из других комнат. Разумеется, таков дворец глазами мышонка: как я никогда не была в сводчатом чертоге, где турецкий султан лишает невинности своих невольниц, так мне не довелось вступить в Салон Аполлона и узреть Короля-Солнце во всем его великолепии. В обоих дворцах я видела лишь чуланы, подвалы и чердаки, где ютятся придворные.

Некоторые части дворца и почти все сады открыты для любого прилично одетого посетителя. Это означает, что поначалу для меня они были закрыты, ибо люди Вильгельма изорвали все мои

[108] Примечания: 108

Название третьей гексаграммы «И-Цзин», или 010001, — ключ к посланию, скрытому в тексте письма *(здесь и далее названия гексаграмм приведены в перев. Ю. Щуцкого).*

платья. Однако после того, как моя история стала известна, многие дамы принялись задаривать меня обносками со своего плеча — то ли из сострадания к моей горькой участи, то ли из желания освободить тесные гардеробы от прошлогодних нарядов. Мне удалось перешить их если не в совсем модные, то по крайней мере в такие, чтобы не вызывать насмешек, гуляя по саду с сыном и дочерью графа де Безье.

Дворец невозможно живописать словами. Полагаю, так и задумывалось: всякий, кто хочет о нём узнать, должен явиться сюда лично. Замечу только, что каждая капля воды, каждый лист или лепесток, каждый квадратный дюйм стены, пола и потолка несёт на себе печать человека: всё продумано величайшими умами, ничто не случайно. Дворец преисполнен намерения, и куда ни глянь, видишь устремлённые на тебя взгляды зодчих и, чрез них, Верховного Зодчего — Людовика. Я сравниваю увиденное здесь с каменными глыбами и кусками дерева, которые встречаются в Природе и которым строители в других местах лишь слегка придают форму. Ничего подобного в Версале нет.

В Топкапы всё убрано великолепными коврами, доктор, каких никто в христианском мире

не видел, созданными нить за нитью, узелок за узелком, трудами человеческих рук. Таков и Версаль. Здания, возведённые из обычного камня и дерева, рядом с ним — что мучной куль рядом с бриллиантовым ожерельем. Чтобы нарисовать рядовое событие, скажем, беседу или обед, надо было бы отвести пятьдесят страниц описанию залы и её убранства, ещё пятьдесят — нарядам, драгоценностям и парикам собравшихся, пятьдесят — их родословным, пятьдесят — разъяснению их нынешней роли в различных придворных интригах; и, наконец, собственно произнесённые слова уместились бы на одной.

Нет надобности говорить о бессмысленности такой затеи, и всё же надеюсь, что Вы простите многословные цветистые описания, от которых я порой не в силах удержаться. Знаю, доктор, что, даже не видя Версаля и здешних нарядов, Вы, при Вашем несравненном уме, сумеете вообразить их по тем грубым подражаниям, которые наблюдаете при немецких дворах. Посему воздержусь от перечисления каждой мелочи. Знаю также, что Вы составляете генеалогическое древо Софии, и богатство Вашей библиотеки позволяет Вам ознакомиться с родословной любого захудалого дворянчика, какого мне случится упомянуть.

Посему не буду чрезмерно распространяться и об этом. Попытаюсь описать нынешнее состояние придворных интриг, ибо о них Вам знать неоткуда. Например, два месяца назад моему хозяину, графу де Безье, выпала честь держать свечу на вечернем туалете короля, и в следующие две недели его приглашали на все самые значительные приёмы. Однако с тех пор его звезда закатилась и жизнь стала очень тихой.

Если Вы читаете это, значит, нашли ключ из «Книги Перемен». Судя по всему, криптография во Франции сильно отстаёт от искусства украшения интерьеров; голландцы взломали их дипломатический шифр, однако шифр этот изобрёл придворный, о котором король весьма высокого мнения, поэтому никто ничего не смеет сказать. Если правда то, что говорят о Кольбере, он бы никогда такого не допустил. Как Вы знаете, Кольбер умер два года назад, и шифры с тех пор не менялись. Я пишу этим взломанным шифром д'Аво в Голландию, полагая, что каждое слово расшифруют и прочтут голландцы. Вам я пишу, полагая, что Ваш шифр сохранит тайну нашей переписки.

Поскольку Вы пользуетесь шифром Уилкинса, в котором одна буква послания шифруется пятью

буквами открытого текста, мне приходится писать пять слов чепухи, чтобы зашифровать одно слово сути, посему готовьтесь к длинным описаниям нарядов, этикета и тому подобным скучным длиннотам в следующих моих письмах.

Надеюсь, не будет чрезмерной самонадеянностью предположить, что Вы любопытствуете узнать о моём положении при дворе. Разумеется, я ничто, меньше самого маленького чернильного пятнышка на полях «Уложения о церемониях». Однако от внимания знати не ускользнуло, что Людовик XIV выбирал наиболее значительных своих министров (таких, как Кольбер, который приобрёл одну из Ваших вычислительных машин!) из представителей третьего сословия и женился (тайно) на женщине низкого звания, посему модно иногда беседовать с простолюдинкой, если та умна или может быть чем-нибудь полезна.

Разумеется, толпы молодых людей мечтают о близости со мной, но расписывать подробности было бы безвкусно.

Поскольку жилище графа де Безье в южном флигеле весьма неудобно, а погода стояла прекрасная, я по несколько часов в день гуляла с моими подопечными, Беатрисой и Луи, девяти

и шести лет соответственно. Версаль окружён садами и парками, которые по большей части пустуют и наполняются придворными лишь когда король выезжает на охоту или на прогулку. До недавнего времени здесь толпились простолюдины, приходившие из самого Парижа полюбоваться красотами, но они создавали такую давку и так портили статуи, что недавно король изгнал чернь из своих садов.

Как Вам известно, знатные дамы, выходя из дома, покрывают лицо маской, дабы уберечь его от загара. Многие утончённые мужчины поступают так же; брат короля Филипп, которого обычно называют Мсье, носит такую маску, хоть и жалуется, что она смазывает белила и румяна. Однако в сильную жару маска причиняет крайнее неудобство, и в последние дни версальские дамы, а также их слуги и ухажёры предпочитали вовсе не выходить на улицу. Я часами бродила по саду с питомцами, встречая лишь садовников да влюблённых, ищущих укромную рощицу или грот.

Сад прорезан прямыми дорожками и проспектами; на каждом шагу взорам открывается новая неожиданная панорама фонтанов, скульптурных групп или самого дворца. Я учу Беатрису и Луи

геометрии, заставляя их рисовать план сада.

Если эти дети — будущее дворянства, то Франция, какой мы её знаем, обречена.

Вчера я гуляла вдоль канала к западу от замка. Канал имеет форму креста: длинная ось вытянута с запада на восток, короткая — с юга на север, и, поскольку это единый водоём, поверхность его, как свойственно воде, ровная. Я вставила иголку в один конец пробки, другой утяжелила (штопором, на случай если Вам интересно!) и пустила её в круглый пруд на пересечении каналов, рассчитывая (как Вы уже наверняка догадались) ознакомить Беатрису и Луи с концепцией третьего пространственного измерения, перпендикулярного двум на плоскости. Увы, пробка не захотела плавать стоймя. Она отплыла, так что мне пришлось лечь на живот и рукой подгребать её к берегу. Рукава дарёного платья намокли. Всё это время я была занята нытьём скучающих детей и собственными чувствами: ибо, должна признаться, слёзы бежали у меня по щекам при воспоминании об уроках, преподанных мне, тогда ещё маленькой девочке, в Алжире, матушкой и добровольным женским сестринством Общества британских невольников.

В какой-то момент я различила голоса — муж-

ской и женский — и поняла, что они разговаривают неподалёку уже какое-то время, но я за другими заботами услышала их только сейчас. Я подняла голову и увидела на противоположном берегу двух всадников: высокого статного мужчину величавой наружности, в парике, напоминающем львиную гриву, и женщину борцовского сложения в охотничьем наряде, с хлыстом в руке. Лицо её было открыто солнцу, и, вероятно, уже давно, ибо почернело от загара. Они со спутником говорили о чём-то другом, но когда я подняла голову, то привлекла внимание мужчины: он приподнял шляпу, приветствуя меня с другого берега! В тот миг солнце осветило его лицо, и я узнала Людовика XIV!

Я не знала, куда спрятаться от неловкости, и сделала вид, будто ничего не заметила. По прямой мы были совсем близко, однако, пожелай король и его дианоподобная спутница подъехать ко мне, им пришлось бы проделать значительный путь по своей стороне канала, обогнуть круглый пруд в дальнем конце и покрыть такое же расстояние по ближнему берегу. Итак, я убедила себя, что до них далеко, притворилась, будто ничего не вижу, и, чтобы скрыть неловкость, затараторила детям про Евклида и Декарта.

Король надел шляпу и спросил: «Кто это?»

Я закрыла глаза и вздохнула с облегчением; король решил мне подыграть и сделал вид, будто мы друг друга не видели. Наконец я поймала злополучную пробку, села, разложив юбки, в профиль к королю, и тихо продолжила урок.

Меж тем про себя я молилась, чтобы спутница короля не знала моего имени. Однако, как Вы наверняка уже догадались, доктор, то была невестка его величества, Елизавета-Шарлотта, которую обитатели Версаля называют Мадам, а любимая тётушка София — Лизелоттой.

Почему Вы не сказали мне, что Рыцарь Шуршащих Листьев — лесбиянка? Полагаю, не следовало удивляться, учитывая, что её муж — педераст, однако в тот миг я совершенно опешила. Есть ли у неё любовницы? Впрочем, я забегаю вперёд; знает ли она сама, что ей нравятся женщины?

Долгое мгновение она смотрела на меня; в Версале ни одно значительное лицо не отвечает быстро и под влиянием чувств; каждая фраза просчитывается, как шахматный ход. Я знала, что она собирается ответить: «Не знаю её», и молилась, чтобы прозвучали эти слова: тогда король понял бы, что я никто и достойна его внимания не более мимолётной ряби на поверхности канала.

Наконец до меня донёсся голос Мадам: «Кажется, та девица, которую обманул д'Аво и всячески изобидели голландцы, — она ещё заявилась растерзанная, взывая к состраданию».

Мне представляется маловероятным, чтобы Лизелотта узнала меня, не имея какого-то дополнительного канала информации. Не Вы ли ей написали, доктор? Я не могу понять, до какой степени Вы действуете самостоятельно, а до какой — в качестве пешки (правильнее, наверное, было бы написать «слона» или «ладьи») Софии.

Будь я из сельских графинь, что приезжают в Версаль, дабы утратить невинность в постели какого-нибудь вельможи, эти жестокие слова исторгли бы у меня слёзы. Однако я уже освоилась здесь и знала, что по-настоящему жестоки были бы слова «Она никто». Их Мадам не произнесла. Соответственно, король ещё на несколько мгновений задержал на мне взгляд.

Луи и Беатриса заметили короля и застыли в священном ужасе, словно статуи. Последовала новая долгая пауза. Король сказал:

— Я слышал эту историю. — И, помолчав, добавил: — Если бы д'Аво спрятал письма на груди у вонючей старой карги, за их сохранность можно было бы не тревожиться, однако какой голландец

откажется вскрыть печать на *таком* конверте?

— Однако, сир, — отвечала Лизелотта, — д'Аво — француз, а какой француз *согласится?*

— Он не так разборчив, как пытался вас убедить, — возразил король, — а она не так груба, как вы хотели бы уверить *меня*.

Тут маленький Луи стремительно рванулся вперёд — я даже испугалась, что он упадёт в воду и придётся за ним нырять, однако он замер на краю, выставил ногу и поклонился королю, словно придворный. Я притворилась, будто лишь сейчас его увидела, и вскочила. Мы с Беатрисой сделали реверанс. Король вновь приветствовал нас, подняв шляпу, быть может, с некоторым шутливым преувеличением.

— Вижу блеск в ваших глазах, сир, — сказала Лизелотта.

— А я — в ваших, Артемида.

— Вы напрасно верите слухам. Скажу вам, что простолюдинки, которые являются ко двору соблазнять дворян, подобны мышиному помёту в перце.

— В *этом* она пытается нас убедить? Как банально!

— Банальные уловки — самые действенные, сир.

На этом они закончили свой странный разговор и медленно поехали прочь.

Говорят, что король — великолепный наездник, однако в седле он сидит неестественно прямо. Полагаю, он страдает от геморроя или от болей в спине.

Я немедленно отвела детей домой и села писать Вам. Для такого ничтожества, как я, сегодняшнее событие — верх славы и торжества, и хочется записать его, пока подробности ещё свежи в памяти.

Графу д'Аво
12 июля 1685
Монсеньор!

Сегодня у меня столько же посетителей, сколько и всегда (к большой досаде графа де Безье), но поскольку я сильно загорела, стала носить дерюгу и пространно цитировать из Библии, их интересуют не амуры. Теперь они приходят спросить о моём испанском дядюшке. «Сожалею, что ваш испанский дядюшка вынужден был перебраться в Амстердам, мадемуазель, — говорят они, — однако, по слухам, испытания закалили его разум». Когда некий сын маркиза впервые обрушил на меня эту чепуху, я объявила, что он меня с кем-то путает, и попросила закрыть

дверь с другой стороны. Однако второй обронил Ваше имя, и я поняла, что его неким образом направили ко мне Вы — вернее, что он явился ко мне в ложном убеждении, будто у меня есть мудрый испанский дядюшка, и что убеждение это возникло вследствие некой запущенной Вами цепочки событий. Исходя из этой догадки, я начала подыгрывать, осторожно, ибо не знаю, в чём состоит игра. С его слов я поняла, что меня считают тайной еврейкой — незаконной дочерью смуглого испанского сефарда и белокурой голландки; весьма правдоподобно, ибо от солнца волосы у меня выцвели, а лицо загорело.

Остальные беседы были такими же, посему не стану повторяться. Очевидно, Вы распускаете обо мне сплетни, монсеньор, и половина обитателей Версаля теперь убеждена, что с моей (или моего мифического дядюшки) помощью может выпутаться из карточных долгов, оплатить переустройство замка или приобрести новый модный экипаж. Могу лишь дивиться их алчности. Впрочем, если верить рассказам, их отцы и деды на свои доходы собирали войска и укрепляли города против отца и деда нынешнего монарха. Вероятно, лучше, чтобы деньги уходили портным, ваятелям, живописцам и поварам, нежели ландс-

кнехтам и оружейникам.

Разумеется, золото, с умом вложенное в Амстердаме, принесёт больший доход, чем в сундуке под кроватью. Единственная трудность заключается в том, что я не могу заниматься размещением средств, сидя в версальском чулане и обучая двух крошек чтению и письму. Испанского дядюшку Вы придумали, вероятно, из опаски, что французский дворянин не доверит свои деньги женщине. Следовательно, размещать вложения я должна самостоятельно, а для этого необходимо посещать Амстердам несколько раз в году…

Готфриду Вильгельму Лейбницу
12 сентября 1685

Сегодня утром меня вызвали к фрейлине дофины. Её просторные и богатые апартаменты расположены в южном крыле дворца, рядом с покоями самой дофины.

У фрейлины, герцогини д'Уайонна, есть младшая сестра, маркиза д'Озуар, которая сейчас гостит в Версале вместе с девятилетней дочерью.

Девочка с виду умненькая, но страдает тяжёлой астмой. Маркиза, рожая её, что-то себе порвала и больше не может иметь детей.

Д'Озуары — редкое исключение из правила, по которому всякий сколько-нибудь значительный

французский дворянин обязан жить в Версале. Причина в том, что обязанности удерживают маркиза в Дюнкерке. На случай, если генеалогический отдел Вашей библиотеки содержится не в должном порядке, напомню Вам, доктор, что маркиз д'Озуар — внебрачный сын герцога д'Аркашона.

Который, будучи пятнадцатилетним юнцом, заделал будущего маркиза некой девице, проживавшей из милости у его бабки, — бедняжку принудили давать будущему герцогу первые уроки любви.

Герцог женился лишь в двадцать пять лет, а его супруга произвела на свет жизнеспособное дитя — Этьенна д'Аркашона — лишь три года спустя. К тому времени незаконный сын герцога был уже юношей. Его отправили в Сурат с Булье и Бебером, которые в середине 60-х годов пытались учредить Французскую Ост-Индскую компанию.

Вы, вероятно, знаете, что Французская Ост-Индская компания преуспела куда меньше английской и голландской. Булье и Бебер начали снаряжать в Сурате караван, но вынуждены были отбыть в спешке, не закончив приготовлений, ибо к городу подступили мятежные маратхи. Французы направились вглубь Индостана, что-

бы заключить торговые соглашения. В воротах крупного города их встретила делегация банья — богатейших и влиятельнейших местных негоциантов, — сообразно индийскому обычаю неся в мисочках дары. Булье и Бебер приняли их за нищих и прогнали хлыстами, как поступает всякий уважающий себя французский аристократ с попрошайками, тянущими к нему миски для подаяния.

Ворота города захлопнулись перед французами. Они вынуждены были скитаться, как отверженные. Проводники и носильщики, нанятые в Сурате, разбежались. Несколько раз на отряд нападали разбойники и мятежные маратхи. Кое-как французы добрались до Шахджаханабада, где намеревались воззвать к Великому Моголу Аурангзебу, но тот, как выяснилось, отбыл в Красный форт Агры. Они отправились туда и узнали, что сановники, перед которыми следует с дарами пасть ниц, дабы вымолить аудиенцию у Великого Могола, находятся в Шахджаханабаде. Так они мотались туда-сюда по одной из опаснейших дорог Индостана, пока Булье не прикончили бандиты, а Бебера не скосила болезнь (или наоборот) и почти все члены экспедиции не пали жертвой экзотических напастей.

Внебрачный сын герцога д'Аркашона пережил своих спутников, добрался до Гоа, уговорил португальцев взять его на судно, следующее в Мозамбик, и после долгих и опасных скитаний по невольничьему побережью Африки приметил наконец корабль, над которым реял флаг его отца: негритянские головы в железных ошейниках и королевские лилии. Он убедил нескольких африканцев доставить его на корабль в лодке и там назвал своё имя капитану. Тот, разумеется, знал, что герцогский незаконный сын пропал без вести и всем поручено его искать. Молодого человека взяли на борт.

Негров, доставивших его на корабль, в благодарность окрестили, наградили украшениями на шею, бесплатным проездом на Мартинику и пожизненными рабочими местами в сельскохозяйственном секторе.

Итогом стала успешная карьера работорговца. За семидесятые годы молодой человек сколотил небольшое состояние на доставке негров во Французскую Вест-Индию и купил или получил от короля в награду титул маркиза, после чего женился и осел во Франции. Они с супругой не живут в Версале по нескольким причинам. Во-первых, герцог д'Аркашон предпочитает держать

незаконного сына на отдалении. Во-вторых, дочь маркиза страдает астмой и нуждается в морском воздухе. В-третьих, обязанности требуют от него оставаться на побережье. Вы, наверное, знаете, доктор, что индусы верят в переселение душ; подобно тому Французскую Ост-Индскую компанию можно назвать духом, который разоряется каждые несколько лет, но всякий раз заново воплощается в другом обличье. Недавно произошла очередная реинкарнация. Естественно, часть деятельности компании сосредоточена в Дюнкерке, Гавре и других портах, поэтому маркиз проводит там заметную долю времени. Впрочем, его супруга часто навещает сестру, герцогиню д'Уайонна, и берёт с собой дочь.

Как я уже упоминала, герцогиня д'Уайонна — фрейлина дофины, то есть дама весьма высокопоставленная. Французская королева умерла два года назад, а король отдалился от неё много раньше. Теперь у короля есть мадам де Ментенон, однако официально она ему не жена. Соответственно, первая женщина в Версале — *номинально, согласно этикету, а не на самом деле, разумеется,* — дофина, супруга старшего королевского сына и наследника. Знатные французские дамы отчаянно борются за место её

фрейлины…

Настолько отчаянно, что по меньшей мере четыре претендентки были отравлены. Не знаю, отравила ли герцогиня кого-нибудь собственноручно, но общеизвестно, что она предоставляла своё нагое тело в качестве живого алтаря для чёрных месс, проводившихся в заброшенной сельской церкви возле Версаля. Это было до того, как король узнал, что его двор кишит сатанистами, и учредил chambre ardente[109]*. В числе других четырёхсот с лишним дворян герцогиню арестовали и допросили, но уличить ни в чём не смогли.*

Собственно, я хочу сказать, что герцогиня д'Уайонна — очень важная дама и принимает свою сестру маркизу д'Озуар по самому высокому разряду. Войдя в её салон, я изумилась, увидев моего хозяина, графа де Безье, на табуреточке столь низкой, что казалось, будто он сидит на корточках, как собака. И впрямь, он втянул голову в плечи и поглядывал на маркизу, словно ждущая удара деревенская шавка. Герцогиня восседала в кресле литого серебра, а маркиза — на стуле без

[109] Примечания: 109

«Огненная палата» (*фр.*) — чрезвычайный суд, учреждённый Людовиком XIV для расследования отравлений и чёрной магии; ранее такое же название носил чрезвычайный трибунал при парижском парламенте, судивший еретиков, главным образом гугенотов.

подлокотников, тоже серебряном.

Я осталась стоять. Опустив перечисление скучных церемоний и светской болтовни, сразу перейду к сути: маркиза сказала, что ищет наставницу для своей дочери. Нынешняя гувернантка практически неграмотна, и потому девочка отстаёт в развитии *или, возможно, она умственно неполноценна.* Почему-то маркиза остановилась на моей кандидатуре, *это работа д'Аво*.

Я разыграла изумление и довольно долго отказывалась под тем предлогом, что не справляюсь с такой ответственностью, и, вообще, кто же будет присматривать за бедными Беатрисой и Луи? Граф де Безье сообщил мне радостную весть: он покидает Версаль, ибо перед ним открываются блистательные возможности на юге.

Вы, возможно, не знаете, что для французского дворянина единственный способ заработать, не теряя касты, — поступить офицером на торговый корабль. Безье получил место на судне Французской Ост-Индской компании; весной он отправляется из бухты д'Аркашон к мысу Доброй Надежды, далее на восток и, если я что-нибудь в этом смыслю, на корм рыбам.

Если на следующий год мадам де Ментенон откроет, как собирается, пансион для девиц из

обедневших дворянских семей в Сен-Сире, *предмет её личной одержимости — Сен-Сир — лежит сразу за стеной Версаля,* Беатрису можно будет отправить туда — пусть постигает навыки придворной жизни.

В таких обстоятельствах мне, разумеется, негоже было упрямиться и оставалось лишь с благодарностью принять лестное предложение, посему пишу Вам уже с нового места — мансарды над покоями герцогини. Один Бог ведает, какие приключения меня ждут! Маркиза рассчитывает прожить в Версале до конца месяца, *король, как всегда, проведёт октябрь в Фонтенбло, а без него в Версале делать нечего,* после чего отбудет в Дюнкерк. Я, разумеется, отправлюсь с ней, а до тех пор ещё раз непременно Вам напишу.

Графу д'Аво
25 сентября 1685

Две недели, как я на службе у маркизы д'Озуар, и неделя до того, как мы отбываем в Дюнкерк; соответственно, это моё последнее письмо до отъезда.

Если я правильно угадываю Ваши намерения, в Дюнкерке я должна пробыть ровно столько, сколько надо, чтобы подняться по сходням отплывающего в Голландию корабля. Если так

получится, то все письма, отправленные после сегодняшнего дня, доберутся до Амстердама после меня.

Когда я приехала сюда и остановилась на ночь в Париже, то имела возможность наблюдать в окно следующую сцену: на рыночной площади перед домом, куда Вы любезно меня направили, некие люди установили балку наподобие тех, с помощью которых купцы поднимают на чердак товары. Через балку перекинули верёвку, а внизу развели костёр.

Приготовления собрали значительную толпу, и мне трудно было разглядеть, что творится внизу, но по хохоту толпы и дрожанию верёвки я заключила, что там происходит какая-то потешная борьба. Из толпы вырвалась кошка, за которой тут же погнались двое мальчишек. Наконец верёвка натянулась, и в воздух взвился огромный мешок; он повис над огнём, и я решила, что в нём жарят или коптят какие-то колбасы.

Тут я увидела, что в мешке что-то шевелится.

Извивающийся мешок опустился, так что на нём заплясали отблески огня. Изнутри донёсся истошный визг, мешок забился и закачался. Только тут я поняла, что он наполнен бродячими кошками, выловленными на улицах Парижа и

принесёнными сюда на забаву толпе. И, поверьте мне, монсеньор, толпа веселилась от души.

Будь я мужчиной, я бы вылетела на площадь верхом на коне и перерубила верёвку саблей, чтобы несчастные животные умерли быстрой смертью в огне. Увы, я не мужчина, у меня нет коня и сабли, а главное, мне в любом случае не хватило бы смелости. За всю свою жизнь я знала лишь одного человека, которому достало бы отваги или безрассудства на такой поступок, но он морально нестоек и, боюсь, забавлялся бы зрелищем вместе с толпой. Мне осталось лишь закрыть ставни и заткнуть уши; однако я успела заметить, что многие окна на площади открыты. Купцы и дворяне тоже наблюдали потеху, а многие прихватили с собой детей.

В недоброй памяти годы Фронды, когда малолетнего Людовика XIV преследовали на улицах мятежные принцы и голодная чернь, он, вероятно, видел кошачьи аутодафе, поскольку завёл в Версале нечто подобное: дворян, мучивших его, запуганного мышонка, поймали, засунули в мешок и вздёрнули на воздух; верёвку король держит в руке. Сейчас я в мешке, монсеньор, но я всего лишь котёнок, чьи когти ещё не отросли, посему могу лишь жаться к тем кошкам, что

побольше и повоинственней.

Герцогиня д'Уайонна командует домом, как линейным кораблём: всё блестит, всё по распорядку. Я ни разу не вышла на улицу с тех пор, как поступила на службу к её сестре. Мой загар сошёл, все перешитые обноски из моего гардероба порвали на тряпки и заменили новыми. Не скажу, что роскошными, — мне негоже затмевать высокородных сестёр в их собственных апартаментах, но не пристало и позорить их, так что теперь по крайней мере герцогиня не морщится, когда я попадаюсь ей на глаза.

В итоге юные вертопрахи снова стали меня замечать. Будь я по-прежнему на службе у графа де Безье, они не давали бы мне прохода, но у герцогини д'Уайонна есть когти (некоторые сказали бы — отравленные) и клыки. Посему вожделение придворных выливается в обычные слухи и домыслы на мой счёт: что я потаскуха, что я ханжа, что я лесбиянка, что я неопытная девственница, что я мастерица невиданных любовных утех. Забавное следствие моей славы: молодые люди табунами ходят к герцогине, но если большинство стремится со мною переспать, то некоторые приносят векселя или мешочки с бриллиантами и, вместо того чтобы нашёптывать мне на ушко

льстивые или скабрезные слова, спрашивают: «Какой процент это может принести в Амстердаме?» Я всегда отвечаю: «Всё зависит от прихоти короля; ибо разве амстердамский рынок не колеблется вследствие войн и перемирий, объявлять которые во власти его величества?» Они думают, что я осторожничаю.

Сегодня меня посетил король, но не затем, о чём Вы подумали.

Меня предупредил о визите его величества кузен герцогини, иезуитский священник Эдуард де Жекс, приехавший из семейного поместья на юге. Отец Эдуард очень набожный человек. Ему поручили некую небольшую роль в вечернем туалете короля, и он услышал, как двое придворных обсуждают, кому удастся похитить мою девственность. Третий предложил побиться об заклад, что моя девственность уже похищена, четвёртый — что её похитит не мужчина, а женщина: либо дофина, у которой связь с собственной горничной, либо Лизелотта.

В какой-то момент, по словам отца Эдуарда, король обратил внимание на спор и спросил, о какой даме речь. «Она не дама, а воспитательница при дочери д'Озуаров», — сказал один из придворных, на что король, помолчав, ответил:

«Я о ней слышал. Говорят, красавица».

Выслушав от де Жекса эту историю, я поняла, почему в последнее время ни один вертопрах не смеет мне докучать. Они вообразили, будто король мною заинтересовался, и не смеют перейти ему дорогу!

Сегодня герцогиня, маркиза и вся их челядь вопреки обыкновению отправились на мессу в половине первого. Меня оставили одну под предлогом, что мне надо собрать вещи для отъезда в Дюнкерк.

В час зазвонили колокола, но мои хозяйки не вернулись. Внезапно с чёрного хода вошёл знаменитейший парижский хирург, а за ним — толпа помощников и священник, отец Эдуард де Жекс. Через мгновение с парадного входа появился король Людовик XIV, один, прикрыл золочёную дверь перед носом придворных и приветствовал меня самым учтивым образом.

Мы с королём стояли в углу герцогининого салона и (как ни дико это покажется) обменивались ничего не значащими пустяками. Помощники лекаря тем временем развернули кипучую деятельность. Даже я, ничего не смыслящая в придворном этикете, знаю, что в обществе короля не принято замечать кого-либо ещё, посему

делала вид, будто не вижу, как они отодвигают к стенам тяжёлые серебряные кресла, скатывают ковёр, застилают пол рогожей и втаскивают могучую деревянную скамью. Врач раскладывал на столике отталкивающего вида инструменты и время от времени вполголоса отдавал указания, но в целом стояла полная тишина.

— Д'Аво говорит, у вас талант к деньгам, — сказал король.

— Я бы сказала, у д'Аво талант льстить молодым дамам, — был мой ответ.

— В разговорах со мной напускная скромность неуместна, — твёрдо, но не сердито произнёс король.

Я увидела свою ошибку. Мы прибегаем к самоуничижению из страха, что собеседник увидит в нас угрозу или соперника. Это верно в общении с простыми и даже знатными людьми, однако не может относиться к монарху; умаляя себя в разговоре с его величеством, мы подразумеваем, что король так же мелочно завистлив и неуверен в себе, как остальные.

— Простите мою глупость, сир.

— Никогда; но я прощаю вашу неопытность. Кольбер был простолюдин. Он обладал талантом к деньгам и выстроил всё, что вы видите.

Поначалу он не умел со мной разговаривать. Испытывали ли вы оргазм, мадемуазель?

— Да.

Король улыбнулся.

— Вы быстро научились отвечать на мои вопросы. Отрадно. Вы сможете доставить мне ещё некоторое удовольствие, если будете издавать звуки, какие обычно издаёте во время оргазма. Потребуется некоторое время — вероятно, около четверти часа.

Видимо, я прижала руки к груди или ещё как-то проявила девичий испуг. Король покачал головой и проницательно улыбнулся.

— Мне было бы приятно через четверть часа увидеть некоторый беспорядок в вашей одежде — но лишь с тем, чтобы его заметили стоящие в галерее. — Он кивнул на дверь, через которую вошёл. — А теперь извините меня, мадемуазель. Можете начинать, когда вам будет угодно.

Король отвернулся от меня, снял камзол, отдал одному из лекарских помощников и шагнул к скамье. Она теперь стояла посреди комнаты на рогоже и была застлана чистой белой простыней. Лекарь и помощники облепили короля как мухи. И тут — к моему несказанному ужасу — штаны короля сползли до щиколоток. Он лёг животом

на скамью. На миг я вообразила, будто французский король — из тех, кто получает наслаждение от порки. Однако тут он развёл ноги и упёрся ступнями в пол по две стороны скамьи. Я увидела огромный лиловый узел между его ягодицами.

— Отец Эдуард, — тихо сказал король, — вы один из образованнейших людей Франции, даже среди иезуитов вас почитают за скрупулёзность. Поскольку я не увижу операцию, окажите мне милость: следите за ней самым пристальным образом. Потом всё расскажете мне, дабы я знал, считать ли этого лекаря другом или врагом Франции.

Отец Эдуард кивнул и произнёс несколько слов, которые я не расслышала.

— Ваше величество! — запротестовал лекарь. — За те шесть месяцев, что мне известно о вашем недуге, я сделал сто таких операций, дабы довести своё искусство до совершенства…

— Эти сто меня не интересуют.

Отец Эдуард заметил меня в углу. Предпочитаю не гадать, что выражало моё лицо. Отец Эдуард устремил на меня взгляд пронзительный чёрных глаз (он очень хорош собой), потом выразительно поглядел на дверь. Было слышно, как за ней придворные обмениваются сальностями.

Я встала поближе — но не слишком близко — к двери и протяжно вздохнула: «М-м-м, ваше величество!» Придворные зашикали друг на друга. С другой стороны донёсся лёгкий звон — лекарь взял со стола нож.

Я застонала.

Король тоже.

Я вскрикнула.

Король тоже.

— О, не так сильно, это мой первый раз! — вопила я, покуда король изрыгал проклятия в подушку, которую отец Эдуард держал перед его лицом.

Так и продолжалось. Я кричала, словно от боли, но через некоторое время начала постанывать как бы от удовольствия. Мне показалось, что прошло куда больше четверти часа. Я легла на скатанный ковёр и принялась рвать на себе одежду и выдирать ленты из волос, дыша как можно сильнее, чтобы лицо раскраснелось и вспотело. Под конец я закрыла глаза: отчасти, чтобы не видеть кровавой картины посреди комнаты, отчасти — чтобы полностью войти в роль. Теперь я отчётливо различала голоса придворных за дверью.

— Ну здорова орать, — восхищённо произнёс

один. — Мне нравится. Кровь горячит!

— Весьма нескромно с её стороны, — посетовал другой.

— Любовнице короля скромность ни к чему.

— Любовнице? Скоро он её бросит, и где она тогда окажется?

— В моей постели, надеюсь!

— Тогда советую прикупить затычки для ушей.

— Сперва научись ублажать, как король, тогда и затычки понадобятся.

Что-то мокрое капнуло мне на лоб. Испугавшись, что это кровь, я открыла глаза и увидела прямо над собой отца Эдуарда де Жекса. Он и впрямь был весь в королевской крови, но упала на меня капелька пота с его лба. Он глядел прямо мне в лицо; не знаю, как долго он тут простоял. Я взглянула на скамью. Всё вокруг было в крови. Лекарь сидел на полу, выжатый, как лимон. Его помощники запихивали ветошь меж королевских ягодиц. Замолчать внезапно значило бы погубить всю игру. Я закрыла глаза и довела себя до бешеного, пусть и притворного, оргазма, затем, испустив последний стон, открыла глаза.

Отец Эдуард по-прежнему стоял надо мной, однако глаза его были закрыты, лицо обмякло. Мне доводилось видеть такое выражение.

Король уже стоял. Двое помощников изготовились поддержать его, если бы он начал падать. Королевское лицо заливала смертельная бледность, он пошатывался, но — невероятно! — был жив, не в обмороке и сам застёгивал штаны. За его спиной другие помощники скатывали окровавленные простыни и рогожу, чтобы вынести их с чёрного хода.

— Французские дворяне заслуживают моего уважения по крови, но могут упасть в моих глазах, совершив промах. Простолюдины могут заслужить мое уважение, угодив мне, и тем возвыситься. Вы можете угодить мне, если проявите скрытность.

— Как насчёт д'Аво, сир? — спросила я.

— Можете рассказать ему всё, — отвечал король. — Пусть гордится в той мере, что он мне друг, и страшится в той мере, что он мне недруг.

Монсеньор, я не поняла, что его величество хотел сказать, однако Вы, без сомнения, поймёте…

Готфриду Вильгельму Лейбницу
29 сентября 1685

Доктор!

Пришла осень, и принесла с собой заметное

помрачение света[110]. Через два дня солнце опустится ещё ниже, ибо я еду с маркизой д'Озуар в Дюнкерк, самую северную точку королевских владений, *а оттуда, Бог даст, в Голландию*. Слышала, солнце по-прежнему ярко светит на юге, в Савойе *(об этом позже).*

Король воюет — не только с протестантской заразой в своём королевстве, но и с собственными врачами. Несколько недель назад ему вырвали зуб. Тут справился бы любой зубодёр с Пон-Нёф, однако лейб-медик д'Акин что-то напортачил, и образовался гнойник. Чтобы вылечить его, д'Акин вырвал королю оставшиеся верхние зубы, при этом раскурочил нёбо и вынужден был прижечь рану калёным железом. Тем не менее она снова нагноилась, и пришлось прижигать ещё неоднократно. *Есть и другие истории касательно королевского здоровья; о них в другой раз.*

Немыслимо, что королю приходится так страдать; если бы простолюдины узнали о его несчастьях, то превратно истолковали бы их как знак Божьего гнева. В Версале, где почти обо всех — *впрочем, не совсем!* — королевских болезнях знает каждая собака, нашлись невежественные

---

[110] Примечания: 110
Помрачение света. 36-я гексаграмма «И-Цзин», или 000101.

глупцы, рассуждающие подобным же образом. К счастью для всех нас, во дворце последние несколько недель живёт отец Эдуард де Жекс, рьяный молодой иезуит из хорошей семьи. *Когда в 1667-м Людовик захватил Франш-Конте, родственники о. Эдуарда предали испанцев и открыли ворота французским войскам. Людовик вознаградил их титулами*. Он пользуется большим расположением мадам де Ментенон, которая видит в нём своего духовного наставника. В то время как придворные малодушно обходили молчанием теологические вопросы, связанные с болезнями короля, отец Эдуард недавно взял быка за рога. Он разом поставил и разрешил эти вопросы самым решительным и публичным образом. После мессы он произносит длинные проповеди, которые мадам де Ментенон отдаёт в типографию и распространяет в Париже и Версале. Постараюсь как-нибудь прислать вам экземпляр. Суть в том, что король — Франция, и его недуги отражают нездоровье королевства в целом. Воспаления в различных полостях королевского тела суть метафора неискоренённой ереси — R.P.R., или «*religion pretendue reformée*», иначе называемой гугенотством. Схожесть между гнойниками и R.P.R. многообразна и включает в себя…

Простите эту бесконечную проповедь, но я многое должна Вам сказать и устала для заметания следов пространно описывать наряды и драгоценности. Семья де Жекса, герцогини д'Уайонна и маркизы д'Озуар издревле обитала в Юрских горах между Бургундией и южной оконечностью Франш-Конте. В этом краю сходятся народы и верования, потому всё пронизано враждой.

На протяжении поколений де Жексы с завистью наблюдали, как их сосед герцог Савойский пожинает богатство и власть, сидя поперёк дороги, соединяющей Женеву и Геную, — финансовой аорты христианского мира. Из своего замка в северной Юре они могли буквально смотреть на холодные воды Женевского озера, этого рассадника протестантизма, куда английские пуритане бежали в царствование Марии Кровавой и где находят убежище от гонений французские гугеноты. В последнее время я часто вижу отца Эдуарда, когда тот навещает кузин, и читаю в его глазах такую ненависть к реформатам, что у Вас мороз пошёл бы по коже.

Как я уже писала, счастливый случай представился де Жексам, когда Людовик завоевал Франш-Конте, и они не упустили свой шанс. В прошлом году им привалила новая удача: герцога

Савойского вынудили жениться на Анне-Марии, дочери Мсье от первой жены, Минетты Английской, то есть на племяннице Людовика. Герцог — до сей поры независимый — породнился с Бурбонами и должен теперь подчиняться капризам старшего в семье.

Савойя граничит с пресловутым озером, и кальвинистские проповедники издавна вербуют прозелитов среди тамошнего простого люда, который, следуя примеру герцога, всегда был независим и потому восприимчив к бунтарской вере.

Вы можете сами досказать эту историю, доктор. Отец Эдуард говорит своей духовной ученице, мадам де Ментенон, что реформаты благоденствуют в Савойе и распространяют заразу R.P.R. по Франции. Де Ментенон повторяет это страдающему королю, который и в лучшие-то времена ради блага королевства не останавливался перед жестокостью к подданным и даже близким. А сейчас для короля времена явно не лучшие — произошло заметное помрачение света, почему я и выбрала эту гексаграмму в качестве шифровального ключа. Король сказал герцогу Савойскому, что «мятежников» надо не просто подавить — истребить. Герцог тянул время в надежде, что король выздоровеет и смягчится. Однако не так

давно он допустил ошибку: объявил, что не может выполнить волю короля, ибо не располагает средствами на военную кампанию. Король тут же щедро пообещал оплатить её из собственного кармана.

Покуда я пишу это письмо, отец Эдуард де Жекс готовится ехать на юг в качестве капеллана французской армии под командованием маршала де Катина. Они отправятся в Савойю, войдут в долины, населённые реформатами, и всех там перебьют. Нет ли у Вас возможности отправить туда предупреждение?

Король и все, кто знает о его муках, утешаются пониманием, которое дал нам отец Эдуард, а именно: меры против реформатов, при всей своей внешней жестокости, болезненны для короля не менее, чем для них; однако боль необходимо стерпеть, дабы не погибло всё тело.

Мне пора — надо спускаться к подопечной. В следующий раз, бог даст, напишу уже из Дюнкерка.

Ваша любящая ученица
и слуга Элиза

Лондон

Философия написана в великой книге Вселенной, которая постоянно открыта нашему взгляду, но прочесть её может лишь тот, кто научится понимать её язык и толковать буквы, коими она написана. Написана же она языком математики, и буквы её суть треугольники, круги и другие математические фигуры, без которых в ней нельзя постичь ни слова; философствовать без них значит вслепую блуждать в тёмном лабиринте.

Галилео Галилей, «Пробирщик»

весна 1685

Воздух в кофейне был такой спёртый, что Даниелю казалось, будто он задыхается под грудой старого тряпья.

Роджер Комсток смотрел через глиняную курительную трубку, словно пьяный астроном, положивший глаз на некую звезду. Звездой в данном случае был Роберт Гук, член Королевского общества, видимый неясно (за дымом и полумраком) и спорадически (за толкотнёй посетителей).

Гук, забаррикадировавшись склянками, мешочками и фляжками, готовил себе ужин из ртути, железных опилок, серного цвета, слабительных вод из различных источников (по большей части смертельных для водоплавающей птицы), а также настоек и вытяжек различных растений, включая ревень и опийный мак.

— Вижу, он ещё жив, — пробормотал Роджер. — Если Гук будет и дальше топтаться у дверей смерти, сам дьявол отправит его прочь, чтобы не мозолил глаза. Как только я начинаю гадать, смогу ли выкроить время на его похороны, надёжные источники сообщают, что он прошёлся по всем борделям Уайтчепела, словно французский полк.

Даниель не нашёл, что к этому добавить.

— А Ньютон? — спросил Роджер. — Вы *говорили*, будто он долго не протянет.

— Ну, он получал пищу только через меня, — устало ответил Даниель. — С тех пор как мы поселились вместе и до моего изгнания в тысяча шестьсот семьдесят седьмом я нянчился с ним, как с младенцем. Так что у меня были все основания предсказывать его смерть.

— Значит, кто-то приносит ему еду — кто-нибудь из учеников?

— У него нет учеников, — сказал Даниель.

– *Однако он должен есть,* — возразил Роджер.

Даниель увидел, что Роберт Гук размешивает стеклянной палочкой свою стряпню.

— Быть может, он создал *Elixir Vitae*[111] и теперь бессмертен.

— Не судите, да не судимы будете! По-моему, это ваша третья порция асквибо, — сурово произнёс Роджер, глядя на стопку янтарной жидкости перед Даниелем.

Даниель спрятал её в кулаке.

— Я совершенно серьёзен, — продолжал Роджер. — Кто о нём печётся?

— Какая разница? Лишь бы пеклись.

— Разница большая, — отвечал Роджер. — Вы говорили, что студентом Ньютон давал деньги в рост и следил за их возвратом, как жид!

— Мне казалось, что заимодавцы-христиане тоже предпочитают получать деньги назад.

— Неважно, вы поняли, о чём я говорю. Подобным же образом, Даниель, если кто-то взял на себя попечение о Ньютоне, он будет ждать платы.

Даниель выпрямился.

— Вы думаете об эзотерическом братстве.

Роджер выгнул брови, грубо пародируя полней-

---

[111] Примечания: 111
Эликсир жизни (*лат.*).

шее неведение.

— Нет, но, очевидно, так думаете *вы.*

— Когда-то Апнор пытался запустить когти в Исаака, — признал Даниель, — но то было давным-давно.

— Позвольте напомнить, что для людей, которые не забывают долги, — в противоположность тем, кто их прощает, — «давным-давно» означает «очень большие проценты на проценты». Вы говорили мне, что каждый год он исчезает на несколько недель.

— Не обязательно с дурной целью. У него есть земли в Линкольншире, за которыми надо присматривать.

– *Тогда* вы намекали, что речь явно идёт о чём-то дурном.

Даниель, сжал руками виски́. Теперь он видел собственную розовую ладонь в щербинах от оспы. Болезнь на четверть обратила тело Тесс в гнойники и уничтожила почти всю кожу, прежде чем несчастная наконец испустила дух.

— Если честно, мне безразлично, — сказал Даниель. — Я пытался удержать его. Обратить к астрономии, динамике, физике — естественным наукам в противоположность неестественной теологии. Безуспешно. Я уехал. Он остался.

— Уехал или был изгнан?

— Я оговорился.

— В какой раз?

— Произнося слово «изгнание», я выражался фигурально.

— Вы безобразно лжёте, Даниель!

— Что?!

— Произнося слово «лжёте», я выражался фигурально.

— Поймите, Роджер, обстоятельства моего разрыва с Исааком были… э… сложными. Пытаясь определить их одним существительным, как то: «отъезд», «изгнание», — я поневоле лгу и в таковом качестве безобразен.

— Так назовите другие существительные!

Роджер встретился глазами со служанкой, словно говоря ей: «Я его подцепил, так что не забывай подливать и следи, чтобы нам не докучали». Потом подался вперёд в клубах табачного дыма. Свеча озаряла снизу его лицо, придавая чертам пугающую гротескность.

— Тысяча шестьсот семьдесят шестой год! — загремел он. — Лейбниц второй раз приезжает в Лондон! Ольденбург зол, потому что он не привёз обещанную вычислительную машину! Вместо этого Лейбниц последние четыре года хорово-

дился с парижскими математиками! Теперь он задаёт крайне неудобные вопросы про какие-то математические изыскания, выполненные Ньютоном годы назад. Происходит нечто загадочное. Ньютон поручает вам, доктор Уотерхауз, переписывать какие-то бумаги и шифровать формулы… Ольденбург вне себя… Енох Роот как-то в этом замешан… ходят слухи о переписке и даже беседе между Ньютоном и Лейбницем. Потом Ольденбург умирает. Вскоре у вас в комнатах происходит пожар, и многие алхимические записи Ньютона гибнут в многоцветном пламени. Так какое существительное правильное: «отъезд» или «изгнание»?

— Мне там просто не оставалось места. Моя кровать занимала пространство, на котором мог бы разместиться ещё один алхимический горн.

— Интриги? Козни?

— Пары ртути подрывали моё здоровье.

— Поджог? Вредительство?

Даниель взялся за подлокотники с таким видом, будто сейчас встанет и уйдёт. Роджер поднял руку.

— Я председатель Общества, и мой долг — проявлять любознательность.

— Я секретарь, и мой долг — призвать к поряд-

ку, когда председатель делает из себя позорище.

— Лучше позорище в Лондоне, чем пожарище в Кембридже. Вы должны простить мне мою настойчивость.

— Раз вы теперь строите из себя католика, то за дешёвым отпущением грехов обращайтесь к своим французским попам, не ко мне.

— Такого рода праведное негодование ассоциируется у меня с честным человеком, который втайне совершил нечто очень дурное. Не утверждаю, что у вас есть тёмные тайны, Даниель, только что ваше поведение заставляет так думать.

— Вы просто добиваетесь, чтобы мне захотелось вас убить, Роджер, или у этого разговора есть и ещё цель?

— Я всего лишь пытаюсь выяснить, чем занят Ньютон.

— Тогда к чему расспросы о семьдесят седьмом?

Роджер пожал плечами:

— Вы отказываетесь говорить о настоящем, вот я и решил попытать счастья в прошлом.

— Откуда такой внезапный интерес к Исааку?

— Из-за «*De Motu Corporum in Gyrum*»[112]. Галлей говорит, это ошеломляет.

— Не сомневаюсь.

— Он говорит, это лишь набросок огромного труда, который сейчас целиком поглотил энергию Исаака.

— Рад, что Галлей получил объяснение для орбиты своей кометы, и ещё больше — что он взял на себя попечение об Исааке. Чего вы от меня хотите?

— Галлей ослеплён кометой, — фыркнул Роджер. — Он счастлив, что Ньютон решил заняться проблемой тяготения и планетарных орбит. А поскольку Флемстид портит статистику, нам нужно больше счастливых астрономов.

В лето Господне 1674-е шевалье де Сен-Пьер (французский придворный, подробности не важны) присутствовал на великолепном королевском балу, когда внезапно над краем его бокала возникло декольте Луизы де Керуаль. Как любой мужчина, шевалье немедленно восхотел произвести на неё впечатление. Зная, что при дворе Карла II увлекаются натурфилософией, он разыграл следующий гамбит: заметил, что

---

[112] Примечания: 112

«О движении тел по орбите» (*лат.*).

задачу определения долготы можно разрешить, наблюдая за движениями Луны на фоне звёздного неба, которое в данном случае будет играть роль исполинского циферблата. Керуаль в натурфилософской постельной беседе пересказала это королю. Его величество поручил четырём членам Королевского общества (герцогу Ганфлитскому, Роджеру Комстоку, Роберту Гуку и Кристоферу Рену) проверить, возможно ли такое. Те обратились к некоему Джону Флемстиду. Флемстид, ровесник Даниеля, по слабости здоровья не мог посещать школу и, сидя дома, самостоятельно изучал астрономию. Позже здоровье его улучшилось настолько, что он смог поступить в Кембридж и узнать всё (весьма немногое), чему там учили. Когда уважаемые члены Королевского общества обратились к нему с вопросом, он как раз оканчивал университет и присматривал себе место. Он ответил в письме, что метод, предложенный шевалье де Сен-Пьером, хоть и возможен в теории, совершенно бесполезен на практике за недостатком надёжных астрономических данных — *каковой недостаток могли бы восполнить лишь продолжительные дорогостоящие исследования.* То был первый и последний политический манёвр в жизни Флемстида. Карл II без промед-

ления назначил его королевским астрономом и основал Королевскую обсерваторию.

Первые годы Флемстид размещался в лондонском Тауэре, на самом верху Белой Башни. Здесь он делал свои первые наблюдения, покуда на пустующем клочке королевской земли в Гринвиче возводили Королевскую обсерваторию.

Генрих VIII, не довольствуясь шестью жёнами, содержал целый штат любовниц. Наследники его были не столь любвеобильны, и королевский сераль на вершине холма за Гринвичским дворцом постепенно разрушился. Фундамент, впрочем, ещё стоял. На нём-то, работая в спешке и при сильной нехватке средств, Гук с Реном и воздвигли несколько помещений, ставших опорой для восьмиугольной будки. На ней, в свою очередь, возвели башенку, миниатюрную аллюзию на норманнские донжоны Тауэра. В нижних помещениях жил Флемстид. Будка понадобилась, чтобы придворно-щегольской части Королевского общества было где с умным видом заглядывать в телескоп. Однако здание, построенное на фундаменте старого блудилища, было ориентировано неправильно. Чтобы проводить собственно наблюдения, пришлось поставить в саду отдельную стену, вытянутую с севера на юг, а

вдоль неё — что-то вроде хибарки без потолка. На концах стены Гук закрепил собственной работы квадранты, снабжённые визирными трубами. Соответственно жизнь Флемстида текла так: днём он спал, а ночами, прислонясь к стене, смотрел через визирные трубы на проплывающие звёзды и отмечал их положение. Каждые несколько лет его труд разнообразила очередная комета.

— Что делал Ньютон год назад, Даниель?

— Если мои источники не лгут, рассчитывал день и час светопреставления, основываясь на тёмных намёках Библии.

— Сдаётся, у нас одни и те же источники, — вкрадчиво произнёс Роджер. — Сколько вы им платите?

— Я в ответ рассказываю им что-нибудь ещё. Это называется беседой, и некоторых такая оплата вполне устраивает.

— Наверное, вы правы, Даниель, ибо несколько месяцев назад Галлей заявляется к Ньютону и проводит с ним беседу: «Послушай, старина, как насчёт комет?» Ньютон откладывает Апокалипсис, берётся за Евклида и — хлоп! — пишет «*De Motu*».

— Бóльшую часть работы он проделал в семьдесят девятом, во время своей *тогдашней* грызни

с Гуком, — сказал Даниель, — потом куда-то засунул, не смог найти и вынужден был повторить.

— Что общего, доктор Уотерхауз, между алхимией, Апокалипсисом и эллиптическими орбитами небесных тел? Помимо того, что Ньютон одержим ими всеми?

Даниель промолчал.

— *Что угодно? Всё? Ничего?* — вопросил Роджер и хлопнул ладонями по столу. — Ньютон — бильярдный шар или комета?

— Не понял.

— Идёмте, покажу.

Роджер хохотнул и немедля пришёл в движение. Вместо того чтобы сперва встать, а потом пойти, он надвинул парик, приподнял зад и, как бык, устремился в толпу. Несмотря на возраст, комплекцию, подагру и опьянение, он значительно опередил Даниеля. Когда тот в следующий раз увидел Роджера, маркиз плечом отодвигал придворного. Придворный сжимал длинную палку и целился в раскрашенный деревянный шар на зелёном суконном поле.

— Смотрите! — вскричал Роджер и рукой толкнул шар.

Тот ударился о другой шар и остановился; второй шар покатился дальше. Придворный схватил

палку двумя руками, намереваясь сломать её о голову Роджера, однако маркиз вовремя обернулся. Узнав его, придворный выронил палку.

— Превосходный удар, милорд, — начал он, — хотя не вполне соответствует духу и букве игры…

— Я — натурфилософ и подчиняюсь лишь богоданным законам Вселенной, а не произвольным правилам вашей несуразной игры! — прогремел Роджер. — Шар передаёт свою *vis viva* другому шару, количество движения сохраняется, всё более или менее упорядоченно. — Роджер раскрыл ладонь — оказалось, он прихватил со стола ещё один шар. — Или я могу подбросить его в воздух, — подкрепляя свои слова действием, — и он опишет галилееву траекторию, параболу.

Шар плюхнулся в кружку с горячим какао на другом конце помещения; владелец кружки, быстро оправившись от неожиданности, поднял её, салютуя Роджеру, который тем временем продолжал:

— Кометы же не признают никаких законов, они являются бог весть откуда, непредсказуемо, и несутся сквозь космос по своим собственным неведомым траекториям. Итак, я спрашиваю вас, Даниель: Ньютон сходен с кометой? Или, подобно

бильярдному шару, он следует по некой осмысленной траектории, которую мне не хватает ума постичь?

— Теперь я понял ваш вопрос, — сказал Даниель. — Астрономы, объясняя попятное движение планет, измыслили небесные шестерни на хрустальных сферах. Теперь мы знаем, что планеты обращаются по эллипсам; попятный ход есть иллюзия, порождаемая тем, что мы смотрим на них с движущейся платформы.

— То есть с Земли.

— Если бы мы могли увидеть планеты из некой неподвижной системы отсчёта, попятный ход исчез бы. Вот так и вы, Роджер, наблюдая блуждающую траекторию Ньютона — вчера рецепт философской ртути, сегодня конические сечения, — задаётесь вопросом: существует ли система отсчёта, в которой движение Исаака имеет хоть какой-нибудь, чёрт возьми, смысл?

— Сказано словно самим Ньютоном, — заметил Роджер.

— Вы хотите знать, что такое его нынешние занятия тяготением — смена темы или просто новая точка зрения, новый способ взглянуть на ту же самую Тему.

— Вот теперь вы говорите как Лейбниц, — про-

ворчал Роджер.

— И не случайно, ибо Лейбниц и Ньютон работают над одной и той же задачей по меньшей мере с семьдесят седьмого. Над задачей, которую не смог разрешить Декарт. Она сводится к следующему: можно ли объяснить соударение бильярдных шаров с помощью геометрии и арифметики, либо надо удалиться от чистой мысли в области эмпирики и метафизики?

— Довольно! — сказал Роджер. — У меня эмпирически раскалывается голова. Не желаю слушать про метафизику.

Слова его звучали отчасти искренне, однако взгляд был обращён на кого-то за спиной у Даниеля. Даниель обернулся и увидел, что прямо перед ним стоит…

— Мистер Гук! — сказал Роджер.

— Милорд.

— Вы, сэр, учили Даниеля делать термометры!

— Да, милорд.

— Я сейчас говорил, что хотел бы отправить его в Кембридж — замерить температуру в городе.

— На мой взгляд, вся страна перегрета, — мрачно заметил Гук, — в особенности восточный лимб.

— Я слышал, жар распространяется на запад.

— Вот *повод*, — сказал маркиз Равенскарский, засовывая стопку бумаг Даниелю в правый карман, — а вот чтение в дорогу, только что из Лейпцига, — засовывая в левый что-то потяжелее. — Доброй ночи, коллеги!

— Давайте прогуляемся по улицам Лондона, — сказал Гук. Ему не было нужды добавлять: «Бóльшую часть которых я заложил лично».

— Равенскар ненавидел своего родича Комстока, разорил его, купил и снёс его дом, — Гук говорил так, словно загнан в угол и вынужден это признать, — и всё равно у него учился! Почему Джон Комсток поддержал Королевское общество на первых порах? Потому что интересовался натурфилософией? Возможно. Потому что его уговорил Уилкинс? Отчасти. Однако вы не могли не заметить, что многие наши эксперименты той поры…

— Были связаны с порохом. Разумеется.

— У *Роджера* Комстока нет пороховых заводов. И всё же не обольщайтесь — его интерес к нашему Обществу не менее практичен. Сейчас французы и паписты правят страной — правят ли они Ньютоном?

Даниель промолчал. Гук много лет цапался с Исааком по поводу тяготения, однако после

визита Галлея тот вознёсся на недосягаемую для Гука высоту.

— Ясно, — сказал наконец Даниель. — Что ж, мне так и так отправляться на север в роли пуританского Моисея.

— В таком случае стоит заглянуть в Кембридж, дабы…

— …Очистить имя Ньютона от гнусной клеветы, которой марают его завистники, — закончил Даниель.

— Я хотел сказать: дабы отвратить его от иноземных сподвижников обречённого короля, — сказал Гук. — Доброй ночи, Даниель. — И он, волоча ноги, исчез в сернистом тумане.

«На мой взгляд, вся страна перегрета… *в особенности восточный лимб*». Гук может бросаться обвинениями, но не словами. У людей, которые глядят в телескоп, слово «лимб» означает освещённый край видимого небесного тела, например лунного серпа. Собираясь на северо-восток утром следующего дня, Даниель сверился с картой Эссекса, Суффолка и Норфолка и обнаружил, что они образуют выпирающий в Северное море лимб, ограниченный Темзой с юга и заливом Уош с севера. Яркий свет, зажжённый над Гаагой, преодолев сотни морских миль, озарил

бы всё побережье, и оно бы засияло, как лунный серп — алхимический знак серебра. Луна — двойник Солнца, чей элемент — золото. И поскольку Король-Солнце изливает на Англию поток золота, существование серебряного полумесяца к северу от Лондона исполнено глубокого смысла. Роджер терпеть не может алхимических суеверий, но в политике он дока.

Даниель неплохо знал эти края. Северное море запустило в побережье Суффолка длинные-предлинные рукава солоноватой воды; если на рассвете повернуться к востоку, то покажется, что вся местность лучится реками света. Вдоль берега тут не проехать; дорога идёт милях в десяти-двадцати от моря, более или менее прямо из Челмсфорда в Колчестер и далее до Ипсвича, и всё, что справа от неё, безнадёжно с точки зрения короля или любого другого потенциального владельца: болота, разрезанные затопленными устьями рек, равно непреодолимые верхом и на лодке. Сюда легче попасть из Голландии, нежели из Лондона. *Оставаться* здесь неплохо, оставаться где-нибудь подальше отсюда — ещё лучше, но вот двигаться — врагу не пожелаешь. В сопротивляющейся среде тело перемещается лишь под воздействием некой значительной

силы. В этой прибрежной полосе могли двигаться только контрабандисты, которых тянула нажива и подталкивал страх перед законом. Они везли в Голландию английское сырье и доставляли из Голландии товары. Даниель, как и его братья Стерлинг, Оливер и Релей, в юные лета провёл здесь немало времени, разгружая и загружая плоскодонные голландские судёнышки, укрытые за плакучими ивами по тёмным протокам.

В начале пути Даниель чувствовал себя так, будто его вместе с несколькими другими людьми заколотили в гроб и теперь несут через угольную шахту страдающие падучей носильщики. После Челмсфорда пассажиров в карете поубавилось, дорога стала ровнее, и Даниель вытащил отпечатанные листки, которые Роджер сунул ему в Лондоне, — «*Acta Eruditorum*», учёный журнал, основанный Лейбницем в родном Лейпциге.

Лейбниц давно пытался объединить умных немцев. Умные британцы считали это жалким подражанием Королевскому обществу, умные французы — потугами доктора (который с семьдесят седьмого жил в Ганновере) отразить в тусклом и кривом зеркале блистательную интеллектуальную жизнь Парижа. Даниель нехотя признавал резонность обоих мнений, но подозревал, что

Лейбницем движет не страсть к подражанию, а то, что затея на самом деле хорошая. Так или иначе, «*Acta Eruditorum*» были Лейбницевым (а следовательно, немецким) ответом «*Journal de Savants*»[113] и, как правило, публиковали самые свежие и занятные идеи из Германии — а именно то, что думал сейчас Лейбниц.

Журнал был отпечатан несколько месяцев назад и содержал статью Лейбница о математике. Даниель начал её читать и сразу наткнулся на термины, которых не видел с семьдесят седьмого…

— Лопни мои глаза! — пробормотал Даниель. — Свершилось!

— Что?! — вопросил Благоговенье Гатер, сидевший напротив Даниеля в обнимку с сундучком денег.

— Лейбниц опубликовал дифференциальное исчисление!

— И что это, скажите на милость, брат Даниель? Исчисление дифферента корабля?

Экипаж покачивался из стороны в сторону на подвеске (вечно французы, будь они неладны, удумают что-нибудь такое полезное!), и моне-

---

[113] Примечания: 113
«Журнал учёных» (*фр.*).

ты глухо позвякивали у Благоговенья Гатера в сундучке.

— Новый математический метод, основанный на счислении величин, бесконечно малых и стремящихся к нулю.

— Припахивает метафизикой, — заметил преподобный.

Даниель поднял на него глаза. Трудно было представить себе что-либо менее метафизическое, чем Благоговенье Гатер. Даниель вырос в обществе очень похожих людей и долгое время не замечал в их облике ничего необычного. Однако за несколько лет в лондонских кофейнях, театрах и королевских дворцах вкусы его коренным образом изменились. Теперь при виде члена пуританской секты он внутренне сжимался — чего пуритане и добивались. Если бы преподобного Гатера звали «Благоволенье», его внешность разительно противоречила бы имени; однако его звали «Благоговенье», а среди таких, как он, благоговению надлежало быть суровым и мрачным.

Даниель наконец убедил Якова II, что заверения короля в веротерпимости будут звучать куда убедительнее, если снять череп Кромвеля с кола, на котором тот проторчал всё четвертьвековое правление Карла II, и предать земле рядом с

остальным Кромвелем. Для Даниеля и некоторых других череп был постоянным бельмом в глазу, а просьба его снять — вполне оправданной. Однако его величество и придворные страшно удивились — они и позабыли, что он здесь! Череп стал частью лондонского пейзажа, как птичий помёт на подоконнике, к которому давно присмотрелись. Просьба Даниеля, последовавший за ней декрет Якова и захоронение лишь привлекли к нему внимание. Внимание при нынешнем дворе означало поток злых острот. У придворных вошло в моду называть бродячих пуританских проповедников «Оливер» — без париков, тощие, в строгой одежде, они очень напоминали череп на палке. Благоговенье Гатер напоминал череп на палке в такой степени, что Даниель почти физически перебарывал желание сбить его с ног и присыпать землёй.

— Ньютон, судя по всему, с вами согласен, — сказал Даниель, — или опасается таких же выводов со стороны иезуитов, что, по сути, одно и то же.

— Не надо быть иезуитом, чтобы остерегаться суетных умствований, — произнёс несколько уязвлённый Гатер.

— И всё же что-то в этом есть, — отвечал Даниель. — Посмотрите в окно. Водотоки — частью

естественные, частью вырытые рачительными фермерами — делят болота на бесчисленные прямоугольные участки. Каждый такой прямоугольник можно разделить пополам — довольно провести по земле палкой, и вода заполнит борозду, как эфир — пустоту между частицами вещества. Это ещё метафизика?

— Отнюдь, хорошее сравнение, земное, весомое, как из Женевской Библии. Давно ли вы открывали Женевскую Библию…

— Что будет, если делить дальше? — спросил Даниель. — Будет ли всё так же? Или *что-то произойдёт* — мы достигнем предела, за которым деление невозможно и в игру вступают фундаментальные свойства мироздания?

— Э… не знаю, брат Даниель.

— Суетно ли задаваться этим вопросом? Или Господь дал нам мозги не просто так?

— Ни одна религия, за возможным исключением иудейской, не поощряет образование, как наша, — сказал Благоговенье. — Так что не стоило и спрашивать. Однако мы должны рассматривать эти… э… бесконечно малые, стремящиеся к нулю, самым строгим и отвлечённым образом, избегая как языческого идолопоклонства, так и французской суетности вкупе с метафизически-

ми увлечениями папистов.

— Лейбниц согласен. Применив рецепт, который вы только что прописали, к математике, он создал то, что на этих листах: дифференциальное исчисление.

— А что брат Исаак? Согласен ли он?

— Был согласен двадцать лет назад, когда *изобрёл* всё это, — сказал Даниель. — Сейчас не знаю.

— Я слышал от одного из наших кембриджских братьев, что поведение брата Исаака в церкви ставит под сомнение его веру.

— Брат Благоговенье, — резко проговорил Даниель, — прежде, чем распространять слухи, за которые Исаака могут бросить в тюрьму, озаботимся хотя бы, чтобы часть наших братьев оттуда выпустили, идёт?

Ипсвич искони был портом, из которого вывозили ткани, и теперь хирел по роковому стечению обстоятельств — дешевизны индийских тканей и способности голландцев доставлять их в Европу. Типичный образчик нелепого в своей древности английского городка, он стоит в устье реки Оруэлл, на таком месте, где любой — от троглодита до кавалера — решит вбить в землю колышек и осесть. Даниель предположил, что первой — пять или шесть тысячелетий назад — возвели тюрьму

и крысы перебрались в неё не позже чем неделю спустя. Когда Карлу II неожиданно взбрело в голову ужесточить закон против инакомыслия, всех сколько-нибудь заметных квакеров, гавкеров, рантеров, конгрегационалистов и пресвитериан Суффолка, вкупе с подвернувшимися под руку евреями, согнали вместе и бросили в эту тюрьму. Их вполне можно было выпустить месяц назад, но король желал, чтобы Даниель, его избранный представитель, приехал и осуществил это лично.

Карета остановилась перед тюрьмой. Благоговенье Гатер остался сидеть, нервно сжимая сундучок, а Даниель пошёл внутрь и до смерти напугал тюремщика официальным документом чуть поменьше скатерти с восковой печатью чуть поменьше человеческого сердца. Затем Даниель вошёл в тюрьму, прервал молитвенное бдение и отбарабанил речь, которую произнёс уже в полудюжине других тюрем, настолько заезженную и банальную, что сам не понимал, говорит что-то осмысленное или внезапно впал в глоссолалию. Судя по настороженным лицам, пуритане какой-то смысл из этого потока слов извлекали. Впрочем, Даниель не знал, какой именно, и не имел возможности узнать, по крайней мере прямо сейчас. Заключённых выпускали по одному,

причём каждый должен был прежде оплатить кормёжку и прочие услуги, а иные просидели здесь помногу, не один год.

Затем-то и требовался Благоговенье Гатер с сундучком денег. Мало кто оценил бы королевскую милость, останься узники в тюрьме — теперь уже за долги, набежавшие за время их (неправедного и нехристианского) заточения. Посему король (через Даниеля) организовал сбор средств в церквях соответствующего толка и (хотя сие почиталось строжайшей тайной) добавил недостающее из собственной казны. На практике это означало, что лондонские нонконформисты и английский король сгрузили в сундучок к Благоговенью Гатеру все свои самые старые и чёрные монеты — самые стёртые, опиленные по краям и вообще порченые. Стоимость каждой оценивали (и оспаривали), с одной стороны, ипсвичский тюремщик, с другой — Благоговенье Гатер и те из освобождённых пуритан, кто любил (а) деньги и (б) попрепираться, то есть все до единого.

Даниель организованно отступил на церковный двор, выходящий к морю, — здесь звуки спора отчасти перекрывал прибой. Некоторые освобождённые пуритане находили его и выстраивались в очередь, чтобы прочесть нотацию.

Так продолжалось до вечера, но только один — Эдмунд Поллинг — подошёл и пожал Даниелю руку.

Эдмунд Поллинг был вечный старик. Так всегда казалось Даниелю. Во всяком случае, полное отсутствие волос мешало определить возраст. Он выглядел стариком, когда бок о бок с Дрейком сражался против Карла I; стариком шагал он в погребальной процессии Кромвеля. Старый торговец Поллинг частенько появлялся на Стаурбриджской ярмарке с тем или иным товаром и всякий раз нежданно наведывался к Даниелю в Кембридж. Старик Поллинг был на поминальной службе по Дрейку, и, живя в Лондоне, Даниель нет-нет да встречал почтенного старца на улице.

Сейчас он спросил:

— Скажи, Даниель, это глупость или безумие? Ты знаешь короля.

Эдмунд Поллинг был человек разумный. Собственно, он был из тех англичан, чья разумность переходит в идиотизм. Как объяснит любой офранцузившийся придворный, попытки разумно всё объяснить сами по себе неразумны.

— Глупость, — отвечал Даниель.

Придворный до мозга костей, он не мог хитрить с такими, как Эдмунд Поллинг. В обществе по-

добных людей он чувствовал, что его отбросило на четыре десятилетия назад, когда обычные разумные англичане сплошь и рядом высказывали вслух многими признаваемую, но прежде непроизносимую мысль, что монархия — дрянь. То, что с тех пор произошла Реставрация и сейчас Европой правят великие короли, не имело никакого значения. Так или иначе, Даниель чувствовал себя с этими людьми легко и свободно — обстоятельство несколько тревожное, учитывая, что он был ближайшим советником Якова II. Он так же не мог защищать нынешнего короля, да и любого другого, перед Эдмундом Поллингом, как на собрании Королевского общества встать и объявить, что Солнце вращается вокруг Земли.

Эдмунд Поллинг кивнул:

— Понимаешь, некоторые говорят, что безумие. Из-за сифилиса.

— Неправда.

— Удивительно, поскольку *все* убеждены, что он болен сифилисом.

— Болен. Однако, неплохо зная его величество, я как секретарь Королевского общества полагаю, что когда он… э…

— Откалывает чудовищную глупость.

— Как сказали бы некоторые, мистер Поллинг,

да.

— Например, выпускает нас из тюрьмы в надежде, что мы не сочтём это циничной уловкой и поверим, будто он и впрямь стоит за свободу совести!

— Воздерживаясь от какой-либо позиции по отношению к последним вашим словам, мистер Поллинг, всё же полагаю, что ответ на поставленный вами вопрос следует искать в глупости. Учтите, я не исключаю и приступов сифилитического безумия…

— Так в чём разница? И есть ли она?

— Вот это, — Даниель указал на ипсвичскую тюрьму, — глупость. Приступы сифилитического безумия, напротив, выразятся в жестоком произволе, повальных арестах и массовых казнях…

Мистер Поллинг покачал головой и повернулся к воде.

— Однажды солнце, воссияв над морем, рассеет туман глупости и тень сифилитического безумия.

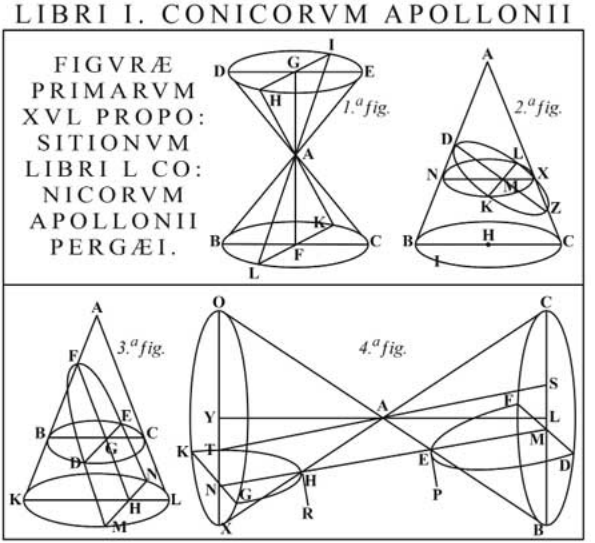
— Очень поэтично, мистер Поллинг. Однако я знаком с герцогом Монмутским, делил комнату с герцогом Монмутским, бывал облёван герцогом Монмутским, и смею вас заверить: герцог Монмутский не Карл Второй! И уж тем паче не

Оливер Кромвель!

Мистер Поллинг закатил глаза.

— Что ж, если Монмут потерпит неудачу, я первым же кораблём отплыву в Массачусетс.

Проведите прямую, затем ещё одну, пересекающуюся, и вращайте первую вокруг второй — получите конус. Проденьте его сквозь плоскость (рис. 1) и отметьте все общие точки плоскости и конуса. Чаще всего получится эллипс (рис. 2), но если склон конуса параллелен плоскости, то выйдет парабола (рис. 3), если же плоскости параллельна его ось — то кривая из двух частей, называемая гиперболой (рис. 4).



Во всех этих кривых — эллипсе, параболе и гиперболе — интересно то, что их порождает нечто прямое — две линии и плоскость. В гиперболе интересно то, что посередине она круто изгибается, а на удалении ветви её приближаются к прямым.

Греки, например Евклид, проделали всё сказанное давным-давно и открыли разные более или менее интересные свойства конических сечений (как называется данное семейство кривых), а так-

же других геометрических фигур — окружностей, треугольников и прочего. Всякое утверждение Евклида и др. касательно геометрии поддержано цепочкой логических рассуждений, восходящей к одной или нескольким аксиомам — самоочевидным истинам вроде того, что кратчайшее расстояние между точками есть прямая. Истины геометрии — всеобщие истины. Человеческий мозг в силах вообразить Вселенную, в которой Даниель звался бы Дэвидом или Ипсвич стоял бы на другом берегу Оруэлла, однако геометрия и арифметика непременно верны — ни в одной мыслимой вселенной 2 + 3 не равно 2 + 2.

Время от времени обнаруживается соответствие между чем-то в реальном мире и математическими абстракциями. Например, траектория Даниеля от Лондона до Ипсвича была почти прямолинейной, однако после того как всех диссентеров выпустили из тюрьмы, он круто поменял направление и утром следующего дня на взятой внаём лошади отправился в Кембридж по плавно спрямляющейся дуге. Другими словами, на пути через Эссекс, Сассекс и Кембриджшир он описал что-то вроде гиперболы.

Однако он двигался по ней не потому, что это гипербола (как и она стала гиперболой не оттого,

что он по ней двигался). Просто этой дорогой всегда ездили купцы, направляющиеся из Ипсвича с фургонами импортного или контрабандного товара. Он мог бы ехать зигзагом. То, что его путь на карте Англии напоминает гиперболу, — случайная истина. Она ничего не значит.

В кармане Даниеля лежали заметки, которые его патрон, добрый маркиз Равенскарский, сунул ему в Лондоне со словами: «Вот повод». Их составил королевский астроном Джон Флемстид, очевидно, в ответ на запрос Ньютона. Даниель не решался распечатать и прочесть сами заметки: Исаак унюхает следы его пальцев или что-нибудь в таком роде. Однако сопроводительное письмо было не запечатано. Между исполинскими глыбами барочной словесности пробивались несколько сухих стебельков информации; выдернув их и связав воедино, Даниель выяснил, что Ньютон запрашивал сведения о комете 1680 года, недавнем схождении Юпитера и Сатурна и об океанских приливах.

Любой другой учёный, смешав в кучу столь далёкие друг от друга предметы, расписался бы в собственной невменяемости. То, что Ньютон думает обо всех трёх сразу, явственно указывало на их общность. Приливы определённо связаны

с Луной, поскольку их высота зависит от её фазы; но как воздействие передаётся от далёкого каменного шара каждому морю, озеру и лужице на Земле? Временами Юпитер, мча по второй с краю орбите, нагоняет плетущийся на задворках Солнечной системы Сатурн. Известно, что Сатурн замедляется при сближении с Юпитером и ускоряется, когда тот умчит прочь. Расстояние между Юпитером и Сатурном по меньшей мере в две тысячи раз превосходит расстояние от Луны до приливов. Какое воздействие способно преодолеть эту пропасть? А кометы, почти по определению, выше и вне доселе неразгаданных законов, правящих миром планет и лун. Кометы не столько астрономические объекты и даже природные явления, сколько метафора чуждого, исключительного, трансцендентного; это чудища, перуны, письмена Бога. Подвести их под юрисдикцию любого свода естественных законов — дерзость, за которую могут и покарать.

Однако несколько лет назад в небе увидели приближающуюся комету, а ещё чуть позже — удаляющуюся, после чего Джон Флемстид вытянул шею миль так на десять и задал вопрос: «Может, кометы не две, а одна?» Очевидное возражение состояло в том, что они летят по разным

прямым. Одна прямая — одна комета. Две прямые — две кометы. Флемстид, лучше любого из живущих знакомый с несовершенством астрономических наблюдений, ответил, что кометы *не* движутся по прямой и никогда не двигались. Астрономы наблюдают лишь короткий отрезок их пути, который на самом деле может быть частью исполинской кривой. Известно, например, что гипербола почти на всём своём протяжении едва ли отличима от прямой: кто скажет, что две кометы 1680 года на самом деле не одна, совершившая крутой поворот близ Солнца, где астрономы не могли её наблюдать?

Ещё полвека назад это поставило бы Флемстида вровень с Кеплером и Коперником, однако он жил сейчас и посему превратился в своего рода информационную корову, которой надлежит стоять в гринвичском хлеву и доиться всякий раз, как Ньютоном овладеет жажда. Даниель в роли молочницы спешил сейчас в Кембридж с тёплым подойником.

Любого европейца, претендующего на образованность, должно было во всём перечисленном занимать следующее:

1) Кометы свободно несутся в космическом пространстве, их траекторию определяет лишь

(пока неведомое) воздействие Солнца. Коль скоро они движутся по коническим сечениям, это не случайно. Строго гиперболическая траектория кометы — не грубо гиперболический путь Даниеля через три графства. Коль скоро планеты с кометами движутся по коническим сечениям, за этим должна стоять некая всеобщая необходимая истина, некое непреложное свойство вселенной. Это *что-то* значит. Что именно?

2) То, что Солнце оказывает на планеты некое центростремительное действие, признали почти все, однако, запрашивая данные о взаимоотношениях моря и Луны, Юпитера и Сатурна, Исаак практически объявляет, что всё едино: всё притягивает всё. Влияние на, скажем, Сатурн Солнца, Юпитера и Титана (спутника, обнаруженного Гюйгенсом у Сатурна) различается лишь направлением и масштабом. Так товары, сваленные на каком-нибудь амстердамском складе, привезены из разных мест и стоят по-разному, но в конечном счёте важно лишь то, сколько золота дадут за них на площади Дам. Золото, вырученное за фунт малабарского перца, смешивается с золотом за сельдь, выловленную в Северном море, и не пахнет ни рыбой, ни пряностями. В случае небесной динамики золотом — универсальным мерилом

— оказывается сила. Одна и та же сила действует на Сатурн со стороны Титана и со стороны Солнца. В конечном счёте они складываются, давая вектор; результирующая сила не несёт никаких следов своего источника. Это мощная алхимия: она сводит движение планет с недосягаемых высот в область, доступную людям, овладевшим оккультным искусством алгебры и геометрии. Силы и загадки, бывшие доселе исключительной прерогативой богов, — вот на что замахнулся Исаак.

Типичное следствие этого алхимического слияния состоит в том, что комета, несущаяся к Солнцу по почти прямой ветви гиперболы, испытывает влияние планеты, мимо которой летит. Солнце — не абсолютный монарх и не обладает особенной богоданной властью. Комета не должна чтить его притяженье больше, чем притяженье других планет; собственно, комета даже не ощутит эти влияния как различные, ибо они уже слились во всеобщий эквивалент, в единый вектор. Далеко от Солнца, вблизи планеты, воздействие последней будет преобладать, и комета плавно изменит курс.

Так и Даниель, большую часть дня следовавший почти по прямой через болотистую

местность к северу от Кембриджа, за утоптанным пустырём Стаурбриджской ярмарки у реки Кем внезапно свернул на орбиту, в центре которой лежали некие комнаты у главных ворот Тринити-колледжа.

У Даниеля по-прежнему были от них ключи, но сразу идти туда не хотелось, и он, поставив лошадь в конюшню, вошёл через задние ворота, о чём вскорости пожалел. Он знал, что библиотека Рена уже строится, поскольку Тринити-колледж в своё время дал званый обед в честь него, Роджера и прочих отцов-основателей. По бодрым или унылым отчётам, которые Рен представлял на каждом заседании Королевского общества, Даниель знал, что строительство несколько раз останавливалось и возобновлялось. Однако он не подумал о практических следствиях. На лугу между рекой и колледжем расположилась лагерем целая армия строителей со всем своим тягловым скотом и той публикой, какая обычно следует за армией — не только потаскушками, но и торговцами спиртным, точильщиками, мальчишками на посылках и т. п. Даниелю пришлось довольно долго месить ногами конский навоз, забредать в тупики, спотыкаться о кур или отклонять более или менее заманчивые предложения

половой близости, прежде чем он хотя бы увидел библиотеку.

Покуда он пробирался через становище строителей, бóльшая часть Кембриджа погрузилась в сумерки. Не то чтобы это многое изменило: небо с раннего утра набрякло свинцовой серостью. Впрочем, с верхнего этажа библиотеки Рена можно было взглянуть на завтрашнюю погоду, которая обещала быть хорошей и ясной. Крышу в основном уже настелили, в остальных местах её форму обозначили стропилами красного дуба. Казалось, они резонируют с закатом: не просто заслоняют свет, но гудят с ним в унисон. Даниель стоял там довольно долго: он знал, что такая красота быстротечна, и хотел, вернувшись в Лондон, описать её многострадальному Рену.

Зазвонил колокол, созывая профессоров на трапезу. Даниель, пройдя через пустые арки библиотеки и Невиллс-корт, еле-еле успел набросить мантию и присоединиться к коллегам.

Лица сидящих, красные от портвейна и пылающих свечей, выражали самые разные чувства, по большей части довольство. Последнего главу колледжа, пытавшегося установить хоть какое-нибудь подобие дисциплины, хватил удар, когда он распекал неких особо буйных студентов. И сту-

денты, и преподаватели не преминули сделать свои выводы. Нынешний глава, друг Равенскара, граф, с начала семидесятых исправно посещал заседания Королевского общества и столь же исправно засыпал на их середине. Он наведывался в Кембридж, только когда там ждали кого-нибудь поважней его. Герцог Монмутский больше не числился почётным ректором; во время очередной опалы его лишили всех званий. Теперь им был герцог Твидский, он же генерал Льюис, «Л» в «кабальном кабинете» Карла II.

Впрочем, кто бы ни считался номинальным главой, университетом распоряжалась профессура. Двадцать пять лет назад, как раз когда Исаак и Даниель поступили в Тринити, Карл II вышвырнул вон пуритан, окопавшихся здесь при Уилкинсе, и насажал дилетантствующих кавалеров. Все они были джентльменами в первую очередь, учёными — во вторую. Покуда Исаак и Даниель занимались самообразованием, эти люди превратили колледж в свой личный муравейник. Теперь они возглавляли совет. Околопочечный жир, сыры и портвейн сделали своё дело, и трудно было определить, что размягчилось больше — телеса или мозги.

Никто не помнил, когда Исаак последний раз

посещал совместную трапезу. Его отсутствие за общим столом рассматривалось не как знак некой ущербности колледжа, но как знак некой ущербности Исаака. В каком-то смысле так оно и было: если цель колледжа — приобщать следующее поколение к определённому образу жизни, то всё шло замечательно и присутствие Исаака лишь портило бы картину.

Это прекрасно сознавала профессура (так теперь Даниель о них думал — не целая комната индивидуумов, но «профессура», некий улей или стадо, совокупность. Вопрос совокупности в последнее время постоянно терзал Лейбница. Баранье стадо состоит из отдельных баранов и стадом зовётся потому, что так принято: свойство стадности привнесено людьми и существует лишь в их перцепциях. Недавно Гук открыл, что человеческий организм состоит из клеток, следовательно, представляет собой совокупность, как и баранье стадо. Означает ли это, что тело, как и стадо, — всего лишь домысел перцепции? Или есть некое объединяющее влияние, которое собирает клетки в единый организм? И что такое профессура Тринити-колледжа — стадо баранов или организм? Даниелю сейчас казалось, что скорее организм. Чтобы выполнить поручение,

возложенное на него Роджером Комстоком, надо было как-то ослабить неведомое объединяющее влияние, а затем отсечь от стада нескольких баранов). Совокупность под названием «профессура Тринити-колледжа» заметила, что Исаак посещает церковь лишь раз в неделю, по воскресеньям, и не одобряла его поведение, хотя, в отличие от пуритан, джентльмены (все они принадлежали к Высокой церкви) находили неприличным говорить о религии. Даниеля, отлично знавшего, что делает Исаак и что здесь о нём думают, такое положение дел устраивало как нельзя лучше.

Однако чуть позже, когда часть профессуры поднялась наверх, чтобы выпить портвейна в более тесном кругу, Даниель забросил сакраментальный вопрос как наживку, чтобы протащить её через стоячий пруд и глянуть, что выловится в мутной воде.

— Учитывая, с кем водит сейчас компанию Ньютон, поневоле гадаешь, не склоняется ли он к папизму.

Молчание.

— Джентльмены! — продолжал Даниель. — В этом нет ничего *зазорного*. Вспомните, наш король — католик.

В комнате, кроме него, было тринадцать гостей.

Одиннадцать сочли замечание неслыханным моветоном (чем оно и было) и потому промолчали. Даниель не переживал — его простят, потому что он пьян и знаком с высокопоставленными людьми. Один — Вигани, алхимик — с ходу раскусил, к чему Даниель клонит. Если Вигани всё последнее время ходил за Исааком по пятам, как сегодня за Даниелем, и так же внимательно ловил каждое слово, он должен был знать многое. Во всяком случае, кончики его усов пошли вверх, и он спрятал нехорошую улыбку за бокалом с вином.

Однако самый молодой и пьяный из собеседников Даниеля, не скрывавший, что отчаянно хочет вступить в Королевское общество, проглотил наживку вместе с крючком.

— Уж скорее ночные посетители мистера Ньютона обратятся в его веру, чем он — в их!

Послышались сдержанные смешки. Раззадоренный оратор продолжал:

— Только боже сохрани их потом вернуться во Францию! После того что Людовик сделал с гугенотами, можно представить, как он примет завзятого…

— А уж тем более — в Испанию с её инквизицией! — со смехом ввернул Вигани, умело пытаясь свести разговор к чему-то совершенно баналь-

ному и не стоящему слов. В конце концов, вряд ли кто-нибудь из его собеседников стал бы защищать испанскую инквизицию.

Однако Даниель не для того столько лет прожил среди придворных, чтобы спасовать перед такой уловкой. Он так же умело развернул разговор назад.

— Боюсь, нам придётся ждать учреждения английской инквизиции, дабы узнать, что не договорил наш друг!

— За этим дело не станет, — пробормотал кто-то.

Круговая оборона дрогнула! Однако Вигани уже оправился от удара.

— Инквизиция! Чепуха! Король — рьяный поборник свободы совести… по крайней мере так уверяет доктор Уотерхауз.

— Я лишь говорю то, что поручил мне король.

— Не вы ли только что выпустили из тюрьмы целую толпу диссентеров?

— Вы исключительно хорошо осведомлены о моих занятиях, сэр, — сказал Даниель. — Истинная правда. В тюрьмах освободилось немало мест.

— Негоже им простаивать, — заметил кто-то.

— Король найдёт, кем их заполнить, — подхва-

тил другой.

— Предсказать несложно. Вопрос позаковыристей: как будет зваться этот король?

— Англией.

— Я имею в виду христианское имя.

— Так вы считаете, он будет христианином?

— А вы считаете, сейчас он христианин?

— Мы о короле, который живёт в Уайтхолле, или о том, что был замечен в Гааге?

— Тот, что живёт в Уайтхолле, *мечен* с тех пор, как побывал во Франции: мечен на лице, на руках, на…

— Господа, господа, вы, кажется, угорели от духоты! — вскричал самый старый из учёных мужей с таким видом, будто его самого сейчас хватит удар. — Доктор Уотерхауз всего лишь справляется о своём старом друге, нашем коллеге Ньютоне.

— Эту ли версию мы будем излагать английской инквизиции?

— Господа, будьте серьёзнее! — возмутился старейший из учёных мужей, весь багровый (и не от неловкости). — Берите пример с мистера Ньютона: сколь прилежно он занимается геометрией, алгеброй, астрономией…

— Эсхатологией, астрологией, алхимией…

— Нет, нет! С тех пор как здесь побывал мистер Галлей, Ньютон куда реже принимает гостей, и синьор Вигани вынужден искать общества в трапезной.

— Мне нет надобности его *искать*, — отвечал Вигани, — ибо оно всегда обретается под этими сводами.

— Прошу меня извинить, — сказал Даниель. — Сдаётся мне, что Ньютону не помешает гость.

— Возможно, ему не помешает корочка хлеба, — проговорил кто-то. — Замечено, что в последнее время он роется у себя в саду, как курица.

> Не могу не осудить тех, кто в ослеплении перед героическими свершеньями древних вознёс их до небес, не думая, что новое время явило нам не меньше славного и удивительного.
>
> ***Джемелли Карери***

В воротах Даниель одолжил у привратника фонарь и вступил в проход, ведущий к улочке между зубчатыми стенами. В стене слева от него была дверь; отомкнув её своим ключом, Даниель оказался в саду, засаженном отчасти невысокими плодовыми деревцами, отчасти кустами и

травой. Слева деревья повыше заслоняли окна жилых помещений, втиснутых между воротами и церковью. Только что проклюнувшиеся листья фосфорическим взрывом застыли в свете из Исааковых окон. Впрочем, на первом этаже окна были темны, звёзды над крышей горели ясно и чётко, а не колыхались от жара и не прятались за дымом из труб. Исааковы печи простыли, содержимое тиглей затвердело, как камень. Весь их жар перешёл в его голову. Даниель, держа фонарь на уровне колена, осветил гравийную дорожку, и всё, что Исаак нарыл, как курица, проступило отчётливым барельефом.

Каждый чертёж начинался одинаково: Исаак носком башмака или палкой проводил на земле кривую. Не какую-то определённую — окружность или параболу, — а кривую вообще. Всё во Вселенной криволинейно, всякая кривая постоянно меняется, однако движением ноги или палки Исаак выхватывал частную кривую — какую угодно — из гудящего многообразия, как лягушка языком — одного комара из роя. Заключённая в гравий, кривая становилась недвижной и беззащитной. Исаак мог стоять и смотреть на неё сколько вздумается, как сэр Роберт Морэй — на заспиртованного угря. Затем Исаак при-

нимался чертить прямые, возводить эшафот из лучей, касательных, нормалей и хорд. Поначалу казалось, будто они растут произвольно, но когда прямые складывались в треугольник, тот как по волшебству оказывался эхом другого треугольника, расположенного в другом месте. Факт этот открывал шлюз, по которому информация устремлялась из одной части чертежа в другую или даже перетекала на соседний чертёж. Правда, результата Даниель так ни разу и не увидел, ибо на самом интересном месте чертёж обрывался и переходил в цепочку следов — лунных кратеров на гравии: Исаак спешил в дом, дабы закрепить чертёж чернилами на бумаге.

Даниель прошёл по следам в их некогда общее жильё. Всюду громоздился привычный алхимический сор, впрочем, не столь опасный, как прежде, ибо всё здесь давно остыло. Даниель обводил фонарём одну притихшую комнату за другой и видел застывшее минеральное вещество, косное и неподатливое, в которое всегда возвращается природа: тигли в коросте окалины, закопчённые колбы, оплавленные щипцы, чёрные куски угля, шарики ртути в трещинах между половицами, открытую шкатулку с гинеями у окна, оставленную словно в желании уверить

прохожих, что здешний обитатель вполне равнодушен к золоту.

На столе лежали письма, написанные на латыни господами из Праги, Неаполя, Сен-Жермена и адресованные *JEOVA SANCTUS UNUS*. Между ними проглядывал огромный, прибитый к столешнице чертёж. Даниель сдвинул часть книг и бумаг, чтобы его рассмотреть. Ему подумалось, что Исаак — подобно Рену, Гуку и самому Даниелю — подался в архитекторы.

Судя по всему, он проектировал квадратный, обнесённый стеною двор с прямоугольным строением посередине. Осветив написанные внизу буквы, Даниель прочёл: «Один и тот же Господь дал размеры скинии Моисею и храма с его двором Иезекиилю и Давиду, не изменив пропорций, но лишь удвоив их для храма… Итак, Иезекииль и Соломон сходятся, указывая размеры вдвое против Моисеевых».

— Я всего лишь силюсь восстановить то, что знал Соломон, — проговорил Исаак.

Щадя его слабые глаза, Даниель, прежде чем обернуться, поднял и задул фонарь. Исаак бесшумно спустился по каменной лестнице. В кабинете на втором этаже горели свечи, и на камнях за Исааком лежали тёплые оранжевые отсветы. Сам

Исаак был чёрным силуэтом в шлафроке, голова — облако серебра. Он ничуть не поправился со студенческих лет — ничего удивительного, если он всё так же пренебрегает едой.

— Порою мне кажется, что ты и даже я знаем практически обо всём куда больше Соломона, — сказал Даниель.

Исаак долго не отвечал, однако что-то в его силуэте выдавало не то обиду, не то грусть.

— Всё есть в Библии, Даниель. Первая глава — Эдем. Последняя — Апокалипсис.

— Знаю, знаю. Мир вначале был совершен и с тех пор только портится. Вопрос лишь в том, насколько он испортится до того, как Господь задёрнет занавес. С детства меня учили, что это непреложно, как тяготение, Исаак. Однако в тысяча шестьсот шестьдесят шестом конец света не наступил.

— Он наступит вскоре после тысяча восемьсот шестьдесят седьмого, — сказал Исаак. — В тот год падёт Зверь.

— Англиканские доктринёры предрекают падение католической церкви в тысяча семисотом году.

— Англикане ошибаются не только в этом.

— А не допускаешь ли ты, Исаак, что мир ста-

новится лучше или по крайней мере остаётся таким же? Ибо, по моему твёрдому убеждению, мы знаем много такого, что не приходило в голову Соломону.

— Я там наверху работаю над Системой Мира, — небрежно бросил Исаак. — Есть резон полагать, что Соломон и другие древние знали её и зашифровали в устройстве храмов.

— Согласно Библии это устройство продиктовал им непосредственно Бог.

— Выйди наружу, взгляни на звёзды, и ты увидишь, что Господь диктует то же самое тебе. Надо лишь научиться Ему внимать.

— Если Соломон всё знал, почему он не сказал просто: «Солнце — в центре Солнечной системы; планеты ходят вкруг него по эллипсам»?

— Думаю, он сказал это устройством храма.

— Да, но почему Господь и Соломон так чертовски уклончивы? Почему не сказать прямым текстом?

— Хорошо, что ты не стал докучать мне письмами, — сказал Исаак. — Читая письмо, я вижу слова, но не знаю, что на уме у писавшего. Лучше, что мы встретились в ночи.

— Как алхимики?

— Или как первые христиане в языческом

Риме.

— Чертящие кривые на гравии?

— …Или любые христиане, дерзнувшие противостоять идолопоклонникам. Если бы ты сказал это всё в письме, я бы заключил, что ты служишь Зверю, как иные про тебя говорят.

— Из-за предположения, что мир не только загнивает?!

— Разумеется, он загнивает, Даниель. Вечного двигателя нет.

— Кроме сердца.

— И сердце тоже загнивает. Иногда ещё при жизни владельца.

Эту тему Даниель развивать не решился. Помолчав, Исаак продолжал, чуть более хрипло:

— Как отыскать Господа в этом мире? Вот всё, что я хочу знать. Пока я Его не нашёл. Однако, когда я вижу что-то, неподвластное тлению, — ход Солнечной системы, Евклидово доказательство или безупречность золота, — я чувствую, что приближаюсь к Божеству.

— Ты нашёл философскую ртуть?

— В семьдесят седьмом Бойль был уверен, что отыскал её.

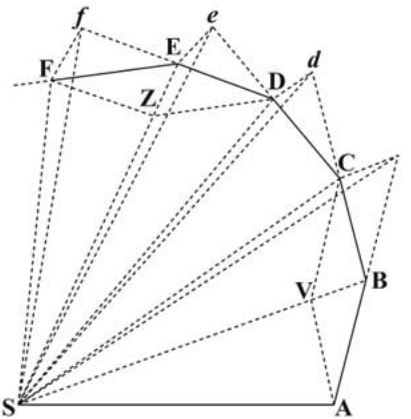
— Помню.

— Какое-то время я ему верил, но то был само-

обман. Теперь я ищу её в геометрии — вернее там, где геометрия бессильна.

— Бессильна?

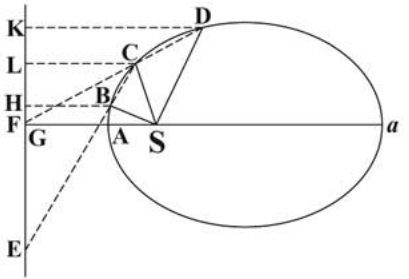
— Идём со мной наверх, Даниель.



Первый чертёж Даниель узнал сразу, как собственную подпись.

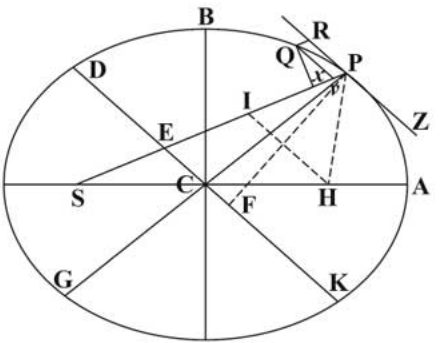
— Объект под действием центральной силы сохраняет момент количества движения; линии, соединяющие его с центром, заметают в равное время равные площади.

— Ты прочёл моё «*De Motu Corporum in Gyrum*»?



— Мистер Галлей представил эту работу Королевскому обществу, — сухо отвечал Даниель.

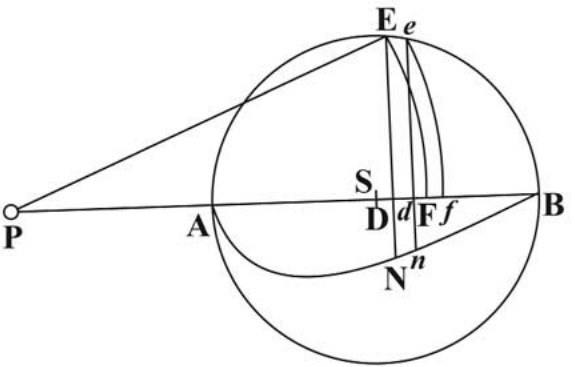
— Некоторые леммы выводятся из этого, — сказал Исаак, кладя второй чертёж поверх первого, — а отсюда можно перейти непосредственно к…



— …Самому главному, — подхватил Даниель. — Если центральная сила подчиняется закону обратных квадратов, то объект движется по эллипсу или, во всяком случае, по коническому сечению.

— Я бы сказал: «То, что небесное тело движется по коническому сечению, доказывает закон обратных квадратов». Однако пока мы говорим лишь о собственных измышлениях. Доказательства сделаны для точечных тел, обладающих массой; в природе таких нет. Настоящие небесные тела обладают геометрической формой — состоят из большого числа крохотных частиц, вместе образующих сферу. Если существует всемирное тяготение, то каждая из частиц, слагающих Землю, притягивает Луну, и наоборот. И каждая из частиц Луны притягивает воду в земных океанах, порождая приливы. Как же сферическая геометрия планет сказывается на их притяжении?

Он вытащил ещё лист, с виду гораздо более новый.



Даниель не узнал чертёж и поначалу принял его за схему глазного яблока, какие Исаак рисовал в студенчестве. Однако тут говорили о планетах, не о глазах.

Последовало несколько неловких мгновений.

— Исаак, — проговорил наконец Даниель, — *ты* можешь нарисовать такую схему, сказать: «Вот!», и доказательство закончено. *Мне* требуются объяснения.

— Ладно. — Исаак указал на круг в центре чертежа. — Представь себе сферическое тело — на самом деле совокупность бесчисленных частиц, каждая из которых создаёт гравитационное притяжение в соответствии с законом обратных квадратов. — Он взял ближайший предмет —

чернильницу — и поставил её на край чертежа, как можно дальше от «сферического тела». — Что ощущает вот этот спутник, когда притяжение отдельных частиц складывается в совокупную силу?

— Разумеется, не мне учить тебя физике, Исаак, но, по-моему, это задача как раз для интегрального исчисления, так зачем ты решаешь её геометрически?

— Почему бы нет?

— Потому что Соломон не знал интегрального исчисления?

— Интегральное исчисление, как *некоторые* его называют, — грубый и некрасивый метод. Я предпочитаю строить доказательства на геометрии.

— Потому что геометрия идёт из древности, а всё древнее хорошо?

— Пустой разговор. Итог, как всякий может увидеть из моего чертежа, состоит в том, что всякое шарообразное тело — планета, луна, звезда, — состоящее из определённого вещества, притягивает так же, как если бы всё вещество было сосредоточено в геометрической точке — его центре.

— Так же? Ты хочешь сказать — в точности так же?

— Это доказано геометрически, — просто сказал Исаак. — То, что частицы распределены внутри шара, ничего не меняет, ибо такова геометрия сферы.

Даниелю пришлось отыскать стул; казалось, вся кровь от ног прихлынула к голове.

— Если так, — проговорил он, — то всё, что ты доказал прежде для точечных объектов, — например, что они движутся по коническим сечениям…

— Без всяких изменений приложимо к сферическим телам.

– *Реальным объектам.* — Даниелю предстало странное видение: храм, восстающий из праха. Колонны поднимаются над руинами, обломки камня собираются в херувимов и серафимов, пламя вспыхивает на алтаре… — Так, значит… ты создал Систему Мира.

— Её создал *Господь*. Я лишь её нашёл. Заново открыл позабытое. Взгляни на чертёж, Даниель. Всё здесь. Это явленная истина. Откровение.

— А ты говорил, что ищешь Бога там, где геометрия бессильна.

— Разумеется. Здесь нет *выбора,* — сказал Исаак, похлопывая по чертежу изможденной рукой. — Даже Бог не мог бы создать мир иначе.

Бог, заключённый здесь, — он с силой ударил по листу, — Бог Спинозы, Бог, который есть всё и, следовательно, ничто.

— Однако, мне кажется, ты объяснил всё.

— Я не объяснил закон обратных квадратов.

— Ты доказал, что если тяготение следует закону обратных квадратов, то спутники движутся по коническим сечениям.

— А Флемстид подтверждает, что так оно и есть. — Исаак вытащил бумаги из кармана у Даниеля. Не обращая внимания на сопроводительное письмо, он сорвал печать и начал просматривать листки. — Значит, тяготение подчиняется закону обратных квадратов. Однако мы вправе сделать это утверждение лишь потому, что оно согласуется с наблюдениями Флемстида. Если завтра Флемстид обнаружит комету, летящую по спирали, он докажет, что я не прав.

— Ты говоришь: зачем нам вообще нужен Флемстид?

— Я говорю: самый факт, что он нам нужен, доказывает, что Бог делает выбор.

— Или сделал.

Лицо Исаака брезгливо скривилось. Он закрыл глаза и покачал головой.

— Я не верю, будто Бог сотворил мир и почил

от дел, что Ему больше нечего выбирать и Его присутствие в мире неощутимо. Я убеждён: Он повсюду и всё время принимает решения.

— Но лишь потому, что не всё можешь объяснить с помощью геометрии.

— Я сказал тебе, что ищу Бога там, где она бессильна.

— Может, есть неизвестное доказательство закона обратных квадратов. Может, он как-то связан с эфирными вихрями.

— Никто ещё не сказал ничего вразумительного про эфирные вихри.

— Тогда — с неким взаимодействием частиц?

— Частиц, несущихся от Солнца к Сатурну и назад с бесконечной скоростью, не встречая сопротивления эфира?

— Ты прав, всерьёз об этом говорить не приходится. Какова же твоя гипотеза, Исаак?

– *Hypotheses non fingo*[114].

— Неправда. Ты начинаешь с гипотезы — я видел некоторые на гравии внизу. Потом рисуешь чертёж. Не знаю, как тебе это удаётся, разве что сам Господь водит твоей рукой. Когда ты заканчиваешь, это уже не гипотеза, а доказанная истина.

---

[114] Примечания: 114
Гипотез не измышляю (*лат.*).

— Геометрия никогда не объяснит тяготения.

— Может быть, метод флюксий?

— Метод флюксий — лишь подручное средство для геометрии.

— И то, что недоступно геометрии, недоступно методу флюксий.

— Да, по определению.

— По-твоему выходит, что внутренняя сущность тяготения недоступна натурфилософии. Так к кому мы должны обратиться? К метафизикам? Теологам? Чародеям?

— Для меня они все едины, — сказал Исаак. — И я один из них.

Побережье к северу от Схевенингена

октябрь 1685

Казалось, Вильгельм Оранский прочесал весь мир в поисках места, наименее похожего на Версаль, и велел Элизе дожидаться его там. В Версале всё задумано и воплощено человеком, здесь взгляду представали только вода и песок. Каждую песчинку принесли сюда волны, рождающиеся в океане по неведомым законам, понятным, быть может, доктору, но не Элизе.

Она спешилась и пошла вдоль берега на север, ведя коня в поводу. Плотный мокрый песок был усеян пёстрыми ракушками всех форм и размеров — возможно, они и надоумили первых голландцев пуститься в странствия на поиски заморских богатств. Раковины являли приятный контраст унылой однообразности берега, воды и пасмурного неба. Они зачаровывали Элизу; ей требовалось усилие, чтобы время от времени поднять глаза и оглядеться. Впрочем, видела она лишь росчерки пены, оставленные волнами на песке.

Каждая волна, думала Элиза, уникальна, словно человеческая душа. Каждая набегает на

берег, исполненная силы, замедляется, слабеет, растекается шипящею лентою белой пены и захлёстывается следующей. Итог их нескончаемых усилий — берег. Конкретная волна, окончившая здесь свою жизнь, оставила сложный узор песчинок, который можно было бы рассмотреть в лупу, однако Элиза с высоты своего роста видела лишь невыразимо плоский песок — «мерзость запустения в тёмном месте», выражаясь языком Библии.

За спиной раздался громкий треск, как будто рвут ткань. Элиза обернулась к югу, туда, где начиналась выемка в побережье — Схевенингенская гавань. Несколько минут назад там было безлюдно, лишь двое или трое местных жителей собирали моллюсков. Сейчас над песком стремительно двигался парус: треугольник холста, втугую натянутый влажным морским ветром. Ниже располагалась ажурная деревянная конструкция; основу её составлял поперечный брус с двумя тележными колёсами на концах. Конструкция сильно кренилась, и одно колесо висело в воздухе, усиливая впечатление полёта. Оно медленно вращалось, разбрызгивая мокрые комья с широкого — чтобы катиться, а не вязнуть в песке и ракушках — обода. Широкий след от второго колеса вился между согбенными сбор-

щиками моллюсков; ярдах в ста позади его уже смыли волны.

Перед отливом к берегу подвели рыбачью лодку; теперь море отступило, оставив её на песке. Рыбаки подпёрли лодку брусьями и разложили на песке улов. Получился импровизированный рыбный рынок — до вечера, когда прилив разгонит покупателей и поднимет лодку. Горожане приходили с корзинами и приезжали на телегах, дабы подискутировать с рыбаками о стоимости того, что те извлекли из морских глубин.

Многие обернулись взглянуть на песчаный парусник. Он пронёсся мимо Элизы быстрее, чем лошадь на полном скаку. Элиза узнала человека, который управлял тросами и рулём. Узнали его и некоторые покупатели, а кое-кто даже потрудился приподнять шляпу и отвесить поклон. Элиза села на лошадь и поскакала вдогонку.

Берег отделяли от пляжа дюны, похожие не столько на барханы, какие Элиза видела в Сахаре, сколько на помесь дюны с живой изгородью. Их покрывала цепкая растительность, светло-зелёная внизу, кое-где с отливом в голубизну, а на самом гребне густая и тёмная, словно хмурящиеся на море кустистые брови.

Примерно в миле от рыбачьей лодки берег

плавно изгибался, скрывая вид на город, и от дюны отходил небольшой поперечный отрог. Дальше о том, что Голландия — обитаемая страна, свидетельствовала лишь высокая сторожевая башня на расстоянии примерно в милю. Здесь песчаный парусник остановился, парус обвис и затрепетал на ветру.

— Я, наверное, должна спросить: «Где ваш двор, о принц, ваша свита, телохранители, придворные историографы, поэты и живописцы?» И выслушать суровую отповедь на тему разложения французского двора.

— Возможно, — сказал Вильгельм Оранский, штатгальтер Голландской республики. Он слез с парусинового сиденья и стоял теперь лицом к морю. Многослойная одежда, мокрая от брызг и облепленная песком, скрадывала щуплость его фигуры. — А может, мне просто нравится кататься в одиночестве, а то, что вы придаёте этому чрезмерное значение, доказывает, что вы слишком долго пробыли в Версале.

— Интересно, почему здесь эта дюна?

— Не знаю. Быть может, завтра её здесь не будет. А что?

— Я смотрю, как волны неустанно трудятся, передвигая песчинки, и дивлюсь, как порою они

создают нечто удивительное, например дюну. Этот песчаный бугор подобен Версалю — чудо мастерства. Волны Индийского океана, встречая товарок с аравийского или малабарского побережья, должно быть, обмениваются слухами о ней и спрашивают о последних вестях из Схевенингену.

— Женщинам свойственно в некоторые дни месяца и в некоторые времена года впадать в подобное настроение, — задумчиво проговорил принц.

— Догадка остроумная, но неверная, — сказала Элиза. — Знаете, христианские невольники в Берберии прилагают огромные усилия, чтобы достичь сущей малости, например смастерить что-то из мебели в баньёлы.

— Баньёлы?

— Невольничьи лачуги.

— Какая жалобная история.

— Да, но невольники правы, стремясь к малому, ибо живётся им хуже некуда, — сказала Элиза. — В какой-то мере они счастливцы, ибо им есть куда воспарять в головокружительных мечтах, не рискуя удариться о потолок. Обитатели Версаля забрались так высоко, как только возможно смертному, и должны постоянно ходить

пригнувшись, ибо задевают париками небосвод, который, соответственно, кажется им низким и заурядным. Подняв голову, они видят не манящие заоблачные выси, а…

— Безвкусно раскрашенный потолок.

— Да. Понимаете? Нет простора. И потому, прибыв из Версаля, легко смотреть на волны, достигающие столь малого, и думать, что, сколько бы мы ни пыжились, мы лишь перекладываем песчинки на берегу, который, по сути, остаётся прежним.

— Верно. А если мы воистину вели́ки, то можем создать дюну или бугор, которые прослывут восьмым чудом света!

— Вот-вот!

— Очень поэтично, хоть и в мрачном готическом духе. Однако я поднимаю голову и не вижу потолка. Я вижу клятых французов, которые презрительно смотрят на меня с высоты в милю. Я должен низвести их до себя или вскарабкаться к ним, прежде чем судить, удалось ли мне создать дюну или чего ещё. Так что не будем рассеиваться мыслями.

— Хорошо. *Здесь* мало что может рассеять мысль.

— Что, по-вашему, означает угроза короля, ко-

торую вы приводите в конце последнего письма?

— Вы о том, что он сказал мне после операции?

— Да.

— «Пусть гордится в той мере, что он мне друг, и страшится в той мере, что он мне недруг»? Это?

— Да.

— Мне кажется, смысл самоочевиден.

— Но с какой стати королю адресовать такое предупреждение д'Аво?

— Быть может, король не вполне доверяет графу.

— Ерунда. Д'Аво предан ему душою и телом.

— Может быть, король слабеет, и ему мерещатся несуществующие враги.

— Сомнительно. У него слишком много настоящих врагов, чтобы воображать мнимых, и слабости в нём пока не замечено!

— Хм. Сдаётся, все мои объяснения нехороши.

— Теперь, за пределами Франции, вам следует отказаться от привычки надувать губки. У вас это получается очень мило, но у голландца может возникнуть желание шлёпнуть вас по губам.

— Вы поделитесь со мною своими наблюдениями, если я пообещаю не надувать губки?

— Очевидно, угроза короля предназначалась кому-то кроме д'Аво.

Элиза на мгновение опешила. Вильгельм Оранский возился с тросами, давая ей время собраться с мыслями.

— Вы хотите сказать, король знает, что мои письма д'Аво читают голландцы… и в таком случае угроза адресовалась вам. Угадала?

— Вы почти начали догадываться… и это начинает меня утомлять. Давайте я объясню, ибо, пока вы не поймёте, вы для меня бесполезны. Всякое письмо, отправленное из Версаля, исходит оно от вас, от Лизелотты, от Ментенон или от какой-нибудь горничной, почтмейстер вскрывает и отправляет в Чёрный кабинет для прочтения.

— О Боже! Что такое Чёрный кабинет?

— Неважно. Главное, что там читают все ваши письма д'Аво и всё существенное докладывают королю. Затем письмо возвращают почтмейстеру, тот искусно запечатывает его и отправляет на север… затем *мой* почтмейстер вскрывает его, прочитывает, вновь запечатывает и пересылает д'Аво. Итак, угроза короля могла адресоваться кому угодно в цепочке: д'Аво (хоть это и маловероятно), мне, моим советникам, членам его Чёрного кабинета… и вам.

— Мне?! С какой стати ему стращать такое ничтожество?

— Я упомянул вас лишь для полноты.

— Не верю.

Принц Оранский рассмеялся.

— Отлично. Вся система Людовика держится на том, что знать должна быть бедна и бессильна. Некоторым это по душе, некоторым — нет. Те, кому не по душе, стремятся раздобыть деньги. В той мере, в какой им это удаётся, они представляют угрозу для короля. Как вы думаете, почему Французская Ост-Индская компания всё время разоряется? Потому что французы тупы? Они не тупы. Вернее, тупых отправляют в Индию, поскольку Людовик хочет, чтобы компания разорилась. Целый порт богатых *купцов,* вроде Лондона или Амстердама, для него — страшный сон.

Некоторые дворяне в стремлении раздобыть деньги обратили взор к Амстердаму и начали нанимать голландских посредников. Королю на руку, что вы пустили по ветру Слёйса, поскольку вместе с ним разорились несколько французских графов: урок французским дворянам, ищущим богатства на амстердамском рынке. Однако теперь стали обращаться к вам. Только и разговоров, что о вашем «испанском дядюшке».

— Никогда не поверю, что король видит во мне

угрозу.

— Разумеется, видит.

— Вы, Вильгельм Оранский, защитник протестантской веры, вы — угроза.

— Я, Вильгельм, какие бы титулы вы на меня ни навешивали, — враг, а не угроза. Я могу пойти на него войной, но неспособен расшатать его власть. Опасны лишь те, кто живёт в Версале.

— Ужасные принцы, герцоги и так далее.

— И герцогини с принцессами, да. А поскольку вы в состоянии им помочь, за вами нужен пригляд. Зачем, по-вашему, д'Аво отправил вас в Париж? По доброте душевной? Нет, чтобы за вами удобнее было присматривать. В той мере, в какой вы помогаете Людовику сохранять власть, вы — орудие. Одно из многих в его наборе, но необычное, а необычные орудия, как правило, самые полезные.

— Если я так полезна Людовику — вашему врагу, — то кто я *для вас?*

— Покамест — довольно тупая ученица, на которую не следует полагаться.

Элиза вздохнула, пытаясь изобразить скуку и раздражение, но не смогла сдержать дрожь в плечах — предвестье рыданий.

— Хотя и не вполне безнадёжная, — снисходи-

тельно добавил Вильгельм.

Элиза почувствовала себя лучше и сразу разозлилась, что так похожа на одну из Вильгельмовых собак.

— Пока вы лишь осваиваете азы, — сказал принц, перебирая, как арфист, бегучий такелаж песчаного парусника.

Он залез на сиденье, потянул одни тросы, вытравил другие. Парусник покатился по склону дюны и, набирая скорость, устремился к Схевенингену.

Элиза взобралась в седло и развернула лошадь. Теперь ветер бил в лицо, как заряд льда и каменной соли из мушкетона. Она решила, что дальше от берега будет не так ветрено. Дюна здесь достигала значительной высоты, и выехать на гребень оказалось делом нелёгким.

В прибрежных кустах — кусты здесь были в человеческий рост, с бурыми листьями и красными ягодами — пауки растянули паутины. Туман унизал их сверкающими жемчужинами, сделав видимыми за сто футов. Вот и уповай на скрытность. Впрочем, человек, затаившийся в кустах, чтобы наблюдать за морем, был бы совершенно невидим. Выше по склону росли кривые деревца, и живущие в них хриплоголосые птицы сочли

своим долгом известить весь мир об Элизином приближении.

Наконец она выбралась на гребень. Впереди расстилалось открытое море травы, через которое лежал путь к польдерам — осушенным землям вокруг Гааги. Чтобы туда попасть, надо было проехать через рощицу низкорослых кривых деревьев с подветренной стороны дюны. Элиза придержала коня и огляделась. С гребня она видела колокольни Гааги, Лейдена и Вассенара и смутно различила прямоугольники садов в усадьбах вдоль побережья.

Она въехала в рощицу. Шум волн затих, сменившись шелестом измороси в серебристых листьях. Впрочем, Элиза недолго наслаждалась покоем. Человек в плаще с капюшоном выступил из-за дерева и хлопнул в ладоши перед конской мордой. Лошадь встала на дыбы. Застигнутая врасплох Элиза свалилась на мягкий песок. Человек в плаще звонко шлёпнул лошадь по крупу, и та галопом унеслась в направлении дома.

Незнакомец какое-то время стоял спиной к Элизе, провожая глазами лошадь, потом оглядел гребень дюны и берег до сторожевой башни — не смотрит ли кто в их сторону. Однако единственными свидетелями нападения были вороны,

которые с карканьем и хлопаньем крыльев взмывали в воздух, когда лошадь проносилась мимо их пикетов.

У Элизы были все основания полагать, что ей уготовано нечто очень плохое. Она лишь краем глаза видела, как нападавший выступил из-за дерева, но заметила, что движения у него резкие и стремительные, без жеманной грации джентльмена. Он явно никогда не брал уроков фехтования или танцев и двигался как янычар — как солдат, поправила себя Элиза. Что не сулило ничего хорошего. Значительное число убийств, грабежей и насилий совершалось в Европе солдатами, оставшимися не у дел, а таких в Голландии были сейчас тысячи.

По условиям мира между Англией и Голландией шесть английских и шотландских полков расквартировали на голландской земле в качестве щита от вторжения из Франции (или, что более вероятно, из Испанских Нидерландов). Несколько месяцев назад, когда герцог Монмутский поднял в Англии мятеж, Яков II срочно затребовал эти полки обратно. Вильгельм Оранский, хоть и сочувствовал Монмуту больше, нежели королю, выслал их без промедления. Однако к прибытию полков восстание уже подавили. Король не

торопился отсылать их обратно, поскольку не доверял зятю (Вильгельму Оранскому) и опасался, что когда-нибудь эти полки станут авангардом голландского вторжения. Яков хотел разместить их во Франции, но Людовик, у которого своих полков хватало, не захотел кормить лишние рты, и Вильгельм настоял, чтобы условия мира были соблюдены. Полки вернулись в Голландию.

Вскоре их распустили, и теперь Голландия кишела иноземными солдатами, голодными и неуправляемыми. Элиза догадывалась, что незнакомец — один из них; и, судя по тому, что он не потрудился украсть лошадь, намерения у него были иные.

Она перекатилась на четвереньки и, упершись локтями в песок, часто задышала, как будто из неё вышибло дух. Одной рукой она поддерживала голову, другой схватилась за живот. Длинный плащ закрывал её, как шатёр. Упираясь лбом в запястье, Элиза смотрела внутрь этого шатра, а свободной рукой рылась во влажных складках пояса.

Живя во дворце Топкапы, она помимо прочих интересных фактов узнала, что больше всего в Оттоманской империи боятся не янычар, а гашишинов — специально натренированных убийц,

вооружённых одним лишь спрятанным в поясе кинжалом. Элиза не обладала выучкой гашишина, но удачную мысль оценить могла, поэтому никогда не расставалась со стилетом. Вытащить его прямо сейчас было бы ошибкой. Она лишь убедилась, что он на месте.

Элиза подняла голову, выпрямилась, не вставая с колен, и взглянула на своего обидчика. Тот как раз обернулся и сбросил с лица капюшон. На Элизу смотрело лицо Джека Шафто.

В первый миг её парализовало.

Поскольку Джек почти наверняка умер, логика требовала признать, что перед нею его призрак. Однако всё обстояло прямо противоположным образом. Призрак был бы бледнее оригинала, истаявшая тень. Скорее уж Джек (по крайней мере, Джек, каким она его последний раз видела) был призраком этого человека — крепкого, румяного, с более здоровыми зубами и кожей.

— Боб, — сказала она.

Он слегка удивился, потом с лёгким поклоном произнёс:

— Да, Боб Шафто, к вашим услугам, мисс Элиза.

— Сбить меня с лошади, по-твоему, услуга?

— Позвольте, вы сами упали с лошади. Приношу извинения. Просто я не хотел, чтобы вы

ускакали прочь и позвали стражу.

— Что ты здесь делаешь? Ты состоял в одном из распущенных полков?

Видно было, как Боб ворочает мозгами. Теперь, когда он начал говорить и обдумывать её слова, сходство с Джеком ослабело. Внешне они были почти одинаковы, но их тела наполнял совершенно различный дух.

— Вижу, Джек кое-что обо мне рассказал, но опустил подробности. Нет. Мой полк по-прежнему существует, хоть и зовётся теперь по-новому. Он в Лондоне, охраняет короля.

— Так почему ты не с ним?

— Джон Черчилль, командир моего полка, отправил меня с довольно странным поручением.

— И впрямь странное поручение, если выполнять его надо по другую сторону моря.

— Это нечто вроде сбора обломков кораблекрушения. Никто не ждал, что здешние полки распустят. Я пытаюсь собрать нескольких старых сержантов и капралов, пока их не повесили за кражу кур, не забрили в войско Вильгельма Оранского или не загребли на корабль Ост-Индской компании.

— Я похожа на старого сержанта, Боб Шафто?

— Я отложил задание на несколько часов, что-

бы поговорить с вами по личному делу. Я вполне успею всё объяснить по пути в Гаагу.

— Тогда идём, а то я уже замёрзла.

Дорсет

Я никогда не оправдывал цареубийство, однако несчастья, постигающие монархов в расплату за произвол, не вполне бесполезны и, словно маяки, освещают их преемникам мели, коих следует избегать.

«Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов». Приписывается Бернарду Мандевилю, 1714.

июнь 1685

— Если в бреднях бедняги Джека была хоть капля истины, вы вращаетесь среди знати. Коли так, вам известно, что́ для аристократов семья: она даёт им не только фамилию, но и титул, дом, клочок земли, который можно назвать своим, доход и пропитание. Всё вместе составляет окно, через которое они видят и воспринимают мир. И в этом же их беда: они наследуют властителей, которым следует покоряться, крыши, которые надо чинить, местные неурядицы, которые принадлежат им точно так же, как родовое имя.

Замените «аристократов» на «служивых», «семью» на «полк» и получите правдивую картину моей жизни.

Вы много времени провели с Джеком, так что не буду утомлять вас рассказом о том, как два лондонских жоха оказались в Дорсетском полку. Однако мой путь отражает его как в зеркале, в смысле — у нас всё было наоборот.

Полк, о котором он вам рассказывал, больше походил на исконный английский — то есть на ополчение. Солдаты — местные жители, командиры — местные джентльмены, а во главе стоял пэр, наместник — в нашем случае Уинстон Черчилль, который добывал свой хлеб, живя в Лондоне, одеваясь как положено и говоря то, что хотят от него услышать.

Некогда Кромвель собрал из местного ополчения Новую Образцовую армию, которая разбила кавалеров, снесла голову королю, упразднила монархию и даже пересекла Ла-Манш и выгнала испанцев из Фландрии. Карл Второй этого не забыл. Вернувшись, он завёл обычай держать профессиональных солдат на жалованье. Они должны были приглядывать за ополчением.

Вы, вероятно, знаете, что кавалеры, прибывшие с Карлом Вторым, высадились на севере и по пути

из Твида форсировали Колдстрим. Командовал ими генерал Льюис. Теперь этот полк зовётся Гвардейским Колдстримским, а генерал Льюис — герцогом Твидским. Подобным же образом Карл создал гренадерский гвардейский полк. Будь его воля, он бы вообще отменил ополчение, но в шестидесятых было неспокойно из-за Пожара, Чумы и брожения среди пуритан. Король хотел, чтобы наместники держали народ в узде; он дал им право обыскивать дома и бросать в тюрьму всех, кого сочтут подозрительными. Без местного ополчения они бы не справились, поэтому его сохранили. Тогда-то мы с Джеком из бродяг стали полковыми мальчишками.

Недолгое время спустя Джон Черчилль достиг того возраста — восемнадцати лет, — когда его сочли готовым получить офицерский чин. Ему дали гренадерский гвардейский полк. Полк был новый. Сколько-то людей, оружия и прочего ему досталось, но остальное он должен был добывать сам, так что поступил наиболее естественным способом — взял многих солдат и унтер-офицеров из отцовского ополчения в Дорсете, в том числе меня и Джека. Ибо между семьями и полками есть разница: в полках нет женщин, и они не могут размножаться естественным образом. Новые

члены должны расти из земли, как посевы или, если хотите, как налоги.

Не буду рассказывать, как я служил под началом Джона Черчилля, — наверняка вы слышали от Джека опошленную версию тех событий. По большей части служба состояла из долгих переходов и осад на континенте, очень однообразных. В остальное время мы маршировали перед Уайтхоллом и Сент-Джеймским дворцом, ибо нашей номинальной обязанностью было охранять короля.

После смерти Карла Второго Джон Черчилль некоторое время провёл на Континенте, встречаясь в Версале с Людовиком и время от времени наезжая в Дюнкерк — присмотреть за герцогом Монмутским. Меня он брал с собой, и когда Джек оказался в Дюнкерке на купеческом корабле, загруженном каури, я зашёл навестить брата.

Не буду описывать Джека. Довольно сказать, что на полях сражений я видел и похуже, и получше. Французская хворь окончательно доконала его рассудок. От Джека я услышал о вас, в частности о том, что вы всем сердцем ненавидите рабство. Однако об этом позже.

На борту «Ран Господних» был некий мистер Фут, один из тех приятных и внешне безобидных

людей, которым все всё рассказывают и которые потому всех и всё знают. Дожидаясь, пока Джек вернётся в сознание, я провёл с мистером Футом несколько часов и выслушал свежие новости — или, как говорят в армии, донесения разведки — из Амстердама. Мистер Фут сказал, что войска Монмута собираются на Текселе и почти наверняка высадятся в Лайм-Риджисе.

Распрощавшись с беднягой Джеком, я отправился на поиски своего командира, Джона Черчилля, чтобы сообщить ему новости. Однако он уже отплыл в Дувр и оставил мне приказ следовать за ним с некоторой частью полка.

Из моего рассказа вы, наверное, заключили, что гренадерский гвардейский полк стоял в Дюнкерке, но это не так. Полк в Лондоне охранял короля. Почему я не был с полком? Для ответа пришлось бы долго рассказывать, кто я для Джона Черчилля и кто Джон Черчилль для меня. Из-за солидного возраста — почти тридцать — и долгой службы я старший унтер-офицер в полку. Если бы вы знали воинскую жизнь, то поняли бы, что это во многом объясняет необычный характер моих поручений. Я делаю то, что не всегда растолкуешь.

Не очень ясно, да? Вот пример: я ослушался приказа, сбросил мундир, одолжил деньги под

доброе имя командира и сел на корабль, идущий в сторону Лайм-Риджиса. Предварительно я отправил Черчиллю письмо, что еду на запад, где, по слухам, не мешало бы повесить нескольких бродяг. Как вы наверняка догадались, это было разом и пророчество о будущем, и напоминание о прошлом. Монмут отплыл в Дорсет, давний рассадник пуританских беспорядков. Эш-хаус, усадьба Черчиллей, смотрит на Лайм-Риджис, выдержавший жестокую осаду во время Гражданской войны. Одни Черчилли были круглоголовые, другие — кавалеры. Уинстон примкнул к кавалерам и сумел усмирить бунтующую вотчину, за что их с сыном сделали большими людьми. Теперь Монмут — старый соратник Джона по осаде Маастрихта — собрался учинить там новую кровавую смуту. В глазах парламента это выставило бы Уинстона либо дураком, либо изменником и бросило тень на Джона.

Джон с юных лет состоял в свите герцога Йоркского — теперь короля Якова, а вот его жена Сара недавно стала камер-фрейлиной герцогской дочери, принцессы Анны, протестантки, которая со временем может сделаться нашей королевой. Лондонцы, чей хлеб — сплетни, сочли, что Джон лишь для видимости хранит верность Якову, а

на самом деле только и ждёт случая посадить на трон протестанта. Обычные придворные толки, но, если бы Монмут поднял протестантский мятеж в родных краях Джона, как бы это выглядело?

Флот Монмута бросил якоря в заливе Лайм через два дня после того, как я туда добрался. Горожане как с цепи сорвались — им казалось, будто воскрес Кромвель. В первый же день под знамёна Монмута собралось полторы тысячи человек. Кажется, единственным, кто не бросился к нему, был мэр, которому я заранее посоветовал собраться и оседлать лошадей. Я помог мэру и его семье выбраться из города тайными бродяжьими тропами, и он доставил вести Черчиллю в Лондон, чтобы Уинстон мог пойти к королю и сказать: «Мои подопечные бунтуют; вот что мы с сыном по этому поводу предприняли», и новость не оказалась для него громом с ясного неба.

Я понимал, что мой полк доберётся сюда самое раннее через неделю — то есть у Монмута была неделя, чтобы собрать армию, у меня — чтобы сделать что-нибудь полезное. Я отстоял очередь на ярмарочной площади Лайм-Риджиса, и писарь занёс меня в большую книгу. Я назвался Джеком Шафто и под этим именем записался в армию

Монмута. На следующий день нас выстроили за городом, и мне выдали оружие: привязанный к палке серп.

То, что происходило в последующие дни, сильно повеселило Джона Черчилля, когда я ему рассказывал, но вам, вероятно, покажется утомительным. Событие, которое может заинтересовать вас, случилось в Таунтоне. Это городишко, в который мы вступили после четырёхдневного перехода, который и переходом-то назвать стыдно. К тому времени нас было три тысячи. Таунтон встретил нас ещё большим ликованием, чем Лайм-Риджис. Школьницы из местного пансиона вручили Монмуту знамя, которое для него вышили, а для нас на городской площади разбили полевую кухню. Среди девушек, которые обносили солдат едой, была шестнадцатилетняя Абигайль Фром…

Описать ли в тысяче слов или в десяти тысячах, как я влюбился в Абигайль Фром? «Я влюбился» ничего не говорит, но и десять тысяч слов ничего не выразят, так что остановлюсь на этом. Может, я влюбился в неё, потому что она была бунтарка, а я — душою с восставшими. Рассудком я понимал, что они обречены, но в сердце поселился бес противоречия. Я взял имя «Джек», поскольку

считал, что брат умер и оно ему больше не нужно. Только стоило мне стать «Джеком Шафто», как в душе проснулась давно забытая страсть: мне хотелось податься в бродяги и прихватить с собой Абигайль Фром.

Такими были мои чувства в первый, может, во второй день влюблённости. Однако между длинными июньскими днями были короткие ночи, когда тревожные мысли сменялись кошмарами, от которых я, проснувшись, вскакивал на постели, как матрос, чей корабль налетел на риф. Я чувствовал, что не дело валяться — надо что-то предпринимать. Я не переспал с этой девушкой, даже не целовался с нею, но верил, что отныне мы вместе и надо готовиться к совершенно иной жизни. В ней не будет места бродяжничеству и мятежу. Они хороши для мужчин, но мужчина, который втягивает в них жену и детей, — последняя сволочь. Если вы долго странствовали с Джеком, то поймёте, о чём я.

Итак, бродяжья страсть к мятежнице заставила меня в конце концов отказаться от участия в мятеже. Я должен был выбирать, либо одно, либо другое, и выбрал Абигайль.

Стало известно, что мой бывший полк, состоящий из местных жителей, призвали к своим

обязанностям, а именно — к подавлению беспорядков. Я дезертировал от Монмута и явился на место сбора. Некоторые ополченцы готовы были встать на сторону мятежников, некоторые остались верны королю, а бóльшая часть пребывала в полной растерянности. Я собрал тех, что понадёжнее, и привёл этот сброд — немногим лучше дезертиров — в Чард, где занял позицию подоспевший наконец Черчилль.

Здесь можно упомянуть, что, пока я выбирался из Таунтона, меня заметили — не часовой, сонный деревенский увалень, а его собака. Пёс догнал меня, схватил за штанину и не выпускал, пока не подбежал сам крестьянин с вилами. Как видите, я дал маху. Беда в том, что я страшно люблю собак — всегда любил, с самого детства, когда был бездомным жохом и любой аристократ называл меня собакой. Серп я отвязал и оставил в Таунтоне, но палку прихватил с собой — и теперь, размахнувшись, ударил собаку точно промеж смотрящих на меня глаз. Однако пёс был вроде терьера и челюстей не разжал. Крестьянин пырнул меня вилами. Я успел повернуться боком; один зубец прошёл под кожей на расстояние примерно в ладонь. Я палкой ударил парня по переносице. Он выпустил вилы и схватился за

лицо. Я вытащил вилы из спины, занёс их над собакой и сказал парню, что, если тот велит своей зверюге выпустить мою ногу, мне не придётся проливать ничью кровь.

Тот увидел резон в моих словах. Однако к тому времени парень меня узнал. «Шафто! — сказал он. — Неужто так быстро сдрейфил?» Тут я тоже его узнал: мы вместе стояли в очереди, дожидаясь, когда нас запишут в армию Монмута.

Я привык к размеренной предсказуемости перехода, муштры, осад. И вот, едва успев влюбиться в Абигайль Фром, я запутался в нелепой коллизии, вроде тех, что ждёт героя в четвёртом акте комедии. Меня, убившего немало людей, поймали и опознали из-за того, что я пожалел дворнягу. И я, не сочтите за хвастовство, совершавший поступки, которые требовали какой-никакой храбрости, и тем доказавший свою верность, отныне буду трусом и предателем в глазах Абигайль.

Штатский, не в обиду будет сказано, растерялся бы, но я солдатским умом сразу смекнул, что оказался в жопе. Ну, нам не привыкать: такое случается сплошь и рядом, и последствия обычно хуже, чем презрение хорошенькой девушки. Чёрный юмор и крепкая выпивка — вот чем мы спасаемся. Я ушёл, никого больше не изувечив.

Однако пока я добирался до своих, рана воспалилась, и полковому цирюльнику пришлось её вскрывать. Сам я её не видел, но кто видел, вздрагивал. Вообще-то, она была неглубокая и затянулась, как только я окреп настолько, чтобы отбиваться от цирюльника. А вот то, что я ввалился в лагерь окровавленный, в лихорадке и с колонной местного ополчения, восприняли чуть ли не как героизм. Джон Черчилль наговорил мне хвалебных слов и подарил кошель с деньгами. Когда я рассказал ему всю историю, он рассмеялся и задумчиво произнёс: «Теперь я вдвойне обязан твоему брату — и за великолепного коня, и за ценные сведения».

Джон сказал мне, что вы грамотная, так что подробности сражений читайте в исторических книжках. Упомяну лишь несколько деталей, потому как вряд ли историки решатся их обнародовать.

Король не доверял Джону Черчиллю по причинам, о которых я уже говорил. Верховное командование поручили Февершему, который, несмотря на английскую фамилию, француз. Годы назад Февершем взялся взорвать несколько домов, якобы стремясь остановить пожар, но на самом деле, подозреваю, из свойственной всем

мужчинам тяги к разрушению. Удовлетворяя свою страсть, он получил летящим обломком по голове и потерял сознание. Мозг вздулся. Чтобы дать ему место, врачи проделали в черепе дыру. Подробности можете вообразить сами. Довольно сказать, что теперь он — ходячий парикмахерский болванчик. Яков Второй его любит, и даже если ничего больше не знать про нашего короля, по этому одному можно составить представление о его царствовании.

Вот этого-то Февершема и поставили во главе войск, ему и достались награды за подавление мятежа, однако сражения выигрывал Джон Черчилль, а сражался, как всегда, наш полк. В какой-то момент кавалерийскую атаку против Монмута возглавил герцог Графтонский. Стычка была не то чтобы важная, и я упоминаю её только для колорита, ибо Графтон, как и Монмут, незаконный сын Карла Второго!

Интригу кампании придавала лишь постоянная сонливость Февершема, который и наяву-то плохо соображает. День или два казалось, будто у Монмута и правда есть шанс. Я почти всё время пролежал пластом, залечивая рану, и считаю, что мне крупно повезло, потому что я не люблю и не любил короля и сочувствовал деревенским

нонконформистам с их серпами и мушкетонами.

Под конец Монмут бросил тех, кто за него сражался и умирал. Мы нашли его в канаве и доставили в лондонский Тауэр, где он до самой казни униженно молил о прощении.

Крестьяне и ремесленники из Лайм-Риджиса и Таунтона были англичане до мозга костей. Им в голову не приходило, что Монмут попытается сбежать из страны. Но я долгие годы сражался на Континенте, поэтому догадывался, что этим всё кончится.

Равным образом они не предвидели всей жестокости карательных мер. Живя средь зелёных полей или в сонном городке, не представляешь горячечного сознания лондонцев. Если вы часто ходите в театры, как некогда мы с Джеком, то заметили, что сюжетов раз-два и обчёлся, поэтому их повторяют снова и снова. Часто проберёшься на новый спектакль, а персонажи и коллизии кажутся странно знакомыми. К концу первой сцены понимаешь, что уже видел пьесу сто раз, только теперь действие происходит не в Тоскане, а во Фландрии, школьный учитель превратился в пастора, а выживший из ума полковник — в безмозглого старика-адмирала. Так и у высокопоставленных англичан засела в башке история

Кромвеля. Случись где беспорядки, особенно если в сельской местности, да с участием нонконформистов, им тут же мерещится, что началась новая Гражданская война. Дальше нужно только выяснить, кто теперь Кромвель, и насадить его голову на палку, а само восстание подавить. И так будет, пока те, кто правит Англией, не придумают себе новый сюжет.

Хуже того, Февершем — французский дворянин, и для него мужичьё (как он воспринимает этих людей) — хворост для камина. К тому времени как он вернулся в Лондон, на каждом дереве в Дорсете висели мёртвые йомены, колесники, бочары и рудокопы.

Черчилль не хотел принимать в этом участия. Он постарался как можно скорее вернуться в Лондон вместе с полком. Февершем без устали рассказывал о славных победах. Себя он, разумеется, выставлял героем и все остальные события раздувал до небес. Канава, в которой мы отыскали спрятавшегося Монмута, превратилась в бушующий поток под названием Блекторрент. Король, потрясённый рассказом, присвоил моему полку новое название: отныне и вовеки мы Собственный королевский Блекторрентский гвардейский полк.

Теперь я наконец могу поговорить с вами о рабстве, к которому, по словам Джека, вы питаете величайшее отвращение.

Лорд главный судья — некий Джеффрис, который и в лучшие-то времена славился кровожадностью. Всю жизнь он заискивал перед кавалерами, католиками, офранцузившимся двором и, когда Яков взошёл на трон, получил-таки свою награду: стал верховным судьёй королевства.

Едва лишь в воздухе запахло кровью, Джеффрис, как угодливый пёс, держа нос по ветру, учредил в этой части страны ассизы — выездную сессию суда. Он казнил не менее четырёхсот человек — вдобавок к тем, кто погиб в боях или был вздёрнут Февершемом. В иных европейских странах четыреста казней прошли бы почти незамеченными; для Дорсета это очень и очень немало.

Как видите, Джеффрис всячески изыскивал поводы, чтобы отправить людей на виселицу, но против иных даже он не мог отыскать улик и вместо казни приговаривал их к рабству. И этот ирод считает, что рабство — более лёгкое наказание, чем смерть!.. Джеффрис продал в неволю тысячу двести протестантов из западной части страны. Сейчас их везут на Барбадос, где они, а затем их

потомки будут рубить сахарный тростник вместе с ирландцами и неграми без малейшей надежды когда-нибудь обрести свободу.

Девушку, которую я люблю, Абигайль Фром, продали в рабство. Как и всех таунтонских школьниц. По большей части их на сахарные плантации не отправили — они бы не выдержали дороги, — а распродали лондонским придворным. Джеффрис торговал ими, как устрицами из бочки. Таунтонским родственникам оставалось лишь выкупать их назад за любые деньги, которые потребует владелец.

Абигайль досталась старому однокашнику Джеффриса — Луи Англси, графу Апнорскому. Её отец повешен, мать давным-давно умерла, из двоюродных братьев, дядьёв и тёток многие сейчас плывут на Барбадос, у оставшихся нет денег на выкуп. Апнор своими карточными долгами разорил отца и заставил его много лет назад продать дом; теперь он надеется расплатиться с частью долгов, продав Абигайль.

Можно не говорить, что я хотел бы убить Апнора и когда-нибудь, бог даст, убью. Однако это не спасёт Абигайль — она перейдёт к его наследникам. Её свободу могут купить только деньги. Вы хорошо разбираетесь в деньгах. Выкупите Аби-

гайль. Взамен я отдаю себя. Знаю, вы ненавидите рабство и не захотите владеть человеком, но если вы мне поможете, я буду вашим рабом во всём, кроме названия.

Рассказывая свою историю, Боб Шафто вёл Элизу тропами через лес, который, судя по всему, знал как свои пять пальцев. Вскоре они вышли к каналу, идущему от города к схевенингенскому побережью. Берега здесь не были облицованы камнем, как в городе, а полого спускались к воде и местами заросли камышом. Коровы, жуя камыш, смотрели на Боба с Элизой, временами прерывая его повествование протяжными бессмысленными жалобами. Ближе к Гааге Боб засомневался, куда поворачивать, и Элиза взяла руководство на себя. Пейзаж почти не менялся, только дома и мелкие поперечные каналы стали попадаться чаще. Слева начался лес. Гаага подкрадывалась исподволь, ибо не была укреплённым городом, в который входят через ворота. У одного канала — настоящего, взятого в каменные берега, — Элиза свернула вправо, и Боб впервые понял, что они в пригороде. И не просто в пригороде, а в Хофгебейде. Отсюда за несколько минут можно было дойти до основания Бинненхофа.

В лесу Элиза остерегалась говорить со всей

откровенностью; здесь, в городе, она могла, если что, кликнуть на помощь стражников из гильдии Святого Георгия.

— Твоя готовность отплатить мне ровным счётом ничего не значит, — сказала она.

Ответ был холодный, но и день выдался холодный, и Вильгельм Оранский обошёлся с ней холодно, а Боб Шафто сбил её с лошади.

Боб сник. Не привыкший быть обязанным никому, кроме Джона Черчилля, командира, он внезапно оказался во власти двух девушек, не достигших и двадцати лет: Абигайль владела его сердцем, Элиза (по крайней мере так он полагал) могла купить Абигайль. Человек, более привычный к беспомощности, не сдался бы без борьбы. Однако Боб Шафто опустил руки, как янычары под Веной, когда те увидели, что все турки-командиры погибли. Он мог лишь смотреть на Элизу увлажнившимися глазами и ошалело трясти головой. Элиза продолжала идти. Ему ничего не оставалось, кроме как следовать за ней.

— Меня обратили в рабство так же, как твою Абигайль, — сказала Элиза. — Нас с матушкой смыло на берегу волною и унесло в пучину. Никто не бросился выкупать *меня*. Значит ли это, что я *справедливо* попала в рабство?

— Теперь вы говорите ерунду. Я…

— Если дурно, что Абигайль — рабыня, а я считаю именно так, то твоё предложение услуг несуразно. Если *её* следует освободить, то следует освободить и других. От того, что ты предложил мне какие-то услуги, она никак не становится первой в очереди.

— Ясно, вы хотите всё превратить в моральный вопрос. Я солдат, у нас есть все основания недолюбливать такие вопросы.

Они вышли на площадь к востоку от Бинненхофа, Плейн. Боб настороженно огляделся. На бросок камня от них располагалась кордегардия, служившая заодно тюрьмой; Боб гадал, уж не туда ли Элиза его ведёт.

Она остановилась перед домом: большим, барочным, но несколько чудно́ украшенным. Над трубами, где обычно располагают кресты или статуи античных богов, торчали армиллярные сферы, флюгера и подзорные трубы. Элиза порылась в складках пояса и, отодвинув стилет, вытащила ключ.

— Это что, женская обитель?

— Не пори чушь. Я похожа на французскую мамзель, которая останавливается в монастыре?

— Постоялый двор?

— Это дом моего знакомого. Вернее, друга моего знакомого.

Элиза помахала ключом на красной ленточке, к которой тот был привязан.

— Идём, — сказала она наконец.

— Простите?

— Идём в дом и там поговорим.

— Соседи…

— Ничто не обеспокоит соседей этого джентльмена.

— А что сам джентльмен?

— Он спит, — отвечала Элиза, отпирая дверь. — Тише.

— Спит? В полдень?

— Он бодрствует по ночам — наблюдает звёзды.

Элиза подняла голову. На крыше, в четырёх этажах над ними, была установлена деревянная платформа с цилиндрическим приспособлением, недостаточно прочным, чтобы стрелять из него ядрами.

Большая комната на первом этаже выглядела бы великосветски, ибо смотрела огромными окнами на Плейн и Бинненхоф, не будь она замусорена отходами шлифовального производства и заставлена книгами — тысячами книг. Хотя Бобу

это было невдомёк, здесь имелись не только натурфилософские труды, но также исторические и литературные сочинения, почти сплошь на французском и на латыни.

Для Боба обстановка была лишь умеренно чудно́й, и он, несколько раз нервно оглядевшись, научился её не замечать. Что на самом деле парализовало его, так это всепроникающий шум — и не потому, что был громким, а совсем наоборот. В комнате разместились по меньшей мере две дюжины часов или часовых заготовок, приводимых в движение гирями и пружинами, суммарная энергия которых могла бы поднять амбар. Энергию эту сдерживали и направляли в нужное русло механизмы самых разных конструкций: бронзовые жучки неумолимо ползли по ободу шипастых колёс, созвездия металлических звёздочек вращались на тёмных медлительных осях, всё — в ритме качающихся отвесов.

В Бобовом ремесле живучесть напрямую связана с умением постоянно быть начеку. Даже самый тупой новобранец наверняка услышит *громкий* звук. Старикам вроде Боба полагается различать *тихие*. У Элизы сложилось впечатление, что Боб — из тех, кто постоянно шикает на всех в комнате, чтобы задержать дыхание и понять, кто там

скребётся: мышь в буфете или вражеские сапёры, ведущие подкоп под укрепления. Или что там мерно отдаётся вдалеке: сапожник в соседнем доме стучит молотком или вражеская колонна подходит к городу.

Каждая шестерёнка в комнате производила звук, от которого в обычных обстоятельствах Боб Шафто застыл бы, как испуганный зверь. Даже когда он окончательно усвоил, что всё это часы, ощущение спокойной механической жизни вокруг заставило его утихнуть и присмиреть. Он стоял навытяжку посреди большой комнаты, пуская ртом пар и стреляя глазами по комнате. Все часы были созданы исключительно для того, чтобы точно показывать время, и ни для чего больше. Если Боб ждал боя, мелодий и уж тем более кукушек, он мог бы ждать долго — покуда не превратится в пыльный скелет среди затянутых паутиной зубчатых колёс.

Элиза заметила, что он перед встречей побрился — Джеку бы такое никогда не пришло в голову. Интересно, что заставляет мужчину сказать: «Перед этим делом я должен выскрести щеки бритвою». Может быть, он такой жертвой символически выражает свою любовь к Абигайль.

— Это вопрос гордости, да? — спросила Элиза,

засовывая кусок торфа в чугунную печку. — Или, как бы ты сказал, чести?

Вместо ответа Боб на неё посмотрел. А может, взгляд и был ответом.

— Вести себя тихо не означает молчать, — сказала Элиза, ставя на печку чайник.

— Что у нас с Джеком общего — мы ненавидим побираться, — ответил Боб наконец.

— Так я и думала. Значит, ты не клянчишь у меня выкуп за Абигайль, а предлагаешь сделку — заём с последующей оплатой услугами.

— Я не знаю таких слов, но что-то в таком роде имел в виду.

— Тогда почему я? Ты — в Голландской республике, финансовой столице мира. Ни к чему искать определённого кредитора. Ты можешь обратиться к любому.

Боб медленно мял в руках складки плаща.

— Для меня финансовый рынок — тёмный лес. Я предпочитаю не обращаться к чужим.

— А я тебе разве не чужая? — со смехом спросила Элиза. — Я *хуже,* чем чужая. Я метнула гарпун в твоего брата.

— Да, потому-то вы мне и не чужая. Отсюда я вас и знаю.

— Это доказывает, что я ненавижу рабство, да?

— Да, и другие качества, которые здесь важны.

— Я не важная особа, и нет у меня важных качеств, так что не говори со мной так. Это лишь доказывает, что ненависть к рабству толкает меня на странные поступки — как тот, о котором ты меня просишь.

Боб выпустил из рук скомканный плащ и неуверенно присел на стопку книг.

Элиза продолжала:

— Она бросила гарпун в моего брата, быть может, бросит мне толику денег, так?

Боб Шафто закрыл лицо руками и заплакал — так тихо, что тиканье часов заглушало его рыдания.

Элиза ушла в кухню и заглянула в холодный чулан, где на палку были намотаны кишки для колбас. Отмотала шесть дюймов, потом, подумавши, двенадцать. Завязала на одном конце узел. Потом надела получившийся чулок на рукоять топора, торчащего из чурбана для рубки мяса, и пальцами начала сворачивать в рулик. Быстрыми движениями она скатала всю кишку, так что получился прозрачный бублик, а завязанный конец натянулся, как кожа на барабане. Подобрав юбку, Элиза засунула его под чулок, доходивший до середины бедра, и наконец вернулась в комна-

ту, где плакал Боб Шафто.

Церемонии были ни к чему, поэтому она просто втиснулась между его ног и прижалась грудью к лицу.

После недолгого колебания Боб убрал ладони, отделяющие его мокрые щёки от её груди. В первый миг лицо было прохладным, но только в первый. Потом его руки сошлись у неё за спиной, там, где корсаж соединяется с юбкой.

С минуту он держал её и уже не плакал, а думал. Элизе это прискучило, поэтому она перестала гладить ему волосы и занялась ушами, зная, что долго он не выдержит. Тут наконец Боб понял, что надо делать. Элиза видела, что для него самая трудная часть дела — принять решение. Долгие годы бродяжничества он был старшим и мудрым братом, сурово наставляющим Джека в одно ухо, в то время как бес противоречия нашёптывал в другое, и потому стал медлительным и осторожным. Однако, раз решившись, он превращался в выпущенное из пушки ядро. Элиза подумала, сколько братья могли бы совершить вместе, и пожалела, что жизнь рассудила иначе.

Боб одной рукой стиснул её талию и резким движением встал с книг. Она задела головой пыльную потолочную балку, пригнулась и обхва-

тила его голову. Он сдёрнул с дивана покрывало; лежавшие на покрывале книги рассыпались по дивану в новом порядке. Неся Элизу и волоча покрывало, Боб под громкий треск половиц добрался до овального обеденного стола с остатками учёной трапезы: яблочной кожурой и корками от гауды. Обойдя его по медленной эллиптической орбите, Боб загнул углы скатерти к центру и потянул, превратив её в мешок с мусором, который мягко опустил на пол. Потом набросил покрывало на стол, прихлопнул ладонью, чтоб не слетело, и закатил Элизу на середину деревянного овала.

Стоя над ней, он принялся возиться со штанами, что Элиза сочла преждевременным, поэтому, продев колено между его ног, потянула Боба за вихор и заставила лечь сверху. Некоторое время они лежали, сплетясь ногами, словно пальцами рук; Элиза чувствовала, как в нём и в ней нарастает готовность. Однако они ещё долго продолжали вжиматься друг в друга, как будто Боб может проникнуть через столько слоёв мужской и женской одежды. Они лежали потому, что им хорошо вместе в холодном и гулком гаагском доме и никто их никуда не торопит. Элиза поняла, что Боб не привык чувствовать себя хорошо и ему нужно время, чтобы расслабиться. Сперва всё его

тело было напряжено, и лишь очень постепенно напряжение отпустило руки и плечи, сосредоточившись в одном-единственном *члене*, и так же не скоро он принял мысль, что на это потребно время. Поначалу он стоял, зарывшись лицом в её грудь, и прочно упирался ногами в пол, но Элиза дюйм за дюймом заманивала его всё выше. Как всякий вояка, он не хотел отрываться от земли, пока мало-помалу она не убедила его, что дальше — ещё лучше, и он, сбросив башмаки, не перебрался коленями, а потом и всеми ногами на стол.

Долгое время они лежали лицом к лицу, и Элиза думала, что лучше уже не будет. Однако постепенно Боб согласился поднять подбородок и доверить Элизе горло. Исследуя его губами, она расстегнула несколько пуговиц на Бобовой рубашке и стянула её с плеч, прижав руки к бокам и оголив соски.

Обвив правым коленом его левое, она раздвинула языком защитный войлок волос, отыскала и легонько куснула сосок. Боб отпрянул в сторону и вверх. Удерживая правой ногою его колено, она подняла левую, оперлась ступнею ему в бедро и надавила. Боб перекатился на спину. Элиза высвободилась и уселась ему на ноги. Резким

движением она сдёрнула с него штаны, оголив напряженный член, вытащила из-за чулка кишку, надела на него и с силой уселась сверху. Боб притворялся, будто сердится, и внезапная нега застигла его врасплох. Элиза не ожидала такой боли — она впервые впустила в себя мужчину. Слёзы брызнули из глаз: она вскрикнула от злости и вжала кулаки в глазницы, силясь удержать мышцы ног, норовящие стащить её с Боба. Элиза чувствовала, что он качает её вверх-вниз, и разозлилась ещё больше, однако колени её по-прежнему упирались в стол, так что ощущение качки было вызвано скорее головокружением — обмороком, который следовало пересилить.

Элиза не хотела, чтобы Боб, открыв глаза, увидел её такой, потому рухнула вперёд, упёрлась ладонями в стол по обе стороны его головы и опустила лицо, чтобы волосы упали завесой, скрыв всё, что выше груди. Не то чтобы Боб особо пялил глаза; он явно счёл, что попал в далеко не худшую ситуацию.

Некоторое время Элиза двигалась вверх-вниз — очень медленно, отчасти из-за боли, отчасти из-за того, что не знала, насколько близок финал. Все мужчины разные, и даже у одного мужчины это происходит по-разному в зависимости от време-

ни суток; судить можно только по ритму дыхания (которое она слышала) и расслабленности лица (за которым могла наблюдать в просвет между прядями). Судя по всему, скорой развязки ждать не приходилось. Однако через какое-то время он всё-таки кончил честь по чести: выгибая спину и колотясь головой о стол.

Боб сделал первый вдох, показывающий, что оргазм позади, и открыл глаза. Элиза смотрела прямо на него.

— Чертовски больно, — объявила она. — Я проделала это над собою в качестве демонстрации.

— Чего? — спросил Боб, ошалевший, растерянный, но довольный собой.

— Хотела показать, что думаю о твоей хвалёной чести. И где сейчас была Абигайль?

Боб Шафто попытался рассердиться, но без особого результата. Англичанин познатней или побогаче сказал бы: «Знаешь, что…», однако Боб лишь стиснул зубы и попытался сесть. В этом он преуспел больше — поначалу, — ибо Элиза была девушка миниатюрная. Тут из-за шелковистого занавеса вынырнула рука с маленьким турецким кинжалом. Изящный клинок дамасской стали, нацеленный в левый глаз, принудил Боба снова лечь на спину.

— Демонстрация очень важна, — продолжала Элиза, вернее прорычала, поскольку ей было по-прежнему очень больно. — Ты приходишь и говоришь красивые слова о чести, ожидая, что я бухнусь в обморок и выкуплю тебе Абигайль. Я много раз слышала, как мужчины распинаются о чести при дамах и забывают о ней, когда похоть или телесный страх берёт верх над показным благородством. Как кавалеры, которые бросали дорогое оружие и пышные стяги, убегая от восставшей черни. Ты не хуже их, но и не лучше. Я не стану помогать тебе оттого, что растрогана твоею любовью и пустозвонством о чести. Я помогу тебе, потому что не хочу, как волна, уйти в песок на заброшенном берегу. Господин Мансар может строить королевские замки, чтобы оставить свой след в жизни, ты можешь жениться на Абигайль и наплодить целый клан Шафто, но, если я оставлю по себе память, это будет как-то связано с рабством. Я буду помогать тебе постольку, поскольку это служит моей цели. Выкуп одной девушки моей цели не служит, но Абигайль может быть полезна мне в чём-то другом. Я должна подумать. Покуда я думаю, она будет рабыней Апнора. Если она тебя и помнит, то лишь как труса и перебежчика. Удел твой жалок. С течением

скорбных лет ты, возможно, оценишь мудрость моей позиции.

Тут разговор (если это можно назвать разговором) нарушило мощное «кхе» из другого конца комнаты: галлоны воздуха выталкивали флегму из дыхательных путей.

— Кстати о позициях, — произнёс хриплый голландский голос, — не будете ли вы с вашим кавалером так любезны отыскать себе другую? Поскольку *спать* из-за вас невозможно, я намерен хотя бы *поесть*.

— Со всей охотой, минхеер, но ваша жиличка приставила мне к глазу кинжал.

— Вижу, с мужчинами ты ведёшь себя хладнокровнее, чем с женщинами, — шёпотом заметила Элиза.

— Такие, как ты, никогда не видят мужчин хладнокровными, разве что через щёлочку в заборе, — возразил Боб.

Хозяин дома — седой здоровяк лет пятидесяти пяти — снова громко прочистил горло. Бровями его Бог не обидел; сейчас он поднял одну, словно мохнатое знамя, и смотрел из-под неё на Элизу — типично для астронома, привыкшего глядеть одним глазом.

— Доктор предупредил меня, что следует ожи-

дать странных гостей, однако ничего не сказал о *деловых сношениях*.

— Некоторые назвали бы меня шлюхой, а кое-кто и не без основания, — отвечала Элиза, предостерегающе глядя на Боба, — но в данном случае вы ошиблись, мсье Гюйгенс. — *Дело,* которое мы обсуждаем, никак не относится к *сношению,* которое мы имели.

— Тогда к чему заниматься ими одновременно? Неужто вы *настолько* торопитесь? Так ли ведут дела в Амстердаме?

— Я пыталась прочистить ему мозги, дабы он лучше соображал, — сказала Элиза, выпрямляясь, потому что спина у неё заболела, а корсаж давил на рёбра.

Боб резким движением отвёл её руку и сел, так что Элиза кувыркнулась назад. Она бы приземлилась головой, если бы он не поймал её за плечи и не развернул — а может быть, он сделал что-то в равной степени сложное и опасное. Элиза — когда всё было позади — поняла только, что сердце у неё оборвалось, голова кружится, волосы упали на лицо, а кинжала в руке нет. Боб, выставив её перед собой, как ширму, одной рукой натягивал штаны. Другой рукой он крепко, как уздечку, держал её кружевной воротник.

— Никогда не выпрямляй руку, — тихо объяснил это, — это показывает противнику, что ты не можешь сделать выпад.

В благодарность за урок фехтования Элиза крутанулась так, чтобы вывернуть ему пальцы. Боб чертыхнулся, выпустил воротник и натянул, наконец, штаны.

— Господин Гюйгенс, Боб Шафто, сержант Собственного королевского Блекторрентского гвардейского полка. Боб, это Христиан Гюйгенс, величайший натурфилософ мира.

— Гук бы вас за такие слова *укусил*. Лейбниц талантливее меня. Ньютон, хоть и сбился с пути, по слухам, очень даровит. Скажем лучше, что я — величайший натурфилософ в *этой комнате.* — Гюйгенс быстрым взглядом пересчитал присутствующих: себя, Боба, Элизу и висящий в углу скелет.

Боб только сейчас заметил скелет и несколько опешил.

— Прошу прощения, сударь, это было безобразно…

— Не оправдывайся, — прошипела Элиза. — Господин Гюйгенс философ, ему безразлично.

— Когда я был совсем юн, сюда приходил Декарт и за этим самым столом в сильном подпитии

вещал о проблеме ума-тела.

— Проблема? В чём проблема? Не вижу никакой проблемы, — бормотал Боб, покуда Элиза не придавила каблуком его ногу.

— Так что Элиза не могла отыскать лучшего места, чтобы усилить ваш умственный процесс путём избавления от лишних телесных соков.

— Кстати о телесных соках, что мне делать с этим? — спросил Боб, покачивая на пальце продолговатый мешочек.

— Положи в коробку и отправь Апнору в качестве задатка, — предложила Элиза.

Покуда они говорили, солнце выглянуло и осветило комнату. Любой голландец обрадовался бы такой внезапной перемене, но Гюйгенс повёл себя странно, как будто ему внезапно напомнили о тягостной обязанности. Он обвёл глазами часы.

— У меня есть четверть часа на еду. Потом нам с Элизой предстоит работа на крыше. Вы, сержант Шафто, можете остаться…

— Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством, — сказал Боб.

Работа Гюйгенса состояла в том, чтобы неподвижно стоять на крыше и щуриться в инструмент, покуда все колокола Гааги бьют полдень. Элизе было велено не вертеться под ногами, а

записывать цифры в черновую тетрадь и время от времени подавать нужные принадлежности.

— Вы хотите знать, где солнце находится в полдень?..

— Вы сформулировали с точностью до наоборот. *Полдень* — время, когда солнце достигает определённого места. Ничего другого полдень не означает.

— Так вы хотите знать, когда полдень…

— Сейчас! — объявил Гюйгенс и быстро глянул на часы.

— Тогда все часы в Гааге врут.

— Да, и мои в том числе. Даже хорошие часы спешат или отстают, поэтому их время от времени следует подводить. Я делаю это всякий раз, как выглядывает солнце. Через несколько минут Флемстид будет делать то же самое с вершины Гринвичского холма.

— Жаль, что людей нельзя так же просто отрегулировать, — заметила Элиза.

Гюйгенс взглянул на неё не менее пристально, чем за мгновение до того смотрел в инструмент.

— Очевидно, вы имеете в виду кого-то конкретного, — проговорил он. — Про людей могу сказать следующее: трудно определить, идут ли они верно, но всегда видно, когда они сбились.

— Очевидно, вы о ком-то конкретном, господин Гюйгенс, — сказала Элиза, — и боюсь, что обо мне.

— Вас рекомендовал Лейбниц, тонкий знаток человеческого ума. Увы, не столь тонкий знаток характеров, ибо предпочитает о каждом думать хорошо. Я навёл справки в Гааге, и весьма достойные люди заверили, что вы меня политически не скомпрометируете. Из этого я заключил, что вы умеете себя вести.

Элиза внезапно почувствовала себя очень высоко и у всех на виду. Она отступила на шаг и взялась за тяжёлую треногу телескопа.

— Простите, — сказала она. — Я поступила глупо. Я знаю это и знаю, как себя вести. Однако я не всегда жила при дворе. Я шла к своему нынешнему положению кружным путём, и жизнь не во всём сделала меня приглядной. Вероятно, мне следует стыдиться. Однако мне больше хочется держать себя вызывающе.

— Я понимаю вас лучше, чем вы думаете, — промолвил Гюйгенс. — Меня с детства готовили в дипломаты, но в тринадцать лет я соорудил себе токарный станок.

— Что, простите?

— Токарный станок. Там, внизу, в этом самом

доме. Вообразите ужас моих родителей. Они учили меня латыни, греческому, французскому и другим языкам. Учили играть на лютне, виоле и клавесине. Из истории и литературы я выучил всё, что было в их силах. В математике и философии меня наставлял сам Декарт. А я сделал себе токарный станок, потом научился шлифовать линзы. Родители боялись, что произвели на свет ремесленника.

— Я очень рада, что для вас всё обернулось так хорошо, — сказала Элиза, — но по тупости не могу взять в толк, как ваша история относится ко мне.

— Не беда, что часы спешат или отстают, если время от времени проверять их по солнцу и подводить. Солнце может выглядывать раз в две недели. Больше и не надо. Достанет нескольких светлых полуденных минут, чтобы заметить ошибку и подправить часы — при условии, что вы даёте себе труд делать наблюдения. Родители это понимали и потому смирились с моими странными увлечениями. Они верили, что научили меня видеть, когда я сбился, и выправлять моё поведение.

— Теперь я, кажется, поняла. Осталось лишь применить этот принцип ко мне.

— Если я вхожу утром в столовую и вижу, что

вы совокупляетесь на столе с иноземным дезертиром, словно какая-нибудь голодранка, я возмущён. Признаю. Однако куда важнее ваше дальнейшее поведение. Если вы держитесь вызывающе, я понимаю, что вы не умеете распознать и поправить свою ошибку. В таком случае вы должны покинуть мой дом, ибо такие люди могут катиться лишь дальше к гибели. Однако если вы обдумываете своё поведение и делаете правильные выводы, то я понимаю, что в конечном счёте у вас всё будет как надо.

— Хороший совет, и я за него признательна, — сказала Элиза. — В принципе. Однако на практике я не знаю, как быть с Бобом.

— Мне кажется, вам кое-что с ним надо утрясти, — предположил Гюйгенс.

— Мне кое-что надо утрясти с миром, — отвечала Элиза.

— Что ж, утрясайте. Можете оставаться у меня. Но впредь, если захотите с кем-нибудь переспать, будьте так добры заниматься этим у себя в спальне.

Биржа (Между улицами Треднидл и Корнхилл)

Я нахожу, что люди выше гор
Писали диалоги с давних пор;
И если в их писаньях ложь и зло,
То проклянут и их, и ремесло
За это; но нельзя же запретить
Нас Истине искать и находить,
Где Господу угодно.

Джон Беньян, «Путь паломника»

сентябрь 1686

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ, пуританин
СЭР РИЧАРД АПТОРП, бывший золотых дел мастер, владелец Банка Апторпа
ГОЛЛАНДЕЦ
ЕВРЕЙ
РОДЖЕР КОМСТОК, маркиз Равенскарский, придворный
ДЖЕК КЕТЧ, главный палач Англии
ГЕРОЛЬД
БЕЙЛИ

ЭДМУНД ПОЛЛИНГ, старик
ТОРГОВЦЫ
ПРИСПЕШНИКИ АПТОРПА
ПОДРУЧНЫЕ ПАЛАЧА
СОЛДАТЫ
МУЗЫКАНТЫ

Обрамлённый колоннадою двор.

ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ сидит на стуле среди спешащих и кричащих торговцев. Входит СЭР РИЧАРД АПТОРП с приказчиками, подручными и прихлебателями.

АПТОРП: Ба, кого я вижу! Никак доктор Даниель Уотерхауз!

УОТЕРХАУЗ: Рад встрече, сэр Ричард!

АПТОРП: На стуле, скажите на милость!

УОТЕРХАУЗ: День долог, сэр Ричард, у меня устали ноги.

АПТОРП: В таком случае лучше двигаться — для того и создана Биржа! Это храм Меркурия, не Сатурна!

УОТЕРХАУЗ: Вам кажется, что я угрюм, как Сатурн? Сатурн — Хронос, бог времени. Воистину сатурнианскую личность вы обретёте в Гуке, величайшем часовщике мира…

Входит голландец.

ГОЛЛАНДЕЦ: Сударь! Ваш Гук всему научился у нашего Гюйгенса!

Уходит.

УОТЕРХАУЗ: Разные народы чтят одних богов под разными именами. У греков был Хронос, у римлян — Сатурн. У голландцев — Гюйгенс, у нас — Гук.

АПТОРП: Коли не Сатурн, то кто вы такой, чтобы сидеть на стуле, в угрюмом раздумье, посреди Биржи?

УОТЕРХАУЗ: Я тот, кто рождён представлять семью при конце света и назван по самой тёмной из книг Библии, кто покинул Лондон с Чумой и въехал в него с Пожаром. Я провожал Дрейка Уотерхауза и короля Карла в мир иной и вот этими двумя руками положил в могилу голову Кромвеля!

АПТОРП: Вот тебе на! Сударь!

УОТЕРХАУЗ: В последнее время я замечен в Уайтхолле, где брожу весь в чёрном, наводя страх на придворных.

АПТОРП: Что привело Плутона в храм Меркурия?

Входит еврей.

ЕВРЕЙ: Простите, сеньор, простите, где здесь *tablero*?

Уходит.

АПТОРП: Он видит, что у вас есть Стул, и любопытствует, где Стол.

УОТЕРХАУЗ: В таком случае он сказал бы *mesa*. Возможно, его интересует *banca*, конторка.

АПТОРП: Все, кроме вас, сидящие здесь на стульях, сидят за конторками. Он хочет знать, куда подевалась ваша.

УОТЕРХАУЗ: Я хотел сказать, возможно, он ищет банковскую контору.

АПТОРП: То есть меня?

УОТЕРХАУЗ: Банк — новый титул, который вы присвоили своей златокузнечной лавке, не так ли?

АПТОРП: Да, но почему в таком случае он не спросил обо мне?

УОТЕРХАУЗ: Сеньор! Будьте любезны, на минуточку.

Еврей возвращается с бумажкой.

ЕВРЕЙ: Вот такая, вот такая!

АПТОРП: Что там у него? Я без очков.

УОТЕРХАУЗ: Он начертил то, в чём натурфило-

соф узнал бы декартову координатную плоскость, в вы — ведомость, и накарябал в одном столбце слова, в другом — числа.

АПТОРП: *Tablero*! Он ищет доску, на которой записывают названия товаров.

ЕВРЕЙ: Товары! Да!

УОТЕРХАУЗ: Прах меня побери, она за углом! Он что, слеп?!

АПТОРП: Рабби, не обижайтесь на сварливость моего друга, ибо он властелин подземного царства и славится своим норовом. Здесь, в храме Меркурия, всё движется; знания и сведения циркулируют подобно текущей воде, о которой говорится в Притчах. Однако вы совершили ошибку, обратив вопрос к Плутону, божеству тайн. Зачем здесь Плутон? Это своего рода загадка; я сам изумился, увидев его здесь, и подумал, будто гляжу на призрак.

УОТЕРХАУЗ: *Tablero* вон там.

ЕВРЕЙ: И это всё?!

АПТОРП: Вы из Амстердама?

ЕВРЕЙ: Да.

АПТОРП: Сколько товаров записано на *tablero* в Амстердаме?

ЕВРЕЙ: Вот столько.

Пишет.

АПТОРП: Даниель, что он там написал?

УОТЕРХАУЗ: Пятьсот пятьдесят.

АПТОРП: Боже, храни Англию. У голландцев на *tablero* почти шестьсот наименований, а у нас тут дощечка с несколькими десятками.

УОТЕРХАУЗ: Немудрено, что он её не узнал.

Еврей уходит в направлении Дощечки, сетуя и закатывая глаза.

АПТОРП (приспешнику): Ступай за этим когеном и выясни, что он задумал: ему что-то известно.

Приспешник уходит.

УОТЕРХАУЗ: Так кто из нас божество тайн?

АПТОРП: Вы, ибо до сих пор не объяснили мне, зачем здесь сидите.

УОТЕРХАУЗ: Как властелин Аида я обычно сижу на троне в колодце, где души умерших кружат, подобно сухим листьям. Сегодня утром, покинув Грешем-колледж, я направлялся по Бишопсгейт, когда взгляд мой случайно упал меж колонн Биржи. Она была пуста, но ветер носил средь конторок листки, брошенные торговцами, словно вихрь палой листвы. Я ошибочно счёл, что оказался в аду, и воссел на привычное место.

АПТОРП: Ваша манера выражаться утомительна.

Входит маркиз Равенскарский в роскошном одеянии.

РАВЕНСКАР: «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями»!

УОТЕРХАУЗ: Боже, храни короля, милорд!

АПТОРП: Боже, храни короля… и разрази плутов, говорящих загадками, милорд!

УОТЕРХАУЗ: Излишне клясть Плутона.

РАВЕНСКАР: Он клянёт меня, Даниель, за болтовню о вихрях.

АПТОРП: Загадка разрешилась. Ибо теперь я вижу, что вы условились здесь встретиться. А поскольку вы говорите о вихрях, милорд, я заключаю, что цель вашей встречи философическая.

РАВЕНСКАР: Со всем уважением, позволю себе не согласиться, сэр Ричард. Ибо место встречи назначил сей, сидящий на стуле. Обычно мы встречаемся в «Золотом кузнечике».

АПТОРП: Итак, загадка остаётся. Так почему вы сегодня на Бирже, Даниель?

УОТЕРХАУЗ: Скоро узнаете.

РАВЕНСКАР: Быть может, потому что он хочет кое-чем обменяться. Вуаля!

АПТОРП: Что это вы достали из кармана, милорд? Я без очков.

РАВЕНСКАР: Только что из Ганновера. Доктор Лейбниц шлёт вам, Даниель, подписанный экземпляр последних «*Acta Eruditorum*». Много математических заклинаний с вытянутыми продолговатыми S — впервые вижу!

УОТЕРХАУЗ: Значит, доктор уронил-таки второй башмак, ибо это может быть только интегральное исчисление.

РАВЕНСКАР: А также письма, адресованные вам в собственные руки, а значит, их прочли пока не более десяти человек.

УОТЕРХАУЗ: Позвольте.

АПТОРП: Боже правый, милорд, мистер Уотерхауз не выхватил бы их быстрее, займись они огнём. Обитателям подземного мира следует быть осторожнее с горючими материалами.

УОТЕРХАУЗ: А вот, милорд, только что из Кембриджа, как обещано. Вручаю вам книги первую и вторую «Математических начал натуральной философии» Исаака Ньютона. Побережней, сэр, документы весьма ценные.

АПТОРП: Лопни мои глаза, это закладной кирпич здания или рукопись?

РАВЕНСКАР: Хм! Судя по весу, кирпич.

АПТОРП: В любом случае слишком длинно, слишком длинно.

УОТЕРХАУЗ: Здесь разъясняется Система Мира.

АПТОРП: Вашему приятелю нужен строгий редактор!

РАВЕНСКАР: Только гляньте на эти клятые иллюстрации! Вы представляете, во сколько встанут гравюры!

УОТЕРХАУЗ: Утешайтесь мыслью, что каждая из них экономит тысячу страниц скучных рассуждений, пересыпанных продолговатыми S.

РАВЕНСКАР: Так или иначе, типографские издержки обанкротят Королевское общество!

АПТОРП: Так вот почему мистер Уотерхауз сидит на стуле без *banca*. Он символически представляет финансовое положение Королевского общества. Опасаюсь, что сейчас у меня попросят денег. Эй! Кто-нибудь из вас слышит, что я говорю?

Молчание.

АПТОРП: Читайте на здоровье, я не в претензии. Так это что-то очень увлекательное?

Молчание.

АПТОРП: Ах, подобно лососю, что на пути к

истокам огибает валуны и прыгает через брёвна, мой помощник пробирается обратно ко мне.

Входит приспешник.

ПРИСПЕШНИК: Вы были правы касательно еврея, сэр. Он намерен закупить большое количество определённого товара.

АПТОРП: Сейчас на Доске в Амстердаме цена этого товара выше, нежели на нашей жалкой английской Дощечке. Еврей хочет купить дёшево здесь и продать дорого там. Что же за товар пользуется таким спросом в Амстердаме?

ПРИСПЕШНИК: Он проявляет интерес к грубому и прочному полотну…

АПТОРП: Парусина! Кто-то строит флот.

ПРИСПЕШНИК: Он спрашивает не парусину, а более дешёвую ткань.

АПТОРП: Для палаток! Кто-то создаёт армию! Быстрее, скупим всё, потребное для войны.

Апторп и его спутники уходят.

РАВЕНСКАР: Так Ньютон трудился над этим?

УОТЕРХАУЗ: Как бы он написал столько, если бы не трудился?

РАВЕНСКАР: Когда я над чем-нибудь тружусь, оно выходит урывками, по кускам, сие же есть

единое целое, подобно хитону нашего Спасителя, не сшитому, а тканому нацело… Что он свершит в книге третьей? Воскресит мёртвых и вознесётся на небеса?

УОТЕРХАУЗ: Объяснит орбиту Луны, если вырвет у Флемстида нужные данные.

РАВЕНСКАР: Если Флемстид не даст, я вырву у него ногти! Господи! Вот только послушайте, что за чудо: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Если кто нажимает пальцем на камень, то и палец его также нажимается камнем»[115]. Совершенство этого труда очевидно даже мне, Даниель! А как на ваш взгляд?

УОТЕРХАУЗ: Если двигаться дальше в том же направлении, то резонней спросить, как на взгляд Лейбница, ибо он настолько же впереди меня, насколько я впереди вас. Если Ньютон палец, то Лейбниц — камень, и они давят друг на друга с силой равной и противоположно направленной, постепенно возрастающей год от года.

РАВЕНСКАР: Однако Лейбниц не читал этих

---

[115] Примечания: 115

Здесь и далее перевод академика А. Н. Крылова.

страниц, а вы читали, так что какой прок в его мнении?

УОТЕРХАУЗ: Я взял на себя смелость изложить самое существенное Лейбницу, посему он и шлёт все эти клятые письма.

РАВЕНСКАР: Однако, полагаю, Лейбниц не посмеет оспаривать столь блистательное сочинение?

УОТЕРХАУЗ: Лейбниц, на свою беду, его не видел. А может быть, и на своё счастье, ибо всякий, увидевший сей труд, будет ослеплён блеском геометрических доказательств, а трудно критиковать сочинение, когда лежишь ниц, закрыв рукою глаза.

РАВЕНСКАР: По-вашему, Лейбниц нашёл ошибку в одном из этих доказательств?

УОТЕРХАУЗ: Нет, в доказательствах Ньютона ошибок быть не может.

РАВЕНСКАР: Не может?

УОТЕРХАУЗ: Как человек, видя яблоко на столе, скажет: «На столе лежит яблоко», так вы, взглянув на чертежи Ньютона, можете сказать: «Ньютон изрёк истину».

РАВЕНСКАР: Тогда я перешлю экземпляр доктору, и, может быть, он вместе с нами падёт ниц.

УОТЕРХАУЗ: Не трудитесь. Лейбниц возражает

не против того, что Ньютон сделал, а против того, чего он не сделал.

РАВЕНСКАР: Так, быть может, мы уговорим Ньютона восполнить пробел в книге третьей! Вы имеете на него влияние.

УОТЕРХАУЗ: Не путайте способность раздражать Исаака с влиянием.

РАВЕНСКАР: Тогда мы передадим ему вопросы Лейбница напрямую.

УОТЕРХАУЗ: Вы не осознали суть Лейбницевых возражений. Дело не в том, что Ньютон не обосновал какое-то следствие или недостаточно развил некую многообещающую мысль. Вернитесь в начало, ещё до законов движения, и прочтите, что Исаак говорит в «Определениях». Скажу по памяти: «Эти понятия до́лжно рассматривать как математические, ибо я ещё не обсуждаю физических причин и места нахождения сил».

РАВЕНСКАР: Что тут дурного?

УОТЕРХАУЗ: Некоторые возразят, что натурфилософам *до́лжно* обсуждать физические причины и места нахождения сил! Сегодня утром, Роджер, я сидел в пустом дворе посреди воздушного вихря. Вихрь был невидим; откуда я знал, что он здесь? По движенью, которое он сообщал бесчисленным кружащим листкам. Сподобься я принести ин-

струменты, сделать замеры, рассчитать скорость и построить траектории листков, и будь я гениален, как Ньютон, я бы свёл все данные в стройную систему воздушного вихря. Однако, будь я Лейбницем, я бы не стал со всем этим возиться. Я бы спросил: «Отчего здесь вихрь?»

АНТРАКТ

Шум за сценой: мрачная процессия движется по Фиш-стрит-Хилл со стороны ЛОНДОНСКОГО ТАУЭРА.

Торговцы выражают изумление и отчаяние из-за того, что процессия вступает на Биржу, нарушая торги.

Выходят два взвода королевских Блекторрентских гвардейцев, с мушкетами; к дулам примкнуты недавно принятые на вооружение французской армией длинные багинеты, или штыки. Ими солдаты разгоняют торговцев с середины Биржи и выстраивают концентрическими кругами, как на ярмарочном кукольном представлении.

Входят трубачи и барабанщики, за ними ГЕРОЛЬД, возглашающий казённую галиматью.

Под медленную скорбную каденцию барабанов входит ДЖЕК КЕТЧ в чёрном балахоне. Торговцы

стоят в гробовом молчании.

Въезжает телега, запряжённая вороной лошадью, нагруженная связками дров и горшками. По бокам вышагивают ПОДРУЧНЫЕ Джека Кетча. Они сваливают дрова на землю и поливают маслом из горшков.

Входит БЕЙЛИФ с КНИГОЙ, окованной цепью и обвешанной замками.

ДЖЕК КЕТЧ: Именем короля, стой и назови своё имя.

БЕЙЛИФ: Джон Булль, бейлиф.

ДЖЕК КЕТЧ: Изложи своё дело.

БЕЙЛИФ: По велению короля я должен вручить тебе арестанта.

ДЖЕК КЕТЧ: Как зовётся арестант?

БЕЙЛИФ: «История гонений, воздвигнутых на французских гугенотов, с кратким описанием многих кровавых злодеяний, совершенных противу безвинных реформатов в герцогстве Савойском по велению короля Людовика Четырнадцатого Французского».

ДЖЕК КЕТЧ: Обвинён ли арестант в каком-либо преступлении?

БЕЙЛИФ: Не только обвинён, но и справедливо осуждён за распространение лживых измышлений, попытки возбудить общественное недо-

вольство и гнусную клевету на христианнейшего короля Людовика Четырнадцатого, доброго друга нашего монарха и верного союзника Англии!

ДЖЕК КЕТЧ: Воистину гнусные преступления! Оглашён ли приговор?

БЕЙЛИФ: Да. Верховный судья лорд Джеффрис повелевает предать арестанта немедленной казни.

ДЖЕК КЕТЧ: Коли так, я приветствую его, как приветствовал покойного герцога Монмутского.

Джек Кетч подходит к бейлифу и берётся за цепь.

Бейлиф выпускает Книгу, и она падает в пыль.

Под приглушённую каденцию барабанов Джек Кетч тащит книгу по мостовой, водружает её на груду дров, отступает на шаг и берёт у подручного факел.

ДЖЕК КЕТЧ: Последнее слово, гнусная книга? Нет? Тогда ступай в ад!

Поджигает костёр.

Торговцы, солдаты, музыканты, подручные палача и прочие молча смотрят, как пламя пожирает Книгу.

Бейлиф, герольд, палач, его подручные, солдаты и музыканты удаляются, оставив за собой

дымящуюся груду углей.

Торговцы возвращаются к торгам, как будто ничего не случилось, за исключением ЭДМУНДА ПОЛЛИНГА, старика.

ПОЛЛИНГ: Мистер Уотерхауз! Так как вы один прихватили с собой стул, справедливо ли будет допустить, что вы знали о предстоящем постыдном балагане?

УОТЕРХАУЗ: Здесь предполагался невысказанный намёк.

ПОЛЛИНГ: Занятное словцо — «невысказанный»… а как же правда, *высказанная* покойной книгой о преследовании наших братьев во Франции и Савойе? Осталась ли она *невысказанной* оттого, что сгорели листы?

УОТЕРХАУЗ: Я слышал немало проповедей, мистер Поллинг, и вижу, куда вы клоните… вы собирались сказать, что подобно тому, как душа, разлучась с телом, воспаряет к небесному Отцу, так и сказанное в этой книге разлетелось вместе с дымом по всем четырём ветрам… Разве вы не собирались в Массачусетс?

ПОЛЛИНГ: Меня удерживал лишь недостаток средств на дорогу, который я бы уже восполнил, если бы Джек Кетч не нарушил естественное течение торгов.

Выходит.

Входит сэр Ричард Апторп.

АПТОРП: Сожжение книг… не это ли излюбленная практика испанской инквизиции?

УОТЕРХАУЗ: Мне не доводилось бывать в Испании, сэр Ричард; что там жгут книги, я знаю лишь по обилию книг, об этом рассказывающих.

АПТОРП: Хмм… я вас понял.

УОТЕРХАУЗ: Ради всего святого, не говорите «я вас понял» с таким многозначительным видом… я не желаю быть следующим гостем Джека Кетча. Вы неоднократно любопытствовали, почему я сижу на стуле. Теперь вы знаете ответ. Я пришёл посмотреть, как свершится правосудие.

АПТОРП: Вы знали, что произойдёт… вероятно, вы как-то приложили к этому руку. Зачем вы определили местом сожжения Биржу? На Тайберне в день казни успех был бы куда больше. Да что там, вы могли бы сжечь целую библиотеку, и чернь бы топала ногами, требуя продолжения.

УОТЕРХАУЗ: Чернь не читает книг. Она бы не поняла сути.

АПТОРП: Если цель — устрашить *грамотеев*, почему бы не сжечь её в Оксфорде или в Кембридже?

УОТЕРХАУЗ: Джек Кетч ненавидит переезды. В

повозке некуда вытянуть ноги, большой топор не помещается в багажное отделение…

АПТОРП: А может быть, дело в том, что учёные мужи не располагают средствами на вооружённый мятеж?

УОТЕРХАУЗ: Ваша правда. Что проку стращать слабых? Лучше грозить сильным.

АПТОРП: Зачем? Чтобы держать их в повиновении? Или подтолкнуть к мятежу?

УОТЕРХАУЗ: Задавая такой вопрос, вы практически спрашиваете, кто я: отступник, предавший дело отцов и развращённый тлетворной атмосферой Уайтхолла, или изменник, сеющий тайную крамолу.

АПТОРП: Да, наверное.

УОТЕРХАУЗ: Тогда извольте задавать вопросы полегче или ступайте своею дорогой. Ибо, кто бы я ни был — ренегат или фанатик, — я уже не тот учёный, с которым можно было шутить шутки. Коли вам угодно задавать такие вопросы, задайте их себе; коли желаете получить ответ, раскройте свои тайны, прежде чем выпытывать мои. Если они у меня есть.

АПТОРП: Полагаю, что есть, сэр.

Кланяется.

УОТЕРХАУЗ: Почему вы сняли передо мной шляпу?

АПТОРП: Дабы выразить уважение к вам, сэр, и восхищение тем, кто вас создал.

УОТЕРХАУЗ: Как, Дрейком?

АПТОРП: О нет, я говорю о вашем менторе, Джоне Уилкинсе, епископе Честерском, живом воплощении Януса. Ибо сей достойный муж написал одной рукой «Криптономикон», другой — «Всеобщий алфавит»; будучи добрым другом многих влиятельных кавалеров, женился на сестре самого Кромвеля, и был подобен двуликому Янусу во многом другом, чего не стану перечислять. Ибо вы истинно его ученик и творение: то разносите вести, словно Меркурий, то храните тайны, словно Плутон.

УОТЕРХАУЗ: Обличье Ментора принимала Афина, чьим выучеником был сам великий Улисс. Прибегнув к столь строгой классической экзегезе, я стараюсь не расценивать ваши слова как оскорбление.

АПТОРП: Уж сделайте милость, любезный, ибо я ни в коей мере не желал вас оскорбить. Что ж, желаю здравствовать.

Уходит.

Входит Равенскар с «Математическими нача-

лами».

РАВЕНСКАР: Я несу их прямиком к печатнику, но по пути задумался про Ньютоновы-Лейбницевы дела…

УОТЕРХАУЗ: Как?! Представление Джека Кетча вас не впечатлило?

РАВЕНСКАР: А, это? Полагаю, что вы подстроили его, дабы укрепить свою репутацию пуританского лизоблюда при короле и в то же время возбудить недовольство мужей богатых и влиятельных. Простите, что не сказал комплимента. Лет двадцать назад я бы восхитился, но по теперешним моим меркам оцениваю лишь как умеренно закрученную интригу. Про Ньютона и Лейбница куда интереснее.

УОТЕРХАУЗ: Коли так, продолжайте.

РАВЕНСКАР: Декарт давным-давно объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца, подобно кружащим в вихре листкам. Посему возражения Лейбница беспочвенны. Загадки нет, и Ньютон ничего не упустил.

УОТЕРХАУЗ: Лейбниц долгие годы пытался осмыслить декартову динамику и, наконец, сдался. Декарт неправ. Его теория динамики прекрасна чисто математически. Однако, стоит сравнить теорию с реальным миром, как она

рассыпается в прах. Гипотеза вихрей попросту не работает. Нет сомнений, что всеобщий закон обратных квадратов существует и управляет движением всех небесных тел по коническим сечениям. Однако вихри, небесный эфир и прочая подобная чепуха тут ни при чём.

РАВЕНСКАР: Так что же его определяет?

УОТЕРХАУЗ: Исаак говорит, что Бог или Божье присутствие в материальном мире. Лейбниц — что взаимодействие незримых взгляду частиц.

РАВЕНСКАР: Атомов?

УОТЕРХАУЗ: Атомы — если совсем в двух словах — не могут двигаться и меняться с достаточной скоростью. Вместо них Лейбниц говорит о монадах, которые ещё фундаментальнее атомов. Он не на шутку увлёкся, так что о них мы ещё услышим.

РАВЕНСКАР: Очень странно, ибо в личном письме он мне сообщил, что, опубликовав интегральное исчисление, намерен посвятить себя генеалогии.

УОТЕРХАУЗ: Таковая работа сопряжена с путешествиями, а доктору лучше всего работается в карете. К тому же он может заниматься и тем, и другим одновременно.

РАВЕНСКАР: Иные сочтут, что, занявшись ис-

торией, он признаёт своё поражение в схватке с Ньютоном. Я лично не понимаю, зачем ему терять время, выкапывая древние генеалогические деревья.

УОТЕРХАУЗ: Быть может, я не единственный натурфилософ, способный провернуть «умеренно закрученную интригу».

РАВЕНСКАР: Что вы несёте?

УОТЕРХАУЗ: Откопайте несколько древних генеалогических деревьев, перестаньте считать Лейбница тупым неудачником и пустите в ход свои *философические* познания: например, что дети сифилитиков часто получают сифилис от родителей и неспособны иметь жизнеспособное потомство.

РАВЕНСКАР: Сейчас вы заплываете в опасные воды, Даниель. Не забывайте, что в них обитают чудища.

УОТЕРХАУЗ: Истинная правда, и когда человек достигает той поры в жизни, когда должен сразить чудище, как святой Георгий, или быть проглоченным, как Иона, тут-то он и пускается в плавание.

РАВЕНСКАР: Так вы намерены сразить или быть проглоченным?

УОТЕРХАУЗ: Меня уже проглотили. Либо я сра-

жу чудище, либо оно изблюёт меня на некий участок суши — быть может, в Массачусетс.

РАВЕНСКАР: Ладно. Иду к печатнику, пока вы не напугали меня ещё больше.

УОТЕРХАУЗ: Быть может, это лучшее дело в вашей жизни, Роджер.

Маркиз Равенскарский уходит.

Входит сэр Ричард Апторп, один.

АПТОРП: О горе! Ужасные вести! Страшись, Англия… удел твой скорбь!

УОТЕРХАУЗ: Что в храме Меркурия ввергло вас в такое уныние? Вы потеряли много денег?

АПТОРП: Нет, заработал, скупая дёшево и продавая дорого.

УОТЕРХАУЗ: Покупая что?

АПТОРП: Ткань для палаток, селитру, свинец и другое, потребное для войны.

УОТЕРХАУЗ: У кого?

АПТОРП: У тех, кто знает меньше меня.

УОТЕРХАУЗ: И продавая кому?

АПТОРП: Тем, кто знает больше.

УОТЕРХАУЗ: Обычная коммерческая сделка.

АПТОРП: Только в придачу я кое-что узнал. И знание это наполняет меня ужасом.

УОТЕРХАУЗ: Так поделитесь им с Плутоном,

ибо Плутон ведает все тайны, почти все хранит, и купается в страхах, как старый пёс — в лучах летнего солнца.

АПТОРП: Покупатель — король Англии.

УОТЕРХАУЗ: Добрая весть! Король укрепляет нашу оборону.

АПТОРП: С чего, по-вашему, еврей отправился через море покупать полотно здесь?

УОТЕРХАУЗ: Потому что оно здесь дешевле?

АПТОРП: Не дешевле. Однако, покупая полотно в Англии, он экономит на перевозе. Ибо все военные припасы будут доставлены не на поле боя в какой-нибудь далёкой стране. Король намерен использовать их здесь, в Англии.

УОТЕРХАУЗ: Поразительно, ибо здесь нет чужеземцев, с которыми бы следовало воевать.

АПТОРП: Одни англичане, сколько хватает глаз!

УОТЕРХАУЗ: Быть может, король боится иноземного вторжения.

АПТОРП: Вас эта мысль утешает?

УОТЕРХАУЗ: Мысль о вторжении? Ничуть. Мысль, что Колдстримский гвардейский, Гренадерский и Собственный королевский Блекторрентский гвардейский полки будут убивать иноземцев вместо англичан — да, немало.

АПТОРП: В таком случае выходит, что всякий добрый англичанин должен всемерно способствовать такому вторжению.

УОТЕРХАУЗ: Давайте осмотрительнее выбирать слова, ибо Джек Кетч сразу за углом.

АПТОРП: Никто не выбирает слова осмотрительнее вас, Даниель.

УОТЕРХАУЗ:

Чтоб братская не проливалась кровь,
Пусть мы увидим в битве справедливой
У наших берегов голландские суда,
В кольце осады наши города.
Солдаты, чтоб явить вождю любовь,
Кровь чужаков прольют на наши нивы,
А если дрогнут, бросив стяг в пыли,
То вождь их не годился в короли.

Версаль

1687

Д’Аво, март 1687

Монсеньор!

Наконец-то настоящий весенний день — пальцы оттаяли, и я снова могу писать. Хорошо бы выйти и полюбоваться цветами; вместо этого я шлю письма в страну тюльпанов.

Вам приятно будет узнать, что с прошлой недели во Франции нет нищих. Король объявил нищенство вне закона. Дворяне, обитающие в Версале, обеспокоены. Разумеется, все согласны, что закон прекрасен, но многие сами практически нищи и боятся, как бы он не затронул их.

По счастью — по крайней мере для тех, у кого есть дочери, — мадам де Ментенон открыла девичий пансион в Сен-Сире, в нескольких минутах езды от Версаля. Это несколько осложнило мое положение. Моя воспитанница, дочь маркизы д’Озуар, теперь посещает занятия в пансионе, и я осталась не у дел. Правда, пока речь о том, чтобы меня отослать, не заходила. Я воспользовалась свободным временем, чтобы дважды съездить в

Лион и ознакомиться с тамошней коммерцией. Однако, по всей видимости, Эдуард де Жекс расхвалил мадам де Ментенон мой педагогический дар, и та вознамерилась определить меня учительницей в Сен-Сир.

Упоминала ли я, что все тамошние учительницы — монахини?

Де Ментенон и де Жекс так преисполнены внешнего благочестия, что я не могу их раскусить и почти готова поверить, будто они подозревают во мне монашеское призвание — другими словами, настолько слепы к мирским делам, что не понимают моей истинной роли. А может быть, они знают, что я управляю капиталами двадцати одного французского дворянина, и намерены меня устранить либо подчинить себе угрозой монастыря.

К делу: прибыль за первый квартал 1687 года вполне удовлетворительная, о чём Вы знаете как клиент. Я объединила все средства в один фонд и инвестировала через надёжных посредников, которые спекулируют определённым товаром или деривативами на акции Голландской Ост-Индской компании. Мы по-прежнему зарабатываем на индийских тканях — благодаря Людовику, который наложил эмбарго на их ввоз

и тем взвинтил цены. Однако акции Голландской Ост-Индской компании упали, когда Вильгельм провозгласил Аугсбургскую лигу. Вильгельм на седьмом небе и думает, что теперь-то протестантский союз задаст Франции жару, меж тем его собственный биржевой рынок уверен в обратном. И здешний двор тоже — все потешаются, что Вильгельм, София Ганноверская и прочий побитый морозом лютеранский хлам рассчитывает противостоять Франции. Многие горячие головы считают, что отец де Жекс и маршал де Катина, раздавившие реформатов в Савойе, должны теперь ехать на север и угостить тем же голландцев с немцами.

Сейчас я должна отбросить все личные чувства по поводу политики и думать лишь о том, как эти события отразятся на рынке. Здесь я вступаю на зыбкую почву и подобно кобыле, скачущей по песку, боюсь оступиться и увязнуть. Амстердамский рынок меняется ежеминутно, и я не могу управлять капиталами из Версаля — покупку и продажу осуществляют мои люди на севере.

Однако французским дворянам зазорно вести дела с испанскими евреями и еретиками-голландцами. Посему я подобна деревянной русалке на носу корабля, груженного чужим добром и

ведомого смуглыми корсарами. Единственный плюс: русалка видит далеко вперёд, и у неё много времени на раздумья. Помогите мне, монсеньор, по возможности яснее увидеть лежащее впереди море. Не могу не думать, что в ближайшие год-два должна буду поставить капиталы клиентов на кон грядущих великих событий. Инвестировать перед восстанием Монмута было несложно, ибо я знала Монмута и видела, чем всё кончится. Вильгельма я тоже знаю, пусть и не так хорошо, но достаточно, чтобы понимать: я не могу играть против него столь же уверенно. Монмут был деревянной лошадкой, Вильгельм — боевой конь; опыт детской может лишь подвести при попытке оседлать скакуна.

Посему пишите мне, монсеньор. Рассказывайте мне больше. Можете смело доверять свои тайны бумаге — превосходный шифр надёжно защитит их в дороге, и мне — здесь нет друзей, которым я могла бы их выболтать.

«Падение Батавии»

Лишь мелкие умы хотят быть всегда правыми.

Людовик XIV

Д'Аво, июнь 1687

Монсеньор!

Жалуясь, что отец де Жекс и мадам де Ментенон намерены сделать меня монахиней, я вообразить не могла, что Вы в ответ ославите меня шлюхой! Герцогиня д'Озуар практически вынуждена ставить у дверей швейцарцев, чтобы оградить Вашу покорную слугу от молодых селадонов. Что за слухи Вы распускаете? Что я нимфоманка? Что первый француз, который меня завоюет, получит тысячу луидоров?

По крайней мере, теперь я догадываюсь, кто входит в Чёрный кабинет. В один прекрасный день отец де Жекс стал очень со мною холоден, а Этьенн д'Аркашон, однорукий герцогский сын, явился с визитом, дабы сказать, что не верит распускаемым обо мне слухам. Возможно, хотел ошеломить меня своим благородством; трудно сказать, я очень плохо понимаю его мотивы. С одной стороны, он столь чрезмерно учтив, что иные сомневаются в его рассудке, с другой — видел меня в Опере с Монмутом и знает часть моей истории. Иначе зачем герцогскому сыну тратить время на простую служанку?

Мужчина его ранга и женщина моего могут, не нарушая приличий, появиться вместе лишь в

маскараде. Позавчера Этьенн сопровождал меня в Дампьер, замок герцога де Шевреза. Он был одет Паном, я — нимфой. Здесь настоящая придворная дама на нескольких страницах описала бы наряды, а также какими правдами и неправдами они добывались, но поскольку я не настоящая придворная дама, а Вы человек занятой, сберегу Ваше время и упомяну лишь, что Этьенн специально заказал себе искусственную руку из самшита. Она сжимала серебряную флейту и была увита плющом (изумрудные листья с рубиновыми ягодами, разумеется). Время от времени он подносил её к губам, и флейта наигрывала мелодию, специально сочинённую для него Люлли.

По дороге в карете Этьенн заметил: «Знаете ли вы, что наш хозяин, герцог де Шеврез, зять простолюдина — Кольбера, генерального интенданта финансов, помимо всего прочего выстроившего Версаль?»

Как вам известно, не первый раз высокопоставленный француз обращает ко мне подобный завуалированный намёк. Первый раз я пришла в необычайное волнение, полагая, что с минуты на минуту стану дворянкой. Затем некоторое время я полагала, что это кусок мяса, который держат перед мордой собаки, чтобы та служила на зад-

них лапках. Однако в тот вечер, направляясь в роскошный замок Дампьер под руку с будущим герцогом, в маске и костюме, на несколько часов освободивших меня от бремени низкого рождения, я вообразила, будто замечание Этьенна — не пустые слова, и если я приложу все старания к чему-то великому, то получу ту же награду, что и Кольбер.

Притворимся, что я подробно описала костюмы, кушанья, убранство зал и увеселения, которые герцог де Шеврез устроил в замке Дампьер. Сэкономленные страницы составили бы небольшую книгу. Сперва все были в несколько подавленном настроении, ибо присутствовал королевский архитектор Мансар, только что узнавший о разрушении афинского Парфенона. Очевидно, турки устроили там пороховой склад, а венецианцы, обстреливая его из мортир, вызвали взрыв. Мансар, всегда мечтавший совершить паломничество в Афины и своими глазами увидеть прекрасное здание, был безутешен. Этьенн с жаром объявил, что лично поведёт эскадру отцовского флота в Афины и возвратит их христианскому миру. Поскольку Афины стоят не на морском берегу, воцарилось неловкое молчание.

Я решила нанести удар. Никто не знал, кто я,

а если бы и догадался, мою репутацию (с Вашей лёгкой руки) уже ничто не могло испортить.

— Мы так расстроены вестью из дальних стран, — сказала я, — но что суть вести, как не слова, и что суть слова, как не воздух?

Послышались смешки: все сочли, что ещё одна дура-герцогиня начиталась Паскаля. Однако мне удалось завладеть общим вниманием (видели бы Вы мой наряд, Вы бы не удивились: лицо моё скрывала плотная ткань, всё остальное — воздушная).

Я продолжала:

— Почему не создать новые вести по собственному вкусу и не повергнуть в горе наших врагов-голландцев, дабы самим преисполниться радостью и веселием?

Большинство присутствующих остались равнодушны к моим словам, хотя некоторые заинтересовались, особенно один, наряженный Орионом после того, как Ойнопион его ослепил: маска изображала струящуюся из глазниц кровь. Орион просил меня продолжать, и я сказала: «Мы здесь подвержены сантиментам, ибо обладаем сильными чувствами и страстьми; мы скорбим о гибели Парфенона, ибо ценим прекрасное. У амстердамцев вместо чувств капиталы, и ценят они

лишь акции своей Ост-Индской компании. Мы могли бы разрушить все сокровища античного мира, нимало их тем не опечалив, но если они услышат дурные вести касательно Ост-Индской компании, то упадут духом, вернее, упадут их акции, что для голландцев одно и то же».

— Сдаётся, вы в этом сведущи; скажите же, какая весть будет для них горше всего, — осведомился слепой Орион.

— Ну конечно, падение Батавии — краеугольного камня всей их заморской империи.

К этому времени Орион повернулся ко мне лицом, и нас окружило кольцо костюмированных придворных, ибо не было сомнений, что человек, одетый Орионом, — сам король. Он сказал:

— Дела сыроваров для нас — вульгарная суета; вникать в неё — всё равно что смотреть, как грязное английское мужичьё дерётся на кулачках, и силиться понять правила. Коль так легко обрушить амстердамский рынок, почему он не падает каждый день? Ибо любой может распустить подобный слух.

— Многие и распускают. Весьма обычно для нескольких игроков составить клику и манипулировать рынком в свою пользу. Махинации эти ныне достигли невероятной сложности и

подобны замысловатому танцу со множеством движений и па. Однако в конечном счёте все они сводятся к распространению лживых слухов. Клики сходятся и расходятся, как облака на небе, и рынок выработал устойчивость к известиям, особенно к плохим; все игроки убеждены, что дурные вести из-за границы дело рук очередной клики.

— Как же мы убедим недоверчивых еретиков, что Батавия и впрямь пала? — спросил Орион.

— Мой ответ затруднён тем, что все здесь под масками, — сказала я, — тем не менее есть резон полагать, что интендант Французской Ост-Индской компании (маркиз д'Озуар) и верховный адмирал французского флота (герцог д'Аркашон) присутствуют и слышат мои слова. Людям такого ранга несложно будет уверить французский флот, сверху донизу, и все порты, от Фландрии до Испании, будто французская эскадра обогнула мыс Доброй Надежды и внезапно овладела Батавией. Весть распространится на север вдоль побережья, как по пороховой дорожке, а когда она достигнет площади Дам…

— Площадь Дам взорвётся, как пороховой бочонок, — заключил Орион. — План изящен, ибо не связан для нас ни с риском, ни с издержками, а

Вильгельму Оранскому причинит больше вреда, нежели вторжение пятидесяти тысяч наших солдат.

— И одновременно обогатит тех, кто будет знать о нём заранее и займёт правильную позицию на рынке.

Далее, монсеньор, мне достоверно известно, что на следующее утро Людовик XIV посетил свой охотничий домик в Марли, пригласив с собой герцога д'Аркашона и маркиза д'Озуара.

Что до меня, я весь день отвечала на расспросы французских дворян, желающих знать, какая позиция «правильная». Не упомню, сколько раз я объясняла принцип коротких продаж и то, как с падением акций Голландской Ост-Индской компании обычно дорожает любой товар, ибо деньги перетекают в другой сегмент рынка. А главное, я должна была растолковать, что, если множество французских дворян, новичков на рынке, бросится играть на понижение акций Голландской Ост-Индской компании и вкладываться в товарные фьючерсы, голландцы сразу поймут, что при дворе Короля-Солнце создана клика. Короче, что подготовительную работу надо вести как можно более хитро и незаметно — другими словами, что её надо поручить мне.

Так или иначе, на следующей неделе к северу отправится немало французского золота. Подробности следующим письмом.

> Рачительный голландец, зря, сколь несложно выращивать Ягоду и как сия зависит от Земли, Воды и Воздуха не более, нежели в каком ином месте, сделал должный вывод и насадил Кофейное дерево на острове Яве, близ города Батавии, где оное произрастает и плодоносит ничуть не хуже, чем в Мокке, и теперь поставляет от двадцати до тридцати тонн за раз из Батавии, на пяти градусах южной широты.
>
> ***Даниель Дефо, «План английской торговли»***

Лейбницу, август 1687

Доктор!

«Приумножение»*[116] — девиз нынешней поры во Франции; сады и виноградники гнутся под тяжестью плодов, дороги запружены телегами, везущими их на рынок. Наступили мирные вре-

---

[116] Примечания: 116

Приумножение: 42-я гексаграмма «И-Цзин», или 110001.

мена, солдаты вернулись по домам, чинят свои жилища *и брюхатят девок, чтобы народилось следующее поколение солдат*. По всему Версалю развернулось строительство, и многие здесь умеренно обогатились *или, по крайней мере, покрыли карточные долги* на биржевом кризисе в Амстердаме.

Простите, что не писала столько недель. Шифр требует исключительно много времени, а я была занята махинациями, связанными с «Падением Батавии».

Третьего дня герцогиня д'Уайонна давала приём в саду: главным увеселением было «Падение Батавии» — как теперь известно, мнимое, — разыгранное на канале. Французские «фрегаты» — не больше обычных прогулочных лодочек, но снабжённые парусами и феерически убранные — атаковали «Батавию», выстроенную на берегу. Голландцы в городе пили пиво и считали золото, пока не уснули. Тут на них и напал игрушечный флот. Голландцы поначалу перепугались, затем пробудились и поняли, что это был сон… однако, вернувшись к своим конторкам, увидели, что золото и впрямь испарилось! Исчезновение золота было хитроумным цирковым трюком, изумившим гостей. Затем чудесный флот почти

час курсировал по каналу, и все любовались им, столпившись на берегу. Каждый кораблик символизировал некую добродетель, присущую Франции, как то: Воинскую Доблесть, Благочестие и прочая, и прочая, а капитаном на каждом был герцог либо принц в соответствующем наряде. Проплывая вдоль берега, они пригоршнями швыряли гостям добытое золото.

Дофина была в золотом платье, расшитом… *Я видела пресловутого Апнора. Он занимает высокое положение при дворе Якова II и состоит в дружбе со многими здешними господами, ибо детство провёл во Франции. Все спрашивают его о рабыне-протестантке, и он говорит о ней с большой охотой. Воспитание не позволяет ему открыто кичиться, но видно, что он весьма горд своим приобретением. Здесь обращение в рабство английских мятежников сравнивают с французским обычаем отправлять гугенотов на галеры и находят более гуманным, чем то, что произошло в Савойе, где реформатов попросту перебили. Я не знала, верить ли Бобу Шафто, и была потрясена, увидев Апнора во плоти и услышав подтверждение из его уст. По мне это постыдная история, которую виновник должен всячески скрывать. Сочувствуя бедняжке Абигайль Фром,*

я тем не менее рада, что так получилось. Если бы рабовладельцы были осмотрительнее и обращали в неволю лишь обитателей чёрной Африки, никто бы и бровью не повёл — я сама не лучше других, ибо кладу в кофе сахар, не вспоминая о неграх, которые взрастили тростник. Куда больше Яков и его присные рискуют, вывозя рабов из Ирландии, пусть даже за преступления. То, что в рабство продали школьниц из английского городка, возбуждает негодование почти везде (за исключением Версаля) и зовёт к мятежу. Слушая Апнора, я ещё больше уверилась, что вскоре Англия возьмётся за оружие. Очевидно, Яков думает так же, судя по тому, что разбил военный лагерь на окраине Лондона и осыпает деньгами любимые полки. Страшусь лишь, что в угаре восстания англичане позабудут о таунтонских школьницах и рабстве вообще… руль и румпель которого были увиты живыми виноградными лозами.

Простите за подробное описание герцогов с их удивительными корабликами. Перечитала несколько страниц и вижу, что непозволительно увлеклась.

Лейбницу, октябрь 1687

Доктор!

Домашние*[117], семья, род — только об этом здесь и разговоров. Как же, спросите Вы, говорят со мною, простолюдинкой? Ответ прост: в этом великолепном дворце целые залы отведены для азартных игр — единственного развлечения здешних дворян. В таких местах правила этикета менее строги и каждый может обратиться к каждому. Разумеется, самое трудное — попасть в такой салон, однако успех «Падения Батавии» раскрыл для меня некоторые двери (по крайней мере, с чёрного хода — я могу входить через двери для слуг), и теперь мне нередко случается обменяться несколькими словами с герцогиней или даже принцессой. Впрочем, я бываю там не так часто, как Вы можете подумать, ибо там только играют, а я не люблю игру, *вернее было бы сказать ненавижу картёжников, но среди тех, кто будет читать это письмо, есть завзятые игроки, и мне следует соблюдать осторожность.*

Всё чаще и чаще меня спрашивают о семье. Кто-то пустил слух, что в моих жилах течёт голубая кровь! Надеюсь, Вы в своих генеалогических изысканиях найдёте какое-нибудь тому подтверждение… сделать меня герцогиней куда проще,

---

[117] Примечания: 117
Домашние: 37-я гексаграмма «И-Цзин», или 110101.

чем Софию — курфюрстиной. *Сейчас от меня зависит столько людей, что статус простолюдинки становится досадной помехой. Им нужен предлог, чтобы даровать мне титул, и тогда уже беседовать со мной, не прибегая к таким ухищрениям, как, например, маскарад.*

Третьего дня я играла в бассет с герцогом Бервикским, незаконным сыном Якова II от Арабеллы Черчилль, сестры Джона. Здесь он в большой чести, ибо, как Вы понимаете, его бабкой по отцу была Генриетта-Мария Французская, сестра Людовика XIII… *и снова, простите генеалогическую болтовню. Не разузнаете ли Вы всё, связанное с чернокнижниками, алхимиками, тамплиерами и сатанистами? Я знаю, что в начале карьеры Вы морочили богатых алхимиков, притворяясь, будто и впрямь верите в их бред. Тем не менее Вы дружны с неким Енохом Роотом, судя по всему — видным алхимиком. Время от времени за карточным столом возникает его имя. Кто-то пропускает его мимо ушей, однако иные поднимают бровь, кашляют в ладонь, обмениваются многозначительными взглядами и прочая, и прочая, заметно стараясь делать это незаметно. Такое же поведение я наблюдаю в связи с другими оккультными или эзотерическими темами.*

Все знают, что Версаль кишит сатанистами, отравителями, абортмахерами и прочими; в конце 1670-х многих (но не всех) осудили или изгнали, отчего атмосфера стала лишь ещё более зловещей. Отец герцога Апнорского умер, выпив стакан воды на приёме у герцогини д'Уайонна, чей муж за две недели до того скончался при сходных обстоятельствах, оставив ей титул и состояние. Нет никого, кто бы не подозревал в этих и других случаях действие яда. Апнор и д'Уайонна привлекли бы к себе больше внимания, если бы не множество других отравлений. Так или иначе, Апнор из тех, кто интересуется оккультными вопросами, и постоянно намекает на какие-то свои знакомства в кембриджском Тринити-колледже. Я склонна списать это на прихоть светского щёголя, прискучившегося невыносимой скукой и унизительной тщетой Версаля. Однако, поскольку я избрала Апнора своим врагом, мне надо знать, значит ли это что-нибудь? Может ли он навести на меня порчу? Есть ли у него тайные собратья в каждом городе? Кто такой Енох Роот?

Я проведу бóльшую часть зимы в Голландии, так что буду писать Вам оттуда.

Элиза

Берег Ла-Манша между Гаагой и Схевенингеном

Никто не забирается так высоко, как тот, кто не знает, куда идёт.

Кромвель

декабрь 1687

— Приятная встреча, брат Уильям, — сказал Даниель, вставая на подножку и запрыгивая в карету, чем до полусмерти напугал пухлолицего англичанина с прямыми тёмными волосами.

Пассажир торопливо подтянул к себе край долгополой пуританской одежды, то ли освобождая Даниелю место, то ли брезгуя к нему прикасаться. Обе гипотезы были правдоподобны. Человек этот дольше Даниеля пробыл в тесных английских тюрьмах и научился как можно меньше мешать другим. А наряд Даниеля был забрызган грязью, платье же пассажира, хоть строгое и чопорное, сверкало чистотой. У брата Уильяма был маленький рот, сейчас — плотно сжатый наподобие заднего прохода.

— Узнал ваш герб, — объяснил Даниель, закрывая дверцу и высовывая в окно руку, чтобы

фамильярно по ней похлопать, — и остановил вашего кучера, предположив, что мы едем в один и тот же охотничий домик к одному и тому же джентльмену.

— Когда Адам пахал, а Ева пря́ла, кто джентльменом был спервоначала?

— Простите, я должен был сказать, к одному и тому же малому… Как дела в ваших заморских владениях, мистер Пенн? Уладили спор с Мэрилендом?

Уильям Пенн закатил глаза и выглянул в окно.

— Чтобы его уладить, потребуются сто лет и полк землемеров! По крайней мере клятых шведов удалось унять. Все воображают, будто, если я владею величайшим Пенсом в мире, мои дела устроены раз и навсегда… но скажу вам, Даниель, это одна сплошная морока… если грех стремиться к земным благам, лошади там или дверному молотку, то во что я угодил? Это целая новая вселенная греховности.

— Насколько я понимаю, выбор был: либо вы берёте Пенсильванию, либо король остаётся должен вам шестнадцать тысяч фунтов?

Пенн не отвёл взгляд от окна, хотя сощурился, будто сдерживая сильнейший метеоризм, и уставился в какую-то точку за тысячу миль отсюда.

Однако они ехали по Голландии, и за окном не было ничего, кроме закругления земли. Под низким зимним солнцем даже галька отбрасывала исполинские тени. Не замечать Даниеля было невозможно.

— Я огорчён, возмущён, взбешён вашим непрошеным появлением! Не желаю вас видеть, брат Даниель, и не будь я пацифистом, забил бы вас камнем до смерти!

— Брат Уильям, столь часто встречаясь в Уайтхолле в присутствии короля и мило беседуя о религиозной терпимости, трудно говорить начистоту; я рад, что вы наконец нашли случай вылить на меня ту желчь, которую столько копили.

— Я, как видите, человек прямой. Может быть, *вам* следовало чаще высказывать свои истинные мысли, брат Даниель, — всё было бы куда проще.

— Легко говорить со всей прямотой, владея убежищем размером с Италию по ту сторону океана.

— Такой выпад недостоин вас, брат Даниель. Но в ваших словах есть доля правды. И впрямь, в самый неподходящий момент я ловлю себя на мыслях о том, что творится на берегах Саскеханны…

— Верно! И если жизнь в Англии станет совсем уж невыносимой, вам есть куда скрыться. В то время как мне…

Пенн наконец поднял на него глаза.

— Не говорите мне, будто не думали о переезде в Массачусетс.

— Я думаю об этом каждый день. Однако бóльшая часть моих соотечественников такой возможности лишена, и я хотел бы, чтобы мы сумели уберечь Добрую Старую Англию от ещё большей порчи.

Пенн сошёл с корабля в Схевенингене меньше часа назад. Портовый город соединяли с Гаагой несколько дорог и канал. Кучер Пенна поехал вдоль канала, мимо осушенных земель, где сейчас проводились учебные манёвры, и полей, подступавших почти к самому Бинненхофу.

Карета свернула на гравийную дорогу вдоль неогороженного парка под названием Малифелд, куда в хорошую погоду состоятельные горожане выезжали кататься верхом. Сегодня тут никого не было. На востоке Малифелд переходил в Гаагский лес, очень ухоженный, с многочисленными дорогами для верховой езды. Почти милю карета тряслась по одной из них. Пассажирам уже казалось, что они забрались в дикую глушь, как

вдруг гравий под колёсами сменился булыжной мостовой, и они проехали сперва в ворота, затем по разводному мосту через канал. Дальше начинался регулярный сад. Карета остановилась перед сторожкой. Даниель успел заметить садовую изгородь и угол аккуратного домика, но тут окно загородила голова и в большей мере шляпа гвардейского капитана.

— Уильям Пенн, — сказал Уильям Пенн. Потом нехотя добавил: — И доктор Даниель Уотерхауз.

Охотничий домик располагался на удачном удалении от Гааги — и ехать недолго, и воздух по-сельски чист. Здесь Вильгельм Оранский не страдал от астмы и в то время года, когда вынужден был оставаться в Гааге, жил в этом домике.

Уотерхауза и Пенна провели в гостиную. На улице было свежо, и, хотя в комнате горел жаркий огонь, оба не торопились снимать верхнюю одежду.

В комнате, кроме них, находилась девушка — миниатюрная, с огромными синими глазами; Даниель поначалу принял её за голландку. Услышав, что гости говорят по-английски, она обратилась к ним на французском и что-то объяснила про принца Оранского. Пенн знал французский куда лучше Даниеля, поскольку

изгнанником несколько лет провёл в (ныне уничтоженной) протестантской академии Сомюра. Он обменялся с девушкой несколькими фразами, потом сказал Даниелю:

— Сегодня прекрасный день для катания на песчаном паруснике.

— Можно было догадаться по ветру.

— Принц будет только через час.

Англичане стояли перед огнём, пока хорошенько не подрумянились с боков, потом сели в кресла. Девушка, одетая в строгое голландское платье, поставила греться котелок с молоком и принялась дальше хлопотать по хозяйству. Что-то в её облике болезненно задевало Даниеля, и единственным лекарством было смотреть на неё, чтобы выяснить причину тревоги, но чем дольше он смотрел, тем хуже — а может быть, тем лучше — становилось у него на душе.

Так они и сидели некоторое время. Пенн думал про Аллеганские горы, Уотерхауз пытался понять, что в девушке его мучит. Это походило на свербящее чувство, будто где-то человека встречал, но не помнишь, при каких обстоятельствах, однако он точно знал, что видит её впервые. И тем не менее внутри что-то зудело.

Она сказала Пенну несколько слов. Тот вышел

из задумчивости и строго взглянул на Даниеля.

— Девица оскорблена. Она говорит, что, возможно, есть женщины непроизносимого свойства, в Амстердаме, которые не прочь, когда на них смотрят, как вы на неё; но как смеете вы, гость на голландской земле, позволять себе такую вольность?

— Много же она сказала, в пяти французских словах.

— Она выражалась кратко, ибо верит в мой ум. Я выражаюсь пространно, ибо не верю в ваш.

— Знаете, капитулировать перед королём только из-за того, что он помахал у вас перед носом Декларацией о Веротерпимости, — отнюдь не признак ума. Некоторые бы даже сказали, что наоборот.

— Вы и впрямь хотите новой Гражданской войны, Даниель? Мы с вами оба выросли во время такой войны. *Одни* из нас решили двигаться дальше, *другим,* сдаётся, охота заново пережить детство.

Даниель закрыл глаза и увидел картину, впечатавшуюся в его сетчатку тридцать пять лет назад: Дрейк швыряет мраморную голову святого в витраж, вместо пёстрых стекляшек возникает зелёный английский холм, серебристая изморось

влетает в окно, словно Святой Дух, холодит и освежает лицо.

— Вы не понимаете, какой мы можем сделать Англию, если только постараемся. Меня воспитывали на вере в грядущий Апокалипсис. Затем я много лет в него не верил. Однако я плоть от плоти веривших и мыслю так же. Только я зашёл с другой стороны и смотрю с другой точки, как выразился бы Лейбниц. Есть что-то в *идее* Апокалипсиса: внезапной перемены всего, низвержения старого. Дрейк и другие ошиблись в *частностях*: заклинились на определённой дате, превратили её в идола. Если идолопоклонство — в поклонении образу вместо первообразного, то именно так они поступили с символическими образами из Откровения. Дрейк и другие подобны птичьей стае, которая, почувствовав что-то, разом взлетает в воздух: дивное зрелище и чудо Божьего мира. Однако они по ошибке залетели в сеть, их возмущение кончилось ничем. Означает ли это, что вообще не следовало расправлять крылья? Нет, они чувствовали верно, просто их подвёл разум. Должны ли мы вечно презирать их за ошибку? Неужто их наследие достойно лишь осмеяния? Напротив, я бы сказал, что теперь мы без особых усилий можем осуществить Апока-

липсис… не так, как им мнилось, а лучше.

— Вам правда следовало бы переехать в Пенсильванию, — задумчиво проговорил Пенн. — Вы одарённый человек, Даниель, и некоторые из ваших дарований, за которые вас в Лондоне лишь повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют, сделали бы вас видным гражданином Филадельфии — или по крайней мере распахнули бы перед вами двери гостиных.

— Я ещё не разуверился в Англии, спасибо.

— Англия, возможно, охотнее пережила бы ваше разочарование, чем ещё одну Гражданскую войну или ещё одни Кровавые ассизы.

— Бóльшая часть Англии считает иначе.

— Вы можете причислять меня к этой партии, Даниель, но кучке нонконформистов не по силам осуществить перемены, которыми вы грезите.

— Ваша правда… а как насчёт людей, чьи подписи стоят под этими письмами? — Даниель вытащил стопку сложенных бумаг, каждая из которых была обвязана лентой и запечатана воском.

Рот Пенна сжался до размеров пупка, мозг напряжённо работал. Девушка подошла и подала шоколад.

— Не по-джентльменски так меня огороши-

вать…

— Когда Адам пахал, а Ева пряла…

— Бросьте глумиться. Владение Пенсильванией не подняло меня в очах Господа выше простого бродяги, но служит напоминанием, что со мной лучше не шутить.

— Вот потому-то, брат Уильям, я с риском для жизни пересёк штормовое Северное море и скакал во весь опор по мёрзлой грязи, чтобы перехватить вас *до* встречи с вашим будущим королём. — Даниель вытащил Гуковы часы и повернул к свету циферблат из слоновой кости. — Вы ещё успеете написать своё письмо и положить сверху на эту стопку.

— Я намеревался спросить, известно ли вам, сколько людей в Амстердаме жаждет вас убить… однако, приехав сюда, вы ответили на мой вопрос: «Нет», — сказал Вильгельм, принц Оранский.

— Вы получили мое предупреждение в письме к д'Аво, не так ли?

— Оно еле-еле поспело… главный удар пришёлся по тем крупным акционерам, которых я не стал предупреждать.

— Франкофилам?

— Нет, *этот* рынок совершенно подорван, мало кто из голландцев теперь продаётся французам.

Сегодня мои враги — те, кого можно назвать политически недальновидными. Так или иначе, ваша батавская шарада доставила мне уйму хлопот.

— Первоклассный источник сведений при дворе Людовика Четырнадцатого не мог обойтись дёшево.

— Ваш убогий трюизм легко вывернуть наизнанку: сведения, купленные столь дорого, обязаны быть первоклассными. К слову, что вы узнали от двух англичан?

Вильгельм взглянул на грязную ложку и раздул ноздри. Юный слуга-голландец, куда красивей Элизы, засуетился и принялся убирать свидетельства того, что здесь долго пили горячий шоколад. Звон чашек и ложек, казалось, досаждал Вильгельму больше грохота канонады на поле боя. Он откинулся в кресле, закрыл глаза и повернулся лицом к огню. Мир для него представал тёмным подвалом с натянутой внутри хрупкой, как паутина, сетью тайных каналов, по которым время от времени поступают слабые шифрованные сигналы; огонь, открыто рассылающий во все стороны явное тепло, был своего рода чудом, явлением языческого божества средь готического храма. Лишь когда слуга закончил уборку и в комнате снова стало тихо, морщины на лице

принца слегка разгладились. Он не достиг ещё и сорока лет, но выглядел и вёл себя как человек преклонного возраста: солнце и солёные брызги преждевременно состарили кожу, сражения испортили характер.

— Оба верят в одно и то же, и верят искренне, — сказала наконец Элиза, имея в виду двух англичан. — Оба прошли через горнило страданий. Сперва я думала, что толстый свернул с пути. Однако худой так не считает.

— Быть может, худой наивен.

— Он наивен *в ином.* Нет, оба принадлежат к одной секте или чему-то в таком роде — они знают и узна́ют друг друга. Они испытывают взаимную неприязнь и стремятся к разному, однако предательство, продажность и отступление от избранной цели для них немыслимо. Это та же секта, что у Гомера Болструда?

— И да, и нет. Пуритане — как индуисты: бесконечное разнообразие, а по сути одно и то же.

Элиза кивнула.

— Чем вас так завораживают пуритане?

Вопрос прозвучал неласково. Вильгельм подозревал какую-то детскую слабость, некий оккультный мотив. Элиза взглянула на него, как девочка, которую переехало телегой. От такого

взгляда большинство мужчин распалось бы, словно варёная курица. Не сработало. Элиза видела, что Вильгельм окружает себя красивыми мальчиками. Однако у него была и любовница, англичанка Элизабет Вилльерс, умеренно красивая, зато очень умная и острая на язык. Принц Оранский никогда не позволил бы себе такую слабость, как зависимость от одного пола; любые чувства, которые внушала ему Элиза, он мог с лёгкостью направить на прислужника, как голландский крестьянин, открывая и закрывая шлюз, направляет воду на то или иное поле. А возможно, он лишь старался произвести такое впечатление, окружая себя красавчиками.

Элиза чувствовала, что допустила опасный промах. Вильгельм нашёл в ней изъян и, если она немедленно не рассеет его подозрений, запишет её в недруги. И если Людовик держит врагов в золочёной клетке Версаля, то Вильгельм, надо полагать, расправляется со своими куда проще.

Элиза решила, что сказать правду — не самое плохое.

— Я нахожу их занятными, — проговорила она наконец. — Они так непохожи на других. Такие странные. Однако они не простачки — в них есть пугающее величие. Кромвель был

лишь прелюдией, упражнением. Пенн владеет немыслимо огромными землями. Нью-Джерси также принадлежит квакерам, и различные пуритане закрепились по всему Массачусетсу. Гомер Болструд говорил поразительнейшие вещи, низвержение монархии из них — самая заурядная. Он говорил, что негры и белые равны перед Богом, что с рабством надо покончить повсеместно и что его единоверцы не успокоятся, пока не убедят всех в своей правоте. «Сперва мы склоним на свою сторону квакеров, ибо они богаты, — сказал он, — потом других нонконформистов, затем англикан, следом католиков, а там и весь христианский мир».

Покуда Элиза говорила, Вильгельм перевёл взгляд на огонь, показывая, что верит ей.

— Ваша одержимость неграми внушает удивление. Однако я заметил, что лучшие люди частенько обладают той или иной странностью. Я взял себе за правило выискивать их и не доверять тем, у кого странностей нет. Ваши несуразные идеи по поводу рабства мне глубоко безразличны. Однако то, что у вас есть взгляды, внушает к вам некоторое, пусть и малое, доверие.

— Если вы доверяете моему мнению, обратите внимание на худого пуританина.

— Однако у него нет ни обширных владений в Америке, ни денег, ни последователей!

— Потому на него и следует обратить внимание. Готова поспорить, у него был властный отец и, быть может, старшие братья. Его постоянно проверяли и тюкали. Он никогда не был женат, не самоутвердился даже в такой малости, как рождение сына, и теперь достиг той поры, когда либо что-то свершит, либо уже не свершит никогда. Всё это смешалось в его голове с грядущим восстанием против английского короля. Он решил поставить на успех восстания свою жизнь — не в смысле жить или умереть, а в смысле — добьётся в ней чего-нибудь или нет.

Вильгельм поморщился:

— Никогда не заглядывайте так глубоко *в меня*.

— Почему? Может быть, вам это было бы на пользу.

— Нет, нет, вы уподобляетесь члену Королевского общества, режущему живую собаку, — вы преисполнены холодной жестокости.

— Я?! А вы? Воевать — доброта?

— Для многих легче получить стрелу в грудь, чем выслушать ваше описание.

Элиза невольно рассмеялась.

— Не думаю, что жестоко описываю худого. Напротив, я верю, что он преуспеет. Судя по стопке писем, за ним стоят влиятельные англичане. Завербовать столько сторонников, оставаясь в такой близости к королю, — очень трудно.

Элиза надеялась, что сейчас Вильгельм хотя бы отчасти проговорится, чьи это письма. Однако он едва ли не с первых слов разгадал её игру и отвёл взгляд.

— Безумная опрометчивость, — сказал он. — Не знаю, стоит ли полагаться на человека, затеявшего столь отчаянный план.

Наступила тишина. В камине с шипением и треском рассыпалось на угольки полено.

— Вы хотите мне что-то в связи с ним поручить?

Снова молчание, но теперь бремя ответа лежало на Вильгельме. Элиза, отдыхая, изучала его лицо. Судя по всему, роль испытуемого ему не нравилась.

— У меня для вас важное дело в Версале, — признал он. — Я не могу отправлять вас в Лондон возиться с Даниелем Уотерхаузом. Впрочем, что касается него, в Версале вы будете даже полезней.

— Не понимаю.

Вильгельм широко открыл глаза, набрал в грудь воздуха и выдохнул, прислушиваясь к своим лёгким. Потом выпрямился, хотя его маленькое поджарое тело всё равно утопало в кресле, и взглянул на огонь.

— Я могу сказать Уотерхаузу, чтобы он был осмотрительнее. Он ответит: «Да, сир», но то лишь слова. Он не будет по-настоящему осторожен, пока ему не для чего жить.

— И вы хотите, чтобы я дала ему этот смысл.

— Я не могу потерять его и тех, кто поставил свою подпись под письмами, из-за того, что однажды ему станет безразлично, жить или умереть. Ему нужна причина, чтобы цепляться за жизнь.

— Это несложно.

— Вот как? Я не могу придумать предлога, чтобы свести вас в одной комнате.

— У меня есть ещё одна странность, сир. Я увлекаюсь натурфилософией.

— Ах да. Вы остановились у Гюйгенса.

— А сейчас в городе находится ещё один друг Гюйгенса, швейцарский математик Фатио. Он молод, честолюбив и отчаянно хочет вступить в Королевское общество. Даниель Уотерхауз — секретарь Общества. Я устрою обед.

— Имя Фатио мне знакомо, — рассеянно про-

изнёс Вильгельм. — Он назойливо добивается аудиенции.

— Я выясню, что ему нужно.

— Отлично.

— А что касательно остального?

— Простите?

— Вы упомянули, что у вас для меня важное дело в Версале.

— Да. Зайдите ещё раз перед отъездом, и я объясню. Сейчас я утомился, устал говорить. То, что вам нужно будет сделать, очень существенно, от этого зависит всё остальное. Я должен собраться с мыслями, прежде чем давать вам указания.

Г-н Декарт умеет весьма правдоподобно подавать свои умопостроения и выдумки. С тем, кто читает его «Начала философии», происходит то же, что с читателем романов, которые доставляют удовольствие и производят впечатление подлинных историй. Образы мельчайших частиц и вихрей увлекают своей новизной. Когда я читал его книгу… впервые, мне казалось, будто всё превосходно обосновано; сталкиваясь с затруднениями, я полагал, что недостаточно хорошо понял его мысль… Однако со временем, обнаруживая вновь и вновь утверждения явно ложные или весьма сомнительные, я полностью избавился от былого преклонения и теперь не нахожу в его физике ничего, что могу принять как истину.

Гюйгенс, «Концепция силы в Ньютоновой физике: динамика в семнадцатом столетии», Уэстфолл, 1971, стр. 176

Христиан Гюйгенс сидел во главе стола, в перигелии эллипса, Даниель Уотерхауз — напротив него, в афелии. Элиза и Никола Фатио де Дюилье

— друг напротив друга посередине. Обед — жареного гуся, ветчину и овощи — подавали члены семьи, давно превратившиеся в слуг. Где кому сидеть, Элиза продумала заранее. Уотерхауза с Гюйгенсом нельзя было сажать рядом — они бы замкнулись на себя и больше ни с кем не разговаривали. Так получилось лучше; Фатио хотел говорить только с Уотерхаузом, Уотерхауз — только с Элизой, Элиза притворялась, будто слушает только Гюйгенса, и в итоге разговор шёл вокруг стола по часовой стрелке.

Приближалось зимнее солнцестояние, солнце зашло в середине дня. Лица, освещённые натюрмортом из свечей в заплывших воском бутылях, висели во тьме, словно луны Юпитера. Тиканье часовых механизмов в дальнем конце комнаты сперва отвлекало, потом стало частью материи пространства, словно биение собственных сердец: они слышали его, только когда хотели, и тем не менее оно постоянно напоминало о ходе времени. Трудно быть дикарём в окружении стольких часов.

Даниель Уотерхауз пришёл первым и сразу извинился перед Элизой, что в прошлый раз принял её за служанку. Однако он не сбросил второй башмак: не спросил, кто она на самом деле. Она

встретила его извинения ехидной улыбкой и ничего объяснять не стала. То был самый заурядный флирт; в Версале любой, удостоившийся такого внимания, лишь закатил бы глаза. Однако Уотерхауз пришёл в полный ужас. Элизу это слегка встревожило.

Он попытался сделать новый заход:

— Мадемуазель, я был бы менее чем…

— О, говорите по-английски! — перебила Элиза по-английски.

Собеседник едва не лишился чувств: сперва от удивления, что она говорит на его языке, затем — от испуга, что она слышала их с Пенном разговор.

— Так что вы хотели сказать? — продолжала она.

Он попытался вспомнить, что говорил. В человеке вдвое моложе такое смущение казалось бы даже милым, сейчас же Элиза с ужасом гадала, что будет, когда первая графиня, получившая выучку при французском дворе, запустит в него когти. Вильгельм прав: Даниель Уотерхауз — подводный риф, опасность для навигации.

— Э… я был бы менее чем честен… э… — Он поморщился. — По-французски это звучало галантно. По-английски — напыщенно. Я хотел

спросить… при том, сколь сложны отношения между нашими странами и тем паче — между мужчинами и женщинами, а также не будучи силён в этикете… могу ли я сыскать предлог беседовать с вами и писать вам письма, не нарушая общественных приличий.

— Вам мало этого обеда? — кокетливо-обиженно произнесла она, и тут вошёл Фатио.

На самом деле Элиза видела, как он идёт через Плейн, и соответственно подгадала время разговора. Уотерхауз вынужден был стоять в сторонке и мысленно пересчитывать свои оплошности, покуда Элиза и Фатио разыгрывали ритуал точно как в версальском салоне Аполлона. В нём было много от придворного танца, но с обертонами дуэли: они прощупывали друг друга, посылая сигналы, зашифрованные в наряде, интонации либо жесте, и с пристальностью фехтовальщиков примечали: заметил ли противник и как отреагировал. Элиза, только что от двора Короля-Солнце, была в превосходящем положении, оставалось лишь выяснить: какой приём оказать Фатио. Будь он католик, француз, титулованный, вопрос бы решился до того, как он вошёл в дверь. Однако он был протестант, швейцарец, незнатного дворянского рода. Никто не назвал бы его красавцем;

из-под высокого выпуклого лба смотрели огромные голубые глаза, однако нижняя половина лица была мелковата, острый нос напоминал клюв, а во всей внешности сквозила мучительная настороженность пойманной в силок птицы.

В какой-то миг Фатио оторвал взгляд голубых глаз от Элизы и затеял такой же танец-поединок с Уотерхаузом. Опять-таки, будь Фатио членом Королевского общества или доктором какого-нибудь университета, Уотерхауз знал бы, как к нему относиться, а так Фатио приходилось извлекать рекомендации из воздуха, роняя имена разоблачённых им шарлатанов, названия прочитанных книг, решённых задач, проделанных опытов и увиденных существ.

— Я почти ожидал встретить здесь Еноха Роота, — произнёс он на определённом этапе, — ибо один мой (гм) знакомец, любитель (гм) химии, поделился со мной слухом — учтите, всего лишь слухом, — будто человек сходной наружности третьего дня сошёл с корабля, прибывшего по каналу из Брюсселя.

Размазывая свою новость всё более тонким слоем, Фатио несколько раз устремлял взор на Даниеля. Некоторые французские придворные подмигнули бы и заинтересованно погладили

усы; Уотерхауз лишь смотрел неподвижным взглядом василиска.

Больше Фатио об алхимии не заикался; с этого момента беседа шла только о математике и последней работе Ньютона. Элиза слышала и от Лейбница, и от Гюйгенса, что Ньютон написал нечто такое, от чего все другие натурфилософы попрятали голову между колен и не смеют больше взяться за перо; она понимала, почему Фатио свернул в эту сторону. Тем не менее он временами обращался к Элизе, поддерживая светское течение беседы. Все эти экзерсисы Фатио выполнял без малейших усилий, что делало честь и его выучке, и общему балансу гуморов. И всё же смотреть, как он отчаянно карабкается вверх, было утомительно. Едва переступив порог, молодой математик завладел разговором, до конца вечера все только и делали, что реагировали на Фатио. Элизе это было на руку, поскольку раздражало Уотерхауза, а ей давало возможность спокойно наблюдать. Она не могла понять одного: из какого источника Фатио черпает свой завод. Он и впрямь был самыми громкими и быстрыми часами в комнате, словно у него внутри — свёрнутая пружина. И не проявлял никакого мужского интереса к Элизе, что тоже её устраивало — она

ясно видела, что в ухаживаниях он должен быть крайне назойлив.

Почему они просто не прогнали Фатио и не пообедали в своё удовольствие? Потому что он обладал истинными достоинствами. Поначалу, увидев человека, столь явно стремящегося произвести впечатление, Элиза (и, судя по всему, Уотерхауз) сочли его позёром. Однако это было не так. Поняв, что Элиза не католичка, он нашёл, что сказать интересного про религию и состояние французского общества. Выяснив, что Уотерхауз не алхимик, он заговорил о математических функциях, да так, что англичанин сразу встрепенулся. Даже Гюйгенс, когда наконец продрал глаза и спустился в гостиную, явственно показал, что видит в Фатио равного — во всяком случае, человека, настолько близкого к его уровню, насколько вообще можно приблизиться к Гюйгенсу.

— Человек моих юных лет и скромных достижений не может в полной мере воздать честь мужу, сидевшему однажды за этим столом…

— Вообще-то, Декарт обедал за этим столом не однажды, а многажды! — прогремел Гюйгенс.

— …и предложившему объяснять физическую реальность с помощью математики, — заключил

Фатио.

— Вы не стали бы так рассыпаться в похвалах, если бы не собирались сказать что-нибудь против него, — заметила Элиза.

— Не против него, а против некоторых сегодняшних его эпигонов. Проект, начатый Декартом, закрыт. Вихри никуда не годятся. Удивлён, что Лейбниц по-прежнему возлагает на них какие-то надежды.

Все за столом чуточку выпрямились.

— Возможно, у вас более свежие вести от Лейбница, чем у меня, сударь, — сказал Уотерхауз.

— Вы оказываете мне незаслуженную честь, доктор Уотерхауз, предполагая, будто доктор Лейбниц сообщит о своих новых прозрениях мне до того, как отослать их в *Королевское общество!* Пожалуйста, поправьте меня.

— Дело не в том, что Лейбниц так уж привязан к вихрям, а в том, что он не может поверить в загадочное дальнодействие.

Услышав эти слова, Гюйгенс в знак поддержки поднял руку. Жест его не ускользнул от Фатио. Уотерхауз продолжал:

— Дальнодействие есть некое оккультное понятие — быть может, и привлекательное для определённого рода умов…

— Но не для тех из нас, кто принял механическую философию, которую господин Декарт проповедовал за этим самым столом!

— Сидя в этом самом кресле, сударь! — возгласил Гюйгенс, указуя на Фатио жареной куриной ножкой.

— Я создал свою теорию гравитации, которая объясняет закон обратной квадратичной зависимости, — сказал Фатио. — Как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, так и планеты производят концентрические возмущения небесного эфира, давящие на спутники…

— Запишите это, — сказал Даниель, — и пришлите мне. Мы напечатаем вашу гипотезу вместе с гипотезой Лейбница, и пусть верх возьмёт более сильная.

— С благодарностью принимаю предложение! — Фатио быстро взглянул на Гюйгенса, словно проверяя, слышал ли тот слова Уотерхауза и сможет ли их потом подтвердить. — Однако, боюсь, мы утомили мадемуазель Элизу.

— Ничуть, мсье, мне интересно всё, что имеет отношение к доктору.

— Есть ли тема, которая так или иначе не касается Лейбница?

— Алхимия, — мрачно произнёс Уотерхауз.

Фатио, чьей главной целью сейчас было вовлечь Элизу в разговор, оставил эту реплику без внимания.

— Я гадаю, уж не рука ли доктора угадывается за созданием Аугсбургской лиги.

— Полагаю, нет, — сказала Элиза. — Лейбниц давно мечтает объединить католическую и лютеранскую церкви и предотвратить новую Тридцатилетнюю войну. Аугсбургская лига больше похожа на подготовку к войне. Таковы устремления не доктора, а Вильгельма Оранского.

— Защитника протестантской веры, — присовокупил Фатио. Элиза привыкла слышать это сочетание, приправленное ядом французского сарказма, но Фатио произнёс его тщательно, словно натурфилософ, оценивающий недоказанную гипотезу. — Нашим соседям в Савойе не помешал бы защитник, когда де Катина прошёл по стране огнём и мечом. Да, тут я расхожусь с доктором, при всём уважении к его благим намерениям… нам и впрямь нужен защитник, и Вильгельм Оранский будет в этой роли весьма хорош, если не угодит в лапы к французам. — При последних словах он выразительно взглянул на Элизу.

Гюйгенс хохотнул:

— Дело несложное, учитывая, что он никогда

не покидает голландскую почву.

— Однако побережье длинно и по большей части безлюдно. Французы могут высадить своих людей где захотят.

— Французский флот не сможет незаметно подойти к голландскому берегу, — отвечал Гюйгенс, явно забавляясь такой мыслью.

По-прежнему наблюдая за Элизой, Фатио сказал:

— Я не говорю о флоте. Довольно будет одной яхты, полной головорезами.

— И что эти головорезы сделают против голландской армии?

— Если они встанут лагерем на берегу и будут дожидаться армии, им несдобровать, — сказал Фатио. — Однако если они в нужное время дня подойдут к тому участку побережья, где Вильгельм катается на песчаном паруснике, то смогут в несколько минут перекроить карту и переписать историю Европы.

Несколько минут не было слышно ничего, кроме часов. Фатио по-прежнему смотрел на Элизу большими голубыми глазами — исполинскими линзами, которые словно вобрали в себя весь свет в комнате. Чего они не знают или о чём не догадывается их обладатель?

С другой стороны, каких только уловок не измыслит мозг, а глядя в такие глаза, кто не попадётся в их ловушку?

— Умно придумано. Похоже на главу из авантюрного романа, — сказала Элиза.

Высокий лоб Фатио собрался морщинами, взгляд, секунду назад столь проницательный, сделался молящим. Элиза взглянула на лестницу.

— Теперь, когда Фатио нас развлёк, быть может, господин Гюйгенс расширит наш кругозор?

— Как мне трактовать ваши слова? — полюбопытствовал Гюйгенс. — Последний раз, когда вы в этом доме расширяли кругозор своего гостя, мне пришлось отводить глаза.

— Пригласите нас на крышу, откуда мы увидим звёзды и планеты, и расширьте наш умственный кругозор, показав нам в телескоп новые явления природы, — спокойно отвечала Элиза.

— Ту же просьбу вы могли бы обратить к любому из присутствующих мужей, ибо я ничем не выше их, — сказал Гюйгенс.

Некоторое время Уотерхауз и Фатио состязались с ним в самоуничижении, затем все облачились в зимнее платье и поднялись на крышу. Небо замутнял лишь морозный пар изо рта. Гюйгенс

закурил глиняную трубку. Фатио, помогавший ему прежде, с напряжённой точностью колибри расчехлил большой ньютоновский телескоп, одновременно прислушиваясь к Уотерхаузу и Гюйгенсу, беседующим об оптике, и поглядывая на Элизу, которая прогуливалась вдоль парапета и любовалась видами. На востоке лежал тёмный Гаагский лес, на юге дымились трубы и сияли окна Хофгебейда. На западе открытая всем ветрам площадь Плейн тянулась до Гренадерских ворот Бинненхофа. Много воска и ворвани жгли там в ту ночь, освещая торжество в большом зале. Для приглашённых на празднество молодых дам иллюминация была невиданной роскошью. Для Гюйгенса — досадной помехой: от множества ламп и свечей влажный воздух дрожал слабым рассеянным светом, неразличимым для большинства людей, однако губительным для наблюдений.

Через несколько минут старшие мужчины принялись наводить телескоп на Сатурн, отчётливо видимый вне зависимости от того, сколько свеч жгут в Бинненхофе. Фатио подошёл к Элизе.

— Давайте не будем церемониться и поговорим напрямую, — сказала она.

— Как желаете, мадемуазель.

— Яхта и головорезы — ваше измышление или…

— Скажите, ошибаюсь ли я: каждое утро, если погода не совсем ужасна и ветер дует с моря, принц Оранский в десять часов отправляется на окраину Схевенингена, берёт песчаный парусник и мчит вдоль побережья до дюн у Катвейка, хотя в погожие дни он доезжает до самого Нордвейка, затем поворачивает назад и возвращается в Схевенинген к полудню.

Не желая радовать Фатио подтверждением его правоты, Элиза отвечала:

— Вы изучали привычки принца?

— Не я. Граф Фениль.

— Фениль… я слышала это имя в салоне герцогини д'Уайонна. Он из тех мест, где сходятся Швейцария, Савойя, Бургундия и Пьемонт.

— Да.

— Католик, франкофил.

— Он савояр по имени, но очень рано понял, что Людовик Четырнадцатый затмит герцога Савойского и поглотит его земли, поэтому стал больше французом, чем сами французы, и поступил в армию Лувуа. Это одно должно было доказать французскому королю его верность. Однако после того, как французская армия продемонстри-

ровала свою силу на самом пороге его страны, Фениль, очевидно, счёл, что надо выслужиться как-то ещё. Он составил план, о котором я вам рассказывал: похитить Вильгельма и доставить во Францию в цепях.

Они остановились на углу крыши, откуда открывался вид на Плейн и на Бинненхоф. Когда д'Аво впервые привёл сюда Элизу кататься на коньках, дворец выглядел в её глазах великолепным, по крайней мере по европейским меркам. Теперь она привыкла к Версалю, и Бинненхоф казался ей дровяным сараем, невзирая на множество огней. Там сейчас должен быть Уильям Пенн, а также другие члены дипломатического корпуса, включая д'Аво. Он пригласил Элизу сопровождать его, она сперва согласилась, потом переменила решение ради сегодняшнего обеда. Посол был недоволен и задавал неприятные вопросы. После того как он завербовал её и отправил в Версаль, их отношения приняли характер вассальной зависимости. Не раз д'Аво показывал Элизе свою жестокую и мстительную сторону, главным образом через завуалированные намёки, чем чревато для неё его недовольство. Элиза подозревала, что именно д'Аво сообщил Фенилю о привычках Вильгельма.

Зима стояла тёплая, и Хофвейвер перед Бинненхофом лежал чёрным, ещё не замёрзшим прямоугольником; порывы ветра дробили отражение праздничных фонарей. Элиза вспомнила своё собственное похищение на берегу и едва не заплакала. Фатио мог говорить правду, а мог лгать, но вместе с недавними угрозами д'Аво слова швейцарца наполнили её сердце щемящей тоской. Не связанной с каким-либо человеком, планом или событиями, просто тоской, чёрной, как вода, поглощающая весь свет.

— Откуда вам известно, что на уме у графа де Фениля?

— Несколько недель назад я навещал отца в Дюилье — нашем швейцарском поместье. Фениль в то же время нанёс ему визит. Мы вышли прогуляться, и он рассказал мне то, что я сейчас передал вам.

— Он должен быть совсем безмозглым, чтобы говорить об этом открыто.

— Допускаю. Хотя той мере, в какой его главная цель — поднять свой престиж, чем больше он говорит, тем лучше.

— Очень необычный план. Граф изложил его кому-нибудь, кто способен его оценить?

— Да, маршалу Лувуа, который в ответ прислал

письмо и велел начинать приготовления.

— Как давно это было?

— Достаточно давно, мадемуазель, чтобы закончить все приготовления.

— Так вы приехали, чтобы предупредить Вильгельма?

— Я всеми силами пытаюсь его предупредить, — сказал Фатио, — но он не даёт мне аудиенцию.

— Непонятно, зачем вы обратились ко *мне*. С чего вы взяли, будто принц Оранский станет меня слушать? Я живу в Версале, занимаюсь тем, что инвестирую капиталы придворных французского короля. Время от времени я езжу сюда посоветоваться с агентами, а также встретиться с моим добрым другом и клиентом д'Аво. Откуда вы взяли, будто я как-то связана с Вильгельмом?

— Довольно сказать, что я это знаю, — спокойно отвечал Фатио.

— Кто ещё знает?

— Кто ещё знает, что тело, подчиняющееся закону обратных квадратов, движется по коническому сечению? Что между кольцами Сатурна есть щель?

— Всякий, кто читает «Начала» и смотрит в телескоп, соответственно.

— И способен проникнуть в то, что прочёл или

увидел.

— Да, из тех, кто владеет книгой Ньютона, мало кто может её понять.

— Истинная правда, мадемуазель. Подобным же образом всякий может вас видеть или слушать сплетни о вас, но чтобы извлечь из этого истину, нужны дарования, которыми Господь одаряет немногих.

— Так вы узнали обо мне от своих собратьев? Знаю, они есть при каждом дворе, в каждой церкви и в каждом университете и узнают друг друга по тайным словам и знакам. Пожалуйста, не темните со мной, Фатио, это так утомляет.

— Темнить? Я и в мыслях не посмел бы оскорбить женщину вашего ума. Да, скажу без утайки, что принадлежу к эзотерическому братству, в рядах которого немало людей знатных и влиятельных, что самая цель этого братства — обмениваться знаниями, которые нельзя открывать профанам, и что из этого-то источника я и знаю про вас.

— Выходит, милорд Апнор и прочие господа, справляющие нужду в коридорах Версаля, знают о моих связях с Вильгельмом Оранским?

— Среди них большинство — позёры, не обладающие истинной способностью к пониманию.

Не меняйте своих планов, вообразив, будто они смогут проникнуть в то, во что проник я.

Ответ не слишком успокоил Элизу. Она не ответила, и Фатио вновь взглянул на неё с мольбой. Она отвернулась — в противном случае пришлось бы фыркнуть и закатить глаза — и посмотрела на Плейн. Её внимание привлекла высокая фигура в длинном плаще, с рассыпанными по плечам серебристыми волосами. Человек вышел из Гренадерских ворот, словно только что с торжества. Он прокричал, выпуская изо рта облачко морозного пара:

— Как видимость?

— Много лучше, чем мне бы хотелось, — отвечала Элиза.

— Очень, очень плохо, господин Роот, из-за нашего беспокойного соседа.

— Не отчаивайтесь, — крикнул Енох Красный. — Полагаю, что сегодня ночью Пегас украсится *метеором;* обратите свой телескоп в ту сторону.

Элиза и Фатио обернулись к телескопу, стоявшему на противоположном углу крыши, где Гюйгенс и Уотерхауз не могли ни видеть, ни слышать Еноха Роота. Когда они снова посмотрели вниз, Роот уже повернулся спиной и пропал в

одной из улочек Хофгебейда.

— Какая досада! Я хотел пригласить его сюда… должно быть, он с праздника в Бинненхофе, — сказал Фатио.

Элиза про себя закончила мысль: «Где по-свойски общался с моими собратьями при голландском дворе — теми самыми, что не смогли промолчать насчёт вас, Элиза».

Фатио взглянул на Полярную звезду.

— Полночь миновала, что бы ни говорили вам церковные колокола.

— Откуда вы знаете?

— Читая положение звёзд. Пегас далеко на западе, вон там. Через два часа он уйдёт за горизонт. Ужасное место для наблюдений! К тому же метеоры проносятся так быстро, что на них не успеваешь навести телескоп… что он имел в виду?

— Так это образчик того, как общаются в вашем эзотерическом братстве? Немудрено, что алхимики знамениты главным образом взрывами в собственных домах, — сказала Элиза, отчасти довольная, что заглянула одним глазком в загадку и не увидела там ничего, кроме намеренной каверзности.

Почти час они разглядывали и обсуждали щель

между кольцами Сатурна, названную в честь французского королевского астронома Кассини — Фатио объяснял её математически. Другими словами, Элизе было холодно, скучно и одиноко. В окуляр мог смотреть только один человек, а мужчины, совершенно забыв про учтивость, ни разу не подпустили её к трубе.

Потом Фатио уговорил остальных навести телескоп на созвездие Пегаса, вернее, на те несколько звёзд, что ещё не утонули в Северном море. Пегас занимал их куда меньше Сатурна, поэтому они уступили Элизе инструмент, и та могла сколько угодно поворачивать трубу, выискивая предсказанный метеор.

— Что-нибудь разглядели, мадемуазель? — спросил в какой-то момент Фатио, заметив, что Элиза взялась задубевшими пальцами за верньер.

— Облако. Оно только что вышло из-за горизонта.

— Такая славная погода, как сегодня, никогда не стоит долго, — произнёс Гюйгенс с чисто голландским пессимизмом, ибо погода была и без того ужасная.

— Похоже на дождевую тучу, или…

— Это я и хочу выяснить, — сказала Элиза, пы-

таясь навести телескоп на резкость.

— Енох над вами подшутил, — объявил Гюйгенс, ибо Элиза с Фатио уже рассказали ему про загадочные слова Еноха. — У него болят кости, и он знает, что погода меняется! И ещё он знает, что тучи придут из Пегаса, потому что Пегас на западе, и ветер дует оттуда. Очень умно.

— Несколько облачков, и впрямь… но то, что я сперва приняла за тучи, на самом деле корабль под парусом… воспользовался лунной ночью, чтобы поднять паруса, и мчит к берегу, — сказала Элиза.

— Контрабандисты, — предположил Уотерхауз. — Из Ипсвича.

Элиза отступила на шаг, и он заглянул в окуляр.

— Нет, я ошибся. Парусное вооружение иное.

— Корабль быстроходный, но сейчас движется осторожно, — заявил Гюйгенс.

Наступил черед Фатио:

— Уверен, он везёт контрабанду из Франции: соль, вино…

И так оно продолжалось некоторое время, все скучнее и скучнее, пока Элиза не сказала, что идёт спать.

Разбудил её колокольный звон. Почему-то

она знала, что очень важно сосчитать удары, но проснулась слишком поздно и могла пропустить первые. Элиза нащупала длинный плащ, которым укрывалась поверх одеяла, и быстрым движением накинула его на плечи, пока холодный воздух не забрался под ночную сорочку. Потом сбросила ноги с кровати, пнула меховые домашние туфли на случай, если внутрь забралась мышь, и сунула в них ступни.

Ибо как ночью мыши тихонько устраиваются в одежде, так в спящее сознание Элизы прокралась некая мысль. По-настоящему она оформилась чуть позже, когда Элиза спустилась в гостиную развести огонь и увидела на всех Гюйгенсовых часах одно и то же время: несколько минут десятого.

Она выглянула в окно и увидела высокие белые облака. Дым из всех труб Бинненхофа стлался на восток. Идеальный день для катания на песчаном паруснике.

Элиза подошла к двери в спальню Гюйгенса и подняла кулак, потом замерла. Если её догадка ошибочна, глупо его беспокоить. Если верна, глупо тратить четверть часа, чтобы будить Гюйгенса и убеждать его в своих подозрениях.

Гюйгенс не держал много лошадей. На выстрел

от его дома начинались Малифелд и Коекамп, так что, если ему самому или кому-нибудь из гостей хотелось покататься, они могли без труда дойти до любой из тамошних платных конюшен.

Элиза выбежала через чёрный ход, едва не сбив голландку, подметавшую мостовую, и, как была в домашних туфлях, побежала дальше.

Тут она остановилась, вспомнив, что не взяла денег.

Она обернулась и увидела, что к ней по улице бежит Никола Фатио де Дюилье.

— Деньги есть? — крикнула она.

— Да!

Элиза припустила вперёд. До конюшни было шагов двести. Сердце её колотилось, лицо раскраснелось. К тому времени, как Фатио её догнал, она уже торговалась с хозяином. В тот миг, когда швейцарец вбежал в ворота, она указала на него пальцем и крикнула: «…И он платит!»

Чтобы взнуздать коней, требовалось несколько минут. Элизу мутило, она боялась, что её вырвет. Фатио тоже волновался, однако воспитание взяло верх над здравым смыслом: он попытался завязать разговор.

— Я заключаю, мадемуазель, что вы тоже имели сегодня утром разговор с Енохом Роотом?

— Только если он пришёл и нашептал мне что-то во сне.

Фатио не знал, как это понимать.

— Я встретил его несколько минут назад в кофейне, куда хожу по утрам. Он разъяснил свои вчерашние загадочные слова…

— Мне хватило того, что он сказал вчера, — отвечала Элиза.

Сонный конюх выронил седло и вместо того, чтобы сразу за ним нагнуться, решил отпустить шуточку. Хозяин конюшни суммировал цифры пером, на котором не держались чернила. Слезы отчаяния брызнули из глаз Элизы.

— Чёрт!

«Скакать без седла — то же самое, что просто скакать, только круче», — сказал ей как-то Джек Шафто. Элиза старалась думать о Джеке как можно реже, но сейчас невольные воспоминания нахлынули сами собой. До их встречи под Веной она никогда не сидела на лошади. Поначалу Джек учил её с удовольствием, особенно когда она была не уверена в себе, или падала, или Турок от неё убегал. После того как она стала заправской наездницей, Джек сделался привередлив и при всяком удобном случае напоминал, что невелика хитрость — держаться в седле; кто не умеет

ездить без седла, тот вообще ничего не умеет. Джек, разумеется, умел, потому что так бродяги крадут коней.

Самое главное (объяснял он) правильно выбрать лошадь. Если их много, надо красть скакуна с плоской спиной, но не слишком широкого в боках, чтобы их можно было обхватить ногами. Холка должна быть не слишком высокая — на неё не ляжешь, когда будешь скакать во весь опор, но и не слишком низкая — не за что будет уцепиться. И лошадь должна быть покладистой, потому что рано или поздно на крутом повороте или ухабе конокрад начнёт с неё сползать, и только от лошади зависит, удержать его или сбросить.

По чистому совпадению любимая Элизина лошадь в этой конюшне — кобыла, которую она брала всякий раз, как выезжала кататься, — обладала плоской, но не слишком широкой спиной, средней — не высокой и не низкой — холкой и покладистым нравом. А может, выбор Элизы подсознательно определили советы Джека. Так или иначе, кобыла звалась Фла («Крем»), и Элиза полагала, что сможет усидеть на ней без седла. Конюх седлал другую лошадь, однако Фла стояла всего в нескольких шагах. Элиза подошла, открыла дверцу стойла, приветствовала Флу по

имени, потом поднесла нос к самому носу кобылы и легонько дунула ей в ноздри. Фла огромной мордой потянулась ближе к теплу. Элиза рукой взяла кобылу за подбородок и снова дохнула ей в ноздри; Фла благодарно затрепетала. Могучие мышцы задвигались, пробуждаясь. Элиза вошла в стойло, ведя рукой по лошадиному боку, потом забралась по дощатой перегородке настолько, чтобы запрыгнуть Фле на спину. Одной рукой сжимая идеальных размеров холку, она ногами обхватила лошадиные бока — для этого пришлось задрать узкую ночную сорочку, но плащ закрывал её с обеих сторон. Голые ягодицы и ноги прижимались к восхитительно тёплому телу кобылы. Фла восприняла всё довольно спокойно. Когда Элиза первый раз хлопнула её по крупу, она словно не заметила, на второй раз вышла во двор, а когда Элиза назвала её умницей и хлопнула в третий раз, пустилась рысью. Элиза едва не слетела на землю. Она вытянулась вдоль лошадиной спины, зарылась лицом в гриву и вцепилась зубами в жёсткий конский волос. Несколько мгновений она думала только о том, как удержаться, а когда оглянулась, они уже неслись по улице. Конюхи бежали сзади, не понимая, что произошло — нелепая случайность или преступ-

ление. Впрочем, Элиза скоро от них оторвалась.

Они направлялись по краю большого поля, называемого Коекамп и ограниченного с одной стороны каналом, идущим до самого Схевенингена. Фла хотела отворотиться мордой от холодного морского ветра и свернуть на Коекамп, где обычно отрабатывала свой овёс, катая седоков. Элиза строго пожурила кобылу и плотнее стиснула её бока. И так, покуда справа лежал Коекамп, а затем Малифелд, отношения между наездницей и лошадью оставались натянутыми. Однако, когда соблазны остались позади, Фла наконец сообразила, что они скачут вдоль канала в Схевенинген, и заметно успокоилась. Элиза снова хлопнула её по крупу, и кобыла перешла на кентер, куда более быстрый и не такой тряский. Очень скоро Элиза уже неслась во весь опор вдоль канала, крича «Дорогу во имя штатгальтера!» всякому, кто попадался на пути. Впрочем, это происходило редко — здесь, за городом, коровы встречались чаще прохожих.

Прав был Джек: удержаться без седла на скачущей лошади оказалось вопросом равновесия, способности предугадать её движения, а также её доброй воли! Бока кобылы скоро покрылись мылом и стали скользкими. Элиза уже не пыта-

лась удержаться за счёт грубой силы и целиком положилась на странное, поминутно меняющееся взаимопонимание между ней и Флой.

Фатио нагнал её лишь ближе к Схевенингену. Их преследовали, правда далеко отстав, двое — надо думать, стрелки из гильдии Святого Георгия. Пока их разделяло больше выстрела, можно было не беспокоиться. Время объясниться ещё будет.

— Корабль… который мы видели… — прокричала Элиза, задыхаясь и подпрыгивая на лошади, — это была яхта?

— Да… «Метеор»… флагман… герцога… д'Аркашона! Можно не сомневаться… что на нём… солдаты! — крикнул Фатио.

За их спиной кто-то затрубил в рог, предупреждая начальника схевенингенской полиции, подведомственного городскому совету Гааги; очень скоро Элизе и Фатио предстояло узнать, как хорошо начальник полиции справляется со своими обязанностями и насколько бдительны его часовые.

Они доскакали до лодочной станции в десять минут одиннадцатого. Элиза издалека увидела песчаный парусник, над которым трудились мастеровые, и крикнула: «Ага!», думая, что они поспели вовремя. Но тут она заметила полосы на

песке и, проследив их на север, увидела другой парусник, уже на расстоянии мили, подгоняемый морским ветром.

Станция была на самом деле не одним зданием, а полукругом сараев, навесов и мастерских: кузнечной, столярной, парусной. На какой-то миг Элиза потерялась во всех этих частностях, затем, обернувшись, увидела настоящее столпотворение: запыхавшиеся гаагские стрелки, гвардейцы, моряки и схевенингенские дозорные пытались схватить Фатио, а тот торопливо объяснялся на французском. Он бросал взгляды на Элизу, то ли умоляя помочь, то ли желая защитить её от толпы.

— Палите из пушек! — закричала Элиза по-голландски. — Принц в опасности! — И, как могла, принялась на ломаном голландском пересказывать, что им известно.

На каждое её слово кивал головой капитан синих гвардейцев, который, по всей видимости, изначально не ждал ничего хорошего от одиноких катаний принца. В какой-то момент он решил, что выслушал достаточно, и выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу, потом кинул дымящийся пистолет гвардейцу, который перебросил ему назад заряженный. Затем капитан

что-то сказал по-голландски, и толпа рассеялась.

— Что он сказал, мадемуазель? — спросил Фатио.

— Он сказал: «Гвардейцы — вперёд! Дозорные — огонь! Моряки — на воду! Остальные — с дороги!»

Фатио зачарованно смотрел, как эскадрон верховых гвардейцев во весь опор поскакал за принцем. Моряки бежали к пристани, артиллеристы на береговых батареях заряжали орудия. Каждый, у кого было огнестрельное оружие, палил в воздух, однако принц не слышал их за воем ветра и волн.

— Полагаю, мы относимся к «остальным», — обречённо проговорил Фатио. — Думаю, всё будет хорошо… кавалеристы скоро его догонят.

Солнце выглянуло из-за туч и осветило пар, поднимающийся от конских боков.

— На таком ветру им его не догнать, — сказала Элиза.

— Может быть, он услышит *это!* — возразил Фатио, вздрагивая от нестройной канонады.

— Он просто решит, что батарея салютует входящему в порт кораблю.

— Так что делать?

— Исполнять приказ. Убираться отсюда.

— Тогда почему вы спешиваетесь?

— Фатио, вы — дворянин, — крикнула Элиза через плечо, сбрасывая домашние туфли и босиком направляясь к песчаному паруснику, — и выросли на Женевском озере. Вы умеете управляться с парусом?

— Мадемуазель, — отвечал Фатио, спрыгивая с лошади, — на таком паруснике я дам фору *голландцу*. Мне недостаёт одного.

— Говорите.

— Парусник будет крениться, а парус — терять ветер. Если только кто-то маленький, ловкий, цепкий и очень храбрый не станет с наветренной стороны в качестве противовеса.

— Так вперёд, и защитим Защитника! — воскликнула Элиза, взбираясь на деревянную конструкцию.

Парусник не мог нестись так быстро, как чудилось Элизе; во всяком случае, так она думала, пока они не догнали гвардейцев. Повернув румпель, Фатио мог бы обогнуть всадников, словно те стоят неподвижно. Вместо этого он потравил шкот, выпустив из паруса заметную долю воздуха. Движение сразу замедлилось — казалось, парусник катится со скоростью пешехода, оставаясь тем не менее вровень со скачущими гвардейцами. Он

опустился на все три колеса, и Элиза, игравшая роль противовеса, чуть не зарылась головой в песок. По счастью, она двумя руками держала трос, который Фатио обмотал вокруг мачты, и сумела вовремя выпрямиться. Теперь у неё было несколько мгновений, чтобы стереть с лица солёную грязь и завязать мокрые волосы узлом, чтобы не хлестали по лицу.

Фатио криками на смеси языков привлёк внимание гвардейцев. Что-то полетело к ним, крутясь в воздухе, ударилось о парус и сползло на колени Фатио — мушкет. Другой пролетел над их головами, зарылся дулом в песок, и его тут же накрыло волной. Теперь к ним летел пистоль; Элиза, сообразив наконец, что к чему, поймала его в воздухе.

Тут же Фатио натянул шкот, и скорость резко возросла. Они обогнали передовых гвардейцев и свернули с прибойной полосы на более сухой и твёрдый песок. Элиза успела затолкать пистоль под пояс плаща и намотать трос на запястья; Фатио сильнее потянул шкот, и парусник рванул вперёд так, что чуть не опрокинулся. Одно колесо вращалось в воздухе, мокрый песок летел в нависшую над ободом Элизу. Та, упираясь босыми ступнями и перехватывая верёвку, отклонилась

почти горизонтально, и теперь видела (когда вообще что-нибудь видела) днище песчаного парусника.

Ей подумалось, что ещё никому в мире не случалось нестись с такой скоростью. Минуту она жила с этой мыслью, потом натурфилософ в ней напомнил, что на льду трение меньше, и такие парусники мчатся, наверное, ещё быстрее.

Тогда откуда такое упоение?.. Ибо несмотря на холод, опасность и неизвестность исхода ей было легко как никогда со времён скитаний в обществе Джека. Интриги и заботы Версаля остались позади.

Вывернув шею, она могла посмотреть на море. Там сновали обычные судёнышки, но у всех паруса были косые. Яхта герцога д'Аркашона с её прямым парусным вооружением сразу бросилась бы в глаза. И впрямь, Элиза вроде бы различила в нескольких лигах к северу стоящий на якорях корабль с прямыми реями — наверняка это и был «Метеор»! Видимо, солдаты до зари подошли к берегу на шлюпке и спрятали её где-то неподалёку.

Фатио уже несколько минут что-то кричал о братьях Бернулли — швейцарских математиках, а следовательно, его друзьях и коллегах.

— Сто лет назад парусные мастера считали,

будто паруса буквально вбирают воздух — потому-то на старых картинах паруса выгнуты так, что их хочется подтянуть… теперь мы знаем, что парус развивает тягу за счёт воздушных токов по двум его сторонам… Мы знаем, что они определяются кривизной паруса и сами её определяют, но не понимаем частностей… Бернулли этим занялись… скоро мы сможем использовать моё дифференциальное исчисление, чтобы шить паруса в соответствии с научными принципами…

– *Ваше* дифференциальное исчисление?

— Да… и сможем достигать скоростей… даже больших… чем эта!

— Вон он! — закричала Элиза.

Парус закрывал Фатио обзор, однако Элиза отчётливо видела мачту песчаного парусника за низким песчаным бугром. До него было, может, полмили. В четверти мили впереди (расстояние это быстро сокращалось) тянулась песчаная гряда — как раз такая, за которой можно устроить засаду. И впрямь, в это самое мгновение мачта выпрямилась и задрожала, останавливаясь…

— Началось! — крикнула Элиза.

— Хотите, чтобы я остановился и ссадил вас, мадемуазель, или…

— Не болтайте чепухи!

— Отлично! — Фатио по стремительной дуге обогнул бугор, и взглядам предстала миля открытого побережья.

Прямо впереди и пугающе близко с северной стороны дюны лежала груда разворошенных веток. Человек шесть рослых французов тащили к воде баркас — его киль пересекал след, оставленный парусником Вильгельма десять минут назад. Шлюпка отрезала принцу путь к отступлению, а Элизе и Фатио — путь вперёд. Фатио резко повернул румпель и обогнул баркас со стороны берега — Элиза едва удержалась за верёвку. Она стиснула зубы, чтобы не прокусить язык, и зажмурилась. Два колеса прыгали на борозде, пропаханной килем шлюпки, третье — то, что было в воздухе, — задело одного из французов, и тот рухнул, как истукан.

На расстоянии выстрела из лука шестеро французов бежали к паруснику принца Оранского. Он налетел на цепь, натянутую между вбитыми в песок колышками. Французы не видели Элизу и Фатио, они смотрели только вперёд, на принца, который спрыгнул на песок и повернулся лицом к противнику.

Вильгельм отступил от парусника, сбросил плащ и вытащил шпагу.

Фатио наехал на бегущих солдат и повалил двоих. На этом их с Элизой регата закончилась: парусник зарылся носом и аккуратно перевернулся. Элиза впечаталась лицом во влажный песок. Рядом сыпались обломки парусника, но её задели лишь несколько мокрых верёвок. Когда она с трудом поднялась на ноги — мокрая, замёрзшая, в песке и синяках, — то обнаружила, что потеряла пистолет, а когда отыскала, сражение уже закончилось: шпага Вильгельма, сверкавшая за мгновение до того, стала алой, а два француза лежали на песке. Ещё одного Фатио держал под дулом мушкета, последний бежал к баркасу, размахивая руками и крича.

Баркас уже качался на волнах, готовый доставить французов и пленника на «Метеор». Обменявшись несколькими словами, четверо из тех, что тащили его к воде, побежали к стоящим парусникам, а ещё один остался держать баркас за верёвку. Шестой по-прежнему лежал носом в песок, след от колеса шёл через его спину.

Элизу никто пока не заметил.

Она присела на корточки за сломанным парусником и несколько мгновений изучала замок пистоля, пытаясь вычистить песок и в то же время не стряхнуть весь порох.

Раздался крик. Элиза обернулась и увидела, что Вильгельм просто подошёл к французу, которого Фатио держал под дулом мушкета, и пропорол того шпагой. Потом забрал мушкет, опустился на одно колено, тщательно прицелился и выстрелил в бегущих солдат.

Ни один не упал.

Элиза легла на живот и поползла к берегу. В какой-то момент солдаты пробежали в десяти шагах. Как она и надеялась, её не заметили. Французы смотрели только на Фатио и Вильгельма, которые стояли теперь спина к спине, обнажив шпаги.

Элиза поднялась на ноги и сбросила длинный тяжёлый плащ. Перед тем, как взобраться на парусник, она одолжила у Фатио кинжал, и теперь обрезала им подол ночной сорочки, освободив ноги. Покончив с этим, она бегом припустила к баркасу, с ужасом ожидая выстрелов, означавших бы, что французы решили уложить Вильгельма и Фатио на месте. Однако слышен был только шум прибоя. Видимо, французы получили приказ доставить принца живым. Фатио они не знали и убили бы без всякого сожаления, но не могли стрелять в него, не задев Вильгельма.

Одинокий солдат у баркаса ошалело смотрел на

бегущую к нему Элизу. Даже если бы он не ошалел, то всё равно ничего бы не сделал, поскольку не мог ни отпустить шлюпку, ни в одиночку втащить её на берег. Подбежав ближе, Элиза увидела, что за поясом у француза заткнут пистоль, но волны дохлёстывали ему до груди, так что порох уже намок.

Она остановилась, подняла свой пистоль, взвела курок и с десяти шагов прицелилась в солдата.

— Он может выстрелить, может не выстрелить, — сказала она по-французски. — Пока я считаю до десяти, решай, готов ли ты поставить на кон жизнь и бессмертие души. Раз… два… три… я упомянула, что у меня месячные? Четыре…

Солдат додержался до семи. Его сломил не столько вид пистолета, сколько Элизино остервенение. Он отпустил верёвку, поднял руки, бочком выбрался на берег и побежал к товарищам. Решение было разумным. Пистолет мог бы выстрелить, он был бы мёртв, и баркас унесло бы в море, а так оставался шанс позднее отбить у Элизы шлюпку.

Она аккуратно отпустила затвор, бросила пистоль в баркас, пробежала несколько шагов по воде, схватилась за транец и подтянулась. По-

сле нескольких неудачных попыток ей удалось закинуть ногу наверх, выбраться на корму и перекатиться в лодку.

Первое, что бросилось ей в глаза, был законопаченный сундук. Взобравшись на него, Элиза увидела, что в лодке таких ещё несколько — вероятно, с оружием. Однако, если дело дойдёт до перестрелки, им всем конец.

Ей нужен был не мушкет, а весло. Они лежали на виду, поперёк дощатых банок. Элиза попыталась схватить одно и с ужасом обнаружила, что оно вдвое выше её ростом и почти неподъёмное. Кое-как удалось оторвать его от банок и погрузить лопастью в воду. Стоя на корме, где вода была мельче всего, Элиза упёрлась веслом в песчаное дно. Баркас не двигался; человек, незнакомый с «Началами» Исаака Ньютона, мог бы отчаяться. Однако из основных положений этого труда следовало, что если давить на весло, лодка *должна* двигаться, даже если движение поначалу будет незаметным для глаза. Поэтому Элиза продолжала налегать всем телом, пренебрегая свидетельством собственных чувств, утверждавших, что лодка стоит на месте. Наконец весло наклонилось, и лодка начала отходить от берега.

Стоило вытащить весло, как волны погнали

её назад, гася приданную шлюпке *vis inertiae*. Элиза снова упёрлась веслом в дно. Вода теперь оказалась глубже, чем в первый раз.

Элизе отчаянно хотелось взглянуть, что творится на берегу, но в этом не было бы никакого прока. Помочь Вильгельму она могла, лишь отведя лодку подальше в море. Только увеличив расстояние до берега вдвое, Элиза решилась поднять глаза.

Фатио лежал. Один из французов сидел на швейцарце верхом, приставив что-то к его голове. Вильгельм стоял с обнажённой шпагой, но под дулами четырёх мушкетов. Один из французов, судя по позе и жестам, говорил с принцем — видимо, обсуждал условия капитуляции. Солдат, которого оставили стеречь баркас, бежал к ним, крича и размахивая руками. Те, что стояли вокруг Вильгельма, не обращали внимания, но тот, что сидел на Фатио, поднял голову и посмотрел на Элизу.

Она взглянула на берег и поняла, что прибой отнёс её назад на несколько ярдов, поэтому торопливо вставила вёсла в уключины, села и попыталась грести. Сперва ничего не получалось; волны взмывали и падали, вёсла проскальзывали по воде. Однако французы вели себя с похвальным хладнокровием, и Элиза решила взять с них

пример. Она привстала, глубже опустила вёсла и, упираясь ногами, откинулась назад. Лодка двинулась. Элиза повторила гребок.

Фатио лежал неподвижно, никто его не охранял. Двое солдат стояли рядом с Вильгельмом, приставив мушкеты к его голове. Остальные пробежали по берегу и смотрели теперь на Элизу через примерно пятьдесят ярдов волн. Один уже почти разделся. Если бы Элиза привстала для следующего гребка, она бы увидела, как он забежал в воду и поплыл. Остальные трое, упираясь коленями в песок, целили в лодку, ожидая, когда Элиза снова поднимет голову.

Пригнувшись, она оставалась ниже линии огня, но не могла грести.

Над бортом показалась рука. Элиза ударила её рукояткой пистоля, рука исчезла, а через мгновение появилась, окровавленная, в другом месте. За ней последовала вторая рука, затем локти и голова. Элиза прицелилась промеж моргающих глаз и нажала на спуск. Кремень чиркнул, высек слабую искру… больше ничего не произошло. Элиза развернула пистолет, намереваясь ударить рукоятью, но француз поднял руку, защищая голову от удара, и она передумала. Выпрямившись, она схватила сундук за ручки, оторвала от палубы

и обрушила на солдата, когда тот перекидывал ногу через планширь. Сундук и француз вместе упали в воду. Солдаты на берегу выстрелили. Пули отбили щепки от банок, но не задели Элизу. Тем не менее вид развороченного дерева начисто уничтожил всякое облегчение, которое она могла бы почувствовать, избавившись от пловца.

Покуда французы перезаряжали мушкеты, Элиза успела отвести лодку подальше от берега. Привстав для очередного гребка, она краем глаза различила какое-то движение на юге и, повернув голову, увидела, что десятки синих гвардейцев взлетают на песчаную гряду или скачут в объезд по берегу. Привстав на стременах, они оглядели открывшуюся картину, вытащили сабли и устремились вперёд со смешанными криками гнева и торжества. Французы, оскорблённые в лучших чувствах, бросили оружие на песок.

— Теперь вам долго не следует ко мне приближаться, — сказал Вильгельм Оранский. — Я прикажу, чтобы вас незаметно вывезли отсюда, а мои агенты распространят какие-нибудь слухи, чтобы объяснить, где вы провели это утро.

Принц замолчал, отвлечённый криками с дальней стороны дюны. Один из гвардейцев выбежал на гребень и объявил, что нашёл свежие следы

конских подков. Кто-то совсем недавно (конский навоз не успел остыть) стоял за дюной, покуривая табак, и несколько мгновений назад ускакал прочь (песок, задетый конскими копытами, был ещё сухой). При этом известии трое гвардейцев пришпорили коней и устремились в погоню. Однако их кони устали от скачки, а лошадь наблюдателя, напротив, хорошо отдохнула — ясно было, что им его не догнать.

— Это д'Аво, — сказал Вильгельм. — Ему не терпелось увидеть меня в цепях.

— Тогда он знает про меня!

— Возможно, да, а возможно, нет, — отвечал принц с безразличием, не прибавившим Элизе спокойствия, затем взглянул на Фатио. (Тот сидел на песке, один из гвардейцев перевязывал ему окровавленную голову.) — Ваш друг — натурфилософ? Я пожалую ему кафедру в местном университете. Вас, когда придёт время, я провозглашу герцогиней. А сейчас вы должны вернуться в Версаль и пленить Лизелотту.

— Что?!

— Не разыгрывайте изумление, это утомляет. Думаю, вам известно, кто я, и потому должны знать, кто она.

— Но зачем?!

— Вот куда более разумный вопрос. Знаете, что вы сейчас наблюдали? Искру, что воспламеняет порох, что выбрасывает пулю, что сразит короля. Запомните это накрепко. Теперь у меня нет иного выбора, кроме как завладеть Британией. Для того мне потребуются войска, а я не могу забрать их с южных рубежей, покуда мне угрожает Людовик. Если же он, как я ожидаю, решит расширить свои владения за счёт Германии, то оттянет свои силы от голландского фланга и развяжет мне руки для вторжения в Англию.

— А при чём здесь Лизелотта?

— Лизелотта — внучка Зимней королевы, которая, как многие говорят, зажгла искру Тридцатилетней войны, приняв корону Богемии. Сказанная королева провела бóльшую часть Тридцатилетней войны неподалёку, в Гааге; мой народ дал ей приют, ибо в Богемии царил хаос, а Пфальц, принадлежащий ей по праву, победитель забрал в качестве трофея. Сорок лет назад по условиям Вестфальского мира Пфальц вернулся в семью; курфюрстом стал Карл-Людвиг, старший сын Зимней королевы. Некоторые его братья и сёстры, включая Софию, перебрались туда и обосновались в Гейдельбергском замке. Карл-Людвиг умер несколько лет назад и передал престол

слабоумному брату Лизелотты. Не так давно тот погиб во время потешного сражения, которое устроил в одном из своих замков на Рейне. Теперь идёт спор о наследстве. Французский король рыцарственно принял сторону Лизелотты — какникак она замужем за его братом.

— Какая находчивость! — заметила Элиза. — Протянув руку помощи Лизелотте, король может присоединить к Франции Пфальц.

— Да, и не будь Людовик Четырнадцатый Антихристом, наблюдать за этим было бы даже приятно, — сказал Вильгельм. — Я бессилен помочь Лизелотте и заступиться за несчастных жителей Пфальца, но я могу заставить Францию заплатить за Рейн Британскими островами.

— Вам надо знать, собирается ли король перебросить войска с ваших границ на Рейн.

— Да. И никто не будет знать этого лучше Лизелотты — если не совсем *пешки,* то, во всяком случае, пленной *королевы* на французской стороне доски.

— Коли ставки так высоки, я хотя бы попытаюсь завоевать её дружбу.

— Мне не надо, чтобы вы завоевали её дружбу. Мне надо, чтобы вы её *соблазнили*. Чтобы она стала вашей *рабой*.

— Я просто пытаюсь соблюсти декорум.

— Мои извинения! — Вильгельм отвесил придворный поклон и взглядом смерил Элизу.

Перепачканная песком, в окровавленном солдатском камзоле, она была очень далека от того, что подразумевает слово «декорум». Видимо, это он собирался сказать, однако промолчал и отвёл взгляд.

— Вы сделали меня дворянкой, мой принц. С тех пор прошло несколько лет, и вы привыкли смотреть на меня как на дворянку, даже если это наш с вами секрет. В Версале я по-прежнему простолюдинка и чужестранка в придачу. Уверяю, Лизелотта в мою сторону и не посмотрит.

– *На людях*.

— Даже наедине! Не все там такие лицемеры, как вы склонны полагать.

— Я не обещал, что это будет легко. Потому-то я и обращаюсь к *вам*.

— Я сказала, что готова попробовать. Но если д'Аво видел меня здесь, то возвращаться в Версаль неразумно.

— Д'Аво гордится своим умением вести тонкую игру, и в этом его слабость, — объявил Вильгельм. — Кроме того, он зависит от ваших финансовых советов и потому не уничтожит

вас *сразу*.

— Тогда *потом?*

– *Попытается,* — поправил Вильгельм.

— И преуспеет.

— Нет. Потому что к этому времени вы будете любовницей Мадам — Лизелотты — королевской невестки. У которой тоже есть свои слабости и свои недоброжелатели, но которая несравненно выше д'Аво.

Версаль

начало 1688

Лейбницу, 3 февраля 1688

Доктор!

Мадам любезно предложила отправить это письмо в Ганновер вместе с другими, которые её друг доставит лично Софии, поэтому обхожусь без шифра.

Вероятно, Вы удивлены, почему Мадам, ещё недавно считавшая меня мышиным помётом в перце, предложила мне такую любезность.

А дело вот в чём: однажды король, восстав от сна, объявил на церемонии утреннего туалета, будто слышал, что «особа с Йглма» благородных кровей, хоть и держит это в секрете.

Для меня это тоже было секретом, пока кто-то не обратился ко мне «графиня де ля Зёр». Не сразу, но я сообразила, что так они произносят слово «схра». Как вы знаете, мой остров — хорошо известная навигационная опасность, которую перепуганные моряки узнают по трём высоким утёсам, носящим это название. Очевидно, некий придворный, имевший неосторожность

в какой-то момент жизни пройти на корабле в виду Йглма, запомнил слово и сочинил для меня титул. Для придворных дам, особливо древнего рода, он звучит варварски. Однако здесь полно иностранных принцесс, не столь переборчивых, и они уже шлют мне приглашения.

Разумеется, король может даровать дворянство кому и когда пожелает, и непонятно, почему из меня решили сделать *наследную* дворянку. Впрочем, вот подсказка: отец Эдуард де Жекс расспрашивал меня о йглмской церкви, которая формально не считается протестантской, поскольку основана раньше Римско-католической. Отец Эдуард собирается посетить Йглм и собрать доказательства, что наша вера по сути не отличается от его и должна с нею слиться.

Тем временем я выслушиваю соболезнования по поводу того, что моя страна стонет под игом англичан. На самом деле каждый йглмец был бы рад, если бы англичане и впрямь заняли наш остров — по крайней мере, они принесли бы с собой еду и тёплую одежду. Полагаю, Людовик знает, что скоро английским королём будет его заклятый враг, и хочет заранее привлечь на свою сторону Ирландию, Шотландию и ту песчинку в море, на которой я родилась. На Йглме много

веков нет наследных дворян (девятьсот лет назад шотландцы загнали их в пещеру с медведями и привалили камнями), но теперь решено, что такой дворянкою буду я! Матушка бы очень гордилась!

Судя по дате Вашего последнего письма, Вы писали его, гостя у дочери Софии при бранденбургском дворе накануне Рождества. Пожалуйста, расскажите мне про Берлин! Я знаю, что туда бежали многие гугеноты. Удивительно думать, что несколько лет назад София и Эрнест-Август предлагали свою дочь в жёны Людовику XIV. Теперь София-Шарлотта — курфюрстина Бранденбургская и (если верить слухам) возглавляет берлинский салон религиозных диссидентов и вольнодумцев. Стань она женою Людовика, ей бы пришлось нести некую меру ответственности за убийство и преследования тех же самых людей. Могу лишь строить догадки, но думаю, она рада-радёхонька, что всё обернулось иначе.

Говорят, будто София-Шарлотта на равных участвует в спорах между учёными мужами. Наверняка это потому, что она росла рядом с Вами, доктор, и слышала, как Вы беседуете с её матушкой. Теперь, получив в качестве графини возможность общаться с Мадам, я спросила, о

чём Вы с Софией беседовали в Ганновере. Она лишь закатила глаза и объявила, что ничего не понимает в умных разговорах. Наверное, она слишком много времени провела с доморощенными алхимиками и считает все учёные беседы пустой болтовнёй.

Звёздная палата, Вестминстерский дворец

...ибо (такова природа человека) для обвинения требуется меньше красноречия, чем для оправдания, и осуждение нам представляется более сообразным с принципом правосудия, чем оправдание.

Гоббс, «Левиафан»

апрель 1688

— Как там говорится? «От работы без забавы мальчуган тупеет, право», — произнёс бестелесный голос.

Лишь эту перцепцию получало сейчас сознание Даниеля. Зрение, вкус и прочие чувства спали, память отсутствовала, поэтому голос воспринимался с более чем обычной чёткостью во всём многообразии своих необычайных достоинств. Он был очень красивый и явно принадлежал человеку из высшего общества, который привык и любит, чтобы его слушали.

— Да уж, мальчуган сильно отупел от учёных трудов, туго соображает, — продолжал голос.

Смешки, движение одетых в шёлк тел. Эхо от

очень высокого каменного потолка.

Сознание Даниеля вспомнило, что заключено в теле, однако, подобно полку, лишённому командира, оно давно не получало приказов, вышло из повиновения и не посылало сигналов в штаб.

— Дайте ему ещё воды! — приказал бархатный голос.

Даниель услышал шаги слева: что-то коснулось занемевших губ, бутылочное горлышко звякнуло о передние зубы. Лёгкие начали наполняться какой-то жидкостью. Он попытался запрокинуть голову, но шея слушалась плохо, и что-то жёсткое упёрлось в загривок. Жидкость бежала по подбородку и затекала под одежду. Грудь сдавило; силясь откашлять воду, он подался вперёд — но тут что-то холодное упёрлось в кадык. Его вырвало. Тёплая жидкость выплеснулась на колени.

— Пуритане совершенно не умеют пить — их никуда не возьмёшь.

— Разве что на Барбадос, милорд! — подхватил другой голос.

Глаза у Даниеля опухли и слиплись. Он попытался поднять руки к лицу, но наткнулся на какой-то металлический прут, схватился за него, и тут же что-то очень плохое произошло с шеей. Кое-как он нащупал глаза, потом стёр с

подбородка рвоту и воду. Теперь Даниель видел, что сидит посреди большой комнаты; ночь, и в помещении горят лишь несколько свечей. В полумраке смутно белели кружевные шейные платки джентльменов, стоящих перед ним полукругом.

Свет был тусклый, видел он неотчётливо, поэтому не мог разобраться, что за железяка у него на шее, и вынужден был исследовать её руками. Судя по всему, это была железная полоса, свёрнутая в ошейник. С четырёх сторон от неё отходили штыри длиною примерно в ярд и каждый заканчивался двумя крюками наподобие абордажного.

— Покуда вы спали под воздействием настойки мсье Лефевра, я взял на себя смелость заказать вам новый воротник, — продолжал голос, — но поскольку вы пуританин и презираете роскошь, я вместо портного пригласил кузнеца. Такой фасон нынче моден на сахарных плантациях Барбадоса.

Даниель подался вперёд, и задний крюк зацепился за спинку стула. Он схватился за передний штырь и, надавив, сумел освободить задний. Инерция увлекла его вместе с ошейником; позвоночник упёрся в стул, ошейник же продолжал двигаться, силясь оторвать голову. Она запроки-

нулась так, что теперь Даниель смотрел прямо в потолок. Сперва ему подумалось, что кто-то зажёг там свечи, а может, солдаты от нечего делать стреляли в потолок горящими стрелами; потом взгляд сфокусировался и стало видно, что блестят нарисованные на потолке звезды. Теперь Даниель знал, где находится.

— Суд Звёздной палаты объявляю открытым. Председательствует лорд-канцлер Джеффрис, — произнёс другой бархатистый голос, наэлектризованный торжеством. Кем же надо быть, чтобы ликовать по такому поводу?

Как чувства возвращались к Даниелю по одному, начиная со слуха, так и сознание пробуждалось по частям. Та, в которой складируются старые факты, функционировала лучше той, что отвечает за разумные действия.

— Чепуха… Суд Звёздной палаты упразднён Долгим парламентом в тысяча шестьсот сорок первом году… за пять лет до моего рождения… и вашего тоже, Джеффрис.

— Я не признаю своекорыстных декретов мятежного парламента, — брезгливо отвечал Джеффрис. — Суд Звёздной палаты славен своей древностью — он учреждён Генрихом Седьмым, однако процедуры его ещё древнее и восходят

к римской юриспруденции. Посему он являет собой образец чёткости и действенности, в отличие от замшелого паскудства общего права, этого дряхлого, затянутого паутиной чудища, этого маразматического собрания бабьих сказок, этого гнусного решета, собирающего всю пену общественной жизни в один юридический ком.

— Правильно! Правильно! — поддакнул один из судей, видимо, чувствуя, что Джеффрис охватил все стороны английского общего права.

Во всяком случае, Даниель предполагал, что все эти джентльмены — судьи и каждый подобран лично Джеффрисом. Или, вероятно, они сами к нему стянулись; таких людей тот всегда видел, когда давал себе труд оглядеться.

Другой сказал:

— Покойный архиепископ Лод находил Звёздную палату достойным средством, дабы сломить религиозных диссидентов, таких, как ваш отец, Дрейк Уотерхауз.

— Но суть истории моего отца как раз в том, *что его не сломили*. Звёздная палата отрезала ему уши и нос и тем сделала его ещё более грозным.

— Дрейк был исключительно силён и упорен, — сказал Джеффрис. — Мальчиком я видел его в кошмарах. Отец рассказывал мне про него сказ-

ки, как про какое-нибудь чудище. Вы не Дрейк. Двадцать лет назад в Тринити-колледже вы стояли и смотрели через окно, как милорд Апнор убивает вашего единоверца, и ничего не сделали. *Ничего*, припомните, и я знаю это не хуже вас.

— У этого фарса есть какая-либо цель, кроме как повспоминать университетские дни? — спросил Даниель.

— Сделайте ему *революцию*[118], — приказал Джеффрис.

Тот же человек, что раньше лил в Даниеля воду, подошёл и надавил на один из четырёх штырей. Колесо начало поворачиваться на шее, как на оси, пока Даниель не схватил его руками. Профан от одной только боли мог бы вообразить, что шея наполовину перепилена. Однако Даниель вскрыл немало шей и знал, где находится всё важное. Короткая проверка показала, что он в состоянии глотать, дышать и двигать пальцами ног, а следовательно, все основные магистрали целы.

— Вы обвиняетесь в извращении английского языка, — объявил Джеффрис. — А именно:

---

[118] Примечания: 118

Слово «революция» происходит от латинского *revolutio* — вращение, и в большинстве европейских языков помимо *переворота* обозначает ещё целый круг понятий: *оборот, круговорот* и т. п., в том числе движение планет.

неоднократно за досужими беседами в кофейнях и в частной переписке вы употребляли доселе невинное и полезное слово «революция» в совершенно новом смысле, придуманном вами и означающем насильственную смену правления.

— О, насилие здесь совершенно ни при чём.

— Так вы признаёте свою вину!

— Я знаю, как вершила расправу *настоящая* Звёздная палата, и не думаю, что этот *фарс* в чём-то отличен, посему не вижу смысла подыгрывать и оправдываться.

— Подсудимый признан виновным! — объявил Джеффрис таким тоном, словно сверхчеловеческим усилием довёл до конца изнурительный процесс. — Не буду делать вид, будто для меня это неожиданность: пока вы спали, мы допросили нескольких свидетелей, и все подтвердили, что вы употребляли слово «революция» в значении, неведомом астрономам. Мы даже спросили вашего старого знакомца по Тринити…

— Монмута? Разве вы его не казнили?

— Нет, нет, другого. Натурфилософа, имевшего дерзость перечить королю в деле с отцом Фрэн-

сисом[119].

— Ньютона?!

— Да, его. Я спросил: «Вы написали столько толстых книжек о революции; как вы понимаете это слово?» Он ответил, что оно означает вращение планет, и даже не заикнулся о политике.

— Не могу поверить, что вы впутали сюда Ньютона!

Джеффрис внезапно перестал строить из себя Великого Инквизитора и отвечал небрежным тоном усталого придворного:

— Ну, мне так и так пришлось дать ему аудиенцию по поводу истории с отцом Фрэнсисом. Он не знает, что вы здесь… как и вы, очевидно, не знаете, что он в Лондоне.

Даниель отвечал тем же тоном:

— Немудрено, что вы удивлены. Ну, разумеется! Вы считали, что в Лондоне Ньютон поспешит возобновить знакомство со мною и другими чле-

---

[119] Примечания: 119

В феврале 1686/87 г. король Яков II повелел Кембриджу присудить магистерскую степень бенедиктинскому монаху Олбану Фрэнсису без требуемой в таких случаях присяги на верность англиканской церкви. Вопреки обычному своему равнодушию к университетским делам Ньютон фактически возглавил противодействие королевскому повелению. Вице-канцлер (ректор) Кембриджа и университетский совет вынуждены были предстать перед комиссией по церковным делам, которую возглавлял Джеффрис. Вице-канцлера сняли, но университет стоял на своём, и степени отец Фрэнсис не получил.

нами Королевского общества.

— По сведениям из надёжных источников, он проводит всё время с предателем-швейцарцем.

— С каким предателем?

— Тем, что предупредил Вильгельма Оранского о нападении французов.

— Фатио?

— Да, с Фатио де Дюилье.

Джеффрис рассеянно поглаживал парик, размышляя о странных знакомствах Ньютона. Такая перемена в настроениях лорд-канцлера толкала Даниеля к опасному легкомыслию, которое он силился перебороть. Однако сейчас его живот затрясся от сдерживаемого смеха.

— Джеффрис! Фатио — *швейцарский* протестант, предупредивший *голландца* о *французском* заговоре… и вы называете его предателем?

— Он предал графа де Фениля. Теперь предатель укрывается в Лондоне, поскольку на Континенте — везде, где знать чтит правосудие, — его ждёт смерть. Но здесь! В Лондоне, в Англии! О, в иное время его бы здесь не потерпели. Однако в наши горькие времена, когда такой человек приезжает и селится в нашем городе, никто и ухом не ведёт, а когда он скупает алхимические припасы и беседует в кофейнях с нашим ведущим натурфи-

лософом, никто не возмущается.

Даниель видел, что Джеффрис накручивается, чтобы привести себя в исступление, и, пока лорд-канцлер снова не вошёл в раж, напомнил:

— Настоящая Звёздная палата славилась суровостью своих приговоров и скоростью их исполнения.

— Истинно! И обладай это собрание такой властью, ваш нос бы уже валялся в канаве, а сами вы плыли на корабле в Вест-Индию, чтобы до конца дней рубить тростник на моих сахарных плантациях. В нынешних обстоятельствах я не могу покарать вас, пока не вынесу приговор в суде общего права. Что, впрочем, не так и сложно.

— И как же, по-вашему?

— Наклоните обвиняемого назад!

Приставы, или палачи, или кто там они были, подбежали к Даниелю сзади, схватились за спинку стула и дёрнули, так что ноги его повисли в воздухе. Теперь он не сидел, а лежал на спине; железный ошейник, придя в движение, попытался упасть на пол. Этому препятствовала шея Даниеля. Он дёрнулся было, чтобы схватиться за ошейник, пережавший дыхательные пути, но подручные Джеффриса не зевали: каждый свободной рукой прижал к стулу руку Даниеля,

один — правую, другой — левую. Даниель не видел теперь ничего, кроме звёзд; звёзды, нарисованные на потолке, сияли в открытые глаза; другие возникали, стоило зажмуриться. Лицо лорд-канцлера полной луной выплыло на середину небосвода.

В юности Джеффрис отличался редкой красотой, даже по меркам поколения, давшего миру таких адонисов, как герцог Монмутский и Джон Черчилль. Особенно хороши были глаза; может быть, поэтому юный Даниель Уотерхауз всякий раз цепенел под их взглядом. В отличие от Черчилля, Джеффрис с годами подурнел. Живя в Лондоне и карабкаясь со ступеньки на ступеньку — поверенный герцога Йоркского, борец с мнимыми заговорщиками, верховный судья и, наконец, лорд-канцлер, он заплыл жиром, как баранья почка. Брови выросли в огромные кустистые крылья, почти рога. Глаза хранили былую красоту, но смотрели уже не с юного безупречного лица, а из своего рода амбразуры между складками жира и ощеренными бровями. Прошло, наверное, лет пятнадцать с тех пор, как Джеффрис мог припомнить всех, кого отправил на смерть; он должен был сбиться со счёта если не на папистском заговоре, то уж точно на Кро-

вавых ассизах.

Во всяком случае, Даниель смотрел в глаза лорд-канцлера и не мог отвести взгляд. В некотором смысле Джеффрис просчитался, задумывая этот спектакль. Снотворное, вероятно, подмешали Даниелю в кофейне; затем подручные Джеффриса похитили его, когда он заснул в лодке. Однако под действием опия он до последнего мига забывал испугаться.

Дрейк не испугался бы и без всякого опия; в этой самой комнате он обличал архиепископа Лода в лицо, зная, что его ждёт. Даниель до сих пор держался храбро лишь потому, что плохо соображал. Сейчас же, глядя в лицо Джеффриса, он вспомнил все ужасы, которые про него слышал. О диссидентах, что «кончали с собой», перерезав себе горло до самого позвоночника; о повешенных в Таунтоне, умирающих долгой мучительной смертью, о том, как герцогу Монмутскому отрубили голову с пятого или шестого удара, в то время как Джеффрис смотрел на него вот этими самыми глазами.

Мир утратил всякие краски. Что-то белое и воздушное возникло рядом с лунным лицом — рука в кружевной манжете. Джеффрис схватился за один из штырей.

— Говорите, ваша революция не связана с насилием, — сказал он. — Советую вам серьёзней задуматься над природою революции. Ибо, как вы видите, этот крюк сейчас наверху. Другой внизу. Верно, мы можем поменять их местами, совершив *переворот*.

Джеффрис повернул ошейник, всем весом лежащий на Даниелевом кадыке. У Даниеля были все резоны закричать, но он только жалобно силился глотнуть воздуха.

— Ах, только посмотрите! Тот, что был *наверху,* теперь *внизу*. Давайте повернём его, ведь ему это не по вкусу. — Джеффрис вернул ошейник в прежнее положение. — Увы, мы пришли к тому, с чего начали: верхи наверху, низы внизу, так в чём же смысл переворота?

Джеффрис повторил демонстрацию, смеясь тому, как Даниель ловит ртом воздух.

— Можно ли мечтать о лучшей карьере! Медленно обезглавливать однокашников! Мы всячески длили казнь Монмута, однако топор — грубое орудие, Джек Кетч — мясник, и всё закончилось скоро. Ошейник — идеальное средство для перепиливания шеи, с ним я мог бы растянуть смерть Монмута на *дни!* — Джеффрис вздохнул от удовольствия.

Даниель уже ничего не видел, кроме бледно-лиловых пятен в сером клубящемся тумане. Однако Джеффрис, по всей видимости, дал приставам знак поднять стул — вес ошейника переместился на ключицы, и попытки Даниеля вздохнуть увенчались-таки успехом.

— Надеюсь, я избавил вас от глупых обольщений касательно революции. Чтобы низы стали верхами, верхи должны стать низами, но верхи *любят* быть наверху, и у них есть армия и флот. Революция без насилия невозможна; рано или поздно она закончится поражением, как закончилась поражением революция вашего отца. Вы усвоили урок? Или повторить?

Даниель пытался что-то сказать, а именно — взмолиться, чтобы Джеффрис не повторял. Он должен был взмолиться, потому что демонстрация причиняла чудовищную боль и могла бы его убить, а молчал лишь потому, что гортань не работала.

— Судья обязан отчитать виновного, дабы направить его на путь исправления, — задумчиво продолжал Джеффрис. — С этим покончено, переходим к вынесению приговора. Касательно него у меня есть дурная новость и хорошая новость. Обычай требует, чтобы тот, кого они затрагива-

ют, сам выбрал, какую услышать первой. Однако хорошая новость для меня — дурная для вас, и наоборот, так что предоставить выбор вам значило бы внести путаницу. Итак, дурная новость для меня, что вы правы, и суд Звёздной палаты до сих пор официально не восстановлен. Это лишь забава для нескольких старших юристов без полномочий выносить законный приговор. Хорошая новость для меня: *вам* я могу вынести суровейший приговор и без всяких законных полномочий; я приговариваю вас, Даниеля Уотерхауза, быть Даниелем Уотерхаузом до скончания дней и жить каждый час, каждый миг с сознанием собственной омерзительной трусости. Прочь! Вы позорите эту палату! Ваш отец был злодей и заслужил свою кару. Вы — жалкая пародия на него! Да, да, встать, кругом, марш! Убирайтесь! То, что вам придётся терпеть себя до смертного часа, не означает, что мы должны сносить тот же срам! Вон! Вон! Приставы, бросьте это трусливое животное в канаву, и пусть моча, текущая по его ногам, смоет его в Темзу!

Даниеля выбросили, как труп, в полях за Вестминстером, между аббатством и городком Челси. Когда его сбрасывали с телеги, он чуть не лишился головы: один из крюков зацепился за борт

и рванул так, словно душу выдирают из тела. Однако доска сломалась раньше позвоночника, и Даниель рухнул в грязь — во всяком случае, так он заключил, придя в сознание.

Больше всего на свете он хотел упасть ничком и рыдать, пока не умрёт от обезвоживания. Однако ошейник не позволял лечь, всё равно как если бы Дрейк стоял рядом и распекал его за нежелание встать. Поэтому Даниель поднялся и побрёл прочь, глотая горькие слёзы. Он узнал место: Свиной пустырь, или Пимлико, как предпочитали называть его торговцы недвижимостью; не город и не деревня, а собрание всего худшего, что в них есть. Бродячие псы гоняли диких кур по земле, изрытой свиньями и обглоданной козами до того, что не осталось и травинки. Ночные огни пекарен и пивоварен бросали багровые отблески на пьяниц и потаскух.

Впрочем, было бы куда хуже, если бы его бросили в лесу или в кустарнике. Ошейник изобрели для рабов: каждая ветка, лиана или ствол превращались в констебля, хватающего беглеца за шкирку. Даниель ощупал его и нашёл забитый в петли деревянный колышек, который без особого труда сумел раскачать и вытащить, после чего ошейник легко снялся. У Даниеля возник теат-

ральный порыв швырнуть его в реку, потом он опомнился и сообразил, что предстоит ещё милю тащиться по нехорошему месту, возможно, отбиваясь от бродячих псов и просто бродяг. Поэтому он крепко сжал ошейник и принялся помахивать им взад-вперёд, просто для храбрости. Однако никто не думал на него покушаться. Враги Даниеля были не из тех, кого можно прибить железным прутом.

К югу от обжитой и цивилизованной части Вестминстера начали разбивать новую модную улицу — очередной проект Стерлинга Уотерхауза, который звался теперь графом Уиллсденским и бóльшую часть времени проводил в своём скромном загородном именье на северо-западе Лондона, стараясь собственным примером поднять престиж этих мест.

Среди тех, кто вложил средства в Вестминстер-стрит, была и небезызвестная Элиза, ныне графиня де ля Зёр. Мысли о ней занимали у Даниеля примерно пятьдесят процентов бодрственного времени, то есть несообразно много. Если бы он приходил к *новым и оригинальным* соображениям касательно Элизы, это оправдывало бы трату десяти, ну, двадцати процентов времени. Однако он думал одно и то же снова и снова. За час, про-

ведённый в Звёздной палате, он почти о ней не вспоминал и теперь навёрстывал упущенное.

В феврале Элиза посетила Лондон. Пользуясь рекомендательными письмами от Лейбница и Гюйгенса, она сумела попасть на заседание Королевского общества — одна из первых женщин, если не считать уродиц, которые демонстрировали множественные влагалища или кормили грудью двухголовых младенцев. Даниель немного нервничал, сопровождая графиню де ля Зёр в Грешем-колледж — боялся, что она выставит себя на посмешище или члены Общества по ошибке проведут на ней вивисекцию. Однако Элиза пришла в скромном наряде и вела себя соответственно, так что всё прошло хорошо. Позже Даниель повёз её в Уиллсден и познакомил со Стерлингом. Они отлично поладили, что неудивительно: полгода назад оба были простолюдинами, а теперь расхаживали по будущему французскому саду Стерлинга, обсуждая, где поставить вазы и урны и в каких лавках лучше покупать древние фамильные ценности.

Так или иначе, теперь они вместе вкладывали средства в окультуривание Свиного пустыря. Даниель тоже внёс несколько фунтов (не потому, что собирался сделаться финансистом, но все по-

следние двадцать лет британская монета только обесценивалась, и то был единственный способ сохранить деньги). Чтобы прежние обитатели (дву– и четвероногие) не совершали набеги на свои старые территории, здесь поселили сторожа с целой сворой полоумных собак. Перелезая через ограду в четвёртом часу утра, Даниель перебудил их всех. Сторож, разумеется, проснулся последним — к тому времени собаки изорвали на Даниеле одежду. Впрочем, после всего остального одежда была не самой большой потерей.

Даниель радовался уже тому, что кто-то его узнал. Само собой, он соврал про нападение негодяев, и сторож, само собой, подмигнул. Он напоил Даниеля пивом — от такой доброты у того снова навернулись слёзы — и послал мальчишку к Вестминстеру за портшезом. Это был своего рода вертикальный гроб, который несли на палках рослые молчуны. Даниель забрался внутрь и уснул.

Проснулся он на заре перед Грешем-колледжем, на другом конце Лондона. Его ждало письмо из Франции.

Письмо начиналось:

Всё так ли ужасна погода в Лондоне? Здесь, в Версале, мы уже сподобились посещения весны.

Ждите вскоре и моего посещения.

На этом месте Даниель, читавший письмо в вестибюле колледжа, остановился, сунул письмо за пояс и вступил в тайное святилище. Сам сэр Томас Грешем, вернись он на землю, не узнал бы своего дома. Королевское общество хозяйничало в здании почти три десятилетия и практически исчерпало его возможности. Даниель только фыркал, слыша речи о том, чтобы поручить Рену строительство нового здания и переехать туда. Королевское общество не сводится к коллекции, и его также нельзя переселить в другое здание, перевезя экспонаты, как невозможно отправиться во Францию, вырезав свои органы и отправив их через Ла-Манш в бочке. Как геометрическое доказательство содержит в ссылках и терминах всю историю геометрии, так и отдельные помещения Грешем-колледжа хранили историю натурфилософии с первых встреч Бойля, Рена, Уилкинса и Гука до сего дня. Расположение и порядок слоёв отражали то, что происходило в умах членов Общества (главным образом Гука) в любую конкретную эпоху; переместить их или разобрать было бы всё равно что сжечь библиотеку. Тот, кто не может найти здесь нужную вещь, недостоин сюда входить. Даниель относился к

Грешем-колледжу, как француз — к французскому языку: тому, кто его знает, всё понятно, а кто не знает, может катиться к чёрту.

Он за полминуты отыскал в потёмках «И-Цзин», пошёл туда, где розовоперстая Аврора уже скреблась в пыльные окна, и открыл девятнадцатую гексаграмму, «Посещение». Далее книга расписывала неисчерпаемые значения символа, Даниеля интересовало только одно — 000011. Так узор сплошных и прерывистых линий переводился в двоичное число. В десятичном выражении ему соответствовало 3.

Даниель имел полное право подняться в свою мансарду и уснуть, но считал, что более чем выспался за сутки под влиянием опиума, а события в Звёздной палате и позже на Свином пустыре взбудоражили его разум. Любая из трёх причин сама по себе могла бы прогнать сон: свежая рана на шее, суета пробуждающегося Сити и животная, неутолимая страсть к Элизе. Он поднялся в комнату, которая оптимистично звалась библиотекой, не из-за книг (они были повсюду), а из-за окон. Здесь он положил Элизино письмо на заляпанный старыми чернильными пятнами стол, а рядом поместил листок черновой бумаги (на самом деле — пробный оттиск гравюры для

третьего тома Ньютоновых «Математических начал»). Исследуя буквы в Элизином письме, Даниель относил каждую к алфавиту 0 или к алфавиту 1 и записывал цифры на листке, группами по пять, вот так:

```
DOCTO  RWATE  RHOUS  E
01100  00100  10000  0
```

Первая группа цифр соответствовала числу 12, вторая — 4, третья — 16, четвёртая — 6. Записав их в новую строчку и вычтя из каждого тройку, он получил:

```
12 4   16 6
 3 3    3 3
-------------
 9 1   13 3
```

или в буквах:

I AMC

Покуда он работал, стало светлее.

Лейбниц строит великолепную библиотеку в Вольфенбюттеле, с высокой ротондой, в которой свет будет изливаться на стол через крышу…

Он лежал лбом на столе. Не лучшая поза для

работы. И для сна тоже, разве что шея у тебя так раскорябана, что по-другому не ляжешь и не заснёшь. А Даниель и впрямь спал. Страницы под его лицом обратились в море жуткого света, невыгодного света полудня.

— Воистину вы пример для всех натурфилософов, Даниель Уотерхауз.

Даниель выпрямился. Он окостенел, словно горгулья, и чувствовал, как трескается корка на шее. Через два стола от него, с пером в руке, сидел Никола Фатио де Дюилье.

— Сударь!

Фатио поднял руку.

— Не хотел вас беспокоить. Нет никакой надобности…

— Ах, но у меня есть надобность выразить вам благодарность. Я ещё не видел вас с тех пор, как вы спасли жизнь Вильгельму Оранскому.

Фатио на мгновение закрыл глаза.

— То было как схождение планет — чистая случайность, без всякой моей заслуги, посему не надо об этом.

— Я недавно узнал, что вы в Лондоне и что на Континенте ваша жизнь была в опасности. Узнай я раньше, я бы предложил посильное гостеприимство…

— А будь я достоин звания джентльмена, я бы спросил вашего разрешения, прежде чем располагаться здесь, — отвечал Фатио.

— Полагаю, Исаак вам всё тут показал? Очень рад.

Даниель заметил, что Фатио смотрит на него пристальным анализирующим взглядом, словно Гук — через оптическое стекло. Почему-то у Гука это выходило естественно, у Фатио — самую чуточку оскорбительно. Разумеется, Фатио гадал, откуда Даниель знает про его дружбу с Исааком. Даниель мог бы рассказать про Джеффриса и Звёздную палату, но лишь запутал бы этим дело.

Фатио только сейчас заметил, что у Даниеля с шеей. Глаза его видели всё, но были такие большие и лучезарные, что не могли скрыть, куда смотрят. В отличие от Джеффриса, чьи глаза выглядывали из глубоких амбразур, Фатио не мог ни на что посмотреть украдкой.

— Не спрашивайте, — сказал Даниель. — Вы, сударь, получили свою почётную рану на побережье. Я свою, не столь почётную, — в Лондоне, в борьбе за то же общее дело.

— Не надо ли вызвать врача, доктор Уотерхауз?

— Благодарю за заботу. Всё отлично. Чашка

кофе, и я буду как новенький.

Даниель собрал бумаги и отбыл в кофейню, где было людно, но он чувствовал себя уединённее, чем под взглядом Фатио.

Двоичные числа, запрятанные в тонкостях Элизиного почерка, в десятичном выражении принимали вид:

12 4 16 6 18 16 12 17 10

и после вычитания тройки (ключа, зашифрованного в ссылке на «И-Цзин») превращались в:

9 1 13 3 15 13 9 14 7…

что означало:

I AM COMING…
Я ПРИЕЗЖАЮ…

Полная расшифровка отняла изрядное время: Элиза подробно расписывала, как собирается ехать и что намерена делать в Лондоне. Записав сообщение, Даниель внезапно понял, что сидит очень долго, выпил много кофе и должен немедленно отлить. Он уже не помнил, когда последний раз справлял малую нужду. Итак, Даниель вышел на двор за кофейней.

Ничего не произошло, поэтому через полми-

нуты он нагнулся вперёд, словно кланяясь, и упёрся лбом в каменную стену. Он знал, что такая поза помогает расслабить некоторые мышцы внизу живота, и тогда моча потечёт легче. Вместе с особыми движениями бёдер и глубоким дыханием это позволило вызвать несколько струек буроватой мочи. Когда метод перестал работать, Даниель повернулся, задрал одежду и сел на корточки, чтобы помочиться на арабский манер. Перемещая центр тяжести, он сумел выдавить тонюсенькую тёплую струйку, которая, если её поддерживать, должна была принести облегчение.

Соответственно, у него было вдоволь времени поразмышлять об Элизе, если можно назвать размышленьем череду безумных фантазий. Из письма явственно следовало, что она рассчитывает посетить Уайтхолл. Это не составило бы труда, ибо через дворец мог пройти любой человек в одежде и без зажжённой гранаты в руке. Однако, поскольку Элиза была графиня, а Даниель (чего бы там ни говорил Джеффрис) оставался придворным, её слова о желании посетить Уайтхолл означали намерение пообщаться со знатью. Что тоже несложно было устроить: Даниель представил, как католики-франкофилы, составляющие

бóльшую часть придворных, наперебой бросятся обхаживать Элизу хотя бы с тем, чтобы посмотреть на последнюю французскую моду.

Однако всё следовало тщательно спланировать — опять-таки, если можно назвать планированием поток дурацких мечтаний. Подобно астроному, составляющему таблицы приливов, Даниелю надлежало спроецировать смену времён года, литургический календарь, сессии парламента, помолвки, смертельные болезни и беременности разных выдающихся особ на то время, когда Элиза собирается посетить Лондон.

Сначала он подумал, что она приедет в самый подходящий момент: через три недели король должен подписать новую Декларацию о Веротерпимости, которая сделает его героем, по крайней мере в глазах нонконформистов. Однако затем, сидя на корточках и отсчитывая недели, словно кап-кап-кап желтоватой струйки, Даниель сообразил, что Элиза приедет никак не раньше мая. У священников Высокой церкви будет несколько воскресений, чтобы со всех амвонов обличить декларацию. Они скажут, что её истинная цель — расчистить дорогу папизму, а сам Даниель Уотерхаузв лучшем случае глупец, в худшем — предатель. К тому времени ему придётся *жит*ь

в Уайтхолле.

Вот тут-то — воображая, как живёт заложником под охраной гвардейцев Джона Черчилля, — Даниель припомнил ещё одну мысленную таблицу эфемерид, отчего вообще перестал журчать.

Королева была в тягости. До сих пор ей не удалось доносить ни одного ребёнка. Беременность явилась большей неожиданностью, чем обычно у других женщин. Может быть, о ней не торопились объявлять, боясь, что всё закончится очередным выкидышем. Однако, судя по виду, сейчас королева была на большом сроке, и весь Уайтхолл обсуждал размеры её живота. Предполагали, что она разрешится в конце мая — начале июня, тогда же, когда приедет Элиза.

Элиза рассчитывала с помощью Даниеля попасть в Уайтхолл, чтобы как можно раньше узнать, родится ли у Якова II законный наследник, и соответственно распределить инвестиции. Даниелю это должно было быть так же ясно, как то, что у него большой камень в мочевом пузыре, тем не менее загадочным образом он сумел закончить своё дело и вернуться в кофейню, не осознав ни того, ни другого.

Единственным, кто, казалось, всё понимает, был Роберт Гук, сидевший в той же кофейне.

Он *беседовал,* как обычно, с сэром Кристофером Реном, однако в открытое окно *наблюдал* за Даниелем. У него было лицо человека, настроенного без обиняков поговорить о неприятных вещах, и Даниель сумел ловко уклониться от разговора.

Версаль

июль 1688

Д'Аво
Мсье!

Как Вы и просили, я перешла на новый шифр. Никогда не поверю, что голландцы взломали старый и читали все Ваши письма! Однако, как всегда, я — сама осторожность и буду выполнять всё, что Вы мне предписываете.

Спасибо Вам за любезные, хоть и несколько ироничные поздравления по случаю вступления в наследственный титул. (Поскольку мы теперь ровня, несмотря на Ваши возможные сомнения в законности моего титула, надеюсь, Вы не обидитесь, что теперь я обращаюсь к Вам не монсеньор, а мсье.) До последнего письма Вы молчали несколько месяцев. Сперва я предположила, что Вильгельм Оранский из вульгарной мести за так называемую «попытку похищения» заключил Вас под домашний арест и лишил возможности отсылать письма. Потом я забеспокоилась, что Вы охладели к Вашей покорной и преданной слуге. Теперь я вижу, что это были глупые фантазии

— пустое беспокойство, свойственное нашему полу. Мы с вами близки, как и всегда. Посему постараюсь написать Вам хорошее письмо, дабы побудить Вас ответить тем же.

Прежде всего о деле. Я ещё не подвела итоги второго квартала 1688 года, так что пока, пожалуйста, не сообщайте этого другим инвесторам, но думаю, мы добились бóльших успехов, чем кто-либо догадывается. Да, акции Голландской Ост-Индской компании падали, но рынок был слишком неустойчив для успешной игры на понижение. Однако кое-что — в Лондоне, как ни странно, — спасло наши инвестиции. Во-первых, это движение товаров, в особенности — серебра. Английская монета с каждым днём становится всё менее полновесной, фальшивомонетчики — бич Британских островов, но, дабы не утомлять Вас подробностями, скажу лишь, что обесценивание денег подхлёстывает движение золота и серебра за рубеж и обратно, на чём можно получить неплохой профит, если правильно сделать ставки.

Вы, возможно, удивитесь, откуда я, живя в Версале, узнаю, как правильно делать ставки. Позвольте Вас успокоить и сообщить, что с нашей последней встречи я дважды посетила Лондон

— первый раз в феврале и второй в мае, тогда же, когда у Якова II родился сын. Второй визит я обязана была нанести, поскольку все знали, что английская королева беременна и будущее Европы и Британии зависит от того, родит ли она наследника. Амстердамский рынок должен был бурно отреагировать на вести из Англии, поэтому я поспешила туда. Я пленила англичанина, близкого к королю — настолько близкого, что он сумел провести меня в Уайтхолл в самое время родов. Поскольку это деловой отчёт, не стану распространяться подробнее, но появление на свет младенца сопровождали некоторые странные обстоятельства, которыми я позабавлю Вас позже.

Англичанин этот — довольно заметная фигура в Королевском обществе. У него есть старший брат, который делает деньги столькими способами, что всех и не перечислить. Старые семейные узы связывают их со златокузнечными лавками на Треднидл и Корнхилл, а более новые — с банком, учреждённым сэром Ричардом Апторпом после того, как Карл II разорил почти всех ювелиров. На случай, если Вы незнакомы с концепцией банка, это нечто вроде златокузнечной лавки, только уже без всякого отношения к ювелирному делу — чисто финансовое учреждение, опериру-

ющее металлами и ценными бумагами. Как ни трудно поверить, такая деятельность приносит солидный доход, по крайней мере в Лондоне, и Апторп занимается ею вполне успешно. Через него-то я и узнала о вышеупомянутых тенденциях в изменении курсов золота и серебра, так что смогла правильно распределить ставки.

У англичан, по их дикости, нет ничего похожего на Версаль; в Лондоне перемешаны знать, приверженцы разных религий, коммерсанты и вагабонды. Вы бывали в Амстердаме и можете представить себе Лондон, только тут всё куда менее упорядоченно. Встречи происходят в кофейнях. Вокруг Биржи полно заведений, где подают кофе или шоколад, и в каждом свой круг посетителей. Акционеры Ост-Индской компании собираются в определённой кофейне и так далее. Английская заморская торговля сейчас на подъёме, поэтому большое значение приобрело страховое дело. Те, кому нужна страховка, отправляются в кофейню Ллойда, которую почему-то облюбовали страховщики. Это удобно и покупателю, и продавцу: покупатель может сравнить условия, просто переходя от столика к столику, а продавцы — объединиться и распределить риск. Надеюсь, что не утомила Вас до смерти, мсье,

но дело это невероятно увлекательное; Вы сами получили на нём неплохой доход и можете на часть вырученных денег приобрести авантюрный роман, дабы прогнать скуку, которую я на Вас нагнала. Весь Версаль расхваливает книгу «Эммердёр в Берберии»; надёжные люди утверждают, что видели экземпляр в королевской опочивальне.

Довольно о деле; перейдём к сплетням.

Теперь, когда я — графиня, Мадам соблаговолила меня заметить. Долгое время она считала меня выскочкой, и я ждала, что она последняя при дворе согласится принять мой титул. Однако она изумила меня любезным и почти ласковым отношением, а третьего дня, в саду, даже удостоила короткой беседы. Её прежнюю холодность я объясняю двумя причинами. Во-первых, подобно другим членам иноземных королевских семейств, Палатина (как здесь порой называют Лизелотту по французскому произношению слова «Пфальц») не вполне уверена в своем положении, потому склонна возвышать себя, принижая тех, чья родовитость ещё сомнительнее. Это неприятно, но очень по-человечески! Во-вторых, её главная соперница — де Ментенон, которая из грязи стала неофициальной королевой Франции.

Всякая честолюбивая молодая особа при дворе напоминает Лизелотте её врагиню.

Многие аристократы презирают меня за то, что я ворочаю деньгами. Лизелотта не такая. Напротив, полагаю, потому-то она до меня и снизошла.

Проведя два года в семье герцогини д'Уайонна, в окружении молодых женщин того самого типа, который так презирает Мадам, я могу понять, отчего она их сторонится. У этих девиц совсем немного за душой: имя, тело и (при некотором природном везении) ум. Имени и прилагающейся к нему родословной довольно, чтобы попасть в Версаль. Это подобно приглашению на бал. Однако у большинства семей долгов больше, чем средств. Очутившись в Версале, девица должна за несколько лет устроить свою жизнь. Она — словно срезанная роза в вазе. Каждый день на заре она выглядывает в окно и видит, как садовник вывозит телегу её увядших товарок за город, где их пустят на перегной, и ясно осознает своё будущее. Через несколько лет её затмят те, что помоложе. Братья получат наследство, пусть и обременённое долгами. Если она удачно выйдет замуж, как София, то, возможно, её ждёт будущее; если нет, её отправят в монастырь, как двух сестёр Софии, при всём их уме и красоте. Когда

такая решимость во что бы то ни стало добиться своего соединяется с безоглядным эгоизмом юности, жестокость входит в привычку.

Немудрено, что Мадам чурается особ подобного рода. До последнего времени она относила к ним и меня, ибо не видела никаких отличий. Позже, как я уже писала, ей стало известно, что я занимаюсь вложением денежных средств. Это сразу меня выделило — показало ей, что я имею за душой что-то помимо придворных интриг и потому не так опасна, как остальные. Она держится со мной словно я вышла за красавчика-герцога и устроила свою жизнь. Я уже не срезанная роза, а розовый куст, пустивший корни в благодатную почву.

А может быть, я делаю слишком смелые выводы из короткого разговора!

Она спросила меня, хороша ли охота на Йглме. Зная её увлечение этим искусством, я ответила, что никакая, если не считать охотой метание камней в крыс… А какова охота в Версале? Разумеется, я имела в виду здешние охотничьи угодья, но Лизелотта отвечала:

— Во дворце или за его пределами?

— Я видела, как охотятся в стенах дворца, — проговорила я, — но лишь при помощи силков и

яда на манер *низкого* люда.

— Йглмцы больше привыкли к жизни *вне* стен?

— Хотя бы потому, что ветер постоянно сносит наши жилища, Мадам.

— Вы умеете ездить верхом, мадемуазель?

— В некотором роде, ибо научилась ездить без седла, — отвечала я.

— Там, откуда вы родом, нет сёдел?

— Были, пока мы с вечера вешали их на деревья, дабы уберечь от прожорливых грызунов. Однако англичане вырубили все деревья, и теперь мы ездим на неосёдланных лошадях.

— Хотела бы я посмотреть, — сказала она, — но вряд ли это прилично.

— Мы гости короля и должны следовать правилам приличий, которые он установил, — отвечала я.

— Если вы покажете *здесь*, что хорошо ездите в седле, я приглашу вас в Сен-Клу — моё именье, где вы сможете подчиняться *моим* правилам.

— Не будет ли Мсье возражать?

— Мой супруг возражает против всего, что я делаю, — сказала она, — и посему его возражения не имеют никакого веса.

В следующем письме опишу, сумела ли по-

казать себя достойной наездницей и получить приглашение в Сен-Клу.

Тогда же пришлю и квартальный отчёт!

Элиза де ля Зёр

Лондонский Тауэр

Поэтому обычно люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путём подкупа государственного правосудия или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения.

Гоббс, «Левиафан»

зима и осень 1688

Англия — страна, где чтят традиции: его поместили в ту же камеру, в которой двадцать лет назад сидел Ольденбург.

Однако кое-что изменилось: Яков II, в отличие от старшего брата, был злобен и подозрителен, поэтому Даниеля стерегли строже, чем Ольденбурга, и редко выпускали прогуляться по стенам. Почти всё время он проводил в круглой комнате, среди загадочных значков, нацарапанных алхимиками и колдунами древности, и скорбных латинских сетований, оставленных папистами при Елизавете.

Двадцать лет назад они с Ольденбургом шу-

тили, что надо бы написать изречение на универсальном алфавите Джона Уилкинса. Эхо разговора с Ольденбургом словно висело в комнате, как будто стены — зеркало телескопа, вечно возвращающее информацию в его центр. Теперь идея универсального алфавита казалась Даниелю наивной. Первые две недели заточения он даже не думал о том, чтобы царапать на стенах. Он полагал, что занятие это долгое, и не надеялся столько прожить. Джеффрис бросил его в Тауэр, чтобы убить, а когда Джеффрис намечает жертву, он действует неотвратимо, как крестьянка, ощипывающая курицу. Однако никакого судебного разбирательства не происходило — следовательно, убийство предполагалось не юридическое (то есть упорядоченное и более или менее предсказуемое), а иного рода.

В Тауэре было на удивление тихо. Монетный двор не работал, посетители к Даниелю не приходили, и хорошо: убийцы нечасто дают жертве такую возможность навести порядок в своей душе. Пуритане в отличие от католиков перед смертью не исповедуются и не принимают каких-то особых таинств; тем не менее Даниель считал, что не помешает немного прибраться в пыльных уголках души, прежде чем придут люди

с кинжалами.

Итак, он тщательно исследовал свою душу и ничего в ней не нашёл. Она была пустой и голой, как разорённая церковь. Он не обзавёлся ни женой, ни детьми. Он вожделел к Элизе, графине де ля Зёр, однако в этом круглом запертом помещении внезапно осознал, что она не питает к нему ответной страсти, ни даже особого расположения. Он не сделал в науке ничего выдающегося, потому что родился в одно время с Гуком, Ньютоном, Лейбницем и вынужден был довольствоваться ролью писаря, резонатора, мальчика на посылках. Апокалипсис, к которому его готовили, не состоялся, и он направил все силы на приближение мирского Апокалипсиса, который назвал революцией. Сейчас в подобного рода перемены верилось с трудом. Можно было бы нацарапать что-нибудь на тюремной стене — хоть какой-то след в жизни, да времени не оставалось.

В конечном счёте, его эпитафией будет «ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ, 1646–1688, СЫН ДРЕЙКА». Обычный человек впал бы в уныние, но душе пуританина и рассудку натурфилософа импонировала самая скудость этих слов. Положим, он родил бы дюжину детей, написал сотню книг, освободил от турок множество городов и весей,

любовался бы памятниками самому себе, а *потом* угодил в Тауэр, где ему перережут горло. Что изменилось бы? Или всё это означало бы лишь лживую спесь, пустой блеск, мнимое утешение?

Душа каким-то образом создаётся и попадает в тело, которое некоторое время живёт. Всё остальное — вера и домыслы. Может быть, после смерти ничего нет. Но если есть, Даниель не верил, что это как-то связано с мирскими достижениями тела — рождением детей, накоплением золота — иначе как через те следы, какие остаются в сознании.

Он убеждал себя, что скудная событиями жизнь ничуть не повредила его душе. Скажем, рождение детей могло бы его изменить, но лишь через переживания, которые ускорили бы некое преображение духа. Всякий рост или перемена в душе должны быть внутренними, как метаморфозы в коконе, в яйце, в семени. Внешние причины могут подтолкнуть их или замедлить, но не являются строго необходимыми. Иначе всё *бессмысленно*. Ибо всякая душа, как бы ни была она связана с миром, подобна Даниелю Уотерхаузу в одиночестве круглой камеры посреди каменного мешка, куда внешние впечатления попадают через редкие узкие амбразуры.

Во всяком случае, так он себе говорил; вскоре ему предстояло либо умереть и убедиться в своей правоте или неправоте, либо остаться в живых и гадать дальше.

На двенадцатый день заточения (17 августа 1688 года, если Даниель не сбился со счёта) перцепции, поступающие через амбразуры, сообщили о разительных переменах. Солдаты, которых он видел во дворе, исчезли, их сменили новые, в других мундирах. По виду — Собственный его величества Блекторрентский гвардейский полк, что не могло соответствовать реальности, ибо полк этот размещался в Уайтхолле, и Даниель не понимал, с какой стати его бы перевели в Тауэр.

Незнакомые солдаты пришли вынести ночную посудину и принесли еду — много лучше той, к которой он успел привыкнуть. Даниель задал несколько вопросов. С дорсетширским акцентом солдаты объяснили, что и впрямь принадлежат к Блекторрентскому полку, а еда, которую они принесли, некоторое время лежала в привратницкой. Её присылали друзья Даниеля, а прежние тюремщики — пехотинцы самого низкого разбора — не давали себе труда передать.

Следом Даниель перешёл к вопросам, на которые солдаты отвечать не стали даже после

того, как он угостил их устрицами. Он продолжал настаивать, и солдаты пообещали передать вопросы сержанту, который (предупредили они) сейчас страшно занят: принимает под своё начало заключённых и оборонительные сооружения Тауэра.

Сержант зашёл только через два дня. Эти двое суток дались Даниелю нелегко. Стоило убедить себя, что душа — бестелесное сознание в каменной башне, как ему принесли устриц. Самых лучших — от Роджера Комстока. Они доставляли радость телу, а душа отзывалась на них сильнее, чем приличествует бестелесному сознанию. Либо его теория ошибочна, либо мирские соблазны сильнее, чем он помнил. Когда Тесс умирала от оспы, гнойники слились, и вся кожа сошла, а внутренности через задний проход кровавым месивом выпали на постель. После этого она ещё как-то прожила десять с половиной часов. Памятуя телесные удовольствия, вкушённые с нею за десять лет, Даниель истолковал это в духе Дрейка: как притчу о бренности земных наслаждений. Лучше смотреть на мир глазами Тесс в эти десять с половиной часов, чем глазами Даниеля, когда он с ней тешился. Однако устрицы были отменные, их вкус — сильный и слегка опасный,

консистенция — отчётливо эротическая.

Даниель угостил устрицами сержанта. Тот согласился, что они отменные, но в остальном всё больше молчал: на некоторые вопросы Даниеля только отводил глаза, от других — вздрагивал. Наконец он обещал передать вопрос *своему* сержанту, и у Даниеля возникло кошмарное видение бесконечной череды сержантов, всё более главных и недоступных.

Роберт Гук пришёл со жбанчиком эля. Даниель набросился на жбанчик, примерно как убийцы должны были наброситься на него.

— Я боялся, что вы презрите мой дар и выльете его в Темзу, — с досадой произнёс Гук, — но вижу, что уединение Тауэра превратило вас в истинного сатира.

— Я развиваю новую теорию взаимодействия перцепций с душой, так что это *исследование.* — Даниель опрокинул стакан, вытер пену с усов (он не брился несколько недель) и попытался сделать вдумчивое лицо. — Ожидание смерти — мощный стимул для философических умопостроений, которые будут утрачены для человечества в миг исполнения приговора. По счастью, я до сих пор жив…

— И можете изложить их мне, — кисло заклю-

чил Гук. Потом, с неуклюжим тактом: — У меня слабая память — лучше запишите.

— Мне не дают бумаги и перьев.

— Спрашивали ли вы в последнее время? До сего дня сюда не впускали ни меня, ни кого другого. Теперь здесь новый полк, новые порядки.

— Вместо бумаги я царапаю на стене. — Даниель махнул рукой в сторону начатого геометрического построения.

Серые глаза Гука скользнули по нему безразлично.

— Я увидел чертёж, как вошёл, — признал он, — и решил, будто это что-то *древнее*, сглаженное *временем.* Мне никогда не пришло бы в голову, что это нечто *новое*, в процессе *развития*.

Даниель опешил ровно настолько, чтобы пульс участился, кровь прихлынула к лицу, а горло перехватило.

— Трудно не счесть ваши слова *упрёком.* Я всего лишь проверял, смогу ли на память воспроизвести одно из доказательств Ньютона.

Гук отвёл взгляд. Солнце только-только зашло. Западные амбразуры отражались в его зрачках двумя парами алых параллельных щелей.

— Идеальная оборонительная тактика, — признал он. — Если бы в юности я больше изучал

хитрости геометров и меньше вглядывался, учась видеть, возможно, я написал бы «Начала» вместо него.

Это были омерзительные слова. Зависть клубилась на заседаниях Королевского общества, как табачный дым, но мало кто отваживался высказывать её столь беспардонно. Впрочем, Гука никогда не заботило, что о нём думают.

Даниелю потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Выдержав церемониальную паузу, он произнес:

— Лейбниц сказал о перцепциях много такого, чего я до последнего времени не понимал. Вы можете как угодно относиться к Лейбницу. Однако рассудите: Ньютон думает то, что никто до него не думал. Великое достижение, не поспоришь. Может быть, величайшее за всю историю человеческого разума. Отлично. Что это говорит о Ньютоне и о нас всех? Что мозг его устроен по-особому и даст фору любому. Итак, честь и хвала Исааку Ньютону! Восславим его и неведомую силу, породившую этот мозг. Теперь рассмотрим Гука. Гук видит то, чего никто до него не видел. Что это говорит о Гуке и обо всех нас? Что Гук как-то иначе устроен? О нет, Роберт, посмотрите на себя — не обессудьте, но вы сутулый, астма-

тичный, дёрганый, снедаемый недугами, ваши зрение и слух не лучше, чем у людей, не видящих и тысячной доли того, что открыто вам. Ньютон совершает открытия в геометрических эмпиреях, куда нашему разуму не дано воспарить; он гуляет по саду чудес, к которому ни у кого больше нет ключа. Но вы, Гук, стоите на одной земле с обычными лондонцами. Всякий может взглянуть туда, куда смотрите вы. Но то, что видите вы, не видит никто. Вы — мильонный человек, глядящий на искру, блоху, каплю, Луну, и первый, их увидевший. Сказать, что вы ниже Ньютона, значит расписаться в собственной неглубокости, всё равно что сходить на шекспировскую пьесу и запомнить лишь поединки.

Гук некоторое время молчал. В комнате темнело, и он обратился в серого призрака, только алые искорки по-прежнему горели в глазах. Потом он вздохнул; искорки на мгновение исчезли.

— Я непременно раздобуду вам бумагу и перья, если вы об *этом* собирались писать, сэр, — сказал он наконец.

— Убеждён, что по прошествии времени взгляд, высказанный мною сейчас, утвердится среди учёных, — сказал Даниель. — Это может не поднять ваш статус в оставшиеся годы, ибо слава

— былинка, репутация — медленно растущий дуб. При жизни мы можем лишь скакать, как белки, и собирать жёлуди. Мне нет причин скрывать свои мысли, однако предупреждаю, что могу высказывать их сколько угодно и не прибавить вам славы или богатства.

— Станет и того, что вы поведали их *мне,* в мрачном уединении этой комнаты, — отвечал Гук. — Отныне я ваш должник и обещаю вернуть долг, подарив вам некое сокровище, когда вы меньше всего будете ждать. Многоценную жемчужину.

Вид старшего сержанта заставил Даниеля почувствовать себя стариком. По тому, как о нём отзывались подчинённые, он ожидал увидеть седобородого старца, утратившего в сражениях руки-ноги. Однако, несмотря на шрамы и задубевшую кожу, было видно, что сержанту не больше тридцати. Он вошёл в комнату без стука, не представившись, и принялся осматривать её по-хозяйски, особо примечая, какой участок простреливается из каждой бойницы. Переходя от одной к другой, он как будто представлял себе груды мёртвых врагов на земле внизу.

— Собираетесь вести войну, сержант? — спросил Даниель.

Он что-то писал пером на бумаге и лишь изредка косил на вошедшего глазом.

— Собираетесь её затеять? — отозвался сержант минуту спустя, как будто никуда не торопится.

— Почему вы задаёте мне такой странный вопрос?

— Пытаюсь сообразить, как пуританин сумел угодить в Тауэр *сейчас,* когда единственные друзья короля — пуритане.

— Вы забыли католиков.

— Нет, сэр, это король их забыл. Многое изменилось за то время, что вы тут сидите. *Сперва* он бросил в тюрьму англиканских епископов за отказ проповедовать терпимость к католикам и диссидентам.

— Знаю; тогда я ещё был на свободе, — сказал Даниель.

— Вся страна возмутилась, католические церкви запылали как свечки, и король от них отвернулся, пока всё не уляжется.

— Это совсем не то же, что забыть католиков, сержант.

— Да, но с тех пор — покуда вы были в темнице, сэр, — дела у короля стали ещё хуже.

— Покуда я не узнал ничего нового, кроме того, что в королевской армии есть сержант, знающий

слово «темница».

— Понимаете, никто не верит, что сын и вправду его.

— О чём вы, скажите на милость?

— Сделалось известно, что королева не была в тягости, просто носила под платьем подушку, а так называемый принц — на самом деле младенец, которого похитили из сиротского приюта и пронесли во дворец в грелке.

Даниель слушал в полном ошеломлении.

— Я своими глазами видел, как младенец выходил из королевиных недр, — сказал он.

— Что ж, профессор, берегите это знание, возможно, оно спасёт вам жизнь. Вся Англия убеждена, что младенец — безродный найдёныш. А король отступает по всем фронтам. Англикане его больше не страшатся, паписты на всех углах кричат, что он отрёкся от истинной веры.

Даниель задумался.

— Король хотел, чтобы Кембридж присвоил степень бенедиктинскому монаху, отцу Фрэнсису, которого весь университет считает засланцем папы римского, — сказал он. — Есть какие-нибудь новости о нём?

— Король пытался натолкать иезуитов и им подобных *повсюду*, — сказал сержант, — но

за последние две недели почти всех отозвал. Кембридж наверняка выстоит, ибо власть стремительно ускользает от короля.

Даниель молчал. Некоторое время спустя сержант заговорил снова, более тихим, дружеским голосом:

— Я человек неучёный, но видел много пьес, из которых и нахватался словечек вроде «темница». Часто — особенно если пьеса идёт недавно — случается, что актёр забывает реплику, и слышно, как лютнист или оруженосец ему подсказывает. Я тоже подскажу вам следующую реплику, что-нибудь вроде «Клянусь честью, это горькая весть; мой король, истинный друг нонконформистов, в опасности, что будет со всеми нами и чем я могу помочь его величеству?».

Даниель вновь промолчал. Сержант пришёл в некоторое возбуждение и принялся расхаживать по комнате, как будто Даниель — такое существо, которое лучше изучить с разных углов.

— С другой стороны, может быть, вы не такой уж рядовой нонконформист, коли вы в Тауэре, сэр.

— Как и вы, сержант.

— У меня есть ключ.

— Ха! А разрешение выйти?

Сержант на время приутих.

— Наш командир — Джон Черчилль, — сказал он наконец, пробуя зайти с другой стороны. — Король уже не вполне ему доверяет.

— Я всё гадал, когда же король усомнится в верности Джона Черчилля.

— Он хочет держать нас поблизости, потому что мы — лучшие его солдаты, но не так близко, как Королевскую конную гвардию, в самом Уайтхолле, на выстрел от его покоев.

— И потому вас поместили на хранение в Тауэр.

— Вам письмо.

Сержант выложил на стол конверт. На нём значилось: «ЛОНДОН, ГРУБЕНДОЛЮ».

Письмо было от Лейбница.

— Это ведь вам? Не отпирайтесь, вижу по вашему лицу, — продолжал сержант. — Мы всю голову сломали, кому его отдать.

— Оно адресовано тому в Королевском обществе, кто сейчас занимается иностранной корреспонденцией, — возмущённо проговорил Даниель, — и в данный момент эта обязанность возложена на меня.

— Так это вы? Тот человек, который доставил некие письма Вильгельму Оранскому?

— Не имею никакого резона отвечать на ваш вопрос, — сказал Даниель после того, как слегка оправился от потрясения.

— Тогда ответьте вот на какой: есть ли среди ваших друзей некие Боб Кастет и Дик Шибб?

— Впервые слышу.

— Странно, потому что мы наткнулись на письменные указания тюремщику не впускать к вам никого, кроме Боба Кастета и Дика Шибба, которые могут явиться в любой час дня и ночи.

— Я их не знаю, — повторил Даниель, — и прошу ни при каких обстоятельствах не впускать в мою комнату.

— Вы многого просите, профессор, ибо указания написаны собственноручно милордом Джеффрисом и под ними стоит его подпись.

— В таком случае вы не хуже меня должны знать, что Боб Кастет и Дик Шибб — просто убийцы.

— Я знаю, что милорд Джеффрис — лорд-канцлер и ослушаться его — бунт.

— Тогда я прошу вас взбунтоваться.

— После вас, — отвечал сержант.

Ганновер, август 1688

Даниель!

Не знаю, где Вы сейчас, поэтому шлю это пись-

мо доброму старому Грубендолю и надеюсь, что оно застанет Вас в добром здравии.

Вскоре я отбываю в длительное путешествие по Италии, где надеюсь собрать доказательства, что смахнут последнюю паутину сомнений с родословного древа Софии. Возможно, Вы полагаете, что глупо отдавать столько сил генеалогии, но наберитесь терпения, и в своё время увидите, что для этого есть основания. Я проеду через Вену; там, коли Бог даст, попаду на аудиенцию к императору и расскажу ему о замысле Универсальной библиотеки. (Планы по добыче серебра в Гарце провалились — не потому, что мои изобретения были плохи, но потому что рудокопы из страха остаться без работы всячески мне противодействовали; посему если библиотека будет основана, то не на прибыль от серебряных рудников, а на средства из казны какого-нибудь могущественного князя.)

Путь мне предстоит опасный, поэтому хочу до отъезда из Ганновера кое-что записать и отправить Вам. Это свежие идеи — незрелые яблоки, способные вызвать резь в животе. По дороге у меня будет много времени, чтобы облечь их в слова более благочестивые (дабы умиротворить иезуитов), витиеватые (дабы произвести впечатление

на схоластов) либо простые (дабы потрафить салонам), но Вы, надеюсь, простите их грубость и прямоту. Если по дороге со мною приключится какое-нибудь несчастье, надеюсь, Вы или другой член Королевского общества сумеете подобрать оброненную мной нить.

Оглядываясь вокруг, мы легко можем увидеть множество Истин, например, что небо — синее, Луна — круглая, люди ходят на двух ногах, а собаки — на четырёх и так далее. Некоторые из этих истин просты и геометричны по природе, и не существует мыслимого способа их обойти, например, что прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. До Декарта считалось, что истины такого рода малочисленны и что все они найдены Евклидом и другими мужами древности. Однако после Декарта у нас вошло в привычку рассматривать предметы в пространстве, которое можно описать числами. Теперь мы проводим две перпендикулярные прямые, которые называем декартовыми числовыми осями, и привычка эта столь заразительна, что в редкой аудитории не увидишь, как преподаватель рисует на доске большой +. Так или иначе, когда мы завели обыкновение описывать размеры, положение и скорость всего на свете посредством

чисел, кривых, прямых и прочих построений, знакомых учёным мужам со времён Евклида, стало своего рода модным поветрием объяснять всё во Вселенной при помощи геометрии. Я помню, как сам увлёкся этой системой взглядов. Мне было четырнадцать, я гулял по Розенталю под Лейпцигом, якобы вдыхая ароматы цветов, а на самом деле ведя внутренний спор между схоластикой и механистической философией Декарта. Как Вы знаете, я выбрал вторую! И с тех самых пор не перестаю изучать математику.

Сам Декарт исследовал движение и соударение шаров, как они набирают скорость, скатываясь по наклонной плоскости и прочая, и пытался объяснить наблюдения в терминах теории, по природе своей чисто геометрической. Результат его труда — сугубо французский, то есть никак не соотносится с реальностью, зато красив и логически связен. С тех пор Ваши друзья Гюйгенс и Рен приложили немало усилий в том же направлении. Однако едва ли есть надобность говорить Вам, что Ньютон превыше всех расширил область истин, геометрических по своей природе. Воистину, когда бы Евклид и Эратосфен восстали из мёртвых, они бы простёрлись ниц и, будучи язычниками, поклонялись ему как богу. Ибо

их геометрия описывала лишь самые простые абстрактные фигуры, Ньютонова же полагает законы, управляющие самими планетами.

Я прочёл экземпляр «Математических начал», который Вы мне столь любезно прислали, и не льщусь отыскать ошибки в доказательствах либо развить этот труд в области, автором не покорённые. Труд сей подобен куполу, который не устоял бы, не будучи целостным, а будучи целостным, стоит, и нет надобности чего-либо к нему прибавлять.

Однако самая его полнота наводит на мысль о необходимости дальнейшей работы. Я верю, что величественное здание «Математических начал» включает почти все геометрические истины об этом мире, какие только можно записать. Однако всякий купол, сколь б ни был он велик, имеет нечто внутри и нечто вовне; Ньютонов заключает в себе все геометрические истины, но исключает прочие, имеющие основание в целесообразности и конечных причинах. Когда Ньютон встречает такую истину — например, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, — он не тщится её понять, но объявляет, что мир таков, ибо таким его сотворил Бог. Для Ньютона все истины подобного рода

вне сферы натурфилософии и лежат в области, к которой он почитает за лучшее приближаться с помощью алхимии.

Позвольте мне объяснить, почему Ньютон неправ.

Я пытался извлечь хоть что-нибудь ценное из геометрической теории соударений Декарта и не нашёл в ней ни капли истины.

Декарт утверждает, что два соударяющихся тела имеют до удара и после одно и то же количество движения. Откуда он это взял? Из эмпирических наблюдений? Нет, очевидно, он их не делал, а если и делал, то видел лишь то, что хотел. Он верил в это, потому что заранее решил, что его теория должна быть геометрической, а геометрия — строгая дисциплина; геометру позволено измерять и вносить в уравнения лишь некоторые определённые величины. Первейшая из них «протяжённость» — витиеватое слово, означающее «то, что можно измерить линейкой». Декарт и большинство других включают сюда и время, ибо его можно измерить с помощью маятника, а маятник — с помощью линейки. Пройденный телом путь (который можно измерить линейкой), делённый на время прохождения (которое можно измерить маятником, который, в свою

очередь, можно измерить линейкой) даёт скорость. Скорость входит в декартовы вычисления количества движения: чем больше скорость, тем больше движение.

Пока всё прекрасно, а вот далее он допускает ошибку, рассматривая количество движения как скаляр, лишённое направления число, в то время как на самом деле оно — вектор. Но это ещё наименьший промах. В системе двух ортогональных осей достанет места для векторов, мы просто изображаем их стрелками на том, что я называю декартовой координатной плоскостью, и — хлоп! — получаем геометрические элементы, послушные геометрическим правилам. Мы можем складывать их геометрически, вычислять их модуль по теореме Пифагора и так далее.

Однако такой подход чреват двумя затруднениями. Первое — относительность. Нет неподвижной системы отсчёта для измерения протяжённостей. Геометр в лодке, влекомой речным течением, измерив скорость летящей птицы, получит иное число, нежели его собрат, стоящий на берегу; а геометр, оседлавший сказанную птицу, не намеряет никакой скорости!

Второе: декартово количество движения, масса, помноженная на скорость (mv), не сохраняется

при падении тел. Тем не менее, проделав или хотя бы вообразив простейший эксперимент, легко показать, что масса, помноженная на *квадрат* скорости (mv^2), сохраняется.

Величина mv^2 обладает некоторыми интересными свойствами. Например, она определяет работу, которую движущееся тело способно произвести. Работа есть нечто, имеющее абсолютное значение, оно свободно от вышеупомянутой проблемы относительности, с которой неизбежно сталкивается всякая теория, основанная на использовании линейки. В формуле mv^2 скорость возведена в квадрат и, следовательно, утрачивает направление — она уже не имеет геометрического смысла. В то время как mv можно нанести на декартову плоскость и подвергнуть любым евклидовым ухищрениям, mv^2 нельзя, ибо при возведении в квадрат скорость v утратила направленность и, если позволите, приобрела метафизичность, вышла из геометрической плоскости в новую область, в область Алгебры. Величина mv^2 тщательно сохраняется Природой, и самое её сохранение может считаться одним из законов Вселенной; однако он вне Геометрии, следовательно вне купола, выстроенного Ньютоном. Это иной случай, негеометрическая

истина, одна из множества, что открыла либо откроет натурфилософия. Должны ли мы, подобно Ньютону, сказать, что все такие истины созданы Богом по произволу? Должны ли мы искать их в оккультном? Ибо если Господь установил законы произвольно, то они оккультны по природе.

Для меня такой взгляд оскорбителен; он отводит Богу роль капризного деспота, желающего сокрыть от нас истину. В одних вещах, вроде теоремы Пифагора, Бог, создавая мир, возможно, не имел иного выбора. В других, как в случае обратно квадратичного закона гравитации, Он, возможно, имел выбор; но я склонен верить, что в таких случаях Он действовал мудро и в согласии с неким планом, который наш ум — будучи образом и подобием Его — способен постичь.

В отличие от алхимиков, которые всюду зрят ангелов, демонов, чудеса и божественные сущности, я не различаю в мире ничего, кроме тел и разумов. А в телах не различаю ничего, кроме неких наблюдаемых качеств, как то: протяжённость, форма, положение и перемена названных. Всё остальное просто говорится, но не понимается; пустой звук. Ничто в мире нельзя ясно постичь, не сведя к перечисленным понятиям. Если физическое невозможно объяснить механи-

чески, то Господь, даже пожелав, бессилен явить и растолковать нам природу.

Сдаётся, я проведу остаток жизни, объясняя эти идеи тем, кто пожелает слушать, и защищаясь от тех, кто не пожелает, и потому всё, исходящее от меня, будет рассматриваться в этом свете. Если Королевское общество вознамерится сжечь моё чучело, объясните им, Даниель, что я желаю расширить Ньютонов труд, не ниспровергнуть.

Лейбниц

P.S. Я знаю эту Элизу (ныне де ля Зёр), которую Вы упомянули в последнем письме. Она чрезвычайно увлечена натурфилософией. Необычная черта в женщине, но нам ли сетовать?

— Доктор Уотерхауз.

— Сержант Шафто.

— К вам пришли посетители: мистер Дик Шибб и мистер Боб Кастет.

Даниель сел на постели; никогда он не просыпался так быстро.

— Умоляю вас, сержант Шафто… — начал он и осёкся, подумав, что, если сержант Шафто уже принял решение, дело, почитай, сделано, и он только зря унижается.

Он встал и зашаркал к лицу сержанта Шафто и

свече, висящим в тёмной камере, словно нерезкая двойная звезда: лицо — размытое красноватое пятно, свеча — горящая белая точка. Кровь отхлынула от головы, и Даниель ступал как пьяный, однако не колебался. Он будет блеющим голосом из темноты, покуда не вступит в шар света от дрожащей свечи, и если Боб Шафто думает, впускать ли сюда убийц, пусть прежде посмотрит ему в глаза. Яркость света, как и сила тяготения, подчиняется закону обратных квадратов.

Лицо Шафто наконец сфокусировалось. Казалось, его слегка мутит.

— Я не такой бессердечный скот, чтобы позволить наёмным убийцам зарезать беззащитного профессора. Лишь одному человеку в мире я желаю подобной участи.

— Спасибо, — отвечал Уотерхауз, приближаясь так, что теперь ощущал на лице тепло пламени.

Шафто что-то заметил, повернулся боком к Даниелю и прочистил горло. То было не деликатное «гм» придворного, а честное отхаркивание вставшей в горле флегмы.

— Вы заметили, что я обмочился, да? — сказал Даниель. — Вы вините себя — думаете, будто напугали меня и я со страху пустил струю. Да, я и впрямь немного струхнул, но моча течёт по моим

ногам не из-за этого. У меня камень, сержант. Я не могу мочиться, когда пожелаю, а теку, как плохо проконопаченный бочонок.

Боб Шафто кивнул, явно радуясь, что он тут не виноват.

— И сколько вам осталось?

Вопрос был задан так небрежно, что Даниель не сразу его понял.

— Вы спрашиваете, сколько мне осталось жить?

Сержант кивнул.

— Простите, сержант Шафто, я забыл, что по роду деятельности вы близко сталкиваетесь со смертью и говорите о ней, как шкипер о ветре. Сколько мне осталось? С год, наверное.

— Его можно удалить.

— Спасибо, я наблюдал, как удаляют камень, сержант, и предпочту смерть. Бьюсь об заклад, это хуже, чем то, что вам случалось видеть на поле боя. Нет, я последую примеру своего наставника, Джона Уилкинса.

— Люди живут после такой операции, разве нет?

— Мистеру Пепису камень удалили тридцать лет назад, и он до сих пор жив.

— Он ходит? Говорит? Мочится?

— О, да, сержант Шафто.

— В таком случае, доктор Уотерхауз, эта операция *не* хуже того, что я видел на поле боя.

— Знаете, как это происходит, сержант? Надрез делают в промежности, между мошонкой и задним проходом…

— Мы можем обмениваться кровавыми байками, покуда свеча не догорит, и всё без толку; а если вы и впрямь намерены умереть от камня, вам не следует терять время.

— Здесь мне ничего другого не остаётся.

— Вот тут вы ошибаетесь, доктор Уотерхауз, ибо у меня интересное предложение. Мы с вами друг другу поможем.

— Вы хотите денег за то, чтобы не пускать сюда подосланных Джеффрисом убийц?

— Если бы хотел, то был бы жалким трусливым гадом, — сказал Боб Шафто. — И если вам угодно так обо мне думать, что ж, возможно, я впущу сюда Дика и Боба.

— Приношу извинения, сержант. Вы вправе обидеться. Мои слова продиктованы лишь тем, что я не знаю, какого рода дело…

— Видели малого, которого секли перед самым закатом? За сухим рвом, вы могли наблюдать сквозь вон ту бойницу.

Даниель отлично помнил экзекуцию. Вышли трое солдат с пиками, связали их концами и установили наподобие треноги. Вывели человека, голого по пояс, со связанными впереди руками, перебросили верёвку через треногу и натянули, так что руки его вздёрнулись над головой. Ноги развели и привязали к двум пикам, так что он не мог двинуться. Наконец вышел детина с плетью и пустил её в ход. Такая практика широко применялась среди военных и вполне объясняла, почему состоятельные люди предпочитают селиться подальше от казарм.

— Я особо не вглядывался, — сказал Даниель, — но в целом с процедурой знаком.

— Возможно, вы смотрели бы внимательнее, если бы знали, что наказуемый зовётся мистер Дик Шибб.

Даниель на время утратил дар речи.

— Они пришли к вам вчера ночью, — продолжал Боб Шафто. — Для начала я рассадил их по разным камерам. Поговорил с каждым в отдельности, и оба отвечали мне с гонором. Некоторые люди имеют право так говорить — они заслужили его тем, что сделали в жизни. Мне не показалось, что Дик Шибб и Боб Кастет — люди такого рода. Другим разрешают так говорить,

потому что они всех веселят. У меня когда-то был такой брат. Боб и Дик — не из этих. Увы, я не судья, поэтому не могу бросить их в тюрьму, заставить отвечать на вопросы и всё такое. С другой стороны, как сержант я вправе вербовать солдат на королевскую службу. Поскольку Боб и Дик — явные бездельники, я рекрутировал их в Собственный королевский Блекторрентский гвардейский полк. В следующий миг я понял, что допустил оплошность, поскольку они не умеют подчиняться дисциплине и нуждаются в строгом наказании. Есть старый, как мир, приёмчик: я велел высечь Дика (который показался мне покрепче) под окнами у Боба Кастета. Дик — кремень, он выстоял, и, возможно, я оставлю его в полку. Однако Боб отнёсся к *своей* экзекуции — которая должна пройти на рассвете, — как вы к удалению мочевого камня. Поэтому час назад он разбудил охранников, те разбудили меня, и я побеседовал с мистером Кастетом.

— Сержант, вы столь предприимчивы, что я едва поспеваю за вами мыслью.

— Он сказал, что Джеффрис лично велел ему и мистеру Шиббу перерезать вам горло, причём медленно, и, покуда вы будете умирать, объяснить, по чьему приказу они действуют.

— Чего я и ждал, — сказал Даниель, — и всё же от этих слов, произнесённых вслух, у меня кружится голова.

— Тогда я подожду, когда вы придёте в чувство. А главное — подожду, когда вы разозлитесь. Не пристало мне подсказывать мужу столь образованному, но в таких случаях положено злиться.

— Удивительное свойство Джеффриса: он поступает с людьми чудовищно, не вызывая злости. Его влияние на ум жертвы подобно действию стеклянного стержня, отклоняющего струйку воды; мы чувствуем, что наказаны по заслугам.

— Вы давно его знаете.

— Да.

— Давайте его убьём.

— Простите?

— Прикончим, порешим. Лишим жизни, чтобы он вам больше не досаждал.

Даниель был потрясён.

— Какая причудливая идея!

— Ничуть. И что-то в вашем голосе говорит мне, что вам она по душе.

— Почему вы сказали «мы»? Вам нет дела до моих забот.

— Вы занимаете высокое положение в Королевском обществе.

— Да.

— Вы знаете многих алхимиков.

— Хотел бы я, чтобы это было не так.

— Вы знакомы с милордом Апнором.

— Да, столько же, сколько с Джеффрисом.

— Апнор владеет моей милой.

— Простите… вы сказали, «владеет»?

— Да. Джеффрис продал ему её во время Кровавых ассизов.

— Таунтон… Ваша милая — из таунтонских школьниц!

— Да.

Даниель был зачарован.

— Так вы предлагаете своего рода пакт.

— Мы с вами избавим мир от Джеффриса и Апнора. Я получу свою Абигайль, а вы проживёте год или сколько уж там даст Господь в мире.

— Мне не положено мычать и телиться, сержант…

— Валяйте, профессор! Мои люди все время так делают.

— …но позвольте напомнить вам, что Джеффрис — лорд-канцлер королевства.

— Ненадолго, — отвечал Шафто.

— Откуда вы знаете?

— Он практически объявил это своими дей-

ствиями! Вас бросили в Тауэр за что?

— За сношения с Вильгельмом Оранским.

— Так это измена! Вас должны повесить, выпотрошить, четвертовать! Но вам сохранили жизнь — почему?

— Потому что я — свидетель рождения принца и как таковой могу подтвердить законность следующего короля.

— И если Джеффрис теперь решил вас убить, что это означает?

— Что он предал короля… Боже мой, всю *династию!* — и готов бежать из страны. Да, теперь я понимаю ваши резоны. Благодарю за терпение.

— Учтите, я не предлагаю вам взяться за оружие или сделать что-то иное супротив вашей природы.

— Некоторые оскорбились бы, сержант, но…

— Хотя главный источник моих несчастий — Апнор, Джеффрис — первопричина, и я, не колеблясь, взмахнул бы саблей, если бы он случайно подставил мне шею.

— Приберегите саблю для Апнора, — отвечал Даниель после некоторого раздумья.

На самом деле он давно принял решение, но сделал вид, будто размышляет, не желая оставить впечатление, что для него это пустяки.

— Так вы со мной.

— Не столько *я* с *вами,* сколько *мы* с большей частью *Англии,* и Англия — с нами. Вы говорили о том, чтобы своими руками убить Джеффриса. Я скажу, что, будь мы вынуждены полагаться на мощь ваших рук, в коей я нимало не сомневаюсь, нас ждало бы поражение. Но коль скоро, как я полагаю, Англия с нами, нам довольно будет разыскать его и сказать громко: «Это милорд Джеффрис», и смерть его воспоследует закономерно, как шар, положенный на наклонную плоскость, неотвратимо скатится вниз. Вот что я имею в виду, когда говорю о революции.

— Так французы называют мятеж?

— Нет, мятеж — то, что затеял герцог Монмутский: мелкое возмущение, аберрация, обречённая на провал. Революция подобна кружению звёзд вокруг полярной оси. Ею движут неведомые силы, она неумолима, и люди мыслящие способны понять её, предсказать и употребить к своей выгоде.

— Тогда мне лучше отыскать мыслящего человека, — задумчиво пробормотал Шафто, — а не тратить ночь на жалкого неудачника.

— Я просто до сего момента не понимал, как могу употребить революцию к своей выгоде. Я де-

лал всё для Англии, не для себя, и мне не хватало организующего принципа, чтобы придать форму моим планам. Никогда я не отваживался думать, что уничтожу Джеффриса.

— Как вор и солдат удачи, всегда рад подсказать вам низкие преступные мысли, — ответил Боб Шафто.

Даниель ушёл в полумрак к столу и вытащил из бутылки свечу. Потом быстро вернулся и зажёг её от свечи Боба.

Тот заметил:

— Я видел, как знатные люди умирали на поле боя, — реже, чем мне хотелось бы, но всё же достаточно, чтобы знать: это ничуть не похоже на картины.

— Картины?

— Ну, знаете, когда Победа спускается в солнечном луче, тряся голыми грудями, дабы возложить лавровый венок на чело умирающего, а Дева Мария соскальзывает по другому…

— Ах да. *Такие* картины. Да, я вам верю.

Даниель шёл вдоль круглой стены, держа свечу близко к камню, чтобы надписи, оставленные узниками на протяжении веков, отчётливее выступали в её свете. Он остановился перед незаконченной системой дуг и лучей, процарапанной

поверх старой наскальной живописи.

— Не думаю, что закончу чертёж, — объявил он несколько мгновений спустя.

— Сегодня мы не уйдём. У вас скорее всего будет ещё неделя, может, больше. Нет надобности бросать работу.

— Это древние воззрения, ранее имевшие смысл, но теперь они перевернулись вверх тормашками и представляются мешаниной нелепых умствований. Пусть остаются здесь с прочим старьём, — сказал Даниель.


Северное море
АНГЛИЯ
ТЕКСЕЛ
Гронинген
ОБЪЕДИНЁННЫЕ НИДЕРЛАНДЫ
Кембридж
Бремен
Ипсвич
Харлем
Схевенинген
Амстердам
Гаага
Р. Вааль
Роттердам
Ширнесс
Р. Маас
Мюнстер
Чатем
ЗЕЛАНДИЯ
Нимвеген
Дуйсбург
Р. Рейн
Дюнкерк
Брюгге
Антверпен
Гент
БЕЛЬГИЯ
Лилль
Брюссель
Маастрихт
Кёльн
Аррас
Льеж
Бонн
ГЕРМАНИЯ
АРТУА
Р. Арденны
Амьен
Бастонь
Франкфурт
ЛЮКСЕМБУРГ
Р. Мозель
Майнц
Руан
ПИКАРДИЯ
Р. Сена
Люксембург
СААР
ПФАЛЬЦ
Мангейм
Париж
Реймс
Верден
ЛОТАРИНГИЯ
Гейдельберг
Сен-Клу
Версаль
Мо
Р. Марна
Мец
Саарбрюккен
Р. Орбэ
Нанси
Хагенау
Сен-Дизье
Штутгарт
Страсбург
Тюбинген
Орлеан
Оксерр
ШАМПАНЬ
ЭЛЬЗАС
Р. Рейн
Дижон
Безансон
Базель
Цюрих
ФРАНЦИЯ
ФРАНШ-КОНТЕ
Берн
ШВЕЙЦАРИЯ
Рьом
Уашонна
Женева
САВОЙЯ
Лион
Аоста
ИТАЛИЯ
ПЬЕМОНТ
Милан
Гренобль
Баланс
Турин
МИЛАН
ДОЛИНА РЕЙНА

Замок Жювизи

ноябрь 1688

От мсье Бонавантюра Россиньоля, замок Жювизи

Его Величеству Людовику XIV, в Версаль

21 ноября 1688

Сир!

Отцу моему выпала честь служить Вашему Величеству и Вашего Величества августейшему родителю в качестве придворного криптоаналитика. В искусстве дешифровки батюшка вознамерился обучить меня всему, что знал сам. Движимый сыновней любовью и рвением подданного услужить государю, я учился со всем тщанием, какое дозволяли мои скромные способности, и, когда несколько лет назад батюшка скончался, передав мне лишь десятую долю своих познаний, я тем не менее подошёл на роль Вашего Величества криптоаналитика лучше любого другого в христианском мире, не по моим достоинствам (коими не обладаю), но по отцовским и по тому упадку, в коем пребывает криптография средь невежественных народов,

окружающих Францию, как некогда варвары окружали могучий Рим.

Вместе с малой толикой отцовских знаний я унаследовал жалование, которое Вы в своей щедрости ему положили, а равно и дворец, выстроенный ему Ленотром в Жювизи и прекрасно Вашему Величеству известный, ибо Вы не раз посещали его по пути из Фонтенбло и обратно. Многие государственные дела обсуждались в малом салоне и саду, ибо Ваш блаженной памяти родитель и кардинал Ришелье также удостаивали этот скромный кров своими визитами во дни, когда мой отец расшифровывал письма из осаждённых гугенотских крепостей, способствуя тем самым разгрому мятежных еретиков.

Никто из монархов не осознаёт важность криптографии, как Ваше Величество. Именно прозорливости Вашего Величества, а не собственным заслугам, могу я приписать те почести и богатства, которыми Вы меня осыпаете. И лишь по глубокому интересу Вашего Величества к подобного рода вещам осмеливаюсь я взяться за перо и записать повесть о криптоанализе, не лишённую неких занимательных черт.

Как известно Вашему Величеству, несравненный Версальский дворец украшают несколько

дам, ведущих обширную переписку, из которых наиболее плодовиты моя приятельница мадам де Севинье, Палатина и Элиза, графиня де ля Зёр. Есть и другие, но мы, имеющие честь служить в Чёрном кабинете Вашего Величества, тратим на корреспонденцию этих трёх столько же времени, что на письма всех прочих Версальских дам.

Рассказ мой будет главным образом о графине де ля Зёр. Она часто пишет графу д'Аво в Гаагу, пользуясь одобренным шифром, дабы уберечь свои послания от моих голландских коллег. Также она постоянно переписывается с некоторыми амстердамскими евреями; письма эти состоят из цифр и финансового жаргона, который, прочитав, невозможно расшифровать, а расшифровав — понять. Они исключительно кратки и не интересны никому, за исключением евреев, голландцев и прочих меркантильных особ. Особенно пространны её письма ганноверскому учёному Лейбницу, чьё имя Вашему Величеству известно — несколько лет назад он сделал для Кольбера счётную машину, а ныне подвизается в качестве советника при герцоге и герцогине Ганноверских, коих усилия в объединении протестантов столь досаждают Вашему Величеству. В письмах к Лейбницу графиня де ля Зёр бесконечно распи-

сывает великолепие Версаля и его обитателей. Самый объём и постоянство корреспонденции побудили меня задуматься, не шифрованный ли это канал передачи данных, но мои слабые усилия отыскать скрытую закономерность в цветистых словах графини оказались тщетны. Если я подозреваю её, то не из-за каких-то упущений в шифре (который, если он существует, исключительно хорош), но по тому малому пониманию человеческой природы, коими обладаю. Ибо, заглядывая в Версаль, я несколько раз завязывал с графиней разговоры, в коих она обнаружила острый ум и знакомство с последними работами математиков и натурфилософов, как отечественных, так и зарубежных. И, разумеется, ум и гениальность Лейбница общеизвестны. Мне трудно поверить, что такая женщина будет столько писать, а такой мужчина столько читать про причёски.

Года два назад граф д'Аво во время одного из визитов ко двору Вашего Величества разыскал меня и, зная, что я вхожу в Чёрный кабинет, принялся настойчиво расспрашивать об эпистолярных привычках графини. Позже он сообщил, что своими глазами видел инцидент, доказывающий, что сия особа состоит на службе у принца Оранского. Д'Аво также упомянул швейцарского дворянина

Фатио де Дюилье и сообщил, что этот господин и графиня де ля Зёр как-то связаны.

Д'Аво не сомневался, что знает достаточно, чтобы её уничтожить. Однако он решил, что сумеет лучше послужить Вашему Величеству, избрав другую, более рискованную стратегию. Как хорошо известно, графиня зарабатывает деньги для многих подданных Вашего Величества, в том числе д'Аво, управляя их инвестициями. Цена её немедленной ликвидации была бы очень высокой; довод, не могущий повлиять на суждения Вашего Величества, но весомый для тех, чей ум слабее, а кошельки — легче. Мало того: д'Аво разделяет мои подозрения, что она обменивается шифрованной информацией с Софией, а через Софию — с Вильгельмом, и надеется, что я взломаю шифр и Чёрный кабинет сможет читать её депеши. Сие было бы куда полезнее Франции и Вашему Величеству, чем просто заточить её в монастырь и лишить связи с внешним миром до конца дней, как она того, несомненно, заслуживает.

В первой половине нынешнего года имел место некий флирт между графиней де ля Зёр и Палатиной, достигший кульминации в августе, когда Мадам пригласила графиню де ля Зёр при-

соединиться к ней (и Вашего Величества брату) в Сен-Клу. Все были уверены, что это обычная, хоть и сапфическая, интрижка — объяснение столь очевидное, что по самой своей природе должно было бы возбудить больший скептицизм у тех, кто гордится своей проницательностью. Однако всё произошло летом, погода стояла жаркая, и никто не обратил внимания. Вскоре по прибытии в Сен-Клу графиня отправила д'Аво в Гаагу письмо, которое затем оказалось на моём письменном столе. Вот оно.

Сен-Клу

август 1688

Элиза, герцогиня де ля Зёр, графу д'Аво
16 августа 1688
Мсье!

Лето в разгаре, и для тех, кто, подобно Мадам, услаждается охотой на диких зверей, лучшие месяцы ещё впереди. Иные же, подобные Мсье, охотники на (и до) утончённо-воспитанных людей, находят эту пору лучшим временем года. Посему Мадам изнывает от зноя, забавляется с комнатными собачками и пишет письма, а Мсье жалуется лишь на то, что от жары румяна и пудра стекают со щёк. В Сен-Клу полно молодых людей, по большей части заядлых фехтовальщиков, готовых на всё, лишь бы воткнуть свой клинок в его ножны. Судя по звукам, долетающим из опочивальни Мсье, главный его любовник — шевалье де Лоррен. Однако когда силы шевалье иссякают, то за ним всегда есть маркиз д'Эффиа, а за маркизом — ещё череда молодых красавцев. Другими словами, в Сен-Клу, как и в Версале, существует строгая иерархия, и большинству молодых лю-

дей не приходится рассчитывать на иную роль, кроме декоративной. Однако кровь в них играет точно так же, как и во всех остальных. Не имея возможности утолить свою страсть с Мсье во дворце, они практикуются друг на дружке в саду. Невозможно отправиться на пешую или конную прогулку, не нарушив чьё-либо свидание. Когда этих молодых людей вспугиваешь, они не убегают в смущении, но, осмелев от милостей, оказанных им Мсье, принимаются поносить тебя самым что ни на есть оскорбительным образом. Куда бы я ни шла, обоняние различает гумор похоти в каждом дуновении ветерка, ибо он разлит здесь повсюду, как вино в таверне.

Лизелотта терпит такое уже семнадцать лет, с тех пор, как раз и навсегда пересекла Рейн. Немудрено, что она избегает появляться на людях, предпочитая общество чернильницы и комнатных собачонок. Известно, что Мадам очень привязывается к домочадцам — у неё была фрейлина, некая Теобон, единственная её отрада. Однако любовники Мсье, живущие за его счёт и не имеющие иных занятий, кроме интриг, нашёптывали про неё гадости, и Мсье отослал Теобон прочь. Мадам так рассердилась, что пожаловалась королю. Король сурово отчитал

любовников Мсье, но не пожелал вмешиваться в семейные дела брата, так что Теобон, вероятнее всего, томится в каком-нибудь монастыре и никогда оттуда не выйдет.

Время от времени здесь принимают гостей, и тогда, как Вам известно, протокол требует облачаться в малый парадный туалет, который (как ни трудно это вообразить) ещё жёстче и неудобнее большого парадного. Как посол Вы постоянно видите дам, одетых таким образом, но как мужчина не знаете, какие усилия они прикладывают в течение нескольких часов перед выходом в своих гардеробных, дабы так выглядеть. Надеть малый парадный туалет не легче, чем оснастить судно, — в обоих случаях нужна большая вышколенная команда. Увы, своими мелочными происками любовники Мсье добились того, что домашний корабль Мадам совсем обезлюдел. Да и в любом случае она презирает женскую тщету. Она достаточно взрослая, достаточно иностранка и достаточно умна, чтобы понимать: мода (на которую женщины поглупее смотрят как на своего рода закон всемирного тяготения) лишь выдумка, изобретение. Её придумал Кольбер, дабы нейтрализовать тех французов и француженок, которые по своему богатству и независимости представ-

ляли угрозу для короля. Однако Лизелотта уже нейтрализована тем, что выдана замуж за Мсье и вошла в королевскую семью. Единственное, что мешает Франции захватить её родину, — спор, кто должен наследовать её покойному брату: сама Мадам или другой потомок Зимней королевы.

Так или иначе, Лизелотта отказывается играть в придуманную Кольбером игру. Разумеется, в её гардеробе есть туалеты, достойные называться и малым парадным, и большим парадным. Однако Мадам велела изготовить их совершенно особым образом. В гардеробе Мадам все слои белья, корсетов, нижних юбок и прочего, обычно существующие порознь, сшиты в единое целое, настолько жёсткое, что стоит само по себе. Когда устраивают большой приём, Мадам входит в туалетную нагишом, забирается в наряд через разрез сзади и ждёт несколько минут, покуда камеристка застёгивает пуговицы и крючки. Затем она выходит прямиком к гостям, даже не взглянув в зеркало.

Я завершу свой маленький портрет жизни в Сен-Клу историей про собак. Как я уже упомянула, Лизелотта, подобно Артемиде, никогда не расстаётся со своей сворой. Разумеется, это не

быстроногие гончие, а комнатные собачонки, которые зимой сворачиваются у её ног, согревая их собственным теплом. Она назвала их в честь городов и людей Пфальца, памятных ей с детства. Собачонки весь день снуют по её покоям и грызутся из-за каждого пустяка, словно истинные придворные. Иногда она выводит их на лужайку, и они носятся, нарушая любовные утехи нахлебников Мсье, и тогда покой изысканных садов нарушается гневными воплями миньонов и лаем пёсиков; кавалеры в спущенных штанах пытаются их отогнать, а Мсье выходит на балкон в халате, ругается на чём свет стоит и проклинает час, когда женился на Лизелотте.

У короля есть пара гончих — Фобос и Деймос. Клички подходят им как нельзя лучше; псы, питаясь объедками с королевского стола, выросли до ужасающих размеров. Король так их балует, что они совершенно распустились и считают себя вправе задирать кого вздумается. Зная, как Лизелотта любит охоту и собак, а также сочувствуя её одиночеству и заброшенности, король решил разбудить в ней интерес к этим псам. Он предлагает Мадам смотреть на них как на своих собственных, дабы они с наступлением сезона могли поохотиться на крупную дичь в её восточ-

ных угодьях. Покуда это лишь предложение, которое Мадам не очень хотела бы принимать. Фобос и Деймос слишком велики и неуправляемы для Версаля, и король повелел своему брату держать их в Сен-Клу, в отдельном загоне, где они могут резвиться без помех. За это время псы выловили и сожрали всех кроликов, обитавших в пределах изгороди, и теперь неустанно ищут в ней слабые места, чтобы разорить и сопредельные территории. Недавно они проделали дыру в юго-восточном углу ограды, вырвались во двор и передавили всех кур. Дыру заделали. Покуда я пишу, Фобос прохаживается вдоль северной ограды, примеряясь, как бы перепрыгнуть на земли соседа, дворянина, к которому мои хозяева питают давнюю неприязнь. Тем временем Деймос подкапывается под восточную ограду, дабы учинить разбой во дворе, где Мадам выгуливает своих собачек. Не знаю, который из них преуспеет первым.

Сейчас я должна отложить перо, поскольку несколько месяцев назад обещала показать Мадам, как йглмцы ездят без седла, и теперь это время наконец настало. Надеюсь, мое маленькое описание жизни в Сен-Клу не шокировало вас своей вульгарностью; как всякий образованный

человек, вы наверняка изучаете человеческую натуру и рады будете узнать, какие мужицкие свары происходят за аристократическим фасадом Сен-Клу.

Элиза, графиня де ля Зёр

Россиньоль Людовику XIV, продолжение

ноябрь 1688

Ваше Величество уже поняли, что Фобос и Деймос — метафора вооружённой мощи Франции, эпизод с убийством кур — недавняя кампания, в ходе которой Ваше Величество усмирили мятежных савойских реформатов, а сомнения, какой из псов нападёт первым, означают, что графиня в то время не ведала, ударит Ваше Величество по Голландской республике на севере или по Пфальцу на востоке. Столь же очевидно, что фразы эти предназначались не столько адресату, сколько Вильгельму Оранскому, чьи люди прочли письмо прежде, нежели оно попало к д'Аво.

Менее прозрачен намёк на езду без седла. Я бы допустил, что это некая разновидность любовных утех, но графиня никогда не опускается в письмах до подобной вульгарности. Со временем я понял, что слова эти следует понимать буквально. От некоторых друзей Мсье я узнал, что Мадам и графиня де ля Зёр и впрямь отправились на верховую прогулку, причём графиня попросила

не седлать её лошадь. Они выехали в сопровождении двух юных ганноверских кузенов Мадам, когда же вернулись, на лошади графини не было не только седла, но и наездницы; остальные уверяли, что она не удержалась на конской спине, упала и сильно расшиблась, так что не могла уже ехать верхом. Дело происходило на берегу реки, они сумели докричаться до проходящей лодки; она-то и доставила пострадавшую графиню в ближайший монастырь, который Мадам поддерживает от своих щедрот. Там, согласно уверениям Мадам, графиня должна пребывать, пока не срастутся сломанные кости.

Нет надобности говорить, что лишь младенец поверил бы в такую сказочку; все сочли, что графиня беременна и будет выздоравливать в монастыре ровно столько, сколько надо, чтобы вызвать искусственный выкидыш или родить. Я сам не вспоминал про эту историю, пока несколько недель назад не получил письмо от д'Аво. Оно было, естественно, зашифровано; прилагаю расшифровку за вычетом любезностей, формальностей и прочих длиннот.

Французское посольство в Гааге

17 сентября 1688

От Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво
Французское посольство в Гааге
Мсье Бонавантюру Россиньолю
Шато Жювизи, Франция

Мсье Россиньоль!

У нас с Вами был случай поговорить о графине де ля Зёр. Довольно давно я знал, что она тайно служит принцу Оранскому. До сего дня она хотя бы пыталась это скрывать, теперь же отбросила всякое притворство. Все были убеждены, что она беременна и скрывается в монастыре под Сен-Клу. Однако сегодня она сошла перед самым Бинненхофом с баржи, только что прибывшей по каналу из Нимвегена. На том же корабле пожаловали еретики из куда более далёких краёв — жители Пфальца; узнав о неминуемом вторжении, они бегут оттуда, как крысы, которые, по слухам, успевают покинуть дом за секунды до землетрясения. Чтобы дать Вам представление о попутчиках графини, сообщу, что среди них по меньшей мере две принцессы (Элеонора

Саксен-Эйзенахская и её дочь, Вильгельмина-Каролина Бранденбург-Ансбахская), а также много других высокопоставленных особ, хотя по их оборванному и жалкому виду такого не скажешь. Соответственно графиня, ещё более оборванная и жалкая, чем остальные, не привлекла к себе обычного внимания. Однако я знаю, что она здесь, ибо мои источники в Бинненхофе сообщили, что принц Оранский приказал отвести ей апартаменты на неопределённое время. Прежде она скрывала свои связи с названным принцем, сегодня поселилась в его доме.

Мне ещё будет что по этому поводу сказать, сейчас же хочу задать риторический вопрос как она сумела добраться из Сен-Клу в Гаагу с заездом на Рейн в течение одного месяца, во время подготовки к войне, никем не замеченная? То, что она шпионка принца Оранского, не требует обсуждения за явной очевидностью, но где она побывала и что сейчас рассказывает в Бинненхофе Вильгельму?

Ваш в спешке,

Д'Аво

Россиньоль Людовику XIV, продолжение

ноябрь 1688

Ваше Величество уже поняли, насколько меня заинтриговало письмо д'Аво. Оно попало ко мне со значительным опозданием, ибо из-за войны д'Аво вынужден был переправлять его в Жювизи весьма хитроумными путями. Я знал, что следующих ждать не приходится, и отвечать значило бы попусту переводить бумагу. Соответственно, я решил инкогнито посетить Гаагу, ибо ложусь спать и просыпаюсь с мыслью послужить Вашему Величеству, а в этом деле, оставаясь дома, я не принёс бы никакой пользы.

О моем путешествии в Гаагу я мог бы много написать в вульгарном и сенсационном ключе, когда бы первой своей обязанностью полагал доставить Вашему Величеству минутное развлечение. Однако все эти события не связаны с сутью моего отчёта. Мне не пристало их излагать в то время, как люди более достойные жертвуют жизнью на благо Франции, не помышляя об иной награде, кроме славы Отечества; в конце

концов, то, что англичанин (к примеру) счёл бы волнующими и славными приключениями, для французского дворянина вполне обыденно.

Я прибыл в Гаагу 18 октября и явился во французское посольство, где по приказанию мсье д'Аво остатки моей одежды сожгли на улице, тело моего слуги достойно предали земле, мою лошадь уничтожили, чтобы не заразить остальных, а к моей скромной особе вызвали француза-цирюльника, дабы обработать раны от вил и ожоги от факелов. На следующий день я начал расследование, основываясь, разумеется, на прочном фундаменте, заложенном д'Аво в прошедшие месяцы. Так случилось, что в тот самый день, 19 октября лета Господня 1688-го, несчастливая перемена ветра позволила принцу Оранскому отплыть в Англию с эскадрой из пятисот голландских судов. Как ни огорчило это событие здешнюю французскую колонию, нам оно оказалось на руку, ибо еретики так ликовали (для них вторжение в чужую страну есть нечто новое и чрезвычайно будоражащее), что почти не обращали на меня внимания.

Первым делом я ознакомился с тем, что сделал за предшествующие недели д'Аво. В Хофгебейде, амстердамском дипломатическом квартале, слуг и придворных куда меньше, нежели в ана-

логичном районе Парижа, но всё же более чем достаточно; корыстных д'Аво подкупил, распутных так или иначе скомпрометировал, и теперь, дабы знать всё, что происходит в округе, ему довольно прилежания, чтобы опросить всех, и ума, чтобы связать обрывочные сведения в единое целое. Ваше Величество не удивится, узнав, что к моему приезду он всё это уже проделал. Д'Аво сообщил мне следующее.

Во-первых, графиня де ля Зёр в отличие от других пассажиров прибыла не из Гейдельберга, а из более близких краёв. Она поднялась на борт в Нимвегене, грязная и обессиленная, в сопровождении двух не менее потрёпанных молодых господ, судя по выговору — уроженцев Рейнской области.

Это само по себе поведало мне многое. И прежде было очевидно, что в Сен-Клу Мадам как-то сумела посадить графиню на баржу, идущую вверх по Сене. Следуя против течения, баржа легко могла после Шарантона избрать восточный приток и по Марне добраться до северо-восточных пределов королевства, откуда до родных краёв Мадам лишь несколько дней пути. Менее всего я желал бы бросить подозрение на Вашу невестку; подозреваю, что графиня де ля Зёр, известная интриганка,

играя на вполне естественных чувствах Мадам к своим зарейнским подданным, каким-то образом сумела ей внушить, что таковая поездка послужит их благу. Разумеется, графиня сочла нужным посетить ту часть Франции, где приготовления к войне были особенно очевидны.

Во время многочисленных победоносных кампаний Ваше Величество уделили много часов изучению карт и разрешению всевозможных вопросов, от общей стратегии до мельчайших деталей, и Вы вспомните, что не существует водного сообщения между Марной и какой-либо из рек, протекающей через Нидерланды. Тем не менее в Аргоннском лесу берут начало как Марна, так и Мёз, проходящий, уже под названием Маас, в нескольких милях от Нимвегена. Посему, как д'Аво до меня, я принял рабочую гипотезу, что графиня высадилась вблизи Аргоннского леса, в котором, как Вашему Величеству известно, в то время разворачивались активные военные приготовления, и как-то добралась до Мёза, а по Мёзу до Нимвегена, откуда д'Аво и получил о ней первые сведения.

Во-вторых, все видевшие её на пути из Нимвегена в Гаагу утверждают, что при ней почти ничего не было. Личные вещи графини помещались

в седельной сумке одного из её спутников. Всё вымокло насквозь, так как в предшествующие дни лил дождь. На корабле графиня и её спутники вывернули седельные сумки и разложили содержимое на просушку. За всё время никто не видел книг, бумаг, перьев или чернильницы. В руках графиня держала сумочку и пяльцы с вышивкой — больше ничего. То же говорят и агенты д'Аво в Бинненхофе. По сообщению служанок, приставленных к графине, с корабля во дворец попали только:

1) Платье, бывшее на графине. Подопревшее от долгого лежания в седельной сумке, оно было пущено на тряпки, как только графиня сумела его от себя отлепить. Под ним ничего не было.

2) Комплект мужского платья приблизительно графининых размеров, изодранный и грязный.

3) Пяльцы и вышивка, неоднократно намокавшая и высушенная, а потому совершенно испорченная (нитки полиняли на ткань).

4) Сумочка, в которой обнаружились обмылок, гребень, тряпичные прокладки, швейный набор и почти пустой кошелёк.

Всё упомянутое было выброшено и уничтожено, за исключением монет, швейного набора и вышивки, к которой графиня питала трудно

объяснимое пристрастие — оберегала её от слуг, а на ночь даже прятала под подушку, дабы её по ошибке не пустили на ветошь.

В-третьих, оправившись с дороги и получив приличный наряд, графиня на следующий после приезда день поспешила в охотничий домик принца Оранского, расположенный неподалёку в лесу, и три дня подряд встречалась с ним и его советниками, после чего принц отозвал войска с юга и начал готовиться к вторжению в Англию. Утверждают, что графиня как по волшебству представила объёмистый отчёт с фамилиями, фактами, цифрами и прочими подробностями, которые сложно было бы удержать в памяти.

Итак, это то, что выяснил д'Аво. Он дал мне всё, что нужно криптологу, оставалось лишь применить бритву Оккама к полученным фактам. Я заключил, что графиня делала заметки не чернилами на бумаге, но иголкой и ниткой на куске ткани. Способ этот, при всей своей необычности, имеет ряд преимуществ. Женщина, которая постоянно что-то записывает, очень заметна, но едва ли кто обратит внимание на дамское рукоделье. Если человека заподозрят в шпионаже, то первым делом обыщут его вещи; прежде всего будут искать бумаги, но кто посмотрит на вышив-

ку? Наконец, чернила в сырости расплывутся, вышитые же заметки можно уничтожить, лишь распустив нитку за ниткой.

Ко времени моего приезда в Гаагу графиня уже освободила покои во дворце и перебралась через площадь в дом своего друга, «философа»-еретика Гюйгенса. По прибытии я узнал, что она как раз сегодня уехала в Амстердам для встречи с деловыми партнёрами. Я нанял воришку, не раз выполнявшего сходные поручения для д'Аво, чтобы тот забрался в дом Гюйгенса, нашёл вышивку, не потревожив больше ничего в комнате, и доставил мне. Через три дня, закончив приведённый ниже анализ, я поручил тому же воришке поместить вышивку обратно. Графиня вернулась из Амстердама лишь несколько дней спустя.

Это кусок грубого холста, квадрат со стороною примерно в один фламандский локоть. Графиня оставила по краям пустое пространство в ладонь шириной. Таким образом, сама вышивка имеет приблизительно по восемнадцать дюймов в длину и ширину, вполне достаточно для *opus pulvinarium* или, проще говоря, чехла на подушку. Пространство это почти целиком заполнено стежками, называемыми *gros-point* или «крестиком»; такая разновидность вышивки популярна в

Англии, в заокеанских колониях и в иных краях, где царят грубость и простота нравов. Поскольку во Франции её совершенно вытеснил *petit-point*, гобеленовый шов, Ваше Величество едва ли видели вышивку крестом, и я позволю себе кратко её описать. Ткань берётся грубая, в которой уток и основа видны невооружённым глазом и образуют подобие декартовой координатной сетки. Каждый из крохотных квадратиков закрывается в процессе вышивки стежком в форме буквы «х», образующим квадратик цвета; при взгляде издалека стежки сливаются в картину. Рисунок, таким образом, неизбежно получается ступенчатым, особенно там, где сделана попытка передать кривизну; вот почему такого рода изделия не встретить в Версале и прочих местах, откуда утончённый вкус изгнал сентиментальную пошлость. Тем не менее Ваше Величество легко вообразит, как выглядит вблизи крохотный х-образный стежок: одна нить идёт с северо-востока на юго-запад, другая, внахлёст, с юго-востока на северо-запад. Какая будет сверху, зависит от последовательности шитья. У хороших вышивальщиц последовательность всегда одна, и все верхние нити наклонены в одну сторону, у более неряшливых могут идти вразнобой. Иссле-

дуя работу графини в увеличительное стекло, я обнаружил, что она относится к последним, и удивился, ибо во всём прочем она чрезвычайно педантична. Я задумался, не несёт ли ориентация стежков некой скрытой информации.

Плотность ткани примерно двадцать нитей на дюйм. Несложно сосчитать, что общее число стежков по одной стороне примерно 360, что даёт приблизительно 130 000 крестиков.

Один крестик может содержать лишь крупицу информации, ибо допускает лишь два состояния; либо СВ-ЮЗ элемент сверху, либо СЗ-ЮВ. На первый взгляд это может показаться бесполезным, ибо как составить послание на алфавите, в котором только две буквы?

Mirabile dictu[120], способ такой существует, и я совсем недавно о нём узнал благодаря болтливости уже упоминавшегося господина Фатио де Дюилье. Сей Фатио, опасаясь за свою жизнь, бежал из Европы в Англию, где свёл дружбу с выдающимся английским алхимиком по фамилии Ньютон. Он стал своего рода Ганимедом при Зевсе-Ньютоне, и неотступно ходит за ним по пятам; если же обстоятельства ненадолго их

---

[120] Примечания: 120
Странно сказать (*лат.*).

разлучают, бахвалится перед всеми и каждым дружбою с великим человеком. Я знаю это от синьора Вигани, алхимика, — он подвизается в том же колледже, что и Ньютон, а потому часто вынужден делить трапезу с Фатио. Фатио склонен к беспочвенной ревности и готов без устали чернить всякого, в ком подозревает соперника. Среди прочих мишенью его нападок стал некий доктор Уотерхауз, который в юности делил с Ньютоном комнату и, возможно, состоял с ним в противоестественной связи; впрочем, важно не что было на самом деле, а что воображает Фатио. Недавно последний застал доктора Уотерхауза в библиотеке Королевского общества, спящим на неких вычислениях, составленных исключительно из нулей и единиц. Сию курьёзную область математики активно развивает Лейбниц. Доктор Уотерхауз проснулся раньше, чем Фатио успел взглянуть на его работу, но документ походил на письмо из-за рубежа, и Фатио заключил, что это какой-то шифр. Вскоре после упомянутой встречи он отправился с Ньютоном в Кембридж и мимоходом обронил эту историю за общим столом, дабы показать свой ум и намекнуть, что упомянутый Уотерхауз — глупец и, по всей вероятности, шпион.

Из своих архивных записей я знаю, что графиня де ля Зёр вблизи указанной даты писала в Королевское общество и что у неё деловые связи с братом доктора Уотерхауза. Кроме того, я уже упоминал её подозрительно пространную и бессодержательную переписку с Лейбницем. Вновь применив бритву Оккама, я сформулировал гипотезу, что графиня использует шифр, вероятно, изобретённый Лейбницем и основанный на двоичном счислении, то есть состоящий из нулей и единиц; двухбуквенный алфавит, идеальный для вышивки крестом.

Д'Аво предоставил в моё распоряжение писаря, обладающего острым зрением, и тот переписал всю вышивку на бумагу, ставя единицу для крестиков, у которых СЗ-ЮВ элемент наверху, и ноль для остальных. Затем я приступил к взлому шифра.

Цепочка двоичных знаков может представлять число, например, 01001 — это 9. Пяти двоичных цифр хватит для 32 букв, то есть для всего латинского алфавита. Я исходил из гипотезы, что таков и графинин шифр, но увы, не получил ни связного текста, ни хотя бы внушающих надежду закономерностей.

Из Гааги я, прихватив с собой запись нулей

и единиц, отправился на корабле в Дюнкерк. Бóльшая часть матросов были фламандцы, но некоторые отличались как обликом, так и языком — отрывистым и гортанным, не похожим ни на одно слышанное мною наречие. На вопрос, откуда они, эти люди — к слову, отважные мореходцы — с изрядной гордостью назвались йглмцами. Тут я понял, что Божественный Промысел привёл меня на этот корабль. Я задал им множество вопросов касательно их языка и письменности — системы рун, едва заслуживающей названия алфавита. В нём нет гласных и только шестнадцать согласных, часть из которых может произнести лишь уроженец этого скалистого острова.

Шестнадцатибуквенный алфавит как нельзя лучше подходит для передачи двоичными цифрами; для одной буквы нужны всего четыре цифры — четыре стежка. Йглмский язык невероятно лаконичен — йглмец может сказать в нескольких щелкающих или хрипящих звуках то, для чего французу потребуется несколько фраз, — и мало известен за пределами их проклятого Богом острова. И то и другое крайне выгодно для графини, которой в данном случае надо было общаться только с самой собой. В целом йглмский язык не

требует шифровки, ибо сам по себе почти идеальный шифр.

Я попытался разбить записанные нули и единицы на группы по четыре и перевести каждую в число от 1 до 16. Вскоре я обнаружил закономерности из числа тех, что внушают криптографу уверенность в избранном пути. По возвращении в Париж я сумел отыскать в королевской библиотеке учёный труд, посвящённый йглмским рунам, и перевести числа в этот алфавит — всего около 30 000 рун. Сверка результатов с кратким словарём в конце книги подтвердила, что текст расшифрован, однако перевести его я не мог. Я обратился к отцу Эдуарду де Жексу, который питает к Йглму большой интерес; он надеется обратить островитян в истинную веру, чтобы Йглм стал острым шипом в боку у еретиков. Отец Эдуард рекомендовал мне проживающего в Дублине отца Мкснгра из Общества Иисуса, йглмца по рождению и воспитанию, всей душой преданного Вашему Величеству; он часто с большой опасностью для жизни посещает Йглм, чтобы крестить тамошних жителей. Я отправил ему расшифровку и через несколько недель получил латинский перевод в почти сорок тысяч слов, то есть в одной йглмской руне заключено больше

смысла, нежели в целом латинском слове!

Текст настолько лапидарен и отрывочен, что читается с огромным трудом, кроме того, там используются странные словесные замены, например «мушкет» — «английская палка» и так далее. Бóльшую его часть составляет скучный перечень фамилий, полков, городов и прочего, явственно доказывающий шпионаж, но никому не интересный теперь, когда война уже началась и всё меняется поминутно. Другая часть текста — личные записки графини, которые она на досуге поверяла вышивке. Они разъясняют, как ей удалось добраться из Сен-Клу в Нимвеген. Я взял на себя смелость переложить их более изящным слогом и объединить в связный, хоть и несколько фрагментарный рассказ, который прилагаю для развлечения Вашего Величества. Время от времени я вставлял примечания касательно действий графини, основываясь на сведениях, почерпнутых из других источников. В конце прилагаю постскриптум и записку д'Аво.

Ежели бы я читала романы подолгу, они бы мне приедались, но я прочитываю по три-четыре страницы утром и вечером, сидя на (простите великодушно!) стульчаке, и не успеваю прискучить, чтением.

Лизелотта в письме к Софии 1 мая 1704

ЗАПИСЬ ОТ 17 АВГУСТА 1688

Любезный читатель!

Не знаю, что станется с этим куском холста; быть может, он пойдёт на подушку или будет уничтожен сознательно либо по небрежности, а может, некий умный человек расшифрует его годы или столетия спустя.

Хотя сейчас ткань, на которой я вышиваю эти слова, новая, сухая и чистая, к тому времени, как кто-нибудь их прочтёт, она неизбежно покроется пятнами от слёз и сырости, плесени и дождя, возможно почернеет от крови и дыма. В любом случае поздравляю тебя, неведомый читатель, когда бы ты ни жил, с тем, что тебе хватило ума прочесть мои записи.

Некоторые скажут, что лазутчице не следует

вести дневник, дабы он не попал в руки врагов. Отвечу, что мой долг — собрать подробную информацию и передать её моему господину; если я не узнаю больше, чем могу запомнить, значит, недостаточно усердна.

16 августа 1688 года я встретилась с Лизелоттой фон дер Пфальц, Елизаветой-Шарлоттой, герцогиней Орлеанской, которую французы называют Мадам и Палатина, а родственники в Германии — Рыцарь Шуршащих Листьев, у ворот конюшни в её поместье Сен-Клу на Сене, вблизи Парижа. Она велела вывести и оседлать свою любимую охотничью кобылу, я же тем временем переходила от стойла к стойлу, выбирая лошадь, на которой можно ехать без седла, ибо такова была внешняя цель нашей прогулки. Вместе мы углубились в лес, который тянется вдоль Сены на несколько миль от дворца. Нас сопровождали двое молодых людей из Ганновера. Лизелотта поддерживает тесную связь с роднёй; время от времени племянника или кузена направляют к ней «отшлифоваться» в версальском обществе. История этих юношей сама по себе примечательна, но не касается моего повествования, посему скажу лишь, что они немцы, протестанты, гетеросексуалы, а следовательно, на их молчание в

пределах Сен-Клу можно было положиться хотя бы уже потому, что никто там с ними не разговаривал.

В тихой излучине Сены, закрытой от посторонних взглядов нависшими деревьями, ждала плоскодонка. Я забралась в неё и спряталась под грудой рыбачьих сетей. Лодочник оттолкнулся шестом, и мы вышли в основное русло, где вскоре встретились с судёнышком побольше, идущим вверх по течению. С тех пор я на нём. Мы уже прошли через центр Парижа, к северу от острова Сите, а сегодня за городом, на слиянии рек, выбрали левую развилку и теперь поднимаемся по Марне.

ЗАПИСЬ ОТ 20 АВГУСТА 1688

Несколько дней мы двигались навстречу марнским струям. Вчера миновали Мо и [как я полагала] оставили его в милях позади, но сегодня снова прошли так близко, что слышали звон тамошних колоколов, а всё оттого, что река ужасно петляет и меняет направление, словно доводы отца Эдуарда де Жекса. Наша баржа, или, как говорят французы, *chaland,* — узкий, длинный, дешёвый в изготовлении деревянный гроб с единственным прямым парусом, который подни-

мают всякий раз, как ветер дует с кормы. Однако по большей части мачта служит для крепления буксирных тросов, за которые шаланду тянут против течения идущие по берегу лошади.

Мой капитан и защитник — мсье Лебрён — должно быть, смертельно боится Мадам, ибо, стоит мне подойти к борту или как-то ещё подвергнуть себя опасности, он покрывается по́том и хватается за голову, словно боится её потерять. По большей части я сижу на корме на бочонке с солью, смотрю, как мимо проплывает Франция, и разглядываю другие шаланды. Я одета мальчиком и прячу волосы под шляпой — этого довольно, чтобы скрыть мой пол от людей на других баржах или на берегу. Если меня окликают, я молча улыбаюсь, и они вскоре отстают, сочтя меня дурачком — возможно, ушибленным в детстве сыном мсье Лебрёна. Бездействие устраивает меня как нельзя лучше; дня два назад начались месячные, и сейчас я сижу на груде тряпичных прокладок.

Очевидно, что эта местность в изобилии производит фураж. Через несколько недель поспеет ячмень, и армия, проходя через здешние края, не будет испытывать недостатка в кормах. Если планируется вторжение в Пфальц, войска пере-

бросят с севера [ибо они стоят вдоль голландской границы], а фураж будут закупать на месте, так что лазутчику нечего высматривать, кроме, быть может, доставки боеприпасов. Что-то войска повезут с собой, но вполне разумно предположить, что порох и в особенности свинец отправят судами из арсеналов вблизи Парижа. Чтобы перевезти тонну свинца на телегах, нужны несколько воловьих упряжек и ещё несколько телег фуража; куда легче доставить этот груз по воде. Поэтому я вглядываюсь в шаланды, идущие вверх по реке, и гадаю, что у них в трюмах. Судя по виду, то же, что и у нас, — солёная рыба, соль, вино, яблоки и прочий товар из низовьев Сены.

ЗАПИСЬ ОТ 25 АВГУСТА 1688

В долгом сидении без дела есть свои преимущества. Я пытаюсь смотреть на окружающее глазами натурфилософа. Несколько дней назад я глядела на другую шаланду, идущую вверх по течению в четверти мили впереди нас. Одному из матросов потребовалось отвязать от мачты трос на высоте выше своего роста. Он схватился за обод огромной бочки, стоящей на палубе, наклонил её на себя, поворачивая, придвинул к мачте и взобрался на крышку. По тому, как он

управлялся с бочкой, и по звукам, было ясно, что она пустая. Ничего удивительного, ведь пустые бочки часто возят с места на место. Однако я задумалась: не существует ли внешних признаков, по которым можно отличить шаланду, нагруженную, как наша, от той, у которой в трюме несколько тонн пуль, для отвода глаз прикрытых пустыми бочками?

Даже издали можно наблюдать, как шаланды качаются с боку на бок. Это видно по качанию мачт. Они длинные и потому усиливают слабые движения корпуса, а различить их можно издалека.

Я одолжила у мсье Лебрёна пару сабо и пустила их плавать в затхлой трюмной воде. В один я положила железку, в другой — столько же по весу соли, высыпавшейся из треснутой бочки. Хотя вес груза в сабо был одинаков, распределялся он по-разному: соль заполнила весь башмак, железка лежала в «трюме». Когда я качнула башмаки, то сразу заметила, что гружённый железом качается медленнее, поскольку весь его вес дальше от оси движения.

Возвратив мсье Лебрёну его сабо, я вернулась на корму, на сей раз с часами, подаренными мне господином Гюйгенсом. Сперва я сосчитала сто

качаний нашей шаланды, затем стала проводить те же наблюдения над другими баржами на реке. По большей части они качались с той же частотой, что и наша, но я заметила две, качавшиеся значительно медленнее. Разумеется, я принялась внимательно их изучать. К моему разочарованию, первая оказалась нагружена каменными плитами — само собой, никто и не пытался скрывать истинный характер груза. Однако вторая была наполнена бочками.

Теперь мсье Лебрён и впрямь считает меня дурочкой, но это неважно, поскольку скоро мы с ним расстанемся.

ЗАПИСЬ ОТ 28 АВГУСТА 1688

Мы пересекли Шампань и пришли в Сен-Дизье, где Марна подходит к самой границе Лотарингии, а затем поворачивает к югу. Мне надо на север и на восток, поэтому здесь мое путешествие на барже заканчивается. Оно было очень долгим, зато я увидела то, что пропустила бы, будь дорога более увлекательной, а сидеть на солнце в судёнышке, проплывающем через тихую местность, занятие далеко не худшее. Как ни сильны мои убеждения, я чувствовала, что при дворе понемногу теряю решимость. Невозможно жить

среди людей столь богатых, могущественных, привлекательных, уверенных в себе — и не подпасть под их влияние. Сперва оно еле заметно, но внезапно обнаруживаешь, что вращаешься по орбите вокруг Короля-Солнце.

Местность, которую мы оставили позади, плоская и, в отличие от западной Франции, открытая. Даже без карт чувствуешь, какие просторы лежат к северу и к востоку. Выражение «тук земли» звучит здесь почти буквально, ибо нивы поспевают на моих глазах, словно жирные сливки, всплывающие из самой почвы. Для меня, родившейся на холодной скале, это почти рай, однако, глядя на столь благодатную землю глазами человека могущественного, я вижу, что она сама просится в руки завоевателя. Война нагрянет сюда оттуда или отсюда, так что лучше самому её упредить, не дожидаясь, покуда тучи сгустятся на горизонте. Всякий увидит, что захватчики будут проходить по этим полям, покуда Франция не расширится до естественных границ Рейна. Ни один рубеж, проведённый по такой земле, не устоит.

Судьба дала Людовику выбор: либо он попытается сохранить влияние на Англию — предприятие весьма сомнительное и для безопасности Франции несущественное, либо двинется к Рей-

ну, захватит Пфальц и навсегда оградит Францию от германского вторжения. Несложно увидеть, какой путь мудрее. Увы, лазутчик бессилен советовать королям, как им править, и может лишь наблюдать, как они это делают.

Сен-Дизье, где мне предстоит сойти на берег, скромных размеров речной порт, гордящийся несколькими очень древними церквями и римскими развалинами. За ним встаёт тёмный Аргоннский лес, а где-то в этом лесу проходит граница Франции с Лотарингией. В нескольких лигах к востоку раскинулась долина Мёза, который несёт свои воды на север в Испанские Нидерланды, а далее переплетается с изменчивыми границами испанских, голландских и немецких государств.

Ещё в десяти лигах за Мёзом, на Мозеле, стоит город Нанси. Мозель также течёт на север, но затем, обогнув герцогство Люксембургское, сворачивает на восток и впадает в Рейн между Майнцем и Кёльном — по крайней мере так я заключила из карт, которые изучала в библиотеке Сен-Клу. Учтивость не позволила мне захватить их с собой!

Согласно картам, на двадцати или тридцати лигах, отделяющих Нанси от Рейна, раскинулся

архипелаг епископств и графств, принадлежавших до Тридцатилетней войны Священной Римской империи. Миновав их, попадаешь в Страсбург. Людовик XIV захватил его несколько лет назад. В некотором роде это событие создало меня, ибо чума и хаос увлекли Джека в Страсбург, а затем урожай ячменя и его неизбежное следствие — война — под Вену, где мы и встретились. Интересно, удастся ли мне завершить круг, добравшись в этот раз до Страсбурга? Коли так, я одновременно завершу и другой круг, ибо из этого самого города Лизелотта семнадцать лет назад отправилась во Францию, чтобы выйти замуж за Мсье и никогда больше не возвращаться на родину.

ЗАПИСЬ ОТ 30 АВГУСТА 1688

В Сен-Дизье я вновь сменила мужское платье на женское и поселилась в монастыре. Это одна из тех обителей, в которых доживают свой век знатные дамы, не сумевшие или не пожелавшие выйти замуж, а по образу жизни — скорее бордель, нежели монастырь. Многие здешние монахини и послушницы молоды и обуреваемы плотскими страстьми; когда они не могут провести мужчин в монастырь, то выскальзы-

вают в город, а когда не могут выскользнуть, то практикуются друг на дружке. Среди них есть Лизелоттины знакомые по Версалю, с которыми она поддерживает переписку. Она заранее уведомила их о моём приезде и сообщила, будто я её дальняя-предальняя родственница, направляюсь в Пфальц забрать некие ценные вещицы, которые должны были перейти ей по смерти брата, но оспариваются родственниками. Поскольку женщине немыслимо предпринять такое путешествие в одиночку, я должна дождаться некоего пфальцского дворянина, который прибудет с лошадьми и каретой, дабы отвезти меня на северо-восток через Лотарингию и спутанный клубок границ к востоку от неё в Гейдельберг. Имя и поручение у меня вымышленные, однако сопровождающий ожидается самый настоящий, ибо нет надобности говорить, что жители Пфальца с нетерпением ждут вестей о своей пленной королеве Лизелотте.

Мой сопровождающий ещё не прибыл, и вестей от него нет. Я тревожусь, что его задержали или даже убили, но пока мне остаётся лишь ходить к мессе по утрам, спать днём и кутить с монахинями ночью.

Я побеседовала с матерью-настоятельницей,

милейшей женщиной лет шестидесяти, закрывающей глаза на проделки своих подопечных. Она между прочим упомянула, что неподалёку есть литейная мастерская, и я усомнилась в своих наблюдениях касательно медленно качающихся шаланд — быть может, они везли не свинец, а железо. Позже я вместе с несколькими молодыми монахинями отправилась в город, и мы прошли рядом с пристанью, у которой разгружали шаланду. Бочки вытаскивали и ставили на причал, здесь же дожидались запряжённые волами телеги. Я спросила спутниц, часто ли такое бывает, но они гордятся своим полным невежеством в житейских делах и не смогли ответить ничего путного.

Позже я, сказавшись усталой, ушла в свою келью якобы для сна, а на самом деле переоделась в мужское платье и выскользнула из монастыря через потайной лаз, которым монахини бегают в город на свидания. На сей раз мне удалось ближе подобраться к пристани. Я спряталась за бочками, которые сгрузили днём, и принялась наблюдать. И впрямь из трюма шаланды в телеги таскали что-то маленькое и тяжёлое. Присматривал за разгрузкой человек, чьего лица я не видела, но чей наряд многое мне сказал. В его ботфортах

были некие нюансы, которые я перед отъездом из Сен-Клу начала примечать в ботфортах у любовников Мсье. Его штаны…

Нет. К тому времени, как кто-нибудь прочтёт эти слова, фасоны переменятся, так что подробно описывать его платье будет пустой тратой времени — довольно сказать, что оно было сшито в Париже не более месяца назад.

Мои наблюдения прервала неловкость нескольких бродяг, которые пробрались на пристань в надежде чем-нибудь поживиться. Один из них опёрся на бочку, полагая её полной, но она, будучи пустой, упала с глухим стуком. В тот же миг придворный выхватил шпагу и направил её на меня, ибо заметил, что я прячусь за бочками; несколько его людей бросились в мою сторону. Бродяги дали стрекача, и я за ними, рассудив, что они лучше меня знают, как скрыться в городе. И впрямь, перемахнув через несколько стен и проползя по нескольким канавам, они успешно скрылись от меня, отставшей всего на десяток шагов.

Позже я разыскала их на погосте, где они устроили временное пристанище под дикими виноградными лозами сбоку от старинного мавзолея. Бродяги не звали меня к себе и не гнали

прочь, так что я оставалась во тьме чуть поодаль и прислушивалась к разговору. Большая часть жаргона была мне непонятна, однако я сумела разобрать, что бродяг четверо. Трое вроде бы оправдывались, словно смирились с некой неминуемой участью, четвёртый гневно возражал; ему хватало энергии не соглашаться с остальными и желания что-то изменить. Когда он отошёл по малой нужде, я приблизилась на несколько шагов и сказала: «Приходи один к углу монастыря, который зарос плющом», после чего побежала прочь, боясь, как бы он меня не схватил.

Через час я заметила его с монастырской стены. Я бросила ему монетку и пообещала ещё десять, если он проследит за возами и через три дня расскажет мне, что увидел. Он, не ответив, пропал во мраке.

На следующий день настоятельница вручила одной из молоденьких монахинь письмо, объяснив, что его ночью передали привратнице. Девушка взглянула на печать и воскликнула: «Ах, это от моего дорогого кузена!» — после чего вскрыла письмо и начала читать, проговаривая вслух половину слов, ибо еле-еле складывает слоги. Я смогла уловить главную суть: её кузен был накануне в Сен-Дизье, но, к своему величайшему

сожалению, не смог нанести визит, так как дело его весьма спешного свойства; впрочем, он надеется пробыть в этих краях ещё некоторое время и в самом скором времени с ней всё же увидеться.

Когда она вскрывала письмо, восковая печать отскочила и закатилась под стул. Я её подняла. Герб был мне незнаком, но некоторые элементы я видела в Версале; полагаю, что этот человек состоит в родстве с одним знатным гасконским семейством, прославленным военными подвигами. Вполне можно допустить, что его я и видела на пристани вчера ночью.

ЗАПИСЬ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1688

ПРИМЕЧАНИЕ ДЕШИФРОВЩИКА: *В оригинале этот раздел содержит немало подробностей касательно того, что выгружали с шаланд в Сен-Дизье, и гербов лиц, которых графиня здесь наблюдала, куда более интересных принцу Оранскому, нежели Вашему Величеству. Я их выпустил. Б. Р.*

За три дня в монастыре я более чем наверстала свою вышивку! Надеюсь, мой бродяга вернётся сегодня с новостями. Если до завтра я ничего не узнаю о своём пфальцском сопровождающем, то вынуждена буду отправиться одна, хоть и не представляю как.

Я решила, как прежде на шаланде, извлечь пользу из вынужденного бездействия: постаралась завязать разговор с Элоизой, девушкой, получившей письмо от кузена. Это было нелегко, ибо она не отличается умом и общих интересов у нас нет. Я словно бы нечаянно проболталась одной из её подруг, что недавно побывала в Версале и Сен-Клу. Через некоторое время Элоиза подсела ко мне за едой и стала расспрашивать, что я знаю о тех или иных людях и как поживает тот-то и тот-то. По крайней мере я узнала, кто она и кто её расфранчённый кузен: это шевалье д'Адур, последние несколько лет искавший милостей у королевского главнокомандующего маршала Лувуа. Он отличился в недавнем истреблении пьемонтских реформатов и вполне походит на человека, которому могли дать важное поручение.

По вечерам я стараюсь наблюдать за пристанью. Здесь разгрузили ещё несколько шаланд, примерно так же, как первую.

ЗАПИСЬ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1688

Столько событий пронеслись стремительно, что я на несколько дней совершенно забросила вышивку. Теперь навёрстываю в тряской карете по дороге через Аргоннский лес. Такой способ

письма куда удобнее для странствующей лазутчицы, нежели я предполагала вначале. Пером по бумаге я бы сейчас писать не могла, иголкою же вполне справляюсь.

Если совсем кратко: мой бродяга вернулся и получил десять серебряных монет за рассказ о том, что возы с грузом, доставленным шаландами, отправились на восток, из Франции в Лотарингию, по лесным дорогам в объезд Туля и Нанси, далее в Эльзас, который тоже принадлежит Франции [герцогство Лотарингское граничит с Францией и на востоке, и на западе]. За отсутствием времени мой бродяга вынужден был повернуть назад, но вполне очевидно, что возы направляются к Рейну. От другого бродяги он узнал, что такие же возы по нескольким дорогам движутся в сторону Хагенауского леса, где в последнее время стало шумно и дымно. Человек этот бежал оттуда, потому что французские солдаты хватают бездельников и заставляют рубить деревья: мелкие на дрова, крупные на брёвна. Даже лачуги вагабондов разбирают и жгут.

Услышав эти новости, я не могла заснуть до утра. Если я правильно помню карты, Хагенау стоит на притоке Рейна и входит в «железный заслон», выстроенный Вобаном для защиты Фран-

ции от Испании, Германии, Голландии и прочих врагов. Предположим, я правильно угадала, что груз — свинец; тогда рассказ бродяги означает, что в Хагенау его переливают на ядра и пули. Это объясняет потребность в дровах. Но зачем брёвна? Я решила, что французы строят баржи для доставки боеприпасов по Рейну. Течение вынесет их к Пфальцу за день-другой.

Кое-что из виденного при дворе теперь обрело для меня новый смысл. Шевалье де Лоррен — властитель земель, которыми возы проезжают в Хагенау, — давно уже главный любовник Мсье и самый жестокий из притеснителей Мадам. Теоретически он вассал императора Священной Римской империи, однако на практике земли его полностью окружены Францией — ни в Лотарингию, ни из неё нельзя проехать, минуя области, управляемые из Версаля. Вот почему он проводит время при французском дворе, а не в Вене.

Принято думать, что герцога Орлеанского растили женственным и безвольным, чтобы он не стал соперником старшему брату-королю. Можно было бы предположить, что шевалье де Лоррен, который каждодневно входит в Мсье и правит его чувствами, пользуется слабостью французской династии. Опять-таки, так принято считать при

дворе. Однако теперь я вижу это в ином свете. Невозможно войти, не оказавшись стиснутым, и как шевалье де Лоррен бывает внутри Месье, так и его земли стиснуты теперь Францией. Людовик овладевает и входит, его брат отдаётся и объемлет, они действуют заодно и по-братски дополняют друг друга. Я видела извращенца, который заключил лживый брак и отвергает супругу ради любовника. Однако Людовик видит брата, который поведёт лживую войну в Пфальце якобы за права супруги, используя в качестве плацдарма владения любовника.

Когда всех троих — Мсье, Мадам и шевалье — без долгих слов отправили в Сен-Клу, я решила, что королю просто прискучили их дрязги. Теперь я понимаю, что король мыслит метафорами и собрал их вместе, чтобы стравить, как собак, перед началом кампании. Как в глазах римлян домашние свары Юпитера и Юноны проявлялись громом и молнией, так скандальный треугольник в Сен-Клу проявится войной в Пфальце. Империя Людовика, которая сейчас заканчивается в Аргоннском лесу, расширится до Мангейма и Гейдельберга, а когда в Сен-Клу воцарится семейный мир, Франция станет на двести миль шире, и «железный заслон» пройдёт

по выжженным землям, населённым прежде немецкими реформатами.

Всё это я осознала в считаные мгновения, а затем всю ночь лежала без сна, гадая, что мне делать. Некоторое время назад я сочинила собственную метафору касательно псов по кличке Фобос и Деймос и вставила в письмо к д'Аво, надеясь, что люди принца Оранского прочтут её и поймут. Тогда я очень гордилась своим умом. Однако теперь моя метафора кажется детской и беспомощной в сравнении с метафорой Людовика. Хуже того, тогда я давала понять, что не знаю, ударит ли Лувуа по Голландской республике или отведёт армию к востоку и переправится через Рейн. Теперь я уверена, что знаю ответ и должна уведомить принца Оранского. Однако я была в Сен-Дизье и не имела никаких подтверждений своим догадкам, кроме слов бродяги и собственного убеждения, что я проникла в логику короля, да и то могло через несколько часов растаять, подобно росе, как с наступлением дня тают ночные страхи.

Я уже готова была сама пуститься в дорогу, словно бродяжка, когда, перед началом утренней мессы, у ворот обители остановился пыльный, забрызганный грязью экипаж, и некий господин,

постучав в ворота, спросил меня по имени, которым я здесь назвалась.

Мы с ним двинулись в путь, как только его лошадей накормили и напоили. Мой новый спутник — доктор Эрнест фон Пфунг, многострадальный учёный муж из Гейдельберга. В его детстве Пфальц заняли и разорили императорские войска; по окончании Тридцатилетней войны, когда Пфальц, согласно договору, передали Зимней королеве, его семья помогала ей в обустройстве двора и осталась жить в гейдельбергском замке. Он давно знает Софию, её братьев и сестёр; образование, в том числе степень доктора юриспруденции, получил в Гейдельберге. Он служил советником у курфюрста Карла-Людвига (брата Софии, отца Лизелотты) и пытался вразумлять Лизелоттиного брата Карла, когда тот унаследовал трон. Однако Карл был слабоумный от рождения и хотел лишь устраивать потешные осады в своих рейнских замках, куда собирал отребье вроде Джека в качестве солдат. Во время одной из таких осад он подхватил лихорадку и умер, после чего и возник спор о наследстве, которым Людовик не преминул воспользоваться.

Доктор фон Пфунг, видевший ребёнком, как католическая армия грабит, насилует и жжёт

его родину, вне себя от тревоги, что теперь то же самое повторят французы. События последних дней нимало не умерили его страхов.

Между Гейдельбергом и герцогством Лотарингским Священная Римская империя образует стомильной ширины клин, вдающийся во Францию до самого Мозеля. Он зовётся Сааром; доктор Пфунг, дворянин и подданный императора, всегда проезжал им свободно и безопасно. Ближе к Лотарингии Саар дробится на несколько микроскопических княжеств. Через них-то доктор фон Пфунг и намеревался добраться до Лотарингии, которая формально подчинена императору, а затем пересечь её границу с Францией неподалёку от Сен-Дизье.

По счастью, доктор фон Пфунг сполна наделён умом и предусмотрительностью, приставшими человеку его возраста и учёности. Он не просто предположил, что его план увенчается успехом, а загодя выслал вперёд нескольких верховых, чтобы разведать местность. Когда они не вернулись, он всё же тронулся в путь, надеясь на лучшее, но вскоре встретил одного из них на дороге — тот возвращался с дурными вестями. Обнаружились некие препятствия весьма сложного свойства, которые доктор фон Пфунг разъяснять не стал.

Он велел поворотить карету и проехал по восточному берегу Рейна до самого Страсбурга, там переправился в Эльзас и двинулся дальше со всей возможной поспешностью. Как дворянин он может носить оружие и не пренебрегает этим правом: помимо рапиры у него два пистолета и мушкет в экипаже. Его сопровождают двое верховых — сходным образом вооружённые молодые дворяне. Каждую заставу и переправу им пришлось брать обманом и хитростью; по лицу доктора фон Пфунга видно, как утомило его постоянное напряжение. Как только мы выехали из Сен-Дизье, он весьма учтиво извинился, снял парик, явив обрамлённую седым пушком лысину, и на четверть часа закрыл глаза.

По пути сюда он укрепился в худших своих догадках, но не узнал ничего определённого, посему терзался теми же сомнениями, что и я. Когда он немного ожил, я сказала:

— Не сочтите меня дерзкой, доктор, но, как мне представляется, очень многое зависит от того, что мы сумеем либо не сумеем выяснить в последующие несколько дней. Мы с вами пустили в ход весь свой ум, однако узнали лишь самую малость. Не следует ли нам, ослабив осторожность, укрепиться в мужестве и направиться в самую

гущу событий?

Вопреки моим ожиданиям, лицо доктора фон Пфунга тут же смягчилось и разгладилось. Он улыбнулся, явив отличные вставные зубы, и кивнул, словно отвешивая лёгкий поклон.

— Я уже решил испытать судьбу, и если кажусь вам нервным и рассеянным, то лишь потому, что не смел подвергать опасности вашу жизнь. Я по-прежнему неспокоен, ибо у вас, в отличие от меня, всё ещё впереди. Но…

— Довольно, не будем тратить силы на пустые разговоры, — отвечала я. — Решено. Бросаем жребий. А как ваши спутники?

— Они офицеры кавалерийского полка и в случае войны, вероятно, падут первыми. Оба — люди чести.

— А ваш кучер?

— Он сызмала служит нашему семейству и никогда бы позволил мне пуститься в путь или умереть в одиночку.

— Тогда прикажите ему повернуть к Мёзу, до которого отсюда два или три дня пути через Аргоннский лес.

Доктор фон Пфунг, не колеблясь, постучал по крыше кареты и велел кучеру весь следующий день править на восток. Тот, естественно, выбрал

самую наезженную дорогу, так что мы двинулись по колеям, оставленным тяжело нагруженными воловьими упряжками.

Уже через несколько часов мы нагнали обоз, который взбирался на возвышенность между Орненом и Марной. Кучер вынужден был обгонять возы по одному, на тех участках, где дорога расширялась. В окно кареты мы с доктором фон Пфунгом ясно видели, что возы нагружены чушками серого металла, явно не железа, судя по отсутствию каких-либо следов ржавчины. Итак, свинец. Читатель, надеюсь, ты не сочтёшь меня легкомысленной, если я признаюсь, что возликовала, видя подтверждение своей проницательности. Однако первый же взгляд на доктора фон Пфунга рассеял мою глупую радость: такое лицо бывает у человека, который поздно вечером вернулся домой и видит, что из окон валит дым и вырывается пламя.

Колонну возглавлял французский офицер, который выглядел так, будто его на сто лет сослали в чистилище. Он не стал нас окликать, и мы быстро оставили обоз позади. Однако нашим попыткам наверстать упущенное время воспротивилась Природа. Аргоннская возвышенность тянется с севера на юг, поперёк нашего пути и разрезана

многочисленными ущельями. Там, где земля ровная, она густо заросла лесом. Нам оставалось лишь следовать по дорогам и переправляться по существующим бродам и мостам, пусть даже опасным и обветшалым.

Тем не менее жалкий вид молодого офицера подсказал мне мысль. Я попросила доктора фон Пфунга закрыть глаза и дать слово, что не будет подсматривать. Он настолько смутился, что вылез из кареты и пошёл рядом пешком. Я переменила затрапезное платье, взятое в монастыре, на то, которое привезла с собой. В Версале им бы побрезговали мыть полы. Здесь, в Аргоннском лесу, от него легко мог заняться пожар.

Через час, на спуске к Орнену, мы нагнали другой гружённый свинцом обоз; возы ползли под уклон, поминутно сталкиваясь, отчего долина оглашалась треском и яростной бранью погонщиков. Как прежде, во главе обоза ехал молодой офицер. Вид у него был такой же страдальческий, что у предыдущего, во всяком случае, пока я не высунулась из окна кареты и в значительной мере из декольте. Как только прошло первое изумление, он едва не разрыдался от счастья. Мне было приятно, что я доставила бедняге радость, да ещё без малейших усилий — всего лишь надев

платье и выглянув в окно. Офицер так широко раскрыл рот, что напомнил мне рыбу, и я решила закинуть удочку.

— Простите, мсье, не скажете ли, где я могу найти моего дядю?

Он ещё шире открыл рот и залился краской.

— Тысяча извинений, мадемуазель, но я его не знаю.

— Не может быть! Все офицеры его знают! — вскричала я.

— Простите, мадемуазель, вы неправильно меня поняли. Без сомнения, ваш дядя — великий человек, чьё имя я бы немедленно узнал, если бы услышал, но я по тупости и невежеству не узнаю *вас,* а посему не ведаю, какой из знатных полководцев имеет счастье доводиться вам дядей.

— Мне казалось, что меня все знают! — Я надула губки. Офицер окончательно смешался. — Моё имя… — Тут я обернулась и легонько хлопнула доктора фон Пфунга по руке. — Прекратите! — Затем офицеру: — Мой сопровождающий — нудный старикашка — не позволяет мне представиться!

— Разумеется, мадемуазель, для юной дамы представиться молодому человеку было бы непростительно.

— Тогда будем беседовать инкогнито и скроем

наш разговор от всех, будто любовное свидание.

Я ещё дальше высунулась из окна и поманила офицера рукой. Бедняга едва не грохнулся в обморок — я боялась, что он упадёт с лошади и намотается на ось нашего экипажа. Впрочем, он кое-как усидел в седле и подъехал настолько близко, что я смогла опереться на эфес его шпаги, после чего продолжила, уже шёпотом:

— Вы, наверное, догадались, что мой дядя — человек очень высокого ранга, присланный сюда королём, дабы в предстоящие дни исполнить волю его величества.

Офицер кивнул.

— Я возвращалась из Уайонны в Париж, но, прослышав по дороге, что он здесь, решила нанести ему внезапный визит — и ни вы, ни мой сопровождающий, никто на свете не сможет этому помешать! Мне надо лишь знать, где его ставка!

— Мадемуазель, ваш дядя — шевалье д'Адур?

Я сделала такое лицо, словно подавилась ложкой.

— Разумеется, нет, я и не думал… и вы не из Лотарингского дома, иначе не спрашивали бы дорогу… так это Этьенн д'Аркашон? О, нет, он единственный ребёнок в семье и не может иметь племянницы. Однако по тому, как смягчилось

ваше прекрасное лицо, мадемуазель, я вижу, что приближаюсь к истине. А в этих краях выше молодого д'Аркашона только сам маркиз де Лувуа. Только я не знаю, прибыл ли он уже с голландской границы… Если прибыл, вам следует искать его на берегу Мёза. Если же там скажут, что он уже отбыл, вам придётся последовать за ним в Саар.

Этот разговор произошёл позавчера, и с тех самых пор мы едем лесами на восток. Настроение похоронное, ибо как только доктор фон Пфунг услышал фамилию Лувуа, он понял, что вторжение предрешено. Впрочем, офицер мог строить догадки, или передавать беспочвенный слух, или говорить мне то, что я хочу услышать. Мы должны своими глазами получить неопровержимые свидетельства.

Покуда я пишу, мы вновь преодолеваем утомительный спуск — на сей раз к Мёзу. Отсюда река течёт через Арденны и через Испанские Нидерланды к территориям у голландской границы, где лучшие французские полки долгое время угрожали Вильгельму с фланга.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЕШИФРОВЩИКА: *Здесь отчёт теряет всякую связность. Графиня по неосторожности заехала в расположение войск Вашего Величества, где с ней произошёл инцидент, ко-*

торый она не успела описать. Далее, по пути к Нимвегену, она оставила несколько обрывочных заметок о том, что произошло на берегу Мёза. Они перемежаются записями о полках, которые двигались на юг, дабы соединиться с силами Вашего Величества на Рейне. Опросив людей, видевших графиню во французской армии, я смог восстановить её перемещения и таким образом разобраться в записях. Приведённый рассказ осмысленнее оригинала, но, полагаю, не уступает ему в точности и будет куда содержательнее, а следовательно, приятнее Вашему Величеству. Одновременно я выпустил всё касательно передислокации батальонов и проч.

Б. Р.

ЗАПИСЬ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 1688

Скачу на север и едва успеваю набросать несколько слов, покуда меняют лошадей. Карета разбита, кучер и доктор фон Пфунг погибли. Я скачу вместе с двумя кавалеристами из Гейдельберга. Пишу эти слова в деревеньке на Мёзе, по всей видимости неподалёку от Вердена. Меня уже зовут.

Продолжаю вечером. Думаю, мы недалеки от того места, где Франция сходится с Испанскими

Нидерландами и герцогством Люксембургским. Пришлось свернуть от Мёза и углубиться в лес. Отсюда и до Льежа, который лежит примерно в ста милях к северу, река течёт не по прямой, а изгибается к западу, преимущественно по территории Франции, что удобно для доставки французских боеприпасов, но неудачно для нас. Вместо того чтобы следовать вдоль реки, попытаемся пересечь Арденны [как зовётся этот лес] с юга на север.

ЗАПИСЬ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1688

Переводим дух и потираем мозоли от сёдел, покуда Ганс ищет брод. Попытаюсь пока разъяснить, что с нами произошло.

Когда три дня назад [вынуждена была посчитать на пальцах, ибо казалось, что прошло не менее трёх недель!] мы наконец добрались до Мёза, то немедля увидели ожидаемые свидетельства: тысячи древних деревьев повалены, долина наполнена дымом, вдоль реки сооружены временные пристани. Авангарды полков с голландской границы прибыли по воде, встретились с присланными из Версаля офицерами и начали подготовку к встрече самих полков.

В течение нескольких часов доктор фон Пфунг

не произнёс ни слова, когда же попытался наконец что-то сказать, я услышала лишь бессвязное мычание и поняла, что его хватил удар.

Я спросила, не хочет ли он повернуть назад. Доктор лишь отрицательно помотал головой, указал на меня, затем на север.

Всё рассыпалось. До того момента я предполагала, что мы действуем по некоему продуманному доктором фон Пфунгом плану, но тут задним числом поняла, что мы опрометчиво устремились навстречу опасности, как человек, которого дикий конь вынес на поле брани. Способность мыслить на время совершенно меня покинула. Стыдно признаться, из-за этого мы и угодили прямо в лагерь кавалерийского полка. Капитан постучал по дверце кареты и потребовал объяснить, кто мы такие.

Он уже видел, что бóльшая часть нашего отряда — немцы, и скоро догадался бы о пфальцском происхождении доктора фон Пфунга и остальных моих спутников, что неизбежно повлекло бы за собой подозрения в шпионаже и худшие из возможных последствий.

Во время долгого путешествия по Марне я не раз проигрывала в голове различные повороты событий и отрепетировала несколько легенд,

которые смогу рассказать, если меня задержат. Однако сейчас, глядя в лицо капитана, я была так же неспособна лгать, как онемевший от удара доктор фон Пфунг. На беду мы с Лизелоттой не предусмотрели истинных масштабов операции, соответственно, не ожидали, что ею будут руководить люди столь высокопоставленные; поблизости мог оказаться граф или маркиз, с которым я обедала либо танцевала в Версале. Назваться чужим именем и поведать вымышленную историю значило бы расписаться в шпионаже.

Потому я сказала правду:

— Не ждите, что этот господин меня представит, — с ним приключился удар, и он не может говорить. Я Элиза, графиня де ля Зёр, прибыла сюда по поручению Елизаветы-Шарлотты, герцогини Орлеанской, законной наследницы Пфальца, во имя которой вы собираетесь вступить в эту страну. Мой спутник — сановник гейдельбергского двора — состоит у неё на службе. Она отправила нас сюда в качестве своих официальных представителей, проследить, чтобы всё было должным образом.

Последние бессмысленные слова я присовокупила, ибо не знала, что сказать, и почти потеряла голову. Даже под императорским дворцом в Вене,

когда янычарский ятаган должен был опуститься на мою шею, я не чувствовала такого смятения. Полагаю, капитана впечатлила сама расплывчатость моих слов; он отступил от кареты, низко поклонился и сказал, что без промедления доложит обо мне начальству.

Ганс вернулся и сказал, что нашёл брод, посему сообщу лишь, что весть о нашем прибытии передавалась по цепочке вверх, пока не достигла человека, который мог меня принять без ущерба для моего ранга. Человеком этим оказался Этьенн д'Аркашон.

ЗАПИСЬ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1688

Мои спутники полагают, что мы в окрестностях Бастони. Некоторое время не могла вести записи из-за множества событий. Арденнский лес даже в мирное время кишит бродягами и разбойниками [а также, по уверениям некоторых, ведьмами и лешими]. Теперь к ним прибавились французские дезертиры; они прыгают с медленно идущих шаланд и убегают в леса. Мы вынуждены продвигаться медленно и всю ночь поочерёдно нести дозор. Сейчас моя очередь бодрствовать: сижу в развилке дерева, закутавшись в одеяло, и вышиваю при лунном свете.

Люди, пережившие жестокие испытания, склонны в доказательство своего успеха воспитывать детей никчёмными и пустыми, подобно тому, как богатые арабы отращивают длинные ногти. Так и с герцогом д'Аркашоном и его единственным законным сыном Этьенном. Герцог пережил кошмар Фронды и построил королю флот. Этьенн выбрал армию — это его представление о юношеской непокорности.

О некоторых говорят: «Он скорее отрежет себе правую руку, чем сделает то-то и то-то». Об Этьенне говорили, что он пожертвует рукой, лишь бы не нарушить малейшее правило этикета. Теперь же говорят, что из вежливости он и впрямь отрезал себе правую руку: нечто подобное произошло на балу несколько лет назад. Свидетельства расходятся; полагаю, это было что-то постыдное для семьи. Короче, я не знаю подробностей, но, думаю, нет дыма без огня. С тех самых пор молодой д'Аркашон сделался щедрым покровителем резчиков и ювелиров, которым заказывает искусственные руки. Некоторые из них совсем как живые. Рука, которую он подал мне, помогая выйти из экипажа, была слоновой кости с перламутровыми ногтями. Когда мы в его ставке обедали жареным гусем, у него была

уже другая рука, чёрного дерева, с навеки закреплённым ножом для резки мяса — судя по виду, это ещё и превосходное оружие! А после ужина, когда он принялся меня соблазнять, я увидела совершенно новую руку — выточенную из нефрита, с непропорционально большим средним пальцем, собственно, не пальцем даже, а точным подобием восставшего фаллоса. Само по себе мне это было не в диковину: версальские господа и даже некоторые дамы коллекционируют такие вещицы, и некоторые превращают свои покои в истинные святилища Приапа. Однако меня застигло врасплох удивительное свойство этой игрушки: когда Этьенн д'Аркашон нажал скрытый рычажок, палец ожил и зажужжал, словно шмель в банке. По всей видимости, в нём располагалась туго скрученная пружина.

Нет надобности объяснять тебе, читатель, что после недавних событий я сама была как пружина, и уверяю тебя, тело мое ослабело куда раньше, чем в нефритовом пальце кончился завод.

Ты вправе укорить меня за то, что я предавалась плотским утехам, покуда доктор фон Пфунг лежал сражённый ударом, однако долгие часы в тесном экипаже один на один с умирающим пробудили во мне неукротимую жажду жизни.

Я закрыла глаза и в экстазе рухнула на кровать, огласив воздух протяжным криком. Всё тело было пронизано сладкой истомой. Этьенн проделал какой-то ловкий манёвр, но я едва ли сознавала, что происходит. Когда я открыла глаза, то поняла, что место нефритового фаллоса занял настоящий. Ты скажешь, что безумие отдаваться подобным образом, — что ж, твоё право. И впрямь, выйти замуж за такого человека было бы роковой ошибкой, а вот опрятный, исключительно вежливый любовник с упоительно вибрирующим фаллосом вместо большого пальца — не худшее, что можно придумать. Его озорник меж моих чресл был тёплым и ласковым, мне не пришло в голову возражать, и, ещё не осознав возможных последствий, я поняла, что он кончает во мне.

ЗАПИСЬ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1688

По-прежнему в треклятых Арденнах, ползём на север, время от времени останавливаясь, чтобы пронаблюдать за перемещениями войск. Когда-нибудь этот лес должен закончиться! По крайней мере, мы привыкли к местности, но временами всё равно продвигаемся не быстрее, чем мышь, прогрызающая ход в дереве.

Когда на следующий день я проснулась в по-

стели Этьенна д'Аркашона, он, как это обычно бывает, уже ушёл; необычнее то, что он сочинил и оставил на столике любовное послание:

Дам возвышает знаменитый род,
Гербы и грамоты под древней пылью,
Но древо родовое червь грызёт,
И тронуты побеги жадной гнилью.
Кровь моей дамы, как родник, чиста,
Заплачено за титул – мне нет дела.
Её краса залог, что сбудется мечта
Об отпрысках, чьё безупречно тело.

Этьенн расположился в небольшом замке на восточном берегу Мёза. Из окна я видела бельгийские баржи — взятые внаём, купленные или реквизированные — с французскими солдатами на борту. Все они двигались в одну сторону — на юг. Я оделась и спустилась вниз, где меня дожидался кучер доктора фон Пфунга.

Накануне я рассказала Этьенну д'Аркашону, какая беда приключилась с моим другом, и тот отправил к нему своего личного врача. Я собственными глазами видела, что сотворил лейб-медик с французским королём, поэтому согласилась неохотно. И впрямь, кучер сообщил,

что доктору фон Пфунгу ночью дважды отворяли кровь, и теперь он совсем слаб. Несчастный знаками выразил желание немедленно вернуться в Пфальц, чтобы перед смертью последний раз взглянуть на Гейдельбергский замок.

Мы с кучером понимали, что это невозможно. Согласно моей легенде, мы были здесь посланцами Лизелотты, и в таком случае нам надлежало либо оставаться с войском, либо возвращаться на запад в Сен-Клу, но никак не мчаться впереди наступающей армии. Однако доктор фон Пфунг хотел вернуться домой, мне же требовалось пробираться на север — сообщить принцу Оранскому, что французские войска скоро уйдут с его южного фланга. Итак, мы составили план: уехать в тот же день, якобы с целью доставить доктора фон Пфунга на запад, и выбраться из расположения войск, после чего экипаж повернёт на восток к Гейдельбергу, а я отправлюсь на север в сопровождении двух кавалеристов (оба они носят звучные титулы, но я буду называть их по именам — Иоахим и Ганс). Позже я могла бы оправдаться, объявив, что они оказались протестантскими шпионами на службе у Вильгельма Оранского и похитили меня силой.

Сперва всё шло по плану: мы переправились

через Мёз, как если бы собирались на запад, но вместо этого двинулись на север навстречу нескончаемым вереницам конных и воловьих упряжек, тянувших вверх по реке баржи с французскими солдатами.

Примерно к середине дня мы достигли переправы, где и решили разделиться. Я поцеловала доктора фон Пфунга и сказала ему несколько слов — хотя никакие слова, тем более сочинённые в спешке, не могли выразить моих чувств; куда больше доктор сумел поведать глазами и тёплым рукопожатием. Я вновь переоделась в мужское платье, надеясь сойти за пажа моих спутников, и села на низкорослую лошадку, которую любезно одолжил мне Этьенн д'Аркашон. С паромщиком пришлось долго торговаться — он не хотел двигаться наперерез баржам; однако наконец карета заехала на паром, под колеса подложили колодки, лошадей стреножили, и начался недолгий путь к другому берегу Мёза.

Они были уже у другого берега, когда их окрикнул французский офицер с одной из шаланд. Он в подзорную трубу разглядел герб доктора фон Пфунга на дверце кареты и узнал в нём пфальцского уроженца.

У кучера было письмо от Этьенна д'Аркашона

с разрешением следовать на *запад,* но карета явно направлялась на *восток.* Оставалось одно: гнать прочь, что кучер и сделал, едва паром пристал к берегу. Единственная дорога шла вдоль реки и лишь затем сворачивала к деревне; кучер вынужден был править на виду у нагруженных мушкетёрами барж. У некоторых на корме были установлены фальконеты. Офицер отдал трубу помощнику, вытащил саблю, поднял её и в следующее мгновение опустил, давая сигнал. Немедленно французские баржи окутались облаком дыма. Над Мёзом закружили птицы, вспугнутые грохотом пальбы. Карета разлетелась в щепки, лошадей разорвало в клочья, судьба отважного кучера и недужного пассажира не оставляла сомнений.

Я могла бы остаться и немного поплакать, но местные крестьяне видели, что мы приехали вместе с экипажем; очень скоро кто-нибудь из них продал бы эти сведения французам. Итак, мы тронулись в путь, который продолжаем и по сей день.

ЗАПИСЬ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1688

Окрестные жители говорят, что здешние земли принадлежат епископу. Это вселяет надежду,

что мы в епископстве Льежском, не так далеко от Голландской республики. Иоахим и Ганс долго спорили на немецком, который я с трудом разбираю. Иоахим хочет в одиночку повернуть к востоку, добраться до Рейна и возвратиться в Пфальц, чтобы предупредить сограждан. Ганс считает, что родине уже не помочь; остаётся лишь мстить, помогая Защитнику протестантской веры.

Позже. Спор разрешился так: мы двинемся мимо французских позиций к Маастрихту, а дальше баржей доберёмся до Нимвегена, где Рейн и Мёз едва не сливаются в поцелуе. Это сто миль к северу отсюда, но, возможно, до Рейна так добраться быстрее, чем напрямик к востоку через Бог весть какие опасности. В Нимвегене Иоахим и Ганс узнают последние новости от лодочников и пассажиров, прибывших по Рейну из Мангейма и Гейдельберга.

Покинув место привала под Льежем, мы довольно быстро миновали зону французского военного контроля и ехали по развороченной земле, где ещё несколько дней назад стояли французские полки. На границе для видимости оставлены несколько французских рот. Они останавливают и проверяют всех, кто едет с севера на юг, но

беспрепятственно пропускают тех, кто, подобно нам, всего лишь направляется к Маастрихту.

ЗАПИСЬ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1688

На судёнышке, идущем из Маастрихта в Нимвеген. Условия не лучшие, но, по крайней мере, не надо больше идти или скакать верхом. Возобновила знакомство с мылом.

ЗАПИСЬ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1688

Я в каюте корабля, идущего по каналу на запад через Голландскую республику.

Рядом спят принцессы.

Немцы, при всём своём аккуратизме, обожают сказки, или, как они говорят, *Märchen*. Параллельно с их опрятным христианским миром существует *Märchenwelt*, языческое царство чудес и волшебных персонажей. Почему они верят в *Märchenwelt*, для меня было и остаётся загадкой, но сегодня я ближе к пониманию, чем вчера. Ибо вчера мы добрались до Нимвегена и тут же отправились на пристань. Я стала искать баржу, идущую в Гаагу или Роттердам, Иоахим и Ганс тем временем расспрашивали пассажиров, прибывших по Рейну. Не успела я устроиться в удобной каюте, как появился Иоахим с двумя

персонажами прямиком из *Märchenwelt*. Это были не гномы и не феи, а принцессы: одна взрослая [думаю, ей нет тридцати], другая с ноготок [она уже трижды повторила мне, что ей пять]. Натурально, у маленькой была кукла, по её уверениям — тоже принцесса.

Они ничуть не походили на государынь. У матери — её зовут Элеонора — есть что-то от королевской повадки, но тогда я этого не заметила, ибо, едва увидев чистую постель [мою] и поняв, что я пригляжу за Каролиной — так зовут дочь, — она рухнула на [мою] кровать, уснула и проспала несколько часов кряду. К тому времени баржа давно уже была в пути. Я почти всё это время болтала с маленькой Каролиной, которая старательно уверяла меня, что она принцесса, но поскольку то же самое она говорила про грязный лоскутный комок у себя в руках, я не очень-то обращала внимание.

Однако Иоахим заверил, что оборванка, храпящая в моей постели, и впрямь принадлежит к августейшему дому. Я уже хотела ответить, что его провела мошенница, когда вспомнила про Зимнюю королеву: как та, изгнанная папистами из Богемии, скиталась по всей Европе, покуда не обрела пристанище в Гааге. А живя в Версале я

больше, чем нужно, узнала о бедственном положении многих аристократических и королевских семейств. Так ли невероятно, что три принцессы — мать, дочь и кукла — остались без крова и куска хлеба на нимвегенской набережной? Ведь в эту часть Европы пришла война, а войны рвут завесу между повседневным миром и *Märchenwelt*.

К тому времени, как Элеонора проснулась, я успела починить куклу и настолько прониклась ответственностью за Каролину, что готова была похитить её у матери, если бы та, проснувшись, оказалась сумасшедшей. [Я вовсе не склонна относиться так к детям вообще; в Версале моим заботам то и дело поручали малолетних засранцев, чьи имена я давно позабыла. Однако Каролина умна, с ней интересно разговаривать; такой приятной беседы у меня не было уже несколько недель.]

Когда Элеонора встала, умылась и подкрепилась моей провизией, она поведала историю, хоть и дикую, но по современным меркам вполне правдоподобную. Она назвалась дочерью герцога Саксен-Эйзенахского, вдовою маркграфа Бранденбург-Ансбахского; дочь её полностью именуется Вильгельминой-Каролиной Ансбахской. Когда несколько лет назад маркграф умер от оспы, его

титул перешёл к сыну от первого брака, который всегда считал Элеонору злой мачехой [куда без неё в сказке!], поэтому выгнал их с Каролиной из замка. Они вернулись на родину Элеоноры, в Эйзенах, — местность на краю Тюрингского леса, в двухстах милях к востоку от того, где мы сейчас. Её положение тогда, несколько лет назад, было полной противоположностью моему: знатный титул и никаких средств, в то время как я, не имея иных титулов, кроме «невольница» и «бродяжка», располагала кое-какими деньгами. Так или иначе, они с Каролиной вынуждены были поселиться в фамильном охотничьем домике среди Тюрингского леса. Однако в Эйзенахе Элеонору хотели видеть не больше, чем в Ансбахе после смерти мужа, поэтому она хоть и проводила там часть года, старалась больше гостить у дальних родственников в разных частях северной Европы, переезжая время от времени, чтобы не слишком надоесть хозяевам.

Недавно она нанесла короткий визит в Ансбах, пытаясь наладить отношения с пасынком, а оттуда отправилась в Мангейм к какому-то кузену, который и прежде им помогал. Они с Каролиной прибыли, разумеется, в самое неудачное время, несколько дней назад, когда выстроенные в Ха-

генау французские баржи подошли по Рейну и принялись бомбардировать городские укрепления. Кому-то хватило присутствия духа посадить их на баржу с состоятельными беженцами. Вскоре они были вне опасности, хотя ещё день или два слышали отголоски канонады. До Нимвегена добрались без происшествий, но на борту было столько беженцев, в том числе тяжелораненых, что Элеоноре лишь изредка удавалось прикорнуть. Когда они с дочерью, пошатываясь, перебирались по сходням на пристань, Иоахим — знатный пфальцский дворянин — узнал их и привёл ко мне.

Теперь рейнское течение несёт нас, вместе с плавучим мусором, к морю. Я не раз слышала, как немцы и французы презрительно сравнивают Нидерланды со сточной канавой, которая собирает все помои христианского мира, но не может смыть их в море, а откладывает грудой под Роттердамом. Это грубый и нелепый поклёп на отважную маленькую страну. Однако глядя на себя и на принцесс, а также вспоминая наши недавние странствия [долгий мучительный путь через тёмные опасные края к воде и дальше вниз по течению], я различала в приведённом сравнении долю жестокой правды.

Впрочем, мы не позволим, чтобы нас смыло в море. В Роттердаме мы отклонимся от естественного течения реки и по каналу двинемся к Гааге. Здесь принцессы обретут убежище, как Зимняя королева на исходе своих мытарств, а я попытаюсь дать связный отчёт принцу Оранскому. Вышивка моя, ещё не законченная, уже безнадёжно испорчена, но в ней есть всё, что нужно Вильгельму. Закончив отчёт, я сошью из неё подушку. Все будут дивиться, зачем я храню в доме старую линялую тряпку, и тем не менее я не выброшу её, что бы ни говорили. Начиная её, я думала отмечать лишь перемещения французских войск и тому подобное, но странствия давали мне досуг для вышивки, и я понемногу начала поверять ей свои мысли и чувства. Может быть, мною двигала скука, а может — желание, чтобы какая-то частичка меня сохранилась, если я погибну или попаду в плен. Глупо, наверное, однако женщина, лишённая семьи и почти без друзей, живёт на краю отчаяния, проистекающего из страха умереть, не оставив по себе следа; страха, что всё, ею сделанное, канет в небытие, а воспоминания [скажем, о докторе фон Пфунге] оборвутся, как крик в тёмном лесу. Писать такой подробный дневник небезопасно; я делаю это,

дабы не думать с тоской, что жизнь моя пройдёт бесследно. Так я, по крайней мере, становлюсь частью истории, вроде тех сказок, какие матушка рассказывала мне в алжирских баньёлах или какими Шахерезада продлила себе жизнь на тысячу и одну ночь.

Впрочем, учитывая шифр, которым я пользуюсь, тебя, любезный читатель, скорее всего, не будет, посему не вижу причины и дальше тыкать иглой в грязную ткань, когда я так устала и покачивание барки соблазняет меня смежить веки.

Россиньоль – Людовику XIV, продолжение

ноябрь 1688

Ваше Величество ужаснётся истории дерзости и предательства, которая, стань она известна, нанесла бы непоправимый ущерб репутации Вашей невестки, герцогини Орлеанской. Говорят, она убита горем и не ценит усилий, которые Вы, Ваше Величество, приложили к восстановлению её законных прав на Пфальц. Из уважения к рангу и человеческого сострадания к чувствам Мадам я тщательно храню в тайне те сведения, которые, в случае огласки, лишь усугубили бы её муки. Приложенный отчёт я направляю только Вашему Величеству. Д'Аво неоднократно просил у меня экземпляр, но я отклонил все его просьбы и буду отклонять впредь, если только Ваше Величество не повелит мне отправить ему этот документ.

За то время, что я его расшифровывал, Фобос и Деймос вырвались на восточный берег Рейна. Свинец, за которым графиня столь дерзко следовала до самого Мёза, окончил свой долгий путь в телах и домах пфальцских еретиков. Половина

молодых версальских придворных отправилась на охоту в Германию; многие из них пишут письма, которые мне по долгу службы приходится читать. Я узнал, что Гейдельбергский замок ярко пылал несколько дней и всем не терпится повторить эксперимент в Мангейме. Филипсбург, Майнц, Шпейер, Трир, Вормс и Оппенгейм запланированы на конец года. В начале зимы Ваше Величество с прискорбием узнает о совершённых зверствах. Вы отзовёте армию и примерно отчитаете Лувуа за излишнюю жестокость. Историографы объяснят, что Король-Солнце не может отвечать за поступки своих солдат.

От своих агентов в Англии Ваше Величество, несомненно, знает, что Вильгельм Оранский сейчас там, во главе войска, составленного не только из голландцев, но также из английских и шотландских полков, размещённых на голландской земле согласно мирному договору, гугенотского отребья, бежавшего из Франции, скандинавских наёмников и пруссаков, которых для такого случая одолжила ему София-Шарлотта, дочь треклятой ганноверской сучки Софии.

Всё это лишь доказывает, что Европа — шахматная доска. Ваше Величество не может получить (скажем) Рейн, не пожертвовав (скажем) Ан-

глией. Подобным образом София и Вильгельм в конечном счёте поплатятся за то, что выиграли своими бесчестными махинациями. Что до графини де ля Зёр, новый английский король может сделать её герцогиней Йглмской, но Ваше Величество, без сомнения, позаботится, чтобы утраты её были сопоставимы.

Граф д'Аво удвоил наблюдения за графиней в Гааге. Прачка, стирающая бельё в доме Гюйгенса, заверила его, что с самого приезда у графини ни разу не было обычного женского. Она брюхата от Аркашона и посему принадлежит теперь к французскому королевскому дому, коего Ваше Величество является главой. Поскольку это дело семейное, я устраняюсь от дальнейшего вмешательства, если только Ваше Величество не распорядится иначе.

С глубоким почтением честь имею быть
Вашего Величества нижайший
и покорнейший слуга Бонавантюр Россиньоль.

Ширнесс, Англия

Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое.

Даниил, 5:6

11 декабря 1688

В обычное время Даниель не имел ничего общего с другими придворными; собственно, за это его и держали при дворе. Сегодня, впрочем, его объединяли с ними сразу два обстоятельства. Во-первых, бóльшую часть ночи и почти весь день он рыскал по Кенту в поисках короля. Во-вторых, ему просто необходимо было промочить горло.

Обнаружив себя в одиночестве на берегу среди лодок и заприметив неподалёку таверну, Даниель отправился прямиком в неё, рассчитывая исключительно на кружечку пива и, может быть, на сосиску, в придачу к каковым обнаружил Якова (милостью Божией короля Англии, Шотландии, Ирландии и небольшого клочка Франции) Стюарта, избиваемого двумя пьяными английскими рыбаками. Именно такого унижения абсолют-

ные монархи всячески стараются избежать. Как правило, на сей счёт имеются телохранители и регламент. Можно вообразить, как какой-нибудь древний английский государь, Свен Вилобородый там или Эльмунд, король Кентский, заходит в трактир и раздаёт пару зуботычин. Однако за последующие пять столетий куртуазная мода вытеснила кабацкие драки из списка того, что положено уметь принцам. И это сказалось: королю Якову II расквасили нос. И хорошо расквасили: ему предстояло ходить с красной дулей ещё несколько недель. Как прежние поколения воспевали схватки Ричарда Львиное Сердце и Саладина, так грядущие будут славить расквашенный нос Якова II Стюарта.

Короче, такой сценарий не предусматривали книги по этикету, которые Даниель изучал, подавшись в придворные. Он знал, как обратиться к королю на маскараде в Уайтхолле или на охоте в обширных угодьях его величества, но представления не имел, как нарушить монарший мордобой в портовом кабаке, поэтому просто заказал кружечку пива и принялся обдумывать свои дальнейшие действия.

Его величество держался на удивление достойно. Разумеется, он участвовал в сражениях на

суше и на море; ещё никто ни разу не назвал его трусом. Да и сама потасовка состояла больше из оплеух, не столько настоящая драка, сколько развлечение для себя и для тех, кому нечасто доводится посмотреть на представления с Пульчинелло. Таверна была очень старая, наполовину вросшая в землю; близость потолка к полу не позволяла рыбакам размахнуться как следует. Град мощных ударов не достигал короля; ему доставались лишь звонкие шлепки да затрещины. Даниель чувствовал, что, если бы король просто перестал втягивать голову в плечи, отпустил шутку и заказал всем по кружечке пива, атмосфера мигом переменилась бы. Впрочем, будь Яков такого рода королём, он бы тут просто не оказался.

Во всяком случае, Даниель обрадовался, поняв, что это не серьёзное избиение — в противном случае он должен был бы обнажить шпагу, которой не умел пользоваться. Король Яков II со шпагой управился бы отлично; погружая верхнюю губу в пивную пену, Даниель на мгновение вообразил, как отстёгивает шпагу и бросает через комнату государю; тот ловит её в воздухе, выхватывает из ножен и начинает разить подданных. Даниель мог бы отличиться ещё больше, огрев кого-нибудь кружкой по голове, а лучше — полу-

чив рану-другую, чем заслужил бы бесплатный (строго в одну сторону) билет до Парижа, заочное графство в Англии и почётное место при дворе короля-изгнанника.

Впрочем, он недолго предавался фантазиям. Один из нападавших почувствовал в кармане его величества что-то твёрдое и, запустив туда руку, извлёк распятие. Наступила тишина. Те, кто хоть что-то видел, сочли своим долгом воздать должное символу страданий нашего Спасителя — в значительной мере потому, что крест был из чистого золота.

В атмосфере таверны, густой и тяжёлой, как рыбное заливное, золотисто поблескивающее распятие окружал слабый ореол. Декарт не признавал вакуума; то, что мы считаем пустотой, утверждал он, есть на самом деле скопище частиц, которые, соударяясь, перераспределяют фиксированный импульс, приданный Вселенной Богом при сотворении. Наверное, он пришёл к своим взглядам в кабаке вроде этого. Даниель сомневался, сумела бы пуля, выпущенная у одной стены, пробить туннель в воздухе и долететь до противоположной.

— Это чё?! — вопросил тот, который держал крест.

Яков II неожиданно пришёл в ярость.

— Что-что! Распятие!

Новая пауза. Даниель окончательно прогнал мысль стать графом-изгнанником в Версале и теперь сам чувствовал себя в какой-то степени голодранцем. Его сильно подмывало встать и засветить королю по физиономии, хотя бы в память о Дрейке, который сделал бы это без колебаний.

— Ну, ежли ты не сукин кот езуит, откуда у тебя с собой идолище? — допытывался ловкий на руку малый. — Гри, где взял священный предмет? Спёр в церкви, гри?

Они знать не знают, с кем имеют дело. Теперь всё встало на свои места. До сей минуты Даниель гадал, у кого тут галлюцинации на почве сифилиса.

Яков изумил лондонцев, во весь опор ускакав из Уайтхолла после полуночи. Кто-то видел, как он швырнул в Темзу большую королевскую печать — поступок для государя не вполне обычный — и умчался на восток. Никого из людей благородного или учёного звания не было подле него до той минуты, когда Даниель забрёл в таверну с намерением промочить горло.

По счастью, желание двинуть королю в зубы отпустило. Пьяница, развалившийся на скамье,

смотрел на Даниеля не вполне благожелательно. Тот задумался: если здешние нравы позволяют избить и ограбить хорошо одетого незнакомца, в котором заподозрили иезуита, то и для пуританина Даниеля Уотерхауза всё может обернуться не слишком удачно.

Он одним глотком выпил полкружки пива и повернулся к середине таверны, так, чтобы плащ распахнулся и стала видна шпага. Наличие оружия отметил, с профессиональным интересом, кабатчик, на Даниеля не смотревший; он был из тех, у кого сильно развито периферическое зрение — дай ему подзорную трубу, он поднесёт её к уху и увидит не меньше Галилея. Его лицо, с не раз переломанным носом и запавшим от удара левым глазом, походило на смятую в кулаке глиняную фигурку. Даниель сказал ему:

— Передайте своим друзьям, что, если с этим джентльменом случится беда, есть свидетель, от слов которого у судьи парик встанет дыбом.

С этими словами он вышел на набережную, которая могла бы откликаться и на «веранду» и на «пристань», смотря откуда глядеть. Теоретически судёнышки с неглубокой оснасткой могли бы швартоваться прямо к ней, практически они лежали футах в пятидесяти от обросших ракуш-

ками опор. Цепочки следов вспухшими ранами тянулись от лодок и грязными шлепками продолжались на пристани. В полумиле отсюда, там, где Медуэй впадает в Темзу, покачивались на якоре корабли. Шёл отлив! Яков, прославленный флотоводец, сражавшийся с голландцами на море и порою даже их побеждавший, великий адмирал, наполнивший уши Исаака Ньютона отзвуками своей канонады, прискакал из Лондона в самое неудачное время. Подобно королю Кануту, он вынужден был дожидаться прилива. Жестокая ирония судьбы! Измотанный долгой скачкой и вынужденный как-то убить несколько часов, король забрёл в таверну — а почему бы нет? Куда бы он ни заходил, ему служили, преклонив колени. Однако Яков, который не пил и не ругался, заика, не говорящий на языке английских рыбаков, с тем же успехом мог бы зайти в индуистский храм. Он сменил белокурый парик на тёмный, который свалился в самом начале потасовки, так что стали видны рябая плешь и сальный, липкий от пота бобрик. Парик скрадывает возраст. Сейчас Даниель видел пятидесятипятилетнего малосимпатичного неудачника.

Он внезапно почувствовал, что у него больше общего с этим сифилитичным деспотом-папи-

стом, чем с простыми ширнессцами. Ему совсем не понравилось, куда эти мысли могут занести, поэтому он просто позволил ногам нести себя в другую сторону — на улочку, которая в Ширнессе носила гордое название главной, в гостиницу, где множество хорошо одетых джентльменов металось из угла в угол, заламывая руки и отпихивая ногами кур. Все они, включая Даниеля, сломя голову примчались из Лондона, полагая, что если государь покинул город, то они, оставшись там, пропустят что-то весьма важное. Наивные!

Он рассказал об увиденном Элсбери, постельничему короля, и повернулся к выходу, где его едва не затоптали; каждый придворный торопился поспеть первым. На конюшне Даниелю подвели лошадь. Взобравшись в седло и оказавшись вровень с другими всадниками, он увидел обращённые к себе нетерпеливые лица и, ни в коей мере не разделяя с остальными чувство романтической драмы, бодрым галопом устремился к реке. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что отряд кавалеров преследует круглоголового, и Даниель искренне надеялся, что образ не станет пророческим.

Доскакав до таверны, представители знати в незаурядном количестве набились внутрь и при-

нялись делать громкие заявления. Казалось бы, пьяницы и прочая голытьба должны брызнуть в окна, как мыши от фонаря, однако никто и не подумал очистить таверну, даже когда стало ясно, что перед ними его величество. Другими словами, ширнесский сброд так и не научился всерьёз воспринимать идею монархии.

Даниель минуту-другую стоял на улице. Солнце садилось в рваные тучи, бросая полосы закатного света на Медуэй — громадный отстойник в несколько миль шириной, с берегами извилистыми, как мозг, наполненный всевозможными торговыми и военными кораблями. Военные робко жались к дальнему концу, за цепью, протянутой через реку под защитою пушек замка Апнор. Яков почему-то решил, что флот Вильгельма Оранского ударит сюда, в самое неподходящее место, однако протестантский ветер донёс голландца до залива Тор, в сотне миль к западу, почти в Корнуолле. С тех самых пор принц уверенно продвигался на восток. Английские полки, посланные преградить ему путь, немедленно переходили под знамёна голландца. Если Вильгельм ещё не в Лондоне, то скоро там будет.

Тем временем портовый люд уже возвратился к незлобивому английскому радушию; женщины,

подобрав юбки, спешили к таверне. Они несли королю провизию! Они ненавидели его и хотели, чтобы он убрался, но это не повод забывать о гостеприимстве. У Даниеля были причины медлить: он чувствовал, что должен зайти и попрощаться с королём. В смысле же практическом он почти не сомневался, что, если развернуть лошадь к Лондону, его могут обвинить в конокрадстве.

С другой стороны, до темноты оставался ещё час, а по отливу можно было сэкономить немало времени, если не огибать эстуарий. В Лондоне, чувствовал Даниель, происходят важные события; что до короля и придворных в Ширнессе — если кабацкая рвань не принимает их всерьёз, то с какой стати должен принимать секретарь Королевского общества? Он развернул лошадь крупом к английскому королю и поскакал к свету.

Со дней халдейских звездочётов солнечные затмения время от времени отбрасывали на землю зловещую тень, но Англия зимою иногда радует многострадальных жителей феноменом противоположного свойства, когда после нескольких недель беспроглядной серости солнце, казалось бы, уже севшее, внезапно пробивается из-за туч

и заливает всё розовой, оранжевой и зелёной иллюминацией. Даниель, хоть и был эмпириком, счёл возможным приписать увиденному символический смысл. Впереди всё горело, как будто он ехал через витраж. Позади (а он лишь раз удосужился оглянуться) лежали синюшно-чёрное небо и земля — длинная полоса грязи. Таверна торчала средь покосившихся свай, на дощатых стенах лежали слабые закатные отблески, единственное оконце поблескивало карбункулом. Такой гротескный пейзаж следовало бы написать голландцу. Впрочем, если подумать, голландец его и написал.

Редкий путешественник обратит внимание на замок Апнор — каменный форт, выстроенный Елизаветой сто лет назад, но по виду куда более древний: вертикальные стены были пережитком уже в шестнадцатом столетии. После Реставрации он стал номинальной вотчиной Луи Англси, графа Апнорского, владельца прелестной Абигайль (во всяком случае, Даниель полагал, что она прелестна), и потому Даниель не мог смотреть на замок без содрогания; он чувствовал себя мальчишкой, едущим мимо дома с привидениями. Он объехал бы Апнор стороной, но здесь располагалась ближайшая переправа, и сейчас

было не время поддаваться суевериям. Иначе пришлось бы тащиться несколько миль до базы военного флота в Чатеме и там нанимать лодку, а военная база во время чужеземного вторжения — не лучший перевалочный пункт.

На пристани он сделал вид, будто даёт лошади отдохнуть, и без особого энтузиазма провёл рекогносцировку. Солнце окончательно село, всё стало тёмно-синим на ещё более тёмно-синем фоне. Замок на западном берегу утопал в собственной тени. Впрочем, некоторые окна — особенно в служебных пристройках — светились. На канале под стеной замка стоял двухмачтовик.

Когда в шестьдесят седьмом голландцы подошли с моря, хозяйничали тут три дня, захватили несколько военных кораблей Карла II, а остальные сожгли, замок Апнор выстоял; оттуда даже постреливали по голландцам, когда те приближались. Отблеск этих славных деяний лёг и на Апнора, чьи мытарства — истерия папистского заговора и карточные долги — были ещё впереди. Однако даже такому нерадивому хозяину, как Карл II, показалось обидно, что голландцы заходят в его главный военный порт словно к себе домой, поэтому с тех пор тут выстроили современные укрепления, а замок Апнор низвели

до статуса огромного порохового погреба — с тем подтекстом, что, если он взлетит на воздух, никто не расстроится. Баржи подходили от Тауэра и бросали якорь там, где сейчас стоял двухмачтовик. Даниель плохо разбирался в кораблях, но даже фермер увидел бы, что у этого на корме несколько кают с большими окнами и что за их закрытыми ставнями горит свет. Луи Англси редко здесь бывал, да и какой нормальный граф отправится в сырой каменный мешок сидеть на бочонках с порохом? Другое дело, что во времена беспорядков замок был бы не худшим убежищем. Каменные стены, вероятно, не выдержат голландских ядер, но остановят разъярённую протестантскую толпу, а до реки рукой подать: Апнору довольно выйти на причал, и он, почитай, во Франции.

Редкие дозорные на стенах стояли в обнимку с алебардами, грели руки под мышками и травили баланду; по большей части они смотрели на римскую дорогу внизу, хотя иногда оборачивались, чтобы позабавиться какой-нибудь домашней сценкой во дворе. По течению плыли куриные перья и картофельные очистки, ветер доносил запах дрожжей. Короче, замок жил своей немудрёной жизнью. Даниель заключил, что сейчас Апнора здесь нет, но его ждут. Может быть, не

сегодня, но скоро.

Он оставил Апнорский замок позади и поскакал через Англию — один, в темноте. Сейчас ему казалось, что так он провёл полжизни. После переправы через Медуэй между ним и Лондоном в двадцати пяти милях впереди не осталось серьёзных преград. Даже не будь здесь римской дороги, он, наверное, смог бы отыскать путь, следуя от огня к огню. Опасаться можно было лишь одного: как бы местные жители не приняли его за ирландца. То, что Даниель ничуть на ирландца не походил, значения не имело: пронёсся слух, будто Яков выписал в Англию легион кельтских мстителей. Без сомнения, многие англичане сегодня согласились бы, что незнакомого всадника лучше для начала сжечь, а уже потом, когда пепел остынет, опознавать по зубам.

И так всю дорогу: скука и страх, скука и страх. На скучных отрезках у Даниеля было время задуматься о тяготеющем над ним фамильном проклятии: присутствовать при конце английских королей. Он видел, как скатилась голова Карла I, видел, как Карла II залечили врачи, теперь вот это. Если следующий государь хочет править долго, он позаботится, чтобы Королевское общество отправило Даниеля до скончания

дней ежеутренне замерять атмосферное давление на Барбадосе.

Последний отрезок пути проходил в виду реки, которая являла собой приятное для глаз зрелище: извилистое созвездие корабельных фонарей. С ней резко контрастировала плоская местность, утыканная столпами дымного огня, жар которых щеки Даниеля ощущали за милю, как первый безотчётный румянец стыда. По большей части то были просто костры — единственный способ англичанину выказать чувства. Впрочем, в одном городке, через который он проезжал, папистскую церковь не просто жгли, но и крушили — разбивали ломами оранжевые от зарева люди, в которых он больше не узнавал своих соотечественников.

Река притягивала к себе. Сперва Даниель думал, что его манят её спокойствие и прохлада. Добравшись наконец до Гринвича, он свернул с дороги на траву. Не видно было ни зги — забавно, потому что место это звалось обсерваторией. Однако он придерживался неукоснительной политики: заставлял лошадь идти туда, куда она не хочет, то есть вверх. Занятие примерно как поднимать на революцию большую и в целом благополучную страну.

На вершине холма торчало одинокое здание,

нелепое и наполненное тенями. Тенями натурфилософов. Нижнюю — жилую — часть обступили деревья, закрывавшие весь вид из окон. Любой другой жилец давно бы их вырубил. Флемстиду они не мешали: днём он спал, а ночами смотрел не вокруг, а вверх.

Даниель достиг того места, с которого мог различить между деревьями лондонские огни. Мерцающее небо рассекал чёрный Х шестидесятифутового отражательного телескопа, подпёртого корабельной мачтой. Приближаясь к гребню, Даниель взял вправо, машинально избегая Флемстида, обладающего загадочной отталкивающей силой. Скорее всего, сейчас тот не спал, но и наблюдения вести не мог по причине зарева, поэтому был наверняка раздражительнее обычного и, возможно, напуган. Ставни он для безопасности велел заколотить намертво и сейчас, должно быть, сидел в своей каморке, не слыша ничего, кроме тиканья различных часов. Наверху, в восьмиугольной башенке, располагалась пара сконструированных Гуком, изготовленных Томпионом[121] часов с тринадца-

[121] Примечания: 121

Томас Томпион (1639–1713) — английский часовщик и механик, называемый отцом английского часового дела, начинал как ученик и протеже Гука.

тифутовыми маятниками, которые тикали или, вернее, лязгали каждые две секунды, медленнее, чем человеческое сердце, — гипнотический ритм, ощущавшийся во всём здании.

Даниель вёл лошадь в обход вершины холма. Внизу, у реки, показались сперва кирпичные руины Плацентии, Тюдоровского дворца, потом новые каменные постройки, которые начал возводить Карл II. Следом Темза: сначала гринвичская излучина, затем прямой отрезок до самого Ист-Энда. И наконец перед Даниелем открылся весь Лондон. Огни отражались в морщинистой водной глади, нарушаемые лишь неподвижными силуэтами кораблей. Если бы когда-то он не видел собственными глазами лондонский пожар, то решил бы сейчас, что весь город охвачен пламенем.

Здесь на краю рощицы дубы и яблони цеплялись за самую крутую часть склона. Жилище Флемстида осталось в нескольких ярдах выше и позади, на нулевом меридиане. Голова кружилась от пьяного запаха преющих на земле яблок — Флемстид не давал себе труда их подбирать. Даниель не стал привязывать лошадь, а пустил её покормиться падалицей — тут тебе и выпивка, и закуска. Потом выбрал место, с которого меж

деревьями видел Лондон, спустил штаны, сел на корточки и стал экспериментировать с разными положениями таза, пытаясь выдавить из себя струйку. Он чувствовал, как камень перекатывается в мочевом пузыре, словно пушечное ядро в торбе.

Лондон не был таким ярким с тех пор, как двадцать два года назад сгорел до основания. И не *звучал* так за всю свою многовековую историю. Когда Даниель привык к тишине рощицы, он стал различать несущийся из города гул — не канонады и не тележных колёс, но человеческих голосов. Иногда лондонцы просто горланили, каждый сам по себе, но временами сливались в глухие хоры, которые взмывали, сталкивались и рассыпались, словно волны прилива в извилистом речном устье. Люди пели «Лиллибуллеро», песню, которая в последнее время звучала повсеместно. Слова не значили почти ничего — пустой набор звуков, но общий смысл понимали все: долой короля, долой папизм, ирландцев — вон.

Если бы сцена в таверне не показала этого со всей определённостью, Даниель понял бы сейчас по виду ночного города: свершилось то, что он назвал революцией. Революция произошла, она была Славной — славной тем, что не стала

потрясением. На сей раз не было ни гражданской войны, ни резни, деревья не гнулись под тяжестью повешенных, корабли с невольниками не отплывали к Барбадосу. Льстил ли себе Даниель, полагая это своей заслугой?

Воспитание научило его ждать одномоментного драматического Апокалипсиса. Апокалипсиса не было; была медленная эволюция, действующая постепенно и незаметно, как навоз на пашне. Если что-то важное и происходило, то там, где Даниеля не было. Где-то есть неведомая точка перегиба, про которую потом скажут: «Вот тогда-то всё и случилось».

Даниель не был не настолько старым и усталым пуританином, чтобы не радоваться происшедшему. Однако самая безбурность революции, её, если можно так выразиться, диффузность, воспринималась как знак. Его можно было уподобить астроному, читающему в письме Кеплера, что Земля на самом деле не центр Вселенной. Как и тот астроном, Даниель знал многое и лишь *кое в чём* заблуждался; но теперь должен был пересмотреть и переосмыслить *всё*. Это несколько охладило его пыл, словно случайный порыв ветра, что, залетев в трубу, обдаёт веселящихся золой и оставляет на пудинге горькую корку сажи. Он

был не вполне готов жить в этой новой Англии.

Теперь Даниель понял, почему его так тянуло к реке; не потому, что она безмятежна, а потому, что она может его отсюда унести.

Он оставил лошадь в рощице, с объяснительной запиской Флемстиду, который будет вне себя, потом спустился к реке и разбудил знакомого перевозчика, мистера Бхнха, патриарха крохотной йглмской колонии на южном берегу Темзы. Мистер Бхнх давно привык, что натурфилософы переправляются через реку в самое неурочное время; кто-то в шутку даже предложил выбрать его членом Королевского общества. Он согласился доставить Даниеля на Собачий остров.

Снижение цен на стекло и прогресс в архитектуре позволили строить лавки с большими, выходящими на улицу окнами, чтобы прохожие видели разложенный в них дорогой товар. Ушлые застройщики, такие как Стерлинг (граф Уиллсденский) Уотерхауз и Роджер (маркиз Равенскарский) Комсток возвели целые кварталы, куда придворные ходили глазеть на витрины. Развлечение вошло в моду. Даниель, разумеется, никогда не опускался до новоизобретённого порока, только всякий раз, переправляясь через реку, глазел на корабли, словно переборчивый

покупатель. Лодки и баржи, снующие по Темзе, для него не существовали; каботажные судёнышки с косыми парусами казались досадной помехой. Он поднимал глаза от их толчеи, чтобы глядеть на большие корабли, которые вздымали реи, словно англиканские священники — руку с благословением, в небо, где веял свежий и чистый ветер. Паруса свисали с реев, как иерейские ризы. Сегодня в лондонской гавани таких кораблей было немного, и каждый из них Даниель придирчиво оценивал. Он выискивал, какой мог бы унести его прочь, чтобы не видеть эту землю, чтобы умереть и быть похороненным в другой части света.

Один корабль в особенности приковывал взгляд чёткостью обводов и проворством команды; пользуясь начавшимся приливом, он со слабым южным ветерком поднимался вверх по реке. Движение воздуха было таким слабым, что Даниель не ощущал его на лице, но команда «Зайца» приметила колыхание вымпелов и подняла марсели. Паруса заслонили какую-то часть ветра. Ещё они заслонили свет от костров, отбросив на небо длинные призматические тени. Паруса «Зайца» нависли над чёрной Темзой, светясь, как зашторенные окна. Мистер Бхнх с

полмили шёл в его кильватере, пользуясь тем, что маленькие судёнышки расступаются перед большим кораблём.

— Снаряжён для дальнего плавания, — заметил он, — небось уходит в Америку со следующим отливом.

— Будь у меня абордажный крюк, — сказал Даниель, — я бы взобрался на борт, как пират, и уплыл с ними.

Мистер Бхнх, не привыкший к таким взлётам фантазии у пассажиров, опешил.

— Собираетесь в Америку, доктор Уотерхауз?

— Когда-нибудь, — отвечал Даниель, — а пока ещё надо навести порядок в этой стране.

Сердобольному мистеру Бхнху не хотелось высаживать Даниеля в джунглях восточного Лондона, где пьяная рвань преследовала реальных и вымышленных иезуитов. Даниель не разделял этой тревоги. Он без всяких помех доехал от самого Ширнесса. Даже в таверне его не тронули. Его либо не замечали, либо, заметив, сразу теряли к нему интерес, либо (самое странное) дрейфили и отводили глаза. Ибо в Даниеле чувствовалась сейчас непритворная бесшабашность человека, который знает, что, так или иначе, скоро умрёт; от него словно веяло кладбищенским духом, и

это распугивало людей.

С другой стороны, тому, кто скоро умрёт, не оставив наследников, можно не скупиться. «Плачу фунт, если доставите меня прямиком в Тауэр», — сказал Даниель. Потом, прочтя сомнение на лице мистера Бхнха, раскрыл кошель и высыпал рядом с корабельным фонарём пригоршню монет, в которой отыскал одну не очень тусклую и почти круглую. Если повертеть её под разными углами к свету, сощуриться и добавить капельку воображения, можно было угадать полустёртый портрет первого Якова, который умер шестьдесят с лишним лет назад, но в своё время сумел навести порядок на Монетном дворе. Лодочник взял монету; мгновение спустя веки Даниеля захлопнулись с почти различимым стуком. Он смутно почувствовал, как мистер Бхнх укрыл его тяжёлым шерстяным одеялом, и тут же провалился в беспамятство.

> Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с большим войском и большим богатством.
>
> В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов

твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.

И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его; недостанет силы противостоять.

Даниил, 11:13–15.

Заснувши ночью в лодке, естественно проснуться в той же лодке в ту же самую ночь, однако Даниель далеко не сразу сообразил, что к чему. Телу было жарко сверху, холодно снизу и вообще плохо. Он попытался несколько раз открыть и закрыть глаза, чтобы усилием воли вызвать тёплую постель, но чья-то более мощная воля судила иначе и приговорила его к этим времени и месту. Для кошмара всё выглядело чересчур отчётливым, чересчур вывернутым наизнанку. Лондон — горящий, дымный, поющий — по-прежнему окружал Даниеля. Прямо перед ним вставала из Темзы отвесная каменная стена, густо заляпанная всей той дрянью, которая плывёт по реке. На стене разместились небольшие строения, подъёмные балки, пушки, несколько маленьких и дисциплинированных костров; средь вооружённых людей шныряли мальчишки. Запахи угля,

железа и серы напомнили Даниелю лабораторию Исаака. А поскольку обоняние сообщается с самыми глубинными подвалами мозга, где живут и плодятся полуоформленные мысли, Даниелю на миг представилось, что Исаак приехал в Лондон, захватил власть и построил лабораторию размером с Иерусалим.

Потом он заметил над пристанью каменные башни и стены, за ними другие, ещё более высокие, и понял, что смотрит на Тауэр. Рёв искусственных стремнин между опорами Лондонского моста справа подтверждал догадку.

Причальную стену пронзала арка, полом которой служила чёрная вода Темзы. Лодка мистера Бхнха держалась более или менее рядом с аркой, хотя течение толкало её в одну сторону, прилив — в другую, так что шальные волны и разбойные водовороты трепали её, как вздумается. Короче, мистер Бхнх использовал все навыки выживания на воде, приобретённые у берегов Йглма, и более чем отрабатывал свой фунт: он не только боролся с рекой, но и вёл переговоры с кем-то на причале, сразу над аркой. Человек этот в свою очередь перекрикивался в рупор с джентльменом на парапете стены. Из-за средневековых зубцов выглядывали вполне современные пушки, и возле

каждой угадывался в темноте внушительный орудийный расчёт.

Некоторые солдаты на пристани стояли близко к кострам, и Даниель видел цвет их мундиров. Это был Блекторрентский полк.

Он встал, превозмогая тяготение сырых одеял и недовольство тела, разом припомнившего все обиды, причинённые ему с тех пор, как сутки назад Даниеля разбудили известием, что король ударился в бега.

— Сержант! — закричал он человеку на пристани. — Пожалуйста, сообщите вон тому офицеру, что беглый узник вернулся.

Собственный королевский Блекторрентский гвардейский полк пробыл на востоке ровно столько, сколько потребовалось его командиру, Джону Черчиллю, на тайную встречу с Вильгельмом Оранским. Это, возможно, удивило некоторых гвардейцев, но ничуть не удивило Даниеля, который больше года назад отвёз письма Джона Черчилля, в числе прочих, Вильгельму Оранскому в Гаагу; что в письмах говорится, он не знал, хотя примерно догадывался.

Через несколько дней Черчилль и его солдаты вернулись в Лондон. Однако если они надеялись снова разместиться в Уайтхолле, то жестоко

просчитались. Вильгельм окружил себя голландцами, а Черчилля отправил стеречь Тауэр, который так и так нуждался в защите, ибо там располагались арсенал и Монетный двор, а пушки на стенах держали под прицелом реку.

Даниеля солдаты этого полка знали как человека, которого Яков II бросил в тюрьму, — ура Даниелю! Джеффрис подослал к нему убийц — двойное ура! И он о чём-то столковался с сержантом Бобом — тройное ура! Так что в последние недели перед «побегом» Даниель стал чем-то вроде полкового талисмана; ирландские полки держали исполинских волкодавов, Блекторрентский гвардейский — пуританина.

Короче, мистеру Бхнху разрешили провести лодку в туннель под пристанью. За аркой небо ненадолго показалось вновь, но добрую половину его закрывала башня Святого Томаса, сама по себе крепость, прилепленная к внешней стене Тауэра. В её основании располагалась ещё одна арка, вымощенная затхлой речной водой. Вход в арку закрывали ворота; при приближении лодки они распахнулись, оставив на воде череду маслянистых завихрений. Мистер Бхнх замялся, как замялся бы всякий на его месте, и быстрым движением запрокинул голову, словно

не рассчитывая больше увидеть небо. Потом стал нащупывать шестом дно.

— Это мой фамильный герб, — заметил Даниель. — Замок, переброшенный через реку.

— Не говорите так! — прошипел мистер Бхнх.

— Почему?

— Мы входим через Ворота изменников!

За воротами лежал прудик, перекрытый большой каменной аркой. Некий инженер недавно поставил здесь машину, которая, используя энергию прилива, качала воду в более высокие здания цитадели, и её жуткий скрежет — как будто тролль в пещере скрипит зубами — пугал мистера Бхнха больше, чем все впечатления этой ночи. Он с большой охотой повернул назад. Даниель выбрался на древние склизкие ступени и осторожно поднялся к Уотер-лейн, идущей между внешними и внутренними укреплениями. Здесь раскинулся импровизированный лагерь: по меньшей мере несколько сотен ирландцев лежали на одеялах либо на соломе, курили трубки, если повезло разжиться табачком, или наигрывали на дудочках жалобные мелодии, от которых волосы шевелились на голове. Праздничных костров тут не жгли, только несколько невесёлых костерков согревали котлы и бросали скупые

отблески на руки и лица ирландцев. Наверняка их присутствие здесь объяснялось как-то рационально, однако Даниель не мог сообразить как. Тем-то и увлекательна городская жизнь.

Подошёл Боб Шафто, за которым трусили двое босоногих, несмотря на декабрь, мальчишек, которым он резко, даже грубо велел убираться прочь. Когда один обернулся, Даниель успел увидеть его лицо и вроде бы приметил фамильное сходство с Бобом.

Сержант Шафто шёл по направлению к башне Байворд, то есть к выходу из Тауэра. Даниель догнал его и пошёл рядом. Оба молчали, чтобы не перекрикивать скрежещущую машину.

— Я уже готов был отправиться без вас, — с лёгкой укоризной проговорил Боб, когда они отошли достаточно далеко.

— Куда?

— Не знаю. В замок Апнор.

— Его там нет. Ручаюсь, он ещё в Лондоне.

— Тогда к Чаринг-Кросс. Вроде бы у него там дом, — сказал Боб.

— Можем мы раздобыть лошадей?

— Вы спрашиваете, одолжит ли комендант Тауэра лошадь беглому узнику?..

— Неважно, это не единственный способ до-

браться до Стрэнда. Есть какие-нибудь новости о Джеффрисе?

— Я объяснил Бобу Кастету, как важно для него раздобыть нам сведения о местонахождении этого человека, — сказал Боб. — Не думаю, что он напуган; напротив, у него короткая память, а в Лондоне сегодня много развлечений, заманчивых для человека такого склада.

За башней Байворд им предстояло пересечь ров: сперва по деревянному подъёмному мосту, затем по каменной дамбе. Здесь они увидели Джона Черчилля, курившего трубку в обществе двух вооружённых господ, которых Даниель хорошо знал в лицо; он бы даже вспомнил их имена, если бы дал себе такой труд. Черчилль, заметив Даниеля, откололся от них и взглядом приказал Бобу, чтобы тот шёл и не останавливался. В итоге Даниель остался на середине дамбы лицом к лицу с Черчиллем.

— Правду сказать, не знаю, собираетесь вы обнять меня и поблагодарить или заколоть и бросить в ров, — выпалил Даниель. Он был на взводе и от усталости уже не контролировал свою речь.

Черчилль воспринял эти слова с величайшей серьёзностью; видать, Даниель ненароком изрёк что-то крайне глубокомысленное. Они часто

встречались в Уайтхолле, где Черчилля окружал некий ореол значимости, начинавшийся с парика. Всегда заранее чувствовалось, что он подходит. Сегодня Черчилль был куда значительнее обычного, и всё же от ауры остался один парик, который не мешало бы почистить и причесать. Легко было увидеть просто сынишку сэра Уинстона, выпестованного Королевским обществом и отправленного на время в мир царедворцев.

— Отныне так будет при встрече с каждым, — сказал Черчилль. — Старые схемы, по которым мы оценивали человека, рухнули вместе с абсолютной монархией. Ваша революция проникла повсюду. И она коварна. Не знаю, может быть, в конечном счёте вы падёте её жертвой, но, коли это случится, не от моей руки…

— Ваше лицо словно говорит: «при условии»…

— При условии, что вы и впредь будете врагом моих врагов.

— Увы, у меня нет выбора.

— Так вы говорите. Но когда вы пройдёте в эти ворота… — Черчилль указал на Среднюю башню в конце дамбы — зубчатый силуэт на фоне оранжевого неба, — то окажетесь в Лондоне, который не сможете узнать. Пожар столько не изменил. В *новом* Лондоне узы верности и союзничества

тонки и непостоянны. Это шахматная доска, на которой есть фигуры не только чёрные и белые, но и других оттенков. Вы слон, я конь. Я могу заключить это по нашим силуэтам и по тем переменам, которые мы производим на доске, но в свете костров трудно определить ваш истинный колер.

— Я не спал сутки и затрудняюсь вас понять, когда вы говорите метафорами.

— Дело не в усталости, а в том, что вы пуританин и натурфилософ. Обе эти категории не горазды воспринимать намёки и недомолвки.

— Я безоружен против ваших выпадов. Поскольку никто нас не слышит, прошу вас говорить без обиняков.

— Отлично. Я многое знаю, мистер Уотерхауз, поскольку принадлежу к тем людям, которые обмениваются новостями, как торговцы бумагами на бирже. В частности, я знаю, что Исаак Ньютон сегодня в Лондоне.

Даниеля изумило, что Джон Черчилль вообще знает, кто такой Исаак Ньютон. Тот продолжал:

— И ещё я знаю, что Енох объявился в городе несколько дней назад.

— Енох Красный?

— Не стройте из себя дурачка. Это внушает

подозрения, поскольку я знаю, что вы умны.

— Я так презираю алхимию, что сердце отказывается принимать ведомое разуму.

— Именно так вы бы ответили, будь вы из их числа и желай это скрыть.

— А-а, теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о цвете шахматных фигур… Вы думаете, что я прячу под платьем алую мантию алхимика?! Какой абсурд!

— По-вашему, мне должно быть известно, что это абсурд? Прошу вас, ответьте, сэр, откуда? Я не так учён, как вы, признаю, но ещё никто не обвинял меня в тупости. И я говорю, что не знаю, связаны вы с алхимией или нет.

— И вам досадно не понимать, — задумчиво протянул Даниель.

— Не просто досадно, *опасно.* Я знаю, как в данных обстоятельствах поступит солдат, пуританин, французский кардинал или бродяга — за одним единственным исключением; однако мотивов эзотерического братства не понимаю, и мне это не по душе. А поскольку при новой власти я собрался быть человеком влиятельным…

— Да, да, ясно. — Даниель вздохнул и постарался взять себя в руки. — По-моему, вы слишком серьёзно их воспринимаете. Ибо не было ещё

такого скопища прохиндеев, фанфаронов, шарлатанов и простофиль…

— И к какой из этих категорий относится Исаак Ньютон?

Вопрос оглушил Даниеля, как удар в челюсть.

— А как насчёт короля Карла Второго? Кто был его величество, шарлатан или простофиля?

— Я так и так должен с ними поговорить, — сказал наконец Даниель.

— Если вы сможете проникнуть сквозь это облако, мистер Уотерхауз, я буду вам обязан.

— Насколько?

— Что вы задумали?

— Если граф встретит смерть нынешней ночью, может ли это сойти с рук?

— Смотря какой граф, — спокойно отвечал Черчилль. — Кто-то и где-то этого не забудет. Учтите.

— Сегодня я прибыл со стороны реки, — сказал Даниель.

— Это уклончивый способ сказать, что вы попали сюда через Ворота изменников?..

Даниель кивнул.

— Я, как видите, прибыл по суше, но многие скажут, что я вошёл через те же ворота.

— Значит, мы в одной лодке, — объявил Даниель. — Говорят, что нет чести меж ворами — не

знаю, не проверял, зато, может быть, есть честь меж изменниками. Если я изменник, то честный; совесть моя чиста, если не репутация. Посему сейчас я протягиваю вам руку, Джон Черчилль, и можете стоять и смотреть на неё всю ночь, коли вам так угодно. Однако если вы готовы встать за моей спиной и поддержать меня, покуда я буду разбираться с алхимиками, мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли мою руку в свою и пожали по-джентльменски; ибо, как вы заметили, эзотерическое братство сильно, и я не могу против него действовать, не чувствуя за собой другого эзотерического братства.

— Вы прежде заключали договоры, мистер Уотерхауз?

— Да, когда работал архитектором и прочее.

— Тогда вы знаете, что всякий договор включает *взаимные* обязательства. Я могу поддержать вас, когда под вас будут подкапываться, но в ответ буду время от времени к вам обращаться.

Даниель не шелохнулся.

— Что ж, отлично, — сказал Черчилль, протягивая руку сквозь дым, сырость и мрак.

Чаринг-Кросс пылал кострами, но внимание Даниеля привлёк зелёный огонь.

— Особняк милорда Апнора *там!* — прокри-

чал Боб Шафто, настойчиво указывая в сторону Пикадилли.

— Положитесь на меня, сержант, — сказал Даниель, — как если бы я был проводником и вёл вас на охоту за диковинным зверем, о котором вам ничего не известно.

Они начали протискиваться через обширный космос площади, наполненный сейчас тёмной материей: толпами, распевающими «Лиллибуллеро», нищими и ворами со Свиного пустыря, выбравшимся сюда для поживы, и драными псами, дерущимися из-за того, что пропустили воры и нищие. Даниель потерял из вида зелёный огонь и уже готов был сдаться, когда на том же месте взметнулось красное пламя — не обычное оранжево-красное, но неестественное ало-малиновое.

— Если толпа нас разделит, встречаемся в начале Кинг-стрит.

— Так точно, ваш-благородь.

— Что за мальчишка говорил с вами, когда мы выходили из Тауэра?

— Посланец Боба Кастета.

— И какие новости?

— Дом Джеффриса заколочен, в окнах темно.

— Что ж, он предусмотрителен, коли велел заколотить дом.

— Как мы заключили несколько недель назад, — отвечал Боб, — Джеффрис хорошо спланировал свой отъезд.

— Хорошо для *нас.* Если бы он бежал в панике, где бы мы его искали? Сообщил ли мистер Кастет что-нибудь ещё?

— В намерение Кастета входило не столько сообщить нам новости, сколько продемонстрировать усердие и расторопность.

— Этого я и опасался, — рассеянно произнёс Даниель. Его внимание привлёк взметнувшийся к небу синий огонь.

— Фейерверк? — догадался Боб.

— Некоторые планируют свой отъезд лучше, чем остальные, — отвечал Даниель.

Наконец они выбрались на юго-восточный край площади, где Кинг-стрит встречается с Пэлл-Мэлл, а особняки выпирают на Чаринг-Кросс, словно плотина, сдерживающая неимоверный напор сзади. Костёр, который постоянно менял цвет, был разложен на расстоянии полёта стрелы от этих домов. Его не окружала толпа. Может быть, потому, что главная гульба происходила в другом месте, ближе к Сенному рынку, а может, потому, что костёр взрывался разноцветными языками и распространял удушливый смрад. Да-

ниель двинулся вкруг него по орбите и заметил, что огонь пожирает книги, карты и деревянные ящики. Из горящего сундука сыпались склянки; они лопались от жара и выпускали облачка пара, которые иногда взрывались ярко окрашенным огнём.

Боб Шафто толкнул Даниеля в бок и указал на один из особняков. Слуга придерживал парадную дверь, двое других, помоложе, тащили с лестницы чемодан. Крышка открылась, на ступени высыпались бумаги и книги. Слуга, державший дверь, отпустил её и бросился к остальным, подбирая то, что они выронили, и складывая в охапку на своём объёмистом животе, после чего засеменил к огню. Казалось, он хочет с разбега нырнуть в разноцветное пекло, однако он остановился и мощным движением живота бросил охапку в пламя. Двое других, подоспев, забросили чемодан в геенну. Пламя на миг присмирело, словно опешив, затем языки принялись вгрызаться в новое топливо и побелели, разгораясь ещё жарче.

Продолжая обход, Даниель остановился взглянуть на карту, вычерченную разноцветной тушью на превосходном пергаменте. Пламя костра светилось через белые пятна, которые преобладали (карта изображала по большей части

неисследованные моря), — обширные лакуны, украшенные левиафанами и косматыми каннибалами. Некая россыпь островов была нанесена позолотой и подписана «Острова царя Соломона». Пока Даниель смотрел, позолота вспыхнула, словно пороховая дорожка; слова исчезли из мира, но огненными буквами запечатлелись в сознании Даниеля.

— Дом мсье Лефевра, — сказал Даниель идущему за ним Бобу. — Обратите внимание на три больших окна над входом, завешенные кроваво-красными шторами. Однажды через эти окна я увидел Исаака Ньютона в его собственный телескоп.

— Что он там делал?

— Знакомился с графом Апнорским, который так желал встречи, что даже установил за ним слежку.

— Так что это за дом? Притон содомитов?

— Нет, главное гнездо алхимиков со времён Реставрации. Я никогда там не был, но сейчас войду. Если не выйду, отправляйтесь в Тауэр и скажите Черчиллю, что пришло время выполнить свою часть обязательств.

Пузатый слуга увидел Даниеля и встал в дверях.

— Я к ним, — бросил Даниель, проскальзывая мимо него в прихожую.

Дом был убран в версальском стиле, со всем великолепием и расточительностью, чтобы сразу повергнуть в священный трепет знатных господ, приходящих сюда за порошками и мазями мсье Лефевра. Самого хозяина и след простыл. Впрочем, его бегство ещё не объясняло, почему дом сегодня изящен примерно как рыбный рынок. Слуги и два джентльмена сносили вещи со второго этажа, вываливали их на столы или на пол и разбирали. Несколько мгновений спустя Даниель сообразил, что один из джентльменов — Роберт Бойль, другой — сэр Элиас Ашмол. Девять предметов из десяти бросали в сторону дверей, чтобы нести в костёр. Остальное укладывали в ящики и мешки для транспортировки. Для транспортировки *куда,* вот в чём вопрос. На кухне бондарь запечатывал старинные книги в бочки; очевидно, кто-то собрался путешествовать морем.

Даниель двинулся вверх по лестнице — решительно, как будто и впрямь знает дорогу. На самом деле он руководствовался воспоминаниями о том, что видел в телескоп двадцать лет назад. Если память не подводила, Апнор и Ньютон сидели тогда в обшитой тёмным деревом

комнате со множеством книг. Два десятка лет эта комната являлась Даниелю в причудливых снах. Теперь ему предстояло войти в неё наяву. Однако он валился с ног от усталости, поэтому явь мало отличалась от сна.

По меньшей мере две сотни свечей горели на лестнице и в прихожей второго этажа — что их было теперь беречь! Из кладовых вытащили затянутые паутиной канделябры; свечи, не поместившиеся в них, прилепили прямо к дорогим полированным перилам. Живописное изображение Гермеса Трисмегиста, сорванное со стены, подпирало дверь в маленькую комнатку вроде буфетной. Там было темно, но в свете из прихожей Даниель различил худощавого длинноносого человека с чёрными глазами, придававшими лицу вид печальный и озабоченный. Он беседовал с кем-то в дальнем конце комнаты, кого Даниель не видел. Человек прижимал к груди старинную книгу, держа палец на заложенном месте. Большие глаза без всякого удивления остановились на Даниеле.

— Доброе утро, мистер Уотерхауз.

— Доброе утро, мистер Локк. Поздравляю с возвращением из голландской ссылки.

— Какие новости?

— Король укрылся в Ширнессе. А вы, мистер Локк, разве вы не должны сейчас писать нам новую конституцию или что-нибудь в таком роде?

— Я жду соизволения принца Оранского, — спокойно отвечал Джон Локк, — и это место годится для ожидания не хуже любого другого.

— Оно определённо лучше того, в котором я обретался несколько прошлых месяцев.

— Мы все у вас в долгу, мистер Уотерхауз.

Даниель повернулся, прошёл пять шагов по коридору и остановился перед большой дверью в его конце. Он слышал, как Исаак Ньютон говорит:

— И что мы на самом деле знаем о вице-короле? Положим, он и впрямь переправит его в Испанию — осознаёт ли он его истинную ценность?

Даниель послушал бы ещё, но знал, что Локк на него смотрит, поэтому открыл дверь.

Три больших окна, выходящих на Чаринг-Кросс, были завешены алыми шторами размером с корабельный парус. Их освещало множество свечей в причудливых канделябрах, похожих на обращённые в серебро увитые лианами ветви. Даниелю показалось, что он падает в море алого света; он медленно сморгнул, перебарывая головокружение.

Посреди комнаты стоял стол чёрного, с алыми прожилками, мрамора, за ним, лицом к Даниелю, сидели двое: слева граф Апнорский, справа — Исаак Ньютон. В дальнем углу небрежно расположился Никола Фатио де Дюилье, делая вид, будто читает книгу.

Почему-то Даниель сразу увидел эту сцену подозрительным взглядом Джона Черчилля. Вот сидят дворянин-католик, которому Версаль роднее, чем Лондон; англичанин пуританской закваски, недавно впавший в ересь, умнейший человек в мире; швейцарский протестант, знаменитый тем, что спас Вильгельма Оранского от французского заговора. Сейчас к ним вошёл нонконформист, только что предавший своего короля. Различия, которые в других местах порождали дуэли и войны, здесь значения не имели, их братство было важнее мелочных склок вроде Реформации или грядущей войны с Францией. Немудрено, что Черчилль ожидал от них какого-нибудь подвоха.

Исааку через две недели должно было исполниться сорок шесть. С тех пор как он поседел, внешность его почти не менялась; он никогда не прерывал работу для еды и питья, поэтому оставался всё таким же худым, только кожа с

годами становилась всё прозрачнее и отчётливее проступали синие прожилки у глаз. Как многие университетские учёные, он охотно пользовался возможностью спрятать одежду (в его случае, не только ветхую, но и заляпанную и прожжённую реактивами) под мантией, только мантия у него была алая, что выделяло его и в Кембридже, и особенно здесь, в Лондоне. На улицах он её не носил, но был в ней сейчас. Париков он не признавал, и белые волосы свободно лежали по плечам. Кто-то их старательно расчесал. Вряд ли сам Исаак; наверное, Фатио.

Графу Апнорскому за эти два десятилетия пришлось хлебнуть лиха. Раз или два его высылали за убийство на дуэлях, которые для него были делом самым обыденным, примерно как для грузчика — поковырять в носу. Он спустил в карты семейный особняк, потом вынужден был бежать на Континент в разгар преследований по так называемому папистскому заговору. Соответственно, и одевался он теперь строже; к высокому чёрному парику и чёрным усикам носил в целом чёрное платье — обязательные верхний камзол, нижний камзол и штаны, всё из одной материи, вероятно, тончайшей шерсти. Костюм был покрыт серебряной вышивкой, под

которую подложили что-то вроде тонких полосок пергамента, чтобы она выступала над чёрной тканью. Впечатление было такое, будто он с головы до ног опутан серебристыми лианами. На нём были сапоги с золотыми шпорами; гарду испанской рапиры образовывал смерч изящных стальных стержней с утолщениями на концах, словно рой комет, рвущихся из сжатой руки.

Фатио был одет относительно скромно: долгополый камзол со множеством пуговиц поверх льняной рубахи, кружевной галстук и каштановый парик.

Они лишь самую малость удивились при виде Даниеля и не более чем естественно возмутились, что он ворвался без стука. Апнор не выказал намерения проткнуть его насквозь рапирой. Исаак, похоже, счёл, что явление Даниеля здесь и сейчас не причудливее других перцепций, предстающих ему в обычные дни (как оно, вероятно, и было), а Фатио, по обыкновению, просто наблюдал.

— Простите за вторжение, — сказал Даниель, — но я подумал, вы захотите узнать, что король обнаружился в Ширнессе — менее чем в десяти милях от замка Апнор.

Граф Апнорский с заметным усилием поборол некое сильное чувство, готовое проступить на

его лице; Даниель не стал бы утверждать наверняка, однако полагал, что это — недоверчивая усмешка. Покуда Апнор силился с ней совладать, Даниель продолжил:

— В данный момент при особе его величества находится лорд-постельничий, прочие государевы приближенные, полагаю, сегодня же отправятся к нему. Пока же он лишён всего: еду, питьё и постель пришлось изыскивать на месте. Проезжая сегодня вечером мимо замка Апнор, я подумал, что вы располагаете возможностью обеспечить его величество всем потребным…

— Да, да, — сказал Апнор, — у меня есть всё.

— Мне распорядиться, чтобы послали гонца?

— Я могу и сам.

— Разумеется, мне известно, милорд, что вы можете отправить своих людей, но в желании быть полезным я…

— Нет. Я хотел сказать, что сам отдам приказания, ибо на рассвете выезжаю в Апнор.

— Приношу извинения, милорд.

— Что-нибудь ещё, мистер Уотерхауз?

— Нет, если только я не могу быть чем-нибудь полезен в этом доме.

Апнор взглянул на Ньютона. Ньютон, смотревший на Даниеля, уголком глаза это заметил и

заговорил:

— В этом доме, Даниель, скопилось большое собрание алхимических знаний. Преобладающая часть — злостная дребедень. Малая доля — истинная мудрость и должна оставаться в тайне от тех, в чьих руках станет опасной. Наша задача — отобрать одно от другого, сжечь бесполезное и проследить, чтобы всё истинное и ценное оказалось в библиотеках и лабораториях адептов. Я затрудняюсь представить, как вы можете этому способствовать, ибо вы считаете *всю* алхимию дребеденью и уже продемонстрировали поджигательские склонности в присутствии такого рода писаний.

— Вы по-прежнему видите мои действия тысяча шестьсот семьдесят седьмого года в худшем возможном свете.

— Нет, Даниель. Знаю, вы думали, что действуете мне во благо. Тем не менее я говорю, что случившееся в тысяча шестьсот семьдесят седьмом не позволяет доверять вам алхимическую литературу вблизи открытого огня.

— Хорошо, — сказал Даниель. — До свидания, Исаак. Милорд. Сударь.

Апнор и Фатио несколько опешили от загадочных слов Исаака. Даниель, не теряя времени,

откланялся и отступил в коридор.

Они вернулись к разговору, как будто Даниель был слугой, заглянувшим подать чай. Аппор сказал:

— Кто знает, каких мыслей он набрался за десять лет бок о бок с криптоиудеями и красно-кожими, которые приносят друг друга в жертву под пирамидами?

— Вы могли бы просто спросить его письмом, — предложил Фатио голосом столь бодрым и рассудительным, что даже Даниелю сделалось тошно, и он отступил подальше от двери. Уже по этим словам можно было заключить, что Фатио не алхимик, а если алхимик, то новичок, не привыкший ещё напускать туман по поводу и без повода.

Даниель наконец обернулся и едва не налетел на человека, в котором по первому впечатлению определил забредшего сюда ненароком весёлого монаха; тот был в длинном балахоне и держал большую глиняную кружку, какие подают в питейных заведениях самого низкого разбора.

— Осторожнее, мистер Уотерхауз. Для человека, который так внимательно слушает, вы слишком невнимательно смотрите, — дружески произнёс Енох Роот.

Даниель вздрогнул и отпрянул. Локк по-прежнему стоял в обнимку с книгой; Роот и был его недавним собеседником. Несколько мгновений Даниель приходил в себя. Роот воспользовался затишьем, чтобы отхлебнуть эля.

— От хозяйских щедрот? — спросил Даниель.

— Что вы сказали? Роот?

— Я сказал, что невежливо пить в одиночку хозяйский эль.

— У каждого своя невежливость. Некоторые врываются в дома и без приглашения встревают в разговоры.

— Я доставил важные новости.

— А я их отмечаю.

— Вы не боитесь, что эль сократит ваше долголетие?

— Вас сильно занимает долголетие, мистер Уотерхауз?

— Оно занимает всякого человека, и я — человек. А кто вы?

Глаза Локка двигались вправо-влево, как на теннисном матче. Сейчас они остановились на Енохе. Тот старательно изображал спокойствие — что совсем не означает быть спокойным.

— В вашем вопросе, Даниель, заключена некая априорная дерзость. Как Ньютон допускает, что

есть некое абсолютное пространство, мерило всех вещей — включая кометы! — так вы считаете вполне естественным и предначертанным, что земля должна быть населена людьми, чьи предрассудки обязаны служить мерилом всего сущего; но почему бы мне не спросить вас: «Кто вы, доктор Уотерхауз? И для чего мироздание кишит такими, как вы? Ради какой цели?»

— Напомню вам, любезный, что канун Дня всех святых был больше месяца назад, и я не расположен слушать сказки про нечисть.

— А я не расположен быть причисленным к нечисти и прочим человеческим измышлениям, ибо меня, как и вас, измыслил Господь и тем дал нам бытие.

— Вы исходите презрением к нашим суевериям и домыслам, и всё же вы здесь, как всегда, в обществе алхимиков.

— Вы могли бы сказать: «Здесь, в сердце Славной революции, беседуете с выдающимся политическим философом». — Роот обратил взгляд на Локка, который потупил глаза в лёгком намёке на поклон. — Однако вы никогда не оказывали мне такой чести, Даниель.

— Я видел вас исключительно в обществе алхимиков. Разве нет?

— Даниель, я видел *вас* исключительно в обществе алхимиков. Однако я знаю, что вы занимаетесь и другим. Например, вы были с Гуком в Бедламе. Возможно, вы видели священников, которые приходят к безумцам. Вы считаете, что священники безумны?

— Не уверен, что одобрю сравнение… — начал Локк.

— Полноте, это просто фигура речи! — рассмеялся Роот, трогая Локка за плечо.

— Неверная, — сказал Даниель, — ибо вы сами алхимик.

— Меня *называют* алхимиком. Ещё живы люди, помнящие времена, когда так называли всех, кто изучал то же, что я — и вы, кстати. А большинство и сейчас не видит различия между алхимией и более молодой, более здоровой отраслью знаний, которая ассоциируется с вашим клубом.

— Я слишком устал, чтобы отвечать на ваши увёртки. Из уважения к вашим друзьям мистеру Локку и Лейбницу поверю вам на слово и пожелаю успехов, — сказал Даниель.

— Храни вас Бог, мистер Уотерхауз.

— И вас, мистер Роот. Однако скажу вам… и вам, мистер Локк… Идя сюда, я видел в костре карту, только что из этого дома. Карта была пустая,

ибо изображала океан — скорее всего, ту часть, где люди ещё не бывали. На пергаменте были проведены несколько параллелей, и несколько островов изображены с большой уверенностью, а там, где картограф не смог сдержать воображение, он изобразил фантастических чудищ. Эта карта для меня алхимия. Хорошо, что она сгорела, и правильно, что она сгорела сейчас, в канун Революции, которую я осмелюсь назвать делом своей жизни. Через несколько лет мистер Гук сделает настоящий хронометр, завершив труд, начатый тридцать лет назад Гюйгенсом, и тогда Королевское общество составит карты, на которых будут не только широты, но и долготы, дающие сетку, которую мы называем декартовой, хотя не он её изобрёл, и если там есть острова, мы нанесём их правильно. Если нет, мы не будем рисовать ни их, ни драконов, ни морских чудищ. Это будет конец алхимии.

— Устремление достойное, и Бог вам в помощь, — сказал Роот. — Но не забывайте про полюса.

— Какие полюса?

— Северный и Южный, в которых сойдутся ваши меридианы — уже не отдельные и параллельные, но слитые воедино.

— Это лишь геометрическая абстракция.

— Когда вы строите всю науку на геометрии, мистер Уотерхауз, абстракции становятся реальностью.

Даниель вздохнул.

— Что ж, возможно, мы в конце концов вернёмся к алхимии, но покуда никто не может подобраться к полюсам — разве что вы летаете туда на помеле, мистер Роот, — я буду верить геометрии, а не тем сказочкам, которые мистер Бойль и сэр Элиас разбирают внизу. На мой краткий век хватит и того. А сейчас мне некогда.

— Остались ещё дела?

— Хочу как следует проститься с моим старинным другом Джеффрисом.

— Графу Апнорскому он тоже старинный друг, — чуть рассеянно заметил Енох Роот.

— Знаю, ибо они взаимно покрывали друг другу убийства.

— Несколько часов назад Апнор послал Джеффрису ящик.

— Бьюсь об заклад, что не домой.

— Шкиперу на стоящий в гавани корабль.

— Что за корабль?

— Не знаю.

— Тогда как звать посыльного?

Енох Роот перегнулся через перила и поглядел на лестницу.

— Тоже не знаю. — Он переложил кружку в левую руку, а правой указал на молодого слугу, который только что вышел из двери с очередной охапкою книг. — Но это был он.

«Заяц», сверкая огнями, качался на якорях напротив Уоппинга — района, примостившегося в излучине Темзы сразу за Тауэром. Если Джеффрис уже поднялся на борт, то поделать ничего было бы нельзя, разве что нанять пиратов, чтобы те нагнали его в открытом море. Однако лодочники в один голос уверяли, что никаких пассажиров на корабль не доставляли. Очевидно, Джеффрис чего-то ждал и наверняка неподалёку, чтобы в случае чего быстро добраться до «Зайца». А будучи пьяницей, он должен был выбрать место, где можно выпить. Это сужало круг до полудюжины таверн между Тауэром и Шедвеллом, расположенных вблизи пристаней — врат из мира сухого во влажный. Светало, обычные питейные заведения должны были бы закрыться часов шесть назад. Однако таверны у Темзы обслуживали сомнительную публику в сомнительные часы; время здесь определяли по приливам, а не по солнцу. А ночка выдалась бурная — одна из самых

бурных в истории Англии. Ни один вменяемый кабатчик не запрёт сейчас двери.

— Теперь давайте скоренько, ваш-благородь, — сказал Боб Шафто, выбираясь на пристань короля Генриха из лодки, которую они наняли у Чаринг-Кросс. — Может, это и самая длинная ночь в году, но и она когда-нибудь кончится, а я надеюсь, что моя Абигайль ждёт меня в замке Апнор.

Не самое вежливое обращение со старым, усталым и больным натурфилософом, однако лучше, чем первая настороженная холодность в Тауэре и пришедший ей на смену покровительственный тон. Рукопожатие Джона Черчилля подняло Даниеля в глазах Боба — отсюда уважительное «ваш-благородь», — но не избавило того от утомительной привычки поминутно спрашивать: «Вы не устали?», «У вас ничего не болит?», пока, четверть часа назад, Даниель не предложил для экономии времени пройти на лодке под Лондонским мостом.

Он первый раз в жизни отважился на такой риск, Боб — во второй, лодочник — в четвёртый. Вода горой вставала перед мостом и устремлялась в арки, как обезумевшая толпа — к выходу из горящего театра. Вес лодки не имел ровно никакого значения; она завертелась, как флюгер,

ударилась о пирс так, что треснул планширь, отлетела к другому пирсу и, набирая скорость, боком понеслась дальше, успев черпнуть примерно тонну воды. Даниель с детства воображал, как пройдёт под аркой, и всегда гадал, каково это — взглянуть на мост снизу; однако, когда он решился поднять голову, они были уже в полумиле ниже по течению и вновь проходили перед Воротами изменников.

Боб наконец понял, что Даниель твёрдо решил доконать себя в эту ночь, и отстал со своей заботливостью: позволил Даниелю самостоятельно выпрыгнуть из лодки и не предложил на закорках внести его по ступеням. Они затрусили к Уоппингу, роняя на мостовую галлоны речной воды, а лодочник (которому щедро заплатили) остался работать черпаком.

Они успели побывать в четырёх тавернах, прежде чем зашли в «Рыжую корову». За ночь веселящиеся изрядно её покрушили, но сейчас тут уже наводили порядок. Район был малозастроенный: один-два слоя таверн и складов вдоль самой Темзы. Сразу за главной улицей, ведущей прямиком к Тауэру, начинались зелёные поля. Так что в «Рыжей корове» сошлись те же крайности, что Даниель наблюдал в Ширнессе,

а именно: молочница, такая свежая и чистая, будто ангелы только что перенесли её с росистых девонширских лугов, внесла подойник через чёрную дверь, уверенно переступив через одноногого матроса-португальца, заснувшего на соломе в обнимку с бутылью из-под джина. Эти и другие подробности, скажем, малайского вида джентльмен, курящий гашиш у парадной двери, навели Даниеля на мысль, что «Рыжую корову» надо будет обыскать потщательнее.

Как на корабле, когда усталые матросы спускаются с вант и падают в гамаки, ещё тёплые от тех, кто сменил их на вахте, так и здесь ночные гуляки, пошатываясь, выходили вон, а их места занимали люди, так или иначе профессионально связанные с водой, заглянувшие выпить и перекусить.

Лишь один человек в дальнем углу не шевелился. Он застыл в свинцовой неподвижности, лицо скрыто в тени — то ли без единой мысли в голове, то ли весь обратившись в зрение и слух. Рука лежала на столе, обхватив стакан, — поза человека, которому надо просидеть много часов и который делает вид, будто просто растягивает выпивку. Пламя свечи освещало руку. Большой палец дрожал.

Даниель подошёл к стойке в другом конце комнаты, которая была немногим больше вороньего гнезда. Заказал стопку, заплатил за десять.

— Вон тот малый, — сказал он, указывая глазами. — Ставлю фунт, что он из простых, простой, как башмак.

Трактирщик был лет шестидесяти, такой же чистокровный англичанин, что и молочница, седой и красномордый.

— Согласиться на такое пари было бы хуже воровства, потому что вы видите только его одежду, а я слышал его голос и точно знаю: он не из простых.

— Тогда ставлю фунт, что он кроток, как новорожденная овечка.

Лицо трактирщика скривилось, словно от боли.

— Как ни жалко отвергать ваше глупое пари, согласиться не могу — точно знаю, что не так.

— Ставлю фунт, что у него самые роскошные брови, какие вы когда-либо видели, — брови, которыми можно было бы чистить горшки.

— Он вошёл в надвинутой шляпе, низко опустив голову, бровей его я не видел. Принимаю ваше пари, сэр.

— Позволите?

— Не трудитесь, сэр, я пошлю мальчишку. Если сомневаетесь, можете послать другого.

Трактирщик обернулся, поймал за руку парнишку лет десяти и, нагнувшись, что-то ему прошептал. Мальчик направился прямиком к человеку в углу и произнёс несколько слов, указывая на стакан. Человек, не давая себе труда ответить, только отмахнулся. На миг блеснуло массивное золотое кольцо. Мальчик вернулся и что-то сказал на птичьем языке портовых окраин. Даниель ни слова не понял.

— Томми говорит, вы должны мне фунт, — объявил трактирщик.

Даниель сник.

— У него не было густых бровей?

— Мы об этом не спорили. Его брови *не* густые — мы спорили об этом. А уж какие там они *были*, до дела не касается.

— Не понимаю.

— У меня за стойкой живёт крепкая дубинка — свидетельница нашего пари, и она говорит, что вы должны мне фунт, как ни юлите!

— Пусть ваша дубинка спит дальше, любезный, — ответил Даниель. — Вы получите свой фунт, я только прошу вас объясниться.

— Может, вчера у него и были густые бро-

ви — почём мне знать, — сказал трактирщик, несколько остывая, — но сегодня у него вообще бровей нет. Одна щетина.

— Он их сбрил!

— Уж не знаю, сэр. Моё дело маленькое.

— Вот ваш фунт.

— Спасибо, сэр, я предпочёл бы полновесный, серебряный, а не эту фальшивку…

— Погодите. У меня будет для вас кое-что получше.

— Другая монета? Так давайте её сюда.

— Нет, другая награда. Хотите, чтобы ваша таверна прославилась на сто и более лет как место, где задержали знаменитого убийцу?

Теперь сник трактирщик. По лицу его было видно, что он предпочёл бы обойтись без знаменитых убийц в своём заведении. Однако Даниель подбодрил его несколькими словами и убедил отправить мальчишку в Тауэр, а самому с дубинкой встать у чёрного хода. Бобу Шафто хватило одного взгляда, чтобы занять позицию у другой двери. Даниель взял из камина головню, прошёл в дальний конец и замахал ею из стороны в сторону, чтобы она разгорелась и осветила угол.

— Будь ты проклят, Даниель Уотерхауз, вонючий пёс! Продажная девка, ублюдок, ссущий в

штаны! Как смеешь ты так обращаться с дворянином! По какому праву? Я барон, а ты трусливый предатель! Вильгельм Оранский не Кромвель, не республиканец, но *принц,* дворянин, как я! Он выкажет мне заслуженное уважение, а тебе — презрение, которого ты достоин! Это по тебе плачет топор, это ты сдохнешь в Тауэре, как побитая сука!

Даниель повернулся и обратился к другим посетителям — не столько к бесчувственным от ночного пьянствам гулякам, сколько к завтракающим матросам и лодочникам.

— Прошу прощения, что отвлекаю, — сказал он. — Вы слышали о Джеффрисе, судье-вешателе, который украсил дорсетские деревья телами простых англичан и продал в неволю английских школьниц?

Джеффрис вскочил, опрокинув стол, и метнулся к ближайшему, то есть чёрному, выходу, однако трактирщик двумя руками поднял дубинку и занёс её, как дровосек над деревом. Джеффрис развернулся к другой двери. Боб Шафто выждал, когда он разгонится и поверит в своё спасение, потом встал в двери и вытащил из-за голенища кинжал. Джеффрис еле-еле успел затормозить, чтобы не напороться на острие; по лицу Боба

было ясно, что он не отведёт клинок.

Теперь и остальные посетители принялись, вскочив, хлопать по одежде, обнаруживая местоположение ножей, свинчаток и других полезных предметов. Однако делали они это от неожиданности, а не потому, что выработали определённый план действий. Все ждали указаний от Даниеля.

— Человек, о котором я говорил и чьё имя вы все знаете, виновник Кровавых ассизов и множества других преступлений — юридических убийств, за которые до сей минуты надеялся никогда не ответить, — Джордж Джеффрис, барон Уэмский, — *он.*

И Даниель направил палец, как пистолет, в лицо Джеффриса, чьи брови взметнулись бы от ужаса, будь у него брови. Без них лицо было лишено всякой способности выражать чувства и всякой власти над чувствами Даниеля. Никакое его выражение не могло бы возбудить у Даниеля страх, или жалость, или невольное жутковатое восхищение. Нелепо приписывать такое значение всего лишь паре бровей; вероятно, что-то изменилось в самом Джеффрисе, а может быть, в Даниеле.

Ножи и свинчатки появились на свет — не для

того, чтобы пойти в ход, но чтобы Джеффрис не вздумал рыпаться. Впервые на памяти Даниеля тот онемел и даже браниться не мог.

Даниель поймал взгляд Боба и кивнул.

— Бог в помощь, сержант Шафто. Надеюсь, вы спасёте свою принцессу.

— И я надеюсь, — отвечал Боб. — Переживу я эту ночь или погибну, не забывайте, что я вам уже помог, а вы мне — пока нет.

— Не забыл и никогда не забуду. Я не горазд преследовать по бездорожью вооружённых людей, не то бы отправился с вами. Жду случая оказать ответную услугу.

— Это не услуга, а ваш долг по договору, — напомнил Боб, — и осталось лишь решить, в какой монете я его получу. — Он повернулся и выбежал на улицу.

Джеффрис огляделся, быстро оценивая людей и оружие вокруг, потом снова взглянул на Даниеля — уже не гневно, но с недоуменной обидой, словно спрашивая: почему? Зачем было утруждаться? Я убегал! Какой смысл?

Даниель посмотрел ему в глаза и сказал первое, что пришло в голову:

— Мы с тобой прах.

Потом вышел в город. Солнце уже поднялось, от

Тауэра к таверне бежали солдаты с мальчишкою во главе.

Венеция

Венецианская республика возникла так: жалкая горстка людей бежала от ярости варваров, захвативших Римскую империю, и укрылась на недоступных островках в Адриатическом море… Город их мы зрим великолепным и процветающим, а их богатое купечество причтено к древней знати – всё сие благодаря коммерции.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

июль 1689

Элизе, графине де ля Зёр, герцогине Йглмской
От Г. В. Лейбница
Июль 1689
Элиза!

Ваши опасения касательно надёжности венецианской почты вновь оказались необоснованны — Ваше письмо добралось до меня быстро и, судя по внешнему виду, не вскрытое. По правде сказать, я думаю, что вы слишком долго живёте в Гааге и заразились у голландок их ханжеством.

Вам надо приехать сюда ко мне. Тогда Вы убедитесь, что самый разгульный в мире народ без труда своевременно доставляет почту и справляется со множеством других трудных занятий.

Я пишу, сидя у окна, выходящего на канал. Два гондольера, чуть не столкнувшиеся минуту назад, яростно кричат и грозятся друг друга убить. Утверждают, что раньше такого не было, гондольеры, мол, так между собой не бранились, а нынче развелось хамство. Это воспринимают как симптом стремительных перемен в современном мире и сравнивают с отравлением ртутью, превратившим стольких алхимиков в трясущихся сварливых безумцев.

Вид из моего окна мало изменился за последние сто лет (да и комнате не помешал бы ремонт!), однако письма, разбросанные на столе (все пунктуально доставлены венецианцами), рассказывают о переменах, невиданных с падения Рима. Не только Вильгельм и Мария коронованы в Вестминстере (о чём Вы и некоторые другие любезно меня уведомили); с той же почтой пришло письмо от Софии-Шарлотты, которая пишет из Берлина, что в России новый царь по имени Пётр. Он высок, как Голиаф, силён, как Самсон, и мудр, как Соломон. Русские подписали договор

с китайским императором и провели границу по реке, которая даже на картах не обозначена; по всем отчётам Россия теперь простирается до самого Тихого океана или (в зависимости от того, каким картам верить!) до самой Америки. Возможно, Пётр мог бы дойти до Массачусетса, не замочив ног!

Впрочем, София-Шарлотта пишет, что взоры нового царя обращены на запад. Они с её несравненной матушкой уже замышляют пригласить его в Берлин и Ганновер, чтобы обворожить лично. Я ни за что на свете не желал бы пропустить их встречу, но Петру предстоит уничтожить столько соперников и сразить столько турок, прежде чем он сможет хотя бы задуматься о подобном путешествии, что я вполне успею вернуться в Германию.

Тем временем *этот* город глядит на восток: венецианцы объединились с другими христианскими воинствами, чтобы ещё дальше оттеснить турок, поэтому только и разговоров, что о новостях, пришедших с последней почтой, или о том, когда ожидается следующая. Для тех из нас, кого более занимает философия, такие застольные беседы очень скучны! Священная Лига взяла город, который зовётся Липова (как Вы наверняка

знаете, это ворота Трансильвании), так что есть надежда вскорости отбросить турок к самому Чёрному морю. Через месяц я смогу написать Вам письмо с той же фразой, но с другим набором неудобоваримых географических названий. Бедные Балканы!

Простите, если мой стиль покажется Вам легкомысленным — таково воздействие Венеции. Она финансирует войны по старинке, обкладывая налогами торговлю, и потому не может вести их с большим размахом. По контрасту очень тревожат вести из Англии и Франции. Сперва Вы сообщаете, что (согласно Вашим источникам в Версале) Людовик XIV велел переплавить серебряную мебель из парадных покоев, дабы на эти средства собрать ещё большую армию (а может, ему просто захотелось сменить убранство). Затем Гюйгенс пишет из Лондона, что правительство решило финансировать армию и флот за счёт государственного долга — используя в качестве обеспечения всю Англию — и установить особую подать на его погашение. Затрудняюсь вообразить, какой шум это произвело в Амстердаме! Гюйгенс пишет, что на корабле с ним плыли множество амстердамских евреев, которые перебираются в Лондон со всем скарбом, чадами

и домочадцами. Без сомнения, часть серебра, бывшего когда-то любимым креслом Людовика, через амстердамское гетто попадёт в лондонский Тауэр, где будет перечеканена на монеты с изображением Вильгельма и Марии, чтобы потом пойти на постройку новых военных кораблей в Чатеме.

В этих краях покамест никак не сказывается то, что Людовик объявил войну Англии. В Средиземном море по-прежнему господствует флот герцога д'Аркашона; по слухам, он захватил много английских и голландских купеческих судов, однако о крупных морских сражениях на сегодняшний день ничего не слышно. Опять-таки, по слухам, Яков II высадился в Ирландии, откуда рассчитывает нанести удар по Англии; впрочем никаких вестей оттуда ещё нет.

Больше всего меня заботите Вы, Элиза. Гюйгенс подробно о Вас написал. Он очень тронут, что Вы с принцессой Элеонорой и маленькой Каролиной пришли его проводить, в особенности учитывая Ваше деликатное положение. Он прибег к различным астрономическим метафорам, дабы описать Вашу округлость, Вашу непомерность, Вашу лучезарность и Вашу красу. Он явно к Вам неравнодушен и, как мне кажется, слегка огор-

чён, что ребёнок — не его (чей, кстати? Помните, что я в Венеции, — Вы смело можете писать что угодно без страха меня шокировать).

Так или иначе, зная Вашу привязанность к финансовым рынкам, я опасаюсь, как бы последние бурные события не увлекли Вас на площадь Дам — самое неподходящее место для будущей матери.

Впрочем, что толку мне теперь тревожиться, ибо к этому сроку вы должны были с тем или иным исходом разрешиться от бремени; молюсь, чтобы и Вы, и Ваш малютка были сейчас живы. Всякий раз, видя изображение Мадонны с Младенцем (что в Венеции случается примерно три раза за минуту), я воображаю, будто смотрю на Ваш портрет.

Также молюсь за принцесс и шлю им наилучшие пожелания. Участь обеих была прискорбной ещё до того, как война погнала их на чужбину. Рад, что в Гааге они обрели надёжное пристанище и такого друга, как Вы. Однако новости с Рейнского фронта (Бонн и Майнц захвачены и прочее) заставляют думать, что они не скоро смогут вернуться в Германию.

Вы задали мне много вопросов о принцессе Элеоноре, и *Ваше* любопытство возбудило *моё;* Вы

напомнили мне купца, который наводит справки о человеке, с которым собрался заключить крупную сделку.

Я не встречал принцессу Элеонору, только слышал необычно сдержанные описания её красоты (например, «самая очаровательная из немецких принцесс»). Впрочем, я знавал её покойного супруга, маркграфа Иоганна-Фридриха Бранденбург-Ансбахского. Кстати, я только вчера о нём вспоминал, ибо нового русского царя описывают теми же словами, что некогда супруга Элеоноры: прогрессивно мыслящий, дальновидный, намеренный во что бы то ни стало закрепить место своей страны в новой экономической системе.

Отец Каролины всячески привечал гугенотов и различных умельцев, он пытался превратить Ансбах в центр того, что наш общий друг Даниель Уотерхауз называет технологическими искусствами. Однако он ещё и писал романы, покойный Иоганн-Фридрих (а Вы знаете мою постыдную слабость к такому чтению), любил музыку и театр. Очень жаль, что он скончался от оспы, и возмутительно, что его собственный сын дурным обращением вынудил Элеонору уехать.

Кроме этих фактов не могу сообщить Вам о принцессах ничего, кроме сплетен. Зато сплетни

у меня первостатейные. Ибо София и София-Шарлотта в своих интригах имеют виды на Элеонору, почему имя её то и дело возникает в письмах, летающих между Ганновером и Берлином. Я убеждён, что София и София-Шарлотта вознамерились создать некое немецкое сверхгосударство. Разумеется, оно невозможно без принцев. Немецкие протестантские принцы и принцессы в дефиците, а война далее сократит их число; соответственно, красивая безмужняя принцесса — ценный товар.

Будь Элеонора богата, она могла бы сама выбирать свою судьбу или хоть как-то на неё влиять. Однако из-за неладов с пасынком она осталась без гроша, и всё её достояние — собственное тело и дочь. Поскольку её тело доказало свою способность производить на свет маленьких принцев, оно отныне в ведении властей предержащих. Я очень удивлюсь, если в ближайшие годы Элеонору не выдадут за какого-нибудь более или менее гадкого немецкого принца. Я бы посоветовал ей выбирать из сумасбродов — по крайней мере жить станет интереснее.

Надеюсь, мои слова не покажутся Вам чёрствыми, ибо такова правда. Всё не так плохо, как может показаться. Они в Гааге, здесь им не грозят

зверства, которые творит над немцами армия Лувуа. Есть более блистательные города, но Гаага — место вполне приемлемое и уж точно лучше той кроличьей норы в Тюрингском лесу, где, по слухам, Элеонора с Каролиной прозябали несколько лет. Что главное, в Гааге принцесса Каролина смотрит на Вас, Элиза, и учится быть великой женщиной. Какую бы участь ни готовили Элеоноре две ненадёжные свахи, София и София-Шарлотта, Каролина, надеюсь, научится от Вас и от них, как устраивать свои дела, и, достигнув брачного возраста, сможет выбрать того принца и ту страну, которые ей больше по вкусу. И тем утешит Элеонору на склоне лет.

Что до Софии, она никогда не удовольствуется одной Германией. Её дядя был английским королём, она хочет стать английской королевой. Вы знаете, что она прекрасно говорит по-английски? Вот почему я здесь, вдали от дома, пытаюсь проследить всех предков её мужа средь гвельфов и гибеллинов. Ах, Венеция! Каждый день я коленопреклонённо благодарю Бога, что София и Эрнст-Август не произошли от князей какой-нибудь Липовы.

Так или иначе, надеюсь, что Вы, Элеонора, Каролина и, дай Бог, Ваш малютка здоровы и на-

ходитесь на попечении степенных голландских кормилиц. Пишите, как только окрепнете.

Лейбниц

P. S. Мистический подход Ньютона к силе так меня раздражает, что я начал разрабатывать отдельную дисциплину, посвящённую этому предмету. Я подумываю назвать её «динамикой», от греческого названия силы. Как Вам? Ибо я могу знать греческий вдоль и поперёк, но у Вас есть *вкус*.

Гаага

август 1689

Дорогой доктор!

«Динамика» напомнила мне не только о силе, но и о династиях, которые используют для своего поддержания силы, часто сокрытые, как Солнце посредством неведомой силы заставляет планеты вращаться вокруг себя. Так что, думаю, слово удачное, тем более что Вы становитесь таким знатоком династий, старых и новых, и так умело уравновешиваете могущественные силы. А поскольку наречение имени даёт именующему определённую власть, Вы очень умно поступаете, включая свои возражения против Ньютона в само название дисциплины. Хочу лишь предупредить, что граница между понятиями «умный» и «умник» определена так же плохо, как большинство границ нынешнего христианского мира. Особенно умников не любят англичане, что странно, поскольку они сами большие умники. Они хотели бы провести границы так, чтобы все творения Ньютона (или любого другого англичанина) попали в страну «умных», Вас же изгнать в госу-

дарство «умников». Англичан же стоит принять в расчёт, ибо, по всему, они становятся главными картографами. Гюйгенс отправился в Англию, дабы присоединиться к Королевскому обществу, ибо это единственное место в мире (не считая помещения, в котором находитесь *Вы*), где он может вести беседу, не умирая со скуки. И несмотря на постоянные оскорбления, чинимые Гуком, ему не хочется с этим Обществом расставаться.

Я не тороплюсь писать о себе. Отчасти поскольку письмо, которое Вы читаете, само по себе доказывает, что я жива, отчасти из-за того, что никак не соберусь с силами написать про моего малютку, да упокоит Господь его невинную душеньку. Ибо сейчас он на Небесах с ангелами.

После нескольких ложных предвестников схватки начались вечером 27 июня, на мой взгляд, с большим опозданием — я чувствовала, что проходила беременной года два! На следующее утро воды хлынули из меня, словно море, нашедшее выход*[122] в плотине. В Бинненхофе воцарилась суета. Тут же был запущен механизм повивального искусства и родовспоможения. Послали за докторами, акушерками и священни-

---

[122] Примечания: 122

«Выход» — название 43-й гексаграммы «И-Цзин», или 011111.

ками, а каждый сплетник в радиусе пяти миль навострил уши.

Как Вы догадались, непомерно затянутое описание родов ниже — лишь сосуд для шифрованного послания. Однако всё же прочтите его, ибо мне потребовались несколько черновиков и галлон чернил, чтобы вложить в слова одну сотую долю мук, того нескончаемого возмущения в утробе, от которого всё тело норовит вывернуться наизнанку. Вообразите, что проглотили дынную косточку, чувствуете, что она выросла внутри Вас в полновесный плод, и теперь силитесь изблевать его через то же малое отверстие. Благодарение Богу, ребёнок наконец родился. Но молите Бога помочь мне, ибо я его люблю.

Да, я пишу «люблю», а не «любила». Вопреки тому, что написано в незашифрованном письме, ребёнок жив. Впрочем, я забегаю вперёд.

По причинам, которые вскоре станут понятны, я прошу Вас уничтожить моё письмо. Если я сама не уничтожу его, растворив слезами слова. Простите за неприглядные расплывшиеся пятна.

Для голландцев и англичан я герцогиня Йглмская. Для французов — графиня де ля Зёр. Однако ни протестантской герцогине, ни французской графине не позволено иметь внебрачных детей.

Беременность свою мне удалось скрыть от всех, за исключением небольшого числа людей, ибо, когда живот начал расти, я почти перестала появляться на людях. По большей части я оставалась на верхних этажах в доме Гюйгенса, так что весна и лето выдались для меня очень скучными. Принцессы Ансбахские, Элеонора и Каролина, остановились в Бинненхофе, который, как Вы знаете, расположен неподалёку от дома Гюйгенса. Почти каждый день они шли через площадь, чтобы навестить меня. Вернее, Элеонора шла, а Каролина мчалась впереди. Запустить любознательного шестилетнего ребёнка в дом, наполненный часами, маятниками, линзами, призмами и тому подобным, — счастье для самого ребёнка и мука для взрослых. Каролина способна задать сто «почему» и «зачем» по поводу самой заурядной вещицы, которую вытащила из угла. Элеонора, ничего не смыслящая в натурфилософии, быстро устала отвечать «не знаю» и начала тяготиться визитами ко мне. Однако я, не имея другого занятия и не желая терять их общество, взяла Каролину под своё крыло и постаралась в меру сил ответить на каждый её вопрос. Видя это, Элеонора завела обыкновение усаживаться где-нибудь в светлом уголке с рукоделием

или письмами. Иногда она оставляла Каролину со мной, а сама отправлялась на верховую прогулку или на приём. Таким образом, мы все были довольны. Вы упомянули, доктор, что покойный маркграф Иоганн-Фридрих, отец Каролины, был одержим натурфилософией и технологическими искусствами. Могу заверить, что Каролина унаследовала эту его страсть, а может, сохранила смутные воспоминания о том, как отец показывал ей коллекцию окаменелостей или новейшие маятниковые часы, и, когда я показала ей диковины в доме Гюйгенса, словно бы вновь прикоснулась к его отошедшей душе. Коли так, рассказ этот покажется Вам знакомым, ибо и Вы узнали отца, лишь читая книги в его библиотеке.

Это что касается Элизы и Каролины. Однако Элиза и Элеонора подолгу беседовали ночами, когда Каролина уже спала в своей бинненхофской спаленке. Мы говорили о динамике. Не о динамике катящихся шаров и наклонных плоскостей, но о динамике аристократических и королевских семей. Мы с ней — не более чем мышки, бегущие через лужайку, где знать играет в шары, любой из которых способен нас раздавить; наша задача увернуться. Мы должны понимать динамику, чтобы выжить.

За несколько месяцев до того, как забеременеть, я побывала в Лондоне. Даниель Уотерхауз провёл меня в Уайтхолл, когда рождался (или якобы рождался) сын Якова II, нынешнего претендента на престол. Была ли Мария Моденская беременна или только засовывала под платье подушку? А если была, то от сифилитичного короля или от какого-нибудь здоровяка-конюха, которого ей привели, чтобы получить крепкого наследника? Положим, она и впрямь носила под сердцем дитя; пережило ли оно роды? Или из королевиных покоев вынесли на всеобщее обозрение сироту, которого похитили из приюта и пронесли туда в грелке, чтобы торжественно предъявить как следующего Стюарта? В каком-то смысле это неважно, ибо король низложен, а ребёнок воспитывается в Париже. Однако в другом смысле очень важно, ибо по последним вестям из-за моря, его отец взял Дерри и продолжает наступление в Ирландии, намереваясь вернуть сыну трон. И всё из-за того, что произошло либо не произошло в одном из покоев Уайтхолла.

Однако я принижаю Ваш ум, расписывая всё так подробно. Нашли ли Вы подменышей или бастардов среди предков Софии? Вероятно. Предали ли Вы эти факты огласке? Разумеется, нет. И всё

равно сожгите моё письмо, а пепел развейте над каналом, о котором так часто пишете, только прежде убедитесь, что под Вашими окнами нет вспыльчивых гондольеров.

Как незамужняя дворянка я не могла понести и родить дитя. Элеонора понимала это не хуже меня. Мы разговаривали долгие часы по мере того, как живот мой рос и рос.

Моя беременность была секретом Полишинеля — о ней знали многие слуги и служанки, однако позже я всегда могла бы отпереться. Сплетники знали бы, что я лгу, но в конечном счёте сплетни можно не принимать в расчёт. Если бы, не дай Бог, ребёнок родился мёртвым, всё можно было бы скрыть. При другом исходе возникли бы сложности.

Впрочем, они не слишком меня заботили. В Версале я усвоила, что знатные дамы знают столько же способов скрыть свои похождения, извращённые склонности, выкидыши, роды и незаконных детей, сколько моряки знают узлов. Покуда месяцы беременности шли грозно и неумолимо, как часы господина Гюйгенса, у меня было время подумать, какой из способов я выберу.

Поначалу, покуда живот мой лишь самую малость округлился, я подумывала отдать ребёнка

на воспитание. Как Вам известно, существует немало богатых «сиротских приютов», куда знать определяет своих внебрачных детей. Либо я могла отыскать достойную бездетную пару, которая охотно взяла бы здорового ребёнка.

Однако в тот день, когда ребёнок впервые зашевелился во мне, всякая мысль отдать его обратилась в абстракцию, а вскорости и совсем улетучилась.

Когда я была на седьмом месяце, Элеонора послала в Ансбах за некой фрау Геппнер. Фрау Геппнер прибыла через несколько недель, якобы с тем, чтобы смотреть за принцессой Каролиной и учить её немецкому языку. Всем этим она и впрямь занялась, хотя на самом деле фрау Геппнер — повитуха. Она принимала Элеонору и множество других простых и знатных младенцев. Элеонора не сомневалась ни в ней самой, ни в её умении хранить тайны.

Бинненхоф значительно уступает в пышности Версалю, однако и здесь есть анфилады комнат, в которых высокородные гости могут разместиться со всеми своими фрейлинами, камеристками и прочими. Как Вы поняли из моих предыдущих писем, у принцессы Элеоноры не столько приближённых, чтобы заполнить целые

апартаменты; всего-то двое слуг, которых она привезла из Германии, и две горничные-голландки, которых из милости предоставил ей Вильгельм. Теперь появилась фрау Геппнер, но одна свободная комната всё равно осталась. Итак, когда фрау Геппнер не давала уроков Каролине, она начала готовить простыни и прочее потребное для повивального искусства, превращая свободную комнату в родильный покой.

План состоял в следующем: когда придёт срок, меня перенесут через площадь в портшезе и доставят прямиком в апартаменты Элеоноры. Верите ли, мы даже всё отработали. Я наняла двух дюжих голландских носильщиков и, пока дохаживала последние недели, каждый день заставляла их носить меня в Бинненхоф, не замедляясь и не останавливаясь, пока не поставят портшез в опочивальне Элеоноры.

Тогда я полагала, что очень умно придумала с репетициями. Я недооценила своего врага и число его соглядатаев в Бинненхофе. Задним числом понимаю, что фактически рассказала ему о своем плане и дала все необходимые подсказки.

Однако я снова забегаю вперёд. Предполагалось, что фрау Геппнер примет у меня роды. Если ребёнок умрёт, а я останусь жива, тайна не выйдет

за пределы комнаты. Если умру я, а ребёнок выживет, он останется на попечении Элеоноры и унаследует моё состояние. Если мы оба выживем, я выжду несколько недель и, когда пройдут последние симптомы родов, уеду в Лондон. Ребёнка я взяла бы с собой и выдала за племянника или племянницу — сироту, случайно уцелевшего во время резни в Пфальце. Не было бы недостатка в англичанах, готовых поверить в такую сказочку, особенно если сказочка исходит от герцогини, оказавшей ценные услуги их новому королю.

Да, всё это звучит дико. Я бы никогда не поверила, что такое возможно, если бы не побывала в Уайтхолле и не видела собственными глазами (издалека) толпу высокопоставленных особ, готовых целый день торчать в королевиной опочивальне и пялиться в её лоно, словно мужичьё на представлении бродячего фокусника: удастся поймать его на мухлеже или нет.

Я полагала, что моё лоно, такое простое и смиренное, не привлечёт внимания сильных мира сего и, проведя загодя несложные приготовления, я смогу устроить всё желательным для себя образом.

Теперь можете обратиться к открытому тексту и ознакомиться с теми восхитительны-

ми ощущениями, которые я пережила в первые часы родов. (Точно не знаю, сколько времени это заняло, но сначала за окном было темно, потом рассвело.) Когда отошли воды, я послала за носильщиками. Между схватками я осторожно спустилась на первый этаж, где дожидался портшез, забралась внутрь и задёрнула занавеску, чтобы спрятаться от любопытных взоров по пути через площадь. Мрак и теснота ничуть меня не пугали, ведь ребёнок в моей утробе много месяцев сносил куда худшие тесноту и мрак, не выказывая неудовольствия, и лишь время от времени пихался ножками.

Снаружи раздались знакомые голоса носильщиков, портшез оторвали от пола и развернули, чтобы нести через площадь. Её миновали без всяких происшествий. Вероятно, я на какое-то время задремала, во всяком случае, точно потеряла счёт поворотам в длинных галереях Бинненхофа. Однако вскоре я почувствовала, как портшез опустился на каменный пол, и услышала удаляющиеся шаги носильщиков.

Я отодвинула щеколду и открыла дверцу, ожидая увидеть фрау Геппнер, Элеонору и Каролину.

Вместо них на меня смотрел доктор Алкмаар, придворный медик, которого я видела раз или два,

но с которым никогда не разговаривала.

Я была не в покоях Элеоноры, а в незнакомой комнате в какой-то другой части Бинненхофа. Расстеленная кровать стояла наготове — наготове для меня! На полу исходило паром ведро с водой, на столе лежала груда рваных простынь. В комнате находились несколько женщин, которых я немного знала, и незнакомый молодой человек.

Это была ловушка — настолько неожиданная, что я не знала, как поступить. Хотела бы я написать, доктор, что не растерялась, мигом оценила обстановку, выпрыгнула из портшеза и выбежала в спасительную галерею. Однако в действительности я совершенно оторопела. Едва осознав, что нахожусь в незнакомой комнате, я почувствовала новую сильную схватку, лишившую меня всякой способности к сопротивлению.

К тому времени, как боль немного отпустила, я лежала на кровати: доктор Алкмаар и молодой человек вытащили меня из портшеза. Носильщики давно ушли. Тот, кто задумал эту ловушку (а я догадываюсь, кто он), либо перекупил их, либо убедил, что такова моя воля. Я не имела возможности переправить весточку наружу. Я могла бы закричать и позвать на помощь, но роженицы всегда кричат. А помощи здесь и так

было предостаточно.

Доктор Алкмаар не отличается душевностью, но всегда слыл опытным и (что почти так же важно) преданным. Если он кому и расскажет мои секреты (думала я), то лишь Вильгельму Оранскому, который и без того их знает. Доктору помогали ученик (молодой человек) и две девицы, которым, собственно, незачем было здесь находиться. Когда почти девять месяцев назад я прибыла в Гаагу с Элеонорой и Каролиной, Вильгельм решил окружить меня свитой — не потому, что я так хотела, а потому, что так принято; немыслимо, чтобы герцогиня жила в Бинненхофе без слуг и приближённых. Он приставил ко мне этих двух девиц. Обе — дочери мелкопоместных дворян, обе живут при дворе в ожидании замужества и горюют, что они в Бинненхофе, а не в Версале. Шпионаж со стороны слуг — неотъемлемая часть любой придворной интриги, и я следила, чтобы наши с Элеонорой беседы происходили подальше от их ушей. Затем я переехала к Гюйгенсу и начисто забыла обеих. Однако, согласно правилам этикета, они формально оставались в моей свите, хочу я того, или нет. Мой затуманенный мозг, силясь разобраться в происходящем, остановился на этом

объяснении.

Вновь обратитесь к открытому тексту за описаниями различных мучений и малоаппетитных подробностей. Суть, важная для рассказа, состоит в том, что, когда начались самые болезненные схватки, я мало что соображала. Если сомневаетесь, доктор, съешьте испорченных устриц и попытайтесь решить дифференциальное уравнение, когда почувствуете сильные позывы на низ.

После одной из схваток я из-под полуприкрытых век увидела доктора Алкмаара, стоящего между моих ног. Рукава у него были засучены, волосы на руках — в чём-то мокром. Очевидно, он ощупывал меня изнутри.

— Мальчик, — объявил он, не столько для меня, сколько для собравшихся.

По тому, как они переглядываются, было видно: они считают, что я сплю или без сознания.

Я слегка приоткрыла глаза, думая, что всё кончилось, и рассчитывая увидеть ребёнка. Однако руки у доктора Алкмаара были пусты, и он не улыбался.

— Откуда вы знаете? — спросила Бригитта — одна из двух девиц, рослая и коренастая. Она естественно смотрелась бы на ферме у масло-

бойки, а в придворном платье выглядела большой и неуклюжей. Её я не опасалась.

— Он идёт ягодицами, — рассеянно сказал доктор Алкмаар.

Бригитта ахнула. Несмотря на дурное известие, мне немного полегчало. Бригитта всегда казалась мне глуповатой из-за своей доброты. Сейчас она единственная в комнате мне сочувствовала.

Мари — другая девушка — спросила:

— Значит, они оба умрут?

Поскольку я пишу это письмо, нет смысла томить Вас неизвестностью — очевидно, я не умерла. Привожу эти слова, чтобы прояснить характер Мари. В противоположность добрячке Бригитте она всегда была абсолютно бездушной — если в комнату вбегала мышь, Мари затаптывала её до смерти. Она — дочка барона, её родословная составлена из ошмётков, объедков, опивков и огарков различных голландских и немецких знатных родов. У меня сложилось впечатление, что (извините) в их семье инцесты практикуются часто и с раннего возраста.

Доктор поправил её:

— Значит, придётся поворачивать его на головку. Тут нужна осторожность — как бы не выпала

и не пережалась пуповина. Сложнее всего справиться с сокращениями матки, которая давит на плод сильнее любой руки. Надо дождаться, когда матка расслабится.

И мы стали ждать. Однако даже между схватками матка оставалась такой напряжённой, что доктор Алкмаар не мог повернуть ребёнка.

— У меня есть снадобье, которое, возможно, поможет, — задумчиво проговорил он. — Или я могу ослабить её кровопусканием. Однако лучше всё-таки подождать, когда она совсем выбьется из сил. Тогда у меня скорее получится.

Новое ожидание. Для них оно состояло в том, чтобы стоять и ждать, когда пройдёт время, для меня — становиться жертвой кровавого убийства и возвращаться к жизни, снова и снова, но с каждым разом к низшей её форме.

К тому времени как в комнату ворвался посыльный, я могла лишь лежать, как мешок с картошкой, и слушать, что говорят.

— Доктор Алкмаар! Я только что от постели шевалье де Монлюсона!

— А почему новый посол в постели, хотя сейчас четыре часа дня?

— С ним какой-то приступ, и вы должны немедленно пустить ему кровь.

— Я занят, — отвечал доктор Алкмаар по некоторому размышлении. Мне стало не по себе от того, что он задумался.

— Повитуха идёт сюда, чтобы вас сменить, — сказал гонец.

Словно по сигналу, раздался стук в дверь; Мари, обнаружив больше живости, чем за всё предшествующее время, бросилась к дверям и впустила повивальную бабку — старую каргу более чем сомнительной репутации. Сквозь туман ресниц я видела, как Мари с криком притворной радости бросилась старухе на шею и что-то зашептала. Бабка выслушала её и что-то сказала в ответ, снова выслушала и снова ответила; так три раза, прежде чем обратить ко мне серые глаза. И в этих глазах я отчетливо увидела смерть.

— Расскажите подробнее о симптомах, — обратился доктор Алкмаар к посланцу. По тому, как он на меня смотрел — глядя, но не видя, — я чувствовала, что он готов сдаться.

Я, собрав все силы, приподнялась на локте и ухватила доктора за окровавленный шейный платок.

— Если думаете, что я мертва, то как вы объясните это? *— сказала я, дёргая его за галстук.*

— Пройдёт много часов, прежде чем вы окон-

чательно обессилите, — отвечал доктор. — Я успею пустить кровь шевалье де Монлюсону.

— После чего с ним приключится второй приступ, а потом ещё и ещё! Я не дура и понимаю: если я ослабею настолько, что вы сможете повернуть ребёнка, то потом не сумею его вытолкнуть! О каком лекарстве вы говорили?

— Доктор, французский посол, может быть, умирает! Согласно правилам старшинства… — начала Мари, но доктор Алкмаар остановил её движением руки. Мне он сказал:

— Это всего лишь образец. На время расслабляет некоторые мышцы, затем действие проходит.

— Вы его уже пробовали?

— Да.

— И?

— У меня приключилось недержание мочи.

— Кто вам его дал?

— Странствующий алхимик, побывавший тут две недели назад.

— Шарлатан или…

— У него отменная репутация. Он заметил, что при таком количестве беременных женщин во дворце оно мне, возможно, понадобится.

— Роот?

Доктор Алкмаар украдкой огляделся, прежде чем еле заметно кивнуть.

— Дайте мне ваше снадобье.

Это оказалась травяная настойка, очень горькая; примерно через четверть часа тело моё ослабело, а в голове наступила такая пустота, как будто я уже потеряла много крови. Так что я была в полубессознательном состоянии, когда доктор Алкмаар повернул ребёнка; и хорошо, поскольку я совершенно не хотела этого осознавать. Моя страсть к натурфилософии имеет свои пределы.

Я слышала, как он сказал повитухе:

— Теперь ребёнок предлежит головкой, как и положено. Слава Богу, пуповина не выпала. Вот и головка показалась. Через несколько часов действие лекарства пройдёт, схватки возобновятся и, с Божьей помощью, роженица благополучно разрешится. Имейте в виду, беременность переношенная, плод полностью созрел и уже обкакался в утробе.

— Я такое видела, — обиженно произнесла бабка.

Доктор продолжал, не обращая внимания на её недовольство.

— У ребёнка во рту первородный кал. Есть

опасность, что при первом вдохе он попадёт в лёгкие. Коли так, ребёнок не проживёт и неделю. Я пальцем в основном очистил ребёнку ротик, но не забудьте сразу перевернуть его вверх ногами, ещё до первого вдоха.

— Спасибо за наставление, доктор, — недовольно отвечала повитуха.

— Вы ощупали ребёнку рот? Его рот? *— спросила Мари.*

— Да, это я и сказал.

— Он… нормальный?

— В каком смысле?

— Нёбо… челюсти?..

— Если не считать, что он полон жидким калом, — сказал доктор Алкмаар, вручая помощнику сумку с ланцетами, — то совершенно нормальный. А теперь я пойду пущу кровь французскому послу.

— Прихватите несколько кварт для меня, доктор, — сказала я.

Услышав эту слабую шутку, Мари, закрывавшая дверь за доктором, обернулась и устремила на меня неописуемо злой взгляд.

Старая карга села рядом, прикурила от свечи трубку и принялась наполнять комнату клубами дыма.

Слова Мари были шифрованным посланием, которое я разгадала, как только оно коснулось моих ушей. Вот расшифровка:

Девять месяцев назад я попала в беду на берегу Мёза. Чтобы выпутаться, я переспала с Этьенном д'Аркашоном, отпрыском древнего рода, в котором фамильные дефекты передаются вместе с фамильным гербом. Всякий бывавший при дворах Версаля, Мадрида и Вены видел заячью губу, странной формы челюсть, сплюснутый череп. Карл II Испанский, кузен д'Аркашонов по трём разным линиям, не может даже есть твёрдую пищу. Когда в этой семье появляется новорожденный, ему, едва ли дав сделать вдох, первым делом осматривают рот.

Я рада была услышать, что у моего ребёнка не будет этих пороков. Своим вопросом Мари ясно показала, что у неё есть соображения касательно отцовства. Однако как такое возможно? «Очевидно, — скажете Вы, — Этьенн направо и налево похвалялся, что овладел графиней де ля Зёр; девять месяцев — вполне достаточный срок, чтобы слухи достигли ушей Мари». Однако Вы не знаете Этьенна. Он чудной, вежливый донельзя и не стал бы хвастаться победой. Кроме того, он не мог знать, что ребёнок — его. Он знал только, что

один раз меня отымел (как выразился бы Джек). В предшествующие и последующие недели я путешествовала в обществе мужчин и уж явно не произвела на него впечатление целомудренной!

Единственное возможное объяснение состояло в том, что Мари прочла — или, вернее, прочёл тот, кто ею управляет, — расшифрованную версию моего дневника, в котором я чётко писала, что спала с Этьенном и только с ним.

Очевидно, Мари и повитуха действовали по наущению какого-то высокопоставленного француза. Графа д'Аво отозвали в Версаль вскоре после Революции в Англии, на его место прислали шевалье де Монлюсона. Однако Монлюсон — никто, марионетка, которую дёргает за ниточки д'Аво либо другой могущественный обитатель Версаля.

Внезапно, лёжа в чужом дворце, в окружении чужих людей, уставившихся мне между ног, я пожалела супругу Якова II.

Кто всё это подстроил? Какие приказы получила Мари?

Мари ясно показала, что её задача — выяснить, здорового ли ребёнок телосложения.

Кому важно, правильной ли формы череп у незаконного ребёнка Этьенна?

Этьенн написал мне любовные стихи, если это позволительно так назвать:

Дам возвышает знаменитый род,
Гербы и грамоты под древней пылью,
Но древо родовое червь грызёт,
И тронуты побеги жадной гнилью.
Кровь моей дамы, как родник, чиста,
Заплачено за титул – мне нет дела.
Её краса залог, что сбудется мечта
Об отпрысках, чьё безупречно тело.

Этьенн д'Аркашон хочет иметь здоровых детей. Он знает, что его кровь — порченая. Ему нужна жена со здоровой наследственностью. Меня сделали графиней, но ни для кого не секрет, что родословная моя вымышлена и я всего лишь простолюдинка. Этьенна это не заботит; его знатности хватит на трёх герцогов. Ему неважно моё происхождение. Ему важна моя способность производить на свет здоровых детей. Он или кто-то от его имени управляет Мари. А я у Мари в руках.

Это объясняло вопрос, который Мари задала доктору. Но что ещё ей поручили?

Ребёнок, рвущийся из меня на свет, при всём

своем здоровье, навсегда останется внебрачным — не большая помеха для Этьенна (у многих мужчин есть бастарды), но очень существенная для меня.

Я доказала свою способность рожать здоровых маленьких д'Аркашонов. Узнав об этом, Этьенн захочет на мне жениться, чтобы я плодила ему законных детей. Но что уготовано этому ребёнку — ненужному и нежеланному бастарду? Отправят его в приют? Воспитают в одной из младших ветвей рода? Или — простите, что рисую такой жуткий образ, но таковы были мои тогдашние мысли, — Мари поручено проследить, чтобы он родился мёртвым?

Между схватками я оглядывала комнату, ища выход. Надо было выбраться от этих ужасных женщин и родить среди друзей. Однако после целого дня схваток я не могла бы даже приподняться, а уж тем более — вскочить и выбежать в дверь.

Когда нельзя положиться на свою силу, приходится уповать на чужие слабости. Я уже упомянула, что Бригитта сложена как лошадь. И я верила в её доброту. Временами я могу ошибаться в людях, но тех, с кем рядом много часов рожаешь в тесном помещении, узнаёшь очень близко.

— Бригитта, — сказала я, — мне бы очень хотелось, чтобы вы нашли принцессу Элеонору.

Бригитта стиснула мою потную руку и улыбнулась, но Мари заговорила раньше:

— Доктор Алкмаар строго запретил пускать в комнату посетителей.

— Далеко ли Элеонора? — спросила я.

— Сразу в конце галереи, — отвечала Бригитта.

— Тогда бегите к ней и скажите, что у меня очень скоро родится здоровый мальчик.

— Это ещё далеко не известно, — заметила Мари, когда Бригитта выбежала из комнаты.

Мари и бабка тут же отошли в угол и принялись шептаться. Я этого не ожидала, но так было даже лучше. Я потянулась к столику и вытащила из подсвечника свечу. На столике лежала кружевная скатерть. Я поднесла к ней свечу, и кружево вспыхнуло, как порох. К тому времени, как Мари и бабка обернулись посмотреть, что происходит, пламя уже перекинулось на кружево балдахина.

Вот что я имела в виду, говоря о полезности чужих слабостей. Едва Мари и бабка увидели огонь, между ними началась борьба, кто первый проскочит в дверь. Они даже не крикнули «Пожар!»,

выбегая из здания. Это сделал слуга, который шёл по коридору с тазом горячей воды. Увидев, что из открытой двери валит дым, он закричал, подняв на ноги весь дворец, и вбежал в комнату. По счастью, таз он не выронил и сразу выплеснул воду туда, где горело сильнее всего, — на балдахин. Вода ошпарила меня, но не долетела до огня, взбиравшегося по занавесям.

Учтите, я лежала, глядя через дыры в пылающем балдахине на клубы дыма под потолком. Дым опускался всё ниже и ниже. Оставалось лишь ждать, когда он меня накроет.

И тут в дверях появилась Бригитта. Она опустилась на корточки, чтобы под клубами дыма встретиться со мной глазами. Я назвала её тупой? Беру свои слова обратно. В следующий миг лицо её приняло яростное выражение, она рванулась вперёд и двумя руками схватила мою перину. Потом сбросила туфли, упёрлась босыми ступнями в пол и дёрнула всем своим весом. Перина едва не выскользнула из-под меня, но я двигалась вместе с ней и вскоре почувствовала, как кровать уходит из-под спины. Зад ударился об пол, голова — о край кровати, перина лишь немного смягчила удар. Что-то порвалось внутри. Ощущение было такое, словно всё тело разваливается, как

налетевший на риф корабль, каждая схватка — волна, дробящая меня на куски. Отчётливо помню скользящий рядом каменный пол, башмаки слуг, бегущих навстречу с одеялами и вёдрами, и, впереди, между моими поднятыми коленями, огромные босые ступни и мясистые икры Бригитты, мелькающие под окровавленным подолом: левая — правая — левая — правая. Она тащила меня в другой конец галереи. Воздух здесь был чище, я уже различала фрески на потолке. Мы остановились под Минервой, которая смотрела из-под забрала строго, но, как мне показалось, одобрительно. Бригитта плечом распахнула дверь и втащила меня прямо в спальню Элеоноры.

Элеонора и фрау Геппнер пили кофе, принцесса Каролина читала вслух. Как легко догадаться, они опешили; однако фрау Геппнер, повитуха, лишь раз взглянула на меня, сказала что-то по-немецки и встала.

Надо мной возникло лицо Элеоноры.

— Фрау Геппнер говорит: «По крайней мере день становится интересным!»

Очень дурные люди, сознающие свою порочность, такие как Эдуард де Жекс, возможно, стремятся к религии в отчаянной надежде стать лучше. Однако если они так же умны, как

он, то находят способ извратить веру, направить её на службу своим изначальным дурным наклонностям. Доктор, я пришла к убеждению, что польза религии не в том, чтобы сделать людей добродетельными — это невозможно, — но в том, чтобы как-то обуздать крайние проявления порочности.

Я мало знакома с Элеонорой и не знаю, какие пороки таятся в её душе. Она не отвергает религию (как Джек, которому вера могла бы пойти на пользу) и не держится за неё мёртвой хваткой, как отец Эдуард де Жекс. Это внушает мне надежду, что в случае Элеоноры религия выполняет своё истинное назначение: поддерживает её, когда она готова споткнуться под натиском дурного порыва. Я должна в это верить, потому что препоручила ей своего ребёнка. Из рук повитухи он перешёл к Элеоноре, которая сразу прижала его к груди. Я не пыталась противиться. Я была в таком изнеможении, что не могла двинуться, и вскоре уснула беспробудным сном.

В открытом тексте, доктор, я излагаю версию, которой верит весь Бинненхоф: из-за постыдной трусости Мари и повитухи ребёнок умер, и я умерла бы тоже, если бы отважная Бригитта не перетащила меня в комнату, где добрая

немка, фрау Геппнер, проследила, чтоб отошёл послед, остановила кровотечение и тем спасла мне жизнь.

Всё это чушь. Правдив лишь один абзац: тот, где я пишу о радости, которую испытывает тело, избавившись от девятимесячного бремени, — чтобы через несколько мгновений ощутить новое бремя, на сей раз душевной природы. В открытом тексте я пишу, что это бремя — горе об умершем ребёнке. Однако в жизни — которая гораздо сложнее — это бремя неопределённости и безотчётных страхов.

Я вернулась в дом Гюйгенса, ребёнок остался в Бинненхофе на попечении Элеоноры и фрау Геппнер. Мы уже начали распространять слух, что он — сирота; его мать якобы бежала от резни в Пфальце и на барже умерла родами.

Сдаётся, я останусь жить. В таком случае я возьму ребёнка и постараюсь добраться до Лондона, чтобы там строить нам обоим новую жизнь. Если я заболею и умру, его возьмёт Элеонора. Но рано или поздно, завтра или через двадцать лет, мы разлучимся, он будет где-то в мире жить отдельной, не вполне мне ведомой жизнью. Дай Бог, чтобы он меня пережил.

Через несколько недель или месяцев в Гааге

предстоит расставание. Я с ребёнком отправлюсь на запад. Элеонора с Каролиной — на восток, принять гостеприимство женщин, которым Вы служите, и ту роль в европейских интригах, которую они ей отведут.

Добравшись с Божьей помощью до Лондона, я сразу Вам напишу. Если письма не будет, значит, я пала жертвой козней д'Аво. Желает ли он смерти моему ребёнку, не знаю, но я определённо нужна ему в Версале, где он сможет насильно выдать меня за Этьенна д'Аркашона. Следующие недели, покуда я не встану на ноги, самые опасные.

Осталось разъяснить две неувязки. Первое: если ребёнок от Этьенна, то почему у него нет врождённых пороков? И второе: если шифр взломан и Чёрный кабинет читает мою переписку, зачем я рассказываю Вам эти секреты?

Возможно, Вас смущает и третья неувязка: зачем я вообще переспала с Этьенном, если могла выбирать из десяти миллионов любвеобильных французов?

Все три неувязки сходятся в один узел. В Версале я познакомилась с королевским криптоаналитиком Бонавантюром Россиньолем, или Бонбоном, как люблю его называть (привет, Бонбон!). Осенью прошлого года, при подготовке вторжения

в Пфальц, его отправили на Рейн. Когда я нечаянно заехала в расположение французских войск, Бонбон узнал об этом через несколько часов (ведь он читал все депеши) и буквально во весь опор прискакал мне на выручку. Трудно рассказывать сейчас всю историю; перепрыгну в конец и признаюсь, что такое благородство зажгло в моей крови неведомый прежде жар. На письме всё это выглядит очень просто и грубо, но ведь, по сути, дело и впрямь простое и грубое, не так ли? Я на него набросилась. Мы несколько раз переспали. Было чудесно. Однако требовалось придумать, как мне выпутаться. Выбора практически не оставалось. Решили, что я соблазню Этьенна д'Аркашона. На самом деле я просто впала в прострацию, полностью отключила сознание от тела и позволила ему меня соблазнить, после чего уговорила отпустить нас на север. Всё это я записала в дневнике. Когда я добралась до Гааги, д'Аво узнал о существовании дневника и потребовал, чтобы королевский криптоаналитик его расшифровал, что тот и сделал, опустив, впрочем, лучшие места — те, где фигурировал в качестве романтического героя. Он не мог меня обелить, потому что д'Аво уже слишком много знал и слишком многие французы видели меня

в тех краях. Вместо этого Бонбон рассказал историю так, чтобы выставить меня любовницей д'Аркашона. Женщиной, способной рожать здоровых детей, о которых мечтают он и его семья.

Надо заканчивать письмо. Тело моё изнывает от желания кормить; когда по ночам я слышу, как малыш плачет во дворце через площадь, из грудей моих текут тонкие струйки молока, которые я смываю обильным потоком слёз. Будь я мужчиной, я бы сказала, что обабилась. Прощайте. Если, вернувшись в Ганновер, Вы встретите девочку по имени Каролина, наставьте её так же хорошо, как наставили Софию и Софию-Шарлотту. А если рядом с Каролиной окажется сирота, якобы рождённый на берегах Рейна, то Вам будет известно, кто его отец и что сталось с его матерью.

Элиза

Бишопсгейт

Ты слишком мелок, чтобы постигать
Себя: казалось бы, ты должен знать
Хоть тело. Разве души не считают
Давно уже, что тело составляют
Огонь, вода, другие элементы?
Теперь нашли ещё ингредиенты,
Одна душа так мыслит, а иная
Инако; все в сомненье пребывают.
Подумай: камень как проникнуть может
В твой мочевой пузырь, не ранив кожи?

Джон Донн, «Вторая годовщина»

октябрь 1689

Гость — пятидесятишестилетний старик, но куда более крепкий, чем хозяин, с притворным вниманием наблюдал, как его помощники пробираются между стопками, ящиками, полками и бочками, составлявшими теперь личную библиотеку доктора Уотерхауза. Один из них шагнул к открытому бочонку. Гость стремительно зацокал языком, захмыкал, защёлкал пальцами, торопясь его остановить.

— Надо думать, всё, что доктор Уотерхауз уложил в бочки, отправляется в Бостон.

Когда помощники занялись оценкой и каталогизацией, он обернулся к Даниелю и заискрился, как бокал шампанского.

— Не могу выразить, какое огромное удовольствие видеть вас, старина!

— Вряд ли вид мой способен доставить удовольствие, мистер Пепис, но весьма благородно было изобразить его с таким жаром.

Самюэль Пепис выпрямился, сморгнул и приоткрыл рот, словно торопясь вставить заготовленные слова. Рука задрожала и потянулась к Карману, в котором все эти тридцать лет сберегался Камень. Однако некий джентльменский инстинкт подсказал ему не нарываться на столь ранней стадии разговора.

— По тому, что говорят в Обществе, я думал, вы уже в Массачусетсе.

— Мне следовало начать сборы сразу после Революции, — признал Даниель, — но я ждал, пока Джеффрис встретится с палачом в Тауэре. Тут наступил апрель, и я понял, что до отъезда из Лондона должен ликвидировать свою жизнь. Даже не думал, что это такая морока. Куда удобнее раз — и умереть, предоставив другим скучные

хлопоты.

Он махнул на стопки книг, быстро убывающие по мере того, как армия наёмных библиотекарей несла их своему полководцу — Пепису — и складывала у его ног. Тот взглядывал на титульный лист и глазами показывал, вернуть книгу на место или забрать. Отобранные тома несли старику-счетоводу, который вооружившись переносным бюро, пером и чернильницей, составлял опись.

Слова «раз — и умереть» стали для Самюэля Пеписа *вторым* тяжким искушением; он вынужден был сжать руку в кулак, чтобы не сунуть её в карман. По счастью, его отвлёк помощник, поднеся раскрытый фолиант с гравированными изображениями рыб. Пепис на мгновение свёл брови. Впрочем, он тут же узнал и сразу отверг книгу. Несколько лет назад Королевское общество издало её избыточным тиражом. С тех пор члены Общества всеми правдами и неправдами сбагривали друг другу экземпляры, пытались использовать их в качестве универсального платёжного средства, придавливали ими гербарии, подпирали колченогие столы и прочая, и прочая.

Даниель был по натуре человек не злой, но его тошнило несколько дней кряду, а соблазн пому-

чить Пеписа в третий раз был слишком велик.

— Ваш суд скор и безжалостен, мистер Пепис. Книги отправляются одесную или ошуюю. Когда в бурю опрокидывается корабль и перед святым Петром выстраивается очередь промокших душ, даже он не успевает рассортировать их так быстро.

— Вы меня дразните, мистер Уотерхауз; вы разгадали мою уловку и знаете, зачем я пришёл.

— Отнюдь нет. Что вы поделываете с Революции? Я ничего о вас не слышал.

— Я ушёл в отставку, мистер Уотерхауз, и посвятил себя науке. Сейчас мои цели: собрать библиотеку не хуже, чем у сэра Элиаса Ашмола, и хоть в малой степени заполнить пустоту, оставшуюся после вашего отхода от повседневных дел Королевского общества.

— Вам, наверное, хотелось окунуться в жизнь нового двора, нового парламента…

— Ничуть.

— Странно.

— Двигаться в таких кругах — всё равно что плыть. Плыть с камнями в карманах! Нужны постоянные усилия. Остановиться — смерть. Пусть этим занимаются те, кто помоложе и поживей, как ваш друг маркиз Равенскарский. В мои лета

куда приятней стоять на суше.

— Что насчёт камней в карманах?

— Простите?

— Ваша реплика, мистер Пепис, я вас к ней плавно подвожу.

— Отлично! — Пепис одним прыжком оказался возле кровати и поднёс старый добрый камень к самому лицу Даниеля.

Даниель впервые видел его так близко. Сейчас он приметил два симметричных отростка, вроде рогов, которые начали расти в мочеточники, ведущие к почкам мистера Пеписа. Ему сделалось нехорошо, и он перевёл взгляд на лицо мистера Пеписа, которое было почти так же близко.

— СМОТРИТЕ! Моя смерть — преждевременная, бессмысленная, отвратимая. Моя и *ваша,* Даниель. Однако свою смерть я держу в руке. Ваша — вот здесь. Не вздрагивайте, я не стану вас трогать, только показываю, что ваш камень в двух дюймах от моей руки, когда я держу её здесь. *Мой* камень *у меня* в руке. Всего два дюйма! И всё же для меня это малое расстояние означает лишние тридцать лет жизни. Тридцать лет — и, Бог даст, ещё десяток-другой, чтобы пить, любить женщин, петь и учиться. Умоляю, Даниель, обратитесь к врачам, пусть камень переместят на два

дюйма в ваш карман, где он сможет пролежать ещё четверть века, ничуть вас не беспокоя.

— Это очень важные два дюйма, мистер Пепис.

— Не спорю.

— В Чумной год, в Эпсоме, я помогал мистеру Гуку вскрывать различных животных, в том числе людей. К тому времени я сам мог резать почти любой орган почти любого животного. Однако меня всегда ставили в тупик шея и несколько дюймов вокруг мочевого пузыря. Их приходилось оставлять мистеру Гуку, куда более искусному. Все эти отверстия, сжимательные мышцы, железы, невероятно важные каналы…

При упоминании Гука Пепис просветлел, как будто вспомнил, что собирался сказать, но по мере того, как Даниель продолжал урок анатомии, лицо его поскучнело.

— Разумеется, я всё это знаю, — оборвал он Даниеля.

— Не сомневаюсь.

— Я знаю всё это на собственном опыте, к тому же имел возможность освежить свои познания всякий раз, как очередной мой близкий друг умирал от камня. На память приходит преподобный Уилкинс…

— Низко, очень низко с вашей стороны, мистер

Пепис, вспомнить сейчас о нём!

— Он смотрит на вас с Небес, говоря: «Жду не дождусь встречи, Даниель, но готов потерпеть ещё лет двадцать-тридцать, ради всего святого не торопитесь ко мне, удалите камень и завершите свой труд».

— Я искренне считаю, что ничего более позорного вы уже не скажете, мистер Пепис. Пожалуйста, оставьте больного человека в покое.

— Отлично!.. Тогда едем в паб.

— Спасибо, мне нездоровится.

— Когда вы последний раз принимали твёрдую пищу?

— Не помню.

— А жидкую?

— Я не имею намерения принимать жидкость, поскольку не могу её выводить.

— Всё равно едем в паб, мы устраиваем вам проводы.

— Отмените их, мистер Пепис. Начались равноденственные шторма. Отправляться сейчас в Америку было бы глупо. Я договорился с одним очень старым знакомым, мистером Эдмундом Поллингом, который давно собирается перебраться в Массачусетс вместе с семьёй. Мы условились в апреле следующего года взойти на строящийся

сейчас корабль «Торбэй» и примерно через…

— Вы умрёте в течение недели.

— Знаю.

— Самое время для проводов. — Пепис дважды хлопнул в ладоши. Хлопки почему-то отозвались глухим стуком в соседней комнате.

— Я не дойду до вашей кареты.

— И не надо, — сказал Пепис, открывая дверь.

За ней стояли двое носильщиков с портшезом — очень маленьким, не больше саркофага, сделанным специально, чтобы пассажира можно было внести прямо в дом. Такими предпочитали пользоваться стеснительные особы, в частности проститутки.

— Фи, что люди подумают?

— Что Королевское общество пригласило на своё заседание загадочную личность — исключительно с научной целью! — отвечал Пепис. — Бросьте, не думайте о *наших* репутациях, их уже не испортить, и у нас будет уйма времени с этим разобраться.

Напутствуемые по большей части неконструктивной критикой со стороны мистера Пеписа, носильщики, слегка позеленев, подняли Даниеля с кровати. Он помнил вонь, стоявшую в комнате умирающего Уилкинса; видимо, от него разило

так же. Тело было лёгким и сухим, как вяленая рыба. Даниеля усадили в чёрный ящик и закрыли дверцу. От прежних пассажирок внутри сохранился аромат пудры и духов, а может, так пах обычный лондонский воздух по контрасту с его комнатой. Система отсчёта накренилась и закачалась — его несли вниз по лестнице.

На север вдоль римской стены — то есть не в ту сторону. Однако перед лицом смерти нелепо тревожиться о таком пустяке как то, что тебя похитили носильщики. С усилием повернув шею и выглянув в занавешенное окошко сзади, Даниель увидел едущую за ними карету Пеписа.

По мере того как портшез маневрировал по улицам и проулкам, за окошком мелькали различные виды и в большей или меньшей степени печальные сцены. Некое большое, почти законченное каменное здание с высоким куполом вновь и вновь возникало впереди, с каждым разом всё ближе. Это был Бедлам.

Сейчас любой лондонец принялся бы кричать и вырываться, осознав, что его собрались запереть на неопределённый срок. Однако Даниель в числе немногих лондонцев знал, что Бедлам — не только мусорная свалка безумцев, но и приют его друга и коллеги мистера Роберта Гука. Он спокой-

но позволил внести себя в главные ворота.

Тем не менее ему полегчало, когда носильщики свернули от запертых комнат к обители Гука под самым куполом. Вопли помешанных стихли, обратившись в едва различимый гул, а вскоре их и вовсе заглушили весёлые голоса из-за полированной двери. Пепис обежал портшез и распахнул дверь, за которой оказались *все:* не только Гук, но Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон и его тень Фатио, Роберт Бойль, Джон Локк, Роджер Комсток, Кристофер Рен и ещё человек двадцать — по большей части завсегдатаи Королевского общества, к которым присоединились несколько стариков, таких как Эдмунд Поллинг и Стерлинг Уотерхауз.

Даниеля вынули из портшеза, как заморскую диковину из ящика, и поддержали под локти, чтобы он выслушал троекратное «ура» собравшихся. Роджер Комсток (который, с тех пор как все сдерживающие факторы дали дёру во Францию, день ото дня становился всё более значительным), взобравшись на Гуков стол для шлифовки линз (Гук вскипел, и Рену пришлось удерживать его за полу), призвал собравшихся к молчанию.

— Все мы знаем, как высоко мистер Даниель Уотерхауз ставит алхимию, — начал Роджер.

Комизм усугублялся преувеличенной важностью голоса и манер, он обращался, как к парламенту. Когда слушатели отсмеялись, он продолжил так же торжественно: — Алхимия в наше время явила множество чудес и, как заверили меня самые выдающиеся её адепты, в ближайшие годы осуществит цель, к которой алхимики стремились тысячелетиями, подарить нам жизнь *беспутную!*

Комната взорвалась хохотом, обратившись в истинный Бедлам. Роджер Комсток изобразил на лице величайшее недоумение. Даниель покосился на Исаака: вот уж кто не склонен был смеяться шуткам над алхимией и бессмертием. Однако Исаак улыбался и переглядывался с Фатио.

Роджер поднёс ладонь к уху и внимательно прислушался, потом сделал вид, будто совершенно опешил.

— Что?! Вы говорите, «бессмертную»? — Он с притворным возмущением указал пальцем на Бойля. — Сударь, завтра я пришлю к вам своего поверенного — извольте вернуть деньги назад!

Слушатели совершенно обессилели от хохота — чего Роджер и добивался. Они могли лишь ждать, когда оратор продолжит, что тот и сделал с большой охотой.

— Покамест алхимики явили много чудес поменьше. Те, кто посещает питейные заведения, — во всяком случае, так мне рассказывали, — эмпирически установили, что пьянящие напитки содержат нежелательные примеси. Самая вредная из них — *вода*, которая, скапливаясь в мочевом пузыре, вынуждает пьющего выходить на холод, ветер и дождь, под осуждающие взгляды друзей и прохожих, дабы опорожнить сказанный пузырь — что в случае нашего почётного гостя занимает до двух недель.

— В своё оправдание могу заметить, что за эти две недели я успеваю протрезветь, — сказал Даниель, — и, вернувшись, обнаруживаю, что вы опорожнили все стаканы.

Роджер Комсток отвечал:

— Истинно. Я отдаю их содержимое нашим собратьям-алхимикам для опытов. Они научились удалять воду из вина и получать чистый дух. Однако речь моя начинает смахивать на отвлечённую проповедь, посему перейдём к вопросам практическим. Джентльмены, прошу погасить все курительные принадлежности! Мы не желаем спалить творение мистера Гука. Здешние обитатели так напугаются, что со страху придут в рассудок! Я держу в руке упомянутый

чистый дух, и он способен сжечь всё здание не хуже греческого огня. Опасность не минует, пока наш почётный гость не соблаговолит перелить содержимое стакана в себя. Ваше здоровье, Даниель! Будьте уверены: напиток ударит в голову, но ни единая капля не попадёт в почки!

Под самым центром купола на возвышении установили очень прочное дубовое кресло — подобие трона. Даниель мысленно поблагодарил друзей за предусмотрительность — сидя в кресле, он оказался вровень с остальными и даже чуть выше. В кои-то веки он мог разговаривать, не чувствуя, что на него смотрят сверху вниз. Подушки, подпирающие со всех сторон, позволяли двигать лишь челюстью да рукой, которая держала стакан. Остальные по двое, по трое подходили засвидетельствовать Даниелю своё почтение.

Рен поведал, как идёт строительство купола над собором Святого Павла, Эдмунд Поллинг — о подготовке плавания, намеченного на апрель. Гук, когда не спорил с Гюйгенсом о часах и не отбивался от похабных каламбуров Комстока, рассказывал о создании искусственных мышц. Он не говорил, что они нужны для летающей машины, — Даниель и так знал. Исаак жил теперь в Лондоне — его выбрали в парламент от Кем-

бриджа; Фатио гостил под его кровом. Стерлинг вместе с сэром Ричардом Апторпом собирались как-то хитроумно финансировать очередные безумства правительства. У Франции есть неисчерпаемый запас податных крестьян, у Испании — серебряные рудники в Мексике; Стерлинг и сэр Ричард, очевидно, полагали, что Англия посредством некоего метафизического фокуса сумеет компенсировать недостаток и того, и другого. Гюйгенс подошёл и сообщил печальную новость: графиня де ля Зёр прижила внебрачного ребёночка, но он умер в родах. В каком-то смысле Даниель был рад слышать, что для неё жизнь продолжается. Когда-то он мечтал предложить ей руку и сердце. Учитывая его нынешнее положение, это была крайне неудачная мысль.

Воспоминания об Элизе погрузили Даниеля в своего рода мечтательную задумчивость, из которой он так и не вышел. Не то чтобы он внезапно потерял сознание — скорее оно мало-помалу уплывало в течение всего вечера. Каждый подходивший друг поднимал стакан, и Даниель в ответ поднимал свой. Напиток не стекал по горлу, а яростно рвался через слизистые оболочки прямиком в мозг. В глазах темнело. Гул голосов навевал сон.

Разбудила Даниеля тишина. Тишина и свет. В первое мгновение мелькнула мысль, что его вынесли на солнце. Однако в лицо било целое созвездие солнц. Он попытался поднять сперва одну руку, потом другую, чтоб заслонить глаза, но руки не слушались. Ноги тоже застыли на месте.

— Вы, быть может, вообразили, что переживаете некие предсмертные или даже посмертные ощущения, — произнёс голос. Он доносился снизу, из-за Даниелевых колен. — И что несколько архангелов обступили вас, ослепляя своим сиянием. В таком случае я должен быть тенью, жалким серым призраком, а несущиеся издалека вопли — стонами душ, влекомых в адскую бездну.

Гука и впрямь было почти не различить: свет шёл из-за его спины. Он раскладывал какие-то инструменты на поставленном перед креслом столе.

Теперь, когда Даниель перестал смотреть на свет, глаза привыкли и различили, что мешает ему двигаться: белая бельевая верёвка, целые мили, обвивала руки и ноги, сплетаясь в нечто вроде сети или паутины, идеально подогнанной по фигуре. Очевидно, её сплёл скрупулёзный Гук, ибо даже пальцы были пришнурованы, каждый в отдельности, к подлокотнику кресла, тяжёлого,

как орудийный лафет.

Даниелю вспомнился Эпсом в Чумной год, когда Гук часами просиживал на солнце, наблюдая в лупу, как паук опутывает клейкою нитью овода.

Ещё он видел блестящие инструменты, которые Гук разложил на столе. Помимо увеличительных стёкол, с которыми Гук никогда не расставался, здесь был изогнутый зонд, который проводят через мочеиспускательный канал, чтобы найти и удержать камень. Рядом — ланцет, чтобы разрезать промежность и мочевой пузырь. Затем крюк, чтобы, протащив камень позади яичек, извлечь его из мочевого пузыря; набор ложек различных размеров и формы, чтобы выскоблить из пузыря и мочеточников мелкие, прячущиеся в складочках камни, буде таковые обнаружатся. Ещё была серебряная трубка, которую введут в мочеиспускательный канал, чтобы неизбежный отёк не мешал выходить моче, крови, лимфе и гною; тонкие бараньи жилы, чтобы зашить рану; кривые иголки и зажимы, чтобы протащить их через его мясо. Однако почему-то даже сильнее инструментов его напугали весы на дальнем конце стола. Полированные чашки покачивались на блестящих цепочках, неумолимо посылая в глаза вспышки-сигналы. Гук, эмпирик во всём, разуме-

ется, собирался взвесить извлечённый камень.

— На самом деле вы живы и проживёте ещё много лет — больше, чем я. Верно, некоторые умирают от шока: быть может, поэтому ваши друзья захотели прийти и побыть с вами, пока я не начал. Однако, помнится, вы как-то получили в спину заряд картечи из мушкетона, встали и пошли. Так что на сей счёт я не опасаюсь. Яркий свет, который вы видите — палочки горящего фосфора. А я — Роберт Гук, лучше которого никто в мире этого не сделает.

— Не надо, Роберт.

Гук воспользовался мольбой Даниеля, чтобы засунуть полоску кожи ему в рот.

— Можете закусить её, если хотите, а можете выплюнуть и орать, сколько угодно — это Бедлам, никто не возмутится. Никто не обратит внимание, и никто вас не пожалеет, а уж тем более Роберт Гук. Ибо, как вы знаете, Даниель, я начисто лишён жалости. Оно и к лучшему — в противном случае я не смог бы провести эту операцию. Год назад в Тауэре я сказал, что в благодарность за дружбу подарю вам нечто — многоценную жемчужину. Пришло время сдержать обещание. Осталось ответить лишь на один вопрос: сколько эта жемчужина будет весить, когда я отмою её от

вашей крови и положу на чашку вон тех весов. Жаль, что вы очнулись. Не буду оскорблять вас предложением расслабиться. Пожалуйста, не сойдите с ума. Встретимся по другую сторону Стикса.

Когда они с Уилкинсом и Гуком в Чумной год резали живых собак, Даниель глядел в страдальческие карие глаза и пытался понять, что происходит в собачьем мозгу. Под конец он решил, что *ничего;* собаки не могут мыслить сознательно, не думают о прошлом и будущем, живут только в настоящем, и потому им ещё хуже — они не могут мечтать о конце боли или вспоминать время, когда гоняли кроликов на лугу.

Гук взял скальпель и потянулся к Даниелю.

Действующие лица

Многие аристократы помимо имени и фамилии имели ещё и титул. Скажем, младший брат Карла II принадлежал к роду Стюартов, был крещён Джеймсом и, следовательно, мог бы именоваться Джеймсом Стюартом, однако значительную часть жизни (до того, как стать королём Яковом II) носил титул герцога Йоркского и потому звался (по крайней мере, в третьем лице) Йорком (во втором же — исключительно «ваше королевское высочество»). Титул часто менялся на протяжении жизни: простолюдина могли пожаловать дворянством, а дворянина вознести на следующую ступень знатности. Так что зачастую одно и то же лицо не только одновременно именовалось по-разному, но и меняло имена по мере возведения в новое достоинство, карьерного взлёта, завоеваний или — что может считаться комбинацией всех трёх — брака.

Такой разнобой в именах привычен многим читателям, которые живут по восточную сторону Атлантики или воспитаны на приключенческой литературе. Других он может смутить и даже раз-

досадовать. Приведённый список действующих лиц поможет избежать путаницы.

Если обращаться к нему слишком рано и слишком часто, можно выпустить котов из мешков, узнав, кто умрёт, а кто нет.

Составитель подобного указателя сталкивается с той же трудностью, что и Лейбниц, когда тот пытался упорядочить библиотеку своего патрона. Объекты классификации (книги в случае Лейбница, персонажей в указателе) следует расположить линейным образом по какой-то предсказуемой схеме, но поскольку один персонаж часто фигурирует под несколькими именами, не всегда ясно, под каким его заносить в список. Здесь я пожертвовал единообразием ради удобства и поместил каждого персонажа под тем именем, под которым он чаще упоминается. Так, Луи Франсуа де Лавардак, герцог д'Аркашон, помещён на букву «А», поскольку его чаще всего называют просто герцог д'Аркашон. А вот Нотт Болструд, граф Пенистонский, стоит на «Б», потому что его чаще упоминают как Болструда. Перекрёстные ссылки помещены на «Л» и «П» соответственно.

Пункты указателя, приведённые по более или менее достоверным источникам, напечатаны обычным шрифтом. Пункты, набранные

курсивом, содержат информацию, которая может повлечь недоразумения, тяжёлые увечья и смерть при использовании путешественником во времени, посещающим упомянутые места и эпоху.

АВО, ЖАН-АНТУАН ДЕ МЕСМ, ГРАФ Д'. Французский посол в Голландской республике, затем советник Якова II во время Ирландской кампании.

АНГЛСИ, ЛУИ, 1648—. *Граф Аппорский. Сын Томаса Мора Англси. Придворный и друг герцога Монмутского во время Междуцарствия и после Реставрации в колледже Святой Троицы, Кембридж.*

АНГЛСИ, ТОМАС МОР, 1618–1679. *Герцог Ганфлитский. Видный роялист, кавалер и придворный Карла II в изгнании. После Реставрации — одно из «А» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Во время «католического заговора» бежал во Францию, где и умер.*

АНГЛСИ, ФИЛИП, 1645— , *граф Ширнесс. Сын Томаса Мора Англси.*

АННА, КОРОЛЕВА АНГЛИИ, 1665–1714, дочь Якова II от первой жены, Анны Гайд.

АПНОР, ГРАФ: *см. Англси, Луи.*

АПТОРП, РИЧАРД, 1631—. *Банкир и делец. Одно*

из «А» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Основатель Английского банка.

АРКАШОН, ГЕРЦОГ Д', 1634—. *Луи-Франсуа де Лавардак. Кузен Людовика XIV. Строитель, а затем и адмирал французского флота.*

АРКАШОН, ЭТЬЕНН Д', 1662— . *Этьенн де Лавардак. Сын и наследник Луи-Франсуа де Лавардака, герцога Д'Аркашона.*

АРТАНЬЯН, ШАРЛЬ ДЕ БАЦ ДЕ КАСТЛЬМОР Д', ок. 1620–1673. Французский мушкетёр и мемуарист.

АШМОЛ, СЭР ЭЛИАС, 1617–1692. Астролог, алхимик, самоучка. Ревизор Акцизного управления, собиратель диковин и основатель Музея Ашмола в Оксфорде.

БОЙЛЬ, РОБЕРТ, 1627–1691. Химик, член Экспериментального философского клуба в Оксфорде и Королевского общества.

БОЙНЕБУРГ, ИОГАНН-ХРИСТИАН ФОН, 1622–1672. Покровитель Лейбница в Майнце.

БОЛСТРУД, ГОМЕР, 1645—. *Сын Нотта. Ярый диссидент, затем иммигрант в Новой Англии, мебельщик.*

БОЛСТРУД, ГРЕГОРИ, 1600–1652. *Диссидентский проповедник. Основатель пуританской секты гавкеров.*

БОЛСТРУД, НОТТ, 1628–1692. *Сын Грегори. Возве-*

дён Карлом II в пэры под именем графа Пенистона и назначен членом кабинета. «Б» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.).

ВЕЛИКИЙ КУРФЮРСТ: см. Фридрих-Вильгельм.

ВИЛЬГЕЛЬМ II ОРАНСКИЙ, 1626–1650. Отец куда более известного Вильгельма III Оранского. Умер молодым (от оспы).

ВИЛЬГЕЛЬМ III ОРАНСКИЙ, 1650–1702. Соправитель Марии, дочери Якова II на английском престоле с 1689 года.

ВИЛЬГЕЛЬМИНА-КАРОЛИНА, *см*. Каролина, принцесса Бранденбург-Ансбахская.

ВИЛЬЕРС, БАРБАРА (ЛЕДИ КАСЛМЕЙН, ГЕРЦОГИНЯ КЛИВЛЕНДСКАЯ), 1641–1709. Неутомимая возлюбленная многих высокопоставленных англичан, в том числе Карла II и Джона Черчилля.

ГАЙД, АННА, 1637–1671. Первая жена Джеймса, герцога Йоркского (впоследствии Якова II). Мать двух английских королев: Марии (правившей совместно со своим мужем Вильгельмом) и Анны.

ГАНФЛИТ, ГЕРЦОГ*: см. Англси, Томас Мор.*

ГВИН, НЕЛЛ, 1650–1678. Торговка фруктами и актриса, одна из фавориток Карла II.

ГЕНРИЕТТА-АННА, 1644–1670. Сестра английских королей Карла II и Якова II, первая жена Филиппа, герцога Орлеанского, брата Людовика XIV.

ГЕНРИЕТТА-МАРИЯ, 1609–1669. Сестра французского короля Людовика XIII, жена английского короля Карла I, мать английских королей Карла II и Якова II.

ГУК, РОБЕРТ, 1635–1703. Художник, полиглот, астроном, геометр, микроскопист, механик, часовщик, химик, оптик, изобретатель, философ, ботаник, анатом и т. д. Куратор экспериментов Королевского общества. Землемер Лондона после Пожара. Друг и сподвижник Кристофера Рена.

ГЮЙГЕНС, ХРИСТИАН, 1629–1695. Великий голландский астроном, часовщик, математик и физик.

ДЖЕФФРИС, Джордж, 1645–1689. Валлийский джентльмен, юриспрудент, генеральный поверенный герцога Йоркского, Верховный судья и затем лорд-канцлер при Якове II. В 1685-м получил титул барона Уэмского.

ЕКАТЕРИНА БРАГАНЦСКАЯ, 1638–1705, дочь португальского короля, жена английского короля Карла II.

ЕЛИЗАВЕТА-ШАРЛОТТА, 1652–1722, Лизелотта, Палатина, известная при французском дворе как Мадам. Дочь Карла-Людвига, курфюрста Пфальцского, и племянница Софии. Вышла замуж за Филиппа, герцога Орлеанского, младшего брата Людовика XIV. Родоначальница линии Бурбонов-Орлеанских.

ЖЕКС, ОТЕЦ ЭДУАРД ДЕ, *1663—, младший отпрыск Маргариты-Дианы де Крепи (умершей при его рождении) и Франсиса де Жекса, который к той поре достиг тридцати восьми лет и отличался слабым здоровьем. Воспитан в Лионском приюте иезуитами, которые нашли в нем на редкость даровитого ученика. Сам стал иезуитом в возрасте двадцати лет. Был направлен в Версаль, где попал в фавор у мадам де Ментенон.*

ЖЕКСЫ, ДЕ. *Захудалый дворянский род из Юры. Упадок семьи сменился подъёмом в начале семнадцатого века, когда двое детей Анри де Жекса (1595–1660), Франсис и Луиза-Анна, связали себя узами брака с более процветающим родом де Крепи. Потомство Франсиса носило фамилию де Жекс. Младшим из его отпрысков был Эдуард де Жекс. Среди детей Луизы-Анны были Анна-Мария де Крепи (впоследствии герцогиня Д'Уайонна) и Шарлотта-Аделаида де Крепи (впоследствии*

маркиза Д'Озуар).

ЗЁР, ГРАФИНЯ ДЕ ЛЯ: *титул, дарованный Элизе Людовиком XIV.*

ЗИМНИЙ КОРОЛЬ: см. Фридрих V.

ЗИМНЯЯ КОРОЛЕВА: см. Стюарт, Елизавета.

ИОГАНН-ФРИДРИХ, 1620–1679. Герцог Брауншвейг-Люнебургский, библиофил, покровитель Лейбница.

ЙГЛМ*: титул, пожалованный Элизе Вильгельмом Оранским.*

ЙОРКСКИЙ, ГЕРЦОГ: титул, который традиционно носит следующий наследник английского престола. На протяжении большей части книги — Джеймс, брат Карла II.

КАБАЛА: неофициальное название кабинета Карла II после Реставрации, созданного приблизительно по подобию «верхнего совета» Людовика XIV, т. е. каждый из членов имел общий круг обязанностей, но границы их были расплывчаты и перекрывались (см. табл.).

КАБАЛА

	Ответственное лицо	*Общий круг обязанностей*	*Примерное соответствие формальной должности**
К	Комсток, Джон (граф Эпсомский)	(В начале царствования) внутренние дела и правосудие. Позже в отставке	Лорд Верховный канцлер
А	Англси, Томас Мор (герцог Ганфлитский)	(В начале) казначейство и (в завуалированном виде) иностранные дела, особенно по отношению к Франции. Позже всё связанное с финансами перехватил Апторп. После отставки Комстока, но до «католического заговора» — внутренние дела и военный флот	Различные, в том числе лорд Верховный адмирал
Б	Болструд, Нотт (граф Пенистонский)	Иностранные дела (в качестве ширмы)	Государственный секретарь
А	Апторп, сэр Ричард	Финансы	Канцлер казначейства
Л	Льюис, Хью (герцог Твидский)	Армия	Маршал или (хотя в то время такой должности ещё не существовало) министр обороны

* Иногда они занимали эти должности, иногда нет.

КАРЛ I АНГЛИЙСКИЙ, 1600–1649, король Англии из династии Стюартов, обезглавлен перед Дворцом для приёмов после победы парламентских сил под командованием Оливера Кромвеля.

КАРЛ II АНГЛИЙСКИЙ, 1630–1685. Сын Карла I. Во время Междуцарствия жил сначала во Франции, потом в Нидерландах. Вернулся в Англию в 1660-м и восстановил монархию (Реставрация).

КАРЛ, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1651–1685, сын и наследник Карла-Людвига, любитель войны и охоты. Умер молодым от болезни, подхваченной во время потешной осады.

КАРЛ-ЛЮДВИГ, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1617–1680. Старший сын Зимних короля и королевы, брат Софии, отец Лизелотты. После Тридцатилетней войны вернул своей семье Пфальц.

КАРОЛИНА, ПРИНЦЕССА БРАНДЕНБУРГ-АНСБАХСКАЯ, 1683–1737. Дочь Элеоноры, принцессы Саксен-Эйзенахской.

КАСЛМЕЙН, ЛЕДИ: см. Вильерс, Барбара.

КЕРУАЛЬ, ЛУИЗА ДЕ, 1649–1734. Герцогиня Портсмутская. Одна из фавориток Карла II.

КЕТЧ, ДЖЕК — прозвище палача.

КЛИВЛЕНД, ГЕРЦОГИНЯ: см. Вилльерс, Барбара.

КОМЕНСКИЙ, ЯН-АМОС, латинизирован. COMENIUS, 1592–1670. Моравский пансофист, вдохновивший в числе прочих Уилкинса и Лейбница.

КОМСТОК, ДЖОН, 1607–1685. *Видный роялист и придворный Карла II в изгнании. Отпрыск так*

называемой Серебряной ветви рода Комстоков. Оружейник. Покровитель Королевского общества. После Реставрации — «К» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Отец Ричарда и Чарльза Комстоков.

КОМСТОК, РИЧАРД, 1638–1673. *Старший сын и наследник Джона Комстока. Погиб в Саутуолдском морском сражении.*

КОМСТОК, РОДЖЕР, 1646—. *Отпрыск так называемой Золотой ветви рода Комстоков. В начале 1660-х учился вместе с Даниелем Уотерхаузом, герцогом Монмутом, графом Апнором и Джорджем Джеффрисом в колледже Святой Троицы в Кембридже. Затем успешный застройщик и маркиз Равенскарский.*

КОМСТОК, ЧАРЛЬЗ, 1650–1708, *сын Джона, натурфилософ. После отставки Джона и смерти старшего брата Ричарда эмигрировал в Коннектикут.*

КРЕПИ, ДЕ, *захудалые французские дворяне, во время религиозных войн стремительно пошли в гору. Связали себя узами брака с более древним, но пришедшим в упадок родом де Жексов. Анна-Мария де Крепи (1653—) вышла за престарелого герцога Д'Уайонна и пережила его на много лет. Её сестра (Шарлотта-Аделаида де Крепи, 1656),*

вышла за маркиза Д'Озуара.

КРОМВЕЛЬ, ОЛИВЕР, 1599–1658. Предводитель антироялистских сил во время Гражданской войны в Англии, бич ирландцев, первый человек страны во время Республики или Междуцарствия.

КРОМВЕЛЬ, Ричард, 1626–1712. Сын и (до Реставрации) преемник своего куда более великого отца, Оливера.

ЛАВАРДАКИ: *отрасль рода Бурбонов, породившая многих герцогов крови, в том числе герцога Аркашонского (см.).*

ЛЕЙБНИЦ, ГОТФРИД-ВИЛЬГЕЛЬМ, 1646–1716. См. в книге.

Л'ЭСТРАНЖ, СЭР РОДЖЕР, 1616–1704. Автор роялистских памфлетов и (после Реставрации) главный цензор при Карле II. Преследователь Мильтона. Переводчик.

ЛЕФЕВР: Французский аптекарь-алхимик, переехавший в Лондон во время Реставрации вместе с королевским двором.

ЛИЗЕЛОТТА: см. Елизавета-Шарлотта.

ЛОКК, ДЖОН, 1632–1704. Натурфилософ, врач, политический советник, философ.

ЛЬЮИС, ХЬЮ, *1625— . Генерал. После Реставрации получил от Карла II титул герцога Твидского*

в память о том, как со своим полком (который с тех пор стал именоваться Колдстримским гвардейским) форсировал реку Твид, спеша на помощь высадившемуся в Англии монарху. «Л» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.).

МАРИЯ МОДЕНСКАЯ, 1658–1718. Вторая и последняя жена Якова II Английского. Мать Джеймса Стюарта, называемого также Старший Претендент.

МАРИЯ, 1662–1694. Дочь Якова II и Анны Гайд. После Славной революции (1689) правила Англией вместе со своим мужем, Вильгельмом Оранским.

МЕНТЕНОН, МАДАМ ДЕ, 1635–1719. Фаворитка, затем вторая и последняя жена Людовика XIV.

МЕСМ, ЖАН-АНТУАН ДЕ: см: Аво, д'.

МИНЕТТА: см. Генриетта-Анна.

МОНМУТ, ГЕРЦОГ, ДЖЕЙМС СКОТТ, 1649–1685. Незаконный сын Карла II от некой Люси Уолтер.

МОРЭЙ, РОБЕРТ, ок. 1608–1673. Шотландский военачальник, государственный деятель и придворный, фаворит Карла II. Сыграл определённую роль в создании Королевского общества, вероятно, организационную.

МОРИЦ, ПРИНЦ, 1621–1652. Один из многочисленных отпрысков Зимней королевы. Во время

Гражданской войны сражался на стороне кавалеров.

НЬЮТОН, ИСААК, 1642–1727. См. в книге.

ОЗ, КЛОД: см. *Озуар, маркиз д'*.

ОЗУАР, КЛОД ОЗ, МАРКИЗ Д', 1650—. *Незаконный сын Луи-Франсуа де Лавардака, герцога Д'Аркашона, от служанки Люси Оз. В конце 1600-х годов отправился в Индию в составе злополучной экспедиции Французской Ост-Индской компании. В 1679-м, когда дворянские титулы выставили на торги для сбора средств на Голландскую войну, приобрёл титул маркиза Д'Озуара, одолжив у своего отца деньги, полученные от африканской работорговли.*

ОЗУАР, ШАРЛОТТА-АДЕЛАИДА ДЕ КРЕПИ, МАРКИЗА Д', 1656—. *Супруга Клода Оза, маркиза д'Озуара.*

ОЛЬДЕНБУРГ, ГЕНРИХ, 1615–1677. Эмигрант из Бремена. Секретарь Королевского общества, издатель «Философских трудов», автор обширной переписки.

ПЕНИСТОН, ГРАФ*: см. Болструд, Нотт.*

ПЕПИС (ПИПС) САМЮЭЛЬ, 1633–1703. Клерк, чиновник Военно-морской коллегии, секретарь Адмиралтейства, член Лондонского королевского

общества, автор дневников, щеголь и сплетник.

ПЕТЕРС, ХЬЮ, 1598–1660. Пламенный пуританский проповедник. Провел какое-то время в Голландии и в Массачусетсе, затем вернулся в Англию, где стал капелланом Кромвеля. Заслужил нелюбовь ирландцев избиением мирных жителей Дроэды и Уэксофорда. За участие в цареубийстве казнён Джеком Кетчем в 1660-м при помощи ножа.

ПОРТСМУТ, ГЕРЦОГИНЯ, см. Керуаль, Луиза де.

РАВЕНСКАР, МАРКИЗ*: см. Комсток, Роджер.*

РЁЙТЕР, МИХИЕЛ АДРИАНСЗОН ДЕ, 1607–1676. Исключительно даровитый голландский флотоводец. Особенно успешно сражался против англичан.

РЕН, КРИСТОФЕР, 1632–1723. Человек невероятной одарённости, натурфилософ и архитектор, член Экспериментального философского клуба и позже Королевского общества.

РОССИНЬОЛЬ, АНТУАН, 1600–1682. «Первый профессиональный криптоаналитик во Франции» (Дэвид Кан, «Взломщики кодов» — непременно купите и прочитайте). Фаворит Ришелье, Людовика XIII, Мазарини и Людовика XIV.

РОССИНЬОЛЬ, БОНАВАНТЮР, ум. в 1705-м. Криптоаналитик Людовика XIV после смерти своего

отца, учителя и соратника Антуана.

РУПЕРТ, ПРИНЦ, 1619–1682. Один из многочисленных отпрысков Зимней королевы. Во время Гражданской войны в Англии сражался на стороне кавалеров.

СОФИЯ, 1630–1714. Младшая дочь Зимней королевы. Вышла замуж за Эрнста-Августа, впоследствии герцога Брауншвейг-Люнебургского. Затем его владения получили статус курфюршества Ганноверского, так что Эрнст-Август и София стали курфюрстом и курфюрстиной. С 1707 г. ближайшая наследница английского престола.

СОФИЯ-ШАРЛОТТА, 1668–1705. Старшая дочь Софии. Вышла замуж за Фридриха III, курфюрста Бранденбургского и сына Великого курфюрста. В 1701-м, когда решением императора Священной Римской империи Бранденбург-Пруссия получила статус королевства, стала первой прусской королевой и родоначальницей прусской династии.

СТЮАРТ, ДЖЕЙМС, 1688–1766. Законный (вероятно; хотя на сей счёт имелись определённые сомнения) сын Якова II от второй жены, Марии Моденской. Вырос в изгнании во Франции. После смерти отца стал Яковом III для английских якобитов и старшим претендентом для сторонников

Ганноверской династии.

СТЮАРТ, ЕЛИЗАВЕТА, 1596–1662. Дочь короля Якова I Английского, сестра Карла I. Вышла замуж за Фридриха, курфюрста Пфальцского. В 1618-м ненадолго провозглашена королевой Богемии, отсюда прозвание «Зимняя королева». Тридцатилетнюю войну провела в изгнании, по большей части в Голландской республике. Пережила мужа на три десятилетия. Мать множества детей, в том числе Софии.

УАЙОННА, АННА-МАРИЯ ДЕ КРЕПИ, ГЕРЦОГИНЯ, 1653—. *Фрейлина дофины, сатанистка, отравительница.*

УИЛКИНС (ВИЛКИНС), ДЖОН, ЕПИСКОП ЧЕСТЕРСКИЙ, 1614–1672. Криптограф. Научный фантаст. Основатель, первый председатель и первый секретарь Королевского общества. Личный капеллан Карла-Людвига, курфюрста Пфальцского. Ректор Уодем-колледжа (Оксфорд) и мастер колледжа Святой Троицы (Кембридж). Пребендарий Йоркский, благочинный Рипона, обладатель множества других церковных должностей. Друг нонконформистов, борец за свободу совести.

УИЛЛСДЕН, ГРАФ*: см. Уотерхауз, Стерлинг.*

УИЛРАЙТ, ДЖЕЙН*: см. Уотерхауз, Джейн.*

УИМ, УОЛТЕР, 1652— *. Муж Эммы Уотерхауз.*

УОЛБРУК, ГРАФ: *см. Хам, Томас.*

УОТЕРХАУЗ АННА, 1649—. *Урождённая Анна Робертсон. Английская колонистка в Массачусетсе. Жена Восславь-Господа Уотерхауза.*

УОТЕРХАУЗ СТЕРЛИНГ, 1630—. *Сын Дрейка. Застройщик. Впоследствии — граф Уиллсден.*

УОТЕРХАУЗ, ТЕРПИ-СМИРЕННО 1675—. *Сын Восславь-Господа в Бостоне. Выпускник Гарвардского университета. Конгрегационалистский проповедник.*

УОТЕРХАУЗ, БЕАТРИСА, 1642— . *Урождённая Беатриса Дюран, дочь гугенотов, жена Стерлинга.*

УОТЕРХАУЗ, БЛАГОДАТЬ, 1689— . *Урождённая Благодать Пейдж. Английская колонистка в Массачусетсе. Молодая жена престарелого Даниеля, мать Годфри.*

УОТЕРХАУЗ, ВОССЛАВЬ-ГОСПОДА, 1649— . *Старший сын Релея и Элизабет. Иммигрировал в Колонию Массачусетского залива. Отец Терпи-Смиренно Уотерхауза.*

УОТЕРХАУЗ, ГОДФРИ ВИЛЬЯМ, 1708— . *Сын Даниеля и Благодати в Бостоне.*

УОТЕРХАУЗ, ГОРТЕНС, 1625–1658. *Урождённая Гортенс Бауден. Вторая жена (брак заключен в 1645-м) Дрейка Уотерхауза, мать Даниеля.*

УОТЕРХАУЗ, ДАНИЕЛЬ, 1646— . *Младший и позд-*

ний сын Дрейка от второй жены, Гортенс.

УОТЕРХАУЗ, ДЖЕЙН, 1599–1643. *Урождённая Джейн Уилрайт, из семьи лейденских пилигримов. Первая жена (брак заключен в 1617-м) Дрейка, мать Релея, Стерлинга, Оливера и Мейфлауэр.*

УОТЕРХАУЗ, ДЖОН, 1542–1597. *Ревностный английский протестант. Перебрался в Женеву при Марии Кровавой. Отец Кальвина Уотерхауза.*

УОТЕРХАУЗ, ДРЕЙК, 1590–1666. *Сын Кальвина, отец Релея, Стерлинга, Мейфлауэр, Оливера и Даниеля. Торговец-индепендент, политический смутьян, предводитель пилигримов и диссидентов.*

УОТЕРХАУЗ, КАЛЬВИН, 1563–1605. *Сын Джона, отец Дрейка.*

УОТЕРХАУЗ, МЕЙФЛАУЭР, 1621— . *Дочь Дрейка и Джейн, жена Томаса Хама, мать Вильяма Хама.*

УОТЕРХАУЗ, ОЛИВЕР I, 1625–1646. *Сын Дрейка и Джейн. Погиб в Ньюаркском сражении во время Гражданской войны в Англии.*

УОТЕРХАУЗ, ОЛИВЕР II, 1653—. *Сын Релея и Элизабет.*

УОТЕРХАУЗ, РЕЛЕЙ, 1618—. *Старший сын Дрейка, отец Восславь-Господа, Оливера II и Эммы.*

УОТЕРХАУЗ, ЭЛИЗАБЕТ, 1621— . *Урождённая Элизабет Флинт. Жена Релея Уотерхауза.*

УОТЕРХАУЗ, ЭММА, 1656—. *Дочь Релея и Элизабет.*

ФИЛИПП, ГЕРЦОГ ОРЛЕАНСКИЙ, 1640–1701. Младший брат Людовика XIV, называемый при французском дворе Мсье. Муж сперва Генриетты-Анны Английской, затем Лизелотты. Родоначальник династии Бурбонов-Орлеанских.

ФРИДРИХ V, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1596–1632. Король Богемии («Зимний король») в течение нескольких месяцев 1618 г. Умер в изгнании во время Тридцатилетней войны. Отец множества принцев, курфюрстов, герцогинь и так далее, в том числе Софии.

ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ, КУРФЮРСТ БРАНДЕНБУРГСКИЙ, 1620–1688, прозванный «Великий курфюрст». После Тридцатилетней войны создал регулярную армию, небольшую, но эффективную. Стравливая между собой ведущие силы своего времени (Швецию, Францию и Габсбургов), собрал разрозненные гогенцоллернские земли в одно государство, Бранденбург-Пруссию.

ХАМ, ВИЛЬЯМ, *1662—. Сын Томаса и Мейфлауэр.*

ХАМ, ТОМАС, *1603—, золотых дел мастер и*

денежник, муж Мейфлауэр Уотерхауз, старший партнёр компании «Братья Хамы, златокузнецы». Получил от Карла II титул графа Уолбрукского.

ЧЕРЧИЛЛЬ, ДЖОН, 1650–1722. Придворный, воин, бретёр, потаскун, герой, впоследствии герцог Мальборо.

ЧЕРЧИЛЛЬ, УИНСТОН, роялист, помещик, придворный, один из первых членов Королевского общества, отец Джона Черчилля.

ЧЕСТЕРСКИЙ ЕПИСКОП: см. Уилкинс, Джон.

ШЁНБЕРН, ИОГАНН-ФИЛИПП ФОН, 1605–1673. Архиепископ и курфюрст Майнцский, государственный муж, дипломат, покровитель Лейбница.

ШИРНЕСС, ГРАФ: *см. Англси, Филип.*

ЭЛЕОНОРА,
ПРИНЦЕССА САКСЕН-ЭЙЗЕНАХСКАЯ, ум. в. 1696-м. Первым браком была замужем за маркграфом Ансбахским, от которого и родила дочь Каролину, принцессу Бранденбург-Ансбахскую. После долгого вдовства вышла за курфюрста Саксонского.

ЭПСОМ, ГРАФ*: см. Комсток, Джон.*

ЯКОВ I, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ, 1566–1625. Пер-

вый король Англии из династии Стюартов.

ЯКОВ II, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ, 1633–1701. Герцог Йоркский на протяжении значительной части жизни. Стал королём Англии после смерти своего брата в 1685-м. Низложен в ходе Славной революции, в конце 1688 — начале 1689-го.

ЯКОВ VI, КОРОЛЬ ШОТЛАНДСКИЙ: см. Яков I, король Английский.